

83.3(2Рс)1-8

М 23

Юрий МАНН

ГОГОЛЬ

Труды и дни: 1809–1845



«...Я почитаюсь загадкою для всех, никто
не разгадал меня совершенно...»

*Из письма Гоголя матери
от 1 марта 1828 г.*



Н. В. Гоголь

Портрет работы А. Иванова. 1841

Юрий МАНН.

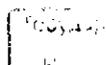
ГОГОЛЬ

Труды и дни: 1809–1845



АСПЕКТ ПРЕСС

Москва
2004



J

УДК 821.161.1.09Гоголь
ББК 83.3(2Рос=Рус)5-8Гоголь Н.В.
М 23

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)

Рецензенты:

заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН *П. А. Николаев*;
ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН *С. Г. Бочаров*

М 23 **Манн Юрий Владимирович**
Гоголь. Труды и дни: 1809–1845 / Юрий Манн. — М.:
Аспект Пресс, 2004. — 813 с.; 32 с. илл.
ISBN 5—7567—0334—9

В книге на основе огромного материала представлено жизнеописание Н. В. Гоголя, воссоздан прекрасный и трагический облик писателя, чье художественное слово воспринимается сегодня как пророческое. Высокая историко-литературная достоверность, тщательность проработки материала счастливо соединяются в книге с художественностью изложения.

Настоящее издание — драгоценный подарок известнейшего специалиста Ю. Манна к юбилею Н. В. Гоголя. На написание этого труда ушло более двух десятилетий.

Книга адресована всем интересующимся литературой и прежде всего учителям словесности и школьникам как чтение и образец глубокого филологического исследования.

УДК 821.161.1.09Гоголь
ББК 83.3(2Рос=Рус)5-8Гоголь Н.В.

ISBN 5—7567—0334—9

© ЗАО Издательство «Аспект Пресс»,
2004.

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вскоре после смерти Гоголя хорошо знавший его С. Т. Аксаков заметил, что биография этого писателя «заключает в себе особенную, исключительную трудность, может быть, единственную в своем роде» [МВед. 1853. № 35]. И он же определил причины, порождающие эту «трудность».

Жизнь Гоголя была бедна внешними событиями; собственно, его «дни» — это его «труды», сменяемые короткими или долгими паузами. «У Гоголя постоянно было два состояния: творчество и отдохновение». Не очень-то выигрышный материал для биографа! Вместо яркой череды событий и приключений он почти исключительно должен иметь дело с такой тонкой и неуловимой материей, какую представляет собою внутренняя жизнь. И все это усугублялось особенностями гоголевского характера.

Гоголя отличала необычайная скрытность. «Даже с друзьями своими он не был вполне или, лучше сказать, всегда откровенен, — продолжает Аксаков. — Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных». Бывают авторы, которые идут навстречу своим читателям, равно как и исследователям, предоставляя в их распоряжение нечто вроде путеводной нити. Гоголь, наоборот, словно отступает от нас, ускользает, прячется в тень. Эпитет «загадочный» часто применяется к Гоголю-художнику: мы говорим «загадочное произведение», «загадочное творчество». С не меньшим правом можно было бы сказать: «загадочная жизнь».

Отсюда заведомая неполнота гоголевских биографий. В начале прошлого века один из исследователей сетовал, что Гоголь не дождался «и через 100 лет после своего рождения обстоятельной и всесторонней биографии» [Заболотский, с. 1]. А ведь имелись уже двухтомная работа П. Кулиша, четырехтомный труд В. Шенрока... На сегодняшний день создано еще несколько ценных и интересных гоголевских жизнеописаний — не только в нашем литературоведении, но и в зарубежном¹, — и тем не менее время от времени можно услышать слова, повторяющие только что приведенное сетование ученого.

Предлагаемая книга, как это отчетливо сознает автор, тоже не решила всех задач. Но пусть она будет хотя бы шагом к будущей и, увы, неблизкой цели создания «обстоятельной и всесторонней биографии», преодолевшей неимоверное сопротивление и трудность материала.

Среди причин, обусловивших эту трудность, пожалуй, главное место занимают не бедность жизни внешними событиями, даже не скрытность и замкнутость характера, а нечто другое, на что указал тот же Аксаков. «Натура Гоголя, лирически художественная, беспрестанно умеряемая христианским анализом и самоосуждением, проникнутая любовью к людям, непреодолимым стремлением быть полезным, беспрес-

танно воспитывающая себя для достойного служения истине и добру, — такая натура в вечном движении, в борьбе с человеческими несовершенствами...» При всем постоянстве черт гоголевской природы с молодых лет в ней пробудился сильнейший стимул — стимул к изменению, в результате чего рисунок внутренней жизни выходил чрезвычайно изменчивым и прихотливым. Многие не улавливались сторонними наблюдателями не только потому, что Гоголь перед ними скрытничал, но и потому, что считал свое состояние недостойным, временным и подлежащим преодолению. Он таился, уходил, «ускользал», так как изменялся или, по крайней мере, стремился к изменению.

Поэтому любая биография Гоголя, в том числе и предлагаемая, — это не только его жизненный, но и «духовный путь», как назвал свою известную книгу К. Мочульский (1934).

Какое же место займет в настоящем труде Гоголь-писатель, Гоголь-художник? Сразу же замечу, что в двойственном понятии «жизнь и творчество» акцент поставлен на первом слове. Это не значит, что «творчество» выносится за скобки или, как говорят, элиминируется, — вовсе нет. Это лишь значит, что «творчество» берется в определенном ракурсе.

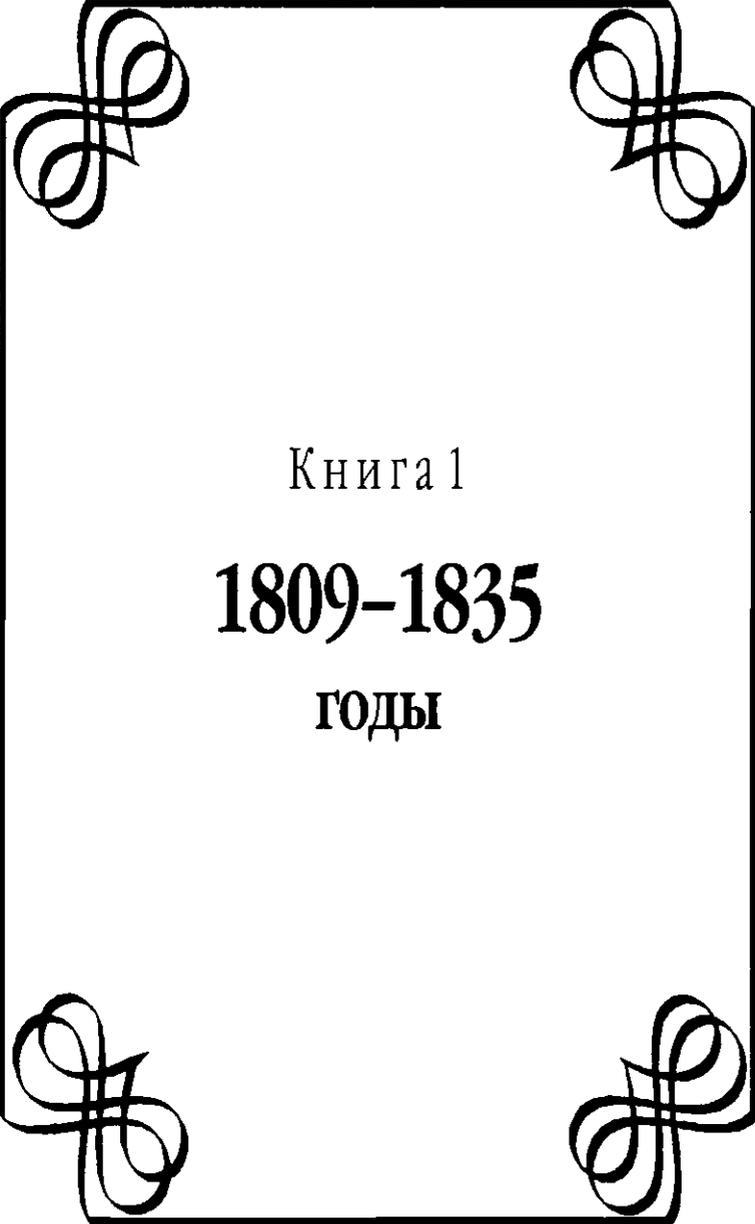
Любое произведение — это не только «объективный текст», получивший право на свое собственное, самостоятельное существование, но и единокровное детище автора, несущее на себе его родимую печать. Неплодотворно сводить содержательный объем произведения к этой печати, но столь же бесполезно отбрасывать ее с порога. Непозволительно не наличие различных подходов, а их смешение, когда, скажем, в художественном тексте видится сколок жизненных обстоятельств автора, когда персонаж отождествляется с его творцом и т. д.

Но существует более тонкая зависимость — и она-то является предметом нашего внимания, — когда творчество вырастает из жизненного и духовного опыта писателя, стимулируется этим опытом, становясь таким образом решением не только общечеловеческих и общенациональных, но и сугубо личных проблем.

Ограничусь, пожалуй, этими самыми необходимыми, поневоле схематичными предпосылками. Их конкретизация и воплощение в материал — дело дальнейшего изложения.

Первая книга под названием «Сквозь видный миру смех... Жизнь Гоголя. 1809—1835 гг.» была издана впервые в 1994 году Московским институтом развития образовательных систем (редакторы Н. В. Вербицкая и Т. Е. Сергеева; директор института член-корреспондент РАО А.М. Абрамов). Для предлагаемого издания книга доработана и дополнена.

При работе над второй книгой настоящего труда автору была оказана поддержка Фонда Сороса, за что он выражает ему искреннюю признательность.



Книга 1

1809–1835

ГОДЫ



Часть первая

РОД ГОГОЛЯ

В одном из первых произведений Гоголя, в повести «Пропавшая грамота», вошедшей в «Вечера на хуторе близ Диканьки», есть строки:

«Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгудье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе...» Давно замечено, что в этих словах запечатлено могучее родовое чувство, преемственно связывающее потомка с предками. Минувшее не только волнует и одушевляет — оно живет в сегодняшнем дне, и «прадедовская душа» невольно «вызначивается» (любимое гоголевское словечко) в душе современника.

Но странное дело: родовое чувство, о котором здесь говорится, почти исключительно направлено на чудесные, диковинные события, случившиеся с кем-нибудь из предков, ну хотя бы с тем же прадедом. Это еще яснее выражено в начале другой повести — в «Вечере накануне Ивана Купала», где какой-нибудь старинной страшной истории, от которой «всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове», отдано предпочтение перед рассказами «про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного».

Правда, все это говорит не Гоголь, а один из его повествователей, некий дьячок ***ской церкви. Однако, как мы увидим, мироощущения автора и его героя здесь во многом совпадали.

Но вначале — несколько слов о предках писателя. О Гоголе не скажешь, как об известном его персонаже, что «происхождение» его «темно и скромно»; но все же немало в его родословной неясного, запутанного, а то и просто фантастического.

В более или менее достоверных, хотя и скупых, чертах вырисовывается генеалогия Гоголя до четвертого колена, чему мы обязаны двум старым исследователям — священнику Ал. Петровскому и Ал. Лазаревскому. В 1902 году, когда отмечалось пятидесятилетие со дня смерти писателя, почти одновременно они опубликовали свои сообщения. К этому времени еще был жив троюродный брат Николая Васильевича — Владимир Яновский, один из старейших священников Миргородского уезда. Отец Владимир, как писал встречавшийся с ним Ал. Петровский, «сохранил у себя все уставные грамоты своих духовных предков, в свою летопись занес родословную последовательность фамилии Гоголей—Яновских, а в своей ясной и твердой памяти сохранил много глубоко душевных и интересных воспоминаний из жизни своего великого сородича...» [Петровский, с. 2]. На этих материалах, прежде всего на уставных или, точнее, *ставленных* грамотах, то есть таких документах, которые возводили их владельцев в духовный сан, и основывались оба автора. Сопоставляя их сообщения, мы получаем следующую, повторяю, скупую схему гоголевской генеалогии.

Первым известным лицом в этой родословной был выходец из Польши Иван Яковлевич (фамилия его не названа), назначенный в 1697 (или в 1695) году викарным священником Троицкой церкви в городе Лубны. Определение «викарный» свидетельствует о том, что он принадлежал к католическому вероисповеданию². Спустя четверть века, в 1723 году, Ивана Яковлевича перевели в новооткрытую Успенскую церковь села Кононовка в том же уезде; возможно, к этому времени он уже перешел в православие. В ставленной грамоте говорилось, что «Божиею милостию... посвящен во иерея Иван Яковлевич, муж благоговейный, всяким перее опасным истязаниям прилежно испытанный...». Затем должность священника в той же церкви перешла к его сыну Дамиану Иоанновичу (по другой транскрипции — Демьяну Ивановичу), о котором известно то, что у него уже была фамилия Яновский. Скорее всего, она была образована от имени его отца — Иван, по-польски — Ян.

Николаю Васильевичу Гоголю Демьян Иванович приходился прадедом.

После Демьяна Яновского родословная раздвоилась, ибо у Демьяна Ивановича было два сына — Афанасий и Кирилл. Первый оставил духовное поприще, а второй сохранил и род занятий, и должность своего отца: Кирилл сделался священником той же самой Успенской церкви села Кононовка. Священниками стали и оба сына Кирилла — Меркурий и Савва. Меркурий Кириллович унаследовал приход отца в Кононовке, а Савва Кириллович переехал в село Олефировка (или Олиферовка) того же Миргородского уезда.

Мы подошли, собственно, уже к гоголевскому времени, и оба брата-священника оставили некоторый след в биографии писателя. Отец Меркурий особенных симпатий у Гоголя не вызывал; больше того, беспокоясь об имущественных делах своей матери, Николай Васильевич еще в гимназическую пору предупреждал, что «алчный поп», то есть отец Меркурий, «с жадностью следит наше имение и... пользуясь правом родства, уже зажилيل порядочный кусок» его. Отношения же с отцом Саввой у семейства Гоголей складывались, по-видимому, более благоприятно; по крайней мере, когда будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в поисках малороссийского материала обратился с различными просьбами к родным и землякам, Савва Кириллович снабдил его подробным описанием одежды дьячка, которое тот занес в свою «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию». Остается еще добавить, что именно к этой линии принадлежал Владимир Яновский, послуживший источником сведений о гоголевской родословной, — сын Саввы Кирилловича, он занимал должность священника в той же Олефировке.

Другая же, «светская» линия родословной прямиком привела к Николаю Васильевичу. Афанасий Демьянович, первым изменивший семейной профессии, приходился ему дедом. Родился он в 1738 году, учился в Киевской духовной академии, но, не приняв духовного сана, поступил в 1757 году в гетмановскую канцелярию. «В той же канцелярии оставался он и при Румянцеве (П. А.), наградившем Афанасия Гоголя, по его словам, в 1782 году (год введения в Малороссии общерусских учреждений) чином полкового писаря» [Лазаревский, с. 9]. Будучи поповичем, человеком скромного достатка, Афанасий Демьянович женился на дочери бунчуковского товарища, представителя знатного казацкого рода Семена Семеновича Лизогуба. Возможно, выгодная женитьба помогла ему упрочить свое положение: вышел в отставку Афанасий Демьянович в чине секунд-майора. До коллежского асессора (соответствовавшего чину майора) дослужился и его сын Василий. Впрочем, о Василии Афанасьевиче, отце писателя, мы поговорим потом отдельно.

Но откуда появилась фамилия «Гоголь»? И прапрадед, и прадед писателя ее не знали; Яновскими оставались представители и всей боковой, «духовной» ветви рода, идущей от священника Кирилла Демьяновича. Впервые частицу «Гоголь» присоединил к своей фамилии Афанасий Демьянович. Точнее говоря, он таким образом составил свою фамилию, что второй частью, привеском оказался Яновский, а Гоголь вышел на главное место: Гоголь-Яновский. Последовательность имен отражала, в глазах владельца, меру их значительности: претендуя на фамилию Гоголь, Афанасий Демьянович приобщался к древнему роду, куда более заметному, чем род Яновских, такому роду, который повышал общественный вес и репутацию семьи.

Судя по выписке из решения дворянского собрания Киевского наместничества, Афанасий Демьянович добился своей цели: выписка гласила, что означенное собрание, рассмотрев 19 октября 1784 года «доказательства, представленные от полкового писаря Афанасия Гоголя-Яновского» (именно так!), постановило внести его вместе с детьми «в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу, в первую часть», и подтвердило его право на наследственные имения, в том числе и на деревню Ольховец, якобы пожалованную самим королем польским Яном Казимиром [Кулиш, 1854, с. 201—202].

Но, удовлетворив амбициозные и имущественные притязания Афанасия Демьяновича, это решение не внесло никакой ясности в действительную генеалогию Гоголей. Удостоверялось, что род происходил от полковника Андрея Гоголя; между тем такое лицо совершенно неизвестно. Известен же Евстафий (или Остап) Гоголь, полковник брацлавский, подольский или поднестрианский. В бурно кипящей истории Украины XVII века он играл довольно видную роль: был сподвижником Богдана Хмельницкого, переходил из стана в стан, держал руку поляков, русских, турок, пока наконец окончательно не стал под знамена Польши, за что был пожалован не только землями, но и титулом гетмана. Скорее всего, именно его имел в виду Афанасий Демьянович — но почему же он перепутал имя? Ал. Лазаревский объясняет это тем, что в грамоте, которую тот представил дворянскому собранию, имя полковника совсем не названо, но при этом отмечено, что прежним владельцем Ольховца был Андрей; отсюда был сделан вывод, что Андреем звался сам полковник. «Таким образом, праправнук уже *не знал* имени своего прапрадеда, хотя это был человек видный, о котором можно было справиться и в книгах...» [Лазаревский, с. 8]. Но можно предположить и другое: именно потому, что Евстафий Гоголь был человек достаточно известный, Афанасий Демьянович предпочел не докапываться до истины и удовлетвориться нарочитой двусмысленностью документов, которая явно играла ему на руку.

Но на этом не кончались противоречия и несообразности в представленных Афанасием Демьяновичем документах: говорилось, что деревню Ольховец от Яна Казимира Андрей Гоголь якобы получил в 1674 году; между тем Ян Казимир еще шестью годами раньше отрекся от престола и уехал в Париж. Реального Евстафия Гоголя награждал другой король, Ян Собеский, владевший польским престолом (под именем Яна III) после 1673 года.

Наконец, Афанасий Демьянович утверждал, что его дед Иван (Ян) был сыном Прокопа и польским шляхтичем [РА. 1875. № 4. С. 452]. Прокоп (Прокопий) — действительно существовавшее лицо, сын Евстафия Гоголя. И это еще более затемняло реальную картину: ведь в таком случае дед Иван, владевший приходом в селе Кононовка, должен был иметь отчество Прокофьевич, а не Яковлевич, как это следу-

ет из других документов. О далеком пращуре еще можно было иметь неверные сведения, но не знать имени и социального статуса своего деда — в это уже поверить трудно. «Можно думать, что Афанасий Гоголь умышленно скрыл факт священничества своего деда Ивана, потому что не любила перерождавшаяся в дворянство козацкая старшина связывать свое происхождение с лицами духовного и посполитного состояния» [Лазаревский, с. 10]. Возможно, именно так. Факт тот, что родословная Гоголей не переходила плавно в родословную Яновских, обе линии не связаны, между ними существует какой-то разрыв, объяснить который пока не представляется возможным³.

Но самое интересное то, что этот разрыв мало беспокоил самого Гоголя; едва ли он вообще замечал какую-нибудь аномалию в своей генеалогии. В конце концов в биографии исторического деятеля, и особенно художника, отношение к родословной не менее важно, чем сама родословная. То, как воспринимает он свою связь с семейной традицией, характер мироощущения и, так сказать, ориентации в мире, и есть самое главное для его творчества. Эти мироощущение и ориентация в свою очередь возникают из духа эпохи, подсказываются ее преобладающим направлением.

Бывают эпохи, когда ощущение преемственности необычайно обостряется, причем обнаруживается оно двояко — и в общественной, корпоративной, и в личной, приватной форме. Не только народ и нация, но и малые его ячейки и клетки, какими являются семья или отдельное лицо, пристально всматриваются в прошлое, чтобы найти в нем корни своего бытия, почерпнуть уверенность в дне сегодняшнем и завтрашнем, словом — самоутвердиться. Именно в такую эпоху воспитывался и развивался Гоголь — эпоху Отечественной войны 1812 года и вызванного ею общественного и духовного подъема, декабристского движения, а в сфере литературной и художественной — еще и расцвета предромантизма и романтизма, превративших идею самобытности и национальной характерности в программную установку.

На этом фоне мироощущение Гоголя выглядит не совсем обычным. Конечно, общественное, национальное чувство преемственности автор «Тараса Бульбы» всецело разделял и выразил его ярче и сильнее, чем кто бы то ни было другой. Но вот чувство семейное, сугубо личное...

Когда в 1849 году мать Николая Васильевича обратилась к нему с просьбой помочь собрать «какие-нибудь сведения насчет герольдии», тот долго медлил и наконец откликнулся таким письмом:

«Сколько я помню, то дело по этой части было окончено совершенно и окончательно еще при покойном отце. Он говорил один раз при мне, что происхождение дворянства нашего записано в 6-ю книгу. Теперь нужно узнать, после ли записки оказалось сомнение. Отец мой доставил также грамоты и документы. Это я тоже помню. Теперь нужно узнать, не пропали ли эти грамоты.... Впрочем, насчет всего этого не советую вам особенно тревожиться. Все это суший вздор. Был

бы кусок хлеба, а что в том, столбовой ли дворянин или просто дворянин, в шестую ли книгу или восьмую записан. (Если не докажется происхождение от полковника Яна Гоголя, то род будет записан в 8 книгу). Шестая книга, конечно, почетнее, но права почти те же» [XIV, 106].

Письмо свидетельствует о том, что после известной нам акции Афанасия Демьяновича сомнения относительно родословной не улеглись и всплыли на поверхность, когда мать Гоголя, в середине 1830-х годов, решила хлопотать о внесении рода в дворянскую книгу Полтавской губернии (прежде он вписан в книгу Киевского наместничества). «Герольдические» дела обсуждались и при мальчике Гоголе, но, судя по всему, особенно он в них не вникал, так как к традиционным ошибкам прибавил и свои собственные. Яном назывался прапрадед Николая Васильевича священник Иван (Ян) Яковлевич; между тем он говорит о «полковнике», подразумевая, видимо, мифического Андрея Гоголя, то есть реального Евстафия Гоголя. Смешение можно объяснить только незнанием, но никак уж не хитростью или затаенной целью: хитрить в частном письме к матери не было никакой необходимости. В конце концов Гоголь готов совершенно искренне отказаться от притязаний на более почетную, древнюю родословную, придавая всему делу сугубо практический оборот («был бы кусок хлеба...»).

Нужно учитывать также, что судьба не один раз, а дважды — так сказать, с двух сторон — подвергала Гоголя испытанию на родовое чувство, а вернее, родовое тщеславие. Ведь и со стороны бабки, жены Афанасия Демьяновича, был он не худосочного рода. Считалось, что отец Татьяны Семеновны, бунчуковский товарищ Семен Семенович Лизогуб, — внук гетмана Скоропадского. В родословной Лизогубов выделялась и другая фигура — Василий Танский, полковник и известный писатель, автор популярных в свое время интерлюдий на украинском языке. Татьяне Семеновне Василий Танский приходился дедом и, следовательно, Николаю Гоголю прапрадедом. Все это были «карты» крупные. Но, кажется, ни разу он ими не козырнул. Ни в житейских обстоятельствах и перипетиях, ни тем более в творчестве, к чему, как известно, ревнители семейной славы прибегали нередко и в прошлые, да и в наши дни.

Гоголь не имел обыкновения приобщать своих предков к персонажам исторического сочинения. А ведь мог бы сделать это, по аналогии с восхищавшим его пушкинским «Борисом Годуновым», хотя бы в «Тарасе Бульбе». Полковник Евстафий Гоголь жил во времена суровых схваток с поляками и татарами и принимал участие в тех же событиях, что и герои повести, но на ее страницах ему не нашлось места. Есть, правда, в «Тарасе Бульбе» гоголь, и даже «гордый гоголь», но явно не тот: «...блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем...»

Обычные мотивы введения реальных биографических фигур в художественное повествование — подключение авторской точки зрения

на все происходящее, иногда открытой, иногда замаскированной; затем более крепкая связь сферы истории со сферой частной жизни в ее подчас приватном, семейном выражении. И конечно, самоутверждение автора, когда притязаниям людей незнатных, пришлых, неродовитых противопоставлялась прочная укорененность (реальная или мнимая — другой вопрос) в своей истории. Нельзя отрицать, что последнее обстоятельство было весьма чувствительным и важным для создателя «Бориса Годунова». Но не для Гоголя. Мы сталкиваемся в данном случае с совершенно другим типом ориентации, да и с другим типом психики.

Никакая громкая слава предков не смогла бы удовлетворить самолюбия Гоголя, мечтавшего о собственной славе и высоких деяниях. Пример достославного пращура, если бы Гоголь и представлял отчетливо его жизненный путь и судьбу, только бы оттенил его собственную слабость и болезненно ранил самолюбие. Такой пример мог играть лишь роль соревновательную и побудительную, и то скорее абстрактно, а не в конкретном характере деятельности.

Дело не только в том, что фигура полковника Евстафия, переходившего из стана в стан, была довольно пестрой и переменчивой. Об этом Гоголь мог и не знать. Сама пространственная и историческая сфера его деятельности, а не то чтобы ее содержание, не в состоянии была вместить в себя идеальные устремления молодого Николая Васильевича. Он по-сыновьи любил Украину, жалел ее и гордился ею; он думал, что со временем сможет сделать для нее что-то очень полезное; но в своих мечтаниях он видел себя деятелем общегосударственного, общероссийского, а не провинциального масштаба.

Максималист Гоголь на меньшее не согласен.

Значительно позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь писал о «гордости родом и званием». В это время писатель вообще осуждает гордость; но в пору своей молодости он так не думал, иные виды «гордости» были ему вовсе не чужды. Однако от «гордости родом» Гоголь действительно был далек. Получилось даже так, что гордое сознание своего призвания отодвигало в тень и умаляло эту самую родовую гордость.

И все-таки в одном по крайней мере тщеславные усилия Афанасия Демьяновича не оказались бесследными: его внук унаследовал двойную фамилию — Гоголь-Яновский, подписываясь ею и в гимназии, и в первые годы петербургской жизни. Иногда, впрочем, писал он только «Н. Гоголь», а с конца 1830 года и вовсе отбросил вторую часть.

Своему ученику Михаилу Лонгинову — Гоголь занимался с ним с конца 1830 или начала 1831 года — он сказал: «Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали» [Воспоминания, с. 71].

Реплика по-гоголевски лукавая, но в ней заключается тот смысл, что отказом от «прибавки» Гоголь демонстрировал свою причастность

общероссийской стихии, по отношению к которой польское начало мыслилось им как стороннее, а украинское — как часть целого.

ОТЕЦ

Но вернемся к родословной Гоголя. Отец его Василий Афанасьевич (1777—1825) тоже поначалу вступил было на духовное поприще, обучаясь в Полтавской семинарии. Но духовного сана, как и его родитель, не принял. После семинарии хотели послать Василия Афанасьевича в Московский университет, но план почему-то расстроился. Молодой человек служил в армии, получив чин корнета [Шенрок, т. 1, с. 377], а затем определился на службу при Малороссийском почтамте, директором которого был бывший министр, родственник гоголевской семьи Д. П. Трошинский.

В 1805 году Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора и, занимаясь хозяйственной деятельностью в своем имении, больше уже не служил. Выполнял лишь обязанности, как сегодня бы сказали, общественного характера: когда Трошинского выбрали в повитовые маршалы (предводители дворянства), он взял Василия Афанасьевича к себе в секретари. А во время войны 1812 года «принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и... как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами» [ИВ. 1902. № 2. С. 660]. Одно время он даже исполнял вместо Трошинского обязанности повитого маршала.

Современники говорят о Василии Афанасьевиче как о человеке интересном, обладавшем разнообразными дарованиями. Он сочинял стихи, был «бесподобным рассказчиком», увлекался садоводством.

Каждой аллее в своем имении Васильевке он давал названия, вроде Долины спокойствия; сооружал гроты, мостики, подстригал деревья. Несмотря на стрижку деревьев, симпатии хозяина, видимо, больше склонялись к неправильному, неупорядоченному садоводству, о чем свидетельствует его запись: «Бакон (т. е. Бэкон. — Ю. М.), Мильтон и Аддисон установили вкус и дарование в англиском садоводстве» [Дурьлин, с. 10].

Василий Афанасьевич хотел, чтобы в его саду уют сочетался с естественностью, свободой; чтобы это был маленький, «домашний» Эдем. Прислуге он строго запретил стирать белье в пруду посреди сада, так как шум мог испугать соловьев.

Скромную жизнь на лоне природы воспевал Василий Афанасьевич и в своих стихах:

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой.
И вот девиз любимый мой.

[С. 1913. Кн. 4. С. 251]

При этом, рассказывают, Василий Афанасьевич был франт, носил лоценую матросскую шляпу и умел понравиться женщинам.

Примечательна история его женитьбы. Но вначале надо сказать о женитьбе его отца, отнюдь не будничной, не тривиальной. Поскольку богатые и знатные Лизогубы не соглашались выдать дочь за Афанасия Демьяновича, тот тайком увез ее из дома — совсем как Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках» (возможно, эту деталь писателю подсказал реальный факт из биографии его деда). В семье помнили подробности давнего романтического эпизода. «Рассказывали, как она [Татьяна Семеновна Лизогуб] забрала свои золотые и серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчалась; за это родители рассердились: ничего ей не дали...» [Головня, с. 36]. Потом родные сжалились над молодыми и выделили им хутор Купчинский, переименованный позднее в Яновщину — по фамилии владельца, а затем и в Васильевку — по имени Василия Афанасьевича.

Ухаживание Василия Афанасьевича за своей будущей женой, сватовство и женитьба протекали совсем в другом духе, соответствовавшем его характеру, тихому, сентиментальному и склонному к мечтательности. Своей невесте он потом говорил, что сама Царица Небесная указала ему на нее, явив во сне образ ребенка, младенца, которому еще не исполнилось года. Увидев как-то годовалую девочку в соседской семье, у Косяровских, Василий Афанасьевич понял, что это она, и затем, как рассказывает сама избранница, «следил за мной во все возраста моего детства» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 17]. Продолжалось «слежение» лет тринадцать (Марья Косяровская вышла замуж четырнадцати лет) — пример постоянства и целеустремленности, достойный героя рыцарского или галантного романа.

Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Василий Афанасьевич прибег к маленькой хитрости. «Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пелу, — рассказывает Марья Косяровская, — то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома» [ИВ. 1902. № 2. С. 661].

Остается добавить, что сразу «после венца» Василий Афанасьевич, чтобы дать выход своим чувствам, читал с женой любовно-авантюрный роман Хераскова «Кадм и Гармония» [Дурьлин, с. 93]⁴.

Сентиментально-мечтательная настроенность Василия Афанасьевича породила в гоголевской литературе спор о том, кто же он был в действительности. Одни биографы писали, что это типичный «старосветский помещик», что между четой Гоголей—Яновских и четой Товстогузов невозможно найти никакого различия. Другие считали, что идиллические представления о Василии Афанасьевиче далеко не соответствовали реальности, о чем свидетельствуют его письма к жене, полные разного рода хозяйственных распоряжений и советов.

Василий Афанасьевич, например, просит «приказать приказчику: 1-е, чтобы берег плотину в случае наводнения; 2-е, чтобы на прудах открывали духи, чтоб не задохлась рыба; 3-е, если тепло будет и время позволит людям, то понимать [так!] рыбы на прудах, а именно брать средней величины карасей и щук да мелких плоток и карасей. Не брать же корофов, самых больших щук и окуней». Или такие не менее детальные распоряжения: «Естли послал прикащик в Яреськи пилицыков, то резать дерево на доски толщиною в полтора вершка, а тоньше на шалевку (т. е. на теснину, тес. — Ю. М.)». «Назначенные на продажу молодые быки нужно повыучить и продавать на лигачах (лигати — надевать веревку на рога. — Ю. М.), подобравши по шерстям и по росту попарно — продавать от 28 до 48 ср. пару, смотря по быкам».

Д. Иофанов, опубликовавший эти письма, сделал отсюда вывод, что «только в отношении раннего периода жизни Василия Афанасьевича <...> можно говорить о его сентиментально-мечтательных настроениях» [Иофанов, с. 15]. А затем, мол, как видно из писем, настроения и интересы его изменились на 180 градусов. Но едва ли это так. Ведь своей любви к соловьиному пению Василий Афанасьевич не изменил и Долину спокойствия, кажется, не переименовал.

Д. Иофанов и те ученые, с которыми он спорит, исходят из антистетического представления о человеке: дескать, он может быть или таким *или* другим; третьего не дано. Между тем практицизм и идеальность, как известно, вовсе не исключают друг друга. Если «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», то можно питать в душе поэтические устремления и в то же время оставаться «дельным человеком», заботясь о благополучии своих близких.

К тому же и дух времени вполне благоприятствовал такой «раздвоенности», так как вовсе не требовал единства и однородности поступков и чувств. Наоборот, жизнь резко делилась на ее высшие и низшие проявления, на «поэзию» и «прозу». Одно дело — идеальные переживания; другое дело — хозяйство и быт. Да и у повседневного быта существовало две стороны — интимная, домашняя, и этикетная, казовая. В одном стиле писались хозяйственные распоряжения, в другом — письма любовные или, скажем, письма к высоким покровителям, каким был для Василия Афанасьевича Д. П. Трошинский. «Это — стиль преувеличенной почтительности, переходящей в подбострастие, столь характерный для польского и украинского шляхетства» [Дурылин, с. 8]. Следует добавить: стиль, столь характерный и для сентиментально-куртуазной, галантной литературы, поклонником которой являлся Василий Афанасьевич.

Все это не мешало ему быть сметливым хозяином, вести дело справно и нерискованно.

Гоголевское имение принадлежало к среднезажиточным поместьям: в нем насчитывалось (правда, по более поздним данным — от 1835 г.) свыше тысячи десятин земли и около двухсот душ мужского

пола (ко времени же женитьбы супругов, по словам Марьи Ивановны, «в деревне нашей» «было 130 душ». — [Крутикова, с. 247]). Жили безбедно, но чего действительно постоянно не хватало, так это денег. Причиной была натуральная система хозяйства, при которой лишние деньги — редкость. Случалось, что и Трошинский испытывал денежную нужду, и тогда он обращался с просьбой о займе к Василию Афанасьевичу...

О практической сноровке Василия Афанасьевича говорит то, что Трошинский поручал ему разные хозяйственные дела. Он «вел сношения с управителями, экономами и другими лицами, служившими у Трошинского» [ИВ. 1902. № 2. С. 662], — словом, являлся как бы главным управляющим.

Обязанностью Василия Афанасьевича было заботиться не только о материальных, но и о духовных потребностях своего родственника.

«...Так как старик очень любил малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал обыкновенно родственник племянника его Гоголь, отец известного Николая Васильевича Гоголя» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 363]. Рядом со знакомой уже нам приверженностью к садоводству и к сочинению стихов умение писать и «устраивать» (то есть ставить и исполнять украинские комедии) свидетельствует о новых гранях художественной одаренности Василия Афанасьевича. Эта одаренность была у него в крови: не говоря уже о Василии Танском, славном комедиографе, прекрасно рисовала сельские пейзажи Татьяна Семеновна. Картины ее, вставленные в рамы, под стеклом, украшали ту комнату, в которой прошло детство ее внуков, в том числе и Николая Васильевича.

Драматургия, похоже, принадлежала к любимому виду творчества Василия Афанасьевича. Он писал пьесы и на русском языке, о чем свидетельствует сохранившийся отрывок одной из них [Назаревский, с. 324; Иофанов, с. 49—50]. Пьеса была явно сатирической, выдержанной в традициях русской комедии классицизма, с ее прямым, порою прямолинейным обличением порока. Что это за пороки, хорошо видно из имен персонажей: один из них Мотов; другой, его слуга, видимо, Урвалов (Мотов называет его Урвалушкой). Это все типичные словесные маски, принятые в комедийном репертуаре: в параллель с Мотовым можно поставить, скажем, «*Мота*, любовью исправленного» (название комедии В. И. Лукина), а с Урваловым — *Урыва* Алтынникова (персонаж комедии М. И. Веревкина «Так и должно»).

На этом фоне украинские пьесы Василия Афанасьевича выделялись в лучшую сторону. Одна комедия, «Собака-вівця», известна, правда, только по краткому пересказу содержания; но другая, «Простак, або хитроші жінки, перехитрені москалем», дошла до нас полностью и неоднократно издавалась (первый раз в журнале «Основа») [1862. Кн. 2]. В этой пьесе, как отметил еще В. В. Гиппиус, отсутствует нравоучение; игра страстей — хитрости и сластолюбия — разворачивается

нескованно и легко. Терпит поражение простодушие, выигрывает хитрость; но последняя в свою очередь становится жертвой еще большей хитрости. При таком ходе дел, в ситуации «обманутого обманщика», берет верх в конечном счете не герой, а сама жизнь, ее непредсказуемая логика, ибо никогда нельзя сказать, что выигравший — самый хитрый и что не сыщется за его спиной другой, еще более искусный. В этом и состоит моральный эффект пьесы, вытесняющий прямолинейную дидактику и нравовучения. Любопытно, что именно по такой логике (хотя, разумеется, при иной стилистической и эмоциональной тональности) построит впоследствии Гоголь действие одной из своих пьес — «Игроков»...

Вообще переключки между «Простакон» и произведениями Николая Гоголя очевидны, и многие из них давно уже отмечены, например, отмечено, что «любовный треугольник»: Солопий Черевик — Хивря — попович в «Сорочинской ярмарке» — точно соответствует расстановке героев: Роман — Параска — дьяк — в комедии Василия Афанасьевича. Близость эта закреплена четырьмя эпиграфами «Сорочинской ярмарки», заимствованными Гоголем из комедий своего отца.

Но еще важнее сама манера гоголевского комизма, которая складывалась не без влияния Василия Афанасьевича.

В «Простаке» есть такая сцена: Параска, чтобы остаться одной и встретиться с любовником — дьяком, уговаривает простодушного мужа пойти на охоту на зайца — и не как-нибудь, а в сопровождении свиньи.

Уже в наши дни этот эпизод вызвал критическое замечание ученого-литературоведа: «Пьеса Гоголя-отца не лишена недостатков. Трудно поверить автору, что Параска смогла убедить старого крестьянина Романа в том, что поросенок может заменить собаку во время охоты на зайца» [Иофанов, с. 64]. А то, что свинья Ивана Ивановича вбежала в присутствие Миргородского суда и украла прошение Ивана Никифоровича, — это правдоподобнее? «Необыкновенное происшествие», говоря словами Гоголя, берется как данность, как нечто само собою разумеющееся, не нуждающееся ни в какой мотивировке. Если же мотивировка дается, то своеобразно — псевдосерьезно, что еще более увеличивает эффект нелепицы: так опровергается сплетня, будто «Иван Никифорович родился с хвостом назади»: мол, всем известно, что «у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост» и т. д. Обаяние юмора — в его неаффектированности, вкрадчивой естественности, непреложности. Такому юмору Гоголь учился у людей, окружавших его в детстве, учился у отца.

Дом Василия Афанасьевича был своего рода маленьким клубом, куда соседи, привлекаемые гостеприимным и веселым хозяином, приходили, чтобы послушать других и рассказать что-то самим. Балагурили в «истинно малороссийской манере» [Кулиш, 1854, с. 6], то есть многие часы проводили за смешными разговорами, предметом которых становилось все на свете.

При всей неполноте сведений о художественных занятиях Василия Афанасьевича можно сделать вывод об их многосторонности и разностильности. Сентиментальный и чувствительный в иных своих стихах, обличитель в русской комедии, он обнаружил задатки тонкого юмориста в комедиях украинских, которые несравнимо значительнее всего остального, написанного им. Специалисты не случайно отводят Василию Гоголю место в истории украинской литературы.

Чтобы завершить тему художественных занятий Василия Афанасьевича, нужно упомянуть еще о том, что он умел петь и играть на музыкальных инструментах. Один из корреспондентов, посылая свою песню, обращается к нему «как охотнику петь и имеющему часто приятнейший случай аккомпанировать в песнях дамам» [Иофанов, с. 60].

Что же касается здоровья, то крепким физическим сложением Василий Афанасьевич не отличался. Когда он еще был учеником Полтавской семинарии, учитель Стефан Гординский обходился с ним бережно, «соображаясь всегда силам его телесным, которые усматриваются “невелики”» [ИВ. 1902. № 2. С. 658]. Почти символической была и служба Василия Афанасьевича в Малороссийском почтамте по причине каких-то таинственных «продолжительных припадков», мешавших ему надолго уезжать из дома.

Был Василий Афанасьевич мнителен: раз приснилось ему, что он в церкви, а «когда во сне бываешь в церкви, то наяву бывает печаль». Сама «царица в порфире» подошла к нему и предрекла: «Ты будешь одержим многими болезнями». «И точно, — говорит Марья Ивановна, — он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него 2 года...» [Гоголь, 1913, с. 252].

Со временем мнительность и болезненное состояние Василия Афанасьевича усилились.

МАТЬ

Марья Ивановна (1791—1868) вышла замуж за Василия Афанасьевича в 1805 году, совсем еще ребенком. Будущий муж очаровал ее своей чувствительностью, любовью, приятностью обхождения, но для того, чтобы решиться на замужество, понадобилось вмешательство ее влиятельной родственницы, тетки Анны Матвеевны Трошинской. «Она еще не успела испытать, что такое любовь, она была занята еще куклами, но, по приказанию или по совету тетки, должна была повиноваться, несмотря на то, что она была первая красавица, а отец, говорят, был некрасив» [Головня, с. 4].

Насчет отца, то есть Василия Афанасьевича, вопрос спорный: А. С. Данилевский, бывавший в доме Гоголей с детских лет, находил его довольно красивым. Но относительно Марьи Ивановны все знавшие ее сходились на том, что это была «дивная красавица» [Воспоминания, с. 45].

Портрет, выполненный неизвестным художником, передает нам ее тонкие черты лица, с узким овалом, маленьким ртом и спокойным взглядом больших, продолговатых глаз.

Глаза ее были «карие, нежно-внимательные» — как и у ее сына Николая Васильевича.

Выглядевшая ко времени замужества совсем еще девочкой, Марья Ивановна и впоследствии всегда казалась моложе своих лет. Все, кто встречался с ней, в один голос говорят о ее молодости.

С. Т. Аксаков, впервые увидевший Марью Ивановну весной 1840 года, когда ей исполнилось уже сорок девять лет, писал: «Взглянув на Марью Ивановну... и поговорив с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя» [Воспоминания, с. 119].

Похвала художническим способностям матери Гоголя может показаться комплиментарно преувеличенной. Напомнив, как жестоко ошибалась Марья Ивановна, приписывая своему сыну, начинающему писателю, авторство некоторых ничтожных журнальных сочинений, один из исследователей приходил к выводу: «Было бы <...> явным преувеличением считать ее женщиной, наделенной тонким “эстетическим чувством”, как это делает С. Т. Аксаков» [Июфанов, с. 90]. Однако мемуарист говорит не о разборчивости вкуса, не о зрелости эстетического выбора, а лишь о том, что Марья Ивановна «полна» «эстетического чувства». Под этим следует понимать открытость впечатлениям изящного, отзывчивость на художественные произведения, в том числе и комические по своей природе. С. Т. Аксаков подметил в ней еще «оттенок самого кроткого юмора», что позволяло ей, видимо, отнюдь не безучастно присутствовать при веселых рассказах и балагурстве ее мужа.

По уровню же своего развития, глубине эстетического суждения Николай Васильевич очень скоро превзойдет свою мать, чья провинциальная ограниченность будет вызывать у него неприкрытое раздражение. Но на первых порах ему важнее была сама атмосфера любви и заинтересованности в искусстве, которая установилась в родном доме.

Это вовсе не означает, что жизнь в Васильевке протекала легко и безоблачно. Несчастливым брак Марьи Ивановны, несмотря на ее раннее замужество, не назовешь — скорее наоборот. Она с каждым годом все больше и больше привязывалась к мужу, ставшему ее первой и единственной любовью. Василий Афанасьевич, со своей стороны, относился к жене с трогательной ласковостью, гордился ее красотой, называл Белянкою — за белый, необычайно нежный цвет кожи.

Но было нечто, омрачавшее их жизнь — и с годами все больше и больше. Это — недомогание, причем не только физическое. Мнитель-

ность мужа отзывалась и многократно усиливалась в сознании Марьи Ивановны с ее врожденной склонностью к мрачным мыслям и предчувствиям. Современник свидетельствует: «Добрая, религиозная, сострадательная, готовая всегда помочь, М. И. Гоголь вместе с тем была крайне впечатлительна и подозрительна, бывали дни, недели, целые месяцы, когда впечатлительность М. И. Гоголь доходила до крайних пределов, достигала почти болезненного состояния» [Трахимовский, с. 33]. Дочь ее Анна Васильевна говорит, что мать отличалась «очень подозрительным» характером и «расстроенным воображением» [Там же, с. 38]. «По самому ничтожному поводу ей представлялись нередко большие страхи и беспокойства» [Шенрок, т. 1, с. 57].

Недобрыми предчувствиями, «страхами и беспокойствами» обыкновенно сопровождалась ее мысли о близких — о муже, а потом и детях. Ей постоянно казалось, что их подстерегает что-то ужасное и роковое.

НИКОЩА

Николай не был первенцем в семье: Марья Ивановна уже несколько раз рожала, но дети были слабыми и, не прожив месяца, а то и нескольких дней, умирали. Поэтому в ожидании новых родов напуганная мать переехала из Васильевки в местечко Большие Сорочинцы, находившееся в тридцати пяти верстах от гоголевского поместья. В Больших Сорочинцах жил знаменитый в ту пору на Украине врач Михаил Яковлевич Трахимовский (или Трофимовский, как его иногда называли на русский лад), на которого сильно надеялась Марья Ивановна⁵.

Кроме того, она дала обет: если родится мальчик, назвать Николаем — в честь чудотворного образа Николая, хранившегося в диканьской церкви и называвшегося Николаем Диканьским.

Мальчик появился на свет 20 марта 1809 года в доме Трахимовского. Дома этого сейчас не существует — он сгорел во время Великой Отечественной войны, и нам остается лишь возможность взглянуть на него глазами тех, кто успел в нем побывать и запомнил увиденное.

На исходе позапрошлого века путешествие по гоголевским местам предпринял известный писатель В. А. Гиляровский. В Сорочинцах на Преображенской улице Гиляровский нашел интересовавший его дом — он принадлежал некоему Павлу Моисеевичу Ерьско, коллежскому асессору. Сквозь деревья садика белела мазанка под железной крышей, заменившей прежнюю, ветхую кровлю. Открылась дверь. «Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами — два по одной, два по другой стороне». «Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика,

слышавшие первый крик великого писателя, целы, и мы среди них...» [РМ. 1900. Кн. 2. С. 126].

Новорожденного крестили спустя два дня в Спасо-Преображенской церкви, находящейся на той же улице, о чем было записано в церковной метрической книге, под номером 25-м: «Марта 20 у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». В графе о «восприемнике» назван «господин полковник Михаил Трахимовский» — сын доктора Михаила Яковлевича⁶.

Первые дни после рождения ребенка прошли в большой тревоге. Марья Ивановна впоследствии рассказывала, что мальчик «был необыкновенно слаб и худ» и «долго опасались за его жизнь» [Воспоминания, с. 458]. Лишь «через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновшину».

Очень скудны сведения о первых годах жизни Николая. По воспоминаниям домашних, он был очень впечатлителен, развивался быстро, проявлял недетскую сметливость и понятливость. К пяти годам по рисованным, игрушечным буквам Никоша (так звали мальчика в семье) выучил алфавит, писал мелом и разбирал слова.

Пяти лет пристрастился к стихотворству — по-видимому, под влиянием или даже по прямой подсказке отца. Когда Василий Афанасьевич брал с собою в поле Никошу и младшего сына Ваню (он появился на свет через два года после рождения первого сына), то «обычно задавал им дороною темы для стихотворных импровизаций: “солнце”, “степь”, “небеса”. Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи» [Воспоминания, с. 460].

Рассказывают, что однажды к Василию Афанасьевичу приехал сосед по имению — знаменитый писатель В. В. Капнист — и застал пятилетнего Никошу с пером в руке. Капнист, — рассказывает Марья Ивановна, — «взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму [так!] и сказал, как нужно его поручить отличному учителю» [ЛН. Т. 58. С. 770].

Г. П. Данилевский, с которым Марья Ивановна поделилась воспоминаниями, приукрасил этот эпизод: вышло нечто вроде благословения начинающего художника со стороны маститого: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» [Воспоминания, с. 458]. Но так или иначе, Капнист обратил внимание на литературные склонности мальчика.

Реальность этого эпизода вообще ставят под сомнение, так как Марья Ивановна, поведавшая о нем, склонна была фантазировать и приписывать сыну несуществующие заслуги. А также на том основании, что дочь Капниста Софья Васильевна Скалон не сказала ни слова об этом в своих воспоминаниях. Однако отвергать с порога этот эпизод неоправданно. С. В. Скалон «промолчала», ибо, как известно, далеко не все, в том числе и не все достойное памяти, отражается в

мемуарах. Что же касается фантазирования Марьи Ивановны, то оно обычно имело определенную направленность: любящая мать готова была увидеть в сыне автора не принадлежащих ему сочинений или изобретений, но при этом вовсе не придумывала несуществующее.

И конечно, весьма неточно утверждение современной исследовательницы, будто Марья Ивановна опровергает слова «Г. П. Данилевского о столь раннем стихотворстве ее сына» [Крутикова, 2003, с. 329]: она лишь против преувеличения достоинств ранних опытов Никоши («...из этой нескладицы нечто похожее на рихму»).

Возвращаясь к влиянию отца, надо добавить, что перенял Николай от него и «жаркую страсть к садоводству». Поэтому он очень любил раннюю весну, когда закипала работа. «Это-то время было обширный круг моего действия, — вспоминал он позднее в письме к матери. — Живо помню, как, бывало, с лопатой в руке глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкой...» [X, 90]. Обширный сад в «аглицком» вкусе, с гротами, мостиками, прихотливо вьющимися дорожками, будоражил воображение мальчика, увлекал своей естественностью и непредсказуемостью.

В это время у Гоголя закладывалась своеобразная эстетика сада — свободного, неприглаженного, асимметричного, живого, которая нашла отражение не только в его творчестве (памятный всем сад Плюшкина), но и жизненных пристрастиях и поведении. Один из соучеников Гоголя по Гимназии высших наук рассказывал: «...всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. — Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает, — говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя при том: “вот тут и сажай деревцо, где камень упал”» [ИВ. 1902. № 2. С. 557].

В мальчике рано пробудилось обостренное внимание к таинственному и страшному, к тому, что романтики называли «ночной стороной жизни».

Однажды произошел случай, оставивший глубокий след в сознании Гоголя. Рассказ его передала впоследствии А. О. Смирнова-Россет.

«Было мне пять лет. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха-няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли — мне тогда уже казалось, что стук маятника был *стуком времени, уходящего в вечность*. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились

недобрым светом... Мне стало жутко! Я вскарабкался на диван и прижался к стене... “Киса, киса!” — пробормотал я, и желая ободрить себя, соскочил и, схватив кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги в воде разбежались — водворились полный покой и тишина, — мне вдруг стало ужасно жалко “кисы”. Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек» [РС. 1902. № 9. С. 487; курсив в оригинале]⁷.

Рассказав об этом эпизоде, мемуаристка отметила: «Какая глубина чувства» [Смирнова, 1989, с. 71], — и это, конечно, справедливо; но точнее было бы говорить о глубокой спутанности и драматической переплетенности чувств, которые владели ребенком.

Тотчас приходит на память литературная параллель к эпизоду — случай с панночкой из «Майской ночи». «...Ушел сотник с молодой женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку: кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку: кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу».

Кошка — воплощение злой силы; среди обличей, которые принимает ведьма, кошка — одно из самых частых. «Ведьмы... превращаются в клубок, в кошку, в различные и бесчисленные фантастические образы» [Маркович, с. 83]. Гоголь впитал это представление народной демонологии, усвоил его так, что оно проникло в глубокие пласты души. Поэтому одним лишь испугом при встрече с кошкой не объяснить всего, что произошло, — понадобилось некое внутреннее предрасположение, особенно тревожное состояние. Мальчику «стало нудно» («по-малороссийски нудно, что по-русски грустно», — поясняет Смирнова-Россет) — чувство, близкое ощущению покинутости перед лицом страшной силы времени. Встреча с кошкой происходит в обезлюженном, вымершем мире, когда ощущение тревоги возрастает до степени ужаса и толкает к жестокому поступку.

Но способный к жестокости мальчик способен также к глубокому раскаянию, когда все случившееся вдруг выступает в совершенно ином свете, и в несчастной «кисе» он видит не воплощение злой силы, а безвинно загубленное Божье создание...

О другом детском переживании, запечатлевшемся на всю жизнь, мы узнаем из собственного рассказа Гоголя. Это переживание сугубо религиозного характера.

Позднее, говоря о том, что сестре его Лизе необходимо внушить «правила религии», ибо «это фундамент всего», Гоголь дает матери совет, как это лучше сделать: «Не учите ее какому-нибудь катехизису, который тарбарская грамота для дитяти. И это немного тоже делает добра, если она будет беспрестанно ходить в церковь. Там для дитяти тоже все непонятно: ни язык, ни обряды. Она привыкнет на это глядеть как на комедию. Но вместо всего этого говорите, что Бог все видит, все знает, что она ни делает. Говорите ей поболее о будущей жизни, опишите всеми возможными и нравящимися для детей красками те радости и наслаждения, которые ожидают праведных, и какие ужасные, жестокие муки ждут грешных. Ради Бога, говорите ей почаще об этом, при всяком ее поступке, худом или хорошем. Вы увидите, какие благодетельные это произведет следствия. Нужно сильно потрясти детские чувства, и тогда они надолго сохранят все прекрасное» [X, 281–282].

Строки эти требуют комментария. Семейство Гоголя было религиозным, очень религиозным, — собственно, ничего отклоняющегося от нормы в этом не было. Отличалось оно особенным вниманием к формальному отправлению обряда, ко всем знакам благочестия и благомыслия.

В начале прошедшего века исследователь, еще заставший в живых сестру Николая Васильевича Ольгу, собиравший изустные сведения и неизвестные документы из гоголевского семейного архива, пришел к выводу: «Не говоря о том, что посещение церковных служб вменялось в обязанность всем, в семье Гоголя особенно любили посещать, по возможности пешком, святые места, монастыри, как, например, в Диканьке, Будишах, Лубнах и т. п. В Васильевке долгое время находилась большой, обитый железом сундук, с проделанным в крышке отверстием, чрез которое бабушка часто опускала деньги, предназначенные на устройство храма. ...На столе у них постоянно лежало Евангелие, а любимым чтением матери, бабушки, а потом и Ольги Васильевны были Четвы-Минеи, в старинных кожаных переплетах. Религиозно-мистическое настроение часто даже склонялось в сторону аскетизма, выражавшегося в изнурительном посте...»

Источником этих настроений была Марья Ивановна, перенявшая их, в свою очередь, от матери, Татьяны Семеновны. Что же касается Василия Афанасьевича, то, со своим многосторонним характером, склонностью к озорству и домашнему эпикуреизму, он не во всем разделял строгое направление жены, но и не перечил ему, во всяком случае сколько-нибудь резко.

А как же Никоша, сделавшийся главным объектом религиозно-нравственного воспитания матери? Мальчик послушно делал все, что от него требовалось, но обряд не затрагивал глубин его сознания,

порою же даже коробил его своей неэстетичностью и формализмом. Спустя несколько лет Гоголь смог в этом признаться матери.

Но одновременно он поведал и о другом, о чем раньше тоже никогда не говорил. «...Один раз — я живо, как теперь, помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность» [X, 282].

Вот что довелось испытать мальчику — не просто волнение, а потрясение, когда мысль доходит до самого дна души и нерасторжимо сливается со всем существованием. Гоголю необыкновенно ясно представилось, что ни один его поступок, ни одно слово не окажутся утаенными от Всевышнего, что все будет в конце концов взвешено, оценено и повлечет неотвратимый приговор — награду или наказание. И в этом приговоре нельзя уже будет ничего поправить, потому что невозможно взять назад свершившееся, дурное намерение или поступок... Мысль простая до тривиальности, но когда Гоголь вник в нее всеми чувствами, он ужаснулся.

И подобно другому сильному детскому переживанию, вызванному гибелью кошки, — рассказ о Страшном Суде гулким эхом отозвался в творчестве Гоголя.

В одной из ранних его вещей, в «Главе из исторического романа», «дьякон, исполнившись, видно, Святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле, только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей».

А в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь предвещает уже от своего имени: «...соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

Отношение Гоголя к отправлению религиозного обряда с годами менялось: впоследствии, как мы еще будем говорить, обряд перестанет казаться ему тягостной формальностью. Но переживание будущего Страшного Суда останется тем же, разве что усилится и обострится. Гоголь «прожил жизнь под террором загробного воздаяния» [Мочульский, с. 88]. Идея этого «террора» зародилась в раннем детстве, после потрясшего его навсегда рассказа матери.

Примечательна эта двойственная природа страха, обнаружившаяся уже с детских лет: Гоголь боялся и злой, ирреальной силы; боялся и силы высшей, божественной.

Воспоминание об этом рассказе освещает еще одну черту характера мальчика — его способность к мучительному раскаянию — собственно, о том же говорит и эпизод с кошкой.

Гоголь обвиняет себя в эгоизме, говорит, что «никого особенно не любил, выключая только вас», то есть мать, — и это признание было истолковано некоторыми исследователями в том смысле, что он равнодушно и холодно относился к отцу. Однако слова Гоголя подразумевают и то, что он осознал греховность этой холодности, что он постарался ее преодолеть, обратить в нечто противоположное и что стимулом для подобных усилий послужило потрясение от рассказа матери («...это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли»).

К матери, с ее бесконечной ласковостью и нежностью, Гоголь всегда был ближе. От отца — дальше. Он и сам замечал эту отдаленность, осуждал себя; его любовь была в некотором смысле рассудочной — так бывало у него и впоследствии, и это наряду с ощущением всей ее непреложности усиливало мучительное чувство собственного несовершенства. Так повелось уже с детства.

Положение мальчика в семье заставляло его бороться со своим эгоизмом, преодолевать его. Вначале Гоголь рос один, и как первенец, родившийся после детей, умерших в младенчестве, как дитя, буквально испрошенное Марьей Ивановной у Бога (обет ее Николаю Диканьскому), приковывал к себе всю любовь родителей. Но когда ему шел второй год, появился брат Ваня (умерший в 1820 г.). Потом родились сестры: Марья в 1811 году, Анна — в 1821-м, спустя два года — Лиза, а позднее, в 1825-м, — Ольга. В семье стало пятеро детей (кроме того, еще двое — Таня и другая Анна — умерли в раннем возрасте). Никоша был среди них самый старший. И с годами он привык думать и заботиться о брате и сестрах.

«ПО ТУ СТОРОНУ ДИКАНЬКИ И ПО ЭТУ СТОРОНУ ДИКАНЬКИ...»

Пространство, входившее в кругозор Никоши, было невелико и измерялось несколькими десятками верст. Большую часть времени мальчик проводил в Васильевке; бывал в Яресках на реке Псёл, где Гоголи владели частью хутора. Очень любил ходить в рощу в двух с половиной верстах от Васильевки, называвшуюся Яворившиной.

К храмовым праздникам родители отправлялись на богомолье в уже упоминавшиеся Диканьку, Будиши, Лубны, а также в Ахтырку, куда стекался народ из многих мест Полтавской и Харьковской губерний. Наверное, и Никоша бывал с родителями на этих праздниках.

Ближайшее к Яновшине селение — Диканька, место дорогое гоголевской семье. Здесь в Николаевской церкви висела икона, перед которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее ребенка.

Любопытно, что именно в диканьской церкви будет служить один из персонажей и рассказчиков первой гоголевской книги повестей дьяк Фома Григорьевич; что именно диканьскую церковь распишет кузнец Вакула в «Ночи перед Рождеством». Правда, не уточнено, о каком храме идет речь: в Диканьке, помимо Николаевской, находилась еще Троицкая церковь, построенная в екатеринские времена.

Известна была Диканька и связанными с нею историческими воспоминаниями. Пушкин еще не написал «Полтаву» (где, кстати, фигурирует Диканька), но все знали, что нынешний владетель селения министр внутренних дел князь Виктор Павлович Кочубей — правнук «страдальца» Василия Леонтьевича Кочубея, казненного Мазепой за то, что известил Петра I о готовящейся измене. В Николаевской церкви показывали сорочку, в которой, по преданию, Кочубей принял мученическую смерть. А рядом с церковью рос огромный дуб — «мазепинский дуб», под сенью которого, как говорили, Мазепа встречался с Матреной, Кочубеевой дочерью (у Пушкина — Марией).

Все эти исторические воспоминания и ассоциации никак не отразятся в будущей книге Гоголя. Писатель вынесет в ее название слово «Диканька» и тем самым подчеркнет роль этого понятия, но, как и всё у Гоголя, оно отнюдь не локализованное, не исторически аффектированное. Мы говорим: Диканька — некий центр художественной вселенной, которую открыли «Вечера на хуторе...» («... и по ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...» — фраза из «Ночи перед Рождеством»), но это так и не совсем так. Фактически Гоголь переместил этот центр за пределы Диканьки, в некий хутор, где живет пасечник, где рассказываются одна история за другой и таким образом составляется будущая книга. Нужно вполне оценить уточнение «Вечера на хуторе *близ* Диканьки»; эта близость, но не тождественность затем обыгрывается в тексте.

Рудый Панько предвидит, что его встретят как дерзкого выскочку, осмелившегося выйти на литературное поприще: «Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими!» Он имеет в виду читающую публику, прежде всего столичную, светскую — книга ведь пишется и издается в Петербурге. Но вместе с тем в сетованиях пасечника угадывается и другой адрес. «Слышало, слышало вешее мое все эти речи еще за месяц! То есть я говорю, что нашему брату хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — Это все равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить... “Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!” Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород... чем показаться в этот великой свет». Это сказано уже не о столичном высокопоставленном читателе, а о своем «великом пане», хотя бы и диканьском, — из селения, где у В. П. Кочубея были роскошные палаты⁸. Оказывается, войти в такой дом, несмотря на то, что он совсем рядом, труднее, чем съездить в Миргород.

Словом, автор «Вечеров на хуторе...» строит *свой* художественный мир, со *своим* центром... Но вернемся к реальному пространству гоголевского детства.

Недалеко от Васильевки, на реке Псёл, располагалась Обуховка — родовое имение В. В. Капниста. Автор знаменитой «Ябеды» коротал здесь время, по его словам, «в миру с соседями, с родными, в согласье с совестью моей, в любви с любезною семьей...».

Это строки из стихотворения «Обуховка» (1818), в котором поэт увековечил свое родовое гнездо, представив его наглядно и во всех подробностях. Вот господский дом под соломенной крышей, защищенный горою от северных ветров. Вот Псёл с островами, плотиной, водопадом, мельницей о двадцати колесах, с обширным лесом на берегу. Вот кладбище, где похоронены отец и семеро детей поэта и где, как он предчувствует, скоро будет и его могила.

Описывая «многосенный лес», автор останавливает внимание еще на одной достопримечательности:

Пред ним, в прогалине укромной,
Искусство, чтоб польстить очам,
Пологость дав крутым буграм,
Воздвигнуло на горке скромной
Умеренности скромный храм.

Современный комментатор Капниста полагает, что здесь подразумевается господский дом (о котором уже шла речь выше), но это не так. Стихотворные строки в данном случае следует понимать буквально: одна из дочерей Капниста рассказывает, что в Обуховке жил старичок француз, некий m-г Asselin, который построил «храмик». «Храмик этот назывался храмом умеренности; близ него были посажены три дерева: сосна, дикий каштан и дуб» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 348].

Храм умеренности в Обуховке вполне сродни Долине спокойствия в Васильевке, или «Храму удовольствия и щастия» в «Афинской жизни» Н. Карамзина (1793), или Храму уединенного размышления в деревне Манилова в «Мертвых душах»... Господствующий вкус проявлялся в сходных подробностях и фактах.

Семьи Капнистов и Гоголей находились между собой в самых дружественных отношениях. Сохранилось три письма Капниста Василию Афанасьевичу от 1815 года, из которых видно, что они вместе занимались какими-то хозяйственными делами своего вельможного соседа Д. П. Трошинского.

Василий Афанасьевич и Марья Ивановна с детьми часто гостили в Обуховке. Дочь писателя Софья Васильевна Капнист-Скалон говорила позднее, что она знала Никошу еще «мальчиком, всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать...» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 363].

В июле 1813 года в Обуховке произошло памятное событие — сюда приехал Г. Р. Державин, приходившийся родственником хозяину дома:

вторая жена Державина, его очаровательная Милена, иначе говоря, Дарья Алексеевна Дьякова, была сестрой Александры Алексеевны, бывшей замужем за Капнистом. Знаменитому гостю и его жене приготовили торжественную встречу, тем более что их приезд совпал с пребыванием в Обуховке Д. П. Трошинского.

Случилось в это время быть у Капнистов и родителей Гоголя. Марья Ивановна надолго запомнила эти дни: «Все сбежались с разных домиков, разбросанных по огромному саду, смежному с лесом на берегу Псла, — дети Василия Васильевича, родные, живущие у них постоянно, разные бедные и гости, в том числе и Дмитрий Прокофьевич Трошинский... И как угощаемы были от радушных хозяев, сколько было разнообразно удовольствий, сколько сюрпризов! Д. П. (Трошинский) и Державин помогали разным остроумным выдумкам» [Гоголь, 1913, с. 249].

Вполне возможно, что свидетелем всего этого был и четырехлетний Никоша. Во всяком случае, он знал обо всем происходившем из семейных воспоминаний.

УКРАИНСКИЕ АФИНЫ

Так назвал имение Трошинского первый биограф писателя П. А. Кулиш [Кибинцы — «Афины времен Гоголева отца». — Кулиш, 1862, с. 20]. В географическом пространстве гоголевского детства Кибинцы занимают особенно важное место. Васильевка, Диканька, Обуховка составляли первоначальный облик родной среды — природной, исторической, культурной, этнографической; Кибинцы вносили в этот облик дополнительные, порою самые яркие краски — особенно это относится к сфере культуры, ведь именно здесь находился центр или, по крайней мере, один из центров культурной жизни всей Полтавщины. А кроме того, Кибинцы благодаря фигуре и, так сказать, образу своего хозяина таили в себе такие стимулы, которые затем отозвались во всем духовном развитии писателя...

Сведения о родословной Дмитрия Прокофьевича Трошинского (1754—1829) противоречивы, однако ясно одно: некогда знатному роду (первым известным его представителем называли родственника Мазепы) предстояло отодвинуться в тень, чтобы затем вновь возвыситься в лице Дмитрия Прокофьевича.

С помощью своего дяди архимандрита Амфилохия Трошинский поступил в Киевскую духовную академию, после успешного окончания которой служил писарём в штабе корпуса, действовавшего в Молдавии. И тут на него обратил внимание князь Николай Васильевич Репнин, командующий этим корпусом, а затем (с 1771 г.) — всеми русскими войсками в Валахии. Репнин так полюбил Трошинского, что не хотел отпускать его от себя: назначенный в 1775 году чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе, он взял

Дмитрия Прокофьевича с собой секретарем; затем, будучи генерал-губернатором в Смоленске и Орле, Репнин поручал ему заведование своей канцелярией.

В 1787 году через Украину проезжала Екатерина II — с огромною свитою, в сопровождении австрийского, английского и французского послов она направлялась инспектировать вновь приобретенные земли Крыма и Новороссии. На Украине долго помнили это событие и очень гордились им; гоголевский Голова (из «Майской ночи»), например, будет при каждом удобном случае рассказывать о том, как он «удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером». Трошинскому повезло гораздо больше: путешествие августейшей особы стало, как выразился его биограф И. И. Ореус, «зарюю счастья для Дмитрия Прокофьевича» [РС. 1882. № 6. С. 645].

Во время остановки Екатерины II в Киеве в числе других лиц ей был представлен и тридцатитрехлетний Трошинский; одновременно Репнин рекомендовал его в качестве способного и многообещающего чиновника графу Александру Андреевичу Безбородко. Будущий канцлер и князь, Безбородко уже пользовался большим влиянием, имея звание гофмейстера, и заведовал принятием всех прошений, поступающих на имя государыни; неудивительно, что благодаря его покровительству карьера нового служащего стремительно пошла вверх. Трошинский вскоре получил орден св. Владимира 2-й степени, чин действительного статского советника, должность статс-секретаря и — как особую милость Екатерины — имение Кагорлык в Киевской губернии (до этого он уже владел наследственным хутором в Яресках, где был хутор и у Гоголей).

Свое положение Трошинский сумел сохранить и при императоре Павле — и даже упрочить его, став сенатором и тайным советником.

В царствование Александра I начинается тур ведомственных, министерских назначений Трошинского. Будучи членом Государственного совета, он становится главным директором почт, а позднее, получив чин действительного тайного советника, возглавляет Министерство уделов, в котором, между прочим, спустя два с небольшим десятилетия будет служить Николай Васильевич Гоголь... В 1806 году Трошинский внезапно увольняется со службы. Официальной причиной послужило «сильное ослабление здоровья», но, быть может, повлияли и какие-то трения и неудовольствия на самом высоком уровне. По крайней мере, племянник его А. А. Трошинский обмолвился многозначительной фразой, что «нередко приключаются ему сильные болезненные припадки, и от чего и в характере своем, от природы горячем и вспыльчивом, теряет некоторую приятность» [РС. 1882. № 6. С. 649].

Получив в июне 1806 года увольнение, Дмитрий Прокофьевич удаляется на родину, в свое новое имение Кибинцы, где благополучно проводит восемь лет. Земляки, разумеется, не могли оставить без внимания столь значительное лицо и выбрали его в 1812 году в губер-

ские маршалы полтавского дворянства. Именно в это время Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский выполнял при губернском маршале обязанности секретаря.

В 1814 году Трошинский стал министром юстиции, сменив на этом посту известного поэта И. И. Дмитриева. Он рьяно взялся за дело: в атмосфере общественного подъема, вызванного победой над Наполеоном, естественно, рождалось желание утверждать справедливость и законность, бороться со взяточничеством, злоупотреблениями, коррупцией. В письме на родину к племяннику А. А. Трошинскому он писал (12 сентября 1814 г.): «Жалейте обо мне, не пеняйте на меня, есть ли [так!] случится пропустить почту, другую, а может быть и несколько, и в молчании моем находите ту отраду, что занятия мои посвящаются долгу службы и пользе угнетаемых, коих голос проникает мою душу» [РС. 1882. № 6. С. 652]. Правдолюбие Трошинского подтверждают современники: его называли «бичом справедливости» и «покровителем бедных». С. В. Скалон писала, что он известен «правотою души своей».

Дмитрий Прокофьевич пробыл на посту министра юстиции три года, до тех пор, пока его не постигло тяжелое горе.

Оставаясь всю жизнь холостым, Трошинский имел внебрачную дочь, которая вышла замуж за уланского офицера князя Ивана Михайловича Хилкова. Молодые супруги вместе с ребенком, маленькой Прасковьей, жили в Кибинцах под сенью дома Трошинского. Но в 1817 году Надежда Дмитриевна умерла. Дмитрий Прокофьевич тяжело переживал смерть единственной дочери; здоровье и силы его, необходимые для исполнения многотрудной государственной должности, оказались подорванными. К тому же против Трошинского интриговал граф А. А. Аракчеев, не переносивший людей с независимым и гордым характером.

В августе 1817 года Трошинский подал в отставку. Прожив еще пять лет в Петербурге, он в 1822 году окончательно вернулся в родные места, чтобы проводить время в своих имениях, больше всего в Кибинцах, в обществе родных, знакомых, приживальщиков, чтобы по праздничным и будним дням принимать многочисленных гостей, а нередко и самому выезжать в гости.

Приезд Трошинского к соседу-помещику всякий раз вызывал шумную радость и возбуждение, почти как нисхождение божества к смертным. Капнист с дочерью Катериной как-то встретили его, преобразившись в Филемона и Бавкиду. «И когда спадывала с них изорванная одежда, то они в новом своем виде подходили к Трошинскому с приличными приветствиями в стихах» [Гоголь, 1913, с. 250]. Если вспомнить, что в греческом мифе Филемона и Бавкиду навешают Зевс и Гермес в образе утомленных путников, то подтекст этой приветственной сценки станет совершенно ясным. Стихи на торжественный случай сочинил, видимо, сам автор «Ябеды».

Родство Трошинского с семьей Гоголя шло по женской линии: родная тетка Марьи Ивановны Анна Матвеевна Косяровская была замужем за братом Дмитрия Прокофьевича — Андреем Прокофьевичем; их сын — уже упоминавшийся выше Андрей Андреевич Трошинский. Родство не самое близкое, однако дававшее Гоголям право пользоваться покровительством могущественного человека, обращаться к нему за помощью и неделями жить под крышей его дома.

Внешне особняк Трошинского в Кибинцах не казался великолепным — деревянный, в два этажа. Но внутри царили богатство и роскошь. В доме было много фарфора, бронзы; хранились коллекции золотых монет и медалей, оружия, табакерок. Гордостью хозяина были личные вещи королевы Марии-Антуанетты — бюро, фарфоровые часы и подсвечники.

Трошинский принадлежал к числу самых богатых людей Украины. У него было около 70 тысяч десятин и более 6 тысяч душ (для сравнения напомним, что Гоголи владели примерно тысячью десятин и двумястами душами), дома в Петербурге и Киеве, движимость в миллион рублей серебром.

Для наблюдения за всем этим сложным хозяйством нужны были доверенные люди. Одно время, мы знаем, обязанности главного управляющего выполнял Василий Афанасьевич; какие-то дела Трошинского вел он совместно с Капнистом. Но со временем Дмитрий Прокофьевич решил, что для порядка в его хозяйстве нужна более сильная рука, и он остановил свой выбор на племяннике Андрее Андреевиче.

Профессиональный военный, участник прусского похода 1807 года, награжденный за взятие Гутштадта и за сражение при Гейльсберге и Фриланде орденом св. Георгия 4-й степени, произведенный в том же году в генерал-майоры, Андрей Трошинский в 1811 году вышел в отставку с правом ношения мундира и посвятил себя управлению имениями дяди⁹. Спустя десять лет он женился на Ольге Дмитриевне Кудрявцевой, приходившейся по матери внучкой польскому королю Станиславу Понятовскому. Таким образом, продолжая тему гоголевской родословной, надо отметить, что двенадцатилетний Николай породнился еще и с особой королевских кровей. Но и это обстоятельство, кажется, никогда не было предметом его гордости или даже внимания, несмотря на то, что Ольга Дмитриевна очень хорошо, породственному относилась к семье Гоголей, особенно к Марьи Ивановне. Она, например, вызвалась быть крестной матерью сестры Николая Елизаветы.

Гоголи очень часто бывали в Кибинцах, но особенно важны периоды с 1806 по 1814 и с 1822 по 1829 год, то есть время, когда здесь почти безвыездно проживал Дмитрий Прокофьевич. Второй период совпадает уже с отроческой и юношеской порой Николая; первый же приходится на младенческие и самые ранние его годы.

Как показал Д. Иофанов, именно к первому периоду (точнее, к 1812–1813 гг.) относится наиболее интенсивное участие Василия Афанасьевича в домашнем театре Трошинского, хотя началось оно, возможно, и раньше [Крутикова, 2003, с. 328]. Это значит, что самые ранние театральные впечатления, которые, конечно, были и впечатлениями художественными в более широком смысле, закладывались у мальчика в трех-четырёхлетнем возрасте. И очень важно, что они неразрывно были связаны с обликом родных или знакомых людей, проникали в сознание действительно домашним, повседневным образом. На сцене в Кибинцах выступали отец и мать, В. В. Капнист с детьми, князь Хилков, который слыл очень хорошим комиком, его жена Надежда Дмитриевна и многие другие.

Как культурное гнездо Кибинцы приобрели яркую национальную, украинскую окраску. Трошинский, «живя на покое в Малороссии, был своего рода центром для любителей малорусской старины» [Пыпин, с. 12]. Н. А. Цертелев посвятил Трошинскому свой «Опыт собрания старинных малороссийских песней» [СПб., 1819] — первый сборник украинских дум, а Я. М. Маркович — свою замечательную книгу «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях» [СПб., 1798]. В Кибинцах исполнялись украинские пьесы (написанные Василием Афанасьевичем), пелись украинские песни. Любимой песней Дмитрия Прокофьевича была «Чайка», которая «аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близ дорог, окружавших ее со всех сторон» (Гоголь позднее в статье «Взгляд на составление Малороссии» писал: «...со всех сторон открытое место... это была земля страха...»). И когда пели эту песню, Трошинский «часто закрывал лицо свое рукою и проливал слезы» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 364]. А современный исследователь напоминает, что «автором этой песни, оплакивающей несчастную долю Украины, считается не кто иной, как Иван Мазепа, и трудно предположить, чтобы Дмитрий Прокофьевич этого не знал» [Барабаш, 1995, с. 32].

Надо сказать, к чести Трошинского, что никакой национальной ограниченности у него не было. На его театре ставились и русские (например, фонвизинский «Бригадир»), и, по-видимому, западноевропейские пьесы. Писал для домашней сцены Капнист; он же в конце 1808 года предложил «для смеха» поставить «Трумфа», то есть знаменитую «шуту-трагедию» И. А. Крылова «Подшипа», рекомендуя в качестве исполнителя ролей царя Вакулы или гофмаршала Дурдурана Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского [Капнист, с. 453]. В доме находилась обширная картинная галерея, включавшая полотна западноевропейских художников. Оркестр исполнял «Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов» [Гоголь, 1913, с. 253]. Библиотека в Кибинцах насчитывала несколько тысяч томов [РС. 1882. № 6. С. 658]; ясно, что такое количество не могли составлять одни только украинские и даже русские книги. К услугам этой библиотеки

впоследствии прибежал и Гоголь-гимназист. Для его духовного развития большое значение имел тот факт, что Кибинцы были не местным и этнографически ограниченным, а общекультурным центром.

Разумеется, культурная жизнь в Кибинцах неразлучна была и с такими забавами и развлечениями, которые отличали быт барского дома, где его обитатели отнюдь не только смотрели пьесы и любовались произведениями живописи. Трапезе и возлиянию посвящалась значительная часть времени; обеды устраивались на широкую ногу, с радушием и хлебосольством, отличавшими украинских помещиков. Особенно пышно праздновались именины хозяина, приходившиеся на 26 октября. Очевидец описал одно из таких торжеств, в котором принимало участие «более 150 человек»: «Могу сказать утвердительно, что гости, включительно с прислугой, в три дня столько проглотили хлеба насущного, рыб, птиц и зверей земных, что если б во время оно припасы сии находились в Ноевом ковчеге, то весьма довольно было бы для всего семейства патриарха сего на все время плавания его поверх пучины» [КС. 1895. Т. 51. С. 239].

Трошинский любил приютить и накормить ближнего, но любил и позабавиться за его счет. На экс-министра и вельможу с годами все чаще находили припадки ипохондрии; в такие минуты специальным людям полагалось отвлекать его от тяжелых дум — это были домашние шуты. Да, в украинских Афинах сложился целый институт шутов и тех, кто подстегивал их и приводил в действие, — шутодразнителей. Шутом был некий Роман Иванович, упоминаемый в письмах Гоголя-гимназиста, и заштатный священник, поврежденный в уме Варфоломей — предмет особенно изобретательных и жестоких забав.

Бывало, что «между ним и Трошинским, садившимся нарочно возле шута, — рассказывал друг Гоголя А. С. Данилевский, — потихоньку подвигали ассигнацию и наблюдали, как, не будучи в состоянии устоять против соблазна, шут наконец ее схватывал и собирався уже ею завладеть, как вдруг, остановленный в своем намерении бесцеремонным толчком и бранным словом Трошинского, невозмутимо повторял двусмысленное: “а нехай се вам”» [Шенрок, т. 1, с. 69–70].

Иногда в роли шутодразнителя выступал сам хозяин, приказывая выставить шестидесятиведерную бочку с водой, на дно которой бросались золотые монеты. Добровольный или недобровольный добытчик должен был нырнуть и выудить непременно все золотые — тогда они поступали в его распоряжение; если же хотя бы одного недоставало, монеты снова кидали в воду. «Однажды рискнула и кинулась в бочку, — рассказывает другой знакомый Гоголя, Т. Г. Пашенко, — и духовная особа (возможно, отец Варфоломей. — Ю. М.), но неудачно: не дохватила одного только червонца... выдержала порядочную пытку, измочила шелковую рясу и должна была бросить пять или шесть золотых в бочку... Трошинский сидел на балконе с гостями и потешался водолазами...» [Б. 1880. № 268].

И все это видел или знал Никоша, все это откладывалось в нем глубоким слоем первых жизненных впечатлений.

В Кибинцах человеколюбие уживалось с бесчеловечием, культура с дикостью, прямодушие с цинизмом.

Пожалуй, верхом всех шуток была одна, учиненная над тем же Варфоломеем. С. Скалон рассказывает: «Я помню, как один раз так называемые шутодразнители, сделав чучело в виде отца Варфоломея, во весь рост, в его рясе, совершенно с его физиономией и с седой бородой, повесили его на ближайшем дереве, близ балкона, предупредив, однако, об этом Дмитрия Прокофьевича, который пришел и, усевшись на балконе, ожидал, улыбаясь, с нетерпением настоящего отца Варфоломея, чтобы посмотреть, какое коленце он выкинет, увидя своего двойника. Трудно представить себе страх и изумление несчастного Варфоломея, увидевшего себя висевшим на дереве; перекрестясь, он стал на колени, с приподнятыми руками к небу, искривив жалобно свою физиономию, сказав с большим умилением: “Благодарю Господа, что это не я!” Я и теперь живо представляю себе довольную улыбку на лице Дмитрия Прокофьевича и громкий смех окружавших его! Такими-то шутками нужно было и иногда развлекать задумчивого, мрачного и почти всегда грустного старика Трошинского» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 365].

Человек, посвящавший себя «пользе угнетаемых» и плакавший от песни, живописующей беды отчего края, находил удовольствие в страданиях ближнего. Противоречие, которое лучше всего можно выразить словами гоголевской «Шинели»: «Как много в человеке бесчеловечья... Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».

Положение многочисленной родни и друзей Трошинского оказывалось порою довольно сложным. Если вельможа был подобен солнцу, щедро изливавшему на них свет благоденствия, то естественна была и борьба за место под солнцем. В конце 1812 — начале 1813 года Василий Афанасьевич и Марья Ивановна сделались жертвой каких-то сплетен и интриги, закончившейся тем, что Василий Афанасьевич вспылал и удалил жену «из круга большого света», то есть запретил ей выходить на люди или, может быть, отослал ее домой. Узнавший об этом А. А. Трошинский сделал Гоголю-Яновскому выговор за неумение ладить с людьми, ссылаясь на собственный опыт светского человека: «...Когда прямодушно, без хитрости и лести, прожить будете в большом свете, то сочинят еще лучший вам аттестат и такую небылицу в лицах, какой еще, конечно, во сне вам никогда не пригрезится... А потому “поделом... засадили” Василия Афанасьевича “в певческую”, — заключает Андрей Трошинский» [Июфанов, с. 35].

Последняя подробность требует пояснений. Дело в том, что у Дмитрия Прокофьевича, большого любителя пения, специально содержались певчие, которые услаждали слух, когда тот играл в шахматы или предавался другим развлечениям. Поскольку среди многочисленных

талантов Гоголя-Яновского был и музыкальный, то за проявленную строптивость его отослали заниматься с певцами. Наказали, как школьника, оставив без обеда или не пустив на вакации.

Вспоминая одно из посещений Кибинец, Марья Ивановна жаловалась: «Один Андрей Андреевич истинно как родной брат со мной обходился там, а более никто, мне казалось, что ужаснейшая зависть меня окружала...» [X, 134]. Мнительной Марье Ивановне свойственно было впадать в преувеличения, но она была права в том смысле, что родственники и близкие Трошинского соперничали и старались оттеснить друг друга.

Все это происходило на глазах Никоши, и сложные впечатления от Кибинец и их хозяина с молодых лет западали ему в душу; но глубоко осознал он эти впечатления позднее, к концу гимназического периода. Пока же мальчику виделась преимущественно одна сторона облика и судьбы Дмитрия Прокофьевича, и это имело далеко идущие последствия.

Один из гоголевских биографов заметил, что на будущего писателя производили впечатление не только могущество Трошинского и пребывание его на высших ступенях государственной иерархии, но и сам факт стремительного, почти баснословного возвышения. «Едва ли будет ошибочно предположить, что этот пример стал занимать мысли Гоголя в очень раннюю эпоху его развития» [Коялович, с. 212]. В минуту откровенности Гоголь потом скажет, что он «пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства» «еще с самых времен прошлых, с *самых лет почти непонимания*» [X, 111]. Это значит — еще до старших классов гимназии и, может быть, еще до поступления в гимназию вообще.

Честолюбие Николая пробудилось очень рано, причем пример Трошинского создавал определенную «модель» поведения или, точнее, даже — судьбы. Ее первым условием было то, что человек поднимался снизу, из неизвестности, от первых ступеней общественной лестницы к высшим. Именно это прежде всего бросалось в глаза окружающим Трошинского, именно об этом не уставали они напоминать. Дмитрий Прокофьевич, писала Скалон, «был... как говорят, сын казака. Будучи беден, он дошел почти пешком до Киева, чтобы учиться в бурсе (в академии. — Ю. М.). По его рассказам, он бывал принужден целые дни писать для других, чтобы иметь право вечером заниматься в бурсе при чужой сальной свечке» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 358]. Возможно, трудности, преодолеваемые Трошинским, здесь преувеличены: был он сыном не простого казака, а войскового товарища, да и покровительство дяди-архимандрита должно было облегчить пребывание в академии. Но такова была версия судьбы Трошинского, создаваемая не без его подсказок («...по его рассказам»).

Затем неперменным моментом этой «модели» являлось и то, что возвышение происходило по заслугам, как естественная награда за

действительные достоинства. «И этот-то человек достиг впоследствии без всякой посторонней помощи, только трудами и своим умом, высокого сана, сделавшись вельможей, полезным слугой отечества, особенно же благодетелем своей родины...» [ИВ. 1891. Т. 44. С. 358]. «Без посторонней помощи», но и не совсем без нее — и в этом заключалась еще одна, волнующая особенность всего случившегося. Ведь линия судьбы Трошинского круто пошла вверх после его представления Екатерине II, сумевшей в мгновение ока распознать его дарования и безукоризненную честность. Это была помощь свыше, но такая, которая помогла счастливо обнаружиться всему тому, что уже заключалось в природе человека. Это было как бы вмешательство самого рока, безошибочно угадавшего своего избранника.

В произведениях Гоголя дважды повторяется сходная ситуация. Бобчинский просит Хлестакова сказать самому «государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Манилов грезит о том, чтобы о его отношениях с Чичиковым доложили государю и «что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами...». Совсем как Екатерина II, пожаловавшая Трошинского действительным статским советником, то есть первым генеральским чином...

Мы далеки от того, чтобы видеть в художественных ситуациях проекцию реальных фактов биографии Трошинского или вообще каких-либо иных конкретных событий. Речь совсем о другом. Человеческому воображению свойственно «проигрывать» встречу с каким-либо высоким лицом, иногда с самым высшим в общественной иерархии. Вероятно, можно отнести такую воображаемую встречу к архетипам человеческого сознания. Подкупающее в подобной встрече — возможность разом «все решить», добиться кардинальных результатов, а ее дразнящая острота в ощущении, что находишься рядом с тем, кто воплощает (или должен воплощать) высший разум, могущество, свет, поэзию... В сознании Гоголя, не только бытовом, но и художественном, возможность такой «встречи» будет играть немалую роль, и эта черта, так сказать, оттачивалась на «модели» судьбы Трошинского.

Наконец, признак этой «модели» и в том, что достигший высокого положения непременно подвергается нападкам и давлению клеветников и завистников, но мужественно выдерживает все и остается непоколебим. Как писал неизвестный нам «миргородский Пиндар», обращаясь к Трошинскому:

Шипела ль злобная змея —
В ней жало с ядом умирало.
Ты прямой шествовал стезей,
Со славою, как друг народа.

[РС. 1882. № 6. С. 663]

В свете будущего плана Гоголя посвятить себя юстиции приобретает определенный смысл и тот факт, что именно министром юстиции являлся Трошинский. Еще в 1808 году, до получения им этой должности, «миргородский Пиндар» назвал Дмитрия Прокофьевича «российским *Аристидом*», которому «свои веса вручила мудрая Фемида», — наименование стилистически весьма выдержанное, ибо украинским Афинам уместно было иметь и своего Аристида, а последнему — и своего Пиндара. Это наименование говорит и о том, что неотъемлемыми чертами репутации Трошинского были справедливость и неподкупность, которые, естественно, привели его к упомянутой должности. Кстати, в окружении Николая он не был единственным, посвятившим себя правосудию — одно время судейские обязанности исполнял В. В. Капнист: он был генеральным судьей I департамента Полтавского генерального суда. Этот факт также влиял на мироощущение Гоголя.

ПОЛТАВА

В конце лета 1818 года Василий Афанасьевич повез обоих сыновей, Николая и Ивана, в Полтаву для поступления в тамошнее уездное училище. Ехали вместе с Андреем Трошинским, направлявшимся через Полтаву в Воронеж.

Неизвестно, бывал ли Николай в Полтаве раньше — скорее всего, он впервые увидел такой большой город. Подъезжали с северо-запада, может быть, от Решетилówki или от Диканьки. «Самый вид Полтавы с этой стороны, — говорится в опубликованном позднее очерке П. Свиньина, — мало поражает живописностью своего местоположения, несмотря на площадь, уставленную большими каменными домами, сделавшими бы честь самой столице... Зато с другой, противоположной стороны Полтава представляется в самом живописном виде. Город висит на огромной горе, у ног которой расстилается обширный луг, богатый разнообразными группами деревьев, коих как будто растерял близстоящий лес; по лугу извиивается река Ворскла, чистая, ясная, знаменитая историческими событиями. Огромная масса косоугору переламывается тремя долинами, делящими город на три части: Городскую, Подольскую и Заполтавскую. Скаты косоугору, обнажая в обрывах свою красноватую внутренность, местами обшитые лесом, спускаются к лугу садами, нагнувшимися от тяжести вишен, яблók, слив, груш и прочих плодов, произрастающих во всей красе под теплым украинским небом» [ОЗ. 1820. № 120. С.3].

В кругозор гоголевского детства входил губернский город, старавшийся походить на столицу и называемый иногда «малым Петербургом» [Барабаш, 1995, с. 36]; город Полтавской битвы, замечательных исторических и художественных памятников, собора с иконами итальянских мастеров, нескольких учебных заведений, наконец, театра.

Трехэтажное каменное здание для зрелищ было построено еще в 1808 году, а спустя десятилетие сюда была приглашена из Харькова знаменитая труппа Штейна, в которой начинал свою деятельность Щепкин, выступавший здесь в 1818–1821 годах «почти во всех спектаклях» [Гриц, с. 53]. Год поступления Щепкина на полтавскую сцену совпал с приездом в город Николая и Ивана Гоголей.

Обоих братьев зачислили в училище 3 августа 1818 года и определили в высшее отделение первого класса, что фактически означало вторую ступень обучения из трех имеющихся: в училище было два класса, но первый подразделялся на два отделения — низшее и высшее.

Основано было это учебное заведение еще в 1799 году [Павловский, 1910, с. 91]; первоначально оно существовало как школа, а 2 февраля 1818 года было преобразовано в поветовое (уездное) училище. Ко времени поступления Гоголей училище насчитывало более 140 воспитанников — 135 мальчиков и 6 девочек. Большинство было офицерских детей и дворян, затем шли крестьянские дети, из духовного звания, из мещан и купцов. В общем, состав разношерстный и социально незамкнутый [Иофанов, с. 120]. Видимо, поэтому Андрей Трошинский весьма не одобрял выбора Василия Афанасьевича, но тот оправдывался тем, что не имеет средств доставить детям «лучшее место воспитания».

Чему же обучали Николая и каковы были его успехи? Из сохранившихся ведомостей видно, что круг предметов был довольно широк: тут и русская грамматика, и арифметика, и катехизис, и история церкви, а языка даже три — французский, немецкий и латинский («изучение латинских молитв и заповедей»). Но преподавалось все это поверхностно и урывками, что в немалой степени объяснялось небрежением к своим обязанностям со стороны учителей и особенно директора Огнева.

Крупный чиновник по части местного просвещения, Иван Дмитриевич Огнев (1776–1852) занимал пост директора училища и директора гимназии, и там и здесь не очень вникая в дело. «Управление его училищами дирекции, — вспоминал один из воспитанников гимназии, — ограничивалось только канцелярскою перепискою». «Он жил вдали от гимназии и посещал ее, или лучше канцелярию свою, очень редко; в классах же никогда не бывал, и мы видели его только во время годичных испытаний» [ХГВ. 1870. № 33]. Надо полагать, что училищу директорского внимания доставалось еще меньше.

Пребывание Гоголя в училище падает на завершение «прекрасного начала» «дней Александровых», когда вольнолюбивые и реформаторские веяния резко пошли на убыль, в том числе и в сфере просвещения. Распоряжения начальства: министра просвещения А. Голицына, попечителя Харьковского учебного округа З. Карнеева и того же Огнева — содействовали тому, что «все дело воспитания и образова-

ния юношества» приобрело религиозное направление по преимуществу [Заболотский, с. 14]. Характерен такой факт. С давних времен во всех российских школах первой ступени широкое хождение имела книга «О должностях человека и гражданина» (первое издание — 1783 г.; «одинадцатое тиснение», которое вышло ко времени поступления Гоголя в училище, — 1817 г.). Книга давала начальные сведения в самых различных областях, начиная с того, что мы называем сейчас обществоведением, до домоводства, от морали и этики до науки и искусства. Понятно, что и религия, вопрос «о должностях к Богу» занимали в учебнике большое место, но властям показалось этого мало, и последовал циркуляр министерства (он сохранился в делах училища) о замене «употребляемой ныне в уездных училищах книги о должностях человека и гражданина» чтениями из Священного писания, «каковые ныне по Высочайшему повелению издаются большими таблицами для училища по методе взаимного обучения» [Заболотский, с. 16].

Циркуляр датирован 5 июня 1819 года; следовательно, Николай еще успел позаниматься год по этой достославной книге (учитель Анастасий Савинский пометил, что к июню того же года пройдено «из должностей человека и гражданина до статьи 2») и запомнил ее на всю жизнь. О главном герое повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» мы узнаем, что он, обучаясь в «гадячском поветовом (т. е. уездном. — Ю. М.) училище», «перешел... во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принял он за пространный, за книгу о должностях человека и за дробь». Это совершенно точно соответствует объему материала, пройденного самим Гоголем, включая и арифметику, знакомство с которой остановилось на десятичных дробях [Июфанов, с. 116, 110].

Что касается отметок Николая, то известно следующее. В феврале 1819 года он аттестуется по способностям — посредствен, по прилежанию — средствен, по поведению — благоденствен. Такие же точно отметки у Ивана.

В мае Николай по способностям аттестуется — средствен, по прилежанию — ленив, по поведению — благоденствен. Ивану выставляются те же оценки.

В июне Николаю дается такая нелестная характеристика: по способности — туп, по прилежанию — слаб, а по поведению — резв. Иван и здесь не отстал от брата, только поведением выделился в лучшую сторону — не «резв», а «тих» [Заболотский, с. 10].

(Характерно, что знаком хорошего поведения является *тихость*, а плохого — *резвость*. Эта оппозиция, коренящаяся в детском опыте Гоголя, потом получит отражение в его творчестве: «любителем тишины» является учитель Чичикова, а затем новый учитель Тентетникова; напротив, прежний его наставник «несравненный Александр Петрович» не удерживал «резвостей», «видя в них начало развития свойств душевных...».)

Обычно низкие оценки Николая целиком относят на счет его учителей и скверного преподавания; но делать этого с полной определенностью нельзя: мы не знаем всех причин, мешавших ему успешно заниматься. Кроме того, были же и способные ученики, которые, несмотря ни на что, имели высокую аттестацию, — например Герасим Высоцкий, с которым в будущем судьба еще сведет Гоголя и о котором речь впереди. Но факт тот, что результаты занятий Гоголя были более чем скромные и от месяца к месяцу они неуклонно снижались.

Наконец, 30 июня того же года в торжественной обстановке, в присутствии разных должностных лиц, начиная от гражданского губернатора Полтавы и кончая директором училища Огневым и преподавателями, состоялись экзамены для перевода во второй, последний класс. Но ни Ивана, ни Николая в списках учеников, выдержавших экзамен, мы не находим. Вполне возможно, что они выбыли из училища перед самым экзаменом.

Далее в биографии будущего писателя обозначается белое пятно: след Николая теряется в июне 1819 года и отыскивается лишь к осени или, самое раннее, к весне 1820 года, когда он стал заниматься с учителем Гавриилом Сорочинским. А что он делал в течение многих месяцев — целого года? Периода, на который приходится учебное время.

Биографы Гоголя никак не отвечают на этот вопрос. Известно лишь, что в этот период произошла трагедия — умер Иван, и что Николай тяжело пережил смерть единственного брата. Считается, что случилось это сразу же после того, как оба они покинули Полтавское училище, летом 1819 года [X, 12; Иофанов, с. 123].

Но присмотримся внимательнее к имеющимся данным. Первый гоголевский биограф сообщал, что мальчик «готовился к поступлению в гимназию в Полтаве *на дому у одного учителя гимназии вместе с младшим своим братом Иваном*» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 16]. Другой биограф писал, что Гоголь был «отдан *вместе с братом для приготовления в местную гимназию к одному из служивших в ней учителей*» и что он «жил *вместе с братом у учителя Спасского*» [Шенрок, т. 1, с. 60, 100].

Оба биографа опирались на разных свидетелей. Шенрок говорил обо всем со слов А. С. Данилевского, друга Гоголя с детских лет, жившего с ним в одно время в Полтаве. Кулиш же в пору написания своей книги не беседовал с Данилевским (он поэтому не упоминает, что Гоголь позднее, в 1828 г., отправился из Васильевки в Петербург именно с Данилевским, что оба друга вместе выехали за границу в июне 1836 г. и т. д.). Свои сведения Кулиш получил от родных Гоголя, прежде всего от его матери. И тем не менее, опираясь на *разные* источники, оба биографа сходятся в том, что и Николай, и Иван вместе брали уроки у учителя Полтавской гимназии, проживая у него на квартире. Данилевский называет фамилию этого учителя — Спасский.

Это лицо совершенно не принято во внимание исследователями Гоголя, так как считается, что мемуарист ошибся. «Среди преподавателей поветового училища такой фамилии нет», — утверждает в комментарии к прежнему академическому изданию [X, 387]. Однако речь идет об учителе не поветового (уездного) училища, а гимназии; в Полтавской же гимназии действительно был преподаватель с такой фамилией. Это Михаил Исаакиевич Спаский (так!), учитель естественной истории, прослуживший в гимназии около четырнадцати лет и умерший в 1824 году [Труды, с. 251]. Конечно, нельзя исключать и того, что Данилевский, за давностью лет, спутал Спаского с другим учителем Гоголя — Гавриилом Сорочинским, но это не меняет, а лишь осложняет общую картину.

Эта картина видится мне следующим образом. К лету 1819 года, перед самым экзаменом, Василий Афанасьевич забирает обоих сыновей из училища, решив подготовить их к поступлению в Полтавскую гимназию другим способом. Он нанимает им учителя из гимназии, на квартире у которого они и живут. Затем происходит трагедия — умирает младший сын; случилось это не летом 1819 года, а позже — возможно, в следующем году [кстати, В. Шенрок называет именно 1820 г. — Т. I. С. 60]. Осенью или немного раньше мы застаем Николая у Гавриила Сорочинского уже одного, без брата.

Что же касается учителя, у которого занимались вместе и Николай, и Иван, то это мог быть или Гавриил Сорочинский, или — что более вероятно — другое лицо, а именно Спаский. Гавриил Сорочинский стал уже вторым учителем Николая.

В пользу второй версии говорят некоторые подробности. В письме Василию Афанасьевичу от 14 августа 1820 года, обговаривая условия занятий с Николаем, Сорочинский замечает: «Извините, что я мало с вами знаком, а то бы мог уверить вас, что сын ваш в объятиях дружбы» [Иофанов, с. 124]. Такая фраза уместна в устах человека, который совсем недавно приступил к своим обязанностям. Это видно также и из того, что Сорочинский только подыскивает для себя и для «Николаши» подходящую квартиру. Есть сведения (об этом ниже), что Сорочинский вообще только в 1820 году устроился на службу в Полтаве, приехав сюда из другого города.

...Итак, в конце лета 1820 года или несколько раньше Николай уже один, пережив смерть брата, начинает заниматься с Гавриилом Сорочинским, готовясь к поступлению в Полтавскую гимназию. К этому времени относятся первые сохранившиеся письма Гоголя, два из них адресованы родителям, одно — бабушке Татьяне Семеновне¹⁰. В письмах проскальзывают серьезные, совсем взрослые интонации; Николай уверяет родителей, что «поставил для себя первым долгом и первым удовольствием молить Бога о сохранении бесценного для меня здоровья вашего», сообщает, что занимается со старанием и успешно, заслужив одобрение «учителя», то есть Сорочинского.

Сорочинский задумал в домашних условиях пройти всю программу первого класса, подготовив мальчика к поступлению во второй. Он занимался с Николаем латинским и, по-видимому, французским языками и, кроме того, решил посылать его в гимназию «волонтером» на некоторые предметы по своему выбору, с тем чтобы тот «не потерял много времени». Так что более чем вероятно, что, не будучи гимназистом, Гоголь иногда посещал гимназию, которая располагалась тогда на Александровской улице в большом деревянном доме, купленном у врача Тишевского (в новое каменное здание, выстроенное для Малороссийского почтамта, гимназия была переведена спустя два года — в 1822 г.). Здесь его и встретил Саша Данилевский, поступивший в гимназию в 1818 году.

Честь открытия того факта, что Гоголь в 1820 и в начале 1821 года занимался с Гавриилом Сорочинским, принадлежит украинскому исследователю Д. Иофанову, который тем самым заполнил белое пятно в биографии писателя. Однако он не выяснил, кто был этот человек, ограничившись предположением, «что Гавриил Максимович Сорочинский служил не в гимназии, а в другом ведомстве и в свободное от служебных обязанностей время обучал и воспитывал Николая Гоголя» [Иофанов, с. 126].

Собранные мною материалы позволяют более точно осветить этот вопрос.

УЧИТЕЛЬ И СОУЧЕНИК

Во второй половине позапрошлого века, в 1870 году, в «Харьковских губернских ведомостях» (№ 33) были опубликованы за подписью И. Б. «Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад», где есть такое место: «Учитель латинского языка был *Гаврило Максимович Сорочинский*. Сначала, по определении в должность, был очень хорошим учителем. Он имел у себя одного пансионера и, чтобы охотно было ему заниматься дома, пригласил и меня ходить к нему для занятий; мы сблизились; но резвый, остроумный, белокурый мой товарищ смешил и развлекал не только меня, но и самого учителя так, что часто, смеясь от души, он останавливал его: “Николай, перестань!” Вскоре, однако, товарищ мой оставил Полтаву и поступил в Нежинский лицей: это был знаменитый впоследствии *Николай Васильевич Гоголь-Яновский*. Недолго держался Гаврило Максимович: несчастная страсть к крепкому напитку погубила его; принося ему месячные ведомости, которые он обыкновенно поручал мне готовить, я часто заставал его — в бесчувственном положении. По представлению директора, он был удален из службы, и в Харькове, будучи студентом, я встретил его в положении нищего» (курсив в оригинале. — *Ю. М.*).

Это свидетельство осталось совершенно неизвестным исследователям. (На него впервые обратил внимание автор этих строк в заметке, опубликованной в «Вопросах литературы» [1961. № 8. С. 193—195]). А между тем оно имеет прямое отношение к биографии писателя.

Прежде всего выясняется, кто таков учитель Гоголя — не чиновник какого-то полтавского ведомства, а именно преподаватель тамошней гимназии. Этому факту находятся новые подтверждения. В изданной И. Я. Кронебергом в 1826 году в Харькове книге «Амалтея», в конце второй части, среди «имен особ, благоволивших подписаться на сию книгу», значится «учитель Полтавской гимназии Гавриил Сорочинский» (с. II). Книга известного латиниста, специалиста по античности интересовала Сорочинского по профессиональным соображениям, ибо он был преподавателем латинского языка.

В малоизвестных воспоминаниях Геевского, питомца Полтавской гимназии, говорится: «Сорочинский, учитель латинского языка, был хотя и не стар и, как можно было видеть, знал свой предмет отлично, но имел слабость пить... пить не чай, не кофе, даже не вино, а просто сивуху и пунши. Он пил запоем месяц, недели 2 или 3...» [Багадей, 1904, с. 1085]. Степан Лукич Геевский (род. в 1813 г.) обучался в гимназии с 1825 по 1829 год [Труды, с. 225], после того, как Гоголь уже покинул Полтаву, и он наблюдал завершающую стадию злосчастной болезни учителя. Но началась эта болезнь еще при Гоголе и раньше.

Историк Полтавской гимназии В.Л. Василевский на основе архивных документов дает сводку биографических сведений о Сорочинском [Труды, с. 254—255]. Гавриил Максимович Сорочинский происходил из дворян, учился в Киевской духовной академии и Московском университете. Во время войны 1812 года и разорения Москвы французами перешел в Харьковский университет, который окончил со степенью кандидата. В 1820 году образовалась вакансия в Полтавской гимназии — умер учитель латинского языка Квятковский, и его место занял Сорочинский. Все было бы хорошо, если бы не пристрастие учителя к «зеленому змию». Ссылаясь на свидетельства его воспитанника, того же Геевского, автор говорит: «Сорочинский отлично знал свой предмет. Часто одна фраза служила ему “прицепкой” проговорить целый час и вызвать из гробницы и катакомб Virgiliев, Горациев, Ювеналов, Тибулов, тем не менее ученики не только ничего не понимали, но и не знали склонений и спряжений». Сорочинский все чаще и чаще пропускал уроки; руки у него тряслись, и он мог писать, только придерживая одну руку другою.

Однажды на квартиру Сорочинского нагрянула ревизия — директор гимназии Огнев с полицейским чиновником и уездным лекарем; учитель спал беспробудным сном, хотя уже пробило 11 часов и ему давно полагалось быть на уроках. Это случилось примерно в 1823 году.

Спустя два года, в июне 1825 года, гимназию ревизовал профессор Харьковского университета Василий Сергеевич Камлишинский.

«Директор Огнев обратил внимание визитатора на учителя латинского языка Сорочинского, который “от пьянственной жизни” потерял здоровье, а ученики его обнаружили крайне слабые успехи в латинском языке». Гавриилу Максимовичу сделали новое внушение, но это не помогло. В 1827 году училищный комитет Харьковского университета, которому подчинялась Полтавская гимназия, уволил Сорочинского со службы. После этого, совершенно опустившийся, он перебрался в Харьков, где след его затерялся.

Из всего сказанного видно, что Сорочинский был знающим, образованным учителем, может быть, единственно стоящим из всех, с кем до сих пор судьба сталкивала Гоголя. В контексте приведенных сведений полного доверия заслуживают слова мемуариста о том, что мальчик чувствовал себя хорошо и свободно в доме Гавриила Максимовича, что он дал волю природному остроумию, заставляя смеяться и своего товарища и учителя. Кстати, с точки зрения хронологического приурочения это самое первое свидетельство о пробуждающемся комическом даровании Гоголя. До этого мы видели Никошу, как говорила С. Скалон, только «всегда серьезным» и «задумчивым».

Удалось Николаю несколько поправить и свои учебные дела, пополнить знания — настолько, что он сумел впоследствии, хотя и не блестяще, выдержать вступительные экзамены в нежинскую Гимназию высших наук. Большого добиться, однако, не удалось, прежде всего по причине тех особенностей гоголевского наставника, о которых достаточно говорилось выше.

Но кто же был соучеником Гоголя, автором воспоминаний, подписавшимся инициалами И. Б.? Расшифровать подпись помогает следующее место воспоминаний. Говоря о своей страсти к рисованию, И. Б. пишет, что он учился у своего отца, «который был хорошим живописцем, довершив свое образование в этом искусстве у брата своего в Петербурге, известного художника времен Екатерины». Не подразумевает ли И. Б. под «известным художником времен Екатерины» Владимира Лукича Боровиковского?

Это предположение перейдет в твердую уверенность после того, как мы сопоставим только что процитированные строки с другими — из воспоминаний Ивана Боровиковского о своем дяде-художнике: «Владимир Лукич вызвал было к себе в Петербург и меньшего своего брата, отца моего, который и продолжал у него занятия свои в живописи...» [КС. 1884. Т. 10. С. 158]. Итак, И. Б., автор воспоминаний и соученик Гоголя, — это Иван Боровиковский, племянник знаменитого художника.

Так несколько затерявшихся строчек из «Харьковских губернских ведомостей» позволяют не только ввести в биографию Гоголя новое, дотоле неизвестное в ней лицо, но и установить связь будущего писателя с представителем одной из самых культурных и художественно одаренных семей на Украине. Поэтому стоит сказать об этом семействе несколько подробнее.

«Живописное искусство было как бы наследственным в фамилии Боровиковских», — замечает Иван Боровиковский. Художниками являлись и его дед Лука Боровик, и брат последнего Иван, и двоюродный брат Демьян.

У Луки Боровика было четыре сына, и все живописцы; младший — Иван Лукич, отец мемуариста, а старший — Владимир Лукич, прославившийся вскоре на всю Россию.

Никаких упоминаний имени Владимира Лукича Боровиковского (1757—1825) в гоголевских текстах не содержится, но трудно представить себе, что оно было неизвестно писателю. Художник родился в Миргороде, и его называли «миргородским мастером». Весь иконостас Троицкой церкви в Миргороде был расписан Владимиром Боровиковским (по предположению исследователя творчества художника, это, в частности, иконы «Богоматерь» и «Христос», поступившие позднее в Музей украинского искусства в Киеве. — [Алексеева, с. 286]).

Владимир Боровиковский много раз рисовал людей, в окружении которых протекало детство Гоголя. Его кисти принадлежат два портрета Д. П. Трошинского; один портрет поясной, с видом из окна на село Кагорлык, киевское имение вельможи. Есть у Боровиковского портрет М. М. Трахимовского (1802), крестного отца Николая Гоголя. Хорошие отношения были у художника с В. В. Капнистом. «У потомков В. В. Капниста долгое время сохранялось несколько портретов членов его семьи, выполненных Боровиковским» [Алексеева, с. 292]. К этой коллекции, возможно, восходит портрет жены поэта А. А. Капнист (урожденной Дьяковой), хранящийся теперь в Литературном музее в Москве. Словом, существовало так много точек пересечения, что едва ли Гоголь не знал и не слышал о своем знаменитом земляке, «самом крупном таланте, какой дала Малороссия русской школе живописи» [Горленко, с. 701].

И в связи со всем сказанным можно провести нить к Гоголю более поздней поры, а именно к его повести «Портрет» (первая редакция опубликована в 1835 г., вторая — в 1842 г.). А еще точнее — к персонажу этого произведения, петербургскому художнику из Коломны, отличавшемуся необыкновенным рвением и преданностью искусству.

«Это был тот скромный набожный живописец, какие только жили во времена религиозных средних веков. Он мог бы иметь большую известность и нажить большое состояние, если бы решился заняться множеством работ, которые предлагали ему со всех сторон; но он любил более заниматься предметами религиозными и за небольшую цену взялся расписать весь иконостас приходской церкви».

К повести «Портрет» отыскивали и отыскивают разные прототипы, — понятие, не очень подходящее для Гоголя, который никогда не рисовал с одного конкретного человека, подвергая подлежащий материал сложной и глубокой переработке. Но если говорить всего лишь о подлежащем материале, то с фигурой художника из Коломны наибо-

лее уместно сопоставить именно Владимира Боровиковского — факт, на который, кажется, еще не обращено никакого внимания»¹¹.

Дело в том, что Владимир Боровиковский (как и персонаж гоголевской повести) был в значительной мере религиозным живописцем — и по характеру творчества, и по душевному расположению. «Приступая к какой-нибудь важной или серьезной работе, — говорит его племянник Иван Боровиковский, — Владимир Лукич прежде всего отправлялся в церковь и слушал молебен. Приготовив полотно или доску для иконы, он заставлял читать вслух Евангелие или житие святого, которого изобразить предполагал...» [КС. 1884. Т. 10. С. 158]. «Неподражаемый портретист, — пишет его биограф, — он в то же время — вдохновенный религиозный живописец. Его картины на библейские сюжеты дышат глубокой и наивной верой, переходящей к концу его жизни в мистический восторг» [Горленко, с. 703]. Вспомним состояние живописца из «Портрета» (первая редакция) к концу его жизни: «Он тогда весь обратился в религиозный пламень. Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения и слышит откровения...»

Представляла для Гоголя интерес и сама художническая карьера Боровиковского, а именно тот взлет, который она внезапно претерпела. До поры до времени Владимир Лукич был скромным миргородским живописцем. Но вот «во время столь известного путешествия Екатерины II в Тавриду (1787 г.) киевский губернский предводитель дворянства Капнист заказал ему написать несколько картин для одного из домов, где должна была остановиться царица... Картина понравилась, и судьба художника была решена. Он меняет скромный Миргород на северную столицу...» [Горленко, с. 702]. Это было то самое посещение Екатериной II Киева на пути в Крым, которое сыграло решающую роль в судьбе Д. П. Трошинского, и происходило все это по одной и той же «модели»: относительная безвестность, встреча с царствующей особой и стремительное возвышение. «Модели», которая много говорила сердцу честолюбивого Николая Гоголя.

Наконец, важно было и то, что отличила и возвысила большого художника именно Екатерина II. Это могло стать одним из тех фактов, которые затем внушат Гоголю идею выставить ее в «Портрете» в роли истинного покровителя искусства: «Государыня заметила, что... нужно отличать поэтов-художников... что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне...» и т. д.

Примечательными лицами были и другие представители рода Боровиковских. Лев Иванович, второй племянник знаменитого художника, учился в Полтавской гимназии примерно в те же годы, что и его брат Иван, в 1826 году поступил на этико-филологический, то есть словесный, факультет Харьковского университета, который закончил спустя четыре года со степенью кандидата. Служил в Курской, Новочеркасской, а затем Полтавской гимназии, где преподавал

историю, литературу и латинский язык [Павловский, 1912, с. 24; Крижанівський, с. 8–38]. Но истинной его страстью было собирание памятников украинской народной словесности. «Байки и прибаутки» Льва Боровиковского были изданы А. Метлинским в Киеве в 1852 году, несколько песен — в «Сборнике народных южно-русских песен» того же А. Метлинского, «Шесть малороссийских простонародных баллад» — в «Отечественных записках» за 1840 год (№ 2) и т. д.

В заключение надо сказать еще о том, как сложилась жизнь соученика Гоголя Ивана Ивановича Боровиковского. После окончания Полтавской гимназии в 1824 году он поступил на словесный факультет того же Харьковского университета. Был вначале преподавателем в Курской, а затем в своей родной Полтавской гимназии, где он уже в 1831 году числился учителем «исторических наук» [Труды, вып. 5, с. 136]. Позднее стал инспектором гимназии, преподавал и в Институте благородных девиц. Затем мы видим его редактором «Харьковских губернских ведомостей». На этом посту, который Боровиковский занимал с 1869 по 1879 год, он провел ряд важных реформ: увеличил формат газеты до размера *in folio*, стал выпускать ее шесть раз в неделю, а затем и ежедневно. «Вообще И. И. Боровиковский, — утверждают историки Харькова, — был ее выдающимся редактором» [Бага-лей, 1912, с. 787].

Последние годы жизни Иван Боровиковский провел в родных местах — в селе Милюшки возле города Хорол. Это совсем недалеко от Миргорода, который стоит на речке того же названия (Хорол), да и от гоголевских мест тоже — Васильевки, Яресок, Диканьки и т. д.

Неизвестно, довелось ли Ивану Боровиковскому хотя бы еще раз встретиться со своим знаменитым соучеником после того, как они оба покинули школьную скамью полтавского учителя. Возможно, нет. Но все, относящееся к жизни Гоголя, даже косвенно важно нам как фон, как та среда, в которой проходило созревание его гения.

НЕЖИН

Вернемся к хронологической последовательности гоголевской биографии. Пока Николай учился в Полтаве, у Василия Афанасьевича созрел новый план.

Давно уже поговаривали, что на Украине будет открыто новое учебное заведение. Университета св. Владимира в Киеве тогда еще не было; существовал лишь Харьковский университет — один на весь край. Только что (в 1817 г.) был основан Ришельевский лицей в Одессе. Теперь настала очередь и для Центральной Украины, а именно поветового (уездного) города Нежина Черниговской губернии.

Еще в 1805 году граф Илья Андреевич Безбородко, брат покойного князя Александра Андреевича Безбородко, знаменитого канцлера,

сподвижника Екатерины II, предложил употребить «пожертвования» последнего (прибавив и свои средства) для учреждения училища высших наук. Для этой цели он определил принадлежащую ему в Нежине обширную территорию с разбитым садом и уже завезенным для строительства кирпичом. Началось возведение массивного двухэтажного здания, украшенного по фасаду длинной колоннадой, и с двумя флигелями о трех этажах. Автором проекта был Луиджи Руска [см. о нем: Александрова, с. 42–50], а непосредственно за строительством наблюдал Иван де Лукини [см.: Михальский, Самойленко, с. 18]. Работы растянулись на тринадцать лет, и 19 апреля 1820 года был издан наконец высочайший рескрипт, объявивший об открытии в Нежине Гимназии вышних наук кн. Безбородко (позднее, в 1825 г., она была переименована в Гимназию *высших наук*). К этому времени граф И. А. Безбородко уже умер, и почетным попечителем Гимназии назначили его двадцатилетнего внука графа Александра Григорьевича Кушелева-Безбородко¹².

Открытие Гимназии было отмечено трагическим событием, как бы предзнаменовавшим дальнейшие превратности в судьбе этого учебного заведения.

...Первым директором Гимназии стал Василий Григорьевич Кукольник. Выходец из Венгрии (род. в 1766 г.), карпато-росс (русин) по национальности, это был поразительно талантливый, разносторонний человек. (По другим сведениям, Кукольник был словак из дворян австрийского села Кокольники, находящегося на рубеже Червонной Руси, то есть Галиции, и Венгрии. — [Шверубович, с. 9–10].) Окончив академию в Лемберге (теперь город Львов), он, по словам его сына Нестора Кукольника, мог с равным успехом занимать «кафедры прав ли, естественной истории, математики, наук политических, любого из древних (включительно с еврейским) и многих новых языков и литератур» [Лицей, 1881, с. 182]. С течением времени Василий Григорьевич сумел действительно испытать себя чуть ли не во всех этих дисциплинах. В Замосцьском лицее (Польша) он был вначале профессором физики и естественной истории, а потом — заведующим кафедрой сельского хозяйства. Затем его пригласили в Петербург для заведования кафедрой римского права в Учительской гимназии (позднее переименованной в Педагогический институт); надо сказать, что труды по римскому праву и по российскому частному гражданскому праву составили большую долю в общем научном наследии Василия Кукольника; некоторые из этих трудов были приняты в качестве официальных учебных пособий. Но когда профессор приехал в Петербург, оказалось, что произошло недоразумение — кафедра римского права была уже занята. Министр просвещения граф П. В. Завадовский с чувством неловкости спросил у Кукольника, может ли он преподавать что-нибудь другое. «Все, что прописано в докторских моих дипломах». — «Неужто и физику?» — «Охотно!» [Лицей, 1881, с. 184].

И таким образом Кукольник стал профессором физики Педагогического института. Наряду с этим он читал еще студентам химию, технологию, сельское домоводство, а в Высшем училище правоведения, кроме того, — римское право.

В апреле 1813 года Кукольник стал преподавать римское и гражданское русское право великим князьям Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу. Перед Василием Григорьевичем открывалось блестящее будущее. В марте 1819 года он был назначен председателем конференции только что открытого Петербургского университета и уже готовился занять пост его первого ректора, как вдруг неожиданно для окружающих сложил все свои обязанности и вместе с семьей покинул Петербург, чтобы направиться на Украину, в Нежин.

Дело в том, что среди учеников Кукольника в Петербурге был молодой граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко, только что ставший почетным попечителем Гимназии высших наук: он-то и оказался «коварным соблазнителем». На беду, около этого времени заболела дочь Кукольника Мария, окончившая Екатерининский институт, и врачи говорили, что сырой петербургский климат будет иметь для нее губительные последствия. Иное дело — благословенный воздух Малороссии... Но, вероятно, на решение Василия Григорьевича повлияли не только эти соображения: его увлекла сама идея нового учебного заведения.

По своему назначению Гимназия была выше обыкновенных губернских гимназий, но ниже университетов; это значит, что она не давала специального образования, не учила одной определенной профессии, но зато должна была привить своим питомцам самые широкие знания, снабдить сведениями по различным дисциплинам. Только на этой основе, считал Кукольник, возможно дальнейшее образование или, как мы сейчас говорим, специализация. Эрудит и энциклопедист, он мечтал о новой, плодотворной постановке педагогического дела.

Жизнь очень скоро развеяла его мечты.

Когда в августе 1820 года Кукольник приехал в Нежин, на него обрушилась гора неотложных дел и проблем. Не было эконома, бухгалтера, и директору пришлось самому исполнять их обязанности. Эконома вскоре отыскивали (из числа студентов Киевской духовной академии), а бухгалтера, как выяснилось, не полагалось по штату. Кукольник оказался один на один со всеми хитросплетениями российской финансовой и бюрократической системы, да еще в ее самом уродливом, провинциальном обличье.

Другое разочарование было связано с абитуриентами, которые с разных сторон съезжались в Нежин. Иные из них были подготовлены неплохо, но многие едва-едва владели грамотой. Особенно хромала подготовка в области иностранных языков, что полиглоту Кукольнику казалось совсем уж нетерпимым. Чтобы поправить положение, директор еще до формального начала занятий разбил всех прибывших на две

группы — более подготовленных и менее подготовленных — и принялся с помощью сына Платона сам обучать их, в первую очередь языкам.

Постепенно стали прибывать преподаватели и профессора, что принесло новое разочарование директору. Некоторых из них — чиновников от просвещения — Кукольник ни за что бы не подпустил к кафедре, а тут предстояло работать с ними всю жизнь.

Кукольник пришел в ужас от того шага, который он опрометчиво совершил. Склонный к ипохондрии, психически неуравновешенный, он тяжело заболел и 6 февраля 1821 года умер — при недостаточно выясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии, Кукольник, будучи «одержим геморроидальной болезнью и сильным биением сердца», скончался «внезапною смертию... от апоплексического удара» [Лавровский, с. 11—12]. Начальство Гимназии, по понятным причинам, усиленно настаивало именно на такой версии; даже спустя почти шестьдесят лет ее излагал директор Н. А. Лавровский. Но сын Василия Григорьевича Нестор Кукольник, находившийся с отцом в Нежине, определенно говорил о другой причине — самоубийстве: «...ником не замеченный, он выбросился из окна третьего этажа и убится до смерти на пятьдесят шестом году жизни» [Лицей, 1881, с. 188]. Истинная причина смерти Кукольника была известна и ученикам, как о том свидетельствует позднейшее заявление Н. Ю. Артынова (Артинова), родного брата обучавшихся в Гимназии Анания и Петра Артиновых [Супрунок, 1995, с.45—46]: вскоре по прибытии директор «заболел меланхолиею, бросился из окошка третьего этажа и умер» [РА. 1877. Кн. 3. С. 192]. Так, по-видимому, оно и было¹³.

За две-три недели до трагического события, в январе 1821 года, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский отправил директору прошение о принятии его сына Николая в новооткрытую Гимназию. Не получив ответа и еще ничего не зная о смерти Кукольника, Василий Афанасьевич пишет ему 12 февраля из Миргорода новое письмо:

«Признаюсь вам, что я сына моего совершенно уже приготовил к отдаче в нежинской пенсии в число своекоштных воспитанников; но по слабости моего здоровья не решаюсь его представить к вам, покуда не буду уверен, что он будет вами принят» [Сборник, с. 313]. Василий Афанасьевич хотел определенных гарантий, и временное правление такие гарантии, правда в очень осторожной форме, дало: 18 февраля Василию Афанасьевичу сообщили, что он может «представить... сына в какое угодно время для поступления его в число воспитанников Гимназии».

И вот 1 мая того же года Николай был принят в Гимназию.

Между тем смерть директора повлекла за собою «смутное время» в истории Гимназии, и происходило все это перед глазами новопринятых воспитанников, в том числе и Гоголя.

Очевидно, главным источником беспокойства была семья покойного, обвинявшая во всем случившемся других преподавателей; вме-

шались сюда и честолюбивые мотивы, стремление сохранить власть: по мнению Софьи Николаевны, вдовы Кукольника, место директора должен был занять ее старший сын Павел, поскольку он имел крупный чин и управлял одним из благотворительных заведений в Петербурге. Но профессора и учителя решительно выступили против такого порядка «престолонаследия». Софью Николаевну поддержал и ее брат И. Н. Пилянкевич, преподававший в Гимназии латинский язык, и сын Платон, учитель низших классов. О том, какими средствами велась борьба, свидетельствует жалоба учителя французского языка Амана и надзирателя Зельднера: мол, вдова директора приглашает к себе воспитанников и «внушает им неприличный для юношества образ мыслей». Пилянкевич же назвал собрание педагогов «шайкою» и «скопищем» и «такую сколь неприличную, столь же и явно нарушающую общий порядок дерзость свою заключил самым грубым выходом из собрания и крепким при затворении дверей ударом...» [Лавровский, с. 14].

Не обошлось, как водится в таких случаях, и без угроз и ярлыков политического свойства. Пилянкевич, с шумом покидая собрание, сказал, что его сестра до тех пор «за всеми профессорами, учителями и гувернерами соглядатайствовать будет, доколе не получит чего-то желаемого...». А правление Гимназии, со своей стороны, доносило попечителю, что Платон Кукольник 29 августа 1821 года, проникнув «в виде некоего свободного франта» в зал, где воспитанники были заняты чтением Нового завета, взял книгу и «стал декламировать со всеми актерскими жестами, дерзнув даже делать политические изъяснения на тексты, каковое изъяснение и в простом смысле совершенно воспрещено при одном чтении и самим учителем» [Лицей, 1881, с. 37–38].

Напряжение разрядилось лишь тогда, когда семейство Кукольника выехало из занимаемой в Гимназии квартиры и переселилось в частный дом (30 сентября), а позднее (3 декабря) и вовсе оставило Нежин, переехав в Виленскую губернию. Однако то, что произошло, не только на долгое время отравило атмосферу в Гимназии, но и явилось предвестием еще более крупного конфликта, вспыхнувшего в последний год пребывания здесь Гоголя и известного под названием «дело о вольнодумстве»...

«Междущарствие» в жизни Гимназии подошло к концу лишь 1 ноября, когда вступил в должность новый директор Иван Семенович Орлай.

В это время Николай Гоголь, проучившийся в Гимназии два месяца, находился в так называемом втором *отделении*. Что означало это наименование, заменившее общепринятое разделение на классы?

Согласно уставу, полный курс обучения в Гимназии должен был продолжаться девять лет и состоять соответственно из девяти классов. Но состав абитуриентов оказался настолько неровным и разношерстным, что распределить их сразу по классам было очень трудно и ре-

шили предварительно создать три отделения: третье — для более подготовленных, второе — для менее подготовленных и первое — для прибывших в Гимназию с опозданием. Гоголь был определен во второе отделение — для менее подготовленных.

Вступительные экзамены проходили с 21 по 28 июня. Гоголь получил следующие оценки: по священной истории и Закону Божьему — 4; по латинскому языку, арифметике, географии, истории, французскому и немецкому языкам — 2; по французскому языку и рисованию — 1.

Поскольку в Гимназии была принята четырехбалльная система, можно сказать, что самые большие успехи («превосходные») Гоголь обнаружил в двух предметах — священной истории и Законе Божьем: видимо, сказалось и царившее в семье религиозное уmonoнаправление, и интерес к этой сфере самого Николая. Преподавание в Гимназии способствовало дальнейшему развитию этого интереса: согласно журналу конференции Гимназии, «с 1 августа по 23 декабря 1825 г. в 7, 8 и 9-м классах прочитаны некоторые поучительные речи Василия Великого, Иоанна Златоуста, Никифора Монаха, Киприана, Макария, Исаака Сирина и многие статьи из Христианского чтения» [Хайнацкий, с. 175]. Гоголь, обучавшийся с июня 1825 года в седьмом классе (в восьмой он перешел в июне 1826 г.), участвовал в ряде этих чтений.

Возвращаясь к учебным показателям Гоголя, отметим, что по большинству остальных предметов у него были посредственные оценки, в том числе и по латинскому языку. Но как-никак этому скромному достижению Николай был обязан своим занятиям с Гаврилой Сорочинским. Дело в том, что в уездных училищах латинскому языку обучали скверно, а в домашнюю подготовку этот предмет, как правило, вообще не входил; поэтому отметки по латинскому языку были «обыкновенно ниже отметок по новым языкам» [Лавровский, с. 29]. Это видно и по вступительному экзамену: у четырех учеников, в целом успешнее выдержавших экзамены, чем Гоголь, по латинскому была единица, то есть неуд. А вот во французском Николай с его наставником не очень преуспел и тоже получил неуд.

Среди отметок Гоголя обращает на себя внимание единица по рисованию. Трудно сказать, что стояло за этой неудачей: или он действительно еще не сумел показать свои незаурядные способности в этой области, или он уже на экзамене оказался в той ситуации, которую затем опишет в статье «Несколько слов о уе»: «Мне пришло на память одно происшествие из моего детства, — говорилось в этой статье. — Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянув на картину, покачал головою и сказал: “Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое”».

В целом Гоголь набрал 22 шара из 40 возможных. Это был довольно скромный показатель. Из двадцати четырех экзаменовавшихся только у двух — Петра Соковича и Михаила Скоропадского была еще меньшая сумма шаров. В результате Гоголь был оставлен в том же втором отделении [Лавровский, с. 138].

Через полгода, в январе 1822 года, в Гимназии проводились новые испытания с целью распределения воспитанников по классам. Гоголь сдал эти экзамены более успешно: хотя по французскому языку остался неуд, зато по шести предметам получил высшую оценку — по логике, истории, географии, арифметике, латинскому и немецкому языкам. Общее количество шаров, которые он набрал, 33 из 40 возможных. В результате его определили в третий класс. Но это был не высший класс, так как из учеников третьего отделения образовали четвертый и пятый классы.

Распределением на классы, произведенным после январских экзаменов 1822 года, объясняется тот факт, что ученики, поступившие в год основания Гимназии, заканчивали ее затем в разное время.

Впереди гоголевского класса следовали два других, поэтому его выпуск оказался третьим.

В КЛАССЕ, МУЗЕЕ И... БОЛЬНИЦЕ

Первые месяцы пребывания в Гимназии были для Гоголя очень трудными. Один из соучеников — В. И. Любич-Романович рассказывал, как он впервые увидел Николая: «В Гимназию... Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какою-то тяжкою, неизлечимою болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухой Николая Васильевича. Мы чуть ли не всей Гимназией вышли в приемную взглянуть на это “чудовище”, как быстро окрестили его всегда насмешливые школьники. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид» [ИВ. 1892. № 12. С. 695].

Ручаться за полную точность этого «моментального снимка» нельзя: в другом месте мемуарист говорил, что Гоголь приехал в Гимназию, сопровождаемый не родителями, а «только одним усачом-запорожцем» (что менее вероятно), и прозвали его «пигалицей» [ИВ. 1902. № 2. С. 549] — но эти детали не меняют дела. Болезненность Николая бросалась в глаза всем. Другой однокашник, А. С. Данилевский, вспоминал: «Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золо-

тухи; из ушей у него текло...» [Шенрок, т. 1, с. 102]. Болезнь ушей была семейной у Гоголей; младшая сестра Николая Ольга рассказывала: «У меня постоянно текло из уха, и мне затыкали ухо корпией» [Головня, с. 6]. Однажды так сильно заткнули ухо, что она чуть не оглохла.

Первые недели после зачисления выдались для Никоши еще не такими трудными. От тоскливых дум отвлекало ожидание экзаменов, а затем и сами экзамены; кроме того, мальчик знал, что июль — начало августа он будет проводить дома. Но когда после каникул Николая снова привезли в Нежин и он понял, что на долгие месяцы обречен на разлуку с родными, им овладело глубокое отчаяние. В середине августа он уже торопит родителей поскорее навестить его: «Прежде каникул писал я что мне здесь хорошо а теперь напротив того. О! естлибы Дражайшие родители приехали в нынешнем месяце тогда бы вы услышали что со мною делается. Мне после каникул сделалось так грустно что всякой Божий день слезы рекой льются и сам не знаю от чего, а особливо когда спомню об вас то градом так и льются. И те<пе>рь у меня грудь так болит что даже не могу много писать» [X, 34].

Единственное утешение — старик Симон по фамилии Стокоза [Летопись, с. 178]^{13а}, крепостной из Васильевки. По недостатку служащих гимназистам разрешалось иметь при себе домашних людей, с тем чтобы они безвозмездно выполняли общую работу. Симон целыми днями кашеварил на гимназической кухне. А по вечерам сидел у постели Никоши, утешал его, успокаивал. «...Часто просиживал по целой ночи надо мною уже его просил чтоб он пошел спать но никак не мог его принудить» [X, 35].

К началу сентября Гоголю стало легче — прошли боли в груди, поднялось настроение. Марья Ивановна, пославшая в Гимназию, в ответ на тревожные письма сына, специального человека, получила обнадеживающие сведения. «Возвратившийся из Нежина несколько успокоил меня на счет моего Николиньки, — писала она 3 сентября О. Д. Трошинской, — он затосковал было, а теперь начал привыкать и сделался веселее...» [РС. 1882. Т. 34. С. 674].

Очень обрадовало Николая известие о назначении нового директора Гимназии, о чем он «с полным удовольствием» поспешил сообщить родителям.

Так же как и первый директор В. Г. Кукольник, Иван Семенович Орлай (1771–1829) был карпато-россом по происхождению, переселившимся в Россию и поступившим на русскую службу. Широтой образования он почти не уступал своему предшественнику: в Унгарском народном училище Орлай обучался венгерскому и латинскому языкам; в Унгарской архигимназии и в Велико-Карловской гимназии высших наук прошел курс латинской словесности и других наук; в Велико-Варадской академии обучался чистой математике, логике и истории; в Львовском университете посвятил себя занятиям по при-

кладной и высшей математике, опытной физике, всеобщей истории, нумизматике, дипломатии, нравственной философии, естественной истории и технологии, немецкой словесности. Обнаруженные сравнительно недавно ценные документы свидетельствуют о деятельности Орлая как члена Иенского общества естественных наук и возникших в связи с этим его контактах с Гете [Зиномря, с. 120—124], что небезынтересно в перспективе восторженного отношения к немецкому писателю Гоголя-гимназиста («великий Гетте» — фраза из эпилога «Ганца Кюхельгартена»). Занимался Орлай и на богословском факультете Пештского университета, а позднее, по приезду в Петербург, в медико-хирургическом училище.

Вся его деятельность на русской службе протекала главным образом в сфере медицины — он был и гоф-хирургом, и гоф-медиком, и ученым секретарем медицинской коллегии, в 1820 году чуть было не стал ординарным профессором медицинского факультета Московского университета, но, получив приглашение от попечителя Гимназии высших наук графа А. Г. Кушелева-Безбородко, без колебаний поменял обе столицы, и старую, и новую, на Нежин. Как и В. Г. Кукольника, его притягивал благодатный климат Украины [Лицей, 1881, с. 202—205]¹⁴.

Орлай был вспыльчивым, порою крутым, но не злым человеком. В его пользу говорит тот факт, что вскоре после вступления в должность он вернул в Гимназию Нестора Кукольника, сына трагически погибшего директора. Орлай видел в этом свой долг по отношению к памяти друга и земляка.

Гимназисты относились к новому директору неплохо, по утверждению Нестора Кукольника (возможно, преувеличенному), даже любовно. «...Этот по-видимому слабый, раздражительный, странный начальник, — вспоминал Кукольник, — умел снискать любовь к себе детей почти неограниченную. Никто в присутствии его никогда не забывался, но никто и не стеснялся его присутствием. Шалили напропалую, учились еще пуше и наблюдали только за тем, чтобы в шалости тля подлости не залезла». «Я сам шалил, — говаривал Иван Семенович, — и знаю, что степенный опаснее резвого» [Лицей, 1881, с. 198, 197].

Что касается Гоголя, то и он мог рассчитывать на некоторое покровительство нового директора: хотя и не единоплеменник, но все же знакомый. Орлай бывал в Кибинцах у Трощинского и встречался с гоголевской семьей, у него самого было крошечное имение в Миргородском уезде с шестью душами крепостных. Иван Семенович находил для Гоголя-гимназиста участливое слово, приглашал его к себе на квартиру.

Вскоре в положении Николая произошла перемена, более осязаемая, впрочем, для его родителей, так как она имела отношение к бюджету семьи.

Все ученики разделялись на пансионеров, состоящих на полном содержании и живших в здании Гимназии, и вольноприходящих, пользовавшихся лишь бесплатным обучением. В свою очередь, пансионеры делились на своекоштных, плативших за свое пребывание в Гимназии, казенных и пансионеров почетного попечителя. Казенные пансионеры и пансионеры почетного попечителя содержались соответственно или за счет царской казны и инвалидного капитала, или за счет почетного попечителя графа А. Г. Кушелева-Безбородко.

Николай был принят в Гимназию своекоштным студентом, и, следовательно, родители должны были платить за него ежегодно 1200 рублей — сумму по тем временам очень большую, особенно для безденежного полунатурального помещичьего хозяйства. Неудивительно, что Василий Афанасьевич тотчас принялся хлопотать о переводе сына на казенное содержание. Вскоре он добился своего: 3 марта 1822 года почетный попечитель сделал распоряжение включить Гоголя «в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении» [Лавровский, с. 52; Сборник, с. 318]. Реальный же перевод Николая на казенное содержание состоялся к концу учебного года, то есть 1 июля. Из другого документа, письма Андрея Трошинского своей матери, мы узнаем, что все это удалось сделать «через ходатайство Дмитрия Прокофьевича» [РС. 1882. Т. 34. С. 657] — могущественного покровителя гоголевского семейства.

Постепенно гимназическая жизнь вошла в привычную колею ежедневного, монотонно повторяющегося времяпрепровождения. Распорядок дня, разработанный Орлаем, был довольно жестким.

Вставали пансионеры рано — в 5.30 утра. Одевшись и приведя себя в порядок, они должны были приветствовать гувернеров.

В 6.30 начиналась утренняя молитва, потом — чай и чтение Нового Завета (полчаса).

С 9 до 12 — уроки.

По окончании занятий четверть часа отводилось для променада.

Затем следовал обед.

После обеда один час предназначался «для свободного приготовления в классах, без обременения вольности отдохновения».

Во второй половине дня с 3 до 5 вновь шли классные занятия.

Потом отдых, с 5 до 5.30 вечерний чай, до 6.30 — повторение уроков, затем полчаса «для приятнейшего и благородно-шутливого препровождения времени, на чтение Лафонтеновых басен на французском или немецком языках».

Потом в течение пятнадцати минут пансионеры должны были приготовить классные принадлежности к следующему дню и столько же времени отводилось для разминки перед ужином.

Ужин проходил с 7.30 до 8.

Затем четверть часа — для движения после ужина.

Полчаса, с 8.15 до 8.45, отводилось на повторение уроков.

В 8.45 пансионеры вставали на вечернюю молитву. А в 9 часов шли «к постелям для раздевания и положения себя в оных». Жизнь в Гимназии замирала — на восемь с половиной часов.

А на другой день в 5.30 все начиналось сначала...

В разработанном Орлаем распорядке ощущается стремление приноровиться к детскому возрасту: классные уроки чередовались с более свободными занятиями, предусматривалось время для променада или движений. Но всякий режим есть режим: стесняли однообразие и повторяемость всего происходящего, а также публичность или, как мы сейчас говорим, коллективность поступков. Ведь все, что гимназисты, и особенно пансионеры, делали, они делали вместе, почти не имея возможности побыть наедине с самими собою. Неудивительно, что Гоголь пытался уклониться от выполнения какой-либо обязанности и сбегал с уроков, с чем и связаны эпизоды, о которых рассказывал впоследствии Нестор Кукольник.

«Иван Семенович не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, и потому не мудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одною и той же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: «Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать Вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все очень хорошо...» — «Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить...» Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам» [Лицей, 1881, с. 195].

Для пансионеров, а следовательно, и для Гоголя однообразие и монотонность гимназической жизни усиливались и подчеркивались еще благодаря их одежде. Если вольноприходящие появлялись в Гимназии в своем и «разнообразном одеянии», то пансионеры обязаны были носить мундир. А после очередного посещения Гимназии (18 сентября 1823 г.) почетный попечитель распорядился, чтобы и вольноприходящие носили мундиры, ничем не отличающиеся от мундиров пансионеров [Сборник, с. 340].

Но в верхнем платье гимназистов единообразия не было, что имело и хорошие, и плохие последствия. Можно было одеться на свой вкус, но если вовремя не случится необходимой одежды — беда. В разгар зимы, в январе 1822 года, Гоголь просит родителей прислать ему тулуп — «потому что нам не дают казенного ни тулупа, ни шинели, а только в одних мундирах несмотря на стужу» [X, 39]. Деталь мелкая, но немаловажная — мальчик на своей коже узнал, что значит не иметь в суровую пору спасительной «шинели»...

Для удобства наблюдения во внеурочные часы пансионеров определяли в специальные помещения — так называемые музеи. Вначале

музеев было, по-видимому, столько же, сколько и классов: в каждой комнате свой класс. Но затем (1 ноября 1824 г.) Орлай предложил сократить количество музеев до трех — «для удобнейшего и успешнейшего за ними (учениками) надзирания» [Сборник, с. 346]. В каждом музее должно было располагаться по три класса — младшие, средние и старшие. Но поскольку девятого, последнего класса еще не было, а четвертый и пятый отличались многолюдством, то шестой класс передали из средней группы в старшую, то есть из второго музея в третий. Именно в шестом классе занимался в это время Гоголь. Надзирателями в этом классе были французы Аман и Перион, и в их обязанности входило разговаривать с пансионерами по-французски.

Всего же надзирателей было пять, а потом шесть, по два на каждый музей. Функция надзора возлагалась и на инспектора.

Единообразный порядок устанавливался на всю неделю, лишь в воскресенье и праздники разрешалось от него отступать. В эти дни можно было выходить из Гимназии, но не куда угодно и не как-нибудь, а по определенному предписанию. 18 сентября 1823 года почетный попечитель распорядился «для сохранения в воспитанниках Гимназии доброй нравственности и для удаления от них вредной развлеченности» отпускать их «из пансиона в город» лишь «с срочным от инспектора билетом» «и не к сторонним каким-либо лицам, но к родителям их, ближайшим их родственникам или к тем, к коим родители их отпускать их просили» [Сборник, с. 338]. Так гласила бумага; в действительности, конечно, складывалось все не так определенно и упорядоченно...

В качестве же наказания за тот или другой проступок или провинность в Гимназии предусматривалась целая шкала дисциплинарных мер — от замечания надзирателя, выговора «с кротким увещанием» до наказания по усмотрению инспектора, внесения в «черную» книгу. «Если же кто и после упомянутых наказаний не исправляется и делает грубости, будучи замечен в том многократно, таковой инспектором, по усмотрению, наказывается более; о имени же того воспитанника инспектор доносит директору» [Лавровский, с. 39].

Выражение «наказывается более» подразумевало телесное наказание. Да, директор Орлай был гуманен и великодушен, но все же полагал, что сечь мальчиков и подростков хотя и редко, но нужно — для их же пользы. В позднейшем докладе дирекции признавалось, что телесные наказания в исключительных случаях в Гимназии «употребляются» — «для малолетних за крайнюю леность и опасные шалости; для взрослых за бродяжничество по ночам, буянство, карточную игру и питье; для всех же возрастов за непослушание и грубость» [Лавровский, с. 121].

Обрекая провинившегося на порку, Иван Семенович Орлай, как вспоминал Кукольник, «долго страдал сам, медлил, даже хворал», но в конце концов «одолевал свою врожденную доброту и предавал преступника ликторам».

Однажды, по словам того же Кукольника, угроза телесного наказания нависла над Гоголем, который «еще в низших классах как-то

провинился, так что попал в уголовную категорию». Если в низших классах, то, согласно шкале проступков, не за какое-либо зловерное прегрешение, но лишь «за крайнюю леность и опасные шалости». Так или иначе — расправа близилась. Но далее произошло неожиданное.

«Плохо, брат! — сказал кто-то из товарищей. — Высекут”. — “Завтра!” — отвечал Гоголь. Но приговор утвержден, ликторы явились. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что мы все испугались, — и сходит с ума. Подымается суматоха. Гоголя ведут в больницу; Иван Семенович два раза в день навещает его; его лечат; мы ходим к нему в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешался, решительно помешался! Словом, до того искусно притворился, что мы все были убеждены в его помешательстве, и когда, после двух недель удачного лечения, его выпустили из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением, пока не попривыклось и текущие новости не вытеснили воспоминаний» [Лицей, 1881, с. 199].

О притворном сумасшествии Гоголя рассказывает и другой гимназист — Т. Г. Пашенко, приводя примерно те же подробности, что и Кукольник: мол, прибежал испуганный Орлай, Гоголя хватают и ведут в больницу, где он длительное время (у Пашенко вместо «двух недель» «два месяца») с успехом разыгрывает свою роль. Совпадения у двух мемуаристов повышают достоверность рассказа. Однако Пашенко дает другую мотивировку случившегося: Гоголь прибегнул к мистификации, чтобы выкроить время для занятий, для написания своих произведений... Надо сказать, что версия Кукольника выглядит более убедительной: угроза телесного наказания скорее могла подтолкнуть Гоголя на такое внезапное притворство, чем литературные расчеты и соображения^{14а}. Но вместе с тем понятно, почему у Пашенко могла зародиться подобная мотивировка — больница занимала в гимназической жизни особое место. Об этом говорит и Кукольник.

«Больница вообще играла важную роль в нашей студенческой жизни. Отлучаться из музеев <...> куда-нибудь подальше было затруднительно: гувернер долго не видит, как-нибудь заметит, станет искать, догадается; а больница, под непосредственным надзором любознательного сторожа Евлампия, представляла все удобства для экскурсий. Доктор зайдет раз в день, инспектор раз в день — и кончено; подсунул Евлампию мадам Радклиф со всеми ужасами разных аббатств и ступай себе куда хочешь. К тому же и местоположение от вседневной деятельности гимназической удаленное. На лестнице никто не попадет» [Лицей, 1881, с. 199].

Итак, больница была самым удобным средством, чтобы вырваться из повседневного тягостного коловращения дел и обязанностей, чтобы покинуть стены Гимназии, ускользнуть в город или куда-нибудь подальше — за речку Остер, в Мегерки... А если случится рядом кто-либо из приятелей, то больничная палата превращается в маленький клуб.

Возвращаясь же к притворному сумасшествию Гоголя, можно с большой долей вероятности датировать этот эпизод. За все время пребывания в Гимназии Николай лишь один раз получил единицу по поведению — в феврале 1824 года; он был тогда в пятом классе. В ведомости отмечено, что оценка снижена Яновскому «за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение» [Лавровский, с. 44]. Не подразумевается ли тот проступок, за который Гоголь должен был подвергнуться телесному наказанию? Но уже в мартовской ведомости отмечено, что мальчик вел себя «отлично-хорошо», и все последующие оценки его по поведению, в том числе и годовая, — наивысшие, то есть «4».

Все же характерно, что тихий и робкий Никоша уже достаточно освоился и мог при случае показать себя. Его непокорность, стремление самоутвердиться выражались прежде всего в розыгрышах, мистификациях, отвечавших пробуждающемуся комическому таланту. И в сферу действия последнего попадали не только преподаватели, но — прежде всего — товарищи и однокашники Гоголя.

СРЕДИ ТОВАРИЩЕЙ И ОДНОКАШНИКОВ

Первые биографы Гоголя охотно писали о его приверженности культу дружбы. «Надо заметить, что Гоголь в юности сближался довольно легко» [Лицей, 1859, с. 9]. «Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем <...>, что даже школьные враги его, если только он имел их, были ему до конца жизни дороги» [Кулиш, 1854, с. 2]. Напротив, С. Т. Аксаков сомневался, что у Гоголя существовали когда-нибудь друзья, что ему было знакомо чувство дружбы.

Как противоположные эти суждения весьма неточны; но в то же время каждое из них скрывает в себе часть истины, так как они восходят к различным проявлениям гоголевской натуры. Гоголь умел возвращаться к своим знакомым то одной, то другой стороной, ускользая от испытующего взгляда, от требований цельности.

В более позднем автобиографическом произведении «Ночи на вилле», рассказывая о том, как он ухаживал в 1839 году за умирающим другом (И. М. Вельгорским), Гоголь говорит, что переживал «повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего». «Ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на жертвования, часто даже вовсе ненужные». Это очень личное, сокровенное признание.

С одной стороны, в Гоголе, в пору его молодости, жило непререборимое стремление к дружескому участию, взаимопониманию, к полной душевной откровенности и единению, простиравшимся до мелочей, до знаков внимания, чуть ли даже не избыточных в своей аффектированности («часто даже вовсе ненужных» — как... у Манилова!). А с другой стороны, Гоголь говорит о быстротечности, мимолетности этих чувств, исчезающих, подобно «жителям невозвратимого мира». Словно какая-то сила гасила порыв, сковывала чувства, и за откровенностью следовали разочарование, сдержанность и холодность. Источник этой сдерживающей силы находился и вне Гоголя, и в нем самом.

Многие знавшие Гоголя в гимназическую пору набрасывают его портрет двумя красками. Гоголь тих, покорен, любим товарищами. И в то же время он насмешлив, колок, скор на прозвище или шутку. Биограф, собиравший материалы по свежим следам, писал, что «бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и добронравного», но «маленькие злые, ребяческие проказы были в его духе...» [Кулиш, 1854, с. 12]. Комнатный надзиратель П. (под этой литерой, по всей видимости, скрывается упоминавшийся выше надзиратель третьего музея француз Перион): «Поведения... он был прекрасного; смиренное его не было, хотя товарищи часто жаловались на него: он всех копировал, передразнивал, клеймил прозвищами; но характера был доброго и делал это не из желания обидеть, а так, по страсти» [МВед. 1853. № 71. С. 729]. Соученик Гоголя А. С. Данилевский: «В Нежине товарищи его любили, но называли: *таинственный карла*¹⁵. Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища» [Шенрок, т. 1, с. 102].

Важно и то, как рисовались позднее самому Гоголю его взаимоотношения с товарищами. Эти взаимоотношения не казались ему гармоничными и безоблачными, скорее наоборот; но причину он видел в некоторой своей душевной потребности. «Когда я был в школе и был юношей, я был очень самолюбив <...> мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши все о себе» [XI, 182]. Значит, выходки Николая против товарищей, в том числе и юмористические или, как выразился Данилевский, саркастические, преследовали провокационную цель — заставить разговориться, открыть все, что думаешь... Зачем это было нужно Гоголю?

Признание его сделано в 1838 году, уже после того, как он написал и поставил «Ревизора», уехал из России, приступил к «Мертвым душам». Для работы над поэмой автору нужен соответствующий настрой, «гневное расположение», которое на расстоянии «начинает уже

ослабевать, а без гнева — вы знаете — немного можно сказать: только рассердившись говорится правда» [XI, 182]. Гнев необходим ему для того, чтобы обличить «дурное» в России, точно так же, как некогда с помощью гнева других он хотел распознать «дурное» в себе. Гнев служит могучим средством к исправлению и самоисправлению, но этому состоянию предшествует другое — познание и самопознание, и оно также достигается с помощью откровенного, гневного слова. Такой видится картина Гоголю конца 30-х годов. А как обстояло дело в действительности?

Для духовного и умственного развития Гоголя характерны одновременно и чрезвычайная изменчивость, и постоянство (пройдет каких-нибудь два-три года, и автор «Мертвых душ» совсем иначе будет отзываться о роли «гневного расположения», но об этом разговор впереди). Кажется, что с новым этапом Гоголь совсем другой, а между тем предвестие нового слышалось уже раньше. Эту мысль можно выразить и по-другому: кажется, что Гоголь, вступивший в следующую пору своей эволюции, решительно рвет с порою предыдущей, однако между ними отыскивается поразительное сходство. Постоянство достигается общим звеном у той и у другой поры, или стадии, а изменчивость — переносом акцента. В этом свете и надо понимать позднейшее признание Гоголя об отношениях его с товарищами.

По смыслу этого признания выходит, что спровоцированные Гоголем «ссоры» строго предопределялись этическими соображениями — потребностью увидеть в себе «дурное», чтобы от него избавиться. Однако мотивы морального исправления и тем более самоисправления еще не звучат у молодого Гоголя в полную силу (хотя они уже не совсем чужды ему). Но правда о себе самом ему все же была крайне нужна. Человеку с самолюбием свойственно испытывать острый интерес к тому, как воспринимает его чужое сознание. Гоголь же был не просто самолюбив, а «очень самолюбив»; в истинных суждениях товарищей он нуждался для самоутверждения и гармонического внутреннего состояния, хотя риск состоял в том, что узанное грозило привести к еще большей дисгармонии...

Значительно позже, в середине 40-х годов, когда подход Гоголя к себе стал еще строже, чем в 1838 году, он находил, что «в обхождении» его «с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего». «Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других» [VIII, 217].

В этом признании снова скрестились настроения различных эпох. Последовательная установка на самовоспитание, да еще чуть ли не в отшельничестве, в «отдалении от людей», — это, конечно, поздний Гоголь. Но «самолюбие» (которое теперь ему кажется «мелочным»), потаенное желание отличиться, сказать какое-то необыкновенное, «умное» слово — не свойственно ли это было уже Гоголю-мальчику, Гоголю-подростку? Он уже предчувствовал свою силу, хотя бы потому, что прекрасно разбирался в скрытых мотивах поступков окружающих («Драгоценный дар слышать душу человека мне уже был издавна дарован Богом». — [XIII, 169]), но он вовсе не был уверен, признают ли его силу товарищи и сверстники. Скорее всего, не признают: ни во внешности, ни в походке, ни в манере поведения его не было ничего такого, что бы обнаруживало великого человека. А между тем это непризнание, сама даже мысль о возможности непризнания причиняли Гоголю мучительные страдания.

Из всех гимназистов Гоголь больше всего сблизился с Николаем Прокоповичем и Александром Данилевским. Обоих можно считать друзьями Гоголя, причем эта дружба, несмотря на некоторые размолвки и осложнения, сохранилась на всю жизнь.

Александр Семенович Данилевский (1809—1888) — земляк и одноклассник Гоголя; он родился 28 августа 1809 года в своем имении Семереньки, находившемся в 30 верстах от Васильевки. Быть может, потому, что пути обоих переплелись очень рано, Гоголь называл Данилевского своим «двоюродным братом», «кузенком», хотя кровного родства между ними, кажется, не было. По словам Александра Семеновича, родители обоих «вместе воспитывались в Киевской духовной академии», хотя это едва ли верно, так как о пребывании Василия Афанасьевича в этом учебном заведении ничего не известно. Но, во всяком случае, оба соседа-помещика дружили домами, а однажды, «около Рождества», Данилевский-старший взял с собой в Васильевку семилетнего сына. «Тут я увидел в первый раз маленького Никошу, — вспоминал Александр Семенович. — Он был нездоров и лежал в постели. Мы играли с его младшим братом Иваном. Пробыли мы несколько дней» [Шенрок, т. 1, с. 99].

Потом в 1818 году Данилевский поступил в Полтавскую гимназию. Николай в этот же год вместе с Иваном был принят в поветовое училище; но позднее, будучи учеником Гаврилы Сорочинского, он, видимо, бывал и в стенах гимназии. «Тут после нескольких разговоров мы вспомнили друг друга», — рассказывает Данилевский.

В третий раз судьба свела обоих мальчиков уже в Нежине. Данилевский поступил в Гимназию высших наук в 1822 году, Гоголь — годом раньше, но вследствие принятой здесь системы распределения учеников, о которой говорилось выше, оба вскоре оказались в одном классе и так до конца обучения вместе и шли, исключая то время (с последних месяцев 1826 по декабрь 1827 г.), когда Данилевский уезжал

из Нежина в Москву. «С тех пор мы были неразлучны», — говорил Данилевский. Сестра Гоголя Анна Васильевна подтверждает: «Особенно же был дружен [Николай] с детства с А. С. Данилевским» [Воспоминания, с. 462].

Данилевский рано лишился отца, еще до поступления в Гимназию, и его мать Татьяна Ивановна вторично вышла замуж за помещика Василия Ивановича Черныша. Черныш был коротким знакомым гоголевского семейства, а его имение Толстое находилось всего в шести верстах от Васильевки. Поэтому на вакации отправлялись обычно в одной коляске — Гоголь, Данилевский и еще один гимназист — Петр Баранов.

А однажды прихватили с собой Щербака, тоже знакомого гоголевской семьи. Эта поездка запомнилась Данилевскому. «Дорога была продолжительной; мы ехали на своих и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его...» [Шенрок, т. 1, с. 101].

Достался Щербак и «гусар», а каково действие «гусара», то есть бумажного кулечка, наполненного табаком, помнит каждый, читавший «Мертвые души»: «Протянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам...»

Возвращаясь же к Данилевскому, надо еще сказать, что с Гоголем его сближал общий интерес к литературе и театру. Этот интерес отличал и Прокоповича, другого гимназического товарища Николая.

Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857) был на полтора года моложе Гоголя; он родился 27 ноября 1810 года в Оренбурге, где его отец занимал место управляющего пограничной таможенной. По выходе отца в отставку в чине коллежского советника вся семья переехала в Нежин, и Николай вместе с братом Василием поступил в Гимназию высших наук. Произошло это 23 января 1821 года [Сборник, с. 317], несколькими месяцами раньше, чем в Гимназии появился Гоголь, но затем Николай Прокопович шел классом младше и закончил курс обучения годом позже.

Прокопович отличался румяным цветом лица, за что получил в Гимназии прозвище Красненькой. Гоголь охотно повторял это прозвище и, скорее всего, был его автором, но это не помешало сближению обоих воспитанников. П. Кулиш, явно со слов Прокоповича, писал, что тот «был неразлучным спутником Гоголя от самого вступления его в Гимназию» [Кулиш, 1852, с. 200]. Это подтверждает и другой гимназист — Т. Г. Пашенко: «Гоголь и Прокопович — задушевные между собою приятели».

О дружбе с Прокоповичем свидетельствует и тот факт, что Гоголь прочитал ему наизусть стихотворную балладу «Две рыбки», в которой аллегорически изобразил свою судьбу и судьбу рано умершего брата Ивана. Стихотворение показалось Прокоповичу «очень трогательным» [Кулиш, 1854, с. 16].

Сравнивая отношение Гоголя к обоим друзьям, В. Шенрок говорил, что Прокопович лишь исполнял «преимущественно его поручения» и пользовался «до известной степени его расположением», а Данилевский был для Гоголя «истинно глубокой и нежной с раннего детства привязанностью» [Шенрок, т. 1, с. 302]. Противоположность эта относительная: Гоголь до конца не был близок ни с тем, ни с другим и всегда от обоих что-то утаивал; но в то время он стремился к душевному общению с ними, и в словах его, обращенных к Прокоповичу, порою тоже звучали проникновенные, теплые ноты, как, например, в более позднем письме из Рима (от 2 июля 1838 г.): «Не совестно ли тебе, мой милый, не писать ко мне, позабыть меня! Не совестно ли тебе лениться! А я о тебе думаю часто, всегда. И ни роскошь этих стран, где я живу теперь, ни юг, ни чудные небеса, ничто не в силах помешать мне думать о тебе, с кем начался союз наш под аллеями лип нежинского сада во втором музее¹⁶, на маленькой сцене нашего домашнего театра...»

Дружбе Гоголя с Данилевским и Прокоповичем способствовали некоторые особенности того и другого. Оба были не чужды умственных, литературных и театральных интересов, но резко из гимназической массы не выделялись; к блестящим фигурам их не отнесешь. Оба учились довольно средне, примерно так же, как и Гоголь. Оба были покладисты, легки в общении; Данилевский располагал к себе природным юмором («человеком веселых нравов» называет его П. В. Анненков), а в Прокоповиче некоторая угрюмость смягчалась робостью и постоянной неуверенностью в себе.

Будь оба они покрупнее и поновистее характером, дружба их с Гоголем едва ли сложилась бы.

В отношениях с другими своими сверстниками Гоголь был более скрытен, но в то же время ровен, благожелателен и — насмешлив.

Любил разыгрывать, имена заменял прозвищами. А Михаила Риттера, бывшего классом младше, наделил веером прозвищ: Барончик, Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопцики... Возможно, большинство этих прозваний, если не все, Гоголь сам и придумал.

Истоки гоголевского комизма коренятся в глубоких сферах его души, опосредованы потаенными переживаниями. Была тут и игра свежего ума, наслаждающегося силой своей пронизательности, властью над окружающими. Был и вызов, нарочитый эпатаж, граничащий с шутовством и юродством. «Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя в комнате, то поет петухом

среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали об этом, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что «я предпочитало быть один в обществе свиней, чем среди людей» [ИВ. 1902. № 2. С. 255]. Было здесь, следовательно, и проявление совсем других чувств — не юмора и не веселости; было превратное, скрытое, сублимированное выражение этих чувств.

Гоголь впоследствии (в «Авторской исповеди») говорил о «некоторой душевной потребности», обнаружившейся у него еще в ранние годы: «На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».

Склонность «размыкать хандру» весельем, рассеивать тоску веселой выдумкой принадлежит к общечеловеческим свойствам; здесь же и источник обыкновенных бытовых проделок и розыгрышей, рождающих ощущение выхода из-под вседневного гнета условий и обстоятельств. Связанные материально и физически, мы получаем свободу в призрачном мире мечты и фантазии. В подобных психологических переходах и перепадах нет ничего необычного, но у Гоголя все это усугублялось «болезненным состоянием». Его рано пробудившаяся «тайная печаль», характеризующая также навязчивым гоголевским словечком «ныть» («ныла душа моя...»), властно требовала разрядки и компенсации.

Пародируя, высмеивая, давая прозвища, Николай приобретал идеальную власть над людьми и обстоятельствами. Как-то после очередной поездки домой он передавал свои впечатления: «...и глубокомысленный Дорогой, и остроумная Пупура, и, наконец, всезнающая Чцююшка — все так спестрилось в моем воображении, что я не знаю, к чему вперед обратиться: или к тому, что Дорогой поймал утку, или что княжна перерядилась в баронессу» [X, 107]. «Спестрились» и перемешались явления самые разные: Дорогой и Пупура — это клички собак, а Чцююшка — прозвище (возможно, изобретенное именно Гоголем) соседки Ксении Федоровны Тимченко; поимка утки равнозначна свадьбе внучки Д. П. Трошинского княжны Прасковьи Хилковой и барона С. К. Остен-Сакена («...княжна перерядилась в баронессу»). Из реальных деталей Гоголь творит новый, «смешной» мир, в котором он полный хозяин.

Однако у проблемы «молодой Гоголь и смех» есть еще одна сторона. Говорят обычно о том, что Гоголь высмеивал других, и забывают, что высмеивали и его самого. И прозвища ему давали — и не только романтически-неопределенное — «таинственный Карла». В. И. Любич-Романович, описавший в комических красках первое появление Никоши в Гимназии, утверждает, что его называли «пигалицей», а также еще «мертвой мыслью» по той причине, что «он часто... не договаривал того, что хотел сказать, если вступал с кем в разговор, опасаясь,

что ему не поверят и что его истина, изреченная устами правды, останется непринятой» (о фактах уклонения от разговора, как мы знаем, упоминал и сам Гоголь, объясняя это опасением, что он не сможет «еще произнести умного и нужного слова», а «ненужных слов» произносить «не хотелось»).

По словам Любича-Романовича, высмеивалось неряшество Гоголя («...ему постоянно ставилась на вид его бесприческа»), что подтверждается отзывом надзирателя, снизившего Николаю оценку по поведению «за неопрятность». Высмеивались и погрешности гоголевской речи, которые вместе с тем всегда были связаны с ее колоритностью и оригинальностью («...такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется...»); высмеивались «физическая неприглядность» и «хуторное происхождение». Любич-Романович причислял себя к аристократической партии в Гимназии, хотя его отец Игнатий Антонович был всего лишь ротмистром (чин в кавалерии, соответствующий капитану), а Гоголя относил к плебейам, «однодворцам».

Мемуарист даже приходит к выводу, что «жизнь Николая Васильевича в школе была в сущности адом для него» [ИВ. 1902. № 2. С. 550].

Свидетельства Любича-Романовича не пользуются особым авторитетом в науке, поскольку они записаны другим лицом (С. И. Глебовым) и отношение мемуариста к Гоголю отличает «чувство недружелюбия». Но именно последнее обстоятельство делает их в своем роде интересными; ведь если не настроения всех, то, по крайней мере, нескольких лиц или, на худой конец, одного Любича-Романовича этот документ передает. Но более естественно думать, что Любич-Романович в своем снисходительно-презрительном отношении к Гоголю был не одинок. А. С. Данилевский тоже подметил, что над Николаем подтрунивали и его высмеивали.

Все это делает понятными слова Гоголя, сказанные матери перед окончанием Гимназии: «Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч.» [X, 123].

Применительно к смеху это означает, что Гоголь рано ощутил его двойную, обоюдостороннюю природу. Смех как выражение превосходства и презрения. И смех как преследование, отвержение, исключение из общности тебя самого. Смех как моральная победа. И смех как унижение и поражение. Смех в этическом смысле позитивный (если осмеивается низкое) или, в крайнем случае, нейтральный. И смех проблематичный по своей этической направленности, а то и заведомо несправедливый.

У двузначности смеха была еще та особенность, что обе его стороны не имели четкой разграничительной линии, и самоутверждение

нечувствительно переходило в агрессию, а позитивная моральная направленность — в проблематичную или определенно негативную.

Весь этот клубок противоречивых ощущений едва ли осознавался молодым Гоголем во всей своей глубине и значительности; но он уже был почувствован и замечен. Заронилось зерно последующей духовной эволюции писателя и мучительных размышлений его о природе смеха и миссии комического автора...

Жизнь Гоголя в Гимназии, отношение к нему сверстников во многом определялись его невольным соперничеством с Кукольником. Товарищи иногда их сравнивали — и не в пользу Гоголя.

Н. Ю. Артынов, брат гимназистов Анания и Петра, рассказывал о том, как Гоголь выполнял обязанности общественного библиотекаря. «Надевает, бывало, из бумаги пропасть сверточков, в виде наперстков, и предлагает студентам надевать на пальцы эти наконечники, для того чтобы при чтении и перелистывании книг не засаливать их пальцами». Гимназисты отнеслись к совету Гоголя иронически, увидев в этом еще один повод для насмешек: «Смеются, бывало, да и только... Таков был этот Гоголь...» И тут мемуарист противопоставляет ему Кукольника: «Вот Кукольник — совсем иная статья. Пред Кукольником все мы благоговели» [РА. 1877. Кн. 3. С. 192].

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) родился 8 сентября 1809 года в Петербурге, где отец его занимал должность профессора в Педагогическом институте. Получив место первого директора нежинской Гимназии высших наук, Кукольник-старший решил поместить сына во вверенное ему учебное заведение. Нестор был зачислен в качестве сверхкомплектного воспитанника в то же второе отделение, в котором находился Гоголь. После смерти отца Нестор вместе с семьей покинул Нежин. Возвратился он в Гимназию, как мы помним, по настоянию Орлая, спустя два года, в результате чего отстал от Гоголя на один класс. Однако по своей подготовке, знаниям Кукольник намного опередил и Гоголя, и многих других сверстников.

Еще до приезда в Нежин мальчик выучил латинский язык, умел на нем свободно изъясняться и, совершив шалость, чтобы поскорее смягчить сердце отца, составлял извинения по-латыни. В Гимназии, по словам Артынова, «он брал из основной библиотеки книги для чтения на языках: французском, немецком, итальянском, что было для нас в настоящую диковинку». Эти успехи особенно Гоголя представляли в невыгодном свете, так как вскоре обнаружилась его неспособность к языкам.

Учился Кукольник легко, на вступительных экзаменах из 40 возможных шаров получил 34 (напомню, что у Гоголя было 22); впоследствии по причине нерадения, которое не раз отмечали преподаватели, имел разные оценки, но общий балл всегда у него был выше, чем у Гоголя. Кончил же Гимназию Кукольник блестяще — на выпускном экзамене по всем предметам получил высшую оценку — «4».

Уже в детстве, под влиянием отца, Нестор мечтал посвятить себя ученой деятельности: «Я еще мальчишкой прочил себя в профессора, мечтал только о профессуре, всякую службу, кроме ученой, презирал как занятие, недостойное человека — и хотя с немцами познакомился несколько позже, но уже в 1824 году был по инстинкту немцем и нередко выманивал у Ивана Семеновича [Орлая] различные сведения, относившиеся до ученого и учебного быта в Германии» [Лицей, 1881, с. 190—191]. Но вместе с тем с молодых лет Кукольник сочинял стихи, и мечты о будущем поэтическом поприще ему тоже не были чужды.

Кукольник отличался неровным, впечатлительным характером. Психическая неуравновешенность отца усугублялась в мальчике некоторыми обстоятельствами его детства. Из семерых детей мать склонна была уделять наименьшее внимание именно Нестору. «Отец, заметив нелюбовь ко мне матери, старался вознаградить меня своею нежностью» [Кукольник, с. 90]. Поэтому с потерей отца у мальчика обострилось ощущение сиротства, находившее порою выход в бурных шалостях и проказах. «Немецкое» начало, о котором упоминает Кукольник, не подчиняло себе все его поведение, определявшееся порою его страстным, почти южным темпераментом. «...Было соберет около себя толпу, — вспоминал Гоголь, — и толкует или о Моцарте и интеграле, или движет эту толпу за собою испанскими звуками гитары» [X, 261].

Гоголь называл Кукольника (возможно, он и изобрел это прозвище) Возвышенным — из-за его приверженности к эффектам.

Их отношения ни в Гимназии, ни позднее (о чем разговор впереди) вовсе не окрашивались в резкие, враждебные тона, как это иногда утверждают; они никогда не ссорились, по крайней мере, — не ссорились крупно. Более характерной нотой, определявшей эти отношения, была скрытая борьба за признание, так сказать, амбициозность, и то, вероятно, лишь с одной стороны, потому что Кукольник в эту пору едва ли видел в Гоголе серьезного соперника.

Но Гоголь с его проницательностью уже подозревал в возвышенности своего сверстника что-то натужно-аффектированное; всеобщий же успех и признание Кукольника у окружающих подстегивали Николая к разным дерзким выходкам. Товарищи расценивали эти выходки как неуместно-дерзкие.

Н. Ю. Артынов, говоря о том, что Кукольник «стоял выше всех нас целою головою», добавлял: «И представьте себе, один Гоголь, эта, можно сказать, пешка, не хотел признавать достоинства Кукольника и называл его просто шарлатаном. Удивительно да и только! Из-за этого я как-то чуть не поссорился с ним, Гоголем. Начал он это мне, знаете, говорить против Кукольника разную чепуху, так я ему в ответ ах, ты, говорю, ничтожность этакая! Что ты значишь против Кукольника! Ну и таки порядочно его сконфузил, хоть, конечно, это сказано было мною по-товарищески» [РА. 1877. Кн. 3. С. 192].

Чувствуя себя в кругу гимназических товарищей неуютно, а порою стесненно, Гоголь порывался выйти за его пределы. Он заводил знакомства среди простых людей, охотно бывал в Магерках (или Мегерках), демократическом пригороде Нежина. «Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что, или когда просто выгадывался pogodливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там» [РА. 1877. Кн. 3. С. 191]. Эти слова находят подтверждение и у Любича-Романовича: «Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, например, со своим “дядькою” [Симоном], прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина — в особенности. Это сближение его с людьми простыми, не претендующими на изящество манер, изысканность речи и на выбор предмета беседы, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни, удовлетворяло его эстетические потребности и вызывало в нем поэтическое настроение» [ИВ. 1902. № 2. С. 551].

«Эстетическую потребность» Гоголя здесь надо понимать в весьма широком смысле, обнимающем все его мироощущение и поведение, включая и житейскую, бытовую сферу. Своими предосудительными знакомствами и встречами он опрокидывал принятую иерархию, нарушал этикет; но подобной же цели служили иные его отклоняющиеся от нормы поступки и привычки. Гоголь любил вносить беспорядок в порядок, разнорядную в стройность. Выше уже говорилось о любви его к садоводству в английском вкусе, когда деревья рассажены «не по ранжиру», но произвольно и бессистемно. Но, оказывается, такое же стремление обнаруживал Гоголь и в устройстве интерьера: «В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, например, по стенам, у столов, а в углах и посередине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете или в больнице». Подобное же пристрастие в... манере передвигаться по улицам! «Ходил он по улице или по аллее сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Это давало случай обращать на него внимание всех посторонних и посылать ему вслед “невежа”. Но Гоголь обыкновенно этого не слышал...» [ИВ. 1902. № 2. С. 556].

Нарушение порядка, симметрии, этикета, иерархии отвечало какой-то глубокой потребности гоголевской души.

«Я СОВЕРШУ СВОЙ ПУТЬ В СЕМ МИРЕ...»

В марте 1825 года, когда Николай учился в шестом классе, его постиг страшный удар — умер отец¹⁷.

После смерти Вани это была вторая тяжелая утрата в семье. Двумя годами раньше умер друг гоголевского семейства, сосед В. В. Капнист. Родители тогда ничего не написали об этом в Нежин, и Никоша узнал о случившемся окольным путем. «Как будто бы еще о

сю пору я ребенок и еще не в совершенных летах и будто бы на меня ничего нельзя положиться» [X, 45].

Теперь ему действительно предстояло доказать, что на него можно положиться.

Марья Ивановна мучительно пережила смерть мужа. Впоследствии она рассказывала: «Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Кибинцы, чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать, и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: “Может, долго там пробуду, но постараюсь скорее вернуться”» [Шенрок, т. 1, с. 54].

По дороге в Кибинцы Василий Афанасьевич почувствовал себя плохо и решил временно устроиться в Лубнах, чтобы избежать многолюдства и суеты, царящих в доме Трощинского. Но потом все же отправился в Кибинцы.

Марья Ивановна: «Я получала от него часто письма; он все беспокоился обо мне. Я не знала, что жизнь его в опасности, и далека была от мысли потерять его».

19 марта Марья Ивановна родила дочку, которую назвали Ольгой, и едва стала ходить по комнате, как ей сообщили страшное известие.

«...По рассказу, она была убита горем, ничего не хотела есть и довела себя до того, что ее насильно заливали бульоном, и не могла раскрыть рта — стиснуты зубы — и ей чем-то разжимали зубы и вливали бульон» [Головня, с. 4].

Увидев мертвого мужа, Марья Ивановна впала в беспамятство. «Мне после говорили, — рассказывает она, — что я <...> начала громко говорить к нему и отвечать за него. Я просила и для меня оставить место в склепе. <...> Когда я вышла в первый раз в сад, мне так странно казалось, что все на том же месте, ничто не изменилось: мне казалось, что все должно было погибнуть. Я молила Бога оставить мне остальных детей и единственного сына, которого любила больше всей жизни...» [Шенрок, т. 1, с. 56—57].

Причина смерти Василия Афанасьевича недостаточно прояснена. По рассказу Марьи Ивановны, у него шла кровь горлом, наблюдалось «стеснение в груди и геморроидные страдания». Но впоследствии Гоголь говорил, что отец его умер, «угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападением какой-нибудь болезни» [XII, 493]; отца погубило то, что на него «нашел страх смерти» [Кулиш, 1854, с. 192]. Очевидно, без психического фактора здесь не обошлось. Николай Васильевич вспоминал все это, чтобы объяснить свое собственное состояние в пору кризиса, в середине 40-х годов, и в 1852 году, незадолго до смерти. И действительно, как будет ясно из дальнейшего, сходные явления налицо; сын унаследовал не только крайнюю

мнительность своих родителей, но и некоторые более частные психические предрасположения отцовского характера...

О смерти отца Никоша узнал в Нежине, вскоре после Пасхи; возможно, это известие привез ему Петр Баранов, ездивший на праздники домой. 23 апреля Гоголь писал в Васильевку: «Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен сим известием, однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего — и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему».

Замечательная особенность этого письма — его явная «педагогическая» направленность. Гоголь знает о глубоком отчаянии матери и поэтому говорит о том, как он *преодоле*л такое же состояние, как устоял даже перед искусом самоубийства, как он *ищет* и *находит* нечто такое, что возвратит ему волю к жизни. «...Меня беспокоит больше всего ваша горесть! Сделайте милость, уменьшите ее, сколько возможно, так, как я уменьшил свою». «Уменьшить» горе может только мысль об оставшихся родных: «...разве не осталось ничего, что б меня привязало к жизни? Разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери...»

И в следующем письме, написанном на другой день, Николай уверяет мать, что он «спокоен», что его «спокойствие» зависит от ее настроения, и просит пожалеть себя ради «несчастных сирот» — сестер Марьи, Анны, Лизы и новорожденной Оли.

В переживаниях Гоголя, вызванных смертью отца, впервые появился практицизм его религиозности, который позднее обернется попыткой тесно «связывания творчества и жизни с церковью» [Зеньковский, с. 210]. Утоление «своей горести» Гоголь ищет в «священной вере»; «отчаяние» вытесняется «печалью», а «печаль» — «меланхолией», смешанной с «чувством благоговения ко Всевышнему». Но все это оказывается возможным потому, что он не собирается ограничиваться одними переживаниями и намерен и в жизни поступать как «истинный христианин», внося добродетель в свои поступки и практические дела.

Николай, единственный мужчина в семье, чувствует теперь, что он ее опора. Проявляет интерес к различным хозяйственным делам, выпрашивает мать, «продолжается ли <...> постройка дома? работают ли в саду? курится ли винокурня?». Дает советы: «...когда окончится полевая работа, то не худо бы приняться отыскивать глины, годной для черепиц. Я не знаю, что может быть полезнее, как завести такой завод». Заверяет: «Я теперь сделался большим хозяином, умею различать хлеба и на каникулах покажу вам, где сено, овес, жито и

прочее, и могу даже целый час спорить с житными панами о посеве озимой гречихи» [X, 66, 70].

Обдумывая свои различные обязанности, Николай вспоминает отца — «моего друга, благодетеля, утешителя... не знаю, как назвать этого небесного ангела, это чистое, высокое существо, которое одушевляет меня в моем трудном пути, живит, дает дар чувствовать самого себя и часто в минуты горя небесным пламенем входит в меня...» [X, 90]. Один из гоголевских биографов видит в этих словах лишь «риторическое отступление, из которого ровно ничего нельзя выяснить об отношениях сына к отцу» [Щеголев, с. 665—666]. Однако Гоголю было свойственно облекать в риторические одежды глубоко пережитые им чувства; в данном же случае он высказывает очень дорогую ему мысль, что именно образ ушедшего родного человека побуждает его к практическим деяниям. «В сие время сладостно мне быть с ним, я заглядываю в него, т. е. в себя, как в сердце друга».

К этому надо добавить, что в одном отношении Николай чувствовал потерю отца невозполнимой — в отношении своих творческих занятий. Юноша сочинял стихи, рисовал картины, рассчитывая прежде всего на одобрение Василия Афанасьевича: в семье больше не было человека, который мог по достоинству оценить его успехи. «Я папинеке хотел было прислать несколько своих сочинений. Также своего рисования картинок. Но... ему не угодно было их видеть». В отношении же матери у Никоши на этот счет есть сомнения: «Я не знаю, прислать ли мне вам их и примете ли вы милостиво первые плоды ваших родительских обо мне попечений» [X, 55].

Возвращаясь к практицизму гоголевской религиозности, следует заметить, что он распространялся не только на семью, родных, но и на окружающих людей. Подмечен глубокий интерес Гоголя-гимназиста к бедным и обездоленным. «Так, например, — вспоминает Любич-Романович, — он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему что мог. <...> Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки, которой ему нечего было подать в то время, когда он проходил мимо нее, и на ее слова “подайте Христа ради” ответил: “считите за мной”... И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, как прежде, он подал ей вдвойне, добавив при этом: “тут и долг мой”...» [ИВ. 1902. № 2. С. 556].

Свидетельство мемуариста подтверждается письмом Марьи Ивановны А. А. Трошинскому от 23 ноября 1830 года: «...человек, который был при нем в Нежине (род дядьки) (речь идет о Симоне. — Ю. М.), говорил мне <...> что когда я дам ему денег по праздникам на конфеты, до которых он большой охотник, то когда не успеет еще купить и встретится ему бедный, то так и старается, как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги...» [РС. 1882. Т. 34. С. 676].

«Вообще, Гоголь относился к бедности с большим вниманием, — говорит Любич-Романович, — и, когда встречался с нею, переживал

тяжелые минуты». Если верить мемуаристу, Гоголь даже обдумывал план, как «известить нищету». «...Всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им головы преклонить некуда, потому они и побираются. При доме же и земле они этого не захотели бы для себя...»

В то же время к обрядовой стороне религиозности Гоголь относился равнодушно, чтобы не сказать неприязненно. Мы знаем, что так повелось у него с самого раннего детства, с посещений храмов в Васильевке или Сорочинцах. «...Я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся» [X, 282]. В Гимназии продолжилось такое же формальное выполнение Гоголем обряда. «В церкви, например, Гоголь никогда не крестился перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем поклонов наравне с другими молящимися... Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку великопостной службы...»

В душе юноши жило и развивалось глубоко внутреннее, свое переживание религиозности, пробужденное тоже в детстве памятным рассказом матери о Страшном Суде, о награде праведникам и вечных муках грешников. Поэтому он «святые молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию или литию...».

Особенно примечательны проявления гоголевского протеста против иерархии. Не одобряя «степеней градаций в церкви», он обычно толкал мужика, чтобы тот шел вперед, говоря: «Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе». «Это иногда вызывало нарекание на него со стороны именитых граждан Нежина, но он не обращал на то никакого внимания и всегда оставлял протестантов без ответа... Не находя ничего лучшим для себя, как сделать что-нибудь для мужика полезное, он нередко обращался к нему в церкви с вопросом: “Есть ли у тебя деньги на свечку?” — и, получив отрицательный ответ, сейчас же вынимал из кармана какую-нибудь монету и отдавал ее мужику, говоря: “На, поди, поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь, это лучше, чем кто другой за тебя поставит”... И мужик шел ставить свечку тому образу, которому он молился... Это постоянно вызывало толкотню в церкви, на что иные сетовали, предлагая передавать свечи через руки других лиц, стоящих впереди подателя... Но Гоголь был счастлив... Он торжествовал, что его цель была достигнута и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном... Ему только этого и нужно было; он только того и хотел, чтобы мужик потерял своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал бы их своей пылью...» [ИВ. 1902. № 2. С. 554—555].

Как тесно переплелось в подобных поступках самое разное — и внутренняя религиозность, и практицизм этой религиозности с его

филантропическим уклоном, и демократическая неприязнь к иерархии и обряду, доходящая до озорства и эпатажа!

Вместе с тем в этом озорстве, учиняемом под сводами храма, проявлялось нечто родственное той душевной потребности, которая толкала Гоголя к веселым проделкам и мистификациям, заставляла его вносить асимметрию в интерьер комнаты и в разбивку сада. Словно сам демон беспорядка тайлся на дне гоголевского мироощущения, заявляя о себе время от времени «толчками» и требуя выхода и внимания...

За несколько месяцев, прошедших со дня смерти отца, Гоголь повзрослел; он почувствовал, что его кругозор расширился, «понятия» «сделались гораздо пронизательнее, дальновиднее».

Пробудившаяся в нем с детских лет мысль о своем общественном служении окрепла, и в июне 1825 года он уже торжественно заявляет матери: «Что касается до меня, то я совершу свой путь в сем мире, и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть таковым». По смыслу этой фразы ясно, что Гоголь предназначает себе не обычный путь «всякого человека». Мысль об общественном служении уже неотъемлема от ощущения избранности.

Но какое же конкретное содержание вкладывал Гоголь в эту мысль?

Позднее, перед окончанием Гимназии, 3 октября 1827 года, он доверительно сообщал своему двоюродному дяде Петру Косяровскому, что решил посвятить себя государственной службе. И прибавлял: «...Вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет неуклонно держится одной цели...» «Около трех лет» — это примерно с весны или лета 1825 года, с рубежа, которым Николай поместил свое духовное возмужание.

Есть все основания считать, что именно в это время возникла у него та мечта, та гражданская идея, которой он потом поделился в упомянутом письме Косяровскому: «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. — Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, что здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага» [X, 111—112]. Гражданская идея Гоголя неразрывно слилась с религиозной: в борьбе с «неправосудием», общественной коррупцией, в восстановлении законов видел он выполнение своих обязанностей «истинного христианина». Пусть не так четко оформилась эта мысль, как ее выразил Гоголь в приведенных словах, но она уже заронила, овладела его сознанием.

К этому времени относится сближение Гоголя еще с одним гимназистом — Высоцким. Этот человек не стал спутником жизни писателя, как Данилевский или Прокопович; связи его с Гоголем по выходе последнего из Гимназии вообще оборвались. И тем не менее он

сыграл заметную роль как раз в пору становления гоголевского самосознания. Было в этой личности для Николая что-то очень привлекательное и родственное.

Герасим Иванович Высоцкий был на пять лет старше Гоголя — он родился 17 декабря 1804 года [Супронюк, с. 156]. Отец его — Иван Герасимович — военный, поручик [Сборник, с. 317]. С 1 августа 1817 по 30 июня 1819 года Герасим обучался в Полтавском уездном училище [Федотов, с. 59–60], где в это время (в 1818–1819 гг.) находились Николай с Иваном; но в отличие от обоих братьев Высоцкий аттестовался весьма высоко и окончил училище, как гласил официальный документ, «с превосходными успехами — при хорошем поведении» [Заболотский, с. 22–23; Иофанов, с. 121].

Следовательно, Гоголь и Высоцкий могли познакомиться еще в самом раннем детстве, в Полтаве; однако неизвестно, сблизились ли они в ту пору. Едва ли, принимая во внимание столь большую возрастную разницу.

Затем пути привели их в нежинскую Гимназию высших наук, куда они поступили в один год (Высоцкий, правда, несколькими месяцами раньше, 29 января 1821 г.) и оказались в одном отделении — втором. Но Высоцкий гораздо успешнее выдержал вступительные экзамены — он получил 34 шара из 40 — и был переведен в третье отделение [Лавровский, с. 138]. Это позволило ему затем двумя классами опередить Гоголя. Но классы не были отделены непреодолимой перегородкой, что создавало почву для общения.

Биограф Гоголя, встречавшийся с его бывшими соучениками, собиравший материал по свежим следам, пишет: «Сходство вкусов сблизило их (Николая и Герасима. — Ю. М.), ибо тот и другой отличались мечтательностью и комизмом. Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, принадлежат г. Высоцкому. Он имел сильное влияние на первоначальный характер гоголевских сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая “Вечера на хуторе” и “Миргород”, на каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми г. Высоцкий смешил их еще в Гимназии» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 42].

Другой биограф, также отчасти на основе воспоминаний очевидцев (т. е. Данилевского), дополняет эту картину. Мы уже знаем о важной роли больницы в гимназической жизни как своего рода клуба, центра общения. «В больнице особенно фигурировал друг Гоголя Высоцкий, о котором А. С. Данилевский припоминал, что он вечно находился там, страдая от болезни глаз. Он сидел обыкновенно с зонтиком» [Шенрок, т. 1, с. 106]. В больнице по причине действительных и мнимых болезней приходилось часто бывать и Гоголю. Там он и встречался с Высоцким. Кстати, в одном из более поздних писем Высоцкому, передавая ему привет от общих нежинских знакомых, Гоголь упоминает и Евлампия [X, 103] — больничного сторожа, который, по

известным нам уже воспоминаниям Кукольника, так способствовал вольготной жизни в палате...

Завершая свой пассаж о Высоцком, В. Шенрок говорит: «У него с Гоголем было много общего, но Высоцкий был гораздо авторитетнее».

Хотя невозможно сейчас проверить, действительно ли все гоголевские «юмористические прозвища» принадлежат Высоцкому (скорее всего это преувеличение), но его комическое умонстроение, роднящее его с Гоголем, подтверждается свидетельствами последнего. «С первоначального нашего здесь пребывания, мы уже поняли друг друга, а глупости людские уже рано сроднили нас; *вместе мы осмеивали их...*» [X, 80]. Из этого можно заключить, что Высоцкий больше, чем кто бы то ни было другой, был вдохновителем, слушателем и, наверное, в какой-то мере и соавтором гоголевских комических импровизаций.

Но обоих гимназистов «сроднила» и другая черта, на которую не обратили достаточного внимания биографы писателя. Говоря об общих интересах с Высоцким, Гоголь в том же письме прибавляет: «...вместе обдумывали *план будущей нашей жизни*».

В 1825—1826 годах, когда в Гоголе совершалась глубокая внутренняя работа, Высоцкий находился в последнем классе. Это был первый выпуск в Гимназии: через месяц-другой нескольким ее питомцам предстояло вступить в самостоятельную жизнь, что еще более обостряло интерес Гоголя к Высоцкому, да и ко всему его классу. Мысленно он ставил себя в положение старших, «проигрывал» применительно к себе ситуацию окончания Гимназии и вступления на служебное поприще.

Все ли открыл Гоголь Высоцкому в своих планах? В упомянутом письме Косяровскому он замечает, что раньше, до Косяровского, никому не говорил ничего подобного: «Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных». Это так и не так, многое Гоголь уже сказал Высоцкому, но кое-что, видимо, сказать не решился и утаил; такая открытость не до конца, или, что то же самое, полускрытность, проявлялась им не раз. Что было сказано, видно из последующего гоголевского письма Высоцкому, переехавшему в Петербург: «Половина наших дум сбылась: ты уже на месте, уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я... <...> Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя...» [X, 80]. Высоцкому известно о намерении Гоголя переехать в Петербург, поступить на службу, о желании выдвинуться, которое усиливалось ощущением своей избранности. Все это друзья обсуждали в Нежине, перед окончанием Высоцким Гимназии. «Половина» этих «дум», имеющих отношение к Высоцкому, уже сбылась; другая «половина», так сказать, гоголевская, — дело будущего.

В то же время нельзя не заметить, что мечты Гоголя, его «петербургские сновидения» несут на себе легкую гедонистически-эстетическую окраску; в них немалое место занимают «удовольствия» и «прелести жизни петербургской», в том числе театр и музыка: «Ты мне мало сказал про театр. <...> Я думаю, ты дня не пропускаешь, — всякий вечер там. Чья музыка?» Видимо, в таком ключе обсуждалась столичная жизнь обоими друзьями, что вовсе не исключает серьезности планов Гоголя. Но не в том ключе звучат эти планы в письме Косяровскому — торжественно, почти ригористически: «Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага» и т. д. Очевидно, эту сторону Гоголь и не открыл другу; возможно, он не сказал и о своем желании посвятить себя именно юстиции.

Помимо Высоцкого, Гоголь сблизился в определенной мере и с другими гимназистами выпускного класса («...не могу без сожаления и вспомнить о вашем классе»). Из одиннадцати учеников этого класса, окончивших Гимназию летом 1826 года, наиболее интересны двое — Тарновский и Редкин.

Василий Васильевич Тарновский (1809—1866) — впоследствии энергичный деятель по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Петр Григорьевич Редкин (1808—1891) — будущий знаменитый юрист, профессор Московского и Петербургского университетов. Хотя Тарновский ни разу не упоминается в сохранившихся письмах Гоголя-гимназиста, но более поздние письма к нему писателя позволяют думать, что между обоими давно установились доверительные отношения: Гоголь причисляет Тарновского к своим «одноборщникам», сообщает разные интимные подробности о гимназических приятелях и т. д. Что же касается Редкина, то еще в Гимназии определенно обнаружили его точки сближения с Гоголем. Биограф Редкина говорит: «...в тесной комнатке Редкина, на квартире гувернера Мышковского (т.е. надзирателя И. Г. Мышковского. — Ю. М.), надзору которого был он поручен, постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов...» [Лицей, 1881, с. 443]. Среди этих лиц назван и Гоголь.

Впоследствии, знакомя Редкина с М. П. Погодиным, Гоголь писал последнему: «Рекомендую тебе доброго товарища моего Редкина» [X, 333]. Редкину, или Редькину, тоже досталось от Гоголя прозвище: «Завтра в 3 часа к обеду нагрянет к тебе весь ученый мир, предводимый *растением Редькою*. Означенное *растение Редька* нарочно присылал к тебе человека узнать квартиру твою...» и т. д. (из письма тому же Погодину — [X, 371]).

О тесных отношениях Гоголя с классом Высоцкого свидетельствует и такой факт. Среди учеников этого класса был Федор Бороздин, которого Гоголь за низкую стрижку волос прозвал «расстригою Спиридоном»; в одном из писем Высоцкому он так и пишет: «Спиридон, т.е. Федор Бороздин...» Однажды Гоголь решил справить Бо-

роздину именины, но не в день Федора, как полагалось, а 12 декабря, в день св. Спиридона. «Гоголь выставил в гимназическом зале транспарант собственного изготовления с изображением чорта, стриженного дервиша, и со следующим акrostихом...» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 24]. Далее следовал текст стихотворения, начинавшегося словами: «Се образ жизни нечестивой...» Первые буквы каждой из строк образовывали по вертикали, сверху вниз, имя Спиридон. И само стихотворение, и рассказ об обстоятельствах его возникновения были сообщены гоголевскому биографу не кем иным, как Высоцким; он же утверждал, что это было первое стихотворное произведение Гоголя («Охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища...»).

Наконец, нужно напомнить, что из класса Высоцкого был и Любич-Романович. В последующих письмах Гоголя Высоцкому Любич-Романович обычно упоминается в ироническом свете, но перед самым окончанием Гимназии, 10 мая 1826 года, Николай внес в его альбом запись, которая свидетельствует о некоторой доверенности и во всяком случае подтверждает нашу мысль, что между ними в этот период не было стойкой, постоянной неприязни.

Запись эта гласила: «Свет скоро хладее в глазах мечтателя. Он видит надежды, его подстрекавшие, несбыточными, ожидания неисполнимыми — и жар наслаждения отлетает от сердца... Он находится в каком-то состоянии безжизненности. Но счастлив, когда найдет цену воспоминанию о днях минувших, о днях счастливого детства, где он покинул рождавшиеся мечты будущности, где он покинул друзей, преданных ему сердцем».

Надпись выдержана в тоне напутствия и одновременно предвосхищения будущего. Вступающего в самостоятельную жизнь ждет разочарование, ждет охлаждение и безжизненность — литературные веяния и мода накладывались здесь на реальные опасения и предчувствия. Где же найдет он опору и поддержку? В воспоминаниях о дружеском союзе. Эта мысль тоже подсказывалась литературной модой (ср. у Пушкина: изгнанник вспоминает «прият», «где дружбы знали мы блаженство»), но одновременно — и реальными дружескими связями под сенью Гимназии.

Конец 1825-го и начало 1826 года — светлая пора в жизни Гоголя. Он уже в седьмом классе, и хотя оценки его в общем средние, даже ниже, чем обычно (особенно по языкам: в первом полугодии — единица по немецкому и ноль — по французскому; во втором — единица по латыни и по немецкому), но настроение приподнятое. Он выбрал жизненную цель, решил ехать по окончании Гимназии в Петербург, в его планы, помимо Высоцкого, посвящен и Данилевский. Возможно, они уже решили ехать совместно, о чем можно догадываться по гоголевской записке своему другу (17 августа 1825 г.): ему не терпится «порассказать и пересказать много разных разностей», важных и для

него, Данилевского, — «теперь я осветился новыми знаниями и новыми сведениями о нашем любезном С. Питере».

А 14 мая 1826 года, буквально через четыре дня после того, как Гоголь внес свою меланхолическую запись в альбом Любича-Романовича, он сообщал матери: «Касательно моего здоровья, смело могу вас уверить, что я еще никогда не был в таком хорошем состоянии, как теперь: весел, радостен...»

Но до осуществления своего плана Гоголю предстояло еще пробыть в стенах Гимназии два года, пережить события, оставившие по себе тяжелую память¹⁸.

ГОРИЗОНТ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЕДЕНИЙ

Прежде чем перейти к этим событиям, постараемся полнее представить себе круг занятий и интересов Гоголя. Состоявшийся выбор — государственной службы и юстиции — не мешал юноше посвящать себя литературным занятиям, рисованию и театру. Его художественные вкусы и наклонности складываются под влиянием различных сил — одни из них действовали на поверхности, другие проявлялись исподволь и скрытно.

Как во всяком учебном заведении того времени, преподавание русской литературы в Нежине было обращено преимущественно к прошлому. Главным учебником являлось «Основание российской словесности» А. Никольского [4-е изд. СПб., 1822.], дававшее довольно широкое представление о русском XVIII веке: Ломоносов, Херасков, Хемницер, Дмитриев, Державин... В качестве популярной хрестоматии, которой постоянно пользовался Гоголь, служило «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе» [2-е изд. Ч. 1–12. СПб., 1821–1824], насыщенное огромным количеством примеров из литературы XVIII — начала XIX века, причем не только первого, но и последующих рядов отечественных писателей. Были представлены и новые писатели, но скромнее: Баратынский — «Финляндией», Рылеев — «Курбским», Пушкин — «Воспоминаниями в Царском Селе» и «Наполеоном на Эльбе». Кстати, многие произведения, которые Гоголь позднее назовет в своей «Учебной книге словесности для русского юношества», приведены именно по этому изданию; видимо, они запали в его сознание с гимназической поры.

Ориентацией на старую литературу, на XVIII век отличались и другие труды, которыми пользовался Гоголь на школьной скамье, — «Опыт краткой пиитики» И. Срезневского, предпосланный в качестве предисловия к упомянутому «Собранию...» (в начале каждого тома печаталась часть этого «опыта», рассматривающая тот жанр, образцы которого помещались в данном томе), «Опыт о русском стихосложении» А. Востокова [СПб., 1817], «Словарь древней и новой поэзии» Н. Остолопова [СПб., 1821, ч. 1–3].

Архаическое направление в преподавании литературы поддерживалось в Гимназии профессором Никольским, однофамильцем автора упомянутого учебника. Это был старовер, педант, но личность небезыгодная.

Парфений Иванович Никольский (1782 — ум. не позже 1851) происходил из духовенства, учился в Московской славяно-греко-латинской академии, а затем в Петербургском педагогическом институте. По окончании института больше десяти лет преподавал в Новгородской губернской гимназии, выполняя также обязанности директора. В начале 1821 года, еще при Василии Кукольнике, который, видимо, знал Никольского по Петербургскому педагогическому институту, Парфений Иванович приехал в Нежин, где получил место младшего, а затем старшего профессора российской словесности.

Профессору было около сорока лет, вкусы его уже прочно сложились, и при всей основательности знаний он не мог, да и не хотел поспеть за временем. Служивец Никольского учитель латинского языка И. Кулжинский называл его «почтенным стариком», который «за хлопотами жизни отстал от современного состояния литературы, остановился на Хераскове и уе, Карамзину только из милости давал место в истории русской литературы — да и то уже после издания им первых томов “Истории российского государства” [так!], а на Пушкина, Козлова, Дельвига и вообще на “всю эту молодежь” смотрел с видом негодования и сожаления, которое доказывал тем, что он вовсе не читал их» [М. 1854. Т. 4. Отд. 5. С. 8].

Никольский не только был страстным приверженцем русского классицизма, но и сам сочинял в торжественном и дидактическом духе. Известны названия двух его произведений (сами они до нас не дошли): поэмы «Ум и рок» и оды по случаю «ожиданного шествия Его Имп. Вел. (т. е. Николая I. — Ю. М.) через г. Нежин». «Шествие» не состоялось, но Никольский успел продекламировать свою оду по завершении публичных экзаменов в 1828 году — году, в котором оканчивал Гимназию Гоголь.

Поэму же «Ум и рок» Никольский иногда почитывал гимназистам во время занятий и по их окончании, у себя дома. По словам Нестора Кукольника, произведение отличалось «непомерными длиннотами и тяжеловесным слогом», «а уж о морали и говорить нечего» — «это была сама нравственность». Гимназисты переименовали поэму «Ум и рок» в «Ум за разум».

И это происходило в то время, когда русская публика зачитывалась Пушкиным, когда стали появляться самые зрелые его произведения... Новые веяния проникали и в нежинскую Гимназию, но вопреки Никольскому.

Данилевский вспоминал о Гоголе: «Мы выписывали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались втроем и читали “Онегина” Пушкина,

который тогда выходил по главам. Гоголь уже восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек» [Шенрок, т. 1, с. 102].

Свидетельство Данилевского подтверждается письмом Гоголя, датированным 1 октября 1824 года. Едва прослышав «про Пушкина поэму Онегина», еще до выхода первой главы, Никоша просит родителей прислать ему новинку. Всего он мог прочесть в Нежине шесть глав «Евгения Онегина» (седьмая вышла в марте 1830 г., когда Гоголь уже жил в Петербурге).

В условиях, когда профессор и ученики имели разнонаправленные художественные интересы и вкусы, уроки превращались в тайное, а иногда и открытое противоборство. «... Он знакомил нас с так называемыми русскими классиками, — вспоминал Н. Кукольник, — а мы на каждой лекции подкладывали ему, для исправления, вместо своих, стихи Пушкина, Козлова, Языкова и других. Он марал их нещадно, причем мы не могли довольно удивиться изворотливости его от природы острого ума» [Лицей, 1881, с. 294–295]. По свидетельству другого мемуариста, инициатором розыгрыша бывал Гоголь. «На одном уроке Гоголь подал ему (Никольскому) стихотворение Пушкина “Пророк” и с спокойной совестью ожидает профессорской резолюции... Никольский прочел... поморщился и, по привычке своей, начал его переделывать». Возвратив стихи мнимому автору, то есть Гоголю, профессор пристыдил его за недостаточное усердие. Тут Николай сознался, что это произведение Пушкина и что он решил подшутить над Парфением Ивановичем, которому никак не угодишь. «Ну, что ты понимаешь! — воскликнул профессор. — Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство... Вникни-ка, у кого лучше вышло...» [ИВ. 1892. № 12. С. 697].

И все же Никольский внушал гимназистам уважение — своим «острым умом», последовательностью и в определенных пределах — в пределах русской литературы предшествующего века — обширными знаниями. Свою репутацию в глазах молодежи он сильно подорвал участием в «деле о вольнодумстве», но это произошло уже позднее...

Поэтому отношения профессора с классом строились, как принято сегодня говорить, диалогически: каждая сторона была убеждена в своей правоте, но в то же время осознанно, а чаще неосознанно, поддавалась противоположному влиянию и что-то из него усваивала. По крайней мере, это можно сказать о некоторых гимназистах.

«Он спорил с нами, что называется, до слез; заставлял нас насильно восхищаться Ломоносовым, Херасковым, даже Сумароковым; проповедовал ex cathedra важность и значение эпопеи древних форм...» — говорит Н. Кукольник. «Как бы то ни было, мы многим обязаны Парфению Ивановичу. Он положительно заставил нас изучить русскую литературу до Пушкина и отрицательно втянул нас в изучение литературы новейшей» [Лицей, 1881, с. 296, 294].

Гоголь, вероятно, согласился бы с этими словами. Во всяком случае, своей хорошей начитанностью в литературе предшествующего века, своим глубоким уважением к ее крупнейшим фигурам, особенно к Ломоносову и Державину, он был обязан гимназическим годам, а значит, и Никольскому. Правда, к этому предрасполагало и влияние, шедшее к Гоголю из домашней и родственной среды — через Капнистов, Трошинских, которые многими нитями были связаны с литературой XVIII века.

Что давал Гоголю этот пласт русской художественной культуры? Ощущение высокой гражданственности и приоритета государственной заботы перед личной, идею служения справедливости, уверенность, что начертанные цели осуществимы, если не жалеть сил и ничего не бояться:

Но слушай старика седого,
Что с детства, с нижних степеней
Шел, без подпор и без покрова,
Лишь правды, мужества стезей,
Был щит отчизны, руль законов,
Стоял пред троном трех царей...

Г. Державин. «Кубок»

Возникал, если воспользоваться более поздним выражением Гоголя, «образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни» [VIII, 373]. А этот «образ» накладывался на реальных, известных Гоголю людей — Дмитрия Трошинского или Виктора Кочубея, к которому — в поучение — обращены приведенные державинские строки, подкрепляя мечту юноши о государственной службе, о поприще «юстиции».

Но кроме того, гражданские традиции русского XVIII века вносили стройности в сложное и противоречивое мироощущение Гоголя, укрощали того демона беспорядка, который таился на дне его души. Добро отделялось от зла; становилось ясно, что не надо, а что надо делать; образовывалась четкость критериев, намечались моральная направленность и ощущение просветительской пользы.

Сохранилась письменная работа Гоголя, озаглавленная «О том, что требуется от критики» с подзаголовком «Из теории словесности». «Первая, главная принадлежность, — говорится здесь, — без которой критика не может существовать, это — беспристрастие, но нужно, чтобы оно правилось умом зорким, истинно просвещенным, могущим вполне отделить прекрасное от неязшного. <...>

Последнее: нужно, чтобы пером рецензента или критика правило истинное желание добра и пользы, оно должно одушевлять все его изыскания и разборы и быть всегда его неизменным водителем, как высокий, божеский характер просвещенного мыслителя».

Не следует преувеличивать творческое значение этого опуса, являющегося упражнением на заданную тему. Но он интересен именно

тем, что показывает, чему учил Никольский Гоголя и чего от него ждал (сохранилась оценка сочинения: «Изрядно. П. Никольский». — [IX, 616]). Гоголевский ответ выдержан в общих фразах, однако его моральная и просветительская направленность очевидна.

Считается, что уже в этом сочинении «Гоголь сформулировал основные принципы литературной критики» [Иофанов, с. 170]. Я бы сказал осторожнее: в суждениях Гоголя-гимназиста нет ничего, что бы противоречило его последующей литературной критике, хотя они не передают всего его эстетического мироощущения. Впрочем, это относится и к Гоголю гимназической поры, ибо его вкусы, как отмечалось выше, складывались под влиянием различных факторов. К этим факторам нужно прибавить еще немецкую литературу.

Профессором немецкой словесности в Гимназии был Фридрих Иосиф Зингер, переименованный на русский манер в Федора Осиповича. Родом из Львова (Лемберга), он получил отличное образование — вначале учился во Львовском университете, потом в Хемницкой горной академии в Венгрии, после чего в 1811 году выдержал экзамен в Венском университете. Затем по обычаю немецких студентов совершил большое путешествие — по Италии, Германии и Дании; исполнял обязанности домашнего секретаря у датского посланника при Вестфальском дворе; жил и в Риге, где был учителем в частных домах.

В нежинской Гимназии Зингер появился сравнительно поздно — в июле 1824 года, когда Гоголь перешел уже в шестой класс. Невзрачный, маленький («ростом чуть не карлик»), он тем не менее сразу же понравился гимназистам. «До Зингера на немецких лекциях обыкновенно отдыхали сном после-обеденным. Он умел разогнать эту сонливость увлекательным преподаванием, и не прошло и года, у нового профессора были ученики, переводившие “Дон Карлоса” и другие драмы Шиллера, а вслед за тем и Гете, и Кернер, и Виланд, и Клопшток, и все <...> классики германской литературы, не исключая даже своеобразного Жан-Поль-Рихтера, в течение четырех лет были любимым предметом изучения многих учеников Зингера» [Лицей, 1881, с. 262].

Гоголь, по-видимому, не вошел в число ближайших «учеников» Зингера, поскольку не очень-то ладил с немецким языком — в отличие от того же Кукольника или, скажем, одноклассника последнего И. Д. Халчинского, который за каникулы сумел изучить «чуть не целый немецкий лексикон» и вместе с другими перевел «Историю Тридцатилетней войны» Шиллера. Но влияние профессора немецкой словесности распространялось и на Гоголя.

В апреле 1827 года Николай сообщает матери о важном книжном приобретении — он выписал себе Шиллера из Лемберга (кстати, возможно, не без помощи Зингера, ибо Лемберг был его родной город), отдав за него 40 рублей. «...Деньги весьма немаловажные по моему состоянию; но я награжден с излишком и теперь несколько часов в

день провожу с величайшею приятностью» [X, 91]¹⁹. Видимо, эту покупку имела в виду Марья Ивановна, когда позднее жаловалась А. А. Трошинскому: мол, едва «выйдет новая книга, по названию много обещающая, то он готов выписывать ее из чужих краев — что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег...» [P. 1882. Т. 34. С. 676].

А в гоголевской юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен» в описании домашней библиотеки заглавного героя, описании, которое отражает круг интересов и самого автора, «Шиллер своенравный» фигурирует вместе с другими немцами — Тиком, Винкельманом («позабитый Винкельман») и не немцами — Платоном, Петраркой, Аристофаном. В эпилоге же упомянут еще Гете, чей облик сливается с поэтическим образом Германии:

Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гетте [так!] бережет,
И чудным строем песнопений
Свекает облака забот.

Спустя много лет в письме М. П. Балабиной от 5 сентября (нового стиля) 1839 года Гоголь почти буквально повторит мысль, высказанную в эпилоге «Ганца Кюхельгартена», и тем самым еще раз подчеркнет, в каком направлении влияли на него «немцы»: «Немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности. И я гораздо прерзительней глядел на все обыкновенное и повседневное».

В 1827 году, когда Гоголь уже завершал свое гимназическое образование, стал выходить «Московский вестник», журнал «любомудров», ревностный пропагандист и толкователь новейшей немецкой литературы и эстетики. Влияние этого журнала слилось с влиянием Зингера, усиливая преобладающее романтическое и философское умонастроение Гоголя. Позднее он скажет об этом С. П. Шевыреву: «Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать Московский вестник, который я начал читать еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще и донныне не совершенно развернулось» [X, 354]. Довольно необычная для Гоголя форма обращения, необычный тон! «... Еще от детства, — говорил он, — вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских...» [VIII, 366]. А тут настоящее признание в любви...

Таков был — в основных чертах — спектр художественных импульсов, «горизонт сведений» (собственное выражение Гоголя), в пределах которого возникли его первые литературные опыты.

«ПЕРВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В СОЧИНЕНИЯХ»

Широко известна характеристика этих опытов самим Гоголем в «Авторской исповеди»: «Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим...» Эти слова могут послужить отправным пунктом для того, чтобы подробнее разобратся в самых первых шагах Гоголя на его творческом пути.

Писатель говорит об упражнявшихся вместе с ним «сотоварищах» — и действительно, в Гимназии образовалась группа молодых литераторов, насчитывающая более десятка человек и выпускавшая почти такое же количество журналов и альманахов. Творческая деятельность Гоголя с самого начала протекала в обстановке острого соревнования и соперничества [ср.: Михед, с. 76—79].

Что же касается рукописных изданий, то известны следующие: «Звезда», «Метеор литературы», «Северная заря», «Литературное эхо», «Парнасский навоз», «Литературный промежуток, составленный в один день + 1/2 Николаем Прокоповичем 1826 года» и некое безымянное издание («литературное что-то»). Лишь один из этих журналов побывал пока в руках исследователей, а именно в руках С. Пономарева, — побывал и, к сожалению, бесследно исчез, так что нет никакой возможности проверить его вывод, что «тетрадка писана вся одной рукой и, несомненно, рукою Гоголя» [Пономарев, с. 143]. Но существование всех изданий подтверждает обнаруженный С. И. Машинским документ — «Реестр книгам и рукописям», который составил профессор Гимназии Н. Г. Белоусов [Машинский, 1959, с. 63—64]. Только «Звезда» не упомянута в «Реестре...», но ее существование также представляется бесспорным, так как журнал фигурирует в трех не зависящих друг от друга источниках — воспоминаниях А. Данилевского, в восходящем к свидетельству Н. Прокоповича рассказе П. Кулиша и в биографии Н. Кукольника.

Существовало несколько центров литературной жизни в Гимназии. Один из них — тесная комнатка Редкина, которую он снимал у Белоусова (по другим сведениям, более достоверным, — у губернатора Мышковского). Здесь «постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов, для чтения и критической оценки заключающихся в них статей. В этих ученических изданиях впервые началось литературное поприще <...> Гоголя, Кукольника, Базили и других, составивших себе имя в литературе» [Лицей, 1881, с. 443]. Согласно биографу Редкина, именно здесь выпускался журнал «Звезда», который он, Редкин, и редактировал [там же, с. 403]. О встречах у Редкина вспоминает его одноклассник Лю-

бич-Романович: «По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями этих литературных вечеров были — Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их...» [ИВ. 1892. № 12. С. 695].

Относительно Е. П. Гребенки, в будущем известного поэта и прозаика, здесь допущено явное преувеличение. Поступивший в Гимназию в 1825 году, он едва ли мог быть завсегдаем кружка наряду с Любичем-Романовичем и Редкиным, которые в 1826 году уже окончили курс обучения. Но вот другой упомянутый гимназист, Базили, действительно был близок к классу Редкина, Любича-Романовича и Высоцкого: в письме Высоцкому в Петербург (от 19 марта 1827 г.) Гоголь называет его в числе «наших», которые «совершенно кланяются тебе, благодарят, что не забываешь их». У Базили установились дружеские отношения с Гоголем, которые позднее укрепились; поэтому стоит сказать об этом питомце нежинской Гимназии несколько подробнее.

Константин Михайлович Базили (1809—1884), в будущем известный дипломат и писатель, родился в греческой семье, проживавшей в Константинополе; на его глазах в 1821 году был учинен кровавый погром греческой общины, повешен патриарх Григорий V; мальчику же вместе с семьей чудом удалось спастись, спрятавшись в трюме корабля, среди тюков и иной поклажи. Обо всех этих ужасах Константин рассказывал впоследствии товарищам по Гимназии, в том числе и Гоголю. Вначале Базили проживал в Одессе; потом в возрасте 12 лет вместе с пятью другими спасшимися греческими мальчиками был принят в нежинскую Гимназию на казенный счет. К этому времени он уже получил хорошее образование, изучая дома, а затем в Одессе древнегреческую литературу и владея с детских лет французским языком. Но по-русски он не знал «ни полслова». Однако, как вспоминает его одноклассник И. Халчинский, «воля преодолела трудность, и, к удивлению всех, через год Базили вдруг заговорил по-русски...» [Лицей, 1881, с. 328]. Еще через какое-то время Базили почувствовал потребность не только говорить, но и сочинять по-русски, и вот мы встречаем его у Редкина среди «постоянных посетителей» литературных вечеров.

Больше того, есть сведения, что Базили вместе с Гоголем стал выпускать еще свой журнал — уже упоминавшуюся «Северную зарю». Название выдает явную ориентацию на петербургскую журналистику (ср. свидетельство Кукольника о том, что гимназисты «наслаждались» «петербургскими альманахами»), особенно на альманахах пушкинского кружка «Северные цветы». Подражание даже несколько комическое: «Северные цветы» выходили действительно на севере, а Нежин все-таки, скорее, юг...

Но предоставим слово Халчинскому: «Базили издавал вместе с Гоголем “Северную зарю”, в желтой обертке с виньетками, которые

сами они рисовали, и по воскресеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников» [Лицей, 1881, с. 329]. Это подтверждает анонимный автор других воспоминаний, по-видимому, сам Базили: «В 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страници в пятьдесят в желтой обертке с виньетками нашего издания, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. <...> По воскресеньям собирался кружок, человек в 15–20 старшего возраста, и читались труды и шли толки и споры» [Шенрок, т. 1, с. 250–251].

Что же поместил Гоголь в «Звезде», «Северной заре» и других изданиях? Что он вообще написал в нежинский период? Чрезвычайная скудость сведений побуждает исследователей отвечать на эти вопросы в основном с помощью простого перечисления: мол, сочинил уже упоминавшиеся выше стихотворную балладу «Две рыбки» и акростих «Спиридон», затем стихотворение «Непогода», повесть «Братья Твердиславичи», поэму «Россия под игом татар», сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан»...

Между тем будущий писатель за семь лет пребывания в гимназических стенах прожил напряженную жизнь, вступил в пору созревания, и это не могло не сказаться в его литературных занятиях — в их *эволюции*. Попробуем же на нее хотя бы намекнуть — на большее рассчитывать трудно за неимением конкретного материала.

Прежде всего, гоголевские слова о литературных упражнениях, к которым он «получил навык в последнее время пребывания моего в школе», не означают, что до этого он *ничего не писал*. Сочинять стихи он начал в раннем детстве; баллада «Две рыбки» могла быть написана только под непосредственным впечатлением от смерти брата — в первый год в Нежине или еще раньше. Гоголь подразумевает другое — литературные усилия, выработку определенного «рода» или почерка, что имело место именно «в последнее время», при переходе в последние классы. Гоголь придавал большое значение этому рубежу своих литературных занятий, который, конечно, совпадает с рубежом его общего духовного развития, а пролегает упомянутый рубеж по 1825–1826 годам. Именно в это время заронилась в нем и оформилась мысль о высоком призвании к государственной службе.

В письме к матери от 23 ноября 1826 года Гоголь заявляет: «Сочинений моих вы не узнаете. Новый переворот наступил их. Род их теперь совершенно особенный». Очевидно, это тот самый «род», который в «Авторской исповеди» определен как «лирический и сурьезный».

Большинство из упомянутых выше гоголевских вещей написаны до этого рубежа. «Первый опыт Гоголя, известный соученикам его, был трагедия “Разбойники”, написанная пятистопными ямбами» [Кулиш, 1854, с. 15]. Видимо, к раннему времени относятся стихотворение «Россия под игом татар», из которого Марья Ивановна запомнила двестише: «Раздравши тучи среброрунны, / Являлась трепетно луна» [ЛН. Т. 58. С. 770; ср. Воспоминания, с. 459], а также прозаическая повесть «Братья Твердиславичи» (или Твердославичи).

П. Кулиш, опираясь, видимо, на свидетельство Н. Прокоповича, говорит, что «Братья Твердиславичи» были помещены в «Звезде», то есть в журнале, выпускаемом кружком Редкина. Это находит подтверждение в воспоминаниях Любича-Романовича: «Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в Гимназии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась она “Братья Твердославичи, славянская повесть”».

Что же касается характера этого произведения, то оно, по свидетельству, очевидно, того же Прокоповича, подражало повестям, «появившимся в тогдашних современных альманахах», и «написано было так называемым “высоким” слогом, из-за которого бились и все сотрудники редактора» [Кулиш, 1854, с. 16]. Все это косвенно подтверждается другим соучеником Гоголя — А. С. Данилевским. «По словам А. С. Данилевского, Гоголь писал во вкусе Бестужева, и у него встречались пышные описания природы, леса и т. п. Все это помещалось в лицейском издании “Звезда”» [Шенрок, т. 1, с. 102].

Несмотря на то что все участники кружка тоже стремились к «высокому слогу», повесть была признана ими неудачной, так как она, видимо, не до конца отвечала общим требованиям. «Наш кружок, — продолжает Любич-Романович, — разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь» [ИВ. 1892. № 12. С. 696].

Это было первое из известных сожжений Гоголем своих произведений...

И оно протекало очень типично для всех последующих. Гоголь «не противился и не возражал» не потому, что решил подчиниться приговору слушателей или читателей, а потому, что в их осуждении он увидел неудачу своих собственных усилий и необходимость начать все сначала.

Поскольку настоящий эпизод происходил у Редкина и Любич-Романович рассказывает о нем как очевидец, то все это имело место не позже июня 1826 года, когда оба они уже закончили Гимназию, а скорее всего, и раньше. Журнал «Звезда», думается, потому и не фигурирует в упомянутом выше «Реестре», что он к этому времени прекратил свое существование.

«Переворот», который «настигнул» творчество Гоголя после неудачи с «Братьями Твердославичами», выразился прежде всего в том, что он оставил прозу. «В стихах упражняйся, — дружески посоветовал ему тогда (во время чтения «Братьев Твердиславичей». — Ю. М.) Базили, — прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется: это сейчас видно» [ИВ. 1892. № 12. С. 696]. Образцовым прозаиком в Гимназии слыл Прокопович; его авторитет в этой области был столь высок, что даже спустя много лет отзывался чуть ли не восторженными словами Гоголя: «Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодovitейшего романиста» [VIII, 426]. Относительно себя же Гоголь, по-видимому, решил, что у него нет необходимых для прозаика качеств и он должен писать лишь стихи^{19а}.

Сохранилось стихотворение Гоголя «Непогода» — единственный автограф его художественного произведения нежинской поры. Полный список стихотворения под другим названием — «Новоселье» — известен по более позднему письму Петра Ивановича Мартоса, соученика Гоголя по нежинской Гимназии [ЛН. Т. 58. С. 774]. Очень важно то обстоятельство, что стихотворение, согласно замечанию Мартоса, было помещено в 1826 году в его журнале «Метеор» (т.е. «Метеор литературы»), когда, по всей вероятности, журнала «Звезда» уже не существовало. «Новоселье» можно рассматривать как отражение *новой манеры* Гоголя, о которой он в ноябре того же года с гордостью писал матери.

Стихотворение строится как ответ автора «друзьям», заметившим, что он стал «невесел»:

Я весел был, —
Так говорю друзьям веселья, —
Но радость жизни разлюбил
И грусть звал на новоселье.
Я весел был — и светлый взгляд
Был не печален; с тяжелой мукой
Не зналось сердце; темный сад
И голубое небо скукой
Не утомляли — я был рад...
Когда же вьюга бушевала
И гром гремел, и дождь звенел
И небо плакало — грустнел
Тогда и я: слеза дрожала,
Как непогода плакал я...
Но небо ясно, гроза бежала —
И снова рад и весел я...

Теперь, как осень, вянет младость.
Угрюм, не веселиться мне,
И я тоскую в тишине,
И дик, и радость мне не в радость.
Смеясь, мне говорят друзья:
«Зачем расплакался? — Погода
И разгулялась и ясна,
И не темна, как ты, природа».
А я в ответ: — «Мне все равно,
Как день, все измененья года!
Светло ль, темно ли — все едино,
Когда в сем сердце непогода!»

Стихотворение развивает типично элегическую тему разочарования, утраты надежд и идеалов юности: вспомним знаменитое «Разуверение» Баратынского («Не искушай меня без нужды...») или его же «Элегию» («Нет, не бывает тому, что было прежде!»). Использована типично элегическая лексика и словосочетания. Особенно заметна близость к поэтике Пушкина, так что почти к каждой гоголевской фразе можно подобрать соответствующий пушкинский пример: «радость жизни разлюбил» (ср.: «вот жизни радость», «она мне жизнь, она мне радость», «я разлюбил свои мечты»), «вянет младость» (ср. «так вянет младость!»), «с тяжелой мукой» (ср. «в тяжелой горести», «теснится тяжких дум избыток», «в уныньи тяжком и глубоком») и т. д. Сам образ «непогоды» — довольно частый у Пушкина («в часы роковой непогоды...»). Об авторе «Непогоды», семнадцатилетнем Гоголе, можно сказать то, что сказано в «Евгении Онегине» о Ленском: «Он пел поблеклый жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет».

Но сходное настроение пронизывает и гоголевскую запись в альбоме Любича-Романовича («Свет скоро хладеет в глазах мечтателя...»), датированную тем же временем — 10 мая 1826 года.

А затем это настроение, но, конечно, в усложненной форме перейдет в идиллию «Ганц Кюхельгартен», над которой Гоголь вскоре начнет, если уже не начал работать...

Все это дает представление о новой манере творчества молодого автора, о том, что подразумевалось под словами «лирический и сурьезный».

Эта манера, конечно, тоже грешила литературностью, но уже другой, чем прежние опыты Гоголя. Те, видимо, были аффективированы, ходульны, высокопарны; сюжеты и персонажи отличались экзотичностью, черпались из славянской старины и эпохи борьбы с татарами. Поэтому у слушателей они пробуждали ассоциации с А. А. Бестужевым-Марлинским, причем имелись в виду, конечно, не светские, а «исторические» его повести типа «Романа и Ольги» (опубликована в «Полярной звезде на 1823 год»). Новая же манера была приближена к современности, к трудам и дням самого автора; хотя и в условно-

элегической форме и во многом с чужого голоса, но он впервые заговорил о том, что наполняло его внутренний мир. Кстати, любопытная и, кажется, незамеченная деталь: именно от юношеского стихотворения Гоголя «Непогода» тоненьким пунктиром тянется ниточка к знаменитому лирическому зачину VI главы «Мертвых душ»: и здесь, в этом зачине, жизненный путь автора будет резко делиться на две фазы — «прежде» и «теперь» («теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне...»), и здесь состояние охлаждения и увядания выразится в безрадостном отношении к миру.

Литературность литературности рознь, и это проявилось в отношении Гоголя к Нестору Кукольникову. Кукольник посещал те же вечера у Редкина, а по другому свидетельству, принадлежащему Базили, он «издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматургических произведений» [Шенрок, т. 1, с. 251]. И давнее соперничество двух гимназистов, Гоголя и Кукольника, приобрело теперь вид литературного соперничества.

Подробные отзывы Гоголя о Кукольнике и его произведениях, прежде всего трагедии «Торквато Тассо», относятся к более позднему периоду. Но эти отзывы сформулированы так, что они как бы продолжают уже сложившееся в Гимназии отношение к стилю поведения и творчества Кукольника, о работе которого над «Торквато Тассо» было хорошо известно.

«Возвышенный *все тот же*, — сообщает Гоголь А.С.Данилевскому 30 марта 1832 года, — трагедии его *все те же*. Тасс его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотверженья. <...> А сравненьями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: *губы посинели у него цветом моря*, или: *тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи* ничто против нынешних. Пушкина все по-прежнему не любит». И в другом письме (от 8 февраля 1833 г.) Гоголь напоминает Данилевскому, как Кукольник в Гимназии, бывало, «повторял» «Поэза, Поэза», то есть имя маркиза Позы, благородного энтузиаста из шиллеровской драмы «Дон Карлос».

Из писем Гоголя достаточно ясно, что ему уже тогда, в Гимназии, не нравилось в Кукольнике — аффектированность и напыщенность и в связи с этим отвращение от Пушкина. Его собственная «лирическая и сурьезная манера» строилась на преодолении этих качеств.

А с другой стороны, она строилась на отталкивании от стиля низового, вульгарного сентиментализма. Ноты чувствительности никогда не были чужды Гоголю, но при этом они выражались достаточно оригинально, так что скрытые ресурсы поэтичности он искал и находил в сфере самого тривиального. Эта проблема во весь рост станет перед писателем значительно позднее, но ее предчувствие и ощущение возникли еще в гимназические годы.

Весной 1827 года, когда Гоголь был в предпоследнем классе, в Нежин попала небольшая книжица под названием «Малороссийская деревня», изданная в Москве в 1827 году. Сочинителем ее являлся учитель латинского языка в Гимназии высших наук Иван Григорьевич Кулжинский (1803–1884). По своему материалу книга должна была бы увлечь Гоголя, ибо автор намеревался создать портрет украинского крестьянина, собрать «разбросанные черты национальности и из многих отдельных частей составить одно целое, полную картину нравов...» (с. IX; курсив в оригинале. — Ю. М.). Но выполнено это было в манере до приторности слезливой, представляя неуклюжие вариации ходячих сентиментальных сентенций. «О сердце! сердце! — вопрошал автор “Малороссийской деревни”. — Что это значит, что все наилучшие радости твоей жизни бывают растворены слезами?.. Что это значит, что во всех наших радостях высочайшая степень сладости бывает уже горечь, а не сладость?.. Ах! счастье и слезы суть родня между собой — и кто не умеет плакать, тот не знает одного из лучших наслаждений нашей жизни!..» [с. 65–66]. Когда Кулжинский осуждал «классика» Никольского, упрекая его в отставании «от современного состояния литературы», то он имел в виду «состояние» чувствительности и слезливости.

Порою же стилистическая неуклюжесть и безвкусие Кулжинского приводили к неожиданным комическим эффектам: «Уже и Часы мои остановились и свечка догорает — а я все еще сижу над бумагою!.. Satis pro nobis, о Муза! дай мне свою руку, обнимемся с тобою и ляжем в постелю!..» [с. 20]. Легко себе представить, сколько пиши для смеха дало это произведение гимназистам, в особенности Гоголю.

Сообщая Высоцкому в Петербург о книге Кулжинского, Гоголь добавлял: «Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрывки из Малороссийской деревни, и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, то кто-нибудь из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы; ее заглавие: Малороссийская деревня или закон дуракам не писан, комедия-водевиль» [X, 88].

Так между Сциллой и Харибдой — сентиментальной водевильностью Кулжинского и высокопарной аффектацией Кукольника — стремился Гоголь проложить курс своей новой лирически-серьезной поэзии.

В то же время его привлекал и другой «род» творчества — легкого, пародийного, насмешливого, сатирического. С помощью таких произведений Гоголь оборонялся и нападал; они способствовали его самоутверждению, давали выход стихии комизма, а также заглушали таящуюся в глубине души тоску. Они укрощали демона беспорядка, но на свой лад — не идеей регулятивности и разделения критериев, а проказливостью и шаловливостью. Они открывали также сферу при-

ложения гоголевской наблюдательности и психологической интуиции. «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми...» [VIII, 445]. Эта «страсть» требовала совершенствования и упражнения.

Из комедийных и сатирических вещей Гоголя-гимназиста, к сожалению, до нас дошла лишь одна — и то лишь в воспроизведении другого лица, Г. И. Высоцкого. Речь идет об уже упоминавшемся акростихе «Се образ жизни нечестивой...», посвященном Федору Бороздину.

Высоцкий же сохранил в памяти название второго сатирического произведения Гоголя — «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» — и даже привел его план, состоящий из пяти пунктов, или «отделов»: «1. Освящение церкви на греческом кладбище. 2. Выбор в греческий магистрат. 3. Всеедная ярмарка. 4. Обед у предводителя (дворянства). 5. Роспуск и съезд студентов» [Лицей, 1859, отд. 2, с. 33]. Из всего этого видно, что произведение давало широкую панораму городской жизни: тут и Гимназия высших наук («студентами» назывались ученики последних классов), и сцена ярмарки, которая затем привлечет к себе специальное внимание автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (в «Сорочинской ярмарке»), и высшие лица местной иерархии (предводитель дворянства и его гости), и, наконец, целый клан городского населения — греки.

В Нежине была обширная греческая колония, поселившаяся здесь еще при Богдане Хмельницком около 1656 года и постоянно пополнявшаяся за счет беженцев, спасавшихся от турецкого преследования (как и товарищ Гоголя Константин Базили). Столь видное место, отведенное грекам, объяснялось, очевидно, тем, что их образ жизни — греки имели свой орган самоуправления, магистрат, — в соединении с южным темпераментом открывал большие возможности для игры страстей, столкновения честолюбий и, следовательно, для комического изображения. В письме к тому же Высоцкому от 19 марта 1827 года, как бы продолжая тему своей сатиры «Нечто о Нежине...», Гоголь пишет: «В Нежине теперь беспрестанные движения между греками; шумят, спорят в магистрате, хотят нового образа правления и прошедшую субботу мятежные сенаторы самовольно свергнули архонта Бафу, а на его место и в сенаторское достоинство возвели до того неизвестного Афендулю. Базиль уже заключил с ним мирный трактат и открыл греческую лавку».

По словам П. Кулиша, «Высоцкий имел копию этого довольно обширного сочинения («Нечто о Нежине...» — Ю. М.), списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в Гимназии, выписал ее от него из Петербурга, под предлогом, будто бы потерял подлинник, и уже не возвратил» [Лицей, 1859, отд. 2, с. 33]. Это свидетельствует о том, что сатира «Нечто о Нежине...», как и акростих, тоже хранившийся у

Высоцкого, написаны еще до окончания последним Гимназии, то есть до июня 1826 года. Комедийные и сатирические произведения Гоголя завершающих двух лет пребывания в Нежине нам неизвестны. Но это не значит, что он их больше не сочинял или, во всяком случае, что он перестал давать выход своему комическому дарованию. Скорее, наоборот. Об этом говорят острые сатирические зарисовки из писем Гоголя, одну из которых мы только что привели.

Не совсем ясно, что представлял собою еще один пародийный опыт Гоголя — «Парнасский Навоз». Первая версия такова: «Был в Гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта, — словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название “альманаха” и издал под заглавием: “Парнасский Навоз”» [Кулиш, 1854, с. 16]. По другой же версии, восходящей к Любичу-Романовичу, в этом издании (в журнале «Навоз Парнасский») были помещены стихи самого Гоголя, правда, «в приятельской переделке Прокоповича», и обречены они были на эту расправу всем литературным кружком в силу своих, как считали, низких художественных достоинств. «И те из бойких стихослагателей, — заключает мемуарист, — которые в стенах Гимназии трунили над его неудачными литературными попытками, с какою недоумевающею завистью смотрели впоследствии на славу талантливому сатирика!» [ИВ. 1892. № 12. С. 695].

За недостатком более точных сведений, очевидно, нельзя исключать ни ту, ни другую возможность — ни то, что в «Парнасском Навозе» Гоголь пародировал других авторов, ни то, что здесь могли быть помещены пародии на него самого. Нужно только добавить, что рассказ Любича-Романовича, если он верен, приурочен к более раннему времени: в июне 1826 года Любич-Романович уже покинул Нежин²⁰. Да и Гоголь в последние два года своей гимназической жизни чувствовал себя увереннее и меньше давал поводов для насмешек. Кроме того, подтрунивать над ним было уже небезопасно: силу его острого слова извели многие.

Комизм и сатира были органической потребностью Гоголя; тем не менее произведения этого рода ставились им пока очень невысоко. «Гоголь был комиком во время своего ученичества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким» [Кулиш, 1854, с. 16]. «Ни я сам, ни сотоварищи мои, — говорится в “Авторской исповеди”, — упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим».

Что же думал Гоголь о других своих «сочинениях» — не комических и не сатирических, какую роль отводил им в своем будущем? «Мысль о писателе мне никогда не всходила на ум», — утверждает Гоголь, то есть «мысль о писателе» вообще. «Не всходила», так как он уже твердо выбрал «службу государственную».

Между тем у товарищей иной раз возникало и другое впечатление. А. Данилевский утверждает: «Сначала он [Гоголь] писал стихи и думал, что поэзия его призвание» [Шенрок, т. 1, с. 102].

Истинное же положение вещей, видимо, вырисовывалось несколько сложнее, чем это казалось товарищам. Да и слова Гоголя не следует понимать буквально. «Не думал» он быть писателем в том смысле, что твердо определил главное поприще своей деятельности. Но вместе с тем он вкладывал в свои литературные опыты столько душевных сил, придавал им такое значение, так упорно стремился к совершенству и к полноте самовыражения, что едва ли видел во всем этом лишь способ приятного времяпрепровождения или простые эскизы.

У молодого Гоголя (да и у более позднего) выстраивалась своеобразная иерархия жизненных задач и, соответственно, духовных способностей. Что-то выдвигалось на первый план, но что-то оставалось в тени и словно ждало своего часа. Гоголь позже скажет, что нужно испробовать все, испытать себя в разных направлениях. Это не отменяло главной жизненной цели, но как бы подстраховывало ее изнутри.

Да и в той традиции, которая так много значила для молодого Гоголя, русского XVIII века он находил опору для своих устремлений. Многие крупные литераторы того времени служили и занимали высокие должности. Г. Державин был губернатором олонецким и тамбовским, кабинет-секретарем Екатерины II, сенатором, министром юстиции. И. Дмитриев — обер-прокурором Сената, министром юстиции. М. Муравьев — товарищем министра народного просвещения. Д. Фонвизин — секретарем кабинет-министра И. П. Елагина, потом — секретарем руководителя Коллегии иностранных дел Н. И. Панина. Одно время служил и В. Капнист, будучи генеральным судьей в Полтаве. В сознании Гоголя все это оставило свой след, и предстоящая «служба государственная» рисовалась ему как бы в сопровождении литературных занятий и поэтической рефлексии, но пока, видимо, в обратном соотношении, не в таком, какое вышло в действительности: пока на первом месте была служба, на втором — поэзия.

«ПОД СЕНИЮ КУЛИС»

«**П**од сению кулис» (Пушкин) гимназического театра Гоголь нашел еще одну возможность для своей художественной одаренности — на этот раз артистической. Та любовь к сцене, которая зародилась в мальчике еще в самые ранние годы, когда он присутствовал с родителями на спектаклях у Трошинского, теперь смогла проявиться деятельно, в первых самостоятельных опытах.

Увлечение театром в нежинской Гимназии, можно сказать, вспыхивало дважды. В первый раз это произошло в начале 1824 года, когда Гоголь был в пятом классе. В письме родителям от 22 января он просит

выслать «комедии», видимо, необходимые ему для театральных представлений: «Бедность и благородство души» и «Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу и «Господин Богатонов, или Провинциал в столице» М. Н. Загоскина. Это были весьма ходовые пьесы театрального репертуара тех лет, как столичного, так и провинциального.

Первый же спектакль, как сообщает Гоголь, должен быть поставлен по трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах». Николаю поручена роль Креона. Эдипа играл Базили (по другим источникам — Любич-Романович). Антигону — Данилевский: он был очень красив и строен, и ему всегда доставались роли девушек [Шенрок, т. 1, с. 104–105].

В том же письме к родителям Гоголь просит «прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, также хоть немного денег», из чего можно заключить, что в его обязанности входило и оформление спектакля.

Все это подтверждается воспоминаниями Любича-Романовича: «У нас, в гимназии, как-то на рождественских праздниках был устроен спектакль, наибольшее участие в котором принимал Николай Васильевич. Он расписывал роли, рисовал декорации, сооружал подмости, делал бутафорские вещи и даже шил костюмы. Сцена устроена была на чердаке, который ко дню представления приведен в порядок и изображал из себя очень порядочный зал. Шла трагедия “Эдип в Афинах”. Гоголь играл Креона, я — Эдипа, остальных действующих лиц не помню. Многочисленные зрители состояли исключительно из товарищей, не успевших на праздники к родителям, профессоров и их семейств. Спектакль сошел хорошо, и Гоголя очень много хвалили...» [ИВ. 1892. № 12. С. 696].

Вторично театральная страда наступила в Нежине в начале 1827 года, когда Гоголь был уже в восьмом классе. Вместе с товарищами он с радостным нетерпением ожидал это время. «Масленицу мы надеемся провести наилучшим образом, — сообщает он матери 1 февраля. — Театр наш готов совершенно, а с ним вместе сколько удовольствий». И спустя месяц, 26 февраля: «Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провести, как мы всю неделю веселились без усталости. Четыре дня сряду был у нас театр...»

Новый театральный «сезон» выгодно отличался от предыдущего. Представления перенесли с чердака во второй музей, где располагались ученики средних классов. Оформлены спектакли были по всем правилам: «декорации были отличные, освещение великолепное»; «разыграли четыре увертюры Россини, 2 Моцарта, одну Вебера, одну сочинения Севрюгина и друг.» [X, 83, 85; Федор Емельянович Севрюгин — учитель музыки в Гимназии].

Расширился репертуар: были показаны «Недоросль» Д. Фонвизина, «Неудачный примиритель, или Без обеда домой поеду» Я. Княжнина, «Лукавин» А. Писарева и «Береговое право» А. Коцебу. Но кроме того, исполнялись пьесы на иностранных языках: как сообщает Го-

голь, «две французские пьесы соч. Мольера и Флорияна, одну немецкую соч. Коцебу» [X, 83; ср. 85]. Новшество это произошло по инициативе дирекции, которая решила воспользоваться театральной страстью гимназистов, чтобы приохотить их к языкам.

И зрителей на этот раз собралось намного больше, причем не только из Гимназии. «Зрителями были, кроме наших наставников, — вспоминал Базили, — соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина (очевидно, Николая Алексеевича Столыпина. — Ю. М.), Эммануэля. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвенный уездный городок» [Шенрок, т. 1, с. 241]. Гоголь писал матери: «...посетителей много, и все приезжие, и все с отличным вкусом»; «к чести нашей, признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего» [X, 83].

Последняя фраза особенно ценная: публике, собравшейся в гимназическом театре, было с чем сравнивать. На Украине хорошо знали много замечательных трупп, в том числе Штейна и Млотковского.

В театральных представлениях начала 1827 года ярко проявилось комедийное дарование Гоголя. Благодаря исполнению им роли Простаковой постановка «Недоросля» на гимназической сцене стала событием. «Видел я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, — говорит Базили, — но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл недоросля, а Данилевский — Софью». Роль Стародума с его огромными нравоучительными монологами поручили Базили, благодаря его «необыкновенной в то время памяти». Опираясь на малоизвестные воспоминания Кукольника, можно назвать и других участников этого спектакля: Скотинин — А. А. Божко, Кутейкин — Н. П. Григоров, Цифиркин — Н. Н. Миллер, Вральман — В. М. Марков [Лицей, 1859, отд. 1, с. 21]. Все они, кстати, одноклассники Гоголя.

Отличился Николай и в украинской пьесе. Что это за пьеса — не совсем ясно. Базили говорит, что ее сочинил сам Гоголь; согласно Т. Г. Пашенко, ее авторами были одновременно Гоголь и Прокопович. Кулиш же, опиравшийся на изустные предания и рассказы (в том числе и Прокоповича), пишет, что эту комедию «на малороссийском языке», игравшуюся на домашнем театре Трошинского, Гоголь привез в Гимназию из дома, после каникул, и что это была пьеса Василия Афанасьевича «Собака-Вівця». К сожалению, пьеса известна нам лишь по очень краткому изложению сюжета, и мы не можем сказать, была ли там роль «немого старика-малоросса», которую с необыкновенным успехом сыграл Гоголь.

Т. Пашенко вспоминает: «Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицейстов и посторонние. Пьеса состояла из

двух действий; первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем не являлся, а должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет. Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит кряхтя до скамейки и садится. Сидит, трясется, кряхтит, хихикает и кашляет; да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сиплым старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом... А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху» [Б. 1880. № 268].

Очень интересно упоминание Гоголя о том, что гимназисты поставили Мольера. Комментаторы первого академического издания считают: «...какие именно пьесы... игрались — неизвестно» [X, 406]. Между тем Кукольник прямо называет эти пьесы: «*Le Médecin malgré lui*» («Лекарь поневоле») и «*L'Avare*» («Скупой»). А это проливает новый свет и на известное свидетельство Т. Пащенко: «В другой раз Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика — страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком... По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригнал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого... Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие» [Б. 1880. № 268].

Есть все основания предполагать, что «страшный скряга» — это Гарпагон, роль которого сыграл юный Гоголь²¹.

На театральном поприще продолжалось соперничество Гоголя и Кукольника. Нестор Кукольник с его нервным порывистым характером был неплохим актером, о чем свидетельствует успешное исполнение им роли Митрофанушки. Но не эта роль больше всего соответствовала его устремлениям. По словам А. Данилевского, Кукольник «обращал на себя внимание склонностью к драме и трагедии: когда он исполнял последнюю сцену трагедии Сумарокова “Дмитрий Самозванец”, он, после эффектно произнесенных заключительных слов, падал на пол, как труп, чем производил сильное впечатление» [Шенрок, т. 1, с. 105].

Повинуясь господствовавшему вкусу, Гоголь тоже отдал дань драме и трагедии (вспомним роль Креона), что соответствовало «лирическому и сурьезному» направлению в сфере его литературного творчества. Однако на театре сильнее и откровеннее проявлялся его комический дар. Наметилась специфически гоголевская окраска юмора, состоящая в неподражаемой наивности и способности не обращать

никакого внимания на зрителей или слушателей и полностью погружаться в самое дело, отчего комический эффект становился еще сильнее. С технической точки зрения Гоголь-комик идет по линии наибольшего сопротивления: ему нужно сыграть совсем «другого» — пожилую женщину (Простакову), пожилого актрюгу, старика-украинца.

Как же смотрел сам Гоголь на свою актерскую деятельность, отводил ли ей какое-либо место в будущем?

Если в «Авторской исповеди» он утверждал, что «мысль о писателе» ему «никогда не всходила на ум», то это тем более должно было относиться к «мысли» об актерстве. Но есть основание полагать, что и на этот раз дело обстояло не так просто.

Театр приносил Гоголю огромное, почти ни с чем не сравнимое удовольствие; он видел свою власть над другими; слышал восторженные отзывы товарищей, которые предрекали ему артистическое будущее. Т. Пашенко: «Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену». А. Данилевский: «Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Шепкиным» [ВЕ. 1890. № 1. С. 79].

Все это знал и слышал Гоголь, и все это откладывалось в его сознании.

Повторяю, у него была своеобразная иерархия жизненных задач, во главе которой в это время находилась мысль о «службе государственной», но и другие «мысли», заронившись, продолжали скрытое или полускрытое существование. Разумеется, это нельзя утверждать категорически, но далеко не случайно то, что спустя несколько лет, в Петербурге, на перепутье своей судьбы, Гоголь наряду с литературной карьерой попробует испытать счастье и «под сению кулис» императорского театра...

Вторая театральная страда в нежинской Гимназии заняла всю масленицу и должна была продолжиться на Пасху: «...к Светлому празднику заготавливаем еще несколько пьес» [X, 86]. Ряд пьес удалось поставить: если на масленице, согласно Гоголю, театральные представления шли «четыре дня сряду», то к 16 апреля, как сообщал по начальству профессор Никольский, спектакли «уже шесть раз разыгрывались, при стечении немалой публики» [Лавровский, с. 58]. Можно предположить, что в числе этих спектаклей были и малороссийская пьеса, и не упоминавшиеся прежде Гоголем «Чудаки» Я. Княжни-на и «Хлопотун, или Дело мастера боится» А. Писарева, в которой Николай, по воспоминаниям, сыграл главную роль — Репейкина [Лицей, 1859, с. 21].

Готовился еще один спектакль — трагедия В. А. Озерова «Фингал». В этой оссиановской пьесе Гоголь должен был играть роль локлинско-

го (т. е. скандинавского) царя Старна, человека коварного и мстительного; Кукольник — роль заглавного героя. Моину, возлюбленную Фингала и дочь Старна, представлял А. Л. Гинтовт, гимназист, шедший двумя классами младше, чем Гоголь.

Было проведено несколько репетиций, но затем дело внезапно приостановилось. «...Уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр», — писал Кукольник.

А расстроили театр подспудные течения, интриги некоторых преподавателей. Больше всех ополчился против театральных представителей профессор Билевич. Так как этому человеку вообще довелось сыграть немалую роль в событиях, развернувшихся в Гимназии в последние годы, скажем о нем несколько подробнее.

Михаил Васильевич Билевич был уже в возрасте, он родился в 1779 году в Трансильвании, в городе Быстрица. Учился в Львовской гимназии, а затем продолжил свое образование в Львовском и Пештском университетах и в Пресбургской академии. В 1806 году был определен на должность учителя философии и латинского языка в Новгород-Северскую гимназию, откуда перебрался в Нежин.

Билевич был первым преподавателем, прибывшим в Гимназию по приглашению Ивана Семеновича Орлая, — уже 13 декабря 1821 года он был утвержден профессором немецкой словесности. Помогло ему, по-видимому, его происхождение: у директора Орлая была маленькая слабость или, как выразился Н. Кукольник, «предилекция» к своим соотечественникам, карпато-россам, чем умели пользоваться сметливые люди. «Этой дорожкой влез на профессорскую кафедру простой сутяга, о чем потом много жалел Иван Семенович», — добавляет Кукольник, явно подразумевая Билевича. Очень скоро новый профессор показал себя в весьма неприглядном свете. Н. Ю. Артынов, не обинуясь, называл Билевича «продажной душой» и говорил, что «он жил в разладе почти со всеми своими сослуживцами». «Студенты также терпеть не могли Билевича и не ходили к нему в гости, как к другим, хотя он неоднократно запрашивал их к себе, имея в виду замужество своих дочерей...» [РА. 1877. Кн. 3. С. 193]. Историк нежинской Гимназии Н. Лавровский, объясняя лаконизм и сдержанность биографической справки о Билевиче в «первом издании Лицейского сборника», пишет: «По всему видно, что дурного говорить не хотелось, а доброго не нашлось, или не нашло себе места, вследствие сохранившихся неблагоприятных воспоминаний» [Лицей, 1881, с. 231].

Одно из таких «неблагоприятных воспоминаний» связано с ролью Билевича в судьбе студенческого театра.

Однажды, проходя по коридору, профессор услышал стук молотков в одном из залов. Полюбопытствовав, что же там происходит, он увидел «различные театральные приготовления, как-то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы». Все работы вели плотники под наблюдением надзирателя Адольфа Амана, который объяс-

нил Билевичу то, что он и сам мог бы понять: гимназисты собираются ставить пьесы.

В тот же день, 29 января 1827 года, Билевич подал в конференцию прошение, в котором, описав все, что он увидел, заключал: «А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то дабы мне, как члену конференции Гимназии, на которой лежит ответственность смотра за нравственным воспитанием обучающегося юношества, безвинно не ответствовать за мое о сем молчание перед высшим начальством, в случае нет от оногo особенного на это позволения [так!], почему, доводя о сем до сведения конференции, всепокорнейше оную прошу уволнить меня в том случае по сему предмету от всякой ответственности и, записав сие мое прошение в журнал конференции, учинить о том надлежащее определение и донести о последствии сего гг. Окружному и Почетному Попечителям, ежели не имеется от оных на то позволения» [Сборник, с. 354].

Билевич не был ни нравонаблюдателем, ни надзирателем, ни инспектором; непосредственной ответственности он ни за что не нес; он сам отмечал, что заботит его все происходящее лишь как члена конференции, то есть как одного из многих. Иначе говоря, он боится, что пострадает из-за самого факта своего недоносительства, и спешит поскорее донести, по более поздней терминологии — *просигнализировать*, причем не только ближайшему начальству, но и высшему.

Исполняющий должность директора профессор Шапалинский (Орлай к этому времени оставил Гимназию, переехав в Одессу) не дал хода «прошению», пометив лишь на нем, что соответствующее разрешение «высшего начальства на театральные представления имеется». Тур спектаклей на масленице прошел благополучно, как и было задумано.

Но спустя несколько месяцев в театральную историю включилось другое лицо — старший профессор русской словесности П. Никольский. Отметив в своем рапорте, что гимназисты «не столько по-видимому учением преподаваемых предметов занимаются, сколько выучиванием театральных роль», Никольский также выразил сомнение, имеется ли разрешение о театре, поскольку ни ему, «ни другим членам конференции о том не известно». Беспокоил его и репертуар, который должен же кем-то рассматриваться и утверждаться, ибо пьесы «разыгрывались при стечении не малой публики и притом разыгрывались, как слышно, с какими-то собственными, только неизвестно чьими, дополнениями и прибавлениями». В заключение Никольский, так же как и Билевич, просит уволить его от всяких последствий — «в случае же какой-либо за упущение законного порядка конференциальных действий ответственности меня, как не участвовавшего в том, оной не подвергать и о сем представить на благоусмотрение обоим Господам Попечителям» [Сборник, с. 358].

На этот раз сигнал возымел свое действие. Рапорт Никольского датирован 16 апреля, а уже на следующий день Гоголь не без грусти сообщал матери: «Театр наш покуда остановлен...»

Прошло еще несколько недель, и всем стало не до театра, ибо спектакли на сценической площадке сменились жизненным спектаклем, куда менее безобидным и имевшим далеко идущие последствия.

«Я ПРИМЕТИЛ У НЕКОТОРЫХ УЧЕНИКОВ НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ ВОЛЬНОДУМСТВА...»

Началось так называемое «дело о вольнодумстве». Вызревало оно медленно, подспудно, пока не разразилось громкими событиями, втянувшими в свой круговорот многих преподавателей и студентов, включая Гоголя, и отозвавшимися широко за пределами Гимназии. Но сначала — одно историографическое замечание.

Стараниями многих ученых — дореволюционных (Н. А. Лавровский, И. А. Сребницкий, В. И. Савва) и советских (Д. М. Иофанов, А. С. Стогнут, И. К. Кононенко, С. И. Машинский) — выявлено и проанализировано множество документов «дела о вольнодумстве», прослежен его ход. На эти материалы и выводы я буду в дальнейшем опираться. Однако сущность «дела» объяснена еще недостаточно и однобоко. Самый крупный дореволюционный биограф Гоголя В. Шенрок отодвинул эти события на периферию, чем вызвал упрек своего оппонента: история о «вольнодумстве» рассказана так, «как будто она разыгралась только из-за существовавших в Гимназии театральных представлений, которые одни из преподавателей одобряли, а другие — не одобряли» [Витберг, 1892, с. 14]. С другой стороны, в работах советского периода заметно противоположное стремление — чрезмерно политизировать все происходившее, объяснять возникновение «дела» тем, что одна из сторон, а именно прежде всего профессор Белоусов, «была единодушна с наиболее революционно настроенными декабристами», отстаивала «революционное учение» [Иофанов, с. 331, 319], словом, являла собою нечто вроде нежинского филиала декабристского общества в последекабристскую эпоху. Крайности этого взгляда были оспорены уже С. Машинским [Машинский, с. 118], однако подоплека имевших место событий остается непонятой.

Виновник «дела» Николай Григорьевич Белоусов (1799–1854) появился в нежинской Гимназии весной 1824 года. Он родился в Киеве в довольно благополучной семье, находившейся в родстве с Киселевским — директором так называемого «Капитула российских императорских и царских орденов». Пройдя курс философских наук в Киевской духовной академии, Белоусов поступил затем в Харьковский уни-

верситет, который окончил очень рано, чуть ли не в девятнадцать лет, одновременно по двум специальностям — словесных и юридических наук. В январе 1820 года Белоусов был определен в Киевскую гимназию старшим учителем русской словесности. По свидетельству Н. Кукольника, «Николай Григорьевич знал этот предмет превосходно. Одаренный необычайной памятью, он помнил годы рождения и смерти всех важнейших русских литераторов; но знание Белоусовым истории русской литературы от Кирилла и Мефодия до Пушкина не ограничивалось одной хронологией. Напротив, он разумел критический характер, достоинства, недостатки, склад слога каждого писателя, цитируя наизусть иногда отрывки из малоизвестных сочинений целыми страницами» [Лицей, 1881, с. 241].

Нет сомнения, что литературные знания Белоусова, современность художественных вкусов содействовали его популярности среди нежинских гимназистов, включая и Гоголя, а с другой стороны, возбудили ревность профессора словесности Никольского и толкнули этого в общем незлого и умного человека в стан противников Николая Григорьевича... Однако главным врагом последнего явился не Никольский, а Билевич. Он стал таковым еще до приезда Белоусова в Нежин, когда еще не знал о нем ничего, кроме имени. Произошло это так.

Несмотря на занятия словесностью, Белоусов считал основной своей специальностью юридические науки: в Харьковском университете, который он окончил, изучение этих дисциплин было поставлено весьма серьезно, прежде всего благодаря профессору Шаду. Поэтому когда Орлай (через преподавателя Моисеева) стал приглашать Белоусова в Нежин для занятия места младшего профессора юридических наук, тот принял приглашение. Но, с другой стороны, и Билевич решил сменить специальность и преподавать не немецкую словесность, а политические науки. Сделавшись старшим профессором еще до приезда Белоусова, он стал опасаться, что тот продвинется по службе и оттеснит его в сторону, хотя, по-видимому, это были ложные опасения: в Гимназии открылись две родственные кафедры — юридических и политических наук.

6 мая 1826 года Белоусов был утвержден младшим профессором юридических наук, а еще через несколько месяцев приступил к преподаванию. В 1825/26 учебном году он прочел в седьмом классе, в котором находился Гоголь, курс естественного права [Машинский, 1959, с. 112]. Спустя год тот же курс прослушал Кукольник, бывший одним классом моложе Гоголя. Лекции произвели на Кукольника сильнейшее впечатление: «С необычайным искусством Николай Григорьевич изложил нам всю историю философии, а с тем вместе и естественного права, в несколько лекций, так что в голове каждого из нас установился прочно стройный систематический скелет науки наук, который каждый из нас мог уже облекать в тело по желанию, способностям и ученым средствам» [Лицей, 1881, с. 242].

Кроме того, Белоусов читал государственное и народное право, а также римское право и историю римского права [Лавровский, с. 67]. На его беду, старший профессор политических наук Билевич читал те же курсы, и сравнение выходило не в его пользу.

В июле 1826 года Белоусов получил еще одно назначение — стал инспектором, сменив в этой должности Моисеева. По словам Кукольника, это еще больше увеличило популярность нового профессора: «Справедливость, честность, доступность, добрый совет, в приличных случаях необходимое одобрение — все это благотельно действовало на кружок студентов...»

Гоголь не мог нарадоваться происходившим под влиянием Белоусова переменам. 10 сентября он писал матери: «...теперь все приняло другой порядок. Пансион наш приметно начал улучшаться: стол теперь сделался у нас прекрасный, и этим всем обязаны мы нынешнему нашему инспектору». И через несколько дней, 16 ноября: «Пансион наш на самой лучшей степени образования, на степени такой, до какой Орлай никогда не мог достигнуть, и этому всему причина — наш нынешний инспектор; ему обязаны мы своим счастьем; стол, одеяние, внутреннее убранство комнат, заведенный порядок, этого всего вы теперь нигде не сыщете, как только в нашем заведении».

Постепенно между Гоголем и новым профессором установились доверительные отношения. А. Данилевский рассказывал, что Николая «перед окончанием курса... заметил и стал отличать профессор Белоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил» [Шенрок, т. 1, с. 102]. Другой современник, черниговский помещик Н. Д. Белозерский, вспоминал о том, что, посещая в Нежине Белоусова, он «видал у него студента Гоголя, который был хорошо принят в доме своего начальника и часто приходил к его двоюродному брату, тоже студенту г. Божко, для ученических занятий» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 100]. Пожалуй, ни с кем из преподавателей Гоголь не имел таких хороших отношений, как с Белоусовым.

А вот отношение Гоголя к Орлаю заметно изменилось к худшему; юноша жалуется, что по вине директора авторитет Гимназии стал падать и только теперь, с приходом Белоусова, положение исправляется. Орлай охладел к своим обязанностям: он собирался переехать в Одессу, чтобы занять там должность директора Ришельевского лицея. Возможно, он уже улавливал изменение атмосферы Гимназии, совершавшееся под влиянием Билевича (по словам Кукольника, он уже раскаивался в его приглашении), и предчувствовал недоброе...

Первое открытое столкновение Билевича и Белоусова произошло в июне 1826 года на частном экзамене по государственному хозяйству. Этот предмет вел Билевич, а Белоусов присутствовал на экзамене в качестве ассистента. Пользуясь своим правом, Белоусов стал задавать вопросы, которые повергли в затруднение и гимназистов, и их наставника. Тогда Белоусов будто бы сказал: «Я вижу, что ни ученики,

ни профессор ничего не знают» [Иофанов, с. 402]. Может быть, слова были другие, но, во всяком случае, Белоусов дал понять присутствовавшему на экзамене директору Орлаю и всем другим некомпетентность, а то и просто невежество Билевича. Такое уже не прощают. Все в Гимназии почувствовали изменение обстановки. По словам П. Редкина, с того времени, как Белоусов, не получив на свои вопросы «удовлетворительных ответов ни от студентов, ни от профессора... Билевича, объявил во всеулышание с запальчивостью и свойственной ему заносчивостью, в присутствии директора Орлая, что он находит недостаточными юридические познания окончивших курс юношей, долго таившаяся вражда... вспыхнула и между ними началась открытая война» [Лицей, 1881, с. 316].

Вскоре «открытая война» захватила и другую — внеучебную, бытовую сферу гимназической жизни. Надо сказать, что к концу пребывания Орлая на посту директора нравы в Гимназии стали более свободными. В работах советских исследователей это изменение толкуется однозначно — как распространение вольнолюбивых, чуть ли не революционных, «декабристских» идей и настроений. Но это не совсем так. Надзиратель Аман, например, доносил 28 августа, что пансионеры часто попадались пьяными, уходили в город, скрываясь у вольноприходящих, и т. д. [Лавровский, с. 47]. Имели место и такие случаи, какие опишет позднее Гоголь во втором томе «Мертвых душ»: ученики «обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры». Наряду с этим фигурировали и «непозволительные стихи и книги», но к ним все дело не сводилось.

Назначенный инспектором, Белоусов повел борьбу с распушенностью нравов, при этом не очень отделяя вольности морального свойства от чтения предосудительных произведений. 25 октября он доносил, что «некоторые воспитанники пансиона, скрываясь от начальства, пишут стихи, не показывающие чистой нравственности, и читают их между собою, читают книги, неприличные для их возраста, держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных» [Лавровский, с. 48]. А спустя несколько недель, 14 ноября, он представил и вещественное доказательство — оду Пушкина «на свободу» (т. е. «Вольность»), отнятую у пансионера Гребенкина (то есть у Е. П. Гребенки, поступившего в Гимназию годом ранее).

Хотя Белоусов, по-видимому, искренне порицал чтение неподходящих для гимназистов произведений, но выдача обнаруженной рукописи была делом вынужденным. Почетный попечитель, уже имевший на этот счет какие-то сведения, распорядился провести строгое дознание. 6 ноября конференция вынесла решение отобрать «у воспитанников пансиона книги и рукописные сочинения, несообразные с делом нравственного воспитания» [Иофанов, с. 410], и только после этого Белоусов представил оду «на свободу».

Он заявил при этом, что отобрал и другие «книги и бумаги», однако от представления их всячески уклонялся, в чем его неоднократно обвинял Билевич. Очевидно, Белоусов стремился уберечь владельцев этих материалов — гимназистов от гнева начальства. Тем более что над тремя учениками начальственный гром уже разразился: 26 октября пришло предписание почетного попечителя исключить из Гимназии Н. Прокоповича, А. Данилевского и П. Мартоса [Машинский, 1959, с. 68]. Двое последних действительно покинули Гимназию, Прокоповичу же удалось избежать наказания. Правда, Данилевский, проучившись несколько месяцев в Московском университетском пансионе, в конце 1827 года вернулся в Нежин, и Гимназию он и Гоголь оканчивали вместе...

Что же касается отобранной у гимназистов литературы, то Белоусов попытался отнести «таковые книги и бумаги ко времени инспекторства профессора Моисеева» [Иофанов, с. 410]. Поступок не очень корректный, однако, по-видимому, он имел свою предысторию. Став инспектором, Белоусов занял место Моисеева, чем возбудил его ревность — как перед этим возбудил недобрые чувства Билевича. Так у Николая Григорьевича появился еще один враг.

В январе следующего, 1827 года «открытая война» сконцентрировалась вокруг гимназического театра. В своем известном уже нам прошении от 29 января Билевич ни разу не упомянул имени Белоусова, но всем было ясно, в кого он метит, говоря о готовящихся театральных представлениях «без особого дозволения высшего учебного начальства».

Первую атаку Билевича на театр удалось отбить, спектакли состоялись; при этом гимназисты знали, чьими усилиями достигнута победа. Сообщая о театральных представлениях на масленицу, Гоголь писал 19 марта 1827 года Г. Высоцкому: «Все возможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим всем мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно восхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступает за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров».

После вторичного, принадлежащего Никольскому, рапорта о театральных представлениях, после их приостановки (в конце апреля того же года), после обмена с Белоусовым несколькими прошениями, которые по ритуалу читались в конференции, Билевич решил нанести окончательный удар. 7 мая он подал рапорт, в котором собрал все предосудительные факты, какие можно было собрать. Мол, пансионер Григоров, прохаживаясь по коридору, толкнул нравонаблюдателя Персидского, а другой пансионер, также ученик восьмого класса, Гоголь-Яновский небрежно ответил на вопрос Билевича, показывая всем своим видом неуважение к наставнику; в классе еще была драка, а из музеев доносились «крик и пение неприличных... песен» — и все это подводило к выводу, что «действительно не имеет-

сы надлежащего смотра» «со стороны г. инспектора, по новости и малоопытности его в сем деле».

А затем Билевич переходил к самому главному: «Равномерно необходимо обязанностью для себя поставляю, как старший профессор юридических наук, сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартини, он, г-н младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам, следуя в основаниях философии Канта и г-на Шада...» [Сборник, с. 363—364].

Тут все доводилось до первопричины: оказывается, и неповиновение, и дерзость, и непозволительное увлечение театром вытекали из вольнодумного образа мыслей, а последний объяснялся порочностью преподавания, злонамеренным уклонением от предписанных установок. Это уже было обвинение политическое. Билевич прекрасно сумел использовать специфику той дисциплины, которой занимались и он, и Белоусов. Коли эта дисциплина общественная и, как будут позднее говорить, идеологическая, то вот вам и разгадка всего: он, Билевич, преподает свой предмет правильно, а Белоусов — неправильно. И на памятном экзамене Белоусов придирался к Билевичу не просто так, но по причине вредного и опасного направления своих мыслей, в то время как он, Билевич, отстаивал дело правое и законное. И выходит, что вражда двух профессоров вовсе не личная и не случайная, а принципиальная и закономерная... Не все это было высказано в представленном рапорте «открытым текстом», но легко подразумевалось, выводилось из главного обвинения.

Мимо такого обвинения уже нельзя было пройти, и начальство на него отреагировало. Так официально началось «дело о вольнодумстве».

После отъезда Орля в Одессу обязанности директора Гимназии временно были возложены на Шапалинского. Казимир Варфоломеевич Шапалинский (1790 — ум. после 1843), старший профессор математических и естественных наук, приглашенный еще первым директором В. Кукольником, принадлежал к лучшим преподавателям Гимназии. По словам П. Редкина, он соединял «в себе отчетливое и стоящее в уровень с современностью знание своего предмета с любовью к нему, возбуждающею всегда любовь и в учениках» [Лицей, 1881, с. 315]. У Гоголя с Шапалинским тоже установились довольно хорошие отношения, несколько даже выходявшие за официальные рамки: Казимир Варфоломеевич бывал у Трощинского в Кибинцах. Естественно, что такой человек, как Шапалинский, с неодобрением наблюдал за развивающимися событиями и старался не обращать внимания на опасные инвективы Билевича. Впоследствии он за это поплатился...

Но на рапорт Билевича от 7 мая требовался ответ, тем более что Белоусов представил тетрадку, содержавшую, по его словам, учени-

ческий конспект лекций естественного права. Того самого курса, в котором, согласно Билевичу, скрывались ядовитые семена вольномыслия. Белоусов надеялся, что эти обвинения будут опровергнуты самим текстом его лекций. И вот 4 июля конференция поручила разбор тетрадки протоиерею и законоучителю Павлу Ивановичу Волинскому.

«...Привлечение к делу законоучителя составляет оригинальную часть Нежинской истории, не находящую себе соответствия ни в Петербургской, ни в Харьковской историях», — отмечал один из исследователей, сравнивая происходившее в Нежине с недавними репрессивными акциями в Петербургском и Харьковском университетах [Лавровский, с. 97]. Однако, по-видимому, Шапалинский не ждал от законоучителя ничего плохого. Волинский слыл добрым и снисходительным человеком; кроме того, его недостаточная компетентность (Волинский хотя и читал этику, или нравственную философию, но не пошел дальше традиционного руководства Баумейстера) позволяла надеяться, что он не будет слишком сильно вгрызаться в текст. Но вышло все наоборот. Через несколько дней Волинский представил в конференцию разбор (датировано 20 июля), в котором объявил многие суждения Белоусова целям «воспитания юношей несоответственными и с самим благочестием несообразными» [Иофанов, с. 369]. По существу это подтверждало обвинение Белоусова в вольнодумстве.

Получив такую поддержку, Билевич усилил натиск. В начале нового учебного года специальным рапортом от 3 сентября 1827 года он потребовал от конференции запретить Белоусову преподавание юридических наук вообще, «ибо во всякой из этих наук при таковых ко заблуждению ведущих основаниях, коих он иначе читать, как сам сказал, не может, опасно для неопытного юношества всякое подобное преподавание оных» [Стогнут, с. 180]. Это уже было равносильно объявлению человека политически неблагонадежным.

Спустя несколько дней вновь вспыхнул конфликт, так сказать, на театральной почве, причем в его центре оказался студент выпускного, девятого класса Гоголь.

Проходя 26 сентября в начале 5-го часа по коридору, Билевич и Иеропес, профессор греческого языка, заметили юношу, скрывшегося за дверями того зала, в котором располагался театр. Профессора устремились по следам юноши, но оказались перед закрытой дверью. На помощь был призван экзекутор С. И. Шишкин. Наконец все трое проникли в помещение и установили, что бежавший по коридору был Яновский, а с ним еще находились его одноклассник В. Марков и гимназисты помоложе — братья Пашенко, Тимофей и Андрей, и С. Гютен. Возможно, они обсуждали театральные дела, готовились к возобновлению спектаклей (неизвестно, состоялось ли оно), однако Билевич истолковал все это иначе. В специальном рапорте в конфе-

рению он заявил, что подошел к пансионеру Яновскому и спросил его, «зачем они таились здесь и не отворяли дверей», на что «Яновский, вместо должного вины своей сознания, начал с необыкновенной дерзостью отвечать мне свои разные суждения и при этом более, нежели сколько позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, я вместо наставлений, ему до сего деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня; но он, как бы не слыша сего, с упорством до дверей и за двери преследуя меня с необыкновенною дерзостью, кричал против меня и сим возродил во мне сомнение, не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком» [Сборник, с. 368]. Обвинение в пьянстве (опровергнутое, как мы увидим, последующим разбирательством) должно было рикошетом еще раз ударить по Белоусову. Мол, последний утверждает, что «крепкие напитки» водились при прежнем инспекторе и что теперь с этим покончено, ан нет, все осталось по-прежнему... В действительности же Гоголь, наверное, просто дал волю своему комическому, пародийному таланту, позволив себе несколько поиздеваться над Билевичем. Таким образом Николай и его товарищи выразили свое отношение к этому педанту и клезунику.

В тот же день исполняющий обязанности директора Шапалинский распорядился провести расследование эпизода. На заседание конференции один за другим были введены все пять гимназистов, а затем, как гласит протокол, «освидетельствованы от г. доктора медицины Фиблига и найдены не только трезвыми, но без малейшего признака хмельных напитков» [Сборник, с. 371]. Клевета Билевича была опровергнута. Белоусову и Шапалинскому удалось на этот раз дать ему отпор. Но это была отнюдь не победа.

Через несколько дней, 8 октября 1827 года, в Нежин прибыл новый директор Гимназии Данило Емельянович Яновский, и «дело о вольнодумстве» вступило в заключительную стадию.

«...ТАМОШНИЕ ПРОФЕССОРА БОЛЬШИЕ БЕСТИИ»

Но вначале — о сущности обвинений, предъявленных Белоусову. Все советские исследователи, касавшиеся «дела о вольнодумстве», совершенно не обращали внимания на такой факт: главным компрометирующим материалом против Белоусова оказалась предъявленная им самим тетрадка. Именно на основе этой тетрадки протоиерей Волынский сформулировал обвинения, которые стали затем варьироваться в других документах. Значит, Белоусов не сознавал грозившей ему опасности, не видел криминала в упомянутой тетрадке. Поэтому в дальнейшем ему пришлось оправды-

ваться, говорить, что его слова извращены, и объяснять, в чем состоял их реальный смысл.

Например, по Белоусову, «предмет права есть то, чем человек посредством его права исключительно располагать может»; «предмет врожденных прав может быть только в самом человеке». Волинский увидел в этом опасность беззакония: «Такая неопределительная одним чувственным миром ограниченность ведет к заблуждениям материализма» [Иофанов, с. 366, 367]. Но Белоусов вовсе не собирался отвергать «законы»; он лишь полагал, что «предмет нашего права, какого бы то ни было, должен быть определен прежде изложения науки о правах, дабы дать точное о них понятие и дабы мы тотчас усмотрели то, что не есть предметом нашего права».

Далее Волинский напоминал Белоусову, «что человек существует не в одном чувственном, но и в духовном мире». Но у Белоусова вначале «рассматриваются только такие права, кои человеку как существу чувственно разумному принадлежат по одному его существованию в чувственном мире <...>, следовательно, что принадлежит к духовному миру (здесь) и касаться не должно, иначе все смешалось бы и преподающий и слушающие не выпутались бы из противоречий» [Иофанов, с. 395].

Белоусов выступал против *смешения*, за строгую постановку проблемы. Как известно, само понятие естественного права строится на таком разделении: положительное право существует в действительности, в конкретных обществах и государствах; естественное же — идеально, умозрительно. Поэтому естественное право противостоит положительному как совершенная норма несовершенной реальности и как нечто постоянное и твердое — изменчивому и текучему.

Именно по поводу такого разделения и законности существования права естественного Н. Кукольник позднее писал: «Кому из занимающихся науками теперь не известно, что теория многих знаний нередко стоит за пределами возможной действительности, но необходима как мета, к которой наука в применении своем должна стремиться постоянно, хотя и медленно, к ней приближаясь, постепенно совершенствоваться. Но тогда многие положения <...> показались чем-то возмутительным, опасным, предосудительным...» [Лицей, 1859, с. 21]. «Тогда» — это в Нежине, в Гимназии высших наук, в связи с «делом о вольнодумстве». Хотя в Гимназии признавалось естественное право как специальная дисциплина, но на практике от нее требовали, как говорил Волинский, «ограничения чрез понятие исообразности с законом». Услышав слова «права человека», Билевич и Волинский возмущенно восклицали: где же обязанности к Богу, к государству, обществу? Где обязанности «к наставникам, к начальству и вообще к ближнему, даже и к самому себе»?

На что Белоусов отвечал: «Нужно было рассмотреть, какие права принадлежат человеку по одному только его существованию в мире

чувственном; потом, допустивши сии права, показать, что человек сих прав, хотя оные ему принадлежат по его природе, защитить и сохранить не может, доколе он не находится в обществе гражданском, в коем верхняя власть оберегает и защищает права всех и каждого, а потому без совершенного беспрекословного повиновения верховной власти не достигается состояние человека на праве основанном...» [Иофанов, с. 384].

Положение о естественном праве в принципе, конечно, отрицает привилегии «уже потому, что опирается на самую давнюю и прочно обоснованную из всех привилегий — привилегию быть человеком» [Леонтович, с. 4]. Однако это положение не отвечает на вопрос, каким путем должна быть достигнута цель — консервативным, либеральным, радикальным или революционным. Противники же Белоусова не замечали или не хотели заметить различия цели и средств.

Сильно смущал их и логический, индуктивный способ выведения естественного права: «...если разум человеческий берется за начало нравоучения естественного, без подчинения сего самого разума высшему закону, какова есть для всех творений и для самого человека воля Божия, то таковое начало легко быть может обращено в худое направление юных умов» [Иофанов, с. 366]. Между тем тенденция к интеллектуализации, если можно так сказать, отличала развитие естественного права в Западной Европе. Эта тенденция пронизывала книгу немецкого ученого Ф. Шмальца «Право естественное» (русский перевод — 1820 г.), на которую, как установил С. Машинский, опирался Белоусов. Во введении к этой книге, написанном ее переводчиком Петром Сергеевым, отмечалась заслуга голландского юриста Гуго Гроция: «Он первый отделил нравоучение от богословия, которые прежде сего были смешиваемы», однако действовал нерешительно, выводя начало права то из «разума» и «общезития», то «из опытности» [Шмальц, с. 13]. Перелом осуществил Кант, и его последователи «на основании началоположений великого преобразователя области умозрений верными признаками отличили нравоучение от наук сродных и соприкосновенных <...> приняли и объяснили формальное начало права, в полной мере удовлетворяющее требованиям чистого разума» [там же, с. 21]. Точно так же расценивал заслугу Канта Белоусов: «Кант своею критикою чистого и практического ума <...> сделал совершенный переворот в философии германской. Его критический метод философствования имел влияние на все науки и, следовательно, в особенности на этику и естественное право. Кант в метафизических начальных основаниях нравоучения совершенно отличил и отделил этику от науки права» [Иофанов, с. 390].

Вот эту формально-логическую постановку вопроса никак не могли уразуметь Билевич и Волынский, которым виделось здесь покушение на законность и религию. Их более устраивал эклектизм и морализование Де Мартини, чья книга «Positiones de lege naturae» была

рекомендована в качестве официального учебника естественного права. Об этом самом Де Мартини во введении к книге Шмальца говорилось, что он искал начало познания естественного права «вне разума», а именно в «воле Провидения, в его целях» [Шмальц, с. 19–20]. Добро бы еще Билевич твердо придерживался Де Мартини, но он смешал его систему с «системой новейшей», то есть кантовской. На упомянутом выше экзамене в июне 1826 года и еще на другом экзамене по естественному праву в июне следующего года Белоусов ловил Билевича на противоречиях, непонимании сути предмета, а то и прямом невежестве; последний же представил дело так, будто бы он защищал устои, а Белоусов их подрывал. Но если бы это даже и отвечало взглядам Белоусова, не стал бы он подобное делать на экзамене в присутствии исполняющего обязанности директора и многих преподавателей.

Шапалинский старался, как мог, приглушить обвинения, чтобы не дать вспыхнуть пожару. Но с прибытием нового директора Ясновского, как мы сказали, дело получило решительный оборот.

Вскоре после приезда Ясновского пришли две бумаги от исполняющего обязанности попечителя Харьковского учебного округа графа Виельгорского. Наслышанный о происходящем в Гимназии, — очевидно, от тайно доносившего Билевича, — попечитель потребовал доставить ему все материалы, включая и представленные в конференцию ученические тетради. В распоряжении конференции уже находилась тетрадь студента Маркова, одноклассника Гоголя, на основе которой был учинен строгий разбор лекций Белоусова; тем не менее новому директору этого показалось мало. Билевич давно уже говорил, что тетрадь Маркова исправлена Белоусовым и что есть другие тетради — студентов Филипченкова и Новохацкого, подтверждающие зловредность лекций по естественному праву. Новый директор учел этот сигнал, но решил не ограничиваться представленными тетрадями.

Н. Кукольник, в эту пору студент предпоследнего класса, рассказывает: «В одно прекрасное утро, как говорится, ящики наших столов подверглись строжайшему осмотру. Это было в половине 1827 года (точнее, 27 или 28 октября. — Ю. М.). У многих, в том числе и у меня, забрали разные бумаги» [Лицей, 1859, с. 20]. Искали не сочинения гимназистов, а «классные записки естественного права».

А затем с 29 октября по 3 ноября были проведены допросы студентов. Допрашивали по всем правилам: вызывали по одному в конференцию, показывали вещественные улики — отобранные тетради, снимали показания, а потом требовали подписать: «Сие показание собственноручно подписал ученик такой-то». Всего допросили девять человек, в том числе и Гоголя.

Странное, мрачноватое впечатление оставляют эти протоколы! Дотошное и пунктуальное фиксирование фактов: кто и кому передавал тетрадки, какие в них вносились записи и исправления — все заставляет думать, будто расследуется тяжкое преступление. Свидете-

лей и подозреваемых ловят на противоречиях, пытаются загнать в угол, чтобы они, наконец, раскрыли всю подноготную...

Если говорить конкретно, то «следствие» больше всего интересовало два вопроса: насколько соответствует текст тетрадей лекциям Белоусова и каким образом читались эти лекции — по книге или по запискам. Нужно было читать «по книге», то есть по официально рекомендованному учебнику Де Мартини. Но у начальства были все основания полагать, что Белоусов нарушает требование, так как он не раз публично критиковал книгу и говорил, что будет читать естественное право по своим «запискам» [Стогнут, с. 180].

На оба вопроса гимназисты дали разные ответы, из которых зачастую один перечеркивался другим. Ученик восьмого класса Федор Михно, ссылаясь на своего одноклассника Александра Новохацкого, показал, что «тетрадь просматривана и исправлена рукою профессора Белоусова», но опрошенный через два дня Новохацкий опроверг это утверждение. Он отметил также, что некоторые положения в тетради сформулированы им самостоятельно, «не теми словами, какими объяснял профессор Белоусов». А ученик того же класса Ефим Филипченко к тому же показал, что Белоусов «во время лекций выговаривал ученикам часто за неправильное истолкование его слов при повторении», замечая, что «он боится им изъяснять, потому что они в противную сторону толкуют его слова; и сие говорил он при лекциях естественного права» [Иофанов, с. 372]. Это были весьма выгодные для Белоусова свидетельства, так как они освобождали разбираемые материалы от требований аутентичности.

Что же касается характера лекций, то одни говорили: Белоусов читал «по тетради собственной», другие — «из книги», третьи — не помнили, «принес ли профессор Белоусов книгу для одного изъяснения или нет».

В ходе расследования выяснилось, что одна из тетрадок по естественному праву и его истории принадлежала Гоголю, который отдал ее Кукольникову. Последний же сделал с нее для себя список, а сам тетрадь передал Новохацкому. Список в дальнейшем оказался среди материалов следствия (так называемая тетрадка «С»): очевидно, он был взят у Кукольника во время обыска.

Так возникла необходимость вызова в конференцию Гоголя. Произошло это 3 ноября 1827 года.

Гоголевское «показание» — самое короткое из всех других. Прежде всего он подтвердил свидетельство Новохацкого, что «тетрадь истории естественного права и самое естественное право отдал в пользование Кукольникову; сверх того, Яновский добавил, что объяснения о различии права и этики профессор Белоусов делал по книге» [Иофанов, с. 378].

Легко увидеть, что если первый пункт просто констатировал уже известное конференции, то второй — добавлял важный факт в пользу Белоусова. Поскольку противники Белоусова никак не могли постичь,

как можно преподавать естественное право, не смешивая его с этикой, не впадая в морализацию и устраняя вопрос о Боге и о начальстве («ничего не было преподано о должностях к Богу... к начальству»), то они упорно доискивались, на каком основании проводилось «различие права и этики». Гоголь показал четко: на основании «книги», то есть проверенного на благонадежность Де Мартини²².

Весьма рискованно и даже экстравагантно повел себя на допросе Кукольник. Помимо списка с гоголевской тетрадки (тетрадь «С»), у него во время обыска нашли еще кипу каких-то других тетрадей — не меньше восьми. На просьбу дать объяснение Кукольник заявил, что это его собственные выписки из «Философского словаря» Вольтера, «Общественного договора» Руссо, «Духа законов» Монтескье, из «Вечного мира» Канта... Подбор имен, словно специально рассчитанный на то, чтобы привести начальство в ужас. При этом Кукольник добавил, что если Вольтером и Руссо его снабдил одноклассник Родзянко, то Монтескье он брал у Любича-Романовича, «замечания из Ж. Ж. Руссо и Гюме» — у Высоцкого. Оба гимназиста еще полтора года назад закончили обучение и переехали в Петербург, а значит, проверить показание было невозможно. И вообще Кукольник специально оговорил, что все это было читано им еще «в пятом и шестом классе, до преподавания естественного права» [Иофанов, с. 376], то есть до Белоусова. Кукольник самоотверженно брал всю вину на себя, но вместе с тем рикошетом он наносил удар и по зачинщикам «дела о вольнодумстве», старшему профессору политических наук Билевичу и особенно прежнему инспектору Моисееву, ответственному за нравственность гимназистов. Мол, вы сами виноваты в том, в чем обвиняете Белоусова, — в распространении вредных идей...

В общем, результат допроса складывался скорее в пользу Белоусова. Если бы Шапалинский находился у власти, Билевич снова получил бы отпор — как после театрального эпизода 26 июня, когда не подтвердилось обвинение против Гоголя и других студентов. Но теперь времена изменились. Новый директор явно был недоволен результатами расследования.

В мае и июне следующего, 1828 года был проведен повторный тур допросов студентов, отличавшийся некоторыми новыми чертами. Показания давались не конференции, а лично Ясновскому. И главное внимание было уделено уже не столько записи лекций и их соответствию учебнику, сколько фразе, якобы сказанной Белоусовым во время занятий, — эта фраза звучала прямым призывом к цареубийству. Так, Егор Котляревский показал, «что в 1826 году, когда он <...> был в 7 классе, профессор Белоусов, во время чтения права естественного, говоря о верховной власти, обратил свой вопрос к ученикам: “Что, если государь дурак, подлец, то что вы думаете с ним”, и когда ученики замолчали, то Белоусов сказал: “Ну, изгнать его, убить”» [Иофа-

нов, с. 406–407]. «При сем случае, — добавляет допрашиваемый, — были в классе все ученики, которые теперь в 9 классе», а это значит, был и Гоголь, который и упомянут в протоколе допроса как возможный свидетель случившегося.

В советской литературе о Гоголе упомянутое показание было принято за чистую монету: «Белоусов <...> был сторонником революционного действия — он признавал необходимость свержения и даже убийства монарха, деспотически злоупотребляющего доверием народа» [Июфанов, с. 331; ср. Машинский, 1959, с. 159]. Но даже если бы у Белоусова были подобные мысли, невозможно представить себе, чтобы он решился говорить об этом в 1826 году при полном классе учеников. Скорее всего, речь шла об обязанностях высшей власти, вытекающей из идеи общественного договора (ср. у Шмальца: «Чрез договор подданства между правителем и членами общества постановляются права власти, которые разным образом и в разных родах могут быть различаемы» — с. 107), а кто-то из слушателей понял мысль Белоусова по-своему. Это был один из тех случаев, когда, как он замечал, его словам придавался превратный смысл, а недоброжелатели, тайные и явные, распространяли слухи далеко за пределы Гимназии. Согласно свидетельству студента Алексея Колышкевича, о призыве Белоусова к царевубийству говорили в Чернигове, где профессору предрекали скорую ссылку; когда же Колышкевич поинтересовался, откуда все эти сведения, ему сказали, «...что сие у них известно и что глас народа — глас Божий» [Июфанов, с. 406].

Готовящиеся преступления и заговоры мерещились гимназическому начальству со всех сторон. Ученик младшего класса Е. Гребенка еще 29 февраля 1828 года сообщал родителям: «У нас три ученика открыты масонами: Змиев, Колышкевич и Родзянка; но это и здесь тайна, а потому прошу Вас сего нигде не рассказывать» [Гребенка, с. 525].

Далее, для нового тура допросов характерно то, что компрометирующие факты все решительнее выдвигались и против других преподавателей — против младшего профессора немецкой словесности Ф. О. Зингера, который якобы «часто заменял лекции рассуждениями политическими»; и против профессора французской словесности И. Я. Ландражина, дававшего гимназистам читать сочинения Вольтера, Гельвеция, Монтескье и др. Знал Ландражин и о чтении и переписке учениками стихотворения Рылеева, «закключающего в себе воззвание к свободе» [Машинский, 1959, с. 177], скрыв этот факт от начальства.

Бесспорно, в Гимназии циркулировали запрещенные или нежелательные произведения, но отсюда еще нельзя делать прямых выводов о «революционном» и «декабристском» умонаправлении преподавателей и гимназистов. Не претендуя на освещение этого вопроса в целом (для этого недостаточно материала), ограничусь лишь замечанием о Гоголе. А именно — о чтении им вольнолюбивых стихов Пушкина.

В черновиках гоголевской статьи «Несколько слов о Пушкине», написанной позднее, в Петербурге, есть следующие строки: «Он был каким-то идеалом молодых людей. <...> И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства» [VIII, 602]. Эти строки явно восходят к переживаниям, испытанным Гоголем в недавнюю, гимназическую пору его жизни. Мы помним, что Белоусов осуждал чтение учениками произведений вроде пушкинской «Вольности», полагая, что они принесут вред как «неприличные для их возраста». Гоголь как представитель такого «возраста» не считал это вредным, ибо видел в пушкинской поэзии источник движения и заряд «благородных мыслей». В то же время он отвергает толкование ее как рассадника «вольнодумства», и в этом смысле противники Белоусова, Зингера и других вполне подпадают под категорию бесполезных «для государства», лицемерных «стариков», видящих опасность там, где ее нет. По мнению же Гоголя, вольнолюбивые стихи Пушкина играют преходящую, но благотворную роль в возмужании молодых людей. Здесь отразился юношеский опыт Гоголя, не совпадающий ни с осуждением музыки Пушкина официальными кругами, ни с восприятием ее радикальными декабристскими силами²³.

Возвращаясь же к новому туру допросов и расследования, нужно сказать, что теперь в глазах начальства дело обретало все более определенные и угрожающие черты. Оказывается, действовал не один Белоусов, но и Зингер, Ландражин и еще во всем потворствовавший им бывший исполняющий должность директора Шапалинский. Словом, преступный заговор, преследующий далеко идущие цели...

Еще не закончился вторичный допрос студентов, как в истории «дела о вольнодумстве» наметилось новое явление — отречение некоторых защитников Белоусова от своих прежних показаний. 21 мая, за несколько дней до экзаменов, явился отец Николая Родзянко и объявил, что его сын не давал Кукольнику книг Вольтера и Руссо и что оговорил он себя по наущению Кукольника. А через год, в июне 1829 года (Гоголь в это время уже окончил Гимназию и жил в Петербурге), от своих показаний отказался и Кукольник.

Брат его Платон, преподававший некогда в нежинской Гимназии латинский язык, а теперь работавший в Виленском университете, явился к Ясновскому и представил письменное признание Нестора. Последний объяснял, что составил свои записки не до прихода Белоусова, а «с того времени, как начал... слушать естественное право», то есть при Белоусове, и что дал он свои ложные показания, так как находился «в ближайшем надзоре и власти инспектора» и боялся его

мести. Кроме того, говорил Кукольник, на этот шаг его толкнул профессор Зингер, с которым он якобы советовался: Зингер «совершенно расположил меня к изъяснению вышеупомянутых показаний и уверял меня, что я не могу подвергнуться за то никакой ответственности». В заключение Кукольник выражал готовность подтвердить под присягой истинность своих новых показаний [Лавровский, с. 114–115].

Странный, неожиданный шаг... Как его объяснить? Сказались некоторые психологические особенности Кукольника, о чем Белоусов писал еще до возникновения всей этой истории: «Характер его исполнен величайших неровностей...» В порыве благородства Кукольник не рассчитал свои силы; не раздумывая, он бросился на защиту Белоусова и, решив взять на себя всю вину, наговорил такое, что не имело никакого вида правдоподобия. Кто мог поверить, что еще в младших классах, до преподавания естественного права, мальчик делает выписки из немецких и французских книг для будущей диссертации? Кукольник даже не потрудился согласовать даты: он заявил, что один из его источников — выписки из журнала «Московский телеграф» за 1826 г., но это уже могло иметь место не до Белоусова, а при нем. Неудивительно, что Моисеев тотчас назвал показание Кукольника «совершенно несправедливым и даже невероятным».

Далеко не все фиксируют протоколы и официальные бумаги, многое происходило за кулисами, тайно. Нет никакого сомнения, что Билевич и поддерживавшие его преподаватели обрабатывали студентов, склоняя на свою сторону. Кукольник же дал против себя такие козыри, впал в такие противоречия, что воспользоваться всем этим было весьма удобно. С другой стороны, нельзя исключать и той возможности, что Белоусов или Зингер в целях самообороны также уговаривали студентов не давать рискованных и опасных показаний. Взгля на верх в конечном счете группа Билевича: ведь у нее теперь была поддержка дирекции и, следовательно, возможность угрожать слушникам карой на экзамене и при выпуске.

Свое второе признание Кукольник, как он специально подчеркивает, составил «по окончании полного курса наук» и, следовательно, «будучи совершенно свободен». Но это не совсем искреннее заявление: впереди еще было присуждение чина. И тут Кукольник поплатился-таки за все — и раскаяние и отступничество ему не помогли. Несмотря на отлично сданный окончательный экзамен, решением министра ему отказали в полагающемся чине XII класса и в золотой медали: он был выпущен с простым свидетельством об окончании Гимназии.

Суровое наказание постигло и главных участников «дела о вольнодумстве».

В феврале 1830 года в Нежин для секретного разбирательства прибыл член Главного правления училищ Э. Б. Адеркас. Подготовив необходимые материалы, он через два с лишним месяца отбыл в Петер-

бург, а еще через несколько месяцев, 26 октября, Николай I утвердил предложение министра просвещения Ливена — «профессоров Шапалинского, Белоусова, Ландражина и Зингера отрешить от должности за худое поведение и вредное на юношество влияние». При этом Николай I сделал еще добавление: «Тех из профессоров, кои нерусские, выслать за границу. Русских же выслать на места родины, отдав под присмотр полиции...» [Машинский, 1959, с. 194, 195].

А еще через некоторое время, в 1832 году, Гимназия лишилась своего широкого энциклопедического профиля и была преобразована в Лицей со специальным физико-математическим направлением.

Так клеюза одного человека о том, что он «приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства», привела к жизненной трагедии нескольких человек, к перетасовке всего преподавательского состава, к разгрому целого учебного заведения.

С Зингером, Ландражином и Шапалинским Гоголь, по-видимому, никогда уже больше не виделся: первый как австрийский подданный был выслан за границу; второй — в Вологодскую губернию, а третий — в Вятку. Но с Белоусовым связь Гоголя не пресекалась, и, возможно, они даже и встречались — в 1830 году в Петербурге, куда Белоусов приезжал хлопотать о смягчении наложенного на него наказания, или летом 1835 года в Киеве, где жил Белоусов и куда заезжал Гоголь по дороге из Васильевки в Петербург²⁴.

Во всяком случае Гоголь сохранил самые добрые заочные отношения со своим бывшим учителем. 2 июля 1833 года он советовал своему другу — писателю и ученому М. А. Максимовичу: «Если вы будете в Киеве, то отыщите экс-профессора Белоусова. Этот человек будет вам очень полезен во многом, и я желаю, чтоб вы с ним сошлись». Через год, 27 июня, Гоголь повторяет свой совет: «...приехавши в Киев, ты должен непременно познакомиться с экс-профессором Белоусовым. <...> Скажи ему, что я просил его тебя полюбить, как и меня. Он славный малый, и тебе будет приятно сойтись с ним».

Спустя некоторое время, 18 июля и 14 августа, Гоголь обращается к Максимовичу с просьбой содействовать в устройстве на службу одного его петербургского знакомого — С. Д. Шаржинского. Тот хотел бы получить место в Киеве или где-нибудь в другом городе «киевского же округа», только не в Нежине. «В Нежин не изъявляет желаний, зная, что там более трудностей, потому что гимназия имеет особенные права и постановления, да притом знает, что тамошние профессора большие бестии, от которых уже товарищи его, вместе с ним воспитывавшиеся и бывшие там профессорами, пострадали». Шаржинский «воспитывался» в петербургском Педагогическом институте — там же, где и бывший исполняющий должность директора нежинской Гимназии Шапалинский; следовательно, именно Шапалинского (как указывает Иофанов) Гоголь в данном случае и подразумевал. При этом он выразительно охарактеризовал всю ситуацию в Гимна-

зии, нравственную физиономию тех, кто затеял и довел до конца это дело, — «тамошние профессора большие бестии».

Оценивая «дело о вольнодумстве» в целом, надо сказать, что лезвию Белоусова была его противниками значительно преувеличена. Мы уже касались того факта, что главные обвинения были построены на основе тетрадки, которую Белоусов сам же предоставил в распоряжение конференции как свидетельство своей полной невиновности, ибо он не видел за собою никакой вины. Добавлю еще один важный штрих. Обвиняющую сторону очень интересовало, какое пособие взял Белоусов для своего курса естественного права взамен отвергнутого им Де Мартини. И вот в декабре 1827 года, после прибытия нового директора Ясновского, после первого тура допросов студентов, Белоусов приоткрыл карты — письменно сообщил, что за руководство принята им книга «*Jus naturae*», изданная в русском переводе в Петербурге, посвященная переводчиком тому, кто воспитывал «всеавгустейшего монарха нашего», то есть Николая I, который, «как говорит общее мнение между учеными», и был инициатором перевода. Имени же автора и того лица, кому посвящена книга, Белоусов в рапорте не назвал, из чего исследователи сделали далеко идущие выводы.

С. И. Машинский, установивший, что автор книги — это Шмальц, а преподаватель, которому посвящен русский перевод, — профессор Балугьянский, объяснил факт умолчания политическими причинами. В свое время М.А. Балугьянский, первый ректор Санкт-Петербургского университета, противодействовал разгрому передовой профессуры мракобесом Руничем и вышел в отставку. Мол, поэтому и Белоусов отмалчивался «относительно источника своих лекций, явно стараясь запутать и сбить с толку своих обвинителей» [Машинский, 1959, с. 135]. Но все это вызывает сильные сомнения.

Во-первых, Балугьянский вовсе не принадлежал к персонам «нон грата». При Александре I он ушел в тень, но при Николае I вновь вышел на сцену, стал начальником II отделения Собственной его императорского величества канцелярии, занимался кодификацией законов²⁵. Во-вторых, довольно странный способ конспирации — привести множество опознавательных знаков, включая и обширную цитату из предисловия, и рассчитывать при этом, что книга никем не будет узнана²⁶.

Добавим к этому, что Балугьянский был довольно известной личностью. В Нежине его могли еще знать по несомненной общности его судьбы с судьбою Василия Кукольника, первого директора Гимназии: оба были приглашены из Австрии на русскую службу в Петербург, оба в одно и то же время — 1813—1817 годы — являлись домашними учителями будущего императора Николая и его брата Михаила, оба по национальности были карпато-россами. Последнее обстоятельство скорее всего должно было обратить внимание на него и со стороны Билевича. Но даже если противники Белоусова не знали ни о Балугьянском, ни о посвященной ему книге, получить необходимые

сведения ничего не стоило. Не надо было даже списываться с Петербургом: Белоусов указал в своем рапорте, что эта книга принята в качестве руководства в Киевской гимназии.

И тем не менее, завершая разбор дела, директор Ясновский доносил начальству, что Белоусов читал естественное право «по своим запискам, а из *какого автора оные извлечены не объявил*» [Июфанов, с. 418]. Создается впечатление, что обвинителям выгоднее было не знать (или делать вид, что не знают), чем установить реального «автора», ибо с помощью такого приема Белоусов оставался в подозрении какого-то более страшного и предосудительного на него влияния.

Билевич и другие сознательно радикализировали позицию Белоусова, которая не выходила за рамки либерализма, — им важно было представить его чуть ли не бунтовщиком. Но подобному же преобразованию подвергается эта позиция и в нашей научной литературе, разумеется, из других побуждений и с заменой оценочных знаков — с минуса на плюс.

Особенность «дела о вольнодумстве» состояла еще и в том, что «пострадавшие профессора, с инспектором Белоусовым во главе, были *лучшими* профессорами» [Витберг, 1892, с. 15; курсив в оригинале, — Ю. М.], обладавшими хорошими профессиональными знаниями, педагогическим умением, обаянием. А противники их были людьми отсталыми и, как правило (может быть, за исключением одного Никольского), ограниченными, недалекими. Дарование и успех вызывают зависть — эта истина стара, как мир, но так же хорошо известно и то, что завидующий никогда не откроет другим (да и себе тоже) затаенные мотивы своего чувства и постарается облечь их в приличные одежды. Общество же всегда готово предоставить желающим такие одежды, среди которых самые ходовые — доспехи радетеля социального блага и искоренителя крамолы. «...Нет сильнеешего против профессора обвинения, как обвинения в вольнодумстве» [Стогнут, с. 186–187], — сказал Белоусов в самый разгар «дела».

Основные обвинения против Белоусова и других были выдуманы, не соответствовали действительности, в чем твердо убеждены были студенты. П. Редкин прямо говорит о «клевете». К такому же определению прибегает и Н. Кукольник, что особенно важно. Мы говорили об отречении его от своих первых показаний в острый момент разбора «дела»; но вот когда страсти улеглись, спустя много лет, он подвел всему случившемуся такой горестный итог: «Кто не испытал ядовитого жала клеветы на этом свете, который зачастую неправильно называют *белым*? Кто обвинит и высшее начальство, которое, по человечеству, также доступно заблуждению? Оправдание Белоусова налицо. Кто из молодых людей, бывших в Нежине под непосредственным его влиянием, поступком или словом, подтвердил клевету обвинителей?..» [Лицей, 1881, с. 242; курсив в оригинале]. Кукольник хочет сказать, что никто из питомцев Белоусова не стал подрывателем основ и поэтому не подтвердил «клевету обвинителей».

К последней фразе Кукольника, пожалуй, необходимо лишь то уточнение, что в обществе, где неустойчивы и шатки основы правопорядка и правосознания, сама граница между дозволенным и запрещенным постоянно стирается и ускользает. Обвинить гораздо легче, чем защититься, поскольку высказанная мысль и совершенный поступок идеально могут быть продолжены в область невысказанного и несовершенного. Именно такому толкованию подвергались лекции Белоусова, и в этом смысле все «дело о вольнодумстве», конечно, сродни осуществленным несколько ранее мракобесным акциям в Петербургском и Казанском университетах.

А какое значение имело «дело о вольнодумстве» для Гоголя?

Именно из этого дела вынес Гоголь первое горькое ощущение, что лучшие намерения и желания, притом вполне законные, отнюдь не «бунтарские», могут встретить непонимание, стать предметом вольного или невольного искажения, клеветы, жестоких нападок, ненависти. Эффект расхождения, разрыва субъективных планов и объективного результата, которые затем писатель будет наблюдать на своем собственном примере, едва ли не впервые он пережил во время преследования Белоусова.

В «деле о вольнодумстве» Гоголь со всей наглядностью убедился в силе зла и бессилии добра, ощутил хрупкость, нестойкость, скоротечность прекрасного — опыт, который будет затем подтверждаться многими крушениями, потерями и утратами: «прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное на Руси»; «непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России!» [X, 235, 228].

Наконец, именно в «деле о вольнодумстве» усилилось гоголевское ощущение неразумности, алогичности и спутанности, когда жизнь словно выходит из колеи и высшая власть перечеркивает те самые принципы, которые, казалось бы, приняты ею за основу. Потом Гоголь увидит подтверждение этому, скажем, в деятельности цензуры.

Однако следует напомнить, что «дело о вольнодумстве» завершилось уже после окончания Гоголем Гимназии, и полный его итог обозначился позднее. При Гоголе все шло к этому итогу, угадывалось им и переживалось, но впереди еще были решающие события — окончание учения, о чем юноша думал с волнением и надеждою.

БЛИЗКОЕ И ДАЛЕКОЕ

Летние каникулы перед последним классом Николай, как всегда, проводил в Васильевке, где на этот раз гостили его двоюродная тетя Варвара Петровна и двоюродные дяди Петр Петрович и Павел Петрович Косяровские.

Гоголь очень подружился с ними, особенно с дядями. Втроем работали в саду, совершали дальние прогулки — до мельниц, возвраща-

лись поздно к чаю или «на богатую коллекцию дынь». Ночевать отправлялись по шаткой лестнице на верхний этаж.

О Павле Петровиче сестра Николая Ольга вспоминала, что он «приютился» в их доме, «пока не нашел себе службу в корпусе эконом». Человек веселого нрава, Павел Петрович много содействовал жизнерадостной, легкой атмосфере, установившейся в то лето в Васильевке.

Но ближе Гоголю был другой дядя — Петр Петрович. К сожалению, сведения о нем чрезвычайно скудны. Со слов его сына известно лишь, что он был военным-артиллеристом, дослужился до полковника, владел имением в селе Белое Лужского уезда и умер в 1849 году. По словам сына Петра Петровича, Гоголь питал к его отцу «глубокое искреннее расположение» [РС. 1876. Т. 15. С. 37].

Вначале это «расположение» еще далеко было от откровенности. «...Во все время бытия моего с вами, — пишет Гоголь Петру Косяровскому, вспоминая о совместной жизни в Васильевке, — я ни разу не давал себя узнать, занимался игрушками и никогда почти не заводил речь о выборе будущей своей службы, о моих планах и пр.». Но потом, уже по возвращении в Нежин, все внезапно переменилось: получив от Петра Косяровского ободряющий ответ на одно свое письмо, Гоголь почувствовал к нему такую теплоту и доверенность, что открыл ему свою душу. Не «до дна», конечно, — всего Гоголь никому никогда не говорил, — однако больше, чем любому другому, исключая, может быть, Высоцкого. Но с Высоцким он беседовал как с товарищем, посвященным — до определенной степени — в его планы, а с Петром Косяровским как со взрослым, способным принять и оценить его признание с высоты своего душевного опыта. Обращения Гоголя к Косяровскому имеют характер исповеди, причем нечаянной, неожиданной — «что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня...».

Именно Петру Косяровскому (в письме от 3 октября 1827 г.) Гоголь признался, что хочет посвятить себя юстиции и что эта мысль зародилась в нем «около трех лет» назад, то есть примерно в 1825—1826 годах, когда он стал слушать лекции профессора Белоусова. «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными». Строки эти, кстати, показывают, что Гоголь следовал идее Белоусова о постепенном переходе от естественного права к положительному и о том, что первое является точкой отсчета.

В последний год пребывания в Гимназии у Гоголя окрепла мысль о переезде в Петербург, возникшая еще два с лишним года назад. «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству», — пишет он 26 февраля Марье Ивановне. Об этом же он сообщает 3 октября Косяровскому: «...Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я

уже издавна». Шаг вполне логичный, естественный: только столица могла предоставить необходимое поприще для исполнения его далеко идущих служебных планов.

Каким-то образом в эти планы вписалась и мысль о заграничном путешествии. Гоголь обсуждал ее с Высоцким еще в бытность того в Нежине. В Петербурге же вокруг Высоцкого, который с 7 февраля 1827 года служил в Департаменте разных податей и сборов, составилась кружок друзей, мечтавших о совместной заграничной поездке, и Гоголь был, так сказать, заочно приобщен к этому проекту. «Ты уже и успел дать за меня слово об моем согласии на ваше намерение отправиться за границу. Смотри только вперед не раскаяться! Может быть, мне жизнь петербургская так понравится, что я поколеблюсь и вспомню поговорку: не ищи того за морем, что сыщешь ближе. Но уже так и быть; ты дал слово — нужно мне спустить твоей опрометчивости. Только когда это еще будет? Еще год мне нужно здесь да год, думаю, в Петербурге; но, впрочем, я без тебя не останусь в нем: куда ты, туда и я» [X, 98].

Через год с лишним Гоголь сообщает Петру Косяровскому подробности относительно предстоящей поездки: «Я еду в Петербург непременно в начале зимы, а оттуда Бог знает, куда меня занесет, весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет...» [X, 132]. Обратим внимание: путешествие должно быть долгим, очень долгим и протекать оно будет в полной безвестности. Гоголь словно канет в небытие, чтобы затем внезапно возникнуть перед близкими и друзьями.

С этим вполне согласуется то, что говорил писатель позднее, в «Авторской исповеди»: «...Странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитываться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может бы<ть> это было, просто, то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие края, затем, чтобы, по выражению его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России».

Приведенные слова взяты из первой главы «Евгения Онегина», которую Гоголь прочел вскоре после ее выхода из печати в 1825 году, и его мечта «увидеть чуждые страны» складывалась, конечно, не без влияния господствующего эстетического вкуса, многочисленных литературных примеров, в том числе и пушкинского «романа в стихах».

Но это мечта была и сугубо гоголевской, вытекала из глубокой потребности в самообразовании. Тут не интеллектуальное самообразование, не накопление сведений и знаний выступало на первый план (хотя и оно было важно: Гоголь в последний год пребывания в Гимназии проявляет большой интерес к литературе путешествий, например, к «Письмам о Восточной Сибири» Алексея Мартоса [М., 1827]), но некая нравственная потребность. Путешествие рисуется ему как важный момент духовного воспитания, преодоления сурового искуса на пути к цели. Оно мыслилось в перспективе его великого служебного поприща, хотя не совсем ясно, каким образом должно было с ним совместиться; будет ли это то, что называют деловой поездкой, пребыванием в заграничном университете или неким жизненным вариантом литературного романтического бегства. Гоголь, по-видимому, искренен, когда говорит о том, что «не знал, ни как это будет, ни почему это нужно». Но тем не менее знал, что это нужно непременно.

В приведенном письме Петру Косяровскому обращает на себя внимание и такая деталь, как дальность путешествия: «Я отлучусь и слишком далеко (это и есть мое намерение)...» «*Слишком далеко*» — так, пожалуй, не скажешь о путешествии ни в Италию, ни во Францию. В связи с этим определенный вес приобретают слова, сказанные биографу Гоголя А. Данилевским, о том, что Николай собирался ехать в Америку [Шенрок, т. 1, с. 180]. И это косвенно подтверждается еще одним свидетельством: позднее в связи с поездкой Гоголя за границу в 1829 году В. Я. Ломиковский передает его фразу, якобы оброненную им в письме к матери: «Я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен ехать в Соединенные Штаты...» [КС. 1898. Т. 62. Отд. 9. С. 123]. Земляк Гоголя и наблюдатель жизни его семейства (надо сказать, недоброжелательный наблюдатель), Ломиковский, очевидно, что-то слышал или догадывался о планах дальнего путешествия и затем сконтаминировал эти сведения со словами Николая о Петербурге, содержащимися в письме к матери: «...Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал...»

В первой четверти XIX века понятие Америки, образ Америки все решительнее входят в русское общественное и литературное сознание. Все чаще мелькает упоминание Соединенных Штатов в прессе; в «Московском телеграфе» за 1825 год (№ 19) — журнале, который усердно читался в нежинской Гимназии, — появляется первая статья, посвященная североамериканской литературе: «Об успехах просвещения и литературы в Соединенных Штатах». Выходят первые путевые отчеты русских, побывавших за Атлантическим океаном: «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» [СПб., 1810] Г. И. Давыдова и «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» [СПб., 1815] П. П. Свинына. Последнее сочинение, выдержавшее два издания (им предшествовали еще журнальные публикации в «Сыне отечества»), приобрело довольно боль-

шую известность. Кстати, именно путешествие в Америку послужило стимулом для основания «Отечественных записок» — петербургского журнала, в котором позднее печатался Гоголь²⁷.

Важный момент, конструирующий русский образ Америки, — ее за-предельность, за-граничность. Америка — крайнее выражение «запредельного», так же как Сибирь — крайняя точка «своего». Поэтому-то капитан Копейкин в черновой редакции «повести», изверившись найти правду в своем отечестве, оказывается именно в Америке: «...видя, что дело, так сказать, заварил не на шутку <?> и что преследования ежеминутно усиливались <...>, он, сударь мой, за границу, и за границу прямо, можете представить себе, в Соединенные Штаты...» [VI, 529]. В судьбе капитана Копейкина словно отозвалось — в несколько травестированном, ироническом ключе — несостоявшееся путешествие самого автора...²⁸

Но как крайняя точка запредельного образ Америки скрывает в себе значение яркой новизны, обновления. По представлениям конца XVIII — начала XIX века, Америка с ее ландшафтом и людьми — утерянный рай, забытый и вновь обретаемый; в таком духе на читателей воздействовали, скажем, «Атала» и «Рене» Шатобриана. «Человек, который в катастрофе утрачивает цивилизацию и должен все начинать сначала — таков идеал эпохи...» [Онаш, с. 59]²⁹. И тут Америка парадоксальным образом сходится с Россией: обе страны еще не знали «цивилизации», а значит, и ее катаклизмов и начинают сначала, с первых построек, возводимых на свободном пространстве. «Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество» [Киреевский, с. 81] — так несколько позднее, в 1829 году, будет определено сходство двух стран в московском альманахе «Денница». Продолжая аналогию, отметим, что и Сибирь как крайняя точка «своего» сходится с Америкой: если Россия в целом еще «не участвовала» во всеобщей истории, то тем более «не участвовала» Сибирь, и там, на сибирских просторах, тоже можно начинать все сначала... Эта мысль впоследствии скажется в планах продолжения «Мертвых душ».

Действительно ли Гоголь мечтал о поездке в Америку или это был ложный адрес (такое нельзя исключать, зная его характер и склонность к мистификациям), но во всяком случае идея путешествия переживалась им как нравственно-этический подвиг. Отсюда и запредельность: если уж ехать, то *очень далеко* и на *очень долгое* время и поступаясь своей известностью, а значит, и продвижением на служебном поприще. Это был вид душевного испытания или, как скажет позднее Гоголь, «большого самопожертвования», совершаемого ради вящего успеха и большей известности.

Известность и неизвестность — одна из главных осей размышлений и всего мироощущения молодого Гоголя. «...Мне всегда казалось,

что я сделаюсь человеком известным...» («Авторская исповедь»). «Всегда казалось» — но все же в раннюю пору он был не чужд и сомнений на этот счет, которые приносили ему ни с чем не сравнимые муки. «Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли...» [X, 111]. «Не знаю, сбудутся ли мои предположения <...> или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире» [X, 101]. «Исполнятся ли высокие мои начертания? или Неизвестность зароет их в мрачной туче своей?» [X, 112]. Характерно действие, совершаемое Неизвестностью: она «зарывает», погребает человека.

«Страх смерти принимает форму страха перед погребением заживо» [Мочульский, с. 13] — образ, который пройдет затем через все творчество писателя. В юные годы погребению заживо синонимична именно Неизвестность, чей гнет оказывается непереносимым. Ведь физическое существование не пресекается, но создается духовный вакуум; человек заживо задыхается от недостатка кислорода. «Как тяжело быть зарыту вместе с созданными низкой неизвестности в безмолвие мертвое!» [X, 98].

Страх смерти — страх потери своего высокого предназначения или непроявленности его, или, наконец, просто его отсутствия. Это страх мелкости, заурядности, ординарности; страх быть таким, как все, ничем от других не отличаться, жить и умереть тривиально, как живут или жили миллионы. Это страх незамеченности и неотмеченности никем и ничем — ни окружающими людьми, ни временем, ни историей.

Преодолеть этот страх — значит быть уверенным, «что тебя заметят, оценят...». Выстраивается синонимический ряд: жить, быть замеченным, означать. «...Быть в мире и не означать своего существования — это было для меня ужасно». В понятии «означать» соединены и достоинство, и его проявляемость; непроявленное достоинство для молодого Гоголя не существует: «...все мои силы будут порываться на то, чтобы означить ее [жизнь] одним благодеянием, одною пользою отечеству». Примут ли и осознают ли соотечественники предлагаемый дар — другой вопрос. Возможно, не примут и не осознают, но не смогут пройти мимо. Гоголь готов к непризнанности, но не к неизвестности. Неизвестность возможна лишь как временное состояние, жертвоприношение, ценою которого будет достигнута настоящая, прочная известность. Что же касается признания, то оно придет вслед за известностью, со стороны если не современников, то потомков.

У альтернативы «известность — неизвестность» есть пространственные обозначения: для первого — это центр, Петербург, а для второго — периферия, глушь («в самую глушь ничтожности»). Отсюда почти физиологическое отталкивание Гоголя от провинции и страстное стремление в столицу. В провинции, то есть в Нежине, он чувствует себя

заложником или, может быть, случайным пришельцем из другого мира — из столицы, в которой он еще никогда не был!.. Вместе с тем ясно, почему временный отказ от известности, а значит, «самопожертвование» мыслится как обратное пространственное перемещение — в сторону центра, от Петербурга, куда-то в запредельную даль. Если верно предположение, что таким преображенным образом *предела* Гоголю мерещилась Америка, то понятно парадоксальное совмещение в этом образе мотивов прозябания и обновления: через прозябание достигается обновление, бегство и удаление от родины в конце концов приближают к ней.

Борьба с Неизвестностью ради самопроявления приобретает еще вид противостояния окружающим. «Ты знаешь всех наших существователей, — пишет он Высоцкому, — всех, населявших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники наши» [X, 98]. «Существователь» не хочет или не может «означить» свою жизнь, у него нет желания или сил подняться над поверхностью и быть замеченным, а поэтому и гоголевское отношение к нему граничит с ужасом. «То, что не имеет значения, — не существует. Это знаки, наделяемые выражением, но лишенные содержания. При чтении их следует отбрасывать» [Лотман, 1970, с. 45]. Нужно только добавить, что вместе с возникновением этого чувства возникла и мучительная проблема: позднее Гоголь напряженно будет работать над тем, как придать право на существование именно тому, что лишено содержания, так, чтобы при чтении «книги жизни» нельзя было «отбросить» ни одного персонажа...

Пока же «существователь» резко противостоит ему, Гоголю, порою противостоит агрессивно — развивавшееся в это время «дело о вольнодумстве» рождает печальные предчувствия: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему (государству. — Ю. М.) малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние» [X, 111]. Но не слабее тревога и от простого соседства с «существователями», масса которых подобна «мрачной туче», способной заживо похоронить человека в Неизвестности.

Чтобы не поддаться, нужна огромная сила сопротивления. Гоголю давно уже, примерно с весны 1825 года, когда он пережил кончину отца, было свойственно претворять тоску в деятельное состояние души, собираться внутренними силами, преодолевать уныние. Теперь это стремление становится отчетливее. Еще звучат время от времени меланхолические ноты, знакомые нам по произведениям 1826 года — «Новоселью» или записи в альбом В. Любича-Романовича, но слышна и другая мелодия — решительная и энергичная. Упомянутые произведения фиксировали позу «мечтателя»: «Свет скоро холодеет в глазах мечтателя...» и т. д. Теперь становится под сомнение само это понятие: «...Вы не почтете ничтожным *мечтателем* того, который около трех

лет неуклонно держится одной цели...» «Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, не для того ли... чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком?» [X, 112]. «Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем» [X, 123]. Свойства, противоположные мечтательности, которыми Гоголь, по его мнению, обладает, — это «непоколебимое намерение к достижению цели», «железное терпение», проявляемые и упражняемые ежедневно: «...за что я всегда благодарю Бога, это за свою настойчивость и терпение, которыми я прежде мало обладал, теперь ничего из начатого мною я не оставляю, пока совершенно не окончу» [X, 133].

В письмах Гоголя, передающих его настроение перед окончанием Гимназии, немало язвительности по поводу тех, кто составляет массу «существователей», кто так или иначе противостоит его высоким помышлениям. «Что тебе сказать об наших новостях? <...> Дураки все так же глупы. Барончик, Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопцики здоров и невредим, и час от часу глупеет. Демиров-Мишковский, Батюшечка и Урсо кланяются по поясу. Мыгалыч чуть-чуть было не окошел» [X, 81].

Тут действительно не сделано никакой разницы между учениками и их «дорогими наставниками»: обладатель целого набора прозвищ, от Барончика до Хопцики, — это, как мы помним, М. Риттер, всегдашний объект гоголевских насмешек и мистификаций. Осип Демьянович Урсо — учитель фехтования; в другом месте Гоголь назовет его «дрянью». Мыгалыч — гимназический сторож; «чуть-чуть было не окошел» он, видимо, от перепоя. Батюшечка — это протоиерей Павел Иванович Волинский, который, по свидетельству А. Данилевского, был «большой враг Гоголя»; их взаимному недоброжелательству могло содействовать участие Батюшечки в преследовании профессора Белоусова. Наконец, Иван Григорьевич Демиров-Мышковский (Мишковский) — надзиратель; в одном из следующих писем Гоголь вернется к нему: «Демиров-Мишковский здравствует, духом бодр (знает подкреплять его), всегда дежурит у нас и всегда иллюминирован красными огнями, за которую, однако же, иллюминацию открывают ему обширный путь из гимназии во все закоулки многолюдного мира» [X, 86]. Гоголь оттачивает зубки на ближнем своем.

Но в то же время — и кажется, впервые — у Гоголя появляются ноты смирения и всепрощения. Нет, в насмешках и язвительности он еще не раскаивается, всей моральной глубины проблемы, корнящейся в смехе, еще не затрагивает, но он уже старается укрощать свою заносчивость и преодолевать обиду. «Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя...» Он готов претворять не только уныние в деятельное состояние, но и неприязнь — в любовь («полюби врага своего») и зло — в добро. «Вы увидите, что со временем за все их

худые дела я буду в состоянии заплатить благодеянием, потому что зло их мне обратилось в добро» [X, 123].

АВТОР И ЕГО ГЕРОЙ

В последний год пребывания в Гимназии, тайком от однокашников, тайком от родных, сочиняет Гоголь свое большое произведение, которое появилось позднее под названием «Ганц Кюхельгартен».

Факт написания поэмы в полной тайне от окружающих биографами писателя недооценен. При всей своей скрытности («Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений...») Гоголь не утаил от друзей названия и тексты иных своих произведений, поведаль — пусть не полностью, не до конца — о будущей служебной деятельности, посвятил их в планы заграничного путешествия. Но о «Ганце Кюхельгартене» он буквально не сказал ни одному человеку, даже не обмолвился ни одним намеком. Потому ли, что он не придавал этой вещи никакого значения? Скорее упомянутый факт подтверждает нашу мысль, что Гоголь в глубине души взвешивал и возможность литературной, поэтической деятельности, но был очень неуверен в своих силах, тем более что новое произведение писалось уже после «переворота» и отражало самые последние его эстетические устремления.

Но вначале — о хронологическом приурочении поэмы или, как Гоголь называет ее, «идиллии в картинах». На то, что она создана перед окончанием Гимназии, указывают помета на титульном листе первого издания — «писано в 1827» и затем фиктивное издательское предисловие: «Это произведение его восемнадцатилетней юности...» (18 лет Гоголю исполнилось в 1827 г.).

С тех пор авторская датировка произведения многократно и оспаривалась, и подтверждалась. Поэтому сразу же выскажу свою точку зрения. Думаю, «Ганц Кюхельгартен» задуман и в основном написан действительно перед окончанием Гоголем Гимназии (скорее всего, в последнем классе, то есть в 1827—1828 гг.), что не исключает возможности доработки его перед самой публикацией, то есть уже в Петербурге, в первые месяцы 1829 года.

Для датировки поэмы, как правильно указал Г. М. Фридендер, большое значение имеют немногие содержащиеся в ней реалии, в частности то место, где описываются разговоры персонажей: они, обитатели немецкой деревни, рассуждали

про новости газет,

Про злой неурожай, про греков и про турок,

Про Мисолунги, про дела войны,

Про славного вождя Колокотрони,

Про Канинга, про парламент,

Про бедствия и мятежи в Мадристе.

Подразумеваемое здесь — это события, имевшие место после 1822 года, скорее всего в 1826—1827 годах, когда военные действия между турками и греками достигли своего апогея. «Про Миссолунги», то есть Миссолонги, вспомнили, вероятно, в связи с тем, что 22 апреля 1826 года греческий гарнизон этого города, осажденного турками, предпринял отчаянную попытку выйти из окружения, но потерпел неудачу, взорвал пороховой погреб и погиб под развалинами вместе с ворвавшимися в Миссолонги солдатами противника. «Славный вождь» Теодорос Колокотронис (1770—1843), командовавший греческими повстанцами с 1823 года, в первые месяцы 1825 года находился в тюрьме, но был выпущен в середине того же года под давлением общественного мнения и затем принял активное участие в военных операциях. Джордж Каннинг (1770—1827), вначале министр иностранных дел, а потом глава кабинета, был с 1822 по 1827 год самым видным государственным деятелем Англии. Персонажи гоголевской идиллии произносят его имя в определенном контексте — «про Канинга, про парламент»; о выступлениях же Каннинга в парламенте петербургская газета «Северная пчела» (откуда Гоголь черпал все сведения) часто писала в конце 1826 года. Например, в № 140 от 23 ноября: «С великим нетерпением ожидают открытия парламента, в котором на сей год решены будут самые важные вопросы касательно внутренних и внешних отношений Англии...» В это же время «Северная пчела» часто помещала сообщения и из Мадрида о различных заговорах и волнениях (см., например, № 17, 119, 134, 150 за 1826 г.; № 81 за 1827 г.).

Все это позволяет думать, что писались гоголевские строки под свежим впечатлением от событий 1826—1827 годов.

Для хронологического приурочения идиллии важно еще одно место: ее главный персонаж Ганц посещает Афины.

Везде читает смутный взор
И разрушенье и позор.
Промеж колонн чалма мелькает,
И мусульманин по стенам,
По сим обломкам, камням, рвам,
Коня свирепо напирает.

Как указал Г. Фридендер, «картина, которую рисует Гоголь, — это картина Афин, захваченных турками», когда пал последний бастион — Акрополь; произошло же это 5 июня 1827 года, и спустя месяц о случившемся сообщила «Северная пчела» (№ 80). Это тоже служит в пользу довода, что гоголевские строки писались по свежим следам, после июня 1827 года.

Но какова же верхняя граница возможного хронологического приурочения поэмы? Картина XVI, повествующая о возвращении Ганца на родину, начинается так: «Ушло *два года*. В мирном Люненсдор-

фе...» и т. д. Фридлиндер полагает, что действие этой «картины» происходит через «два года» после посещения Ганцем Афин, то есть в 1828–1829 годах. А поскольку трудно предположить, что в 1827 году, еще в Гимназии, Гоголь обдумывает сюжет, относя его на два года вперед, то, по мнению исследователя, есть «серьезные основания датировать не только последние картины “Ганца Кюхельгартена”, но и всю поэму 1828–1829 годами. Во всяком случае, окончательный план поэмы сложился у Гоголя лишь в Петербурге...» [Фридлиндер, с. 131, 134].

Мне кажется, упомянутая фраза истолкована весьма неточно: «ушло два года» не *после посещения Афин, а со времени ухода Ганца из родной деревни*; следовательно, и его возвращение, а вместе с тем завершение поэмы вполне уместается в хронологические рамки пребывания Гоголя в Гимназии. Именно в это время не только сложился «план» идиллии, но она в основном была и написана, хотя, как я сказал, нельзя исключать доработку и шлифовку текста в первые петербургские месяцы.

Центральный персонаж — во многом alter ego юного Гоголя, но не подобие, не биографический, не бытовой автопортрет. Красноречивые текстуальные совпадения между «Ганцем Кюхельгартеном» и письмами Гоголя нежинской поры приводились многими исследователями, начиная с В. Шенрока; но, быть может, важнее сходство в самой обработке, подаче мотивов.

Неизвестность — страшный жупел для Ганца, так же как и для его создателя:

Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не *отметить?*

«Отметить» — это синоним излюбленного гоголевского «означить».

Страх перед неизвестностью равносителен страху перед могилой, в которой погребают заживо:

Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для мира мертву?

И те, кого Гоголь называл «существователями», или просто люди незаметной судьбы — «живые обломки», «как гробы холодны». Характерна и метафора — старый пастор, который «давно к живущему остыл», говорит о себе: «Себя погреб в себе давно я».

Ганц рвется из обыденного мира, его не прельщают больше невеста Луиза, семейные радости, тихая деревенская жизнь:

...тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненьи темных дум,
О чем-то скорбная тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит.

В «тайной печали» Ганца, в стремлении его вдаль, в уходе из дома — во всем этом отразился типично романтический мотив бегства, знакомый Гоголю, возможно, по многим произведениям: «Теону и Эсхину» В. Жуковского, «Рене» Шатобриана (русский перевод опубликован в «Московском вестнике» за 1827 г.) и, конечно, по южным поэмам Пушкина. Но узнаем мы в этом мотиве и характерно гоголевские интонации. Географически Ганц перемещается из Германии в Грецию, затем еще куда-то (картины XIV и XV отсутствуют), скорее всего, на Ближний Восток и в Индию, о которой он грезит в IV картине. Логически же путешествие означает то, что герой перемещается из периферии, провинции в центр, туда, где, по его представлениям, совершается настоящая жизнь. Он оставляет «пустыню», «угол тесный», «позаброшенную страну», где «душно и пыльно», и направляется в «райские места», в заповедный край, куда стекаются страждущие («как пилигрим бредет к святыне...»). Это вполне соответствует устремлениям самого Гоголя, преломленным через условно-поэтическую призму: никто не станет ожидать, что герой идиллии отправится в Петербург, ведь и проживает он все-таки не в Нежине, а в немецкой деревне Люненсдорф, близ Висмара.

Что же касается конкретного смысла странничества, то исследователи склонны видеть коренное различие между автором и его героем. «...Гоголь свои мечты ограничивает готовой формой (государственная служба)...» [Гиппиус, 1924, с. 19], в то время как на какое-либо намерение Ганца, хоть чем-то напоминающее «службу», нет и намека. Вдаль его влечет иное:

Творцы чудесных впечатлений!
Резец ваш, кисть увижу я, —
И ваших пламенных творений
Душа исполнится моя.

Ганц мечтает увидеть Парфенон, творения Фидия, Паррасия, Зевсиса, услышать «речь» Эсхина, «стихи» Софокла. Им движет «эстетический энтузиазм» (Гиппиус), не без примеси энтузиазма гедонистического: в Греции его волнует зрелище убегающих «в священный лес» «вакхических дев» (явная вариация на темы «Вакханки» К. Ба-

тюшкова), а в грезах об Индии — волшебная Пери с соответствующим антуражем: «дыханием амры и розы ночной», «плодами мангустана золотыми», «эфиром голубым» и т. д. (установлено, что эта «картина» написана под влиянием русского перевода поэмы Томаса Мура «Свет гарема», опубликованного в «Сыне отечества» за 1827 г. — [Алексеев, с. 669]). Всего этого в собственных признаниях Гоголя мы действительно не слышим (или это звучит весьма приглушенно), но ведь опять-таки надо иметь в виду условно-поэтическую призму произведения.

Дело в том, что эстетический и гедонистический энтузиазм понимается Гоголем достаточно широко — как ощущение истины, переживание божества; поэтому исполнение мечты равносильно высшему откровению: «И он спадет, покров неясный, / Под коим знала вас мечта...» — характерный образ снятия покрывала с божества («покрыв Изиды»), известный и по «Ученикам в Саисе» Новалиса, и по произведениям многих романтиков, в том числе русских, например Жуковского.

«Прекрасное» — категория как нравственная, так и поведенческая; Афины, в которые устремляется герой, — «и славных дел, и вольности земля!». Поэтому недостижение цели переживается не только как неудовлетворенное эстетическое чувство, но гораздо шире — как некое тотальное разочарование в мироустройстве и в людях — опять-таки довольно знакомый романтический ход. Возвращаясь из странствий, Ганц

...зло смеется над собой,
Что поверял своей мечтой
Свет ненавистный, слабоумной;
Что задивился в блеск пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смело он
Сим людям кинулся в объятья...

Мы не знаем, какие разочарования испытал Ганц в других странах, где он побывал, — известно лишь, что в Греции таким событием явилось поражение повстанцев от турок. В окружении Гоголя в Нежине, с его обширной греческой общиной, все это вызывало острую реакцию. Переживания и разговоры тех лет настолько глубоко врезались в память Гоголя, что греческие ассоциации отозвались много лет позднее (разумеется, в ином стилистическом преломлении) в «Мертвых душах» — в интерьере комнаты Собакевича, у которого «на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато, в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари»... В «Ганце Кюхельгартене» греческая тема взята вполне серьезно, даже трагично, так, как она освещалась в русской поэзии, например, в стихотворении О. Сомова «Греция. Подражание Ардану» (1822):

И странник, вокруг себя бросая взор прискорбный,
Повсюду зрит следы ее тиранов злых.
Он видит мхом седым обросшие могилы,
Героев памятник — здесь были Фермопилы!
И грек склонил хребет, на прахе сих мужей,
Стеня под тяжкими ударами бичей!..

Без всякой натяжки можно было бы принять этого «странника» с «прискорбным взором» за героя гоголевской идиллии. Только для последней трагедия перерастает греческие и любые другие региональные рамки и становится всемирной. Поэтому-то для нее непригодна «готовая форма» переживаний или желаний, которые испытывал реальный Гоголь. У Гоголя «мечта» являлась более конкретной, у его героя — более обобщенной и субстанциальной, ибо авторам свойственно передавать в отстраненной форме то, что не укладывается в форму личную. Но в обоих случаях «мечта» представлена как нечто жизненно важное, подверженное суровому испытанию. Гоголь, как он надеется, это испытание выдержит. А Ганц не выдержал. И тут возникает необходимость введения в поэму еще одной точки зрения, которая выражена в ее особом фрагменте — «Думе».

Фрагмент подан таким образом, что можно видеть в нем думу о себе самого героя (выше это слово соотносилось с ним не раз: «волнуем *думой* непонятной», «искал он *думую* неясной», «его глубоких *дум* не потревожит дневный шум» и т. д.), но можно считать ее и авторским отступлением. Иначе говоря, оно звучит или как самокритика персонажа, или как стороннее о нем слово автора, но в обоих случаях в ней на фоне сюжета обозначаются новые краски.

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознания,
В поре могучих сил своих
Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существованья.
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожат ночь и день.
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не шадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков.
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

В «Думе» (кстати, пожалуй, самой совершенной части этой в целом ученической и подражательной вещи) как бы собрана в кулак вся энергия сопротивления: у героя «могучие силы», мысль его «крепка и бодра», у него, как сказано несколько ниже, «железная воля» (ср. гоголевскую автохарактеристику: «при моем железном терпении...»). Он слышит предопределение судьбы, в нем ощутимы черты богоизбранности («небом избранный»). Он готов поступиться признанием современников (но не своей «известностью»), готов ссориться с ними ради «благословения потомков». Возникает ценностный ряд: достоин уважения тот, кто уйдет от «суеты», от «черни» в поисках «яркой доли» и «славы», но еще достойнее тот, кто бесславию в современности предпочтет признание в потомстве.

В дальнейшем Гоголь продолжил и достроил этот ряд. В его «Выбранных местах из переписки с друзьями» есть строки, представляющие собой чуть ли не авторскую корректировку к приведенному месту из «Ганца Кюхельгартена». Ставится вопрос, отчего святые на всю жизнь сохраняли «разум речей своих»: «Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши». Но «угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая». Однако «перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги», ибо «желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие».

Тут уже не «благословение потомков» видится высшей наградою для совершающего подвиги, а «рукоплесканье на небесах». Гоголь хочет искоренить в себе любые проявления честолюбия, поползновения к земной славе и признанию. Но в пору написания «Ганца Кюхельгартена» до этого еще далеко, и все «заманки» юности и «радужная даль» еще имеют над ним большую власть...

Пока же корректировка высоких мечтаний («...подслушаем украдкой / Доселе бывшие загадкой / Разнообразные мечты») ведется Гоголем с точки зрения не вечности, но человеческой истории, в которую ему предстоит включиться. Немецкий писатель, пропагандист русской литературы Варнгаген фон Энзе говорил, что в пушкинском романе в стихах авторская душа поделена между двумя главными персонажами — Онегиным и Ленским. Если позволительно сопоставлять вещи различного художественного достоинства, то можно заметить, что душа Гоголя тоже поделена между Ганцем и героем «Думы». Сладкие и тревожные мечтания свойственны Ганцу; стремление вдаль, к «яркой доле» — отличает обоих, а стойкое упорство и способность преодолеть нападки черни — преимущество лишь героя «Думы». Благодаря этому их жизненные дороги расходятся: один, подобно самому

Гоголю, готов продолжить свой путь; другой — Ганц — возвращается к своей мирной деревне, дому, к Луизе:

Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму света не внимать?

Это один из ярких примеров «Entsagung», отречения — от иллюзий и надежд юности в пользу повседневной, скромной жизни. К такому отречению пришел и герой Жуковского Эсхин, который «долго по свету за счастьем бродил» и, разочарованный во всем, вернулся «к пенатам своим». Но странное дело: вкушая наслаждение домашнего уюта, прощаясь с «коварными мечтами», Ганц все же,

Как по старом друге верном,
Грустит в забвении усердном.

«Как непонятен человек!» — замечает по этому поводу юный автор, завершая свое произведение грустной, диссонансирующей нотой. Потом тот же звук, та же нота отзвучат в финале и «Сорочинской ярмарки» («Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему»), и «Повести о том, как поссорился...» («Скучно на этом свете, господа!»)...

Печальный финал гоголевской идиллии проистекает из столкновения в ней двух миров — малого и большого.

По всей видимости, стимулом для написания «Ганца Кюхельгартена» послужило «сельское» стихотворение немецкого поэта И.-Г. Фосса «Луиза» в русском переводе П. Тереява (экземпляр этой книги находился в гимназической библиотеке) [Сборник, с. 286]. Отсюда заимствованы имя главной героини — Луиза, фигура пастора, некоторые детали. Но мир фоссовского произведения относительно замкнутый, далекий от треволнений большой жизни, типично идиллический. У Гоголя малый мир включен в рамы большого (в этом смысле «Ганц Кюхельгартен» ближе к таким вещам, как «Конец золотого века» Дельвига или «Герман и Доротея» Гете).

Малый мир однообразен, скучен, но его обитатели, подобные Луизе, способны на глубокое чувство. Ганц, прельщенный «заманками» большого мира, пренебрегает чувством девушки, получив за это от повествователя бранное определение — «тиран жестокий». «С самого начала видно, как двоится сочувствие поэта между странным Ганцем и добрым Вильгельмом Баухом и его добрыми домочадцами. Его обывательский уют нарисован красками даже соблазнительными ...клохчущие индейки, желтый вкусный сыр, сладкий бишеф, коричневые вафли...» [Гиппиус, 1924, с. 20–21]. Добавлю: красками, предвосхищающими колоритность и плотность описаний материальной среды в «Староветских помещиках» или «Мертвых душах». Но пред-

восхищено и другое: жить в этом мире тому, кто «постиг цель высшую существованья», очень трудно. Соотношение большого и малого миров у юного Гоголя негладкое, конфликтное.

Впервые в «Ганце Кюхельгартене» означено и соотношение мира реальности и фантастики, существенного и потустороннего. После ухода Ганца Луизу посещают «ночные видения»:

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великий конь,
Необъятный, весь белеет
И все более растет,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колетса и — бух
Тени разом в бездну... Уф!

Уже обращалось внимание на то, что эти несколько неловкие строки, с «шероховатостью слога» и «лексическими сдвигами», являются наброском великолепной картины из «Страшной мести» [Коробка, с. 263–264; ср. Синявский, с. 329]. Данило плывет по Днепру мимо кладбища и вдруг видит: «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось» и т. д. Надо, однако, отметить очень важное отличие: явление мертвецов в «Страшной мести» наблюдают и пан Данило, и жена его Катерина, и гребцы; это как бы наяву случившееся «старинное чудное дело». В «Ганце Кюхельгартене» все переведено в субъективный план, отдано сновидениям персонажа: испытавшая тяжкое потрясение разлуки с любимым, Луиза во сне не может устоять перед тревожными призраками:

Когда, рукою беспощадной,
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное, — тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
В несчастье кто не суеверен?

Это звучит как самоутешение, направлено к своим собственным переживаниям. Гоголь сьзмальства был открыт тревожной, иррациональной, «ночной» стороне бытия; прорывалось в нем это чувство в раннем детстве (убийство кошки), не раз обнаружится в будущем. Но сейчас, прощаясь с Гимназией, вступая в новую жизнь, готовясь к

разумному общественному служению, Гоголь словно хочет подавить в себе это чувство, рационализировать и упорядочить свой внутренний мир. Все иррациональное вытесняется из объективной сферы в субъективную, где оно получает мотивировку и объяснение: «В несчастье кто не суеверен?» Гоголь собирается быть предельно деятельным, сражаться же можно с реальным злом, а не с призраком.

«В ДОРОГУ! В ДОРОГУ!..»

И вот пришло время окончания Гимназии. Испытания, проводившиеся в июне 1828 года, делились на частные и публичные. Первые носили деловой, практический характер; вторые — торжественный, парадный.

На публичные испытания приехали командир корпуса граф П. П. фон дер Пален, действительный статский советник А. А. Лобанов-Ростовский, множество штаб- и обер-офицеров, начальники и преподаватели других учебных заведений, чиновники, помещики, купцы и «знатнейшие граждане». Всего прибыло около ста персон, и все они, как записано в журнале конференции, «были директорами угощены».

Что же касается духовного «угощения», то есть самих публичных испытаний, то они, в свою очередь, разделялись на испытания по свободным искусствам и по наукам. Первые начались 25 июня, в день рождения императора Николая I, и включали в себя разнообразную программу: увертюру на фортепиано с оркестром, прелюдию на фортепиано с оркестром, гимн его императорскому величеству, французскую кадрили, мазурку с тамбурином, хор с музыкой, опять же в честь его императорского величества, хор, во время исполнения которого двое из младших гимназистов подносили цветы почетным посетителям, затем танец матлот, «разные большие танцы, как-то: экосез, кадрили, мазурка, вальс и пр.». Все номера исполнялись на фоне стоявшей посредине залы пирамиды с вензелем императора; пирамида была украшена гирляндами цветов, а по углам стояли четыре малолетних пансионера со знаменами.

В публичных испытаниях по свободным искусствам участвовали многие гимназисты. Григоров, Данилевский и Миллер, оканчивавшие Гимназию вместе с Гоголем, сражались на рапирах с учителем фехтования О. Д. Урсо. Тот же Данилевский вместе с учеником седьмого класса А. Пузыревским исполнил танец матлот. Кукольник сочинил и сам же пропел под фортепиано гимн в честь Николая I и т. д. Но Гоголя среди участников мы не находим: на его успехи по части фехтования, танцев и пения начальство не слишком рассчитывало, а то, в чем он действительно был силен — исполнение комических и характерных ролей, для публичных испытаний не подходило.

Через три дня, 28 июня, началось испытание по наукам: по Закону Божьему, этике, римскому праву — всего по десяти предметам. Отвечали многие гимназисты, особенно часто — Кукольник. Хотя он находился не в выпускном, а в восьмом классе и, кроме того, в глазах дирекции был сильно повинен в заступничестве за Белоусова, участия в «деле о вольнодумстве», но благодаря своему артистизму, темпераментности, внешней эффектности и, конечно, обширным знаниям никак не мог быть обойденным организаторами зрелища. Кукольника экзаменовали четырежды — и по римскому праву, и по физике, и по российской и латинской словесности. А Гоголя не вызвали ни разу, считая более выгодным оставить его в тени.

Но каковы же были успехи Гоголя на частных выпускных экзаменах, проходивших до 23 июня, то есть до публичных?

В последний год пребывания в Гимназии Гоголь часто жаловался на низкий уровень обучения. Матери он писал, что «утерял целые 6 лет даром», что особенно плохо обстоит здесь дело с иностранными языками и что если он что-то и знает, то «этим обязан совершенно одному себе». «Но времени для меня впереди еще много, силы и старания имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны ни мало, напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением...» [X, 122]. Это написано всего за три месяца до экзаменов, когда времени на самом деле оставалось совсем немного. Но, судя по всему, Гоголь действительно трудится теперь необычайно интенсивно, стремясь наверстать упущенное. Он не едет домой в рождественские каникулы, усиленно занимается языками, поставив перед собой задачу: «в остальные полгода <...> окончить совершенно изучение трех языков», то есть, очевидно, немецкого, французского и латинского. Намерение, конечно, не очень реалистичное для человека с малыми способностями к языкам, каким был Гоголь.

Другое его уязвимое место, которое тоже нельзя было исправить в мгновение ока, — низкая грамотность. Сохранилась письменная работа Гоголя, выполненная на выпускном экзамене по истории: «В какое время делаются Славяне известными по истории, где, когда и какими деяниями они себя прославили до расселения своего и какое их было расселение» [Гоголь, ак., с. 257–260; ср. IX, 14–15]. Это сочинение, как правильно говорит И. А. Скребницкий, представляет собой «со стороны грамотности нечто невозможное для человека, оканчивающего курс высшего учебного заведения, хотя бы и в то блаженное время» [Сборник, с. 301].

Но если оставить в стороне грамотность, то в других областях, в том числе и в изучении иностранных языков, усилия Гоголя принесли свои плоды. Это становится ясно, если сравнить его годовичные оценки за выпускной класс с оценками на экзамене.

В годичной ведомости у Гоголя только по трем предметам выставлена высшая оценка «4» — по частной физике, минералогии и зооло-

гии. Преобладают оценки «3» и «3½», то есть «довольно хорошо» и «хорошо». Показатели по языкам заметно ниже: лишь по французскому выставлено «3», по латинскому и немецкому — «2» (т. е. удовлетворительно). Есть и неудовлетворительная оценка, «единица» — по дифференциальному и интегральному исчислению.

Средний балл — 2½. Из десяти экзаменовавшихся шесть человек имеют лучшие результаты, чем Гоголь.

На экзаменах — совсем другая картина. По девятнадцати предметам (из двадцати четырех) у Гоголя высшая оценка — «4», в том числе и по латинскому и французскому языкам; лишь по немецкому он дотянул только до «тройки». Общий балл — «4». Из десяти экзаменовавшихся лишь четверо имеют такой же результат. Гоголь определенно вошел в группу лучших учеников.

Это говорит о том, что он действительно очень напряженно и старательно занимался в самые последние месяцы. Признания Гоголя в письмах к матери, как правило, ставятся под сомнение, для чего иногда имеются реальные основания. Но в данном случае мы видим, все верно и точно.

Тем не менее Гоголь по окончании не удостоился звания кандидата и права на XII классный чин, и ему было присвоено звание студента и дано право на последний чин XIV класса, то есть он снова попал в отстающую группу. Для сравнения напомним, что пятеро выпускников кончали кандидатами: А. Божко, В. Марков, А. Котляревский, Е. Котляревский, Я. Бороздин. И пятеро — студентами: помимо Гоголя, еще Н. Котляревский, Н. Григоров, Н. Миллер и А. Данилевский.

Почему так произошло? Отчасти Гоголю повредили его прежние неуспехи, то есть низкие годовичные оценки. Но не все предопределено было этими оценками; многое зависело от воли начальства, которое приняло решение не в пользу Гоголя. Историк нежинской Гимназии И. А. Скребницкий убедительно показал, как это случилось.

Дело в том, что звания и классные чины присуждались на основе трех оценок: среднегодовой, среднеэкзаменационной и по поведению. В сумме 11 или 12 баллов давали право на XII класс и звание кандидата; 9 или 10 баллов — на XIV класс и звание студента.

У Гоголя среднегодовой балл, мы помним, равнялся 2½, но в таблицу перенесли только «2». Сделали это на законном основании: согласно разъяснению Министерства народного просвещения, в ведомость оканчивающих курс учеников дробь не вносились. «Во власти конференции было или отбросить эту дробь ½, или превратить ее в целую единицу и вместо 2½, выставить 3» [Сборник, с. 303]. Последнее было сделано в отношении двух гимназистов — Данилевского и Николая Котляревского. Но Гоголю и Миллеру полбалла не прибавили. В результате Гоголь имел в сумме 10 баллов (по поведению и, как мы знаем, по экзаменам у него были «четверки»), не дотянув одного балла до необходимой для XII класса суммы.

Нет никакого сомнения, что Гоголь поплатился за свое участие в «деле о вольнодумстве», за непочтительное отношение к Билевичу и поддерживавшим его преподавателям. «Главным врагом Гоголя был профессор Билевич, частью по отношениям своим к профессору Белоусову, который был расположен к Гоголю, а частью и по личным мотивам» [Сборник, с. 310]. Во время экзаменов и определения окончательных результатов Белоусов еще преподавал в Гимназии, но его позиции были значительно ослаблены и он не имел реальной возможности противодействовать недоброжелателям Гоголя.

Отзвук произошедших в Гимназии событий слышен в письме Марьи Ивановны Петру Косяровскому: «Никоша мой имеет чинок в ранге университетских студентов 14 класса. С ним несправедливо поступили, так же, как и с другими, в его отделении бывшими, по причине партий их наставников. Ему следовало получить 12 класс, но он нимало не в претензии, тем более что обе партии сказали, что он достоин был получить даже 10 класс, когда бы был плох он в том училище, а 12 по всем правилам должно было ему дать. Главное, что надо было более ласкаться к ним, а он никак не мог сего сделать» [Шенрок, т. 1, с. 147].

Значит, в семье Гоголя были твердо убеждены, что по отношению к Николаю учинили несправедливость и что произошло это в результате происков некоторых «наставников». Когда Гоголь впоследствии говорил, что «тамошние профессора большие бестии», подразумевалось и то, как они поступили с ним самим. Правда, на чин X класса он никак рассчитывать не мог, таковой чин никому из оканчивающих не присваивали. Тут уж не обошлось и без некоторого бахвальства Николая, поскольку письмо Марьи Ивановны, видимо, основывалось на его словах.

Какими же предстают успехи Гоголя-гимназиста в целом, в сравнении с другими учениками?

Очевидцы, начиная от близкого друга Данилевского и кончая не благоволившими к писателю Любичем-Романовичем или Кулжинским, рисуют в общем похожую картину.

А. Данилевский: «В школе Гоголь мало выделялся, разве под конец. <...> Сам он долго казался заурядным мальчиком» [Шенрок, т. 1, с. 102].

Н. Артынов: «Учился же Гоголь совсем не замечательно» [РА. 1877. Кн. 3. С. 191].

П. (очевидно, Перион): «Н. В. Гоголь любил страстно рисование, литературу, но было бы слишком смешно думать, что Гоголь будет Гоголем» [МВед. 1853. № 71. С. 729].

Любич-Романович: «...мы в то время, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем “великого”, но даже не видели и малого. Хотя его школьные успехи и шли наравне с нашими, но это еще не давало нам повода думать, что в нем обнаружится литературный талант...» [ИВ. 1902. № 2. С. 552].

И. Кулжинский: «От Гоголя менее всех можно было ожидать такой известности, какую он пользуется в нашей литературе. Это была terra rudis et inculta [почва невозделанная и необработанная]. Чтоб грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из Гимназии, я не обинуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжения ни на одном языке. Впрочем, это не помешало ему сделаться первоклассным писателем-художником» [Лицей, 1881, с. 271].

В работах же советских литературоведов 1950-х годов намечается стремление более высоко оценивать успехи Гоголя и опровергнуть всякие невыгодные для него суждения и свидетельства как «клеветнические» и извращающие «подлинный образ» будущего писателя [Июфанов, с. 145, 149]. Но представляется, что ничего неточного и противоречащего истине в приведенных высказываниях нет.

Прежде всего, самые резкие отзывы о Гоголе (принадлежащие преподавателю латинского языка Кулжинскому) связаны с его «грамматикальными» неудачами. Это вполне соответствует действительности: о сложных отношениях Николая с иностранными языками и с русской грамматикой нам уже известно (вот еще свидетельство Артынова: «В сочинениях его по словесности бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох Гоголь был по языкам»). В остальном же никто не говорит, что Гоголь учился хуже других; он учился именно как все («его школьные успехи шли наравне с нашими»), то есть был в средней группе. Только на выпускных экзаменах он вырвался вперед, но это не могло уже изменить общего впечатления, сложившейся репутации. Гоголь никогда не блистал успехами, в нем не было ничего от вундеркинда Кукольника, он не поражал основательностью и систематизмом знаний, как Редкин, и это задним числом ставилось ему в вину. Все дело в том, что фигура Гоголя-гимназиста невольно виделась в свете его последующей литературной судьбы, и поэтому на первый план выступала неожиданность и резкость «превращения».

С конца июня Гоголь «уже совершенно свободен», живет в Васильевке, готовясь к дальней дороге.

В Гоголе поражает сочетание редкой беспечности и размашистости с такой же замечательной предусмотрительностью и практицизмом. В его планах на будущее — заграничная поездка, которая неизвестно каким образом и когда осуществится, и в то же время вполне конкретное проживание в Петербурге, к которому он деятельно готовится. Еще загодя выпрашивает он у Высоцкого все «касательно жизни петербургской»: «каковы там цены, в чем именно дороговизна», «каковы там квартиры? что нужно платить в год за две или три хорошенькие комнаты, в какой части города дороже, где дешевле, что стоит в год отопление их и проч. и проч.». Не забыт вопрос и о жалованье, получаемом Высоцким, чиновником Департамента разных податей и сборов, и о распорядке дня: «Сколько часов ты быва-

есть в присутствии и когда возвращаешься домой?» Гоголю нужно свободное время; это говорит о том, что он готовится и к самостоятельным творческим занятиям.

Но Гоголю нужна и хорошая, модная одежда: он собирается выходить на люди, делать визиты.

И. Кулжинский вспоминает: «Гоголь прежде всех своих товарищей, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь, вижу его в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда *pes plus ultra* [пределом] молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто не нарочно раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку» [М. 1854. № 21. Отд. 5. С. 6].

Но этого показалось Гоголю мало. Тот же Высоцкий уполномочивается заказать фрак у самого лучшего портного и по самой последней петербургской моде: «Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется» [X, 102–103]. Гоголь проявляет неожиданную разборчивость и склонность к франтовству, что впоследствии даст Д. Мережковскому основание для вопроса: «Знаменитый фрак Чичикова “наваринского пламени с дымом” не родствен ли этому синему фракку юношеских мечтаний Гоголя» [НП. 1903. № 2. С. 11].

Сшитое по самой последней моде платье должно было облечь фигуру довольно неуклюжего, неловкого юноши. Встречавшийся с ним в Нежине Н. Д. Белозерский «описывает будущего поэта в то время немного сутуловатым и с походкою, которую всего лучше выражает слово *петушком*» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 100].

В двадцатых числах августа Гоголь едет в Кременчуг на ярмарку, чтобы по сходной цене закупить всякой снеди: ожидалось прибытие в Васильевку Д. Трошинского. «Благодетель наш, — сообщила Марья Ивановна П. П. Косяровскому, — непременно будет со всеми, в том числе и Варинькой нашей (Варварой Косяровской. — Ю. М.), 7 сентября и проживет в Васильевке дней 3 или 4, а может быть и более...» [РС. 1887. № 3. С. 682–683]. Но внезапно Дмитрий Прокофьевич отменил свой визит «вследствие дурной погоды».

К этому времени относится письмо Гоголя тому же Петру Косяровскому: «Недавно только вернулся из Кременчуга, где <...> была ярмонка и где более всего я промотался на вина и закуски. Но как теперь яресковских гостей не было, то весь этот запас остался нам на все годовое продовольствие». Кое-что было употреблено и без отлагательства. «В праздник храмовой нашей церкви мы пили-таки винцо доброе...» [X, 131]. Данилевский поясняет, что это было за винцо: на всю жизнь запомнилось ему, что «Гоголь привез из Кременчуга бутылку великолепной мадеры» [Шенрок, т. 1, с. 101].

Надо заметить, что отношение Гоголя к Трощинскому в это время становится прохладнее. Его по-прежнему волнует стремительный взлет карьеры «благодетеля Малороссии», но коробят такие черты его личности, как барство и высокомерие. «Домашний незатейливый обед» кажется ему «гораздо веселее» и приятнее, чем «разноблюдный и огромный» обед в Кибинцах. В доме вельможи он чувствует себя стесненным. Передавая общие впечатления, свои и Николая, Данилевский рассказывал: «Мы много раз бывали в Кибинцах и Яресках (куда на лето приезжал Дмитрий Прокофьевич. — Ю. М.) и гостили подолгу, но Трощинский держал себя недоступно и едва ли промолвил с нами даже слово» [Шенрок, т. 1, с. 101].

Марья Ивановна тоже иногда тяготилась присутствием такого человека; тем не менее в пору предотъездной суеты и сборов пришлось прибегнуть снова к нему. Трощинский мог помочь больше всех, да и обычаем это не возбранялось. «...Двоюродный, троюродный дяди считались близкими родственниками, и обращаться к ним за помощью далеко не считалось зазорным» [Трахимовский, с. 44].

Дмитрий Прокофьевич заготовил два рекомендательных письма: одно Гоголь должен был взять с собою, другое загодя было послано в Петербург Логгину Ивановичу Кутузову, генерал-лейтенанту, крупному чиновнику, председателю Ученого комитета Морского министерства. Ответ на второе письмо успел прийти до отъезда Гоголя. Трощинский показал его Марье Ивановне, которая с радостью поведала обо всем Петру Косяровскому: генерал благодарит Трощинского «за доставление случая сделать ему угодное и заключает письмо тем, что он с нетерпением ожидает Николая моего, которому хочет быть другом и путеводителем в его жизни». Заверение Кутузова внушило Марье Ивановне самые светлые ожидания: «...Мой сын приедет в столицу не как бесприютный сирота, но как родственник будет принят в доме немаловажного человека» [Шенрок, т. 1, с. 225]. Не приходится сомневаться, что и Николай узнал о содержании письма, которое и на него действовало соответствующим образом³⁰.

Перед отъездом в Петербург Гоголь предпринял попытку передать матери свою часть имения. Он подумывал об этом еще годом раньше, говоря, что оставил бы себе в Васильевке «только домик для своего приезда» — «приезду» из Петербурга. Теперь же он сообщил Петру Косяровскому, что занимается составлением «дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, оставляется матери моей в вечное владение» [X, 132]. Этот факт подтверждается письмом Марьи Ивановны, которая уже после отъезда Николая в Петербург сообщала Петру Косяровскому: «Назад тому месяца два он меня удивил, убеждая позволить записать мне свою часть имения, уверяя притом, что это будет полезно и даже необходимо для спокойной моей жизни, на случай если я не буду иметь добрых зятей, а он, может быть, будет слиш-

ком далеко от меня, и сим поступком тронул меня до слез...» [Шенрок, т. 1, с. 147]. Но, по-видимому, «дарственная запись если и была составлена, то не была принята» [Коялович, с. 222], так как позднее, уже в Петербурге, Гоголь вновь взялся за ее составление. Однако в искренности и серьезности его намерений не приходится сомневаться. Гоголь действительно беспокоился о судьбе матери и сестры; но, кроме того, он совершал этим решительный шаг в своей судьбе, сжигая за собой мосты и заставляя полагаться только на свои силы и будущие успехи.

Незадолго до отъезда Гоголя его увидела Софья Скалон, дочь В. Капниста. «...Прощаясь со мной, он удивил меня следующими словами: “Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее”. Эта самоуверенность, — заключает Скалон, — нас удивила в то время, как мы ничего особенного в нем не видели» [ИВ. 1891. № 5. С. 369].

Последние сборы. Последние тягостные дни. Отъезд все откладывался из-за непогоды. Наконец подморозило, выпал снежок.

Из своего имени Толстого приехал Данилевский. Он направлялся в Петербург, чтобы поступить в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. И после небольшого отдыха в Васильевке — было это около 13 декабря — пустились в путь. До Кибинец провожала Марья Ивановна; после Кибинец, где взяли заготовленное рекомендательное письмо Трошинского, ехали втроем — помимо Николая и Данилевского, еще крепостной гоголевской семьи Яким Нимченко, которому предстояло опекать молодого барина в его новой жизни.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь уговорил выбрать другой путь, через Белоруссию: он не хотел, чтобы впечатления от Москвы ослабили торжественность встречи с Петербургом.

В Нежине прожили несколько дней, простились с Гимназией, повидались с товарищами, в том числе и с Н. Прокоповичем, который заканчивал обучение в следующем году, и поехали дальше: через Чернигов, Могилев, Витебск... в Петербург!



Часть вторая

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

К Петербургу подъезжали вечером. Со слов Данилевского гоголевский биограф рассказывает: «Обоими молодыми людьми овладел невыразимый восторг, они забыли о морозе и, как дети, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки...» [Шенрок, т. 1, с. 152]. Гоголь простудился и отморозил нос.

Вспомним: Вакула в «Ночи перед Рождеством» тоже попадает в Петербург зимней морозной ночью; но в переживаниях этого персонажа, помимо одушевления и «восторга», появляется новое чувство — удивление, ошеломленность от всего увиденного: «Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней...» Этот город страшен; он теснит, угнетает, раздавливает. Подобное чувство усилилось и осозналось Гоголем позднее, но, может быть, промелькнуло и заронилось в первые минуты встречи со столицей.

Разочарование началось с денежных трудностей. На последней станции перед Петербургом путники принялись изучать объявления, где можно остановиться, и выбрали дом купца Галыбина на Гороховой улице³¹. Здесь они сняли квартиру из двух комнат с правом пользоваться хозяйской кухней — и за все это должны были платить восемьдесят рублей, по сорок — на брата. Вскоре обнаружилось, что продукты в столице гораздо дороже, чем на Украине (в Васильевке же, естественно, все было свое); картофель и овощи продавались на счет, десятками; десяток луковиц стоил, к примеру, 30 копеек.

Гоголь взял с собой не менее тысячи рублей [Коялович, с. 222] — сумма для натурального, безденежного хозяйства огромная. Но две трети из нее ушло на дорогу и приобретение самых необходимых вещей. Николай Васильевич высчитывает до рубля: на фрак и панталоны — двести, на шляпу, сапоги и прочее — сотня, «на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей». Последняя цифра прочно запомнилась Гоголю: именно в эту сумму («точно около восьмидесяти рублей») обойдется Акакию Акакиевичу шинель... Словом, оставалась самая малость; приходилось возлагать надежды на новые денежные субсидии из дома или на скорейшее получение места.

Гоголь спешил в Петербург, так как рассчитывал определиться на службу до наступления Нового года. Ему казалось, что рекомендательные письма возымеют немедленное действие, что многообещающего юношу, о котором лестно отзывается сам экс-министр Трошинский, все примут с распростертыми объятиями. Увы, все вышло сложнее.

Первым делом Гоголь отправился к Логгину Ивановичу Кутузову, жившему близ Морского кадетского корпуса на 12-й линии Васильевского острова. Но тот не принял визитера, так как был болен.

Гоголь решил тем временем разыскать других адресатов рекомендательных писем, в частности Ивана Косяровского, брата Петра и Павла Косяровских и, следовательно, своего довольно близкого родственника — двоюродного дядю. Но тот ничем не смог помочь, даже не дал дельного совета. На Гоголя он произвел впечатление закоренелого провинциала, так и не сумевшего сориентироваться в новой обстановке: «...не понимаю, как они живут здесь, ничего не видя и не слыша» [X, 136].

В начале января — скорее всего это было 5-го числа — Гоголь, наконец, попал к Кутузову. По словам Данилевского, тот «принял его очень хорошо, обласкал, сразу перешел на *ты* и пригласил его часто бывать у себя запросто, хотя этим почти все и ограничилось» [Шенрок, т. 1, с. 178]. Гоголю была нужна не ласка, а практическая помощь; поэтому он в не дошедшем до нас письме матери пожаловался на Кутузова, а та, в свою очередь, рассказала обо всем Д. Трошинскому. Последний успокаивал Марью Ивановну: мол, Кутузов выискивает для Николая «хорошую и выгодную должность, что чрезвычайно трудно теперь по штатной службе, где совершенно набито людей» [Шенрок, т. 1, с. 226]. Марья Ивановна обратилась с увещеванием к сыну проявить терпение и не докучать лишний раз важному человеку, на что Николай Васильевич не без раздражения отвечал: «Оно бы и хорошо, когда бы я мог ничего не есть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапог...» [X, 138].

21 февраля умер Д. Трошинский. Семья Гоголей лишилась своего влиятельного покровителя.

Не мог рассчитывать Гоголь и на помощь Высоцкого. По новейшим данным, Высоцкий служил в Департаменте разных податей и сборов до 19 марта 1828 года, а затем уехал на родину, в свое имение

Недры [Супронюк, с. 157]. Скорее всего это произошло еще до приезда Гоголя. Не приходится предполагать, что они поссорились: позднее, в 1833 году, Гоголь будет осведомляться у проживающего в Житомире В. Тарновского, не слышал ли тот что-нибудь о выпускниках Гимназии, особенно о Высоцком [X, 279]. Вероятно, в связи с изменившимися обстоятельствами связи обоих друзей просто оборвались. Об этом говорит и тот факт, что, снабжая гоголевского биографа Кулиша материалами, Высоцкий ограничивался только нежинским периодом.

Скучные сведения о гоголевском приятеле собрал впоследствии другой биограф: Высоцкий «жил в Переяславском уезде Полтавской губернии еще в 60–70-х годах, в своем поместье. Он был тучного сложения, любил поесть и часто разъезжал по соседям, среди которых пользовался славой большого насмешника и остряка; иногда свои шутки излагал и в стихах; между прочим, интересовался сочинениями по естественным наукам. Умер в начале 70-х годов. (Сообщено нам его соседями по поместью.)» [Владимиров, с. 10].

Ничего более о ранних годах жизни Высоцкого «сообщено» также не было.

Разминувшись с Высоцким, Гоголь, естественно, не нашел пути и к его петербургским друзьям, которые якобы уже «внесли» Николая заочно в свой «круг» и с которыми было у него связано столько надежд и планов. И все это усугубляло чувство разочарования и одиночества, окрасившее общее восприятие столичной жизни.

«...Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал...» [X, 136]. Теперь уже не «громозд», не хаотичность, не ошеломленность преобладают в этом впечатлении, а равнодушие и безликость. Отсутствует какая бы то ни было определенность — национальная, этнографическая, просто индивидуально-личная. «Тишина в нем необыкновенная...» Это в городе-то, где «мириады карет валяются с мостов» и где все превращается «в гром и блеск»... Но Гоголь видит «тишину» духовными очами как отсутствие истинно-характерных движений: «...никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поровнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собой, иной приправляет телодвижениями и размахками рук» [X, 139]. Людям свойственна отрешенность от внешней жизни и, следовательно, механичность реакции и поведения. Уже в этой сцене, набросанной Гоголем через четыре месяца после приезда в Петербург, таится зерно того парада марионеток, которым открывается «Невский проспект».

Вскоре судьба Данилевского устроилась — он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, что помещалась на Вознесенском проспекте близ Синего моста. Оставшись один, Гоголь пере-

ехал в дом Иохима на Большой Мещанской, в квартиру на последнем, четвертом этаже, или, как скажет потом Я. П. Бутков, на дешевой «небесной линии» Петербурга. Приходилось отказывать себе в самом необходимом и между тем снова и снова просить у матери денег.

Но у Гоголя была особенность: если не удалось одно, тотчас брался за другое. И первое, к чему он обратился, помимо поисков службы, была литература. Это подтверждает мою мысль, что Гоголь еще в Гимназии взвешивал возможность литературной деятельности, отводил ей в своем будущем определенную, пусть не главную, роль. Но вот возникли осложнения со служебной карьерой, и художнические его устремления и заботы выдвинулись на более видное место.

В одной из книжек журнала «Сын отечества и Северный архив» за 1829 год [№ 12. Т. 2. С. 301–302] появилось без подписи стихотворение «Италия». По сведениям, источником которых был скорее всего Н. Прокорович, это стихотворение принадлежало Гоголю и написано оно было еще в Нежине [Кулиш, 1852, с. 200; Кулиш, 1854, с. 35–36; сводку данных в пользу авторства Гоголя см. в кн.: Гоголь, ак., с. 866–870, комментарий И. Ю. Веницкого]. Высказывалось также предположение, что «Италия» представляет собою фрагмент первоначальной редакции «Ганца Кюхельгартена», поскольку восторженное обращение поэта к этой стране невольно напоминает «пышные грезы Ганца о Греции и Индии» [Жданов, с. 120].

Все это весьма реально: в том месте поэмы, где излагаются «думы» Ганца, связанные с его будущим путешествием, есть нарочитый пропуск (на что указывает отсутствующая V картина), и вполне возможно, что, наряду с Грецией и Индией, здесь должна была находиться и Италия:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует³².

К именам великих мастеров культуры — Фидия, Паррасия, Зевксиса и других — «Италия» прибавляет новые имена; она углубляет «эстетический энтузиазм», помноженный на энтузиазм гедонистический, как это было и в «Ганце Кюхельгартене»:

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье, —
Я в небесах, весь звук и трепетанье!

Обращает на себя внимание дата цензурного разрешения книжки, в которой помещена «Италия», — 22 февраля 1829 года. Это значит, что уже буквально через несколько дней или недель после приез-

да в столицу Гоголь отослал или занес в редакцию свою рукопись, сделал таким образом первый шаг на литературном поприще.

Имеется и другое, определенное свидетельство раннего пробуждения и оформления гоголевских литературных интересов — письмо, в котором высказана просьба к матери изобразить «обычай и нравы малороссиян наших». Гоголю нужно описание «полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов», «равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девушками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками». Нужно и наименование «платья, носимого со времен гетманских». Просит он прислать и «обстоятельное описание свадьбы», и «еще несколько слов о Колядках, о Иване Купале, о русалках» и т. д. Задания даются столь конкретные, что совершенно ясно: материал собирается не просто впрок или, по крайней мере, не только впрок, но в связи с определенными, уже возникшими замыслами. Замыслами «Вечера накануне Ивана Купала» и, возможно, некоторых других повестей из будущих «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

И все это пробудилось и стало обдумываться и вынашиваться уже к апрелю 1829 года, то есть опять-таки в первые месяцы новой, петербургской жизни, еще до поступления на службу и разочарования в ней, до заграничной поездки, до литературных знакомств — с Сомовым, Жуковским, Плетневым, Дельвигом, Пушкиным...

В отличие от своего прекраснородного двоюродного дяди Ивана Косяровского, Гоголь мигом сориентировался, что выгодно и нужно делать в Петербурге. «Здесь так занимает всех всё малороссийское...» И он просит мать выслать «две папинькины малороссийские комедии: Овца-Собака и Романа с Параскою», так как собирается поставить их на здешнем театре. «За это, по крайней мере, достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать — на все нужно обращать внимания. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом — к третьему и так далее. Самая малость иногда служит большою помощью» [X, 142].

У Гоголя не один предполагаемый путь, а несколько. Он обнаруживает почти немецкую практичность — совсем как гончаровский Андрей Штольц, который перед отъездом в Петербург получил от отца наставление: «...перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, — не знаю, что ты избереешь, к чему чувствуешь больше охоты...» «Да я посмотрю, нельзя ли вдруг во всем, — сказал Андрей». Гоголь тоже хочет испытать себя «во всем», в силу стечения обстоятельств перебирая разные возможности. Среди этих возможностей были и такие, которые диктовались преимущественно соображениями заработка (неосуществившееся намерение поставить комедии отца), но едва ли правильно выводить только из этого источника первые литературные шаги Гоголя. Нет, это была потребность души, голос призвания.

Не случайно на первые месяцы пребывания Гоголя в столице падает такое событие, как его попытка познакомиться с Пушкиным. «Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: “дома ли хозяин”, услышал ответ слуги: “почивают!” Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: “верно всю ночь работал”. — “Как же, работал, отвечал слуга, в картишки играл”. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализацией его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» [Анненков, 1855, с. 368–369].

Анализируя это сообщение, В. Гиппиус показал, что оно весьма достоверно, так как восходит к «рассказу самого Гоголя», слышанному именно мемуаристом, то есть Анненковым. А приурочивался этот эпизод ко времени не позже 9 марта 1829 года, когда Пушкин был в Петербурге и действительно увлекался карточной игрой [Гиппиус, 1931, с. 65].

Добавлю к этому одно предположение: Гоголь отправился к Пушкину, движимый своими литературными планами и стремлениями. Скажу определеннее: он, возможно, хотел показать ему свое произведение, ибо с пустыми руками обычно к литературным знаменитостям не ходят. Если это так, то таким произведением скорее всего была рукопись «Ганца Кюхельгартена». Гоголь не объявил и не мог объявить этой причины Анненкову, так как скрывал свое авторство и полагал, что никто из его друзей и знакомых о нем не знает.

«ВЕЗДЕ СОВЕРШЕННО Я ВСТРЕЧАЛ ОДНИ НЕУДАЧИ...»

Прошел еще месяц—два, и Гоголь по-прежнему концентрирует свои усилия на нескольких направлениях. Он ожидает устройства служебной карьеры и говорит, что отказывается от какого-то «места с 1000 рублей жалованья в год» ради другого, которое «немного выгоднее и благороднее». Но интересно, что в первом и во втором случае привлекательность службы зависит от наличия свободного времени — «драгоценного времени». Очевидно, роль самостоятельных, литературных занятий в глазах Гоголя еще более повысилась. Продолжая выспрашивать у домашних разнообразный украинский материал, он сообщает, что «и самое отдохновение, если не теперь, то в скорости, принесет» ему «существенную пользу», то

есть явно подразумевает написание каких-то произведений. И вместе с тем у Гоголя есть какое-то непосредственное дело — не ближайшего будущего, не завтрашнего дня, а сегодняшнего. Для этого он просит срочно прислать определенную сумму: «Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей». К этому времени в типографию А. Плюшара поступила книга «Ганц Кюхельgarten», и деньги понадобились Гоголю для покрытия типографских расходов.

Как говорилось выше, поэма, по всей видимости, была написана до приезда в Петербург, но перед публикацией просматривалась и дорабатывалась. Появилось, в частности, предисловие.

«Предполагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к этому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. <...> Многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Предисловие принадлежит к давней традиции так называемых «формул скромности» (Э. Курциус), когда автор начинает произведение с нарочитого самоумаления. Вспомним знаменитые строки из «Войнаровского» (1825) К. Рылеева: «Как Аполлонов строгий сын, / Ты не увидишь в них искусства: / Зато найдешь живые чувства, — / Я не поэт, а Гражданин». Или пример, который не мог быть известен Гоголю, — предисловие к «Дмитрию Калинину» В. Белинского (написан в 1831 г.), где говорилось, что предлагаемая драма «есть не что иное, как первое, несвязное лепетание младенца», но несмотря на это читатели «удостоят своим вниманием первый опыт молодого студента».

Но, думается, непосредственно на Гоголя повлиял другой вполне конкретный пример. Дело в том, что Иван Косяровский, с которым он встречался по приезду в столицу, был начинающим поэтом; незадолго перед тем вышла его книжка «Нина. Стихотворная повесть» [СПб., 1826]. Произведение это могло обратить на себя внимание Гоголя хотя бы потому, что было посвящено «двум братьям», то есть Павлу и Петру Косяровским, а значит, тому самому Петру Косяровскому, с которым юноша делился самыми сокровенными своими мечтаниями. Автор поэмы выражал желание в ближайшее время встретиться со своими братьями «в родной стране», в своем «приюте» — он имел в виду памятную для Гоголя летнюю пору 1827 года, когда действительно под одной кровлей, в Васильевке, собрались и Павел, и Петр, и Варвара Косяровские, но не смог по каким-то причинам приехать из Петербурга Иван Косяровский. Вполне возможно, что Иван Косяровский передал Гоголю свою книгу при встрече в столице, если она не стала известна ему раньше.

Далее в предисловии «Двум братьям моим» мы читаем: «Чтоб исполнить желание приятелей моих, я написал сию повесть; но сам много не доволен ею, более потому, что содержание оной может быть занимательно только для коротких моих знакомых... Но это первое произведение пера моего — и я ожидаю снисхождения Вашего, просвещенный Читатель». Знакомая нам по предисловию к «Ганцу Кюхельгартену» интонация «формулы скромности»!

Однако гоголевское предисловие на фоне упомянутых примеров имеет заметные отличия. Авторы обычно извиняют недостатки своего творения слабостью сил и дарования; Гоголь — только привходящими причинами, тем, что поэма дошла не полностью. Авторы сами объясняются с читателями; Гоголь ради вящей объективности поручает это фиктивному издателю, который «со стороны» удостоверяет его «талант»... Уже здесь, между прочим, впервые проявилось то стремление, которое не раз будет наблюдаться у Гоголя впоследствии, — готовить читателя к восприятию и оценке каждой новой вещи с помощью как бы сторонних усилий и «чужих», беспристрастных приговоров.

Увы, никакие усилия «Ганцу Кюхельгартену» не помогли. Судьба его складывалась таким образом.

7 мая в Санкт-Петербургский цензурный комитет, как гласил реестр, поступила рукопись «на 36 листах под заглавием “Ганц Кюхельгартен” идиллия в картинах писана в 1827 соч. Алова от студента Гоголь-Яновского» [Гиллельсон, с. 31]. В тот же день последовало цензурное разрешение.

5 июня книга была уже напечатана, и Гоголь получил от цензора К. С. Сербиновича билет на выпуск ее в продажу.

Из первых экземпляров книги Гоголь послал один Плетневу, а другой в Москву Погодину. Ни с тем, ни с другим он не был знаком. Книги были посланы инкогнито в расчете на то, что оба адресата их прочтут, высоко оценят, а там и выяснится, кто автор... Это говорит о том, сколь многого ожидал Гоголь от своего дитища. (Ни Плетнев, ни Погодин, однако, поэмой не заинтересовались, и она так благополучно и пролежала в книжных завалах, пока после смерти Гоголя не выяснилось ее авторство.) Сведений о том, что Гоголь послал книгу и Пушкину, нет: возможно, так и не решился...

Через несколько дней книга поступила в продажу в Петербурге, а чуть позже — и в Москве. 26 июня «Московские ведомости» сообщили, что у Ширяева продается книжка В. Алова, «полученная на сих днях из Петербурга».

И почти сразу же появилась убийственная рецензия в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф» [1829. № 12]. Критик обратил гоголевскую «формулу скромности» против самого автора и нанес удар наотмашь, со всей силой: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое

намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя —
За прежней жизни злую повесть...

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Прошло около трех недель, и Гоголь получил новый удар — от петербургской газеты «Северная пчела». Ее отзыв, опубликованный в № 87 от 20 июля, казался поначалу чуть-чуть мягче: в сочинителе признавалось «воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи»; но в итоге рецензент приходил к таким же неутешительным выводам, что и «Московский телеграф»: «В “Ганце Кюхельгартене” столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом».

И Гоголь понял, что это катастрофа. Вместе со своим слугой Якимом он отправился по книжным лавкам и у продавцов, которым только недавно отдал поэму на комиссию, отобрал все наличные экземпляры. Нести весь этот груз домой автор побоялся: в одной квартире с ним в доме каретника Иохима на Мещанской проживал Н. Прокопович, приехавший недавно в Петербург после окончания нежинской Гимназии. Как и ото всех остальных, Гоголь держал от Прокоповича в строжайшей тайне свое предприятие, хотя тот кое о чем догадывался... Он даже знал (или, вернее, узнал потом), где происходило истребление «Ганца Кюхельгартена».

Гоголь снял комнату в гостинице, находившейся на углу Вознесенской улицы у Вознесенского моста [Кулиш, 1854, с. 37; по указанию современных исследователей — это гостиница Неаполь. — Гиллельсон, с. 33], заперся и сжег все до одного экземпляры. Способ действия для автора уже опробованный: в Гимназии он таким же образом обошелся с «Братями Твердиславичами». Только теперь, как казалось Гоголю, он действует надежнее, уничтожая не только произведение, но и память о своем авторстве. Но он ошибся. После смерти Гоголя об учиненном им аутодафе Прокопович рассказал П. Кулишу, а Яким — писателю Г. П. Данилевскому. Яким назвал примерное число книжек, преданных им и Гоголем уничтожению, — около шестисот.

Есть еще одно забытое свидетельство. Петербургский книгопродавец И. Т. Лисенков — один из тех, кому Гоголь отдал экземпляры книги на комиссию, писал своим одесским знакомым Криворотовым:

«Напечатал он в первый раз свое сочинение: “Ганц Кюхельгартен” или картины, принес ко мне на продажу и через неделю спросил, продаются ли. Я сказал, что нет, он забрал их — и только и видели, должно быть, печка поглотила, и тем кончилось, что и теперь нет этой книги и публика не знает и не видела его первого произведения» [РС. 1898. Т. 94. С. 605]. Эти слова интересны тем, что написаны при жизни Гоголя — 13 ноября 1850 года — еще до рассказов Прокоповича и Якима. Следовательно, слухи о первом неудачном опыте Гоголя могли подспудно распространяться в литературных кругах, но до авторских ушей они, видимо, не дошли³³. Уничтожая книгу, Гоголь полагал, что он наглухо хоронит свою тайну.

Поскольку к 20 июля, как сообщала «Северная пчела», «Ганц Кюхельгартен» продавался «во всех книжных лавках по 5 рублей», то его сожжение имело место через день-два после этого срока. Но не позже. Потому что 24 июля Гоголь уже сообщает матери о своем внезапном отъезде за границу, а 1 августа прибывает в Любек... Причина неожиданного гоголевского вояжа как будто бы единственна и лежит на поверхности: провал «Ганца Кюхельгартена». Посмотрим, однако, как объясняет этот поступок сам Гоголь в упомянутом письме к матери.

Он напоминает, что давно уже подумывал о заграничном путешествии, которое предопределено было высшей силой в целях его нравственного самосовершенствования. Бог «указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности...». Это вполне соответствовало действительности в том смысле, что поездка в «землю чуждую» будоражила воображение еще Гоголя-гимназиста. Марья Ивановна в некоторой мере, вероятно, знала или догадывалась об этой мечте, поэтому соответствующее напоминание в предотъездном письме должно было убедить ее (да и самого Николая) в законности и мотивированности его внезапного решения.

Но что звучало совсем неожиданно, так это полное дезавуирование петербургской идеи. Мало сказать, что в свете нового опыта чиновничья служба представляется Гоголю низкой и неблагодарной: «Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованьем, едва стающим [так!]. Себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству». Непонятно вообще, причем тут Петербург, если Гоголю преудказан был путь самовоспитания на чужбине: «И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно». Знакомая нам альтернатива — центр и периферия — видоизменяется. Теперь уже Петербург, который представлялся воплощением всего светлого, видится по отношению к прекрасному «далеко» периферией, глушью, а его обитатели — жалкими существами. В Нежине он чувствовал себя заложником или случайным пришельцем из другого мира —

из еще неведомой ему столицы, а теперь он ощущает себя странником, забредшим по ошибке... в столицу!

А потом Гоголь делает еще одно неожиданное признание, объявляя, что добивался служебного места в столь ненавистном ему Петербурге больше «в угодность» матери, чем из внутренних побуждений, — добивался тщетно. «Везде совершенно я встречал одни неудачи, и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть...» Этим заявлением, кстати, корректируется сообщение в предыдущем письме к матери о том, что ему «предлагают место с 1000 рублей жалованья в год». Гоголь делал вид, будто лишь от него зависит, принимать или не принимать выгодное предложение; но оказывается, это не совсем так...

А потом вдруг выдвигается еще одна причина внезапного отъезда за границу: мол, Гоголь встретил женщину необычайной красоты и во избежание беды должен ретироваться...

И наконец, — в письме к матери из Любека от 13 августа нового стиля — обстоятельства освещаются уже более прозаическим образом:

«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи <...> и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека...»

Клубок мотивов действительно непростой, запутанный, в котором, кажется, одно объяснение исключается другим. По логике так называемого здравого смысла выдвигать много причин — значит заведомо говорить неправду; поэтому-то Гоголю обычно не верят, подозревая во всем неискренность и скрытую цель. Гоголю было свойственно приправлять правду «маленькой ложью», комбинировать и преувеличивать мотивы, но это не значит, чтобы у них совсем не было реальной подоплеки. Тут очень важно отделить буквальный, поверхностный смысл иных гоголевских утверждений от их функций, не претендуя при этом, конечно, на окончательную истину.

В письме к матери от 22 мая, незадолго до отъезда, Гоголь сообщал о неожиданной смерти некоего богатого и «великодушного друга», с которым у него были связаны радужные ожидания. «Все состоялось в следующем: мои небольшие способности были призрены, и мне представлялся прекрасный случай ехать в чужие края. Это путешествие, сопряженное обыкновенно с величайшими издержками, мне ничего не стоило, все бы за меня было заплачено...» Но теперь все расстроилось: «Мои предположения лопнули».

Сообщение об утрате «великодушного друга» не вызывает особого доверия («А. С. Данилевский не слыхал от него ни о чем подобном». —

{Шенрок, т. 1, с. 184}). Но если вспомнить, что Гоголь действительно не встретился с Высоцким и его кругом, с которыми были связаны планы заграничного путешествия, то возникает вопрос, не являются ли гоголевские слова своего рода иносказательной формой выражения той мысли, что все разладилось и надеяться теперь не на кого. Разумеется, для матери предназначался прямой смысл высказывания, однако Гоголь при этом не просто «лгал», но превратным образом выражал свое реальное ощущение.

Далее. Замечено, что своим сообщением Гоголь подготавливал мать к своему внезапному отъезду за границу, равно как и к материальным затратам, которые были с этим связаны. Но тут надо обратить внимание на хронологию: еще не было издевательского отклика Н. Полевого, неуспеха у книгопродавцев и читателей, поэма вообще не вышла из типографии, а Гоголь взвешивал или, может быть, даже принял свое решение. Значит, оно было результатом более долгого и глубокого процесса, чем только переживания по поводу «Ганца Кюхельгартена»; возможная неудача литературного предприятия представлялась Гоголю той каплей, которая переполнит чашу. Бывают в психологическом состоянии человека такие моменты, когда для сохранения душевного равновесия подспудно обдумывается перспектива некой компенсации, когда более или менее осознанно формулируется условие: вот если и это не получится, тогда я решусь на то-то и то-то. Без запасного хода трудно порою перенести надвигающуюся или предчувствуемую новую неудачу, беду, и таким запасным ходом, отдушиной был для Гоголя его заграничный вояж.

Поэтому вполне реальный смысл видится мне в вырвавшейся у Гоголя жалобе: «*Везде совершенно я встречал одни неудачи...*» Это была действительно *полоса неудач*. Прежде всего — со службой: никак не удавалось получить необходимого места, а следовательно, и возможности устойчивого заработка. Ухудшилось физическое состояние Гоголя, усугубленное нравственными терзаниями. Привелось, видимо, испытать ему и сильное любовное чувство. Наконец, надвинулась и катастрофа с «Ганцем Кюхельгартемом», которая увенчала все прежние беды.

Поскольку обычно признается только первая и последняя из них, то есть неудачи со службой и с книгой, остановимся несколько подробнее на других.

Гоголя ловят на противоречиях: мол, вначале он говорит о любви, а потом о болезни, да и о самой болезни сообщает взаимоисключающие сведения: в одном случае — это «большая сыпь» как следствие «золотухи», а в другом — «грудная болезнь». По мнению комментаторов первого академического издания, Гоголь просто запутался, «забыв подробности своего письма из Любека» [X, 423].

Но известно, что в течение года Гоголь действительно перемогал различные хворости, а к весне все это осложнилось моральным со-

стоянием: он с тоскою вспоминал о вольном украинском воздухе, видя, что ему придется провести несколько месяцев в пыльном и душном городе. Об этом Гоголь писал матери еще 30 апреля, за три месяца до отъезда; год же спустя признавался, что именно ощущение оставленности и одиночества в раскаленном и обезлюдившем Петербурге толкнуло его на отчаянный шаг: «Я был утопающий, хватающийся за первую попавшуюся ему ветку» [X, 167]. Физическое и моральное состояние усугубило другие переживания, явившись для них весьма активным фоном. Кстати, «указание на болезнь сделано Гоголем не для оправдания своей поездки, а для объяснений, почему он поехал именно в Любек, а не в какое-нибудь другое место» [Витберг, 1892, с. 29]. Ведь рядом с Любеком находился источник необходимой ему целебной воды. Что же касается «золотухи», то Гоголь употреблял это слово не в смысле точного диагноза, а для передачи общего болезненного состояния слабости (ср. у В. Даля: золотуха — «прирожденная болезнь худосочия...»), поэтому последующее упоминание «грудной болезни» сказанному вовсе не противоречит.

Теперь о любовном переживании. Первый гоголевский биограф принял эту мотивировку («Он влюбился в какую-то девушку или даму, недоступную для него в его положении». — [Кулиш, 1854, с. 40]); большинство же последующих ее решительно отвергли, ссылаясь на то, что никаких подтверждений этой версии не находится. «...Сколько ни припоминал А. С. Данилевский, все его [Гоголя] душевное состояние и самое поведение в то время нисколько не подтверждали это невероятное сообщение» [Шенрок, т. 1, с. 182]. Считалось, что Гоголь вообще был неспособен к любви, что за всю свою жизнь он не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине» [Веселовский, С. 240]. Говорилось и о физиологических аномалиях писателя, по причине которых он вообще не знал женщин. Вопросы деликатные, но обойти их в биографической книге невозможно.

Мы ничего не знаем об интимных чувствах Гоголя в юношеские годы; неизвестно, приходилось ли ему переживать увлечения. Лишь одно место из письма к матери проливает некоторый свет: «Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости». Это заставляет думать, что Гоголь прежде крепко держал на привязи свои чувства и страстное увлечение перед поездкой за границу — первое в своем роде.

Спустя три года Гоголь делает глухое признание, позволяющее думать, что он снова испытывает нечто подобное. В это время А. С. Данилевский, живший на Кавказе, увлекся замечательной красавицей, родственницей Лермонтова Эмилией Александровной Клингенберг (впоследствии Шан-Гирей). Намекая на этот роман, Гоголь писал другу 10 марта 1832 года: «Может быть, ты находишься уже в седьмом небе и оттого не пишешь. Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко

седьмого неба <...>. Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые <...> ensemble дышат и уместились в ее, Боже, как гармоническом лице». Описание неведомой «северной» красавицы несколько напоминает незнакомку («это было божество...»), хотя чувство Гоголя заметно спокойнее, умиротвореннее. Он словно вышел уже из кризиса или, наоборот, не дал себя в него увлечь.

Через девять месяцев, в письме от 20 декабря 1832 года, Гоголь, касаясь любовных переживаний Данилевского, говорит, что у него самого «есть твердая воля, два раза отводившая... от желания заглянуть в пропасть». Если Гоголь «два раза» преодолевал роковое любовное чувство, то первый случай с некоторой долей вероятности можно приурочить к зиме или весне 1829 года, а второй — ко времени, о котором говорится в предыдущем письме. Кстати, состояние свое в первом случае Гоголь рисует именно так, что создается впечатление: не сумеет он справиться со своей страстью, она превратила бы его в одно мгновение в прах.

В начале 30-х годов Гоголь вообще охотно рассуждает о силе любовного чувства, например в письме к тому же Данилевскому от 30 марта 1832 года: «Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изыяснима любовь до брака <...> она <...> сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека». Писателю, конечно, необязательно в подобных рассуждениях подразумевать самого себя; но, сопоставляя все это с другими фактами, можно думать, что «энтузиазм» любви был известен Гоголю не понаслышке. Именно подобным образом — как «сильное» и «свирепое» чувство, потрясавшее весь его «организм», — описывает Гоголь свои переживания, вызванные встречей с красавицей.

Но здесь нельзя не сказать о том, способен ли был Гоголь к физической близости с женщиной. Врачу А. Т. Тарасенкову, лечившему писателя в последние месяцы его жизни, тот говорил, что «сношения с женщинами он давно не имел и что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения» [Тарасенков, с. 20]. Свидетельство очень определенное: как бы ни было приглушено физиологическое чувство Гоголя, девственником он не был.

В литературных кругах притчей во языцех служила девственность Константина Аксакова, и весьма показательно в этом смысле, как относился к ней Гоголь. В письме Сергею Тимофеевичу Аксакову Гоголь однажды с укоризной заметил, что многие крайности в суждениях его сына проистекают оттого, что тот не «перебесился». «Это невольно наводит на мысль, что у Гоголя самого были “грехи молодости”, которые уже отошли к этому времени от него, но какую-то физиологическую сторону которых он признавал» [Зеньковский, с. 223]. И в более ранние годы Гоголь относился к этой стороне жизни весьма терпимо, без ложной скромности и лицемерия, с пониманием. В письме

М. Максимовичу, посланном в марте 1835 года из Петербурга на Украину, где уже вступила в свои права весна, Гоголь писал: «...Дай мне ее одну, одну — и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее, ни даже любовницы, что казалось бы потребнее всего весной» [X, 358].

В свете всего сказанного весьма характерно то, как рисуется им эпизод встречи с красавицей. Когда Марья Ивановна решила, что сын ее стал добычей «гнусного разврата», тем более что речь шла еще о какой-то болезни и сыпи, Гоголь поспешил ее успокоить: «Я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома» [X, 158]. В другом письме — от 22 ноября 1833 года — Гоголь предостерегает мать против губительного воздействия девичьей на воспитание его сестры Ольги: «Вы очень хорошо делаете, что отдаете Олиньку в пансион. <...> Особенно подтвердите и мадаме, чтобы она держала ее при себе или с другими детьми, но чтобы отнюдь не обращалась она с девками». За всем этим, можно предположить, стоял личный опыт Гоголя.

Иначе говоря, «грехи молодости» относятся скорее всего к гимназическому периоду или к пребыванию в Васильевке во время вакаций. В нежинской Гимназии нередко случалось такое, о чем сетовало начальство. В донесении директора Э. Адеркасу говорилось: «...не малое число нанятых для мытья белья молодых женщин и девок бывает причиною весьма соблазнительных происшествий, которых и предупредить невозможно» [Лавровский, с. 121]. «Просвещение» же барчука со стороны «девок» — тоже явление для помещичьих семей обычное. Разумеется, по отношению к Гоголю все это говорится в порядке предположения, так как более твердых данных нет³⁴.

Во всяком случае, то испытание, которое Гоголь (повторяю: опять-таки предположительно) пережил весной 1829 года, было совсем другого свойства — идеальным. Но это не значит, что оно осталось свободным от сложных и в моральном смысле весьма мучительных чувств — наоборот. Эпизод этот явно недооценен в биографии писателя; он, собственно, и не занял в ней своего места, так как считается продуктом чистого вымысла, а между тем здесь завязывается один из важнейших узлов гоголевского бытия и его творчества.

Встреченная Гоголем женщина — само совершенство и в этом смысле свидетельствует о Боге: «Это было божество, им созданное, часть его же самого!» Но в то же время она свидетельствует и о человеческих страстях, пробуждает их и сама, кажется, несет на себе их печать: «Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не к стати для нее. Ангел — существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе». Здесь особенно интересно, что наименование «ангел» Гоголь почитает «низким» для женщины; он еще высоко це-

нит вещественное, плотское выражение красоты; он хотел бы примирить небесное с земным, добавить к небесному некоторую долю земного. «Это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти».

Как божество и идеал красоты эта женщина не допускает даже мысли о физическом обладании; Гоголю достаточно «одного только взгляда» на нее; «взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно-единственное желание». Но странное дело: не успокоение, не гармонию, не мир привносит в душу это созерцание... Непереносим прежде всего взор красавицы: «Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков». Чувства, которые пробуждает ее вид, ужасны: «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен».

От неба, «божества» до преисподней — диапазон гоголевских переживаний. Гоголь жаждет красоты как божественного прорицания и боится как дьявольского искушения; возникает ощущение, что в самой красоте уже заключено гибельное семя. Действие ее как будто бы только идеальное и благотворное, а на самом деле разрушительное и злое. Гоголь не знает пушкинского претворения мучительного любовного чувства в умиление, тихую покорность красоте — может быть потому, что сама красота у него иная. Он мыслит именно противоположностями, переходами от одного состояния к другому. Гоголевское отношение к красоте равносильно отношению к соблазну, а соблазн требует защиты или преодоления. Гоголь преодолевает соблазн и тем самым реализует зароненную в нем с детства идею самовоспитания; но только самовоспитание на этот раз выражается не путем спокойного проявления терпения, «железной воли», которыми он имел обыкновенно гордиться, а как бы импульсивно, резко, судорожно, отчаянно, панически. Гоголь спасается бегством, и в этом буквально географическом, пространственном действии выражен определенный психологический жест.

Гоголь бежит от красавицы, но тем самым и от себя, от скрытых опасностей своей души, от разрушительных сил, которые способны в ней обнаружиться. Это для него одно из первых ощущений катастрофичности и алогизма человеческой психики, почерпнутое из собственного опыта (или приуроченное к нему). «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу». Сам Бог толкнул его на этот шаг, позаботившись таким образом не только об искушении, но и о способе найти противоядие.

О провале «Ганца Кюхельгартена» Гоголь не говорит ни слова — эта тема вообще не существует. Но отзвук и этой неудачи можно почувствовать в его жалобе матери на то, что Бог, вложив в него благие

стремления, «одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения». История с «Ганцем Кюхельгартенем» — первый из известных нам случаев, когда Гоголь, говоря его более поздними словами, «размахнулся Хлестаковым». Вспоминая все это, вспоминая факт посылки экземпляров именитым литераторам — Плетневу, Погодину и, возможно, другим, Гоголь испытывал чувство жгучего стыда за свою «дерзкую самонадеянность». Он с детства был склонен к острому раскаянию (история с кошкой), а тут все это еще осложнялось чувством уязвленного самолюбия, посрамленных надежд.

Гоголь срывается с места, бежит — и при этом продумывает, когда и на какое время он едет. Поразительное сочетание импульсивности и расчетливости! В «Авторской исповеди» он вспоминал, что едва только «очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей», как ему стало не по себе и он «уже подумал о возврате». Гоголь смешает хронологию: подумывать о возврате он стал еще *до отъезда*. Уже в первом письме матери (от 24 июля из Петербурга) Гоголь успокаивает ее: «Не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду». Гоголь обещал сообщить матери свой заграничный адрес, но так и не сообщил и велел писать к нему по старому адресу на имя Прокоповича. Показательно также, что он не отсылает Якиме домой, в Васильевку, но просит лишь прислать тому «пашпорт»: «...ему нельзя жить здесь без места». И через несколько дней, уже из Любека, Гоголь подтверждает, что «разлука» не будет «долговременной». В перспективе у Гоголя и более дальние планы: в упомянутом письме от 24 июля он сообщает, что придет в Васильевку «не менее как через два или три года» — срок, который он выдержал, посетив родные места летом 1832 года.

Бросалось в глаза, что Гоголь отправляется в странствия как бы вслед за Ганцем Кюхельгартенем. «Сочинение это Гоголь сжег, но не мог удержаться от соблазна самому разыграть роль своего героя» [Овсяннико-Куликовский, с. 175]. Сходство объясняют тесной сращенностью литературы и быта, вымысла и реального поведения в то время. И это верно, но только при перемещении из одной плоскости в другую мотивы видоизменяются, да и сама их последовательность, чередование прихотливы. Не Гоголь повторял путь своего героя, но Ганц воплощал его юношеское влечение в дальние страны, правда, в более эстетизированной, обобщенной и даже более катастрофической форме, если вспомнить о бесславном возвращении героя под родной кров и отречении от былых притязаний. А теперь Гоголь и воплощал свою собственную мечту, и повторял поступок своего героя, отступая одновременно и от того, и от другого образа.

Да, путешествие оказалось не таким, каким оно представлялось ему под сенью Гимназии высших наук. То путешествие должно было быть основательным, длительным, сопряженным с долгим трудом самовоспитания и работы над собой, а это вышло импульсивным,

кратковременным и скомканным. Там была потребность в накоплении мыслей и впечатлений, а здесь — в мгновенной встряске, разрядке аффекта, в спасительном переломе. Однако же осуществленное путешествие накладывалось на старые представления: «Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться...» («Авторская исповедь»). Сохранялась идея испытания и жертвенности, причем угодных высшим силам, ниспославшим все это Гоголю для каких-то своих целей. У Гоголя рано пробудилось ощущение избранности, в которое вписывалось все: и планы, и мечты, и насмешки товарищей, и удачи, и неудачи, и сами поражения, — вписалось и «истинно-фантастическое», как выразился Кулиш, путешествие. «В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне» (письмо к матери от 24 июля 1829 г.).

Между тем в реальности путешествие Гоголя было не фантастическим, а вполне земным или, правильнее сказать, — морским, учитывая, что большую часть времени он провел на корабле. Он терпел невзгоды, впитывал новые впечатления. В первые же часы плавания пережил «порядочную бурю», познакомившись со всеми неприятными ощущениями, которые с этим сопряжены. Через два дня увидел берега Швеции и с удовлетворением отметил: «Народ вообще хорош, особливо женщины стройны и недурны собою». Потом, вдалеке, Борнгольм, известный русскому читателю по повести Н. Карамзина, арена действия таинственных, фатальных сил (Гоголь записывает: «Вид острова Борнгольма с его дикими, обнаженными скалами и вместе цветущею зеленью долин и красивыми домиками восхитителен»). Через четыре дня — Дания. Потом Германия: Любек, Травемюнде, Гамбург.

В пятидесяти километрах от Любека, между прочим, находился городок Висмар (Wismar), близ которого, в деревне Люненсдорф, происходило действие «Ганца Кюхельгартена», и таким образом пути Гоголя и его героя чуть было не пересеклись...

Хотя Гоголь пережил полосу неудач, хотя в путь он отправился в смятенных чувствах, его общие ощущения от поездки, можно сказать, светлые, а мнение о немцах «вполне позитивное» [Кейль, с. 423]. Ему по душе учтивость и благожелательность здешних жителей. «Простая крестьянка, у которой вы купите на рынке за какой-нибудь шиллинг фруктов или зелени, отвесит вам с такою приятностью кникс, которому позавидовала бы и наша горожанка». Новые впечатления разительно контрастируют с петербургским опытом и, наоборот, заставляют с тоскою вспоминать о родных местах, об Украине. Получается, что здесь все не так, как в столице русской империи, и так, как дома. Общительность, публичный образ жизни, сходение в трактире многих людей напоминают хлебосольные обеды в Кибинцах, еще при жизни Д. Трошинского.

За столом, наряду с немцами, занимают место «граждане всех наций». «Со мною вместе находились два швейцара, англичанин, индейский набоб, гражданин из Американских Штатов и множество разрозненных немцев, и все мы были совершенно как лет 10 друг с другом знакомы. (Этого уже в Петербурге не водится.) Ужин всегда оканчивается пением...» [X, 157]. Последняя деталь тоже многозначительна: разьединенные, погрязшие в своих заботах петербуржцы вместе не поют. Зато, как скажет позднее Гоголь, вся «Украина звенит песнями».

Очень интересуют Гоголя немецкие соборы. Его поражает «готическое великолепие», размеры храма, ровная высота потолка и огромной величины теряющийся в небе шпиль. А внутреннее убранство кафедрального собора просто восхищает: «Знаменитое произведение Альбрехта Дюрера, изваяние Квелино, все было мною рассмотрено с жадностью»³⁵.

Как ни кратковременно было путешествие Гоголя, оно расширило его опыт, причем многообразно, сразу в нескольких направлениях. Об этом можно судить по заграничным реминисценциям, которые вскоре станут появляться в его произведениях. Гоголь теперь еще более критично смотрит на облик Петербурга, осуждая его с архитектурно-эстетической точки зрения, в целом. Говоря о «гладко-однообразной куче» петербургских строений, о «новых городах» вообще, которые «так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую», он прибавляет: «Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению» («Об архитектуре нынешнего времени»). Здесь ему всего дороже непохожесть и разнообразие; зато богослужение в готическом храме ценно тем, что соединяет разнородное — «тысячи поверженных на колени молельщиков стремят <...> в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несетя с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни» («Скульптура, живопись и музыка»). Потом это гоголевское ощущение разовьется в фундаментальную мысль об объединяющей роли религиозного переживания, о миротворческой и спасительной функции православной церкви. Но любопытно, что Гоголь еще связывает начало единения с западной церковью — прежде всего католической.

И наряду с этим совсем другая зарисовка, подсказанная тем же заграничным вояжем: «Представьте себе, какой-нибудь германский город в средние веки, эти узенькие неправильные улицы, высокие, пестрые, готические домики и среди их какой-нибудь ветхий, почти валяющийся...» Это дом алхимика, приводящий всех в ужас как обиталище дьявольских сил, но где на самом деле «вместо духов основало

жилище неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже от неудачи — первоначальная стихия всего европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, проникая во все тайные мышления человека...» («О средних веках»). В этот период Гоголь еще высоко ставит аналитическое, рациональное, «западное» начало, послужившее двигателем всей европейской цивилизации.

Пробыв за границей около двух месяцев, Николай Васильевич возвращался тем же путем и, по его словам, на том же самом пароходе.

О приезде Гоголя в Петербург — 22 сентября — рассказывает его первый биограф со слов Н. Прокоповича, жившего, как мы помним, в одной квартире с Николаем Васильевичем, в доме Иохима на Большой Мещанской. «Каково же было удивление Прокоповича, когда он, возвращаясь вечером от знакомого, встретил Якима, идущего с салфеткою к булочнику, и узнал от него, что у них “есть гости”! Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать, как и что, было бы напрасно...» [Кулиш, 1854, с. 41].

Со слов еще одного очевидца другой биограф дополняет: «Не менее удивлен был и А. С. Данилевский, когда он, входя к Прокоповичу, услышал звуки хорошо знакомого голоса. Хотя, по собственным словам его, он совершенно не верил в серьезность плана, составленного Гоголем, и предвидел его скорое возвращение, но все-таки никак не ожидал, что это случится так быстро» [Шенрок, т. 1, с. 187].

Гоголь вернулся, так сказать, в исходное положение и должен был начинать сначала, но при усложнившихся условиях.

Не говоря уже о душевном состоянии, путешествие Гоголя нанесло довольно ощутимый удар денежным обстоятельствам его и всей семьи: он воспользовался для поездки той суммой, которую прислала мать для уплаты за имение в Опекунский совет. Взамен Гоголь отказывался в пользу Марьи Ивановны от принадлежащей ему части имения (другая часть, согласно завещанию бабушки Татьяны Семеновны, была записана за его сестрами). Он и раньше, мы знаем, высказывал подобное желание, но теперь сделал для этого практический шаг. 23 июля, перед отъездом, явился в I Департамент Петербургской палаты Гражданского суда и предъявил свою доверенность (текст этой доверенности, засвидетельствованный некими заседателем Меняйловым и секретарем Деркачем, известен. — [ЛВ. 1902. Кн. 1. С. 60]). На следующий день доверенность была выслана матери.

Однако необходимую сумму все же надо было внести в Опекунский совет: отсрочка длилась лишь четыре месяца, к тому же набегали проценты (по пяти рублей за тысячу в каждый месяц). Откуда же взялись деньги? Точных сведений у нас нет, однако на основании письма гоголевского земляка можно заключить, что выручил Андрей Тро-

шинский. Последний «заплатил <...> в банк весь долг, лежавший на Марье Ивановне под залог всего имения» [КС. 1898. Т. 62. Отд. 9. С. 121].

Упомянутое письмо — интересный отклик на злополучный заграничный вояж Гоголя, да, собственно, на первые шаги его самостоятельной жизни вообще. Письмо показывает, в каком трудном положении оказался Гоголь. Но вначале надо сказать об авторе письма.

Василий Яковлевич Ломиковский (1778—1848) воспитывался в Шляхетском кадетском корпусе, был на военной службе. Выйдя в отставку, поселился на Миргородчине и устроил себе около дедовского села Шафоростовка хутор с говорящим названием — Парк-Трудолюб. Свою жизнь помещик Ломиковский посвятил усердному труду по собиранию и изучению памятников родной старины. Историки украинской культуры с похвалой отзываются о его деятельности: еще до появления знаменитой книги Н. А. Цертелева «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819) Ломиковский в 1803—1805 годах сделал запись украинских дум; на рукописи сохранилась помета: «списаны из уст слепца Ивана, лучшего рапсода, которого я застал в Малороссии, в начале XIX в.» [Павловский, 1912, с. 114]. Составил он также «Словарь малорусской старины», опубликованный посмертно [КС. 1894. Кн. 7], вел дневник [КС. 1895. Т. 51. № 11], свидетельствующий о литературной одаренности автора.

Ломиковский установил широкий круг знакомств — с Трошинскими (Кибины находились всего в восьми верстах от Парка-Трудолюба), с Капнистами (последнее известное письмо В. В. Капниста — от 13 августа 1823 г. — адресовано к нему), с Мартосами. Один из семьи Мартосов — Иван Романович (1760—1831), писатель, бывший кабинет-секретарь гетмана К. Разумовского, ревностный масон, увлек в мистику и своего друга Ломиковского.

Бывал Ломиковский и в Васильевке, где на все смотрел строгим, недоброжелательным взглядом. Главным объектом недоброжелательства, оказывается, являлся Николай.

Сообщая об уплате А. Трошинским долга, вызванного заграничной поездкой Гоголя, Ломиковский говорит (кстати, письмо написано в Парке-Трудолюбие 9 января 1830 г. и адресовано И. Р. Мартосу): «И здесь дьявол действует. Марья Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о гениальном муже, сыне ее Никоше; он, быв выпущен из Нежинского училища, нигде не захотел служить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общепользными предприятиями; *во-первых*, сообщить матушке не менее 6000 рублей, кои он имеет получить за свои трагедии; *во-вторых*, исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей. Таковые способности восхищали матушку, и она находит любимый разговор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Никоши. Едва Никоша прибыл в столицу, как начал просить у матушки денег, коих она переслала выше состояния; наконец она, думаю, не

без помощи А. А. <Трощинского> собрала 1800 рублей для заплаты процентов в банк; для исполнения сего вернее человека не могла найти матушка, как сына своего, и тем вернее было сие, что сыново же имение находится под залогом. Гений Никоша, получив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами вояжировать за границу, но, увидевши границу, издержал все деньги и возвратился вспять в столицу. Но чтобы матушка не была в убытке, то он дал ей письменное позволение пользоваться его доходами с имения, а в том имении ныне оказалось великое изобилие в снеговых слоях и глыбах. Андрей Андреевич, будучи еще в Кибенцах (он приезжал в связи со смертью Дмитрия Прокофьевича, последовавшей 21 февраля 1829 г. — Ю. М.), узнав о таковых подвигах Никоши, сказал: мерзавец! Не будет с него добра, и пошло бы имение в публичную продажу с пятью дочками, но теперь, как сказано выше, долг заплачен. Теперь же Никоша пишет к матушке: “я удивляюся, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает...” (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Письмо интересно тем, что написано осведомленным человеком, сообщающим всему происходившему предвзятое освещение. Ломиковский знает о задушевной мечте Гоголя продвинуться по службе, знает о его уверенности в своей высокой миссии, о торжественном обещании «быть благодеянием» для соотечественников.

Посвящен Ломиковский и в литературные обстоятельства Гоголя. Еще не было опубликовано ни одно его произведение (кроме «Ганца Кюхельгартена» и «Италии», если это действительно гоголевская вещь), а Ломиковский уже знает о намерении Гоголя издать большие труды («трагедии»), которые принесут немалый доход. Очевидно, он основывается на сообщениях Гоголя о литературных занятиях, содержащихся в письмах к Марье Ивановне.

Осведомлен Ломиковский и о том денежном вспомоществовании, которое регулярно оказывала сыну Марья Ивановна.

Видно также, что Ломиковский не раз слышал ее рассказы о Никоше. Может быть, Марья Ивановна оставалась единственным человеком, который верил в его необыкновенное предназначение. Но она выражала свои чувства в преувеличенной форме, имевшей вид безудержного хвастовства. Можно было бы отнести это впечатление на счет недоброжелательства Ломиковского, если бы оно не подтверждалось другими. А. Данилевский рассказывал В. Шенроку: «Да ведь надо знать, как она всегда говорила о сыне. Она говорила о нем с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью, и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым». «В обожании сына, — продолжает гоголевский биограф, — Марья Ивановна положительно доходила до Геркулесовых столпов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги), и, к величайшей досаде сына, рассказывала об этом всем при каждом удобном случае» [Шенрок, т. 1, с. 202]. Очевид-

но, приписка Гоголю «новейших изобретений» — это более поздний факт, пока же Марья Ивановна горько переживала неудачи сына, никак не могла понять, почему он не может устроить свою жизнь.

Уверенность Гоголя в своем призвании, а матери — в его гениальности — все это контрастировало с реальным течением дел. Отклик Ломиковского свидетельствует, что о нем уже стало складываться мнение как о молодом человеке с неимоверными претензиями и малыми способностями, словом — неудачнике и пустоцвете. Интересно, что почти одновременно с Ломиковским некий Светличный, очевидно, земляк Гоголя, встречавшийся с ним в Петербурге, стал распространять слух, что тот истрачивает жизнь в кутежах и веселье.

«ТЫСЯЧА ПУТЕЙ»

Неудачи, бегство за границу и бесславное возвращение нанесли сильный удар самолюбию Гоголя. «Бог унизил мою гордость — его святая воля!» В не дошедшем до нас письме от 14 октября Марья Ивановна, видимо, упрекнула сына в излишней гордости, причине всех его бед, на что тот отвечал: «Прошу вас, маминька, не думайте найти во мне хотя искру гордости. Если я прежде казался таковым, то теперь не покажусь верно им...» [X, 161]. Он характеризует себя как «кроткого, признательного, которого нужды и опыт переродили совершенно и сделали другим человеком» [X, 186].

Неопределенность положения, безденежье, зависимость от других заставляли Гоголя проявлять свойственную ему от природы хитрость и умение принаравливаться к людским слабостям. Один маленький, но характерный пример.

В письме к матери от 27 октября 1829 года, сообщая о своих текущих делах, Гоголь вдруг разражается благодарственным дифирамбом Андрею Трошинскому: «Я познаю теперь невидимую руку Всевышнего, меня охраняющую: он послал мне ангела-спасителя в лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича, который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына; его благодеяние и драгоценные советы навеки запечатлеются в моем сердце». Затем он прибавляет, что надеется со временем заглазить свой «безрассудный поступок (то есть бегство за границу. — Ю. М.) и хотя несколько приблизиться к высоким качествам души нашего благодетеля, ангела между людей».

Из следующего письма к матери от 12 ноября выяснится, зачем понадобилось лирическое отступление об «ангеле-спасителе». Гоголь пересылал письмо через А. Трошинского, отдав ему (якобы по его просьбе) конверт незапечатанным. «Следовательно, вы не подивитесь, — пишет Гоголь матери, — если я в нем немного польстил ему; впрочем, он, точно, для меня много сделал: по его милости я теперь имею теплое на зиму платье, также заплатил должные мною за кварти-

ру». С расчетом демонстрировал Гоголь и свое раскаяние по поводу заграничной поездки, а значит, и по поводу растраты денег. Вспомним, что Трошинский осуждал этот поступок и что именно он в конце концов помог уладить возникшие денежные трудности.

А затем в том же письме на той же высокой ноте Гоголь переходит к похвалам Марье Ивановне: «Чем отплачу я вам, почтеннейшая маминька, за ваше материнское обо мне попечение? В каждом письме вашем я вижу доказательство тому вместе с драгоценными наставлениями вашими». Или вот еще пример стилистики гоголевских обращений к матери: «Как! столько пожертвований, с таким самоотвержением, и для кого? для того, который до сих пор не доставил вам ни одного еще утешения, не только помощи... Столько беспокойств, столько душевных тревог, столько печалей, и все об ком?.. Безумец! как я мог в часы, когда неудачи и несчастья подавляли меня, как я мог в эти часы отчаиваться и изливать желчь на весь мир, когда есть одно существо, ангел со всеми ангельскими совершенствами, который любит меня со всеми моими слабостями, которому одному только моя жизнь дороже всего на свете — и я мог, в полном избытке счастья, почитать себя несчастливейшим!» [X, 175–176].

Подобные пассажи рождали подозрение в неискренности Гоголя. Однако поступки его говорят о том, что он действительно любил мать, заботился о ней. Испрашивая очередную денежную сумму, Гоголь каждый раз писал о своих душевных терзаниях, обещал, что в скором времени такие поборы прекратятся и он даже сможет что-то из своих доходов посылать домой. Гоголь в будущем сдержит свое слово. Поэтому П. Анненков писал, что определенная доля хитрости и настойчивости молодого человека, пробивающего себе дорогу, не может «бросить какую-то тень на известную страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем...» [Анненков, 1983, с. 55].

Однако причина состояла не только в хитрости и настойчивости Гоголя, но и в верности этикету. Традиции его семейного воспитания и окружающей провинциальной среды рождали определенный характер общения между родственниками, при котором официальный стиль разнился от повседневного. Эпистолярный же жанр поневоле склонял скорее к первому стилю, чем ко второму, то есть к стилю, изобилующему гиперболами и сентиментальными штампами.

Выше уже приводились слова Гоголя из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «...еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного». Трудно сказать, как в отношении «излияний» к Гоголю, но в отношении «излияний» самого Гоголя эти слова не совсем точны. Он отнюдь не чурался чрезмерности и приторности, демонстрируя матери свою

чувствительность и благодарность. Он знал, что так надо, что Марья Ивановна ждет от него этой благодарности. Он и без того достаточно отклонился от правильной колеи, не умея никак обрести необходимое положение. Пусть же обычай будет соблюден, хотя бы в отношении формы.

Ждал благодарности, ждал выражения приличествующих чувств и дальний богатый родственник Андрей Трошинский. Об этом знала и Марья Ивановна, которая, со своей стороны, писала ему, как тронут Никоша и как он высоко ценит его поддержку.

По возвращении из-за границы, в октябре, Гоголь переезжает из дома Иохима в новую квартиру — в дом Зверкова у Кукушкина моста. Гоголь экономит деньги: «...теперь занимаем мы 3 комнаты, но нас три человека вместе стоят, и комнатки очень небольшие» [X, 161]³⁶.

Гоголь готов еще решительнее пробивать себе путь, он подбадривает себя и мать: «...Если мои ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не могу впасть в отчаяние — оно удел безумца». Что подразумевают эти строки? Перед самым отъездом в Петербург, в Васильевке, Гоголь уверял родственников, что никакие трудности не испугают его. «...Вы еще не знаете всех моих достоинств, — сообщал он Петру Косяровскому. — Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маменьки...» Вспомнив об этом обещании, Гоголь говорит, что ему придется обеспечивать себя не с помощью «знаний», то есть «государственной службы», а с помощью «рук», то есть «ремесел». Трудно сказать, насколько серьезны были его намерения, но факт тот, что в это время (письмо датируется 24 сентября) он не имеет реальных видов на место чиновника.

И Гоголь делает новый шаг в неожиданном направлении. Но вначале скажем о шаге, которого он, по-видимому, не сделал, от которого воздержался.

Об этом эпизоде мы знаем только от Ф. Булгарина. Вначале он глухо упомянул о нем в письме от 21 марта 1852 года некоему Василию Васильевичу. «Гоголь в первое свое пребывание в Петербурге, — сообщал Булгарин, — обратился ко *мне*, чрез меня получил казенное место с жалованьем и в *честь мою* писал стихи, которые мне стыдно даже объявлять!» [КС. 1893. № 5. С. 321–322]. Спустя два года Булгарин развил эту версию во всех подробностях, причем уже не в частном письме, а публично — в статье, опубликованной в «Северной пчеле».

«В конце 1829 или в начале 1830 года, хорошо не помню, один из наших журналистов, живших тогда в Почтамтской, в доме господ Яковлевых (ныне А. М. Княжевича), сидел утром за литературною работою, как вдруг зазвенел в передней колокольчик, и в комнату во-

шел молодой человек, белокурый, низкого роста, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, попросив посетителя присесть, стал читать поданную ему бумагу — это были *похвальные стихи*, в которых журналиста сравнивали с Вальтер-Скоттом, Адиссоном и так далее. Разумеется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов, за лестное об нем мнение и спросил, чем он может ему служить. Тут посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из учебного заведения искать места и не знает, к кому обратиться с просьбой» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Далее сообщается, что «журналист», то есть Булгарин, внял просьбе «молодого человека», то есть Гоголя, и договорился со своим добрым знакомым фон Фоком, управляющим III отделением. Тот «дал место Гоголю в канцелярии III отделения. Не помню, сколько времени прослужил Гоголь в этой канцелярии, в которую он являлся только за получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель Гоголя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обратно его бумаги. Сам же Гоголь исчез, куда неизвестно! У журналиста до сих пор *хранятся похвальные стихи Гоголя и два его письма* (о содержании которых почтиаю излишним извещать); но более Гоголь журналиста не навещал. Вот истина, которую можно подтвердить стихами и двумя письмами» [СП. 1854. № 175].

Итак, Гоголь поступил на службу в III отделение, и это было его первое «казенное место», которого он так долго и безрезультатно добивался... Насколько достоверна подобная версия?

Прежде всего бросается в глаза, что сообщение Булгарина, сформулированное чрезвычайно категорично и безапелляционно, опирается как бы на реально не присутствующие, ускользающие факты. «Похвальные стихи» и «два письма» объявлены существующими, но до сведения читателей так и не доведены — ни полностью, ни в извлечениях. Что же помешало Булгарину это сделать — неужели действительно скромность и нелюбовь к похвалам? Единственное упоминаемое третье лицо — М. Я. фон Фок, умерший более двадцати лет назад, в 1831 году. Наконец, существенно и то, что версия выдвинута только после смерти Гоголя.

При жизни же писателя, в 1847 году, Булгарин заявлял в своей газете: «...Гоголь едва ли не с первыми нами (то есть с Ф. Булгариным. — Ю. М.) познакомился, прибыв в Петербург из Малороссии, прежде чем напечатал первое свое сочинение, и если б не увлекся духом партии, то, верно, послушался бы наших советов, пошел бы в литературе чистым и светлым путем, проложенным Карамзиным и Жуковским, и теперь с своим оригинальным талантом стоял бы весьма высоко!» [СП. 1847. № 8]. Отчасти это совпадает с последующим заявлением Булгарина, но не в главном. Булгарин упоминает о своем знакомстве с Гоголем, о том, что он давал ему какие-то «советы», но все это выдержано, так сказать, в сугубо литературном ключе, без всякого на-

мека на посторонние обстоятельства, то есть службу в III отделении. Полезные «советы» Булгарина Гоголю можно понять лишь как призыв к объективности и независимости, которым тот якобы не внял, увлекшись «духом партии» и выбрав в своем творчестве ложный путь.

Совершенно очевидно, что сведения, сообщаемые Булгариным при жизни Гоголя в расчете на его реакцию, заслуживают большего доверия, чем то, что было сказано им впоследствии.

Каким же представляется «булгаринский эпизод» по имеющимся у нас данным (на исчерпывающее его разъяснение пока претендовать невозможно)?³⁷

Гоголь, бесспорно, был знаком с Булгариным. Если «Италия» — действительно гоголевская вещь и если она была послана в «Сын отечества», по словам П. Кулиша, инкогнито, то около этого времени автор и лично явился к издателю. Произошло это не «в конце 1829 или в начале 1830 года», как запомнилось Булгарину, а еще до истории с «Ганцем Кюхельгартенем», то есть в первые месяцы 1829 года.

Возможно, встреча состоялась, как говорит Булгарин, именно на Почтамтской. Кстати, вспомним, что в «Ревизоре» мелкий журналист Тряпичкин, который «отца родного не пощадит для словца и деньгу тоже любит», проживает тоже на Почтамтской (эта деталь фигурировала уже в первом издании пьесы в 1836 г.). Выбор местожительства Тряпичкина обусловлен общим художественным строем комедии, так как мотивирует факт распечатывания письма почтмейстером («Взглянул на адрес, вижу: в Почтамтскую улицу... Ну, думаю себе, верно, нашел беспорядки по почтовой части...»), но в то же время мог быть подсказан гоголевскими личными ассоциациями; современниками же, в том числе и самим Булгариным, все это могло восприниматься как намек.

Не исключено, что во время визита Гоголь польстил или, как он выразился по другому поводу, «прислужился» Булгарину — его искусство на этот счет нам уже известно. Письменными материалами Булгарин едва ли располагал (иначе он их опубликовал бы), но устные «похвалы», вероятно, слышал, что давало ему психологическое основание говорить и о похвальных стихах и письмах.

Такой же психологический прыжок был совершен Булгариным и в суждениях о «казенном месте». Иначе говоря, вполне возможно, что он предлагал Гоголю службу в III отделении и тот вначале не дал отрицательного ответа. Следы колебаний В. Гиппиус обоснованно видит в следующих словах гоголевского письма к матери, написанного в Любеке 13 августа 1829 года: «Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали» [Материалы, т. 1, с. 293]. Следовательно, окончательный ответ Гоголь откладывал до возвращения в Петербург, но так, видимо, его и не дал.

Между тем отношения Гоголя с Булгариным сохранились по крайней мере до начала следующего года: к январю 1830 года Гоголь дела-

ет для «Сына отечества и Северного архива» перевод с французского статьи «О торговле русских в конце XVI и начале XVII века». Хотя статья не была опубликована, Гоголь получил за нее гонорар — 20 рублей [X, 175].

Впоследствии картина резко изменилась. Нападки Булгарина на Гоголя шли с возрастающей силой. Гоголь, со своей стороны, не раз больно задевал Булгарина — и в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», и в эпилоге «Носа», и в «Портрете» (2-я редакция). Проследивать эту борьбу в данном случае нет необходимости — важно лишь подчеркнуть, что Булгарин не раз имел повод прибегнуть к самому чувствительному удару — обвинению морально-го свойства, или если не прямому обвинению, то хотя бы к намеку. То, что он этого не сделал при жизни Гоголя, существенно подрывает правдоподобие его версии³⁸.

В период неудач и испробования различных средств Гоголь решил испытать еще один путь, благо столица предоставляла для этого широкие возможности; тут, говорил Гоголь, для энергичного человека «тысячи путей». В Нежине он с большим успехом играл на сцене, товарищи предрекали ему славу актера; неудивительно, что в трудную минуту Гоголь вспомнил и об этом.

«Не снискав известности на поприще литературном, Гоголь обратился к театру. ...Он изъявил желание вступить в число актеров и подвергнуться испытанию. Неизвестно, какую роль должен он был играть на пробном представлении, только игру его забраковали начисто, и я не знаю, приписать ли это робости молодого человека, не видавшего света. Как бы то ни было, но Гоголь должен был отказаться от театра после первой неудачной репетиции...» [Кулиш, 1854, с. 40; ср. Кулиш, 1852, с. 198]. Нет, причина заключалась не только в провинциальной робости Гоголя...

П. Кулиш рассказал о театральном эпизоде со слов третьих лиц, очевидно — со слов Н. Прокоповича. Последний не присутствовал на «испытании», и Гоголь скорее всего ничего ему не говорил. Но Прокопович был связан с театральной средой, в 1832 году он вступил в труппу императорских Санкт-Петербургских театров и о попытке Гоголя мог слышать от актеров. В свою очередь, от Прокоповича сведения мог получить гоголевский слуга Яким, который после смерти писателя рассказывал одному мемуаристу: «Сначала Николай Васильевич хотел поступить на театр» [Воспоминания, с. 81].

Но известно еще одно свидетельство, наиболее подробное и достоверное, так как оно принадлежит человеку, имевшему отношение к произошедшей истории, — Н. Мундту.

Николай Петрович Мундт (1803—1872), второстепенный беллетрист, переводчик, драматург, служил в канцелярии директора императорских театров С. С. Гагарина. В ноябре 1827 года он подал проше-

ние на имя Николая I об определении его на вакантную должность архивариуса при театральной дирекции, а с 1 октября 1829 года был секретарем конторы³⁹. В бытность его секретарем, то есть, очевидно, в первые недели октября, до получения Гоголем места чиновника, о чем мы будем говорить далее, и случился этот эпизод.

Канцелярия директора императорских театров и его квартира располагались тогда на Английской набережной, в доме Бетлинга (позднее Риттера) № 11, на углу Замятина переулка [Гиллельсон, 1961, с. 35]. Однажды Мундту доложили, что его кто-то желает видеть.

«Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном.

Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил я.

— Гоголь-Яновский.

— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

— Да, я желаю поступить на театр» [Воспоминания, с. 65–66; первоначально: С.-Петербургские ведомости. 1861. № 235].

Здесь нужно сказать несколько слов о внешности Гоголя. Мундт нашел его весьма непривлекательным, но это оттого, что он смотрел на него сквозь театральные очки, то есть как бы с точки зрения сценичности. Но, скажем, «по словам Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым человеком» [Кулиш, 1854, с. 57]. Гоголь был белокур, с хохолком, придававшим ему задорный вид. Он старался одеваться по моде — стремление, которое он обнаружил еще в последнем классе Гимназии, — но не выдерживал стиля, срывался. «В Петербурге некоторые помнят его щеголем; было время, что он даже сбрил волосы, чтоб усилить их густоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают, как у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из галстука вечно торчали белые тесемки» [там же, с. 30].

Гоголь словно был составлен из разных начал, которые никак не могли прийти в состояние равновесия. М. Н. Лонгинов, встретивший его чуть позже, в конце 1830 или начале 1831 года, говорит: «Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости» [Воспоминания, с. 70].

Как южанин, привыкший к ненатопленному теплу и к тому же плохо одетый, — целую зиму Гоголь, по его словам, «отхватал в лет-

ней шинели», — он страдал зябкостью, чувствовал себя неуютно, стесненно, особенно среди незнакомых или в многолюдстве. Мелькающие в его петербургских произведениях позы, когда человек покрепче закутывается плащом своим, прижимается к стенам домов, старается вовсе не глядеть на окружающие предметы, — словом, всячески ступшевается и ретируется — все это было личное, выстраданное.

Кстати, упомянутая Мундтом деталь — подвязанная черным платком щека — находит свое подтверждение у других мемуаристов. И. С. Тургенев вспоминал, что несколько позже, в 1835 году, «на выпускном экзамене из своего предмета он [Гоголь] сидел, повязанный платком якобы от зубной боли...».

И вот такой человек объявил о своем желании поступить в императорский театр — и не на какие-нибудь другие роли, а непременно драматические! Почему драматические? Хотя его успех на гимназической сцене был связан прежде всего с комедийным амплуа, но «лирический и сурьезный род» занимал в его сознании более высокое место, а драматические роли на театре были аналогом этого «рода».

Директор императорских театров С. С. Гагарин распорядился устроить Гоголю экзамен. Главным экзаменатором оказался инспектор русской труппы А. И. Храповицкий. Более неудачного оценщика дарования Гоголя трудно себе представить. Все знавшие Александра Ивановича Храповицкого характеризуют его совершенно одинаково. «Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (княгиней Гагариной), считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, *драматическая икота*» [Воспоминания, с. 67; курсив в оригинале]. К тому же Храповицкий имел склонность к наставничеству, был одно время учителем декламации в театральной школе, «в каждом мальчишке видел будущего трагика — и заставлял их кричать напрапалу» [Каратыгин П., с. 302].

У Храповицкого во время экзамена Гоголя были и ассистенты. Мундт называет М. А. Азаревичеву, И. П. Борецкого, В. В. Боченкова и — с некоторой неуверенностью — П. А. Каратыгина. П. Кулиш говорит, что присутствовали В. А. Каратыгин и Я. Г. Брянский. По-видимому, в отношении Каратыгина следует принять версию Кулиша: трагик Василий Андреевич Каратыгин более подходил к характеру экзамена, чем его брат Петр Андреевич, исполнитель комических ролей (показательно, что биограф вначале написал просто *Каратыгин*, а затем, видимо, после уточнения внес инициалы: В. А.; ср. Кулиш, 1852, с. 198; Кулиш, 1854, с. 40). Но в остальном как участник события, хотя и не присутствовавший на самом экзамене, большего доверия заслуживает первый мемуарист.

Во всяком случае все упомянутые им актеры (кроме Каратыгина — если это действительно был Василий Андреевич) не отличались ярким талантом. Борецкий когда-то (в 1818 г.) обратил на себя внимание в роли Эдипа, но в ней «как бы истратил весь запас своего дарования и уже не пошел далее» [Каратыгин П., с. 142]. Азаревичева известна была эпизодическими ролями, Боченков слыл посредственным комиком.

Тон на экзамене задавал Храповицкий. Он попросил Гоголя прочесть монологи из «Дмитрия Донского» В. А. Озерова, «Андромахи» Ж. Расина в переводе графа Хвостова... Гоголь «читал просто, без всякой декламации», что никак не отвечало вкусам экзаменатора; к тому же кандидат в актеры робел и часто останавливался. Храповицкий еще решил испытать Гоголя в комедии, предложив ему прочесть сцену из «Урока старикам» Казимира Делавиня⁴⁰, но это не изменило общей картины.

Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, «что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены, и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра и что, если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только *на выход*» [Воспоминания, с. 68].

Секретарь дирекции Мундт не помнит, чтобы Гоголь приходил за ответом. Очевидно, он и так понял, что провалился.

СЛУЖЕБНАЯ УТОПИЯ

В конце октября 1829 года перед Гоголем, наконец, возникла реальная перспектива. 27 октября он сообщил матери: «В скором времени я надеюсь определиться на службу. Тогда с обновленными силами примусь за труд и посвящу ему всю жизнь свою». Чуть позже он пояснил, что получает «довольно порядочное место в министерстве внутренних дел».

Прошение о службе Гоголь подал в конце октября на имя министра внутренних дел генерал-адъютанта А. А. Закревского, который 15 ноября наложил резолюцию: «Употребить на испытание в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий и при первом докладе лично господину директору со мной объясниться» [Материалы, т. 1, с. 288].

И вот новоявленный чиновник ежедневно стал ходить в казенное здание на углу Мойки и Нового переулка, близ Синего моста (ныне Мойка, д. 66).

Главным начальником Гоголя был Иван Устинович Пейкер, участник сражения при Аустерлице, за которое он получил орден Анны 4-й степени, неоднократно раненный, бывший костромской и рязанский вице-губернатор. Директором департамента он сделался несколько месяцев назад, 5 марта.

Кто помог Гоголю получить место, точно неизвестно. Главные надежды, мы помним, возлагались на Л. Голенищева-Кутузова, однако после смерти Д. Троицкого тот, видимо, охладил к выполнению возложенного на него дела, чем объясняется жалоба Гоголя в письме к матери: «...важной протекции я не имел никакой, а мои покровители водили меня до тех пор, пока не заставили меня усумниться в сбыточности их обещаний». Гоголь говорит, что определение на службу потребовало от него «бесконечных исканий»: «Я не понимаю, как я до сих пор не сошел с ума». Новые заботы наложились на прежние неудачи и разочарования, но достигнутый результат не принес удовлетворения.

Очень скоро полученное место показалось ему «незавидным». Жалованья он получил «сушью безделицу»; по отчету, приложенному им к одному из писем, первая выплата последовала лишь в январе 1830 года и составила 30 рублей.

Наступивший новый год Гоголь встретил «холодно и безжизненно». Это говорит о степени его разочарования в службе, которой он так мучительно и долго добивался.

А в феврале, 25-го числа, он уже подает Пейкеру прошение об отставке: к этому времени у Гоголя возникла надежда на новое место.

Мы уже знаем об убеждении Гоголя: нужно испробовать самые разные средства, искать самые разные пути. Время покажет, какое его дарование сильнее, какая дорога надежнее. Гоголя привлекал сам фактор неизвестности, игры со случаем и с судьбой, в результате чего могут открыться совсем неожиданные возможности и один вид деятельности будет способствовать другому виду. Так и получилось с новым его служебным назначением.

Выполняя свои обязанности в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий, Гоголь не переставал собирать сведения об Украине и по-прежнему осаждал Марью Ивановну просьбами присылать ему самые разнообразные материалы: и «забавный анекдот между мужиками» «или между помещиками», и описания «нравов, обычаев, поверьев», и сообщения о том, какие платья были в старину «у сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи были известны в их времена, и все с подробнейшею подробностью» — «не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену».

Интересуют его раритеты: древние монеты, старопечатные книги, антики, записки, «веденные предками какой-нибудь старинной фамилии», стрелы, которые, как хорошо помнит Гоголь, во множестве находили на дне реки Псёл.

Сбор материалов Гоголь намеревается поставить на широкую ногу: пусть Марья Ивановна привлечет родственников и знакомых. Все это нужно ему не только для собственных литературных занятий, но и для передачи другим лицам.

В конце 1829 или в самом начале 1830 года Гоголь познакомился с Павлом Петровичем Свиным (1787–1839), писателем, художником, географом, путешественником, в частности автором уже упоминавшегося «Опыта живописного путешествия по Северной Америке». В своем журнале «Отечественные записки» он щедро знакомил читателей с бытом, историей, географией, фольклором различных регионов России, в том числе и Украины. Интерес Свинына к Украине, видимо, и послужил почвой, на которой произошло его знакомство с Гоголем. В апрельском номере журнала за 1830 год Свинын опубликовал очерк «Полтава (из живописного путешествия по России издателя О. З.)»⁴¹. Печатал он и материалы, доставляемые Гоголем, хотя неизвестно точно, какие именно⁴².

А в февральской и мартовской книжках журнала без подписи появилось первое гоголевское прозаическое произведение «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви».

Эта повесть, по-видимому, и открыла Гоголю двери новой службы — в Департаменте уделов.

Гоголь писал матери, что своим теперешним местом он «обязан своим собственным трудам». И позднее: «...одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое». В то время «статьей» называли разные произведения, в том числе и художественные (повесть, рассказ и т. д.), так что Гоголь мог подразумевать и свой «Вечер накануне Ивана Купала». В таком случае он впервые на своем опыте убедился в силе воздействия писательского слова, которое способно приносить даже непосредственную, практическую пользу.

Кто же реально помог Гоголю получить место? Скорее всего сам начальник ведомства, в которое тот устроился.

Лев Алексеевич Перовский (1792–1856), внебрачный сын графа А. К. Разумовского, возглавлял Департамент уделов, имел придворный чин гофмейстера, впоследствии стал графом. Любовь к Украине была у него наследственной — его дед происходил из черниговских крестьян — и подкреплялась, так сказать, двойною профессией его брата Алексея, который был не только известным писателем Антоном Погорельским, автором книги «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), но и попечителем Харьковского учебного округа. Известны любознательность и живой ум Льва Перовского; по свидетельству его сослуживца, он «любил заниматься некоторыми науками, входящими в круг его служебных обязанностей, как-то: минералогией, ботаникой, археологией» [ВЕ. 1867. № 12. С. 129]. По-видимому, именно Л. Перовского имел в виду Гоголь, прося Марью Ивановну

присылать раритеты: «Я хочу этим прислужиться одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи». Едва ли Гоголь назвал бы «вельможей» Свинына, как полагают комментаторы первого академического издания [см. X, 425], хотя не исключено, что редактор «Отечественных записок» послужил здесь в роли посредника. Иначе говоря, Свинын помог обратить внимание Л. А. Перовского на молодого писателя.

В пользу предположения, что Перовский уже что-то слышал о Гоголе, говорит такой факт. Свое «прошение» об определении в департамент Гоголь начинает словами: *«Имея желание служить под лестным начальством Вашего превосходительства...»* и т. д. В рамках официального документа это более личный, заинтересованный тон, который словно должен продемонстрировать, что подчиненный «знает» своего будущего начальника. При поступлении в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Гоголь обращался к министру А. Закревскому в другом стиле.

Упомянутое прошение Перовскому было подано 27 марта 1830 года. В тот же день прошение подписал начальник II отделения В. И. Панаев. 4 апреля был составлен черновик резолюции, согласно которой Гоголь определялся на службу в II отделение с жалованием 600 рублей в год. 10 апреля зачисление было оформлено — Гоголь получил место писца [Материалы, т. 1, с. 296].

И вот он снова стал ходить в присутствие — в красивое трехэтажное здание на Миллионной (впоследствии ул. Халтурина, д. 9).

Настроение у него становится ровным, хорошим. Сложился более или менее постоянный распорядок дня. «В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пребываю там до 3-х часов, в половине четвертого я обедаю...» Потом свободное время — занятия, встречи со знакомыми. «Три раза в течение недели отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гуляньи, или сам отправляюсь на разные дачи; в 11 часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил...» [X, 179–180].

О своей прежней службе Гоголь говорил скупо. Теперь же он охотно перечисляет всех своих начальников: и главного — вице-президента департамента Л. А. Перовского, и начальника отделения — В. И. Панаева, и столоначальника — Д. И. Ермолова. Все они Гоголю нравятся, все устаиваются его похвалы. Панаев, кстати, не только чиновник, но и известный писатель, автор многочисленных идиллий — «человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю»; Ермолов — человек «недурной и не без воспитания». Словом, «начальники мои действительно хорошие люди, и я ими весьма доволен». Явно «доволен» он и местом в то время, как прежним местом был недоволен. Чем это объясняется?

Тут надо сказать несколько слов о Департаменте уделов. История его начинается в 1797 году, когда Павел I выделил часть недвижимого имущества, числившуюся в составе государственных владений, в особые уделы и доходы с них назначил исключительно на содержание особ царского дома. Для управления же уделов создал специальное учреждение во главе с министром.

Благодаря своей важности удельное хозяйство получило ряд преимуществ как перед государственным, так и перед крупным помещичьим хозяйством. В отличие от первого оно более свободно располагало своими средствами, не будучи стесненным рамками государственного бюджета и постановлениями различных финансовых служб. В отличие же от второго, то есть частного землевладения, удельное хозяйство велось более последовательно и постоянно: оно «может рассчитывать свои действия на многие годы вперед и осуществлять предприятия в течение десятилетий, не останавливаясь перед временными материальными жертвами и затратами, не посильными для частного лица. В качестве казенного управления оно имеет возможность привлекать к себе на службу наиболее подготовленных деятелей по разным специальностям» [Уделы, с. 24].

Но дело не ограничивалось только финансовой самостоятельностью. Документ, подписанный Павлом I, так называемое «Учреждение», гласил, что Министерство уделов подчиняется непосредственно высочайшей власти — «имеет состоять под собственным нашим ведением; следственно во всех своих деяниях отчет дает токмо Нам самим» [там же, с. 90]. На практике не всегда было так, и департаменту приходилось отстаивать свою самостоятельность. Против вмешательства общей администрации официально возражал Д. Трошинский, бывший (в 1802—1806 гг.) четвертым министром этого учреждения.

Прямая зависимость от двора, близость к царю, возможность, как сегодня говорят, «выйти» на царя — все это Гоголю должно было прийти по душе.

Не менее важна была для него и филантропическая сторона деятельности департамента. Двор был заинтересован, чтобы его благосостояние покоилось на достаточно твердой основе. «С самого начала на Уделы возложена была обязанность заботиться о благосостоянии вверенных им крестьян». «Внутреннее самоуправление сельских обществ ограждалось от всякого постороннего вмешательства» [там же, с. 24—25].

Хуже обстояло дело с образованием крестьян. Хотя в 1805 году состоялся указ об учреждении в селах церковно-приходских школ, но и двадцать два года спустя (в 1827 г.) таких школ для всей массы удельных крестьян насчитывалось только пять. Чтобы исправить положение, в 1828 году издали постоянные правила об удельных школах. По инициативе В. И. Панаева был разработан проект продажи хлеба с особого поля с целью определения выручки «на устройство и содержание больниц, богаделен и школ»; в мае 1827 года этот проект был

представлен Перовскому [ВЕ. 1867. № 12. С. 133, 137]. Все это также было далеко не безразлично Гоголю.

В 1826 году Министерство уделов присоединили к Министерству императорского двора, возглавлявшемуся кн. П. М. Волконским. Перовский стал его помощником по управлению уделов и в 1828 году был назначен вице-президентом соответствующего департамента. Он «сделался душою удельного ведомства, и с именем его связан самый блестящий период в истории Уделов» [Уделы, с. 93]. Таким образом, начало службы Гоголя в департаменте совпало с началом этого периода.

Остается еще представить себе внешнее устройство и обстановку того учреждения, в которое вступил молодой чиновник. Как раз незадолго перед тем, к концу 1827 года, дом был переоборудован в современном стиле. По словам В. Панаева, «столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы, пол парке, ковровые дорожки чрез всю анфиладу комнат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским».

Многие государственные мужи из других ведомств приезжали осматривать помещение. 21 января 1828 года департамент изволил посетить император, побывал он и в комнатах II отделения, возглавляемого Панаевым. Гоголя здесь еще не было; но когда он появился через два года, до него, несомненно, дошла весть о необыкновенном визите.

Близость ко двору, явные, а еще более скрытые возможности учреждения — все это оживило интерес Гоголя к служебной деятельности, который было погас в тревожениях первых месяцев петербургской жизни. Совсем еще недавно он приходил в уныние от одной мысли о необходимости большую часть дня «не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников», а теперь он готов беспрекословно тянуть чиновничью лямку. Служба не бессмысленна «для того, кто имеет ум, знающий извлечь из этого пользу, предположивший впереди себя мету, ставши на которую, он в состоянии дать обширный простор своим действиям, сделаться необходимым огромной массе государственной...». Вот для чего стоит трудиться! Мысль Гоголя совершенно ясна: он хочет стать государственным человеком, иметь возможность влияния на политику, на управление. Он верен своей служебной утопии, сложившейся у него в последние годы пребывания в Гимназии.

И в связи с этим вновь возникает излюбленный и сокровенный гоголевский мотив — о воле и терпении. Человек, поставивший перед собой «мету» (Гоголь говорит о себе в третьем лице), «должен иметь железную волю и терпение, покамест не достигнет своего предназначения, должен не содрогнуться крутой, длинной — почти до бесконечности и скользкой лестницы, должен не упускать из виду малейшего обстоятельства, кажущегося посторонним, но способствующего

сколько-нибудь к повышению его, должен отвергнуть желание раннего блеска, даже пренебречь часто восклицанием света: “Какой прекрасный молодой человек! как он мил, как занимателен в обществе!”»

Так должен был поступать антипод Ганца Кюхельгартена, герой «Думы», у которого «железная воля», «мысль и крепка и бодра», который твердо стоит «среди суеты» и т. д. Но то была поэтическая картина. Теперь Гоголю видится проявление сильной воли «небом избранного» в конкретной обстановке петербургских канцелярий, ибо высокая и скользкая лестница — это вполне реальная лестница служебного продвижения, а восхищенные реплики окружающих — вполне определенная реакция влиятельных чиновников, возможно, и их жен (речь ведь о «свете»), реакция, к которой он, Гоголь, должен оставаться как бы безучастным ради вящего успеха и большей славы.

Для самочувствия Гоголя важно было и то, что в стенах Департамента уделов (бывшего Министерства уделов) трудился некогда Д. Трощинский, добившийся самых высоких степеней. Теперь его дальний родственник, молодой чиновник, призван повторить подобный путь. Гоголь исполнен надежд, ожиданий, устремленности честного карьеризма.

Гоголь готов на лишения, на самоограничение — и где? — в столице, с ее соблазнами и удовольствиями! «Никакое желание рассеяния, забав и развлечений всякого рода не должно останавливать его; он *может* казаться занимающимся ими, но не на самом деле». Как это напоминает (вернее — предвосхищает) самоограничение иных гоголевских героев, сосредоточившихся на своем деле, не желающих (или не имеющих возможности) ничего знать помимо него! Это, между прочим, характерный для Гоголя случай переадресованного переживания: нечто, органично свойственное ему, у персонажей получает другую цель, но сохраняет полностью или почти полностью свой вид. Так, Чичиков будет до поры до времени отказывать себе во всем ради воплощения своего плана. А в «Шинели» будет повторен и развернут даже тот только что приведенный стилистический оборот, который Гоголь применил к себе: «...словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению».

Марья Ивановна ждала от сына более осязаемого и быстрого успеха; в не дошедшем до нас письме она напомнила о некоем Жежлинском, очевидно, земляке, который, переехав в Петербург, скопил себе «довольно значительное состояние единственно стараниями и прилежанием по службе». Гоголь вынужден объясняться: мол, теперь время другое, чиновники едва сводят концы с концами. «Прежде человеку, прослужившему несколько лет верою и правдою, в награждение давали целые поместья, душ тысячу и более крестьян; теперь же, вы сами знаете, этого ничего не дают уже». Перед глазами Марьи Ивановны маячил пример того же Д. Трощинского, получавшего из царских рук угоды и крепостных.

Такие подарки Гоголя не прельщали, но это не значит, что он был чужд вполне прозаическим интересам. Манящая его длинная «лестница» терялась в заоблачных высях, но начиналась на земле. Едва ли случайное совпадение: письмо к матери, из которого мы приводили обширные отрывки и в котором Гоголь развивал свою служебную утопию, помечено 3 июня 1830 года — днем, когда указом Правительствующего Сената он был утвержден в чине коллежского регистратора со старшинством со дня вступления в службу [Сборник, 1857, с. 345]. Чин самый младший, полагающийся Гоголю согласно его аттестату, но, как говорится, лиха беда начало.

«Через год, а может быть, и ранее, — сообщает Гоголь в том же письме к матери, — надеюсь я получить штатное место. Это составляет покамест единственное мое желание, и получение его будет для меня неизъяснимою радостью, потому что освободит от тягостной обязанности получать от вас вспоможения...» Случилось это значительно раньше: уже 22 июля 1830 года Гоголь был определен помощником начальника I стола по II отделению с жалованьем 750 рублей в год, то есть на 150 рублей больше, чем он получал прежде.

Гоголь надеется и на большее, не останавливаясь перед некоторыми вполне практичными шагами. 29 сентября он спрашивает Марью Ивановну: «Не будете ли видаться с Шамшевыми? Они хорошо знакомы с Панаевым и ведут с ним переписку. В таком случае не мешало бы, если они упомянули и обо мне. Это, я думаю, ускорило бы мне прибавку жалованья. Словца два-три от хороших людей всегда не мешают». В записках В. И. Панаева, начальника Гоголя, действительно упоминается некий Шамшин, «коллежский (ныне тайный) советник», чиновник «из государственного контроля», проверявший Департамент уделов [ВЕ. 1867. № 12. С. 140]. Возможно, через него и собирался действовать Гоголь.

Новый, 1831 год Гоголь встречает в приподнятом настроении, не так, как предыдущий: «Мои удвоившиеся труды, мои успешные занятия и лестное внимание ко мне — все заставляет меня думать, что участь моя к моему и вашему удовольствию переменится, и в наступающем 1831 году... предвижу я для себя много хорошего» [X, 186—187]. Бодрый тон этого письма передался Марье Ивановне, сообщавшей А. Трошинскому: «Сын мой продолжает службу счастливо, его начинают замечать с хорошей стороны и любят, и он надеется в новом годе получить для себя больше выгод и не столько будет нуждаться» [РС. 1882. Т. 34. С. 677]. Марья Ивановна не заметила только маленькой подробности из письма сына: она свела все к «выгодам» по службе, а тот, говоря об «удвоившихся трудах» и «успешных занятиях», имел в виду и что-то другое, помимо службы...

Возвращаясь же к служебной утопии Гоголя, остановимся на его заметке о «Борисе Годунове». Мы еще поговорим о ней позже, пока же обратим внимание лишь на одну подробность. Но для начала надо

подчеркнуть, что заметка написана во время службы Гоголя в Департаменте уделов, то есть в последних числах декабря («Борис Годунов» вышел после 22–23-го числа) или в первые дни следующего года.

Характерно, что из всех персонажей пушкинской трагедии Гоголем упомянут только один — заглавный герой, и в каком качестве? — в качестве стремившегося к добру, но не достигшего результата государственного деятеля. «О, как велик сей царственный страдалец! Сколько блага, сколько пользы, сколько счастья миру — и никто не понимал его...» Это те самые слова, в которые Гоголь облакал свои собственные чувства («...Я всю жизнь свою обрек благу», «...на пользу отечества, для *счастья* граждан...» и т. д.); новое лишь — ситуация непонимания, которую он к себе не применял, но которой, конечно, очень страшился.

Говоря о «счастье», которое мог принести «миру» Годунов, Гоголь имел в виду его планы обуздать боярство и улучшить положение народа:

...высокий дух державный.
Дай Бог ему с Отрепьевым проклятым
Управиться, и много, много он
Еще добра в России сотворит.

Говоря же о непризнании царя народом, Гоголь мог подразумевать его горькие слова:

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Но ведь Годунов пришел к власти через убийство и узурпацию трона. Гоголь как читатель трагедии это, конечно, отметил, но —

Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай.

Гоголь и «не спрашивает». Момент преступления растворяется в понятии минувшего, властно заявляющего о себе. «Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!..» Момент вины не отменен, но на первом плане все же мысль о непонятном «страдалце», о несостоявшемся «благее». Гоголь воспринимает пушкинского героя сквозь дымку мечты о своей государственной миссии.

Допустимы ли низкие средства для достижения благих намерений? С христианской точки зрения — ни в коем случае. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» [Мф. 7, 18]. Но на практике случается всякое, и зачастую безнравственно поступают не злодеи, а люди, стремящиеся к добру.

Гоголевское отношение к Борису Годунову до некоторой степени близко к трактовке Шевыревым фигуры папы Сикста V. Будучи кар-

диналом Феличе Монтальто, он проявил и коварство, и хитрость, но, достигнув папского престола, все делал во благо своей страны и народа. Он вынужден был так поступать, принаравливаясь к духу времени. «Все нечистые стихии духовной жизни века звучат в этих словах Сикста: *грехом сотворю плод добрый!*» По Шевыреву, справедливость правления и достигнутый успех оправдывают Сикста V⁴³.

Статья Шевырева «Сикст V. Историческая характеристика» не могла быть к этому времени известна Гоголю (она написана в 1833 г., а опубликована годом позже в «Библиотеке для чтения». — [1834. Т. VI]), но, так сказать, проблема Сикста V возникла в русском обществе раньше. Она, в частности, обсуждалась в кружке Любоумров в 1826 году, после поражения декабристов в связи с предполагаемой новой тактикой — «служить, выслуживаться, быть загадкой, чтобы наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действия» [Барсуков, т. 2, с. 55].

Знал ли Гоголь в это время о деятельности Сикста V, точно не известно (скорее всего, знал вследствие своего интереса к западной истории), но участи Годунова очень сочувствовал, воспринимал ее как трагическую неудачу. Неудачу, подстерегающую не только верховного властителя, самодержца, но и государственного мужа, каким представлялся себе Гоголь в будущем.

«СВЯТЫНЯ ИСКУССТВА»

Верный избранной тактике, он продолжал испытывать себя и на других поприщах.

В том же самом письме к матери (от 3 июня 1830 г.), в котором Гоголь с воодушевлением рассказывал о государственной службе, он сообщал, что регулярно бывает и в императорской Академии художеств. Приходит сюда три раза в неделю к пяти вечера и занимается часа два. «Здесь есть все средства совершенствоваться в ней (живописи. — Ю. М.), и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют».

Возможно, дверь в Академию художеств Гоголю помог открыть П. Свинын, который сам рисовал, а в 1827 году как «живописец-любитель» стал «почетным вольным общником» упомянутой Академии [Кондаков, с. 321].

Гоголь сходится со многими художниками, добивается их расположения. «По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди!» Гоголя восхищает в них то, что так редко встретишь у своего братачиновника: «...об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники».

Кого конкретно подразумевал Гоголь? Возможно, Алексея Егоровича Егорова и Василия Козьмича Шебуева, которые в 1830 году поочередно вели натурный класс, посещаемый Гоголем [Молева, с. 43]. Оба были академиками, профессорами, Шебуев, сверх того, еще придворным живописцем; оба обладали соответственно высокими гражданскими чинами. У Шебуева, кстати, в свое время учился Капитан Семенович Павлов, преподававший рисование в Гимназии высших наук.

В том же 1830 году 23 сентября в Академии художеств открылась выставка произведений за три прошедших года. Гоголь не преминул побывать на выставке. «Это для жителей столицы другое гулянье, — сообщал он матери 29 сентября, — около тридцати огромных зал наполнены были каждый день до 27 числа толкающимися взад и вперед мужчинами и дамами, и здесь встречались такие, которые года по два не видались между собою. С 27 числа Академия открыта для простого народа».

Особенность академической выставки 1830 года в том, что «это был своеобразный триумф школы Венецианова» [Савинов, с. 141]. Здесь было выставлено пять работ самого мастера и 32 работы его учеников. Среди произведений последних — «Удящие рыбу из беседки» В. М. Аврорина, «Внутренность крестьянского двора» Беллера, «Беседка в Приютине» Васильева, «Внутренность крестьянского двора» девицы Раевской и т. д.

Все это вызывало живой интерес Гоголя, откладывалось в его творческой памяти, находило встречный отклик. Без труда прочерчиваются параллели между иными из перечисленных сюжетов и пассажами из будущих гоголевских произведений. Так, название картины «Внутренность комнаты, из открытого окна которой видна Нева» заставляет вспомнить строки из «Невского проспекта»: «Он [Пискарев] рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякой художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки <...>, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках». Внимание к «непричесанной» натуре, к случайным, как бы хаотичным подробностям, а также лежащий «почти на всем серинький [так!] мутный колорит» (выражение из того же «Невского проспекта») отвечали внутреннему художественному зрению Гоголя. Скажу для точности: *одному из аспектов* этого зренья, ибо последнее, еще не сложившись и формируясь, захватывало самые разные, нередко противоположные сферы бытия и сознания.

Сверх творческих схождения у Гоголя и Венецианова были и сближающие их биографические обстоятельства. Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) происходил из нежинских греков, из той самой шумной колонии, которую с любопытством, иронией и теплотой наблюдал Гоголь в бытность учеником Гимназии высших наук и в

которой у него были приятели вроде Константина Базили. Переехав в Петербург, Венецианов учился у В. Л. Боровиковского, вместе с племянником которого Николай занимался у полтавского преподавателя Гаврилы Сорочинского. Художник был вхож в дом своего земляка владельца Диканьки В. П. Кочубея и нарисовал его портрет в интерьере петербургского дома. Гоголь примерно в это же время — скорее всего после выхода первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — тоже появляется в апартаментах этого дома.

Точные сведения о знакомстве Гоголя и Венецианова относятся к 1834 году, когда художник создал его известный литографированный портрет. Предположительно это знакомство произошло еще раньше: 23 декабря 1833 года Венецианов по своим делам посещает некоего «Николая Васильевича» — скорее всего именно Гоголя [Машковцев, с. 20]. Но вполне возможно, что их первые, пусть и беглые встречи имели место во время академической выставки 1830 года.

Среди важных знакомств, приобретенных Гоголем в академических стенах, следует упомянуть еще знакомство с Василием Ивановичем Григоровичем, историком искусства, занимавшим должность конференц-секретаря академии. Глубоко почтительное поздравительное письмо Гоголя к Григоровичу относится к январю 1833 года; но, возможно, встретились они также раньше.

Наконец, еще одно, кажется, не обратившее на себя внимание гоголевское знакомство. Значительно позднее, 5/17 февраля 1846 года граф Федор Петрович Толстой сделал в своих путевых записках помету о встрече с «Гогелем» [так!] в Риме у С. П. Апраксиной: «Я сначала его не узнал, он мне показался моложе и лучше, конечно, от того, что гораздо опрятнее, нежели прежде, как бывал у меня в Петербурге» [ЛН. Т. 58. С. 698]. Ф. П. Толстой, скульптор, живописец, рисовальщик и медальер, занимал место (с 1828 г.) вице-президента Академии художеств, и скорее всего Гоголь бывал у него именно как у должностного лица. Чуть позже, около 1833 года Гоголь принимал участие в «Воскресных вечеринках» в доме Ф. П. Толстого⁴⁴.

Гоголь посещал Академию довольно долго — в течение трех лет ему выписывали билеты в академические классы [Молева, с. 43]. Это говорит о серьезности его устремлений.

В письме к матери Гоголь представляет дело так, будто живопись — только внеслужебное увлечение. Марья Ивановна, со своей стороны, сообщала О. Д. Трощинской: «...Еще положил [Николай] на себя занятие в Академии Художеств, желая усовершенствоваться в любимом своем искусстве рисовании» [РС. 1882. Т. 34. С. 677]. Но не питал ли Гоголь втайне надежду, что это «занятие» со временем выйдет на первый план?

П. Анненков представлял такую панораму разворачивающихся усилий молодого Гоголя: «С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью — открыть

себе дорогу в этом свете <...>. Гоголь перепробовал множество родов деятельности — служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появлением “Вечеров на Хуторе”, имевших огромный успех, дорога наконец была найдена...» [Анненков, 1983, с. 55–56]. К 1830 году была «перепробована» и отброшена, в сущности, только одна разновидность деятельности — актерская. Художническая — только начата; служебная и писательская — продолжались.

К концу этого года ему удалось установить важные знакомства не только в художнической среде, но и с писателями. Одним из первых, с кем он познакомился, был, по-видимому, О. М. Сомов, критик, прозаик, журналист, выходец с Украины (Сомов родился в городе Волчанске Слободско-Украинской губернии и обучался в Харьковском университете).

Сомов был единственным, кто благосклонно отозвался о «Ганце Кюхельгартене». В «Обзрении российской словесности за первую половину 1829 года», опубликованном в альманахе «Северные цветы» за 1830 год, критик писал: «В сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты». За такие слова Сомов получил выговор от рецензента «Московского телеграфа», где в свое время «Ганц Кюхельгартен» был изничтожен: мол, заступничество за поэму свидетельствует об отсталости вкуса [МТ. 1830. П. 1. С. 78]. Но для Гоголя это была капля бальзама на рану. И поощрение к более обдуманному и неспешному литературному труду.

Летом Гоголь сообщает матери, что прекращает свое «участие в журналах»: «Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд». На самом деле обдумывался не один «обширный труд», а несколько: исторический роман, «малороссийская повесть», не говоря уже о работе над произведениями, составившими впоследствии «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Хотя Гоголь и предупреждал, что его труды готовятся не для журнала и «появятся не прежде, как по истечении довольно продолжительного времени», но все же к концу 1830 года он решил опубликовать отрывки из этих трудов. Сделал он это, по-видимому, с помощью Сомова, который был ближайшим помощником А. А. Дельвига по изданию «Северных цветов» и одно время редактором «Литературной газеты». В обоих этих изданиях одна за другой появились четыре гоголевских вещи.

В «Северных цветах на 1831 год» (цензурное разрешение от 18 декабря 1830 г.) — «Глава из исторического романа». В № 1 «Литературной газеты» за 1831 год — «Глава из малороссийской повести: Страшный кабан» и, кроме того, еще статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Наконец, в № 4 той же газеты — «Женщина».

В Гоголе пробуждается и крепнет самосознание литератора, что косвенно отражается в характере его подписи. Вначале он как бы кружит вокруг своей фамилии: «Глава из исторического романа» подписана «0000», что означает четыре буквы «О», встречающиеся в его имени и фамилии, — Николай Гоголь-Яновский. «Глава из малороссийской повести» скреплена подписью П. Глечик: полковник Глечик — персонаж «Главы из исторического романа», и таким образом читателю давался намек на принадлежность обоих произведений одному лицу. Статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии» напечатана под именем Г. Янов — аббревиатура от Гоголь-Яновский.

Но статью-эссе «Женщина» автор впервые снабжает подписью Н. Гоголь, видимо, уже не испытывая сомнений в достоинстве своего нового опыта.

К этому времени он познакомился с В. А. Жуковским и П. А. Плетневым. Возможно, Гоголь успел застать в живых и А. А. Дельвига (он умер внезапно 14 января 1831 г.).

О последовательности знакомств рассказывает первый биограф Гоголя: «Он достал от кого-то (возможно, от Сомова. — Ю. М.) рекомендательное письмо к В. А. Жуковскому, который сдал молодого человека на руки П. А. Плетнева с просьбою позаботиться о нем» [Кулиш, 1854, с. 42].

Встреча с Жуковским надолго запомнилась Гоголю; в конце 1847 года он писал ему: «Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце (Жуковский имел здесь квартиру, будучи воспитателем наследника. — Ю. М.). Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства» [XIV, 33].

Гоголь очень верно описывает то настроение, с которым он пришел впервые к Жуковскому; это настроение — исполненность «святыней искусства» — мы хорошо ощущаем в названных выше статьях, написанных чуть раньше или чуть позже упомянутой встречи.

Статья «Борис Годунов. Поэма Пушкина», посвященная, кстати, П. Плетневу, — вдохновенный гимн искусству. Мы помним излюбленную гоголевскую символику — обывательский быт, повседневность, провинция погребает в неизвестности, хоронят заживо. Подлинно поэтическое произведение воскрешает из небытия — в смысле олицетворенной метафоры — «серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии» и «отжившая жизнь отзывается во мне...». И вся гоголевская статья есть род своеобразного восхождения — от мертво-бледных,

безжизненных или механических суждений по поводу пушкинского шедевра до его трепетно-вдохновенного, живого восприятия. Статья, как отметил еще первый ее публикатор И. Аксаков, замечательна «сочетанием юмористического таланта <...> с тем лиризмом (очень еще тогда молодым), который был всегда, так сказать, подпочвой художественного реализма нашего великого писателя» [Р. 1881. № 12. С. 19].

Стихии юмора Гоголь дает волж: при описании книжного магазина, где идет жаркая продажа новинок: один неуклюже восхваляет «мастерство» Пушкина («посмотрите, посмотрите, как он искусно того...») — прямое предвосхищение козноязычной речи Акакия Акакиевича); другой, «сенатский рябчик», в «истертой шинели», чиновник, с которым теперь бок о бок трудится Гоголь, особо напирает на «чувствительность» произведения и т. д. Затем появляются Элладий и Поллиор — и тон резко меняется: это два друга, истинные любители искусства. Но все же не единомышленники. Элладия радует столь откровенное выражение интереса к пушкинскому творению, он и от друга требует душевных излияний; но тот уклоняется, ибо глубокое переживание невыразимо, а подлинное искусство неподвластно рас-судку.

И все же Поллиор пускается в монолог, и из него можно узнать об искусстве нечто существенно важное: «Великий! когда разворачиваю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и гремит ко мне молниєю огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из своего беспредельного лона... что тогда?» То есть искусство, посредник между человеком и Богом, ставит смертного перед лицом Всевышнего, заставляя переживать сокровенные, торжественные минуты земной жизни. И перед произведением искусства ощуаешь потребность поклясться, как перед самим божеством. Давать клятвенные заверения Гоголю было свойственно с юношеских лет («Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделать блага» — из письма Петру Косяровскому). И вот теперь Гоголь клянется... перед пушкинской трагедией (кстати, характерно, что он называет ее «позмой» — знак высшего художественного совершенства; впоследствии это определение будет применено к «Мертвым душам»): «Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния, если кремь обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки...» и т. д.

Но что подразумевает клятвенное заверение конкретно, к какому роду деятельности относится? Тут можно отметить любопытную двойственность. Ибо отвержение корысти, лени и раболепства, проклятие

бездушному свету располагались в пределах общего лирического настроения Гоголя, проявившегося еще в его гимназических письмах или, скажем, в «Ганце Кюхельгартене» (в «Думе»). Это настроение относилось к будущей его деятельности вообще, под которой подразумевалась именно служба. Так мог сказать о себе неподкупный и деятельный государственный муж. Но нежелание нести «на торжище народных хвал» «дивные мгновения души» означает уже нечто другое. Ведь сценой подобного «торжища» открывается статья — шумным обсуждением книги Пушкина во время ее распродажи, что Поллиору представляется святотатством. И плод своей душевной деятельности, ее «дивные мгновения» Гоголь (вместе со своим героем) хотел бы уберечь от оскорбления поверхностными и бездушными суждениями, но, разумеется, не от восприятия истинных друзей искусства. Словом, подразумевается уже совсем другая, не чиновничья деятельность. «Эстетический энтузиазм» издавна одушевлял Гоголя, теперь он более отчетливо связывался с собственными, если еще не профессиональными, то все же систематическими литературными усилиями. Заметка о «Борисе Годунове» существенно продвигает самосознание Гоголя как писателя.

У искусства есть только один равносильный соперник — женщина, которой Гоголь слагает гимн в одноименной статье. Искусство пробуждает в человеческой душе Бога из ее «беспредельного лона»; женщина есть сама «язык богов». Но прежде чем дать Платону возможность высказать и аргументировать эту мысль, Гоголь предоставляет слово другому участнику диалога, платоновскому ученику Телеклесу; у того несколько иной взгляд на женщину: «Адское порождение! Зевс Олимпиец! О! Ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину!» Приступ гнева и отчаяния Телеклеса вызван изменой Алкинои, его возлюбленной.

Собственно, чувство, переживаемое Телеклесом, в точности повторяет переживания Гоголя, описанные им годом раньше в связи со встречей с незнакомкой. То была также «адская тоска», смятенность души, состояние, непереносимое для смертного. Но есть и различие. Гоголь допускал божественную природу женщины, как бы списывая губительное, негативное начало на некую человеческую добавку («это божество, но облаченное в человеческие страсти»). Для Телеклеса негативное начало в женщине тоже божественного происхождения; женщина — некая капля яда, извлеченная и брошенная в мир самим Вседержителем. Ответственность Бога за свое создание, женщину, повышена: вместе с тем освящается высшей силой ее губительное воздействие и темное начало.

Но Платон не согласен с мыслью, будто женщина воплощает темное начало и ее воздействие губительно. Пусть Алкиноя изменила Телеклесу, но как забыть то благодетельное воздействие, которое оказала ее любовь? «...Сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу!» Женщина не только говорит с мужчиной «языком богов», она составляет или, точнее, прививает ему божественное начало. «Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности». Она идея художника, поэтому процесс реализации идеи означает стремление «выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину».

Красота очевидна и убедительна сама по себе. Как писал Платон (не гоголевский, а реальный — в «Федре», 250, 57), «только одной красоте выпала на долю способность быть зримой и внушать любовь», причем истинно любящий, воспринимающий красоту припоминает нечто такое, «что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу».

«Что такое любовь? — вторит Платон у Гоголя. — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни. <...> И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного Бога, своих братьев — дотеле невыразимые землеко чувства и явления — что тогда с нею? Тогда он повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности...»

Внявший своему учителю, раскаявшийся Телеклес при виде вошедшей Алкиноя «в изумлении, в благоговении повергнулся <...> к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки». Телеклес поступает почти так, как истинно влюбленный в платоновской «Федре» при виде божественного лица: «смотрит на него с благоговением, как на бога, и если бы он не боялся прослыть совсем иступленным, то стал бы совершать жертвоприношения своему любимцу, словно изваянию или богу».

Платоновская идея красоты воспринята Гоголем в контексте романтического культа вечно женственного и его облагораживающего, цивилизующего, воспитывающего влияния; *das ewig-Weibliche zieht uns hinan* [вечная женственность влечет нас ввысь] [Гиппиус, 1924, с. 42]. При этом Гоголь сохраняет и вполне телесные, даже чувственные подробности: «...стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном ослепительном блеске, сбросив *ревнивую* обувь, выступила вперед», «полуприкрывая два прозрачные облака персей одежда трепетала» и т. д. Это едва ли не первое проявление эротизма, довольно отчетливо окрашивавшего гоголевское творчество 30-х годов.

Доля эротизма, надо полагать, подразумевалась и в том потрясающем действии, которое описывал Гоголь, говоря о своей встрече с красавицей весной 1829 года («человеческие *страсти*»). Но теперь он

стремится эстетизировать и, можно сказать, гуманизировать это чувство, покорить его, ввести в благодетельное русло. Тоска сменяется спокойствием, смятенность — благоговением, отчужденность от Бога — возвращением в его лоно; увлечение мнимым и поверхностным уступает место приверженности вечному и высокому. Окончателен ли, прочен ли этот поворот? Едва ли. Во всяком случае, у гоголевских героев мы еще встретим проявление любовного чувства в той самой разрушительной форме, которую писатель хотел преодолеть и полагал уже преодоленной. Это говорит о том, что всю сложность проблемы Гоголь ощутил буквально с первых шагов своей творческой жизни.

Красота, по известному выражению, спасет мир. Но она может и довести до пропасти, до гибели. Какая сторона возьмет верх, неизвестно, но Гоголь уже мобилизует духовные силы, чтобы верх одержало светлое начало. Для этого он ищет опору и надежду *в самой красоте и женственности*, не пряча глаз и глядя прямым взором и на телесное, чувственное.

В результате в гоголевском сознании рубежа 1830–1831 годов конкретизируется тот образ смелого мужа, который наметился еще в гимназическую пору. Это по-прежнему человек, следующий божественному предопределению, постигший «цель высшую существования», с крепкой и бодрой мыслью, презирающий предрассудки «черни», преданный не сиюминутной, преходящей, но вечной славе; но в то же время его несколько отвлеченный облик уже связывается с определенной деятельностью — и все более не столько со служебной, чиновничьей, сколько с мыслительной или художнической. Как мыслитель, философ (Платон) он обладает силой проникновения в тайное тайных бытия; как художник (Пушкин) он материализует и оживляет своих героев и тем самым пробуждает и Бога «из своего беспредельного лона». Общее у философа и поэта то, что они будят «ответные струны души», действуют на своего собеседника или читателя, на Телекlesa или Поллиора, не просто в благотворном, но в высшем смысле, так как дают ему уроки божественной мудрости. Уже у раннего Гоголя любознательность и искусство свободны и нескованны в своем протекании, но моральны и этичны в своем воздействии. Уже у раннего Гоголя учительный эффект входит составной частью в понятие мыслительности (философии) и искусства (поэзии).

«СВЯТЫНЯ ИСКУССТВА» (окончание)

Я упомянул собственно беллетристические опыты Гоголя, появившиеся в тот же период, на рубеже 1830–1831 годов, — «Главу из исторического романа» и «Учителя». Они также свидетельствуют об укреплении его самосознания и позиции как писателя. Эти опыты продолжили усилия, запечатленные в пер-

вой прозаической вещи Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», и даже пошли несколько дальше этих усилий, так как осуществлялись в свете конфликта автора и его первого редактора П. Свинына.

Дело в том, что публикация «Бисаврюка...» в «Отечественных записках» (1830. Февраль, март) сопровождалась правкой, вызвавшей неудовольствие начинающего писателя. Об этом стало известно несколько позже, когда вышла первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где «Вечеру накануне Ивана Купала» (так теперь называлось произведение) было предпослано маленькое предисловие, проливающее свет на прежнюю публикацию. Мол, один из дельцов («писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках») выманил у Фомы Григорьевича (мнимого рассказчика повести) «эту самую историю» и поместил в свое издание, представляющее собою «книжечки, не толще букваря», которые выходят в свет «каждый месяц или неделю». Это был более чем прозрачный намек на «Отечественные записки», с их малой форматностью и частой периодичностью.

Далее говорилось о том, как Фома Григорьевич увидел в печати свою повесть и не узнал ее. «Кто вам сказал, что это мои слова?» — «Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*.» — «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучый москаль*. Так ли я говорил? *Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови!*» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Хотя подобные речи велись от лица нецивилизованного «дьячка», но резкость и бранчивость выражений давали понять всю меру раздражения самого автора, то есть Гоголя.

Поскольку не сохранился автограф журнальной редакции, невозможно точно установить, какая именно правка принадлежит Свиныну. Но вполне реально предположение (в пользу его говорит словечко «москаль» в тираде Фомы Григорьевича), что издатель «Отечественных записок» освобождал текст «от просторечия и украинизмов, от чрезмерно “грубых”, с точки зрения тогдашней школьной риторики, выражений и слов» [1, 522]⁴⁵. Однако, возможно, у редакторской правки имелась и другая, еще не отмеченная цель.

В журнальной редакции есть строки, характеризующие жанр произведения, которое «дьячок Покровской церкви» (он еще не имеет имени Фомы Григорьевича) предлагает вниманию читателей: «...нам более всего нравились повести, имевшие основанием какое-нибудь старинное, сверхъестественное предание, которое нынешние умники без зазрения совести не побоялись бы назвать баснею...» В тексте «Вечеров на хуторе...» сказано лаконичнее и иначе: «...рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело...» В этом различии есть тонкость, характеризующая отклонение гоголевской художественной манеры от той установки, которая сопровождала господствующий интерес «ко всему малороссийскому».

Дело в том, что в этой установке заключалась значительная доля этнографизма и собирательства, неотделимых, впрочем, от предромантического и романтического тяготения к первоосновам культуры, к органическому, заповедному, своему, народному. В примечаниях к «Сказкам о кладах» О. М. Сомова, напечатанным в «Невском альманахе на 1830 год» [СПб., 1829] перед самым появлением гоголевского произведения, говорилось: «Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов. <...> Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями тамошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять из них особого словаря, решился рассеять их в разных повестях». Это совпадает с целью, заявленной в журнальной редакции «Бисаврюка...»: «...предложить читателю повесть, в основе которой *предание*». Но фраза из «Вечеров на хуторе...», в которой опущено слово «предание», передает более литературную, независимую от первоосновы форму изложения. В ней сильнее творческое, писательское задание.

Повторяю, мы не вправе безоговорочно приписывать первоначальную формулировку правке Свиньина; возможно, оба варианта отражают собственную волю Гоголя и, следовательно, то направление, в котором развивалось его самосознание. Во всяком случае, развивалось оно так, что Гоголь все более чувствовал себя художником, имевшим свои творческие задачи.

В «Главе из исторического романа» это развитие продолжается, может быть, даже усиливается. Уже отмечалось, что на фоне литературы с украинской тематикой гоголевские «Вечера на хуторе...» выделяются «глубоко личным отношением к своим темам» [Гиппиус, 1924, с. 30]. Такое отношение проглядывало еще в «Бисаврюке...». Проявилось оно и в «Главе из исторического романа», что может быть продемонстрировано с помощью образа автора, уже достаточно определенно сложившегося в этом незаконченном произведении.

С одной стороны, автор — беспристрастный историк, восстанавливающий былые события и постоянно имеющий в предмете временную дистанцию. «Общих ездых дорог *тогда* не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь особенная, по мнению его, самая ближайшая». «Из-за пояса торчали пишаль и изогнутая татарская сабля, — оружие, которое в *тогдашние смутные времена* всякий козак, ратник и селянин считал необходимостью всегда иметь при себе».

Автор, поступая как этнограф и бытописатель, устанавливает отличия прошлого и настоящего; но в то же время он не преминет отметить и сходство, чтобы выявить некую общечеловеческую или, по крайней мере, общенациональную черту. «Малороссиянин и до-

ныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко, и близко». Совершенно так же запутывают Чичикова, отыскивающего дорогу к Манилову, — но уже не украинские, а русские мужики, да и сам помещик: «Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать».

Но с другой стороны, автор — не холодный наблюдатель, он всю душою входит в мир своих персонажей, разделяет их переживания.

Вот перед паном Лапчинским предстала древняя старуха, как выяснилось потом, теща легендарного полковника Глечика. «С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство». От «грустного чувства» Лапчинского сделан незаметный переход к авторскому переживанию, а ведь последнее — одно из самых кардинальных, устойчивых на протяжении всей его жизни. Приведенное место прямо предвосхищает известные строки из финала «Сорочинской ярмарки» — о старухах, «на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком»; предвосхищает все, что напишет потом Гоголь о старости, в лирическом ли отступлении по поводу Плюшкина («Грозна, страшна грядущая впереди старость...»), или в повторяющихся замечаниях о «том роковом возрасте жизни, когда все становится ленивей в человеке». Вот как рано стала беспокоить Гоголя эта тема! Страшно погребение заживо. Но не менее страшно и гальванизирование умирающего. Старость неприглядна тем, что это обманчивая жизнь, сохранение ее оболочки при утрате или выхолащивании сущности. Старость поэтому механистична, марионеточна, действует нелепо и невпопад, имитирует внешнее участие при полной внутренней опустошенности; источник старческих гримас и поступков не в человеке, а где-то за его пределами — в руках у кукловода, что ли («механик своего безжизненного автомата», — скажет потом Гоголь в «Сорочинской ярмарке»).

Но ведь рядом с гальванизированием умирающего пролегает еще другая тема — оживление мертвого: как отличить одно от другого, то есть недолжное от должного? Гоголь уже нащупал и эту, вторую тему, хотя бы пока на примере творческой способности художника, вызывающего из небытия тени прошлого, и это снова служило предвестием того, что весь сложный комплекс проблемы неминуемо выдвинется со временем на первый план.

Пока же в «Главе из исторического романа» он подошел к теме искусства еще с одной, новой стороны. Сделано это опять-таки с помощью образа автора, вернее, с помощью расширения переживаний персонажа до авторских.

Перед паном Лапчинским — сосна, та самая сосна, на которой принял мученическую смерть дьякон и которая как бы стала центром всего окрестного «окаянного места». «Невольно вперил он [Лапчинский] на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать тень, одну только тень жизни из челюстей разрушения».

Сосна — некий аналог «старухи», ибо ее жизнь также призрачна; но в этом своем качестве она еще подобна «мумии», то есть продукту не природы и естества, а человеческой деятельности — ремесленничеству в сфере искусства. Между настоящим искусством и мнимым («суетным») такое же различие, как между жизнью и подделкой под нее или ее бесполезной гальванизацией. Гоголь впервые проводит грань между живым творчеством и мертвым копированием — тема, которая затем во весь рост встанет в «Портрете».

Казалось бы, различие естественное, не заключающее в себе ничего страшного: кого удивит или напугает то, что рядом с истинными шедеврами существует масса подделок? Но Гоголь констатирует различие (равно как и различие между жизнью и имитирующей ее старостью) с таким, говоря его словами, «чувством тоски и ужаса», с таким сердечным сокрушением, что ощущаешь, какая значительная проблема скрывается за всем этим. Проблема, имеющая отношение к самому мироустройству, то есть проблема философская и онтологическая. Пока это все только чувствовалось и нащупывалось; попытки распутать и развязать клубок начались потом.

Сюжетное содержание «Главы из исторического романа» довольно неопределенно: проясниться оно должно было в развитии всего произведения, частью которого являлась «глава». Ясно только, что, выполняя волю польского короля Казимира, пан Лапчинский разыскивает некоего Глечика, миргородского полковника, «начальника какой-то шайки». Казимир, по-видимому, рассчитывал на союзничество Глечика, однако поведение встреченного Лапчинским незнакомца (тот не знает, что это сам Глечик), рассказ последнего о зверствах поляков, «огненный» взгляд, который он бросает при этом на пана, — все это ясно дает понять, на чьей он стороне. Действие главы обрывается в кризисной точке, когда Лапчинский узнает, что таинственный спутник, приведший его в свою хату, и есть полковник Глечик.

Незадолго до гоголевской публикации, в 1829 году, появился «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, произведение, открывшее фактически эру отечественного исторического романа. Под влиянием Вальтера Скотта и его русских последователей понятие романа как жанра стало ассоциироваться преимущественно с историческим романом и при этом наполняться очень широким пространственным и временным смыслом. Разбирая произведение Загоскина, Пушкин писал в «Литературной газете» (1830. 21 января): «В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Следуя господствующим веяниям, Гоголь намеревался «развить» в своем романе историческую эпоху борьбы Украины с Польшей за свою государственную и национальную самостоятельность. Это говорит об осознании им своей писательской миссии.

Но, пожалуй, еще характернее в этом смысле другое произведение — «Глава из малороссийской повести: Страшный кабан». Утверждение, которое может прозвучать неожиданно: велико ли значение ее темы и предмета изображения: вместо перипетий явной и тайной борьбы двух народов, украинцев и поляков, — мелкие домашние происшествия в «благословенных местах голтвянских», в имении некой помещицы Анны Ивановны; вместо колоритных героев, предводителя шайки, королевского посланника — бывший семинарист, теперь домашний учитель, а еще кухмистр, мирошник, то есть мельник, и т. д. И все это происходит не в далеком прошлом (как в «Бисаврюке...»), а во времена Гоголя. Но в подобных переменах — характерологических, временных и т. д. — заключался весь смысл.

В произведении на фольклорную тему писатель опирается на авторитет предания, легенды, обычая и т. д.; исторический романист — на авторитет истории. Народность и история уполномочивают автора, оправдывают его выбор. Пишущий о современности — бытовой, повседневной, с персонажами, не претендующими на историческое бытие, отвечает за свой выбор сам.

Правда, до некоторой степени внешний авторитет в упомянутом произведении Гоголя создается все той же ее украинской тематикой (напомню снова: «здесь так занимает всех все малороссийское»). Однако глава из «малороссийской повести» «Учитель» и появившийся вслед за тем другой отрывок из той же повести — «Успех посольства» [Литературная газета. 1831. № 17. 22 марта] разочаровали бы тех, кто ждал от них резкого и красочного этнографизма. Этнографическая окраска картины умеренна. На ней запечатлены, конечно, «малороссияне», но более со стороны общечеловеческих свойств. Это проявилось в характере комического в гоголевской повести.

В сферу комического попадают прежде всего женщины с теми их качествами, которые издавна служили в литературе объектом насмешки. По прибытии в село нового лица (учителя) тамошние жительни-

цы «не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который по неисповедимым велениям судьбы у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко разворачивали его в опровержение и защиту достоинств учителя».

Затем предметом комического становится область физических отклонений человека, например еда, описываемая как важное действие: «Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он [учитель], казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистой, будто из фабрики». Здесь начинается уже вереница смачных и подробных сцен всяческих угощений и кормлений, которая пройдет через все творчество Гоголя, — бесконечные закусывания Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, поедание дыни Иваном Ивановичем или огромного осетра — Собакевичем, богатырский обед Петуха и т. д.

Впервые в главах из «малороссийской повести» источником комизма становится у Гоголя и сфера соприкосновения человеческого мира с миром животных, а также вещей. Линия, отделяющая эти миры, чрезвычайно подвижна и прихотлива; возможны уподобления, сходство одного с другим, фамильярные контакты, вроде того, который позволяет себе дворовый пес в отношении учителя: «...Едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы...» (прямое предвестие той «дружбы», которую оказал Чичикову пес Обругай). В качестве же примера подвижности соотношения человеческого мира с вещным может фигурировать «какой-нибудь инвалид-горшок» среди прочей домашней утвари, «которому, несмотря на раны и увечья, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями».

На комический эффект рассчитано и описание внешности персонажей, особенно главного, каким, по-видимому, является учитель Иван Осипович. Лицо его «и окладом, и цветом совершенно походило на бутылку». «Огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку» (опять предвосхищение излюбленного гоголевского мотива — персонажи гримасничают, делают произвольные движения и т. д.). «Глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен».

Авторская оговорка по поводу глаз весьма важна: Иван Осипович — не «герой романа». Это комический герой или, что то же самое,

герой комического эпоса — род литературы для Гоголя новый. Быть может, его начатки содержались в юношеской сатире «Нечто о Нежине...», но последняя не сохранилась. Характер учителя не обведен еще четкой, отграничивающей линией. В нем угадывается и что-то чичиковское (умение ко всем приноровиться), и одновременно нечто от Ивана Федоровича Шпоньки (скромность и застенчивость). Убоявшийся «бездны премудрости» и оставивший семинарию ради домашнего репетиторства, Иван Осипович явно не силен по части чистого мышления; впрочем, и его некоторые практические свойства, например искусство нравиться женщинам, оказываются под вопросом. В «Успехе посольства» выясняется, что Катерина, к которой кухмистер отправился по просьбе учителя как «представитель его страсти», отдает предпочтение самому послу. Быть может, Ивану Осиповичу отводилась роль малороссийского Дон Кихота, вообразившего, что его любят местные Дульцинеи.

И все же такой персонаж — нескладный, некрасивый, нелепый — пользуется определенным авторским расположением. Можно было бы привести маленькую деталь — Гоголь «одаряет» своего героя скруточком того самого синего цвета, о котором страстно мечтал при окончании Гимназии («... мне очень бы хотелось сделать себе [фрак] синий с металлическими пуговицами...»; пуговицы, правда, у Ивана Осиповича другие, косяные), но деталь эта может быть и случайной. Куда важнее то, что некоторые авторские ощущения, которым предстояло затем играть существенную роль в его художественной философии, зарождаются как бы на границе внутреннего мира персонажа, сообщая этому миру некий более высокий смысл. «Скоро осмотрел он [учитель] обступивший в неровный кружок просторный господский дом <...>, с особенным удовольствием остановился на густоразросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листьям ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших». Да ведь это прообраз знаменитого сада Плюшкина, скрывающего в своем «картинном запустении» некую тайну жизни! На сцене «малороссийской повести» (как и потом — первого тома поэмы) действуют все комические персонажи, но от бурно разросшегося сада пахнуло на эту сцену мрачным, таинственным духом, придающим всему происходящему более глубокую перспективу. И перспектива эта не без оттенка трагизма! Иначе зачем же понадобилось «вызывать на поприще» музу трагедии?

Опубликованные два фрагмента из «малороссийской повести» — «Учитель» и «Успех посольства» — свидетельствуют о том, что заду-

мано большое произведение: между этими фрагментами есть сюжетные пропуски, которые или заполнены в не дошедших до нас частях, или же должны быть заполнены потом. Обращает на себя внимание параллельная работа над «Гетьманом»⁴⁶ и «Страшным кабаном» — двумя различными по стилю вещами, условно говоря, историко-героической, высокой, и бытовой, низкой.

Такой параллелизм станет постоянным для Гоголя: во второй части «Вечеров на хуторе...» — «Страшная месть» рядом с повестью о Шпоньке, в «Миргороде» — «Тарас Бульба» рядом с повестью о ссоре, да и позднее, в интервале работы над «Мертвыми душами», пишется трагедия из жизни Запорожской сечи, условно названная «За выбритый ус».

На рубеже 1830—1831 годов появились и первые сочувственные отклики на произведения Гоголя.

В «Северных цветах на 1831 год», в той самой книжке, в которой печаталась «Глава из исторического романа», О. Сомов в своем очередном критическом обзоре одобрительно отозвался о «Бисаврюке...». Критик скорее всего знал, кто является автором этой повести.

А спустя месяц появилась вторая книжка «Московского телеграфа», где из всей прозы «Северных цветов» выделялись лишь две вещи — «Последний квартет Бетховена» В. Одоевского и гоголевская «Глава из исторического романа». Рецензент заключал: «...что удерживает этих анонимов (повесть Одоевского также явилась без полного имени автора. — Ю. М.) заниматься литературою: робость или собственное сознание, что их не достанет на многое и большое? В сем случае не худо им помнить, что и упасть в труде лучше, нежели нерешительно останавливаться на безделках, хотя бы сии безделки и доказывали неоспоримое дарование сочинителей». Даже такое нравоучение со стороны критика не могло обидеть Гоголя: во-первых, в нем признавали «неоспоримое дарование», а во-вторых, поощряли на большой литературный труд, что шло навстречу собственным его устремлениям.

Рецензенту «Московского телеграфа» вторил критик «Телескопа» (это был, несомненно, Н. Надеждин). Интересно, что он также поставил гоголевскую вещь вслед за повестью В. Одоевского: «Квартет Бетховена [так!] прекрасен. <...> С удовольствием также можно прочитать “Главу из исторического романа” <...>, в коей быт малороссийский изображается вольною и широкою кистию» [Т. 1831. № 2. С. 229].

Похвалы хоть и беглые, но определенные. Они растворяли неприятный осадок, оставшийся у автора после разгромной критики «Ганца Кюхельгартена», укрепляли веру в свое писательское призвание.

И тем не менее он испытывает еще одно средство, чтобы, как говорил П. Анненков, «открыть себе дорогу в этом свете». К своим служебным, художественным, писательским занятиям, к своей актерской попытке Гоголь прибавляет еще профессию педагога.

ПОД ЗНАМЕНАМИ ПЕДАГОГИКИ

Публикация гоголевской статьи «Несколько мыслей о преподавании детям географии» сопровождалась следующим редакционным примечанием: «Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, который совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей...»

Из слов М. Н. Лонгинова известно, что Гоголь стал домашним учителем «в начале 1831 года» [Воспоминания, с. 70], и эта дата принята в науке [см., например, X, 19]. Между тем номер «Литературной газеты» с упомянутой статьей и редакционным примечанием вышел 1 января, и к этому времени, как видим, Гоголь уже имел «юных питомцев» и обнаружил интерес к своему новому делу. Значит, преподавание началось еще в 1830 году, может быть, в декабре. Этим косвенно подтверждается и тот факт, что знакомство Гоголя с Жуковским и Плетневым также состоялось не позже декабря. Ведь именно Плетнев и Жуковский помогли ему получить уроки. «Плетнев ввел его наставником детей в дома А. В. Васильчикова и П. И. Балабина...» [Кулиш, 1854, с. 42]. М. Лонгинов: «Гоголь был рекомендован моим родителям покойным В. А. Жуковским и П. А. Плетневым, которые, по дружбе своей к ним, всегда принимали живое участие в деле нашего воспитания и образования» [Воспоминания, с. 70]. Такая рекомендация, между прочим, показывает, что оба поручителя хлопотали об уроках Гоголя вовсе не только с целью поддержать его материально — они считали, что тот выбирает свое жизненное дело. Плетнев напишет позднее Пушкину: «Сперва он пошел было по гражданской службе, но *страсть к педагогике* привела его под мои знамена».

Примерно в одно и то же время — вначале у Лонгиновых и Балабиных и, видимо, несколько позже у Васильчиковых — Гоголь приобрел несколько учеников.

У генерал-лейтенанта Петра Ивановича Балабина Гоголь давал уроки его десятилетней дочери Марии.

У Николая Михайловича Лонгинова, статс-секретаря, заведовавшего учреждениями ведомства императрицы Марии, обучал трех его сыновей, в том числе и младшего из них, семилетнего Михаила, будущего библиографа и историка русской литературы, а также крупного чиновника. Благодаря воспоминаниям последнего мы несколько подробнее знаем о деятельности Гоголя-учителя.

Собственно, взяли его в дом для преподавания русского языка, но молодой учитель легко преодолевал границы своей дисциплины. «Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических

делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий — речь зашла о введении во всеобщую историю. <...> После этого классы продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, то есть один посвящался естественной истории, другой — географии, третий — всеобщей истории».

Нежелание Гоголя оставаться в рамках одной грамматики, стремление захватить побольше и сказать обо всем объяснялись его умонастроением; последнее же вытекало из господствующего духа времени. Познать мир — значит ощутить его цельность и универсальность; потом уже можно двигаться к частностям и подробностям. Именно так рекомендовал он построить курс географии.

«География, по моему мнению, должна быть преподаваема воспитанникам в два различных возраста их детства. В первом классе должен быть наброшен весь эскиз мира; все части земного шара должны составить одно целое, одну прекрасную поэму, в которой выразилась идея великого Творца. В поэме этой все должно быть ясно, все поставлено, утверждено на своем месте; в ней все должно быть живо, ярко, всякая часть должна соответствовать прочим и ни одна не должна принимать окончательной мелкой отделки. В другом классе или возрасте эта идея, начертанная в голове воспитанника, только раздвигается. Тут он рассматривает в микроскоп тот самый мир, который схватил он доселе простым взглядом».

Своих учеников, братьев Лонгиновых, Гоголь числил пока «в первом классе», поэтому набрасывал перед ними «весь эскиз мира», выходя при этом и за рамки географии в естественную и всеобщую историю. Дифференциацию и уточнение знаний он оставлял на следующие «классы». Получалось, что младший возраст мудрее старшего, так как прямее ведет к цели, к ощущению «идеи великого Творца».

Замечательно, что создаваемую наукой постройку, отражающую эту «идею», Гоголь именуется «поэмой» — так же как пушкинского «Бориса Годунова». «Поэма» обозначает высшую степень совершенства, то есть как бы боговдохновенность произведения и искусства, и научной мысли.

В то же время обращает на себя внимание, сколь большую роль отводит Гоголь внешней форме, требуя от нее ясности и определенности. Он рекомендовал прибегать к различным картам и картонным вырезкам: «Положив одно государство на другое, например Францию на Россию, он [ученик] тотчас увидит, сколько раз содержится она в России». М. Лонгинов вспоминает, что Гоголь приносил на урок составленные им синхронистические таблицы «для преподавания истории по новой методе и, кажется, содействовал В. А. Жуковскому в составлении новой системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии»⁴⁷. Делалось это в целях дидактических, — но не только.

Гоголевское стремление к наглядности отражает связь дисциплин, например географии с историей. «...Если воспитанник проходит в это

время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей». Это та самая идея, которую впоследствии более четко сформулирует П. Редкин, соученик Гоголя по нежинской Гимназии, профессор правоведения: «Справедливо называют хронологию и географию очами истории. Без знания времени и места исторического события оно превратится в безобразное отвлечение, ибо всякая мысль является бытием именно под историческими условиями пространства и времени» [Редкин, с. 63].

Географическая среда — подмостки исторических событий, но также и фактор, определяющий судьбу народа. У Гоголя мы встретим и отзвуки учения Монтескье о влиянии климата, почвы и состояния земной поверхности на национальный дух и характер общественного развития. «При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физиогномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин: от климата, от положения земли...»

Но, быть может, особенно характерно для понимания гоголевской наглядности то, что он рекомендует преподавателю изготовить карты, отражающие «расселение просвещения по земному шару». «Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и наконец превращаются в мрак, по мере того, как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом». В глубинах гоголевского сознания наглядность соединяется с просветительством. Он верит — хочет верить — в неуклонное развитие просвещения, чей ход поддается чуть ли не плакатному запечатлению. Он верит в мысль ученого, в убеждающее слово учителя; посредством мысли и слова можно овладеть истиной, а значит, и преодолеть хаотичность и неустроенность мира, подобно тому как можно гуманизировать эротизм и любовное чувство. Для Гоголя начала 30-х годов это был единый процесс и одна духовная задача; при этом точку опоры для противобойствующей тенденции он ищет в самой красоте и в самой науке.

Была ли эта задача окончательно решена? Прочитаем следующее место из той же статьи: «Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. <...> Тут на всем отпечаток величественных потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли».

В подземном царстве совершаются созидательные превращения лесов — в каменный уголь, раковин — в мрамор, но не только превращения созидательные. Тут и землетрясения, и извержения вулка-

нов («...дышат вечные огни...»). Еще не появился «Последний день Помпеи» К. Брюллова, картина, по поводу которой Гоголь будет про-никновенно говорить о земных катаклизмах; еще не написана «Страшная месть» с финальной сценой всеобщего бедствия («...и пошло от того трясение по всей земле... и много задавило народу»); не было еще языковского «Землетрясения» («лучшее <...> из всех русских стихотворений»), но уже обозначился интерес писателя, как он выразился, к «подземной географии». Замечательно, что эта тема даже поставлена на особое место («нет предмета более поэтического»).

Подземное сродни ночному, скрытому, таинственному, подсознательному. Их источник — Бог, в чьей премудрости Гоголь не сомневается («душа чувствует великие дела Творца»). Но пройдет время, и рядом с эпитетом «великий» появится и другой — «страшный» («Страшная месть»).

Мысль и слово, анализирующее и убеждающее, должны высветить и покорить все неясное и темное, которые, однако, Гоголь уже ощущает как самостоятельную и могущественную сферу бытия.

Как учитель он хотел бы, чтобы эта сфера неуклонно сужалась, что одновременно будет означать расширение круга воспитанников. «Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти, — заключает Гоголь статью. — Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за неспособного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?» Гоголь, вероятно, отталкивается от лично пережитого: его ведь тоже в иные времена склонны были считать не очень способным. Во всяком случае, внимание «дитяти» ко всему страшному и испытываемые при этом беспокойство и боязнь — черта определенно гоголевская. И Гоголь хочет действовать проверенным для него методом обращенного чувства, «задабривая» интерес к таинственному в пользу знания и претворяя тьму в свет.

Домашние уроки Гоголя протекали довольно удачно. «Это не мудро, — говорит М. Лонгинов, — они так мало походили на другие классы; в них не боялись мы ненужной взыскательности со стороны учителя, слышали от него много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу» [Воспоминания, с. 71]. О молодом педагоге-энтузиасте начинают говорить. «Мне любо, когда не я ищу, но моего ищут знакомства» (из письма Марье Ивановне от 10 февраля 1831 г.).

Среди знакомых Гоголя — матери его питомцев. По словам М. Лонгинова, он скоро и легко стал коротким знакомым его «матушки», да и вообще «сделался в нашем доме очень близким человеком». Познакомился Гоголь и с женой генерал-лейтенанта Балабина Варварой Осиповной, урожденной Paris, француженкой по происхождению, и

с Александрой Ивановной Васильчиковой. Последняя была дочерью московского военного генерал-губернатора И. П. Архарова. Теперь Гоголь уже не чувствует себя в городе таким одиноким.

Под впечатлением этих знакомств он писал матери 16 апреля 1831 года: «Более всего удивлялся я уму здешних знатных дам (лестным для меня дружеством некоторых мне удалось пользоваться). Они, можно сказать, еще вдвое образованнее мужей своих. Никогда не думал я, чтобы женщина <...> могла иметь столько самоотвержения, столько любви к своим детям, чтобы, отказываясь от всех посещений и даже зазывов во дворец, посвящать и проводить с ними все время».

Вскоре педагогическая деятельность Гоголя выходит за пределы частных домов. Будучи инспектором Патриотического женского института, П. Плетнев устроил его в это весьма солидное учебное заведение, находившееся под покровительством самой императрицы. 6 февраля начальница института Л. К. Вистингаузен подала представление, на которое 9 февраля императрица наложила резолюцию о назначении Гоголя младшим учителем истории [РС. 1887. № 12. С. 41]. Это тотчас отразилось на приподнятом тоне письма Гоголя к матери, написанного на следующий день: «Верьте, что Бог ничего нам не готовит в будущем, кроме благополучия и счастья».

А еще через несколько дней, 23 февраля, он подает Л. Перовскому прошение об увольнении его «по домашним обстоятельствам» из Департамента уделов. Просьба была удовлетворена [Материалы, т. 1, с. 301], и таким образом Гоголь *навсегда распрощался с чиновничьей службой*, а вместе с ней и с той мечтой, которая вдохновляла его с гимназических лет.

Все это показалось бы естественнее, если бы гоголевскому решению предшествовал более или менее последовательный ряд симптомов. А то ведь после первых неудач и разочарований в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий он с поступлением на новое место, в Департамент уделов, испытывает душевный подъем, производит страстный панегирик государственной службе, намеревается терпеливо и неуклонно подниматься по иерархической лестнице, — и вдруг заявляет, что «рад оставить ничтожную службу». Не прошло и девяти месяцев — и гоголевский энтузиазм развеялся в пыль. Откуда такая стремительность отречения и легкость перехода к новому? Понять это можно в свете тех особенностей его духовного и профессионального становления, которые отмечались выше.

Гоголь мысленно имел перед собой не один путь, а несколько; это позволяло ему сравнительно безболезненно отказываться от одних средств в пользу других, более предпочтительных. Вместе с тем у этих средств и путей существовала глубинная, с первого взгляда незаметная связь.

При всей страстности своей служебной идеи и государственной утопии Гоголь представлял себе их не столько административно, сколь-

ко поэтически. Нет, он вовсе не пренебрегал практической стороной дела — поощрением начальства, продвижением по службе и т. д.; напротив, мечтал об этом, мечтал о получении высоких, может быть, высших должностей в государстве. Но каким образом? Прежде всего благодаря своей всеобъемлющей мысли, глубокому пониманию сущности законов (не зря же он посвящал себя естественному и отечественному праву на уроках Белоусова) и человеческой природы. Ему казалось, что он сумеет открыть и сформулировать нечто существенно важное, что сделает его необходимым всей государственной машине и вознесет его на самую вершину общества. В его мечте было что-то от грезы ребенка, который, меняя «профессии», все же рисует свое будущее примерно в одинаковом свете. У этой одинаковости, однако, есть более серьезная окраска — окраска времени, предромантического и романтического, стремившегося к универсальности, а значит, и подспудному родству всех отраслей знания и всех высоких человеческих занятий. В сущности, обращаясь к педагогике или к науке, например к истории, Гоголь продолжает то, чем должен был, по идеальным его понятиям, заниматься на службе — испытывать, как он говорил, свой «многосторонний, деятельный ум», проникающий в тайное тайных Божьего творения. Отсюда возможность сравнительно легкого перехода от одной формы деятельности к другой, в данном случае от чиновничьей к преподавательской. То, что это было преподавание *истории*, повышало в глазах Гоголя привлекательность его нового назначения: история вмещает в себя результаты других дисциплин, относящихся к человеческому бытию, и прямее ведет к цели.

В мае 1831 года, когда А. Данилевский, оставив преждевременно Школу гвардейских подпрапорщиков, коротал дни на родине, Гоголь писал ему: «Я думаю нами обеими [так!] не слишком довольны дома — мною, что вместо министра сделался учителем, тобою, что из фельд-маршалов попал в юнкера». Гоголь не любил шутить над тем, что еще не отболело, еще кровоточило. Но о расставании с мечтою сделаться «министром» он говорит с легкостью и без огорчения.

П. Кулиш писал, что из своей службы Гоголь извлек «только разве ту пользу, что научился сшивать бумагу. Об этом он упоминал не раз, показывая сшитые в тетради письма Пушкина, Жуковского...» [Кулиш, 1854, с. 42]. Но «польза» была и другая. Помимо внутреннего знания чиновничьей жизни, которое отложилось в памяти и затем неоднократно служило творческим ресурсом и в «петербургских повестях», и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах», помимо этого, важен был и нереализованный стимул государственного служения, подспудно живший в писателе, хотя и проявлявшийся в разные времена в неодинаковой степени — то сходящий на нет, то занимавший доминирующее место.

С поступлением в Патриотический институт изменился к лучшему и образ жизни Гоголя. В институт, который располагался на Василь-

евском острове, между 10-й и 11-й линиями у Большого проспекта, он ходил не каждый день, как прежде в департамент. «Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаю теперь 6, между тем как жалованье даже немного более...» [X, 194].

Не прошло и месяца со дня прихода в институт, как Гоголь получил повышение: его перевели на должность старшего учителя истории с правом на получение чина титулярного советника [РС. 1902. № 9. С. 652].

«Но между тем занятия мои, — сообщал Гоголь матери 16 апреля 1831 года, — которые еще большую принесут мне известность, совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке: для них теперь времени много».

Гоголь продолжает роман «Гетьман» и повесть «Страшный кабан», а главное — пишет произведения, которые вскоре составят первую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

К весне книга была собрана и, как свидетельствует письмо Гоголя А. Данилевскому от 2 мая, уже находилась в типографии.

ПАСИЧНИК РУДЫЙ ПАНЬКО И ГРАФ КОЧУБЕЙ



происхождении псевдонима и названия книги рассказывает П. Кулиш. Рассказывает явно со слов участника этого события — Плетнева.

«Не зная, как распорядиться этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее *incognito* и придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в публике любопытство. Так появились в свет “Повести, изданные пасичником Рудым Паньком”, который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею» [Кулиш, 1854, с. 45]. Итак, заглавие книги выполняло одновременно две функции — защитную и интригующую. Возможно, была и третья функция, которую и Гоголь, и Плетнев подразумевали, но открыто не сформулировали...

Что касается защиты от «предубеждения людей, которые знали Гоголя лично», то среди таковых были вчерашние его сослуживцы, чиновники помельче и покрупнее, с которыми приходилось встречаться чуть ли не ежедневно. Зависть и недоброжелательство к выдающемуся человеку его сослуживцев — дело известное; об этом хорошо писал В. Ф. Одоевский, причем едва ли не имея в виду какие-то реаль-

ные факты отношения к Гоголю: «...сплошь да рядом великая мысль, гениальное произведение встречаются у нас против себя даже какое-то непостижимое ожесточение; нам кажется странным, даже обидным, что человек, который вышел из нашей среды, что-то сделал. “Кто это великий писатель, Гоголь-то? — да помилуйте, мы с ним вместе служили!”» [Глинка, с. 201].

Хотелось обезопасить книгу Гоголя и от предвзятости, вызванной ранее опубликованными его вещами. Эти вещи понравились, заслужили одобрение, однако, видимо, не у всех, а кроме того, Плетнев сознавал, что новые повести сильнее и совершеннее фрагментов из «Гетьмана» и «Страшного кабана». Правда, с выходом «Вечеров на хutore...» разоблачалось авторство «Бисаврюка...», появившегося в журнале П. Свинына без подписи; но Гоголь полагал, что после доработки и освобождения повести от редакторской правки ему не придется за нее краснеть.

Инкогнито должно было обезопасить автора и в другом отношении — в отношении «литературных партий». Если не считать «Бисаврюка...», то прежние его произведения появились в изданиях пушкинского круга, «Северных цветах» и «Литературной газете», с которыми враждовали, с одной стороны, «Северная пчела» и «Сын отечества», а с другой — «Московский телеграф». Расписаться в своем участии в пушкинских изданиях — значит сделать книгу предметом литературной политики и сведения счетов, и Плетнев благоразумно посоветовал избежать этого.

Затем, как я сказал, «заглавие» должно было повысить интерес к книге. Нужно было подчеркнуть единство произведений, задуманных и написанных независимо друг от друга и не имеющих общего сюжета и персонажей. И притом сделать это в современном вкусе, отвечающем господствующим настроениям и ожиданиям читателя. Для этого очень пригодилось представление о цикле, весьма старое, но получившее новую жизнь в предромантическую и романтическую эпоху. В «Серапионовых братьях» Гофмана, «Фантазусе» Тика и других единство создавалось самым актом рассказывания, локализованным во времени и пространстве и объединяющим если не персонажей повестей, то «авторов» и рассказчиков. Если несколько человек собираются в условленные часы и в определенном месте, чтобы поведать друг другу нечто достойное внимания, то возникает род совместного действия, невольно бросающего свет и на содержание их рассказов и таким образом создающего или оттеняющего момент внутреннего единства. О внутреннем единстве гоголевской книги читатель мог судить лишь по ее прочтении; зато единство внешнее автор не преминул заявить немедленно — фигурой мнимого собирателя и издателя, а также точным указанием места и времени, в которые рассказывались предлагаемые истории.

И тут очень важно, что рассказывались они вечером, что это именно «Вечера...». Длинная вереница «вечеров» тотчас вставала в памяти чи-

тателя: «Деревенские вечера» Н. Карамзина (1787), «Славенские вечера» В. Нарезного (1809), «Сельские вечера» А. Буниной (1811), из зарубежных произведений, имеющих, однако, прямое отношение к России, — знаменитые «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о временном правительстве Провидения» Жозефа де Местра (1821), затем, конечно, уже упоминавшийся «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского (1828), — не называю книг, появившихся уже после гоголевской, например, «Вечер на Хопре» М. Загоскина (1834) или «Вечера на Карповке» М. Жуковой (1837).

Вечер — время отдохновения, располагающего к задумчивости и мечтательности, единению с окружающим миром (в предисловии к «Славенским вечерам» сказано, что автор любит думать о прошлом на «берегах моря Варяжского... в отдалении от пышного града Петрова»). Вечер — также время встреч после занятий или службы, свободного общения, не скованного никакими заботами или правилами, время большей откровенности, эмоциональности. Все это обозначено в предисловии к «Вечерам на хуторе...» с добавлением откровенно полемической интонации по отношению к петербургскому, столичному миру. Мол, украинские «вечерницы» похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем: «...на балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку», на вечерницах же нет места скуке и деланному веселью, правит искренность и безудержная радость: «...подыметя крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя».

Эпоха романтизма привнесла в понятие «вечера» свою окраску, захватившую как явления литературы, так и самой жизни. «Стало своеобразной традицией, а может быть, даже и модой, собравшись по вечерам, сочинять устные повести на манер гофмановских» [Ботникова, с. 13]. В доме А. А. Дельвига, по воспоминаниям его двоюродного брата, А. Мицкевич «целые вечера импровизировал разные, большей частью фантастические повести в роде немецкого писателя Гофмана» [Дельвиг, с. 106].

Вечер — время таинственного, чудесного, иррационального. Это значение также указано предисловием к гоголевской книге: «Боже ты мой! Чего только ни расскажут! Откуда старины ни выкопают! Каких страхов ни нанесут!» Вечер плавно перетекает в *ночь*, а это уже апогей таинственного и чудесного. Ночь — время высших философских откровений, но одновременно и пик иррациональности, когда сам древний хаос встречается с нашей душой. В первой части гоголевской книги действие уже несколько раз захватывает ночные часы (краешком в «Сорочинской ярмарке», больше — в «Вечере накануне Ивана Купала», «Майской ночи...» и в «Заколдованном месте»), но заглавием и предисловием закреплен именно *вечер*, время переходное, промежуточное (ср. перенос центра тяжести у В. Одоевского — «Русские *ночи*», 1844; случай, также имеющий свою традицию: «Флорентийские *ночи*»

Г. Гейне, 1836; «Гимны к ночи» Новалиса, 1800, и т. д.; ср. также более позднее произведение Гоголя «Ночи на вилле», 1839).

Организация материала «Вечеров на хуторе...» потребовала введения нескольких рассказчиков. Один повествователь у Гоголя уже был — дьячок Покровской церкви, рассказавший «Бисаврюка...». Теперь рассказчик получил имя — Фома Григорьевич и более или менее подробную характеристику в общем введении к первой части и введении к повести. В расчете на этого рассказчика, видимо, с самого начала писалась «Пропавшая грамота».

Зато более литературные, не ориентированные на сказ «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» не имели своего повествователя, и для выдержанности жанра книги потребовалось срочно вводить новое лицо — панича, привыкшего рассказывать «вычурно да хитро, как в печатных книжках». Ему-то, по-видимому, и была приписана задним числом «Сорочинская ярмарка»; в отношении же «Майской ночи» положение так и оставалось неразъясненным: может быть, ее рассказал тот самый «панич в гороховом кафтане», а может быть, кто-то другой. Гоголю важно было создать впечатление множественности рассказчиков: за спиною панича и Фомы Григорьевича показался еще какой-то посетитель «вечеров», мастер рассказывать «такие страшные истории, что волосы ходили на голове». Эти истории оставлены до следующего случая, да и сам Рудый Панько сохранил за собою на будущее право поместить собственную «побасёнку».

Что же касается пространственной локализации «вечеров», то тут предоставлялись различные возможности. В тексте первой части упоминаются Сорочинцы, Гадяч, Миргород, из более дальних мест — Конотоп и Батурин; но Плетнев и Гоголь решили остановиться на Диканьке. Диканька в тексте повестей (речь идет о первой части) упоминается только один раз — в «Вечере накануне Ивана Купала» (село располагалось «не дальше ста шагов от Диканьки»), причем интересно, что в журнальном варианте этого названия вообще не было. Едва ли отсутствие названия Диканьки объяснялось вмешательством П. Свинына, чья редакторская правка шла в другом направлении (приближение текста к сентиментальному бытописанию). Скорее всего, Гоголь вписал слово «Диканька» именно для книжной редакции, быть может, уже в связи с намечающимся названием всего сборника. Соответственно и Фома Григорьевич (во введении) представлен теперь как «дьяк *диканьской* церкви», а из заглавия повести снято название *Покровская* церковь. Дело в том, что в Диканьке Покровской церкви не было — существовали Николаевская церковь (в которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее будущего ребенка, Николая) и Троицкая. Гоголь не стал пояснять, какая церковь имелась в виду, заменив название звездочками («...***ской церкви»).

Упоминание Диканьки приводило на память пушкинскую «Полтаву», незадолго перед тем увидевшую свет (в конце марта 1829 г.).

Ход действия поэмы частично затрагивал это место, то есть, как пояснял автор в примечании, «деревню» В. Л. Кочубея; фигурировало и само ее название («Мы знаем: не единый клад / Тобой в *Диканьке* укрываем...») — страшал Кочубея Орлик, один из сподвижников Мазепы). Об этом уже говорилось выше (в главе «По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...»), как и о том, что топографическое наименование заставляло вспомнить нынешнего владельца имения — графа, а с декабря 1831 года еще и князя В. П. Кочубея. Именно на него в первую очередь было рассчитано включение слова «Диканька» в заглавие книги.

Виктор Павлович Кочубей находился в это время в апогее своей власти, будучи председателем Государственного совета и Комитета министров. Прикрыться именем такого человека было делом вовсе не лишним. По-видимому, своим советом Плетнев прежде всего преследовал цель создать у читателей впечатление, будто автор находится под покровительством своего влиятельного земляка, что книга, так сказать, выпорхнула из-под его крыла. При этом, вольно или невольно, заглавие книги должно было также привлечь внимание самого Кочубея, потрафить ему, в чем состояла еще одна, необъявленная его функция.

Чуткий на подобные дела, Ф. Булгарин все это хорошо разгадал: «Заглавием книги заменялось посвящение ее просвещенному вельможе...» [СП. 1847. 11 января]. И в другом месте: «Издав “Вечера на Диканьке”, он был принят под покровительство князем В. П. Кочубеем...» [КС. 1893. № 5. С. 322]. Если о встречах Гоголя с Кочубеем до издания «Вечеров на хуторе...» точных данных нет (хотя исключать их нельзя), то после выхода книги они подтверждаются документально: из письма Николая к матери от 10 марта 1832 года видно, что тот бывает в доме Кочубея⁴⁸. Трудно поверить в то, что Гоголь при этом не поднес князю первую, а позднее и вторую часть своей книги.

Но таково уж было свойство Гоголя, что, и выказывая кому-либо полную преданность, он всегда сохранял свое особое место. Всегда он оставался себе на уме, хотя не всегда козырял этим; скорее, прикрывал эту самостоятельность наивным лукавством: заметили — хорошо, не заметили — еще лучше. Фигура простодушно-хитрого пасечника пришлась для этого весьма кстати⁴⁹.

Рудый Панько восхищается диканьским домом Кочубеев: «А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого». Но он же и сознает дистанцию, отделяющую его «пасичников курень» от «покоев великого пана», куда заходить мужику накладно («Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..») — эти строки уже приводились).

Рудый Панько выступает у Гоголя зачинателем «провинциального» сказа [Виноградов, с. 213], который, с одной стороны, строится на открытом противопоставлении провинциального столичному, де-

ревенскому светского, своего чужому, а с другой — эту границу нарочито стирает, но так, что она комически еще более заостряется: «Пи́ли ли вы когда-нибудь, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам, подчас, есть пудрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев!» Все бытовое, материальное подается крупным планом, поскольку повествователь убежден, что это имеет всеобщий интерес.

Мы видим, что какие бы внешние, тактические, конъюнктурные цели ни преследовало название книги, оно (заведомо или в конечном счете) сливалось с ее внутренней, поэтической сущностью. Это относится и к названию «Диканька». Сигнал для графа Кочубея, знак близости неизвестного автора к могущественному вельможе — слово в то же время начинало играть всеми своими явными и полускрытыми значениями. Диканька — нечто далекое, удаленное от центра, от «света». Диканька — первозданное, сохранившее свою самобытность, не затронутое цивилизацией, но Диканька — и нечто невероятное, «дикие речи, вздор, враки, пустяки, нисенитница», как определено понятие «дичь» у В. Даля, и не только «пустяки», но и невероятно страшное, пугающее. Кстати, значение необычного, странного было предудказано в предисловии: «...нигде, может быть, не было рассказываемо столько *диковин*, как на вечере у пасичника Рудого Панька».

Участием Плетнева гоголевская книга была соответствующим образом ориентирована, «одета» перед ее печатанием. Нужно вообще отдать должное Плетневу за его содействие писателю при начале его пути. О. Сомов, не зная подлинного имени автора, Н. Полевой и Н. Надеждин уже признали его даровитость, но Плетнев увидел, что это талант самородный и выдающийся. Подбивая Гоголя на издание книги, он «говорил тогда не умевшим ценить этот талант: “В его произведениях хранятся цельные куски золота”» [Анненков, 1855, с. 366].

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

У Плетнева еще одна немалая заслуга: он познакомил Гоголя с Пушкиным.

После неудачного посещения дома Пушкина по приезде в Петербург Гоголь больше ничего не предпринимал, чтобы сблизиться с поэтом, но все его шаги неуклонно вели к этому. Он печатался в изданиях пушкинской ориентации, познакомился с людьми пушкинского круга, Жуковским и Плетневым; теперь настала очередь самого Пушкина.

22 февраля 1831 года Плетнев писал Пушкину из Петербурга в Москву: «Надобно тебя познакомить с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в “Северных цветах” отрывок из исторического романа, с подписью *OOOO*, также в “Литературной газете” “Мысли о преподавании географии”, статью

“Женщина” и главу из малороссийской повести: “Учитель”. Их писал Гоголь-Яновский. <...> Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает». [Пушкин. Переписка, с. 142].

Пушкин, который находился в Москве по семейным делам (незадолго перед тем, 18 февраля, состоялось его бракосочетание), ответил на этот призыв не сразу, спустя полтора месяца, около 14 апреля: «О Гоголе не скажу тебе, потому что доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царского Села, где, ради Бога, найми мне фатерку...»

Пушкин, по всей видимости, не спешил со знакомством, так как полагал, что рекомендатель несколько преувеличивает. В том же самом письме от 22 февраля Плетнев отзывался о М. Деларю как «о прекрасном <...> таланте», что вызвало возражение Пушкина: «В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». Может быть, и Гоголь из того же ряда?

Но Плетнев настаивал, и встреча состоялась. Где и когда?

Пушкин возвратился в Петербург в конце второй декады мая, числа 18-го, и пробыл до отъезда в Царское Село, по всей вероятности, по 25-е [Витберг, 1897, с. 612; Пушкин. Хроника, т. 2, с. 105]. Около недели Пушкин и Гоголь находились в одном городе, в столице. На это время, очевидно, и падает указанная встреча.

Обратив внимание на слова П. Анненкова о том, что Гоголь был «представлен ему [Пушкину] на вечере у П. А. Плетнева», — слова, которые, судя по контексту, восходят к воспоминаниям самого Гоголя, — исследователь более точно определил день встречи: *среда, 20 мая* [Гиппиус, 1931, с. 71].

Вывод этот с полным на то основанием принят современной наукой — нужно только внести в него некоторый оттенок вариативности. Дело в том, что вечера у Плетнева проходили не только по средам, но, как указывает А. И. Дельвиг, и по воскресеньям. Кулиш со слов Плетнева также сообщал, что Гоголь бывал у последнего «по средам и воскресеньям» [Крутикова, с. 290]. Значит, в таком случае встреча могла состояться и 24 мая.

Кстати, в воспоминаниях А. И. Дельвига, двоюродного брата поэта Антона Дельвига, почему-то обойденных В. Гиппиусом, есть строки, касающиеся встречи Гоголя и Пушкина: «...я бывал часто у Плетнева, у которого литературные вечера при жизни Дельвига были по субботам, а после его смерти по воскресеньям и средам. По этим дням литературные вечера Плетнева постоянно продолжались в течение 25 лет». И в другом месте: «На вечерах Плетнева я видал многих литераторов, в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это менянисколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать но-

вым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми, мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами малоизвестными. Гоголь же тогда не напечатал еще своего первого творения “Вечера на хуторе близ Диканьки” и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся. Я не подозревал тогда в нем великой гениальности» [Дельвиг, с. 187, 198].

Логично сделать вывод, что мемуарист подразумевает именно первую встречу Гоголя с Пушкиным, в промежуток времени с 18 по 25 мая. В пользу этого вывода говорят два факта. Во-первых, «Вечера на хуторе...» действительно еще только находились в типографии и для непосвященного А. И. Дельвига Гоголь был всего лишь преподавателем в «женском заведении», то есть в Патриотическом институте. Во-вторых, «Гоголь, — продолжает мемуарист, — жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его». Дом Зайцева — это, конечно, дом Зверькова близ Кокушкина моста, и поскольку Гоголь выехал отсюда сразу же по возвращении в Петербург из Павловска, 15 августа 1831 года, то очевидно, что указанные события могли происходить еще до того, как он и Пушкин покинули на лето столицу.

Однако всему этому противоречит тот факт, что во второй половине мая А. И. Дельвига не было в Петербурге; возвратился он только к 1 сентября, к началу занятий в Институте инженеров путей сообщения, где он учился⁵⁰.

Мемуары А. И. Дельвига имеют репутацию «очень точных фактически» [Черейский, с. 134], однако от ошибок памяти не застрахован никто, и я думаю, что автор произвольно совместил два временных плана. Он встречал Гоголя на вечерах у Плетнева еще *без Пушкина*, до 20-х чисел мая 1831 года, а затем, после возвращения Пушкина из Царского Села (во второй половине октября), *вместе с Пушкиным*. Поэтому, кстати, подразумевается как бы не единичная встреча, а несколько.

Во всяком случае свидетельство А. И. Дельвига важно для характеристики отношения Пушкина к Гоголю.

Но вернемся к хронологической последовательности событий.

ЦАРСКОЕ СЕЛО — ПАВЛОВСК

Лето 1831 года благоприятствовало дальнейшему сближению обоих писателей. Приехав около 25 мая в Царское Село, Пушкин вместе с Натальей Николаевной поселился в доме А. К. Китаевой, вдовы придворного камердинера. А спустя несколько дней, очевидно уже в июне,

в расположенном неподалеку Павловске оказался Гоголь. Он выехал на дачу в качестве домашнего учителя Васильчиковых.

К этому времени относится мемуарное свидетельство В. А. Соллогуба, студента Дерптского университета, в будущем известного писателя. Он приходился племянником Александре Ивановне Васильчиковой, пригласившей его на вакации в Павловск.

По словам Соллогуба, тетка попросила его познакомиться с Гоголем и «обласкать» его, так как «он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал».

Обязанности же, выполняемые Гоголем в доме Васильчиковых, были не из приятных: его воспитанник Василий страдал умственной неполноценностью. Тут уже теряла свою силу гоголевская мысль о том, что «совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти».

«Как теперь помню это знакомство, — рассказывает Соллогуб. — Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их блянию, мычанию, хрюканью и т. д. “Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе... Вот это корова, знаешь, корова, му, му”. При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие» [Воспоминания, с. 75].

Однажды, по словам Соллогуба, он встретил в Царскосельском парке Пушкина, прогуливающегося с женой⁵¹. Пушкин «представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться».

Последняя реплика противоречит факту встречи обоих писателей до отъезда из Петербурга, но если это не ошибка памяти мемуариста, то в свете всего сказанного она должна восприниматься только в таком смысле: «1) или что отношение к Гоголю как к незнакомому могло сохраниться у Пушкина и после формального представления ему Гоголя на вечере Плетнева, 2) или что выражения “не знает”, “познакомиться” могли означать <...> знакомство и незнакомство с Гоголем-писателем, с его литературными произведениями» [Гиппиус, 1931, с. 67].

Между тем в первые же недели своей загородной жизни Гоголь встретился с Пушкиным — и не раз. В письме от 27 июня он просит Марию Ивановну посылать ему письма не в Павловск, а в Царское Село, на имя Пушкина с последующей передачей адресату. Просьба отдает некоторой бравадой и явно рассчитана на эффект, но несомненно, что перед этим Гоголь переговорил с Пушкиным и заручился его согласием. (Спустя месяц, 24 июля, Гоголь настоятельно интересуется у матери: «Помните ли вы адрес? на имя Пушкина, в Царское Село».)

В начале июля в Царское Село прибыл двор, который по случаю холеры должен был задержаться здесь до поздней осени, а вместе с двором приехал В. Жуковский как воспитатель наследника. Присутствие Жуковского, с которым у Гоголя давно уже были теплые отношения, содействовало и его сближению с Пушкиным. «Почти каждый вечер собиравшись мы: Жуковский, Пушкин и я», — сообщает он позднее (2 ноября 1831 г.) А. Данилевскому. Допустим, что Гоголь, бравируя, преувеличил; допустим, не «каждый вечер», но все равно его встречи с Пушкиным, а также с Жуковским становятся частыми.

К царскосельско-павловскому периоду относятся встречи Гоголя и со Смирновой-Россет.

Александра Осиповна (1809—1882), тогда еще не вышедшая замуж за Николая Михайловича Смирнова и известная под своей девичьей фамилией Россет или Россети («Россети черноокая», как ее называл Пушкин), приехала в Царское Село вместе с двором, будучи фрейлиной. В это время она особенно подружилась с Пушкиным, который дорожил ее мнением и ценил острый и тонкий ум. По словам И. С. Аксакова, восходящим к рассказам самой Смирновой, поэт «часто захаживал к ней <...> во время своих прогулок, делясь впечатлениями дня и прочитанной книги; часто случалось и ей заходить к Пушкиным на дачу (Китаева в Царском Селе), подниматься без церемоний прямо к нему наверх, в его кабинет, заставать за работой и выслушивать из уст самого поэта только что написанные вдохновенные произведения, во всей их свежести, с пыла...» [Р. 1882. № 37. С. 11].

Встречалась Россет и с Гоголем, возможно, в обществе Жуковского и Пушкина. Во всяком случае факт встречи с Гоголем подтверждается тем, что в сентябре по выходе первой книжки «Вечеров на хуторе...» Гоголь посылает в Царское Село экземпляр «с сентиментальной надписью для Розетти» [X, 206].

А когда они познакомились? По рассказу Смирновой, это случилось именно в Царском Селе: «Вы мне попались, когда я гуляла вокруг озера, вы оборачивались и шли назад, вы были закутаны в альмавиву». — «Совсем не в альмавиву (возразил Гоголь), а просто в шинель». — «Ну, шинель, но я видела, что у вас белый нос, и спросила, кто вы, — он мне сказал, что Гоголь — хохол, он писатель, а потом, кажется, Плетнев привел вас ко мне». — «Совсем нет, вы меня встретили у Аркадия Осиповича (брата Александры Осиповны, выпускника Пажеского корпуса) и сами пригласили меня быть у вас, — а все-таки я и прежде был с вами знаком. Помните, как мы любили говорить о Малороссии...» [Смирнова, 1989, с. 488]⁵².

В диалоге Гоголя с Россет, так, как он ей запомнился, по-видимому, совместились два события, два временных плана. Гоголь и Россет встречались, и не раз, в Царском Селе, но беглое их знакомство, возможно, произошло несколько раньше, в конце 1830 или начале 1831 года в доме Балабиных, где Гоголь давал уроки. Это следует из ее

«разговора» с Гоголем в присутствии И. С. Аксакова, записанного ее дочерью О. Н. Смирновой [Шенрок, т. 1, с. 332].

Ольга Николаевна Смирнова, дочь Александры Осиповны, — очень надежный источник, но в данном случае ее сообщение косвенно подтверждается одной деталью. «...Кажется, Плетнев привел вас ко мне», — говорит сама Александра Осиповна. Это не могло случиться в Царском Селе, так как Плетнева в это время здесь не было; но с другой стороны, именно Плетнев «привел» Гоголя в петербургский дом Балабиных, где, очевидно, и состоялось упомянутое знакомство.

Кстати, если придерживаться версии Гоголя, «приглашение» не могло последовать в Царском Селе: с начала 1831 года Аркадий Осипович находился в польском походе; на 28 августа как раз приходится его письмо из Варшавы с сообщением о взятии города русскими войсками [РА. 1896. № 2. С. 284].

Возвращаясь к Пушкину, надо сказать, что его пребывание в Царском Селе совпадало с обострением интереса к русскому фольклору, к древней русской литературе. «Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским», — писал он еще из Москвы 14 апреля 1831 года. Когда же в Царском Селе появился Жуковский, между двумя поэтами возникло памятное в летописях литературы состязание: каждый обязался написать по русской сказке. Пушкин сочинил «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», а Жуковский — «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кошея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кошеевой дочери». Жуковский начал и другую сказку, «Спящую царевну», которую закончил несколько позже, по отъезде Гоголя из Павловска в Петербург, а Пушкин прочитал «Сказку о попе и о работнике его Балде», написанную годом раньше в Болдине.

Гоголь оказался свидетелем этого состязания. Ему знакомы «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о царе Берендее», первые строки «Спящей царевны». Помимо того, Пушкин давал Гоголю прочесть в рукописи или сам прочел в его присутствии «Домик в Коломне», написанный также годом раньше в Болдине.

В приподнятом тоне рассказывается в гоголевском письме А. Данилевскому от 2 ноября о «вечерах» Пушкина и Жуковского. «О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная, в которой вся Коломна и петербургская природа живая. — Кроме того, сказки русские народные — не то что Руслан и Людмила, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая (имеется в виду «Сказка о попе...». — Ю. М.). — У Жуковского тоже русские народные сказки, одне экзаметрами (так! Подразумевается «Сказка о царе Берендее». — Ю. М.), другие просто четырехстопными сти-

хами («Спящая царевна». — Ю. М.), и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего».

А в письме Жуковскому от 10 сентября 1831 года, возвращаясь мысленно к царскосельским встречам и трудам, Гоголь впадает в восторженный, почти экстатический тон: «Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имеют место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен удел ваш, Великие Зодчие! Какой рай готовите вы истинным христианам! И как ужасен ад, уготовленный для язычников, ренегатов и прочего сброду...»

Со своими «Вечерами на хуторе...» Гоголь вправе был считать себя одним из «зодчих», возводящих здание русской поэзии. Он ведь тоже приготовил нектар «из тмочисленного количества ведьм, чертей» (гоголевские слова о Жуковском), вволю дал поразгуляться вымыслу и фантастике в народном духе. То, что это были украинские повести, не меняло дела. Как правило, украинское в это время не противопоставлялось общерусскому, скорее, наоборот. Поскольку древний Киев мыслился истоком российской земли, а романтическая народность предполагала возвращение к основам, то обработка украинского материала означала вместе с тем высвобождение исконно национальных русских элементов. «Таким образом, Малороссия, естественно, должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни» [Надеждин, с. 281]. Интересы Гоголя объективно пересеклись с творческими устремлениями и Пушкина, и Жуковского; это не могло не сказаться на его самочувствии, внушая ему уверенность, что он не чужой на «состязании», на пиру мысли и воображения.

Впрочем, процесс становления народности был достаточно сложным; приведенные эпистолярные отклики Гоголя его нарочито схематизируют. Гоголь мог не знать, что одним из источников «Сказки о царе Берендее» послужила сказка братьев Гримм «Der liebste Roland», незадолго перед тем переведенная Жуковским прозой и опубликованная под названием «Милый Роланд и девица Ясный Цвет»; что «Спящая царевна» восходит к другим, немецким и французским источникам, к сказкам братьев Гримм и Шарля Перро, равно как он мог не знать реальных источников своих собственных сюжетов — то, что затем стало предметом особого внимания компаративистов. Однако «бездна новых баллад» Жуковского, то есть вышедшие в 1831 году двумя изданиями его «Баллады и повести», дышали ароматом средневекового, рыцарского, западного романтизма, и если не все эти произведения, то какая-то их часть Гоголю была уже известна. Он верно почувствовал, что в этих вещах Жуковский поднялся на новую ступень

своего развития, однако определение «ничего германского» здесь бы уже не подошло. Да и гневный выпад Гоголя против «язычников и ренегатов» от народности звучал несколько риторически-абстрактно, ибо никто, в том числе и Ф. Булгарин, против народности не выступал. Напротив, все требовали народности, все клялись народностью. Дело было в самом понимании народности, в ее уровне и культуре.

Именно уровень и культура народности обсуждались в Царском Селе, о чем мы можем судить по более позднему отклику Гоголя. Его письмо Пушкину, отправленное через несколько дней по возвращении в Петербург, развивает темы, интересные обоим. «Кстати о черни, знаете ли, что вряд ли кто умеет лучше с нею изъясняться, как наш общий друг Александр Анфимович Орлов». И далее Гоголь довольно точно цитирует этого лубочного писателя — заключительные строки из его предисловия к роману «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» [М., 1831]: «Много, премного у меня романов в голове, только все они сидят еще в голове; да такие бойкие ребятишки эти романы, так и прыгают из головы. <...> Ох, вы, мои други сердечные! Народец православный!» От себя Гоголь добавляет: «Последнее обращение так и задевает за сердце русской народ. Это совершенно в его духе...» Тот вид народности, о котором идет речь, образован причудливой смесью литературной безграмотности, дешевого балагурства и примитивного патриотизма. Это народность черни, причем отнюдь не светской, народность площадная.

В свете проблемы народности поневоле воспринималась и гоголевская книга, которая тем временем набиралась в Петербурге. Если верить В. Соллогубу, то Гоголь в Павловске рассекретил свое авторство для обитателей дома Васильчиковой, прочитав им «Майскую ночь». Сведений о том, прочли ли Пушкин и Жуковский «Вечера на хуторе...» еще в Царском Селе, у нас нет, но несомненно то, что они заинтересованно следили за судьбой книги.

В августе, 15-го числа, Гоголь возвращается в столицу, посещает типографию Департамента народного просвещения, где печаталась книга, и вскоре дает подробный отчет Пушкину: «Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву.* Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни». Пушкин, как известно, пересказал этот эпизод в своем письме-рецензии на книгу, добавив существенный нюанс: «Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков».

К пушкинскому отклику на книгу Гоголя мы еще вернемся; пока же лишь отметим, что поэтом указана та труднодостижимая вершина, где высокая литературность соединяется с простонародностью. При

этом первая ничего не теряет из своего изысканного артистизма, а вторая ничуть не впадает в вульгарность. Соединение как бы взаимоисключающих начал занимало мысль Гоголя; недаром его сообщение о реакции наборщиков на «Вечера...» соседствует с пассажем об Александре Анфимовиче Орлове. И там, и здесь фигурирует «чернь» как некая высшая читательская инстанция, но фигурирует по-разному. Гоголевское признание, что он писатель «во вкусе черни», смиренно-иронически умалчивает о другом — о том, что он еще хочет быть писателем «во вкусе Пушкина».

В Царском Селе Пушкин познакомил Гоголя со своей статьей о Булгарине, находившейся в редакционном портфеле надеждинского «Телескопа». Это был знаменитый памфлет «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», подписанный псевдонимом «Феофилакт Косичкин». Пушкин уже успел заметить гоголевскую восприимчивость ко всему смешному, и ему хотелось, чтобы тот оценил всю убийственную тонкость иронии его памфлета.

Памфлет строился на принципе притворной защиты, ложного восхваления, повторенного троекратно. Восхвалялась «дружба» двух литераторов, Ф. Булгарина и Н. уа, подающих пример «согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных». Восхвалялся Булгарин, «сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями, и характером». Восхвалялся и лубочный романист А. Орлов — и тут ирония достигала высшей точки.

Дело в том, что за несколько месяцев перед этим в «Телескопе» [1831. № 9] Надеждин опубликовал рецензию, в которой, так сказать, скопом оценивал произведения и Булгарина, и Орлова. Первый только что издал «Петра Ивановича Выжигина», а второй — книжки «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина», «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора...» и «Смерть Ивана Выжигина». Рецензент писал: «В сие скудное время общего бесплодия нашей литературы семейство Ивана Ивановича Выжигина приумножается целую тройнею!!! Игнат-Сидор-Петр... молодец на молодец... один другого лучше!»

В ответ на это возмущенный Н. Греч [Сын отечества. 1831. № 27] стал вполне серьезно оспаривать сходство произведений Булгарина с «глупейшими» «книжонками, сочиненными каким-то А. Орловым», Феофилакт Косичкин же развернул ироническую защиту Орлова, доказывая, что он ничуть не хуже Булгарина. Затем он постарался «сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности».

«Фаддей Бенедиктович превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений; Александр Анфимович берет преимущество над Фаддеем Бенедиктовичем живостию и острою рассказа».

Романы Фаддея Бенедиктовича более обдуманы, доказывают большее терпение в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе);

повести Александра Анфимовича более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Бенедиктович более философ; Александр Анфимович более поэт».

Гоголь продолжил эту ироническую параллель, предложив (в упомянутом письме Пушкину от 21 августа) написать эстетический разбор романов обоих литераторов. «Начать таким образом, как теперь начинают у нас в журналах: “Наконец, кажется, пришло то время, когда романтизм решительно восторжествовал над классицизмом, и старые поборники французского корана на ходульных ножках (что-нибудь в роде Надеждина) убралась к черту. В Англии Байрон, во Франции необъятный великостью своею Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений. Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы, и проч., и проч., не могла оставаться также в одном положении. Вскоре возникли и у ней два представителя ее преображенного величия. Читатели догадаются, что я говорю о гг. Булгарине и Орлове. На одном из них, т. е. на Булгарине, означено направление чисто Байронское (ведь эта мысль недурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же гордость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство”».

Далее Гоголь отыскивает зацепку в знакомом ему пушкинском памфлете, чтобы найти новую пищу для своей иронии. «На счет Алекс. Анфим. можно опровергать мнение Феофилакта Косичкина; говорят, что скорее Орлов более философ, что Булгарин весь поэт».

Впервые в этом письме мы наблюдаем столь яркую вспышку неотразимого гоголевского остроумия, умеющего ненавязчиво, почти незаметно втягивать в свою сферу самые широкие явления. Пушкин уже наметил этот прием, проведя к героям своего памфлета одну-две высокие параллели (так, к замечанию о «терпении» Булгарина сделана логически напрашивающаяся сноска: «“Гений есть терпение в высшей степени”, — сказал известный г. Бюфон»). Гоголь же наложил свою сравнительную характеристику Булгарина и Орлова на господствующую литературную ситуацию; его фразы об «объективной жизни» и «нераздельно-индивидуальных явлениях» блестяще пародируют жаркие споры о романтизме и классицизме, о новой поэзии, споры, в которых одним из застрельщиков был Надеждин. Оба героя, Булгарин и Орлов, поставлены в ряд самых крупных фигур европейского романтизма, французской «неистойовой словесности», что создает новый источник комических ассоциаций, причем не только эстетичес-

кого свойства. Здесь Гоголь вновь подхватывает пушкинский прием подтрунивания над широко известными моральными качествами Булгарина: действительно, совсем не дурна, можно сказать, оглушительна была мысль «сравнить Булгарина с Байроном», распространить на доносчика и пасквилянта байроновское «самоотвержение», свободолюбие и «презрение всего низкого и подлого».

Непременный признак иронии — серьезность, серьезность мнимая. Гоголь, доводя ее, кажется, до предела возможного, уснащал или готов был уснастить выдвинутый тезис множеством подробностей, «доказательств», как он это неоднократно делал впоследствии. Здесь уже наметился ведущий принцип гоголевской поэтики комизма.

«...Не дурно взять героев романа Булгарина: Наполеона и Петра Ивановича, и рассматривать их обоих как чистое создание самого поэта, натурально, что здесь нужно вооружиться очками строгого рецензента (каких, само по себе разумеется, не бывало в романе). Не худо присовокуплять: “Почему вы, г. Булгарин, заставили Петра Ивановича открыться в любви так рано такой-то, или почему не продолжили разговора Петра Ивановича с Наполеоном <...> все это для того, чтобы читатели видели совершенное беспристрастие критика”. Прекрасно вплетены в эту ткань формулы официально-патриотического мышления: «Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы...» (ср. в «Мертвых душах» в передаче речи Чичикова: «...по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного...»). И вся эта ироническая игра облечена уже в характерно гоголевскую стилистику, ведется с использованием излюбленных им оборотов и словечек вроде «означить» («...На Булгарине *означено* направление...»); выше уже говорилось, какой вес имело это понятие) или «больше ничего, как» («...Жизнь Булгарина есть *больше ничего, как* повторение жизни Байрона»).

Пушкинское «Торжество дружбы...» и упомянутое место в письме Гоголя травмируют принципы биографизма «Параллельных жизнеописаний» Плутарха, когда «настоящим замкнутым целым является, по сути, не отдельная биография, но пара биографий, диада» [Аверинцев, с. 212]. Через некоторое время эта традиция проявится в памятной всем «диаде» Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, в их сопоставительном описании в первой главе повести о ссоре [Гуковский, 1959, с. 131].

Пушкин вполне оценил гоголевский пассаж о Булгарине и Орлове. «Проект Вашей ученой критики удивительно хорош», — писал он ему из Царского Села 25 августа.

Для отношений Пушкина к Гоголю в царскосельскую пору характерно то, что перед отъездом последнего в столицу поэт поручает ему взять с собой рукопись «Повестей Белкина» — и передать Плетневу для печатания. Обстоятельства помешали Гоголю это сделать, но спустя два-три дня через Васильчикову рукопись была доставлена ему в

Петербург и затем благополучно передана адресату (сведений о том, познакомил ли Пушкин Гоголя с повестями до их опубликования, у нас нет).

Рассказ о летних месяцах 1831 года будет неполным, если не упомянуть еще об одной теме, волновавшей в это время и Пушкина, и Жуковского, — о вступившем в заключительную фазу польском восстании. Считая, что восставших «надобно задушить, и наша медлительность мучительна», что «для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря» (письмо П. Вяземскому от 1 июня), Пушкин в замечательных по поэтической силе стихах воспевал весьма сомнительное право Русского государства вершить судьбу другого народа. Стихотворение «Клеветникам России» написано 16 августа — на следующий день после отъезда Гоголя из Павловска (опубликовано в сентябре вместе с «Бородинской годовщиной» и стихотворением Жуковского «Старая песня на новый лад»).

Как отнесся Гоголь к этим стихотворениям в пору их появления и вообще к польской проблеме — неизвестно. Лишь косвенные данные говорят о том, что он не прошел мимо этого события.

В апреле 1831 года, еще из Петербурга, Гоголь шутит в письме к матери: «Сестрице Марии не пишу потому, что должен бы был говорить о часто поминаемом ею в письме поляке, а они теперь люди подозрительные» [X, 196]. Гоголь подтрунивает над увлечением сестры Павлом Осиповичем Трушковским, за которого она в следующем году выйдет замуж.

Кстати, отказ Гоголя от второй, «польской» части своей фамилии хронологически совпадает с началом восстания.

До конца сентября 1830 года он, как правило, подписывался *Гоголь-Яновский* и изредка — *Гоголь*. 26 ноября Николай I объявляет о «возмущении в Варшаве» генералам и офицерам лейб-гвардии Павловского полка [Дельвиг, с. 161] — разумеется, эта весть тотчас широко распространилась. И, начиная с письма к матери от 19 декабря, Гоголь подписывается только первой своей фамилией. В письме Марье Ивановне от 6 февраля 1832 года он просит адресовать ему письма как «просто Гоголю», потому что «кончик» фамилии он не знает, «где делся»: «Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского...»

Детали эти беглые, разрозненные, сопровождаются шутиливой интонацией и не дают сколько-нибудь четкого представления об отношении Гоголя к польскому восстанию. Не исключено, что при общем неприятии восстания он отнесся к нему гораздо спокойнее и терпимее, чем Пушкин или Жуковский.

По возвращении из Павловска Гоголь поселяется в новой квартире — на Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект, в доме Густава Ефимова, сына Брунста, № 153 (впоследствии это дом № 4 по улице Декабристов. — [Шубин, с. 192]).

А в сентябре, 8-го числа, Гоголь неожиданно встретился с Пушкиным. Через день Гоголь описывает Жуковскому, как это было: мол, Пушкин не побоялся карантина, «как дух пронесся его мимо и во мгновения ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута». Из письма видно (и это не отмечено его комментаторами), что Пушкин был у Гоголя на квартире, находящейся близ Вознесенского проспекта. Возможно, со стороны Пушкина это была не случайность, так как он направлялся к Гоголю; во всяком случае, они провели вместе некоторое время. Об этом свидетельствует продолжение письма к Жуковскому и особенно характерная цитата из «Евгения Онегина» об *опустевшем доме*: подразумевается явно уход Пушкина: «И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:

Окна мелом
Забелены; хозяйки нет,
А где? Бог весть, пропал и след.

Осталось воспоминание...» [X, 207]

Встреча с Пушкиным остро напомнила об ушедшем лете, о царскосельских беседах и чтениях.

Это была важная пора в жизни Гоголя. Отрезанные карантинами от столицы, лишённые журналов и газет («...Я не получаю ни единого журнала, кроме С.-Петербургских ведомостей...» — писал Пушкин Вяземскому 3 июля), обитатели Царского Села (особенно до прибытия двора) жили уединенно, «будто в глуши деревенской». Но все это способствовало самоуглублению, творческим занятиям, а с приездом Жуковского — и интенсивному литературному общению.

Гоголь оказался причастным к этому общению, с гордостью ощущая, что он находится среди избранного круга. Наверное, в это время зарождается в нем сознание элитарности, о котором он напишет чуть позже в статье о Пушкине: мол, понять Пушкина способно столь малое число «истинных ценителей», что их можно «перечесать по пальцам». Но при этом с чисто гоголевской парадоксальностью чувство элитарности совмещается с демократизмом, отвращением от светской напыщенности и ученого эзотеризма, с неприкрытым желанием быть «во вкусе черни».

Отношение Гоголя к Пушкину хорошо оттеняется его отношением к Жуковскому.

Гоголь очень хочет понравиться Пушкину, ловит его намеки, развивает темы, явно рассчитывая на одобрение (и в конце концов получает его). Он сознает силу своего юмора и охотно демонстрирует ее перед поэтом. Он держится с Пушкиным свободно, но при этом сдержанно-свободно; ощущение дистанции не покидает, когда читаешь

гоголевские письма к поэту. Гоголь ни на минуту не забывает, *кто* перед ним, к *кому* он обращается.

Жуковскому он может сказать: «О, с каким бы я тогда восторгом возлег у ног Вашего поэтического превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших...» Но применить шутливо табель о рангах к Пушкину Гоголь не решился бы, понимая, что место гениального поэта на ней как бы за пределами. Жуковскому Гоголь может открыть свою страстную привязанность, тоску о встрече: «Боже мой, сколько бы экземпляров я отдал бы за то, чтобы увидеть Вас хоть на минуту». Чувства Гоголя перед Пушкиным как бы придержаны и внешне смягчены. Только после смерти поэта решился Гоголь на страстные монологи-признания...

В сентябре выходят «Вечера на хуторе...», и Гоголь принимается за рассылку экземпляров. Несколько книг отправлено в Царское Село — Пушкину, Жуковскому, Россет и несколько — для вручения по усмотрению Жуковского. Послана книга матери в Васильевку, А. Данилевскому — на Кавказ, где тот в это время находился. Дарит Гоголь книгу и петербуржцам, хотя точных сведений об этом нет: наверняка — Плетневу, возможно — графу Кочубею и другим влиятельным лицам. Один из экземпляров, посланных Жуковскому, надо думать, попал в руки самой высокой начальницы Гоголя по Патриотическому институту — императрицы Александры Федоровны; по крайней мере, Гоголь сообщал матери 19 сентября, что его книга «понравилась здесь всем, начиная от государыни...».

Едва вышла первая часть, как Гоголь просит домашних возобновить присылку ему малороссийских «сказок, песен, происшествий». Все это нужно ему прежде всего для продолжения «Вечеров на хуторе...».

К концу 1831 года вторая часть уже составлена. 31 января следующего года она разрешена цензором к печатанию.

«ХВОСТИКИ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ»

Преобладающая нота, которую услышали все при выходе «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — веселость. Можно сказать, что книга, да, собственно, обе книги были восприняты под знаком веселости. Тон задал Пушкин: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности». «Поздравляю публику с истинно веселою книгою...» По выражению Бориса Зайцева, «“чертовский” привкус Гоголя прошел совсем мимо» [Зайцев Б., с. 132]. И позднее уже от имени читателей, подытоживая их впечатления, Пушкин писал: «Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущегося. <...> Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!»

Это мнение утвердилось в русском общественном сознании на десятилетия.

А. Герцен в брошюре «О развитии революционных идей в России» (1851, 1853) писал: «Рассказы, с которыми впервые выступил Гоголь, представляют собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы и природу Малороссии, — картин, полных веселости, изящества, живости и любви. Подобные рассказы невозможны в Великобритании...»

Критик-шестидесятник А. Рыжов: «Несмотря на дальние нравы, на областную жизнь, в них описанную, они возбудили смех во всей петербургской публике и даже в типографской артели, где с таким равнодушием набираются всевозможные повествования и трактаты, иногда до крайности смешные» [БЧ. 1855. № 10. Отд. 3. С. 10].

М. Максимович в 1861 году: «Я и на старости люблю по-прежнему, как украинскую весну, веселость первых повестей Гоголя, которыми он заставил смеяться весь читающий русский мир. <...> Смех, возбужденный 20-летним Гоголем, был всеобщий, не зависящий от знания или незнания Украины читателями, не проходящий и доныне» [ЛВ. 1902. № 1. С. 105].

Создается впечатление, что вся Россия, по крайней мере Россия читающая, заходится от смеха над страницами «Вечеров...», начиная от наборщиков (гоголевское сообщение о встрече с типографией Пушкин пересказал в своем печатном отзыве) и кончая И. Крыловым, М. Щепкиным и самим Пушкиным. И все это, мол, наиболее точно передает саму суть книги.

Даже А. Григорьев, с его обостренным вниманием к драматическому и гротескному содержанию гоголевского творчества, делал исключение для «Вечеров на хуторе...»: «...Все в них ясно и весело <...>, еще не слышать того грустного смеха»; «Легко и светло было на душе читателя, как легко и светло на душе самого поэта» [Материалы, т. 1, с. 254].

Увы, первым, кто опровергает мнение, будто «легко и светло было на душе» автора «Вечеров на хуторе...», является сам Гоголь. В «Авторской исповеди» он специально объясняет, откуда возникло ощущение «веселости»: «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. <...> Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходиться в голову такие глупости».

Гоголевская самооценка, сделанная ретроспективно, вызывает некоторое недоумение. Если Голова из «Майской ночи», Чуб и Солоха из «Ночи перед Рождеством», не говоря уже о Шпоньке и его тетушке Василисе Кашпоровне, действительно принадлежали к лицам, которые, будучи поставленными в «смешные положения», отвечали преследуемой художественной цели, то как могли развлечь и позабавить герои и события «Вечера накануне Ивана Купала» или «Страшной мести»? А с другой стороны, гоголевской характеристике вполне отвечают и более поздние его произведения, скажем, «Коляска» и особенно «Нос». Майор Ковалев... Вот о ком без всякого смущения можно сказать, что автор ставит его «мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза».

Дело в том, что гоголевское суждение суммарно; оно делит все творчество на два периода: до «Ревизора» и после «Ревизора» — и характеризует первый период в целом. Это не только «Вечера на хуторе...», но в *той* числе и «Вечера на хуторе...». Такой видится Гоголю конца 40-х годов преобладающая окраска всех его ранних вещей, что, конечно, неточно; но надо учесть, что его толкала на это не только строгая переоценка всего своего писательского пути, но и суммарный подход со стороны критики и читателей. Те говорили о безоглядной «веселости» «Вечеров на хуторе...», и, как бы подхватывая установившееся мнение, Гоголь объяснял, откуда такое впечатление и что означает эта веселость на деле.

В то же время он чувствовал неадекватность понятия «веселость» применительно к «Вечерам на хуторе...» (речь сейчас только о них). Об этом свидетельствует его высказывание, что в «Вечерах на хуторе...» видны «хвостики душевного состояния». Подразумевается не то, что отразилось на поверхности, а то, что таилось в глубине; не то, что демонстрировалось и выставлялось напоказ, а то, что тщательно скрывалось, может быть, в первую очередь от самого себя, и вопреки ожиданию дало о себе знать. Это «хвостики» не веселости, а какого-то другого состояния, которое должно было быть побеждено веселостью, да сделать это до конца не удалось.

В гоголевских письмах периода работы над «Вечерами на хуторе...» наблюдается одна постоянная черта — настойчивый призыв к спокойному, веселому расположению духа. «Ради Бога, милая сестрица моя, береги свое здоровье, старайся сколько можно отдалять от себя печальные мысли...» (10 октября 1830 г.). «Ради Бога, веселитесь побольше, это одно и самое верное лекарство против всех болезней» (16 апреля 1831 г.). «Желая вам всегдашнего здоровья и счастья, заклинаю не беспокоиться ни о чем и побольше веселиться, остаюсь вашим вечно признательным сыном...» (24 июля 1831 г.). «Заклинаю» — едва ли случайное здесь слово: все это действительно звучит как заклинание, в котором присутствует что-то от личного опыта, причем не

давнего, а сиюминутного, переживаемого в настоящее время. Что-то от самовнушения или, если не бояться сегодняшнего словоупотребления, от аутогенной тренировки.

Довольно неожиданные вещи, если принять во внимание резкий поворот к лучшему в жизни Гоголя. У него теперь есть дело — педагогическая работа, завязались важные знакомства, осуществляются литературные замыслы. «Я теперь более, нежели когда-либо, тружусь и более, нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей душе величайшее...» Но Гоголь знал, каким образом достигается это состояние, какие тревоги и страхи скрываются в глубине; оттого и не уставал расточать советы относительно пользы веселости.

Еще один такой совет был адресован им одному из друзей (М. Максимовичу) несколько позже, в марте 1835 года; этот совет интересен тем, что открывает и оборотную сторону дела. «Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву. <...> Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака?» И, высказав столь практичную рекомендацию, Гоголь объясняет: «Послушай, брат, у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить в наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость» [X, 357]. «Веселость» фигурирует здесь не как самодостаточное, независимое состояние, но как *побежденные грусть и уныние*, как средство и в то же время результат их преодоления. Но точно так же Гоголь объясняет «веселость» своих первых произведений в «Авторской исповеди»; это говорит о том, что его позднее толкование, при всей обобщенности и схематизации, основывалось на действительно протекавшем душевном процессе.

В конце 40-х годов Гоголь видит процесс крупнее и цельнее: он отмечает, что нечто подобное переживалось им еще в Гимназии, что при своем «меланхолическом от природы характере» он часто впадал в неуместную шутливость (надоедал «другим моими шутками»), что сочинение комических произведений как бы продолжает ту же линию, удовлетворяя глубокой внутренней потребности. Тут можно добавить (подробнее об этом говорилось в первых главах настоящей книги), что и ранние сатирические опыты будущего писателя, в конце концов вся владевшая им стихия пародирования, высмеивания, комикования, вырастали на той же психологической почве и, в смысле творческих стимулов, предвосхищали последующие его произведения.

Это вовсе не значит, что у автора «Вечеров на хуторе...» не было никаких других стимулов, но значит лишь то, что многие из этих стимулов, являющихся обычно спонтанно, писатель не сознавал или не хотел сознавать. А вот мотив преодоления уныния осознал и, повторяю, ценою некоторой схематизации своего творческого пути выдвинул на первый план. И это преодоление уныния относилось не только

к сфере генезиса произведений, но и к их объективной данности. Упомянув о «хвостиках душевного состояния», Гоголь, очевидно, подразумевал то, что они видятся ему в самом тексте как некий подлежащий преодолению, но так и непреодоленный остаток.

И в самом деле, можно обратить внимание на многие проявления этого «остатка», но остановимся только на одном. У всех повестей «Вечеров на хуторе...» есть некая общность финалов. Как бы ни протекало действие, в какие бы разнообразные тона ни окрашивалось, от мажорного до трагического, но кончается оно всегда на грустной или, правильнее сказать, тревожной, озадачивающей ноте. Словно некий скрытый поток эмоций прорывается наконец на поверхность.

Хорошо известна концовка «Сорочинской ярмарки»: оттремело веселье, опустела ярмарочная площадь. «Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют наконец одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

О «Вечере накануне Ивана Купала» и «Страшной мести» говорить не приходится. Тут сами события не сулят ничего хорошего. В селе, где происходило действие первой повести, еще совсем недавно показывался черт и «так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу». А в «Страшной мести» минорность финала как бы удвоена: в основном течении повести — кульминационным бедствием, землетрясением, которое «много задавило народу», и в рассказе о песне бандуриста — смятенностью чувств толпы, только что услышавшей «о страшном, в старину случившемся деле».

Отголосок смятенности персонажей — и в финалах «Пропавшей грамоты» и «Заколдованного места». Давно уже выручил дед у ведьм и чертей свою грамоту, но его «бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуетя, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку». Давно уже дед избавился от наваждения «проклятого места», где хозяйничал черт, а это место все напоминает о себе, ибо на нем не росло «ничего доброго»: «...засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец... чорт знает, что такое!» Непроизвольные движения и не укладывающиеся ни в какие природные формы явления — остаточный след влияния нечистой силы на людей и обстоятельства.

Повесть о Шпоньке, произведение совсем иного колорита, где, кажется, господствуют легкость и непритязательность анекдота, заканчивается описанием сновидения главного персонажа, приведен-

ного в ужас мыслью о предстоящей женитьбе: во сне ему все кажется «странным», «его берет тоска», он просыпается «в страхе и беспмятстве», «пот лился с него градом». Замечательно, что и «гадательная книга», к которой он обратился поутру, никак не может его успокоить: «там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон», ибо сон Шпоньки так же выбивается из «природных» форм сна, как посеянное на «заколдованном месте» — из форм арбуза или тыквы.

Пожалуй, только в «Майской ночи» все складывается по-другому: прекратились проделки парубков, неуступчивый Голова согласился на свадьбу Левко и Ганны и «все погрузилось в сон». «Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату». Но этот Каленик, который все делает невпопад, который бесконечно петляет по селу, так как, по его словам, «растянул вражий сын, сатана, дорогу», остающийся один на фоне водворившегося мира, согласия и если не самого свадебного веселья, то его «идеи», его предстоящего осуществления, — не является ли Каленик и вся эта сцена редукцией финала «Сорочинской ярмарки», напоминанием об отставшем, «оставленном» («скучно оставленному...»)? А в более широком контексте — не являются ли бесконечные плутания Каленика редукцией древнего архетипа деформированного нечистой силой пути, обмороченного пространства (ср. у Пушкина: «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам» — «Бесы», 1830)⁵³.

В. Гиппиус говорил, что главная тема «Вечеров на хуторе...» — «вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним», но делал исключение для «Ивана Федоровича Шпоньки...» и «Сорочинской ярмарки». Первая повесть — «совершенно вне демонологии», а вторая — «почти вне ее: рассказ о свитке здесь только ловкая выдумка...» [Гиппиус, 1924, с. 33]. Это верно, если под «демологией» подразумевать лишь прямые контакты человека с ирреальными силами, вроде полета Вакулы в Петербург верхом на черте или сговора Петро Безродного с Басаврюком. Но помимо недвусмысленного вмешательства «демонического начала», есть еще всяческие влияния, скрытые намеки, есть *следы* подобного вмешательства с различной степенью определенности — и от всего этого не свободна ни одна из повестей «Вечеров на хуторе...». Поэтому указанную тему можно считать сквозной.

Да, в «Сорочинской ярмарке» рассказ о свитке черта — исходный момент интриги цыган против Черевика, согласившихся помочь влюбленному Грицько. Но проведение этой интриги в жизнь, осуществленное с почти немислимой ловкостью и совпадением обстоятельств, нарушающих всякое правдоподобие; но внешний вид цыгана, так напоминающий облик обычного для Гоголя носителя злой силы... «В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. <... > Совершенно провалившийся между но-

сом и острым подбородком рот (ср. у колдуна в «Страшной мести»: «подбородок задрожал и заострился, как копьё...» — Ю. М.), вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза ...» и т. д. Все это далеко не «вне демонологии».

Говорящей является проведенная Гоголем в другом месте повести параллель цыган с гномами: «...они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи». Гномы связаны с подземным царством, с «подземной географией», о которой Гоголь писал еще в своей педагогической статье, а значит; со всем подсознательным, таинственным, ночным, иррациональным. От цыган, через гномов, ведет ассоциативная нить не только к более позднему созданию писателя — Вию, «начальнику гномов», но — в русле «Вечеров на хуторе...» — и к «Страшной мести». Ведь обиталище гномов — преисподняя («адские гномы» сказано в другом месте — «Кровавом бандуристе»), бездонный провал, в котором мучается «великий грешник», а значит, и источник омертвения и смерти. По логике амбивалентности в «Сорочинской ярмарке» чудесные помощники приводят Грицько и Параску к свадьбе, то есть дарят обновление и новую жизнь. Но это не освобождает от страха, исходящего от всего подземного мира. «Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распутившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром» («Кровавый бандурист»).

Страшное, спрятавшееся «под всем веселящимся», — какой характерный для гоголевского мироощущения образ!

Смешное и ужасное — соседи; то смех переходит в ужас, то наоборот. «Деда, несмотря на *страх* весь, *смех* напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм...» Минуту спустя смех отзывается ужасом: «...все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе *захолонуло*». Поэтому вид смеющегося внушает двойственное чувство: образ смеха — смеющийся рот, выражающий и безотчетность, легкость веселья, готовность к благорасположению и самоотдаче; но в то же время — это и судорожно искривленные губы, запечатлевшие ненависть или презрение; это раздвинутая полость, показывающиеся нёбо и гортань, ошерившиеся зубы, оскал, готовность пережевывать и глотать. Один из излюбленных мотивов «Вечеров на хуторе...» — смеющаяся нечистая сила.

Уже в главах «малороссийской повести», в «Учителе» и «Успехе посольства», комический эффект извлекался из соприкосновения человеческого мира с миром животных и вещей. Граница между этими мирами подвижна; вещи и животные способны вести себя примерно так же, как и люди (и наоборот). В «Вечерах на хуторе...» щедро используется тот же прием. По приезде Шпоньки в имение одна из встречающих собак бегала «взад и вперед, помахая хвостом и как бы

приговаривая: посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!». Тут же появилась свинья, которая, прохаживаясь «по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного». Но помимо этого, в «Вечерах на хуторе...» сближаются и другие миры — естественный и ирреальный; граница между ними также подвижна, изменчива, капризна; возможны уподобления, фамильярные контакты, выходы из законного пространства в иное, заповедное.

В «Учителе», мы помним, к главному герою «без церемонии» лез целоваться дворовый пес. В «Пропавшей грамоте» такую же честь оказывают деду обитатели чертовского логова, куда он попал, — «свинные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла»; «плюнул дед, такая мерзость напала!» (как сплюнул и Чичиков, которого один из ноздревских псов Обругай лизнул «языком в самые губы»). В людском мире и сверхъестественном — сходные инстинкты, привычки, «ценности». Тот же дед из «Пропавшей грамоты», перед тем как отправиться к нечистой силе, получает совет «набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны»; «ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят». Порою же какой-либо этикетный признак — принятого обычая, «кодекса чести» берет верх над признаком ирреальности, а вместе с тем и признаком зла (ирреального зла). Когда старшая ведьма поставила деду условие: получишь шапку, если «сыграешь с нами три раза в дурня», тот возмутился: «Козаку сесть с бабами в дурня!» Позорно не то, что с ведьмами, а то, что с бабами...

Щедро питают комическое различные уподобления и сближения двух миров в сфере интимных отношений. «Тут черт, *подъехавши* мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду». Чуть позже Оксана скажет Вакуле: «Все вы мастера *подъезжать* к нам». В свете того, что мы узнали, «все» включает в себя и нечистую силу.

Герои «Вечеров на хуторе...» живут в самом близком соседстве с чертями и ведьмами. «...Кто на веку своем не znalся с нечистым?» Родственные связи скрепляют оба мира, так что уж и не знаешь, у кого в крови нет бесовской примеси. «Правда ли, что твоя мать ведьма?» — произнесла Оксана и засмеялась...» Оказалось, правда; значит, Вакула — сын ведьмы, а потом, выйдя за него, с ведьминным племенем породнится сама Оксана, да и отец ее, козак Чуб, равно как и Голова, и дьяк Осип Никифорович, и козак Касьян Свербыгуз, хаживая к Солохе по известным делам, причащались нечистой силе. Так что реплика Вакулы Пузатому Пацюку — «ты, говорят <...> приходишься немного сродни чорту» — может быть применена и к нему самому.

О Хивре из «Сорочинской ярмарки» нигде не говорится, что она ведьма, как Солоха. Но Грицько за глаза называет Хиврю «старой ведьмой», прибавляя, что готов перевешать «всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам» (намек на способ действия ведьм, ле-

тающих верхом на своих жертвах). Чуть позже, после переполоха и паники, Хиврю застают лежащей без чувств на Черевике. «“Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить!” — говорил один из окружающей толпы». Кажется, Хивря «немного сродни» Солохе или, что то же самое, ее ожидает превращение в Солоху.

Подвижность пограничной линии между мирами, их взаимопроницаемость, повторяю, — источник забавного, жизнерадостного, светлого, и в этом смысле те, кто интерпретировал «Вечера на хуторе...» в духе веселости, имели на то основание. Но та же самая подвижность линии и проницаемость миров имели другую сторону, так как рождали чувство неопределенности и неустойчивости. Неустойчивости перед злом: «Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»

В мерцающем, тревожном свете выступает в «Вечерах на хуторе...» и любовь, описание любви.

С одной стороны, Гоголь развивает сформулированную еще в «Женщине» (в речи Платона) мысль о бесконечной поэтичности женской красоты, мысль, которая переведена здесь на язык нежного и трепетного юношеского чувства. «...Я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье!» Наверное, такие строки имел в виду Пушкин в «письме» о «Вечерах на хуторе...»: «А местами какая поэзия! Какая чувствительность!»

Любовь гоголевских героев исключительна — никто не может сравниться с ними по силе переживаний. Вакула: «Я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить». По сравнению с этим чувство пушкинского Ленского скромнее: тот превосходит силой любви лишь современников: «Ах, он любил, как в *наши лета* / Уже не любят; как одна / Безумная душа поэта / Еще любить осуждена...», а Вакула превосходит всех — и живших, и живущих, и будущих людей. Любовное чувство вытесняет все другие, даже родственные; любовь выше богатства, тщеславия и т. д.

Тот же Вакула: «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец и все, что ни есть на свете. <...> Не хочу, сказал бы я царю, ни каменье дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!» Любовь бескорыстна и всеобъемлюща. Поэтому отверженное или неудовлетворенное чувство непереносимо: «...ну вот так и жжет, так и жжет...» Примерно так же описывал Гоголь действие на него незнакомки, находя выход в бегстве, как Вакула в мысли о самоубийстве (неосуществленной). «Через эту глупую любовь я одурел совсем...» Открывается обратная, рискованная сторона высокопоэтического любовного переживания. Впервые в «Вечерах на хуторе...»

сформулирована мысль: под влиянием любви человек *на все* может решиться.

Достоин внимания факт: во всех пяти повестях цикла, описывающих любовные переживания, герой не может обойтись своими силами и прибегает к сторонней помощи. И это не обычная в ситуации хитроумных проделок влюбленных помощь находчивых и плутоватых слуг (Криспина, Скапена, Фигаро и т. д.), но помощь со стороны таких лиц, которые являются носителями ирреальной силы или находятся с ними в каких-либо связях. В «Сорочинской ярмарке» это менее явно ввиду проблематичных, но в то же время и определенным образом уже намеченных отношений помощников Грицько, цыган, с подземным царством; в остальных же четырех произведениях такие отношения с ирреальной силой более чем явны (в «Страшной мести» соблазняет Катерину на преступную связь, кровосмесительство не помощник, а сам колдун, «антихрист»).

Далее, достойно внимание и то, что лишь в одном случае ирреальная сила добрая (утопленница-панночка в «Майской ночи...»), во всех остальных — откровенно злая, различен лишь ее калибр — от мелкого каверзничества черта в «Ночи перед Рождеством» до Басаврюка, «дьявола в человеческом образе», и колдуна, великого грешника, «антихриста». Значит, влюбленный обращается не просто к ирреальной силе, но к силе заведомо злой, дьявольской, и — в случае с Петро Безродным — закрепляет эту связь традиционным договором (правда, без столь же традиционной росписи кровью), за что и гибнет, превращаясь в прах. Благополучно выходит из подобной переделки лишь Вакула, отделавшись церковным покаянием — и то не за рискованное общение с чертом, а за то, что пропустил заутреню и обедню. Он спасся потому, что сохранил голову в самом смятении чувств и любовной тоске, и вместо заключения «контракта» (тут уже дело поставлено серьезнее: черт ждет от него, чтобы он расписался кровью), усмирил своего партнера крестом и заставил служить собственным целям. Получилось по пословице: Вакула и «капитал» приобрел, и невинность сохранил.

Вакула — высшее выражение любовного переживания, со всеми тревогами любви, и одновременно выражение другой силы, способной противостоять первой. Гоголь уже не повторяет попытку найти опору в самой любви, как в «Женщине». Он теперь ищет опору стороннюю, помимо любовной эмоции. И тут оказывается, что Вакула не вполне точно характеризовал свой внутренний мир, говоря, что выше Оксаны для него ничего нет, — есть что-то и повыше, самое высокое, абсолютное.

Совсем не случайно, что герой, полнее всех в «Вечерах на хуторе...» переживший тревоги любви, оказавшийся на грани пропасти, наделен вместе с тем и высшей степенью благочестия. Как смиренный религиозный живописец появляется он в повести («Кузнец был

богобоязливый человек и писал часто образы святых...»), таковым же он и уходит (в церкви намалевал «чорта в аду такого гадкого, что все плевали»), а по ходу действия сотворяет крестное знамение, кладет поклоны, приказывает все свое добро в случае гибели передать церкви и т. д. Церковь — вот кто служит Вакуле надежным якорем в море соблазнов и бед.

Крест выручает и других героев: деда в «Пропавшей грамоте», выпутавшегося из рискованной карточной игры с ведьмами; деда в «Заколдованном месте» — «...чуть только услышит старик, что в ином месте не спокойно: “а ну-те, ребята, давайте крестить!” и т. д. А если и не выручает, то, значит, слишком поздно обратились к его помощи, к помощи церкви. «Спасается тот, кто отдал себя под ее покровительство — заключив себя в стены монастыря, украсив церковную стену или хотя бы вовремя защитив себя церковным талисманом» [Гиппиус, 1924, с. 35]. В самостоятельную способность человека противостоять злу автор «Вечеров на хуторе...» не верит.

Возвращаясь к реакции современников на книгу, следует сказать, что «веселость» понималась ими достаточно широко, в спектре других эмоций, таких, как поэтичность, чувствительность и т. д.

Мы уже видели это в отзыве Пушкина. Вот еще (более позднее) суждение Белинского: «Это комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего прекрасный Божий мир. Тут все светло, все блестит радостью и счастьем; мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни» [Белинский, т. V, с. 566].

Чего не хватало в этом описании «полноты жизни», так это ее тревожной, подпочвенной, трагичной стихии. Вопреки только что приведенным словам Белинского, «мрачные духи» уже смущали Гоголя «тяжелыми предчувствиями» — и еще как! Однако понимание этого пришло к читателям и критикам позднее.

«ВСЕ ЭТО ТАК НЕОБЫКНОВЕННО В НАШЕЙ НЫНЕШНЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ...»

Необыкновенность таланта Гоголя была уловлена и отмечена сразу же. В своем «письме», опубликованном в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» от 3 октября (№ 79) в рамках рецензии Л. Якубовича, явившейся одной из первых оценок книги в печати, Пушкин писал: «Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Гоголя уже хвалили за «исторический роман» или «малороссийскую повесть», хвалил Надеждин или рецензент «Московского телеграфа», «но Пушкин первый угадал в Гоголе явление» [Гиппиус, 1924, с. 41]. Первый, но не единственный. Буквально через несколько недель сходные мысли стали выражать и другие.

Кстати, пушкинский отзыв позволяет думать, что в период царскосельского общения с Гоголем, то есть до выхода книги в свет, он ее целиком не читал. Хорошо знал о ее существовании, о ходе печатания, быть может, что-то слышал в чтении автора, но полностью не читал. Прочел же книгу целиком лишь по ее получении (послана, как мы упоминали, через Жуковского 10 сентября). «Сейчас прочел “Вечера близ Диканьки”. Они изумили меня...» Отзыв Пушкина дышит всей непосредственностью сиюминутного прочтения, написан под неотступшим еще впечатлением первого знакомства.

Восторженное отношение к «Вечерам на хуторе...» Пушкин сохранил и впоследствии. Этому не противоречит и тот факт, что в связи со вторым изданием Пушкин в опубликованной в «Современнике» [1836. Т. 1] специальной заметке упомянул и о недостатках: «Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов...»⁵⁴

Легко себе представить, что значило для двадцатидвухлетнего Гоголя публичное пушкинское признание.

Помимо проблемы гоголевского смеха («веселости»), Пушкин выдвинул и другую проблему, которая вышла на первый план в толках и суждениях вокруг «Вечеров на хуторе...». Это — народность, а в ней — украинское начало. Именно соотношение народности и украинского начала вскоре приковало к себе широкое внимание. Пушкин сознает специфику гоголевского материала («...свежие картины *малороссийской природы*»), но не подчеркивает ее; он не говорит: автор «Вечеров на хуторе...» народен *потому*, что он украинец. Но другими рецензентами такая причинная связь была проведена.

Еще до «Литературных прибавлений...» о книге Гоголя высказалась «Северная пчела» (№ 219, 220 от 29 и 30 сентября 1831 г.). Отношение Ф. Булгарина, издателя газеты, к Гоголю еще не переменялось к худшему, хотя нужно учитывать, что рецензия написана не им, а критиком В. (то есть В. Ушаковым), а помета «сообщено» несколько отделяет высказанное здесь мнение от позиции редакции⁵⁵.

Гоголю в рецензии могло быть интересным прежде всего то, что его книга прямо связывалась с малороссийским бумом, который он с самого начала принял в расчет («здесь так занимает всех все малороссийское»). Прежде, говорит Ушаков, литераторы-украинцы (И. Котляревский, П. Гулак-Артемовский и др.) старались лишь «сохранить во всей чистоте особенность своего наречия и оригинальность давнопрошедшего быта». Но теперь «малороссийская школа» обратилась к более важной задаче — «раскрывать народность во всей обширности этого понятия». Книга Рудого Панька — самое последнее выражение этого «умного и истинно народного усилия».

И тут, по мнению критика, выступает преимущество выбранного Гоголем художественного материала. «Элементы собственно русского

характера до сих пор остаются неуловимы», «идея национальной литературы образовалась у нас, как и все, подражательно», «есть только ученое усилие». Не то Украина: «...малороссияне имеют свою особенную физиономию или, по крайней мере, живо помнят оную. Они тщательно сберегают свои предания и дорожат ими, как изображениями предков, в коих находят фамильное с собою сходство. Прошедшая история живет в устах их...» Сама «веселость» — атрибут украинской народности: это «запорожский юмор», когда «сквозь древнюю пошехонскую простоту проглядывает какая-то лукавая усмешка». Такая же национальная черта, демонстрируемая одним из рассказчиков, Фомой Григорьевичем, наивная вера в чудесное, или, как колоритно выражается критик, «пергаментная простота, от которой *так уклонились мы...*».

Последние слова — ключ к проблеме. По представлениям того времени, русское относится к украинскому не как изначально вненародное к изначально народному, а как нечто, утратившее народность, к обществу, которое ее сохранило. Поэтому Украина — земля обетованная: «...Наши поэты улетают в нее мечтать и чувствовать; наши рассказчики питаются крохами ее преданий и вымыслов» [Надеждин, с. 280]. Но Гоголю не пришлось никуда «улетать»: украинский дух и традиция в нем самом. Это означает, что он несет в себе и начало русской народности, какой она могла бы быть, если бы правильно развилась. На этой стороне проблемы особенно настаивал Н. Надеждин [Телескоп. 1831. № 20; 1832. № 17], говоря, что гоголевские повести «расцвечены украинскими красками, освещены украинским светом» — и «тем занимательнее посему должны быть *для нас* ее картины». Гоголь для русского читателя — и ободрение, и укор, и горечь, и надежда.

Лишь два критика заметно выпали из хора, один из них — Н. Полевой.

Пушкин писал Гоголю 25 августа 1831 года, что «с нетерпением» ожидает «отзыва остренького сидельца» (т. е. Полевого, купца по происхождению) в силу, очевидно, известных демократических симпатий критика и его интереса к проблеме народности, в том числе и в украинском ее обличье. За год до появления «Вечеров на хуторе...» Полевой в связи с выходом «Истории Малой России» Д. Бантыш-Каменского напечатал в своем журнале, в двух номерах (№ 17 и 18), обширную статью «Малороссия: ее обитатели и история». Критик доказывал, что Украина владеет яркой и сильной печатью народности. А вот в «Вечерах на хуторе...» такой народности он не признал. Не признал, так как не поверил, что автор — действительно украинец.

В рецензии на первую часть книги [Московский телеграф. 1831. № 17] Полевой решил вывести мнимого украинца на чистую воду с помощью стилистического анализа. Выписав и подчеркнув обороты явно литературного происхождения — «полдень *блещет в тишине и зное...*», «...*сладоострастным куполом*» и т. д., критик заключал: «Воля ваша, мы своим русским умом не понимаем этого высокопарения; но понима-

ем то, что это писал не пасичник и не малороссиянин, <...> Мы видим, что вы самозванец — пасичник; вы, сударь, москаль, да еще и горожанин». Чтобы понять это место, нужно обратиться к упомянутой выше общей статье Полевого о Малороссии, к определению самобытности этого края: «Язык, одежда, облик, лица, быт, жилища, поверья — совершенно не наши! Скажем более: на нас смотрят там доньине неприязненно. Имя: *Москвитянин* (Москаль) показывает отчуждение наше от туземцев».

Критик говорит автору «Вечеров на хуторе...»: «...вы, сударь, москаль», — как бы от имени украинцев, заметивших самозванство и подделку. А это уже вопрос не только стиля, способа выражения в поэзии и в быту, но и народной судьбы.

Историю может иметь тот, кто жил «своею более или менее резко жизнью». «Какая яркая жизнь может осветить особую историю Новгорода!» (Полевой имеет в виду, конечно, особый республиканский статус Новгорода в прошлом, новгородское вече, борьбу с централизованным Русским государством.) «Историю Смоленска, напротив, едва ли должно писать отдельно». Украина, фигурально говоря, ближе к Новгороду, а не к Смоленску, ибо она «долго и сильно жила отдельно от России жизнью». Полевой яростно сражается с официально-телеологическими представлениями о том, что всем частям Русского государства изначально предопределено было объединиться под имперским скипетром. «Малороссия, не сделавшись доньине *Русью*, никогда и не была *частью древней Руси*, точно так же, как Сибирь и Крым». Он высмеивает фразу Н. Карамзина, примененную к казакам (в «Истории государства Российского»), — «витязи, умиравшие за веру и отечество». «*Что за витязи, умиравшие за веру и отечество*, были козаки, когда так же дрались они с татарами, турками, литвою, как и с русскими?» Вывод: «квасной патриотизм (историка. — Ю. М.) и тут вмешивался».

Очевидно, и «Вечера на хуторе...» Полевой воспринял как бы принадлежащими официальной концепции, не выходящими за ее границы. «Высокопарение», то есть литературность великорусского толка, было лишь производным от более глубокого изъяна.

По выходе второй части книги критик значительно смягчил свой приговор (рецензия его появилась в «Московском телеграфе» [1832. № 6]). Мол, «во второй книжке <...> автор, во многих местах, очень хорошо воспользовался юмором *своих земляков* и многое представил в живописном, истинном виде». Критик уже знает, кто сочинитель, знает, что это не «москаль», а всамделишный украинец; он с похвалой отзывается о многих частностях, но по-прежнему не признает достоинства «целого». Интересно, что упрек в отсутствии «одной мысли», «целого» адресуется прежде всего «Страшной мести», единственному произведению цикла, в которое вторгается историческая тема национальных междуусобиц, борьбы казачества с поляками.

Вторым литератором, высказавшим сомнение в достоверности гоголевского письма, был А. Я. Стороженко (Андрей Царынный). Он подошел к книге с точки зрения своего, близкого ему материала, как украинец, что подчеркивалось уже названием его огромного разбора: «Мысли *малороссиянина* по прочтении повестей пасичника Рудаго Пянька...» [Сын отечества и Северный архив. 1832. № 1–4; вскоре вышло отдельной брошюрой]. Множество мелких и более крупных оплошностей нашел критик у Гоголя. Почему сватовство происходит среди ярмарки да еще во время уборки хлеба? Почему парубки и дивчата забавляются в будни? Почему Левко играет на бандуре, в то время как на том инструменте играют «или слепые, или козачки»? Почему тот же Левко в теплый летний день поет известную песню «Солнце низенько», повествующую о зимнем морозном вечере? И т. д.

Так широко обозначился диапазон проблемы: от признания гоголевской книги истинно «малороссийской» и потому истинно народной до сомнений в конкретно-национальной подлинности, а следовательно, и народности; от предположения о государственной ортодоксальности писательской точки зрения до мелкотравчатой стилистической и этнографической критики.

Очевиднее прочего была несостоятельность последней, то есть критики этнографического и стилистического толка. Гоголь по точности и полноте знания украинского материала уступал и Андрию Царынному, и, скажем, П. Кулишу, который позднее, в 60-е годы, в журнале «Основа» повел еще более массивную атаку на всяческие его промахи и огрехи. Но у гоголевского знания (или незнания) была своя логика; как заметил еще М. Максимович в полемике с Кулишом, автор «Вечеров на хуторе...» «действительную жизнь своевольно пересоздавал и преображал в новое бытие» [ЛВ. 1902. № 1. С. 104].

Совсем нетрудно, например, понять, почему в «Сорочинской ярмарке» ярмарочные сцены без всякого опосредования, без промежуточных «звеньев» переходят в сцену сватовства, предсвадебного веселья. Ярмарка — чрезвычайная пора, самой своей «теснотой», «физическим контактом тел» (М. Бахтин) выражающая праздничность и веселье. Свадьба — начало новой жизни, неуклонное ее развитие и обновление, и неудивительно, что одно событие перетекает в другое, образуя единую устремляющуюся вверх линию (я сейчас отвлекаюсь от осложняющих эту тему минорных мотивов, о которых шла речь выше).

Что касается общей гоголевской концепции Украины и Запорожской Сечи, то она еще только формировалась, и поэтому уместнее остановиться на ней позже. Пока же ограничимся самым необходимым.

«Ночь перед Рождеством» в составе гоголевского цикла — единственное произведение, основное действие которого развивается в Диканьке. При этом примечательно, что локализация производилась постепенно, по мере того как сознавалась смысловая роль этого поня-

тия. По черновой редакции видно, что Оксана (как и Пацюк) живет в Диканьке: «...и за Диканькою и под Диканькою только и речей было, что про нее» (ср. более выразительную формулировку в окончательной редакции, определенно помещающую Диканьку с Оксаной *в центр*: «...и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки»). Относительно же Вакулы автор словно еще колеблется: встречаемые Вакулой запорожцы вначале «проезжали осенью через Ярески», а чуть ниже: «через Диканьку» (в окончательной редакции в обоих случаях: «через Диканьку»). Соответственно и в других местах Диканька в первоначальном слое рукописи не упоминается: вместо: «Проезжая через *Диканьку* блаженной памяти архиерей...» — «всякий, кто ни проходил, любовался»; вместо: «В *Диканьке* никто не слышал, как чорт украл месяц» — «На земле никто не видел, как чорт украл месяц».

Локализацией основного действия вносилась во вторую часть книги некоторая двойственность: если точка зрения «издателя» по-прежнему несколько сторонняя («близ Диканьки»), то нечто существенно важное в жизни самих персонажей происходит именно в Диканьке, и появляется возможность столкнуть эту Диканьку с самим Петербургом [Немзер, с. 27], ибо чудесным перелетом кузнеца в столицу устанавливается, говоря современным языком, воздушный мост Диканька — Петербург. Получает смысл и то, что с этим путем частично совпадает дорога запорожцев, отправившихся через Диканьку в столицу защищать свои права.

Петербургский мир встречает запорожцев и Вакулу генералитетом, «самим Потемкиным» и, наконец, императрицей Екатериной II. Нарочито узнаваем исторический момент этой встречи, когда Запорожская Сечь после разгрома Крымского ханства в 1769–1774 годах потеряла свое значение и манифестом от 5 августа 1775 года была упразднена. «...Помилуй, мама! зачем губишь верный народ? чем прогневили? <...> Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..» — жалуются запорожцы Екатерине II.

«Мамо», царица, изображена с тем сочетанием сказочного и бытового, которое отмечено Ю. Лотманом применительно к гоголевскому пространству [Лотман, 1988, с. 260]. Она живет в сказочном дворце (Вакула: «вог говорят: лгут сказки! кой черт лгут!»), у нее, по предположению того же Вакулы, ножки «из чистого сахара»; но вместе с тем в ее облике сквозит что-то домашнее и почти затрапезное: кузнец видит «перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающуюся...».

Она способна одарить по-царски (этот мотив был намечен еще в «Пропавшей грамоте»: «сама царица» велела деду «насыпать целую шапку *синицами*...», то есть пятирублевыми, синего цвета ассигнациями); способна выполнить желание простого мужика; она говорит с

ним «ласково», спрашивает запорожцев «заботливо»; у нее «улыбающийся вид», «который так умел покорять себе все».

Симпатия автора «Вечеров на хуторе...» к Екатерине II не случайна, если вспомнить, как отзывались о ней Карамзин, Пушкин, затем Белинский [в «Литературных мечтаниях», 1834]. «Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. <...> Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства» [Карамзин, 1914, с. 36–37]. При Екатерине страна сделала большой шаг в направлении законности и либерализации. Однако для Украины эта пора совпала с роспуском запорожского войска, упразднением Сечи, позднее — законодательным прикреплением крестьян к земле. Отсюда двусмысленность фразы, которую в «Ночи перед Рождеством» императрица произносит при встрече запорожцев: «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала».

Гоголь не перечеркивает коллизии, но лукаво отодвигает ее в сторону, накладывая на большую трагедию запорожцев маленькую личную драму Вакулы. Получается, что кузнец своей наивной и простодушной настырностью никак не дает до конца высказаться запорожцам и, унося в Диканьку драгоценный трофей, навсегда отвлекает внимание от происходящего в Петербурге. Как осчастливила императрица Вакулу — известно, но что она сказала, чем ответила на жалобы своего «народа» — остается неясным, хотя, впрочем, неясным только в повести, так как читатель воспринимал события на фоне исторического финала Запорожской Сечи. Тем не менее в художественно-идеологическом смысле важна и недоговоренность гоголевской повести, требующая очень осторожных, тонких характеристик.

В сравнительно недавней (и весьма содержательной) немецкой монографии предлагается следующее прочтение «Ночи перед Рождеством» и «Пропавшей грамоты» в части, касающейся отношения Гоголя к Екатерине II: «Царица ест золотые *галушки*, то есть с помощью такого малороссийского блюда она аннексирует (*verleibt sich ein*) Украину. Следовательно, соматически-кулинарный образ поглощающей пищу царицы (причем делающей это перед посетителями, то есть публично!) является метафорой административной и частично военной аннексии окраинной провинции. Метафора расширяется с помощью золотой краски. Царица представлена как экономический двигатель наций (als Motor der Ökonomie der Nationen) в русском государстве: в отчуждающем восприятии малороссийского посетителя она “позолотила” *галушки* (метонимически представляющих на царском столе Украину), то есть превратила в деньги, интегрировала в денежный и товарный оборот нового времени» [Друбек-Мейер, с. 146–147; курсив в оригинале. — Ю. М.]. Все это, по крайней мере, излишне категорично...

Ни в «Пропавшей грамоте», ни тем более в «Ночи перед Рождеством» Гоголь не ставит точек над *i*, и в конце концов получается, что

каждый из участников царской аудиенции ведет отдельную партию, имея на то свое право. Потемкин, главная сила в искоренении Запорожской Сечи, учит «козаков», что и как нужно говорить императрице, и очень сердится, видя, что советы не исполняются. Запорожцам же выгоднее представиться необразованными и немудрящими людьми, говорить с царем «мужичким наречием» («Хитрый народ! — подумал он [Вакула] сам себе. — Верно, недаром он это делает»). Что касается Вакулы, то он, не собираясь даже и вникать в заботы своих спутников, думает лишь о том, как поскорее заполучить царские «черевички». Может быть, и Екатерина II, «ласково» и «заботливо» обращаясь с просителями, всего лишь ведет свою роль?⁵⁶ Обнаружились разнородность и разноустремленность *всех* участников этого спектакля, причем грани проходят не только, фигурально говоря, между Петербургом и Диканькой, то есть Украиной, но и между Диканькой и Запорожской Сечью, то есть в *самой* Украине^{56а}.

Но, обнаружив коллизию, повесть не углубляет ее, не дает решительного предпочтения какой-либо из сторон, что в общем соответствовало гоголевскому умонастроению. Украинофильство Гоголя — очевидно (интересно, что земляки писателя расценили книгу как некое заступничество и прославление родного края: «Здесь все просят ее прочесть, — писала Марья Ивановна О. Трощинской 31 октября 1831 года по поводу первой части “Вечеров на хуторе...”». — Николай мой все стремится быть полезным для своего края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее; но в продолжении более будет...» — [РС. 1882. Т. 34. С. 678]). Но столь же несомненна в целом общерусская ориентация Гоголя; он хотел быть деятелем российской государственной жизни, а затем, по мере выдвижения на передний план литературных устремлений, деятелем русской литературы, русским писателем. Собственно уже выбором языка он определил этот путь, а если быть более точным, то надо сказать, что такого выбора перед ним и не стояло: с самых первых литературных занятий и первых самостоятельных опытов в Гимназии он развился в лоне русского языка.

Но это не мешало ему стремиться к художественной объективности и смотреть на происходящее более широко, чем любой из его персонажей. Уже это освобождает писателя от подозрений в официозности. Приходится признать, что народность Гоголя (вернее, мнимое ее отсутствие) была столь же односторонне понята Н. Полевым, как многими другими односторонне понята «веселость». Автор «Вечеров на хуторе...» и здесь давал непростые ответы, сохраняя их самостоятельность и неортодоксальность. И в этом отношении очень характерно появление в сцене аудиенции в «Ночи перед Рождеством» такой фигуры, как Фонвизин.

Императрица указывает Фонвизину на простодушного кузнеца: «“Предмет, достойный остроумного пера вашего!”— “Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по край-

ней мере, Лафонтена!” — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами».

Не проводя никакого отождествления Гоголя с его персонажем, следует все же заметить, что все оттенки этой сцены окрашены личным отношением. Фонвизин находится в числе высших государственных лиц, возле самой императрицы, но его положение особенное — «скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных». При дворе его слушают, хвалят («...я до сих пор без памяти от вашего Бригадира»), дают советы, что писать; он смиренно принимает эти советы, но — уклоняется от следования им; фраза о том, что Екатерина «слишком милостива», произнесена так, что в ней можно заподозрить и иронию. Автор «Вечеров на хуторе...» и здесь не собирается углублять коллизию; сцена буквально промелькивает в общем действии, но намеченная в ней концепция придворного поэта, вернее, поэта при дворе, сохраняющего, однако, свою независимость, характерна для Гоголя начала 30-х годов — мы еще об этом будем говорить.

Между тем появление гоголевской книги стало злободневным литературным событием, которое обсуждалось не только в журналах и газетах, но и в частной переписке.

Самый первый из дошедших до нас откликов принадлежит (как отметил А. Чичерин) писателю, философу, критику В. Ф. Одоевскому. 23 сентября 1831 года, за десять дней до появления рецензии Л. Якубовича с «письмом» Пушкина, он сообщал литератору и чиновнику А. Кошелеву: «На сих днях вышли *Вечера на хуторе* — Малороссийские народные сказки. Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени *Гоголем*, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доньше издавали под названием Русских Романов» [РЛ. 1975. № 1. С. 47]. Одоевский уже знает подлинное имя автора: будучи близок к пушкинскому кругу, он, вероятно, откуда и получил все сведения. Лично с Гоголем Одоевский еще не познакомился.

Чуть позже, 9 ноября, необычайными литературными новостями делится О. Сомов, делится на правах старого гоголевского знакомого с московским литератором и ученым М. Максимовичем: «Я познакомил бы вас заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком *Пасечникам Паньком Рудым*, издавшим *вечера на хуторе*, т. е. Гоголем-Яновским, которому дуралей и литературный невежда и урод Полевой решился сказать: “Вы, сударь, москаль, да еще и горожанин”. <...> У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр. и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию как пять пальцев...» [РФВ. 1909. Т. 61. С. 138].

Позднее, 11 ноября, поэт Н. М. Языков, которому предстояло стать одним из ближайших друзей Гоголя, писал из Москвы в Петербург В. Д. Комовскому, литератору и видному чиновнику: «...каков Гоголь-Яновский? Он мне очень нравится. Может быть, и за то, что житье-бытье парубков чрезвычайно похоже на студентское, которого я есмь пророк!» [ЛН. Т. 19–21. С. 51]. Комовский отвечает Языкову 17 ноября. Он уже прочел и «Вечера на хуторе...», и «Повести Белкина» и делает сравнение к выгоде Гоголя, который представил «мир фантазии»: «Потому-то и Гоголь-Яновский мне особенно по сердцу; не говорю уже (я хохол по происхождению, хотя ничего малороссийского никогда не видал и не знаю) — не говорю о родственной привязанности к малороссийскому и Малороссии, которая, вы согласитесь, есть самый поэтический член России и в географическом, и в историческом отношении. Может быть, повестей Пушкина не сумел я оценить по достоинству оттого именно, что читал их вслед за *Вечерами на хуторе*. Пожив в такой тесной связи с ведьмами и колдунами, не заслушаешься москаля, который думает, что и Бог вещь как игриво его воображение, создавшее высокий вымысел о пьяном гробовщике, который во сне угощает мертвецов» [там же].

Сообщил Н. Языков о гоголевской книге и своему брату Александру. «“Вечера на Диканьке” сочинил Гоголь-Яновский, — писал он 22 декабря из Москвы. — Мне они по нраву, если не ошибаюсь, то Гоголь пойдет гоголем по нашей литературе: в нем очень много поэзии, смышлености, юмора <i>и пр.</i>» [ОР РГБ. Ф. 332, 66, 3. Л. 39 об.; ср. РС. 1903. Кн. 3. С. 530–531]. Чуть позже, 6 января 1832 года, критикуя роман К. Масальского «Стрельцы», Языков выражал сожаление, что «исторические предметы — и самые важные, сверххарактерные, и действительные — попадают в руки бесталанных головушек», но, прибавляет поэт, есть отрадные исключения: Марлинский — «и “Вечера на Диканьке”, слава Богу...» [ЛН. Т. 58. С. 107].

О впечатлении, которое произвели «Вечера на хуторе...», говорит и тот факт, что писатель и критик В. Ушаков, автор упоминавшейся выше рецензии в «Северной пчеле», на своей книге «Досуги инвалида» [М., 1832. Ч. 1; цензурное разрешение от 3 июня 1832 г.] пометил: «Посвящаются Диканьскому пасичнику Рудому Паньку». А в предисловии автор объяснял свое решение: «Повести <...> посвящены вам, почтеннейший Панько, яко умнейшему из всех малороссийских, да едва ли и не великороссийских рассказчиков! Читайте на здоровье, или сна ради! но не взыщите. Я не могу писать так умно, как вы пишете» [с. VII].

Таким образом, мало сказать, что своей первой, известной общественности, книгой Гоголь добился признания — двадцатитрехлетний автор выдвинулся в первый ряд отечественных писателей. Привлекала внимание украинская тема, отмечалось, что она имеет преимущества и в географическом, и в историческом отношении; читатели-украинцы готовы были вывести отсюда свое особое к нему пристрастие, но

при этом книга воспринималась в самом широком литературном контексте. Характерно, что ее сравнивали с распространяющимся потоком романов, в том числе и исторических, отдавая перед ними Гоголю решительное преимущество. Различие жанров получало при этом ироническую остроту: мол, гоголевские вещи малы, да удалы, а те велики, да безжизненны.

Наконец, бросается в глаза и тот факт, что уже с первой книги Гоголя сочли возможным сопоставлять с Пушкиным и порою даже выводить заключение не в пользу последнего. Пушкинские аналогии к автору «Вечеров на хуторе...» проникли в печать: рецензент «Северной пчелы» (В. Ушаков), говоря об умении Гоголя воспроизводить дух прошлого, прибавлял, что он не знает «ни одного произведения в нашей литературе», которое отличалось бы таким же достоинством, — разве что «Борис Годунов» «пойдет в сравнение».

К Гоголю пришла слава. Он понимал, что «черная квартира неизвестности» ему уже не грозит. Где бы он ни появлялся, на него смотрели с интересом, любопытством — и восхищением.

Собственно, перемену к себе он стал замечать и раньше, особенно после выхода первой части «Вечеров на хуторе...». Тем не менее, готовя вторую часть, в предисловии к ней Гоголь позволил себе впасть в грустный, элегический тон: мол, «пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке».

Гоголь отказывался от своего обещания поместить в книге «побасенки самого пасичника»: «...хотел было это сделать [объясняет Рудый Панько], но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте!»

Гоголь прощался со своей книгой, несмотря на ее огромный успех, сознавая известную исчерпанность ее рода, ее «жанра». В то же время он хотел сохранить с ней связь, вынося за скобки «сказку» самого пасечника и тем самым оставляя все-таки читателям надежду на ее последующее появление.

Гоголь не хотел повторяться. В его сознании уже созревали новые замыслы, соотносимые с «Вечерами на хуторе...» и вместе с тем тяготеющие уже к другому смысловому и эмоциональному центру.

В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ. КОНЕЦ 1831 — НАЧАЛО 1832 ГОДА

В житейском смысле Гоголь теперь уверенней стоит на ногах. Когда Марья Ивановна, продолжая беспокоиться о полезных знакомствах, посоветовала нанести визит А. А. Фролову-Багрееву, полтавскому помещику, земляку, племяннику В. П. Ко-

чубея, занимающему должность управляющего Государственного заемного банка, то Гоголь решительно отказался, дав понять, что он уже не тот. «Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякой человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра. Но прошу вас не беспокоиться об этом. Путь я имею гораздо прямее и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы мог мне сделать человек» [X, 222]. Вот если он встретится с Багреевым «у Кочубея или где-нибудь в другом обществе», то, пожалуй, не откажется познакомиться с ним, но совершенно бескорыстно, а не из каких-либо видов.

Гоголь дал понять попутно Марье Ивановне, что он теперь и сам вхож в дом председателя Государственного совета и Комитета министров Кочубея.

В другом месте он просит Марию Ивановну припугнуть почтовых чиновников за недоставку посланной из Петербурга посылки: «Скажите мошеннику полтавскому почтмейстеру, что я на днях, видевшись с кн. Голицыным (главноуправляющим Почтовым департаментом. — Ю. М.), жаловался ему о неисправности почт» [X, 218].

Несколько утрируя, можно сказать, что у Марьи Ивановны должно было создаться впечатление, будто ее сын, как Хлестаков, и «во дворец всякий день» ездит, и его «сам Государственный совет боится»...

Если насчет вельмож и крупных чиновников Гоголь и преувеличивал, то о литературных своих встречах говорил далеко не все. Ничего не написал, например, матери об участии в обеде у Смирдина, а ведь в этот день Гоголь лицом к лицу встретился буквально со всем петербургским литературным миром.

Обед этот состоялся 19 февраля по случаю переезда книжной лавки А. Ф. Смирдина в новое помещение — с Мойки (у Синего моста) на Невский (ныне д. 22). Приглашены были, как выразился впоследствии Н. Надеждин, «именитейшие литераторы» во главе с Пушкиным, и менее известные, и совсем неизвестные.

Один из участников обеда — драматург и переводчик М. Е. Лобанов рассказывает: «В просторной зале, которой стены уставлены книгами — это зала чтения — накрыт был стол для 80 человек⁵⁷. В начале 6-го часа сели пировать. Обед был обильный и в отношении ко вкусу и опрятности довольно хороший. Это еще первый не только в Петербурге, но в России по полному (почти) числу писателей пир и следовательно отменно любопытный...» [Пушкин и современники, с. 113].

От другого очевидца, репортера газеты «Русский инвалид, или Военные ведомости» [1832. № 46. 22 февраля], мы узнаем порядок, в каком сидели за столом гости. На одном конце стола сидели: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, барон Е. Ф. Розен, П. А. Плетнев. На другом — Б. М. Федоров, К. П. Масальский, И. Т. Калашников, В. И. Карлгоф, А. Г. Ротчев. «Средину стола занима-

ли издатели журналов, между коими заседал старейшина русских журналистов Н. И. Греч <...> и Булгарин...»

Гоголь сидел на том же конце стола, что и Федоров, Масальский и т. д. («Гоголь-Яснопольский, остроумный сказочник»). Из нескольких десятков лиц Гоголь попал в число 13 литераторов, достойных, по мнению репортера, упоминания. Характер этого упоминания говорит о том, что вторая часть его фамилии (Яновский) помнилась уже плохо.

По предложению Жуковского все собравшиеся обещали подарить издателю не опубликованные еще вещи, из которых впоследствии составилось два сборника «Новоселье» (1833, 1834). Среди подарков были недавно написанные, известные Гоголю произведения — пушкинский «Домик в Коломне», «Сказка о царе Берендее...» Жуковского. Гоголь тоже обещал внести свою лепту, хотя ничего готового у него к этому времени, по-видимому, не было. Все законченные вещи вошли в «Вечера на хуторе...», вторая часть которых появилась в первых числах марта.

Гоголь теперь уже не выпрашивает у матери денег, но сам посылает домой 500 рублей к предстоящему большому семейному событию. Выходила замуж старшая сестра Николая Васильевича.

Марья Ивановна поначалу сдержанно относилась к выбору дочери — не столько из-за «подозрительного», то есть польского, происхождения жениха Павла Трушковского, сколько из-за его незнатности и скромных материальных возможностей; но затем вняла голосу благоразумия, за что удостоилась похвалы сына: «...Вижу в вас настоящую мать, которую скоро будут приводить в пример везде, умевшую восторжествовать над мелочным честолюбием и сребролюбием, пренебrecь ими для истинного счастья».

Поневоле мысли Гоголя занимает процедура свадьбы, обстоятельства семейной жизни. Он рад, что свадьба будет скромной, без лишнего шума («если бы я вздумал жениться, то жена моя по крайней мере две недели помнле свадьбы не показала бы ни к кому носа»); советует невесте помнить «о строгой бережливости и величайшем ограничении себя во всем». Он даже повлиял на ускорение дня бракосочетания, поддержав «суеверие бабушек», что венчаться в мае — значит век маяться (в результате свадьба состоялась 24 апреля). Интересно, что тут же Гоголь решительно разделяется с другой суеверной приметой: «Вы спрашиваете, — пишет он матери, — появилась ли точно комета в Петербурге. Охота же вам заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый год!»

Гоголь обнаруживает стремление подходить к интимной сфере вполне трезво, оценивать ее с практической стороны, порою эпатируя этим своего собеседника.

В это время А. Данилевский, переживавший на Кавказе роман с красавицей Эмилией, будущей Шан-Гирей, излил в письме Гоголю свое восторженное чувство. Гоголь ответил советом: не следует за «по-

этической частью» забывать «практическую», ведь «если не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны».

Данилевский, по-видимому, оскорбился таким охлаждающим замечанием, чем уже и вовсе рассердил своего друга: «Ты не понимаешь, что значит поэтическая сторона? Поэтическая сторона: “Она несравненная, единственная” и проч. Прозаическая: “Она Анна Андреевна такая-то”. Поэтическая: “Она принадлежит мне, ее душа моя”. Прозаическая: “Нет ли каких препятствий в том, чтобы она принадлежала мне не только душою, но и телом, и всем, одним словом — ensemble”» [X, 227]. Словно Адуев-старший наставляет своего экзальтированного племянника...

И вдруг этот трезвый и практичный Гоголь в письме Данилевскому же срывается в головокружительное признание (частично оно уже приводилось выше по другому поводу): «Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба и с таким же сарказмом, как ты, гляжу на славу и на все, хотя моя владычица куды суровее твоей. Если бы я был ты, военный человек, я бы с оружием в руках доказал бы тебе, что северная повелительница моего южного сердца томительнее и блистательнее твоей кавказской. Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые ensemble дышат и уместились в ее, Боже, как гармоническом лице» [X, 222]. Это уже другой язык, язык той самой «поэтической» стороны, язык страсти, родственный признанию, сделанному три года назад, перед внезапным бегством за границу.

По смыслу гоголевских слов выходит, что ни о какой взаимной склонности, романе (как в случае с Данилевским и Эмилией) не может быть и речи («моя владычица куды суровее твоей»). Возможно, «владычица» даже не догадывалась о пробужденных ею чувствах; возможно, они даже не были знакомы... Как и в эпизоде 1829 года, чувства Гоголя идеальные и как бы сторонние, но их вполне доставало, чтобы заполнить его глубокий внутренний мир.

Возникает, правда, подозрение, что за всеми этими переживаниями вообще не было никакого реального лица, что это лишь мистификация, наподобие тех, которые так любил Гоголь (несколько шуточный тон признания как будто бы подкрепляет эту версию: «чорт меня возьми», «я бы с оружием в руках доказал тебе» и т. д.). Однако другое, более позднее признание Гоголя (в письме от 20 декабря 1832 г.) свидетельствует в пользу реальности упоминаемого им факта. Мы уже (по другому поводу) касались этого признания вскользь, приведем теперь его полностью.

Когда Данилевский понял, что он не может рассчитывать на брак «вследствие значительной разницы в положении» [Шенрок, т. I, с. 352] и должен расстаться с Эмилией, Гоголь писал другу: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря

судьбе, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение. Я бы не нашел себе в прошедшем наслажденья, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия, и потому-то к спасенью моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желанья заглянуть в пропасть. Ты счастливее, тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь» [X, 252].

Из текста совершенно ясно: Гоголю «не удалось испытать» не само любовное переживание, а связанные с этим отношения. Но «два раза» случай к этому представлялся, и Гоголь уклонялся от него силою «твердой воли». Эти события сходны со «случаем» Данилевского в том смысле, что мешали какие-то непреодолимые препятствия, не оставляющие никакой надежды влюбленному или — скажем применительно к Гоголю более осторожно — *увлеченному*. Расставаясь, Данилевский, по мысли его друга, может утешаться воспоминанием, сознавать, что это *было* (находить «в прошедшем наслажденья»), для Гоголя же подобное невозможно благодаря страстности его природы и могуществу чувства («силился бы превратить это в настоящее»). И вот мотивы его самообуздания.

Добавим, что обстоятельства и тон этого признания таковы, что уже не позволяют видеть в нем какую-нибудь мистификацию или выдумку.

Между тем знаменательна и та философия любви, которую развивает Гоголь в это время. Мы знаем, его давно занимала и тревожила разрушительная, энтузиастическая природа любовного чувства, для защиты от которой он искал опоры — в божественной природе самой женской красоты («Женщина»), а затем и в христианском благочестии («Ночь перед Рождеством»). Теперь такую опору он находит в эволюции самого любовного чувства, в развитии человеческой психологии, обусловленной естественным переходом из одной стадии в другую — «любовь до брака» и любовь *после* брака. Ряд внешних обстоятельств, видимо, побудил Гоголя к этой мысли: свадьба сестры, несостоявшиеся матримониальные планы Данилевского и — решаюсь высказать такое предположение — женитьба Пушкина. Ведь Гоголь в Царском Селе оказался свидетелем, хотя и не близким, начала жизни *семейного* Пушкина. Но приведем гоголевское рассуждение о двух стадиях любви (письмо Данилевскому от 30 марта 1832 г.):

«Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака; но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека. Но вторая часть, или лучше сказать, самая книга — потому что первая только предупреждение к ней — спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумля-

ешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведение великого мастера, с которого уже он никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидеть прежде».

Рассуждения Гоголя необычны и даже несколько дерзки для его времени, для господствовавшего эстетического вкуса. Для романтического брака — камень преткновения любви; романтический дуализм вытекал из непримиримого столкновения любовной поэзии и семейной прозы. Герцен говорил о Гофмане: «У него юмор артиста, падающего вдруг из своего Эльдorado на землю, — артиста, который среди мечтаний замечает, что его Галатей — кусок камня, — артиста, у которого в минуту восторга жена просит денег детям на башмаки» [Герцен, с. 72]. Гоголь же стремится сохранить поэзию и в новой стадии: любовь после брака лишается беспокойной томительности, разрушительности («свирепый энтузиазм»), но не своей высоты. Больше того — в этой высоте она еще более обогащается и утончается. Влюбленный подобен художнику, но не Пигмалиону, открывающему, что «Галатей — кусок камня», а тому, кто не устает находить новые красоты в произведении «великого мастера». Кто же этот мастер, стоящий над другими художниками? «Гений всемирный», как скажет позднее Гоголь по другому поводу, или сам Бог, Творец всего сущего.

Затем Гоголь переводит развиваемую им антитезу на язык современных литературных понятий: «Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг охватит вас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частью, небольшою рекою, впадающею в этот океан» [X, 227]. Так появляется имя Пушкина в качестве своеобразного художественного эквивалента высшей стадии любви. Позже в том же качестве он противопоставляется не Языкову, а Байрону: «Да зачем ты нападаешь на Пушкина, что он прикидывается? — спрашивает Гоголь Данилевского 20 декабря 1832 года. — Мне кажется, что Байрон скорее. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением. Это что-то подозрительно. Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она не выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однако ж, нельзя выразить, и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад» [X, 252].

Чуть позже, в конце 1832-го или, вероятнее, в начале 1833 года, Гоголь видоизменил антитезу, вернее, один из ее полюсов: Пушкину противостоит не Языков или Байрон, а Иван Козлов, впрочем, как

один из тех, кто подчинился влиянию Байрона. Поэт-слепец пожелал «обвиться около этой гордо-одиноким души», в то же время растворив ее субъективизм «кротким христианским величием веры». Поэтому, несмотря на отсутствие байроновской экспрессии, Козлов «весь в себе», «весь неразделенный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него»; «лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облакает он явления души своей». Иначе и не может быть: «обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного», то есть Пушкина, к которому Козлов относится «как часть к целому». И это немало: «...для кого не блистательна, кому не завидна участь: быть частью необъятного Пушкина!!»

Пушкин выступает как высшее выражение полноты и гармонии, но спрашивается, в каком смысле? И тут открывается любопытная черта: Гоголь, как сказал бы один старый критик, мешает человека с поэтом, нарочито не оговаривая, когда имеется в виду первый, когда второй.

В начале знаменитой гоголевской статьи «Несколько слов о Пушкине» сказано: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Перед этим была заявлена тема о Пушкине как «русском национальном поэте»; между тем очевидно, что мысль выходит за пределы этой темы и касается Пушкина именно как человека, как своего рода искомый психологический и нравственный идеал.

Статья «Несколько слов о Пушкине», по мнению комментатора, написана значительно позже — в феврале 1834 года она, «по-видимому, не была кончена даже в черновом виде» [VIII, 757]. Однако не случайно под текстом Гоголь поставил дату *1832 год*: статья неразрывно связана с кругом гоголевских рассуждений именно этого года, когда она была скорее всего и задумана, если не написана. И житейская, как сегодня бы сказали, экзистенциальная окраска подобных размышлений возникла у Гоголя после Царского Села, когда в облике Пушкина, помимо всего, ему так важен был поведенческий аспект, служащий примером равновесия и устойчивости в противоречивом и хаотичном мире.

Говоря о полноте и гармонии, Гоголь затрагивает и Пушкина-художника («после брака любовь — это поэзия Пушкина»), и тут возникает своя двойственность аспектов. Но вначале попробуем представить себе, какие произведения Гоголь имел в виду. Вполне возможно, пушкинские лирические шедевры, скажем: «На холмах Грузии» («Северные цветы» на 1831 г.; здесь же, кстати, — гоголевская «Глава из исторического романа»), или «Я вас любил» («Северные цветы» на 1830 г.), или «Мадонну» («Сиротка» на 1831 г.). Но также имел в виду — и это уже точно — последнюю главу «Евгения Онегина» (по окончательной нумерации это VIII глава). Когда брошюра с главой вышла в свет (около 20 января 1832 г.), Гоголь послал ее Данилевскому со

словами: «Может быть, у вас в глуши <...> еще не читали. В этом случае, ты обомлеешь от радости и верно не найдешь слов, чем выразить мне свою признательность» [X, 224].

Обозревая пушкинские произведения этого периода, видишь, что о некоторых из них можно действительно сказать словами Гоголя: их лирическая атмосфера спокойна, в них открывается «целое море таких наслаждений» (вспомним «Мадонну»: «Исполнились мои желания. Творец / Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна. / Чистейшей прелести чистейший образец»). Но чувство умиротворения, спокойной полноты не является единственным в пушкинских произведениях этого периода. Вот восхитившая Гоголя «Последняя глава Евгения Онегина»: здесь вспыхивает судорожная страсть Евгения; здесь происходит мучительное объяснение его с Татьяной; здесь мы расстаемся с героем, погруженным в «бурю ощущений», и с героиней, скрепя сердце смирившейся со своей судьбой. Здесь неуместны слова о «целом море *тихих* наслаждений». Можно говорить лишь о неаффектированности и жизненной правдивости чувств, но не их гармоничности.

Зато понятие гармонической полноты перемещается в другую сферу, где оно царит полновластно, — в сферу пушкинской поэтической манеры. Мемуарист подметил, что именно по признакам поэтики Гоголь противопоставлял Пушкина и Языкова как антиподов: «Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова» [Анненков, 1983, с. 62]. Поэтика Языкова была внятна Гоголю и ценима им, но все-таки вопреки мемуаристу, на правах явления, *уступающего* пушкинскому письму. Именно по отношению к пушкинской манере получают полный, неограниченный смысл слова: «чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается...»

Получается, что в целом Гоголь знаменательным образом смещает или, по крайней мере, двойит тему: на вопрос, заданный преимущественно о содержании, он дает ответ, касающийся преимущественно формы. Это была не хитрость, не самообман, а следствие естественного состояния художника, исполненного ощущения открывающихся перед ним возможностей и ищущего в них точку опоры.

И тут мы коснемся одного прямо-таки загадочного места в рассуждениях Гоголя о любви.

Говоря о двух стадиях любви, символизируемых поэзией Языкова и Пушкина, Гоголь приводит Данилевскому пример, «ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию». «Ты, я думаю, — продолжает Гоголь, — уже прочел Ивана Федоровича Шпоньку. Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем как

после брака делается совершенно поэзией Пушкина» [X, 227–228]. Шпонька до брака — это стихи Языкова, которые «эффектны, огненны»? И это в то время, когда мы видим в поведении Шпоньки, в том числе и перед лицом предполагаемой невесты, только бесконечную робость, растерянность и боязнь перемен...

Гоголь задал своему другу ошарашивающую загадку, нарочито запатирующую и сбивающую с толку. Потому что в смысле природы любовного переживания Шпонька до брака никакого отношения к поэзии Языкова не имеет, так же как после женитьбы (которая весьма проблематична ввиду проблематичности окончания повести вообще) вряд ли будет иметь какое-либо отношение к поэзии Пушкина. Шпонька и «величавый и обширный океан чувств»... Уж не издевается ли Гоголь над своим корреспондентом?

И все же, я думаю, в глубине парадокса таилось ощущение, которое и подтолкнуло Гоголя к его озорной параллели. Ведь проблема гармонии ставилась им очень широко, все более охватывая сферу изображения, поэтических и стилистических принципов. И тут образцом служил зрелый Пушкин, от которого, собственно, и должна была отправляться новейшая русская литература, Гоголь в том числе. «Потому что чем предмет обыкновенное, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина» [VIII, 54]. В этом смысле Шпонька, в представлении его автора, персонаж вполне пушкинский, потому что он «обыкновенен»; но Шпонька после свадьбы, случись ему выступить в таком качестве, превзошел бы сам себя, был бы, вероятно, *дважды обыкновенен*. В жизни холостого Шпоньки еще что-то происходит: военная служба, отставка, встреча с соседской дочкой, которую прочат ему в невесты, наконец, страшный сон — предвестие перемены. Женатый Шпонька скорее всего попал бы в круг ежедневно повторяющегося времяпрепровождения, вроде бесконечных закусываний и угощений четы Товстогубов. Возможно, Гоголь потому и оставил своего героя на пороге его нового состояния, что это выдвинуло еще более трудную художественную задачу: ведь «чем предмет обыкновенное, тем выше нужно быть поэту...». Но спустя два-три года Гоголь взялся за эту задачу в «Старосветских помещиках».

У Гоголя в конце 1831 — начале 1832 года внешне ровное, спокойное душевное расположение; устоявшийся распорядок дня. Уроки в Патриотическом институте, литературные занятия, обдумывание новых произведений (каких — это выяснится через несколько месяцев, во время пребывания писателя в Москве); вечером — встречи с друзьями, преимущественно земляками, которые заходят к нему, «старика», — сообщает Гоголь Данилевскому 1 января 1832 года — «каждую среду и воскресенье».

Однажды собрание у Гоголя посетил А. Н. Никитенко, украинец по происхождению, литератор и ученый, адъюнкт-профессор кафедры русской словесности Петербургского университета, и сделал помету в дневнике (22 апреля 1832 г.): «Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, “Повестей пасичника Рудого Панька”. Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие». На самом деле Гоголю только исполнилось 23 года: просто трудно было поверить, что «Вечера на хуторе...» написал совсем еще молодой человек... Примечательна и другая деталь гоголевского портрета у Никитенко: именно после первых шумных успехов писателя мемуаристы стали замечать у него выражение лукавства и хитрости, которые словно должны были объяснить, каким образом он сумел так быстро всего этого добиться.

«У него, — продолжает Никитенко, — застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанники нежинской гимназии. Между ними никого замечательного. <В. И. Любич-> Романович, правда, не без дарования, но, вспыхнув маленьким огоньком, он уже быстро гаснет» [Никитенко, с. 116]. Среди лиц, которых застал Никитенко у Гоголя, могли быть, помимо Любича-Романовича, Н. Прокопович, Н. Кукольник, А. Мокрицкий, А. Божко, М. Риттер, И. Пашенко...

Многие из них служили: Божко, кончивший Гимназию одновременно с Гоголем, — в Комиссариатском департаменте Военного министерства; М. Риттер — в правлении Государственного земельного банка; И. Пашенко — в Министерстве юстиции. Чиновником был и будущий известный художник Мокрицкий, кончивший Гимназию двумя годами позже Гоголя: вначале он служил канцеляристом при Департаменте горных и соляных дел, а с 11 февраля 1832 года — писарем при экспедиции Ссудной казны Петербургского опекунского совета. Все они занимали должности самые маленькие, как некогда и Гоголь в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий и Департаменте уделов. Никто еще не сделал карьеры, и, как острит Гоголь в письме Данилевскому от 1 января 1832 года, «к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента».

Кое-кто из нежинцев уже успел напечататься. Риттер, будучи еще гимназистом, поместил в «Дамском журнале» [1826. № 19] стихотворное послание к И. П. С<имоновско>му, тоже ученику Гимназии. Прокопович опубликовал в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» за 1831 год свое первое стихотворение «Мои мечты», а чуть позже в «Северных цветах» на 1832 год — стихотворение «Полночь» (Гоголь упомянул его иронически, перечисляя произведения Языкова, Пушкина, Жуковского: «Сюда затесалась и Красненького Полночь»). А Любич-Романович — единственный, кого выделил Никитенко среди гоголевских знакомых, — тот не только регулярно печат-

тался в петербургской периодике, но и выпустил книгу: «Стихотворения Василя Романовича» [СПб., 1832; цензурное разрешение от 29 декабря 1831 г.], открывавшиеся посвящением «Гимназии высших наук князя Безбородко»:

Тебе — святилище наук —
Питомец вдохновенья юный,
В златые ударяя струны,
Свой первый посвящает звук!

Возвращаясь к Прокоповичу, надо еще сказать, что лишь он один сумел придать своим театральным увлечениям нежинской поры профессиональный характер. Гоголю поступить в труппу не удалось, а Прокопович еще в 1831 году стал посещать театральное училище и год спустя был принят в труппу императорского театра. Он выходил на сцену в роли вестников или «так называемых *предводителей свиты Фортинбраса*» [Лицей, 1881, с. 424], то есть в ролях, поручаемых малоталантливым и неудачливым актерам.

В общем Никитенко был прав, довольно скептически отозвавшись о гоголевских однокашниках. Заметной фигурой среди них был Н. Кукольник, который, покинув Нежин, в течение двух лет преподавал русскую словесность в Виленской гимназии, а в 1831 году приехал в Петербург. Но Кукольник еще не опубликовал свое первое произведение — драматическую фантазию «Торквато Тассо» (появилась в 1833 г.) и, видимо, как писатель не обратил на себя внимание Никитенко.

А два других, самых талантливых питомца нежинской Гимназии, П. Редкин и К. Базили, в это время еще не входили в петербургский кружок «однокорытников». Базили в 1830 году отправился в Турцию и Грецию, находясь, как он сам говорил, «несколько лет при вице-адмирале Рикорде на императорской эскадре в греческих водах», и приехал в Петербург в конце 1833 года. Редкин же, по окончании нежинской Гимназии, поступил на отделение нравственно-политических наук Московского университета; в мае 1828 года «как один из отличнейших студентов» отправлен в Дерпт для преподавания права; осенью 1830 года причислен на службу по II отделению Императорской канцелярии, а в декабре того же года для завершения образования послан за границу, где слушал лекции в Берлинском и других университетах. Вернулся он в Россию только в 1834 году [Шимановский, с. 27].

Не было в это время в Петербурге, как мы знаем, и А. Данилевского, который в апреле 1831 года, оставив Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, уехал на Украину, а затем на Кавказ; но если бы он и находился среди нежинских земляков, это едва ли бы изменило впечатление Никитенко к лучшему.

Товарищи Гоголя еще были на распутье; некоторых ожидали впереди успехи и известность; другие так и остались скромными, малоза-

метными тружениками. А тот, кого многие считали в Нежине посредственностью или чудачком, из которого не выйдет ничего путного, вдруг одним прыжком опередил их всех, сделавшись всероссийской знаменитостью.

Теперь с легким сердцем Гоголь мог совершить и давно обещанную поездку на родину, не опасаясь злорадных косых взглядов земляков вроде В. Ломиковского. Однако с приближением весны он почему-то стал колебаться в своем решении — верный признак того, что, несмотря на успехи, на упрочившееся положение и внешнюю гармонию, внутренне он так и не обрел твердого спокойствия. «В то время переменчивость в настроении его души обнаруживалась в скором созидаании и разрушении планов» [Кулиш, 1854, с. 49].

В марте он объявил матери, что нынешним летом приехать не сможет, но затем, видимо, изменил свое решение. К маю он стал было уже собираться в дорогу, приятели приходят к нему прощаться, но узнают, что тот переехал на дачу — на Поклонную гору, в дом некоего Гинтера. Здесь его навестил Н. Д. Белозерский, черниговский помещик, знавший писателя еще в бытность его гимназистом. Со слов Белозерского гоголевский биограф рассказал об этом посещении.

«Гоголь занимал отдельный домик с мезонином. <...>

— Кто же у вас внизу живет? — спросил гость (Белозерский. — Ю. М.).

— Низ я нанял другому жильцу, — отвечал Гоголь.

— Где же вы его поймали?

— Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают.

— Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи?

— Публиковал.

— Нельзя ли мне воспользоваться?

— Очень рад. Не угодно ли садиться? Позвольте узнать вашу фамилию.

— Половинкин.

— Так и прекрасно! вот вам и половина дачи. — Тотчас без торгу и порешили» [там же, с. 49–50].

О своем переезде на дачу Гоголь сообщил матери, заметив, что, возможно, в будущем месяце появится в родных местах: «впрочем, не советую вам слишком предаваться надежде: очень может случиться, что я вас обману». Однако Гоголь уже решил, что едет, и в тот же день, 9 июня, подал своему начальнику Н. Лонгинову прошение предоставить ему отпуск по домашним обстоятельствам для поездки в имение [X, 233]. 13 июня последовало высочайшее согласие императрицы [РС. 1887. Т. 56. С. 751]. А 15 июня Гоголь написал Данилевскому на Кавказ письмо с предложением встретиться в родных местах, а «сборное место положить хотя в Толстом (имении Данилевских. — Ю. М.) или в Васильевке».

Для некоторых из петербургских знакомых Гоголя его отъезд был неожиданностью. «Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного г. Половинкина». Гоголь съехал с дачи с такой поспешностью, что не позаботился о зимнем платье, оставленном в комод. «Потом уж он писал из Малороссии, к своему земляку Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешанным» [Кулиш, 1854, с. 50].

Гоголь выехал из столицы после 20 июня, вместе с А. Божко и со своим крепостным Якимом. Божко сопровождал Гоголя до Москвы⁵⁸.

МОСКВА — ВАСИЛЬЕВКА — МОСКВА

Гоголь впервые прибыл в Москву. В свое время он уклонился от встречи с Москвой, чтобы не ослабить впечатления от новой столицы. За три с половиной года многое изменилось. В Петербург он приезжал безвестным, никому не нужным юношей; в Москву — восходящей литературной знаменитостью.

Почва в Москве для Гоголя была уже подготовлена — прежде всего стараниями Н. Надеждина, который сразу же причислил автора «Вечеров на хуторе...» к лучшим русским писателям, а затем еще стараниями университетской молодежи. «Московские студенты, — писал С. Т. Аксаков, — все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу о новом великом таланте» [Воспоминания, с. 92]. Речь идет в первую очередь о лицах, группировавшихся вокруг студента Московского университета Н. В. Станкевича, главы философского и литературного кружка. В этот кружок входил и сын Сергея Тимофеевича Аксакова Константин, а также будущий знаменитый критик Белинский.

Одним из первых (или первым), к кому Гоголь обратился в Москве, был М. Погодин. Для этого имелись свои причины.

С. Т. Аксаков (а вслед за ним и ряд исследователей) считает, что они познакомились еще в Петербурге, куда Погодин ездил по своим делам, — но это не так.

Погодин находился в Петербурге с сентября по конец ноября 1831 года — он хлопотал о напечатании своей трагедии «Петр I» [Пушкин и современники, 1928, с. 166–167]. С Гоголем Погодин тогда не встретился, но, общаясь с Пушкиным и людьми его круга (В. Жуковским, В. Одоевским и др.), наверняка получил о нем достаточно подробные сведения: имя Гоголя, только что выпустившего первую часть «Вечеров на хуторе...», было у всех на устах. С другой стороны, и Гоголю Пушкин мог заочно рекомендовать Погодина, содействуя их будущей встрече.

Погодин интересовал Гоголя как редактор «Московского вестника» (1827—1830), журнала, которым он зачитывался еще в Нежине, интересовал как автор повестей и как историк. Гоголь, разумеется, не признавался, что в свое время послал ему инкогнито «Ганца Кюхельгартена», и в глазах Погодина он являлся литератором, почти мгновенно добившимся успеха.

Своему другу, поэту и критику С. П. Шевыреву, проживающему в это время в Италии, Погодин сообщал 30 июня: «Скоро приедет Гоголь-Яновский, написал две части повестей малорос<сийских> волшебных — много прекрасного. Он здесь...» [Гиппиус, 1931, с. 59]. И одновременно пометил в дневнике (запись от 11 июня — 7 июля): «Познакомился с рудым пасечником Гоголем-Яновским и имел случай сделать ему много одолжения. Говорил с ним о малорос<сийской> истории и проч. — Большая надежда, если восстановится его здоровье» [X, 450].

Последняя фраза с точки зрения состояния и психологии Гоголя весьма любопытна. Дело в том, что он отправился в дорогу, чувствуя некоторое недомогание, и «в Москву приехал нездоровым» (письмо к матери от 4 июля). В Москве же, как нарочно, стояла пасмурная и холодная погода [Московские ведомости. 1832. № 51, 52 и т. д.], что не способствовало быстрому выздоровлению. Однако у Погодина сложилось впечатление, будто речь идет не о простом недомогании, но о такой болезни, от течения которой зависит будущее Гоголя как литератора. Поправится — осуществится «большая надежда», не поправится — все пойдет прахом.

Конечно, такое впечатление основывалось на словах самого Гоголя. С. Т. Аксаков вспоминал, имея в виду те же дни: «...он [Гоголь] удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни <...> и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: “Да чем же вы больны?” Он отвечал неопределенно, что причина болезни его находится в кишках» [Воспоминания, с. 90].

Гоголь был расположен к хворостям с детских лет и жаловался часто. Находили на него и «приступы тоски», проистекающие из «болезненного состояния», — причина, как он говорил, обращения его к комическому изображению. Приезд в Москву совпал с обострением подобного состояния, которое, как видим, совсем не обуславливалось внешними неудачами и трудностями. Наоборот, литературные (да и служебные) обстоятельства Гоголя были, как никогда, благополучны; он добился признания и славы, и в этот момент его подстерег очередной приступ... Признаком такого состояния являлось и то, что оно наступало внезапно, никак не выражалось во внешнем, физическом его виде, даже контрастировало с ним. Характерно также, что сам Гоголь склонен был давать этому состоянию не душевное, а физиологическое, даже анатомическое объяснение («причина... находит-

ся в кишках»). Так, впоследствии он будет говорить, что тот или другой орган расположен у него иначе, чем у других, то есть будет считать, что источник всего — некая допущенная высшими силами природная аномалия его телесной организации...

Несмотря на плохое самочувствие, Гоголь приоткрыл Погодину часть творческих планов, которые его теперь занимали, — это были планы научные — в области истории, особенно украинской. Видя в Погодине профессионального историка, собирателя и исследователя новых материалов, Гоголь был заинтересован в его советах и подсказках, которые тот охотно дал. Другую часть своих планов Гоголь открыл, вернее, дал почувствовать С. Т. Аксакову, в дом которого приел его Погодин.

Сергей Тимофеевич, его жена Ольга Семеновна да, видимо, и все взрослые члены семейства к этому времени уже прочитали обе части «Вечеров на хуторе...», выяснили, кто их автор, и имя Гоголя сделали им «известно и драгоценно».

Тем более поразил их сюрприз, который случился в одну из «аксаковских суббот», а именно 2 июля, когда в его доме на Сивцевом Вражке, в Большом Афанасьевском переулке, д. 12 (позднее ул. Мясовского), собрались приятели и литературные друзья. Присутствовали профессор математики П. С. Щепкин (однофамилец знаменитого актера), преподаватель и литератор М. М. Карниолин-Пинский, позже пришел П. Г. Фролов и еще несколько лиц, которых С. Т. Аксаков не запомнил. Сам хозяин играл в карты в четверной бостон.

«Вдруг Погодин, — рассказывает Сергей Тимофеевич, — без всякого предуведомления вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: “Вот вам Николай Васильевич Гоголь!” Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций».

С. Аксаков описывает внешность Гоголя: «...хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички», а в платье — «претензия на щегольство», выразившаяся в «пестром светлом жилете с большой цепочкой». Отмечена и черта, бросавшаяся в глаза многим в ту пору, — «что-то хохлацкое и плутоватое».

В общем отношения Аксаковых с Гоголем в этот раз не сложились и протекали несколько натянуто, несмотря на приход Константина, который бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Не подействовали на Гоголя и искренние похвалы Аксакова-старшего «Вечерам на хуторе...»; возможно, писатель увидел во всем этом, как предполагает Сергей Тимофеевич, дежурные «комплименты», а может, на него просто нашла хандра под влиянием болезненного состояния.

Через несколько дней С. Аксаков по просьбе Гоголя повел его к М. Н. Загоскину, жившему в собственном доме в Денежном переулке (позднее ул. Веснина. — [Земенков, с. 13]). Отношения хозяина и гостя развивались по той же схеме: со стороны Загоскина — чисто московское радушие, «отверстые объятия», «крики», «похвалы», даже поцелуи, а со стороны Гоголя — сдержанность и молчаливость. Аксаков подметил, что Гоголь скоро и хорошо разобрался в Загоскине, оценив его болтливость и хвастовство; но так же хорошо разобрался он и в *Загоскине-писателе*, чьи пьесы знакомы ему были еще с нежинской поры.

По дороге к Загоскину у Аксакова и Гоголя произошел знаменательный разговор — не только о комедиографе, но и о русской сцене вообще: «Гоголь хвалил его [Загоскина] за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я [Аксаков] легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

...даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что — “это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его”. Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. <...> Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее» [Воспоминания, с. 90].

По словам Аксакова, он был озадачен высказанной его собеседником мыслью о русской комедии, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Дело в том, что эта мысль уже выходила за пределы того художнического амплуа Гоголя, которое сложилось под влиянием «Вечеров на хуторе...». У множества читателей, в том числе и Аксакова, с этим амплуа связывались понятия яркого многоцветия, полноты жизни, народности, наконец, той же веселости, а тут вдруг писатель резко меняет тон и собирается погрузиться в унылую прозу «света пустого». Сергей Тимофеевич почувствовал, что это не простой теоретический интерес, но выражение определенного творческого направления, которое вскоре должно оформиться, а может быть, уже и оформилось в конкретный замысел. И действительно, из более позднего письма Гоголя к Погодину мы узнаем, что уже в Москве «комедия» у него «не выходила из головы». Кстати, вновь заметим совпадение, о котором сказано в «Авторской исповеди»: замысел комического произведения зарождается в пору «болезненного состояния», когда автор, «чтобы развлекать себя самого», «придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».

Но, верный себе, Гоголь одновременно думает и о практической стороне дела: по вполне обоснованному предположению В. Шенрока [Шенрок, т. 2, с. 114], он решил познакомиться с Загоскиным отнюдь не из простого интереса к личности комедиографа. Загоскин был влиятельным человеком в театральном мире: с 1830 года он занимал должность управляющего конторою императорских московских театров, а с 1831 года — директора этих театров.

Не без тайной мысли встретился Гоголь и с актером М. С. Щепкиным. Они познакомились в Москве в 1832 году (по возвращении в Петербург Гоголь уже просит передать Щепкину поклон — как знакомому лицу), в доме Щепкина в Большом Каретном переулке (позднее ул. Ермоловой), причем есть основания считать, что это произошло в первый приезд Гоголя в старую столицу — на пути в Васильевку.

Об обстоятельствах встречи сохранились воспоминания двух сыновей Михаила Семеновича — Петра и Александра, а также воспоминания литературоведа и фольклориста А. Афанасьева. Все три свидетельства почти идентичны. Приведу рассказ Александра Михайловича (записанный его сыном М. А. Щепкиным, внуком актера): «О первом знакомстве Н. В. Гоголя со Щепкиным отец мой рассказывал так. Как-то все сидели за обедом. Вдруг стукнула дверь из передней в залу, все оглянулись и увидели, что вошел незнакомый господин небольшого роста, в длинном сюртуке; слегка склонив голову набок, с улыбочкой на губах и скороговоркой он проговорил известное четверостишие: “Ходит гарбуз по городу”. Вскоре, конечно, все узнали, что это Н. В. Гоголь. Михаил Семенович бросился его обнимать, и все послеобеденное время они просидели вдвоем в диванной, о чем-то горячо беседуя» [Воспоминания, с. 527].

Некоторый свет на те предметы, о которых они горячо беседовали, проливает следующий документ. Когда Гоголь уже покинул Москву, Н. Надеждин поместил в своей газете «Молва», выходящей в качестве приложения к «Телескопу», в № 67 (цензурное разрешение от 18 августа), сообщение: «Рудый Пасочник [так!], которого прекрасные Малороссийские сказки приняты были с особенным удовольствием, недавно проехал чрез Москву на свою родину. Мы надеемся, что он соберет там нового меду для улаждения публики. Малороссияне, говорят, от него в восторге. Первое издание его сказок распродано было нарасхват, теперь готовится второе. Кроме повестей, у старика замыслено нечто важнейшее, но мы, опасаясь, чтоб он не обвинил москалей в нескромности, умалчиваем до времени».

Эти строки, которые, кажется, не обратили на себя внимания биографов Гоголя, позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, они подтверждают факт знакомства с Щепкиным именно в первый приезд писателя в Москву. Малороссиянин, пришедший «в восторг» от Гоголя, — это, конечно, Щепкин. У Щепкина и Надеждина издавна сложились дружеские отношения, и легко представить себе, что

издатель «Телескопа», которому, кажется, еще не удалось лично познакомиться с Гоголем, жадно выпрашивал о нем Михаила Семеновича (помимо Щепкина, он мог получить сведения и у немалороссиянина С. Т. Аксакова, с которым также был достаточно близок).

Во-вторых, мы узнаем кое-что и о литературных замыслах Гоголя. Писатель задумал новые повести, тоже на малороссийском материале и примакающие к «Вечерам на хуторе...» — об этом говорит фраза о «новом меде», который Рудый Панько должен собрать на родине. Не имелась ли в виду уже «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которую Гоголь обещал Смирдину на «новоселье» и которая имела подзаголовок: «Одна из неизданных былей Пасичника рудаго Панька»? Но есть в замыслах Гоголя и нечто помимо повестей, «нечто важнейшее» — и это, конечно, его комедия. Если писатель дал понять об этом С. Аксакову, то он тем более не утаил свои мысли от Щепкина, великого комического актера, который мучительно страдал от скудости комедийного репертуара и с нетерпением ждал новых пьес. В сообщении Надеждина виден отблеск воодушевления, пробужденного в Щепкине услышанной новостью.

Можно восстановить еще одну подробность московской встречи Гоголя и Щепкина. Значительно позже А. Н. Афанасьев сообщил такой факт, записанный им со слов актера: «Случай, рассказанный в “Старосветских помещиках”, о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взята из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести» [БЧ. 1864. № 2. Отд. 11. С. 8]. Рассказать об этом происшествии Щепкин мог летом 1832 года или, что менее вероятно, в июне 1834 года, когда артист ненадолго приезжал на гастроли в Петербург. Когда же повесть (в сборнике «Миргород», 1835) увидела свет, то Щепкин, согласно тому же источнику, «при встрече с автором сказал ему шутя: “А кошка-то моя!” — “Зато коты мои!” — отвечал Гоголь...»⁵⁹.

Познакомился Гоголь в Москве и с И. И. Дмитриевым. Знаменитый поэт, сподвижник Карамзина, бывший министр юстиции, сменивший на этом посту Д. П. Трошинским, жил на Спиридоновке (позднее ул. Алексея Толстого), близ Тверского бульвара и Патриарших прудов, в деревянном большом доме, окруженном обширным садом, разбитым самим хозяином⁶⁰. Обиталище Дмитриева воспел П. Вяземский:

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.

В этот дом и пришел Гоголь, проведя час-другой в беседе с хозяином.

Некоторые сведения о визите можно почерпнуть из статьи Вяземского «Иван Иванович Дмитриев» (1866), вернее, из черного варианта последней. «О-о! Да он-таки смотрит Гоголем, — сказал он [Дмитриев], проводивши почти до дверей автора “Мертвых душ”, проездом в свою Украину обедавшего у него. — Завтра же pošлю за его сочинениями и перечту их снова. У него и теперь много авторского запаса. Он не говорит *Батевщина, Лагарповщина*. И Лагарп и Бате имели в свое время и всегда будут иметь свое место. Я благодарен, что меня ознакомили с этим молодым человеком. Я очень доволен, что его узнал: в нем будет прок» [Гиллельсон, 1961, с. 115].

Гоголь умел понравиться, умел быть почтительным. В письме Дмитриеву, отправленном уже из Васильевки, он говорит о себе: «...еще не выдавши вас лично, питал к вам благоговейное уважение и привязался к вам всю душой...» Очевидно, в сходных выражениях объяснялся Гоголь с Дмитриевым и при личной встрече. Но молодой писатель постарался продемонстрировать Дмитриеву и другое — что он уважает традиции, чужд литературного нигилизма и понимает исторические заслуги деятелей прошлого. В том же духе выскажется Гоголь позднее в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», определив как один из важнейших пороков современной критики «литературное безверие и литературное невежество»: «Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей». Дмитриев тоже был в некотором роде окончивший свое литературное поприще, и старику было приятно, что молодой автор, почти юноша, воплощающий новейшие художественные устремления, оказывает ему полное уважение.

Дмитриев, со своей стороны, прочитал (или перечитал, как пишет Вяземский) «Вечера на хуторе...» и в письме к автору высказал свою похвалу. Об этом мы узнаем из сверхпочтительного гоголевского ответа: «Рад, что вам понравились мои несовершенные начатки; и если со временем произведу что-нибудь достойное, то виновником этого будете вы» [X, 242].

Наконец, среди московских знакомств Гоголя этой поры следует упомянуть и знакомство с И. Е. Дядьковским, известным врачом, профессором Московского университета. К Дядьковскому, жившему в Брюсовском переулке (впоследствии ул. Неждановой), Гоголь пришел скорее всего в сопровождении Погодина или с его рекомендацией. Пришел, чтобы проконсультироваться о своей болезни.

А вот своего адреса Гоголь новым знакомым не сообщил (он остановился в гостинице) — во всяком случае, не сообщил Аксаковым. И когда Сергей Тимофеевич решил было по долгу вежливости нанести ему ответный визит, то не смог этого сделать.

Пробыв в Москве полторы недели вместо предполагаемых двух-трех дней, Гоголь 7 июля продолжил свой путь на родину.

Из Подольска, где ему пришлось заночевать, а затем еще долго дожидаться лошадей, Гоголь отправляет письмо Н. Прокоповичу, приглашает его в Васильевку. Прокопович находился в это время в Нежине по случаю окончания его братом Василием Гимназии высших наук. Гоголь приглашает обоих: скоро придет, если уже не приехал, А. Данилевский с Кавказа, соберутся самые близкие друзья. «...Ты будешь совершенный лошадиный помет, если все это не подействует на твою вялую душу», — убеждает он Прокоповича.

С каждым днем пути менялся ландшафт, воздух, небо, и настроение Гоголя подымалось. Он вспоминал путь из Петербурга в Москву: «серое, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно печальные сосны и ели», которые гнались за ним по пятам. А теперь другое. «В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее».

На десятый день Гоголь приехал в Полтаву и тотчас принялся объезжать докторов. Но те ему не помогли; состояние у Гоголя такое же, как в Москве. «Понос только прекратился, бывает даже запор; иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине, иногда болит голова, немного грудь» [X, 237]. Больше доверности у Гоголя не к местным медицинским светилам, а к Дядьковскому, и он просит прислать тот рецепт, который был в свое время выписан ему в Москве.

Около 20 июля Гоголь уже в Васильевке. Навстречу высыпали родные, которых он не видел три с лишним года, — мать, сестры Лиза, Аня, Оля. Приехала старшая сестра Марья с мужем Павлом Осиповичем Трушковским.

А потом пошла проза деревенской, помещичьей жизни, с хозяйственными заботами, невыплаченными долгами, вечным безденежьем.

В письме И. Дмитриеву (около 20 июля 1832 г.) Гоголь рисует контрасты малороссийской деревни: «Чего бы, казалось, не доставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всею виною недостаток сообщения. Он усыпил и облепил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами».

Марья Ивановна тоже пришла к выводу, что пора приняться «за мануфактуры и фабрики», и задумала устроить кожевенный завод. Эта мысль обсуждалась во время пребывания Гоголя в Васильевке.

Николай Васильевич принимал близко к сердцу семейные заботы, изо всех сил старался помочь. Сестра Лиза вспоминала: «Дома он очень

входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; в самом доме он раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной; наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует — так он нарисовал бордюры, букеты и арабески» [Быкова, с. 6].

Еще известно, что Гоголь рисовал для дома узоры ковров своего собственного изобретения.

Но все это были полумеры, мелкие заплатки на платье; изменить положение к лучшему Гоголь не мог, для этого ему не хватало ни сил, ни времени. Понимая, что мать ждет от него большего, Николай Васильевич потом будет оправдываться в своей кажущейся «холодности»: «Это оттого, что у меня много разных занятий, между тем как у вас одно только — это попечение о детях ваших» [X, 245].

Гоголь жалуется на умственную лень, а между тем молча продолжает свои «разные занятия», обдумывает все то, что заронилось в сознание раньше. Погодину сообщает 20 июля, что у него «родились две крепкие мысли о нашей любимой науке» — он продолжает свои исторические изыскания. Но в том же письме Гоголь роняет любопытную фразу, что вслед за предполагаемым вторым изданием «Вечеров на хуторе...» «выйдет новое детище». Это значит, что весьма интенсивно идет обдумывание новых повестей — произведений, которые, используя выражение Надеждина, будут настоены на малороссийском «меде». И, конечно, не оставлена мысль о современной комедии.

Внешне Гоголь ведет неторопливую, спокойную, растительную жизнь; «как добрый пес», вылеживает на солнце, наслаждается красками и запахами позднего украинского лета. «Может быть, нет в мире другого, влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуволимых прелестей» [X, 242].

Здоровье Гоголя становится лучше, да вот напасть — изобильная плодovitость украинского лета. Большой любитель плотно поесть, он постоянно подвергается искушению, и желудок его, по его словам, «беспрерывно занимается варением то груш, то яблок».

К удовольствию растительного существования прибавилась радость дружеского общения. Приехал с Кавказа Данилевский («Жаль, нам дома так мало удалось пожить вместе», — скажет позднее Гоголь. — [X, 252]). Приезжал, по всей видимости, Прокопович, откликнувшись на настоятельное приглашение Гоголя. Побывал в Васильевке и двоюродный дядя Петр Косяровский, которому пять лет назад Гоголь торжественно поклялся всю свою жизнь посвятить благу отечества. Со смешанным чувством, вероятно, встретился Николай Васильевич с хранителем его юношеской тайны: государственным мужем, ратоборцем правосудия он не стал, но и в неизвестность не канул, сделавшись человеком весьма знаменитым.

Петр Косяровский пробыл в Васильевке недолго — он уехал в Одессу, где лечился и где в это время проживали другие двоюродные

братья и двоюродная тетка Гоголя. Через Петра Косяровского Гоголь передает им всем поклон — и Варваре Петровне, и Павлу Петровичу, и Ивану Петровичу. Последний продолжал свою деятельность третьестепенного литератора, издав вслед за «Ниной» новую книгу — «Переметчик. Историческая повесть, относящаяся ко второй половине прошлого столетия» [Одесса, 1832; цензурное разрешение от 6 января 1832 г.]. По времени своего выхода в свет книга могла стать известна Гоголю; возможно, о ней вспоминали в Васильевке во время пребывания там Петра Косяровского.

Стремясь облегчить положение семьи и заботясь о воспитании сестер, Гоголь решил двух из них, Елизавету и Анну, взять с собой в Петербург и устроить в Патриотический институт. А это повлекло за собою и изменение в судьбе Якима Нимченко.

Марья Ивановна, подумывая о назначении горничной к уезжающим дочерям, пришла к выводу, что лучше всего для этого женить Якима: муж будет обслуживать Никошу, а жена — его сестер. Выбрали девушку, по имени Матрена, спросили мнение Якима, тот сказал: «Мне все равно-с, а это как вам угодно». «Видя такое равнодушие, его женили за три дня до отъезда» [Быкова, с. 6], который был назначен на 29 сентября.

Проводы были трогательные. Мать и старшая замужняя сестра сопровождали отъезжавших до Полтавы, где задержались на два дня. Далее отправились впятером: Гоголь с двумя сестрами, Яким с Матреной.

По дороге случилась непредвиденная задержка: сломался экипаж. Несколько дней прожили в Курске, где Гоголь вкусил все прелести, вытекающие из его положения обыкновенного, незнатного просителя. Об этом он писал Плетневу: «Вы счастливы, Петр Александрович! Вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешают им генеральская рука» [X, 242–243]. Тут как бы проходило накопление материала для «Ревизора»: вспомним генеральские грезы городничего: «Ведь почему хочется быть генералом? потому, что случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты и в ус не дуешь...»

Наконец, 10 октября гоголевский экипаж вновь отправился в путь и через несколько дней достиг Москвы.

На этот раз Гоголь пробыл в Москве меньше времени, очевидно, до 23 октября [X, 244]. «Возил по городу и в театр» своих сестер [Быкова, с. 6], вновь делал визиты. Побывал опять у Аксаковых, у Загоскина, встречался с Погодиным.

«Москва так же радушно меня приняла, как и прежде», — сообщает Гоголь матери 21 октября. Сам же он проявляет свое радушие весьма избирательно: с Сергеем Тимофеевичем был приветлив, но соблюдал дистанцию; над Загоскиным по-прежнему про себя посмеивался, чего, впрочем, тот не заметил; но к Погодину питал высокое почтение, вызванное общностью научных интересов. Надо полагать, что во время новой встречи с ним Гоголь рассказал о своих замыслах, которые возникли у него в Васильевке.

Вторичное посещение совместно с Гоголем Загоскина дало Сергею Тимофеевичу возможность отметить замечательное комическое дарование автора «Вечеров на хуторе...», проявляемое в быту, в повседневной жизни. Случилось так, что Загоскин, демонстрируя своим гостям какие-то раскидные кресла, прищемил Аксакову обе руки пружинами так, что тот вскрикнул от боли и «был похож на растянутого для пытки человека». «От этой потехи, — рассказывает Аксаков, — руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов...» [Воспоминания, с. 91].

К прежним московским знакомствам прибавились новые, одно из них — с М. А. Максимовичем, уроженцем Полтавщины, писателем и ученым, адъюнктом Московского университета и начальником Ботанического сада. Впоследствии Максимович рассказывал гоголевскому биографу, что виделись они еще раньше, в 1829 году, когда, посетив Петербург, он застал «Гоголя за чаем у одного общего их земляка, где собралось еще несколько малороссиян». «Гоголь ничем особенным не выдавался из круга собеседников, и он [Максимович] не сохранил в памяти даже наружности будущего знаменитого писателя». Но Гоголь обратил внимание на Максимовича, который в это время был уже человеком известным, и во время вторичного посещения Москвы решил нанести ему визит. Максимович жил тогда, так сказать, по месту своей службы — в Ботаническом саду, в доме 28 на Первой Мещанской [Земенков, с. 20].

«Гоголь не застал г. Максимовича дома, и г. Максимович, узнав, что у него был автор “Вечеров на хуторе...”, поспешил к нему в гостиницу. Гоголь встретил своего гостя как старого знакомого, видел его три года тому назад не более как в продолжение двух часов, и г. Максимовичу стоило большого труда не дать заметить поэту, что он совсем его не помнит. По словам г. Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым человеком, в шелковом архалуке вишневого цвета» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 116–117].

Так же как с Погодиным, Гоголя сближала с Максимовичем любовь к истории. «Оба они заняты были в то время Малороссией: Го-

голь готовился писать историю этой страны, а Максимович собирался печатать свои “Украинские народные песни”, и поэтому они нашли друг друга очень интересными людьми» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 116–117]. Гоголь упомянул в разговоре с Максимовичем одного петербургского художника-украинца, который мог бы сделать виньетку к сборнику песен, и обещал с ним договориться, но почему-то не смог сдержать своего слова (возможно, речь шла о Мокрицком, который после 1832 г. оставил службу в Департаменте горных и соляных дел и в Опекунском совете и уехал из Петербурга на родину).

Благодаря Максимовичу Гоголь познакомился еще с одним уроженцем Полтавщины — О. М. Бодянским, будущим славистом, в ту пору еще студентом отделения словесных наук Московского университета, жившим на квартире профессора. По возвращении в Петербург Гоголь писал Максимовичу: «Посылаю поклон также земляку, живущему с вами, и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас» [X, 250]. Скорее всего, знакомство произошло таким образом, что Гоголь, не застав Максимовича дома, разговорился с его жильцом, которым и был Бодянский, а тот рассказал о необыкновенном визите своему профессору.

Возможно, встретился Гоголь и с Е. А. Баратынским (находившимся с сентября 1832 г. в Москве) — по возвращении в Петербург Гоголь осведомляется у москвича Погодина: «Не делает ли чего Баратынский» [X, 269]. Встреча эта имела небольшую предысторию.

В письме, датированном 12 апреля 1832 года, Баратынский писал И. Киреевскому в Москву: «“Вечера на Диканьке”, без сомнения, показывают человека с дарованием. Я приписывал их Перовскому, хотя не вовсе в них узнавал его. В них вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит достаточным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад буду с ним познакомиться» [Баратынский, с. 239]. Как видно, письмо продолжает разговор, начатый Киреевским: тот обратил внимание своего корреспондента на книгу Гоголя и, возможно, посоветовал познакомиться с ним. Баратынский с этим согласился. Затем он вернулся к той же теме в письме, отправленном из Казани до 25 мая: «Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей “Страшная месть” он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому» [Баратынский, с. 241].

Один из биографов Баратынского, К. В. Пигарев уже обратил внимание на такой факт: *Гоголь послал поэту свою книгу, а именно вторую*

часть «Вечеров на хуторе...»; именно поэтому Баратынский благодарит его за «подарок». А посредником оказался Иван Киреевский, который не только рекомендовал Баратынскому писателя, но сумел довести и до сведения Гоголя, что у него есть такой замечательный почитатель. Причем произошло все это еще до первого приезда Гоголя в Москву.

Вероятно, Киреевский, в свою очередь, прибегнул к посредничеству Жуковского или Пушкина и книга была выслана Гоголем еще из Петербурга. В октябре же, во время вторичного посещения писателем Москвы, состоялось, как замечено выше, его знакомство с Баратынским.

Встретился Гоголь и с Иваном Киреевским, причем из всего сказанного видно, что их заочное знакомство имело место еще раньше. Человек замечательной искренности и обаяния, только что переживший большую беду — в феврале был закрыт его журнал «Европеец», — Киреевский сразу же вызвал у Гоголя чувство теплой симпатии. Пожалуй, среди новоприобретенных им московских друзей и знакомых Иван Киреевский занял одно из первых мест — вслед за Погодиным. Это видно из письма Гоголя к Погодину, написанного 28 сентября 1833 года: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем думаю и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине».

Об обстоятельствах московской встречи Гоголя с Киреевским точных сведений у нас нет, но, возможно, писатель побывал в знаменитом доме А. П. Елагиной, матери Ивана и Петра Киреевских. В этой «республике у Красных ворот», «привольной науке, сердцу и уму» (Н. Языков), собирался цвет московской, и не только московской, интеллигенции. Бывавший здесь после 1826 года отставной дипломат Д. Н. Свербеев упоминает и Гоголя: «...в первый раз явился там Гоголь еще до “Ревизора”» [Свербеев, с. 497]. Знакомство самого Свербеева с Гоголем произошло еще до отъезда последнего в Васильевку⁶¹.

В целом Гоголь был воодушевлен и доволен оказанным ему в Москве приемом. «...Тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским и прочими», — сообщал позднее, 8 декабря 1832 года, Плетнев Жуковскому. По-видимому, своими впечатлениями поделился Гоголь и с Пушкиным. Впрочем, последний в сентябре — начале октября, в промежутке между двумя приездами Гоголя, и сам побывал в Москве и мог почувствовать, как относятся «тамошние литераторы» к молодому писателю.

В конце концов дело не сводилось к приобретению еще десятка доброжелателей и почитателей. Важно то, что это было одобрение со стороны Москвы. В сравнении с Петербургом старая столица имела более серьезную научную и литературную репутацию. «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы.

<...> Московская критика с честью отличается от петербургской», — писал Пушкин в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–1835). Репутация Москвы была менее официальной, более стихийной, самобытной, спонтанной и, следовательно, народной. В большей мере, чем любой другой город или регион, Москва в это время считалась хранительницей национального духа и возможностей. И признание Гоголя Москвой закрепляло признание его как русского национального писателя. Все это отразилось в том воодушевляющем чувстве, которое сложилось у Гоголя в результате его летнего вояжа.



Часть третья

«БОЖЕ, СКОЛЬКО КРИЗИСОВ!»

Гоголь выехал из Москвы после 21 октября, возможно 23-го [X, 244], и прибыл в столицу около 30-го (дорога между двумя городами занимала в то время 5–6 дней). И тут его ожидали неприятности, причиной которых был он сам.

По условиям службы Гоголю дали отпуск на 28 дней, считая с 1 июля. А явился он к должности в первых числах ноября, опоздав на три месяца! И в продолжение этого времени не просил никакой отсрочки, не давал никаких объяснений. «Четыре месяца не было про него ни слуху ни духу. Оригинал», — жаловался Плетнев Жуковскому [Плетнев, с. 522]. И прибыл не один, а с двумя сестрами, которых нельзя было принять в институт, так как, согласно положению, в него зачислялись лишь дочери военных чинов.

Благодаря заступничеству Плетнева как инспектора Патриотического института, благодаря доброте его начальницы Л. Вистингаузен все удалось уладить. Гоголь даже не получил взыскания. А сестер приняли на условиях сверхкомплектных воспитанниц — в счет его жалованья (1200 рублей в год). Для института это было даже выгодно: прокормить двух лишних человек в большом хозяйстве не представляло особых трудностей, сэкономленные же деньги можно было потратить на общие нужды.

Следует оценить и доброту Гоголя по отношению к матери и семье: чтобы устроить судьбу сестер, он согласился преподавать в институте безвозмездно. Правда, через некоторое время «это стеснение было устранено» [Шенрок, т. 2, с. 145].

Около месяца держал Гоголь сестер дома, готовя их к поступлению в институт. «Редкий был у нас брат, —

вспоминала Елизавета Васильевна, — несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать» [Быкова, с. 6].

Способностями Лиза и Анна не отличались, были диковаты, необщительны, провинциальны. Поэтому, устроив сестер в институт, Николай Васильевич решил не торопить время — пусть они в одном классе посидят второй год, пусть привыкнут, освоятся.

По возвращении из Москвы Гоголь вновь переменял квартиру, поселившись в доме скульптора В. И. Демут-Малиновского в Новом переулке (впоследствии — переулок Антоненко). Дом находился на правой стороне и был вторым от Мойки (в 1839 г. его снесли, чтобы освободить место для Мариинского дворца. — [Шубин, с. 194]).

Первые месяцы петербургской жизни Гоголь полон московских впечатлений. Передает поклон Ивану Киреевскому, Сергею Тимофеевичу Аксакову, Дядьковскому «и всем нашим москвичам», справляется о Баратынском, извиняется перед И. Дмитриевым, что не смог нанести ему прощального визита, и сообщает новости о Пушкине (Гоголь повидался с ним в ноябре, вскоре по возвращении), об Одоевском. Особенно охотно пишет Погодину, с которым с начала следующего, 1833 года переходит на «ты».

«Однородность занятий», интерес к истории — вот что привязывает Гоголя к Погодину. «Главное дело всеобщая история, а прочее стороннее — словом, всё меня уверяет, что мы не должны разлучаться на жизненном пути» [X, 254].

Физически Гоголь чувствует себя лучше — отдохнувшим, поправившимся. Но вот беда — не думается, не пишется. Не посещает его «творческая сила», на которую он так надеялся.

От письма к письму жалуется он на «лень», на «бездействие» и «неподвижность», на «умственный запор». Гоголю хорошо известно, что от него ждут новых произведений. Многие знают о его больших планах, как ни был он скрытен и осторожен в своих высказываниях. Впрочем, кое-что он и сам дал почувствовать; на иные свои замыслы намекнул, даже решился похвастаться, и вот теперь пришло время отчитываться.

В Москве, при первой встрече с Погодиным, Гоголь стал нахваливать ему своих учениц, так что Погодин, сам педагог с большим опытом — он преподавал и в Московском благородном пансионе, и в университете, — пришел в изумление и записал в дневнике: «Он [Гоголь] рассказал мне много чудес о своем курсе истории в Педаг. [так!] инст. женском с. петерб. (Из его воспитанниц нет ни одной не успевшей.)» [X, 450]. Естественно, что Погодин взял у Гоголя обещание прислать ему несколько тетрадей этих чудо-воспитанниц.

Но Гоголь не спешил сдержать слово: мол, эти тетради «обезображены посторонними и чужими прибавлениями», выписками из разных книжек, и вообще он «только такое подносил им, что можно понять женским мелким умом». Пусть лучше Погодин подождет — и

Гоголь вышлет ему нечто «чисто свое». Это будет «всеобщая история и всеобщая география», под названием «Земля и Люди».

Не надеясь на обязательность Гоголя, Погодин попросил и Плетнева прислать ему заинтриговавшие его тетради, на что инспектор Патриотического института отвечал: «Не думаю, чтобы тетради учениц Гоголя могли вам на что-нибудь пригодиться. Их рассказ уроков его очень приятен, потому что Гоголь останавливает внимание учениц больше на подробностях предметов, нежели на их связи и порядке. <...> Что касается до порядка в Истории или какого-нибудь придуманного Гоголем облегчения — этого ничего нет. Он тем же превосходит товарищей своих как учитель, чем он выше стал многих как писатель, т. е. силою воображения, которое под его пером всему сообщает чудную жизнь и увлекательное правдоподобие» [Барсуков, т. 4, с. 114]. Плетнев, однако, не учитывал, что субъективно для Гоголя обе стороны были неразделимы — «подробности предметов» интересовали его в связи с «порядком», системой, общим взглядом, который он ставил, пожалуй, превыше всего. Гоголь полагал, что в записях учениц уже содержится скелет его труда «Земля и Люди», который надо облечь в живые формы, оснастить огромным материалом. Но не хватало для этого сил, решимости, целеустремленности, знаний.

К концу 1833 года в письмах Гоголя начинают звучать ноты страшной тоски, почти отчаяния. М. Погодину, 28 сентября: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? — Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собой. О не знай его! <...> Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием». М. Максимуичу, 9 ноября: «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!»

Первый гоголевский биограф на основании этих признаний заключил, что причина всего — «забота юности любовь» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 124]. Вывод совершенно необоснованный: Гоголь говорит о своих трудностях совсем в иных выражениях, чем прежде говорил о любовных переживаниях. Вообще, видно, после тех «двух» случаев, о которых Гоголь упоминал в письме Данилевскому от 20 декабря 1832 года, сердце его успокоилось, подобное уже не повторялось. То, в чем признается он теперь, определенно свидетельствует, что переживал он «кризис творчества, что мучился неудовлетворенностью своими писаниями» [Мочульский, с. 24]. Надо только добавить, что эта неудовлетворенность выходила далеко за пределы собственно художественной и технической сферы «писаний» и затрагивала всю глубину его внутренней жизни.

Одно из противоречий, мучивших его, Гоголь приоткрыл в письме Погодину от 20 февраля 1833 года. Погодин не знал о замысле комедии, о котором догадывались (или знали) С. Аксаков, Надеждин и Щепкин, в который были посвящены Плетнев и Пушкин. С Погодиным Гоголь говорил преимущественно о своих исторических, научных планах, но теперь признался: «Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. <...> Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написано на белой толстой тетраде: *Владимир 3-ей степени*, и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит».

В свете этого признания хорошо видно, как точно уловил С. Аксаков устремление Гоголя-комедиографа. Гоголь искал ресурсы комического в современной, светской, петербургской жизни (действие «Владимира 3-ей степени» разворачивалось в столице). Находимые им и мысленно проигрываемые ситуации брызжут смехом — откровенно злым, колющим. По поводу пьесы Погодина «Петр I» Гоголь советовал в то же время (1 февраля 1833 г.) прибавить «боярам несколько глупой физиогномии»: «Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время». Таким «доказательством» невольно и становилась, в глазах Гоголя, его комедия.

При этом ему очень важно, чтобы пьеса дошла до сцены, была сыграна; он слышит шум возбуждения, предвкушает «славу»; это отвечает его глубокой внутренней жажде, которую не могут удовлетворить более строгие научные труды. Здесь — только узкий круг посвященных ценителей. Там — масса народа, толпа, одержимая встречным чувством негодования или восторга. Гоголь хочет быть властелином многих с помощью той силы, которую рождает лицедейство.

И невозможность реализовать свой комедийный замысел парализует мысль и воображение в самих их истоках.

«Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскалывают зубы, и — история к чорту. — И вот почему я сижу при лени мыслей» [X, 263].

Наряду с комедией Гоголь вынашивает и обрабатывает другие художественные замыслы. К концу года у него, наконец, готова повесть, настоенная на малороссийском «меде» и предназначенная для смирдинского «Новоселья», то есть «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 2 декабря Гоголь прочел ее Пушкину, который на следующий день пометил в дневнике: «Очень оригинально и очень смешно».

Одновременно Гоголь занят произведением другого рода, о чем дает представление письмо В. Одоевского Пушкину от 28 сентября 1833 года: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко (т. е. сам Одоевский. — Ю. М.) и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — *гостиную*, второй — *чердак*; нельзя ли г. Белкин взять на свою ответственность — *погреб*, тогда бы вышел весь дом в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: “Тройчатка, или Альманах в три этажа”, сочинение и проч. — что на это все скажет г. Белкин?» [Пушкин. Переписка, с. 426—427; курсив в оригинале].

Однако «Белкин» уклонился от этого предложения («...Не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панка...» — [там же, с. 429]), и Одоевский с Гоголем решили продолжить дело вдвоем. «Я печатаю — ужас — что! — сообщал Одоевский Максимовичу, — с Гоголем “Двейчатку” [так!], книгу, составленную из наших двух новых повестей...» [КС. 1883. № 4. С. 846].

Хотя альманах так и не осуществился, но можно сделать некоторые выводы применительно к нашей теме. Гоголь на первых порах принял довольно активное участие в этом замысле, ему даже принадлежит название. Слово «тройчатка», между прочим, употреблено в «Вечерах на хуторе...», где ему дается такое пояснение: «Тройчатка — тройная плеть»; но это не значит, что в название альманаха и соответственно в свое произведение Гоголь, как полагает С. А. Фомичев, непременно вкладывал сатирический смысл [Фомичев, с. 83]. «Тройчатка» в данном случае передавала другое — тесную сращенность трех произведений, их плотную примыкаемость друг к другу (ср. орех-тройчатка, серьги-тройчатка и т. д.), вытекающие из характера замысла. Задуманный альманах должен дать вертикальный срез петербургского дома, с его различными уровнями, или этажами, которые соответствуют различию типологии, образа жизни, материального положения их обитателей. Так поступал уже Беранже в стихотворении «Пять этажей», затем Жюль Жанен в «Исповеди» (1830), Анри Монье как один из авторов альманаха «Париж, или Книга ста одного» (1831—1834); этот прием широко применялся и в русской литературе, особенно позднее, в так называемой натуральной школе, например в «Петербургских вершинах» (1845—1846) Я. Буткова.

Самому Гоголю при распределении этажей достался «чердак», что проливает некоторый свет на замысел его произведения. В каморках на чердаке селилась беднота; следовательно, чердак — показатель необеспеченности, но не только. Еще Я. Княжнин в «Отрывке толкового словаря» пометил: «Чердак — жилище стихотворцев» [Княжнин, с. 672]. У М. Погодина в повести «Адель» (1830) перечислены предметы, имеющие, так сказать, знаковый характер: «это ива Шекспира, этот *чердак Руссо* или темницы Лутера, Галилея, Данта!» Чердак—приют ху-

дожников, писателей, студентов; обиталище вдохновения и мечтаний (ср. у В. Филимонова в поэме «Дурацкий колпак»: «Я с чердака вселенной управлял...»). Именно в таком качестве должен был фигурировать чердак у Гоголя. Это значит, что он впервые обратился к персонажу иной душевной организации, чем герои его «Вечеров на хуторе...» или, скажем, «Гетьмана», человеку свободной профессии и притом только начинающему свой путь, пробивающемуся сквозь нужду и невзгоды.

Но это значит и то, что Гоголь впервые после «Ганца Кюхельгартена» обратился к персонажу, близкому ему субъективно и, кроме того, еще и профессионально, повторяющему его собственный жизненный путь. Гоголь по бедности тоже принужден был селиться довольно высоко, оригинально оправдываясь при этом перед тщеславной матерью: «Сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее воздух» [X, 184]. Зато в разговоре с единомышленником понятие «чердак» окрашивается у Гоголя иной, патетической интонацией: «Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой чердаку!» [X, 378]. Такая интонация, по-видимому, должна была играть существенную роль в задуманном Гоголем произведении.

Из письма Одоевского Пушкину видно, что и Гомозейко, и Рудый Панек (в отличие от Белкина) свой вклад в «Тройчатку» уже в значительной мере подготовили. Что касается Одоевского, то, возможно, подразумевалась его повесть «Княжна Мими», появившаяся позднее в «Библиотеке для чтения» (1834); с замыслом же Гоголя с наибольшей вероятностью связывают его фрагменты «Страшная рука» и «Фонарь умирал» [Виноградов, 1976, с. 79]. Заглавие первого фрагмента, кстати, сразу же выдвигает на видное место понятие «чердак»: «Страшная рука, повесть из книги под названием: Лунный свет в разбитом окошке *чердака* на Васильевском острове в 16-ой линии».

Но произведение для «Тройчатки» так и не было закончено. 9 ноября Гоголь пишет Максимовичу, что у него «есть сто разных начал», среди них, очевидно, и фрагменты петербургской повести.

Внешне в положении Гоголя не происходит никаких перемен, разве что в апреле 1833 года у Марьи Васильевны родился сын, названный в честь ее брата Николаем.

Лето этого года выдалось жарким и душным, и Гоголь живет на даче в Стрельне до самой осени. А по возвращении в город поселяется в новой квартире на Малой Морской в доме Лепеня (впоследствии ул. Гоголя, д. 17), где живет три года, вплоть до отъезда за границу в июне 1836 года.

К концу 1833 года в занятиях Гоголя вновь на первый план выходят исторические труды. В упомянутом письме Максимовичу он говорит, что теперь «принялся за историю нашей единственной, бедной Украины» и что в настроении его намечается перемена: «Ничто так не

успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее». А за историей Украины встает еще другой колоссальный замысел — Всемирной истории. 11 января 1834 года Гоголь сообщает Погодину: «Я весь теперь погружен в Историю Малороссийскую и Всемирную; и та и другая у меня начинают двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер. <...> Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что не-общее во всеобщей истории».

Подъем настроения, прилив творческих сил связаны с возникшим планом переезда в Киев. В Киеве готовится к открытию новый университет им. Св. Владимира, и у Гоголя заронила мечта получить там кафедру всеобщей истории. Он подбивает и Максимовича оставить Москву и переселиться в Киев; при этом он не прочь и пофрондировать в определенном духе: «Бросьте в самом деле кацапию, да поезжайте в гетьманщину»; «туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их, не правда?» Но все же это скорее игра, в конце концов и русского Погодина он хотел бы взять с собой в Киев. Укратиофильство Гоголя не носит сепаратистского характера прежде всего ввиду ощущаемой им своей главной жизненной задачи. Он по-прежнему видит перед собою поприще широкой, общероссийской деятельности — пусть эта деятельность будет не чиновничьей и государственной, а научной и литературной.

Гоголь делится с Пушкиным своими планами, открывает ему свое воодушевление: «Я восхищаюсь заранее, когда вообразу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю. <...> А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!» [X, 291]. Обратим внимание на обещание продолжить «вещи», которые он еще не читал Пушкину (как раз незадолго перед этим состоялось чтение «повести о ссоре»), — это говорит о том, что, наряду с научными трудами, наряду с собирательской деятельностью, Гоголь рассчитывает с новыми силами приняться за художественные произведения.

Гоголь мечтает: «Да превратится он [Киев] в русские Афины, богоспасаемый наш город!»

Чтобы добиться назначения, Гоголь набрасывает на бумагу свои мысли о предстоящем курсе всемирной истории. Записка предназначена для С. С. Уварова, управляющего Министерством народного просвещения (позднее, с апреля 1834 г., — министра). Одновременно, в письме Пушкину от 23 декабря 1833 года Гоголь говорит весьма лестные слова об Уварове: мол, его речь о Гете отличается «исполненными ума замечаниями и глубокими мыслями»; в статье о гекзаметре «столько философического познания языка и ума быстрого» — и вообще, «он у нас более сделает, нежели Гизо», бывший также мини-

стром народного просвещения. Гоголь рассчитывает, что Пушкин, находившийся еще в лояльных отношениях с Уваровым, сумеет довести до сведения последнего то, как его почитает претендент на киевскую кафедру.

Завершилась история с Киевским университетом лишь в следующем, 1834 году.

Что же касается года 1833-го, то почти весь он прошел у Гоголя в метаниях и кризисах. Гоголь разрывается между историей и литературой, между Петербургом и Киевом, между разными произведениями и замыслами. В глубине частных противоречий скрывается другое, более кардинальное, сформулированное самим Гоголем: «Мелкого не хочется! великое не выдумывается!» [X, 257]. «Мелкое» в этот период для него равносильно маленькому, а «великое» — большому, пространному, объемному.

Гоголь прямо-таки одержим гигантоманией. «Земля и Люди» намечена «в трех, если не в двух томах». «История Малороссии» будет «или в шести малых, или в четырех больших томах». Надо думать, что во «Всеобщей истории» томов будет еще больше; ведь Гоголь задумал ее в таком виде, в каком «до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе» нет. И, работая, он все порывается ее расширить — жалеет, «что не взял шире, огромное объеме...».

Упоминая о начатом, Гоголь говорит о «двух огромных творениях». Он мечтает написать «увесистую вещь». Погодину он тоже желает издать «том широкий, увесистый». В этом свете «Вечера на хуторе...» кажутся ему не стоящими внимания: «Да обречутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художественное не изыдет из меня».

Пространственный объем зависит от объема содержания. Большое — это всеобъемлющее, воплощающее нечто существенное жизни и мироздания. Углубляясь в произведение, испытываешь ощущение, что остаешься «сам как будто на земли, а пред тобою небо открывалось» [X, 246], — Гоголь вольно цитирует гетевского «Фауста» в переводе Д. Веневитинова. Его стремление к всеобъемлющему совпало с господствующим романтическим и общефилософским настроением, всегда тяготевшем к предельному, к Универсуму.

Гоголь проявляет интерес и к экстраординарному, фрагментарному, частному, отклоняющемуся от нормы, но несущему в себе глубокий скрытый смысл. Поэтому его внимание привлекают повести В. Одоевского из задуманного цикла «Дом сумасшедших», в частности «Последний квартет Бетховена»: «...это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке!» [X, 248]. Гоголь и сам занят обдумыванием таких «непостижимых явлений» — в «чердачном» произведении для «Тройчатки» и в других фрагментах, из которых позднее вырастут «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и т. д. Но глав-

ные свои устремления он пока связывает с универсальным направлением. Проблему своего творчества он видит в том, чтобы подняться над уровнем психологических и иных «явлений» к объемному и многогранному труду.

Если с этой точки зрения посмотреть на исторические штудии Гоголя, то выясняется вопрос, почему его привлекают преимущественно две темы: всемирная история и история Украины; почему отсутствует, скажем, история России.

«Всеобщая история, в истинном ее значении, — читаем мы в гоголевской статье, созданной на основе его записки Уварову, — не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи. <...> Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи» [VIII, 26]. Всеобщая история соединяет в одно целое континенты, народы — и дисциплины, например, географию с историей. Это излюбленная мысль Гоголя, развивавшаяся им еще в статье «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Отсюда, между прочим, ясно, что задуманные им теперь «Земля и Люди» — это не два труда, по истории и географии, а один — по истории с географической, так сказать, подкладкой. «География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им...» [VIII, 27–28]. Это тоже излюбленные размышления Гоголя, возникшие под влиянием известной теории Монтескье.

Все, что не находится на уровне всемирной истории, исключается из ее пределов. «Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда». Значит, и не каждый народ, не каждая страна — достойный объект историка. Малороссия имеет такое право — и вот почему. Мало сказать, что народ южной Украины, а точнее, запорожцы, казачество, в течение продолжительного времени, четырех веков, жили самостоятельной самобытной жизнью; мало сказать также, что географическое местоположение и климат, как водится, наложили на запорожцев свой отпечаток. Главное то, что этот народ составил «одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» [VIII, 46]. Затем, в Новое время Украина «совершенно слилась с Россией», но свою роль она уже выполнила и поэтому достойна войти во всеобщую историю. У России тоже есть всемирно-историческая заслуга — она сокрушила полчища Наполеона «о неприступные твердыни свои» и тем самым содействовала тому, что государства Европы восстановили свой «прежний вид и прежние формы» [VIII, 35]. Но роль России еще не исполнена, еще в будущем, и это требует от исследователя

известной сдержанности и осторожности; в отношении же Украины он вправе судить увереннее и решительнее, как о совершившемся факте.

Поставить перед собой задачу создания такой истории или, вернее, таких историй — всеобщей и украинской — значит обречь себя на огромные трудности касательно выработки концепции, собирания материала, поиска источников. Уже здесь проявилось характерное для Гоголя стремление чуть ли не к абсолютному, в то время как его силы были ограничены характером предшествующей подготовки, объемом знаний, наконец, просто скромным владением языками: он не без напряжения читал французские тексты и с еще большими трудностями — латинские и немецкие.

Нельзя отождествлять, конечно, научные замыслы Гоголя с художественными, но показательно, что и в этой области обнаружились несколько похожие трудности. Пьеса «Владимир 3-ей степени», как можно судить по сохранившимся фрагментам, представляла собою развитие нескольких комедийных мотивов — здесь и честолюбивые устремления петербургского чиновника Ивана Петровича Барсукова, домогавшегося ордена св. Владимира 3-й степени и в результате неудачи, краха лишившегося рассудка и помешавшегося на том, что он и есть желанный орден; здесь и мотив родственной зависти, соперничества между Барсуковым и его братцем; здесь и матримониальные затеи Повалищевой, пытающейся женить своего сына на княжне Шлепохвостовой, и многое другое. Гоголь действительно как бы одним махом решил доказать мысль, высказанную еще в Москве С. Т. Аксакову, что столичная светская жизнь (и не только столичная, поскольку братец Барсукова Хрисанфий Петрович является из провинции) скрывает в себе неистощимые источники подлинного комизма. Гоголевский замысел был в своем роде энциклопедичен или, правильнее сказать, эклектичен. В качестве причины остановки в работе над пьесой он ссылался лишь на цензурные опасения, но посвященный в ход дела П. Плетнев выдвигал и другое объяснение. «Его комедия не пошла из головы, — сообщал он Жуковскому 11 марта 1833 года. — Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» [Плетнев, с. 528].

В то же время и другой художественный замысел Гоголя этой поры — повесть для «Тройчатки» — таил немалые трудности. Еще В. Виноградов обратил внимание на «одну смущающую деталь»: в сообщении Одоевского о предполагаемой коллективной книге Гоголь фигурирует под маской Рудого Панька. Поскольку трудно было предположить, что повествование о петербургских «чердаках» хоть как-то связано с позицией диканьского пасечника, напрашивался вывод, что Одоевский имел в виду лишь «привычное для той поры литературное имя Гоголя — и несколько этим упоминанием не характеризовал стилис-

тических форм повести о чердаке» [Виноградов, с. 79–80]. С этим можно согласиться, но при одном уточнении.

Одоевский иносказательно характеризовал и авторство Пушкина — с помощью фигуры Белкина; при этом спрашивая, что думает об этом предприятии «сам Александр Сергеевич», он оттенял их несовпадение. Вместо себя он также выставлял Гомозейку — «собирателя» вышедшей в том же году книги «Пестрые сказки, с красным словом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным» [СПб., 1833]. Общее у всех трех фигур было то, что они являлись *посредниками* между произведением и настоящим автором (у Одоевского он один из посредников, наряду с В. Безгласным), причем из них наименее подходящим для предполагаемого «столичного» материала был именно Рудый Панько, что, видимо, в немалой степени затрудняло Гоголя. Он еще сохранял упоминание о Рудом Паньке в заглавии создаваемой им в это время «Повести о том, как поссорился...», но в последующих своих книгах решительно отказался от какого-либо посредника. Скорее всего, это произошло уже в незавершенной повести для «Тройчатки».

Кончался 1833 год, такой трудный, мучительный. Киевские мечтания, выдвижение на первый план исторических замыслов не сняли противоречий, но разрядили напряжение, вдохнули новые надежды.

Гоголь чувствует, что наступающий год будет решающим, и обращается к нему со страстной, вдохновенной речью. Четыре года назад он обращался с клятвенным заверением, с мольбой о поддержке к пушкинскому «Борису Годунову»; теперь его адресат — само время.

Гоголь еще не знает, где развернутся его труды — в Петербурге или в Киеве, «среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности» или под южным украинским небом, где течет «мой чистый и быстрый мой Днепр», но он верит, что вдохновение не оставит его.

И он уповает на своего «гения»: «Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты...» Вот как далеко, к самой «колыбели», простирается гоголевское сознание своей предопределенности и отмеченности высшей силой («гением»), и мы, знающие его еще юношеские заверения о предстоящем подвиге, видим, что здесь не содержалось никакого хронологического смещения.

Сам, так сказать, жанр обращения к «гению» был не нов; Гоголю, видимо, он был подсказан Жуковским:

О Гений мой, побудь еще со мною;
Бывалый друг, отлетом не спеши;
Останься, будь мне жизнью земною,
Будь ангелом-хранителем души.

(«К мимопролетевшему знакомому гению», опубл. 1820)

Но Гоголь внес в это обращение столько экспрессии, задушевности, мольбы, что, кажется, само существование его немедленно пресечется, если в просьбе будет отказано; впрочем, отказать ему уже просто невозможно: «Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О поцалуй и благослови меня!»

СРЕДИ «ОДНОКОРЫТНИКОВ»

Г «арены», на которой Гоголь вел напряженную борьбу со всяческими препятствиями, он имел обыкновение сходить время от времени «в уединенный круг своих приятелей», где можно было если не отдохнуть — «в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями», — то, по крайней мере, отвлечься и переменить обстановку. Круг этот был составлен преимущественно нежинскими «однокорытниками», к которым, с большей или меньшей степенью близости, примкнули и другие лица. Среди них находился и автор только что процитированных слов Павел Васильевич Анненков, молодой чиновник Министерства финансов (с 1833 г.), в недавнем прошлом студент Петербургского горного института и историко-филологического факультета Петербургского университета.

Согласно уточнению Анненкова, он познакомился с Гоголем еще в 1832 году, скорее всего под влиянием «Вечеров на хуторе...», когда их автор сделался литературной знаменитостью, подобно магниту притягивавшей к себе людей молодых и безвестных. По-видимому, вначале Анненков встречался с ним нечасто и дома у него не бывал. Свой рассказ он начинает с квартиры Гоголя на Малой Морской, а это значит, что общение с писателем протекало в основном после лета 1833 года.

«...Я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он [Гоголь] разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него» [Анненков, 1983, с. 59–60]. По словам мемуариста, ему довелось не раз бывать в этой квартирке. Здесь он встречал двух самых близких приятелей Гоголя — А. Данилевского и Н. Прокоповича.

Александр Данилевский, пережив свой неудачный кавказский роман, вернулся в Петербург около 23 марта 1833 года. Он оставил военную службу и поступил на гражданскую, в Министерство внутренних дел. Зная о литературных интересах своего друга, Гоголь постарался познакомить его с Плетневым и В. Одоевским; у Плетнева же «Данилевский встречал также нередко Крылова и Пушкина» [Шенрок, т. 1, с. 362].

Вместе с Александром Данилевским, на одной с ним квартире жил какое-то время его брат Иван, окончивший нежинскую Гимназию высших наук в 1833 году. Иван Данилевский тоже бывал у Гоголя, пока не уехал на родину в свои Семереньки.

Что же касается Прокоповича, то он по-прежнему писал стихи, увлекался театром, появляясь на сцене в третьестепенных ролях, и в довершение всего влюбился в актрису. В декабре 1832 года Гоголь писал Данилевскому, проживавшему еще на Кавказе, что «Красенькой (то есть Прокопович. — Ю. М.) заходилась не на шутку жениться на какой-то актрисе с необыкновенным, говорит, талантом, лучше Брянского», а в октябре следующего года сообщал В. Тарновскому как уже о свершившемся факте: «Прокопович Николай женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе». Это, как сообщает биограф Прокоповича, Марья Никифоровна Трохнева, дочь коллежского советника [Лицей, 1881, с. 424].

К концу 1832 года в Петербург приехал и брат Николая Прокоповича Василий, только что окончивший Гимназию высших наук. Он тоже бывал у Гоголя, который называл его «драгуном» — «такой молодец с себя! с страшными бакенбардами и очками, но необыкновенный флегма». Чтобы продемонстрировать флегматичность Василия Прокоповича, Гоголь приводит эпизод, характеризующий свободные нравы «однокорытников».

Тотчас по приезде Василия Прокоповича в Петербург «братец, чтобы показать ему все любопытное в городе, повел его на другой день в бордель; только он во все время, когда тот потел за ширмами, прехладнокровно читал книгу и вышел, не прикоснувшись ни к чему, не сделав даже значительной мины брату, как будто из кондитерской». Это не помешало ему подхватить венерическую болезнь, как на то намекал Гоголь несколько месяцев спустя.

Позднее Василий Прокопович, так же как и его брат, сделался учителем и преподавал во втором кадетском корпусе в Петербурге. Умер он 11 ноября 1840 года.

Кто еще бывал на квартире Гоголя? Конечно, Иван Григорьевич Пашенко, служивший в Министерстве юстиции. Гоголь хотя и подтрунивал над его страстью сочинять («...известный лгунишка бумаги в юстиции пишет». — [IX, 12]), но ценил доброту, понятливость, ум и считал хорошим товарищем.

Бывал у Гоголя и В. И. Любич-Романович, который, как говорит Николай Васильевич, «идя в должность из Литейной на Гагаринскую (он служил в одном из департаментов Министерства юстиции. — Ю. М.), забегает по дороге ко мне в Малую Морскую» [X, 279]. К его стихам, к его личности Гоголь относился терпимо, но иронически: «Романович не добыл ума ни на копейку...» [там же].

Появлялся у Гоголя и Николай Корнилович Бороздин, брат того самого Федора Бороздина, «Спиридона-Расстриги», который послу-

жил предметом осмеяния в стихотворении «Се образ жизни нечестивой...». Николай Бороздин окончил Гимназию высших наук годом раньше Гоголя, служил в Министерстве иностранных дел. Он имел прозвище Благопристойный, был хром, что видно из гоголевского замечания, будто «его костыль получил такую гибкость, что он отваживается с ним даже плясать мазурку».

Встречался Гоголь и с Иваном Николаевичем Кобеляцким (или Кобелецким). В свое время они вместе поступали в Гимназию, причем Кобеляцкий выдержал экзамены весьма успешно, набрав 35 баллов (у Гоголя, напомним, — 22), и был переведен в третье отделение, в то время как Гоголь оставлен во втором [Лавровский, с. 138]. Но в дальнейшем Кобеляцкий исчез с горизонта, видимо, не окончив Гимназии. Сообщая о встрече с ним в Петербурге, Гоголь упоминает лишь такой факт: «Кобеляцкий так же мастерски умеет плавать, как и прежде». Однако остальные не удостоиваются даже такой характеристики: «Прочие лица так же бесцветны, как и прежде».

Словом, народ, собиравшийся вокруг Гоголя, его «однэкорытники» или «одноборшники», был разношерстный. Большинство из них по-прежнему оставались скромными, незаметными людьми, но некоторые уже стали выбираться на поверхность, обратив на себя внимание литературными трудами, научной деятельностью. Это К. Базили, П. Лукашевич, П. Редкин и, конечно, Н. Кукольник.

Базили, вернувшийся из морской экспедиции в Петербург, поступил в декабре 1833 года в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Свободные часы посвящал литературной работе; еще находясь на военном корабле при вице-адмирале Рикорде, он вел журнал, который составил основу книги «Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 годах» [СПб., 1834. Ч. 1—2]. Эта книга восполняла важный пробел: греческо-турецкие отношения привлекли к себе внимание всей Европы, «а у нас в России ни одно сочинение, никакие записки не говорят о сих происшествиях, как будто бы они были чужды России» [ч. 1, с. VI]. Попутно Базили сообщал разнообразные сведения исторического и этнографического характера, с нескрываемым сочувствием рассказывал о греческом восстании, проводя параллель между современными событиями и героическим прошлым Греции: «Имя Греции невольно напоминает другую, лучшую эпоху ее существования; и путешественник, посещающий сию классическую страну, с любовью ищет на живописных ее пригорках древних храмов и памятников великого народа» [ч. 1, с. IV]. В памяти Гоголя это место могло оживить строки из его «Ганца Кюхельгартена»:

Печальны древности Афин.
Туманен ряд былых картин.
Облокотясь на мрамор холодный,
Напрасно путник алчет жадный
В душе бывшее воскресить...

За первой книгой Базили последовали другие: «Очерки Константинополя» [СПб., 1835. Ч. 1–2], «Босфор и новые очерки Константинополя» [СПб., 1836. Ч. 1–2], которые укрепили репутацию их автора как дельного, добросовестного и даровитого писателя. Вот отзыв В. Белинского об «Очерках Константинополя», опубликованный в газете «Молва»: «Главное их достоинство заключается, без сомнения, в том, что они читаются с интересом, ни на минуту не ослабляющимся. <...> В его книге мы видим не сухой скелет, а живую Турцию, с ее угасшим, но еще по временам вспыхивающим фанатизмом, ее невежеством, варварским устройством, борьбою старого с новым...» [Белинский, т. II, с. 112].

Гоголь и Базили, которые были дружны в нежинскую пору, встречались после возвращения последнего в Петербург (см. ниже свидетельство Мокрицкого), хотя период их наиболее тесного общения наступит значительно позднее (в феврале — апреле 1848 г., когда Гоголь в сопровождении Базили как русского консула в Сирии и Палестине посетит Иерусалим и другие ближневосточные города).

Около 1835 года появился в Петербурге еще один питомец нежинской Гимназии — П. Лукашевич.

Платон Акимович Лукашевич (1809—1887) вместе со своим братом Аполлоном поступил в Гимназию 24 августа 1821 года, в один год с Гоголем. Отец братьев Лукашевичей — майор Аким (Иоаким) Петрович [Сборник, с. 317]. Одно время Платон Лукашевич был довольно близок Гоголю. Жалуясь Высоцкому 17 января 1827 года на то, что много его «товарищей удалилось», Гоголь называет Данилевского, отбывшего в Москву, и Лукашевича, переехавшего в Одессу. Последний перевелся в это время в Ришельевский лицей, который успешно окончил в 1828 году, получив право на чин X класса [Михневич, с. 153]. Затем Лукашевич отправился за границу, где познакомился с выдающимися филологами и писателями Вацлавом Ганкой и Яном Колларом. Не без их влияния он занялся собиранием украинских песен.

Гоголь в первые годы петербургской жизни наводил справки о Лукашевиче: 2 октября 1833 года он запрашивает о нем проживающего на Украине В. Тарновского, равно как и о Высоцком и Редкине; 7 августа 1835 года он повторяет свой вопрос: «Не слышал ли чего-нибудь о наших, особенно о Лукашевиче старшем или о Высоцком?» Наконец Лукашевич приехал в Петербург — и увиделся с Гоголем (см. ниже запись Мокрицкого).

В это время Лукашевич готовил к печати собранные им произведения, которые вскоре увидели свет в книге «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» [СПб., 1836, цензурное разрешение от 6 мая]. В предисловии «издатель», то есть Лукашевич, отмечал, что его сборник прибавляет новые образцы к имеющимся уже известным собраниям песен Срезневского и Максимовича. Все это

находилось в русле интересов Гоголя, и легко представить себе, что при встречах они затрагивали общую тему, а возможно, и спорили, ибо придерживались разных взглядов на современное бытование украинских песен.

Гоголь (как и И. Срезневский в «Запорожской старине») говорит об украинских песнях как о живом явлении, продолжающем свое существование и по сей день, о явлении, близко ему знакомом и пережитому. Этот взгляд отразился в его статье «О малороссийских песнях», опубликованной в 1834 году в «Журнале Министерства народного просвещения» [Ч. 2. № 4] и затем включенной в «Арабески» (1835): «...лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стнящими иволгами».

У Лукашевича был другой взгляд на этот предмет; в предисловии к упомянутой выше книге он утверждал, что «народные песни давно уже не существуют; все они исключительно заменены солдатскими или великороссийскими песнями». «Проезжайте всю Малороссию вдоль и поперек, и я ручаюсь вам, что вы не услышите ни одной национальной песни. <...> Одни только свадебные и другие обрядные песни уцелели» [с. 5, 6–7]. Поэтому изданные Лукашевичем песни подслушаны у «старцев, занесших одну ногу во гроб», так дума о Самойле Кишке «списана в Полтавской губернии точь-в-точь со слов бандуриста-слепца» [с. 7, 15].

Во всяком случае, встречи и беседы с Лукашевичем были интересны Гоголю, и впоследствии, уехав за границу, Николай Васильевич справлялся о нем. Например, в письме Прокоповичу из Парижа от 25 января 1837 года: «...Что делает Лукашевич? Уехал ли он за границу или нет? и если не уехал, то почему? и что делает он теперь? Пожалуйста, передай ему мой поклон и скажи ему, что я надеюсь с ним увидеться»⁶².

Продолжал встречаться Гоголь и с такими выдающимися питомцами нежинской Гимназии, как П. Редкин и Н. Кукольник. Однако в число ближайших друзей Гоголя они не входили — по разным причинам, конечно.

С Редкиным у Гоголя с давних времен сохранялись теплые отношения, была у них и некоторая общность научных интересов: с одной стороны, исторические штудии Гоголя, с другой — интенсивные (и притом более систематичные и профессиональные, чем у Николая Васильевича) занятия Редкина и в области философии, и в области истории и истории права (он, в частности, слушал лекции немецкого ученого Ф. К. Савиньи, главы исторической школы). Однако, едва

возвратившись в 1834 году из-за границы и получив степень доктора прав в Петербургском университете, Редкин вскоре переехал в Москву, где с сентября следующего года начал читать курс законовведения в Московском университете. Из этого еще надо вычесть летние месяцы, когда Редкин уезжал на родину, чтобы, как говорит Гоголь, после долгой отлучки «полобызаться с батюшкою». Поэтому, несмотря на взаимную симпатию, общение обоих приятелей было кратким и эпизодичным.

Что же касается Кукольника, то Гоголь встречался с ним довольно часто (к началу 1833 г. Кукольник вновь приехал в столицу, поступив 27 апреля в канцелярию Министерства финансов) — и у себя дома, и у общих знакомых; но по-прежнему их разделяло несходство характеров, темпераментов, а больше всего — художественных вкусов.

Кукольник мог быть и живым, остроумным, порою даже соперничая в этом отношении с Гоголем. М. Ф. Каменская, дочь вице-президента Академии художеств Федора Толстого, рассказывает о совместном посещении их дома Кукольником и Гоголем: «...воскресенья наши, с появлением у нас Кукольника, оживились еще больше. <...> За ужином вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Василием Ивановичем Григоровичем (конференц-секретарем той же Академии. — Ю. М.) рассказывал такие хохлацкие анекдоты, что от них можно было умереть со смеху. <...> Правду сказал про него папенька, он был именно “душа компании”» [Каменская, с. 210].

Но, бывало, находили на Кукольника припадки тоски. «...Не терпит людности, — сообщал Гоголь Данилевскому 8 февраля 1833 года, — и выберет такое время прийти, когда я один, и тогда или душит трагедией, или говорит так странно, так вяло, так непонятно, что я решительно не могу понять, какой он секты, и не могу заметить никакого направления в нем».

Трагедией, которой Кукольник «душил» своего слушателя, возможно, был «Торквато Тассо», начатый еще в гимназическую пору и затем многократно переделанный и переписанный. В 1833 году произведение наконец вышло в свет, за ним последовали другие его драмы: «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835), «Роксолана» (1835) и т. д. Изобилующие эффектными сценами, броскими сравнениями и метафорами (ср. Гоголь: «сравненьями играет, как мячиками...»), эти пьесы имели шумный успех. В своем роде Кукольник сделался не меньшей знаменитостью, чем Гоголь. О. Сенковский в специальной статье, посвященной драматической фантазии «Торквато Тассо», назвал ее автора «юным нашим Гете» [БЧ. 1834. Т. 1. Отд. 5. С. 29].

Вскоре слава Кукольника приобрела несколько скандальный оттенок, поскольку из-за неодобрительного отзыва на понравившуюся самому царю пьесу «Рука Всевышнего...» был закрыт журнал Н. Полевого «Московский телеграф», где отзыв был опубликован. Но это не

уменьшило популярности драматурга. Спустя много лет в некрологической заметке о Кукольнике известный литератор Н. Ф. Павлов писал: «Кто из людей той эпохи не помнит знаменитую в то время драму “Рука Всевышнего отечество спасла”? Кто не приходил в восторг от его “Тасса”, “Князя Холмского”, “Джулио Мости”, “Роксоланы” и “Скопина-Шуйского”?» [РВд. 1868. № 277].

На этот вопрос можно ответить определенно: «не приходил в восторг» Гоголь, который издавна, с гимназических времен, питал неприязнь к самому стилю, к эстетике творчества Кукольника. Ненавидя «идеальничанье в искусстве», говорит Анненков, Гоголь «никак не мог приучить себя к трескучим драмам Кукольника». Но, собственно, он и не старался это сделать; неизвестно, кстати, посетил ли Гоголь хоть один спектакль по его пьесам, которые с шумным успехом шли на сцене Александринского театра, — кажется, он так их и не видел.

Гоголь избегал публично высказывать свое отношение к пьесам Кукольника; лишь несколько позднее в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» [Современник. 1836. № 1] он коснулся произвольности суждений Сенковского о Кукольнике и тем самым затронул творчество последнего: «Он [Сенковский] первый поставил г. Кукольника наряду с Гете и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось». Но, несмотря на сдержанность Гоголя, Кукольник чувствовал, знал, как тот относится к его произведениям, и очень от этого страдал. Быть может, его странные визиты к Гоголю, докучливое чтение своей трагедии происходили из упорного, но тщетного желания добиться признания своего бывшего однокашника.

Гоголя и Кукольника отдаляло друг от друга и то, что они вращались в основном в разных литературных сферах. Хотя Кукольник и был знаком с Пушкиным (с конца марта 1834 г.) и изредка встречался с ним у третьих лиц, но он не имел доступа в пушкинский круг. Причина заключалась опять-таки в несходстве характеров и художественных вкусов. 30 марта 1832 года Гоголь писал А. Данилевскому о Кукольнике: «Пушкина все по-прежнему не любит. Борис Годунов ему не нравится». Со своей стороны, Пушкин после первой встречи с поэтом зафиксировал в своем дневнике (запись от 2 апреля 1834 г.) противоречивое впечатление: «он, кажется, очень порядочный молодой человек», «хороший музыкант», но неизвестно, «имеет ли он талант». Никакого интереса к произведениям Кукольника Пушкин не обнаружил: «Я не дочел его “Тасса” и не видал его “Руки” etc.»

Обычная «среда обитания» Кукольника — совсем другая, в которой Гоголь не бывал или бывал весьма редко: это «четверги» у Греча и особенно собиравшаяся у К. Брюллова «братия». В нее входили еще брат Нестора Кукольника Платон, композитор М. И. Глинка и «их бессменный Фальстаф» художник Я. Ф. Яненко [РС. 1878. № 22. С. 667]. Появлялся среди них и композитор А. С. Даргомыжский, многим обя-

занный Н. Кукольнику: «Пример Глинки и дельные советы Н. В. Кукольника заставили меня серьезнее заняться изучением теории музыки» [Даргомыжский, с. 5]. В этом кружке порою обсуждались проблемы теоретические и художественные.

Гоголевский же кружок выглядел по-иному. Своеобразная установилась здесь атмосфера: хоть разговор порою затрагивал и весьма серьезные предметы, надо всем, казалось, безраздельно «царствовала веселость». Об этом есть несколько прямых и косвенных свидетельств; приведу малоизвестное: в 80-е годы прошлого века журналист А. И. Урусов (выступавший под псевдонимом «А.Иванов») сослался на воспоминания «современника г. К-го», «с которым, — говорит Урусов, — я на днях беседовал и которого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе». «...В то время господствующим качеством (*qualite maitresse*) Гоголя была необыкновенная сила сообщительного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова — смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадках истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротической чувственностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною Аристофановскою солью» [Порядок. 1881. № 28].

Автор этого весьма колоритного свидетельства — «г. К.» — не раскрыт. Полагаю, что это Андрей Александрович Краевский (1810—1889), выпускник Московского университета, с 1834 года помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения», впоследствии — известный журналист, издатель «Отечественных записок», «С.-Петербургских ведомостей» и «Голоса». Краевский общался с молодым Гоголем: около 1833 года он передал ему записку Погодина [X, 268]; есть сведения, что он встречался с Гоголем у Плетнева и у себя дома. Свидетельство другого современника подтверждает, что Краевский судил о веселости Гоголя не понаслышке: «Вечер (3 января 1836 г. — Ю. М.) провел у Краевского. Там было довольно молодежи, был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых...» [Мокрицкий, с. 63]. Дожив до глубокой старости, Краевский мог в 1881 году поделиться с журналистом своими воспоминаниями.

Участием слушателей «веселость» Гоголя еще более усиливалась. «Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость — явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных» [Анненков, 1983, с. 62]. Гоголевский биограф, опираясь на рассказы современников, отмечал, что писатель «любил проводить время в кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его таким оживленным. <...> Г. Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга.

У него я видел портрет Гоголя, рисованный и литографированный Венециановым...» [Кулиш, 1854, с. 49]. Этот единственный сделанный с натуры литографированный портрет Гоголя [Машковцев, с. 29] широко известен. Писатель предстает на нем жизнерадостным, веселым, но не без тени затаенного лукавства; он гонится за модой, стремится к щегольству, одет в узенький сюртучок, прическу венчает знаменитый кок, который С. Т. Аксаков назвал хохолком.

О веселом расположении Гоголя рассказывает со слов М. С. Щепкина А. Н. Афанасьев. Хотя эти зарисовки относятся преимущественно к пребыванию Гоголя в Москве (начиная с первого знакомства его с актером в 1832 г.), они, разумеется, сохраняют свою силу и применительно к петербургской поре. «В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер, <...> он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний» [БЧ. 1864. № 2. Отд. 11. С. 7]. Гоголь придерживался «вкуса Рабле» не только в комизме и остротах, часто неприличных, но и в еде. Культ еды отмечает у Гоголя и его «однокорытников» и другой мемуарист: «Приятель сходился <...> также друг у друга на чайных вечерах, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелюбезный судья и оценщик» [Анненков, 1983, с. 60]. Свидетелями гастрономических увлечений Гоголя являлись и его сестры Лиза и Аня. Гоголь не прибегал к их женской помощи, обходился сам. «Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам приготавливал какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, — он их очень любил» [Быкова, с. 6].

Еда сопровождалась не только чаем, но и винным возлиянием, в котором Гоголь знал толк. «Винам он давал, по словам М. С. [Щепкина], названия “Квартального” и “Городничего”, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а джонке (то есть жженке. — Ю. М.), потому что зажженная горит голубым пламенем (цвет жандармских мундиров. — Ю. М.), — давал имя Бенкендорфа.

— А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда. — Не отправить ли теперь Бенкендорфа? — и они вместе приготавливали джонку» [БЧ. 1864. № 2. Отд. 11. С. 7]⁶³.

Вдохновенно говорит Гоголь о вине в письме Максимовичу: «Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори ее, и

когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя» [X, 357]. Гоголь несколько бравирует и преувеличивает, но он знает на собственном опыте, что вино, говоря его словами, есть средство, «не дурно действующее в рассуждении веселости».

Кажется, единственный, кому атмосфера гоголевского кружка виделась в другом свете, был А. Н. Мокрицкий. Вот характерная его запись, сделанная в 1835 году по поводу очередной годовщины открытия Гимназии высших наук: «1 октября положено у нас праздновать, и праздник этот ознаменовать не каким-нибудь добрым делом, а банкетом, где, кроме яств и напитков, ничего не употребляется. Такова наша молодежь! Собрались мы — я, Кукольник, двое Данилевских (Александр и Иван. — Ю. М.), Гоголь, двое Прокоповичей (Николай и Василий. — Ю. М.), Пашенко, Данченко, Лукашевич и Базили. И что же? Ели, пили, шумели и только. Веселости особенной не было, да и могла ли она быть? Разнохарактерность собравшихся во имя Нежинской гимназии не позволяла состояться банкету, как следовало. За обедом соединяло нас лишь одно вино, после обеда все разбрелись куда попало» [Мокрицкий, с. 44–45]. Другая запись, 9 ноября 1835 года: «У Гоголя по-прежнему было шумно и скучно» [там же, с. 51].

Безрадостное настроение Мокрицкого во многом объяснялось его личными обстоятельствами. Прервавший из-за материальных лишений в конце 1833 года свои занятия в Академии художеств и уехавший на родину, Мокрицкий в ноябре следующего года вернулся в столицу, — но жизнь его не стала легче. Еще не добившийся признания, художник вел трудную и изнурительную борьбу за существование. Накануне упомянутой выше встречи однокашников «во имя Нежинской гимназии» он записывает в дневнике: «Ничто, кроме живописи, не радует меня. Нужда, нужда, скоро ли ты меня оставишь?» Встреча устраивалась вскладчину, но с Мокрицкого денег не взяли, и свои невеселые впечатления он закончил словами: «Я, присутствовавший там без платы, не должен быть неблагодарным, спасибо им, особливо моему доброму Нестору...»

Нестор Кукольник покровительствовал Мокрицкому, которого связывали с ним более сердечные отношения, чем с Гоголем. Несколько разнились и вкусы Мокрицкого и Гоголя. Художник благоговел перед великим Брюлловым, Karolus'ом Magnus'ом; когда в Петербург доставили его «Последний день Помпеи», Мокрицкий разразился восторженной похвалой. Гоголь тоже, как мы еще будем говорить, восхищался этой картиной. Но вместе с тем Мокрицкий с удовольствием читал произведения Марлинского, проявил интерес к пьесе своего друга Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» — и во всем этом он едва ли находил понимание со стороны Гоголя.

Для полноты картины отношений Гоголя и Мокрицкого нужно еще сказать об одном замысле художника. В августе 1835 года он решил «написать четыре головы — Кукольника, Редкина, Гоголя и Базили на одной холстине, заняв их чтением», — и «выполнить как можно лучше» [Мокрицкий, с. 42]. Замысел интересен тем, что художник выбрал действительно самые значительные личности из числа питомцев нежинской Гимназии.

Кстати, благодаря дневниковым записям Мокрицкого мы можем несколько шире представить себе круг «однокорытников», чем это казалось раньше, и ввести в него ряд новых лиц. Так, среди участников праздничной встречи 1 октября 1835 года, помимо упоминавшихся уже выше Лукашевича и Базили, назван еще Данченко. Николай Федорович Данченко окончил Гимназию четырьмя выпусками позже Гоголя — в 1832 году — и служил в Министерстве государственных имуществ в Петербурге.

В другой раз (8 декабря 1834 г.) Мокрицкий встретил у Гоголя Халчинского. Иван Дмитриевич Халчинский (1810—1856) окончил нежинскую Гимназию в 1829 году вместе с Кукольниковом, на год позже Гоголя. В своем месте (в первой части этой книги) мы уже упоминали самую яркую черту Халчинского — способность к языкам, которая и определила его жизненный путь. По окончании Гимназии он переехал в Петербург и поступил в Министерство иностранных дел, в Департамент внутренних сношений. В 1832 году вместе с приехавшим в столицу другим нежинским «однокорытником» А. Бородиным принялся изучать английский язык (не преподававшийся в Гимназии) и перевел на русский язык «Восточные сказки» (т. е. «Альгамбру») Вашингтона Ирвинга [Лицей, 1881, с. 473; судьба перевода неизвестна]. Этот факт мог обратить внимание Гоголя на американского писателя, особенно после того, как он уже слышал его имя в обидном для себя контексте: рецензент «Московского телеграфа», откликаясь на «Вечера на хуторе близ Диканьки», замечал, что он надеялся встретить в них хотя бы «пол-Вашингтона Ирвинга», да ошибся...

Впоследствии Халчинский, как и Базили, пошел по дипломатической части и служил генеральным консулом в княжествах Молдавии и Валахии.

Бывал в доме у Гоголя и Иван Павлович Симоновский; окончивший Гимназию в 1830 году, Мокрицкий увидел его здесь 9 ноября 1835 года «после пятилетней разлуки»: Симоновский приехал из Москвы, где он служил чиновником особых поручений при Комиссарийской комиссии.

Таково было окружение Гоголя, действительно очень неровное, разноликое. Мокрицкий верно подметил, что именно разнохарактерность собравшихся мешала образованию более глубоких связей и выдвигала на первый план пиршественные интересы и атмосферу непри-

тязательной веселости. В этом смысле кружок Гоголя, собственно, и не был кружком, каким бывали объединения единомышленников — Любомудров, потом Станкевича и его друзей, западников и т. д. В этих кружках кипела напряженная жизнь, соответствовавшая тем трудам, которые осуществляли иные их участники. Творческая жизнь Гоголя не была равнозначна его пребыванию в кружке; первое неизмеримо выше второго; в кружок, по выражению Анненкова, он «сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща», то есть как бы спускался сверху вниз. Это было место отдохновения, расслабления, собирания и восстановления сил. И «веселость» Гоголя неразлучна была с ощущением его заслуженного превосходства над другими, с осознанием уже сделанного и совершенного и верой в то, что предстоит нечто еще более значительное.

И все же атмосфера кружка, поскольку она определялась Гоголем, выглядела совсем не такой простой. Желание смешить и быть смешным — всегда лицевая сторона глубокого и сложного душевного процесса, означавшего одновременно преодоление грусти, уныния, смутности и спутанности ощущений. Это явственно обозначилось в первые месяцы и годы петербургской жизни, в пору создания «Вечеров на хуторе...». Теперь состояние Гоголя прояснилось и сделалось устойчивее, но не настолько, чтобы изменился весь его, как он любил говорить, душевный «состав». Тот же Анненков подметил «беспокойную, судорожную, горячечную» ноту в гоголевской «веселости» — в ней по-прежнему есть что-то от заклятия или заговаривания душевной боли. Именно в том письме Максимовичу (от 22 марта 1835 г.), где упоминается о спасительном, освежающем действии «бутылки доброго вина», говорится и о том, что нельзя позволить «грустному и заунывному» «выходить наружу». И Гоголь не позволял, он сдерживал злых духов — много успешнее, чем бывало раньше или будет впоследствии.

Кроме того, гоголевская «веселость» была преобразенным выражением целого комплекса мыслей и ощущений — социальных, эстетических и т. д. Пусть серьезные вопросы обсуждались Гоголем среди «однокорытников» редко или приглушенно, — сама атмосфера давала понять о его умонастроении. «На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей...» [Анненков, 1983, с. 60–61]. В «веселости» таилось жало оппозиционности, происходило переименование принятой шкалы ценностей, подтачивание официальной иерархичности, что было родственно тому чувству, которое в связи с известной нам драмой Погодина Гоголь выразил открыто: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. <...> А доказательство в наше время».

Иные свои «доказательства» и примеры Гоголь приводил в кругу однокашников и в прямой форме, особенно если это была область литературная и эстетическая. О Вальтере Скотте, например, одном из

самых злободневных и популярных в то время имен, Гоголь специально напишет в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (опубликована в 1836 г.), но из воспоминаний Анненкова хорошо видно, что значение этого писателя он обсуждал еще и устно в своем кругу, причем обсуждал во вполне определенном духе: «Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска. <...> Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художественной точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам» [Анненков, 1983, с. 63]. Здесь у Гоголя был единомышленник в лице его ближайшего друга: еще в 1832 году в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (№ 13) Н. Прокопович опубликовал стихотворение «К портрету Вальтер-Скотта», где тоже восхвалял шотландского романиста «просто с художественной точки зрения»:

Твой мир естествен и прекрасен,
Как радуга, и пестр и жив.
Как майский день, безнойно ясен
И сердцу он красноречив!

В чем Гоголь действительно до конца был скрытен и избегал даже намеков, так это в своих творческих занятиях. «Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала» [Анненков, 1983, с. 59]. Но не говорил и в силу присущей ему скрытности и желая умолчать именно о том, что в настоящее время является самым важным. Зато внутренне он никогда не прекращал умственной деятельности: тот же мемуарист подметил на лице Гоголя «постоянную, как бы приросшую к нему наблюдательность». Она не покидала Гоголя в минуты рассеяния и отдыха, которые таким образом превращались в потаенную, протекающую в иных формах, подспудно творческую работу.

Гоголь умел все обращать впрок. Как несколько лет назад в разговоре с Щепкиным в Москве он «подобрал» и отложил в тайники памяти эпизод с кошкой для будущих «Старосветских помещиков», так в беседах с петербургскими приятелями и знакомыми он запасался самым различным материалом для других своих произведений. Два случая Анненков называет с большой определенностью: один — рассказ некоего пожилого человека о привычках сумасшедших, рассказ, которым писатель воспользовался впоследствии в «Записках сумасшедшего»; второй — канцелярский анекдот о чиновнике, потерявшем ружье, преобразованный позднее в историю с шинелью. Эпизод с сумасшедшим мемуарист приводит как очевидец, и поскольку он

слышал его в первое посещение им Гоголя на новой его квартире на Малой Морской, то хронологически все это можно приурочить ко времени после июля 1833 года, скорее всего к осени.

В кругу приятелей Гоголь умел быть одновременно откровенным и скрытным; то или иное его явное движение имело своей подкладкой другое, которое не выставлялось на обозрение, но лишь угадывалось, а иногда и не замечалось. Поэтому свидетельстве очевидца, даже и такого проницательного, как Анненков, поневоле односторонни, если верить их другими данными. Они более фиксируют конечный результат гоголевского поведения, нежели весь его глубокий душевный подтекст. Мы уже видели это на примере гоголевской «веселости» — нечто подобное происходило и с тем, что Анненков называл мистическим и дидактическим настроем писателя.

Возникновение такого настроения мемуарист относил к более позднему периоду, не замечая в раннем Гоголе никаких соответствующих симптомов. «Я все держусь <...> того мнения, что в первую пору своего развития Гоголь был совсем свободным человеком, чрезвычайно искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более как маленьким, невинным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей, иначе настроенных, чем он. Лирическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с друзьями языком ветхозаветного пророка...» [Стасюлевич, с. 309].

Анненков не знал, что именно в то время, когда он, наблюдая Гоголя, приходил к подобному заключению, последний убеждал мать (письмо от 2 октября 1833 г.): «Я вижу яснее и лучше многое, нежели другие. В немногие годы я много узнал особенно по этой части, я исследовал человека от его колыбели до конца и от этого ничуть не счастливее. У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди. Толкуют о добродетели, о Боге, и между тем не делают ничего. Хотел бы, кажется, помочь им, но редкие, редкие из них имеют светлый природный ум, чтобы увидеть истину моих слов. Вы — другое дело, бесценнейшая маминька, вы понимаете меня в этом отношении».

Ни в каком «невинном плутовстве» автора этих строк не заподозришь; напротив, цель, которую он преследовал, была даже практической — подсказать правильный путь воспитания сестры Ольги, которое должно состоять в живых религиозных наставлениях и в напоминании о Страшном Суде и воздаянии. Свое избранничество Гоголь связывает уже с тем, что он лучше других знает это дело; знание же вытекает из отличия истинного пути, равно как и постижения людской природы. Двадцатичетырехлетний молодой человек говорит тоном многоопытного мужа. Он уже ощущает внутреннюю потребность высказать добытое в тяжелом опыте сокровенное слово, и если еще

не превращает эту потребность в обязанность, в свою миссию, то прежде всего в силу сомнений в том, захочет ли понять его каждый.

Гоголевское учительство еще не проявлялось в будничной жизни, среди знакомых, друзей, приятелей (поэтому-то Анненков его и не заметил), коснувшись лишь самых близких, может быть, пока только одной матери как единственно настроенной, по мнению Николая Васильевича, на ответную волну. Следовательно, гоголевское учительство было еще автономным, не пронизывая собою весь строй его чувств, настроений, связей с окружающими людьми, а также строй его повседневных занятий. Значит, в большой мере автономным было и его творчество, научное и литературное, в разной степени, конечно, зависящим от направления деятельности и жанра. Ближе всего гоголевская учительная мысль придвигалась к его научным, историческим изысканиям (но отнюдь еще не сливаясь с ними); дальше же всего отстояла от сферы собственно художественного, и особенно комедийного, творчества. Писатель далек был еще от стремления слить свое творчество с некой воспитательно-религиозной идеей, однако он уже имел ее предощущение, ее прообраз, как некий коррелят к своей деятельности. Повторю еще раз: гоголевская эволюция одновременно монотонна и прерывиста; каждая ее стадия находится внутри предыдущей, но осуществляется путем выдвигания вперед и усиления прежних элементов.

Возвращаясь к предмету этой главы — Гоголь среди своих друзей и знакомых, — следует еще отметить, что к началу 30-х годов восходит и обычай торжественно отмечать именины Николая Васильевича в летний Николин день, 9 мая. Анненков, участвовавший в таких торжествах, говорит, что обед давался обыкновенно вскладчину и что писатель являлся к нему в фантастическом наряде собственного изобретения: «Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстук, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых [Белоусова]».

Собиравшиеся у Гоголя наблюдали патриархальные отношения хозяина с его слугой. Яким Нимченко, «по воспоминаниям, был очень привязан к Гоголю, любил делать ему наставления в духе Осипа, но страдал слабостью к напиткам, чем иногда доводил брата до раздражения» [Головня, с. 64]. Примерно такую же картину рисует Анненков: «Гоголь обращался с ним [Якимом] совершенно патриархально, говоря ему иногда: “Я тебе рожу побью”, что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах...» [Анненков, 1983, с. 60].

Иногда Гоголь обращался к более действенным средствам внушения, приводя в жизнь свою угрозу. Такой случай произошел еще в Васильевке, летом 1832 года, когда Яким с друзьями пошел за утка-

ми, пропадал три дня и вернулся пьяный не своим ходом, но так, что «чужие люди перенесли». «Я Акима больно...» — замечает по этому поводу Гоголь.

В Петербурге Яким приобщался и к другим удовольствиям, предоставляемым столичной жизнью. Однажды на масленицу он с Матреной ходил к балаганам, и Матрена, для которой все это было внове, по возвращении, крестясь от страха, рассказывала, «как при ее глазах разрезали человека на несколько частей, даже кровь лилась, и он, как ни в чем не бывало, ожил и начал ходить, кривляться и паяцничать, как прежде; из маленькой девчонки вдруг сделалась огромная кухня с посудой, горшками и пр.» [X, 258].

Забегая вперед, добавлю, что по отъезде за границу в июне 1836 года Гоголь отправил Якима с женою и двумя детьми в Васильевку, а в своем духовном завещании перед смертью распорядился: «Якима отпустить на волю» [Шенрок, т. 4, с. 866].

НА ПОДСТУПАХ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЕ

Год, на который Гоголь возлагал столько надежд, к которому обращался с просьбой и мольбой, — наступил. «Уже 1834-го захлебнуло полмесяца», — а в положении его ничего не менялось.

Приподнятое настроение Гоголя тускнеет, вера в судьбу ослабевает. «Мне кажется, что судьба больше ничего не делает с нами, как только подтирается, когда ходит в нужник» [X, 292].

Тревожит медлительность и непонятные задержки с получением места в Киевском университете. Гоголь и Максимович, мы помним, решили отправиться в Киев вместе, первый — чтобы стать профессором всеобщей истории, второй — профессором русской словесности. Вначале у Гоголя все складывалось хорошо, а у Максимовича возникли трудности: управляющий Министерством народного просвещения Уваров высказал сомнение: как же это Максимович займет кафедру словесности, будучи только что избранным в Московском университете ординарным профессором ботаники. И Гоголь дает своему другу вполне практичные советы: «Бери кафедру ботаники или зоологии. А так как профессора словесности нет, то ты можешь занять на время и его кафедру. А там, по праву давности, ее отжилить, а от ботаники отказаться. А?» [X, 297].

Но вскоре положение изменилось: желание Максимовича было удовлетворено, а Гоголю все не давали окончательного ответа, и теперь уже Николай Васильевич с той же практичностью просит своего друга оказать ему протекцию: «Когда будешь писать к Брадке (попечителю Киевского учебного округа. — Ю. М.), наметь ему о мне вот

каким образом: что вы бы, дискать, хорошо сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы имел такие глубокие исторические сведения и так бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь» [X, 310].

Неизвестно, выполнил ли Максимович эту просьбу, но у Гоголя и без того было немало ходатаев: помимо Пушкина и Жуковского, еще министр юстиции Д. В. Дашков, министр внутренних дел Д. Н. Блудов. Все четверо были знакомы с Уваровым еще по «Арзамасу», литературному обществу, в которое они входили. Да и сам Уваров, по словам Гоголя, был доволен его статьями, печатавшимися в «Журнале Министерства народного просвещения», «благоволил» к нему, и у нас нет оснований не верить этим словам.

А между тем дело все тянулось. Гоголь несколько раз бывал у Уварова, ставшего тем временем (в апреле 1834 г.) министром народного просвещения. Встречался он и с приезжавшим в Петербург Брадке — и безрезультатно.

Еще в марте Гоголь узнал, что на обещанное ему место прочт другого — некоего Цыха, который спустя месяц (21 апреля) прибыл в Киев и был назначен экстраординарным профессором всеобщей истории. Гоголю же предложили читать русскую историю. Он был раздосадован и оскорблен. «Чорт возьми, — писал Гоголь 8 июня Максимовичу, — они воображают, что у меня не достанет духу плюнуть на все. <...> Давши слово Жуковскому ожидать меня далее целый год и не отдавать никому кафедры всеобщей истории и через месяц отдать ее Цыху. Это досадно, право, досадно!»

Открытие университета Св. Владимира состоялось 15 июля в торжественной обстановке в присутствии многочисленных почетных гостей, среди которых был и знаменитый Иннокентий, в то время ректор Киевской духовной академии.

Максимович приехал в Киев буквально накануне торжества, 13 июля, и тотчас, помимо своей основной обязанности, получил другие: был назначен исполняющим должность первого ректора университета и избран деканом I отделения одного из двух факультетов — философского. Так высоко ценили в Киеве Максимовича! Чем же объяснялась неудача Гоголя?

Существует версия, что его отвергли по национальным мотивам: мол, один «упрямый немец», то есть фон Брадке, «предпочел Цыха, тоже немца» [Степанов, с. 134]. Или же по причинам чисто протекционистским: Брадке «резонно рассудил, что лучше поставить на теплое место своего человечка...» [Золотусский, с. 157].

А между тем ни тот, ни другой не были «немцами». Владимир Францевич Цых (1805–1837) происходил из чешской или венгерской семьи православного вероисповедания [Иконников, с. 726]; родился он на Украине, в Харьковской губернии, и слыл «совершенно русским по натуре» [Буданов, с. 107]. Сходное положение было и с Его-

ром Федоровичем фон Бадке (1796—1861): происходя из шведских дворян, переселившихся в Россию во времена Петра I, он породнился с несколькими русскими фамилиями; если и была в нем немецкая кровь, то со стороны матери, ведшей свою родословную от пастора Глюка, основателя знаменитой школы в Москве. Словом, и Бадке «не был чужим в семье русского дворянства» [Буданов, с. 78]. Подозревать его в антирусских или антиславянских устремлениях не приходится.

Не представлял собою Киевский университет и легкого поприща для службы, «теплого места»; скорее, наоборот — в напряженной национальной ситуации юго-западной России функционирование нового учебного заведения было чревато скрытыми конфликтами, которые и вышли на поверхность спустя всего несколько лет, причем именно Бадке поплатился за это своим местом. Следовательно, прежде всего надо сказать о ситуации, в которую был поставлен Киевский университет.

По мысли правительства, новый университет должен был стать оплотом русского просвещения на юго-западе империи; при этом в первую очередь принимались в расчет уроки только что подавленного польского восстания. Правительство стремилось нейтрализовать политические устремления поляков, а для этого деятельность в области образования, науки и культуры подготавливала соответствующую почву. «Слияние *политическое* не может иметь другого начала, кроме слияния *морального и умственного*» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Исходя из этого, Уваров поставил перед университетом задачу — проводить «в пользу грядущих поколений умственное слияние сих начал [польского и русского] с надлежащим перевесом русского». «Новый университет должен был по возможности сглаживать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, передавать ему общий дух русского народа» [Буданов, с. 75, 76].

По существу это была программа подчинения одного народа другому («с надлежащим перевесом русского...»), однако подчинения не резкого, без эксцессов, постепенного. Постепенность и длительность ставились Уваровым во главу угла. Поэтому университет должен был привлекать к себе и поляков; вот почему многие (если не большинство) преподаватели были поляками — они перешли сюда из Волынского лицея (город Кременец), который считался «заведением совершенно польским и по учебному языку, и по составу преподавателей» [Рождественский, с. 151]⁶⁴.

Бадке оказался идеальным человеком для проведения этой программы. Он был связан с высокими бюрократическими сферами (отец его одно время занимал должность вятского губернатора), участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 годов («совершил весь поход при Дибиче и Паскевиче»), что гарантировало его недвусмыс-

ленно официальную позицию в польском вопросе. В то же время Брадке был сторонником умеренной и осторожной политики в области просвещения; сказанные им на этот счет слова полностью соответствуют программе Уварова: «...сближение жителей западных губерний к русским правам и обычаям, уменьшение религиозного фанатизма в отношении к частному их вероисповеданию, содействие им любезным общего отечества» [Буданов, с. 83].

Первоочередным делом для Уварова и Брадке было создание сильной группы русских профессоров, представляющих, как говорили в свое время, «русский элемент». Таких преподавателей вначале насчитывалось всего четверо: помимо Максимовича и Цыха, еще профессор православного богословия И. М. Скворцов и профессор философии О. М. Новицкий (другие преподаватели: К. А. Неволин, С. О. Богородский и С. Н. Орнатский — прибыли в Киев годом-двумя позднее). Всех их объединяла, что называется, укорененность в местной жизни, а это соответствовало намерению Уварова — «обратиться к уроженцам южной России и, если возможно, к русским уроженцам самого юго-западного края, как к людям, более знакомым с местными условиями» [Буданов, с. 97]. И действительно, Максимович был уроженцем Полтавской, Цых — Харьковской, Новицкий — Волынской губернии⁶⁵. Скворцов хотя и был выходцем из России (из Нижегородской губернии), но также связан с Украиной с молодых лет — он преподавал в Киевской семинарии и Киевской духовной академии.

Со всех этих точек зрения Гоголь вполне устраивал начальство — и как уроженец Полтавщины, и как представитель «русского элемента» (его украинское происхождение перед лицом польской проблемы отступало на второй план). Некоторую тень сомнения могла заронить лишь фамилия Яновский, однако к этому времени «прибавка» была уже отброшена⁶⁶, все знали Гоголя именно как Гоголя (или как «пасичника Рудого Панька»); к тому же из его произведений, особенно из «Страшной мести», можно было отчетливо вычитать антипольскую ориентацию. Поэтому следует полагать, что Уваров имел вполне серьезные намерения относительно Гоголя. Вопрос решился именно сопоставлением с другим претендентом, то есть соревновательно.

Тут надо сказать, что Цых никак не заслуживает того пренебрежительного отношения, которое подчас проявляют к нему гоголевские биографы. Выпускник Харьковского университета, он был талантливым и знающим преподавателем. В Киеве он «пользовался громадным уважением у своих слушателей» [Иконников, с. 727]. Этот вывод историка Киевского университета подтверждается другими свидетельствами, в том числе Ивана Боровиковского, племянника знаменитого художника (см. о нем выше, в главе «Учитель и соученик»). Иван Боровиковский, сокурсник Цыха, писал, что преждевременная смерть молодого профессора (он скончался в 1837 г.) вызвала «всеобщее сожаление» [ХГВ. 1870. № 38].

Накануне прихода в Киевский университет, в 1833 году, Цых издал книгу, специально посвященную проблемам преподавания истории⁶⁷. Книга, наряду с обширными знаниями, обнаруживает отчетливую ориентацию на достижения немецкого любознания: «Германия, рассадник истинных колоссов мира умственного, явила свету первое философско-историческое творение в известном сочинении великого Гердера “Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit” (“Идеи к философии истории человечества”)). «Лучшим руководством» по древней и новой истории Цых считал Герена, по средней — Раумера. Гоголь также испытывал пиетет перед Гердером, «уважал», как он говорил, Герена (несмотря на критические ноты по отношению к нему в письме Погодину от 2 ноября 1834 г.), но — уступал Цыху в одном существенном пункте: тот успел защитить свою книгу в качестве магистерской диссертации. «Возможно, что именно наличие у Цыха ученой степени послужило главной и непосредственной причиной его предпочтения Гоголю» [Айзеншток, с. 23]. К этому мнению следует присоединиться с одним только дополнением: был принят в расчет облик претендента в целом.

Цых производил впечатление именно человека науки, склонного к систематическому, неспешному, целенаправленному труду. В речи, произнесенной на торжественном открытии университета, он выступил против утилитарных воззрений: «...нельзя требовать, чтобы сей новый рассадник просвещения принес полные плоды тотчас по своем насаждении... Дайте ему время созреть...» [Буданов, с. 89]. Это соответствовало мысли Уварова и Бадке о длительности и постепенности «посвещения». Особую заинтересованность в подобном человеке проявлял Бадке, который отвечал за университет непосредственно, тем более что он, видимо, и лично знал Цыха гораздо лучше, чем Гоголя.

Гоголь недоумевал: почему Уваров все время тянет, играет с ним, как кошка с мышью? А потому, что министр лично против него ничего не имел, но прислушивался к задававшему тон Бадке.

Гоголь и сам прекрасно понимал, в чем невыгодность его положения, и пытался исправить дело. Эта невыгодность вытекала из конкретных обстоятельств, обуславливалась, как ни странно, его литературными достижениями.

Когда Гоголь в начале 1834 года опубликовал в «Северной пчеле» объявление о том, что он готовит «историю Малороссии», то И. И. Срезневский, молодой ученый-славист, откликнулся таким письмом: «...обрадован известием, что тот самый Писатель, который столь мило, столь искусно забавлял многочисленных читателей поэтическими рассказами об Украине под именем Рудаго Панька, хочет подарить украинцев и трудом важным — трудом, в котором, действительно, передается наша историческая литература...» [РС. 1892. № 3. С. 754].

В приведенных словах сквозит ощущение резкого контраста прежнего и нового Гоголя: с одной стороны — забавы, с другой — труд

действительно «важный». Срезневский толкует этот контраст благожелательно, но были и такие, что воспринимали его с недоумением и недоверием по отношению к ученой деятельности Гоголя. Тут сам писатель оказался виноватым, создав свой собственный, необычайно впечатляющий, врезавшийся в сознание облик.

Поэтому, добиваясь кафедры, Гоголь позаботился о том, чтобы изменить в общественном сознании этот облик, как сказали бы сегодня — изменить свой имидж. Его статья «План преподавания всеобщей истории» заканчивалась так (цитирую первоначальный вариант, опубликованный в февральской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» за 1834 г.): «Вот мой план, мои мысли и мой образ преподавания! Истинно понимающая душа увидит, что они не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира...» Под «истинно понимающей душой» Гоголь подразумевал в первую очередь Уварова, одоббившего статью к печати; писатель настойчиво убеждал влиятельного человека (а вместе с тем и других читателей), что не следует видеть в нем лишь творца произведений, кажущихся плодом стремительного вдохновения, что он способен на длительный, упорный, усидчивый труд.

В этом свете надо смотреть и на упомянутое выше извещение об «истории Малороссии», которое Гоголь поспешил опубликовать сразу в трех изданиях (помимо «Северной пчелы», еще в «Московском телеграфе» и «Молве»). Объявленная цель этого поступка — добиться широкого притока к нему, автору, необходимых рукописных материалов, что выглядело несколько утопично; по крайней мере, ни о каком таком широком потоке неизвестно. А необъявленная и куда более практичная цель состояла опять-таки в том, чтобы повлиять на его, Гоголя, репутацию, оттенить новые грани «образа автора» — как многолетнего и самоотверженного труженика науки: «Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы. <...> Половина моей истории почти готова [вариант: уже готова]...» Это отнюдь не было хвастовством из гордости или тщеславия. Это была преднамеренная тактика, имевшая, однако, противоположный результат: и некоторые современники, и затем ученые заподозрили Гоголя в легкомыслии и «хлебаковщине».

Не удалось ему убедить и тех лиц, от которых зависело его определение в Киевский университет.

Для полноты картины упомянем, что существует и другая версия неудачи Гоголя, заключающаяся в его чрезмерных требованиях. Согласно А. Н. Никитенко, Гоголю «предложено было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания ординарного профессора и шесть тысяч рублей

единовременно на уплату долгов. <...> Однако ж министр отказал Гоголю» [Никитенко, с. 169]. Другой мемуарист, И. Г. Кулжинский, рассказывает сходную историю со слов «лица, уполномоченного пригласить Гоголя», то есть скорее всего со слов Брадке. «Пришедши к лицу <...>, он с первого слова очаровал его своим умным и красноречивым разговором». И при этом потребовал определить его сразу «в ординарные профессоры». Гоголю отказали. Дело дошло до министра, который «объявил молодому человеку, что охотно определит его адъюнктом. Но Гоголь не согласился, и дело расстроилось» [М. 1854. Т. 6. Разд. «Смесь». С. 6–7]. Можно было счесть все это за недостоверные свидетельства «недоброжелателей», если бы не подтверждение самого Гоголя. В марте он писал Максимовичу, что не едет в Киев, так как ему «дают только адъюнкта» вместо обещанного «ординарного». Связывал он с переездом в Киев и определенные материальные ожидания: «Прося профессорства в Киеве, я обеспечиваю там себя совершенно в моих нуждах, больших и малых...» [X, 325].

Очевидно, что эта версия никак не противоречит всему сказанному выше. Начальство предъявляло к Гоголю свои требования, Гоголь — к начальству свои. Он не вполне устраивал фон Брадке, который соглашался дать ему меньшую должность и меньшее жалованье; Гоголь же требовал максимума — не только потому, что имел о себе высокое мнение (такое время от времени с ним происходило), но и потому, что переезд грозил ему существенной переменой образа жизни, ослаблением установившихся литературных и дружеских связей, в том числе с Пушкиным и его кругом. «...Оставляя Петербург, знаешь ли, что я оставляю?.. — писал он 10 июня 1834 года Максимовичу. — Здесь все, что дорого, что было мило моему сердцу; люди, с которыми сдружился и которых алчет душа; все, что привычка сделала еще драгоценнейшим». Сознывая все это, Гоголь назначил высокую цену, которую начальство не приняло.

Тем не менее оно согласилось на некоторую компенсацию, и летом того же года попечитель Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков пригласил Гоголя в Петербургский университет. К этому решению привели хлопоты ряда лиц: Жуковского, который, кстати, состоял (с 1829 г.) почетным членом университета; возможно, Пушкина; хлопотал и Никитенко, ставший в 1834 году профессором университета; по словам Никитенко, именно он старался «сблизить» Гоголя с попечителем. Более чем вероятно помощь или, по крайней мере, благожелательное отношение и Уварова, для которого Дондуков-Корсаков был своим человеком. Так или иначе 24 июля 1834 года состоялось определение Гоголя на должность адъюнкта по кафедре всеобщей истории при С.-Петербургском университете [РМ. 1896. № 5. С. 173]. На этот раз Гоголь довольствовался местом, которое не принял в Киевском университете.

НА КАФЕДРЕ

И вот через несколько недель Гоголь стал ходить в университет. Располагался он тогда на углу Кабинетной улицы против Семеновских казарм, в узком двухэтажном продолговатом здании в виде буквы П. В помещении было тесно и неудобно. Переезд на новое место — в специально отстроенный для этой цели дом двенадцати коллегий, что на Васильевском острове, состоялся в 1838 году, когда Гоголь уже покинул университет.

Пребывание Гоголя на университетской кафедре — драматичный эпизод его биографии, вызвавший нелицеприятные отклики современников, а затем и исследователей. Большинство мемуаристов считало, что Гоголь потерпел неудачу, даже сокрушительное поражение, что труд ученого-педагога был не по нем. «Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры» (И. С. Тургенев). В потоке суровых суждений тонут голоса сочувствовавших. Сам Гоголь определенно подводил итог «общему мнению» — «общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся...» [X, 378].

В советское время маятник качнулся в другую сторону: стали говорить о выдающихся достижениях молодого адъюнкт-профессора, которые не в состоянии было оценить реакционное начальство. «Да, начальство боялось лекций Гоголя...» [Степанов, с. 140].

В действительности же «линия успехов» Гоголя в Петербургском университете оказалась прерывистой и капризной, зависящей от разных обстоятельств.

Гоголь с воодушевлением приступил к лекционному курсу, открывшемуся в сентябре. О первой его лекции сохранилось несколько свидетельств, из них самое достоверное (как отмечал еще И. Я. Айзеншток) принадлежит Н. И. Иваницкому. Окончивший университет в 1838 году, он присутствовал на упомянутой лекции, пишет о ней как непосредственный свидетель, во всех подробностях:

«На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво поглядывал на нас. Наконец, подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однако, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совер-

шенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился».

Вдруг явился ректор, профессор истории А. А. Дегуров, Гоголь смутился, но затем справился со своим волнением — и лекция началась.

«Не знаю, прошло ли и пять минут, как уже Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в “Арабесках” (еще раньше она была опубликована в сентябрьской книжке “Журнала Министерства народного просвещения” за 1834 год под названием “О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем”. — Ю. М.)... Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, он уже не мог оторваться от затверженных фраз и потому не прибавил к ним ни одного слова» [Воспоминания, с. 83–83]⁶⁸.

Были у Гоголя еще удачные лекции. Одна из них состоялась в присутствии необычных посетителей. Тот же Иваницкий вспоминает:

«...Однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в какой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в “Арабесках” (подразумевается статья “Ал-Мамун”. — Ю. М.). Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: “увлекательно”...» [Воспоминания, с. 85].

О посещении Пушкиным и Жуковским гоголевской лекции упоминают также Н. М. Колмаков, А. С. Андреев и С. И. Барановский. Однако Андреев и Колмаков не присутствовали на этой лекции и повествуют о случившемся «по рассказам других» (Колмаков); один лишь Барановский, поступивший в университет в 1833 году, свидетельствует как очевидец. Поэтому приведем его воспоминание. О профессорстве Гоголя, говорит мемуарист, «слышны были спорные мнения, и как бы для того, чтобы их проверить, В. А. Жуковский и А. С. Пушкин решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли прослушать лекцию Н. В. Гоголя. Что их посещение

было совершенно неожиданностью для нашего профессора, ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени». Наконец, Гоголь появился и «произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав Норманских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии...» [РА. 1906. № 6. С. 278].

В некоторых моментах Барановский расходится с Иваницким: по его версии, визит был неожиданным для Гоголя и читал тот не об «аравитянах», а на другую тему — о норманнах (по-видимому, свидетельство Иваницкого надежнее). Но оба совпадают в том, что характеризуют эту лекцию как очень успешную.

Наряду со средней историей (4 часа в неделю) Гоголю с нового, 1835 года поручили читать и древнюю историю (2 часа в неделю. [ЖМНП. 1835. № 2. С. 317; X, 345]. Среди этих лекций тоже бывали удачные. Так, студент юридического факультета Е. А. Матисен, окончивший университет в 1838 году, отмечал те лекции, «которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян»; эти лекции «имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние» [РС. 1881. № 5. С. 157].

И все же такие удачи были для Гоголя исключением. Большинство лекций оказалось неинтересными: в этом сходятся все — и те, кто в целом имел невыгодное мнение о деятельности Гоголя-профессора, и те, кто признавал его достижения. По словам Иваницкого, уже вторую лекцию Гоголь прочел «так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? <...> Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела» [Воспоминания, с. 85].

В начале второго семестра, 21 февраля 1835 года, Никитенко записывает в дневнике: «Что же вышло? “Синица явилась зажечь море” — и только» [Никитенко, с. 170].

И в самом деле — «что же вышло?». Ведь Гоголь получил то, чего страстно желал, — место преподавателя всеобщей истории! Ну пусть не в Киевском университете, как он хотел, но все же в учебном заведении не менее «престижном» — в университете столичном. И притом в совсем молодом еще возрасте — двадцати пяти лет. Или намерения его были несерьезны и мимолетны?

Неуспех Гоголя объясняется совпадением ряда причин. С первых же дней против Гоголя работал тот фактор, который помешал ему несколько раньше занять кафедру Киевского университета, а именно его сложившаяся и чрезвычайно яркая литературная репутация. Все знали Гоголя как творца «Вечеров на хуторе...». Как же было примирить это с амплуа университетского специалиста? Сочинитель (или

собиратель) забавных анекдотов выпытывает тайны миродержавного промысла? Пасечник Рудый Панько — профессор всеобщей истории? По словам В. В. Григорьева, «весь университет восхищался “Вечерами на хуторе” и с любопытством ожидал появления на кафедре пасечника Рудого Панька. На первую лекцию навалили к нему в аудиторию все факультеты» [РБс. 1856. № 3. Отд. 5. С. 24–25]. Устоявшийся облик никак не сочетался с новым, заявленным; И. С. Тургенев в заостренно-парадоксальной форме даже утверждал: «Мы все были убеждены <...>, что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор “Вечеров на хуторе близ Диканьки”» [Воспоминания, с. 540]. Репутация Гоголя создавала барьер, который для своего преодоления требовал дополнительных усилий души и ума.

Сказанное не означает, что из амплуа ученого Гоголем исключалось начало художественное, писательское — наоборот. Это видно из тех представлений, какие сложились у него о современном историке. Вот В. Цых, мы помним, видел в Гердере образцового историка, так как он умел абстрагировать психологические особенности народов: «Принимая за главный зародыш умственного и гражданского развития народов генетические их свойства, Гердер старался схватить характеристику сих свойств и развития. Можно сказать, что Гердер снова создал народы, коих коснулся он, для истории» [Цых, с. 32]. Гоголь же, напротив, хотел бы дифференцировать достигнутый Гердером результат: «У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества».

Гоголю не хватает в немецком мыслителе вещественности, материальности: мол, хотя его мысли «высоки, глубоки и всемирны», но «являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила». Нет также конкретности характеров. «Он [Гердер] мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по всякому естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни» (статья «Шлецер, Миллер и Гердер», включенная в «Арабески»).

Гоголь хочет «дополнить» Гердера (а также других историков — Шлецера и Миллера) поэтически, художественски, позаимствовав для этой цели средства и у других писателей: у Шиллера — «драматический интерес всего творения», у Вальтера Скотта — «занимательность рассказа» и «умение замечать самые тонкие оттенки», у Шекспира — «искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах». Только тогда составитя «такой историк, какого требует всеобщая история». Возникает некий синтетический род — вместе роман и история, искусство и наука.

Такое объединение отвечало духу времени, романтической и отчасти постромантической эстетике, стремившейся к интеграции раз-

личных человеческих способностей и областей знания. Сам Вальтер Скотт, творец нового исторического романа, шел этим путем, что, кстати, отчетливо сознавалось Гоголем. К 1834 году — году начавшейся университетской карьеры Гоголя — относится нашумевшее выступление О. И. Сенковского против шотландского романиста. «Исторический роман, по-моему, есть побочный сынок без рода, без племени, плод соблазнительного прелюбодеяния истории с воображением. Я стою за чистоту нравов...» [БЧ. 1834. Т. 2. Отд. 5. С. 14]. Гоголь запомнил эту выходку, отозвавшись на нее спустя два года в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»: «Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном». Тут весьма важна похвала шотландскому романисту за «полноту», достигаемую в результате слияния поэзии и науки.

Словом, сама синтетическая манера исторических штудий не стала бы камнем преткновения, — но при одном условии: если бы Гоголь сумел убедить в своем праве на нее. Сделать этого он не смог: беллетристическая, фольклорная, анекдотическая, жанровая, «малороссийская» стихия забивала, в глазах его слушателей, стихию философскую, историософскую, «научную».

Не способствовал прочности успеха Гоголя и его лекторский стиль, строившийся на экспрессии, блеске, метафорической образности и стремительности. Матисен отмечал у Гоголя «идеализм и притом особую прелесть выражения, делавших его несомненно красноречивым». Вспомним также впечатление Иваницкого: его мысль «летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной...». На высоту такого стиля удавалось подняться время от времени, но на ней трудно было держаться всегда.

Импровизации патетического и серьезного рода были, кажется, не в натуре Гоголя. Иное дело — комические импровизации: здесь он был свободен, как рыба в воде, неистощим, создавая все новые и новые вариации. В живом рассказе на исторические темы Гоголя надолго не хватало; отсюда подмеченная многими его слушателями нарочитая краткость лекций: чтобы ее добиться, Гоголь все время норовил прийти попозже и уйти пораньше. Причина заключалась не в недостаточности материала, которым при желании можно было заранее запастись, а в недостаточности его обработки. Только некоторым темам успевал он придать продуманную и художнически законченную форму; эти-то лекции — считанные! — и проходили успешно; остальные выдавались бесцветными или даже проваливались. По-видимому, успешными являлись те, которые уже вылились в форму статей и затем, как подметил Иваницкий, Гоголем были просто заучены и разыграны. Не случайно две из них: «О средних веках» и «Ал-Мамун» — были вскоре напечатаны, причем, согласно тому же Иваницкому, напечатаны «из слова в слово».

Как преподаватель Гоголь оказался меж двух огней, говоря его словами — ни то ни се. Он не умел длительно увлекать студентов логикой, яркостью, последовательностью речи, но в то же время он и не давал достаточного запаса чисто материальных сведений, столь необходимых с чисто прагматической, учебной целью. Студенты были разочарованы, некоторые раздражены, посещали лекции все реже и реже.

Никитенко записывает в дневнике: «Начальство боится, чтобы они [студенты] не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям».

Дело дошло до объяснения с попечителем Петербургского учебного округа кн. Дондуковым-Корсаковым. По словам того же Никитенко, «попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила горькому сознанию своей неопытности и бессилия». Был Гоголь и у Никитенко «и признался, что для университетских чтений надо больше опытности» [Никитенко, с. 169].

После заграничной поездки 1829 года и предшествовавших этому событий, в том числе провала «Ганца Кюхельгартена», когда Гоголь признался: «Бог унизил мою гордость», — это было едва ли не самое чувствительное его поражение.

Мемуаристы часто вспоминают о том, какой жалкий, комичный вид имел Гоголь на кафедре: «Голова его, по случаю боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком». И еще одна характерно гоголевская деталь портрета: «Боже мой, что за длинный нос был у него. Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Вот почему на лекциях его я всегда садился сбоку, чтобы не подвергнуться такому мнимому впечатлению» [РС. 1891. № 5. С. 461]. «Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в виц-мундире, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда...» [РС. 1881. № 5. С. 158].

Запомнился Гоголь и на выпускном экзамене, все с тем же неизменным платком (только в цвете его мемуаристы расходятся: у одних — черный, у других — белый). Н. Иваницкий: «Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Шульгин. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался» [Воспоминания, с. 85]. И. С. Тургенев: «На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо

понимал весь комизм и всю неловкость своего положения...» [Воспоминания, с. 540].

Одиноко чувствовал себя Гоголь и среди преподавателей: все знали, что пришел он на факультет, пользуясь высокими связями. «...Самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма форменные, и то весьма редкие» [там же, с. 225], — пишет Ф. В. Чижов, в будущем известный общественный деятель, славянофил, в 1834 году — адъюнкт-профессор Петербургского университета, преподаватель начертательной геометрии. С этим свидетельством сопоставим последующий отзыв Плетнева, переданный гоголевским биографом Кулишем: «Вспоминал Плетнев с досадой о том, как устроил Гоголь свою профессуру в университете, будучи вовсе к ней неприготовленным...» [Крутикова, с. 284].

В одном из писем Погодину (от 22 января 1835 г.) Гоголь сообщает, что у него, «кажется, завелись какие-то ученые неприятели». Возможно, подразумевается И. П. Шульгин, с 1833 года профессор новой истории в Петербургском университете.

Университетская эпопея Гоголя неумолимо шла к своей развязке. После упомянутого выше экзамена весной 1835 года, после летних каникул он проработал еще кое-как один семестр.

Подводя итоги своей профессорской деятельности, Гоголь писал 6 декабря Погодину: «Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия <...> я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч. ...»

Поражает контраст между реальным неуспехом, можно сказать, провалом, который Гоголь сам отчетливо сознает, и отношением его к своей научной и педагогической деятельности. От самой ее основы, сердцевины, он не собирается отказываться, ибо это было не «увлечение», не случайный зигзаг, а глубокая потребность. Свои ученые изыскания Гоголь видит в длительной перспективе — как некие совершающиеся открытия, которые со временем приобретут убедительный, стройный вид. В этом тоже источник его странного, почти чудаческого поведения на кафедре: когда Гоголь ощутил завесу между собой и большинством слушателей, он перестал обращать на последних какое-либо внимание и решил читать «для себя»: «Я выражаю отрывками и только смотрю в даль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитую через год» [X, 344].

«Через год» — это к концу 1835 — началу 1836 года. Интересно, что в «Отчете по Санктпетербургскому учебному округу за 1835 год» сообщалось, что «адъюнкт по кафедре истории Гоголь-Яновский <...> принял на себя труд написать Историю средних веков, которая будет состоять из 8 или 9 томов», что «первые три тома надеется он издать в следующем году», что сверх этого он пишет «Историю малороссиян, которой два тома уже готовы», и готовит к печатанию работу «о духе и характере народной поэзии славянских народов» [Машинский, 1951, с. 65]. Гоголь, конечно, форсировал срок, преувеличивал степень готовности своих разработок, но он верил в них и хотел их осуществить.

Органичность исторических занятий Гоголя вытекала из его универсализма, в котором искусство и литература подпочвенно соприкасались с наукой и философией. «В это время Гоголь, по свидетельству В. В. Григорьева, был побежден мыслию, что он “создан историком и призван к преподаванию *судеб человечества*” [Барсуков, т. 4, с. 144; курсив в оригинале]. Если красота (искусство) содействует самопознанию, то и наука вносит в сокровищницу души тот капитал, который не пропадет и скажется многообразно. Поэтому и как писатель, художник Гоголь ждал от своих научных штудий вящей пользы, запасаясь впрок «высокими, исполненными истины и ужасающего величия мыслями». Создавался тот плотный интеллектуальный слой, на котором проросли и созрели впоследствии и «Ревизор» и «Мертвые души»...

В гоголевском универсализме находилось место и для практической, государственной деятельности. Давно уже была оставлена и забыта мечта о чиновничьей службе, о поприще юстиции, развеялась в прах служебная утопия, но в каком-то особом, высшем смысле идея государственного служения не оставляла Гоголя. В лекции, посвященной Ал-Мамуну, которую, согласно Иваницкому, Гоголь прочел в присутствии Пушкина и Жуковского, говорится о соотношении государственной власти и «философов и поэтов». У большинства из них своя сфера: «...они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге». Но есть и отступление от правила: «...отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца».

Обратим внимание: «поэты, которые *соединяют в себе и поэта, и философа, и историка*», то есть являются художниками в синтетическом смысле. Вряд ли Гоголь намекал на Жуковского, или Пушкина, или вообще на кого-либо из реальных русских писателей. Это был искомый идеал, подобный составленному в воображении Гоголя об-

разу истинного историка. Но идеал, к которому надо стремиться, о котором явно или тайно думал и он сам. Не заронила ли уже в это время в сознание Гоголя мечта о таком произведении, которое, будучи отмеченным высшим знанием «природы и человека», «минувшего» и «будущего», окажет соотечественникам такую пользу, что превзойдет подвиг любого самого мудрого государственного деятеля? В качестве реального замысла, конкретного произведения — едва ли, но как предощущение, как генеральная жизненная эмоция — вполне возможно.

«Я ТРУЖУСЬ КАК ЛОШАДЬ»

Параллельно с преподавательской деятельностью и историческими штудиями Гоголь продолжает свои литературные занятия. Поразительно, как много он успел сделать в этот решающий для него 1834 год! Верный себе, он испытывает себя в разных жанрах, пробует идти одновременно несколькими путями.

Это, во-первых, литературная и художественная критика — направление, намеченное еще набросками о пушкинском «Борисе Годунове», о поэзии Козлова и т. д. 7 апреля Пушкин записывает в дневнике, что Гоголь по его «совету начал Историю русской критики». Более определенных сведений об упомянутой работе не сохранилось. Но известно, что в этот год Гоголь завершил ряд статей, задуманных или начатых ранее, в том числе «Несколько слов о Пушкине», и написал «Последний день Помпеи» (под статьей дата: «1834. Август», видимо, соответствующая действительности: картина К. Брюллова была привезена в Петербург и выставлена в Академии художеств в конце лета этого года).

Во-вторых, Гоголь продолжает усердно трудиться на драматургическом поприще. Согласно тому же дневнику Пушкина, 3 мая в его присутствии Гоголь читал «свою комедию» у бывшего арзамасца, министра юстиции Д. В. Дашкова. Идея «Ревизора» еще не возникла, «Владимир 3-ей степени» отодвинут в сторону; следовательно, скорее всего Гоголь читал новую пьесу «Женихи» (будущую «Женитьбу») или же одну из «маленьких комедий», возникших, так сказать, из обломков «Владимира 3-ей степени»⁶⁹.

Работу над комедиями Гоголь продолжает все лето в разгар хлопот о кафедре в Киевском университете и при получении места адъюнкта в университете Петербургском. 14 августа он сообщает Максимовичу, что «на театр здешний» ставит «пиесу» да еще готовит «из-под полы другую». Речь, по-видимому, идет о тех же произведениях — «Женитьбе» и одной из «маленьких комедий».

Но это еще не все. В том же письме Максимовичу он с некоторой таинственностью обещает: «...в эту зиму я столько обделаю, если Бог поможет, дел, что не буду раскаиваться в том, что остался здесь этот

год». И 23 августа тому же Максимовичу: «Я тружусь как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенною работою, т.е. не над лекциями, которые у нас до сих пор еще не начались, но над собственно своими вещами». Эти «вещи» — повести, которые Гоголь пишет или дописывает, чтобы составить новые книги.

И уже через месяц-полтора две книги составлены, и каждая — из двух частей! 10 ноября получают цензурное разрешение «Арабески» (куда наряду с повестями вошли статьи и беллетристические отрывки), а спустя несколько недель, 29 декабря, — «Миргород».

Достаточно вспомнить, что в «Арабесках» впервые увидели свет «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», а в «Миргороде» — «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Вий», — достаточно вспомнить это, чтобы представить, какую колоссальную работу осуществил Гоголь в короткие сроки. Ведь хотя замыслы иных произведений (например, трех «петербургских повестей») возникли, возможно, раньше, но основная, главная работа над обоими циклами пала на 1834 год. Предчувствия не обманули Гоголя: этот год в его творческой судьбе стал решающим.

Первой ласточкой одного из этих сборников, «Миргорода», стала «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Написанная для смирдинского «Новоселья», повесть появилась в составе второй части этого альманаха еще в начале 1834 года и затем была включена в «Миргород». Тем самым она явилась предвестием и некоторых последующих споров вокруг произведений Гоголя и вызванных этим его переживаний. Тут мы должны вдуматься в одно свидетельство П. Анненкова.

Характеризуя молодого Гоголя, Анненков рассказывает: «Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его “Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем”. “Это вы говорите, — сказал он, — а другие считают ее фарсом”» [Анненков, 1983, с. 61]. Попробуем восстановить реальный контекст этого эпизода.

Он мог случиться не в 1832, а в 1834 году, по напечатании «Повести о том, как поссорился...». Это подтверждается тем, что «складчинный обед» — один из знаменитых «складчинных обедов», которые Гоголь имел обыкновение устраивать ежегодно в день своих именин 9 мая. В мае предшествующего года Гоголь еще не переехал в квартиру на Малой Морской (которую описывает Анненков), а в мае 1835 года писатель был в Москве; следовательно, Анненков мог быть участником обеда, имевшего место именно 9 мая 1834 года.

Но как раз в это время О. Сенковский в рецензии на II часть «Новоселья» раскритиковал автора «Повести о том, как поссорился...». «Судя по роду его таланта, это Малороссийский Поль-де-Кок». «Глав-

ный недостаток творений Поль-де-Кока — это выбор предметов повести, которые всегда почти у него грязны и взяты из дурного общества. <...> Если б Поль-де-Кок описывал малороссийские нравы, он описывал бы их с той же стороны и таким же образом, как г. Панько-Рудый: как у него вкус несколько образованнее и такт более парижский, он, может быть, и не употребил бы иронии г. Панько-Рудаго или употребил бы иронию удачнее и точнее, — и хорошо бы сделал!» [БЧ. 1834. Т. 3. Отд. 5. С. 31–32]. Гоголь — это Поль де Кок, но Поль де Кок сниженный, еще более вульгарный, не парижский, а малороссийский...

Журнал с рецензией Сенковского вышел 5 мая [СП. 1834. 7 мая], за четыре дня до гоголевских именин. Во время «складчинного обеда» Гоголь вспомнил ее, так как она глубоко его уязвила. Это был, кажется, первый случай прикрепления к Гоголю имени Поль де Кока, одна из первых попыток поместить его в приземленный, вульгарный литературный ряд как писателя грязного или, по слову одной из его современниц, «запачканного» [Соханская, с. 173]. Со временем подобное наименование станет распространенным. Уже 11 мая «Северная пчела», которая еще довольно благожелательно относилась к Гоголю, в библиографическом извещении о новом романе Поль де Кока отметит, что французский писатель «породил великое множество неудачных подражателей во Франции и даже... и даже кое-кого в России». После только что прозвучавшей критики Сенковского этот намек рецензента В. Б. (очевидно, В. Бурнашева) выглядел вполне определенным.

Зерно подобной критики таилось еще в сетованиях по поводу «Вечеров на хуторе...» — о том, что Гоголю изменяет вкус, чувство языка и т. д. Но от более серьезных обвинений удерживала сама поэтическая фактура «Вечеров на хуторе...» с их фольклоризмом, народностью, экзотичностью, яркостью, цветистостью. В «Повести о том, как поссорился...» все это отпало, и перед лицом нагой действительности не один читатель или критик почувствовал смущение или неловкость. Им виделся уже новый облик писателя, не добрый и лукавый Рудый Панько, а кто-то другой, хотя на первых порах еще в маске того же пасечника, и это казалось или неуместным, или незаконным, или — в лучшем случае — загадочным.

Что для читателя выглядело загадкой, то для Гоголя было задачей — задачей жизненной, ибо он чувствовал немимолетность и важность обретаемого им творческого стиля. В конце концов это был не только стиль «Повести о том, как поссорился...», но и комедий, над которыми он теперь работал, стиль повседневного, житейского комизма, как он определил его два года назад в беседе с С. Т. Аксаковым. Гоголь чувствовал, что с этим стилем ему еще «жить и жить», потому так болезненно и подействовали на него обвинения в «фарсе».

Гоголь всю жизнь будет бороться с этими обвинениями — но бороться по-разному. Чуть позже (после «Ревизора») он займется те-

оретическим обоснованием эстетики смеха в глубину, подведением под верхний этаж комизма и веселости фундаментальных философских и этических значений. Пока же сила его художественной рефлексии действовала как бы вширь, сосредоточившись на том, чтобы рядом с одним авторским ликом выдвинуть другой и таким образом самим их соседством и взаимодействием опровергнуть плоское о себе представление.

Мы уже отчасти знакомы с усилиями Гоголя трансформировать свой образ, мы видели, как подле автопортрета вдохновенного художника он выставял другой автопортрет — вдумчивого, пытливого ученого, корпящего над ветхими и пыльными фолиантами. Вместе с тем Гоголь дифференцирует и обогащает свой авторский образ как писателя, художника. У него разные лики, иногда контрастирующие, иногда плавно переходящие один в другой.

В художественно-историческом повествовании это человек, всею душою, всеми чувствами входящий в мир забот и переживаний своих персонажей, и в то же время лицо беспристрастное, стороннее, принадлежащее новой эпохе и созерцающее все происходящее сквозь дымку времени. Такой контраст был намечен еще в «Главе из исторического романа», которая вместе с «Пленником», другим отрывком из того же романа, вошла теперь в «Арабески». В «Тарасе Бульбе» вполне сохранена двойственность угла зрения. С одной стороны, мы читаем: «*Так вот Сеча!* Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину!» С другой стороны: «Я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение *тогдашнего* грубого, свирепого века...» Сквозь нынешнее время видятся и прежний пейзаж, топография и т. д. «*Тогда* весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею». Или: «Иногда он забирался и в улицу аристократов, в *нынешнем* старом Киеве...» Хронологические переходы должны были убедить читателя, что автор не только отдается своему художественному воображению — он умеет сравнивать, сопоставлять, анализировать; знание и размышление являются составными слагаемыми творческого акта.

Параллельно в «Тарасе Бульбе», а еще больше в произведениях «неисторических», дифференцировалась и обогащалась стилистически-эмоциональная гамма повествования. Подобный процесс наметился также еще раньше — в «Вечерах на хуторе...», где насмешник и балагур оказывался человеком чувствительным, мечтательным, нежным, а то и исполненным тоскливых ощущений и мрачных предчувствий. Многогранность лика рассказчика или — что то же самое — множественность рассказчиков, как бы подменяющих один другого, продолжала существовать и в «Повести о том, как поссорился...»: то это типичный обыватель, лицо того же круга, что и персонажи повести,

простодушно выбалтывающий домашние, «миргородские» тайны; то нейтральный интеллигентный рассказчик, непредвзято и спокойно воссоздающий события; то человек, субъективно близкий автору, печально наблюдающий все происходящее и не удержавшийся в заключение от холодного-безотрадного вывода: «Скучно на этом свете, господа!» Все это не было услышано критиками и читателями, подобными Сенковскому, так как заглашалось «мелочностью» и «низостью» материала. Эффект же материала, темы, «мысли» оказывался на поверку гораздо сильнее эффекта «формы», построения, что очень огорчало Гоголя в начале 30-х годов, в пору осознания им своего оригинального стиля. В статье «О малороссийских песнях» (вошедших в те же «Арабески») есть на этот счет откровенно личное сетование: «Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием».

«ВЕЧНЫЙ РАЗДОР МЕЧТЫ С СУЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

С точки зрения образа автора и его диапазона особенно показательны три из новых повестей Гоголя, а именно «петербургские повести», те, которые вошли в «Арабески»: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Реализуя более ранние наброски — «Страшная рука» и другие, — писатель впервые обратился здесь к персонажу, психологически и профессионально близкому к нему самому, — художнику, человеку искусства, городскому бедняку, интеллигенту, утверждающему себя вопреки всяческим лишениям, в том числе и материальным. (Упоминаю «Записки сумасшедшего» ввиду, главным образом, первоначального их замысла, когда центральным персонажем был музыкант; с изменением типажа, заменой музыканта чиновником произошла трансформация всего стилистического строя произведения.)

Типичное чувство этого персонажа — отъединенность от других, чуждость всему окружающему («Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно»), выражаемые в характерном жесте закутывания в плащ и стремлении побыстрее прошмыгнуть мимо домов и людей. Этот жест — жест студента в отрывке «Фонарь умирал...» («который в этом чинном городе был тише воды, без шапки и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами...»); жест героя из другого фрагмента «Дождь был продолжительный...» («теперь раздолье мне закутаться крепче в свой плащ»). Но это и жест повествователя в «Невском проспекте» («О, не верьте этому Невскому проспекту:

я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы»); это жест «автора», знак, что ли, его эскапизма, приобретенного душевного опыта, глубокого разочарования и отчаяния и невозможности поддаться каким-либо новым соблазнам и обольщениям.

При этом открытое негодование, жесты отвержения, проклятия не свойственны «автору» «Невского проспекта», что отражало новое качество гоголевской повествовательной манеры, достигнутое примерно к рубежу 1834 года. В одном из предшествующих отрывков («Дождь был продолжительный...») ключом было мстительное чувство по отношению к пошлым существователям: «Сильнее, дождик, ради Бога сильнее. <...> Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы...» Правда, открытость негодования здесь, возможно, связана с тем, что повествование ведется от лица героя (ср. такую же, не меньшую экспрессию в «Записках сумасшедшего», где рассказ также ведется от лица героя: «Мать, отца, Бога продадут за деньги, честолюбцы, хриstopродавцы!»), но, во всяком случае, факт тот, что в «Невском проспекте» подобная экспрессия преломилась в иронию.

Возьмем еще одно место из отрывка «Дождь был продолжительный...»: персонаж упоминает «одного из тех господ, которые останавливаются для того, чтобы посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фрак или на шляпу и потом, разинувши рот, поворачиваться несколько раз назад для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш». В «Невском проспекте» это место приобрело такой вид: «Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же ничуть не бывало: они большею частью служат в разных департаментах...» Что же добавлено в тексте «Невского проспекта»? Притворное удивление и восхищение («Создатель! Какие странные характеры...»), лукавая версия относительно профессии встречаемых («сапожники») — словом, все окутывается дымкой иронии, все приобретает двойственный, колеблющийся смысл.

Толика иронии добавляется к различным лицам рассказчика, в том числе рассказчику, находящемуся на «срединном» уровне завсегдаев Невского проспекта. «Целый ряд черт и черточек говорит о том, что рассказчик сродни Пирогову, что он — плоть от плоти того пошлейшего мира благополучных господ, которые так восхищают его» [Гуковский, с. 376]. Замечание верное, но слишком категоричное: сплошь и рядом как раз и невозможно определить, искреннее ли «восхищение» рассказчика или наигранное, как нельзя было это сделать и

относительно панегириков в «Повести о том, как поссорился...»: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки!» и т. д.

Но есть и более сложные случаи, которые тем же исследователем также трактуются несколько односторонне. «Иной раз этот рассказчик пускается в глубокомыслие и изрекает пародийные идеи, предсказывающие Козьму Пруткову: “Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно”: напомним, что это изречение включает исчисление “достоинств” не кого иного, как поручика Пирогова» [Гуковский, с. 378]. Для исследователя низостью объекта исключается серьезность, пародийность несовместима с каким-либо позитивным смыслом. Между тем приведенное место является аналогом уже знакомой нам мысли о недостаточности идеального (гердеровского) взгляда на человеческую природу, при котором опускаются «все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств». Различая уровни — условно говоря, уровень Пискарева и уровень Пирогова, — повествователь тем не менее и во втором случае отказывается от нивелировки и суммарности.

Статья «Шлецер, Миллер и Гердер», где критикуется абстрактный метод суждения, предшествует в «Арабесках» «Невскому проспекту». Такое следование, как и вообще прославление художественных произведений научными и критическими, создает в «Арабесках» межтекстуальные связи, в том числе и в плоскости образа автора. «Художник» углубляет и одухотворяет «мыслителя», а «мыслитель» — историк, этнограф, фольклорист и т. д. — дисциплинирует и упорядочивает «художника». Все должны увидеть, что автор способен как на высокое парение, так и на углубленный анализ. Скрытая цель «Арабесок» состояла в том, чтобы многими средствами совокупно сформировать новую, более основательную авторскую репутацию.

Но задержимся еще немного на повествовательной системе «Невского проспекта». Автору, как это легко понять, ближе не Пирогов, а его антипод Пискарев; автор разделяет напряженную патетику его переживаний, так что авторская «речь становится в ряде мест внутренним монологом Пискарева, легко переходя от носителя-рассказчика к носителю-герою» [там же, с. 382]. Пример: «Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него». Далее следует описание вызванных этим взглядом переживаний; описание не маркировано кавычками, дано как бы от лица повествователя, но применительно к персонажу; это *общее* переживание Пискарева и автора: «Боже, какие божественные черты! <...> Все, что остается от воспоминаний о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампе, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. <...> Как утерять это божество и не узнать даже той

святыни, где оно *опустилось гостить*⁷⁰?» Только последние выделенные мною два слова чуть-чуть выдают авторскую иронию, слегка нарушая полноту слияния с персонажем, но не дезавуируя высоты его переживаний. Если в сфере изображения Пирогова ирония оставляет нетронутым некий позитивный истинный в себе смысл, то это тем более верно в отношении художника Пискарева.

Контраст порыва и осуществления, идеальных стремлений и окружающих условий, высокоости и пошлости — «вечный раздор мечты с существенностью!» — вот та краска, которую берет автор с душевной палитры героя или, наоборот, наделяет его этой своей краской. Ибо это их единое, общее достояние. Автор может, в отличие от Пискарева, сознавать незащищенность своего героя и детскую наивность его грез; автор, как свидетельствует об этом статья «Несколько слов о Пушкине», включенная в те же «Арабески», признает поэтичность «обыкновенного», в конце концов вседневного и пошлого (чего не чужд, впрочем, и Пискарев с излюбленным «сериньким мутным колоритом» его картин), но он при этом ни на йоту не подвергает сомнению значительность и трагическую наполненность возникшей коллизии — «мечты с существенностью».

Формулируя эту коллизию, Гоголь реагировал на складывающуюся репутацию его как писателя «фарсового», недостаточно возвышенного и недостаточно глубокого, приверженного низким рядам жизни вне ее идеального, вечно ускользающего и недостижимого смысла. Своими новыми повестями, особенно «Невским проспектом», Гоголь как бы врзался в ворох близоруких и предубежденных мнений. Он мог бы, конечно, апеллировать и к прежним своим вещам, начиная буквально с «Ганца Кюхельгартена», где уже сквозила неудовлетворенность вседневной «суетой» и тоска по идеалу. Однако «Ганца Кюхельгартена» как литературного факта не существовало, в последующих же гоголевских произведениях коллизия «мечты с существенностью» заглашалась в глазах читателей всяческими сопутствующими обстоятельствами и значениями: в «Вечерах на хуторе...» (например, в «Вечере накануне Ивана Купала») — мифологизмом и фольклорностью; в «Повести о том, как поссорился...» — обыденностью и низменностью материала. Теперь Гоголь выразил эту коллизию открыто, увенчал афористической формулой и притом, что было немаловажно, обосновал все это традиционно высоким материалом — жизнью, мечтами, любовью художника.

Но тем самым Гоголь открыто присягал и новейшим европейским художественным течениям, романтизму и постромантизму, к которым подспудно принадлежал, конечно, и раньше. Ибо «вечный раздор мечты с существенностью» означал не только их излюбленную коллизию, но и стал их паролем. Паролем целой литературной эпохи — разочарования, «мировой скорби», сокрушения, отчаяния, переживания всеобщего кризиса, подобного тому, который Гоголь, вслед

за К. Брюлловым, изобразил в своей статье, и, наконец, ощущения покинутости и отъединенности...

То, что повести появлялись в «Арабесках» в окружении разных статей и штудий, очевидно, и в этом отношении имело большой смысл. «Арабески» должны были продемонстрировать, что автор во всех сферах находится на уровне европейской мыслительности — и как художник, и как теоретик, трактующий о проблемах красоты, искусства, разделения его различных отраслей («Скульптура, живопись и музыка»), о соотношении религиозных эпох — язычества и христианства («Жизнь») — к этому надо прибавить и многочисленные рассуждения на собственно исторические темы.

Гоголь писал и дописывал произведения для «Миргорода» и «Арабесок» и собирал оба сборника втайне от большинства друзей. Широко оповещая Максимовича и Погодина о ходе дел с Киевским, а затем с Петербургским университетом, он ничего не говорил им определенного о своей литературной работе. Максимовичу лишь глухо сообщил, что трудится «над собственно своими вещами». Столь же несловоохотлив был он и с Погодиным («печатаю кое-какие вещи»), и когда тот попросил разъяснений, Гоголь прибавил немного: «Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические, известные уже и неизвестные. — Я прошу только тебя глядеть на них посписхотительнее. В них много есть молодого» [X, 345]. Гоголь даже не говорит, какие и сколько сборников он издает, не называет ни одной своей повести.

Его лаконизм не свидетельствовал о том, что своим новым художественным произведениям он придавал меньшее значение, чем историческим штудиям и преподавательской деятельности. Гоголь обычно был скрытен тогда, когда связывал с теми или другими своими замыслами особенно большие надежды. Косвенно это подтверждается сказанным им мельком в письме Погодину: «...теперь мое имя не слишком видно; но, после напечатания моих небольших мараний, все-таки лучше» [X, 341]. Автор знаменитых «Вечеров на хуторе...» верит, что новые книги намного приумножат его славу.

С Пушкиным Гоголь был более откровенен. Известно, что перед сдачей в цензуру «Арабесок» Гоголь давал читать ему «Невский проспект». Фраза Пушкина из его ответного письма — «перечел с большим удовольствием» — говорит о том, что читал он эту повесть (а может быть, и другие) раньше.

В библиографической заметке в связи со вторым изданием «Вечеров на хуторе...» Пушкин оценивал новые произведения Гоголя, вышедшие после первой его книги: «Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал “Арабески”, где находится его “Невский проспект”, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился “Миргород”, где с жадностью все прочли и “Старосветских

помещиков”, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и “Тараса Бульбу”, коего начало достойно Вальтера Скотта». Заметка появилась в 1836 году [Современник. Т. 1], но выраженное здесь впечатление восходит к первому знакомству Пушкина с «Невским проспектом» и, возможно, с другими гоголевскими вещами. И очень важно — в свете всего сказанного выше, — что «Невский проспект» оценивается как «самое полное» произведение Гоголя. Эта оценка соответствовала внутренней оценке Гоголем своего таланта, подкрепляла ту литературную репутацию, которой он добивался и которую утверждал.

В 20-х числах февраля 1835 года в Петербург приехал Погодин. На этот раз Гоголь подробно посвятил его в свои литературные дела, начиная с драматических сочинений. В «Письме из Петербурга», датированном 11 марта, Погодин сообщал москвичам, что Гоголь читал ему «отрывки из двух своих комедий. Одна под заглавием — Комедия! Другая — Провинциальный жених». «Провинциальный жених» — это будущая «Женитьба», действие которой еще не было перенесено в столицу. Что же касается первого произведения, то им скорее всего являлись переработанные сцены из «Владимира 3-ей степени». Гоголь еще не выбрал для них окончательного названия, озаглавив по формально-жанровому признаку («Комедия»), как он это сделал впоследствии с одним из фрагментов — «Отрывок». Передавая общее впечатление от обеих пьес, «Комедии» и «Провинциального жениха», Погодин восхищенно писал: «Что за веселость, что за смешное! Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие Канцелярские служители, помещики, барыни! Талант первоклассный».

Познакомил Гоголь своего друга и с выходящим из печати «Миргородом» («Арабески» вышли двумя месяцами раньше, и Погодин успел познакомиться с ними еще в Москве). Новые повести восхитили его не менее драматических произведений. В том же письме москвичам Погодин писал: «На днях вы получите его Миргород и должны будете поклониться этим повестям, со всеми нашими повествователями без исключения, стихотворными и прозаическими. Вот рассказ, вот живость, вот поэзия, истина, мера! Вы прочтете там повесть “Старосветские помещики”. Старик со старухой жили да были, кушали да пили, и умерли обыкновенною смертию, вот все ее содержание, но сердцем вашим овладеет такое уныние, когда вы закроете книгу; вы так полюбите этого почтенного Афанасия Ивановича и Пулхерию [так!] Ивановну, так свыкнетесь с ними, что они займут в вашей памяти место подле самых близких родственников и друзей ваших, и вы всегда будете обращаться к ним с любовью. Прекрасная идиллия и элегия. А “Тарас Бульба”! Как описаны там казаки, казачки, их набеги, жида, Запорожье, степи. Какое разнообразие! Какая поэзия! Какая верность в изображении характеров! Сколько смешного и сколько высокого, трагического! О! на горизонте русской словесности восхо-

дит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых» [МН. 1835. Ч. 1. Кн. 2. С. 445].

Обращает на себя внимание, что критик отмечает у Гоголя не только «живость», но и «меру», не только «смешное», но и «высокое», «трагическое». Это также содействует расширению и обогащению литературной репутации Гоголя, признанию в нем писателя из ряда вон выходящего. Погодин был действительно «одним из первых», кто это почувствовал; в печати же еще никто не произносил о Гоголе таких слов, и это делает немалую честь критику.

ЦЕЛОЕ И АРАБЕСКИ

В обоих названиях новых сборников заключалась столь свойственная Гоголю двусмысленность. Заголовок «Миргород», два эпитафия на титульном листе — из «Географии Зябловского» и «Из записок одного путешественника», характеризующие с разных сторон, официальной статистической и неофициальной домашней, миргородскую жизнь, — все это заставляло думать, что книга будет посвящена именно этому городу. Между тем лишь действие «Повести о том, как поссорился...» определенно происходит в Миргороде. События «Старосветских помещиков» разворачиваются где-то в «хуторке», может быть, в Миргородском уезде, а может быть, и нет. Действие же «Тараса Бульбы» и «Вия» определенно происходит не в Миргородщине. Если говорить о сборнике в целом, то события как бы смещаются в сторону от Миргорода, как они смещались в сторону от Диканьки в первом гоголевском сборнике⁷¹. А между тем и Диканька, и Миргород по степени своей наглядности и выразительности приближаются к топографическим символам. Но оба символа, оказывается, обозначают понятия, которые выходят за пределы географического пространства произведений.

Еще более сложно обстоит дело со вторым названием. «Арабески» — это слово говорит само за себя. Отсутствие единства, разноречивый разлад Гоголь декларировал в предисловии к книге, а затем и в письмах, сопровождающих дарственные экземпляры. «Посылаю тебе *всякую всячину* мою» (М. П. Погодину, 22 января 1835 г.). «Посылаю тебе *сумбур, смесь всего, кашу*, в которой есть ли масло, суди сам» (М. А. Максимовичу, в тот же день).

И это тот самый сборник, сквозь который, через многие составляющие его произведения, проходит мысль о необходимости единства и цельности. Всеобщая история не должна представлять события «без общего плана, без общей цели»; «она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество», соединить все — «в одно стройное целое». География также должна представить «великий очерк всего мира». То же самое делает и живопись, если она следует «вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раз-

дробление, стремится совокуплять все явления в общие группы...» («Последний день Помпеи»). Так же должен поступать большой писатель в отличие от мелких: «...поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом, и, вместо того чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротой разных предметов, но не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого» («Об архитектуре нынешнего времени»).

Год-два назад, особенно в кризисном 1833-м, Гоголь всеми помыслами стремился к «увесистому», цельному объемному произведению, преодолевающему раздробленность и отрывочность. Это стоило ему огромных сил, приводило к тяжелым переживаниям и неудачам. Выход из кризиса Гоголь нашел в том, чтобы дать право голоса частям, не сведенным в целое, как бы подводя черту под прошлым. Вот почему он многократно говорил, что «Арабески» отражают «разные эпохи» его жизни и что приводить все к одному знаменателю он не может, да и не хочет. «Арабески» — это нарочитая и узаконенная разноголосица.

Но, узаконивая ее, Гоголь вновь присягал широкой общеевропейской традиции, ибо понятие «арабески» было столь же значимым в жанровом отношении, как и формула «раздор мечты с существенностью» в отношении коллизии. Согласно учению немецких романтиков, арабески — самая древняя, первоначальная форма человеческой фантазии, поднятая на высший уровень в новом искусстве. «Если в классическом искусстве художественный порыв ведет к живому образу, то в романтическом — к арабескам» [Штрих, с. 177]. Ф. Шлегель относил к арабескам романы Жан Поля, «Годви» Брентано, а также сказки Тика, считая, что в арабесках «самое прекрасное» — это «богатство фантазии и легкость, чувство иронии и особенно сознательное различие и единство колорита» [Шлегель, с. 312]. Арабески отождествлялись или ассоциировались с теми или другими родами искусства в целом: Новалис называл арабески видимой музыкой, а Шеллинг связывал это понятие с индийской архитектурой, построенной на растительных мотивах. Сходные мысли развивал в России С. П. Шевырев, говоря о стиле испанцев: «Эти узоры слов, эту пеструю ткань метафор, можно очень справедливо сравнить с причудливыми арабесками, которые, как известно в истории искусства, заимствованы от роскошных узорчатых ковров Востока» [Шевырев, с. 57–58]. На смысловое наполнение понятия «арабески» влияло соседство его — а порою и взаимозаменяемость — с понятием «гротеск» (у Ф. Шлегеля, Гофмана; ср. также название одного из сборников Э. По — «Гротески и/арабески» и т. д.). Ведь гротеск, получивший свое наименование от особого рода настенной живописи, найденной Рафаэлем и его учениками в древнеримских подземных сооружениях — гротах, стал обозначением причудливого, странного, алогичного. Если и есть

в них своя цельность, то она скрывается в самой прихотливости переходов одних форм в другие — растительных в животные и наоборот, в неуловимости и ускользящей от глаза повторяемости, в завораживающем многообразии и запутанности. Влияли на идею арабесок и близкие Гоголю формы садово-паркового искусства конца XVIII века, основанные на принципах иррегуляртивности и лабиринта [Фуссо, с. 112—125].

Все это отвечало глубоким переживаниям Гоголя, давало выход строю чувств, заложенному еще в юности и детстве; но в то же время и глубоко омрачало его внутреннее состояние, так как шло наперекор сознательно вынашиваемым жизненным установкам. Для Гоголя идея упорядоченности была идеей внутренней опоры, следовательно, идеей фундаментальной, не только идеологической, но и интимной. В «поединке роковом», который буквально с «Ганца Кюхельгартена» питал его литературную деятельность, верх брала то одна, то другая сила, хотя ни одна из них никогда не одерживала (и не одержит) окончательной победы. Своеобразие этого процесса заключалось в том, что разногласия проявлялась под покровом единства, а «сумбур» и «смесь» должны были компенсировать отсутствие стройности. Гоголь обращал слабость в силу; так он поступил в «Арабесках», как бы сознавшись в своем поражении, но в то же время питая надежду, что последнее, с одной стороны, освободит душу от тяжкого груза и откроет примиряющую перспективу, а с другой — выразит и нечто существенно важное, а следовательно, и осмысленное.

«Невский проспект» и в этом отношении явился «самым полным» его произведением — и не только как повесть в целом, но и как сквозной образ, как символ, как Невский проспект. Ибо это не просто улица, пусть самая главная, самая знаменитая, — она несет в себе объединяющее начало. Она связывает каждого со всеми, «она есть всеобщая коммуникация Петербурга». «Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно». Городское пространство, лабиринты улиц и переулков, стены, замкнутость домов, этажей, квартир, дворов и двориков — все разъединяет людей. Невский проспект вновь приводит их в соприкосновение, дает им сведения о всех и о каждом. «Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект».

Невский проспект соединяет людей не на почве практического интереса, а как бы совершенно бескорыстно и идеально. Ведь «эта улица — красавица нашей столицы!». Здесь «пахнет одним гуляньем». «Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес». «Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других ули-

цах...» Кажется, Невский проспект осуществляет ту самую цель, которую ставил Гоголь перед всемирной историей, — соединить все и всех «в одно стройное целое». Но органично ли такое соединение?

Неугомонное и многоликое шествие по Невскому проспекту от рассвета и дотемна подобно карнавальной процессии, разряженной, пестрой, яркой. Однако это явление далеко не во всем совпадает с феноменом карнавала, как он описан М. М. Бахтиным. Создавая «контакт тел», превращая последнего в первого, а первого в последнего, карнавал действительно мешает людям разных профессий, состояний и званий. Невский же проспект сохраняет между ними перегородки и дистанцию. Те, кто вступает на улицу в ранние и утренние часы и для кого «Невский проспект не составляет <...> цели», но «служит только средством», исчезают к двенадцати часам; те, кто появляется в полдень — «гувернеры всех наций со своими питомцами в батистовых воротничках», — уходят со сцены к двум, прогуливающиеся между двумя и тремя отличаются от тех, кто вступает на проспект в три часа, и т. д. Движение разбито на временные отрезки, напоминающие театральные явления, но если на театре переход персонажа из одного явления в другое не исключен (одно время, по сценическим правилам, это считалось даже обязательным — для сохранения преемственности действия), то «перемена декораций» на Невском проспекте влечет за собою полную смену действующих лиц.

Собственно фабульная часть повести подтверждает и развивает то, о чем говорит ее экспозиция. Контакты различных по психологическому складу и состоянию персонажей, завязавшиеся было на Невском проспекте, оказались оборваны не только на своем трагическом, высоком уровне (Пискарев и незнакомка), но и на уровне комедийном и низком (Пирогов и немочка). И произведение, начавшееся апофеозом всеобщего, так сказать, всегородского единства, коммуникативности, кончается ее полным дезавуированием: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...» и т. д. Лжет, когда обещает согласие, единение, гармонию, цельность, любовь.

Любовь и женская красота подвержены особенно сильному воздействию противоположных сил — это одна из главных арен их приложения. Тут Гоголь продолжает тему, почерпнутую еще в личном опыте таинственного биографического эпизода начала 1829 года.

В любви скрыт могучий стимул к единению, к слиянию, душевному и телесному; в ней непререкаемость, природная и божественная, но в ней же и страшная бездна. Гоголь уже намекнул на нее в письме, связанном с переживаниями по поводу упомянутого эпизода, а затем в «Вечерах на хуторе...». Теперь он заглядывает в эту бездну еще глубже.

Гоголь видит различные виды красоты; он переходит от одного ее вида к другому, а с этим связано и усиление ее суггестивности.

Начальный ее вид — красота античная, красота скульптурных форм. «Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю» (статья «Скульптура, живопись и музыка», вошедшая в «Арабески»). Она дышит «негою», как женщины на полотне Брюллова, но в то же время исполнена спокойного достоинства и гордости, сохранив «одну мысль: красоту, гордую красоту человека». Чувственный момент на первом месте; женщина «обещает роскошь блаженства», она неприкрыто сладострастна. О сладострастии говорится с подчеркнутым эротизмом и недвусмысленной определенностью ассоциаций: Гоголь воспевает «купол — это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должен был обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массе белою, облачную своею поверхностью»; он выделяет купол из всех архитектурных форм: «...ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купол»; он не стесняется откровенно личных признаний: «...я люблю купол, тот прекрасный, огромный легко-выпуклый купол...» («Об архитектуре нынешнего времени»). Перед такой красотой невозможно устоять; хотя «в ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни», но «она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей» («Скульптура, живопись, музыка»). Это напоминание о «Ночи перед Рождеством», парафраз к ней: так Оксана, глянувшая в зеркало и с удовлетворением решившая, что такой, как она, точно «нет и на свете», увлекла за собой Вакулу, готового ради нее на все.

Но обратим внимание на эпитет, который с минусовым знаком применен к античной красоте: в ней (а также и в Оксане из «Ночи перед Рождеством») нет отражения «всей *долгой*, исполненной потрясений и переворотов жизни». Эпитет становится отличительным признаком другого вида красоты — средневекового, христианского, романтического, олицетворенного не скульптурой, но живописью. Живопись является «выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее <...> как вдохновенен и *долг* ясный взор ее!». Долгота — знак трансцендентальности, протяжения жизни «за границы чувственного», когда похищаются «явления из другого безграничного мира, для названия которых нет слов». Этот знак постоянно сопровождает «прекрасную полячку» из «Тараса Бульбы», глаза ее «бросали взгляд *долгий*, как постоянство»; «ресницы ее, *длинные* как мечтания»; к Андрию она обратила «взгляд *долгий*, сокрушительный» и т. д. (цитирую везде редакцию «Миргорода»). Придание этого взгляда (и этого типа красоты) полячке имеет важный смысл, ибо с западноевропейским, католическим (в данном случае польским) миром Гоголь, согласно принятой историко-философской типологии, связывает фазу романтического искусства и романти-

ческого мироощущения. Такая красота также чувственна, но сокровенно, скрытно, и оттого она еще пленительнее и неотразимее.

Высшее выражение захваченности красотой — ощущение укола, пронзенности. Отсюда постоянное подчеркивание остроты, резкости: «...резкая красота усопшей (панночки-ведьмы. — Ю. М.) казалась страшною»; черты лица ее «были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте»; в них виделось «что-то страшно-пронзительное»; грудь Андрия при встрече с полячкой «была проникнута самым пронзительным острием радости». Отсюда выбор «острых» деталей внешности красавицы: «...ресницы ее, длинные как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице».

Любовь приводит к самозабвению, к рыцарскому обожанию предмета страсти. Пискарев «не сомневался, что <...> от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все». Андрий, пробираясь к полячке, не ощущает «ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира». Поприщин: «Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой! пропал я, пропал совсем». Так чувствовал себя и Вакула перед Оксаной («...Что мне до матери? ты у меня мать и отец, и все, что ни есть на свете...»), и сам Гоголь перед незнакомкой...

Под влиянием любви человек на все может решиться. «Ночь перед Рождеством» только намекнула на такую возможность: Вакула вступил в союз с нечистой силой, но в конце концов веру не утратил и еще большее благочестие приобрел. Андрий же пошел до конца — до вероотступничества и измены.

Любовь грозит смертью. Вакула опять-таки лишь поиграл с мыслью о самоубийстве, а в новых повестях, в трех из них — «Невском проспекте», «Вие» и «Тарасе Бульбе» любовные перипетии приводят к гибели.

В прежних произведениях влюбленный мог прибегнуть к помощи сверхъестественной силы, доброй или злой (в «Майской ночи», «Сорочинской ярмарке» и т. д.), и добиться своего. В новых повестях этого не происходит; лишь как остаточный, «пародийный» момент чудесного содействия можно рассматривать разрешение любовной коллизии в умопомешательстве (Поприщин) или опиумном забвении и грезах (Пискарев).

Поскольку сила любви непреложна и надлична, пораженного ею трудно в чем-либо винить, так же как несправедливо ставить ему щепетильно в заслугу полноту или всеобъемлемость любовного переживания. От него лишь зависят психологическое расположение к чувству, готовность к индивидуальному почину, но не исход коллизии. В описании казни Андрия есть многоговорящее сравнение: «...как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву...» Исследователь комментирует это место: «Смерть Андрия сопровождается трогательными словами сочувствия и состра-

дания, он даже отождествляется с ягненком — метафора, в религиозной окраске которой не приходится сомневаться. Андрий пожертвован на алтарь любви...» [Чижевский, 1978, с. 350]. Добавлю к этому сравнение из статьи «О малороссийских песнях», включенной в «Арабески»: «Взвизги ее [песни] иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острого железа». Благодаря повествовательной форме от лица Я вся символика жертвоприношения, страдания, символика Христа передвинута в откровенно личный план как автора, так и читателя.

А женщина-красавица? Свободна ли она от действия злых великих сил? Только в одной повести («Записках сумасшедшего») эти отношения не прояснены. В «Тарасе Бульбе» красавица полячка во власти несчастий, что кажется противоестественным: «И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира <...>, это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли». В «Последнем дне Помпеи» женщина также во власти страшной стихии: «И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели наряду с последним презренным творением...» В «Невском проспекте» же злое начало проникает в самую красоту, оскверняет и разрушает ее; незнакомка-проститутка «была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину». А в «Вие» красота сама становится вместилищем и источником злой, демонической силы.

И все это без сколько-нибудь заметного сопротивления самой красавицы, но как бы с ее согласия (здесь приобретает смысл безумная реплика Поприщина: «Женщина влюблена в черта. И она выйдет за него, выйдет»). Но становится ли она от этого менее прекрасной, менее обольстительной? Согласно гоголевской идее о богоподобности красоты: этого не должно быть (вспомним слова Платона из «Женщины»: «Мы зреем и совершенствуемся: но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину»). Но это происходит. Красота двузначна, а действие ее рискованно-противоречиво. «Он чувствовал *бесовски-сладкое* чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то *томительно-страшное наслаждение*» («Вий»).

К моменту издания «Миргорода» и «Арабесок» Гоголь уже пришел к твердому выводу, что «никакого единства красоты и моральной правды нет» [Зеньковский, с. 128]. Может быть, именно поэтому в «Арабески» не попала статья «Женщина» (хотя в первоначальном плане она значится): ее напряженная патетика, вытекающая из идеи богоподобности и моральной однозначности красоты, больше уже не гармонировала с мирозерцанием писателя. Лишь гоголевскому герою оставлена в удел подобная вера: «Пусть бы еще безобразие дружилось с ним (с «развратом». — Ю. М.), но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших

мыслях». Вот именно: только «в наших мыслях», то есть мыслях Пискарёва, но не в самой действительности.

Больше того, Гоголь как автор «Миргорода» и «Арабесок» готов заподозрить теперь и «страсть» вообще; он отваживается на такой с точки зрения господствующей эстетики, да и обыденного сознания, дерзкий, умопомрачительный шаг, что ставит выше страсти «привычку»: «Что же сильнее над нами: страсть или привычка?» («Старосветские помещики»). Страсть не может устоять перед временем (пассаж о юноше, влюбленном «нежно, *страстно*, бешено, дерзко, скромно»), а привычка устояла. Привычка гораздо сердечнее, добрее, гуманнее. Страсть — это эпизод в человеческой жизни, а привычка — сама жизнь. Интересно, что подобный эпизод (умыкание невесты Пульхерии Ивановны, которую «родственники не хотели отдать за него») был некогда и у Афанасия Ивановича, «но и об этом уже он очень мало помнил».

Итак, красота несет в себе страшную опасность, ибо в ней заключено семя аморальности и злого соблазна. Но оказывается, что внутренне противоречиво, опасно-проблематично и искусство. Искусство, на верность которому Гоголь присягал перед лицом пушкинской трагедии, которому теперь посвящал свои силы все с большей и большей профессиональной отчетливостью и определенностью... Разуверился ли в нем писатель, спал ли его «эстетический энтузиазм»? Не спал, не преуменьшился, но как-то омрачился тяжкими предчувствиями. Последние вытекали из самой профессионализации, а также из той творческой задачи, которую Гоголь при этом поставил: работать с жизненным материалом, с обыкновенными предметами («чем предмет обыкновенное...» и т. д.), не избегать обыденного и эстетически несовершенного. Во весь рост эта проблема встала в «Портрете» (говоря только о первой редакции повести, вошедшей в «Арабески»).

Та дилемма, в пределах которой развернуто действие повести и сопряжены его полярные фигуры, Черткова и религиозного живописца, — это, говоря несколько схематично, дилемма приближения или удаления от действительности. Согласно расхожему мнению, Чертков — бескрылый натуралист, и его трагедия состоит в рабском подражании природе. Но на самом деле Чертков «не подражал природе — он сочинял ее, он копировал не природу, а схемы, произвольно созданные им для грубых глаз черни» [Анненский, с. 15]. Он поставщик идеальных портретов, представляющих собою бесстыдную лесть и неправду, откровенное удаление от прообраза.

Направление же творческих усилий религиозного живописца (из второй части) прямо противоположное — к прообразу (в данном случае к ростовщику-дьяволу), к максимально полному и точному его фиксации. Преступление художника в том, что он не знал границы в своем движении, вырвал «что-то живое из жизни», похитил «несоздаваемое трудом человека». Если кто-то повинен в «чересчур

близком подражании природе», так это не Чертков, а религиозный живописец (к которому и относятся только что приведенные слова), но это не натурализм, а дерзкая, максимальная степень истины: чувствовалось, «что это *верх истины*, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже *слишком дерзко* перешагнул границы воли человека».

Итак, преступление одного (Черткова) в том, что он отдаляется от истины; другого (религиозного живописца) в том, что приблизился к ней непозволительно близко. Один не видел или не хотел видеть; другой увидел слишком много. Действия первого с моральной точки зрения определимы: чем больше его удаление от истины, тем сильнее вина. Но как подойти с подобными мерками к религиозному живописцу? Приближаясь к действительности до определенной границы, он прав; но, перейдя эту границу, совершает преступление. До какой же степени можно приближаться? И где заповедная граница? Сказать трудно, легче оставить проблему в форме вопроса, «непостижимой задачи»: «...какая странная, какая непостижимая задача! Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание и чрез которую шагнув, он уже похищает не создаваемое трудом человека...»

Тот же исследователь констатирует, что религиозный живописец «не дал настоящей картины, не потому, однако, чтобы он рабски подражал природе, а потому, что, напротив, природа победила его в данном случае своей эстетической неразрешимостью» [Анненский, с. 15]. Эта «эстетическая неразрешимость» есть одновременно неразрешимость онтологическая, ибо роковая трещина (в категориях Гоголя — «черта») прошла через само устройство бытия — трещина все расширяющаяся и все более опасная. «...С каждым днем законы природы будут становиться слабее и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее». Поэтому переходящий заповедную границу искусства похищает нечто заповедное, сверхъестественно-злое из самой действительности⁷².

Роковая черта пролегла чрез понятие действительности, чрез ее субстанцию и, соответственно, чрез само искусство, что и является источником драматизма и чрезвычайной напряженности переживаний. Молодой писатель жаждет всемерного овладения прозой жизни, его художественное направление уже четко наметилось, если не сложилось. Но в то же время его страшит приближение к действительности, таящей в себе нечто неведомо-ужасное, роковое. Сходное отношение мы видели у Гоголя и к любви, к женской красоте: с одной стороны, это высокое, небесное, божественное переживание; с другой — оно скрывает в себе элемент бесовского наваждения, обмана и гибели.

Где же найти прочную опору? Одолевает дьявольскую силу живописец тогда, когда спасается за стенами монастыря, выдерживает иску, осеняется вдохновением свыше — впервые Гоголь дает тип

художника, который «весь обратился в религиозный пламень», всецело отдался религиозному направлению творчества. Если говорить о карьере религиозного художника как таковой, то изображено все это было еще «со стороны, как нечто лично еще не пережитое, как мелькнувшая сознанию в художественном образе возможность» [Гиппиус, 1924, с. 58]. Более определенное и более личное выражение эта возможность приобретет много позднее... Но само призывание религии как спасительного якоря встречается у Гоголя не в первый раз — крест выручал и Вакулу, и деда в «Пропавшей грамоте», и деда из «Заколдованного места», и т. д.

Увы, на стадии «Арабесок» и «Миргорода» все стало сложнее и напряженнее. Молитвы и крест не спасли Хому Брута от гибели; осквернение храма в «Вие» осталось неотомщенным; религиозное рвение живописца уничтожило зло в одном индивидуальном проявлении (в портрете), но Антихрист уже «нарождается» — и «бесчисленны будут жертвы этого адского духа...». Внутренне Гоголь стал пессимистичнее, его «хвостики душевного состояния» обозначились определеннее.

МОСКВА — ВАСИЛЬЕВКА — МОСКВА

Внешне же Гоголь весной 1835 года выглядел спокойным и безмятежным.

В конце марта через министра народного просвещения Уварова он представил экземпляр «Миргорода» императору и, как сообщил Уваров, был «удостоен Его Величеством благосклонного принятия» [Неизданный Гоголь, с. 427]. Сведений о представлении Гоголем императору вышедших несколько ранее «Арабесок» у нас нет: очевидно, писатель посчитал, что такие миргородские повести, как «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», более подойдут вкусу Николая I (несколько позже, в апреле 1837 г., он специально попросит Жуковского обратить внимание царя на эти произведения).

Около же 1 мая, взяв отпуск в Петербургском университете и Патриотическом институте, где он также продолжал числиться учителем истории, писатель выехал через Москву на родину. Его сопровождал Данилевский [X, 364; Шенрок, т. 1, с. 363].

Предыдущая, первая поездка Гоголя в Москву, мы помним, состоялась весной 1832 года, сразу же после выхода второй части «Вечеров на хуторе...». Гоголь встретил тогда в старой столице сочувствие и признание.

Теперь он ехал как автор «Арабесок» и «Миргорода» и готовился к новому взлету своей славы. Так оно и случилось. Москвичи благоволили к Гоголю и с нетерпением ждали его появления. Еще в начале 1834 года его избрали членом Общества любителей российской словесности. «Венчание», как говорит Гоголь, произошло, по-видимому, по инициативе М. Погодина, секретаря этого общества.

Новые произведения Гоголя были на слуху у московской публики. С. Т. Аксаков отмечал: «Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в “Диканьке”, но в “Старосветских помещиках”, в “Тарасе Бульбе” уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя».

И вот Гоголь появился в Москве.

«В один вечер, — продолжает С. Т. Аксаков, — сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: “Здравствуйте!” Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин <...> забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: “Знаешь-ли, кто у нас? Это Гоголь”. Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых».

Так среди первых, кто увидел Гоголя, оказались члены московского философско-литературного кружка: Станкевич, Ефремов, Константин Аксаков, а для них-то, обожавших нового писателя, эта встреча была истинным праздником.

Публику в театре тем временем охватило возбуждение. «В одну минуту несколько трубок и биноклей обратилось в нашу ложу, и слова “Гоголь, Гоголь” разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал» [Воспоминания, с. 92].

Позже выяснилось, что по прибытии в Москву Гоголь вначале отправился к Аксаковым домой и, узнав, что они в театре, поспешил туда. Сергея Тимофеевича очень тронул этот поступок, означавший, что гоголевское отношение к его семейству, прежде довольно сдержанное, заметно потеплело. Благотворную роль в этом «обращении» сыграл Погодин, сумевший убедить Гоголя, что в лице Аксаковых он имеет дело с искренними ценителями его таланта.

О хорошем настроении Гоголя свидетельствует и тот факт, что в этот свой приезд в Москву он решил устроить чтение своей новой вещи — комедии «Женихи» («Женитьба»), которую взял с собой на родину для доработки. Чтение проходило в доме Погодина на Девичьем поле, как установил Н. И. Мордовченко — 4 мая [Материалы, т. 2, с. 118]. «Довольно большая комната была буквально набита битком» (С. Т. Аксаков) — Гоголь дал разрешение хозяину пригласить всех его знакомых. Кого же из них можно назвать конкретно? В. П. Андросова, литератора, ученого-статистика, редактора только что открывшегося журнала «Московский наблюдатель»; затем Константина Аксакова, очевидно М. Шепкина [XI, 38]. По-видимому, к этому времени отно-

сится и первая встреча Гоголя с Шевыревым, с которым он вступил в переписку раньше — в марте 1835 года.

В числе приглашенных были Е. А. Баратынский, познакомившийся с Гоголем еще в первый приезд его в Москву, и поэт Денис Давыдов, но оба прийти не смогли. В письме Погодину Баратынский говорит: «Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего веселого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие» [Баратынский, с. 256]⁷³.

Не смог прийти к Погодину из-за болезни и Сергей Тимофеевич Аксаков, но со слов очевидцев, прежде всего своего сына Константина, он составил довольно полное представление о том, как проходило чтение.

«Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие, понимающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. <...> Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно...» [Воспоминания, с. 93].

К упомянутому чтению комедии относятся и воспоминания хозяина дома: «Читал он [Гоголь] однажды у меня, в большом собрании, свою Женитьбу. <...> Когда дело дошло до любовного объяснения у жениха с невестой — в которой церкви они были в прошлое воскресенье? какой цветок больше любите? — прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели а la lettre [буквально] покатывались со смеху и долго не могли прийти в себя, а он как ни в чем не бывало молчал и поводил только глазами». Гоголь продолжал и совершенствовал ту манеру комедийного исполнения, которую усвоил еще в молодые годы во время спектаклей в нежинской Гимназии высших наук, — манеру, состоящую в предельной наивности, простодушии и как бы полном внешнем отключении от аудитории. В целом М. Погодин подтверждает вывод С. Т. Аксакова: «Читал Гоголь так <...> как едва ли кто может читать <...>. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении» [РА, 1865, № 7, стлб. 891—892].

И все же, несмотря на успех, большинство слушателей не оценили всей глубины комедии. С. Т. Аксаков, рассказывая о том, какой заразительный хохот сопровождал чтение, прибавляет: «...но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает». Это наблюдение иллюстрируется письмом участника встречи Андросова, который спустя несколько дней, 19 мая, сообщал Краевскому о Гоголе: «Умо-

рил повеса всю честную компанию, которая собралась к Погодину. В нем, по моему мнению, дар малороссийский — передразнивания в высшей степени, нежели дар наблюдения» [Материалы, т. 2, с. 121]. Едва ли критическая нота укрылась от внимания Гоголя, в чьем сознании болезненно отзывались упреки в карикатурности и фарсе. Увы, пусть и в ослабленной форме, этот упрек в духе Сенковского повторили теперь даже расположенные к нему люди, его друзья.

Поскольку Сергей Тимофеевич не смог быть в доме Погодина, Гоголь согласился вторично прочитать комедию у Аксаковых. В назначенный день Сергей Тимофеевич пригласил в дом Штюрмера на Сенном рынке (в советское время Красноворотный проезд), где теперь жило его семейство, новых гостей — тех, «которым не удалось слышать комедию Гоголя». И среди них были Белинский и Станкевич; между ними и кругом «Московского наблюдателя», в частности Шевыревым, уже наметились трения, и, видимо, по этой причине оба они не получили приглашения к Погодину.

Однако задуманное вторичное чтение «Женитьбы» не состоялось. «Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой». Это несколько охладило восторг Сергея Тимофеевича по поводу изменившегося отношения к нему Гоголя. Аксаков понял, что хотя это отношение и улучшилось, но до открытости, радушия, сердечности, столь свойственных ему самому, еще очень и очень далеко.

Возможно, Гоголя удержало от чтения комедии присутствие новых лиц, прежде всего Белинского. Это была, по-видимому, первая их встреча, но имя последнего должно было быть уже знакомо Гоголю. Незадолго перед тем Белинский опубликовал в надеждинской «Молве» свои «Литературные мечтания», обратившие на себя всеобщее внимание и означавшие появление на сцене яркого, неординарного критика. Но в отношении к нему не было единодушия: одни восторгались, другие бранили, третьи питали смешанные чувства. К третьим можно отнести и членов пушкинского кружка, где Белинского осуждали за безапелляционность и категоричность суждений и неуважение к литературной традиции. Такое отношение к Белинскому, надо думать, складывалось и у Гоголя.

Но не мог Гоголь не заметить и того, что молодой критик сразу же выступил как горячий поклонник его творчества. В последней главке «Литературных мечтаний», появившейся под новым, 1835 год, говорилось: «Г-н Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. <...> Дай Бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды!..» По выходе «Арабесок» и «Миргорода» Белинский в апрельском номере «Молвы», незадолго до появления Гоголя в Москве, твердо заявил: новые его произведения «принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей литературе» — и обещал дать «подробный отчет» об этих

произведениях в майском номере «Телескопа». Следовательно, к моменту приезда писателя критик уже обдумывал свою большую статью, но, возможно, именно этот приезд и полученные новые впечатления задержали осуществление замысла — знаменитая статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» появилась спустя несколько месяцев.

Гоголь, впрочем, мог не обратить внимание на маленькую библиографическую заметку об «Арабесках» и «Миргороде» или не знать, кому она принадлежит, но мимо его внимания едва ли прошла нашуевшая статья Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина», появление которой совпало с приездом писателя в Москву (статья была подписана довольно прозрачным псевдонимом: *-он-инский*). В ней Гоголь выдвигался как пример «таланта природного» (в отличие от «случайного», представляемого Марлинским), который «берет естественностью и простотой».

Но в этой же статье как очевидное поражение расценивалась повесть «Портрет». Мол, вздумалось Гоголю «написать фантастическую повесть a la Hoffmann, и вышло нечто несуразное — повесть решительно никуда не годится». Хотя Белинский видел у Гоголя не те недостатки, что Сенковский (не фарсовость и отсутствие глубины, а рационалистическую, головную фантастичность), но его безапелляционный тон едва ли мог понравиться писателю. Словом, у него были мотивы, удержавшие его от чтения комедии в присутствии Белинского.

Среди лиц, окружавших Гоголя в Москве, мы не встречаем имя Н. И. Надеждина, что может показаться странным. Профессор Московского университета и редактор «Телескопа» и «Молвы» принадлежал к числу самых пылких почитателей молодого писателя. В свое время он одним из первых приветствовал «Вечера на хуторе...».

Чуть позже, по выходе «Повести о том, как поссорился...», он поспешил оспорить в «Молве» [1834. № 22] утверждение Сенковского о сходстве Гоголя и Поль де Кока, «ибо между Поль де Коком, пустым, наглым болтуном, и между вами [Гоголем] находим такую же бесконечную разницу, как между г. Кукольниковом и Байроном, хотя в “Библиотеке для чтения” сии два поэта также ставятся на одну доску». Надеждин защищал Гоголя от самого чувствительного для него обвинения в фарсовости и низменности и одновременно наносил столь же чувствительный удар соперничавшему с ним Кукольнику.

В бытность Гоголя в Москве весной и в конце лета 1832 года Надеждину, видимо, не удалось коротко сойтись с ним, разве что познакомиться. Весною 1835 года, незадолго до нового приезда Гоголя в Москву, Надеждин побывал в Петербурге и здесь встречался с ним. В дневниковой записи Надеждина от 31 марта есть такие строки: «Честь и слава Гоголю!.. Сегодня пойду, обойму его — расцелую... О, врач всех телесных и душевных болезней... всемогущий Гоголь!.. Разбойник! А ведь у меня сидит, как (чумной — неразб.)... Нет, чтоб полечить и

меня... чтоб заставить быть также *очень веселым!* Диплом ему, диплом — на звание Доктора!.. Что перед ним Дядьковский с братией?» [подчеркнуто Надеждиным; ИРЛИ. Ф. 199. Оп. 2. № 49. Л. 26-26 об.]⁷⁴.

Приведенное место требует пояснений. В это время Надеждин переживал трудный роман со своей ученицей Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной. Родители — знатные московские бары, генерал и генеральша — не соглашались на брак своей дочери с человеком из низов, поповичем и семинаристом. Надеждин постоянно находился в мрачном, подавленном состоянии духа. И тут он получает из Москвы письмо от С. Т. Аксакова, сообщающего, что Елизавета Васильевна читала Гоголя и очень смеялась. Настроение Надеждина поднялось, он хочет благодарить Гоголя... Из дневниковой записи видно, что они встречались не единожды, причем и Надеждин заходил к Гоголю, и Гоголь — к Надеждину.

По возвращении в Москву, в дни, когда здесь был Гоголь, дела Надеждина пошли совсем плохо, а 10 мая он получил формальный отказ. Надеждин замкнулся в уединении, «старательно избегал встреч со своими знакомыми, кроме самых близких: М. Г. Павлова или Дядьковского» [Козмин, с. 495–496]. Поэтому-то он и держался в отдалении от Гоголя.

В середине мая Гоголь покидает Москву и направляется в Васильевку. Здесь его встретили мать, сестры Ольга и Марья, муж Марьи, Павел Осипович Трушковский, — и новый член семейства: в апреле 1833 года у Трушковских родился сын. Мальчика, как мы знаем, назвали Колей в честь дяди — Николая Васильевича.

Куча домашних забот сразу же свалилась на голову приехавшего. Года два назад Марья Ивановна пустилась в рискованное хозяйственное предприятие — продала часть земли и на вырученные деньги решила завести в Васильевке кожевенный завод с фабрикой. Николай Васильевич давал в письмах подробные инструкции, как наладить дело: не хвастаться перед соседями, чтобы не возбуждать зависть, вести строгий счет деньгам, а главное, не очень доверять приглашенному «фабриканту». «Мы не можем поручиться за один час вперед», и «разве этого не может случиться, что фабрикант, взявши деньги, вдруг вздумает улизнуть, что тогда?» [X, 303]. Фабрикант действительно «улизнул», оставив Марью Ивановну с большими долгами.

Пришлось Николаю Васильевичу думать о том, как раздобыть лишних денег, где выгоднее продать хлеб, сало и другие продукты натурального хозяйства.

В июне Гоголь едет в Крым, чтобы отдохнуть и полечиться. Хотел было направить путь на Кавказ, но — «проклятых денег не стало и на половину вояжа». Пришлось ограничиться Крымом и тамошними грязевыми ваннами. «Впрочем, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось», — сообщает он 15 июля 1835 года В. А. Жуковскому,

вернувшись в родные места. Это одно из первых признаний Гоголя о том, как благотворно действует на него дорога.

Гоголь еще несколько недель, до конца лета, живет в Васильевке, занимается хозяйством, разбирает свой «запасец» старинных рукописей, «большей частью относящийся к малороссийской истории», обдумывает новые вещи. У него была с собой тетрадка с «Женитьбой», но, кроме того, он сочиняет новую пьесу — не комедию, а драму и не из русской жизни, а из западноевропейской, средневековой. В центре драмы — англосаксонский король Альфред Великий, реформатор, просветитель. Интерес писателя к таким историческим фигурам был постоянен: вспомним Ал-Мамуна, а еще раньше — Бориса Годунова, как он был интерпретирован в одноименной гоголевской статье. Для работы над произведением Гоголь просит Прокоповича выслать ему на родину первый том русского перевода «Английской истории» Рапена.

Несмотря на поездку в Крым, на поправление здоровья, Гоголь к концу лета начинает жаловаться на недостаточное расположение к труду. Кажется, никто из встречавшихся с Гоголем в эту поездку в Москву и на родину не упоминает о болезненном угнетенном состоянии, какое было у него в предыдущую поездку, три года назад. Но из более позднего признания Гоголя матери мы узнаем, что и на этот раз не все было гладко. «Когда я был последний раз у вас (т. е. летом 1835 г. — Ю. М.), вы, я думаю, сами заметили, что не знал, куда деваться от тоски, и напрасно искал развлечений. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска...» [XI, 119].

К середине августа Гоголь собирается в обратный путь. Подумывает, не взять ли с собой Ольгу, чтобы она, как и две другие его сестры, Аня и Лиза, воспитывалась в Петербурге. Старшая сестра Марья Васильевна стала отговаривать, ссылаясь на глухоту Оли, следствие перенесенной болезни уха, на плохую память. Но Гоголь верил в свою педагогическую методику. «Это ты не хочешь с нею заниматься, и мать ее балует, у меня будет у нее память!» — сказал он и задал Ольге целую страницу французского текста. «И я до самого обеда учила, не уставая, — рассказывает Ольга, — а когда подали обед, брат спрашивает, я не могла ни одного слова ответить. Он оставил меня без обеда, потом до вечернего чая тоже не знала уроков, а до ужина одно или два слова ответила. Тогда брат удостоверился, что нет памяти; кроме того, порешили, что золотушные не переносят петербургского климата, и кончилось тем, что брат сказал матери: “Воспитывайте ее сами!” — и уехал» [Головня, с. 8].

По дороге он решил завернуть в Киев, чтобы уладить «кое-какие гербовые заботы» и повидаться с М. А. Максимовичем, посмотреть, каково тому на новом месте в должности профессора и ректора университета Св. Владимира.

Гоголь нашел друга в доме Катеринича, на Печерке, недалеко от Никольского монастыря.

«Он пробыл у меня, — говорит Максимович, — пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа. Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении духа: он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. Ни *крепкого* слова, ни грязного анекдота не слышалось от него ни разу. Он, между прочим, откровенно сознавался в своем небрежении о лекциях в Петербургском университете и жалел очень, что его не принял фон-Брадке. <...> Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян 17-го века назывался русским Иерусалимом» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Однажды Максимович вместе с Гоголем побывал у храма Андрея Первозванного. «Гоголю особенно полюбился вид оттуда на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодлица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глаза на Днепр и Заднепровье. — “Чого ты глядишь там, голубко?” — мы спросили. “Бо гарно дивиться”, — отвечала она, не переменяя положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке» [Максимович, с. 55–57].

Словом, в глазах друга Гоголь предстал в несколько новом свете. В юные годы среди товарищей, однокашников, он отличался любовью к циничным выражениям и шуткам. Особенно хорошо знал его с этой стороны Максимович: письма Гоголя к нему пестрят нецензурными словами. Теперь Гоголь казался сдержаннее, «степеннее».

Это был признак других, более глубоких изменений, которые Максимович называет «крутым поворотом». Однако «поворот» к чему? К украинской народности? Но интерес к ней пробудился у Гоголя еще раньше. Скорее всего, Максимович, описывавший «киевские каникулы» Гоголя в свете его последующей судьбы и ее ключительной фазы, имеет в виду изменения общего, религиозно-нравственного характера (не случайно упоминание о роли для писателя Киева как «русского Иерусалима» — это сказано в параллель к паломничеству Гоголя в настоящий Иерусалим, которое он совершит в 1848 г.). Правда, о «крутом повороте» говорится преждевременно — происходило скорее накапливание симптомов, не слившихся еще в цельную, непрерывную линию и внятных пока лишь самым близким людям. Три года назад в письме к матери Гоголь обнаружил явное поползновение к религиозному учительству; теперь он поразил Максимовича особенной религиозной сосредоточенностью своего настроения.

В конце августа Гоголь вместе с А. С. Данилевским и И. Г. Пашенко (по-видимому, именно их подразумевает Максимович, говоря о «нежинских знакомцах» писателя) отправился из Киева в Москву.

По дороге было разыграно действо, о котором гоголевский биограф рассказывает со слов одного из участников — Данилевского.

Гоголь в очередной раз решил прибегнуть к столь любезной его сердцу мистификации и выдать себя за важную персону; с этой целью Пашенко ехал первым и распространял слух, что следом едет ревизор. «Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необыкновенной любезностью. В подорожной Гоголя значилось: адъюнк-профессор, что принималось обыкновенно сбитыми с толку зрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорского Величества» [Шенрок, т. 1, с. 364].

В. Шенрок считает, что состоялась «оригинальная репетиция “Ревизора”, которым тогда Гоголь был усиленно занят». Но скорее это была не «репетиция», а пролог, причем пролог невольный, стихийный: идея комедии, зерно ее сюжета еще не были подсказаны Пушкиным, но исподволь в гоголевском сознании накапливались и вызревали, так сказать, встречные впечатления.

В последних числах августа Гоголь приехал в Москву.

Новая поездка в Москву, как и предыдущая, три года назад, принесла Гоголю удовлетворение. Московское радушие, открытость, непритворные знаки внимания действовали на него благотворно. Связи его расширились.

В Москве (на пути в Васильевку или по возвращении — неизвестно) Гоголь сделал еще несколько знакомств — с другом Пушкина Павлом Воиновичем Нащокиным и его женой Верой Александровной [НВ, 1898, 7 октября], с критиком, педагогом и историком литературы Алексеем Дмитриевичем Галаховым [Воспоминания, с. 403]⁷⁵.

1 сентября Гоголь возвратился в Петербург.

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

В тот же день в Москве была подписана цензором к печати 7-я книжка «Телескопа» с началом статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», а еще через несколько дней — следующая книжка с окончанием этой статьи. Гоголь прочитал статью вскоре после ее опубликования — в сентябре и октябре.

П. Анненков рассказывает: «Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковывала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно что “чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя”, был доволен статьей, и более чем доволен: он

был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени» [Анненков, 1983, с. 161].

Хотя некоторые детали сообщения мемуариста можно прокорректировать другими фактами, что мы сделаем ниже, но он, без сомнения, «вполне верно» передает реакцию Гоголя. Гоголь имел все основания быть «осчастливленным» статьей. Статья обозначила высший пункт его литературного признания, по крайней мере, признания печатного. По тому времени была достигнута наибольшая мера понимания гоголевского творчества, хотя мера и не абсолютная — но можно ли говорить о таком абсолютном понимании в отношении художника великого и, следовательно, неисчерпаемого? Лучший пролог к новому петербургскому периоду, к последним полутора с небольшим годам пребывания Гоголя на родине, когда его творческое развитие достигло своего апогея, лучший пролог представить себе трудно.

«Я близко знал Гоголя в это время, — говорит Анненков, — и хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько яркими выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться». Тут можно внести обещанный корректив: таланта Гоголя в это время уже почти никто не оспаривал, особенно в печати, но важна была квалификация этого таланта.

После выхода в свет «Арабесок» и «Миргорода» А. В. Никитенко записывает в дневнике (21 февраля 1835 г.): «Талант его чисто теньеровский. <...> Там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным или же расплывается в ребяческих восторгах» [Никитенко, с. 168]. «Теньеровский» — это несколько облагороженный синоним «поль-де-коковского», пущенного в оборот Сенковским еще в связи с опубликованием «Повести о том, как поссорился...».

После выхода «Арабесок» Сенковский пишет о Гоголе в том же ключе: «...кариатура — преимущество и недостаток его дарования. Недостаток — когда он желает говорить как знаток о предметах важных. <...> Преимущество — когда захочет он быть без притязаний и занимается веселыми вещами». «Очень забавные» сцены критик нашел в «Невском проспекте», в «Записках сумасшедшего», прибавив, впрочем, что последние «были бы еще лучше, если б соединялись какою-нибудь идеей» [БЧ. 1835. Т. 9. Отд. 6. С. 13–14]. Говоря же о статьях, включенных в «Арабески», и особенно об авторском предисловии, критик впадает в откровенно издевательский тон (который затем не раз применит к Гоголю, в частности к его «Мертвым душам»): «Только Гете и только г. Гоголь могут говорить с публикою таким образом. <...> Они проникнуты той истиной, что всякий лоскуток бумаги, который освятили они пером своим, когда еще учились писать, есть собственность целого рода человеческого...» Словом, автор

«заслуживает, чтобы ему откровенно показали место его в умственном мире...» [БЧ. 1835. Т. 9. Отд. 6. С. 9—10].

Когда же появился «Миргород», Сенковский даже несколько обрадовался, увидев подтверждение своего взгляда на гоголевский талант: «Вот это совсем другое дело! <...> Н. В. Гоголь, у которого мы уже в прошлом месяце (т. е. в рецензии на “Арабески”. — Ю. М.) заметили особенное дарование рассказывать шуточные истории, является повествователем занимательным, умным, оригинальным. Малороссийская повесть — настоящая его сфера». Это не помешало критику вновь подтвердить свой отрицательный приговор «Повести о том, как поссорился...» («мы всегда были того мнения, что она очень грязна»), а по поводу «Вия» сказать, что в нем «нет ни конца, ни начала, ни идеи, — нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен» [там же, с. 30, 33].

Сенковскому пробовали возражать — в меру своего слабого голоса — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Перепечатав отрывок из «Записок сумасшедшего», В. (т. е. редактор А. Воейков) в подстрочном примечании не преминул вспомнить «Повесть о том, как поссорился...», которая своим «неподдельным, чисто малороссийским юмором» отличается от «фальшивого юмора» Сенковского [1835. № 27]. Поместили «Литературные прибавления...» и специальную рецензию на «Миргород» [1835. № 33; подп.: А.в.м.л., Дерпт], где отмечалось, что Гоголь достиг нового качества в своем творческом развитии — «простоты» и что «он в этом случае диаметрально противоположен Брамбеусу», то есть тому же Сенковскому.

Только одна «Северная пчела» судила о Гоголе в унисон с Сенковским. П. М-ский (П. Юркевич) в рецензии на «Миргород» произнес свои ставшие знаменитыми слова, что в «Повести о том, как поссорился...» изображена «неопрятная картина заднего двора человечества» [СП. 1835. № 115]; в отклике же газеты на «Арабески» отмечались упущения Гоголя по части «вкуса» и выбора «предметов», хотя при этом признавалось, что «отрывок из исторического романа и две повести его “Портрет” и “Невский проспект” — создания замечательные во многих отношениях» [СП. 1835. № 73].

Почти все упомянутые отклики появились еще до поездки Гоголя в Москву, сразу же после выхода в свет двух сборников. Как видим, картина складывалась довольно пестрой: звучали не только брань, но и похвалы, к безоговорочному осуждению не прибегал никто, даже Сенковский. Однако Гоголю свойственна была способность улавливать прежде всего негативные суждения, порою очень их преувеличивая и сгущая (это сполна проявилось позднее в связи с реакцией на «Ревизора»). Кроме того, он, конечно, чувствовал поразительную неадекватность критических мнений, в том числе и самых доброжелательных, его произведениям. Гоголю важна была не похвала, а понимание.

Гораздо больше понимания он нашел у двух москвичей — Погодина и Шевырева, чьи отклики появились в одной и той же книжке «Московского наблюдателя», как раз накануне отъезда писателя из столицы. С отзывом Погодина, провозгласившего Гоголя «новым светилом» русской литературы, мы уже знакомы. Теперь обратимся к Шевыреву. В статье, озаглавленной «Миргород...», он также рассматривал Гоголя как замечательного писателя, чуждого той односторонности, которую ему приписывал Сенковский или рецензенты «Северной пчелы». Так, персонажи «Старосветских помещиков» «служат явным обличением тем критикам, которые ограничивают талант автора одною карикатурою. Автор изобразил нам их не с одной смешной стороны» [МН. 1835. Март. Кн. 2. С. 405]. Все это помогало Гоголю, утешало его — но полностью ли?

Обратим внимание: Шевырев посвятил свою статью только «Миргороду», хотя ему хорошо были известны и «Арабески». Умолчание объясняется словами самой рецензии: «...в новых повестях, которые читаем мы в “Арабесках”, этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика — и мне это досадно» [там же, с. 404]. Тут можно вспомнить, что Гоголь послал для напечатания в «Московском наблюдателе» повесть «Нос» и, будучи в Москве, узнал, что произведение не понравилось. По-видимому, не понравилось потому, что Шевырев увидел здесь еще одно подражание «фантастическим созданиям» немецких романтиков.

Подобные мнения Шевырева разделяли и другие москвичи, которые в целом глубоко уважали талант Гоголя. Даже благоговевший перед Гоголем С. Т. Аксаков в письме Надеждину в Петербург от 26 марта 1835 года, выражая свое восхищение «Старосветскими помещиками» и «Тарасом Бульбой», прибавляет: «Но к чорту гофманщину: он писатель действительности, а не фантазмагорий» [Машинский, 1961, с. 231]. Имеются в виду те же повести из «Арабесок».

Отсюда видно, в чем Анненков был прав, а в чем неточен. Гоголь не был обделен похвалами и сочувствием своих доброжелателей, скорее, наоборот, но он не находил у большинства из них понимания своих творческих усилий и своей эволюции в целом. Эта эволюция мыслилась ими как прямой путь от «Вечеров на хуторе...» к «Миргороду» и далее к еще большему погружению в самобытную, без примеси «гофманщины» русскую жизнь. Петербургские повести на этом пути казались отступлением в сторону, капризным зигзагом. Отсюда рекомендации Гоголю (со стороны Шевырева, например), к каким сферам русской действительности следует обращаться, а чего избегать.

Но для Гоголя опыт «Арабесок» был не менее органичен и важен, чем опыт «Миргорода». Разработка коллизии «мечты и существенности», усвоение атмосферы большого города с ее контрастами, гротескными изломами, дух европейского романтизма и постромантизма,

дух современных историософских концепций — все это нашло преимущественное выражение именно в «Арабесках» (хотя косвенное, своеобразное — и в «Миргороде» тоже) и никак не могло быть отодвинуто Гоголем в сторону. Да, ему нужны были не похвалы, а понимание — и именно недостаточное понимание со стороны ближайших друзей претворялось в то чувство одиночества, о котором говорит Анненков.

Из сказанного также видно, что пушкинское определение «Невского проспекта» как «самого полного» произведения Гоголя имело полемический смысл. Но это определение прозвучало позже, в 1836 году, со страниц первого тома «Современника».

Получалось так, что Белинский встал горой за Гоголя сразу же после возвращения писателя из Москвы, когда еще в его памяти слышны были голоса Шевырева и других сотрудников «Московского наблюдателя». Встал и за «Невский проспект» (««Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное...»), и «Записки сумасшедшего», и за все своеобразие гоголевского творчества. «Он не давал <...> советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты <...> не одобрял другой как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и на *достоинстве его мирозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*» [Анненков, 1983, с. 161; курсив в оригинале].

Впервые творчество Гоголя было поставлено в столь широкую перспективу: с одной стороны, как высшее достижение русской повести, от Карамзина до Н. Ф. Павлова, а с другой — как факт общеевропейского художественного развития, а именно развития реальной формы поэзии, начатой Шекспиром, продолженной Вальтером Скоттом и т. д. Все это и подводило критика к выводу, что «в настоящее время он [Гоголь] является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным».

Гоголевская «карта» и раньше уже разыгрывалась против Пушкина, разыгрывалась сразу же после появления «Вечеров на хуторе...». Теперь же во всеуслышание было заявлено, говоря современным языком, о смене лидера. И хотя, вопреки Белинскому и господствовавшему мнению, Гоголь не считал, что пушкинский талант уже исчерпал себя и отстает от времени (вспомним статью «Несколько слов о Пушкине»), но столь решительное заявление, вероятно, было ему приятно, так как укрепляло веру в себя, способствовало самоутверждению.

Автор статьи «О русской повести...» по-прежнему не принимал «Портрета», он отрицательно отзывался о гоголевских «ученых» сочинениях, но это не колебало общего его вывода, который вполне отвечал творческой устремленности писателя. Ведь именно весь приобретенный им к середине 30-х годов богатый эстетический опыт сделает возможным впоследствии появление «Ревизора» и «Мертвых душ».

...По возвращении в Петербург Гоголь уже не приступал к занятиям в Патриотическом институте. Помня о его опоздании после предыдущей поездки на родину, начальница института предложила определить на должность другого учителя, ибо Гоголь, «будучи одержим болезнью, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставит институт в затруднение...» [РС. 1887. № 12. С. 755].

А затем, 31 декабря, кое-как дотянув последний семестр, Гоголь уволился и от должности адъюнкт-профессора, как гласил официальный документ, — «по случаю преобразования С.-Петербургского университета» [РМ. 1896. № 5. С. 173]⁷⁶.

Новый, 1836 год Гоголь встречал «беззаботным козаком». Отныне все его силы будут отданы литературному труду.

Гоголю оставалось прожить на родине не многим более полугода. Небольшой отрезок времени — с осени 1835 по июнь 1836 года — новый важный этап его творческой биографии. Так же как и 1833 год, о чем говорилось в этой книге, он может быть назван кризисным. Да, собственно, сам Гоголь впоследствии так его и назвал: «Это великий перелом, великая эпоха моей жизни...» [XI, 49]. Именно тогда был написан, поставлен и издан «Ревизор», начаты «Мертвые души»; именно тогда оформляется новая эстетика Гоголя, новое его представление о своей жизненной миссии и творческих задачах.

Но обо всем этом — в другой книге.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Braun M. N. W. Gogol. Eine literarische Biographie. The Hague. Paris, 1967; Magarshak D. Gogol. A life. London, 1957; Troyat H. Gogol. Paris, 1971 и др.*

² «Викарный» — в данном случае помощник приходского священника в католической церкви. В православной церкви это слово обозначает более высокое лицо — епископа, являющегося заместителем или помощником архиерея. Вот еще суждение человека, близкого духовной среде и знатока российских церковных установлений: «В нашу церковь звание викариев вошло не прежде времен Петра Великого. У нас оно дается епископу, который не имеет епархии собственной и помогает местному святителю в исправлении его обязанностей, в отсутствие же заменяет его» (*Надеждин Н. Викарий // Энциклопедический лексикон. СПб., 1837. Т. 10. С. 116*).

^{2a} Ср. Друбек-Мейер, с. 141; *Stilman L. Nikolaj Gogol' und Ostap Hogol // Orbis Scriptus: Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966, S. 811–825*.

³ В. Вересаев вообще оспаривает дворянское происхождение Гоголя, так как род его представлен священниками, «что немножко странно для дворян» [Вересаев, с. 290–291]. Однако известно немало случаев, когда украинские священники были выходцами из дворян. Историк, составлявший биографии преподавателей Киевского университета Св. Владимира, отмечает: «В прошлом столетии, когда Западный край принадлежал еще Польше, большинство духовенства, и католического и православного, а также униатского, принадлежало к сословию дворянскому» [Иконников, с. 489]. Украинские священники, служилые люди, чиновники и другие принялись доказывать свое дворянское происхождение после издания Екатериной II Жалованной грамоты дворянству и распространения ее действия на Украину (1785). Обычно это оформлялось с помощью соответствующего документа, подписанного губернским предводителем дворянства и несколькими депутатами. Известен ряд таких документов, составленных так же, как и упомянутый дворянский протокол Гоголя, например, документ о дворянском происхождении отца О. М. Новицкого, профессора Киевского университета: «В подтверждение этого, согласно указу Екатерины II от 25 апреля 1785 г., по рассмотрении его прав, выдан ему в царствование Александра I, именно 4 декабря 1802 г., патент за подписью Предводителя дворянства Волынской губернии и депутатов девяти ее уездов» [Иконников, с. 489]. Еще один пример — «Свидетельство Киевского наместничества» от 12 декабря 1788 г. о «принятии в число дворян священника Феодора Тихоновича и его братьев». При этом было постановлено внести их «в дворянскую родословную книгу», выдать им «грамоту на благородное их достоинство», а до ее изготовления — «сие свидетельство». Документ имеет 11 подписей — губернского предводителя

дворянства, депутатов, секретаря [КС. 1885. № 5. С. 176—177]. Правда, А. Ефименко, автор исследования «Малорусское дворянство и его судьба», отмечает, что при выдаче подобных документов допускались злоупотребления: «...депутаты завели чуть ли не открытую торговлю дворянскими правами и дипломами» [ВЕ. 1891. № 8. С. 562]. Однако отсюда еще нельзя категорически заключать (как это делает В. Вересаев), что именно такое ложное свидетельство было выдано Афанасию Демьяновичу Яновскому.

⁴ Книга эта сохранилась и находится в настоящее время в книжном собрании Череповецкого краеведческого музея Вологодской области. Как гласит владельческая запись, она была подарена Н. В. Гоголем в Петербурге 28 июня 1833 г. курскому мешанину Василию Михайловичу Лагочеву [Морозова Н. Т. Книга из библиотеки Гоголей // Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. XVIII век, <вып.> 16. Л., 1989. С. 252].

⁵ О популярности Трахимовского свидетельства современник: «В первую четверть нынешнего столетия искусство и слава Михаила Яковлевича Трофимовского привлекали в Сорочинцы недужных всей Малороссии» [Максимович, 1854, с. 7].

⁶ Выписка из метрической книги Спасо-Преображенской церкви местечка Сорочинцы впервые опубликована А. И. Ксензенко [РС. 1888. № 10. С. 392]; фотокопия появилась несколько позже в 1908 г. Опубликование этих документов внесло ясность в вопрос о дате рождения Гоголя — 20 марта 1809 г. (ранее назывались другие даты: 19 марта 1809 г., 20 марта 1810 г.).

⁷ Существует и другой вариант рассказа [Смирнова, 1989, с. 70—71]. Оба варианта отличаются некоторыми деталями, но совпадают в передаче сущности эпизода и вызванных им переживаний Гоголя.

⁸ Известно описание этого дома, сделанное дочерью писательницы Е. Ган и относящееся к 40-м годам прошлого века: «Меня поразили красивый дом и сад; но еще гораздо больше изумил старик лакей, в белом галстуке и с белыми волосами...» [РС. 1887. № 3. С. 761].

⁹ Биографические сведения об А. А. Трошинском приводятся в кн.: *Марин А.* Краткий очерк истории лейб-гвардии Финляндского полка... СПб., 1846. Кн. 2. С. 3—5.

¹⁰ Думается, что хронология (и, следовательно, порядок расположения) упомянутых трех писем Гоголя из Полтавы должна быть изменена следующим образом: № 3, 2, 1. Письмо № 3 написано в конце лета 1820 г.: здесь говорится, что учение в гимназии начнется через неделю. Письмо № 2 написано уже в разгар занятий, в конце 1820 или в начале 1821 г.: Гоголь сообщает, что он «успел в науках то, что в первом классе гимназии». Наконец, письмо № 1 написано ближе к весне 1821 г. («Вакации быстро приближаются»).

¹¹ Уже после сдачи в редакцию настоящей книги (для первого ее издания) я нашел беглое (без мотивировки) упоминание имени В. Л. Боровиковского как возможного прототипа героя «Портрета»: *Amberg L. Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogol.* Bern; Fr. am Main; New York; Paris, 1986. S. 150.

¹² См. также: *Михальский, Самойленко*, с. 6—35.



Марья Ивановна Гоголь, мать писателя.

Портрет работы неизвестного художника. Первая четверть XIX в.



Василий Афанасьевич Гоголь, отец писателя.

Портрет работы неизвестного художника. Первая четверть XIX в.



Дом доктора М. Я. Трахимовского в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, где родился Н. В. Гоголь.
Фотография 1900-х годов

24.	17.	Матьвина Сорочинскъ, Дмитрия Ивановича Федорова родная дочь Анна Молодцова и Крестный Священно- наместникъ Троицкъ Бѣловолскій.	18.	Христини Королева Сафьяновна
25.	20.	Уполковника Василія Яковлева ро- дильна дочь Наталья и Крестный Молодцова и Крестный Священно- наместникъ Троицкъ Бѣловолскій.	22.	Королева Татьяна Петровна и Крестный Священно-
26.	23.	Матьвина Сорочинскъ, Николая Матвее- вича родная дочь Анна и Крестный Священно- наместникъ Троицкъ Бѣловолскій.	24.	Королева Татьяна Петровна и Крестный Священно-
27.	27.	Матьвина Сорочинскъ, Стефанъ Андро- вичъ родная дочь Анна и Крестный Молодцова и Крестный Священно- наместникъ Троицкъ Бѣловолскій.	28.	Королева Татьяна Петровна и Крестный Священно-
28.	2.	2 Апрель.		
		Матьвина Сорочинскъ, Стефановна		

Запись о рождении Н. В. Гоголя в Метрической книге Спасо-Преображенской церкви в Великих Сорочинцах

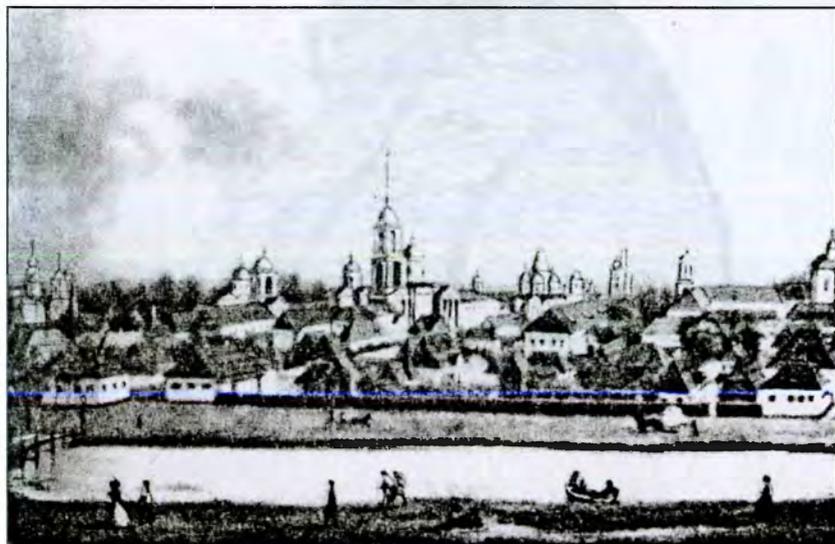


Васильевка. Дом семьи Гоголя.
Акварель Н. В. Гоголя



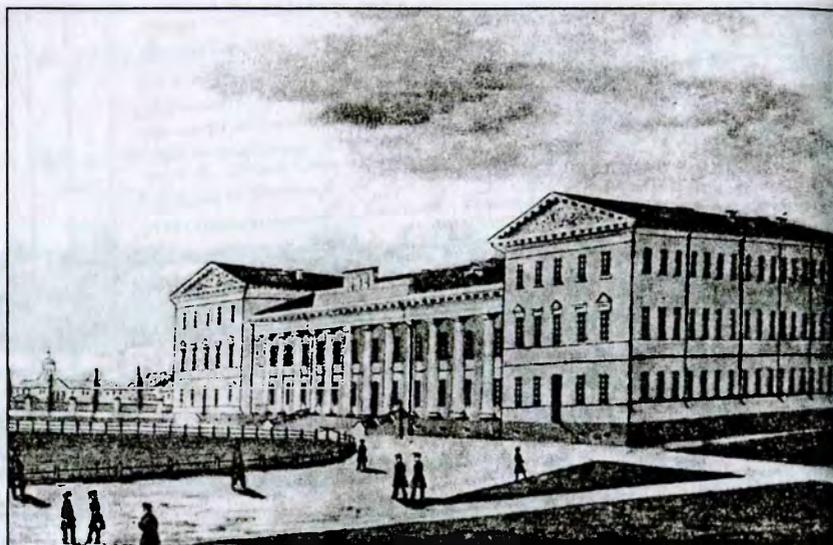
Полтава.

Литография Игнатъева. Первая четверть XIX в.



Нежин.

Литография П. Бореля. Середина XIX в.



Нежинская гимназия высших наук.
Акварель О. Визеля. 30-е годы XIX в.

*Книга всякой всячины
или
популярная Энциклопедия*

Составл. Н. Г.

М. Житко

1826.

«Книга всякой всячины, или популярная энциклопедия» Н. В. Гоголя.

Обложка



Н. В. Гоголь гимназист.

Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1827

ГАНЦЪ
КЮХЕЛЬГАРТЕНЪ

И Д И Л Л Я

ВЪ КАРТИНАХЪ.

Соч. В. Алова.

(Писано въ 1827)

Ст. ПЕТЕРБУРГЪ

Печатано въ Типографіи А. Плюшара
1829 года.

«Ганц Кюгельгартен», поэма Н. В. Гоголя, вышедшая отдельным изданием в Петербурге в 1829 г.

Титульный лист



А. С. Данилевский, школьный товарищ и друг Н. В. Гоголя.
Фотография. Середина XIX в.



М. П. Погодин



С. Т. Аксаков.
*Акварель неизвестного художника.
30-е годы XIX в.*

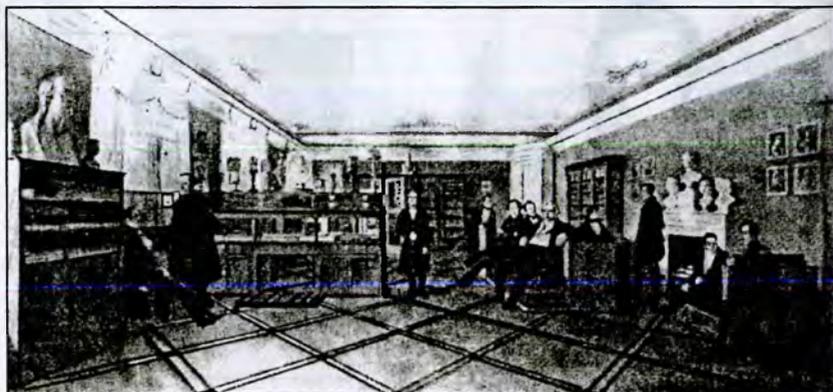


Н. И. Греч



Департамент уделов в Петербурге, где служил Н. В. Гоголь
в 1830–1831 гг.

Гравюра. 1834



Субботы у Жуковского (Жуковский, Кольцов, Гоголь, Пушкин,
Крылов и др.).

Картина учеников А. Венецианова (А. Мокрицкий и др.). 30-е годы XIX в.



П. А. Плетнев.
*Портрет работы А. Тыранова.
30-е годы XIX в.*



А. А. Дельвиг.
Рисунок В. Лангера. 1829



В. А. Жуковский.
*Гравюра Т. Райта.
30-е годы XIX в.*



В. А. Панаев



А. С. Пушкин.

Акварель П. Ф. Соколова. 1830

В Е Ч Е Р А
НА ХУТОРЪ
БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

ПОВѢСТИ,

ИЗДАВШИЯ

Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ.

ПЕРВАЯ КНИЖКА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФ. ДЕПАР. НАРОД. ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1831.

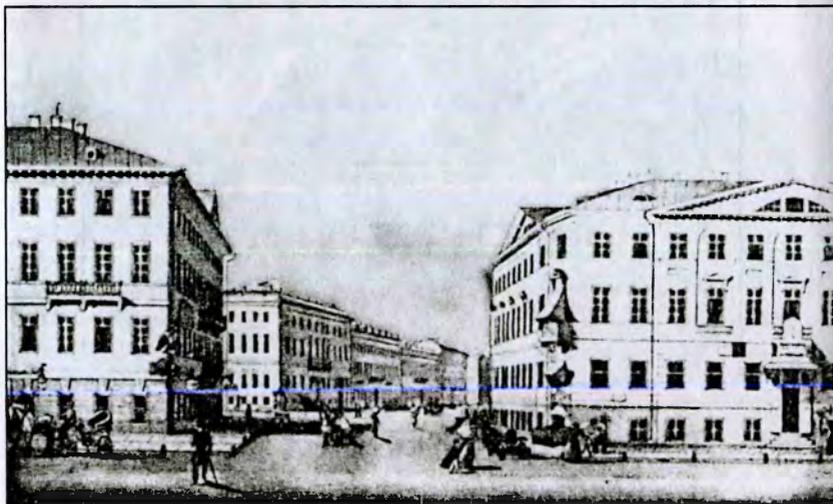
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Титульный лист первого издания кн. 1



А. С. Пушкин.
Рисунок Н. В. Гоголя



Н. В. Гоголь.
Рисунок А. С. Пушкина



Малая Морская улица в Петербурге, где жил Н. В. Гоголь в 1833–1836 гг.

*Деталь «Панорамы Невского проспекта»
П. Садовникова и И. Иванова. 1830*

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

НЪ ГОГОЛЯ.

—
Часть первая.
—



САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ВДОВЫ ПЛЮШАРЪ СЪ СЫНОМЪ.

1835.

«Арабески».

Титульный листъ перваго изданія

МИРГОРОДЪ.

ПОВѢСТИ,

Служащая продолженіемъ *Вспомы на хуторъ близъ Диканьки*

ПЪ ГОГОЛЯ.

Миргородъ нарочно названъ при
рѣкѣ Королѣ городъ. Видѣны і ка-
нашную фабрику, і кирпичный за-
водъ, і водянскъ и 43 вѣтренныхъ
мельницъ.

Географія Збловскаго.

Хотя въ Миргородѣ лезутся буб-
лики изъ чернаго шѣста, но довольно
вкусны.

*Изъ записокъ одного путеше-
ственника.*

Часть первая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

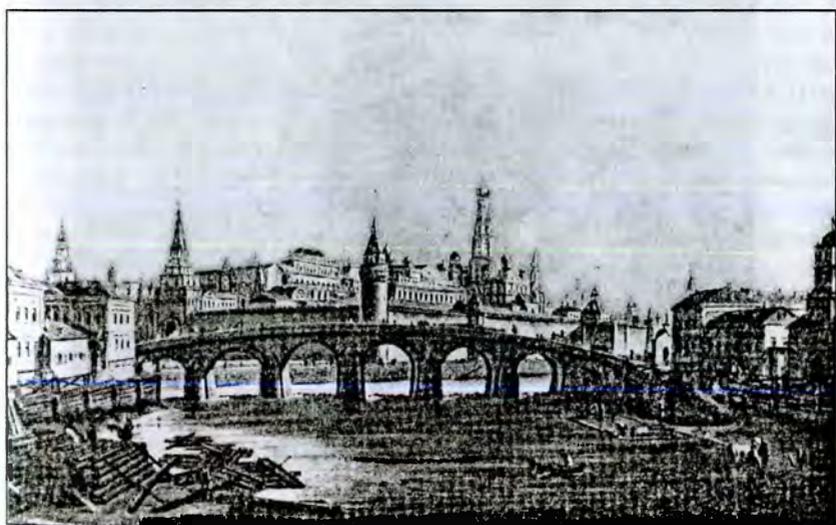
1835.

«Миргород».

Титульный листъ перваго изданія ч. I



Петербург. Невский проспект.
Литография. 30-е годы XIX в.



Москва.
Картина Ф. Алексеева. Первая четверть XIX в.



Н. В. Гоголь в Петербурге.
Портрет работы Горюнова. 1835

¹³ Не нужно специально объяснять, почему факт самоубийства, почтившегося страшным грехом, следовало по возможности скрыть. По правилам, В. Г. Кукольник не мог быть даже похоронен на кладбище; между тем, как сообщалось в донесении почетному попечителю, «во всем наблюдается свойственное чести умершего мужа благоустройство» [Лавровский, с. 11]. Тело покойного было отпето в Благовещенском монастыре и затем погребено в Ветхом монастыре (близ Нежина). Можно увидеть, как версия о самоубийстве постепенно прокладывает себе дорогу. В 1859 г. Нестор Кукольник в статье об отце обходит молчанием непосредственную причину смерти последнего: «Он впал в гипохондрию быстро и неотразимо увлекшую его в преждевременную могилу» [Лицей, 1859, с. 69]. Зато в труде о Гимназии, изданном в 1881 г., факт самоубийства первого директора признан: помимо Н. Кукольника, об этом упоминает, например, Н. Гербель, автор биографической справки о Редкине и, что очень важно, выпускник той же нежинской Гимназии, переименованной в Лицей [Лицей, 1881, с. 443].

^{13а} Е. Е. Дмитриева отметила, что фамилия гоголевского слуги (Стокоза) совпадает с фамилией персонажа, упоминаемого в заключении «Страшной мести» («Уже слепец <...> стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу...»), полагая, что это нарочитая «шутка Гоголя», сделавшего Семена «персонажем народных комических прибауток» [Дмитриева, с. 270–271]. Однако все-таки не Семен, а Сткляр Стокоза! Словом, вывод, требующий еще аргументации.

¹⁴ Об Орлае есть книга, написанная венгерским историком медицины Лайошем Тарди; книга вышла в 1959 г. на венгерском и русском языках и впоследствии переиздана у нас в составе монографии: *Тарди Л., Шультез Э. Главы из истории русско-венгерских медицинских связей / Пер. с венгр. М., 1976.* Книга не свободна от фактических ошибок. Например, утверждается, что Орлай Янош учился «с 1785 г. в Нежинской гимназии (Нежинской князя Безбородко гимназии высших наук)» [с. 181], что «Кибинцы — поместье семьи Гоголя» [с. 216] и т. д. в том же духе. См. также: *Виленский Ю., Звиняцковский В. Наставник Великого ученика // Медицинская газета. 1989. 31 марта.* Здесь же указано, что «недавно закарпатский краевед Ю. Качий обнаружил архивные материалы, из которых следует, что Орлай происходил из духовенства...».

^{14а} Высказывалось мнение, что поступок Гоголя следует «квалифицировать как нервный срыв, спровоцированный страхом наказания, а присутствие при инциденте И. С. Орлая (доктора медицины и хирурга...) оставляет еще меньше сомнений в этом» [Якубина, с. 28]. Подтвердить эту версию весьма затруднительно; присутствие же Орлая было вполне естественно и ожидаемо и при таком характере инцидента, который представлен мемуаристами — Т. Г. Пашенко и Н. В. Кукольником (т.е. мнимом сумасшествии).

¹⁵ Как указал В. А. Воропаев, «Таинственный Карло» — персонаж романа Вальтера Скотта «Черный карлик» («The black dwarf»; рус. пер.: Таинственный карло. М., 1824). Добавлю, что А. А. Шаховской написал комедию «Таинственный Карло. Романтическая комедия в английском роде, в

пяти действиях, с пением, хорами, танцами, старинными шотландскими играми и праздником, взятая из сочинений Валтера Скотта, автора «Иваное». Рукопись не издана, хранится в Ленинградской гос. театр. библ. [отдел 1, шкаф 2, полка 3, место 105, № 1277]. Премьера — в Петербурге, 23 окт. 1822 г. Представление этой пьесы содействовало известности имени «Таинственный Карло».

¹⁶ К моменту образования музеев Гоголь, как мы говорили, находился в третьем музее. Вторым музеем упоминается именно потому, что здесь была устроена сцена гимназического театра [Б. 1880. № 268].

¹⁷ Точная дата смерти Василия Афанасьевича, как установил И. Золотусский, — 31 марта 1825 г. [Золотусский, с. 60].

¹⁸ Среди учеников, окружавших Гоголя, выделяется еще одно лицо, о чем можно судить по гоголевскому письму Высоцкому от 19 марта 1827 г.: «Ты видел Герарда, сделай милость, напиши, где он теперь; он был когда-то из числа немногих друзей моих...» Лицо это малоизвестно; в комментариях к первому академическому изданию Гоголя даже не называется его имя и отчество [X, 508]. Между тем по материалам, опубликованным еще в 1902 г. И. Скребницким, видно, что Николай Герард, сын полковника Ивана Ивановича Герарда, поступил в число своекоштных воспитанников Гимназии 11 января 1821 г. [Сборник, с. 316]. В экзаменационном списке он числится вместе с Гоголем по II отделению, но набрал он большую сумму шаров — 29 (у Гоголя, напомним, только 22) и был переведен в III отделение (Гоголь оставлен во II. — [Лавровский, с. 138]). Новейшее исследование дополняет эту картину. Герард родился в 1808 г. и учился в Гимназии по июнь 1823 г. — вместе с Высоцким, Редкиным, Любичем-Романовичем и т. д., т. е. в том старшем классе, с которым особенно сблизился Гоголь. В марте 1825 г., по примеру отца, стал военным, определился в лейб-гвардии Егерский полк. Участвовал в русско-турецкой войне и в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. В феврале 1832 г. уволился со службы и поселился в своем имении в селе Демьянки Гомельского уезда Могилевской губернии. Умер в 1839 г. [Супрунук, с. 160–161]. К этому надо добавить, что умер он, очевидно, в Петербурге: картотека Б. Л. Модзалевского в ИРЛИ РАН сообщает, что Николай Иванович Герард, отставной гвардии поручик, родившийся 1 февраля 1808 г., умер 16 июня 1839 г. и похоронен на Волковом кладбище. Сведений о каких-либо встречах Гоголя с Герардом после оставления последним Гимназии не имеется.

¹⁹ П. Кулиш к словам Гоголя сделал примечание: «Прокопович говорил мне, что у Гоголя скоро не стало терпения добиваться смысла в Шиллере и что это было только минутное увлечение» [Кулиш, 1854, с. 28]. Однако это, по-видимому, относится к немецкому языку, который вынужден был «преодолевать» Гоголь.

^{19a} Здесь уместно сделать еще одну ссылку. А. П. Стороженко, встреча которого с Гоголем приурочивается к лету 1827 г., говорит, что тот читал ему стихи из своей «небольшой тетрадки» [Воспоминания, с. 63]. Возможно, это еще одно свидетельство обращения Гоголя от прозы к стихам. Говорю «возможно», так как воспоминания Стороженко — не очень надежный источник.

²⁰ «Парнасский Навоз» фигурирует также в составленном Белоусовым «Реестре книгам и рукописям», где, как правило, называются издания 1826 г. [Машинский, 1959, с. 63]. Н. Кукольник говорит, что при обыске в половине 1827 г. у него был изъят «шуточный альманах “Парнасский Навоз”» [Лицей, 1859, с. 20].

²¹ Что касается упоминаемой Гоголем немецкой пьесы «соч. Коцебу», то, возможно, именно о ней идет речь в следующем рассказе Кукольника: «Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пиэс. Он выбрал немецкую. Я предложил ему роль в 20 стихов, которая началась словами: “O mein Vater”, затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ заканчивается словами: «Nach Prag». Гоголь выучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: «O mein Vater», запнулся, покраснел... но тут же собрался с силами — возвысил голос, с особым пафосом произнес: “Nach Prag”, махнул рукой и ушел... И слушатели, большую частью не знавшие ни пиэсы, ни немецкого языка, — остались исполнением роли совершенно довольны!» [Лицей, 1859, отд. 1, с. 21].

²² С. Машинский отметил: в окончательном тексте протокола была вычеркнута фраза о том, что Гоголь подтверждает факт изготовления Новохацким списка с его тетради «по приказанию профессора Белоусова». Исследователь видит в этом сознательное намерение Гоголя умолчать о связи тетради с Белоусовым [Машинский, 1959, с. 123]. Объективно это, конечно, шло Белоусову на пользу; однако намеренного шага Гоголя здесь скорее всего не было: от него требовалось подтвердить лишь ту часть показания Новохацкого, чему он был свидетель; «приказ» же о списывании был дан, очевидно, одному Новохацкому, без Гоголя.

²³ В связи со взглядами Гоголя-гимназиста часто ссылаются на нелестную характеристику, данную им генералу Роту, — «проклятый» [X, 113]. Генерал Л. О. Рот, командир 3-го пехотного корпуса, руководил подавлением восставшего Черниговского полка, а затем участвовал в допросе декабристов [Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2. С. 377; Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 398]. Гоголевский эпитет отражает репутацию Рота в общественном мнении, однако отсюда нельзя делать вывод о сочувствии будущего писателя взглядам декабристов.

²⁴ 24 ноября 1836 г. в Петербурге с Белоусовым неожиданно повстречался соученик Гоголя по Гимназии художник А. Н. Мокрицкий. Спусти два дня они вместе смотрели картину К. Брюллова «Последний день Помпеи», нанесли визит автору. Белоусов «был в восторге, рассматривал работы и квартиру вел<икого> человека» [Мокрицкий, с. 92, 93]. Встречались они и позже. Но Гоголя в это время в Петербурге уже не было (он уехал за границу 6 июня 1836 г.).

²⁵ Еще один любопытный факт. В 1828 г. (в разгар «дела о вольнодумстве») Балугьянский, одновременно с С. С. Уваровым и В. П. Кочубеем, был избран почетным членом Санкт-Петербургского университета [Григорьев, с. III–IV].

²⁶ Примечательный факт: Орлай с гордостью писал о том, что два его соплеменника, «карпаторусские ученые» В. Г. Кукольник и «нынешний

тайный советник <...> Балугьянский» были «наставниками по правоведению» императора Николая I. Это сказано в 1828 г. — в разгар «дела о вольнодумстве» (Орлай в это время проживал в Одессе, будучи директором Ришельевского лицея). См.: *Флоровский А.* Заметки И. С. Орлая о Карпатской Руси // *Карпатский свет*. Ужгород, 1928. № 9. С. 332–339. Конечно, Орлай не писал бы этих слов, если бы Балугьянский был хотя бы в малой степени «неугодным человеком».

²⁷ Зарождение и развитие интереса к Америке в России в этот период подробно освещено в кн.: *Николюкин А. Н.* Литературные связи России и США: Становление литературных контактов. М., 1981.

²⁸ Американские интересы Гоголя в последующие годы — особая тема. От Пушкина он якобы слышал резкую критику Соединенных Штатов, не имеющих «полномочного монарха», без которого государство превращается в «автомат». Поэтому Соединенные Штаты — «мертвечина», «человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [VIII, 253]. Вместе с тем в 1847 г. Гоголь утверждал: «В Соединенных Штатах действительно вырабатывается теперь видней общественное дело, а потому не мудрено, что глаза наблюдающего большинства обращены теперь туды» [XIII, 388].

²⁹ Характерно высказывание Н. И. Надеждина: «На изнанке нашего ветхого полушария, в Новом Свете Америки, разгоряченное воображение мечтателей любило созидать утопию совершенства, к коему должна, по их мнению, стремиться Европа» [Т. 1833. № 1. С. 12].

³⁰ Помимо Д. Трошинского, Марья Ивановна обратилась с просьбой о рекомендательном письме к И. В. Капнисту, сыну писателя. Письмо было отправлено в феврале 1829 г. — уже после отъезда Гоголя в Петербург [ЛВ. 1902. Кн. 2. С. 59].

³¹ В. Шенрок, со слов А. Данилевского, говорит, что был выбран дом Трута на Екатерининском канале. Но тут Данилевский запямятовал: это была их вторая квартира.

³² Обработка автором стихотворения «итальянской темы» и само обращение к Италии весьма характерны для литературы того времени. Импульсы исходят от известного стихотворения Гете «Kennst du das Land...» (русский перевод В. А. Жуковского, озаглавленный «Мина», опубликован в 1818 г.). Назовем, в частности, стихотворение Д. В. Веневитинова «Италия» [Моск. вестник. 1827. № 8]: «Италия, отчизна вдохновенья!»; стихотворение А. С. Пушкина «Кто знает край, где небо блещет...» (1828, опубликовано посмертно) и т. д. Показательно, что примерно так же, как и его соученик по Гимназии Гоголь, начинает свое стихотворение «Италия» Любич-Романович:

О дивная страна очарованья,
Италия! поэзии земля!
Давно к тебе, на крыльях мечтанья,
Несытая летит душа моя!

(Опубликовано в его кн.: Стихотворения. СПб., 1832.)

³³ В связи с литературной судьбой «Ганца Кюхельгартена» следует упомянуть эпизод, описанный Ал. Лазаревским: летом 1855 г. московский «кни-

гопродавец-библиоман» И. Г. Кольчугин показал ему книгу «Разные стихотворения Иосифа Олова» [М., 1832], прибавив, «что настоящий автор этой книжки — Н. В. Гоголь, отдавший будто бы сам г. Кольчугину эту книжку на комиссию, но потом отобравший все экземпляры назад» [Сборник, 1857, с. 347]. Содержание и стиль этой книги исключают ее принадлежность Гоголю, что было показано в свое время В. Каллашом [ЛВ. 1902. Кн. 1. С. 11]. Последний, однако, оставил открытым следующий вопрос: «Если Кольчугин смешал Олова с Оловым, то как вообще он мог узнать про Олова и его тождество с Гоголем?» На возникновение подобной версии могли повлиять уже появившиеся к тому времени публикации Кулиша; однако возможно, что она возникла и под влиянием каких-то слухов об авторстве и обстоятельствах продажи и уничтожения первой книги Гоголя.

³⁴ К первым месяцам пребывания Гоголя в Петербурге относятся воспоминания В. П. Бурнашева, описывающего связь Гоголя и его соученика по Гимназии Любича-Романовича с некой «мешанской девкой». Свидания проходили якобы в Варваринской гостинице. «Романович, страстный и плотоядный любитель этого рода грязных наслаждений, невзирая на то, что Гоголь о теперешней Гетере отнесся с такой гадливостью, хотя и неудачно каламбуя, упросил Гоголя угостить его на даровщину этою дивчатой. Гоголь, хохоча и жаргуя по-хохлацки, из чего я не все понимал, согласился ввести Романовича за перегородку, а сам стал на комод, стоявший у перегородки, предложил мне сделать то же, чтобы видеть “подвиги Любича”, как он выразился. Я стал на комод и видел гнусную сцену, после которой я уже никогда ни с Романовичем, ни с Гоголем не встречался, хотя обожал творения последнего» [ИРЛИ. Ф. 412. № 14]. В. Бурнашев — ненадежный источник (ср. ниже прим. 45), однако склонность молодого Гоголя к грубым, скабрезным выражениям, как мы увидим, подтверждается другими источниками. Это не исключает возможности переживаний иного, высокого плана.

³⁵ По-видимому, Гоголь имел в виду не Дюрера, а Г. Мемлинга. Впоследствии его триптих в кафедральном соборе Любека видел и описал Анненков [Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 6].

³⁶ Согласно комментарию первого академического издания в доме Иохима «вместе с Гоголем жили Н. Я. Прокопович и И. Г. Пашенко» [X, 424]. Но Пашенко был еще в Нежине — он окончил Гимназию весной следующего, 1830 г. Очевидно, третьим лицом был А. С. Данилевский, который «готовился к школе (гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. — Ю. М.), живя у Иохима» [X, 253].

³⁷ «При всем моем старании отыскать что-нибудь в делах III отделения по экспедиции личного состава, не удалось найти ровно ничего — дела эти уничтожены даже и за гораздо более поздние годы... Таким образом, нет пока возможности или опровергнуть, или принять рассказ Булгарина, как факт...» [Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908. С. 135]. А. И. Кирпичников, ссылаясь на лиц, в «подобных вопросах очень компетентных», указывает, что дела в аналогичных случаях могли и не заводиться [Изв. ОРЯС императорской Академии наук, 1900. Т. 5. Кн. 2. С. 615]. Ср. в новой работе: *Рейтблат А. И.* Служил ли Гоголь в III отделении // *Филологические науки.* 1992. № 5–6. С. 23–30.

³⁸ Любопытна реакция на публикацию Ф. Булгарина такого современника, как И. С. Аксаков. В письме родителям (от 27 августа 1854 г.) он писал: «Очень могло быть <...> что мальчик Гоголь, попавши в Петербург и не имея ни о чем верного понятия, ни о Булгарине, ни о III отделении, последовал совету какого-нибудь приятеля, уверившего его, что таков обычай и порядок, что так у практических людей заведено и проч. Вообще люди с натурами чисто художественными способны делать страшные глупости и простым, ясным, здравым умом не отличаются — большею частью» [Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. Ч. 1. С. 64–65]. Следует заметить, что свое предположение Аксаков сделал, так сказать, в ожидании подтверждающих документов («...Булгарин обещает, в случае нужды, напечатать и стихи, и письмо Гоголя — последнее чуть ли не о деньгах...»), чего, как мы знаем, не последовало.

Публикация Булгарина обратила на себя внимание высших чиновников Министерства народного просвещения и III отделения. Министр народного просвещения А. С. Норов и управляющий отделением генерал-лейтенант Дубельт обменялись секретными отношениями, в которых сообщение Булгарина было названо «совершенно неуместным» (Литературный музей. Цензурные материалы I-го отд. IV секции Государственного Архивного фонда. <вып.> 1 / Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксманна. Петербург, [б. г.]. С. 176–180). Высказывалось мнение, что, поскольку III отделение не опровергло версию Булгарина, оно тем самым косвенно подтвердило причастность Гоголя к службе в этом отделении. Однако в переписке шла речь именно о *неуместности* подобных публикаций; подтверждать или опровергать соответствующие факты III отделение не считало в данном случае нужным.

³⁹ Дело Н. П. Мундта находится в Центральном историческом архиве в Петербурге [ф. 497, оп. 1, ед. хр. 3318] (за предоставление этих сведений выражаю признательность А. Я. Альтшуллеру).

⁴⁰ «Урок старикам» К. Делавиня (Мундт называет комедию «Школой стариков») поставлен впервые в Петербурге в 1828 г. [Вольф, ч. 2, прил. 34, с. 11).

⁴¹ По поводу этого произведения П. Кулиш писал: «Я знаю от Н. Я. Прокоповича, что статья “Полтава” писана Гоголем, и, может быть, только переделана издателем журнала, подобно тому, как и “Басаврюк”...» [Кулиш, 1854, с. 43; эту мысль Кулиш высказывал и раньше, в 1852 г.]. Однако если от «Бисаврюка, или Вечера накануне Ивана Купала» Гоголь, несмотря на вмешательство П. Свинына, и не думал отказываться, то в отношении авторства «Полтавы» он высказался совершенно определенно. 3 июня 1830 г. он писал матери: «Рекомендую вам прочесть описание Полтавы господина Свинына, в котором я, хотя и природный жилец Полтавы, много однако ж нашел для меня нового и доселе неизвестного». Действительно, в очерке рассказывается о событиях, которые имели место именно с приехавшим в Полтаву Свиныным, встрече и беседе с И. П. Котляревским, о посещении его дома, встречах с другими полтавцами и т. д. Утверждение П. Кулиша об авторстве Гоголя оспорил еще Н. С. Тихонравов в статье «Библиографические поправки и дополнения...» [МВед. 1853. № 51. С. 521]. Более сложное решение проблемы предложил в

1934 г. В. В. Данилов. Не оспаривая в целом авторства Свинына, он видит все же в тексте очерка «следы художественной руки Гоголя» [Данилов, с. 39–44]. Помимо уже известной ссылки на Прокоповича, в качестве аргументов служит то, что в книге П. В. Быкова «Силуэты далекого прошлого» (1930) упомянуто, будто бы Гоголь говорил своему знакомому Н. Мизко, что «собирается печатать это свое произведение». Сведения эти недостоверные: Николаю Дмитриевичу Мизко к моменту написания очерка было всего 12 лет, встреча его с Гоголем произошла значительно позднее — в 1851 г. в Одессе. Серьезнее другой аргумент исследователя — о наличии в «Полтаве» характерно гоголевских стилистических оборотов («...Величественный дуб торжественно и одиноко возносится среди необозримой пустоты»; «Скаты косогора <...> спускаются к лугу садами, нагнувшись от тяжести вишен, яблок, слив, груш и прочих плодов, произрастающих во всей красе под теплым украинским небом»; «Это ничего больше, как одна ровная и безлесная степь...»), к которым находятся параллели, в частности в «Сорочинской ярмарке». Версию об авторстве Гоголя отстаивал и Василий Осокин [см. его статью «Все-таки Гоголь!» // Сов. культура. 1976. № 53. С. 6], оперируя теми же аргументами, что и Данилов. Последний аргумент в защиту авторства Гоголя граничит с курьезом: мол, репликой Коробочки в «Мертвых душах» о соседских помещиках писатель отомстил Свиныну за присвоение очерка («Бобров, Свиным, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков»): «Это ли не лучший способ ответить плагиатору!» Но как можно говорить о «плагиате», если сам же Гоголь в упоминавшемся письме к матери указывает на авторство Свинына! Наиболее вероятная картина, по моему мнению, та, которую предлагает Данилов: очерк в основном и целом написан Свиныным, но последний мог воспользоваться материалами Гоголя. Кстати, одна не обратившая на себя внимание особенность очерка: все случаи стилистических совпадений с гоголевскими текстами находятся в самом начале, описывающем дорогу «от Решетилówki до Полтавы». Это начало и может восходить к Гоголю.

⁴² М. И. Гиллельсон, В. А. Мануйлов, А. Н. Степанов, не приводя, к сожалению, доказательств, указывают на принадлежность Гоголю следующих материалов из «Отечественных записок» за 1830 г.: «Наставление Выборному от Малороссийской коллегии в комиссию о сочинении проекта нового уложения г. Коллежскому советнику и члену той коллегии Наталину» [Ч. 41. № 119. С. 347–376; № 120. С. 44–74]; «О прежних правах, вольностях и преимуществах Малороссии» с примечанием: «Извлечено из экстракта, сочиненного в 1751 году Войсковою канцеляриею» [Ч. 42. № 122. С. 324–356]; «Нигде не напечатанное доселе письмо Петра I к нежинскому наказному полковнику Жураковскому» [Ч. 43. № 124. С. 355–356]; «Историческая запорожская песня» [Ч. 42. № 123. С. 253]. Однако говорить о принадлежности Гоголю этих материалов можно пока только предположительно [ср. Гиллельсон, 1961, с. 53]. Заметим, кстати, что на упомянутые материалы как на гоголевские указывал еще В. В. Данилов, основываясь на принятом тогда прочтении следующих строк из письма Гоголя к матери от 10 октября 1830 г.: «В них (в книжках журнала. — Ю. М.), включая разве некоторых, мало занимательных статей, предупреждаю

вас, чтобы и не искали там чего-нибудь моего» [Данилов, с. 39–40]. Современное прочтение в корне меняет смысл: «Посылаю вам, бесценнейшая маминька, три следующие книжки Отечественных записок, в них однако ж, выключая разве некоторых, мало занимательных статей. Предупреждаю вас, чтобы и не искали там чего-нибудь моего...» [X, с. 185]. То есть Гоголь имеет в виду *не свои* статьи.

⁴³ Характерна и параллель (правда, более поздняя — 1845 г.) между Сикстом и Борисом Годуновым [Белинский, т. VII, с. 518].

⁴⁴ Летом 1831 г. Ф. П. Толстой встречался с Пушкиным в Царском Селе. Гоголь проживал в это время в Павловске, бывал у Пушкина; следовательно, возможна была и его встреча с Толстым. Однако М. Ф. Каменская, дочь Толстого, рассказывая о пребывании в Царском Селе, Гоголя не упоминает [Каменская, с. 175]. Говоря же об участии Гоголя в «воскресных вечеринках», мемуаристка описывает присущую ему комическую манеру: «...Рассказывая такие вещи, от которых слушатели его лопались от смеха, сам никогда не смеялся: сидит серьезно, как на похоронах, и даже ни разу не улыбнется...» [Каменская, с. 188].

⁴⁵ В. Бурнашев рассказывает, что в одну из пятниц у А. Воейкова он был свидетелем разговора между В. И. Карлгофом и бароном Розеном по поводу только что вышедшей первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Карлгоф сказал, что он уже читал повесть «Вечер накануне Ивана Купала» в «Отечественных записках». «Обратите внимание, Вильгельм Иванович, — заметил барон Розен, — на примечание, сделанное в этой повести ее автором. Оказалось, что почтеннейший Павел Петрович Свинынь, не поняв всех наивных прелестей малороссийского неподдельного юмора, позволил себе сделать в этой повести разного рода переделки какого-то канцелярского цвета. Автор по поводу этих не прошенных им переделок заставляет двух лиц вести между собою разговор, в котором одно, широкий хохол, выражается очень мило по-хохлацки» [Бурнашев, с. 166]. Воспоминания Бурнашева весьма сомнительны с фактической стороны (он явно придумывает сцены и диалоги, которых не было), однако в данном случае важны не факты, а отношение: современники подметили полемичку Гоголя со Свиныньным и его недовольство нивелирующей правкой редактора.

⁴⁶ В письме к матери от 21 августа 1831 г. Гоголь сообщал, что «Глава из исторического романа», являющаяся частью «Гетьмана», написана «еще в нежинской Гимназии» [X, 205]. Это утверждение правомерно оспаривается биографами. Возможно лишь то, что к гимназической поре относится первоначальный замысел произведения, на историческую тему, который затем получил воплощение. О новонайденном автографе «Гетьмана» см.: *Чарушикова М. В.* Фрагмент незавершенного романа Н. В. Гоголя «Гетьман» / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Записки отдела рукописей. Вып. 37. М., 1976. С. 185–208. См. также: *Заславский О. Б.* О замысле «Гетьмана» // *Russian Literature*, 1997, XLI, pp. 93–120; *Karpuk Paul A.* Gogol's unfinished historical novel «The Hetman» // *Slavic East European Journal*, 1991, Vol. 35, № 1, pp. 36–55.

⁴⁷ Речь идет об изданной А. Краевским книге: *Об исторических таблицах В. А. Жуковского* / Соч. А. Краевского. СПб., 1836. В обширном предисловии издателя говорится о преимуществах этой таблицы в сравнении

с уже существующими (Лесажа, Ниссена и др.): «на малом пространстве» изображаются «все *важнейшие факты* (курсив в оригинале. — Ю. М.) какого-либо исторического отдела», «так, чтоб на одном листе или карте учащийся мог окинуть весь такой отдел одним взглядом...» [с. 11–12]. Это близко точке зрения Гоголя.

⁴⁸ Кстати, следует принять во внимание, что В. П. Кочубей с 1822 г. был почетным любителем Академии художеств [Кондаков, с. 293], которую посещал Гоголь.

⁴⁹ По мнению А. И. Маркевича [Заметка о псевдониме Н. В. Гоголя «Рудый Панько» // Известия ОРЯС имп. Академии наук, 1898. Т. 3. Кн. 4], Рудый Панько — иносказательное обозначение самого Гоголя: Рудый — намек на цвет его волос, которые в молодости «имели заметный рыжеватый оттенок», а Панько — прозвище его по деду Афанасию: Афанасий — по-украински Панас [с. 1270]. Однако, как указывал В. Гиппиус, Гоголь соотносил имя Панько не с Афанасием, а с Пантелеймоном [см. IX, 513; Гиппиус, 1941, с. 5]. Кроме того, современники, описывая белокурый цвет волос Гоголя, не упоминают об их рыжеватом оттенке. Все это делает сомнительной версию Маркевича.

⁵⁰ А. И. Дельвиг выехал в Москву 7 мая, в день рождения его племянницы, дочери покойного Антона Дельвига. Приезд Сергея Баратынского, сватовство его к вдове Софье Дельвиг в конце мая — все это происходило в отсутствие мемуариста. Ошибки здесь не может быть, так как имеется датированное письмо С. Дельвиг [Дельвиг, с. 196].

⁵¹ «Летом 1831 в Царском селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою обыкновенно около озера» [РА. 1882. Кн. 1. С. 245].

⁵² С. В. Житомирская считает хронологическое приурочение, сделанное Смирновой-Россет, правильным: знакомство ее с Гоголем «началось летом 1831 г. в Царском селе» [Смирнова, 1989, с. 601, 642].

⁵³ Подробнее об искаженном пространстве у Гоголя см. в моей книге: «Поэтика Гоголя. Вариации к теме» [3-е изд. М., 1996. С. 106 и далее]. Анализ этой проблемы содержится также в исследованиях: Вайскопф, с. 61 и далее; Кривonos, с. 8 и далее; и других.

⁵⁴ В. И. Любич-Романович приводит слова Пушкина, якобы сказанные им в связи с «Вечерами на хуторе...»: «Живые типы, им выведенные, далеко не натуральны, напротив, они сказочны...» [ИВ. 1902. № 2. С. 553]. В версии мемуариста акцент несколько смещен: недостатки вышли на первый план (ср. у Пушкина: «...мы... охотно *простили* ему...»).

⁵⁵ Вскоре после публикации рецензии Ф. Булгарин отграничил свою позицию более определенно: в «Письме из Петербурга в Москву к В. А. Ушакову» он писал: «Книгу “Вечера на хуторе близ Диканьки” я не успел еще прочесть. Прочел предисловие — и утомился. Развертываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рошей; но, как многие хвалят эти повести, то удосужусь прочесть и скажу об них свое мнение» [СП. 1831. № 289]. Булгарин высказал свое мнение о книге по выходе 2-го издания [СП. 1836. № 26].

⁵⁶ Для генезиса «Ночи перед Рождеством» интересна запись высказывания Екатерины II, сделанная ее кабинет-секретарем А. В. Храповицким в его «Памятных записках...»: «При чтении Московских газет объявление об опере “Черевики”; вопрос о том слове?» [ОЗ. 1821. Ч. 7. № 16. С. 148]. На эту запись обратил внимание Кулиш в письме к В. Шенроку от 14 (26) июля 1890 г. [Крутикова, с. 296]. Все это могло подготовить, говоря современным языком, оппозицию «Украина и Петербург» в ее специфическом выражении: «черевики» и «Екатерина II».

^{56a} О тенденции «распада Козацкого Мира» см., в частности: Денисов, с. 45.

⁵⁷ По другим сведениям [Русский инвалид, или Военные ведомости. 1832. № 46], было 120 гостей. Н. Греч [СП. 1832. № 45] называет цифру 51, что, по-видимому, ближе всего к истине.

⁵⁸ Из Москвы А. Божко отправился на Украину, в родные места (ср. в письме Гоголя А. Данилевскому от 15 июня 1832 г.: «Наши нежинцы почти все потянулись на это лето в Малороссию...»). Из Москвы Гоголь пишет Н. Прокоповичу, находившемуся также на Украине: «Я думаю, ты уже слышал от Божка, что путь мой был не слишком благополучен» [X, 234; Гоголь имеет в виду то, что он приехал в Москву больной]. Есть сообщение Т. Пашенко, что Гоголь приехал в Москву в сопровождении его брата, И. Пашенко, и А. Данилевского [Б. 1880. № 268], но это исключено, так как Данилевский в это время находился на Кавказе. Ошибочны и другие сообщаемые Пашенко сведения относительно пребывания Гоголя в Москве, например, то, что писатель читал у Дмитриева свою «Женитьбу», работа над которой еще даже не начиналась (см. об этом ниже).

⁵⁹ Ср. запись в дневнике Н. Иваницкого (от 16 сентября 1844 г., Петербург): «Между прочим, Краевский упомянул, что “Старосветские помещики” Гоголя написаны с рассказа Щепкина» [Шукинский сборник. М., 1909. Т. 8. С. 320]. Возможно, подразумевается именно эпизод с кошкой.

⁶⁰ Описание дома Дмитриева, в котором бывала «вся пишущая братия, от Прокоповича-Антонского (профессора Московского университета. — Ю. М.) до Гоголя включительно», см. П. Б. «Дом И. И. Дмитриева» [РА. 1893. № 11].

⁶¹ Доказательством может служить запись Н. М. Языкова: «18-го июля (1832) Свербеев познакомился с двумя петербургскими литераторами, проезжавшими через Москву: с князем Одоевским и с Гоголем» [РС. 1903. Кн. 3. С. 531; очевидно, именно это место «приблизительно, на память» приводит В. Шенрок — см. Шенрок, т. 2, с. 117]. Что касается самого Языкова, то он, по-видимому, разминутся с Гоголем. А. Д. Свербеев в собрании писем поэта делает пометку: «За май и июнь 1832 г. нет писем. Должно полагать в это время выезд Языкова из Москвы, к родным, в Симбирскую губернию» [ОР РГБ. Ф. 332, 51, 22. С. 32]. Нет сведений и о встрече с Гоголем во время вторичного пребывания его в Москве, после возвращения из Васильевки. Знакомство обоих писателей произошло в Ганау 30 июня 1839 г. [Шенрок, т. 3, с. 351].

⁶² Впоследствии Лукашевич вновь побывал за границей. В 1839 г. М. Подин встретил его в Праге, куда Лукашевича, очевидно, привели славя-

новедческие интересы. Новые работы Лукашевича («Греческий корнеслов», «Объяснение ассирийских имен» и т. д.) носят явно графоманский, псевдонаучный характер, что было связано с усиливающимся психическим расстройством. По словам биографа Лукашевича, «амбары его деревенской усадьбы (в местечке Березани Полтавской губернии. — Ю. М.) и полки киевских книжных магазинов завалены были этими книгами, которых не брал никто, а если брал, то выбрасывал с негодованием» [КС. 1889. № 1. С. 246]. Гоголь, возможно, был осведомлен о развивающейся болезни Лукашевича. Получив о нем известие от Погодина, Гоголь писал 25 марта 1839 г. н. ст.: «Этот приятель наш и чудака будет нынешнее лето в Мариенбаде».

⁶³ Приводимое свидетельство А. Афанасьева слово в слово повторено в опубликованных позже «Рассказах М. С. Щепкина» [ИВ. 1898. № 10. С. 216]. Очевидно, записавший эти рассказы А. М. Щепкин (сын артиста) или публикатор М. А. Щепкин (внук артиста) просто вставили опубликованный текст Афанасьева в свой «рассказ».

⁶⁴ До Гоголя дошли слухи о переводе преподавателей из Волынского лицея в Киев: «Говорят, уже очень много назначено туда каких-то немцев. <...> Хотя бы для святого Владимира побольше славян» [X, 288]. Возможно, эти неточные слова и побудили советских исследователей считать Цыха «немцем».

⁶⁵ Есть сведения, что вначале Бадке возражал против назначения Новицкого, предпочитая ему более подготовленных, по его мнению, немецких «докторов» Поссельта или Штейна, но Максимович настоял на Новицком — и Бадке «впоследствии сам радовался приобретению этого блестящего преподавателя» [Максимович, 1871, с. 40].

⁶⁶ Двойная фамилия Гоголя вновь «всплыла» бы в связи с подачей аттестата, но, по-видимому, до этого дело не дошло. Зато в Петербургском университете, куда Гоголь был позднее принят, он по этой же причине фигурировал именно как Гоголь-Яновский.

⁶⁷ Полное название этой книги таково: «Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки, и какой он должен быть именно, как вообще, так и особенно в университетах? Рассуждение, написанное кандидатом Владимиром Цыхом для получения степени магистра по части исторических наук» [Харьков, 1833].

⁶⁸ Высокая оценка первой лекции содержится и в других воспоминаниях Иваницкого: «Первая его лекция, напечатанная после в Арабесках, была превосходна» [Шукинский сборник. М., 1909. Т. 8. С. 243]. Два других мемуариста А. С. Андреев и В. В. Григорьев характеризуют гоголевский дебют совсем иначе. По словам первого, Гоголь опоздал на полчаса, а через четверть часа после начала лекции «сказал, что продолжать более не может, потому что не успел подготовиться. <...> Что было со студентами, отгадать не трудно!». [Сегодня. М., 1927. Т. 2. С. 164]. Однако сам Андреев (1792—1863), воспитатель и преподаватель математики в Петербургском училище правоведения (с 1835 по 1850 г.), не присутствовал на лекции;

он передает мнение других лиц, очевидно, распространяя их суммарное впечатление о Гоголе-преподавателе на первую его лекцию. Мнение Григорьева («...Сконфузился наш пасечник, читал плохо и произвел весьма невыгодный для себя эффект» — [РБс. 1856. Т. 2. С. 25]), также, по-видимому, распространяет общую оценку преподавательской деятельности Гоголя на его вступительную лекцию.

⁶⁹ А. М. Языков писал В. Д. Комовскому из села Языкова (письмо относят к осени 1833 г.): «Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга... Знаете ли вы, что Гоголь написал комедию “Чиновник”? Из нее Пушкин сказал нам несколько пассажей, чрезвычайно острых и объективных» [Садовников, с. 537]. Значит, еще до отъезда из Петербурга, летом 1833 г. Гоголь (как отметили Н. Петрунина и Г. Фридлиндер) познакомил Пушкина с драматическим произведением, предшествовавшим «Утро делового человека», которое драматург называл также «Утро чиновника» (опубликовано в 1836 г. — [Пушкин. Исследования, 1969, с. 205]).

⁷⁰ Соответствующий глагол употреблялся и во вполне серьезных контекстах в применении именно к божественным существам (ср. у Жуковского в стихотворении «На кончину ее величества королевы Виртембергской»: «Ты улетел, небесный посетитель; / Ты *погостил* недолго на земли...»). Гоголевский эффект (как это часто происходит у него) состоит в нюансах, то есть в семантике словосочетания («*опустилось* гостить»).

⁷¹ Характерно недоумение рецензента: Гоголь назвал «свою книгу, не знаем почему, именем уездного городка Полтавской губернии...» [СП. 1835. № 115. С. 459].

⁷² Подробнее о «Портрете» в связи с гоголевской онтологией — в моей статье «Художник и “ужасная действительность”» [Динамическая поэтика. М., 1990]. В настоящей книге повторены некоторые положения указанной статьи.

⁷³ Письмо Баратынского, датированное комментаторами «началом мая 1835» [Баратынский, с. 256], можно приурочить к более определенному времени. Поэт говорит о «невозможности *сегодня* воспользоваться вашим (Погодина. — Ю. М.) приглашением». Значит, письмо написано в день чтения «Женитьбы» — 4 мая.

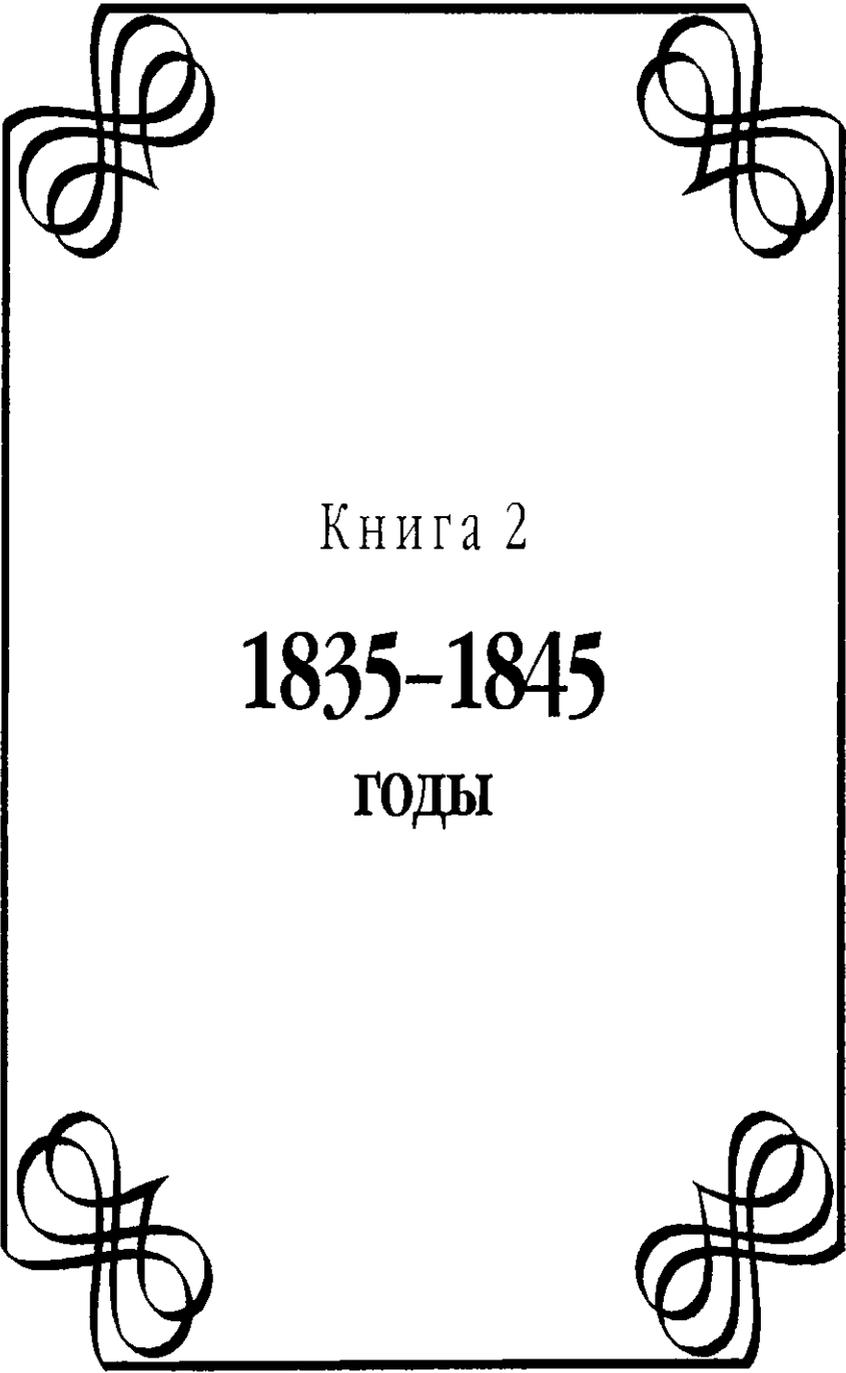
⁷⁴ Фраза из отзыва Надеждина о Гоголе была приведена надеждинским биографом [Козмин, с. 488]. В полном виде отзыв опубликован С. Осовцовым в его статье «А.Б.В. и другие» [РЛ. 1962. № 3. С. 89]. Цитирую по автографу ввиду имеющихся здесь некоторых (незначительных) разночтений.

⁷⁵ К пребыванию Гоголя в Москве по возвращении из Васильевки и следовало бы приурочить эпизод, о котором сообщает брат Ивана Пашенко Тимофей Григорьевич. Согласно этому сообщению, в гостиницу, где остановились Гоголь, Данилевский и И. Г. Пашенко, явился И. И. Дмитриев, выразил желание «лично познакомиться с Гоголем» и пригласил всех троих к себе домой. «Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть “Женитьбу”. Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин» [Воспоминания, с. 46]. Однако здесь явные хронологические смешения. Гоголь познакомился с Дмитриев-

евым еще в первый приезд свой в Москву в 1832 г. Факт посещения Гоголем Дмитриева в 1835 г. и чтения у него «Женитьбы» пока не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть.

Исправим, кстати, неточность, содержащуюся в хронологической канве жизни Гоголя в первом академическом издании, где сказано, будто бы в Москве, на обратном пути из Васильевки, он встречался с Погодиным [X, 28]. Но Погодин в это время был за границей — он выехал из Москвы 1 июля 1835 г. и в октябре через Вену приехал в Киев [Барсуков, т. 4, с. 309, 329].

⁷⁶ Увольнению Гоголя из университета содействовало вышедшее в конце 1835 г. постановление, «по которому он должен был выдержать испытание на степень доктора философии, если бы пожелал занять профессорскую должность» [Кулиш, 1854, с. 53]. М. И. Гиллельсон предполагает, что пушкинский совет Гоголю написать историю русской критики связан с предстоящим публичным испытанием [РЛ. 1875. № 4. С. 156–159]. Согласно опубликованному в конце 1835 г. «Общему уставу императорских российских университетов» для получения звания адъюнкта надлежало «по крайней мере иметь степень магистра» (которой Гоголь не имел), а для приобретения последней нужно было выдержать специальное «испытание» [ЖМНП. 1835. № 8. С. LXXVI, LXXIV].



Книга 2

1835–1845

ГОДЫ



Часть первая

НА ПОДСТУПАХ К КНИГЕ ЖИЗНИ

В 1835 г., скорее всего осенью, произошло событие, ознаменовавшее начало нового этапа в биографии Гоголя: он приступил к «Мертвым душам». Это было не просто еще одно произведение или даже произведение самое значительное. С «Мертвыми душами» связано изменившееся или, точнее, *изменяющееся* мироощущение писателя, принципиальная новизна в авторской самоориентации.

Позднее в «Авторской исповеди» Гоголь так обозначит этот рубеж: «Он (Пушкин) уже давно склонял приняться меня за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: “Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!” Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если б не принял за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ» [VIII, 439–440].

В. Гилпиус указал, что упомянутая встреча имела место в первую неделю сентября, поскольку к началу этого месяца в Петербург из поездки на Украину вер-

нулся Гоголь, а 7-го числа столицу покинул Пушкин, и до возвращения последнего (23 октября) они видаться не могли; между тем уже 7 октября Гоголь известил Пушкина, что «начал писать Мертвых душ» [Гиппиус, 1931, с. 99]. Ю. Лотман также считает, что «разговор этот мог происходить, вернее всего, осенью 1835 г.», «когда остановилась работа Пушкина над “Русским Пелагом”». Можно предположить, что это и есть тот «сюжет» “в роде поэмы”, который Пушкин отдал Гоголю...» [Лотман, 1988, с. 246].

Действительно, первые пять-шесть дней сентября — наиболее вероятное время знаменательной встречи (хотя, строго говоря, нельзя исключать и того, что разговор произошел раньше, скажем, в первые четыре месяца 1835 г., когда оба писателя находились в Петербурге). Но с чем согласиться невозможно, так это с тем, что именно «Русский Пелаг» Пушкина послужил основой подсказанного сюжета.

Незаконченное пушкинское произведение, от которого остались лишь наброски, описывает историю русского дворянина, «сына барина», его разнообразные приключения и в «большом свете», и в «дурном обществе», и в «обществе умных», то есть скорее всего в оппозиционном кружке декабристской ориентации. Пережил ли этот персонаж «моральное падение» [Чичерин А., с. 108], или же, напротив, согласно другому предположению, сумел сохранить нравственную чистоту среди разврата и грязи [Анненков, 1881, с. 48], но во всяком случае его жизнеописание не обнаруживает ничего похожего на «предприятие» Чичикова. Однако Гоголь едва ли стал бы говорить о пушкинской подсказке, о переданном ему сюжете, если бы этот сюжет не содержал в себе нечто специфическое для его будущего произведения, а именно *аферу с мертвыми душами*. Вспомним историю «Ревизора» (начавшуюся несколько позднее) и сохранившийся набросок Пушкина «Криспин приезжает в губернию на ярмонку...». Конечно, Гоголь не следует буквально пушкинскому плану; конечно, скажем, Хлестаков — это не Криспин; однако уже в упомянутом наброске намечена и весьма важная для всех остальных персонажей административная ошибка (Криспина принимают *за другого*) и, значит, общая ситуация *qui pro quo*. Соответственно и в подсказке, относящейся к будущей гоголевской поэме, должна была содержаться сама «изюминка», то есть идея упомянутой аферы.

О том, что Пушкина занимала подобная тема, свидетельствуют современники. Еще во время пребывания в Бессарабии он заинтересовался установившимся в Бендерах порядком вещей: жителей этого маленького городка называли «бессмертным обществом», так как смертные случаи здесь не регистрировались и имена умерших передавались другим лицам, беглым крестьянам, стекавшимся на юг из разных губерний России. Позднее, уже проживая в Одессе, Пушкин не раз справлялся у своего бессарабского знакомого И. П. Липранди: «Нет ли чего новенького в Бендерах?» [РА. 1866. Стлб. 1462–1468].

О другом же эпизоде рассказывает историк и библиограф П. И. Бар-тенеv: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. “Из этого можно было бы сделать роман”, — сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года» [РА. 1865. № 5 и 6. Стлб. 745]. Пушкин не реализовал тему «мертвых душ», но посоветовал из нее «сделать роман» Гоголю, который на первых порах именно так определял жанр своего произведения («...сюжет растянулся на предлинный роман»).

Еще две-три детали разговора Пушкина с Гоголем. Знаменательно прежде всего упоминание Сервантеса. Автор «Дон Кихота» фигурировал в русском литературном сознании (как, впрочем, и в западно-европейском) в различных ипостасях — как один из зачинателей нового романа, как автор пародии на рыцарский эпос и просто как великий художник. В таком ранге он всегда представлялся и Гоголю: скажем, в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836), где имена Сервантеса и Шекспира поставлены рядом [VIII, 172], или в черновых редакциях «Мертвых душ», где «портрет» великого испанца упомянут среди тех, кто служит для Гоголя источником вдохновения (еще «портреты» Шекспира, Ариосто, Филдинга и Пушкина). Однако во время передачи сюжета выступила вперед, так сказать, другая функция этой фигуры — быть наставительным примером *эволюции от просто талантливых произведений к произведению великому, всемирному, обеспечившему его автору бессмертие*. В «Дон Кихоте» виделось нечто непрерываемое, неисчерпаемо глубокое и вместе с тем элементарно-очевидное: «Ни древняя, ни новая литература, — говорил человек пушкинского круга П. А. Плетнев, — ничего не произвела замечательнее этой книги, которую, повидимому, мог бы написать всякой дюжинный сказочник: так все в ней легко, свободно, просто» [ЛПРИ. 1837. 10 апреля. № 15]. Именно таково, в глазах Пушкина и Гоголя, предназначение будущих «Мертвых душ».

Вполне правдоподобной в упомянутом рассказе из «Авторской исповеди» выглядит и пушкинская ссылка на «недуги» Гоголя, которые могут внезапно прервать его литературную карьеру. Бывают люди, которые скрывают свои недомогания и болезни, — Гоголь к ним не принадлежал. Наоборот, с молодых лет имел он обыкновение жаловаться на «хилое здоровье» — и на головную боль, и на горло, и на «боль в печенке и в спине», и на «запор», и на «понос», и на грудное стеснение; говорил, что «причина болезни его находится в кишках», и вообще, что он «болен неизлечимо». Так что самое время было поторопить Гоголя с главным трудом его жизни.

Наконец, пушкинская подсказка имела для Гоголя то значение, что она представляла собою, как выразился позднее писатель, «смешной проект». Никакое жизнеописание героя в «пеламовском» духе не

подходило бы под такое определение, в то время как афера с мертвыми душами, будучи действительно «смешным проектом» главного героя, отвечала душевным устремлениям его автора.

Дело в том, что новый этап гоголевской биографии, связанный с началом работы над «Мертвыми душами», характеризуется еще одним моментом, на который совершенно не обращено внимания. В другой статье — в «Четырех письмах к разным лицам...» — Гоголь связывал углубление своего комического дара на стадии возникновения «Мертвых душ» с неким пережитым им «необыкновенным душевным событием». Каким именно «событием», писатель не объясняет, добавляя лишь то, что свое «душевное обстоятельство» он «не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину» [VIII, 292, 294]. Другими словами, все это случилось еще *при жизни Пушкина*.

Обычно, когда мы говорим о гоголевских душевных кризисах и переворотах, то подразумеваем более поздние времена — конец лета 1840 г., когда Гоголь, по его словам, даже «нацарапал» завещание; лето 1845 г., когда была сожжена начальная редакция второго тома «Мертвых душ»; или 1847 г., когда появились «Выбранные места...»; или первые недели 1852 г., на которые падает болезнь писателя, уничтожение белой редакции поэмы и смерть. Но оказывается, нечто похожее было пережито Гоголем еще до отъезда за границу.

Что конкретно испытал Гоголь, неизвестно; ничего не сказал он Пушкину, не сообщил и своему «адресату» в «Четырех письмах...»: «Какого рода было это событие, знать тебе не следует...» Но о последствиях говорил охотно: мол, «необыкновенным душевным событием» он был «наведен» на то, чтобы передавать собственные недостатки и дурные свойства своим героям. Очевидно, это был род творческого переключения, или сублимации.

И хотя, повторяю, действительного гоголевского «события» мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, но можно смело сказать, что оно было из разряда тех явлений, которое писатель обозначил как «припадки тоски, мне самому необъяснимой». А это рождало насущную потребность преодоления тоски, растворения ее в смехе и веселости: «Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать», и т. д. [VIII, 439]. Состояние, как мы знаем, знакомое Гоголю с юных лет и часто повторяющееся. Очевидно, и начало работы над «Мертвыми душами» было предварено или сопровождалось обострением подобного состояния, или, говоря иначе, — приступом депрессии. Почему же он ничего не сказал об этом ни Пушкину, ни кому-либо другому? Потому что в противоположность своим физическим недугам и хворостям Гоголь в это время еще держал в глубокой тайне аномалии психического, душевного свойства (потом положение заметно изменилось).

Смех, к которому прибегал Гоголь как творец «Мертвых душ», не исключал другие эмоции и другое настроение, отнюдь не комическое

и не веселое, но как бы образовывал для них основной тон, необходимую эмоциональную подкладку. Это был род самолечения смехом, психологической терапии — именно на этой волне, мы увидим, чуть позже возник и «Ревизор».

Психологическая терапия — общее свойство поэтического творчества, но у Гоголя она имеет свою окраску. «Душа певца, согласно излитая, // Разрешена от всех своих скорбей...» В случае, описанном Баратынским, «скорбь» говорит языком «скорби», печаль — языком печали; гармония проистекает из самого эффекта выговариваемости и раскрытия этих чувств: «Болящий дух врачует песнопенье. // Гармонии таинственная власть // Тяжелое искупит заблужденье // И укротит бунтующую страсть». Но у Гоголя совсем другое — «скорбь» или «печаль» говорят языком комического, преобразующего эти эмоции, отгесняющего их вглубь.

Между тем для окружающих преображенная природа гоголевского смеха нередко скрадывалась. Как раз перед началом работы над «Мертвыми душами» Гоголь мог обратить внимание на следующее место из рецензии Шевырева на «Миргород» (цензурное разрешение журнала с этой рецензией — 19 февраля 1835 г.): «Читая его (Гоголя) комические рассказы, не понимаешь, как достает у него вдохновения на этот непрерывный хохот. По крайней мере так невольно думаешь, что если бы удалось написать такую смешную страницу, — сам бы расхохотался над нею, вдохновение тем бы удовлетворилось, и не в силах был бы продолжать. Я думаю, для того, чтобы не истощаться в смешном, надобно самому не быть смешливым и не покоряться своему собственному вдохновению. Вот почему комики, по большей части, как свидетельствуют их биографии, были серьезны. Это странно с первого раза, а понятно, если мы вникнем <...>. Тот, кто хочет щекотать других, сам не должен быть щекотлив» [МН. 1835. Ч. 1. С. 398–399].

За этими соображениями стоят вполне конкретные наблюдения: если Шевырев в это время (то есть летом 1835 г.) сам и не присутствовал при чтении Гоголем своих произведений, то он был достаточно наслышан об этом от других москвичей, скажем М. П. Погодина или В. П. Андросова. Действительно, Гоголь, как мы знаем, читал с умопомрачительной серьезностью, без тени улыбки. Но у Шевырева этому факту дано наивно-механическое объяснение: мол, не смеялся, чтобы «не сойти с круга», сохранить способность смешить. На каких основах вырастал гоголевский комизм, какие стихии бушевали в его глубинах, — все это оставлено без внимания.

Между тем уже через некоторое время после состоявшейся беседы, 7 октября, последовал, так сказать, гоголевский отчет Пушкину — вспомним приводившиеся строки: «Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон» и т. д. Эпитет «смешон» вновь недвусмысленно указывает на основной тон задуманной вещи, равно как и указывает на него более

позднее признание — из «Авторской исповеди»: «Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что *смешной проект*, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом *охота смеяться* создаст сама собою множество *смешных* явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными» [VIII, 440].

Гоголь, значит, почувствовал, что осуществление его «проекта» — дело долгое, что замысел будет постепенно, не один год созреть и означиваться «сквозь магический кристалл» его сознания. Между тем душевные стимулы, которые питали его главный труд, требовали более скорой реализации. И Гоголь как бы между делом («...рука дрожит написать *тем временем* комедию»), словно взяв временную паузу, принимается за другое произведение.

«СМЕЯТЬСЯ, СМЕЯТЬСЯ ДАВАЙ ТЕПЕРЬ ПОБОЛЬШЕ»

Э то был тоже «смешной проект», но такой, который обещал скорое достижение эффекта, — проект комедии. Еще два года назад, приступив к «Владимиру 3-ей степени», Гоголь страстно мечтал о «современной славе», о немедленной, сиюминутной, громкой реакции зрителей и о том, чтобы это был непременно смех: «...Шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы...» и т. д. Тогда гоголевская мечта не осуществилась, и вообще ни одна из задуманных комедий еще не увидела сцены. Теперь это желание вспыхнуло с новой силой.

Надо заметить, что гоголевская рефлексия обычно высветляла фигуру автора в различных его ипостасях. У Гоголя не *один* образ автора, а *несколько*, правда, соприкасающихся, перетекающих друг в друга (говорим сейчас не столько об образе автора в конкретном произведении, сколько о мироощущении и жизненной самооценке). Поэт, потрясающий сердца современников возвышенными чувствами и глубокими мыслями. Поэт как пронизывающий вестник путей миродержавного промысла. Поэт — мудрый советодатель властей предрержавных, не исключая и самодержца. Но в качестве драматурга автор у Гоголя предстал преимущественно как комик, человек, замечавший смешное и высмеивающий; если и царь, то *царь русского смеха*. Все другие смыслы комедии, обусловленные свойственным Гоголю высоким пониманием искусства вообще, вовсе не исключались, но выступали в аспекте комического.

И тут особенно важным для Гоголя 1835 г., точнее даже второй половины этого года, явилось стремление к *значительности комического*. «Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В Ревизоре я решился

собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем» [VIII, 440].

Сознание моральной пользы психологически укрепляло и оправдывало тоголевскую наклонность к комическому; это был род самотерапии с помощью не только смеха, но и мысли о его высокой миссии, как гражданской, так и религиозной. Правда, эту мысль Гоголь выдвинул на первый план и стал усиленно разрабатывать уже после появления «Ревизора», особенно активно в 1840-е годы, но едва ли можно усомниться в том, что в менее отчетливом виде она присутствовала в его сознании с начала написания комедии.

И вот 7 октября 1835 г., в том же самом письме, в котором сообщалось о работе над «Мертвыми душами», Гоголь выпрашивает у Пушкина другой сюжет, обещая, что «духом будет комедия из пяти актов и клянусь, будет смешнее чорта» [X, 375]. Это был, конечно, сюжет «Ревизора».

Относительно конкретного материала или, точнее, фактов, сообщенных Пушкиным Гоголю, существует большая определенность, чем в случае с «Мертвыми душами», благодаря сохранившемуся в бумагах поэта наброску. Как упоминалось выше, в этом наброске уже содержались важнейшие элементы, из которых впоследствии был построен «Ревизор»: и приезд в некое место (у Пушкина — «в губернию», «на ярмонку») стороннего лица, и должностное *qui pro quo*, и вытекающее отсюда двойное ухаживание прибывшего как за женою местного начальника (у Пушкина — губернатора), так и за его дочь, вплоть до сватовства к дочери. Конечно, эти элементы оказались в тоголевском произведении значительно переосмыслены (важнейшее изменение коснулось виновника всей этой кутерьмы, который из мистификатора с более или менее определенной инициативой, о чем свидетельствует его двойное имя «Свиньин»-«Криспин»¹, превратился в обманщика поневоле, в ненадувающего лжеца, что привело к перестройке всей комедийной структуры). Однако наличие достаточно разработанного Пушкиным плана вполне подтверждает неоднократно повторявшееся впоследствии тоголевское высказывание о том, что «мысль Ревизора принадлежит *также* ему» (то есть наряду с «Мертвыми душами»).

Подтверждается все это и существующими версиями тех событий, которые послужили поводом для пушкинского, а затем и тоголевского замысла. Таких версий не одна, а несколько. Первая и, видимо, основная — приключение с тем же Свиньиным в бытность его в Молдавии. Последний «выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только, зашедши уже далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен» [РС. 1889. № 10. С. 134]. Эта история сообщена известным ученым-славистом О. М. Бодянским, слышав-

шим ее от самого Гоголя в московском доме Аксаковых в конце октября 1851 г.; при этом автор «Ревизора» (согласно Бодянскому) сослался, в свою очередь, на рассказ Пушкина. На упомянутом вечере у Аксаковых присутствовал и молодой писатель Г. П. Данилевский, который тоже слышал гоголевские слова и передал версию о Свиньине в основном в тех же подробностях и с той же ссылкой на Пушкина как на первоисточник [Данилевский, 1866, с. 214].

Другая версия — приключение с самим Пушкиным, случившееся во время поездки его в Поволжье и Приуралье в августе — сентябре 1833 г. Эта версия также восходит к сообщению самого Пушкина и воспроизведена по крайней мере двумя мемуаристами — писателем В. А. Соллогубом [РА. 1865. Стлб. 744] и неизвестным нам автором, чьи записки процитировал историк и библиограф П. И. Бартенев. Приведем запись Бартенева: «В поездку свою в Уральск, для собирания сведений о Пугачеве, в 1833 г. Пушкин был в Нижнем, где тогда губернатором был М. П. Б. (подразумевается Михаил Петрович Бутурлин. — Ю. М.). Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где командовал его давнишний приятель гр. Василий Алексеевич Перовский. Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б<утурлина> из Нижнего, содержания такого: “У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения об неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее и пр.”» [там же, стлб. 744–745].

Случилось похожее событие и в г. Устюжне Новгородской губернии: некий молодой человек, «будучи племянником сенатора Маврина <...>, приехал в Устюжну, где его ошибочно приняли за его сановного однофамильца — и разыгралась “комедия”». [Речь. 1913. № 301]. Автор настоящего сообщения — а это был не кто другой, как землевладелец того же Устюжнского уезда Ф. Батюшков, потомок знаменитого поэта, — добавляет, что «Пушкин привез этот рассказ из Боровичей», иначе говоря, «привез» из упоминавшейся выше поездки 1833 г. в Поволжье и Приуралье.

Если учесть, что Маврин — вполне реальное лицо (сенатор Семен Филиппович Маврин, умерший в 1850 г.), то раскрывается подоплека и другого свидетельства, сделанного П. Вяземским в его рецензии на премьеру «Ревизора»: «В одной из наших губерний, и не отдаленной, был действительно случай, подобный описанному в “Ревизоре”». По сходству фамилий приняли одного молодого проезжего за известного государственного чиновника. Все городское начальство засуетилось и

приехало к молодому человеку являться» [С. 1836. Т. 2. С. 294–295]. «Не отдаленная губерния» — это скорее всего Новгородчина с городом Устюжна; «молодой проезжающий», носящий фамилию государственного человека, — Маврин; слышал же Вяземский этот рассказ, по-видимому, от самого Пушкина. Но если это так, то и Гоголь мог узнать об этом эпизоде от Пушкина, наряду с историей Свинына.

Наконец, в том же городе Устюжне в мае 1829 г. обратил на себя внимание некий приезжий из Вологды, «одетый в партикулярное платье» и украшенный «малтийским знаком». О личности вновь прибывшего срочно просил сообщить новгородский губернатор А. У. Денфер [Поздеев, с. 32], и спустя несколько дней последовало донесение устюжнского городничего, что действительно «отставной подпоручик вологодский помещик Платон Григорьев Волков прибыл в город на почтовых лошадях с Вологодского тракта <...>, сам был в партикулярном платье, имел малтийский знак. По приезде в город расположился в квартире, а на другой день пригласил к себе штаб-лекаря, брал у него лекарства, за которые его удовлетворил <...>, в домах был у меня два раза, у господина исправника, у откупщика и на именинах у штаб-лекаря. В присутствие не входил, а был у меня в Городническом правлении частно, просил показать ему острог, где смотрел его расположение и сие делал, по моему заключению, из любопытства <...>, а 17 мая отсюда отправился в С-Петербург...» [Панов, с. 125]. В этом сообщении обращают на себя внимание факты довольно широких контактов и посещений со стороны новоприбывшего, вплоть до посещения тюрьмы, то есть «острога» (от чего, впрочем, гоголевский герой уклонился)...

Но вернемся к реальному персонажу, то есть к Платону Волкову. Согласно другому документу, он «имел довольно острый природный ум, соединенный с дерзостью», «склонность к игре и мотовству» [там же, с. 126], хотя никаких корыстных побуждений в его поступках и поведении в Устюжне тамошний городничий не усмотрел.

Стоит еще добавить, что Платон Григорьевич Волков (ок. 1799 или 1800–1850) был в свое время небезызвестным литератором, принимался в Петербурге за издание собственных журналов «Эхо» и «Журнала иностранной словесности и изяшных искусств». Как мы сейчас увидим, о порожденных его пребыванием в Устюжне слухах Гоголь был также слышан².

Таким образом, некорректно сводить реальную предоснову комедии к одному факту или даже к одной группе фактов — происходило как бы нанизывание одного эпизода на другой, что естественно при целенаправленности творческого интереса писателя. Разбуженное воображение обычно, что называется, ловит сходные детали и факты на лету, о чем собственно говорил и автор «Ревизора». Согласно Бодянскому, Гоголь, упомянув о рассказанной ему истории Свинына, добавил, что позднее он слышал «еще несколько подобных проделок, например о каком-то Волкове» Это и был Платон Григорьевич Волков.

Но происходило не только узнавание и накопление фактов новых, неизвестных, но и припоминание или, как мы сейчас говорим, актуализация старых, в том числе и пережитых самим Гоголем. Всего месяц—полтора назад, в августе, писатель, возвращаясь из Киева в Москву вместе с двумя приятелями, А. С. Данилевским и И. Г. Пашенко, разыграл очередную мистификацию — выдал себя за какое-то важное лицо, чуть ли не ревизора, и «благодаря этому маневру, замечательно успешно удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой...» [Шенрок, т. 1, с. 364; см. об этом: Книга 1, с. 345].

В чем же в таком случае значение посказки Пушкина? В том, что он обратил внимание на творческую продуктивность сюжета и подсказал некоторые конкретные повороты последнего. Был дан толчок, творческий стимул, который мгновенно привел в действие художническую фантазию. Для генезиса произведения такой стимул, который одновременно (учитывая, что он исходил от Пушкина) являлся и своеобразной санкцией, — дело немалое.

Уже 6 декабря Гоголь сообщал Погодину, явно подразумевая «Ревизора», что собирается давать на театр комедию, экземпляр которой велит переписать, «для того чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предупредить кого следует по этой части» [X, 379]. Конкретно имеются в виду М. Н. Загоскин, директор московских императорских театров, и М. С. Щепкин, ведущий актер театра. С обоими Гоголь был хорошо знаком со времени своей первой поездки в Москву летом 1832 г., а с «милым Щепкиным» успел и подружиться. Гоголь рассчитывает на поддержку того и другого при осуществлении московской премьеры, которая должна готовиться параллельно с петербургской.

Значит, «Ревизор» был уже в основном готов, и эта необычайная быстрота написания говорит не только об интенсивности труда, но и о том, что «мысль» о комедии пала на хорошо подготовленную почву. А также о том, что комедия зародилась и подошла к завершению как бы на единой, цельной и мощной эмоциональной волне — всеобъемлющего комизма. Из того же письма к Погодину: «Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия!»

Наступающий 1836 г. Гоголь встречает в прекрасном расположении духа. Из письма к матери от 18 декабря: «...Предчувствую, что от него нам ожидать много добра» [X, 379].

ПЕРВАЯ ПРОБА

Публичное чтение Гоголем своих произведений обычно носило характер проверки сделанного. И поэтому еще до премьеры и начала работы над спектаклем он решил подвергнуть «Ревизора» такому испытанию.

Между тем слухи о комедии стали распространяться в литературных кругах Петербурга.

Запись в дневнике В. Г. Теплякова за 1835 г.: «15-го октября — Барте-нев <...>. Вечер кн. Одоевского и Жуковского. Соболевский, Норов (очевидно, Авраам Сергеевич Норов, государственный деятель, писатель. — Ю. М.) <1 сл. нрзб> — Плетнев — Величко (возможно, А. П. Величко. — Ю. М.). Пушкин. Гр. М. Виелгурский (то есть Михаил Юрьевич Виельгорский. — Ю. М.). — Крылов — Бенедиктов — *Гоголь и его "Ревизор"*. Переход к <1 сл. нрзб>. 1836. Встреча нового года у кн. Одоевского <...>» [Пушкин: Исследования, т. 6, с. 278; публикация Е. В. Фрейдель].

Виктор Григорьевич Тепляков (1805—1842) — лицо новое в гоголевской биографии. Отставной военный, уволенный из армии за политическую неблагонадежность, в то же время известный поэт, прозаик, путешественник, археолог, автор замечательных «Фракийских элегий» (1829), получивших впоследствии высокую оценку Пушкина, Тепляков находился в Петербурге с 15 октября 1835 г. по 21 июля 1836 г. В этот период времени он и узнал о «Ревизоре». Но когда конкретно? Дневник Теплякова строится таким образом, что фиксируются крайние даты, между которыми помещаются все имевшие место события; в данном случае это: 15 октября 1835—1836 гг., сразу после Нового года. Судя по расположению, запись о «Ревизоре» относится к числу самых последних за 1835 г.; иначе говоря, хронологически она примерно соответствует тому сообщению о новой комедии, которым Гоголь 6 декабря поделился с Погодиным. По времени это первое известное свидетельство о новой пьесе, переданное другим лицом. И фигурирует она уже под своим окончательным названием, которое определилось с самого начала, возможно, уже в разговоре с Пушкиным. Очевидны также источники, из которых почерпнул Тепляков свою информацию, — это близкие к Пушкину лица, «вечера» у В. Одоевского и Жуковского. Один из таких декабрьских вечеров у Жуковского, где присутствовали и Гоголь, и Пушкин, и Одоевский, и Виельгорский, зафиксирован в дневниковой записи А. И. Тургенева от 10 декабря (впрочем, суббота, когда обычно происходили эти встречи, падает на 7 декабря) [Пушкин в восп., т. 2, с. 210].

А с Нового года Гоголь стал читать комедию. Впервые — 18 января на субботу у Жуковского в Шепелевском доме, где жил поэт.

На следующий день Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию "Ревизор" <...>. Читает мастерски и возбуждает *un feu roulant d'eclats de rire dans l'auditoire* (шквал смеха, прокатывающийся по аудитории). Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши *moeurs administratives* (административные нравы)» [ОА. Т. 3. С. 285].

Первое знакомство с «Ревизором» происходило таким образом под знаком веселости. Стремление Гоголя рассмешить было услышано,

ответом ему стал не просто смех, но «шквал смеха». В более поздней «Приписке» к статье о «Ревизоре» Вяземский, вспоминая о первом чтении, проходившем «при довольно многолюдном обществе», добавляет, что «все внимательно слушали и заслушивались, все хохотали от доброй души» [Вяземский, с. 154]. И больше всех хохотал Пушкин, который, по словам И. И. Панаева, восходящим к свидетельству одного из участников встречи Е. Ф. Розена, «во все время чтения катался от смеха» [Панаев, с. 92].

Сколько времени длилось чтение? Поскольку Вяземский в том же письме пересказывает лишь начало комедии, можно предположить, что чтение в первый вечер не завершилось и продолжилось впоследствии. Е. Розен говорит, что ему довелось слушать «Ревизора» «раз десять как единственное чтение на тех литературных вечерах» [Пушкин в восп., т. 2, с. 322], — но это, по-видимому, преувеличение. Однако факт тот, что чтение было с продолжением. П. Анненков, собиравший сведения об этом событии, также говорит о нескольких встречах [Анненков, 1855, с. 851].

При чтении комедии, состоявшемся 18 января, присутствовал и Бенедиктов, как это можно заключить из упоминавшегося письма Вяземского.

Среди первых слушателей «Ревизора» оказался и Денис Давыдов — лицо, также еще не вписанное в гоголевскую биографию. Поэт-партизан приехал в Петербург в январе 1836 г., 22 января встречался с Пушкиным, который подарил ему экземпляр «Истории пугачевского бунта» вместе со стихотворным посланием «Тебе, певцу, тебе, герою...»; а через три дня, 25-го числа, оба присутствовали на очередной субботе у Жуковского, где были также И. А. Крылов, Плетнев, Вяземский, Тепляков. На следующий день Давыдов представлялся императору и наследнику, затем вместе с Жуковским прошел весь Эрмитаж, смотрел работы Чернецова, писавшего две картины парадов на Марсовом поле. «Художник просил разрешения на одной из его картин изобразить и фигуру старого партизана и потому, как писал Давыдов (в письмах к жене. — Ю. М.), пока он сидел у Жуковского и слушал Гоголя, читавшего свою бесподобную и чудесную комедию “Ревизор”, Чернецов нарисовал его портрет во весь рост» [Жерве, с. 148]. Значит, чтение имело место или вскоре после посещения Эрмитажа, или накануне (скорее всего в субботу, 25 января).

Несколько месяцев тому назад, в мае 1835-го, Давыдову (как и Баратынскому) не удалось присутствовать на чтении Гоголем «Женитьбы» («Женихов»), когда последний останавливался в Москве на пути в родные места [см.: Книга 1, с. 338]. Теперь ему довелось послушать «Ревизора», и это чтение стало составляющей того светлого впечатления, которое вынес поэт из своей петербургской поездки. 14 апреля 1836 г., по возвращении в свое имение, в село Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии, он писал Жуков-

скому: «Я не могу забыть приятнейшего вечера и утра, проведенных у тебя, и вообще краткого, но веселого пребывания моего в Петербурге. Я как будто снова отскочил в прошедшее, встретясь с тобою и с Вяземским, товарищами лучших дней моей жизни» [РА. 1871. № 1. С. 0187]. Когда же Давыдов увидел «Северную пчелу» [№ 255. 6 ноября] с фельетоном Ф. Булгарина «Литературная юмористика», где содержались нападки на его стихи и на повесть Гоголя «Нос», то испытал чувство гордости: «...Уже от Булгарина осыпан выговорами за две эпиграммы мои, из которых одна тебе принадлежит, — пишет Давыдов Вяземскому 21 ноября 1836 г. из Москвы, — Гоголь вместе со мною зацеплен. От такого товарищества, как вы оба, я не прочь» [Давыдов, 1917, с. 49]. Самолюбию Давыдова лестно быть в одной компании с Гоголем.

Но возвратимся к первым чтениям «Ревизора». При том всеобщем одобрении и всеобщем смехе, которыми была встречена комедия, по крайней мере один из присутствовавших занял особую позицию. Это уже упоминавшийся барон Егор (Георгий) Федорович Розен (1800–1860), поэт, драматург, критик, переводчик, с 1835 г. выполнявший обязанности личного секретаря у великого князя Александра Николаевича. О своих переживаниях во время субботнего вечера у Жуковского барон рассказал впоследствии с полной откровенностью: «... Все вокруг меня аплодируют, восхищаются, тешатся. Напрягаю всячески внимание, чтобы понять причину этой общей потехи столь образованного, блистательного общества: не разумею ничего, кроме неестественности, несообразности, карикатурности пьесы» [Пушкин в восп., т. 2, с. 323]. Признания Розена подтверждаются и сторонним свидетельством; по словам И. И. Панаева, барон «гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего “Ревизора”, он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом...» [Панаев, с. 92].

После одной из суббот, провозжая Пушкина, Розен попытался, что называется, раскрыть ему глаза на истинную природу гоголевской комедии. Розен утверждает, что поэт слушал его внимательно и с некоторыми замечаниями согласился... Может быть, просто не хотел спорить?

Для полноты картины приведем еще позднейшую запись, относящуюся к авторскому чтению «Ревизора». П. А. Васильчиков (1829–1898), сын сенатора А. В. Васильчикова, записал в дневнике 15 декабря 1853 г.: «Виельгорский мне рассказывал, как он присутствовал у Волконского при первом чтении “Ревизора”. Пушкин присутствовал. Все были в восхищении. Михаил Юрьевич Виельгорский и князь Вяземский (Петр) одни позволили себе некоторые замечания» [ЛН. Т. 76. С. 349]. Поскольку речь идет о «первом чтении», то подразумевается скорее всего тот самый субботний вечер у Жуковского 18 января³. Во

всяком случае это сообщение добавляет к числу слушателей Гоголя новых лиц: М. Ю. Виельгорского и министра императорского двора князя Петра Михайловича Волконского, под началом которого Гоголь некогда служил в Департаменте уделов. Показательно и упоминание «некоторых замечаний», которые позволили себе сделать Вяземский и Виельгорский.

Это значит, что чтения протекали не абсолютно гладко: некоторая неудовлетворенность была и у слушателей, высказывавших шумное одобрение и восторг. Просто эта неудовлетворенность отступала на второй план, тонула во всеобщей веселости и громком смехе. Так бывало уже раньше, так не раз повторится и в будущем. Гоголевский комизм слишком необычен, его глубина скрадывалась внешней непритязательностью, тривиальностью материала, наконец просто подчеркнутой простотой и естественностью авторской манеры чтения. Что же конкретно могли сказать гоголевские оппоненты, например Вяземский? Возможно, ответ кроется в его же оговорке: «Он удивительно живо и верно, *хотя и карикатурно*, описывает...» и т. д. Оговорка могла стать фактором критического упрека, но могла быть и опущена, отодвинута в сторону перед лицом достоинств гоголевского произведения. Вспомним, что и Пушкин, откликаясь на «Вечера на хуторе...», говорил: «... Мы <...> охотно *простили* ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов...» и т. д. «Простить» мог и Вяземский...

Тем не менее Гоголь по своему обыкновению постарался извлечь из реакции своих слушателей и, может быть, из их критических замечаний конкретную пользу. 18 января, очевидно, сразу же после первого чтения у Жуковского он сообщает Погодину, что хотя комедия «совсем готова была и переписана», но он «должен непременно, *как увидел теперь*, переделать несколько явлений» [XI, 31]⁴.

«... ДО НОВОГО ПРОБУЖДЕНИЯ...»

Гоголь посвящает свои силы комедии; между тем исподволь в его сознании созревает замысел «Мертвых душ». Два произведения, которым отданы творческие устремления писателя — казалось бы, отданы были без остатка, до конца. Но это не совсем так.

У Гоголя была способность: наряду с главной работой копить впечатления и знания впрок, для будущих трудов. Так уж замечательно была устроена его голова, что одновременно обдумывалось и вынашивалось множество планов, только с разной степенью интенсивности и отчетливости. Одни планы находились, как сказал бы психолог, в светлой точке сознания; другие уходили вглубь. В свое время, оставляя университетскую кафедру, Гоголь обращался к своим еще не осуществленным трудам: «Мир вам, мои небесные гости <...>. Вас вновь

опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою...» [X, 378]. Что же опускал теперь Гоголь «на дно души», завершая «Ревизора», готовясь к встрече со зрителями?

Только что упомянутое гоголевское письмо Погодину — это обширная программа намерений, замыслов и интересов. Писатель просит вернуть ему рукопись «Носа» (завалевшуюся в редакции «Московского наблюдателя»), с тем чтобы «его немного переделать и поместить в небольшое собрание» (в конце концов повесть вышла спустя несколько месяцев в пушкинском «Современнике»). Писатель благодарит своего корреспондента за три «подарка»: «Самозванца, Русскую историю и Лекции по Герену» — тут каждое произведение связано с собственными гоголевскими интересами.

По поводу «Самозванца», то есть только что вышедшей пьесы Погодина «История в лицах о Димитрии Самозванце» (М., 1835), Гоголь заметил, что она «не движется на сценической интриге, но тем не менее составляет полную, исполненную правды, стало быть историческую и поэтическую картину». Это, конечно, косвенная рефлексия собственной работы над «Ревизором»: правдивость и полнота «картины» — хороши, но надо еще, чтобы все полностью было подогнано к «сценической интриге», из нее вытекало и в ней растворялось.

Нашлись у Гоголя критические замечания и к другому присланному ему «подарку» — «Лекциям профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» (М., 1835. Ч. 1): книга недостаточно приспособлена к возможностям студентов (Гоголь еще во власти своих университетских воспоминаний) и недостаточно отражает собственные взгляды русского профессора. Тут Гоголь обращается к чрезвычайно понравившемуся ему погодинскому «Очерку русской истории» (МН. 1835. Ч. 1), ибо он пронизан стремлением к универсальности, к «философии истории» — как тогда говорили. В этой философии, применительно к России, Гоголь находит «дальневидный верный вывод»; это значит, ему близка начертанная ученым перспектива, исходящая из признания основополагающей роли реформ Петра I («Во всей истории не было революции обширнее, продолжительнее, радикальнее». — [там же, с. 100]) и процесса укрепления русской государственности и законности, в русле которого, между прочим, мыслилось и присоединение Украины к России («При Алексее пошли в оборот разные новые мысли, создано “Уложение”, знаменующее эпоху гражданского развития; приобретена Малороссия, которая образована была в гражданское общество Богданом Хмельницким, гетманом запорожских казаков». — [там же]). Увенчана же эта перспектива разгромом Наполеона, европейским походом русской армии («который во многих значениях имел значение *крестового*») и вытекающими отсюда последствиями («Основание Александром *первенства* России в Европе». — [там же, с. 102, курсив в оригинале]).

И вот еще строки из того же письма Погодину, где сообщалось о напряженной работе над «Ревизором»: «...Не можешь ли ты чего-нибудь мне выкопать о славянах? Сделай милость. Может быть, ты составил какие-нибудь выписки из разного сору и особенно что-нибудь о Галиции древней и новой. Нет ли где какого-нибудь описания обрядов, обычаев и проч.?» [XI, 32]. С такими просьбами (применительно к украинскому материалу) Гоголь обращался в пору работы над «Вечерами на хуторе...» или позднее над «Тарасом Бульбой» и «Историей Малороссии». Значит, он не оставил подобных планов, не оставил историческую тематику в широком смысле этого слова...

И наконец, еще один любопытный штрих. 5 декабря 1835 г., опять-таки в разгар работы над «Ревизором», Гоголь сообщает Погодину, что «жадно» прочел его «письмо в Журнале просвещения» [X, 378]. Имеется в виду своеобразный отчет о только что проделанном большом заграничном путешествии — «Письмо ординарного профессора Московского университета Погодина к г. министру народного просвещения, из Германии, от 7(19) сентября 1835 года», где содержалась самая разнообразная научная информация. Говорилось о встречах с Гюльманом, «знаменитым историком средних веков», И. А. Гуляновым (прославившимся тем, что он опрометчиво выступил против открытий Шампольона), Риттером, оканчивающим «печатание четвертой части своей Азии». В связи с этим именем Погодин касается возникновения новой научной дисциплины: «Риттера можно назвать отцом исторической географии: он учит, сколько география служит основанием истории, какое влияние на человека и его историю имеет его местопребывание и проч.» [ЖМНП. 1835. Сентябрь. С. 545]. В России историческую географию настойчиво и широко разрабатывал Н. И. Надеждин; не была она чужда и Гоголю как преподавателю университета и как автору давней статьи «Мысли о географии».

Большое внимание уделил Погодин славянским ученым и литераторам. Упомянув такие имена, как Шафарик, Ганка, Юнгман, Палацкий, Челаковский, Коллар и др., он приходил к выводу: «Немецкие писатели, занимаясь всеми языками на свете <...>, имеют до сих пор какое-то непонятное отвращение от славянского и печатают об этом всемирном народе так, что читать стыдно за них. Они никак не могут вразумиться, что общая история не может быть без славянской...» [там же, с. 548–549]. И эти сведения, и эти мысли Гоголь накапливал и усваивал впрок...

В связи с погодинским «Письмом» одна оброненная Гоголем фраза имеет, кажется, практический смысл. Ему мало того, что он прочитал в журнале. «Мне бы хотелось на тебя поглядеть и послушать, послушать, что и как было в пути и что Немешина и немцы» [X, 378]. Не подумывал ли Гоголь о собственном дальнем путешествии — в Европу и в «Немешину»? Еще не было ни премьеры «Ревизора», ни вызванных ею бурных переживаний, с которыми обычно (впрочем, вслед

за самим автором) связывают его отъезд за границу, комедия вообще не была еще написана, а Гоголь, опережая события, уже думает о следующем шаге... Это было в природе вещей, пристокало из особенностей его психики.

В ЖУРНАЛЬНОМ РИСТАЛИЩЕ

Интерес к истории, фольклору, языкознанию, этнографии, в том числе и в славяноведческих их аспектах, отвечал перспективе будущих произведений Гоголя. Но была одна отрасль, одна, так сказать, специальность, которая получила немедленную реализацию.

С начала 1836 г., параллельно с завершением «Ревизора» и подготовкой к его сценическому воплощению, разворачивается журналистская деятельность Гоголя. Фактически это было новое поприще, прибавившееся к прежним, в той или другой мере уже опробованным, — художника, актера, историка, преподавателя, что вновь свидетельствовало о многосторонности его дарования.

До сих пор литературно-критические выступления Гоголя носили спорадический характер. Регулярность критики требовала постоянной трибуны, которую он теперь получил. Гоголь сделался, хотя и на относительно непродолжительное время, систематическим критиком, литературным обозревателем *ex officio*, что было связано с предприятием Пушкина.

Около 14–15 января Пушкин получает известие о высочайшем разрешении на издание ежеквартального литературного сборника вроде знаменитого эдинбургского обозрения, и Гоголь, по его более поздним словам, «обещался быть верным сотрудником» [VIII, 422]. 21 февраля он сообщает Погодину о новом пушкинском журнале и о «живом участии» в нем Жуковского, Вяземского и Одоевского.

Какая же роль в «Современнике» выпала Гоголю? Впоследствии он описывал эту роль в сравнении с намерениями самого издателя: «...Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманые и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках <...>. Впрочем сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей совести: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал <...>. Моя же душа была тогда еще молода; я мог живей принимать к сердцу то, для чего он уже простыл» [VIII, 422].

Очень важно, что все это сказано Гоголем Плетневу (в специальном письме, озаглавленном «О Современнике», 1846), то есть свиде-

телю описываемых событий, который в случае несогласия мог выступить с возражениями. Но Плетнев не возразил; еще раньше, в рецензии на «Сочинения Гоголя», он писал: «С появлением Современника он (Гоголь) принял в нем живое участие» [С. 1843. Т. 29. С. 408]⁵.

Оставляя в стороне трудноразрешимый вопрос, действительно ли Пушкин хотел отказаться от журнала, отметим более очевидное. По смыслу высказываний Гоголя выходит, что начало полемичности, задиристости, боевитости, журнальной отзывчивости, неакадемизма что ли, было связано в «Современнике» прежде всего с его участием. И факты подтверждают это заявление. Гоголь рвался в журнальные ристалища, и такая возможность ему вскоре представилась.

В конце января — начале февраля Гоголь работает над большой статьей в жанре традиционного итогового обозрения «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». В первых числах марта пишет статью «Петербург и Москва» (около 9 марта с нею знакомится Пушкин, а 10-го она рассматривалась в цензуре). И еще заметки для раздела «Новые книги», чуть ли не сплошь составленного Гоголем. И все это пишется и готовится параллельно с доработкой «Ревизора».

Какие же качества почитает Гоголь необходимыми для журнала и для журналиста? Способом от противного это видно по тому, чего он *не находит* в «Московском наблюдателе»: «...В журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения...» [VIII, 168]. Качества, которые должны быть присущи журналу, всецело соответствуют программе, выдвинутой Гоголем (по его позднему утверждению) перед Пушкиным.

При подчеркнутой боевитости литературная позиция Гоголя порою весьма диалектична, чужда прямолинейности. Замечательна тонкость и ясность решения им щекотливого вопроса о так называемом торговом направлении в современной литературе. Этот вопрос выдвинул Шевырев в программной статье «Словесность и торговля» (МН. 1835. Ч. 1. Кн. 1), где утверждалось, что художественным творчеством правит ныне дух наживы и спекуляции. На это Гоголь отвечал: «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши <...>. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно» [VIII, 168–169]. Рассуждения Гоголя стóят пушкинского афоризма (из «Разговора книгопродавца с поэтом», 1825): «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

И вообще журнальная позиция Гоголя — свидетельство практичности и прагматизма. Вовсе не все его творческие устремления и общественные надежды сосредоточены на главном деле, каким стали

«Мертвые души» или «Ревизор»; многое остается и помимо них и связано с повседневным, будничным трудом критика как оценщика художественных явлений и воспитателя читательского вкуса. В связи с этим Гоголь требует уважения к преданию и традициям, не принимает «литературное безверие и литературное невежество», сетует, что «это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами» (а самому Гоголю всего 27 лет!), и т. д. Подобные заявления должны были понравиться Пушкину и его окружению, скажем Вяземскому или В. Одоевскому, выступавшим за взвешенность, осмотрительность и научность критических суждений, неустанно обличавшим самонадеянность и вражду к просвещению («О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» — название статьи Одоевского, опубликованной во 2-м томе «Современника» за 1836 г.).

В целом же Гоголь необычайно высоко поднимает престиж критика — вопреки распространенному тогда (да и в более поздние времена) мнению о «вторичности» этого рода занятий: «Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением...» [VIII, 173]. Поднимает до уровня художника, поэта: «...Критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий» [VIII, 175].

Но вот 11 апреля первый том «Современника» вышел в свет [ОА. Т. 3. С. 312], и имени Гоголя под статьей «О движении журнальной литературы...» не оказалось. Причем, как выяснилось, до самого последнего момента, до напечатания основной части тиража, статья была подписанной⁶. В чем же дело?

Анализ черновой редакции статьи убеждает в том, что первоначально она писалась *не от имени Гоголя* и должна была быть опубликована за другой подписью или, скорее всего, анонимно. Этим, кстати, подтверждаются слова Гоголя о его участии в определении линии журнала. Именно с такой установкой приступал он к делу, и все сказанное им о необходимой живости и задиристости журнала приобретало не частное, но общее выражение. Это не рядовой рецензент или обозреватель так говорил, но облеченный редакторскими полномочиями, власть имущий.

В статье, имеющей редакционный характер, естественно то, что Гоголь многократно говорит о себе в третьем лице, причем иногда в контексте достаточно нескромном — как об одном из лучших современных русских писателей. Касаясь же «разбора Н. Гоголя» Сенковским, то есть рецензии на «Миргород», он заявлял, что критиком двигали «зависть и желчь» [VIII, 525]. Подписывать своим именем статью с подобным утверждением Гоголь, конечно, не собирался (в окончательном тексте это место приобрело более общий вид, вне упоминания нападок Сенковского на произведения Гоголя. — [VIII, 160]).

Установка на внеличный, редакционный характер статьи заметна на протяжении всего текста, в большой мере эта установка сохранилась и в окончательной редакции. Гоголь рассуждает, отвлекаясь от личных связей и интересов, ставя себя порою в щекотливое положение по отношению к своим знакомым и друзьям. Он, как мы уже упоминали, высказал весьма неприятные слова о «Московском наблюдателе». Правда, похожее он говорил и в письме к одному из руководителей журнала М. Погодину («Мерзавцы вы все московские литераторы <...>. С вас никогда не будет проку <...>, ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, среду, четверг и другие дни». — [X, 353]); но одно дело — дружеское подтрунивание и упрек, другое — публичная критика.

Еще одно суждение Гоголя могло бы смутить его московских друзей — суждение о Белинском, содержащееся в черновой редакции статьи: «В критиках Белинского, помещающихся в “Телескопе”, виден вкус, хотя еще не образовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении. — При всем этом в них много есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуместно и неприлично, а тем более для публики» [VIII, 533]. Слова эти вполне соответствуют в общем доброжелательному отношению Гоголя к критику, сложившемуся у него после статьи «О русской повести...». Гоголь оценил вдохновенный и яркий разбор Белинским повестей «Миргорода» и «Арабесок», разбор, к которому вполне подходили слова, что он «основан на чувстве и душевном убеждении» [см.: Гоголь: Труды и дни. I, с. 345]; в то же время он не удержался от упреков педагогического свойства в адрес молодого критика. И то и другое, то есть и признание большого дарования Белинского и упреки в незрелости, необдуманности, односторонности, отвечали и пушкинскому отношению к критику, однако все это определенно не понравилось бы, скажем, Погодину или Шевыреву, для которых Белинский уже стал персонай нон грата.

(Трудно сказать, почему эти строки не попали в окончательный текст: решил ли Гоголь проявить большую осторожность, или же инициатива исходила от Пушкина, не желавшего ссориться, как он говорил, с «Наблюдателями», то есть с редакцией «Московского наблюдателя». Правда, позднее в «Письме к издателю» Пушкин восстановил гоголевскую оценку Белинского, усилив ее позитивную часть, но сделал он это дипломатически более осторожно — от лица стороннего автора, некоего А. Б. из Твери.)

Весьма щекотливое положение возникло у Гоголя как автора статьи и в связи с Ф. Булгариным. Мы уже касались сложного характера их отношений со времени знакомства, очевидно, с начала 1829 г. [Книга I, с. 175 и далее]; говорили о сдержанном отклике Булгарина на «Вечера на хуторе...». Но тут Булгарин предпринял несколько нео-

жиданный шаг — в «Северной пчеле» от 1 февраля 1836 г. (№ 26) по случаю второго издания «Вечеров на хуторе...» опубликовал в высшей степени сочувственную заметку о творчестве Гоголя вообще: «Гоголь первым своим появлением выказал необыкновенный талант и стал наряду с лучшими нашими литераторами. Его повести, неоспоримо лучшие народные повести в нашей литературе». Критик очень хвалит «повесть о соре» — лучшую в «Новоселье», тем самым корректируя позицию собственной газеты, где всего несколько месяцев назад П. М-ский (П. И. Юркевич) сетовал, что в этом произведении изображена «неопрятная картина заднего двора человечества» [Книга I, с. 347⁷]. Рецензент «Северной пчелы» теперь берется защищать Гоголя от его врагов, полагая существование таковых вполне естественным явлением: «Талант Гоголя не мог не иметь завистников, и я помню, как в одном журнале, который подрядился хвалить своих сотрудников, с насмешкою спрашивали, кто этот Гоголь?» Это был очевидный намек на Сенковского, который в разборе «Арабесок» не без ехидства замечал: «Мы, кажется, в первый раз встречаем в нашей словесности имя этого великого писателя?» [БЧ. 1835. Т. 9. Лит. летопись. С. 9]. Своего личного знакомства с Гоголем Булгарин не выдал; наоборот, представил дело так, будто ничего не слышал и не знал о новоявленном литераторе («мы спрашивали тогда: кто этот остроумный, милый рассказчик...») и основывается только на его произведениях⁸.

Все это означало, что Булгарин почувствовал в лице Гоголя сильного соперника и хотел бы его задобрить или, по крайней мере, нейтрализовать. Но Гоголь не принял этого жеста и в черновой редакции статьи отозвался о произведениях Булгарина довольно пренебрежительно («...нет верного изображения жизни, чисто русской природы...» — [VIII, 547]). С точки зрения литературных отношений Гоголь проявил «неблагодарность», и понятно, что он писал все это, принимая во внимание, что имени его под статьей не будет. В окончательном варианте статьи характеристика произведений Булгарина была вообще снята, однако осталась в общем негативная оценка его изданий — «Северной пчелы» и «Сына отечества». Надо сказать, что в данном случае такая оценка вполне соответствовала журнальной позиции Пушкина, но она уже не совсем отвечала — в сложившейся литературной ситуации — интересам Гоголя.

Таким образом, со статьей «О движении журнальной литературы...» сложилось неординарное, достаточно сложное положение. Гоголь недвусмысленно выступал от имени всего издания и при значительной общности взглядов, своих и Пушкина, придавал этим взглядам подчеркнуто полемический, задиристый тон, что не очень-то гармонировало с намерениями редактора. Вместе с тем указание на авторство Гоголя усложнило бы позицию редактора, то есть Пушкина, в другом смысле: оно продемонстрировало бы, какое место занял

у кормила журнала молодой писатель: ведь это была единственная проблемная, единственная итоговая, единственная, как сегодня сказали бы, масштабная статья.

Да и вообще по количеству представленных в журнале произведений Гоголь уступал только издателю: у Пушкина 5, у Гоголя 3 (не считая библиографических заметок), при этом из пушкинских вещей только одна была с его подписью («Путешествие в Арзрум»); гоголевские же — в случае сохранения его подписи под статьей — все являлись с его именем. И следовали три произведения одно за другим («Коляска», «О движении журнальной литературы...», «Утро делового человека»), создавая мощный гоголевский «пласт» в составе одного тома. Это не только вновь оттеняло значительную роль Гоголя в журнальной политике, но и могло пробудить впечатление царящего в редакции духа «семейственности», против которого выступал сам «Современник».

Можно представить себе, какую нелегкую работу задало все это Пушкину, что и выразилось в истории с гоголевской подписью.

Обычно эта история сводится к некоему однократному событию: мол, существовала подпись Гоголя, которая затем была снята редактором⁹, но случайно уцелела в считанном количестве экземпляров. На самом деле история эта имела, по крайней мере, *три стадии*: первоначально статья писалась как анонимная (или скрепленная вымышленным именем), затем решено было выставить подлинное авторское имя; и наконец, подпись сняли уже перед самым выходом тиража.

Между прочим, у Гоголя мотивов снять свою подпись было не меньше, чем у Пушкина, и поэтому, возможно, инициатива исходила именно от него. Один из этих мотивов уже многократно упоминался в научной литературе — нежелание лишней раз дразнить гусей накануне премьеры «Ревизора» (кстати, в том же первом томе журнала в примечании к анонимной библиографической заметке Пушкина сообщалось, что «на-днях будет представлена на здешнем театре <...> комедия “Ревизор”») [С. 1836. Т. I. С. 312]. Правильнее, однако, связывать это решение не только с премьерой «Ревизора» и не только с «гусями»-недругами, но и с «гусями»-приятелями.

Н. И. Мордовченко обратил внимание на то, что «Пушкин в мае 1836 года при встречах с московскими литераторами не открыл авторства Гоголя» [Материалы, т. 2, с. 126], и, таким образом, ни Шевырев, ни Погодин, ни другие вполне расположенные к Гоголю лица не узнали, кто написал статью «О движении журнальной литературы...». В свете всего сказанного это понятно: Гоголь в своей статье наговорил много того, что было неприятно москвичам-литераторам, прежде всего кружку «Московского наблюдателя». И вообще ни в старой, ни в новой столице, ни в первые дни после выхода «Современника», ни позже «имя Гоголя как автора статьи “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году” названо не было» [Материалы, 1954, с. 84]. Возможно, о его авторстве никто и не догадался —

и это при яркой индивидуальности и неповторимой оригинальности гоголевского стиля! Все это могло быть результатом того, что и Пушкин и, конечно, Гоголь старательно берегли тайну.

При этом Пушкин не мог не сознавать, что особенности и литературной позиции и способа выражения Гоголя будут отнесены теперь всецело на счет редактора, и поэтому решил предпринять превентивные меры. Уже 14 апреля (в день, когда журнал пришел к петербургским читателям) Пушкин писал Погодину из Михайловского в Москву: «Журнал мой вышел без меня <...>. Статья о Ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня, если Вы ею недовольны» [Пушкин, т. 10, с. 572]. Замечание это касалось другой гоголевской статьи, также появившейся анонимно, но оно невольно распространяло извинения редактора и на «Движение журнальной литературы...». Вскоре Пушкину придется специально объясняться по поводу этой статьи.

ГОРИЗОНТ ОБЩЕНИЯ

На рубеже 1835–1836 гг. общение Гоголя с окружающими по-прежнему протекало, так сказать, на двух уровнях: в кружке «однокорытников», оказавшихся в Петербурге питомцев нежинской Гимназии высших наук, и, как выразился Анненков, «за чертой круга».

А из дружеского круга ему по-прежнему были наиболее близки двое — А. С. Данилевский и Н. Я. Прокопович.

В положении Данилевского никаких особенных перемен не произошло. Чиновник Министерства внутренних дел, он так и не продвинулся по службе; у Данилевского чин последнего, 14-го класса; по сравнению с ним даже Гоголь, имевший чин 8-го класса, т.е. коллежского асессора, сделал карьеру.

Каких-либо творческих, литературных устремлений Данилевский не проявлял, хотя был знаком и встречался с писателями — не только с Плетневым, Жуковским и В. Одоевским, но и с Крыловым и Пушкиным.

Об обстоятельствах знакомства с Пушкиным Данилевский рассказывал гоголевскому биографу: «Однажды летом отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Чрез несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. <...> Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: “она в интересном положении”. Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: она *брюхата*, что последнее выражение совершенно прилично, а на-

протИВ. неприлично говорить: “она в интересном положении”» [Щенрок, т. 1, с. 362–363].

Достоверность этого рассказа подкрепляется тем фактом, что выражение «брюхата» в самом деле обычно употреблялось Пушкиным и в бытовой речи, и в художественных текстах, хотя датировать этот эпизод более точно не представляется возможным¹⁰.

Что же касается Н. Я. Прокоповича, то он был теперь семейным человеком (женится он еще в 1833 г. на молодой актрисе Марье Никифоровне Трохневой), воспитывал сына Николая. Гоголь сожалел, что ему не довелось стать крестником своего маленького тезки.

Прокопович по-прежнему писал стихи; в 1835 г. он почти одновременно опубликовал две вещи: в «Библиотеке для чтения» (т. 8.) — «балладу» «Полнолуние» и в «Московском наблюдателе» (т. 2) — повесть в стихах «Своя семья».

Произведения Прокоповича были достаточно профессиональными, в стилистическом отношении вполне грамотными, но не больше. Успеха они не имели; Белинский, например, в своем известном обзоре 1836 г. «Ничто о ничем...» отозвался о «Своей семье» уничтожающе: это «уродливая и грязная карикатура на поэзию» [Белинский, т. II, с. 49]. Но Гоголь, кажется, был другого мнения, сохраняя еще те надежды, которые пробуждало творчество Прокоповича в гимназическую пору. Интересная деталь: М. Погодин в том же самом «Письме из Петербурга», в котором сообщалось о новых гоголевских произведениях, завел речь и о Прокоповиче: «...Поэта пророчат нам в молодом Прокоповиче, которого примечательная баллада помещена в “Библиотеке”» [МН. 1835. Ч. 1. Кн. 2. С. 446; датировано 11 марта]. Уж не со слов ли Гоголя, с которым Погодин виделся в столице в феврале — марте 1835 г., сделано это «пророчество»?

Вообще Гоголь постоянно тормозил своего друга, побуждал его к деятельности. Уже после отъезда Гоголя за границу, 10 июля 1836 г. Прокопович получил место учителя русского языка и словесности в Первом кадетском корпусе в Петербурге.

Кружок нежинцев собирался и в последние месяцы пребывания Гоголя на родине. А. Н. Мокрицкий фиксирует в своем дневнике встречи, имевшие место 26 марта и затем 28 мая 1836 г., за несколько дней до отъезда писателя, причем присутствовало в этот день 8 человек [Мокрицкий, с. 76, 77].

Гоголь с интересом следит за судьбою своих однокашников; ему приятно, что он опередил их всех. Он ощущает свою жизнь как художественное произведение или, говоря современным языком, как некий большой текст, в котором есть главные герои: помимо Данилевского и Прокоповича, еще Базили, Кукольник, Мокрицкий: «все это родственники, которые будут интересовать нас в продолжение всей нашей жизни». «Но и второстепенные лица в этом романе также необходимы»; к ним Гоголь относит, в частности, окончившего нежин-

скую Гимназию четырьмя годами позже Николая Федоровича Данченко и Жюль [XI, 85–86].

Жюль — это Жюль Жанен; этим именем Гоголь наделил Павла Васильевича Анненкова. «Надо сказать, — пояснял Анненков, — что <...> он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицее и их приятелям прозвища, украсив их именами *знаменитых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель <...> именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца» [Анненков, 1983, с. 46–47]. Подчеркнутое мемуаристом слово «знаменитых» выдает тайные мотивы этой карнавализации: Гоголь наслаждался эффектом многократного превращения — не только русских во французов, мужчин в женщин, но и мало кому известных лиц в литературные знаменитости.

Среди знакомых и однокашников Гоголя поспорить с ним славою мог, пожалуй, лишь Нестор Кукольник. Мы уже касались (в первом томе этого труда) достаточно сложных отношений двух писателей, проистекавших из различия их художественских позиций. Однако традиционно эти противоречия представляются чуть ли не как вражда, а то и открытое преследование Гоголя со стороны Кукольника. Характерно относящееся к 1887 г. суждение знаменитого художественного критика В. В. Стасова: «...Как же и ненавидели этого постыдного Гоголя Кукольник со всею своею приличною и образованною оравой — с Булгариным, Сенковским и иными!» Кукольник «захаял с ненавистью и забраковал с презрением литературного Гоголя» [Стасов, 1954, с. 305, 312]. Подобное мнение умозрительно выводится из литературной ситуации, из «расстановки сил»: известно, что Сенковский бранил Гоголя и хвалил Кукольника; следовательно, оба они, Сенковский и Кукольник, были заодно...

На самом деле все складывалось иначе. Кукольнику случалось косвенно и защищать Гоголя от Сенковского. Так, однажды он уличил критика в прямой фальсификации гоголевского текста. В рецензии на «Арабески» Сенковский издевался над статьей «Об архитектуре нынешнего времени»: мол, в ней содержится описание Египта, «помавающего *тонкими пальцами, жилищами своих равнин...*» [БЧ. 1835. № 3. Отд. 6. С. 12]. А в действительности, как указал Кукольник, речь шла о *пальмах*! Эти «пальмы» «были умышленно обращены Т. Оглу (Тютюнджи Оглу — один из псевдонимов Сенковского. — Ю. М.) в *пальцы* и послужили к обвинению г. Гоголя в нелепости» [СП. 1835. № 159. 19 июля].

Правда, Кукольник, если верить И. Панаеву, неодобрительно отзывался о гоголевском «Ревизоре»: мол, «это фарс, недостойный искусства». Однако говорил он это, «не отрицая таланта в Гоголе» [Панаев, с. 173]. Во всяком случае, в печати Кукольник ничего подобного себе не позволял. Наоборот, он свидетельствовал свое признание дра-

матургии Гоголя, включая, конечно, и «Ревизора». Чуть позже в обозрении отечественного театра Кукольник писал: «Русская сцена приятно, но мгновенно оживилась появлением комедии Гоголя. Не знаю, с каким намерением и по каким причинам г. Гоголь оставил театральное поприще. Комедия: “Выбор жениха” или, может быть, под другим заглавием, давно и вполне оконченная, осталась в портфеле автора, и за эту скромность можно простить г. Гоголю только в таком случае, если он возвратится на сцену с произведениями, каких можно и должно ожидать от такого таланта» [РВ. 1841. Т. 1. С. 210]. Сказано достаточно определенно.

Вообще свидетельство И. Панаева нужно воспринимать с поправкой на недоброжелательное отношение его к Кукольнику, о чем писал знавший их обоих А. Н. Струговщиков: «Нестор Кукольник был от природы мягок и добр при всех своих слабостях. Панаев это знал, но игнорировал и довел свои памфлеты до ухарства. Кукольник отвечал немногими знаменательными словами: “Гласность — дело святое, но есть люди, ведущие себя дурно и в церкви”» [РС. 1874. Апрель. С. 702–703].

Далее мемуарист набрасывает довольно колоритный портрет Кукольника со всеми его противоречиями и слабостями. Кукольник (как мы помним, еще в Гимназии поражавший всех своими успехами) «обладал эрудицией университетской, был хорошим энциклопедистом». Щедро наделен он был и «фантазией», однако «не он ею, а она, шаловливая, владела им. К тому же склонность писать скоро, без оглядки, большею частию из-за гонорария, заглушала в нем любовь и целомудрие поэта». «Как импровизатор, как веселый и остроумный собеседник, он стоял несравненно выше себя как литератора. Прибавьте к этому его редкое добродушие, своеобразные приемы, детскую веселость, вызывавшую иногда смех до слез <...> — и все это без салонных стеснений, все нараспашку, как любят художники, — и вы получите объяснение тесного и продолжительного сближения Глинки с Нестором Кукольником» [там же, с. 704]. И не только Глинки: Кукольник тесно сошелся и с Карлом Брюлловым, когда тот в конце мая 1836 г. приехал в Петербург.

Под стать манере поведения Кукольника была и его внешность, очень эффектная, отвечавшая массовому представлению о том, как должен выглядеть художник. Недаром Варвара Петровна в романе Достоевского «Бесы», будучи воспитанницей Московского благородного пансиона, влюбилась в портрет Кукольника, который она хранила всю жизнь «в числе самых интимных своих драгоценностей»...

А вот облик Кукольника, увиденный реальным лицом, романтиком и к тому же характерным представителем женской литературы — Еленой Андреевной Ган (печатавшейся под псевдонимом *Зенеида Р-ва*). В Петербурге, где Ган проживала с весны 1836-го по май 1837 г., на художественной выставке «один юноша» привлек все ее внимание. «Очень высокий, очень худой, ни дурен, ни хорош, но было в нем

нечто особое... Маленькое, бледное лицо; только черные большие глаза поразили меня необыкновенным выражением; да еще что среди тысячи завитых голов его волосы, длинные, черные, свободно развевались вокруг головы. Много тут было вельмож в звездах и лентах и все подходило к нему и жали ему руки <...>. На нем видна печать гения! [РС. 1887. № 3. С. 751]. Это был, конечно, Кукольник. О нем (согласно другому мемуаристу) в начале 1830-х годов «ходили самые разнообразные слухи и всегда с прибавлением чего-нибудь поэтического. Говорили, что он красавец собой, что многие женщины и девы заочно влюблялись в него и что он был героем самых романтических приключений» [Инсарский, с. 71].

Невольно вспоминаются гоголевские слова из «Мертвых душ» о писателе, избравшем своим предметом одни «возвеличенные образы»: «При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пыльные сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он Бог!»

Между тем этот бог отличался нервическим характером, страшной неуверенностью, перепадами настроения — все это проявилось еще в Нежине, во время пребывания в Гимназии высших наук. Теперь к этому прибавилось пристрастие к зеленому змию, которое он делил с Брюлловым и другими членами его кружка. Гоголь знал обо всем этом: «...Брюллов известный пьяница, а Кукольник, вероятно, желая тверже упрочить свой союз с ним, ему начал подтягивать, и так как он натуры несколько слабой, то, может быть, и чересчур перелил» [XI, 148].

Не по этой ли причине задержался выход «Художественной газеты», которую Кукольник задумал издавать с конца лета 1836 г.? (По выходе первого номера было объявлено, что опоздание объясняется «тяжкой болезнью редактора» — с. 20.) Гоголь, к слову сказать, интересовался этой газетой; будучи за границей, сетовал, что Прокопович не прислал из нее «кусочек»: «это было бы приятно» [XI, 85].

Надо заметить, что пути обоих писателей пересекались не часто. Кукольник бывал у Гоголя, Гоголь — у Кукольника, но оба принадлежали к различным литературным и художественным кругам. Кукольник — к кружку Брюллова и Глинки, в который входили еще портретист Я. Ф. Яненко, поэт и переводчик А. Н. Струговщиков; но Гоголь в этом кружке не бывал. В свою очередь, Кукольник редко появлялся в окружении Пушкина. Не видно было его и на субботах у Жуковского — пожалуй, в то время (говоря современным языком) самом престижном литературном собрании.

Жуковский жил в той части Зимнего дворца, которая называлась Шепелевским домом и которую позднее занял Эрмитаж. Сюда по субботам приходили Пушкин, Крылов, Вяземский, В. Одоевский, М. Виельгорский, Плетнев, Соболевский... «Еще многочисленнее было молодое поколение талантов» [Плетнев, 1853, с. 97]. Среди последних —

Тепляков, Бенедиктов, Краевский... Бывал здесь и М. Глинка; по его воспоминаниям, на субботних встречах иногда «пели, играли на фортепьяно...» [Глинка, 1930, с. 153]. Но чаще читали новые произведения. Читал и Гоголь, который был завсегдатаем этих встреч. По отъезде за границу он проникновенно напишет Жуковскому: «...Я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представлять слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!...» [XI, 48].

Как мы уже знаем, 18 января 1836 г. Гоголь впервые прочел здесь в присутствии Пушкина «Ревизора» — и читал, по-видимому, не один раз. Читал он и «Женитьбу», о чем мы узнаем от одного из слушателей [Глинка, 1930, с. 153]. Было это до мая 1835 г.¹¹ Вероятно, об этом же чтении говорил В. Соллогуб, ошибочно приурочивая его не к субботе, а к пятнице: «Я помню, что он читал ее (“Женитьбу”) однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось общество (тогда немалочисленное) русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: “Но когда жених выскочил в окно, то уже...” он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатались со смеху» [Воспоминания, с. 77–78].

Читал Гоголь и повесть «Нос», и было это 4 апреля 1836 г., как свидетельствует написанное спустя четыре дня письмо Вяземского А. И. Тургеневу: «Субботы Жуковского процветают <...>. Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек <...>, оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе <...>. Уморительно смешно! Много настоящего *humour*» [ОА. Т. 3. С. 313–314].

А вот собрания у Жуковского с точки зрения человека постороннего — Ф. Ф. Вигеля, чувствовавшего себя здесь, по его собственному выражению, как среди врагов. «Нынешнюю зиму (т. е. зиму 1835–1836 годов) он (Жуковский) по субботам собирал у себя литературные та и иногда являлся туда как в неприятельский стан. Первостепенные там князя Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин...» [РС. 1902. Июль — август — сентябрь. С. 100]¹².

В связи со знакомством Гоголя с Михаилом Глинкой надо упомянуть еще об одном важном событии. Как раз в это время, параллельно с написанием и доработкой «Ревизора», создавался другой шедевр — опера «Иван Сусанин». Роль покровителя и ходатая перед властями и там и здесь играло одно и то же лицо — граф Мих. Виельгорский. О его роли в судьбе «Ревизора» мы скажем позже; сейчас речь об опере Глинки. 26 февраля 1836 г. композитор «явился к Михаилу Юрьевичу и просил его ходатайства о постановке пьесы на сцене Большого театра». А 10 марта в доме Виельгорского состоялась первая репетиция оперы, дирижировал сам Глинка. «Когда пьеса была окончена и зал огласился дружными рукоплесканиями, он просиял <...>. «Это *chef-d'œuvre!* — говорил граф Михаил Юрьевич. — После “Фенелы” и “Роберта” страш-

но сочинять оперы <...>. Опера же Глинки замечательна своею оригинальностью. От начала до конца она носит на себе характер исключительно русско-польский. А это не безделица!» [ИВ. 1885. Февраль. С. 368; приведенный рассказ записан со слов очевидца — А. Д. Комовского, занимавшего должность библиотекаря у М. Виельгорского].

Среди тех, кто был на репетиции, Гоголь не упоминается. Но он, конечно, знал о ней, хотя бы от того же Виельгорского. И когда 27 ноября 1836 г. состоялась премьера оперы, то не присутствовавший на ней Гоголь (он уже находился за границей) мог откликнуться как человек вполне сведущий. «Об энтузиазме, произведенном оперою “Жизнь за царя”, и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России». Бросается в глаза, что логика мысли Гоголя сходна с высказыванием Виельгорского: писатель также рассматривает достижения Глинки на фоне того высокого уровня, который установлен «Фенелой» и «Робертом»; и он также видит в «Иване Сусанине» русско-польский колорит: Глинка «счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк...» [VIII, 183, 184].

Где еще бывал Гоголь в последние месяцы пребывания в Петербурге? У Краевского, который, в свою очередь, был вхож в гоголевский кружок. 3 января 1836 г. Мокрицкий записывает, что «вечер провел у Краевского. Там было довольно молодежи, был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых» [Мокрицкий, с. 63].

Заходил Гоголь и к Плетневу. 5 февраля 1836 г. тот же автор записывает: «Вечером, после класса, пошел к Плетневу. Там был Никитенко с женой, Гоголь, Краевский, Семен Данилович (Шаржинский), Прокопович и Тепляков. Последний много рассказывал про свой вояж в Грецию и, между прочим, много анекдотов, довольно смешных» [там же, с. 71].

Посещал Гоголь и конференц-секретаря академии Василия Ивановича Григоровича, с которым был знаком еще с того времени, когда занимался в классах этой академии. По словам В. Стасова, «дом Григоровича был в те времена (в 30-х и 40-х годах) чем-то вроде очень значительного и очень влиятельного художественного центра в Петербурге. Там собирались часто все наши художественные знаменитости. Там бывали и Пушкин, и Жуковский, и князь Вяземский, и Гоголь <...>, и Крылов, и Струговщиков, и множество всяких литераторов того времени, между прочим Кукольник, Сенковский, Греч, Булгарин, но вместе с тем бывала там вся Академия художеств...» [Стасов, 1954, с. 301].

Наконец, еще одно лицо, которого посещал Гоголь, — Василий Николаевич Семенов (1801—1863), окончивший Царскосельский лицей, потом служивший офицером Карабинерского и лейб-гвардии Павловского полков, потом — чиновником Министерства народного

просвещения, а в 1830–1836 гг. занимавший должность цензора Петербургского цензурного комитета. В связи с цензорскими обязанностями Семенова, возможно, и состоялось его знакомство с Гоголем: 10 ноября 1834 г. он разрешил к печати «Арабески». Но виделись они и раньше — 19 февраля 1832 г. на уже известном нам обеде у Смирдина. Семенов сидел между Н. Гречем и Ф. Булгариным, что дало возможность Пушкину сравнить его с Христом на горе Голгофа...

С Семеновым связана версия об одном неизвестном произведении Гоголя.

В 1860 г. в петербургской газете «Русский мир» (№ 97. С. 618–619) за подписью «ред.» (редактором был в это время А. С. Гиероглифов) появилась заметка «О ненапечатанном рассказе Н. В. Гоголя “Прачка”»¹³. Здесь говорилось, что в одно из своих «посещений, когда у г. Семенова было несколько человек гостей, Гоголь принес свою “Прачку”, написанную на нескольких почтовых листочках, и читал ее вслух. Живой и веселый юмор этого рассказа заставлял слушателей хохотать до слез; но, к несчастью, некоторая бесцеремонность и двусмысленность выражений была причиной того, что рассказ не мог быть признан тогда удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить рукопись, но г. Семенов попросил ее у него себе на память». «При отъезде из Петербурга он подарил ее своему родственнику Н. Н. Терпигореву. Тот уехал в свою тамбовскую деревню и увез с собой рукопись. Это подтверждается тем, что сын Н. Н. Терпигорева С. Н. Терпигорев, студент здешнего университета, читал эти листочки в деревне отца и даже помнит содержание “Прачки”».

(Заметим в скобках, что Сергей Николаевич Терпигорев — это известный писатель, печатавшийся под псевдонимом «Атава»; он действительно родился в Тамбовской губернии, в помещичьем имении Никольское; до 1862 г. учился на юридическом факультете Петербургского университета и в бытность свою студентом мог встретиться с редактором «Русского мира» и поведать ему эту историю.)

Далее следует содержание гоголевского рассказа, записанного, по уверению Гиероглифова, «с его, то есть С. Н. Терпигорева, слов».

«Действующие лица рассказа — петербургский чиновник и прачка, моющая на него белье; при сдаче прачкой вымытого белья не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прачка обижается и между ними происходит перебранка; оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплятся крупные слова, колкости и т. п., чиновник требует своей штуки, прачка говорит, что у нее нет никакой его *штуки* и чтобы он лучше поискал ее у себя в *белье*».

К сожалению, это пока единственное известное нам сообщение о подобном рассказе, не подтверждаемое другими источниками, хотя многое в этом произведении вполне в духе Гоголя, прежде всего неожиданная потеря, которая приводит к игре слов весьма фривольного толка. Вспомним частного пристава из повести «Нос», заявившего

майору Ковалеву, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких маиоров, которые не имеют даже исподне-го в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам». Имеет свое объяснение и тот факт, что Гоголь читал рукопись Семенову, желая ее апробировать (или заручиться поддержкой) перед лицом цензора¹⁴.

ПУТЬ НА СЦЕНУ

Но вернемся к «Ревизору», который между тем начал свой путь на театральные подмостки, к зрителям. 27 февраля пьесу отправили в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, поскольку оно ведало театральной цензурой. В сопроводительном письме управляющий конторой императорских санкт-петербургских театров А. Д. Киреев просил «по надлежащем рассмотрении» вернуть пьесу «в контору по возможности в скорейшем времени с уведомлением, может ли таковая представлена на здешних театрах» [Материалы, т. 1, с. 309]. Предметом рассмотрения стал и отзыв цензора Ольдекопа, который, в частности, отмечал (подлинник на французском языке): «Эта пьеса остроумна и великолепно написана. Автор принадлежит к известным русским писателям». И затем, после пересказа содержания, следовал вывод: «Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного» [Дризен, с. 41–42].

Заметим, кстати, что Евстафий (Август) Иванович Ольдекоп (1786–1845) был профессиональным литератором. Воспитанник Дерптского университета, он редактировал «С.-Петербургские ведомости» и «St.-Peterburgische Zeitung». Известно, что с Гоголем они, по крайней мере, однажды встречались — 19 февраля 1832 г. на знаменитом смирдинском обеде. Однако столь благоприятному отзыву Ольдекопа о «Ревизоре» содействовали другие обстоятельства...¹⁵

Резолюция была получена буквально на четвертый день после отправки пьесы: на рапорте Ольдекопа А. Н. Мордвинов, в ту пору управляющий III отделением, написал: «Позволить. 2-го марта 1836»¹⁶. Цензура ограничилась минимальными исправлениями: кроме упоминаний о церкви и святых, были сняты слова об офицерской жене, изменена фраза об ордене Владимира [Материалы, т. 1, с. 311]. Все это было в порядке вещей, никак не выходило за пределы принятого: драматическая цензура «не позволяла касаться военных, чиновников, полиции», «вступалась за отдельные сословия и корпорации»; «беспокоилась она также о частных лицах, носящих более или менее громкие фамилии»; «упоминание их, в качестве действующих лиц пьесы (иногда самой невинной), часто служило мотивом запрещения этой пьесы» [Дризен, с. 5]¹⁷.

Рукопись последовала автору, а затем к Храповицкому как инспектору русской труппы, осуществлявшему постановку пьесы.

Столь благоприятное развитие событий объяснялось очень просто: решение допустить пьесу к представлению исходило от самого царя. Об этом по свежим следам событий Гоголь упомянул в письмах трижды: 29 апреля 1836 г. Щепкину («Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее»), 5 июня того же года матери («Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то вероятно она не была бы никогда играна или напечатана»), наконец 18/6 апреля 1837 г. Жуковскому («...Мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему Ревизору») [XI, с. 38, 47, 98]. Последнее свидетельство особенно весомо; ведь оно адресовано тому, кто сам был свидетелем цензурной истории комедии.

Но есть, кроме того, и документальное подтверждение решающего участия царя — этот документ был найден совсем недавно И. А. Зайцевой в делах III отделения. Когда в 1843 г. Дирекция императорских санкт-петербургских театров представила в театральную цензуру дополненный автором текст «Ревизора», то цензор М. А. Гедеев сделал заключение: «Сама сия комедия могла поступить на сцену *только вследствие высочайшего разрешения*, а потому нельзя дозволить никаких перемен и прибавок к оной». И Дубельт (который был уже управляющим III отделения и, следовательно, имел прямое отношение к делу) наложил резолюцию: «Нельзя» [Зайцева, с. 125–126; см. также: Гоголь, ак., т. 4, с. 594].

Весть об августейшем покровительстве «Ревизору» широко распространилась в русском обществе. Л. Л. Леонидов, в то время воспитанник училища при Александринском театре, писал, что «Ревизор» «был пропущен с высочайшего разрешения» [РС. 1888. № 4. С. 227].

Как же реально развивались события? Наиболее полную картину рисует историк петербургских театров: «Гоголю <...> большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. “Ревизор” был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено было его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Бобчинского и Добчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть комедию» [Вольф, ч. I, с. 49].

Итак, вначале было официальное (и даже «строжайшее») запрещение комедии цензурой... Такая версия действительно бытовала среди современников. П. П. Каратыгин, со слов своего отца П. А. Каратыгина, сообщал, что комедия была, «по слухам, запрещена цензурою, но дозволена к представлению самим государем...» [ИВ. 1883. № 9. С. 735]. Столь же определенно выразился другой анонимный современник-

«референт», чьи воспоминания появились на немецком языке: «*Die Censur hat das Stück verboten, der Kaiser aber erlaubt...*» [«St.-Peterburgische Zeitung». 1875. S. 224; перепечатано в кн.: Шенрок, т. 3, с. 32]. Но логичнее предположить другой ход событий.

До запрещения пьесы дело просто еще не дошло. Высказывались лишь предварительные мнения, выражались опасения. Р. Зотов, употребляет такое выражение: «Долго затруднялась цензура в пропуске “Ревизора” к представлению, но воля государя все решила» [ИВ. 1896. Декабрь. С. 786]. «Затруднялась» еще не означает «запретила». Заметим, что Рафаил Михайлович Зотов (1795 или 1796—1871) в силу своих обязанностей начальника репертуарной части был довольно осведомленным человеком. По его словам, он «всеми своими силами содействовал постановке» и имел «от него (Гоголя) автографы и книги его сочинения, которые он мне подарил» [там же, с. 785].

Впрочем, возможно, что голоса недоброжелателей раздавались и в самой театральной среде, в дирекции. Мы помним фразу Гоголя, что «уже находились люди, хлопотавшие о запрещении» пьесы. По свидетельству Н. Н. Мундта, претензии к «Ревизору» высказывал А. И. Храповицкий, тот самый, который шесть с лишним лет назад забраковал Гоголя в качестве актера: «Да, да... я точно ошибся, что он ни к чему не способен; но утверждаю, что он все-таки был бы скверный актер. Да и в “Ревизоре” есть гадости, например, где говорится о монументах и о поднятии рубашонки... ну, на что это похоже...» [Воспоминания, с. 69]. О сдержанном — если не больше — отношении Храповицкого к комедии рассказывает и П. П. Каратыгин, со слов своего отца П. А. Каратыгина: во время генеральной репетиции тот, «пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожимал плечами» [Каратыгин, 1883, с. 736].

Александр Иванович Храповицкий выполнял в театре охранительные функции; по словам актера Н. И. Куликова, он и Мезьер — инспектор французской труппы — «были как квартальные надзиратели приставлены, чтобы смотреть за порядком и тишиною между мелкими авторами» [РС. 1882. Август. С. 457]. Правда, утверждать, что именно Храповицкий оказывал противодействие «Ревизору», мы не можем, тем более что Гоголя уже нельзя было отнести к числу «мелких авторов». Но факт тот, что такое противодействие уже возникло, хотя оно — не менее важно! — еще не вылилось в определенное решение, то есть в цензурный запрет.

В самом деле: имеющиеся в нашем распоряжении документы говорят об *однократном* обращении в цензуру, на которое последовал определенный и очень скорый ответ. Все остальное если и имело место, то за кулисами, неофициально. Предотвратить запрет было гораздо легче, менее рискованно, чем потом добиваться его отмены, и это отлично понимали покровительствовавшие Гоголю люди — Жуковский, М. Виельгорский и другие, решившие вмешаться заблаговре-

менно. Понимал это и Гоголь, отличавшийся замечательной практичностью в устройстве судьбы своих произведений, и возможно, инициатива исходила от него (именно таким образом поступит он позднее в связи с публикацией первого тома «Мертвых душ»: вначале позондирует с помощью И. М. Снегирева почву в Московском цензурном комитете, а потом, опасаясь запрета, отошлет рукопись в Петербург).

Если бы этого не было, то еще неизвестно, как бы сложилась судьба пьесы. Конечно, император мог отменить любое решение цензуры, но это означало бы отступить от принятого ведения дел, чего он как раз и не хотел, добиваясь соблюдения существующих в стране правовых и служебных установлений: «Государь Император неоднократно повелевал: *чтобы изъятий из законов никогда и ни для кого не делать*», — сообщал именно Гоголю, правда по другому поводу, директор Санкт-Петербургских театров А. М. Геденов (об этом ниже). Кроме того, отмена цензурного запрета означала бы создание нежелательного прецедента.

Теперь о том, как пьеса попала к Николаю I. Вяземский в письме А. И. Тургеневу от 8 мая 1836 г. говорит о том, что царь «читал ее в рукописи» [ОА. Т. 3. С. 317], но это означает скорее всего то, что пьеса стала известна ему еще тогда, когда *существовала в рукописи*. Услышал же он «Ревизора» в чтении Виельгорского, как это подробно передает Вольф на основе рассказов современников. Актер Федор Алексеевич Бурдин (1826–1887) в своих воспоминаниях также говорит о чтении комедии вслух, правда, в качестве чтеца называет не Виельгорского, а Жуковского [ИВ. 1886. Т. XXIII. С. 145–146]. Еще в качестве ходатая перед царем фигурирует Вяземский [Вольф, ч. 1, с. 49], что, очевидно, соответствует действительности — как и участие Жуковского¹⁸. Однако представляется, что главную роль, как это следует из рассказа Вольфа и замечания А. О. Смирновой («...Виельгорский узнал <...> от Жуковского и доложил государю». — [Смирнова, 1989, с. 496]), довелось сыграть именно Виельгорскому. Для этого у него были необходимые условия.

Михаил Юрьевич Виельгорский (другое написание фамилии: Виельгорский; 1788–1856) не только слыл крупнейшим меценатом, обладавшим связями и влиянием при дворе¹⁹, но имел непосредственное отношение к театральному делу — он был членом Комитета императорских театров. «По штату театральной дирекции 13 ноября 1827 года положено было, чтобы все пьесы, поступающие на сцену, были рассматриваемы в комитете литераторов и драматургов, к которым присоединялись бы и лучшие актеры». Правда, члены Комитета «собирались очень редко», с 1827-го по 1833-й ни разу; но «новый директор», то есть А. М. Геденов, «стал созывать эти собрания», которые обычно «бывали по субботам» [Зотов, 1860, с. 108]. Во всяком случае, Виельгорский для разговора с царем мог воспользоваться своим правом как члена названного Комитета.

Надо учесть еще, что общение Виельгорского с царской фамилией часто происходило, так сказать, на театральной почве. «В тридцатых и сороковых годах бывали иногда у императрицы небольшие домашние концерты», во время которых «граф М. Ю. Виельгорский играл на виолончели», «А. Ф. Львов на скрипке», «а для государя самого была назначена партия на трубе...» [Корф, с. 48]. Баронесса М. П. Фредерикс, бывшая фрейлиной императрицы, свидетельствует: М. Ю. Виельгорский «занил при дворе совершенно исключительное место друга дома; не проходило дня, чтобы он не был приглашаем к их величествам или к столу, или к вечернему собранию, или сопровождал их в театр» [ИВ. 1898. Январь. С. 81]. Все это создавало благоприятные условия для разговора с царем.

Остается еще сказать о денежном вознаграждении за пьесу. Гоголь выбрал единовременную оплату, а не проспектакльную. Таким образом, 9 марта ему было выдано 2500 рублей, дирекция же получила право давать комедию на петербургской и московской сценах [Тихонов, 1886, с. 84].

Выплата гонорара сопровождалась деталями, небезынтересными для характеристики Гоголя. Зотов как свидетель происходящего вспоминал: «Гоголь был человек образованный и самых благородных правил, но чрезвычайно шекотлив и самолюбив. Когда дошло до платы за “Ревизора”, он непременно требовал, чтоб ему выдана была сумма, как бы за пьесу *в стихах*. Как ни убеждали его, что дирекция не имеет права нарушать высочайше утвержденного штата, он почел себя обиженным и всем жаловался на то, что дирекция не умеет ценить его дарования» [Зотов, 1860, с. 105]. Опубликованная недавно копия письма А. М. Гедеонова Гоголю от 7 марта полностью подтверждает это свидетельство [см.: Зайцева, с. 120–122].

Глава петербургской дирекции сообщал Гоголю, что он не имеет возможности перевести пьесу из одного класса в другой, оплачиваемый более высоким гонораром, так как положение о классификации утверждено императором, неоднократно повелевавшим, «чтобы изъятый из законов никогда и ни для кого не делать». Далее в довольно резкой форме он напомнил Гоголю, что «до сего времени все г.г. авторы и переводчики беспрекословно довольствовались наградою — и никто из них еще не исчислял Дирекции *барышей*, более или менее получаемых...». Возражал Гедеонов Гоголю и в том, «что русская драматическая литература будто бы была в столь бедном и ничтожном [?] положении» и что «со времен Фонвизина» «Ревизор» «будет первым оригинальным произведением на нашей сцене».

Очевидно, что Гедеонов воспроизводит содержание не дошедшего до нас гоголевского письма в дирекцию. Выделенное курсивом слово «барыши», возможно, заимствовано у автора «Ревизора», не чувравшегося довольно резких обвинений дирекции. Параллель с Фонвизиним также проведена самим Гоголем и соответствовала и его

самоощущению и мнению близких к нему людей (вспомним пушкинскую фразу из заметки о втором издании «Вечеров на хуторе...», появившейся как раз перед премьерой комедии: «Как изумились мы <...>, не смеявшиеся со времен Фонвизина»). Обращает на себя внимание и апелляция Гоголя к мнению общества, которое, мол, осудит дирекцию за недооценку «Ревизора», на что Геденов заметил, что он действует в строгом соответствии с законом.

Остается еще добавить: несмотря на то что гонорар драматурга (2500 рублей) был достаточно высок, в общей сумме он существенно проиграл [см.: Зайцева, с. 123]. Вряд ли Гоголь, умевший высчитывать не только чужие, но и свои «барыши», этого не сознавал. Существовало, очевидно, обстоятельство, заставившее его предпочесть одновременную оплату перспективной. Это обстоятельство — задуманный отъезд за границу... Но до этого еще предстояла премьера в Александринском театре.

ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

В связи с другой, более поздней премьерой, московской, Гоголь намеревался первым делом прочитать комедию актерам, «потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад» [XI, 35]. По-видимому, именно так поступил Гоголь и в Петербурге.

Работа над пьесой началась в Великий пост с авторского чтения у Сосницкого. Ивану Ивановичу Сосницкому «Ревизор» сразу же понравился, чего нельзя сказать о большинстве актеров. Авдотья Яковлевна Панаева, происходившая из петербургской артистической семьи (отец ее — знаменитый Я. Г. Брянский, мать — А. М. Степанова) и близкая к театральным кругам, вспоминала, что «все участвующие артисты как-то потерялись» [Панаева, с. 40]. Это подтверждается свидетельством Петра Андреевича Каратыгина (переданным его сыном П. П. Каратыгиным): «При ее (комедии) чтении самим автором у Сосницкого в присутствии артистов, которым предназначены были роли, большинство их <...> пришло в какое-то недоумение. “Что же это такое?” шептали слушатели друг другу по окончании чтения, “разве это комедия? <...> Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается”» [Каратыгин, 1883, с. 735].

К числу «порицателей» Гоголя принадлежал и П. А. Каратыгин, один из первых исполнителей, получивший с 4-го спектакля роль Ляпкина-Тяпкина. «Подобно всем своим сослуживцам, П. А. Каратыгин отнесся к комедии Гоголя если не с пренебрежением, то с полнейшим равнодушием, но самая личность автора обратила на себя особенное внимание артиста» [там же, с. 735]. Ведь Гоголь был литературной знаменитостью, а известие о высочайшем покровительстве еще более подогревало интерес к нему.

Особенно взволнована была театральная молодежь, воспитанники училища при Александринском театре. Тут уже интерес не ограничивался личностью писателя. «...Мы, воспитанники, — рассказывает Л. Л. Леонидов, — следили, по возможности, за всеми репетициями, и записывая чрез участвующих в комедии наших товарищей, — заучивали остроумный юмор Гоголя во всех его действующих лицах» [РС. 1888. Апрель. С. 227–228].

«Наши товарищи» — это однокашники Леонидова В. В. Крамолей, А. Петров, С. Я. Марковецкий, Г. С. Ахалин и П. И. Горшенков, игравшие соответственно роли Добчинского, Бобчинского, Мишки, Держиморды и Люлюкова. По словам мемуариста, «избраны они были самим автором, как вполне подходившие к назначенным ролям» [там же]. Это свидетельствует о том, что Гоголь принимал участие в подборе исполнителей и стремился повлиять на ход постановки.

В этой связи находится и просьба, высказанная Гоголем в письме от 21 февраля 1836 г. черниговскому помещику Н. Д. Белозерскому, — содействовать переезду в Петербург знаменитого провинциального актера Карпа Трофимовича Соленика: «Скажите ему, что мы все будем стараться о нем. Данилевский видел его в Лубнах и был в восхищении» [XI, 34]. Едва ли можно сомневаться в том, что Гоголь прочил его на роль Хлестакова, которая больше всего доставляла ему беспокойства (впоследствии Соленик действительно весьма успешно играл эту роль, но — только на провинциальной сцене).

Кое-что в сценическом тексте исправлялось Гоголем по ходу репетиций. «Комедия эта, как мне известно от И. И. Сосницкого, до первого представления много раз переделывалась и приспособлялась к сцене автором, при советах его друзей...» [Нильский, с. 162]²⁰.

В гоголевские времена не было официальной должности режиссера, постановкой «Ревизора» ведал Храповицкий как инспектор русской труппы. Но Гоголь старался взять на себя режиссерские обязанности — вопреки всему. Очень интересно замечание Анненкова, близкого в ту пору к Гоголю и его кружку — о том, что «хлопотливость автора во время постановки своей пьесы» казалась «странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий...» [Анненков, 1983, с. 68]

Каковы же были режиссерские усилия автора? От самого Гоголя мы узнаем, что он всячески противодействовал утрировке и шаржированию, в частности в «костюмировке» персонажей [IV, 102]²¹. Но налицо и другая тенденция гоголевской режиссуры, расходившаяся с поверхностно понимаемым критерием правдоподобия. Тут за «натурализм» выступал театр, а Гоголь, наоборот, за его разрушение. Это особенно выразилось в исполнении «немой сцены»: автор настаивал на ее длительности («две-три минуты должен не опускаться занавес»), на ее пантомимическом характере, сходстве с жанром так называемых «живых картин» [там же, с. 103], и все это обуславливало высшее,

символическое значение «немой сцены»²². Но, с горечью прибавляет Гоголь, «меня не хотели слушать».

И вот наступило 18 апреля, суббота, день генеральной репетиции. «Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса говорил с Сосницким и лишь изредка с начальником репертуара А. И. Храповицким <...>. Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескромную веселость возбуждала не комедия, но ее автор. Невысокого роста блондин, с огромным тупеем, в золотых очках на длинном, птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа цилиндра, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках. Все это придавало фигуре великого писателя нечто карикатурное. Никто не догадывался <...>, какие страдания он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполнители, ни большинство публики не оценят и не поймут “Ревизора” при его первом исполнении» [Каратыгин, 1883, с. 736].

Между тем нетерпение публики достигло высшей точки. О том, как трудно было достать хорошие, «престижные» места, говорит гоголевское письмо С. А. Соболевскому: автор сожалеет, что «для Карамзиных (то есть для вдовы Карамзина Екатерины Андреевны и ее детей Софьи, Андрея и Александра) не достало ложи», и обещает только кресла.

«Санкт-Петербургские ведомости» от 19 апреля 1836 г., № 86. В разделе «Зрелища» сообщается: сегодня «на Александринском театре, в первый раз, Ревизор, оригинальная комедия в пяти действиях; — Сват Гаврилыч, или Сговор на яму, картина Русского народного быта». Фамилии авторов, согласно принятому порядку, не указывались.

ПРЕМЬЕРА

К 7 вечера «зала наполнилась блистательной публикою, вся аристократия была налицо» [Вольф, ч. 1, с. 49]. Были крупные чиновники: военный министр А. И. Чернышев, министр финансов Е. Ф. Канкрин, член Государственного совета П. Д. Киселев...

Литераторы: Вяземский, Жуковский... По сведениям, исходившим от К., то есть, очевидно, А. А. Краевского, приехал шестидесятилетний И. А. Крылов, домосед, который редко показывался в обществе.

Было много молодежи, в том числе И. С. Тургенев, в ту пору студент С.-Петербургского университета.

Неожиданно приехал Николай I с восемнадцатилетним сыном, будущим царем Александром II. «Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души» [РС. 1879. № 2. С. 348], — отмечено в дневнике

Храповицкого. Факт присутствия императора с наследником на премьерe зафиксирован и в камер-фурьерском журнале [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266].

Но Гоголя приезд многочисленной и знатной публики не воодушевил. Его мучили дурные предчувствия. «С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный» [IV, 101].

Бросается в глаза резкий контраст между переживаниями Гоголя по поводу премьеры и тем восприятием, которое сложилось у большинства ее свидетелей и современников. Гоголь расценивает ее как неудачу: «Еще раз повторяю: тоска, тоска» [IV, 102]. Чуть ли не как катастрофу: «Все против меня <...>. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня» [XI, 38]. Как всеобщее преследование, почти ostracism драматурга: «Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него» [XI, 45].

Между тем другие говорят об успехе, более того — блистательном успехе. Вяземский — А. И. Тургеневу, 24 апреля: «Ревизор сыгран и отпечатан <...>. Успех был блистательный и замечательный» [ОА. Т. 3. С. 316]. И в своей рецензии Вяземский пишет о «полном успехе» спектакля [см.: С. 1836. Т. 2. С. 287]. И. Сосницкий в недошедшем письме Щепкину, буквально вторя Вяземскому, сообщал, что «Ревизор» сыгран «с блистательным успехом» [ЛН. Т. 58. С. 549]. В. А. Каратыгин — Ф. А. Кони, 27 апреля: «Публика бежит смотреть и восхищается» [там же, с. 548]. П. И. Григорьев — Ф. А. Кони, 20 апреля: «“Ревизор” г. Гоголя сделал у нас большой успех! Гоголь пошел в славу! Пьеса эта шла отлично <...>. В первое представление смеялись громко и много, поддерживали крепко» [там же, с. 548]. Наконец, Храповицкий, как бы подытоживая другие свидетельства: «Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно» [Войтоловская, с. 247].

Забегая вперед, отметим, что и последующие представления вполне разделили успех премьеры. В корреспонденции из Петербурга некоего Пертинадса, датированной 1 мая и опубликованной в выходившем в Тарту на немецком языке журнале *Der Refraktor*, сообщалось, что «Ревизор» «...уже в течение двух недель с огромным успехом идет в Александринском театре, вызывая невиданный наплыв публики и бурю аплодисментов в переполненном зале» [Исаков, с. 49].

Как объяснить это противоречие? Очевидно, нужно дифференцировать такое понятие, как «успех», определить составляющие его, порою контрастные элементы.

Замечательно выразительную, динамичную картину зрительного зала дает П. В. Анненков: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах <...>. Недоумение это потом возрастало с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако в этом фарсе были черты и явления,

исполненные такой жизненной истины, что раза два <...> раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика — за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики был: “Это — невозможность, клевета и фарс”» [Анненков, 1983, с. 69].

Приведенное описание обладает рядом особенностей, обусловленных позицией автора. Прежде всего это свидетельство очевидца; Анненков специально уточнял, что он был на премьере²³. Затем это свидетельство изнутри зрительного зала. Однако оно не совсем беспристрастно, но как бы приближено к точке зрения Гоголя; автор, близкий к нему человек, смотрит на происходящее сквозь призму гоголевского переживания — *переживания неуспеха*; к тому же — к моменту написания мемуаров — ему уже известны эпистолярные отклики драматурга на премьеру, и он их учитывает. Поэтому негативные краски в описании зрительской реакции, пожалуй, преобладают; но при всем том подмечены противоречивость и текучесть настроения, колеблющегося между приятием и негодованием. Собственно и Гоголь дифференцировал понятие «неуспеха» (или «успеха»): в «Отрывке из письма к одному литератору...» (опубликованному в 1841 г. и известному Анненкову-мемуаристу) он писал, что «публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила по причинам, однако ж, не относящимся к искусству» [IV, 101].

Под «причинами, не относящимися к искусству», подразумевалась изображение раличных административных злоупотреблений, пороков, произвола, то есть совокупности явлений, называемых сегодня коррупцией. Не заметить в «Ревизоре» этой тенденции было трудно, и она, конечно, задевала зрителей: кому внушала беспокойства, а кого и возмущала.

А. И. Храповицкий, отметивший одобрение пьесы царем и ее достоинства («пиеса весьма забавна»), все же не удержался от упрека: «...Только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество» [РС. 1879. № 2. С. 348]. Никитенко, бывший на третьем представлении, записал в дневнике: «Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается» [Никитенко, т. 1, с. 182–183]. Так что фраза Анненкова о «негодовании» части зрителей находит подтверждение и у других очевидцев.

Но помимо «причин, не относящихся к искусству», действовали причины, имеющие к нему прямое отношение. Многим гоголевский комизм казался низким, бессмысленным, тривиальным. Знаменитый актер-трагик В. А. Каратыгин (брат упоминавшегося П. А. Каратыгина), воспитанный на высокой трагедии классицизма, в письме от 28 апреля 1836 г. (адресовано, по-видимому, П. А. Катенину) сообщил: «Народ бегаёт смотреть новую комедию Гоголя-Яновского, в которой нет смысла человеческого и в самом площадном тоне <...>. Жалкое положение театра!» [Каратыгин П., т. 2, с. 192]²⁴. Ф. В. Булгарин как рецензент отмечает, что успех у простой публики пьеса имеет благодаря особенности своего комизма: «...“Ревизор” нравится публике, то есть публика смеется и хохочет. Да и нельзя не хохотать! Это презабавный фарс, ряд смешных карикатур...» [СП. 1836. 1 мая. № 98].

Но только ли простая публика воспринимала подобным образом комедию? И. С. Тургенев откровенно признался, что, будучи на премьере, он «не понял значения того, что совершалось перед глазами моими. В “Ревизоре” по крайней мере много смеялся, *как и вся публика*» [Тургенев И., т. 14, с. 15–16].

Еще одно свидетельство — и тоже не простого зрителя, но человека весьма образованного, участника кружка Н. В. Станкевича и его ближайшего друга — Януария Неверова. На следующий день после второго представления, 23 апреля, он сообщал Станкевичу в Москву: «Есть новость: давали комедию Гоголя: “Ревизор”. Смешно — но право все пустяки, и в ней нет ничего восхитительного, хотя и превозносят ее до небес. Драмы нет, истинного комизма и подавно; зато много верности в изображении провинциального быта, много остроты — иногда больно сальной. Неужели из этих материялов можно соорудить комедию? Как фарс, как сцены провинциальной жизни — она имеет, без сомнения, большое достоинство» [ГИМ. Ф. 351. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 19]. Как тут все перемешано! «Смешно», но «нет истинного комизма». Верность «быта» и «провинциальной жизни», но «все пустяки». И при этом широкое внимание, безмерные похвалы, успех... Но очевидно, это был не тот успех, который бы всецело устроил автора.

По окончании спектакля были «вызваны автор, Сосницкий и Дюр» [РС. 1879. № 2. С. 348], игравший Хлесткова. Но Гоголь, как говорит К. (очевидно, Краевский), на вызов не вышел. «Его не оказалось в театре. Волнуемый новыми для него ощущениями, он в тот же вечер заезжал к знакомым, был у Плетнева, не застал его, поехал к другому» [Порядок. 1881. № 28]. К «другому» — это, вероятно, к Прокоповичу. О визите Гоголя к Прокоповичу рассказывает как очевидец Анненков: «По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр “Ревизора”, только что вышедший из печати, со словами “Полюбуйтесь на сынку”. Гоголь швырнул экземпляр на пол, подо-

шел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: “Господи Боже! Ну, если б один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все...” [Анненков, 1983, с. 69]²⁵.

Между тем интерес к пьесе не ослабевал. На третий день, 22 апреля (как уже упоминалось), состоялось второе представление. Запись, сделанная на афише: «Все играли отлично. Вызваны: автор, Сосницкий, Дюр и громогласно Афанасьев, который играл (слугу Осипа. — Ю. М.) гениально» [Ежегодник. 1899. С. 117].

На третье представление, 24 апреля, вновь явился царь и не только с наследником, но со «всею фамилиею» [там же]. Присутствие царя подтверждается записью в камер-фурьерском журнале [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266]. А также дневниковой записью А. В. Никитенко, который незадолго перед тем, 13 марта, дал цензурное разрешение на издание «Ревизора»: «Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими князьями. Их эта комедия тоже много тешила» [Никитенко, т. 1, с. 182].

Отличившиеся актеры были награждены: Сосницкий — перстнем с аметистом стоимостью в 781 руб., Дюр — перстнем с изумрудом в 701 руб., а Афанасьев — табакеркой с жемчугами в 650 руб. После же преподнесения Гоголем экземпляра комедии царю последний распорядился наградить его «вещью в 800 рублей» [Зайцева, с. 128; ср.: Материалы, т. 1, с. 310].

«ТУТ ВСЕМ ДОСТАЛОСЬ, А БОЛЬШЕ ВСЕХ МНЕ...»

Эту фразу Николая I приводит историк петербургских театров: «Государь, уезжая, сказал: “Тут всем досталось, а больше всех мне...”» [Вольф, т. 1, с. 50]. Но не Вольф — первоисточник этой версии; он лишь собирал и фиксировал циркулировавшие в театральных кругах сведения. В печати хронологически самое первое сообщение на этот счет принадлежит, кажется, начальнику репертуарной части Р. Зотову, но и он ссылается на других: «Говорят, что важное лицо, бывшее в первом представлении комедии, сказало, уезжая...» и т. д. [Зотов, 1860, с. 104–105].

П. П. Каратыгин же как на очевидца ссылается на своего отца: «Эти слова покойный (П. А.) Каратыгин, в числе некоторых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами, при выходе государя из ложи на сцену» [Каратыгин, 1883, с. 736].

Актер Ф. А. Бурдин, приведя эпизод с репликой царя, добавляет: «Рассказ этот я слышал неоднократно от М. С. Шепкина, которому, в свою очередь, он был передан самим Гоголем» [ИВ. 1886. Т. 23. С. 146].

Наконец, Л. Леонидов передает этот эпизод в такой редакции: «Государь, выходя из театра, после первого представления “Ревизио-

ра”, как известно, сказал: ”Всем досталось, а мне более всех!”» [РС. 1888. Апрель. С. 228].

В общем все сообщения идентичны; различия лишь в отношении времени, когда император произнес эту реплику: покидая театр или же при выходе из своей ложи на сцену, возможно, во время антракта (Николай любил подобные выходы). И несмотря на то что прямым свидетельством очевидца мы не располагаем, сказанное отличается высокой степенью вероятности.

Однако почему Николай I так повел себя по отношению к «Ревизору»? Чем объясняется не только его августейшее разрешение поставить пьесу, но явное к ней благоволение и поддержка? В. В. Гиппиус видел в этом «известный расчет» — избежать повторения судьбы «Горя от ума», которое, не будучи разрешенным, рапространялось в списках [Материалы, т. 1, с. 311–312]. «Возможно и другое: <...> Скорее всего, Николай I полагал, что Гоголь смеялся над его провинциальными чиновниками, над заштатными городишками, их жизнью, которую сам он со своей высоты презирал. Подлинного смысла “Ревизора” царь не понял» [Войтоловская, с. 250].

Конечно, глубины «смысла» «Ревизора» император скорее всего «не понял». Но, с другой стороны, и свой смысл в его действиях очевидно был. Едва ли все сводилось к притворству и расчету нейтрализовать влияние комедии. Отношение Николая I к пьесе интересно не только для понимания правительственной политики, но и биографии Гоголя, его творческого и писательского самоощущения.

Прежде всего: император сызмальства был театральным человеком. «Николай Павлович, страстно любивший театр и даже сам иногда игравший на половине великой княжны Анны Павловны в комедиях, операх и балетах...» [Шильдер, с. 28] — так рекомендует царя его биограф. А среди различных театральных жанров и манер предпочтение отдавалось им комедийным жанрам и комической манере исполнения. В юношеском возрасте будущий император «вдруг полюбил *фарсы, каламбуры, слишком неумеренную* (по словам воспитателей) и *неуместную веселость*» [Корф, с. 72–73].

Позднее Николай I простер свое августейшее внимание на императорскую сцену. «Он не пропускал почти ни одного бенефиса; сам расспрашивал и поощрял всех артистов в исполнении ролей» [Андреев А. Н. Давние встречи // РА. 1890. № 4. С. 545]. Театральной дирекции постоянно приходилось быть начеку, ожидая высокого зрителя. «Император Николай Павлович был большим любителем театра, — вспоминал один из актеров, — он охотно посещал оперу, балет, но особенную его любовью пользовалась драма вообще и водевиль преимущественно. Водевилысто — Каратыгина, Григорьева, Федорова — он всегда поощрял как милостивыми похвалами, так и драгоценными подарками» [Алексеев А., с. 39].

Еще одно авторитетное свидетельство — оно принадлежит не кому другому, как Федору Ивановичу Шаляпину, который воспроизводит

дошедшее до него общее мнение: «Из российских императоров ближе всех к театру стоял Николай I. Он относился к нему уже не как помещик-крепостник, а как магнат и владыка, причем снисходил к театру величественно и в то же время фамильярно. Он часто проникал через маленькую дверцу на сцену и любил болтать с актерами (преимущественно драматическими), забавляясь островами своих талантливейших верноподданных» [Шалапин, с. 123].

Так что Виельгорский и другие, представившие императору для разрешения гоголевскую пьесу, могли в счастливую минуту рассчитывать на полный успех. Ведь пьеса была смешна, уморительно смешна, этого у нее не отнимешь. Царь же был великий «охотник до смеха», употребляя выражение Гоголя, сказанное по другому поводу. Смеялся он громко, от души. Остроты его (вроде комических, издевательских резолюций) запечатлены в анналах российской юмористики.

Правда, это был особый юмор — юмор «магната», самодержца. То есть такой юмор, когда право на смех сопряжено с правом власти. Насколько власть имущий разрешал себе силу насмешки, настолько он не признавал или склонен был заподозрить это право у других. При этом, однако, факт одобрения проявлений комического, в частности в искусстве, превращал его, императора, в высшую инстанцию и в этой столь деликатной и противящейся всякой регламентации области. Смех звучал постольку, поскольку царь милостиво санкционировал его существование. Это отчетливо выразилось в поведении Николая I на премьере и на третьем представлении «Ревизора»: смех его был не только искренним, громогласным, но и демонстративным и побудительным: император словно подавал сигнал к соответствующей реакции другим зрителям.

А вообще-то Николай I не ограничивался ролью зрителя и нередко собственной персоной вступал в заповедный мир сцены. К императору вполне приложимо пушкинское выражение «почетный гражданин кулис». Впрочем, приложимы и следующие перед этим строки: «Театра злой законодатель, // Непостоянный обожатель// Очаровательных актрис...»

Для удобства общения со сценой или с «закулисем» (скажем мы по аналогии с «зазеркалем») Николай I предпочитал не пользоваться царской ложей. «...В большинстве случаев (он) сидел в боковой литерной ложе, имевшей непосредственное сообщение со сценой, на которую почти каждый антракт он выходил и лично передавал исполнителям свои впечатления» [Алексеев А., с. 40; об этом же свидетельствует и А. Н. Андреев в упомянутых выше воспоминаниях, и Шалапин, говоривший, что император проникал на сцену «через маленькую дверцу»]. Возможно, во время одного из таких выходов на премьеру «Ревизора» он и произнес свою знаменитую фразу.

Николай Павлович и самолично участвовал в постановке спектаклей, давая режиссерские указания. Р. М. Зотов рассказывает: когда

репетировался балет «Восстание в Серале», где «все танцовщицы кордебалета должны производить военные экзерциции и я, по старой памяти, вместе с (А. М.) Геденовым (оба в прошлом были военные. — Ю. М.) взялся их учить маршировке и эволюциям», то «государь и великий князь Михаил Павлович часто присутствовали при этих экзерцициях и даже поправляли нас» [Зотов, 1874, с. 18].

Об участии императора в постановке комедий и водевилей ничего не известно. Но и в этом случае он охотно вступал в общение с актерами и авторами, настраиваясь на шутливую, комедийную волну и как бы продолжая действие. Так, П. А. Каратыгина он спросил по поводу его водевиля «Булочная»:

«— Это вещь твоя или с французского?»

— Оригинальная, Ваше величество.

— Оригинальная? Ну полное тебе спасибо! А за переводы я только полу-благодарю...» [Алексеев А., с. 40].

Между прочим, эта острота вполне в духе поэтики водевиля, с его игрой слов и каламбурами...

Кстати, и в «Ревизоре» Николай Павлович решил подыграть актеру — этой чести удостоился воспитанник Петров, исполнявший роль Бобчинского. «В антракте одного из балетов государь пожаловал на сцену, и заметив Петрова, вышедшего пофигурировать вперед, сказал:

— А! Бобчинский. Так, так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский?

— Точно так, Ваше величество... — ответил тот бойко.

— Ну, хорошо, будем знать, — заключил государь, обратившись к другим присутствовавшим на сцене» [РС. 1888. Апрель. С. 228–229].

Один из современников, уже упоминавшийся Я. Неверов, обозревая отношение императора к просвещению (статья так и называется: «Царствование императора Николая I в отношении к просвещению»), писал: «Он сам был цензором Пушкина и Гоголя — не по недоверчивости, нет, — известно, что обыкновенная ценсура, в таком случае, всегда оказывалась несравненно строже, — но по участию и уважению к таланту» [ЖМНП. 1856. Сентябрь. С. 119].

Безусловная правда этого вывода в том, что самодержец — и шире: обладатель авторитарной власти — часто оказывается гораздо смелее, чем подданные: ему не приходится опасаться вышестоящего, и кроме того, есть особое удовольствие в том, чтобы продемонстрировать свою терпимость, широту и смелость на фоне всеобщего безгласия и трусости.

Вместе с тем нельзя исключать наличия и более серьезной подоплеки в решении царя и вообще в отношении его к гоголевской комедии. Об этом нужно поговорить специально.

Внутренняя политика Николая I представляла собою одну «из самых последовательных попыток осуществления идеи просвещенного

абсолютизма» в России, основанную на «починке некоторых учреждений» «без введения коренных преобразований» [Корнилов, с. 193, 160]. Власть правопорядка должна была устанавливаться силою монархической власти. Отсюда неизбежные противоречия: с одной стороны, кодификация законов, попытки не только улучшить положение крестьян, но и решить «крестьянский вопрос» в целом, то есть подвести к отмене крепостного права; с другой — возрастание роли бюрократии и чиновничьего аппарата с вытекающим отсюда усилением беззакония и произвола.

Программа Николая I отличалась утопизмом. «Две несбыточные идеи лежали в ее основе: 1. Мысль о возможности разрешения крупных государственных проблем путем частичных и нечувствительных изменений в мелких подробностях старого порядка и 2. Надежда провести в жизнь реформу этого порядка при помощи тех органов, которые сами входили необходимым элементом в его состав» [Кизеветтер, с. 419–420].

Император хорошо знал цену многим своим приближенным. Так, в связи с намечаемой поездкой в Варшаву русских чиновников он писал 27 мая 1827 г. великому князю Константину, что «среди всех членов первого департамента сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говоря уже послать с пользой, но даже просто показать *без стыда*». Как отмечает историк николаевской эпохи, это не случайное высказывание: царь «всегда ценил очень низко ту самую русскую бюрократию, в руки которой при нем было отдано все управление страной». «Император Николай Павлович одновременно и боялся народной самодеятельности, и отдавал себе ясный отчет в непригодности русского чиновничества для серьезного государственного дела» [там же, с. 407, 408].

Поэтому следует признать, что его критическое умонастроение до некоторой степени могло совпадать с устремлениями Гоголя, решившего в «Ревизоре», как мы знаем, «собрать в одну кучу все дурное в России» и «все несправедливости».

Конечно, это было неполное совпадение, но очень существенное. Вдумываться в особое строение «Ревизора», глубину гоголевского комизма, в тонкость взаимоотношений персонажей, в метафизику «немой сцены» императору было недосуг — и не обязательно. Вполне достаточно было того, что лежало на поверхности. Он видел, что незаконные дела и поступки высмеиваются и осуждаются, что совершают эти поступки мелкие чиновники-исполнители, что сами эти преступления не столь уж велики (в жизни происходили вещи много пострашнее); наконец, видел и то, что на вышестоящих, на петербургские власти, на столичные круги и Петербург все обители уездного городишки взирают с благоговением и ужасом (тут вполне оказался кстати и эпизод с просьбой Бобчинского, приятно пощекотавший амбицию царя). Да и саму «немую сцену» Николай I мог воспринять

если не как свершившееся наказание, то как его приближение и угрозу — в духе той реплики, которую произнес Синий армяк, один из персонажей гоголевского «Театрального разъезда...»: «Небось, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!»

В этом контексте фраза — «Тут всем досталось, а больше всех мне...» — имела тот смысл, что он, самодержец, допустил все эти безобразия и хотя в конце концов вмешался в ход событий («...по именному повелению»), но все-таки вынужден признать, что лучше бы было вмешаться раньше. Или, говоря другими словами, он, самодержец, сделал еще далеко не все — предстоит большая работа. В духе подобной самокритики воспринял финал комедии Р. Зотов. Приведя знаменитую фразу императора, он пояснял: «Это значило, что великая историческая эта особа, тридцать лет трудившаяся о искоренении в России взяточничества, с сокрушением видела однако же, что еще не вполне успела достигнуть этой цели» [Зотов, 1860, с. 104–105].

И двукратное присутствие императора на спектакле, его поведение в театре, его громкий смех — все это преследовало, так сказать, воспитательные цели, было рассчитано на публику, прежде всего на чиновную и высокопоставленную. Никитенко говорит, что «государь даже велел министрам ехать смотреть “Ревизора”» [Никитенко, т. 1, с. 182–183]. Это свидетельство находит подтверждение в рассказе А. О. Смирновой-Россет: «...Министры и Павел <Киселев> в первую очередь должны были аплодировать, когда аплодировал государь, хлопавший, высовываясь из ложи наружу» [Смирнова, 1989, с. 420]. Сама Смирнова на премьере не присутствовала (она жила за границей), но у нее был довольно осведомленный источник — герой ее «баденского романа» молодой дипломат Николай Дмитриевич Киселев, младший брат упомянутого Павла Киселева.

И в другом месте: «Хохот был постоянный, государь сам начинал аплодировать и более других смеялся. В первом ряду сидели тузы, ваш брат (то есть Павел Дмитриевич Киселев), двое Горчаковых, Владимир Федорович Адлерберг, Нессельрод, люди чистые и честные смеялись от души, остальной партер громко хохотал, но были такие, кто смеялся принужденно» [там же, с. 496].

Таким образом, к уже известным нам представителям высшей власти, присутствовавшим на премьере, Чернышеву и Канкрину, можно прибавить (если Смирнова точна) и других: помимо П. Киселева, еще кн. Александра Михайловича Горчакова (1798–1883), дипломата, позднее министра иностранных дел; кн. Михаила Дмитриевича Горчакова (1793–1861), генерала от артиллерии; графа Владимира Федоровича Адлерберга (1791–1884), начальника Военно-походной канцелярии; графа Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862), министра иностранных дел.

Рассказывая об именитых зрителях «Ревизора», Смирнова придерживается этического принципа: одни, будучи честными, смеялись

от души, другие *вынуждены* были смеяться. Среди первых на самом видном месте — П. Д. Киселев: «Хохотали, а Павел больше других, так как ему не в чем было себя упрекнуть» [там же, с. 480]. Случайное это совпадение или нет, но интересно то, что именно Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872), член Государственного совета, позднее министр государственных имуществ, в наибольшей степени олицетворял либеральные и реформаторские устремления николаевского царствования. 17 февраля 1836 г. Николай I сказал ему: «Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части». Имея в виду устройство казенных крестьян, царь заметил: «Я давно убедился в необходимости преобразования их положения, но министр финансов (Канкрин), от упрямства или неумения, находит это невозможным» [Заблоцкий, с. 13, 11]. Вскоре, 29 февраля того же года, было образовано специальное учреждение по крестьянскому вопросу — V отделение собственной его императорского величества канцелярии во главе с Киселевым. Несомненно, что в свете этих событий, произошедших буквально накануне премьеры «Ревизора», Киселев и воспринимал гоголевский текст.

О впечатлении, произведенном на царя комедией Гоголя, свидетельствуют следующие совершенно не учтенные в биографии писателя факты. В 1837 г. наследник престола будущий император Александр II в сопровождении ряда лиц (в том числе своего воспитателя В. А. Жуковского) совершал большое путешествие по России. При этом в своей переписке и сам путешественник и его августейший отец обращались к воспоминаниям о «Ревизоре», на премьере которого несколькими месяцами раньше оба они присутствовали; эти воспоминания стимулировались тем, что наследник неволью оказался в положении того же ревизора, правда, ревизора высшего ранга.

По выезде из Вышнего Волочка Александр писал императору (Тверь, 4 мая): «Городничий тамошний напомнил нам городничего из “Ревизора” своей турнюрой» (Переписка наследника, с. 30). На это Николай I отвечал развернутой сентенцией (Петербург, 8 мая): «Мне приятно весьма слышать от (А. А.) Кавелина (генерал-адъютанта, одного из воспитателей цесаревича. — Ю. М.), что твое поведение согласно с моим желанием и что ты показываешься таким, как должно будущему Царю Русскому. Не одного, а многих увидишь подобных лицам “Ревизора”, но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся, иной смешон по наружности, но зато хорош по другим важнейшим достоинствам, в этом надо быть крайне осторожным» [там же, с. 130]. Спустя несколько дней (16 мая) наследник поведал следующее: сын помещицы Жадовской, в доме которой он ночевал, оказался «удивительный чудаки и напомнил мне Петр(а) Ив(ановича) Бобчинского, наподобие его просил одной только милости, чтобы довести до Твоего сведения, что я ночевал в его доме. Но и при сем случае я припомнил Твое наставление, любезный Папа, чтобы не показывать вид другим, что кажется смеш-

ным» [там же, с. 41]. Император, который уже имел возможность обыграть «просьбу» Бобчинского (см. выше его реплику исполнителю этой роли Петрову), отвечал наследнику (Царское Село, 25 мая): «Смеялся я, читав сцену с Бобчинским, хорош, должен быть, гусь, но спасибо тебе, что <приучился> не показывать смеху при других» [там же, с. 134].

Говоря об отношении Николая I к гоголевской комедии, следует предостеречь против преувеличений. «Ревизор», очевидно, отвечал устремлениям императора, вызывая неподдельную веселость и удовлетворение, но все-таки остался эпизодом в его жизни. А. О. Смирнова, хлопотавшая позднее в 40-е годы о денежном пособии для автора «Мертвых душ», передает такой диалог с Николаем I. «Вы знаете, (сказал император), что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостоивается ли повесть “Тарантас”. Я заметила, что “Тарантас” — сочинение Соллогуба, а “Мертвые души” большой роман. “Ну так я его прочту, потому что позабыл “Ревизора” и “Разъезд”» [Смирнова, 1989, с. 61].

Впрочем, и фамилию Гоголя император помнил нетвердо, называя его Гогелем (кстати, любопытно, что в переписке с наследником имя автора «Ревизора» ни разу не было упомянуто; словно пьеса существовала сама по себе). Очевидно, влияло существование других, с точки зрения Николая I, не менее важных персон: это Иван Петрович Гоголь (1770—1834), артиллерийский генерал, директор Пажеского корпуса и Военно-ученого комитета; и Григорий Федорович Гоголь (1808—1881), генерал-адъютант, управлявший Царским Селом...

Что же касается самого автора «Ревизора», то в его сознании участие царя заняло несравненно более значительное место; недаром он не уставал говорить об этом знакомым и родным²⁶. И дело не только в заступничестве самодержца — олицетворялась идея «правильных», должных взаимоотношений его, художника, и власти. По крайней мере, Гоголю хотелось, чтобы это соотношение выглядело таким. Еще в статье «Ал-Мамун» из «Арабесок» (1835) он писал, что «великих поэтов» «мудрые властители» «берегут» и внимательно выслушивают «как ведателей глубины человеческого сердца» [VIII, 78]. И вот теперь все это подтвердилось на его собственном примере. В черновой редакции «Театрального разъезда...» Гоголь излился по этому поводу прочувствованным, восторженным дифирамбом: «И ты, простерший с высоты твоего величия голос ободренья и защиты великий царь. О как полно мое сердце и как глубоко оросили святые <?> слезы благодаренья!» [V, 390]. В окончательный текст эти строки не попали (видимо, Гоголь сознавал их чрезмерность), но осталась выраженная в более общей, отстраненной форме мысль о том, что истинным поэтам «внемлют <...> мудрые цари, глубокие правители» [V, 170].

Да и некоторые современники все произошедшее с «Ревизором» толковали в духе концепции просвещенного абсолютизма. Благомыс-

лящее правительство, писал Вяземский, поражающее «злоупотребления», привлекает на помощь литературу: «в 1783 году оно допустило представление “Недоросля”, в 1799-м “Ябеды”, а в 1836-м “Ревизора”» [С. 1836. Т. 2. С. 309].

НАСТОЯЩИЙ «РЕВИЗОР» И «НАСТОЯЩИЙ РЕВИЗОР»

14 июля 1836 г., когда Гоголь уже покинул Россию, в Михайловском театре в Петербурге состоялась премьера пьесы, написанной по мотивам «Ревизора» [СП. 1836. 14 июля. № 158].

И так же, как гоголевская комедия, эта пьеса сразу же вышла отдельным изданием: «Настоящий ревизор, комедия в трех днях или действиях, служащая продолжением комедии: Ревизор, сочиненной г. Гоголем» (СПб., 1836). Автор не значился, но современникам было известно, что это кн. Цицианов [Вольф, ч. 1, с. 51]. Цензурное разрешение от 22 июня было подписано А. В. Никитенко.

Обратиться к этому эпизоду необходимо потому, что существует точка зрения, будто бы «Настоящий ревизор» представлял собою сознательную акцию правительства с целью нейтрализации гоголевской комедии. И инициатор названной акции — не кто другой, как сам император.

Возникновение этой версии восходит к публикации следующего документа. Министр двора П. М. Волконский писал 2 июня 1836 г. директору петербургских императорских театров А. М. Гедеонову: «Возвращая <...> при записке Вашего превосходительства от 22 минувшего мая комедию под названием “Настоящий Ревизор”, уведомляю Вас, что Государь император высочайше повелеть изволил — послать оную в цензуру».

Публикатор этого документа Ал. Петров в комментарии, озаглавленном «Николай I как репертуарный цензор», утверждал: «Записки Гедеонова в делах не оказалось, но ясно, что через него Николай сделал заказ на контр-пьесу “Настоящий Ревизор”, который был выполнен, послан царю на просмотр, и Николай, чтобы скрыть свое участие, порекомендовал, не нарушая установленного порядка, послать пьесу в цензуру» [Советский театр. 1930. № 5–6. С. 44]. 4 июня пьеса действительно была отправлена в цензуру и 6-го вернулась одобренной, кстати, тем же Мордвиновым, который подписал разрешение на представление «Ревизора».

Другой исследователь также допускает «самое ближайшее содействие этому делу со стороны Николая I» и даже участие III отделения, «широко привлекавшего литераторов к жандармской службе в целях воздействия на общественное мнение» [Данилов, с. 154]²⁷.

Познакомимся, однако, с «Настоящим ревизором». Главная его особенность — беззастенчивая эксплуатация приемов и мотивов произведения, вошедшего в моду. Современники так и восприняли эту новинку. «Успех Гоголевой комедии побудил какого-то князя Цицианова написать “Настоящего ревизора”» [Вольф, ч. 1, с. 51]. Автор «смастерил “Настоящего ревизора”, думая через это статью на одну доску с Гоголем» [Белинский, т. 8, с. 329].

В предисловии, озаглавленном (как и у Гоголя в первом издании) «Характеры и костюмы», автор слегка варьирует гоголевские характеристики, добавляя одного нового персонажа: «Проводов, скрывающийся под именем Рулева, красивый мужчина, лет 32; солидный и умный, благородный; говорит ясно и плавно...»

Этот Проводов-Рулев и оказывается настоящим ревизором. В заключительном явлении, после того как ему удалось вывести и «узнать все, не трогаясь с места», он сбрасывает маску и наказывает провинившихся. Собственно он считает, что «следовало бы всех отдать под суд, без изъятия», но ограничивается одним Земляником (в оригинале Земленикою). А остальным милостиво разрешает подать прошение об отставке. Относительно Хлестакова он решает просить министра об определении его «подпрапорщиком в один из дальних армейских полков». А Городничего как будущего тестя — дело в том, что Марья Антоновна влюбилась в Рулева и встретила с его стороны взаимность — вообще решает пощадить: отставляет от должности с правом поступить на службу через пять лет. А пока — «проведите вы с Анною Андреевную в моем имении, в Бессарабии, в глуши, где вам не с кого будет взятки брать, а ей не с кем кокетничать». Налицо реализация мотива, почерпнутого из другой классической комедии, из «Горя от ума», где Фамусов грозит сослать провинившуюся дочь «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...». И при этом Рулев поручает Городничему «заведовать этим имением» [«Настоящий ревизор», с. 123, 124, 125].

Если подразумевалось торжество справедливости, наказание виновных, то более нелепого или издевательского финала трудно себе было представить. Это тотчас отметил рецензент «Северной пчелы»: «...Скажите, ради Бога, где происходит действие в вашей комедии? Между каффрами, готтентотами или на островах Тихого океана? Только уж верно не в пределах России! У нас не только *никто* не прощает подобных злодеев и грабителей, которые, по роду своих преступлений, не могли бы подойти даже под Всемиловейший Манифест, но, напротив, их строго преследуют судом, и слава Богу!» Впрочем, рецензент доволен, что пьесу поставили: «...Если бы пьеса почему-нибудь не была дана, тут бы и пошли бы толки и пересуды <...>. А теперь и автор и комедия его выведены на чистую воду» [СП. 1836. 29 июля. № 171; подпись: П. М.].

«Настоящий ревизор» с треском провалился. Всего было три спектакля: помимо премьеры 14 июля на Михайловской сцене, 15 июля —

в Александринском театре и 27 июля — вновь в Михайловском совместно с гоголевским «Ревизором».

После премьеры А. И. Храповицкий записал в дневнике: «Г. настоящего ревизора ошкали. Туда ему и дорога! Такой галиматши никто еще не видал» [РС. 1879. Февраль. С. 348–349]. А по поводу последнего спектакля сделал надпись на афише: «Надоела! И это мнение всех зрителей и актеров. Пороть сей сумбур!» [Войтоловская, с. 248].

И никто не предпринял малейших усилий поддержать пьесу, продлить ее мотыльковый век, что естественно было бы ожидать в случае августейшей протекции.

Чем же было вызвано непосредственное обращение театральной дирекции к императору? Вспомним заключительные слова названия: «...служашая продолжением комедии: Ревизор, сочиненной г. Гоголем». Все знали, что гоголевская пьеса попала на сцену благодаря Николаю I; поэтому и ее «продолжение» логично было представить его вниманию. Дело не в формальном разрешении или запрещении, а в соблюдении приличия, этикета.

Реакция императора неизвестна; скорее всего, он просто уклонился от решения, предоставив событиям идти своим чередом, то есть отправить пьесу в цензуру, что и было сделано.

Что же касается Гоголя, то он «Настоящего Ревизора» видеть не мог, едва ли о нем что-либо и слышал, а если и слышал, то это не оставило в его сознании никакого следа.

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Вернемся ко времени после премьеры «Ревизора». Интерес к нему не ослабевал. «На четвертое представление (28 апреля) нельзя достать билетов», — сообщал Гоголь М. Щепкину.

А всего в сезон 1836/1837 года комедия шла 26 раз. Это намного больше любой другой новой пьесы: занимающая второе место переводная комедия В. Каратыгина «Кин» шла 11 раз; столько же переводные водевили Ф. Кони «Девушка-гусар» и П. Григорьева «Жена кавалериста» [Вольф, ч. 2, с. 42, 43].

В четвертом исполнении произошла частичная смена состава: Гордничего вместо Сосницкого играл П. И. Григорьев; Хлестакова вместо Дюра — А. М. Максимов; П. А. Каратыгин в рсли Ляпкина-Тяпкина сменил П. И. Григорьева, а воспитанников Петрова и Крамолея в ролях Бобчинского и Добчинского — соответственно А. Е. Мартынов и О. О. Прохоров. «Григорьев б. был несколько слабее Сосницкого, Максимов и Дюр — между ними была почти незаметная разница, Каратыгин м. понял свою роль и был в оной выше Григорьева б., но Бобчинский и Добчинский (Мартынов и Прохоров) — несравненно выше своих предшественников» [Ежегодник, 1899, с. 117]. Следует добавить,

что дебютировавший в роли Бобчинского Александр Евстафьевич Мартынов (1816–1860) в будущем станет знаменитым актером.

Смена состава была произведена без ведома Гоголя, что усилило его досаду и раздражение. Но больше всего на его настроение влияли отклики — печатные и устные. Читая письма Гоголя, можно подумывать, что пьеса вызвала всеобщее осуждение («все против меня...»), что на него обрушился шквал упреков, потоки самой злобной хулы... Так ли это?

Если обратиться к печатным отзывам, то Гоголь до отъезда за границу смог прочитать только две рецензии — Ф. Булгарина и О. Сенковского.

Первым откликнулся Булгарин [СП. 1836. 30 апреля, 1 мая. № 97, 98]. Рецензент рассматривает комедию со стороны как содержания, так и формы. Собственно, оба подхода, так сказать общественный и эстетический, наметились еще в день премьеры, в реакции первых зрителей.

В отношении содержания главный упрек критика в том, что драматург возвел клевету на русскую жизнь или, как стали говорить в более поздние времена, исказил действительность. Рецензент хотел бы отодвинуть все происходящее одновременно в двух направлениях — подальше от сегодняшнего дня и подальше от России.

Передвижение во времени: мол, «автор “Ревизора” почерпнул свои характеры, нравы и обычаи не из настоящего русского быта, но из времен пред-Недорослевских...».

Передвижение в пространстве: мол, «Городничий не мог бы взять такую волю в великороссийском городке». «Городок автора “Ревизора” не русский городок, а малороссийский или белорусский, так незачем было клепать на Россию».

Так упреки общественного толка переходят в эстетические: поклеп и клевета — это то же самое, что, с художественной точки зрения, фарс и карикатура; значит, выбран низкий жанр. «Ревизор» «мы считаем не комедией, но презабавным фарсом в роде мольерова фарса “Скапиновы обманы”». Другое дело — высокая комедия, скажем «Мизантроп» того же Мольера. Отстояние «Ревизора» от комедии подчеркивается тем, что в нем нет комедийного сюжета (то есть традиционно комедийного — с любовной завязкой, распутыванием интриги и т. д.). Булгарин полагает, что жизненный материал — должностные пороки — представлен в «Ревизоре» как голые факты, вне всякой художественной обработки; отсюда вывод, что «на злоупотреблениях административных нельзя основать настоящей комедии. Надобны противупожности и *завязка*...».

При всем том надо заметить, что Булгарин вовсе не перечеркивает произведение в целом — он лишь понижает его по шкале эстетических ценностей, *ставит на место*: это не комедия, а фарс, обладающий своими, скромными достоинствами. Гоголю выдается аванс на будущее: «Мы уверены, что он способен написать хорошую коме-

дию, чего усердно желаем». Успех этого пожелания зависит от поведения писателя: тут, пожалуй, раскрывается главный мотив всех упреков рецензента — его неудовольствие тем, что Гоголь примкнул к пушкинскому кругу. «Он точно писатель с дарованием, от которого мы надеемся много хорошего, если литературный круг, к которому он теперь принадлежит и который имеет крайнюю нужду в талантах, его не захвалит».

Вслед за Булгариным выступил О. Сенковский [БЧ. 1836. Т. 16; ценз. разр. 30 апреля]²⁸.

У Сенковского — те же упреки общественного толка: мол, все это для России нехарактерно, несвойственно, нетипично и т. д. То же перемещение изображаемого в пространстве: мол, городок «Ревизора» «находится в Малороссии или Белоруссии»... Но упреки эстетического характера заняли еще более видное место. Сенковский (как и Булгарин) не только констатирует прямое, нетворческое перенесение служебного «анекдота» в драматургическую плоскость, отсутствие художественной обработки, но и дает автору конструктивный совет: «...Этот недостаток легко было бы исправить введением еще одного женского лица. Оставаясь дней десять без цели в маленьком городишке, Хлестаков мог б приволкнуться за какой-нибудь уездной барышней, приятельницею или неприятельницею дочери городничего, и возбудить в ней нежное чувство <...>. Автор оживил бы остальную часть сочинения интригою, которая в четвертом действии могла бы еще запутаться ревностью Марии Антоновны и доставить комическому дарованию г. Гоголя много забавных черт соперничества двух провинциальных барышень» [там же, с. 44]. Эта великодушная подсказка чрезвычайно выразительна: критику хочется столкнуть все комедийное действие в привычное и избитое русло водевильной интриги.

В результате Сенковский, как и Булгарин, понижает гоголевскую пьесу по шкале эстетических ценностей. «“Ревизор” не заслуживает имени комедии по своему плану и созданию», но в нем есть «превосходные сцены», и в общем это пьеса, «приносящая ему (автору) честь». Очевидно и стремление Сенковского (опять-таки, как и Булгарина) оторвать Гоголя от «котерии», пользующейся им во вред барону Брамбеусу, то есть — от пушкинского круга.

В общем оба отзыва (а это, повторяем, все, что Гоголь мог прочесть до отъезда) были весьма критическими, но не огульно-отрицательными. Таланта Гоголя не отрицал никто. Оснований для паники, пожалуй, не было, особенно учитывая невысокую репутацию обоих критиков у понимающих дело (для массового читателя, прежде всего в провинции, они были влиятельны). В то же время Гоголь знал или догадывался, что пишутся другие рецензии — в «Современнике», «Московском наблюдателе», в «Телескопе» (то есть в приложении к этому журналу — «Молве») и их авторы действительно авторитетны. Так что о всеобщей вражде и помрачении умов говорить не приходится.

Устные суждения тоже были не сплошь негативными, скорее наоборот. Мы уже цитировали Я. М. Неверова, не являвшегося поклонником пьесы, но признававшего, что «превозносят ее до небес» [ГИМ. Ф. 351. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 19]. Письмо, содержащее это замечание и адресованное Н. В. Станкевичу, написано 23 апреля, то есть тогда, когда еще не появилось ни одного печатного отклика. Следовательно, оно отражает именно реакцию зрителей.

И все же тревожные симптомы можно было услышать — главным образом в устных толках. И они, эти симптомы, преломлялись в сознании Гоголя в усиленной и болезненной форме.

В общем устная критика развивалась в знакомых уже нам двух направлениях, условно говоря — общественном и эстетическом. Рецензия Вяземского из «Современника» интересна тем, что она классифицирует отклики на комедию, причем именно устные, 'подхваченные на лету, по горячим следам. Одни зрители критикуют низкий язык, отсутствие «надлежащей определенности» в описании нравов и обычаев и т. д. Другие озабочены нравственным ущербом, который наносит пьеса. Все это нам уже известно. Новое, пожалуй, лишь в *степени* моральных, общественных обвинений. В «Приписке» к своей рецензии Вяземский заметил, что иные «смотрели на комедию как на государственное покушение: были им взволнованы, напуганы и в несчастном или счастливом комике видели едва ли не опасного бунтовщика» [Вяземский, с. 153]. А такие отзывы Гоголю действительно могли показаться рискованными.

Есть и вполне реальные лица, которые совпадают с нарисованным Вяземским обобщенным образом. Например, В. И. Панаев, писатель, бывший начальник Гоголя по Департаменту уделов. «По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества...» [Панаева, с. 173]. Отзыв Панаева хронологически не приурочен и дошел до нас в передаче третьего лица. А вот мнение Вигеля, высказанное вскоре после появления «Ревизора», известно нам от него самого.

Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) — видный чиновник, одно время бессарабский вице-губернатор, потом керченский градоначальник, в 1829–1840 гг. вице-директор и директор Департамента иностранных вероисповеданий. К нему, немцу по происхождению, вполне применимо наблюдение современника: «Вообще я знаю по опыту, что Россия не имеет сынов, преданнее обрусевших немцев...» [Сушков, с. 18]. Патриотическое чувство Вигеля подогревалось нетерпимостью к инакомыслящим, озлобленностью; один из старых исследователей метко назвал его «литературным Собакевичем» [Шенрок, т. 1, с. 302].

И внешность его была соответствующей: «черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза». «Помню <...> я его... — вспоминала

А. Д. Блудова, — с табакеркою в руках, которую он вертел, играя ею и особенным манером постукивая по ней, а взявши шепотку табаку, как *будто клевал по ней пальцами*, как птица клюет клювом» [РА. 1889. № 1. С. 62].

Вяземский говорил о неприязни Вигеля к Гоголю, проявившейся еще до премьеры «Ревизора» («Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента». — [ОА. Т. 3. С. 285]). А после премьеры, 31 мая, Вигель писал Загоскину: «Читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то город, в котором свалил он все мерзости...» [РС. 1902. № 7. С. 101].

Остроту неприязни иных лиц к «Ревизору» доносит письмо Вяземского А. И. Тургеневу от 8 мая: «...Все гневаются, что позволили играть эту пиесу...» [ОА. Т. 3. С. 317]. Вяземскому вторит Р. М. Зотов, весьма осведомленный в закулисной жизни петербургского театра: «... Многие восстали на эту пьесу <...>. У нас, как и везде, всегда есть люди, которые не любят обнаружения злоупотреблений» [Зотов, 1860].

Конечно, выданная Николаем I «охранная грамота» продолжала действовать. Но Гоголь боялся, что будет нанесен удар его репутации, что до царя дойдут неблагоприятные отзывы и что августейшее благорасположение сойдет на нет. А ведь Гоголь нуждался в устойчивости этого благорасположения, потому что впереди был труд над главной книгой, «Мертвыми душами». Это позволяет понять фразу из его письма Погодину от 15 мая: «Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пиесы; меня заботит моя печальная будущность». И еще слова из того же письма, как бы суммирующие обвинения недоброжелателей: «Он зажигатель! Он бунтовщик!» [XI, 45]. Не дай Бог, если даже намек на подобное подозрение закрадется в сознание императора!

Гоголь уже имел опыт, когда для ниспровержения противника в ход пускаются политические обвинения — в неблагонадежности, подрыве устоев и т. д. Он хорошо помнил «дело о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук, закончившееся разгромом передовой профессуры во главе с Н. Белоусовым. Тогда тоже в радикализме и революционности обвинили людей, ни сном ни духом в том не повинных. И невольно обвинения по поводу «Ревизора» наслаивались в сознании Гоголя на уже знакомое и пережитое.

На этом фоне очевиден тот факт, что Гоголь боялся Уварова, что до писателя доходили какие-то тревожные слухи, связанные с этим лицом. Проверить их истинность мы пока не имеем возможности, но таково было убеждение Гоголя.

Двумя годами ранее Уваров не помог Гоголю в получении кафедры в Киевском университете, но на то были веские основания — предпочтение оказали профессиональному историку В. Ф. Цыху [Книга I, с. 306 и далее]. Лично против Гоголя Уваров тогда ничего не имел.

Нерасположение его к Гоголю, по мнению последнего, «началось со времен “Ревизора”» [XII, 33]. Так считал не только Гоголь. А. О. Смирнова хлопотавшая в 1845 г. о пособии Гоголю и добившаяся успеха, записала в дневнике: «...Государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров тут поступил благородно...» [Смирнова, 1989, с. 16]. «Тут» — значит, в данном случае, вопреки тому, что можно было ожидать. В письме П. В. Анненкова А. Н. Пыпину от 1 июня н. ст. <1874 г.> утверждалось: «...Тон нападков на “Ревизора” как на административную сатиру и комедию, вовсе не свойственную русским нравам и порядкам, был дан, *как тогда говорили*, самим министром Уваровым...» [ОР ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 3. № 106. Л. 1, без обозначения года; документ указан И. Н. Конобеевской]. Мнение это разделял и Н. С. Тихонравов, писавший в своем комментарии к комедии, что «со времен появления “Ревизора” началось нерасположение к Гоголю С. С. Уварова» [Гоголь, 10-е изд., т. 2, с. 787].

Сергей Семенович Уваров (1786—1855), с 1818 г. президент Академии наук, с апреля 1834 г. министр народного просвещения, принадлежал к образованнейшим людям своего времени. Он был автором трудов по классической филологии и археологии. С его министерской деятельностью связаны такие важные события, как открытие Киевского университета и новых училищ, введение практики заграничных командировок для молодых ученых. В то же время в проводимой им политике все отчетливее и сильнее проявлялись охранительные принципы.

В свое время Уваров был членом литературного общества «Арзамас» — наряду с Пушкиным. Но постепенно их отношения испортились и к 1835 г. достигли пика взаимной неприязни. В феврале этого года в связи с реакцией министра на «Историю пугачевского бунта» Пушкин записывает в дневнике: «Уваров большой подлец», а затем печатает знаменитую антиуваровскую сатиру «На выздоровление Лукулла» [МН. 1835. Сентябрь]. Все это происходило накануне появления «Ревизора». И на Гоголя Уваров мог вполне распространить ту антипатию, которую он питал к Пушкину. Ведь принадлежность Гоголя к пушкинскому кругу была общеизвестна; об этом, мы знаем, с неодобрением писали и Булгарин и Сенковский.

Но, возможно, действовал и другой мотив, а именно охранительство. Уваров, настроенный умеренно либерально в начале своей карьеры, к началу 30-х годов уже принялся за энергичное возведение «умственных плотин», и в «Ревизоре» он мог усмотреть реальную опасность.

Во всяком случае для Гоголя нерасположение Уварова было особенно чувствительно ввиду близости последнего ко двору и возможности влиять на мнение императора.

На этом фоне Гоголя не могли успокоить доносившиеся до него голоса одобрения, несмотря на то, что они исходили из среды молодежи. Имея в виду своих товарищей по петербургскому Училищу

правоведения, В. В. Стасов вспоминал: «Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь» [Воспоминания, с. 399]. И питомец другого учебного заведения — Царскосельского лицея: «Когда сыгран был в начале 1836 года “Ревизор”, все мы в лицее нетерпеливее обыкновенного ожидали праздников, чтобы видеть эту превосходную комедию...» [там же, с. 73; свидетельство М. Н. Лонгинова].

И московские знакомые Гоголя, один за другим, спешили его утешить и ободрить. М. Шепкин, 7 мая: «Давно уже я не чувствовал такой радости...» [Переписка, т. 1, с. 449]. В. Андросов просил А. Краевского (в письме от 29 мая) поблагодарить автора «Ревизора»: «для меня это чудо» [Материалы, т. 2, с. 138]. Погодин же (в письме от 6 мая) к тому же и выговаривал Гоголю за неуместную обидчивость: «Ну как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом <...>. Я расхохотался, читая в “Пчеле”, которая берется доказать, что таких бессовестных и наглых мошенников нет на свете. “Есть, есть они: вы такие мошенники!” — говори ты им и отворачивайся с торжеством» [Переписка, т. 1, с. 361]. И Сергей Тимофеевич Аксаков отправил Гоголю «горячее письмо» (оно не дошло до нас), и в ответ автор «Ревизора» выражал удовлетворение, «что, среди многолюдной, неблагоприятной толпы, скрывается тесный кружок избранных,веряющий творения наши верным внутренним чувством...» [XI, 43].

В аксаковском семействе, да и, пожалуй, вообще среди «избранных» москвичей тон задавал Константин Сергеевич. 9 мая он писал в Петербург своей двоюродной сестре Маше Карташевской: «...Я уже читал «Ревизора»; читал раза четыре и потому говорю, что те, кто называет эту пьесу грубою и плоскою, не поняли ее. Гоголь — истинный поэт; ведь в комическом и смешном есть также поэзия» [ЛН. Т. 58. С. 550].

Восторг москвичей разделил Карл Брюллов, которому как раз в это время случилось быть в старой столице. Он возвращался из-за границы через Одессу и прибыл в Москву 25 декабря 1835 г. Некоторое время, до самого отъезда в мае следующего года, жил у скульптора И. П. Витали. «В один из таких вечеров (у Витали) кто-то привез только что вышедшего из печати “Ревизора” Гоголя. Когда он был прочитан, Брюллов был вне себя от восторга: “Вот она — натура”, говорил он, и сам начал читать его вслух, говоря за каждый персонаж особенным голосом. Весь этот вечер был посвящен Брюлловым “Ревизору” Гоголя» [Рамазанов, с. 123, 126, 188]²⁹.

ПОЧЕМУ ГОГОЛЮ НЕ ДАЛИ ПРЕМИЮ

После появления «Ревизора» судьба свела Гоголя с одним из богатейших и интереснейших его современников — с Демидовым.

Павел Николаевич Демидов (1798—1840) — владелец уральских и сибирских заводов и в то же время егермейстер и камергер императо-

ра, почетный член императорской Академии наук. Колоритность этого лица усиливалась и его женитьбой (1836) на баронессе, фрейлине Авроре Карловне Шернваль, к которой в свое время (1825) Баратынский обратился с посланием: «Видь, дохни нам с упоением, // Соименница зари...» (Овдовев в 1840 г., Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина, сына знаменитого историка, а от ее брака с Демидовым остался сын Павел, он же князь Сан-Донатто...³⁰.)

По словам современника, «Павел Демидов жил постоянно в Петербурге в своем великолепном доме и принимал всю столицу. Не одним своим огромным богатством, которого в те времена было недостаточно, чтобы втесаться в большой петербургский свет, но своим просвещенным поощрением искусствам и наукам, своею широкою благотворительностью, Демидовы приобрели себе то, что французы называют *droit de cité* (право гражданства)» [Соллогуб, с. 313–314].

К числу благотворительных дел этого мецената принадлежит и учреждение им в 1831 г. Демидовских наград.

И вот 11 мая 1836 г., вскоре после появления «Ревизора», Демидов обратился к неперемемному секретарю Академии наук П. Н. Фусу с посланием: «Не безызвестно Вам, что цель пожертвования моего двадцати пяти тысяч ежегодно в российскую императорскую Академию наук содействовать пользе и славе отечественной на поприще литературном. Поприще сие ныне украшено новым произведением г. Гоголя под названием “Ревизор”, комедией в пяти действиях. Нельзя не отдать справедливости точнейшему описанию нравов, поставленных им на сцену лиц и национальности наречий. Словом, по живописанию характеров сие сочинение г. Гоголя может считаться образцовым. Это уже и подтверждается тем восторгом, с каким оно принято публикой, и вниманием государя императора, удостоившего первые представления сей комедии своим присутствием. Мне весьма бы желалось, милостивый государь, чтобы сие творение г. Гоголя было увенчано одною из золотых медалей, учрежденных на счет суммы, мною ежегодно жертвваемой...» [Кулябко, с. 170].

Следует сказать сразу: просьбу Демидова не удовлетворили. По мнению Е. С. Кулябко, опубликовавшего процитированный документ (что должно быть поставлено ему в заслугу), это пришло в силу идеологических причин: «общественно-обличительное содержание “Ревизора” было <...> раскрыто» [там же, с. 171]. Другие авторы пошли еще дальше: мол, «вмешался император»; «была долгая тяжба, комитет упирался, но реакционно настроенные академики... В общем, премию Гоголь не получил. Ее присудили автору брошюры об орловских рысаках» [ЛГ. 1972. № 35]... Все это совершенно не соответствует действительности.

Письмо Демидова обсуждалось 13 мая на заседании общего собрания. Было решено напомнить ходатаю, что его просьба противоречит параграфу 2 статьи IX устава, согласно которому премии за художе-

ственные произведения не присуждались. Правда, Демидов хлопотал не о премии, а о медали, но и на этот счет в письме к нему было сказано: «Учреждение же медалей с Вашего согласия и по утвержденному государем императором образцу имело исключительно целью наградить посторонних ученых за труды, принимаемые на себя по приглашению Академии при рассмотривании и обсуждении таких соискательных сочинений, которые по предмету своему не подлежат непосредственному разбору Академии» [Кулябко, с. 171].

Это была истинная правда. Об условиях конкурса сообщалось в журналах, и они были хорошо известны. Так, в опубликованной в «Телескопе» [1831. Ч. 3. № 10] заметке «Благодетельное пожертвование П. Н. Демидова для поощрения отечественного просвещения» ясно сказано, что «изъемлются от соискания» «стихотворения, повести, драматические сочинения и т. п.» [там же, с. 258]. Конечно, Демидов это хорошо знал, но он, по-видимому, решил «использовать» лазейку, образовавшуюся формулировкой о том, что медали присуждаются и за сочинения, не подлежащие «непосредственному разбору Академии». Однако и на этот счет существовало правило, что медали предназначены для «посторонних рецензентов» [ЖМНП. 1841. Ч. 32. С. 107], то есть все-таки не для авторов повестей, комедий и т. д.

Все это вполне подтверждается полным списком лиц, удостоенных Демидовских наград, начиная с 1832 г.: здесь нет ни одного автора художественных произведений, если не считать «детские сочинения» образовательного характера (для них делалось исключение). Например, шестое присуждение премий (1837) включает в себя такие имена, как Крузенштерн (за «Материалы к составлению атласа южного моря»), Шевырев («История поэзии»), Л. А. Ярцова («Полезное чтение для детей»), Семенов («Библиотека иностранных писателей о России»), Эристов («Словарь исторический о Святых русской церкви»). Никакого сочинения об орловских рысаках, которому якобы было отдано предпочтение перед гоголевским «Ревизором», в списке нет. По-видимому, имеется в виду «Краткая иппология и курс верховой езды» Бобинского...

Правда, во главе Академии стоял Уваров, которого Гоголь считал своим недоброжелателем. Но очевидно, что отказ в присуждении награды обусловлен не вмешательством министра или, тем более, императора, а соблюдением буквы закона.

Демидов собирался написать Гоголю о своем представлении [Кулябко, с. 170]. Во всяком случае все произошедшее стало известно автору «Ревизора».

Уже будучи за границей, в Риме, Гоголь просит Н. Я. Прокоповича (письмо от 3 июня н. ст. 1837 г.) «узнать, где теперь Демидов, Павел Николаевич. Его дом в Большой Миллионной» [XI, 102]. А позднее Гоголь сам обращается к Демидову с письмом, которое находится в прямой связи с инициативой последнего (это отмечено Кулябко).

«...Ваш раздавшийся голос и ваше полное великодушия предстательство обо мне, вам неизвестном, внимание к малой крупнице моего таланта — все это меня тронуло сильно» [XI, 232].

Можно извлечь и другие небезытересные подробности из этого письма. Во-первых, Гоголь уже отвечал и благодарил Демидова, может быть, устно, через посредство кого-нибудь, а может быть, и письмом («это вам уже известно»). Однако до отъезда из Петербурга писатель не виделся с Демидовым, избегал этого («...мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне ваше доброе мнение...»). Но затем, по отъезде Гоголя, встреча все-таки состоялась, причем такая встреча, которая позволила обратиться к Демидову со столь лестными словами: «...Мне удалось услышать лично из уст ваших просвещенный образ ваших суждений и глубокое знание России, редкое в государственном человеке...» Гоголь надеется на новую встречу, и вот почему: «...Вы для меня клад, — я теперь привязан к вам собственным своим интересом <...>. Я, по старой авторской наглости, поймаю пальцем петлю вашего кафтана и заставляю вас выслушать четыре, пять огромных листов и добыюсь вашего суждения, которое для меня дорого...» [XI, 232]. Едва ли можно сомневаться в том, что под «собственным интересом» подразумевались «Мертвые души», над которыми Гоголь работал в это время и главы из которых он уже опробовал на различных слушателях³¹.

СИНДРОМ «РЕВИЗОРА»

Но вернемся к хронологической канве жизнеописания. Существует почти общепринятое мнение, что прием, оказанный «Ревизору», печатные и устные суждения — все это произвело ошеломляющее впечатление на Гоголя и вызвало его отъезд за границу. «Гоголь уезжал из Петербурга, потрясенный враждебным приемом “Ревизора” в реакционных театрално-общественных кругах» [Вацура, с. 334]. Говорится даже о переломе в его сознании: потерпела крах идея воспитательного воздействия художественного произведения, воздействия скорого, чуть ли не мгновенного. Гоголя захватывало «утопическое ожидание какого-то магического воздействия на русских людей того, что было изображено в “Ревизоре”» [Зеньковский, с. 133]. «Нельзя ли предположить, что Гоголь рассчитывал, может быть полусознательно, что “Ревизор” произведет какое-то *немедленное и решительное действие?* Россия увидит в зеркале комедии свои грехи и вся, как один человек, рухнет на колени, зальется покаянными слезами и мгновенно переродится!» «И вот ничего подобного не произошло» [Мочульский, с. 43]. И это, мол, повлекло за собой внезапное решение Гоголя.

Но прежде всего: появление «Ревизора» и вызванные им толки и переживания — все это происходило на фоне уже сделанного выбора. Если и иметь в виду перелом или — скажем осторожнее — изменения

в гоголевской самоориентации, то это связано с «Мертвыми душами», к которым писатель приступил еще до «Ревизора». И все, что переживалось по поводу «Ревизора», соотносилось с этим главным трудом. «...Меня заботит моя печальная будущность» [XI, 45]. Конечно, будущность как автора «Мертвых душ».

О «Ревизоре» же Гоголь позднее писал: «Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество...» [XIV, 34–35]. «Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть» [VIII, 440]. Моральная, воспитательная установка «Ревизора» несомненна, но она существовала, в представлениях автора, не изолированно, не вне комической стихии. Относящееся к 40-м годам понимание пьесы как апогея смеха («...никогда еще во мне не появлялся в такой силе...») соответствует настроению Гоголя рубежа 1835–1836 гг., о чем говорилось выше. Писатель свободно, нескованно отдавался комической стихии, полагая, что она в конце концов «вывезет».

Действительно ли Гоголь рассчитывал на «немедленное и решительное действие» пьесы; полагал, что вся Россия, «как один человек, рухнет на колени», покается, «мгновенно переродится» и т. д.? Увы, это было бы более чем наивно...

Полагают, что «чисто эстетический успех “Ревизора” совсем не интересовал Гоголя» [Зеньковский, с. 134]. Между тем Гоголь говорил о художественной неудаче постановки, болезненно переживал искажения природы образов, прежде всего Хлестакова, предостерегал от фарсов, заботился о естественной передаче сцены вранья, о некарикатурности костюмировки и т. д. Все это проблемы в первую очередь эстетические. Сама моральная действенность произведения, которая, повторяем, входила в расчеты автора, предполагала, с его же точки зрения, правильное, непредубежденное восприятие феномена художественности, принятие его конвенциональности, избегания прямого и наивного отождествления действительности и образа. «Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества <...>. И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества...» [XI, 45]. Это сказано в связи с «Ревизором» и вскоре после его премьеры.

По широко распространенному мнению, «Гоголь был глубоко потрясен тем, что все ограничилось лишь художественным успехом “Ревизора”» [Зеньковский, с. 244]. Гораздо правильнее сказать иначе: Гоголь был потрясен тем, что «художественный успех» не был *настоящим успехом*, о котором он мечтал, что пьеса не была вполне понята с ее эстетической стороны, вне которой не существовало и морального эффекта.

Нужно учитывать еще одно обстоятельство. Гоголь полагал, что высокое искусство обладает непреложностью своего эстетического

воздействия, когда смолкают все разногласия, разрешаются все недоумения. Речь, разумеется, идет не о черни (антитеза «поэта» и «толпы» сохраняет для Гоголя свое значение), но о понимающей, избранной публике. И коли этого не произошло, то виноват или автор, которому не хватило дарования, или публика; разумеется, Гоголь в эту пору склонялся ко второму ответу. «Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу...» [XI, 45].

Не безразлично Гоголю было и то, что в обсуждение пьесы оказался втянут необычайно широкий круг читателей или зрителей. Творчество — дело тонкое, глубоко личное. А тут вдруг Гоголь очутился в центре публичного действия, и каждый из его участников судил и рьядил по-своему, да еще громко, «на людях». Превратные, близорукие, невежественные мнения глубоко травмировали авторское самосознание. Впоследствии та же ситуация, только в усиленном, обостренном виде, повторится и с «Мертвыми душами»...

И то, что обсуждалась *пьеса*, поставленное сценическое произведение, усугубляло гоголевские переживания. Реакция на роман или стихотворения раздроблена на множество отдельных, порою скрытых, неявных, «домашних» откликов; реакция на спектакль усилена ее коллективностью, зримой наглядностью, публичностью. И затем: «драма живет только на сцене» [X, 263], полагал Гоголь, обдумывая еще свою первую пьесу («Владимир 3-ей степени»). Превратные суждения о романе не наносят ущерба его тексту, существующему как бы независимо и объективно. Иное дело — переживаемая драматургом сценическая неадекватность. «Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое» [IV, 99].

Подытоживая свои переживания по поводу «Ревизора», Гоголь писал М. Погодину 28 ноября н. ст. 1836 г.: «Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла» [XI, 77]. Это не гордость проповедника, моралиста, рассчитывавшего на немедленное покаяние грешников. Это прежде всего гордость «поэта», художника.

Теперь о мотивах гоголевского отъезда за границу. Как мы уже знаем, их обычно сводят к реакции на прием «Ревизора» — к «катастрофе» просветительской идеи или же, в крайнем случае, к преследованию автора. О «катастрофе» мы уже говорили; что же касается преследования, то эта версия, очевидно, восходит к самому Гоголю. А. Никитенко, видевший его вскоре после премьеры, отметил в дневнике: «Он имеет вид человека, преследуемого оскорбленным самолюбием» [Никитенко, ч. 1, с. 183]. Из дневника М. Погодина: «“Ревизор” в Москве. Известие о преследовании Гоголя» [Барсуков, т. 4, с. 335]. Гоголь, мы говорили, переживал неблагоприятные отзывы о пьесе в обостренной, аффектированной форме. Следует добавить: в эту аффектацию примешивалось намерение мотивировать тем самым свой отъезд как вынужденное бегство.

Любопытная запись (от 3 июля 1836 г.) находится в дневнике А. П. Дурново (урожденной Волконской), проживавшей в Аахене: «...Только что прибыл наш писатель Гоголь <...>. Он сочинил веде-виль под названием “Ревизор” <...>. Эта злая критика провинции, и говорят даже, что он вынужден был отправиться путешествовать, чтобы избежать неприятностей» [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 261]. Публикатор этого документа Р. Е. Теребина полагает, что отзыв «о Го-голе и причинах его отъезда за границу сделан, по-видимому, со слов Н. В. Путяты, 10 июня прибывшего в Аахен» [там же, с. 266]. Но скорее всего это воспроизведение *собственных слов Гоголя*, сказанных кому-то по приезде в Аахен. Кстати, мотивировка отъезда содержит-ся и в черновой редакции «Театрального разъезда...», набросанной, по словам автора, «сгоряча», вскоре после премьеры «Ревизора»: «Мне тяжело было слышать голос безжалостного <?> нерасположения и безучастия и тяжело душе нанести... Я удалюсь от вас» [V, 390].

И тем не менее едва ли правильно сводить мотивы отъезда к реак-ции на прием комедии. Обратим внимание на такой факт: еще 21 мар-та 1836 г. А. М. Гедеонов писал М. Н. Загоскину, касаясь причин, по которым автору «Ревизора» назначен аккордный гонорар: «...Расстро-енное здоровье принуждает его ехать за границу, и он нуждался в наличных деньгах, которые мною сполна ему заплачены». Конечно, Гедеонов повторяет слова, сказанные ему самим Гоголем. До премье-ры еще около месяца; еще не появилось никаких отзывов в печати; еще нет никаких оснований говорить о преследовании, а Гоголь уже сообщает о своем предстоящем отъезде.

Позднее в «Авторской исповеди» Гоголь даст такое объяснение: «Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, ко-торые я бы теперь перенес легко, но которые тогда не умел еще пере-носить, заставили меня подняться в чужие края» [VIII, 449–450]. «Ма-ленькие неприятности» — это, очевидно, обстоятельства, связанные с приемом «Ревизора». Теперь Гоголь перенес бы их «легко» (его отно-шение к критике очень изменилось), тогда — в 1836 г. — воспринял болезненно. Но все равно эти «обстоятельства» накладывались на об-щее состояние Гоголя. На «расстроившееся здоровье» писатель ссы-лался и в разговоре с Гедеоновым. Очевидно, *решение уже было им принято*, и «Ревизор» лишь сыграл роль последней капли. События развивались по той же внутренней логике, что семь лет назад, во время первой поездки Гоголя за границу. Тогда такую роль невольно выполнил «Ганц Кюхельгартен», но мысль о поездке возникла еще раньше. Гоголь заранее обдумывает решающий шаг; это ему необхо-димо, чтобы встретить любые неприятности, чтобы сохранить душев-ное равновесие и спокойствие.

Теперь это спокойствие Гоголю тем более необходимо, что в ра-боте у него «Мертвые души». «...Мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России». Поскольку

же эта главная книга, книга жизни все более осмыслялась в свете мессианизма, то и отъезд за границу предстает в своем высшем неотвратимом значении: «...Чувствую, что не земная воля направляет путь мой» [XI, 46]. «И нынешнее мое удаление из отечества <...> послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни» [XI, 49].

Отъезд за границу означал и прощание с Петербургом как местом постоянного жительства. Отныне такого места у Гоголя уже не будет. И в этом смысле завершился целый этап — «петербургский этап» — гоголевской жизни, о котором мечталось ему еще в Нежине, с которым связывалось столько надежд и планов — и не только литературных. Ведь Петербург должен был стать трамплином для его карьеры, настолько высокой, что он и сам себе не решался во всем признаться... Теперь... Теперь Гоголь уже «не намерен постоянно жить в Петербурге» [XI, 45].

«ДАЖЕ С ПУШКИНЫМ Я НЕ УСПЕЛ И НЕ МОГ ПРОСТИТЬСЯ...»



Отъезд из Петербурга означал и расставание с Пушкиным. На какое время — не знал никто.

В науке и общественном сознании взгляд на взаимоотношения обоих писателей претерпевал существенные изменения. По словам Белинского, сказанным в 1842 г., «оба поэта были в отношениях, напоминающих собою отношения Гете и Шиллера» [Белинский, т. 6, с. 214]. Такого же мнения придерживался П. Кулиш, который, впрочем, продолжил параллель: «Это были наши Гете и Шиллер, наши Вальтер Скотт и Байрон» [Кулиш, 1854, с. 47].

Поздним откликом на эту точку зрения является мнение И. А. Ильина: «Трогательным было прощание двух друзей — Пушкина и Гоголя. Пушкин пришел к своему отъезжающему собрату и провел с ним всю ночь...» [Ильин, с. 249].

Нетрудно установить источник этой версии — рассказ гоголевского слуги Якима, записанный после кончины писателя Г. П. Данилевским. «Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей» [Воспоминания, с. 460]. В сознании Якима (или его слушателя) явно смешались различные временные планы: в доме каретника Иохима на Большой Мещанской Гоголь жил с апреля по июль 1829 г., когда он еще не был знаком с Пушкиным, а последние годы, вплоть до отъезда за границу, провел в доме Лепена (Лепеня) на Малой Морской. Так что доверия это сообщение не вызывает.

Между тем такая точка зрения — о тесной дружбе двух писателей — для XX в. уже потеряла свою авторитетность; собственно, ее стали пересматривать еще к концу века предыдущего. Даже В. Шенрок, не склонный к радикальному разрыву с традицией, писал, что Пушкин (как и Жуковский) «относились к Гоголю как к писателю, только подающему надежды <...>. Расстояние между ними и Гоголем не исчезло вполне до смерти Пушкина...» [Шенрок, т. 1, с. 372].

Несколько позже усилиями таких исследователей, как Б. Лукьяновский, А. Долинин и др., картина еще более изменилась: мол, дружба Пушкина и Гоголя — не более чем миф, созданный не без участия последнего. «Связь между двумя писателями, по-видимому, была самая внешняя»; Гоголь даже «путает имя жены поэта», называя ее Надеждою Николаевной; все это особенно проявилось в последние месяцы: «перед отъездом Гоголя за границу у него, по-видимому, вышла размолвка с Пушкиным, и он уехал, даже не попрощавшись с ним» [Мочульский, с. 40–41].

Между тем очевидны такие факты, как передача Пушкиным Гоголю сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ», чтение или слушание Пушкиным еще до публикации таких произведений, как «Повесть о том, как поссорился...», «Невский проспект», «Женитьба», «Утро делового человека», «Коляска», «Нос», предисловие к «Арабескам»...

Мы уже касались различных обстоятельств и перипетий взаимоотношений Пушкина и Гоголя, начиная с их личного знакомства [см.: Книга 1, с. 218 и далее]. Сейчас остановимся лишь на последних месяцах этих взаимоотношений.

Прежде всего надо отметить (хотя это отнюдь не главное), что ряд эпизодов, о которых Гоголь сообщил позднее, приурочиваются именно к этому периоду. «Живо помню восторг его (Пушкина) <...>, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина...» [VIII, 387–388]. Книжка «Московского наблюдателя» со стихотворением «Денису Васильевичу Давыдову» могла попасть в руки Пушкина в декабре 1835-го или даже в начале следующего года (ценз. разр. — 19 ноября 1835 г.); 14 апреля 1836 г. он выразил свое восторженное впечатление в письме к автору: «Ваши стихи: вода живая <...>. Послание к Давыдову — прелестно!» [Пушкин, т. 10, с. 573]. Следовательно, около этого времени Гоголь и мог оказаться свидетелем упомянутой сцены. По-видимому, тогда же или чуть позже он мог слышать от Пушкина и суровые обличения демократического строя в Соединенных Штатах [см.: VIII, 253]: похожие мысли были высказаны поэтом в статье «Джон Теннер» [С. 1836. Т. 3].

Но, конечно, самое главное событие последних месяцев общения двух писателей — чтение Гоголем первоначальной редакции «Мертвых душ»: «...Когда я начал читать Пушкину первые главы из М(ертвых) д(уш), в том виде, в каком они были прежде, то Пушкин, кото-

рый всегда смеялся при моем чтении <...>, начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”» [VIII, 294].

Когда это произошло? Пушкин находился в Петербурге по конец апреля 1836 г.; 1 мая он уехал в Тверь и на следующий день в Москву, откуда возвратился в столицу только 23 мая [Абрамович, с. 155, 159, 215]. Следовательно, это могло быть до конца апреля. Правда, известно, что Гоголь был в это время страшно занят подготовкой «Ревизора» к постановке, а затем после премьеры (19 апреля) глубоко переживал случившееся. Но известна также и способность Гоголя одновременно заниматься несколькими делами; так, наряду с «Ревизором» он готовит для пушкинского «Современника» обширную статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и ряд рецензий. Так что и время для чтения «Мертвых душ» он вполне мог уличить.

Но не будем в интересах точности исключать и другую возможность — то, что это чтение имело место после известного гоголевского письма от 7 октября («Начал писать Мертвых душ...») и возвращения Пушкина в Петербург 23 октября 1835 г. — в порядке, так сказать, гоголевского отчета о том, что ему уже удалось сделать...

Правда, с легкой руки П. В. Нащокина получила распространение версия, будто бы никакого чтения вообще не было. «Нащокин никак не может согласиться, чтобы Гоголь читал Пушкину свои “Мертвые души” <...>. Он говорит, что Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведении. О Мертвых же душах не говорил. Хвалил он ему “Ревизора”, особенно “Тараса Бульбу”» [Рассказы о Пушкине, с. 44–45]. Утверждение Нащокина пытались различным образом откорректировать. М. Цявловский в примечаниях к приведенному рассказу: «Утверждение Нащокина говорит только о том, что чтение это не оставило у Пушкина сильного впечатления» [там же, с. 116]. Н. Петрунина и Г. Фридендер: «Свидетельство Нащокина может быть истолковано и как указание на то, что Гоголь читал Пушкину “Мертвые души” после возвращения поэта из Москвы в мае 1836 г., то есть после его последнего свидания с Нащокиным» [Пушкин. Исследования, т. 6, с. 210]. Однако сама встреча Гоголя с Пушкиным в указанное время весьма проблематична (об этом — ниже).

Самое же главное то, что напрашивается гораздо более простое и логичное объяснение: Гоголь предпринял работу над «Мертвыми душами» в величайшей тайне. «Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев должны знать настоящее дело» [XI, 75–76], — писал он Жуковскому. Нет сомнения, что и к Пушкину он обращался с соответствующей просьбой. А с Павлом Нащокиным приходилось быть особенно осторожным, так как он, типичный москвич, отличался замечательной общительностью; от него шли нити к московским

друзьям Гоголя: семейству Аксаковых, М. Щепкину, М. Погодину и т. д., а от них-то автор «Мертвых душ» до поры до времени скрывал свою тайну³². Не говоря уже о знакомстве ناشокина со множеством других лиц, еще более далеких Гоголю, но весьма охочих до разных литературных новостей и сплетен. Так что дело вовсе не в том, что чтение «Мертвых душ» будто бы не произвело на Пушкина сильного впечатления³³.

Но как сочтается рассказ Гоголя о тяжелом, угнетающем впечатлении Пушкина с тем, что «Мертвые души» были начаты под знаком «веселости», перед которой не мог устоять и сам автор (даже чуть позже, уже за границей он отметит: «...Вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день». — [XI, 74])? Погрустневший Пушкин, по словам Гоголя, «не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка». Это соотносится с другим замечанием Гоголя, что он выдумывал смешные положения и характеры, чтобы избавиться от приступов хандры. Именно поэтому пушкинская реакция показалась Гоголю неадекватной, и с тех пор, по его словам, он стал думать о «пугающем отсутствии света», о «том, как бы смягчить то тягостное впечатление...» и т. д. [VIII, 294]. Тут многие категории, касающиеся намерения морально оформить, отрегулировать комическую стихию, отражают более позднюю гоголевскую стадию развития, а именно ту, когда писались «Четыре письма...». Но признание о большом удельном весе, если не всевластии «собственной выдумки», фантазии вполне укладывается в контекст гоголевского мироощущения рубежа 1835–1836 гг. и косвенно подтверждает факт чтения поэмы Пушкину именно в это время.

Между тем тщательно рассмотрим все обстоятельства, которые могли привести к осложнению отношений двух писателей перед отъездом Гоголя за границу.

Один из поводов — статья «О движении журнальной литературы...». Мы уже касались колебаний редакции (то есть Пушкина, но, вероятно, и самого Гоголя) относительно указания авторства: в конце концов статья появилась без подписи. Но это решение привело к недоразумениям и нежелательным для Пушкина последствиям. Одни читатели, далекие от литературных дел, просто приписали статью Пушкину³⁴; другие, более осторожные, не называя автора, приняли статью за безусловное выражение точки зрения издателя. Белинский в «Молве» (№ 7; ценз. разр. — 31 апреля) не обинуясь объявил, что в статье и в библиографическом разделе «Новые книги» (также составленном в основном Гоголем и напечатанном без подписи) «видны дух и направление нового журнала» [Белинский, т. 2, с. 180]. Белинскому это «направление» нравится; другому же рецензенту, Ф. В. Булгарину, совсем не по душе.

Свой обзор первого тома журнала Булгарин начал с гоголевской статьи, «ибо в этой статье выражаются дух, цель и все будущее намерение Современника» [СП. № 127. 6 июня]. Порою кажется, что рецензент подозревает Пушкина в авторстве статьи, во всяком случае, некоторые фразы из нее он толкует как слова «самого издателя» [№ 129. 9 июня]. Больше всего задела Булгарина острая критика «Северной пчелы»: «...Нас, грешных, выгоняют за фронт, как неспособных к действительной службе» [№ 127]. И следует главное обвинение — в групповщине и пристрастии к «своим»: «Современник» «действует не в духе общего литературного блага, не в духе времени, но в духе партии и шепетильной привязчивости» [№ 129]. В контексте этого обвинения прозвучало и имя Гоголя: в той же книжке журнала, замечает Булгарин, напечатан (без подписи) известный отклик Пушкина на второе издание «Вечеров на хуторе...»; значит, Гоголь как сотрудник журнала расхвален «не на живот, а на смерть».

В обзоре Булгарина, между прочим, указывалось и на грамматические огрехи, содержащиеся в гоголевской статье (согласование слов, орфография), что едва ли льстило Пушкину как ее гипотетическому автору. Говорилось и о фактических ошибках, принимать которые на свой счет Пушкину, стремившемуся к точности, также было не очень приятно. Все это в сочетании с главным обвинением — в групповом пристрастии — ставило издателя в несколько щекотливое положение.

Поэтому после выхода журнала Пушкин не раз сталкивался с необходимостью смягчать или даже дистанцироваться от гоголевских суждений. О разговоре Пушкина с Погодиным уже говорилось. Но, оказывается, это был не единственный случай: по словам Н. С. Тихонравова, Пушкин говорил Погодину, что он находил невозможным напечатать в статье «О движении журнальной литературы...» «некоторые, очень игривые *выражения*» [Гоголь, 10-е изд., т. 5, с. 651; курсив в оригинале] — ясно, что это было сказано уже по выходе журнала в порядке некоторого самооправдания. Будучи же в мае в Москве, Пушкин «извинялся» и перед В. П. Андросовым [Пушкин. Временник, т. I, с. 339] — конечно же, за ту ироническую характеристику его как редактора «Московского наблюдателя», которая содержалась в гоголевской статье. Еле сдерживая гнев, Андросов писал 1 мая 1836 г. А. А. Краевскому «...Пушкин удостоил меня вспомнить в статье о движении “Рус(ских) жур(налов)”: Там, помнится мне, сказано, что я не высказал еще моего литературного мнения. Боже мой! Что это у них <за> литература?» [ОР РНБ. Ф. 391. № 152]. Как видно, разговор Пушкина с Андросовым был не из приятных...

А затем Пушкин предпринял аналогичные шаги на страницах самого журнала. Уже во втором томе «Современника» он сообщил о существовании некоей «статьи, присланной нам из Твери с подписью А. Б.»; сама же статья появилась в следующем томе. Здесь работа «О движении журнальной литературы...» называлась «немного сбив-

чивой»; отмечалось слишком большое внимание «Библиотеке для чтения»; высказывалось пожелание, чтобы круг интересов «Современника» был «более обширный и благородный»; поддерживался (и даже усиливался) удар по «Северной пчеле», точнее, по сочинениям Булгарина («скучные статьи с подписью Ф. Б.»); наконец, высказывалась весьма лестная оценка Белинского, что, с одной стороны, означало дружеский жест критики, оппозиционному и «Московскому наблюдателю» и другим изданиям, а с другой — некий намек педагогического свойства самому Гоголю: Белинский «обличает талант, подающий большую надежду», но ему необходимо «более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности...» [Пушкин, т. 7, с. 441]³⁵. Не того ли следует ожидать и от Гоголя? Особенно по части «осмотрительности»...

Напомним, что все это хотя и писалось Пушкиным, но не от своего имени, а от имени некоего читателя из Твери, из «глубинки». От своего же имени Пушкин лишь откорректировал оценку статьи Гоголя (впрочем, по-прежнему не расрывая его авторства): вместо недостатков как таковых («эту немного сбивчивую статью») — недостатки как продолжение достоинств («мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием...»). И самое главное — Пушкин отметил, что эти «мнения» не являются «программою “Современника”» [там же, с. 442]. Ради этого вывода и затеяна вся история с письмом. В чем конкретно состоят отличия, издатель не объяснил, предоставив решение этого вопроса читателям и — времени. Ему как раз важно создать впечатление открытости и широты программы журнала, нескованности перспективы, отсутствия всякой предвзятости.

С той же целью Пушкин, говоря современным языком, деидеологизирует некоторые гоголевские суждения. В статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», опубликованной в той же 3-й книжке «Современника», что и «письмо» из Твери, Пушкин выступил против прямого выведения духа современной французской словесности из политической, то есть революционной, обстановки: «Мы не полагаем, что нынешняя, раздражительная, *опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений*. В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту...» [там же, с. 404–405]. К выделенным Пушкиным словам дана отсылка к статье «О движении журнальной литературы...», чье авторство, однако же, издатель также не раскрыл.

Вся эта открытая и полускрытая полемика с гоголевской статьей выплеснулась на страницы «Современника», когда ее автор был уже за пределами России, но предвестие полемики, подготовка публикаций, возможно, обозначились еще в бытность его в Петербурге. Во всяком случае, эта полемика восходила к каким-то устным высказываниям Пушкина. Об этом определенно говорит Анненков, изучавший отношения двух писателей: с точки зрения Пушкина, «Гоголь не обладал тог-

да <...> необходимою многосторонностию взгляда. Ему не доставало еще значительного количества материалов развитой образованности...»

На один из примеров Анненков ссылается как живой свидетель: «Пишущий эти строки сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: “Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выговор и крепко поборнил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах...”» [Анненков, 1855, с. 857]³⁶.

С другой стороны, пушкинские упреки в чрезмерном категоризме и полемическом задоре Гоголь воспринимал по-своему — как стремление к олимпийскому спокойствию и удаление от злобы дня. В отношении молодого Гоголя к Пушкину было нечто родственное той реакции, которую вызывал «олимпиец» Гете у представителей «Молодой Германии». Впоследствии Гоголь скажет: «Он (Пушкин) действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода...» [VIII, 422].

Тут необходимы одно-два принципиальных уточнения. Упреки Пушкину касались именно журнализма, критической тактики и стратегии, оперативного вмешательства в художественную (и насколько это было возможно) и общественную жизнь. И тут Гоголь был не одинок, напротив, он выражал мнение ряда лиц, если не многих. Не кто другой, как А. И. Тургенев, человек, близкий к Пушкину, и именно на страницах пушкинского «Современника» (1836. Т. 4) писал, что он «парализован <...> известием газетным, что Пушкин будет издавать *Review*, а не журнал». «Я собирался быть его деятельным и верным сотрудником и сообщать животрепещущие новинки из области литературы и всеобщей политики; но какой интерес могут иметь мои энциклопедические письма чрез три или четыре месяца?» [Тургенев, с. 88]. А вот голос из другого стана и человека другой общественной ориентации, но во многом совпадающей с опасениями Тургенева, только эти опасения превратились в утверждение — первый том журнала уже вышел. И откликаясь на него, Белинский буквально говорит все то, что и Тургенев: «...Журнал должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек, а не книжищ, и появляющемся чрез три месяца?» [Белинский, т. 2, с. 179].

Иван Панаев, человек того же поколения, что и Белинский (он был моложе последнего на один год), впоследствии свои впечатления сформулировал как итог: «Большинство говорило, что поэту (т. е. Пушкину) не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать <...>, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению...» [Панаев, с. 173].

Не в пользу журнала говорило и имя его издателя, ибо талант поэта и талант журналиста — это совершенно разные вещи. «Кому неизвестно, что можно писать превосходные стихи и в то же время

быть неудачным журналистом? Всеобъемлемость таланта и его направлений есть исключение: Гете, в этом случае, может быть, пример единственный» [Белинский, т. 2, с. 233]. Пример Гете здесь также использован против Пушкина, хотя и в другом смысле. И Белинский даже сравнивает журнальное дело с путями сообщения, с ярмаркой, с налаженными в обществе коммуникациями, с биржей [там же, с. 180] — все эти примеры (и цитаты) Белинский с удовольствием и обильно черпает из гоголевской статьи «О движении журнальной литературы...».

При этом и другое мнение критика — о том, что талант Пушкина как великого поэта вовсе не гарантирует его успехи в журнальном ристалище, тоже близко гоголевскому. Существует точка зрения, что Гоголь к этому времени считал художественную деятельность Пушкина завершенной или завершающейся, отставшей или отстающей от жизни, словом, принадлежащей прошлому, и что именно это послужило одной из причин их «ссоры». Но вспомним слова, напечатанные всего годом раньше (в «Арабесках»): «...Чем более поэт становится поэтом <...>, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы...» и т. д. Отстал не Пушкин (тут гоголевская точка зрения прямо противоположна Белинскому), отстала или отстает публика, радостно приветствовавшая его прежде. Себя, конечно, Гоголь причисляет к малому числу истинных ценителей, сохранивших верность поэту и умеющих отличить тонкие деликатесы от изделий крепостного повара. Нет никаких оснований считать, что в течение нескольких месяцев к началу 1836 г. взгляд Гоголя на этот счет изменился. Просто на первый план вышли другие проблемы, а именно журнализма и связанных с ним некоторых субъективных амбиций и качеств Николая Васильевича. Здесь Гоголь действительно не во всем совпадал с Пушкиным.

Расхождения в этой сфере вели, говоря словами Анненкова, к «некоторым недоразумениям» и обидам со стороны Гоголя, которые, впрочем, не следует преувеличивать.

Обращает на себя внимание ряд хронологических совпадений. «Письмо» из Твери якобы написано 23 апреля, то есть через 4 дня после премьеры «Ревизора», о которой многообещающе сообщалось в первом томе «Современника». Известие же об этом «письме» появилось во втором томе, где напечатан в высшей степени похвальный отзыв Вяземского о комедии. В той же книжке по предложению Пушкина была опубликована статья В. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе», статья, где о Гоголе говорилось как о «лучшем таланте в России». В письме от 11 мая из Москвы Пушкин, передавая Наталье Николаевне различные поручения по «Современнику», писал: «Ты пишешь о статье *Гольцовской*. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? — Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть...» [Пушкин, т. 10, с. 578].

Мы видим, что обе линии идут строго параллельно: Пушкин корректирует гоголевские критические оценки, дистанцируется от них и *в то же время* продолжает защищать и поддерживать его произведения.

Анненков останавливается еще на одном обстоятельстве, которое могло осложнить взаимоотношения двух писателей. «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль “Ревизора” и “Мертвых душ”, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достоинство. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: “С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя”» [Анненков, 1983, с. 59].

С современной точки зрения, пушкинские слова и соответственно интерпретация их Анненковым выглядят как осуждение гоголевского «похищения». Но это совсем не так: нужно вслушаться в контекст рассуждений биографа. А контекст этот полемический, направленный против незадолго перед тем вышедшей книги П. Кулиша «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя...» (1856). Кулиш считает необходимым оправдывать те или другие гоголевские поступки; Анненков же полагает, что ни в каких оправданиях великий писатель не нуждается: нужно «смотреть прямо в лицо герою и иметь доверенность к его благодатной природе». И далее как пример «доверенности» приводится эпизод с заимствованием, которое в данном случае вовсе не порицается поэтом: «Пушкин понимал неписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а напротив спешили навстречу к нему». Одним из тех, кто послещил Гоголю навстречу, и был Пушкин. В сообщении о его реакции очень важно деепричастие «смеясь» (не жаловался, а «говорил смеясь»).

В пушкинском отношении и к участию Гоголя в «Современнике» и к заимствованию им двух сюжетов есть нечто общее: снисходительность, понимание «неписаного права» великого таланта, который ищет применения своих сил и полной самореализации. Мол, таков Гоголь, нравится нам это или не нравится.

Кстати, если говорить о творческой ревности, то, вопреки сложившейся перспективе, вернее ретроспективе, такое чувство более естественно было ожидать от Пушкина, а не от Гоголя. Напомним, что уже «Вечера на хуторе...», так сказать, разыгрывались против Пушкина как более удачный опыт прозы в народном духе, да и художественного творчества вообще. Н. А. Мельгунов писал из Москвы С. П. Шевыреву 9 февраля 1832 г.: «...В нашей литературе наступает кризис. Это видно уже по упадку Пушкина. На него не только проходит мода, но он явно упадет талантом». «Его повести (то есть “Повести Белкина”. — Ю. М.) имели успех сомнительный». Тут же среди новых явлений упомянуты «повести Рудьки-Панькова» и пояснено: «псевдоним, один молодой малороссианин, который много обещает» [ОР РНБ. Ф. 850. № 370]. Интересно, что даже статья «О движении журнальной литературы...» была противопоставлена И. И. Панаевым всем другим материалам первого тома «Современника»: мол, «одна только» эта статья «наделала большого шума в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику»

[Панаев, с. 172]. Гоголь воспринимался многими читателями как «победитель и устаревшего Жуковского и самого Пушкина» [Загарин, с. 579], так что вовсе не неожиданно прозвучало заявление Белинского, провозгласившего Гоголя «главою литературы, главою поэтов» при живом Пушкине, за два года до его гибели. Эта ситуация выдвигала перед Пушкиным требование особой деликатности и, можно сказать, осторожности во взаимоотношениях с молодым писателем.

Остановимся еще на одном аргументе, который обычно приводится в качестве мотивировки ссоры, будто бы имевшей место между Пушкиным и Гоголем. Это — пассаж о Пушкине в черновой редакции «Ревизора», то есть рассказ Хлестакова о том, «как странно сочиняет Пушкин»: «Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут, — и потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяла его в больницу. С Булгариным обедаю» [IV, 294].

Отправной точкой этой «информации» послужил, как известно, эпизод, переданный самим Пушкиным Наталье Николаевне в письме от 11 октября 1833 г. из Болдина: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф *славнейшей* настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слава» [Пушкин, т. 10, с. 452; курсив в оригинале]. Возможно, Гоголь тоже узнал об этой истории от Пушкина; во всяком случае, ее, очевидно, рассказывали в окружении поэта. Что же касается второго пункта «информации» — о неприличной «пиэсе» — то и она если и не восходит непосредственно к Пушкину, то была ему давно известна: в дневниковой записи от 10 мая 1834 г. он упомянул «о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства», «которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне» [там же, т. 8, с. 50].

Вот этот-то факт, так сказать, художественного использования конфиденциальной информации осложнил, по мнению авторитетного исследователя, отношение Пушкина к автору «Ревизора»: «Информация Хлестакова оказывается сплетней, и, как всякая сплетня, она позорит, чернит того, о ком эту сплетню рассказывают, распространяют, повторяют... Не заметить этого Пушкин не мог. Заметив, не мог не выразить недовольства бестактностью Гоголя: сплетня о Пушкине будет рассказана со сцены императорского театра, среди зрителей которого будет император Николай I» [Макогоненко, с. 256].

В новейшем исследовании тема бестактности Гоголя в «Ревизоре» и якобы порожденной ею обиды Пушкина получила дальнейшее развитие. Для понимания проблемы вернемся несколько назад, к началу 1836 г., когда проходили чтения комедии на субботах у Жуковского.

Чуть ли не единственным противником «Ревизора», как мы помним, оказался тогда барон Розен, с недоумением наблюдавший всеобщее воодушевление и веселье. Ярче всего этот контраст проявился в следующем эпизоде.

«...Вдруг... грянула из комедии такая шутка, — вспоминает Розен, — что душа моя оцепенела, — шутка, по моему разумению, *неопрятная*, но, видно, *забавная* для других: многие расхохотались, иные зарукоплексали, и звучный голос одного очень образованного человека, в похвалу этой нечистой, по моему мнению, шутке, произнес во всеуслышание, с единственной энергиею: “C’est le haut comique!”» [СО. 1847. № 6. Отд. 3. С. 23; курсив в оригинале]. По мнению исследователя, речь идет именно об упомянутом злополучном пассаже. «Перебрав все шутки комедии, которые можно считать “haut comique” и вместе с тем “нечистыми” и “неопрятными”, трудно указать на что-то более способное привести в “оцепенение” несколько чопорного барона Розена, чем рассказы Хлестакова о том, как и что сочиняет Пушкин» [Дрыжакова, с. 191].

Но это вовсе необязательно: в тексте второй черновой редакции — именно ее, скорее всего, читал Гоголь — можно указать и другие рискованные «шутки», а кроме того, далеко не все сохранилось и не все было зафиксировано: Гоголь имел обыкновение держать иные поправленные места в памяти, отступая от письменного текста. Но допустим, речь шла именно о рассказе Хлестакова о Пушкине — что же из этого следует?

Главный мотив всего мемуара Розена тот, что Пушкин относился к Гоголю достаточно сдержанно, не высоко ставил его комическое дарование, хотя и держал это мнение при себе, лишь обнаруживая его осторожными намеками (в том числе и самому Розену). Значит, если бы упомянутая шутка, равно как и любое другое место комедии, вызвала негативную реакцию Пушкина или вообще была бы направлена против него, то Розен не преминул бы воспользоваться этим фактом. То, что Розен этого не сделал, означает одно: ничего обидного для поэта он здесь не усмотрел. И не только Розен.

Но допустим (как предполагает исследовательница) Пушкин в этот день не присутствовал на чтении. Зато был Вяземский — именно он, замечает исследовательница, «по всей вероятности» от души возрадовался неприличной шутке, найдя в ней «высшую степнь комизма» [там же, с. 191]. Даже если это и так, то надо учесть, что его дружественное расположение к Пушкину было не меньшим, чем у Розена. А ведь на чтении присутствовали и другие близкие к поэту люди: возможно, Плетнев и, совершенно определенно, Жуковский — как хозяин дома. И никто из них даже намеком не обмолвился о якобы нанесенном Пушкину оскорблении.

Между тем из факта «оскорбления» делаются другие далеко идущие выводы: мол, Пушкин имел с Гоголем нелицеприятный «разговор»

[Макогоненко, с. 257], «очень строгое объяснение» [Дрыжакова, с. 193], после чего драматург «вычеркнул из писарской копии 1836 года <...> все анекдоты о Пушкине» [там же], а кроме того, в порядке своеобразного дезавуирования своей «шутки» ввел в беловой текст статьи «Несколько слов о Пушкине» обширное примечание. «Примечание это <...> «появилось в “Арабесках”, по всей видимости, со слов Пушкина и по его просьбе» [там же, с. 191].

Начнем с примечания — вот его текст: «Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Таким образом начали наконец Пушкину приписывать: Лекарство от холеры, Первую ночь и тому подобные» [VIII, 51]. Предполагается, что это заявление, сделанное от лица автора, то есть Гоголя, резко противопоставлено хлестаковской реплике, поправляет ее и все ставит на свои места. На самом же деле она ничего не поправляет и не отменяет, потому что поправлять было нечего.

Существует давний полемический прием, когда суждение о писателе, о произведении «остраняется» и внутренне подрывается уже тем, что вкладывается в уста определенного рода персонажей. У Гоголя таких случаев немало, например в «Театральном разъезде...», — ну, скажем, заявление одного литератора о том, чему Пушкин обязан своей славой: «Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать» [V, 141]. Хлестаковская версия относительно Пушкина комична и лишена реального значения уже потому, что ее произносит Хлестаков. Кстати, и упоминание им в той же реплике имени Булгарина говорит не о том, что «Пушкин поставлен в один ряд с Булгариным» [Макогоненко, с. 256], но лишь о комичной неразборчивости вкуса самого Хлестакова, сваливающего в одну кучу все и вся. Тот же прием — в «Невском проспекте», в описании того разряда людей, к которому принадлежал поручик Пирогов: «Они любят потолковать о литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча...»

Словом, и гоголевское примечание и пассаж из «Ревизора» развиваются в одном смысловом контексте. Примечание в обобщенной форме говорит о том, как реагирует толпа на творчество Пушкина и какие она порою имеет о нем суждения. Пассаж из комедии конкретизирует мысль о толпе до определенного лица, и эта конкретизация тем более убедительна, что этим лицом является Хлестаков.

Нет также никаких оснований считать, что Пушкин под влиянием упомянутой «рискованной шутки» Гоголя на чтениях «Ревизора» «изменил свое отношение к комедии» и что именно поэтому разбор комедии, «как известно, написал Вяземский», а сам поэт «хранил молчание», ограничившись «подстрочным примечанием к рецензии на “Вечера...”» [Дрыжакова, с. 195].

Однако кто как не издатель «Современника», то есть Пушкин, незамедлительно опубликовал разбор Вяземского, и не только этот разбор, но и еще статью В. Одоевского «О вражде к просвещению...», где, как мы уже говорили, Гоголь был назван «лучшим талантом России»... И что реально означало пушкинское примечание в заметке о втором издании «Вечеров на хуторе...»? «Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале», — завершает Пушкин свою заметку и делает к последней фразе такое примечание: «На днях будет представлена на здешнем Театре его комедия "Ревизор"» [Пушкин, т. 7, с. 346]. Словом, «Ревизор» фигурирует здесь не в нейтральном информационном контексте, но с определенной оценочной интонацией — как свидетельство того, что «Гоголь идет вперед».

И наконец, еще одно бытующее мнение, связанное с пушкинской заметкой о втором издании «Вечеров на хуторе...», якобы отражающей охлаждение поэта к автору «Ревизора». В этой рецензии другое гоголевское произведение «Тарас Бульба» упомянуто с уточнением: «...коего начало достойно Вальтер-Скотта» [там же]. Обратив внимание на подчеркнутое нами слово, современный исследователь спрашивает: «А продолжение повести? А вся повесть написана тоже в духе Вальтера Скотта или нет? Многие (но не все) исследователи полагают, что формула Пушкина есть одобрение Гоголя <...>. Мне представляется подобное толкование несправедливым» [Макогоненко, с. 264].

Но, во-первых, нужно осознать, что вообще означало сопоставление русского писателя с Вальтером Скоттом. «Shakespeare, Гете, Walter Scott...» [Пушкин, т. 7, с. 535]. Вот в каком ряду фигурировало обычно имя шотландского романиста! И от Гоголя можно было услышать такие же суждения: «...Знаменитый шотландец, великий дееспособитель сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века» («О движении журнальной литературы...»). Это было напечатано, кстати, в той же книжке «Современника», где упоминался «Тарас Бульба» в связи с Вальтером Скоттом. Словом, пушкинское замечание о гоголевской повести (даже с уточнением: «начало») было не просто похвалой, но признанием высшего достоинства.

Это можно проиллюстрировать еще с помощью такой параллели. В заметке о романе М. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Пушкин, говоря о влиянии «шотландского чародея» на современную литературу, хвалит (правда, с оговорками) автора упомянутого произведения. Но хвалит только как успешного продолжателя традиции и нигде не говорит, что произведение Загоскина (или его часть) *достойны* Вальтера Скотта.

Примененное же к «Тарасу Бульбе» ограничение («...коего начало»), видимо, связано с пушкинским пониманием манеры Вальтера Скотта как изображения истории «домашним образом» [Пушкин, т. 7, с. 535]. В самом деле, в гоголевской повести нет, пожалуй, другой та-

кой сцены, которая, как первая глава, раскрывала бы внутреннюю, домашнюю сторону эпохи (взаимоотношение Тараса с обоими сыновьями, с женою, положение женщины, быт и нравы семьи, интерьер «светлицы» и т. д.). В дальнейшем эта перспектива, этот угол зрения осложняются другими, хотя полностью не исчезают [ср.: Макогоненко, с. 264–267; Купреянова, с. 547, 545]. Словом, то обстоятельство, что Пушкин остановился только на «начале» повести, вовсе не имело вид утверждения или даже намека, что все остальное не заслуживает высокого признания. И обидеть Гоголя пушкинские строки никак не могли.

В оценке взаимоотношений Пушкина и Гоголя смешиваются два разных явления. Да, близкими людьми они никогда не были. Не дружили домами и семьями (да и не было у Гоголя своего «дома»), так что немудрено было Гоголю перепутать имя Натальи Николаевны. Не делились интимными подробностями, не посвящали друг друга в обстоятельства своей личной жизни. Гоголь для Пушкина — не Нашокин и не Вяземский. Отношения Пушкина и Гоголя ограничивались литературной сферой, но в рамках этого ограничения были достаточно определенными и стабильными. Говорить о ссоре, о разрыве не приходится.

Косвенно это подтверждается письмом Плетнева от 27 октября 1844 г. Гоголю. Говоря о друзьях, которые «искренно любят тебя за талант», Плетнев поясняет: «Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин». Опять-таки нужно принять во внимание контекст этой фразы. Перед этим Гоголь отправил Плетневу письмо, полное укоров, прося и своего корреспондента сказать о нем, Гоголе, все, что тот думает. Плетнев был явно рассержен, а не рассердившись, как говаривал Гоголь, не говорится никакая правда. И Плетнев ответил: «Наконец, захотелось тебе послушать правды. Изволь: попотчую <...>. Но что такое ты? Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы» и т. д. в том же духе [Переписка, т. 1, с. 246–247]. Но ни словом не обмолвился Плетнев о ссоре Гоголя с Пушкиным, упомянув лишь о том, что Пушкин искренне любил Гоголя «за талант». А ведь кто как не Плетнев знал бы о такой ссоре, если бы она имела место. И он, конечно, не преминул бы воспользоваться этим фактом в сложившихся обстоятельствах.

Что же реально произошло во взаимоотношениях двух писателей? Вначале вдумаемся в хронологию. Пушкин возвращается из Москвы поздно вечером 23 мая и сразу же едет на свою дачу на Каменном острове. До отъезда Гоголя остается две недели. Виделся ли он с Пушкиным в это время? Пушкин наезжает время от времени в город по делам «Современника», посещает книжные лавки. Но о встречах его с Гоголем ничего не известно. Буквально за четыре дня до отъезда, 2 июня Гоголь был у Вяземских, праздновавших день рождения сына Павла. Для посещения Вяземских у Гоголя были и свои причины: он знал, что

отправляется за границу вместе с частью семейства Вяземских (об этом — дальше) и, возможно, хотел обсудить кое-какие предотъездные дела.

Н. В. Измайлов, публикатор писем Карамзиных, полагает: «нельзя сомневаться», что у Вяземских в этот день «присутствовал Пушкин» [Карамзины, с. 40]. Напротив в этом стоит усомниться: если бы Пушкин присутствовал, это было бы отмечено в соответствующем письме С. Н. Карамзиной к брату Андрею — в письме, рассказывающем о «вечере у Вяземских». Гоголю же присутствие Пушкина предоставило бы возможность попрощаться с ним³⁷.

Как же понимать злополучную гоголевскую фразу? Именно так, как она звучит, не отыскивая в ней никакого тайного смысла. В письме от 28 июня н. ст. из Гамбурга к Жуковскому Гоголь говорит: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем, он в этом виноват» [XI, 50]. Речь идет об отсутствии *прямой*, так сказать, физической возможности «проститься», и в этом, по мнению Гоголя, «виноват» Пушкин. Он ведь знал, что Гоголь уезжает далеко и надолго, но не смог или не захотел так распорядиться своим временем, чтобы их встреча состоялась [см. также: Золотусский, с. 218–219].

И позднее, в «Отрывке из письма...» к «одному литератору» (то есть к Пушкину), Гоголь, говоря о предстоящем «путешествии», почти слезно просит: «Ради Бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо...» [IV, 104]. Письмо датировано (видимо, задним числом) 25 мая. Пушкин только что, двумя днями раньше, вернулся из Москвы в Петербург, на каменноостровскую дачу и в этот день (25-го) наведлся в столицу по делам своего журнала. Знал ли Гоголь об этом визите или нет — факт тот, что он пишет к отсутствующему Пушкину, с которым надеялся встретиться, но не встретился. Гоголь дает понять, как важна для него эта встреча, это прощание с Пушкиным, объясняя тем самым возникшее у него чувство обиды.

Да, это была обида. И поэтому Гоголь, едва покинув Россию, пишет письмо Жуковскому, передает поклон Вяземскому, обещает написать Плетневу, а Пушкину не пишет и поклона ему не передает, предназначая для сведения последнего лишь процитированные выше строки (Гоголь не сомневался, что Жуковский их покажет или перескажет Пушкину). Это была обида, но не больше — не расхождение, не разрыв, как полагают некоторые исследователи. Гоголь дает понять, что хочет сохранить связь с поэтом и его «Современником»: вслед за фразой о вине Пушкина идет другая: «Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни» [XI, 50]. Судьба этого замысла нам неизвестна, но известно то, что в первые же месяцы заграничной жизни он приготовил для «Современника» окончательный текст «Петербургских записок 1836 года», который Пушкин незамедлительно, в 6-м томе, напечатал³⁸.

Трудно сказать, как долго сохранялось у Гоголя чувство обиды. Но когда позднее, в феврале 1837 г., он узнает о гибели поэта, высказанный упрек ему и сама мысль об упущенном, несостоявшемся прощении — усилят боль и ощущение невозможной утраты.

ПЕРЕД ДАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ

Итак, Гоголь решил ехать за границу еще до премьеры «Ревизора», то есть в начале апреля, может быть, и раньше. И все оставшееся время он живет в ожидании пути, как бы «на подлете» — в состоянии, описанном в заключительных строках «Петербургских записок...»: «...Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха <...>. Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома...» [VIII, 189–190].

Весна 1836 г. выдалась в Петербурге капризной и неустойчивой. «В середине апреля было так тепло, как летом, а в мае, кажется, сама Сибирь переехала в Петербург» [XI, 42].

Гоголь ловит все, что говорит о дальних странах, выпрашивает знакомых, наводит разговор на интересующую его тему. 28 мая, согласно Мокрицкому, у Гоголя собралось «человек восемь гостей. Есипов занимал нас своими рассказами про вояж в чужих краях» [Мокрицкий, с. 77]. Но особенно полезны с этой точки зрения ему были двое — Жуковский и Вяземский, так как оба совершили незадолго перед тем путешествия в западно-европейские страны.

Жуковский был за границей с июня 1832-го по сентябрь 1833 г. Побывал в Германии (Эмс), Швейцарии (деревня Верне на берегу Женевского озера), в Италии (Рим), где встречался с широким кругом лиц — К. Брюлловым, А. Ивановым, Зинаидой Волконской, Стендалем... Своими впечатлениями Жуковский поделился с Гоголем, о чем свидетельствует письмо последнего: «Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо...» [XI, 112].

Вяземский же находился за границей с августа 1834-го по май 1835 г. Из Германии он переехал в Италию, где также встретался со многими лицами — Волконской, Брюлловым, Стендалем, итальянским поэтом Джузеппе Белли, кардиналом Джузеппе Мещофанти... Все они, кроме Стендаля, впоследствии войдут в круг общения Гоголя (с Брюлловым он познакомится еще до отъезда). Главной целью поездки Вяземского было лечение дочери Пашеньки, страдавшей чахоткой. Но спасти ее не удалось; в марте 1835 г. она умерла и была похоронена в Риме. Гоголь, будучи в Риме, посетит ее могилу.

Перед отъездом Гоголь должен был прояснить свои отношения с москвичами. Дело в том, что он выразил желание приехать в старую

столицу, чтобы помочь в постановке «Ревизора», и москвичи с нетерпением ждали обещанного. «Гони к нам Гоголя», — просит 7 мая москвич Щепкин петербуржца Сосницкого. А тот все не ехал. Наконец, 15 мая отправил три письма — С. Аксакову, Щепкину и Погодину — с сообщением, что вообще не приедет, так как через несколько дней отправляется за границу.

Письма были очень теплые, проникновенные. Гоголь отдает должное старой столице; он рад, что «среди многолюдной, неблагоприятной толпы скрывается кружок избранных», подразумевая под «избранными» и аксаковское семейство, и других знакомых москвичей, но несмотря на это, — говорит С. Аксаков, — «письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне» [Воспоминания, с. 96]. Почему же не понравилось?

В Москве все уже были наслышаны о «Ревизоре», многие, включая Аксаковых, успели и прочесть. Было известно также, какое возбуждение вызвала петербургская премьера и что Гоголь (преувеличивая, как мы знаем) считал ее чуть ли не неудачей. В этих обстоятельствах предстоящая московская премьера должна была поправить положение и вполне удовлетворить автора — недаром же Гоголь собирался лично растолковать актерам, что к чему. И вдруг непостижимое равнодушие к своему творению... Сам бы Сергей Тимофеевич, к примеру, полетел бы, не раздумывая, на край света, если бы решалась судьба его произведения.

Кроме того, поездка Гоголя в Москву имела значение почти ритуального жеста; Гоголь приезжал в древнюю столицу после каждого своего крупного успеха: в 1832 г. — после выхода «Вечеров на хуторе...», в 1835 г. — «Арабесок» и «Миргорода». Все это были вехи на его творческом пути. Теперь не менее значительной вехой явился «Ревизор», но Гоголь приехать отказался.

И это в то время, когда москвичи проявляли к нему особенно теплое отношение... В этом убедился Пушкин, приезжавший в Москву в мае 1836 г. «Пошли ты за Гоголем, — писал он 6 мая жене, — и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора <...>. С моей стороны я тоже ему советую: не надобно, чтоб Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге» [Пушкин, т. 10, с. 577]. Кстати, это еще одно свидетельство, что Пушкин отнюдь не изменил свое отношение к «Ревизору».

Наталья Николаевна, скорее всего, передала Гоголю слова мужа (во время поездки Пушкина в Москву она часто была посредником в его литературных делах), но Гоголь совету не внял. Москвичам это могло показаться неблагодарностью и неуважением к старой столице. Вникать в подоплеку поступков Гоголя, в его сложные переживания они не желали и не умели. Лишь много позднее Сергею Тимофеевичу пришла на ум простая мысль, которую он поделился с Погодиным и

Шевыревым: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!» [Воспоминания, с. 96].

Шла последняя неделя пребывания Гоголя на родине. 2 июня, за четыре дня до отъезда, он, как мы уже говорили, — на дне рождения у Вяземских, где читает комедию «Женитьба». «...Мы смеялись до слез, так как он читает чудесно, — сообщила тремя днями позже С. Н. Карамзина брату Андрею. — Но во всех его произведениях один и тот же недостаток: полное отсутствие выдумки и интриги и большое однообразие смешных мест, всегда вульгарных и тривиальных; впрочем самый русский дух без примеси европейского» [Карамзины, с. 339].

Гоголь всегда чутко улавливал, какое действие оказывали прочитанные им произведения на слушателей; наверное, уловил он и то впечатление, которое передавала Софья Карамзина. И этим впечатлением дополнялся ряд других, аналогичных фактов: отклонение Шевыревым повести «Нос», реакция на «Женитьбу» во время московского чтения в мае 1835 г. и т. д. И все высказываемые при этом суждения сводились к одному: мол, очень забавно, смешно, талантливо, но несколько тривиально, вульгарно, грубо. Гоголь всегда страдал не только от непонимания, осуждения, вражды, но и от неполного понимания, похвал с оговоркой, с умолчанием, с затаенными или полувянными упреками. Это была драма Гоголя, сопровождавшая его всю жизнь. И с этим чувством писатель покидал родину.

Примечателен и выбор Гоголем для чтения именно «Женитьбы». Гоголь часто читал те произведения, которые собирался доделать или переработать. 30 мая И. И. Сосницкий в письме Шепкину резко критиковал комедию («сюжета никакого — Бог знает, зачем люди приходят и уходят») и сообщал, что Гоголь взялся ее «переделать» [ЛН. Т. 58. С. 552]. И вот через два дня Гоголь читает «Женитьбу» у Вяземских, чтобы проверить впечатление. Результат оказался почти такой же.

К последним дням пребывания Гоголя на родине с большой долей вероятности можно приурочить его встречу с Брюлловым. Все вело к этой встрече: только что в Москве Брюллов с восторгом прочитал «Ревизора» (об этом уже говорилось), а еще раньше Гоголь в статье «Последний день Помпеи» («Арабески», 1835) назвал его картину «полным всемирным созданием», что, конечно, стало известно художнику.

Брюллов приехал из Москвы в Петербург 23 мая³⁹ и вскоре, видимо, встретился с Гоголем. Об этой встрече свидетельствует «беглый карандашный портрет Гоголя, который Брюллов сделал на листке рисовальной бумаги»; «этот рисунок был недавно обнаружен и атрибутирован искусствоведом Е. И. Гавриловой» [Корнилова, с. 64].

17 мая в «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» (№ 109. С. 980) в информации об отъезжающих за границу значилось: «Нико-

лай Гоголь (так!), 8-го класса; спрос. в Малой Морской, в доме Лепена». Затем, согласно заведенному порядку, это сообщение было повторено дважды, 21 и 23 мая, с таким же написанием фамилии.

Появилось сообщение и об А. С. Данилевском, с которым семь с лишним лет назад Гоголь приехал в Петербург, а теперь отправлялся за границу: «Александр Данилевский, дворянин, 14-го класса, спрос. у Обухова моста в доме Липгарта» [№ 115 от 26 мая; соответствующие повторения в № 117, 119].

Перед отъездом Гоголь отправил на извозчике домой, в Васильевку своего дворового человека Акима, с витепажеским ситцем и алым платком для матери, шляпкой и платьем «для сестры» (вероятно, Марии), с трубкой для Павла Осиповича Трушковского. И еще Гоголь послал «вид Невского проспекта со всеми домами, которые на нем есть» [XI, 47], и несколько книг, включая «Ревизора».

Заехал Гоголь и в Патриотический институт, чтобы попрощаться с сестрами Анной и Елизаветой.

И вот наступило 6 июня, когда Гоголь с Данилевским отправились в Кронштадт, чтобы сесть на пароход «Николай I». Прибыл и Вяземский, провожавший троих членов своей семьи: жену Веру Федоровну, сына Павла и дочь Надежду⁴⁰.

Вяземский снабдил Гоголя несколькими рекомендательными письмами и уже перед самым отплытием, поднявшись на палубу, на прощание поцеловал его [см.: XI, 156].



Часть вторая

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ ПАРОХОД?»

Гоголь плыл уже хорошо знакомым маршрутом — на Травемюнде. Погода стояла ненастная, «пароходная машина» часто портилась; поэтому вместо четырех путешествие продлилось восемь дней. Правда, Гоголь указал другой срок — «целые полторы недели» [XI, 49], но это явное преувеличение, поскольку 14(26) июня пароход прибыл уже к месту назначения (об этом дальше). Да и гоголевский полутчик Павел Вяземский говорит о восьми днях. Он же сообщает некоторые живые подробности плавания: «Только мы, четыре молодых человека, г-н Гоголь и его спутник, г-н Данилевский, сохраняли хорошее настроение среди самого ужасного шквала. Однажды вечером, когда качка мешала нам спать, мы принялись сочинять песенку...» [ЛН. Т. 58. С. 555].

«Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход...» — писал Гоголь сестрам Анне и Лизе, пародируя самого себя («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!»). «Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан, как трубочист, но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. <...> У нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды, одна из них, м-ме Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда делалась буря» [XI, 51–52].

Упомянутая дама — это Мария Жозефина, урожденная графиня д'Удето. А ее муж барон де Барант (1785–1866), французский историк и политик, посол в России (с 1835 г.), был хорошим знакомым Пушкина.

Но на корабле произошло событие пострашнее нервного припадка госпожи де Барант. «Один из пассажиров, граф М(усин)-Пушкин умер» [XI, 49]. Это, конечно, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин (1783–1836), генерал-майор, тоже знакомый Александра Сергеевича Пушкина; умер он на седьмой день плавания, 12 июня⁴¹.

У Гоголя, несмотря на разыгравшуюся непогоду и случившееся несчастье, хорошее, веселое настроение. Но внутренне он сосредоточен, исполнен важности совершенного шага. Отъезд за границу понимается им как испытание, посланное судьбой, и в то же время знак избранности. Он, Гоголь, у провидения под присмотром. Но мессианизм не означает облегчения участи — наоборот. Гоголь ожидает новых трудностей, готов «терпеть и недостаток и бедность» ради задуманного подвига. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львину силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст» [XI, 48].

К незрелым, «школьным» упражнениям Гоголь относит буквально все опубликованное им прежде. «И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры “Ревизора”, а с ними “Арабески”, “Вечера” и всю прочую чепуху <...>, я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта» [XI, 84]. С посмертной, прочной славой, мы помним, связывал Пушкин (согласно гоголевским воспоминаниям) труд над «Мертвыми душами». Именно этот замысел воодушевляет Гоголя.

В письме Погодину от 28 ноября н. ст. 1836 г. он советует: «Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее...» Гоголь косвенно говорит о своем собственном, главном выборе. Кстати, в этом письме он впервые приоткрыл свою тайну перед Погодиным, перед москвичами, правда, только частично. Сообщая, что вещь, над которою он работает, «не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей *Мертвые души*...», Гоголь добавляет: «вот все, что ты должен покамест узнать об ней» [XI, 76, 77].

Маршрут путешествия Гоголь продумал еще до отъезда: «Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе» [XI, 41]. Гоголь выдержал этот план: Германия — Швейцария — Италия; только между двумя последними оказалась еще Франция.

Что же касается предполагаемых сроков, то они постепенно удлинялись. Перед самым отъездом он обещает матери (впрочем, может быть, заведомо неточно): «за границей полагаю пробыть более года» [XI, 46]. Но уже спустя месяц пишет Жуковскому из Гамбурга: «отсутствие мое вероятно продолжится на несколько лет» [XI, 48].

«В НЕМЕЦКОЙ СТОРОНЕ»

В Травемюнде пароход «Николай I» прибыл 26 июня (н. ст.). Среди зарегистрированных по прибытии 90 пассажиров «княгиня Вяземская с детьми и прислугой (5 человек)», а также «господин Гоголь, чиновник» — очевидно, именно так (*Beamter*) от-рекомендовался он властям⁴².

Вначале Гоголь направился тем же маршрутом, что и шесть с лишним лет назад: из Травемюнде в Любек, потом в Гамбург. Другой писатель, чей путь пересечется позднее с гоголевским в Италии, — И. П. Мятлев опишет прибытие в Германию героини своей знаменитой поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей — дан л'этранже». Вначале — отплытие из Кронштадта:

Берег весь кипит народом:
Де мамзель, де кавалье,
Де попы, де офисье,
Де поляки, де кареты,
Де старушки, де кадеты.
Одним словом, всякий сброд.

И вот — Германия:

Но еще одна секунда
И уж берег Травемюнда,
Наяву ли то — во сне?
Я в немецкой стороне!
Для меня все вещи новы:
И немецкие коровы,
И немецкая трава!
Закружилась голова!

Комизм мятлевских описаний проистекает из особого, так называемого макаронического стиля, из какафонии слов, обусловленной, в свою очередь, доморощенными понятиями персонажа. Гоголь тоже принаравливается к сознанию своих сестер-провинциалок («знаете ли вы, что такое пароход?»), но и для него самого «в немецкой стороне» «все вещи новы», и оттого все его зарисовки исполнены острой, веселой наблюдательности.

Из города в город Гоголь переезжал дилижансом. «Вы знаете, что такое дилижанс? Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть <...>. Если со мною будут сидеть два тоненькие немца, то это хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем» [XI, 54].

А в Гамбурге Гоголь посетил «знаменитый матросский бал». Знаете ли вы, что такое матросский бал? «Зал огромный, люстры и освещения много, но меня удивило, что танцующие одеты, как сапожники, в чем

ни попало. Вы бы умерли со смеху. Танцевали вальс. Такого вальса вы еще в жизни не видывали: один ворочает даму свою в одну сторону, другой в другую. Иные просто взявшись за руки, даже не кружатся, но уставив один другому глаза, как козлы, прыгают по комнате...» [XI, 53].

Помимо матросского бала, Гоголь в Гамбурге посетил театр на открытом воздухе, гуляя по набережной, называемой *Jungfernstieg*...

Примерно через неделю отправился в Бремен, где осмотрел местные достопримечательности: погреб с нетлеющими телами усопших, подвал со столетним рейнвейном, который отпускают только опасно больным и знаменитым путешественникам. «Так как я не принадлежу ни к тем, ни к другим, то и не беспокоил моими просьбами граждан города Бремена...» [XI, 55]. Однако Данилевский позднее рассказывал гоголевскому биографу, что вино они все-таки попробывали — «удалось достать его за большие деньги» [Шенрок, т. 3, с. 120].

Как и везде, Гоголь осмотрел в Бремене собор и пришел в восхищение. «Если бы вы увидели здешнюю церкву! Такой старины вы еще никогда не видели» [XI, 53].

Потом путешественники поехали в Мюнстер, где удалось полюбоваться лишь наружностью «прекрасных готических церквей», позавтракали в Дюссельдорфе и остановились в Аахене, где Гоголь также обратил внимание на «прекрасный старинный собор в готическом вкусе». Писатель еще со времени первой поездки в Германию полюбил готическую архитектуру, собор в Аахене укрепил это чувство. «Окна идут от земли до самого верха. Вся церковь светла, как оранжерея» [XI, 56]. В соборе Гоголь видел могилу Карла Великого, погребенного сидящим на своем стуле.

В Аахене в это время находилась небольшая русская колония: Павел Дмитриевич Дурново (1804–1864), камергер, муж А. П. Волконской, дочери министра двора кн. П. М. Волконского; Александр Егорович Энгельгардт (1801–1844), сын директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта. Незадолго перед тем, 10 июня, сюда приехал Николай Васильевич Путята (1802–1877), друг и родственник Баратынского, чиновник статс-секретариата Великого княжества Финляндского. Неизвестно, общался ли Гоголь с этими лицами и насколько тесно, однако (как говорилось выше) приезд писателя и его переживания, связанные с «Ревизором», были зафиксированы Дурново, возможно, под влиянием личной встречи с ним⁴³.

В Аахене Гоголь ожидал консультации с известным в то время врачом Иоганном Генрихом Коппом, к которому у него было рекомендательное письмо от Жуковского; описание же своей болезни, «впрочем не слишком важной», по словам Гоголя, он выслал Коппу еще из Гамбурга. Однако в Аахене у Гоголя «приключилась» новая болезнь — «с горлом», омрачившая его пребывание в этом городе.

В Аахене Гоголь расстался со своим попутчиком. Данилевский направился в Париж, Гоголь же решил плыть по Рейну, заранее пред-

чувствуя удовольствие от путешествия. «Это совершенная картинная галерея: с обеих сторон города, горы, утесы, деревни, словом — виды, которых даже на эстампах вы редко встречали» [XI, 56]. Но к концу второго дня эти виды надоели Гоголю, мечтавшему уже об окончании плавания.

В Майнце он сошел на берег и дилижансом направился во Франкфурт-на-Майне. Город, который называли немецким Парижем, ему понравился: «... очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом» [XI, 57]. Гоголь обратил внимание на оперный театр с одним из лучших в Европе оркестров, но побывать ему здесь, кажется, не удалось. Гоголь спешил в Швейцарию.

Однако на пути в Швейцарию он неожиданно, чуть ли не на три недели застрял в Баден-Бадене. Понравился и вид, и атмосфера этого места: «Местоположение города чудесно. Он построен на стене горы и славен со всех сторон горами. Магазины, зала для балов, театр — все в саду» [XI, 58]. Но главное, что удерживало Гоголя — встреча с соотечественниками: с Александрой Осиповной Смирновой-Россет⁴⁴, знакомой ему еще по Петербургу, а также с Балабиными, с которыми он также встречался еще в Петербурге, в бытность свою домашним учителем.

Старшие представители семейства Балабиных — генерал-лейтенант в отставке Петр Иванович Балабин (1776–1855) и его жена Варвара Осиповна, француженка по происхождению, урожденная Paris. У Балабиных было три сына, Иван, Виктор и Евгений, и две дочери, младшая, Мария (именно ей Гоголь в свое время давал уроки) и Елизавета. Через Елизавету Балабины породнились с другим видным семейством — Репниных: Елизавета Петровна была замужем за Василием Николаевичем Репниным, сыном знаменитого Николая Григорьевича Репнина-Волконского, князя, малороссийского генерал-губернатора (с 1816-го по 1834 г.), генерала от кавалерии и (с 1834 г.) члена Государственного совета.

В Баден-Бадене в это время проживало несколько членов балабинского и репнинского семейств: определенно можно говорить о Варваре Осиповне и ее дочери Марии, которые выехали из Петербурга почти одновременно с Гоголем⁴⁵. Была здесь и княжна Варвара Николаевна Репнина, сестра упомянутого выше Василия Николаевича Репнина. С Гоголем она встретилась в Баден-Бадене впервые.

Впоследствии Варвара Николаевна рассказывала гоголевскому биографу, что они чуть ли не ежедневно виделись с писателем, который «был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас» [Шенрок, т. 3, с. 128]. Особенно любил он беседовать с Балабиной-старшей и ее дочерью, своей бывшей ученицей.

Варвара Осиповна Балабина, по словам той же мемуаристки, была «милая, умная и смиренная женщина» [РА. 1890. № 10. С. 227]. П. А. Плетнев

называл ее «бесценным созданием»: «религиозная, интеллектуальная и эстетическая жизнь ни у одной женщины так не развиты гармонически, как у нее» [Плетнев, с. 544]. Что же касается Марии Петровны, то эта девушка, которой едва исполнилось пятнадцать лет, поражала всех своей красотой. Встретившая ее четырьмя годами позже сестра Гоголя Елизавета, писала, что «это была в полном смысле девушка-красавица, особенно хороши были глаза <...>. Она была прелестное существо, но, к сожалению, болезненное. Она очень любила писать и много писала, и мы (то есть Елизавета и другая сестра Гоголя Анна. — Ю. М.) всегда предлагали ей свои услуги для переписки ее сочинений» [Быкова].

В отношениях со своей бывшей ученицей Гоголь придерживался почтительного тона «благовоспитанного кавалера», много шутил и балагурил; этот тон отражают и его более поздние письма, наполненные воспоминаниями о жизни в Баден-Бадене. Вот он рассказывает Марье Балабиной, как обедал в обществе одного француза. «...Француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: “Я вам советую, Monsieur, взять этого компота. Это очень хороший компот”. “Да, — сказал я, — это очень хороший компот. Но я едал (продолжал я) компот, который приготавливали собственные ручки княжны Варвары Николаевны Репниной и которого можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных”. На что он сказал: “Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка тоже был главнокомандующий”. На это я сказал: “Очень жалею, что не был знаком лично с вашим дедушкою”. На что он сказал: “Не стоит благодарности”» [XI, 68].

Потчевание Гоголя, бывшего большим сладкоежкой, замечательным компотом происходило в Баден-Бадене.

В свою очередь, Гоголь «угостил» и Репнину и Балабиных «Ревизором». «Я не бываю в театре, — рассказывала Варвара Николаевна Репнина, — но могу сказать, что я присутствовала на представлении “Ревизора”: потому что Гоголь представил всех действующих лиц, переменив голос, разнообразия мимику каждого лица» [РА. 1890. № 10. С. 228]. Кроме того, Гоголь прочитал «Записки сумасшедшего», которые под конец вызвали слезы у Варвары Осиповны Балабиной. Она вообще была большой поклонницей таланта Гоголя⁴⁶.

Около середины августа Гоголь покинул Баден-Баден и через Раштадт направил свой путь в Швейцарию.

В общей сложности Гоголь пробыл в Германии полтора с лишним месяца, примерно столько же, сколько и семь лет назад, во время первого своего путешествия. Но впечатления были совсем другие: с этого времени начинается и усиливается его неприязненное отношение к Германии. Своими чувствами Гоголь охотнее всего делится с Марией Балабиной, убеждая ее в том, что это совсем не тот край, каким он представляется воображению, вдохновленному «сказками

Гофмана». «Я по крайней мере в ней ничего не видел, кроме скучных табльдотов и вечных, на одно и то же лицо состряпанных кельнеров и бесконечных толков о том, из каких блюд был обед и в котором городе лучше едят; и та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле, так, как исчезает прелестный голубой колорит дали, когда мы приближимся к ней близко» [XI, 180]. Заметим, между прочим, что и о табльдотах (общих обеденных столах) Гоголь в первую свою поездку отзывался иначе, с воодушевлением — они напоминали ему хлебосольные и веселые пиршества в имении Д. П. Трошинского, в Кибинцах...

И в другом письме к Марии Балабиной — еще более резкие слова: «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрывка гадчайшего табаку и мерзейшего пива» [XI, 229].

Гоголь переживает разочарование в Германии почти как тяжелую утрату, как личную трагедию. «Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные годы, мою юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести <...> молодых сил и порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком...» Что напоминают эти строки? Конечно, знаменитый лирический пассаж из 6-й главы «Мертвых душ»: «О моя юность! о моя свежесть!»...

Но продолжим цитату из письма: «...В это время я любил немцев, не зная их, или может быть я смешивал немецкую ученость, немецкую литературу с немцами. Как бы то ни было, но немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности <...>. Доныне я люблю тех немцев, которых создало тогда воображение мое...» [XI, 244–245].

Настроение Гоголя во многом объяснялось обстоятельствами его пребывания в Германии. Писатель отчетливо сознавал, что это страна крайностей, в которой, говоря его словами, «низменные ряды соседствуют с высокими, филистерство с поэзией. То, с чем сталкивался Гоголь, что открывалось его восприятию, принадлежало преимущественно пошлой «существенности». Позднее в Италии Гоголь вступит в контакты, хотя и не частые, с итальянскими поэтами, художниками; в Германии таких контактов он и не искал, да и плохое знание немецкого языка этому не способствовало. Русские люди приезжали в Германию для паломничества к Гете (умер в 1832 г.), для посещения философских столиц, Мюнхена или Берлина, и слушания лекций — Шеллинга, Гегеля или, скажем, гегельянца Вердера. У Гоголя таких намерений не было и подобных встреч не состоялось. И вообще Гоголь рассматривал на этот раз Германию как промежуточное место на пути в Швейцарию, где он наконец-то возобновит свою работу над «Мертвыми душами».

Перед отъездом из Бадена Гоголь тепло простился со своей бывшей ученицей. Балабины направлялись в Антверпен и Брюссель, где жил отец Варвары Осиповны, монсиньер Paris. Гоголь взял с Марии

Петровны обещание, что она пришлет ему в Швейцарию письмо с подробным рассказом о путешествии.

ШВЕЙЦАРИЯ

После Германии Швейцария — вторая страна, в которой довелось побывать Гоголю. Около 16 августа (н. ст.) он приехал дилижансом в Базель, затем направился на юг в Берн. Близ Берна в местечке Обберид Гоголь посетил русского посланника Северина, к которому у него было рекомендательное письмо от Вяземского.

Дмитрий Петрович Северин (1792—1865) был и дипломатом и литератором. В свите Александра I он участвовал в конгрессах в Троппау и Лайбахе; в 1826 г. занял должность поверенного в делах, а в апреле 1836 г. — посланника в Швейцарии. Во время своей поездки в Эдинбург в декабре 1813 г. Северин встречался с Вальтером Скоттом, о чем рассказал в «Письме русского из Англии» («Российский музей», 1815) — это была одна из первых для русского читателя информации о шотландском романисте⁴⁷.

Еще надо напомнить, что Северин входил в «Арзамас», где имел прозвище Резвый кот. Видимо, со времен «Арзамаса» он был знаком с Пушкиным, но проявил к нему далеко не дружеские чувства [см.: Черейский, с. 391]. Лучше сложились его отношения с Вяземским, что и дало последнему возможность адресовать к нему Гоголя.

Северин отвечал Вяземскому 8(20) сентября 1836 г.: «... Гоголь привез мне рекомендательное письмо твое на дачу вечером и перед отъездом в горы Бернского оберланда. Обещал по возвращении посетить нас снова, но по сию пору не является <...>. Я не обманул его насчет здешнего края и советовал ехать далее для лучших вдохновений...» [ЛН. Т. 58. С. 554]. Письмо свидетельствует о том, что Гоголь спрашивал у Северина совета, где ему лучше остановиться для писательской работы, то есть продолжения «Мертвых душ», хотя едва ли он упомянул конкретно это произведение. Тем более что во время встречи присутствовало еще одно лицо, с которым Гоголь также увиделся впервые — Александр Скарлатович Стурдза (1791—1854), находившийся в свойстве с хозяином дома: первая жена Северина, умершая в 1818 г., была сестрою Стурдзы.

Впоследствии (в Риме и Одессе) Стурдза будет довольно активно общаться с Гоголем. Но в первую их встречу Стурдза, по его словам, оставался «только немым свидетелем приятной, но мимолетней беседы» Гоголя с Севериным [М. 1852. № 20. Отд. 1. С. 224].

Визит Гоголя к Северину состоялся примерно 17—18 августа. Около 19 августа писатель через Лозанну приехал в Женеву. Он поселился в загородном доме, в пансионе. Перед ним было Женевское озеро, кругом горы. «Ничего лучшего я не видывал. Во время захождения

солнца снега Альп покрываются тонким розовым и огненным светом. Часто, когда солнце уже совсем скроется и все уже темно, все блестит, горы покрыты темным светом, Альпы одни сияют на небе как транспарантные» [XI, 58–59]. Помимо «ледяных богатырей Альп», Гоголя поразили «старые готические церкви» [XI, 61], которые давно уже растревожили его воображение.

Но со временем живописные виды Швейцарии наскучили. «...Если бы мне попалося теперь наше подлое и плоское местоположение с бревенчатою избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым вид(ом)» [XI, 61].

Из Женевы Гоголь 27 сентября совершил экскурсию в Ферней, к «старика Волтеру». «Старик хорошо жил. К нему идет длинная прекрасная аллея, в три ряда каштаны. <...> Из зала дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей — Дидеро, Фридриха, Екатерины». Понравился Гоголю и сад. «Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно простриженный, другие вьются нерегулярно...» Чуть позже Гоголь по тому же образцу «сделает» сад Плюшкина...

Обращает на себя внимание спокойная, нейтральная интонация, с которой упоминается Вольтер. Позже, в 1847 г., в черновике письма к Белинскому, Гоголь заметит, что уже в гимназические годы он «не восхищался Волтером», — «у меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека» [XIII, 440]. Нет никаких оснований не верить этим словам; но очевидно и то, что чувство Гоголя еще не проявилось, как сегодня говорят, не актуализировалось, хотя повод для этого был подходящий. Для сравнения упомяну, что почти в то же самое время посетивший «фернейский замок» А. Г. Глаголев разразился тирадой: «Ничто не может оправдать Вольтера в его преступных покушениях подрыть и потрясти основания Христианской веры, столь чистой в своих догматах, святой по своей древности и благодетельной по влиянию на нравственность рода человеческого» [Глаголев А. Записки русского путешественника. СПб., 1837. Ч. 3. С. 26]⁴⁸.

В саду Вольтера Гоголь полюбовался на Монблан, проступающий вдали сквозь аркады деревьев, «вздыхнул» и — «нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего» [XI, 63]. То же самое он сделал на памятнике Руссо в Женеве, не ограничившись написанием своего имени и оставив какую-то русскую фразу, адресованную Данилевскому — на случай, если тот придет в этот город.

В Женеве Гоголь усердно учился языку, который так трудно давался ему еще в Гимназии, и через месяц-другой, по его словам, «начинал было собачиться по-французски». Он намеревался провести в этом городе и осень и начало зимы, полагая, что нашел искомое пристанище для продолжения своего труда. Но прожил месяц с небольшим (со второй половины августа по конец сентября): непогода, начавшиеся ветры, которые «грознее петербургских», заставили его сняться с места.

Гоголь облюбывал себе маленький городок Веве на берегу того же Женевского озера, защищенный с севера горами. Но прежде, чем обосноваться здесь, он ходил в горы, взбирался на вершину Монблана, несколько раз посещал Лозанну, где, по-видимому, останавливался на несколько дней в Hotel du Fauson. Была причина, удерживавшая его здесь: в Лозанну приехала Мария Балабина с матерью, направлявшиеся в Женеву.

Гоголя обрадовала встреча с его прежней ученицей, и несмотря на то, что она не сдержала слова и не писала ему, он обещал, со своей стороны, рассказать о путешествии из Лозанны в Веве. В этом письме из Веве от 12 октября н. ст. Гоголь принимает привычный тон «благовоспитанного кавалера», что не мешает ему балагурить и подсмеиваться над собою. Советуя Марии Петровне изменить маршрут и поехать не в Женеву, а в Веве, Гоголь говорит: «При свидании с вами я был глуп, как швейцарский баран, совершенно позабыл вам сказать о прекрасных видах, которые нужно вам непременно видеть» [XI, 71].

Кстати, перед отъездом в Веве Гоголь получил от матери какие-то предостережения относительно соблазнительных способностей итальянок — очевидно, в ответ на свое сообщение, что едет в Италию. Гоголь поспешил ее успокоить: «Насчет замечания вашего об итальянках замечу, что мне скоро будет 30 лет». И в том же письме: «...Ваши догадки (не рассердитесь, маминька) всегда были невпопад» [XI, 65].

В Веве многое говорило воображению писателя. В разное время здесь бывали Руссо, Байрон, Карамзин, Жуковский... Руссо писал в «Исповеди»: «Я проникся к этому городу любовью, не покидающей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа». Это, конечно, Юлия и Сен-Пре, «любовники, живущие в маленьком городке у подножия Альп», как гласит подзаголовок к роману «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Что касается Жуковского, то он был здесь в 1821-м и совсем недавно, осенью 1832-го, о чем наверняка рассказывал Гоголю перед его отъездом. И теперь Гоголь ищет и находит следы Жуковского; узнает, что в доме, где останавливался поэт, живет великая княжна Анна Федоровна; посещает Шильонское подземелье, где по своему обыкновению решил оставить подпись. Он отыскал фамилии Байрона и Жуковского, но не посмел подписаться «под двумя славными именами творца и переводчика “Шил(ьонского) Узник(а)”» и выбрал себе место несколько поодаль. «...Когда-нибудь русский путешественник, — пишет Гоголь Жуковскому, — разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин» [XI, 73].

Восприятие Гоголем Швейцарии своеобразно, но не исключительно, вопреки мнению современного швейцарского ученого: «Гоголь, очевидно, мало интересуется всем тем, что до него и после, вплоть до наших дней, находили в этой стране достойным внимания русские путешественники: политическое многообразие и настоящая

демократия (*direkte Demokratie*), многоязычие, оригинальность городского и сельского образа жизни, красоты природы» [Амберг, с. 179]. Это не совсем точно: интереса к политическим институтам Гоголь действительно не проявил, но ко всему остальному в этой стране был не столь безразличен. Особенно к «красотам природы»; впрочем, все дело в том, что это — часть «образа Швейцарии», складывавшегося в европейском, преимущественно романтическом, сознании по аналогии с образом Италии, в которой Гоголь еще не бывал.

«Если Италия открывает сокровища великой исчезнувшей культуры, то Швейцария — возвышенную, идиллическую природу, являясь доступнее (*wegsamer*), существеннее, дружелюбнее». Швейцария — это «свобода человека, возвышенность природы, противоположности и гармония, но прежде всего — настоящая христианская вера» [Рендер, с. 28]. Как олицетворение спокойствия, умиротворенности, свежести природы и свежести чувств воспринимал Швейцарию Жуковский⁴⁹, а вслед за ним и Гоголь, подстраиваясь к нему или, точнее, перенимая его настроение: «Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным вами верстам...» [XI, 73]. Тут и долгие прогулки — значащая деталь. «Путешествие пешком, несущее каждую минуту все новые впечатления, — вот еще одно открытие Руссо, одно из новшеств, которые он ввел в литературу...» [Сент-Бев, с. 341].

И знаменательно, что именно в Швейцарии, в Веве Гоголь впервые после отъезда за границу возобновил работу над «Мертвыми душами». Готовиться к ней он стал еще в Женеве, принявшись перечитывать «всего Вальтера Скотта» [XI, 60], Мольера, Шекспира [XI, 73]. Но взялся за перо только в Веве. «Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нуж(но) его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет!» [XI, 73–74]⁵⁰.

Гоголь работал до тех пор, пока испортившаяся погода не заставила его подумать о дороге. В Италию он ехать опасался — там бушевала холера; напуганные итальянцы бежали в Швейцарию, не успев снять гигиенической маски. Гоголь решил отправиться в Париж, где уже находился Данилевский.

«СЛАВНАЯ СОБАКА ПАРИЖ...»

Русские люди приезжали во французскую столицу с разными целями и с неодинаковым настроением. Париж — город двух революций, сосредоточие общественной жизни, символ приоритета политических и злободневных интересов над осталь-

ными. Не утратил Париж и своего значения культурной столицы, хотя в этом качестве с ним уже успешно соперничали и другие города, скажем Берлин. Но в чем Париж по-прежнему не знал соперников, так это в искусстве наслаждений, в «блеске и пестром движении» жизни, как скажет потом Гоголь.

Перед отъездом за границу Гоголь мог прочитать очерк А. И. Тургенева «Париж (Хроника русского)», напечатанный в 1-й книжке «Современника» (с. 258–295), в подготовке которой он принимал большое участие. «Хроника» отражала общительность ее автора, обостренное внимание к самым разным людям и событиям: тут и встречи с политическими деятелями, с экс-министрами Гизо и Тьер; и посещение салонов, французского и итальянского театров, камеры пэров, архивов; и впечатления от балов и народных гуляний, от проповедей, прослушанных в соборе Нотр-Дам, в церкви Успения Богородицы, церкви святого Фомы Аквинского; тут и политические и светские сплетни.

Еще одно произведение, которое Гоголь мог прочитать до отъезда, — анонимная повесть «Таинственная перчатка. Сцена из светской жизни» (Т. 1832. № 5). Молодой москвич едет в Париж. «Как ребенка тешат разнообразные картины, так его занимали прения палат, водевильные куплеты, перемены министров, уличные карикатуры, блеск и приманки Пале-Рояля». Но прошло некоторое время, и Париж «обратился для него в заселенную пустыню, где он встречал людей, но не находил человека» [там же, с. 27, 29]. Все это предвосхищает судьбу гоголевского персонажа, итальянского князя из «Рима», охладевшего к городу, встречу с которым он ожидал с нетерпением.

Подобную же перемену запечатлел и Ф. В. Чижов — знакомый Гоголю еще по совместной службе в Петербургском университете — в очерке «Прощание с Францией и Женевою» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847); впрочем, этот очерк написан уже явно с оглядкой на гоголевский «Рим».

Автор очерка отдает должное Франции: он «восхищался на каждом шагу тем понятием о личном достоинстве общественного человека, которое здесь вошло в нравы»; «с восторгом, даже больше, чем с восторгом любовался теми успехами общества, какие вошли в ход государственного управления и сделались опорой незыблемости прав гражданских». Он «с благодарностью пользовался всеми средствами для умственных занятий, которые здесь безданно, беспощинно и беспросьбенно доставлены каждому: библиотеки, галереи, чтения наук, больницы...» [там же, с. 488].

И все же, «проживши около трех месяцев в Париже и вообще во Франции, — говорит автор в первом лице, — я не мог унести с собою ничего, что связало бы с нею мое сердце». Причина? — Поверхностность французского характера, воспринимаемого по контрасту с характером русским. «...Пока еще неиспорченной природе истого русского, требующей приволья и полноты жизни, особенно внутренней <...> ни-

как не ужиться с одностороннею, исключительно внешней парижской жизнью» [Московский литературный и учебный сборник на 1847 год, с. 488, 491].

Сложилась определенная схема, согласно которой изменялось настроение иностранца (особенно «истого русского») в Париже — от отблысения к разочарованию. Но Гоголь никакого разочарования не испытывал, потому что не питал никаких иллюзий. Париж, скорее, превзошел его ожидания. «Париж не так дурен, как я воображал...» — писал он 12 ноября н. ст. 1836 г. Жуковскому.

Сразу по приезде Гоголь отправился к Данилевскому, потом переехал в гостиницу. Но комната была без печки, лишь с камином, и Гоголь мерз. Наконец, на углу Place de la Bourse и Rue Vivienne в доме № 12 нашли теплую квартиру, с печкой да еще на солнечную сторону [XI, 75; Шенрок, т 3, с. 150].

Гоголь ожил и вновь принялся за поэму. «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумая, что я пишу Мертвых душ в Париже». Гоголь просит Жуковского сообщать ему о «каких-нибудь казусах», «могущих случиться при покупке мертвых душ»; поручает передать такую же просьбу Пушкину (еще одно подтверждение, что у них не было никакой ссоры!) и вновь призывает сохранять все в тайне: «Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет Мертвых душ. *Название можете объявить всем.* Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело» [XI, 74, 76].

Подчеркнутая нами фраза особенно интересна. Гоголь умеет подготавливать читательскую реакцию; в данном случае эффект строится на контрасте «сюжета» и названия, заставляющего ожидать произведения сказочного и фантастического (именно такое впечатление сложится несколько позже у Ф. И. Буслаева); строится на том, что реальность превзойдет и опровергнет эти ожидания. В тактике Гоголя есть уже и намек на общественное действие, к которому он широко прибегнет при написании второго тома поэмы, потому что достигнутый эффект должен уже далеко выйти за пределы эстетической сферы...

В Париже Гоголь вновь встречает Александру Осиповну Россет, с которой он виделся перед этим в Баден-Бадене. «Ласточка Розетти», как он ее однажды назвал, «черноокая Россети», как называл ее Пушкин, Александра Осиповна была ровесницей Гоголя (ей едва исполнилось 27 лет). После отъезда из Петербурга она похорошела необычайно. В Париже она была с мужем, Николаем Михайловичем Смирновым, камер-юнкером, чиновником Министерства иностранных дел, с которым она обвенчалась еще в 1832 г.

Еще одна парижская встреча Гоголя — с Андреем Николаевичем Карамзиным (1814—1854), старшим сыном знаменитого писателя. Ан-

дрей Карамзин окончил юридический факультет Дерптского университета, служил в лейб-гвардии конной артиллерии. Очевидно, с Гоголем они были знакомы еще по Петербургу: накануне премьеры «Ревизора», как мы помним, Соболевский выпрашивал у автора билеты для вдовы Карамзиной и ее детей, в том числе Андрея Николаевича.

За границу Карамзин выехал 23 мая 1836 г., двумя неделями раньше Гоголя⁵¹ и тем же маршрутом, из Кронштадта на Любек, но в Париж приехал месяцем позже, в декабре.

И сразу же отправился обедать к Смирновым. В письме к родным в Петербург поделился своим впечатлением от хозяйки: «прелестна, точно такая же, как прежде Александра Осиповна Россети; я глядел и радовался, но *не влюбился*; прошли времена» [СН. 1914. Кн. 17. С. 251; курсив в оригинале]. По-видимому, у Смирновых Карамзин и встретил Гоголя.

Из письма Андрея Карамзина от 11 февраля 1837 г.: «Третьего дня я обедал у Смирновых с кн. Трубецкой, Соллогубом и Гоголем» [там же, с. 424]. Лев Александрович Соллогуб (1812–1852) — это брат известного писателя; воспитанник Школы гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров. Возможно, он встречался с Гоголем еще летом 1831 г. в бытность свою в Павловске, где жил Николай Васильевич.

С Андреем Карамзиным Гоголя сближали художественные симпатии, воспоминания о Жуковском, Пушкине. К этому времени в Париж поступил 4-й том «Современника» с «Капитанской дочкой»; Карамзин прочел ее с наслаждением: «Как просто и как хорошо, как выше всего современного, писанного в этом роде!» [там же, с. 291]. Впечатления Гоголя были сходными. «Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы “Полководец” и “Капитанская дочь”. Видана ли была где-нибудь такая прелесть!» [XI, 85; стихотворение Пушкина «Полководец» напечатано в предыдущем, 3-м томе журнала]. Кстати, это еще один контраргумент тем современным авторам, кто утверждает, будто Гоголь считал пушкинские произведения отставшими от времени...

Но в отличие от Гоголя Андрей Николаевич был человеком светским, к тому же жадным на встречи со знаменитостями, на политические новости («политика вытесняет здесь все другие предметы в разговоре...») — этим он напоминал Александра Ивановича Тургенева. Где только ни побывал Карамзин! И в салоне мадам Рекамье, где встречался с Шатобрианом, Сент-Беном, писателем Пьером Симоном Балланшом, историком литературы, сыном знаменитого математика Жан-Жаком-Антуаном Ампером. И в Камере депутатов, куда ходил вместе со Смирновыми («...Камера открывается с 12 часов, а на лестнице под открытым небом, в мороз, образуется хвост с восьми часов утра»). По рекомендации хозяйки католического салона Софьи Петровны Свечиной («доброй Свечиной») был принят Ламартином. Видел, правда мельком, Бальзака («коротенький, толстый, краснощекий»). А один

раз, 23 (10) января 1837 г. в помещении русского посольства был даже представлен королю — Луи Филиппу Орлеанскому...

Гоголь в посещаемых Карамзиным домах не бывал и с упоминаемыми им лицами, кажется, не встречался. Но одну страсть Андрея Николаевича вполне разделял — к парижским театрам. Для этого Гоголю пригодились усердные занятия языком, что было подмечено тем же Карамзиным: «Гоголь сделал успехи на французском языке и довольно его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует» [СН. 1914. Кн. 17. С. 281].

Оба наслаждались итальянской оперой. Карамзин: «Театр гремел рукоплесканиями, и я почти судорожно им вторил. Говорят, что *итальянскую* музыку можно полюбить только в *итальянской* опере — я этому теперь верю» [там же, с. 238; курсив в оригинале]. Гоголь: «...Итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурины, Рубина, Лаблаш — это такая четверня, что даже странно, что они собрались вместе» [XI, 81].

Оба видели «наследника Тальмы» Пьера Лижье. Карамзин: «Ligier прекрасно играл Людовика XI в трагедии *De La Vigne* (Делавиня)...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 272]. Гоголь к тому же произвел маленький психологический анализ этого персонажа: «...Кажется, вряд ли Делавиню так написать, как *Ligier* играл. Он был даже смешон — до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной...» [XI, 83].

Хорошее знание Гоголем парижской театральной жизни, отразившееся в его письмах, говорит о том, что он бывал не только в итальянской опере, но и в других театрах — в Большой опере, в театре *Porte St. Martin*, возможно, еще в *Opera Comique*, в театре Пале-Рояль и *Variete* («лучшие водевильные театры!»).

Одно театральное событие произвело на Гоголя особенное впечатление. 15 января 1837 г. в «Комеди Франсез» в очередной раз праздновали день рождения Мольера — давали «Тартюфа» и «Мнимого больного». «В этом было что-то трогательное. По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голову его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?..» [XI, 82]. Потом эти впечатления отзовутся в финале «Театрального разъезда...» в словах Автора о Шекспире: «...Стонут балконы и перилы театров <...>. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости?» [V, 170]⁵².

Оказывается, на том же спектакле был и Андрей Карамзин; отправленное им на следующий день письмо родным поможет полнее ощутить атмосферу праздника: «Входя в этот театр, забываешь Францию 1837 года; все в нем дышит прежним, старинным: на афишках читаешь старую фразу: *le comediens ordinaires du roi*, и с удивлением вспоминаешь, что этот roi — Филипп Орлеанский; бюсты Вольтера,

Расина, Корнеля и пр.; роль молодой жены в “Тартюфе” играет вечная *M-elle Mars*» (Гоголь тоже отметил, что хотя актрисе 60 лет, «голос ее до сих пор гармонической и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю»). «Во время интермедии *la reception d'Argon* актеры и актрисы с глубоким поклоном увенчивали лаврами бюст Мольера при рукоплескании партера» [СН. С. 253, 254].

На юбилейном спектакле Карамзин был вместе с другом Пушкина Сергеем Александровичем Соболевским. Гоголь хорошо знал его еще по Петербургу, в письме от 17 апреля 1836 г. обращался к нему приятельски-фамильярно («Высокорослый и аппетитный для дам Соболевский!» — [XI, 37]), и поэтому скорее всего и на этот раз без их встречи и взаимного приветствия не обошлось⁵³.

Возвращаясь же к Смирновым, нужно сказать, что отношения Гоголя с Александрой Осиповной еще не имели такого доверительного характера, какой они получили позднее. «Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили» [Смирнова, 1989, с. 27]. Несмотря на резкость последних слов, это, по-видимому, соответствует действительности. Карамзин, бывавший у Смирновых чуть ли не каждый день, упоминает о присутствии Гоголя считанное количество раз. Окружение Смирновых (да и сама Александра Осиповна), очевидно, еще не могли отрешиться от налета высокомерия по отношению к человеку незначительному да и к тому же комическому писателю; Гоголь же к подобным вещам был болезненно чувствителен. Смирнова приводит фразу «одного господина высшего круга» (Сергея Сергеевича Гагарина), сказанную ей несколькими месяцами позже в Бадене: «Вы находитесь в дурном обществе; вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком дурного тона» [там же, с. 28; оригинал на французском языке; см. также комментарий С. В. Житомирской на с. 642].

Гораздо свободнее и лучше чувствовал себя Гоголь с друзьями-одноклассниками; благо, что помимо Данилевского в Париже оказался еще Иван Павлович Симановский, приехавший сюда 5 декабря 1836 г. из Висбадена. В тот же день втроем отправились «банкетовать» к Вефурю, «знаменитому ресторатору в Палерояле» [ЛН. Т. 58. С. 556].

«Банкетовал» Гоголь не только по какому-либо поводу, но часто просто так. И это при том, что он постоянно жаловался на желудок, лечился у некоего доктора Маржолена и мучил Данилевского припадками мнительности [Шенрок, т. 3, с. 150–151].

К концу пребывания Гоголя в Париже он мог сказать, что «все обсмотрел уже, что есть замечательного». Дважды был в Лувре; ездил в Версаль и нашел, что королевский «дворец, сады, парки без всякого сравнения великолепнее нашего Царского села и построены с большим вкусом» [XI, 87]; вместе с Данилевским посетил знаменитый ботанический и зоологический сад *Jardin des plantes* и подивился не виданному еще им способу содержания зверей — не в клетках, а на

воле: «Слоны, верблюды, строусы (так!) и обезьяны ходят там, как у себя дома» [XI, 79].

Гоголь искал рассеяния, отдыхал от успешно продвигавшейся работы над «Мертвыми душами», которой неукоснительно посвящались утренние часы. Но нельзя упускать из виду и то, что Париж имел для него и серьезное и, можно сказать, самостоятельное значение. Да, конечно, Гоголь отмечал легковесность французского характера, отвергал увлечения политикой («жизнь политическая <...> не может понравиться таким *счастливым праздным*, как мы с тобой», — писал он Н. Прокоповичу, прибегая к скрытой цитате из пушкинского «Моцарта и Сальери». — [XI, 81]). В этом он сходился с некоторыми другими русскими путешественниками и предвосхищал героя своей будущей повести «Рим». Но художнические впечатления от картин, от спектаклей, музыки были достаточно яркими, чтобы отвечать высоким требованиям Гоголя и питать его талант.

В парижском опыте Гоголя была еще одна не менее важная грань. На нее проливает свет письмо Данилевского, помеченное 5 декабря 1836 г. (день приезда Симановского) и отправленное в Петербург другим нежинцам — Н. Я. Прокоповичу и И. Г. Пашенко: «...Из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Невским проспектом, Тюльери — Летним садом, Палероаль — Гостиным двором и прочее. <...> В Париже столько зевак, право до сих пор засматриваемся на магазины, а Гоголь сделался ужасным зевакою».

Данилевский воспроизводит типичные гоголевские выражения, вроде «сделали совершенный Петербург» или «сделался зевакою» (позднее в повести «Рим» Гоголь скажет о пребывании князя в Париже: «сделался подобно всем зевакою во всех отношениях»). А в заключение просто цитирует Гоголя: «“Славный собака Париж”, как говорит Гоголь...» Впрочем, в альбоме Н. В. Гербеля, из которого взято это письмо, есть и прямое указание владельца, что оно писано «под диктовку Гоголя» [ЛН. Т. 59. С. 555—556].

Во всяком случае, в переименованиях парижских реалий на петербургский лад проявилась та же стихия озорного переименования, которая владела Гоголем на родине, когда он своим друзьям и знакомым присваивал фамилии французских писателей — Бальзака, Жюль Жанена, Софии Ге и т. д. Теперь он осуществлял как бы обратный перевод — с французского на русский. Игровое настроение Гоголя не иссякло. Недаром он проявил живой интерес к парижскому карнавалу, начавшемуся к середине февраля, как позднее проявит такой же интерес к карнавалу римскому.

Озорная стихия переименования проявилась и в другой сфере гоголевского поведения. Мы знаем, что Гоголь был охотником много и сладко поесть. Но мало сказать, что еда была возведена им в культ — этот культ носил дерзкий и пародийный характер: рестораны назывались храмами, содержатели ресторанов и прислуга — жрецами, а сам

процесс насыщения — богослужением... Вольность, которую спустя лет пять—десять Гоголь себе уже не позволит⁵⁴.

В Париже Гоголь познакомился с Адамом Мицкевичем. До этого их встреча маловероятна: когда польский поэт покидал Россию (15 мая 1829 г.), Гоголь был начинающим, еще никому не известным литератором, автором только что отданного в цензуру «Ганца Кюхельгартена». Но о Мицкевиче он скорее всего был слышан, тем более что переводами польского поэта усердно занимался не кто другой, как В. И. Любич-Романович (в частности, он выпустил книгу: Стихотворения Адама Мицкевича / Пер. с польск. В. Р. СПб., 1829).

С 1832 г. Мицкевич жил в Париже, глубоко переживая разгром польского восстания 1830—1831 гг. и проявляя горячее сочувствие к его участникам. Позиция Пушкина по отношению к этому восстанию была, как известно, иной; в 1834 г. он написал стихотворение «Он между нами жил...», где, в частности, говорилось о польском поэте: «...Наш мирный гость нам стал врагом, — и ядом // Стихи свои в угоду черни буйной, // Он напояет...»

На отношение Гоголя к Мицкевичу все это не повлияло. Гоголевский биограф, опираясь, очевидно, на свидетельство Данилевского, даже говорит, что русского писателя удерживала в Париже «возможность часто видеться с Мицкевичем <...> и с другим польским поэтом, Залеским» [Шенрок, т. 3, с. 166].

Что касается Юзефа Богдана Залеского (1802—1886), то его сближал с Гоголем и интерес к Украине, к прошлому казачества, хотя этот интерес имел определенную направленность, что обуславливало принадлежность поэта к «так называемой украинской школе» в польской литературе. «Дело в том, — читаем мы в авторитетном исследовании, — что, обращаясь к малорусской народности и истории, польские поэты брали их только с той стороны, которая отвечала их собственным историческим воззрениям; брали те эпохи, когда старое казачество, реестровое и надворное, формировалось *под властью* и знаменами польских гетманов и панов, когда оно сражалось *вместе* с поляками против татар и турок и еще не восставало *против* самих поляков» [Пытин Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3. С. 249]. Но этого было достаточно для взаимной симпатии обоих писателей.

Залеский говорил: «Меня, своего грудного ребенка, спеленала песнью мать Украина»; «с торбаном вырос я — вижу Днепр, Ивангород, хату в дубраве, старика-знахаря...» [там же].

Гоголь перед самым отъездом из Парижа заходил к Залескому (наверное, не в первый раз) и, не застав его, оставил записку на украинском языке. Называл его «паном земляком», призывал действовать «на славу усій козацкій землі» и просил посылать «пысульки в Рим». «Добре б було, колы б и сам туды колы-небудь примандрував. Дуже, дуже близький земляк, а по серцю ще ближчий, чим по землі». И подписался так, как никогда не подписывался: «Мыкола Гоголь» [XI, 88].

Следует добавить, что Залеский участвовал в восстании 1830–1831 гг. и жил в Париже на правах эмигранта.

Касался ли Гоголь в разговоре с Мицкевичем и Залеским проблемы независимости Польши, освобождения от власти России? Во всяком случае, его отношение к этой проблеме было спокойным, не аффектированным и не зависимым от официальной точки зрения. Из «Тараса Бульбы» гоголевскими современниками (поляками, в первую очередь) вычитывалась антипольская тенденция. Но она далеко не совпадала с реальной жизненной позицией писателя.

Во время общения Гоголя с Мицкевичем и Залеским произошел один таинственный эпизод, который последний истолковал даже как выражение гоголевской русофобии. Но на этом эпизоде целесообразнее остановиться чуть позже, в связи с реакцией Гоголя на смерть Пушкина...

Гоголь рассчитывал прожить в Париже только зиму, «а с началом февраля, — писал он в первом же парижском письме Жуковскому, — отправлюсь в Италию <...> и души потекут тоже за мною» [XI, 75]. Потом этот план получил более конкретные очертания: Гоголь поедет в Италию вместе с Данилевским, и остановятся они в Неаполе. С этой целью оба стали брать уроки итальянского языка у молодого француза Ноэля, жившего на верхнем этаже одного из самых высоких домов Латинского квартала [Шенрок, т. 3, с. 153].

Но по каким-то причинам Гоголь задержался в Париже до марта 1837 г. И тут пришло страшное известие.

«... НИКАКОЙ ВЕСТИ ХУЖЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ИЗ РОССИИ»

Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 г. Уже через 10–12 дней весть достигла Парижа. Андрею Карамзину передали письмо от матери, когда он был у Смирновых. Карамзин прочитал и передал Александре Осиповне. Смирнова пробежала глазами строки и горько заплакала.

«Милый, светлый Пушкин, тебя нет! Я плачу с Россией, плачу с друзьями его, плачу с несчастными жертвами (виновными или нет) ужасного происшествия» [из письма Андрея Карамзина к матери от 24(12) февраля // СН. 1837. Кн. 17. С. 291].

В тот вечер, когда пришло письмо, у Смирновых, помимо Карамзина, были Соболевский, Валерьян Платонович Платонов (внебрачный сын известного государственного деятеля кн. П. А. Зубова). «Как ни сойдемся, все говорим про одно, и разойдемся, грустные и сердитые на Петербург» [Андрей Карамзин — матери, 2 марта (18 февраля) // Там же. С. 297].

В те же дни о произошедшем узнал Гоголь. Из того же письма Карамзина: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него...» [СН. 1837. Кн. 17. С. 299].

Переживание Гоголем смерти Пушкина тоже стало своего рода общественным событием. Гоголь не скрывал своих чувств от близких и не близких к нему людей.

«Гоголь неутешно оплакивал эту смерть» [Смирнова, 1989, с. 63].

«Данилевский рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Александром Ивановичем Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: “Ты знаешь, как я люблю свою мать, но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше!”» [Шенрок, т. 3, с. 166]. Тут надо сделать уточнение: Тургенева в это время в Париже не было, и упомянутый эпизод мог иметь место позднее, в августе — сентябре следующего года, или, что более вероятно, Данилевский запомнил, кто был спутником Гоголя (не Тургенев, а скорее всего Карамзин).

И. Ф. Золоторев, с которым Гоголь чуть позже поселится в одной квартире в Риме (об этом далее): «...Н. В. был глубоко поражен. Целый день он не мог прийти в себя и долгое время спустя после этого события, поразившего горем всю Россию, был молчалив и задумчив» [ИВ. 1893. № 1. С. 38].

П. А. Плетнев в связи с изданием «Сочинений» Гоголя в 1842—1843 гг.: «Смерть Пушкина была ударом для его литературной деятельности. В великом поэте Гоголь утратил истинного своего судью, друга и вдохновителя. Никто не ценил его так строго и так верно, как Пушкин» [С. 1843. Т. 29. С. 408].

Прямые отклики Гоголя на скорбное известие относятся к первым неделям пребывания его в Риме. «...Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним <...>. Невыразимая тоска» (П. А. Плетневу, 28(16) марта). «Великого не стало. Вся жизнь моя теперь отравлена» (Н. Я. Прокоповичу, 30 марта).

Искренность этих слов не раз подвергалась сомнению: дескать, Гоголь перед отъездом поссорился с Пушиным и вообще гоголевское творчество есть род противостояния и противоборства с творчеством пушкинским... О «ссоре», о том, что действительно произошло в последние дни пребывания Гоголя на родине, мы уже говорили (см. главу «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься...»). Теперь поговорим о «противостоянии».

В произведениях Гоголя без труда можно обнаружить признаки отталкивания от пушкинской поэтики, а иногда и прямое ее пародирование (специально этого вопроса мы, естественно, здесь не касаем-

ся). Но одно дело — следование (или не-следование) творческой манере гения, другое — глубокий перед ним пиетет. Дух соревновательности и соперничества не исключает живой заинтересованности во мнении и приговоре мастера, наоборот — одно предполагает другое. «Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою» [XI, 88]. «Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина» [XI, 91].

Нужно учесть еще, что Гоголь осознавал свои отношения с Пушкиным в аспекте преемственности. Этот аспект запечатлелся в общественном сознании (вспомним фразу Белинского, сказанную еще в 1835 г.: «...он становится на место, оставленное Пушкиным») и сделался фактором гоголевской психологии, или, как говорят сегодня, самоидентификации. «Моя утрата больше всех, — пишет он Погодину. — Ты скорбишь как русской, как писатель, я... я и сотовой доли не могу выразить своей скорби» [XI, 91]. Что значит «больше всех», что скрывается за фигурой умолчания? Гоголевские слова подсказаны погодинской же фразой «Ты у нас остался...» (очевидно, далее следовало слово «один» или его синоним — [ЛН. Т. 58. С. 793]). Это «скорбь» единственного, законного преемника о своем великом предшественнике.

Страшную утрату Гоголь осознает в свете своего назначения и избранничества — для этого понадобились особенные черты пушкинского лика. Гоголь сакрализует этот лик, причем буквально с первых шагов своей литературной деятельности. В заметке о «Борисе Годунове», написанной в последних числах 1830 или в начале 1831 г., он дает обет свято выполнить свою жизненную задачу, сохранить бескорыстие и чистоту помыслов. Дают обет обычно перед иконой, сакральным предметом (ср. название романа Н. А. Полевого «Клятва при гробе Господнем»); Гоголь клянется перед Пушкиным, в лице его произведения; он именуется автором «Великий!», как бы низвергаясь пред ним ниц и играя на многозначности слова (вначале: «пред сим вечным творением твоим клянусь!», а потом: «оно, как творец, как благодать» и т. д.).

Все это предвосхищало тот эмоциональный поток, который вылился из-под пера Гоголя в марте 1837 г., когда он переживал смерть Пушкина: «Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу» [XI, 88–89]. «Неразрушимое», «вечное», способность пробуждать неземные чувства — прерогатива божественной силы. Тут, кстати, вновь фигурирует клятва, причем уже в связи с конкретным делом (клятва, действительно имевшая место или же воображаемая — другой вопрос): «И теперешний труд мой его создание. Он взял с меня клятву...» и т. д. Речь идет, разумеется, о «Мертвых душах».

Гоголь, мы знаем, с молодых лет ощущал себя связанным с промыслом, с высшими силами, возложившими на него особую миссию;

но для интимного и более глубокого переживания этой зависимости нужен был и вполне осязаемый в своей реальности образ, и этим образом стал Пушкин^{54а}.

Трагическая судьба Пушкина заняла свое место и в гоголевской парадигме: поэт — царь — чернь (светская чернь). Функция последней — быть губителем поэтов; ее характеристика у Гоголя созвучна реакции Андрея Карамзина, Смирновой и, видимо, всего маленького кружка русских в Париже. «Поздравьте от меня Петербургское общество, маменька, — пишет Андрей Николаевич 24/12 февраля, — оно сработало славное дело! Пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и красоте, оно довело драму, им сочиненную, к развязке...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 291–292]. Смирнова — П. А. Вяземскому: «...Ничего нет более раздирающе-поэтического, как его (Пушкина) жизнь и его смерть. Я также была здесь оскорблена и глубоко оскорблена, как и вы, несправедливостью общества...» [РА. 1884. № 4. С. 433]. А. Н. Карамзин рассказывает о стычке Николая Михайловича Смирнова с «членами посольства, из которых один чуть не выцарапал ему глаза за то, что Смирнов назвал Пушкина самым замечательным человеком в России» [СН. 1914. Кн. 17. С. 299].

Гоголевское возмущение вполне созвучно этим голосам. «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? — пишет он Погодину 20 марта н. ст. — Ты пишешь, что все люди даже холодные были тронуты этою потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? <...> О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрагается (так!) при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что бы я не хотел решиться» [XI, 91].

Гоголь проецирует пушкинскую судьбу на свою собственную, только в качестве финала вместо гибели фигурирует вынужденное бегство, изгнание. Впрочем, и мысль о бегстве сопрягается с участью погибшего поэта.

И тут нужно привести еще один-два факта, относящиеся к более поздней поре. Знакомая Гоголя, встречавшаяся с ним в Одессе зимой 1851 г., приводит следующее высказывание писателя о последнем периоде жизни Пушкина: «...Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться» [РА. 1902. № 3. С. 554]⁵⁵. Аутентичность этих слов подтверждается другим источником — цитатой из неопубликованной работы П. И. Бартенева: «По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила...» [Зайцев, с. 78]. Бартенев привел гоголевское суждение в связи со стихотворением Пушкина «Отрывок»; поэтому уместно вспомнить, что писал

об этом произведении сам Гоголь (в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...», 1847): «...Еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и *часть его собственного душевного состояния*» [VIII, 385].

В этих гоголевских рассуждениях прежние впечатления соединились с более поздним его опытом, относящимся к рубежу 40–50-х годов. От этого опыта — резкость гоголевского вывода о противостоянии Пушкина окружению, а также то, что Гоголь готов увидеть во всем этом симптомы религиозно-нравственной эволюции поэта, в какой-то мере аналогичной его собственному «душевному делу»; сквозь этот опыт им теперь прочитывается и пушкинское стихотворение (оно было опубликовано в 1841 г.). Но другая часть этой коллизии — отторжение поэта светским обществом, чуть ли не вылившееся в решительный шаг, в бегство — переживалась им еще в пору получения трагического известия.

Таким образом, прежняя коллизия истинного поэта (Пушкина) и общества (толпы), как она была запечатлена в статье «Несколько слов о Пушкине», получила новые краски, приобрела большее заострение. Там она развивалась преимущественно в плоскости эстетической: толпа не понимает тонкости и глубины его новых поэтических созданий, навсегда отстала от него. Теперь к этому прибавилось, а может быть, даже ее и вытеснило другое противостояние — моральное, нравственное, если хотите, даже социальное: толпа, светская, включая и великосветскую («...до действительных тайных...»), коварна, каверзна, низка, завистлива. Она способна на все, способна даже погубить поэта. И если он, Гоголь, вернется в Россию, то ему вслед за Пушкиным придется «повторить вечную участь поэтов на родине» [XI, 91]. Знаменательно, что эти слова предвосхищают — и по смыслу и текстуально — стихотворение В. Кюхельбекера «Участь русских поэтов» (1845): «Горька судьба поэтов всех племен; // Тяжеле всех судьба казнит Россию».

Однако вернемся к парадигме в ее тройственном выражении: «поэт — общество — *император*»; последний фигурирует в ней как благородное лицо, заступник, протянувший поэту, через головы «аристократства», руку помощи. Подобное мнение господствовало в семье Карамзиных: «Государь вел себя по отношению к нему и ко всему его семейству, как ангел» [Карамзины, с. 170], — писала Екатерина Андреевна сыну Андрею 2 февраля 1837 г. Гоголь 10 марта того же года: «... Сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант (Пушкина)». Так же повел себя монарх и по отношению к нему, Гоголю, — но, увы, не сумел предотвратить ни гибели Пушкина, ни удаления из отечества автора «Ревизора».

Теперь поговорим о таинственном эпизоде, упомянутом в предыдущей главе.

Накануне большого гоголевского юбилея, пятидесятилетия со дня рождения писателя, стало известно письмо Юзефа Богдана Залеского, которое сегодня назвали бы сенсационным. Появилось оно в журнале *Przewodnik naukowy i literacki* (приложение к *Gazeta Lwowska* за 1901 г.) (t. XXIX, zeszyt VI, с. 466–467), а затем отрывок, касающийся Гоголя, был приведен в газете «Новое время» и чуть позже в 5-м номере «Литературного вестника» за 1902 г. (приводим это место по публикации «Нового времени», озаглавленной «Украинофильство Гоголя (свидетельство Богдана Залеского)», подпись: А. Л.).

«Лет 25 назад, — писал Залеский 19 февраля 1859 г. из Фонтенебло своему знакомому Франциску Духинскому, — гостил в Париже знаменитый русский поэт Гоголь. С Мицкевичем и со мной, со-украинцем (*s polukraincem*) он был в тесной дружбе (*zostawal w sciely zazylosci*). Мы сходились тогда часто по вечерам для литературно-политических бесед. Конечно, мы говорили более всего о великорусах (*moskalach*), внушавших отвращение (*wstretnych*) и нам и ему. Вопрос о финском их происхождении (*kwestya finskosci*) был беспрерывно предметом обсуждения. Гоголь подтверждал его со всею своею малорусскою запальчивостью. Он имел под рукой у себя замечательные сборники народных песен на разных славянских наречиях. Итак по вопросу о финском происхождении великорусов (*moscalow*) он написал и читал нам прекрасную статью (*wyborne pisemko*). В ней он указывал, на основании сравнения и детального сопоставления песен чешских, сербских, украинских и т. д. с великорусскими (*moskiewskiemii*), бьющие в глаза отличия в духе, обычаях и в нравственных взглядах (*moralnosci*) у великорусов и других славянских народов. Для характеристики каждого человеческого чувства (*o kazdem uczucia ludzkim*) он подобрал особую песню: с одной стороны, нашу славянскую сладостную, нежную (*slodka, lagodna*) и рядом великорусскую (*moskiewska*) — угрюмую, дикою, нередко канибальскую (*ponura, dzika, nie rzadko kanibalska*), словом — чисто финскую. Уважаемый земляк, ты легко можешь себе представить, как эта статья искренно обрадовала Мицкевича и меня».

Свой рассказ Залеский завершает следующими словами: «Много лет спустя, в Риме я думал раздобыть (*zażadac*) у Гоголя эту параллель, но тогда Гоголь уже превратился в защитника Царя и Православия, и мне пришлось отказаться от этой попытки. Какова же однако судьба этой статьи? <...> Но достойна сожаления утрата многих и характерных анекдотов о великорусах, — анекдотов, которые мог знать только сам Гоголь и которые он один мог рассказать с особенным, ему свойственным остроумием».

Этот эпизод обычно обходится исследователями молчанием или же рассматривается в аспекте «недооценки» Гоголем «великорусской» песни. А. Лященко, публикатор письма Залеского в «Литературном

вестнике» (и возможно, в «Новом времени»), объяснял: «Гоголь, увлекавшийся народной малороссийской поэзией, ставивший ее чрезвычайно высоко, мог не отдать должного поэзии великорусской, сравнительно мало ему известной». Далее, правда, комментатор касается более широкой области украинофильских симпатий: напомнив гоголевское упоминание о «кацапии» (из письма Максимовичу от 2 июля 1833 г.) или его высказывание о Киеве — «он наш, он не их» (тому же Максимовичу, декабрь 1833 г.), ученый приходит к выводу, что преувеличивать все это не стоит: «уверение Залеского, будто Гоголь питал отвращение к великоруссам, мы безусловно отвергаем» [ЛВ. 1902. № 5. С. 68].

Говорить об «отвращении» Гоголя к русской песне действительно не приходится (достаточно напомнить пассаж о русской песне, причем не только украинской, но звучащей буквально на всем пространстве России, в статье «Петербургская сцена в 1835—1836 г.»). Но реальное содержание проблемы гораздо более глубокое, культурологическое.

Однако для начала напомним, что согласно официальному «Отчету по Санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» Гоголь в «следующем (т. е. 1836) году готовит к печатанию о духе и характере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян и прочих...» [Машинский, 1951, с. 65]. У Гоголя были самые разнообразные фольклорные издания: *Piesni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego Wacława z Oleska*. Lwow. 1833 [Сперанский, с. 11]; собрание Зориана Доленги-Ходаковского [Красильников, с. 387; Крутикова, с. 287, 304] и т. д. В некоторых случаях песни из львовского сборника совпадали с образцами, приведенными в известном Гоголю издании Лукашевича «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПб., 1836) [см.: Песни, с. 13]. Очевидно, всеми этими материалами Гоголь располагал за границей во время своих бесед с Залеским.

Согласно Залескому, душою этих бесед была мысль об отличии великорусов от западных славян. Такая мысль действительно прочитывается в гоголевских исторических штудиях первой половины 30-х годов. Вспомним статью «Взгляд на составление Малороссии» (вошла в «Арабески», 1835) — она так и начинается, с резкого противопоставления Западной Европы и России с XIII в. Там — единство устремлений, сильная власть под эгидой папы; здесь — раздробленность и разнонаправленность интересов. Там — всеохватывающая страсть, одушевленность общей идеей, здесь — мелкая вражда и примитивные свары: «брат брата резал за клочок земли или просто, чтобы показать удалство» [VIII, 41]. Все это напоминает положения негативной историософии П. Я. Чаадаева, согласно которым русская история доказывает телеологичность западно-европейской методом от противоположного, а именно тем, что являет некое исключение из правила. Совпаде-

ние с Чаадаевым настолько разительное, что современный исследователь видит здесь «скрытую цитату из Ястребцова-Чаадаева» [Вайскопф, с. 195].

Затем на авансцену исторической концепции Гоголя выдвигаются два новых фигуранта, словно для того, чтобы вновь оттенить невыгодные стороны своего великого восточного соседа. Во-первых, это «великий язычник Гедимин» и его наследники Ольгерд и Ягайло, объединившие окрестные народы своею веротерпимостью, уважением к местным законам и обычаям, причем среди этих народов оказались и западные славяне. И во-вторых, собственно козаки, «целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину». Об этом народе уже нельзя было бы сказать в духе Чаадаева, что он вне истории; напротив — у него своя великая миссия, он составил «одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» [VIII, 46]. Проведена даже параллель между козацким войском и западно-европейскими орденами, «железными поборниками веры Христовой». Словом, и тут на фоне великорусской стихии у малорусов свои преимущества, хотя Гоголь стремится не идеализировать «азиатские», жестокие, хищнические («гнездо этих хищников») черты козацкой общины (в повести «Тарас Бульба» это стремление еще отчетливее).

Согласно Залескому, Гоголь сочинил «статью о финском происхождении великоруссов», словно выведя их за пределы единой славянской семьи. Скорее всего это преувеличение, но преувеличение идеи, действительно промелькнувшей у Гоголя: во «Взгляде на составление Малороссии» он писал, что «выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться» на Юге в земле «чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами *финскими...*» [VIII, 43]. А в «Невском проспекте» об инородности истинного художника столичной российской жизни сказано образно-емко: «Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в *стране финнов...*» Кстати, о преимуществах в развитии южных славян в сравнении с северными говорят и многие выписки и заметки, сделанные Гоголем в 1834–1835 гг. к лекциям по русской истории: «На юге более развития мирной жизни. Браки носят вид законности». «На севере, начиная с древлян (северяне, радимичи и вятичи) грубее и меньше развития. Жизнь в лесах. Удобств никаких жизни. На самой низкой степени гражданственности» и т. д. [IX, 42, 43].

В контекст гоголевских материалов по русской истории вписывается и заметка о Мазепе. Ее сюжеты — Россия и Украина, Петр I и отложившийся гетман.

Вначале — Россия и Петр: «Народ, собственно принадлежащий Петру издавна [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся,

хотя с ропотом. Он имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные» [IX, 83]. Ход мысли двойствен, даже тройствен: во-первых, русские как народ, испытавший все тяготы рабства и унижения; во-вторых, историческая необходимость и прогрессивность централизирующей воли Петра (Гоголь этот момент обещает в дальнейшем обосновать еще сильнее). В-третьих, чрезмерность и, вероятно, жестокость политики русского царя. Здесь Гоголь близок взгляду Погодина (см. выше, с. 383), а также Пушкину, включая и замечания последнего о некоторых петровских указах, которые, «кажется, писаны кнутом».

Теперь — Украина и ее гетман: «...Чего можно было ожидать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата национальности, большее или меньшее уравнивание прав с собственным народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не действовал бы на них. Все это занимало преступного гетьмана. Отложиться?» [IX, 83–84].

Ход мысли — это в данном случае ход мысли самого исторического лица, Мазепы — не менее сложен. Во-первых, констатирован совсем другой настрой нации (украинцев), привыкшей к вольности и чуждой угнетению. Во-вторых, как следствие подчинения этого народа власти Петра — неизбежное уравнивание с собственными его подданными, а это значит уравнивание в рабстве. Обдумывается Мазепой и перспектива различных союзов против Петра (с крымским ханом? со шведами? с поляками?), из которых самой выразительной рисуется возможность «дружбы» с Польшей — «соседкой и единоплеменницей» [IX, 84].

Все это, конечно, прежде всего размышления Мазепы. Сам Гоголь в объективной общегосударственной перспективе, видимо, считал дело присоединения Украины к России столь же исторически неизбежным, как и реформы Петра, при всей их жесткости (см. выше об отношении Гоголя к погодинской исторической концепции, с. 383). Но польские собеседники Гоголя в данном случае воспринимали прежде всего другое — моральную оценку «действующих лиц» славянского мира, в первую очередь русских и поляков, а заодно и тех, кого они считали потенциально прогивостоящими российской империи. И важно было услышать им все это из уст русского писателя. Возможно, его оценки Богданом Залеским преувеличивались и заострялись — по известному тривиальному психологическому закону принимать желаемое за действительное. Но в самих этих оценках, как их передал польский писатель, не было ничего такого, чего действительно, как мы видели, не мог бы сказать Гоголь⁵⁶.

Надо еще принять в соображение обстоятельства и время, в которых происходило общение Гоголя с Залеским и Мицкевичем в Пари-

же — получение первых известий о смерти Пушкина. Тогда Гоголь был словно на высшей точке своего общественного негодования, направленного в России чуть ли не против всего и всех, может быть, исключая лишь императора.

Но столь же закономерно, что позднее в Риме Залескому не удалось продолжить с Гоголем прежнюю тему и раздобыть интересовавшую его рукопись, ибо настроение русского писателя к этому времени существенно изменилось⁵⁷.

ПЕРВОЕ «ЧТЕНИЕ» ИТАЛИИ

Гоголь отправился в Италию без Данилевского (который обещал приехать позже), в первых числах марта 1837 г. Добрался до Марселя, оттуда морским путем — в северную Италию. Четырьмя годами раньше (в апреле 1833 г.) той же дорогой путешествовал Жуковский.

Уже первый итальянский город, в который попал Гоголь, произвел сильное впечатление. «Генуя великолепна, множество домов больше похожи на дворцы и украшены картинами лучших италийских художников...» [XI, 90]. Побывал Гоголь в Ливорно и Флоренции.

В Ливорно он, возможно, посетил русского консула Энгельбаха (чуть позже Гоголь будет просить Прокоповича посылать ему корреспонденцию «на имя нашего консула в Ливорно»). Этот город был памятен Гоголю и тем, что здесь находилась могила Александры Андреевны Воейковой, урожденной Протасовой, скончавшейся в 1829 г. в Пизе. Жуковский четырьмя годами раньше навещил могилу своей племянницы, навсегда вошедшей под именем Светланы в анналы русского романтизма.

В день Пасхи 26 марта н. ст. Гоголь уже был в Риме. Он спешил встретить «светлый праздник <...> в церкви Святого Петра, где должен служить сам папа», то есть Григорий XVI. Двумя днями позже Гоголь делился с матерью своими впечатлениями: «Он 60 лет и внесен был на великолепных носилках с балдахинном. <...> Церковь же Петра так огромна, что будет в длину около полверсты. Съезд в Риме был огромный. Народу несколько тысяч стояло в церкви /так!/, но она, при всем том, все еще казалась пуста» [XI, 89–90].

Оказывается, в тот же день в соборе Святого Петра был Андрей Карамзин. Он выехал из Парижа почти одновременно с Гоголем, 5 марта н. ст., но другим путем, через Лион, Ниццу, и к Пасхе успел попасть в Рим. Впечатления Андрея Николаевича дополняют картину: «В половине десятого показалась процессия. Папа на креслах под балдахинном, перед ним огромные вееры, за ним кардиналы в красных мантиях и монсиньоры в лиловых и еще много других и другого. Раздался трубный звук, войска сделали на караул, хор певчих запел слова Христа Петру <...>. Это была прекрасная минута, но единственная».

Далее впечатления Карамзина стали меняться к худшему: и собор больше похож на биржу, чем на церковь; и папа — скорее далай-лама. «Фигура папы, когда его несут под балдахином (спеленного) в парче, с закрытыми глазами, жалко смешна!» «...Беспрестанные коленопреклонения перед *наместником демократического Христа* колят глаза». «Какая разница с нашим богослужением Св. Пасхи».

Карамзин вспомнил о русских, принявших католичество, — к ним относились проживавшая в Париже Свечина или в Риме — княгиня Зинаида Волконская. «Я <...> не понимаю тех, которые бывши на римских церемониях, обратились в католицизм. На меня это произвело действие совсем противное: мне было смешно и совестно за христианскую религию» [СН. Кн. 20. С. 64, 61; курсив в оригинале].

Отношение Гоголя ко всему происходящему гораздо терпимее; описывая процедуру торжеств или фигуру папы, он не проявляет никакого раздражения. После того что мы узнали о его взаимоотношениях в Париже с Мицкевичем и Залеским, такая терпимость не покажется нам странной или неожиданной.

Гоголь решил не ехать в Неаполь и остаться в Риме, тем более что и Данилевский изменил свои планы: Италии он предпочел Швейцарию.

С каждым днем Италия казалась Гоголю прекраснее. «Она менее поражит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь в нее более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?... прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? — он так чист, что дальние предметы кажутся близкими». «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь» [XI, 93, 95].

К впечатлениям природы прибавились художественные впечатления. «Тут только узнаешь, что такое искусство <...>. Тут только можно узнать, что такое Рафаэль...» Особенность Италии в том, что шедевры встречаются здесь чуть ли не на каждом шагу; заходи почти в любой храм — и увидишь произведение великого мастера. Гоголь так и делал: «Я живу скоро три месяца, всякой день смотрю что-нибудь новое, — и все еще бездна остается смотреть» [XI, 100]. И чтобы глубже понять итальянскую жизнь, Гоголь усердно учит итальянский язык, читает в оригинале Тассо и Данте.

Гоголь поселился в Риме на улице Сант-Изидоро, недалеко от церкви Капуцинов и площади Барберини (*Via di Isidoro, Casa Giovanni Massuci*. № 17), в доме, где за восемь лет до этого жил Орест Кипренский. Это была первая римская квартира Гоголя.

Согласно новейшим разысканиям итальянской исследовательницы Ванды Гасперович, упоминаемый Гоголем хозяин квартиры Джованни Массуччи уже умер и комнаты сдавала его вдова, 34-летняя Тереза Сальпини, проживавшая с малолетними детьми Николо и

Джузеппе. Помогала хозяйке ее сестра *Аннунциата*, 21-го года [см.: Гасперович, с. 85]. Имя, которое так много будет значить для Гоголя позже, в пору написания «Рима»...

Жил Гоголь вместе с Золотаревым; возможно, они встретились еще на пути из Парижа в Италию⁵⁸.

Иван Федорович Золотарев (1812–1881), москвич по происхождению, тремя годами младше Гоголя, в 1831–1836 гг. учился в Дерптском университете, который закончил кандидатом камеральных наук. Из личного дела Золотарева, хранящегося в Государственном архиве Эстонии в Тарту [ИАЭ. Ф. 402. Оп. 2. Д. 23600, 23601], видно, что он отличался довольно широкой образованностью — выдержал экзамены по всеобщей и русской статистике, народному праву, положительному государственному праву, политике, дипломатике, русскому государственному праву, политической экономии, финансам, коммерции (*Handelwissenschaft*), физике, элементарной математике, а также русскому языку и словесности. Кандидатская диссертация, защищенная Золотаревым 16 марта 1836 г., называлась «О дипломатическом церемониале при дворе русских царей» (*Über das diplomatische Ceremoniae des russischen Hofes zur Zeit der Zaren*)⁵⁹.

Золотарев отличался необычайной общительностью; проживая по окончании университета в Петербурге, он сделался «известным всему» городу [Соллогуб, с. 263]. Был знаком и с А. С. Пушкиным и с А. И. Тургеневым, и с другом Гоголя А. Данилевским, хотя, возможно, с последним он впервые встретился позже, в Париже. Общительность и непосредственность Золотарев сохранил до конца жизни. Впоследствии он служил полковым командиром Грузинского линейного 18-го батальона. Один из современников, говоря о 1867 г., упоминает «знаменитый в наше время “Пистолет”» и поясняет: «Это было прозвище Ивана Федоровича, вечно суетливого и вечно удивленного» [Из архива К. Э. Андреевского. Записки Э. С. Андреевского. Одесса, 1914. Т. 3. С. 16].

Воспоминания Золотарева как человека, жившего бок о бок с Гоголем, представляют большую ценность (эти воспоминания записаны в 70-х годах К. Ободовским под свежим впечатлением от услышанного. — [ИВ. 1893. № 1. С. 35–38]). Мы узнаем прежде всего, что Гоголь продолжал работать — конечно, над «Мертвыми душами». «Когда Н. В. начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил с И. Ф. Золотаревым, отличавшуюся весьма скромными размерами, где проводил в работе почти безвыходно несколько дней». Эту комнату Гоголь упоминает в письме Данилевскому от 15 апреля н. ст.: «старинная зала с картинами и статуями».

Гоголь сохраняет до расположение духа, ту жизнерадостность, которыми отмечено его пребывание в Париже. «...Веселый, разговорчи-

вый, он был весь, так сказать, охвачен красотой римской природы и подавлен массой памятников искусства, которыми был окружен».

Однажды Золотарев пожаловался Гоголю, что плохо спит.

«— Как тебе не стыдно это говорить, — закричал Гоголь, — не горевать ты должен, а радоваться!

— Да почему же?..

— А потому, что твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя, что ты не можешь спать от охвативших тебя впечатлений природы и искусства. И после этого ты еще не будешь считать себя счастливым!»

Мемуарист сохранил воспоминания о разного рода юмористических выходках Гоголя, начиная от одежды и кончая едой. «Оригинальность Гоголя в выборе костюмов доходила иногда до смешного». Так, он привез с собою платье из тика, сшитое якобы еще в Гамбурге, и «когда ему указывали, что он делает себя смешным, писатель возражал: “Что же тут смешного: дешево, моется и удобно”. По поводу этого приобретения Гоголь сочинил стихи:

Счастлив тот, кто сшил себе
В Гамбурге штанишки.
Благодарен он судьбе
За свои делишки».

Что же касается еды, то, по словам Золотарева, «аппетитом Гоголь обладал чрезвычайным» и обедал по два раза: с новым посетителем заказывал новое блюдо. Любил козье молоко, которое смешивал с ромом, называя все это гоголем-моголем и прибавляя: «Гоголь любит гоголь-моголь».

И это при том, что Гоголь в одном из римских писем Прокоповичу жаловался, что чувствует «хворость в самой благородной части тела — в желудке»; «он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные...!» [XI, 93].

В то же время мемуарист подмечает в Гоголе черты, «которые сделались господствующими в последний период его жизни». «Он был крайне религиозен, часто посещал церкви и любил видеть проявления религиозности в других». Иногда же на него находил «род столбняка какого-то: вдруг среди веселого, оживленного разговора замолчит, и слова у него не добьешься. Являлось это у него, по-видимому, беспричинно».

Однако приступы необъяснимой тоски не были еще длительными, а религиозность, отличавшая Гоголя с детства, не носила еще мрачного, угнетающего отпечатка. Как и в юные годы, он позволял себе вольность в церкви. В свое время Гоголю доставляло удовольствие в разгар службы послать мужика за свечкой и тем самым вызвать «толкотню» и разрушить атмосферу благочестия [Книга I, с. 78]. Похожую шутку сыграл он и в Риме с Андреем Карамзиным.

«Вечером был я *comme de raison* на 12 Евангелиев, — писал Карамзин родным 28(16) апреля 1837 г., — но и тут бес попутал, сведа меня с Гоголем; он мне во все время шептал про двух попов в городе Нижнем, кот<орые> в большие праздники служат вместе и стараются друг друга перекричать так, что к концу обедни прихожане гложнут; и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет и пр.» [СН. 1918. Кн. 20. С. 94]. Не оговорился ли Карамзин, заменив Нижним Новгородом (город, в котором Гоголь не бывал) Нежин? В таком случае перед нами продолжение той же темы, которую писатель затронул еще в письме к матери (от 2 октября 1833 г.): «...Я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и *противного ревения дячков*» [X, 282].

К весне 1837 г. в Риме оказалось почти в полном составе семейство Репниных: княжна Варвара Николаевна с матерью и сестрой Елизаветой Николаевной (вышедшей вскоре замуж за Павла Ивановича Кривцова, занимавшего пост секретаря, впоследствии поверенного в делах русского посольства в Риме, а также попечителя колонии русских художников). Вместе с ними приехали и Балабины — Варвара Осиповна с дочерьми Марией и Елизаветой, бывшей замужем за Василием Николаевичем Репниным. Позднее появился и сам патриарх репнинской семьи шестидесятилетний кн. Николай Григорьевич Репнин-Волконский.

В отличие от своей дочери Варвары Николаевны или, скажем, Марии и Варвары Балабиных, Репнин-старший недолюбливал Гоголя. По словам Варвары Николаевны, в Риме он всегда спорил с Гоголем; «отцу сильно не нравился сатирический склад ума Гоголя, и он был притом недоволен его произведениями, особенно “Миргородом” [Шенрок, т. 3, с. 189–190]. Оно и понятно: в «Миргороде» в юмористическом свете выступала украинская жизнь, а кн. Репнин-Волконский был в свое время малороссийским генерал-губернатором...

Елизавета Николаевна Репнина, точнее, ее будущий муж дипломат Кривцов, ввели Гоголя в мир римской художественной интеллигенции. Современная итальянская исследовательница Рита Джулиани, на основе архивных данных установила интересный факт: уже 21 апреля, то есть буквально через двадцать с небольшим дней после приезда, Гоголь принял участие в заседании Германского археологического института в Риме (*Deutsches archäologisches Institut*), помещавшегося на первом этаже палатцо Каффарелли на Капитолии и координировавшего разыскания итальянских и зарубежных исследователей. Заседание по традиции было посвящено очередной годовщине основания Рима (впечатленный этой датой, Гоголь свои апрельские—майские письма помечает так: «Рим, 2588-й год от основания города...»); в числе присутствовавших оставили свои подписи русские: P. sse Repnin, Mad. Balabin, N. Gogol, Dournoff, P. Krivzow, N. Iefimoff, Haber-

zette, Gornostaeff. По предположению исследовательницы, первая в этом перечне — Елизавета Николаевна Репнина; другие лица (помимо Гоголя) — Мария Балабина, архитектор Александр Трофимович Дурнов (род. 1807), уже упоминавшийся Кривцов, архитектор, акварелист и гравер Николай Ефимович Ефимов (1799—1851), исторический живописец Иосиф Иванович Габерцеттель (1791—1853) и архитектор и живописец Алексей Максимович Горностаев (1804—1862) [Джулиани, 2001, II, с. 106 и далее].

А через неделю после заседания в Германском археологическом институте, 29 апреля отмечалась православная Пасха. Собрались чуть ли не все русские, пришел, конечно, и Гоголь. «Народу в капелле было много, — сообщает Андрей Карамзин, — бесчисленная Репнинская орда с многочисленной прислугой, Волконская, Акацатова, Дивьер, Раевская <...>, кроме того 10 русских артистов и Гоголь <...>. После службы Кривцов повел всю команду разговляться dans les grands appartements du palais» [СН. Кн. 20. С. 97]. «Артисты» — это, конечно, проживавшие в Риме русские художники. Кривцов еще не являлся их попечителем; разговляться он повел «всю команду» как секретарь русского посольства.

Карамзин до той поры не был знаком с Репниными, по крайней мере со многими из них. Посредническую роль сыграл Гоголь. Из письма Карамзина от 16 мая н. ст. родным: «Завтра собираюсь я вечером с Гоголем к Репниным, которые пожелали моего знакомства» [там же, с. 101].

Письма Карамзина позволяют представить и другие эпизоды римского времяпрепровождения Гоголя.

В ночь на на 20(8) мая все вместе: Гоголь, Карамзин и Балабины (о Балабиной-Репниной Карамзин заметил: «она премиленькая») — ездили смотреть Колизей «при лунном свете». «Все было хорошо придумано, и факелы для контраста света — не доставало только одного, а именно луны». Дорогою всех очень забавлял г-н Майер (Мейер), секретарь прусского посольства, по словам Карамзина, «антикварий удивительный и глубокий ученый, к тому же дурак необыкновенный»; «он старался приволокнуться за Репниной...» [там же, с. 113].

По-видимому, это тот самый Мейер, о котором Гоголь вспоминал позднее в письме Марии Балабиной: «Впрочем, Мейер теперь в моде, и княжна Варв<ара> Николаевна (Репнина), которая подтрунивала над ним, первая говорит теперь, что Мейер совершенно не тот, как узнать его покороче...» [XI, 146].

Через несколько дней после поездки к Колизею, 26 (14) мая наступил праздник — *Congrus Domini*. В процессии участвовали и духовенство и войска. «...В восемь часов, — рассказывает Карамзин, — отправились и мы с Гоголем на Петровскую площадь (то есть на площадь Святого Петра перед собором. — Ю. М.), которая уже кипела народом, заняли места в какой-то ложе, и более часа тянулись мимо

нас в две шеренги семинаристы, монахи, духовенство и наконец, сам папа, будто бы на коленях с Св. Причастием, на носилках, как обыкновенно...» Карамзин так увлекся празднеством, что в толпе потерял «малорослого Гоголя» [СН. Кн. 20. С. 114].

А еще спустя несколько дней, 31 мая н. ст. Гоголь участвовал в двухдневном путешествии во Фраскати, где жили Репнины. На второй день, сообщает Карамзин, «поутру весь караван отправился на целый день в Genzano, верст 20 от Фраскати <...> Гоголь *gagne `e être conpu*, он делается разговорчив и часто в разговоре смешон и оригинален, как в своих повестях. Жаль, очень жаль, что не достаёт в нем образования, и еще более жаль, что он этого не чувствует» [там же, с. 119].

Наконец-то приехал Данилевский; 3 июня Гоголь сообщает Прокоповичу: «Данилевский теперь тоже здесь». Его появление вызвало у Гоголя прилив теплых воспоминаний о друзьях, о Петербурге. «...Да будет между нами Рим близок от Петербурга», — говорит он в том же письме Прокоповичу и призывает друга — не в первый раз — к литературной деятельности. «Пиши повестюночки или стишоночки, если стишоночки, то пришли их в твоём письме кусоночки. На меня пришла теперь особенная жажда читать твои стихи. После итальянских звуков, после Тасса и Данта, душа жаждет послушать русского» [XI, 102]. Вот какого высокого мнения был Гоголь о литературных способностях своего товарища!

Другой круг гоголевского общения в Риме составили русские художники. Более регулярные (и не всегда безоблачные) контакты с ними приурочиваются к более позднему времени, но «начало этого знакомства без опасения ошибки может быть отнесено уже к первым месяцам жизни нашего писателя в Риме» [Шенрок, т. 3, с. 186]. Это подтверждается и фактом совместного присутствия Гоголя и, по крайней мере, четырех русских художников на собрании Германского археологического института, и приведенным выше рассказом Андрея Карамзина о встрече с «артистами» во время празднования Пасхи, и более поздними упоминаниями Гоголя («...В Риме все живы, не только знакомые и русские художники, но даже и все те лица, с которыми встречался ты чаще на улице», — писал он Данилевскому, приехав в Рим второй раз. — [XI, 121]).

К первым месяцам жизни Гоголя в Риме можно отнести и знакомство его с княгиней Зинаидой Волконской, положившее начало их длительным и не всегда безмятежным отношениям. Но об этом — речь впереди.

Пребывание Гоголя в Италии омрачалось его довольно стесненными денежными обстоятельствами. В Рим, по словам писателя, он приехал только с двумястами франков, из них около восьмидесяти ушло на квартиру (по 30 за месяц). Несмотря на «страшную дешевизну» (по сравнению с Швейцарией и Францией), Гоголь экономит на всем, особенно на еде.

Гоголь — А. С. Данилевскому, 15 апреля н. ст.: «Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (почти су) передам, то весь день жалко» [XI, 95]. Гоголь — В. А. Жуковскому, 18(6) апреля: «...Я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду» [XI, 97].

И он обращается с письмом к Николаю I, не жалея красок для описания своего бедственного положения и благодарственных чувств, питаемых к особе императора (это письмо недавно опубликовано И. А. Виноградовым): «...Находясь в чужой земле, среди людей, лишенных участия ко мне, к кому прибегну я, как не к своему Государю? Участь поэтов печальна на земле: Им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят...» Гоголь буквально повторяет стилистику той антитезы, какую он развивал месяцем раньше в связи с гибелью Пушкина, когда говорил о «вечной участи поэтов на родине» и сравнивал себя с «бездомным», которого «бьют и качают волны». Повторяется в усиленной форме и мысль о прямом августейшем покровительстве и заступничестве за поэта; раньше это был Пушкин («...сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант»), теперь — Гоголь; при этом как отправной пункт взаимоотношений с царем фигурирует судьба «Ревизора»: «Вы склонили Ваше царское внимание к слабому труду моему, тогда как против него восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце Вашего подданного и слезы, невыразимые слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по челу его. Бессильный выразить мою благодарность, я дал клятву в душе своей собрать все, что имею, что даровано мне Богом, и произвести творение, достойное Вашего внимания». Таким образом, написание «Мертвых душ», уже осененное гоголевской клятвой Пушкину («он взял с меня клятву...»), теперь вторично скрепляется заочной клятвой императору. Завершая свое обращение, Гоголь вписывает ожидаемое благоденствие Николая I в общую картину его филантропической деятельности: «...Теплая вера меня объемлет и говорит мне, что венценосный покровитель всего прекрасного, озаряющий все с вышины своего престола, заметит и бедного поэта и не даст ему умереть с голода на чужбине» [ЛШ. 1998. № 7. С. 7–8].

Гоголь отправил письмо императору вместе с письмом Жуковскому (оба документа датированы 18(6) апреля), предоставив последнему право поступить по своему усмотрению — просто ли вручить просьбу или сопроводить ее необходимым комментарием: мол, автор «невежа, не знающий, как писать к его высокой особе», но он «исполнен весь такой любви к нему, какую может быть исполнен один только русский подданный...» [XI, 98]. Что именно говорил Жуковский императору, неизвестно, но тот на письме Гоголя карандашом написал резолюцию: «Послать ему чрез нашу миссию 500 червонцев». На этом основании, как сообщил 15 июля министр финансов граф Е. Ф. Канкрин, было

дано распоряжение о переводе Гоголю «первого и второго векселей в 4860 рублей ассиг., составляющие пожалованное ему пособие в 500 червонцев за вычетом 10% в пользу увечных...» [ЛШ. 1998. № 7. С. 8]. Получил Гоголь эти деньги месяцем позже, после совершенного им путешествия на север.

Гоголь прожил в Италии три с лишним месяца. Первое «чтение» Рима принесло ему все то, что он ожидал: яркие впечатления искусства, очарование природы, душевное спокойствие. После суетливой, бурной, кипящей политическими страстями жизни Франции Рим производил впечатление остановившегося времени, звена, выпавшего из общей исторической цепи. «Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее не идет» [XI, 95]. Эта сознательная или невольная реминисценция из «Старосветских помещиков» таит в себе, однако, и другой смысл: в царство гармонии можно сойти лишь «на минуту», забывшись, закрыв глаза на все окружающее («...на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанья и те беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют...»). Прожить всю жизнь здесь не удастся.

Да и нет ли потаенного беспокойства в этой гармонической жизни? Как, например, передать очарование итальянской природы? «Она — итальянская красавица, больше я ни с чем не могу ее сравнить, итальянская пейзажка, смуглая, сверкающая, с черными, большими-большими глазами, в платье алого, нестерпимого для глаз цвета, в белом, как снег, покрывале» [XI, 100]. Это уже не реминисценция из написанного произведения, а предвосхищение будущего — повести «Рим», а именно описания красавицы Аннунциаты. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска». «Но чуднее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце». Аннунциата — само «согласие», сама красота, но прорывающаяся через нее страсть способна повергнуть в оцепенение и трепет...

ПОЕЗДКА НА СЕВЕР: БАДЕН-БАДЕН, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, ЖЕНЕВА

К середине лета того же 1837 г. Гоголь решает временно оставить Италию. Причина — надвигающийся зной; «август месяц бывает в Италии так жарок, что кричат собаки, ходя по улицам» [XI, 103]. Кроме того, чувствуя возрастающее недомогание «в самой благородной части тела», то есть в желудке, он намеревался попить минеральной воды.

Гоголь держит путь на север. В середине июня он уже в Турине, 16 июля н. ст. — в Бадене; здесь он уже второй раз. Пустынная Савойя, швейцарские горы, баденские курортные павильоны не веселят его. «...Кто был в Италии, тот скажи “прощай” другим землям» [XI, 105].

В Бадене много русских. Андрей Карамзин еще 11 февраля 1837 г. в Париже, когда там был Гоголь, писал: «Баден — общая цель всех странников; летом мы все там соберемся, чтобы к осени опять взлететься...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 282]. Может быть, еще одна цель приезда Гоголя заключалась в желании встретить кое-кого из русских, тем более что для этого у него был важный стимул...

Андрей Карамзин приехал в Баден-Баден около 8 июля н. ст. Тотчас же он сообщил матери о тех, кого он здесь застал: «Бутурлины и большое количество других русских, мне неизвестных...» «Вся эта огромная колония терзаема внутренними раздорами, и если Вы меня спросите, что причиною этих раздоров, то я скажу Вам, что все, потому что обо всем спорят. Началом всего зла было присутствие Великого князя. — к кому он станет чаще ходить, на ту и бросятся, мужья за жен, друзья за тех и других, и пошла потеха» [там же, кн. 20, с. 143].

Но Гоголь в этой «потехе» не участвовал, потому что не принадлежал к светским людям и потому что был поглощен своим делом.

В Бадене он, наконец, снова встретился с А. О. Смирновой — в третий раз со времени отъезда за границу (в Париже и перед этим здесь же, в Бадене)⁶⁰. «Она живет даже в том самом доме, где жила раньше, — пишет он Варваре Осиповне Балабиной. — Кто живет в вашем, я не знаю» [XI, 106].

Вместе со Смирновой и ее братом Аркадием Осиповичем Россетом Гоголь совершил поездку в Страсбург, где с увлечением срисовывал карнизы в местном соборе. «Как вы хорошо рисуете» (сказала Смирнова). — «А вы этого не знаете?» Принес кусок церкви. Над каждой колонной различные орнаменты и очень красивы» [Смирнова, 1989, с. 36; ср.: Кулиш, т. 1, 1856, с. 209–210]. Гоголь, как мы знаем, вообще любил готические храмы; собор же в Страсбурге всегда привлекал к себе особенное внимание, почти такое же, как Кельнский. Побывавший здесь двумя годами раньше Н. И. Надеждин писал: «Его дивная колокольня, исполинское дитя искусства, рожденное и взлелеянное германским гением, из глубины облаков, пронзаемых ее неустрашимой стрелою, братски переглядывается с готическими замками, венчающими хребет Шварцвальда» [Т. 1836. Ч. 31. С. 174].

Через три дня путешественники вернулись в Баден.

У Смирновой Гоголь взял только что вышедшую книгу — отдельное издание «Ундины» Фуке в свободном переводе Жуковского. «Чудо что за прелесть!» Несмотря на все различия — жанровые, стилистические, сюжетные — эта сказка отвечала творческим устремлениям Гоголя, работавшего над «Мертвыми душами», где в дальней перспективе всего замысла должны были раскрыться не только мертвен-

ность и пустота бездуховности, но и мучительные перипетии воскрешения души, которую пробуждающаяся к любви морская дева Ундина ощущает как «великое бремя»:

Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданье
Грусть и тоска терзают меня: а доныне мне было
Так легко, так свободно...

Наконец, Гоголь решает познакомить Смирнову и Карамзина со своим новым произведением. Это второе — после петербургского, Пушкину — известное чтение «Мертвых душ». В результате длительной работы в Швейцарии (в Веве), в Париже и Риме поэма была перестроена, ее план (сюжет) приобрел вид, близкий к окончательному.

О чтении «Мертвых душ» рассказали Смирнова и Карамзин — их свидетельства дают как бы стереоскопическое изображение происшедшего.

Смирнова: «Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, Платонов и нас двое (т. е. помимо Александры Осиповны, ее муж Николай Михайлович. — Ю. М.) условились собраться в 7 часов вечера. День был знойный. Около 7-го часа мы сели кругом стола. Н. В. взмолился, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но несмотря на это вытащил из кармана тетрадку в четверку листа и начал первую главу столь известной своей поэмы. Меж тем гром гремел, и разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню. С гор потекли потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Он поглядывал в окно, но продолжал читать спокойно. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в духе каждого из нас. Однако он не дочел второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил» [Смирнова, 1989, с. 28]. В другом месте Смирнова говорит, что Гоголь прочел 5 глав [там же, с. 518], но первое свидетельство, несомненно, более точное.

Карамзин в письме к матери, 18(6) августа, в пятницу: «В понедельник (т. е. 14 августа н. ст.) обедал я у Смирновых с Гоголем, который принес читать нам новое, еще неоконченное сочинение: это длинный юмористический роман о России. Это лучше всего до сих пор писанного им, но ничего другого не смею сказать, потому что он читал нам *sous le sceau du secret*. И кстати запаслись мы этим чтением, которое задержало нас до позднего вечера, потому что на небе и в воздухе разыгралась такая чертовщина, которой ни сказкой не сказать, ни пером не написать <...>. Умник Борх послал за почтовыми лошадьми...» [СН. Кн. 20. С. 164].

Гоголь неохотно читал свои произведения незнакомым людям, но Смирновых и Карамзина он уже хорошо знал и, очевидно, ждал их одобрения, их реакции, которая его не обманула. Знал он, хотя и меньше, Льва Соллогуба и Валериана Платонова, которых совсем недавно встречал у Смирновых в Париже (с первым, он, скорее все-

го, был знаком еще по Петербургу). Платонов, влюбленный в Александру Осиповну, следовал за ней по пятам и был допущен к чтению поэмы. Гоголевское отношение к нему неизвестно, но Карамзин и Смирнова его высоко ценили. Андрей Николаевич отмечал в нем «глубокую печаль» под личиной «общественной веселости», а Смирнова характеризовала его так: «Платонов был умен и очень образован <...>. Его любящее и нежное сердце, не знавшее семейного счастья, обратилось всецело ко мне» [Смирнова, 1989, с. 194].

Новым лицом для Гоголя среди его слушателей был Александр Михайлович Борх (1804–1867), камергер, впоследствии граф. К сожалению, известно о нем очень мало. Какие-то нити соединяли его с окружением Пушкина, который был знаком с его женой фрейлиной Софьей Ивановной Борх, урожденной Лаваль. Андрей Карамзин находил ее «прелестной», о самом же Борхе писал, что он «несносный, грубый и глупый» [СН. Кн. 20. С. 155].

Добавим, что все упомянутые лица впервые слышали чтение «Мертвых душ». И еще брасается в глаза, что Гоголь сохраняет атмосферу величайшей секретности. Андрей Карамзин не решился даже намекнуть на содержание произведения.

Нервическое состояние, овладевшее Гоголем под влиянием грозы, долго его не покидало. По словам Смирновой, она попросила писателя на следующий день продолжить чтение, но «он решительно отказал и просил даже не просить».

Когда несколько дней спустя Смирновы уезжали из Бадена, Гоголь вместе с другими русскими вызвался проводить их до Карлсруэ. Здесь «он ночевал с моим мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей» [Смирнова, 1989, с. 29]. Потом все провожавшие вернулись в Баден (в другом месте Смирнова поясняет, что это были Карамзин и Платонов. — [там же, с. 36]).

Около 1 сентября Гоголь оставил Баден, отправившись на пароходе во Франкфурт-на-Майне, где он уже останавливался в июле прошлого года. Здесь он встретился с Александром Ивановичем Тургеневым, с которым познакомился еще в Петербурге не позднее декабря 1834 г. [Гиллельсон, 1963, с. 168]. Но это была первая их встреча после приезда Тургенева из российской столицы, где он провел многие часы в квартире умирающего Пушкина, а затем сопровождал гроб с его телом до места погребения у Святогорского монастыря. Все это, конечно, задавало главную тему разговора Тургенева с Гоголем.

И вообще все пребывание Гоголя во Франкфурте прошло под знаком Пушкина. У Тургенева Гоголь увидел последний, 5-й том «Современника» и прочел пушкинское стихотворение «...Вновь я посетил тот уголок земли...» «Удивительная простота и такая тихая и вместе глубокая грусть, что я даже не в силах был переписать, мне так сделалось грустно». Еще одно подтверждение факта, что Гоголь отнюдь не считал поэта отставшим от времени... Перед этим Гоголь получил пись-

мо от Жуковского (написанное еще в марте) — «пять или шесть строк, но такой исполнены грусти по недавней великой утрате, что я не мог их читать равнодушно» [XI, 109, 108].

1 сентября Гоголь встретился с Тургеневым у русского посланника во Франкфурте Петра Яковлевича Убри (1774–1847), под началом которого, в Коллегии иностранных дел, служил молодой Пушкин. И опять разговор вернулся к больной теме — о погибшем поэте, о Петербурге.

В тот же день Гоголь и Тургенев встретились еще дважды: вначале у Тургенева, потом у Гоголя. «О Пушкине, о сочинении его “Мертвые души”», — гласит дневниковая запись Тургенева [Гиллельсон, с. 138]. Разговор о Пушкине неразрывно переплелся с разговором о «Мертвых душах» (но сведений о том, что в это время Гоголь читал поэму своему собеседнику, у нас нет).

И автор «Мертвых душ» приводит тургеневскую фразу, которая так созвучна его собственным переживаниям: «...Живя за границей, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уже тошнит от России» [XI, 108].

Воспоминание о смерти Пушкина, навеянные ею мысли чуть было не спровоцировали у Гоголя новый приступ тоски и отчаяния. Безоблачное настроение итальянской поры улетучилось, впервые за много месяцев он начинает жаловаться на свое душевное состояние. «...Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мною по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать» [XI, 110]. Гоголь мечтает о возвращении в Италию, но известие о свирепствующей там холере заставляет его медлить.

3 сентября Гоголь направляется из Франкфурта в Женеву, где он уже жил поздним летом и осенью предыдущего года. На этот раз пребывание Гоголя было скрашено новой встречей с Данилевским и особенно — с Адамом Мицкевичем. Польский поэт жил в это время в Лозанне, готовясь к преподавательской деятельности в тамошнем университете, но часто бывал в Женеве и заходил в гостиницу (*Hotel de la Couronne*), в которой остановились Гоголь и Данилевский [Шенрок, т. 3, с. 201]⁶¹. Общение русского и польского писателей укрепило их взаимную симпатию, возникшую еще во время первых встреч в Париже.

В Женеве Гоголь пробыл больше месяца. В середине октября Данилевский отправился в любезный его сердцу сверкающий и веселый Париж, а Гоголь «полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию»...

Благо, что для этого у него теперь появились средства. В начале сентября, по выезде из Франкфурта или в Женеве, Гоголь получил 1000 рублей от Плетнева и даже смог приобрести новое платье, «потому что старое разлезлось в куски — последний продукт моей отчизны» [XI, 110]. Тем временем в Рим пришли векселя на ту сумму в 500 червонцев, которую определил писателю император. Гоголь, уз-

навший об этом по возвращении в Рим, расценил такой шаг как новое воплощение идеи августейшего покровительства поэту; совсем недавно император открыл путь «Ревизору», теперь он способствует созданию главной книги писателя. «Как некий Бог, он сыплет полную рукою благоденствия и не желает слышать наших благодарностей. Но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям» [XI, 111].

ВТОРОЕ «ЧТЕНИЕ» ИТАЛИИ

Гоголь направился в Италию не той дорогой, что в первый раз, не морем, но через Симплонский перевал в Альпах. С какой радостью увидел он первый итальянский город *Domo d'Ossola!*.. Потом — Милан, в котором Гоголь еще не бывал; здесь он по обыкновению, осмотрел собор («вообразите себе огромнейшую массу, всю из мрамора, всю из статуй, из резных украшений, похожую на кружево». — [XI, 118]), полюбовался театром «Ла Скала», картинной галереей (возможно, он сумел ее бегло осмотреть).

Потом была уже знакомая Флоренция. Поздней осенью Гоголь прибыл в Рим⁶².

Несмотря на то что в Риме не оказалось привычной для Гоголя компании — ни Балабиных, ни Репниных, ни Андрея Карамзина, он не чувствовал себя одиноким. Собеседниками его были Колизей, собор Святого Петра, другие римские памятники и сооружения, и ему показалось, что все они «сделались на этот раз гораздо более <...> разговорчивы». И никогда еще он «не был так весел, так доволен жизнью».

Италия принадлежит ему, Гоголю. «Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» И — проснулась творческая энергия, вновь закипела работа над поэмой. «Жизни, жизни! еще бы жизни!»

На некоторое время в Рим, по-видимому из Парижа, приехал Золотарев (после 19 апреля он отправится в Неаполь), и путешествия по городу и по окрестностям они теперь совершают с Гоголем вдвоем — в Альбано, Фраскати, Тиволи, Дженсано, Кампанию... Варьируя гоголевское выражение о чтении Рима, Золотарев пишет 19 апреля 1838 г. Данилевскому в Париж: «В Рим, как в роман или огромную повесть, все вчитываешься далее и более, и более и более находишь красоты... Что за природа и что за история! Что за кипарисы и что за развалины!.. А виллы-то! окрестности Рима!..» [Шенрок, т. 3, с. 213].

Золотарев остановился в той же квартире на виа Сант-Изидоро, 17. А у Гоголя теперь новый адрес: *Strada Felice*. № 126. Его квартира, с большой комнатой, выходящей на улицу, — на последнем третьем, по российским понятиям, четвертом этаже⁶³.

Позднее улица получила другое название — Via Sistina, но дом сохранил прежний номер 126. На доме — мемориальная доска с двуязычной надписью, на русском: «Здесь жил в 1838—1842 гг. Николай Васильевич ГОГОЛЬ, здесь писал “Мертвые души”»; и итальянском: «Il grande scrittore russo NICOLA GOGOL in questa casa dove abito dal 1838 al 1842 penso' e scrisse il suo capolavoro»⁶⁴. Установили доску в 1901 г., в преддверии гоголевского юбилея, по инициативе двух русских людей: писателя П. Д. Боборыкина и М. П. Балабиной [Авентино, с. 2]. Так Мария Петровна, носившая теперь фамилию мужа Вагнера, почтила память своего знаменитого учителя, которого она пережила почти на полвека...

Подробным описанием местожительства Гоголя мы обязаны П. В. Анненкову, побывавшему здесь позднее: «Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь <...>. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро — стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы и на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло» [Анненков, 1983, с. 47].

Некоторое время тому назад автору этой книги вместе с итальянской исследовательницей Вандой Гасперович удалось побывать в бывшей квартире Гоголя. Нынешние ее хозяева, пожилой итальянец с супругой, оживленно рассказывали то, что узнали от прежних владельцев, а те — от своих предшественников: комнаты, прежде изолированные, теперь соединены арками, передняя перестроена и т. д. Но выглянув из окна угловой комнаты, выходящей на виа Систина и виа Цуккелли, можно увидеть ту статую Мадонны, которую ежедневно видел и Гоголь [см. также: Гасперович, с. 95].

Что представляла собою в те времена виа Систина (названная так в честь папы Сикста V, в крещении Феличе — отсюда происхождение современного названия)? «...Это был модный бульвар, с присущим ему аристократизмом и изысканностью. Помимо мастерских художников и скульпторов, здесь же и продававших свои работы, тут находилось множество антикварных магазинов, где гости города могли приобрести сувениры из кораллов, статуэтки из алебаstra, слоновой кости и серебра, брошки-мозаики, а также гравюры с видами Рима» [Гасперович, с. 86–87].

Что же касается непосредственного окружения Гоголя, то оно было очень пестрым. Проведенное упомянутой исследовательницей обследование церковных приходских книг позволяет достаточно полно представить себе жильцов этого дома. Так, в 1838 г. на одном с Гоголем этаже жили сорокатрехлетний табачник с женой (кстати, тоже Аннунциатой), «кто-то из Правительства», а этажом ниже — три испан-

ца-художника и два протестанта, еще ниже, на втором этаже (первый оставался не заселенным) — некая шестидесятидвухлетняя вдова и двадцатичетырехлетний служащий и т. д. Гоголь в этот список не попал [Гасперович, с. 88–89].

Местом общения и встреч как с итальянцами, так и с приезжими русскими были аустерии и кофейни; из них наиболее посещаемые Гоголем — Фальконе на площади Сант-Эустаккио около Пантеона, *Bon gout* на площади Испании, кафе Греко⁶⁵ на виа Кондотти и Лепре на той же улице. Один путешествующий иностранец оставил описание трактира Лепре (что означает «заяц») времен Гоголя: «Lepre — самый большой трактир в Риме; обычно многочисленные залы заполнены посетителями из самых разных стран. Старый официант, занимающийся английским залом, прозванный Орилья (т. е. Подслушивающий), совершенно особый персонаж. Он воевал с Наполеоном в Москве... К обеду Орилья приносил меню, состоящее из пятисот блюд, хотя в действительности можно заказать сотню» [цит. по: Гасперович, с. 95–96]. Что касается Гоголя, то сотня сотней, но свои несколько блюд он выбирал тщательно, испытывая терпение служащих. Об этом мы знаем со слов Анненкова, обедавшего вместе с Гоголем в Лепре, правда, тремя годами позже: «Раза два менял он блюда риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменил блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо» [Анненков, 1983, с. 48–49].

У Лепре и в других местах Гоголь встречался с русскими художниками, и эти встречи не приносили ему удовлетворения. «Что делают русские питторы (художники), ты знаешь сам, — сообщал он Данилевскому 13 мая н. ст. 1838 г. — К 12 и 2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом на Монте Пинчио, потом к *Bon gout*, потом опять к Лепре, потом на бильярд». Гоголь апеллирует к опыту собственных встреч с Данилевским в Риме и Париже, а может быть, и к более ранним встречам — в петербургском кружке «однокорытников»: «...Мне было грустно это подобие вечеров, потому что оно напоминало наши вечера и других людей, и другие разговоры». И затем Гоголь произносит решительный приговор русским «питторам»: «Иногда бывает дико и странно, когда очнешься и взглядишься, кто тебя окружает. Художники наши, особливо приезжающие вновь, что-то такое...» [XI, 151].

Кого конкретно имел в виду Гоголь? Чуть ниже он называет А. Т. Дурново («Дурнов мне надоел страшным образом тем, что ругает совершенно наповал все, что ни находится в Риме»). Несколько позднее, 25 марта н. ст. 1839 г., в письме тому же адресату, Гоголь раздраженно упомянет, наряду с Дурново, еще архитектора Романа Ивановича Кузьмина (1811–1867), архитектора Александра Никитина (род. 1810), архитектора и искусствоведа-египтолога Дмитрия Егоровича Ефимова (1811–1864): «...Дурнова твоего, если где встречу,

право тошнит. Что за народ! Кузьмины, Никитины, Ефимовы — ужас какая тоска...» [X1, 211; расшифровка этих упоминаний дана в исследовании: Джулиани, 2001, II, с. 113, 122–125].

В гоголевском кругозоре находились и те лица, с которыми вместе он участвовал в заседании Германского археологического института в Риме 21 апреля 1837 г. (см. об этом выше, с. 485), то есть Ефимов-старший, Габерцеттель, Горностаев. Да и других Гоголь мог иметь в виду из более чем двух десятков находившихся в Риме русских художников...

Так или иначе, но гоголевский приговор выглядит необъяснимо суровым. Как показала Рита Джулиани, многие, если не большинство из упоминаемых (или, возможно, подразумеваемых) писателем лиц имели свои заслуги. Например, труд Д. Е. Ефимова «Краткие сведения о Египетской архитектуре...» удостоился высокой оценки в «Бюллетене Института археологической корреспонденции» за 1838 г.; с интересом отнеслись в Риме к картине Габерцеттеля «Проповедь Иоанна Крестителя» (закончена в 1842) и т. д. Эти факты заставили исследовательницу «усомниться в объективности суждений великого писателя о тех художниках, чей профессиональный уровень заслуживает существенной переоценки» [Джулиани, 2001, II, с. 127].

И все же у «суждений» Гоголя была своя мотивировка. В. Шенрок полагал, что она заключается в «нравственной распущенности кружка», и подкреплял этот вывод многочисленными фактами кутежей и развратных поступков, совершаемых русскими художниками [см.: Шенрок, т. 3, с. 219]. Однако на главную причину указал сам Гоголь в упоминавшемся письме Данилевскому от 13 мая н. ст. 1838 г.: «Какое несносное теперь у нас воспитание! Держать и судить обо всем, это сделалось девизом всех средственно воспитанных у нас людей <...>. А *судить и рядить о литературе* считается чем-то необходимым и патентом на образованного человека. Ты можешь судить, каковы суждения *литературных людей*, окончивших свое воспитание в Академии художеств и слушавших Плаксина» [X1, 151]. Другими словами, Гоголь реагировал прежде всего на литературные, эстетические мнения, которые он слышал от знакомых ему художников, — скорее всего, это были мнения о современной литературе, возможно, и о его собственных произведениях. Имя В. Т. Плаксина, преподававшего в Академии художеств, фигурирует в этом контексте не случайно: как автор историко-литературных и теоретических трудов он имел репутацию человека, отставшего от современных взглядов [см., в частности: Белинский, т. 2, с. 196–197]. Достаточно привести хотя бы такое энергичное утверждение Плаксина по поводу произведений современной прозы: «...Между ими первое место занимают повести Марлинского, которого мы смело можем противопоставить, без всякого патриотического предубеждения, всем гениальным в сем роде писателям Европы» [*Плаксин В.* Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833. С. 349].

Из круга русских художников Гоголь безусловно выделял троих — Иордана, Моллера и, конечно, Александра Андреевича Иванова (1806—1858), работавшего над «Явлением Мессии». Биограф Иванова относит его знакомство с Гоголем к последним месяцам 1838 г. (впрочем, оно могло произойти и раньше). Посвященный в творческие планы Иванова, Гоголь «был в восторге от его картины, говорил о ней, кому только мог, водил в мастерскую художника своих знакомых» [Боткин М., с. IX].

По возвращении в Рим осенью 1837 г. Гоголь чаще встречается и с Зинаидой Волконской (виделись они и, может быть, познакомились еще раньше, во время первого приезда писателя в Италию).

Княгиня Зинаида Александровна Волконская (1789—1862) представляла собою характерную фигуру в русском эстетическом и — шире — культурном движении. Причем не столько в творческом аспекте (Волконская владела многосторонним дарованием, пробуя свои силы и в поэзии, и в прозаических жанрах, и в сочинении музыкальных произведений), сколько в поведенческом и бытовом. Мы коснемся этого аспекта только с одной, так сказать, итальянской стороны.

Многие русские литераторы воспевали Италию как «обетованную страну искусств» (*das gelobte Land der Kunst* — выражение Вакенродера), изливали «тоску по Италии» (*Sensucht nach Italien* — формула того же Вакенродера). Гетевская песня Миньоны (русский перевод, принадлежащий В. Жуковскому, появился в 1818 г.) стала в России своего рода архетипом устойчивой художественной ситуации, в том числе в стихотворении гоголевского однокашника В. Любича-Романовича («...Италия! поэзии земля! // Давно к тебе на крыльях мечтанья, // Несытая летит душа моя!»). Да и самого Гоголя, в юные годы, не миновали эти настроения, если признавать его авторство (что весьма вероятно) в отношении стихотворения «Италия»⁶⁶:

Земля любви и море чарований!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?..
Меня влечет и жжет твое дыханье, —
Я в небесах, весь звук и трепетанье!

Однако для большинства стремление в Италию оставалось эстетическим жестом; иные действительно совершали паломничество в эту страну, краткое или более длительное. Волконская же превратила это стремление в жизненный выбор, в поступок. Проживая в Риме в 1820—1822 гг., она, спустя семь лет, в 1829 г. решила переселиться сюда навсегда (в качестве воспитателя ее сына Александра в Италии в 1829—1832 гг. находился С. П. Шевырев).

Весна 1838 г. — время довольно тесного общения Гоголя с Зинаидой Волконской. Вместе с нею он посещает на римском кладбище могилу дочери Вяземского Прасковьи, скончавшейся в 1835 г. У Гого-

ля и Волконской — общие знакомые; так, господин Pave, он же Владимир Павей (ок. 1811 — после 1858), воспитывавшийся вместе с сыном Волконской, впоследствии камергер при дворе Римского Папы — его, Гоголя, «добрый приятель»; с ним он отправляет свое письмо Данилевскому в Париж. Данилевскому же Гоголь сообщает, что письмо ко нему пишет, «сидя в гроте на вилле кн. Волконской», под шум проливного майского дождя, распространяющего «освежительный холод».

Эта вилла — одна из достопримечательностей и вместе с тем одно из культурных гнезд римской жизни. Ф. И. Буслаев оставил подробное описание виллы (он бывал здесь в 1840—1841 гг.). «Вилла княгини Волконской состоит из павильона или казино, окруженного садом. Таковы в стенах Рима многие дворцы, как крупные, так и мелкие, или казино. Например, вилла Медичи <...>. Вилла княгини Волконской, хотя и внутри города, около бойкой площади Иоанна Латеранского, представляет ландшафтное сочетание казино с нисходящим от него легкой отлогостью садом. Когда смотришь на эту виллу с низкой равнины, павильон княгини Волконской представляется разноцветным букетом от поднимающихся с земли до вершины здания ползучих растений...» Все здесь обнаруживало естественное сочетание древней античной и новой эпох, которое так нравилось Гоголю. «Во вкусе этого архитектурного анахронизма княгиня Волконская приютила свое маленькое казино под сенью колоссальных арок древнеримского водопровода» [ВЕ. 1896. Т. 1. С. 24].

По замыслу хозяйки, вилла должна была символизировать встречу и различных региональных миров — западноевропейского и русского. С этой целью Зинаида Волконская решила устроить две аллеи: «аллею друзей» и «аллею воспоминаний». Шевырев застал самое начало работы (княгиня «суется», «сажает деревья, отдыхает, любитесь видами», «воздвигает памятники всему утраченному милому» — из письма Шевырева А. В. Веневитинову от 10 октября 1831 г. [там же, с. 27]). Ко времени же приезда Гоголя уже стояли монументы или урны в память о тех, кого почитала княгиня, с кем ее сталкивала судьба. Тут были и император Александр I, и Пушкин, и Гете, и Вальтер Скотт, и Байрон, и Дмитрий Веневитинов... М. П. Погодин, посетивший виллу весной 1839 г., видел здесь еще «обломок, посвященный Карамзину», «камень с именем Николая Рожалина, который прожил в Риме три года в доме княгини» [Погодин, 1842, с. 376—377].

Более поздняя посетительница виллы Н. Г. Чулкова заметила и дружную коллекцию — на обломке древней стены «приклеено множество носов, вероятно, отбитых от статуй или найденных в развалинах. Их много, этих носов, самой разнообразной формы. Я вспомнила, что Гоголь бывал у Волконской здесь, и подумала, что, может быть, это и подало ему мысль написать его рассказ “Нос”» [ОР РГБ. Ф. 371. К. 6. № 1]. Действительно, коллекция должна была много говорить Гоголю ввиду его интереса к этой специфической части тела, хотя догадка

мемуаристки относительно «Носа» ошибочная: повесть была опубликована еще в 1836 г. ...

Когда в мае 1838 г. Зинаида Волконская временно оставила Рим, Гоголь испытывал чувство грусти. По его словам, он «питал дружбу и уважение» к княгине, «которая услаждала» его «пребывание в Риме» [XI, 153].

Между тем в круг гоголевского общения вошли и итальянцы. Прежние вояжи и путешествия Гоголя, по Германии, Франции, Швейцарии, кажется, не отмечены встречами со сколько-нибудь значительными представителями культуры этих стран (за исключением встреч с поляками А. Мицкевичем и Ю. Б. Залеским во Франции и затем с Мицкевичем же в Швейцарии); по крайней мере, об этом ничего не известно. В Италии же Гоголь с первых месяцев завязал такие знакомства. Одно из них — со знаменитым кардиналом Мещофанти.

Джузеппе Гаспаро Мещофанти (1774–1849), сын бедного плотника из Болоньи, достиг вершин церковной карьеры. Вначале он был каноником собора Святого Петра, потом ректором коллегии Пиетрини, причисленной к этой церкви, потом заведующим Конгрегации Пропаганды и наконец возведен в кардинальское достоинство. Последнюю перемену фиксирует письмо Гоголя Марии Петровне Балабиной от апреля 1838 г., где описываются празднества в Риме по поводу избрания кардиналов: «город был иллюминирован три дни» и «наш приятель Мещофанти сделан тоже кардиналом и ходит в красных чулочках» [XI, 142]. Выражение «наш приятель» позволяет думать, что Гоголь познакомился с ним еще в свой первый приезд в Италию. Позднее (во время пребывания в Риме весной и летом 1841 г.) П. В. Анненков слышал рассказы Гоголя о его знакомстве с Мещофанти, выливавшиеся в «целое драматическое представление»: «Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухошавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски» [Анненков, 1983, с. 89].

Действительно, главным достоинством этого человека была фантастическая способность к языкам: он говорил на 50–60 языках и еще с десятков знал пассивно. А. Пишо, встречавшийся с Мещофанти и написавший о нем очерк, опубликованный и в русском переводе, приводит ряд высказываний современников, в частности Байрона: это «чудовище филологии, идеал полиглота. Чудо, что за человек! Я испытывал его во всех языках, знакомых мне <...>, он поставил меня в тупик, даже в родном моем языке!». Немецкий писатель Гвидо Геррес, живший в Риме: «Число языков, известных Мещофанти, невероятное, и всего удивительнее то, что огромный склад нисколько не перепутался в его голове. Это, если угодно, вавилонское столпотворение, но столпотворение сознательное: все в этой памяти размещено с необыкновенным порядком». И еще ответ некоего русского,

«князя В.» на вопрос, хорошо ли Меццофанти говорит по-русски: «Я желал бы, чтобы так говорил мой сын» [БЧ. 1856. Т. 136. Отд. 3. С. 35, 45, 37]. Князь В. — это, конечно, П. А. Вяземский, познакомившийся с кардиналом во время своей поездки в Италию в 1834—1835 гг. и, вероятно, рассказавший о нем Гоголю еще в Петербурге.

Впрочем, у Гоголя было свое объяснение «необыкновенного порядка» в лингвистических запасах Меццофанти: кардиналу помогало то, что он, «обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза...». Подражая кардиналу, Гоголь разыгрывал маленькую комическую сценку — «начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: “Какая у вас прекрасная шляпа... прекрасная круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная — это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа” и проч.» [Анненков, 1983, с. 89]. Но это не мешало Гоголю восхищаться необыкновенным талантом Меццофанти.

Другое очень важное знакомство, состоявшееся, очевидно, после вторичного приезда Гоголя в Италию, — с Белли. В апреле 1838 г. он писал Марии Петровне Балабиной: «...Вам, верно, не случилось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает» [IX, 143]. Эта фраза говорит о том, что Гоголь был хорошо знаком с поэтом и слушал его, вероятно, неоднократно. Предположительно, они встретились у Зинаиды Волконской, но не на вилле, а в палатце Поли, что возле фонтана Треви. Здесь бывали и Мицкевич, и Жуковский, и Вяземский, кстати, также знакомый с Белли. Здесь итальянский поэт одно время жил (у родственников своей жены) [Томашевский, с. 187].

Джузеппе Джоакино Белли (1791—1863) писал стихи на римском диалекте, языке так называемых транстеверян, то есть тех, кто жил по ту сторону Рима. На этом диалекте (в отличие от миланского) говорил только простой народ; демократическим была поэзия Белли и по содержанию: живые жанровые сценки, колкая сатира на власти. Гоголь хорошо ощутил направление сонетов Белли. «В них... — продолжает он свое письмо Балабиной, — столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь...» [XI, 143].

Не одной только Балабиной рассказывал Гоголь о своем открытии, но, скажем, и французскому писателю Сент-Беву, которого он случайно встретил летом 1839 г. (об этом дальше). Сент-Бев вспоминает: «...Его (Гоголя) интересует народный гений, и куда бы ни устремлялся взор, он любит открывать присутствие этого гения и изучать его. Так Гоголь сообщил мне, что он открыл в Риме истинного поэта, по имени Белли <...>. Г-н Гоголь говорил, обнаруживая такое *основательное знание предмета*, что убедил меня в оригинальном и крупном

даровании этого Белли, которого все путешественники совершенно игнорировали»⁶⁷. Это свидетельство позволяет считать Гоголя первооткрывателем итальянского писателя для других литератур. Вместе с тем интересны и детали, характеризующие позицию Гоголя, — он изучает природу итальянского «народного гения», он накопил в этой области *основательные знания*. Это именно то, что отличало период вторичного посещения им Италии.

Продолжая давнюю поэтическую традицию уподобления страны или города книге, Гоголь пишет о Риме: «Я читаю этот роман каждый день с новым и новым наслаждением и, как в картине старинного автора, я в нем отыскиваю каждый день новое...» [XI, 156]. Что же дало Гоголю второе «прочтение» Италии и Рима, длившееся примерно десять месяцев?

Прежде всего он значительно продвинулся в знании языка, настолько, что мог писать письма по-итальянски (таково его письмо М. П. Балабиной от 15 марта н. ст. 1838 г.) и понимал римский диалект. Затем углубились его представления о стране, *его образ Италии*. Усилилось переживание чарующей красоты итальянской природы. Один воздух чего стоит! «Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были бы величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны» [XI, 144]. Укрепились и гоголевские симпатии к итальянскому национальному характеру, привычкам, образу жизни, особенно потому, что воспринималось все это на фоне недавних впечатлений от Германии: «Как показались мне гадки немцы после италианцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» [XI, 142]. Тут гоголевские представления пришли в определенное соотношение с господствующими в Западной Европе и России концепциями Италии и итальянского характера.

Осью этих концепций служило *противопоставление прошлого настоящему*. Прошлое величественно, как в античную, так и христианскую эпоху; настоящее, сегодняшнее — печально. Е. А. Баратынский: «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель, // Ты был ли, о свободный Рим?» («Рим», 1821). А. И. Полежаев: «Он пал — сперва, как лев свободный, // Потом, как воин благородный, // Потом, как раб...» («Кориолан», 1834). По П. А. Вяземскому, в Риме прекрасен «мир древний и его младая красота // И возмужавший мир под знаменем креста», — но все это прошло: «Державства твоего свершились времена»; в современности сохраняется лишь поэтическая традиция, художественные переживания: «...Избранным душам, поэзии обильным, // И ныне ты еще взываешь гласом сильным» («Рим», 1846).

Иногда Риму как городу прошлого противопоставляется Россия — страна будущего. С. П. Шевырев, используя традиционную метонимию

(река как обозначение страны и народа), изображает спор Тибра с Волгой. Тибр свободен, плещет «вольною волной»; зато Волга — «как молодой народ могуча», «как Россия широка» («Тибр», 1824).

Порою это противопоставление выглядит довольно схематичным, как сегодня принято говорить — однозначным. В опубликованной анонимно повести «Таинственная перчатка» (1832) русский путешественник попадает в Италию; вначале его было пленили произведения искусства, но затем он увидел в них лишь «памятники разрушения», а в итальянцах лишь «искаженное племя, как будто созданное только для того, чтоб быть чичероном праздного любопытства чужестранцев». «Нет! — сказал он; вон из Италии, скорее на родину: русскому одно место — Россия! Русской — весь надежда; что у него общего с этим стареющим Западом, который, дряхлея, насильственно ищет воскресить себя?» [Т. 1832. № 5. С. 30–31].

Противопоставление современной Италии Древнему Риму обычно выливается в обличение нынешних итальянцев: они и жестоки, и бесчестны («мошенник на мошеннике», — скажет позднее скульптор Н. Рамазанов, используя известное выражение гоголевского Собакевича — [РВ. 1878. № 2. С. 711]), и просто неинтересны. «Мне казалось, — говорит Ф. И. Буслаев, находившийся в Италии в те же годы (1840–1841), когда и Гоголь, — что жители этой страны и существуют теперь для того только, чтобы охранять заветные сокровища великого прошедшего в своих городах и услужливо показывать и объяснять их иностранцам» [Буслаев, с. 188].

На этом фоне выделяется, скажем, суждение С. А. Соболевского, высказанное в письме Шевыреву от 10 августа 1830 г. из Турина (Торино): «В одной Италии люди довольно дети, чтобы радоваться радости и тешиться прекрасным от сердца. Вне Италии все Чальд-Гарольды и а + в = с: радуются и удивляются по известной мерке» [РА. 1909. № 7. С. 485].

Но особенно интересны итальянские очерки С. П. Шевырева, написанные уже после того, как ему довелось воочию увидеть эту страну. В одном из очерков — «Римские праздники (Письмо из Рима)» (1831) — критик с воодушевлением говорит о художественной одаренности итальянцев, надо подчеркнуть — итальянцев *современных*. «Ни в одном народе европейском эстетическое воспитание не развито в такой степени, как в народе итальянском». Но это воспитание накладывает отпечаток на жизнь народа в целом. Шевырев упрекает Сисмонди в том, что тот в своей «Истории итальянских республик Средних веков» «ограничился целью политической», в то время как нужно избрать «главным центром народной жизни искусство». Шевырев отступает от традиционного мнения, поддержанного авторитетом Вольтера или мадам де Сталь, о синхронности политического и художественного расцвета [Удольф, с. 140]: именно сейчас, когда Италия, по общему убеждению, впадает в состояние политической стагнации, художе-

ственный гений народа по-прежнему на высоте. Красота — в народном быту итальянцев. «Посмотрите, как на сельском празднике необразованные мужики строят для процессий триумфальные ворота и украшают их гирляндами и фестонами из роз и мирта: какие правильные линии! какой вкус в отделке!» «Взгляните об Рождестве на овощников и колбасников <...>. Невольно удивитесь, как умеют они из такой вонючей прозы своих товаров извлечь поэзию архитектурного украшения!» Вообще Шевырев специально останавливается на эстетической стороне христианских (не забудем, католических!) праздников; «большая часть сих праздников устроена первейшими классическими художниками Италии, каковы Микель Анжело и другие» [Т. 1831. Ч. 2. С. 406, 407, 408].

Гоголь почти буквально повторяет то, что было сказано до него Шевыревым. Он восхищается праздником цветов (*fiorata*): «...Не подумайте, чтобы цветы были набросаны просто <...>. Вы не узнаете, что это цветы; вы подумаете, что это ковры разостланы по улице и на этих коврах множество разных изображений <...> гербы, вазы, множество разных узоров и даже, наконец, портрет папы» [XI, 161]. Гоголь говорит о красоте религиозных праздников, разумеется, опять-таки католических: «...В религии католической очень много процессий <...>. Народ в своих ярких пестрых костюмах под итальянским пестрым небом делает удивительное зрелище» [там же]. Гоголь, наконец, отдает итальянцам пальму первенства в непосредственности и полноте художественного переживания: «...Может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды» [XI, 142].

А это значит, что приверженность к искусству, к прекрасному выводится Гоголем (как и Шевыревым) из круга эстетических способностей и становится характеристикой национальной природы, в том числе и со стороны ее нравственности. Гоголь еще не сделал отсюда (или, может быть, еще не сформулировал) вывод об *исторической* роли народа; это будет сделано им чуть позже; но он резко нарушил канон противопоставления Италии в прошлом Италии в современности. Это особенно ярко проявилось в восприятии Гоголем карнавальных праздников, которые он увидел в начале своего второго «чтения» Рима.

«Удивительное явление в Италии карнавал, а особенно в Риме, — все что ни есть, все на улице, все в масках». Удивительное — в красочности, яркости, красоте празднества: «Целые деревья и цветники ездят по улицам, часто проташится телега вся в листьях и гирляндах, колеса убраны листьями и ветвями и, обращаясь, производят удивительный эффект». Удивительное — и в сочетании современного и прошлого, в естественном возобновлении языческих традиций: «...В по-

возке сидит поезд совершенно во вкусе древних Церрериных празднеств...» Удивительное — и во всеобщности, всенародности действия: «В других местах один только народ кутит и маскируется (Гоголь, по видимому, имеет в виду карнавал, который он застал в последние дни пребывания в Париже. — Ю. М.). Здесь все мешается вместе». Удивительное — и в той легкости, с которою преодолеваются всевозможные социальные преграды и ограничения: «...Ты можешь высыпать в лицо самой хорошенькой целый мешок муки, хоть будь это Боргези (представительница знатной римской фамилии. — Ю. М.), и она не рассердится, а оплатит тебе тем же». Удивительное, наконец, — в свободе нравов, в фривольности поведения: «Для интриг время удивительно счастливое. При мне завязано множество историй самых романтических с некоторыми моими знакомыми...» [X1, 122]. Гоголь, заметим мимоходом, в «интригах» не участвует, но смотрит на все спокойно, с пониманием, без ханжества...

И тут, в связи с гоголевским восприятием карнавала, вновь приходится вспомнить Шевырева, его другой очерк — «Римский карнавал в 1830». «Нет, как мне кажется, ни одного народного торжества, которое содержало бы в себе такую жизнь, такие стихии драматические, как римский карнавал». «Нигде нет такой свободы, непринужденности, такого устранения всех церемонных приличий света, как на карнавале римском. Все сословия уравниваются весельем, и все вместе». «Всюду совершенное отсутствие этой строгой чинности <...>. Бедный веселится точно так же, как и богатый...» Карнавал — языческий праздник, «одна из блестящих развалин древней жизни, как Пантеон, Колизей, гробница Метеллы, но развалина, украшенная многими подробностями новейшими» [МВ. 1830. Ч. 2. С. 372, 375, 376]. Все это очень близко Гоголю, возможно, знакомому со статьей Шевырева (Гоголь был усердным читателем «Московского вестника», где печаталась эта статья). Поскольку же на рассуждениях Шевырева лежит печать концепции карнавала, сформулированной Гете в его «Путешествии в Италию» [Удольф, с. 135], то очевидно, что гетевская традиция опосредованно (а может быть, и прямо) вошла в соответствующие рассуждения Гоголя⁶⁸.

Кстати, еще одно совпадение Шевырева и Гоголя: оба ощущают некую оппозиционность карнавала по отношению к власти. «Карнавал, — отмечает Шевырев, — весьма не нравится Римскому правительству» и «жрецам алтарей», которые убеждают народ, «что этот праздник не угоден Богу». Но все же терпят: «...Правительство насильно уступает народу карнавал, как необходимый, полезный грех. Оно, кажется, позволяет своей буйной пастве в течение восьми дней отбеситься за целый год с тем, чтобы после беспечнее и легче управлять ею» [там же, с. 375]. Гоголь: «Ни одного происшествия здесь не случится без того, чтоб не вышла какая-нибудь эпиграмма или острота в народе»; поэтому «в первые же дни карнавала <...> в народе вышел вдруг экспромт». И далее

приводится итальянская фраза, которая в переводе звучит так: «Богу угоден карнавал, но не угоден кардинал» [X1, 142, 396].

Необходимо отметить еще одну особенность нового гоголевского прочтения Италии. Но вначале — вновь цитата из Буслаева: «От всех европейских городов “вечный Рим” отличается еще торжественным и роковым обаянием смертной памяти: *memento mori* — мани, факел, фарес! Вся наслоившаяся многими столетиями римская почва переполнена тлением костей человеческих и полита кровью в течение многих и многих поколений. Сначала утучняли эту почву язычниками-римляне и северо-восточные варвары — гунны, авары, готфы, потом сотни и тысячи христианских мучеников <...>. Пилигримы ходят на Восток поклоняться Гробу Господню в Иерусалим и на Запад великомученикам, погребенным в римских катакомбах» [ВЕ. 1896. Т. 1. С. 24]. Какая это многозначная фраза — «обаяние смертной памяти»: в ней напоминание о смерти в языческом смысле (*memento mori*) и святоотеческая «память смертная» (выражение, которое станет позднее излюбленным для Гоголя), и ощущение текучести времени, прорастания прошлого в настоящем, соединения двух эпох, языческой и христианской.

У Гоголя это сочетание смыслов выражено так: «Он (Рим) прекрасен уже тем, что ему 2588-й год, что на одной половине его дышит век языческий, на другой христианский, и тот и другой — огромнейшие две мысли в мире» [X1, 144]. Гоголевская религиозность — не вообще, не во все периоды его жизни, а именно в момент второго прочтения Италии — удивительно гармонична и толерантна. Тут уместно напомнить, что ведь и христианскую «мысль» Гоголь принимает в том реальном выражении, в каком он ее видел в католическом Риме.

Попадавшие в Италию русские обнаруживали различные виды и оттенки отношения к католическим храмам: решительное неприятие, сдержанность и т. д. Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), знакомый Гоголю по Петербургу, чиновник и писатель, автор книги «Путешествие по Сицилии в 1822 г.», будучи в Риме, испытывал глубокие страдания, так как был «лишен здесь утешения своей церкви». «Я для сего, — сообщает Норов в очерке “Литературный вечер в Риме...”, — должен был воспользоваться предложением греко-униатского священника и слушал обедню, как в первые века христианства, в подземелье, в церкви Св. Косьмы и Дамиана, бывшем храме Рема, в Форуме» [БЧ. 1834. Т. 3. Отд. 1. С. 209]. Другой русский, Ф. И. Буслаев, активно не принимавший католические догматы (например, о папской непогрешимости), тем не менее, за отсутствием православной церкви, «усердно молился и в итальянских, ничего не находя в этом предосудительного для своей религиозной совести». Сложнее было отношение Буслаева к внешним атрибутам католицизма: как историк и теоретик искусства, он проявляет и чисто эстетический интерес к итальянским храмам, «наслаждаясь их художественным убранством»; вместе с тем в зре-

лишности католицизма он усматривает «потворство человеческим слабостям и прихотям», попытку одурманить «суеверную паству» «прелестями изящных искусств в украшении церкви и разными пустопорожними затеями ухищренных церемоний» [Буслаев, с. 241, 243, 244¹].

Считается, что интерес Гоголя к католицизму был чисто художническим. «Католические церкви и богослужение пленяли его чисто эстетически», в католических храмах он «молится, растроганный красотой» [Мочульский, с. 48]. Е. И. Анненкова, автор интересной работы «Католицизм в системе воззрений Н. В. Гоголя», также полагает, что писатель «в конце 30-х годов скорее всего переживает своеобразное эстетическое увлечение католицизмом» [Материалы, 1995, с. 31]. Все это не совсем так.

Эстетический момент этого увлечения бесспорен, причем он более полон, лишен тех оговорок, которые делает Буслаев (так, Гоголь не видит никакого злого умысла и соблазна в католических процессиях — он просто наслаждается их яркой зрелищностью). Но переживание Гоголя было *не менее религиозным, чем художническим; вернее, одно неразрывно связано с другим*. Вот замечательное место из его письма Марии Балабиной от апреля 1838 г.: «...Я решился идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся)...» [XI, 140].

Нет, Гоголь пришел в католическую церковь не «за неимением» православной, а по душевной потребности. Он просто не делает никаких различий и вполне отдает должное полноте и искренности религиозного переживания окружающих в католическом храме. Католическое не отвращает его, не воздвигает никакой преграды, никакого препятствия.

Из гоголевского «Тараса Бульбы» (особенно первой редакции) обычно вычитывалось резкое неприятие католичества и униатства. Но на самом деле позиция автора была намного шире, чем его персонажей, характеризуясь замечательной веротерпимостью. Аналогичную терпимость, мы видели, Гоголь проявлял к полякам, участвовавшим или сочувствовавшим восстанию 1830–1831 гг. (Адаму Мицкевичу, Юзефу Богдану Залескому), вопреки официальной российской точке зрения на это событие. Впрочем, как уже неоднократно отмечалось, и в «Тарасе Бульбе», во второй его редакции, «католические сцены» получили более объемное, подчас даже лирическое освещение: так, переживания Андрия в костеле разительно совпадают с чувствами самого Гоголя, переданными в только что приведенном письме к Балабиной [Шенрок, т. 3, с. 170–171].

В заграничном окружении Гоголя, кстати, всегда были русские, принявшие католичество: среди них выделялись княгиня З. А. Волконская и Л. К. Виельгорская. О католицизме Волконской речь впереди; что же касается Виельгорской, то ее биограф говорит о веротерпимости последней. «Хотя Луиза Карловна и была строгою и набожною католичкой, но нисколько не чувствовала желанья вернуть своих детей в лоно своей собственной церкви». И когда «один патер в Италии» сделал ей такое предложение, «она объявила, что предпочитает быть вместе со всем своим семейством в аду, чем достигнуть рая без близких родных» (*Веневитинов М. А. Семейство Виельгорских // РС. 1888. Июнь. С. 693*).

Между тем на родине Гоголя возникли слухи об опасном его сближении с католиками и чуть ли не о премене веры. Об этом писателю сообщила Мария Ивановна, которая хотя и опровергала эти слухи, но в душе, видимо, питала некоторое беспокойство; ее письмо, очевидно, имело характер предостережения. Так, несколькими месяцами раньше она предостерегала сына от сближения с итальянками...

Возможно, повод для всех этих подозрений дал сам Гоголь, сообщая, например, матери накануне приезда в Италию, что он горит нетерпением встретить Пасху в «церкви Святого Петра, где будет служить сам папа». А Мария Ивановна, по своему обыкновению, поделилась этими сведениями с соседями, и те не преминули сделать отсюда соответствующие выводы...

В ответном письме от 22 декабря н. ст. 1837 г. Гоголь говорит: «Насчет моих чувств и мыслей об этом, вы правы, что спорили с другими, что я не переменяю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя, одну и ту же Божественную мудрость <...>. Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться» [XI, 118–119].

Любопытна логика Гоголя. Он мотивирует свою верность православию не тем, что оно выше, истиннее католицизма, а тем, что они равны друг другу и переходить в другую конфессию «нет надобности». Это был необычный ход мысли! Даже Шевырев как автор упомянутых выше итальянских очерков хотя и относился к католичеству без предубеждений, но все-таки полагал, что в России религия чище. Не приходится уже говорить о будущих славянофилах — впрочем, и отношение Гоголя к католичеству десятилетием позже изменится... Пока же оно, это отношение, вновь поражает своей терпимостью. Не даром, публикуя приведенное письмо в «Сочинениях и письмах Гоголя» [СПб., 1857. Т. 5. С. 296], П. А. Кулиш счел необходимым задним числом укорить автора за то, что он «имел в ту пору еще довольно незрелые и смутные понятия о степени уклонений, отделяющих Римскую церковь от Восточной».

В целом гоголевское переживание Рима в этот период характеризуется ощущением устойчивости. Писатель видит крайности, даже полярные, но они не обострены, напротив — примирены в некоем высшем чувстве. Это относится и к переживаниям бытовым, жизненным, «уличным» — повседневным или праздничным (карнавал), и к переживаниям религиозным. Словно разные миры соприкоснулись, но не столкнулись. Аполлоновское и дионисийское начала мирно уживаются, равно правя бал и не отрицая друг друга. Рим для Гоголя этой поры — само постоянство, надежный якорь в море волнений и бурь. Это не вполне соответствует художественной атмосфере гоголевских произведений, да и гоголевскому внутреннему миру тоже; но в том-то и дело, что эти миры достаточно сложно соединены друг с другом. Порою художнику, фигурально говоря, для *воплощения беспокойства* больше всего нужна *спокойная точка наблюдения* и неколеблемая почва. Такую точку и такую почву Гоголь до поры до времени находил в Италии.

КАТОЛИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД

 бьясение с матерью в декабре 1837 г. относительно переменны веры явилось прологом эпизода, случившегося весной следующего года. Речь идет о попытке обратить Гоголя в католичество.

Нити к этому эпизоду ведут из Парижа от близкого к Мицкевичу Богдана Яньского. Выпускник Варшавского университета, Яньский был в 1827 г. послан в Париж для приготовления к профессуре по кафедре политической экономии. После польского восстания 1830–1831 гг. стал добровольным эмигрантом. Сочувствовал фурьеризму и сен-симонизму, искал способы практического применения своих религиозно-филантропических взглядов.

В 1834 г. возникло общество «братьев» во главе с Мицкевичем и Яньским. Было решено образовать новый монастырский орден, так называемый «скит Яньского» (*domek Jan 'skiego*). 17 февраля 1836 г. устроили «первый братский обед», положивший основание ордена воскресенцев. Среди его членов были два молодых человека — Петр Семененко и Иероним Кайсевич, которым вскоре предстояло встретиться с Гоголем [Кочубинский, кн. 2, с. 662].

По приезду обоих в Рим, 2(14) октября 1837 г., Кайсевич писал Мицкевичу в Париж: «Рим — это град градов, град Господен, град молитвы. Я не могу довольно наглядеться на него...» [там же, с. 663]. Гоголь переживал в Риме сходное чувство, с той только разницей, что он молился общему Богу всех христиан, не делая между ними различия, а Семененко и Кайсевич — тому, кого они считали истинным Богом, то есть католическому.

Устроиться в Риме обоим полякам, участникам восстания 1830–1831 гг., было непросто, ведь они считались эмигрантами из Россий-

ской империи, с которой Ватикан не хотел осложнять отношения. Когда с помощью бельгийского посланника им удалось добиться аудиенции у папского статс-секретаря кардинала Ламбускини, тот при слове «эмигрант» пришел в ужас: «А русское посольство, а протесты, а толки!» Не более смелой оказалась Конгрегация Пропанды (та, в которой служил кардинал Меццофанти), отказавшая им в содержании: «страшно бояться, чтобы не довелись» русские, — сообщали Семененко и Кайсевиц.

Руку помощи им подала княгиня Волконская: сыграла роль и ее религиозная ориентация и привезенное поляками письмо от ее давнего знакомого, некогда не безразличного к ней Адама Мицкевича. Под свежим впечатлением встречи Кайсевиц писал 18(30) октября: «Сама княгиня — хорошая московка и искренняя католичка и даже *сильно живущая внутри себя*. Что касается Польши, она верит, что со временем она может высвободиться из-под России, но что это не повредит великой будущности ее отечества» (курсив в оригинале!).

Руководствовалась княгиня Волконская и другим мотивом, впрочем, вполне совпадавшим с устремлениями ее гостей — она мечтала об обращении в католичество своего единственного сына Александра, которому в ту пору было 26 лет. Этой задаче поляки-миссионеры посвятили последние месяцы 1837-го и начало следующего года. А затем, с благословения Зинаиды Волконской, переключили свое главное внимание на другую, более крупную цель — на Николая Васильевича Гоголя.

Первая встреча состоялась 5(17) марта 1838 г. в городском доме княгини, в палаццо Поли, откуда все четверо направились на ее виллу.

В тот же день Семененко и Кайсевиц докладывали Яньскому в Париж: «Возвращаемся от обеда у княгини и с прогулки на ее виллу в товариществе одного из наилучших современных писателей и поэтов русских — Гоголя <...>. В разговоре он нам очень понравился. Он благородного сердца, притом молод и со временем, несколько глубже тронутый, быть может, и к *истине* не будет глух и всюю душою к ней обратится. Надежду эту питает и княгиня...». Под обращением к истине подразумевается обращение к католичеству.

Через неделю, 13(25) марта, в день Благовещения, Кайсевиц, бывший также замечательным поэтом, прочитал сонет «Do M. Gogola», где призывал русского писателя открыть душу для «небесной росы», то есть католической веры.

А потом последовал еще ряд встреч с Гоголем, и на его квартире на Страда Феличе, и в «каморке» поляков в сиротском доме, и у Волконской. Все разговоры кружились вокруг одной темы: Россия и Польша и их взаимоотношения.

О высказываниях Гоголя мы знаем только со слов польских миссионеров. Те очень довольны русским писателем, полагая, что он идет им навстречу, разделяет их мнения. «Мы с Божьей помощью душевно

очень сошлись с Гоголем. Удивительная вещь! Он говорит, что Россия — это лоза, которою отец наказывает дитя, а потом ломает...» И в другом месте: «И в даль и в ширь сошлись мы с ним в понимании <...>. Он говорил нам обстоятельно о перемене, которая произошла в умах у русских за последние два года <...>. Гоголь занимается русскою историей. И здесь у него весьма светлые мысли. Он видит хорошо, что отсутствует начало, которое связало бы это бесформенное громадное здание. Сверху идет сила, но внутри нет духа. И каждый раз Гоголь выкрикивает: “У вас, у вас — что за жизнь, и это после потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознес и оживил вас. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это дело неслышанное”».

Как понимать подобные высказывания? По мнению одного исследователя, это всего лишь самообман; «представители католической церкви, беседуя с Гоголем, приписали ему некоторые мнения и взгляды, бывшие их задушевными мечтами, но нисколько не увлекавшие Гоголя» (*Лященко А. Об отношении Гоголя к католичеству // ЛВ. 1902. Кн. 1. С. 88*). По мнению другого, Гоголь просто «водил за нос охотившихся за ним польских монахов»; «единственная его цель была — угодить богатой и знатной княгине Волконской» [Вересаев, 1990, с. 220–221]. Такой же точки зрения придерживался другой исследователь [см.: Мочульский, с. 48]. Но еще Чижевский нашел это объяснение слишком наивным: «...Почти невозможно сомневаться в том, что склонный к религиозным увлечениям Гоголь мог искать по крайней мере ответов на свои религиозные запросы у польских “patres”» [Чижевский, 1951, с. 142]. Действительно, общение Гоголя с поляками проходило на почве общего его умонастроения в эту пору.

Семенов писал о весьма критическом настрое Гоголя по отношению к России. Но об этом же говорят и прямые его высказывания, особенно в связи с гибелью Пушкина: «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных?» и т. д. Впрочем, об этом мы уже подробно говорили. Не менее красноречиво и замечание Гоголя о прибывшей в Рим «ватаге русских»: «как несет от них казармами, — так просто мочи нет» [XI, 141]. Слово «казарма» здесь, как сегодня говорят, вполне знаковое; это, употребляя выражение А. Кочубинского, «синоним известного образа мыслей».

Из сообщения того же Семенова следует, что Польша противопоставлялась России по главному признаку — наличию (и соответственно) отсутствию единого, объединяющего начала. Мысль о таком начале действительно давно занимала Гоголя. В статье «О средних веках» («Арабески», 1835) он в связи с этим не пожалел красок для возвеличения роли Папы. «Главный сюжет средней истории есть папа. Он — могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовержец, одним мановением своим правит их судьбою» [VIII, 17]. Власть Папы обеспечила единство христи-

анской Европы в критический период ее истории; это — как «подмости и лес для постройки здания».

Гоголевские рассуждения несколько напоминают защиту «папизма» П. Я. Чаадаевым в его «Философических письмах», в которых католический Рим выступает как «видимый знак единства, а вместе с тем и символ воссоединения» христианства. Гоголь не распространяет значение этого «символа» на Новое время, у него роль Папы хронологически локализована. Однако у этой роли есть некий исторический урок, наставительный пример — для современности и особенно для русских, для России, где подобное единое, объединяющее начало отсутствует. Мысль о таком единстве образовала одну из констант гоголевской художественной философии; эта константа в форме как бы *негативной телеологии* (употребляем это понятие по аналогии с «негативной антропологией») вошла в основу «Ревизора» [см. подробнее: Манн, 1996, с. 169 и далее]; она в значительной мере определяла построение той книги, над которой писатель в настоящее время работал, — «Мертвые души». Вспомним хотя бы противопоставление нынешнего, раздробленного, раздираемого противоречиями и частными интересами состояния России эпохе «двенадцатого года». И вполне естественно в этом контексте, что именно умонастроение поляков, единство их действий и мыслей вызывали у Гоголя сочувствие и интерес. Речь идет не о поддержке им конкретных политических, повстанческих, революционных целей, но об ощущении внутренней, духовной цельности как позитивного начала.

В сущности Гоголь продолжал ту критику своекорыстия, карьеризма, подлости российского общества, которая годом раньше поразила другого его польского знакомого — Юзефа Богдана Залеского...

По словам собеседников Гоголя, тот в своей оценке Польши больше всего опирался на литературу («...Что за люди, что за литература, что за надежды!»). Конечно, подразумевался в первую очередь Мицкевич. Семененко и Кайсевич сообщают, что Гоголь отзывался о Мицкевиче «с самым большим уважением»; и в другом месте, что «говорили долго» о «Пане Тадеуше». Достоверность этого сообщения подтверждается тем, что вскоре (23 апреля н. ст. 1838 г.) Гоголь напишет А. Данилевскому в Париж: «...Пожалуйста, купи для <меня> новую поэму Мицкевича, удивительную вещь, Пан Тадеуш. Она продается в польской лавке...» [XI, 133]. Кроме того, предметом разговора с Гоголем служила «Небожественная комедия» Зыгмунта Красиньского; автора «Мертвых душ» это произведение могло заинтересовать тем, что здесь отчетливо ощущались традиции поэмы Данте.

Наконец, Гоголь сообщил своим польским знакомым, что читает Мерославского, что «он ему нравится, за исключением путаницы и шаржа». Тогда поляки, в свою очередь, посоветовали ему для совершенствования в языке познакомиться с творчеством Мохнацкого. Очевидно, смысл этого совета таков. Людовик Мерославский (1814–1878),

участник восстания 1830–1831 гг., издал в Париже «Histoire de la revolution de Pologne» (1836–1838), которую скорее всего и читал Гоголь. Поляки же рекомендовали ему другую книгу, тоже посвященную восстанию и тоже написанную его участником — Маурицием Мохнацким (1804–1834), но на польском языке (издана также в Париже, в 1834 г.).

Любопытно и замечание Семеново о том, что «Гоголь занимается русскою историей» [Кочубинский, кн. 2, с. 671]. При всей неожиданности этого свидетельства (ведь, кажется, Гоголь, давно оставив исторические труды и посвятил себя целиком «Мертвым душам») оно не единичное, во всяком случае — вписывается в определенный контекст. Ведь и Залеский, мы помним, говорил о собирании Гоголем обширной коллекции материалов по славянскому фольклору. А 15 апреля ст. ст. 1838 г. писатель просит Н. Прокоповича достать ему «книг относит<ельно> ист<ории> славянской и русской, русских обрядов, праздников и раскольничьих сект...» [XI, 134]. Чуть позже, 23 октября того же года, А. И. Тургенев, встретивший Гоголя в Париже, записал в дневнике, что тот «пишет рус<скую> ист<орию> в политическом отношении, объясняя происхождение русских городов и пр.» [Гиллельсон, с. 138].

Семеново говорит об исторических штудиях Гоголя в русле его общих, очень импонирующих ему взглядов («здесь у него весьма светлые мысли»). Значит, даже если Гоголь в действительности и не писал упомянутой «истории», рассуждал он на соответствующие темы столь подробно и заинтересованно, что у собеседников могло возникнуть твердое убеждение: такая работа пишется...

Между тем реальная история, затеявшаяся интрига — с обращением Гоголя в католичество — постепенно сошла на нет. 6(18) мая 1838 г. Волконская отправилась в длительную поездку, в Париж, позднее в Россию. Гоголь продолжает встречаться с поляками. Но вскоре, в июле того же года, и он оставляет Рим, вернувшись сюда лишь в октябре. Исследователь «католического эпизода» полагает, что «общение между обоими помощниками княгини Зинаиды и Гоголем и после продолжалось, но уже менее близкое...» [Кочубинский, кн. 2, с. 672]. Решительного шага Гоголь не сделал, католичества так и не принял. Спрашивается: почему?

Прежде всего именно в силу того убеждения, которое он высказал матери еще в декабре 1837 г., до встречи с поляками. «Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую». Кроме того, принять католичество из рук поляков, эмигрантов или, во всяком случае, под их влиянием — значит сделать не только религиозный, но и общественный, политический шаг. Такой шаг мог показаться Гоголю чрезмерным. Одно дело — без предубеждений, сочувственно относиться к борьбе поляков, глубоко ценить те объедини-

тельные духовные и религиозные начала, которые она выражает и которые, увы, недостают России; другое дело — открыто встать на сторону официального противника. Гоголь и так позволил себе многое, гораздо больше, чем чиновники Ватикана, боявшиеся действий российской власти, а ведь он был подданным этой власти!

Гоголь отлично сознавал нелегальное положение людей, с которыми вступал в отношения; те сообщали, например, что, доставая для них книги у священника русского посольства, он брал их якобы для себя: Гоголь «предупрежден о нашем положении (т. е. иллегальном — пояснение Кочубинского. — Ю. М.), а сам он, как замечено, благородной души». Добавим, что благородство свое Гоголь продемонстрировал не впервые: еще будучи учеником нежинской Гимназии высших наук, он старался, не в пример некоторым своим товарищам, дать такие показания по «делу о вольнодумстве», которые бы не повредили ни Белоусову, ни другим обвиняемым профессорам...

Об осторожности и предусмотрительности Гоголя свидетельствует и факт, отмеченный исследователем «католического эпизода»: ни в одном из писем этой поры, даже к таким близким друзьям, как Данилевский или Прокопович, он не проронил «ни ползвуча, ни малейшего намека о таких, во всяком случае близких знакомых поэта, как молодые Семененко и Кайсевич» [Кочубинский, кн. 2, с. 675]. Лишь однажды, сообщая об отъезде княгини Волконской, которая «услуждала» его «время пребывания в Риме», Гоголь добавил: «У меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми любила беседовать моя душа» [XI, 153].

Но дальше душевспасительных бесед, повторяю, дело не пошло. Конечно, отнюдь не в силу каких-либо внешних, как сегодня говорят, конъюнктурных причин не совершил Гоголь решающего шага, но по глубокому внутреннему самоощущению, как религиозному и общественному, о чем уже говорилось, так и писательскому, «профессиональному».

Во времена Гоголя переход в католичество находящихся в Риме русских был явлением не редким. Приняли католичество секретари русского посольства князь Федор Голицын и граф Штакельберг. Сам посланник И. А. Потемкин, у которого жена была католичка, получил выговор. «Кто знает, — писал по этому поводу тот же Семененко, — не сделает ли в конце концов того же шага и сам Потемкин, раз он впал в немилость». И действительно, такой шаг Потемкин впоследствии сделал...

Но то все были чиновники, хотя и высокого ранга. А Гоголь был русским писателем. И таковым он хотел остаться до конца.

Общение с поляками и — шире — римский опыт Гоголя не прошли бесследными для его творчества, особенно при переработке «Тараса Бульбы». Подробный разбор этого произведения (равно, как и

других гоголевских художественных текстов) — не в русле настоящего исследования. Нас интересует лишь то, как преломился здесь «католический эпизод»⁶⁹.

Среди новых сцен, введенных во вторую редакцию повести (опубликована во 2-м томе «Сочинений Николая Гоголя». СПб., 1842), — сцена в монастыре в осажденном запорожцами городе Дубно. Андрий вместе с татаркой пробирается земляным коридором: блеск лампы высветляет «свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо *рыцаря*». Подчеркнутое нами слово полно смысла, воскрешая в сознании рыцарство как нравственно-эстетическое явление.

Обычно если это слово и применялось к запорожцам (Тарас желает сыновьям защищать «всегда честь *лыцарскую*»; после измены Андрия повествователь говорит, что тот «пропал для всего козацкого рыцарства», и т. д.), то лишь в значении воинской отваги, верности козацкому долгу и в связи с этим отвращения к «нежбе». Но в настоящем случае важно именно чувство к женщине, любовь, переживаемая с той полнотой и напряженностью, которые в европейском культурном сознании связывались именно со средними веками, «средневековым романтизмом», с рыцарством. Андрий пробирается к «даме сердца» как рыцарь, и затем семантика рыцарства будет сопровождать его свидание с полячкой. Красавица говорит, что все «*шляхетство*», «все что ни есть цвет нашего *рыцарства*» домогалось ее любви, а она «мимо лучших витязей» причаровала сердце «к чуждому, к врагу нашему». Андрий же, в свою очередь, сожалеет, что не может говорить полячке о своей любви так, как говорят в тех краях, «где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном *рыцарстве*».

Россия не имела своих средних веков, своего рыцарства (тоже излюбленный тезис общественного сознания гоголевской эпохи, на этот раз русского сознания), а Польша как страна западная и католическая — имела; поэтому переход Андрия на сторону противника не может быть интерпретирован в тривиальном смысле измены и предательства; это точка зрения запорожцев, но не повести в целом. Поступок Андрия сложно-трагически соотнесен с «коллективистской» идеологией «козацкого рыцарства», не признающей права сердца со всеми его тонкими движениями, таинственной жизнью духа и непререкаемостью индивидуального выбора.

Переживание любви неразрывно связано с другим — непосредственно религиозным. Все дальнейшее течение упомянутой сцены в монастыре привязано к восприятию Андрия. Это значит, что вводится точка зрения человека, для которого католик — нечто вроде супостата. И что же видит и переживает такой человек? «Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры». Костел вызывает ассоциации с Киево-Печерским монастырем, цитаделью православия, а затем Андрий и вовсе делает открытие, перечеркивающее всю религиозную догматику его единоверцев:

«Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и оболщений». Гоголевский персонаж словно приближается к мысли самого автора о том, что «как религия наша, так и католическая, совершенно одно и то же...».

Дальнейшее развитие сцены в костеле: Андрия «невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило». Тут очень характерно сходство движений с обеих сторон, Андрия и католического монаха, а именно — отчуждения и его постепенного преодоления; характерно и наречие «бесчеловечней»: будучи формально авторским словом, оно опять-таки привязано к восприятию Андрия, оформляет его внезапно прозревшее ощущение творимых запорожцами жестокостей.

Следуют описания молящихся — паствы и священника. «Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, о удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастья». Уже отмечалась (В. Шенроком) связь этого описания с соответствующим местом из письма к М. П. Балабиной, рисующим его, гоголевские, переживания в католическом храме (см. с. 506). Вся эта гамма религиозных ощущений передана в «Тарасе Бульбе» «врагам», раскрывая их внутренний мир с человеческой стороны, вызывающей и понимание и сочувствие.

Увенчиваются же переживания Андрия в костеле ощущением внезапного «чуда», создаваемого «розовым румянцем утра», «сиянием» вокруг алтаря и, наконец, «величественным ревом органа». «Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые грохоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые ропоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрия с полуткрытым ртом величественной музыке».

Еще в статье «Скульптура, живопись и музыка» («Арабески», 1835) Гоголь описывал потрясающее действие органной музыки «под бесконечными, темными сводами собора, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремится она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни». Это было написано по личным впечатлениям, испытанным Гоголем во время его первого путешествия за границу в августе—сентябре 1829 г., в Любеке или Гамбурге. Теперь у Гоголя был более богатый опыт знакомства с западно-европейскими, прежде всего католическими, хра-

мами, — опыт, который еще более обострил ощущение объединяющей, суггестивной силы религиозного переживания. В этом переживании свободно соединяются сокровенные движения сердца и деятельная воля, индивидуально-тонкие ощущения (замечательно различение в реве органа звуков, напоминавших «тонкие девичьи голоса!») и общенациональное чувство. Но именно такое соединение, по словам Семеновко, привлекало внимание Гоголя к польской жизни, контрастирующей с положением вещей в России («сверху идет сила, но внутри нет духа»).

Г. П. Федотов отмечал: «Гоголь дал в “Тарасе Бульбе” ликующее описание еврейского погрома. Это свидетельствует, конечно, об известных провалах его нравственного чувства, но также о силе национальной или шовинистической традиции, которая за ним стояла». Это высказывание замечательного русского мыслителя требует комментария. Гоголь, конечно, не мог превращать своих героев-запорожцев в выразителей идей Просвещения или носителей гуманистического идеала; ощущение исторической дистанции достаточно отчетливо выдержано повествованием, локализирующим проявления жестокости и невежества определенными обстоятельствами и временем. Однако вывод Федотова обоснован, поскольку еврейская масса в повести, начиная с Янкеля и кончая какими-нибудь Шлемой и Шмулем, изображена главным образом, если не всецело, с точки зрения козаков; все человеческое, теплое, сердечное, могущее вызвать сочувствие, исключено из этого изображения. Не то — изображение поляков; тут и «традиция», о которой упоминает Федотов, была другая и личный опыт Гоголя, прежде всего заграничный, иной.

Владимир Солоухин даже утверждал, что у Гоголя была тайная любовь к полякам⁷⁰. Во-первых, как мы видели, не такая уж тайная. А во-вторых, это чувство следует понимать гораздо шире — в русле гоголевского восприятия западного европеизма и католицизма, заключавших в себе перспективное начало и индивидуализации человеческих чувств и их объединения в одно целое.

ПОД НЕАПОЛИТАНСКИМ НЕБОМ

Вернемся к хронологии гоголевской биографии. Еще до первого приезда в Италию, в Париже, писатель вместе с Данилевским мечтал добраться до Неаполя.

Вообще говоря, Неаполь служил почти обязательным пунктом программы русских путешественников. Здесь еще до Гоголя жил Шевырев; впоследствии сюда наведуются Золотарев, Погодин, тот же Шевырев, художник Айвазовский, наследник престола Александр...

От путешествия в Неаполь, на юг Италии Гоголя прежде удерживала боязнь жары. Но к лету 1838 г. он чувствовал себя сносно и решил отправиться в путь. Выехал в начале июля; 30-го числа уже

писал матери из Неаполя, что перемена места не оказала на него никакого плохого действия, что он даже не потеет и не устает, впрочем, может быть, оттого, что мало двигается.

Вид Неаполя поразил Гоголя — и море, «голубое как небо»; и «лиловые и розовые горы»; и дома с гладкими, «как платформа», крышами, на которых по вечерам сидят или прохаживаются люди; но особенно виднеющийся вдали Везувий, который только-только пробудился от спячки. «Спектакль удивительный! Вообразите себе огромный фейерверк, который не перестает ни на минуту <...>. Громы, выстрелы и летящие из глубины его раскаленные красные камни, все это — прелесть! Еще четыре дня назад можно было подыматься на самую его вершину и смотреть в его ужасное отверстие. Теперь нельзя. Доходят только до половины...» [XI, 163—164].

Сам Гоголь, кажется, на Везувий не взбирался, но на месте все же не сидел. Побывал на Капри, где посетил знаменитый голубой грот. Трудно представить себе, чтобы он не посетил также и Помпею, где с 1820-х годов велись планомерные раскопки. Летом 1829 г. здесь бродил Шевырев, описавший это событие в очередном своем итальянском письме: «Прогулка русского путешественника по Помпее...» [МВ. 1830. № 1, 2].

Гоголь упомянет Помпею лишь однажды, в более позднем московском письме, от 30 марта 1849 г., сравнивая ее с «Домостроем»: «как по развалинам Помпей древний мир» открывается, так в «Домострое» «обнаруживается с подробнейшей подробностью вся древняя жизнь России» [XIV, 110].

Некоторое время Гоголь проживал не в самом Неаполе, а в маленьком местечке недалеко от города — Кастеллеламаре. Здесь в эту пору находились Репнины, знакомые Гоголю еще по Баден-Бадену, а потом по Риму. В двух дачах разместилось многочисленное их семейство: родители — князь Николай Григорьевич и княгиня Варвара Алексеевна, и трое детей. Двое из них, Василий Николаевич и Елизавета Николаевна, также жили семейно (последняя была замужем за Павлом Ивановичем Кривцовым, секретарем русского посольства в Риме, впоследствии попечителем колонии русских художников), а незамужняя Варвара Николаевна проживала вместе со своей хорошей знакомой Глафирой Ивановной Дуниной-Барковской. После отъезда Василия Николаевича Гоголь поселился на его даче; при этом он часто заходил и к Варваре Николаевне. Обедал Гоголь также у Репниных. В их дом был еще вхож молодой архитектор и искусствовед Дмитрий Егорович Ефимов, с которым Гоголь, по воспоминаниям Варвары Николаевны, «постоянно спорил». Как мы помним, он был знаком с Ефимовым еще по Риму.

Увы, надежды Гоголя, что в Неаполе он будет себя чувствовать сносно, не оправдались. «Недуг, для которого я уехал и который было, казалось, облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась в желудок», — писал он Погодину. Жаловался

он и Репниным, не стесняясь присутствия дам. «...Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги; мы жили в его желудке» [РА. 1890. № 10. С. 228], — вспоминает Варвара Николаевна.

Преодолевая недомогание, Гоголь продолжает работу над «Мертвыми душами», и первые главы поэмы читает Репниным (Варвара Николаевна, запомняв, писала, что это был 2-й том, но Гоголь к нему тогда еще не приступил). Занимают его и другие планы (из того же письма Погодину: «О, друг! какие существуют великие сюжеты») — по-видимому, обширное историко-политическое сочинение, о котором шла речь в Риме. Но, может быть, от этого замысла уже отпочковалась идея будущей драмы из украинской истории.

В Неаполе Гоголь узнал о том, что Данилевский в Париже стал жертвой жульнических операций и сидит совершенно без денег. Гоголь тотчас же решил прийти на помощь: просит у Погодина вексель на две тысячи рублей, договаривается о переводе через банкира Валентини большей части этой суммы в Париж, для чего выпрашивает у Варвары Николаевны Репниной поручительство ее влиятельного родственника Кривцова... Обращает на себя внимание, что ни Погодину, ни Репниной Гоголь ни слова ни сказал, что помогает другу, сославшись лишь на то, что деньги ему нужны — «вследствии полученных мною разных известий». Позы благородного выручателя Гоголь избегает. Позднее такую же тактику он применит, помогая студентам.

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

Гоголь предполагал после полуторамесячного пребывания в Неаполе вернуться в Рим. Но известие, что Данилевский в Париже, меняет его планы. 28 августа н. ст. он уже в Ливорно; затем морским путем добирается до Марселя. В сентябре — Гоголь в Париже, с Данилевским.

Из Парижа Гоголь отправляет взволнованное письмо княжне Репниной. Благодарит, что она помогла ему «принести облегчение в горе» другому человеку (имя Данилевского не упоминается), и сожалеет, что в Неаполе был перед нею «скучен» и произносил «косноязычные речи». «...Я глядел на вас благоговейно, как благочестивый пилигрим глядит на святыню, но я довольствовался тем, что приносил вам жертву безмолвно в сердечной глубине моей» [XI, 172]. Гоголь заговорил чуть ли не пушкинскими словами («...перед *святыней* красоты», «я вас любил *безмолвно*...» и т. д.)...

В Париже Гоголь снова встретился с А. И. Тургеневым (предыдущая их встреча — годом раньше во Франкфурте-на-Майне). 23 октября Гоголь был у него в гостях, говорил о своей привязанности к Италии («полюбил Италию и хочет умереть там»), читал привезенные с собою стихи Зинаиды Волконской на пожар Зимнего дворца, к тому

времени еще не опубликованные. Чем могло привлечь гоголевское внимание это стихотворение — «Песнь Невская. 1837»?

Выгорел Зимний дворец, детище итальянца Варфоломея Растрелли. Здание реставрируют, перестраивают. И вот возникает параллель к строительству другого «здания» — русской поэзии.

А искусство у нас ведь привозный цвет;
Хоть привозный цвет, да сроднился он
С почвой Русскою, с Русским разумом.
Грудь ее уж полна семян собственных.
Ах расти, южный цвет, ты на Севере!
Ты в теплице цвети, как на солнышке!
И туда ведь глядит оно ясное,
Ветер ласковый, сила южная,
Благодатная роса райская!

[РА.1872. {Без указания тома}. С. 1979—1982]⁷¹.

Стихотворение отвечает собственно гоголевскому состоянию, в котором совершался его труд — атмосфере благодатного и ласкового тепла. Но близок автору «Мертвых душ» и другой оттенок смысла: хоть и сильны в его творении, как в русском искусстве в целом, заемные «южные» импульсы (один Данте чего стоит!), но они органически укоренились в русской почве, производя нечто неповторимо оригинальное и самобытное.

После Волконской Гоголь обещал на следующий день прочитать «что-то» свое. Это были «Мертвые души». 24 октября Тургенев записал в дневнике свои впечатления: «Верная, живая картина России, нашего чиновного, дворянского быта, нашей государственной и частной, помещицкой нравственности <...>. Характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут; и смешно и больно!» [цит. по: Гиллельсон, с. 138].

Тургеневу было свойственно восприятие российских событий, общественных и литературных, в критическом духе, что, надо сказать, находило отклик в душе Гоголя. Год назад под влиянием тургеневского рассказа об обстоятельствах гибели Пушкина Гоголь написал горькие слова о России [см. с. 492]. Теперь, в унисон с Тургеневым, писатель скажет о том, что ему для продолжения его труда необходимо «гневное расположение» «на мою любезную Россию», ибо, «только рассердившись, говорится правда» (письмо от 7 ноября н. ст. 1838 г. — [XI, 182]).

Во время визита Гоголя к Тургеневу «пришел к <господину> Голицыну — очевидно, Федор Федорович Голицын (1794—1854), чиновник русского посольства в Париже, — и хозяин познакомил его с писателем» [Гиллельсон, с. 138]. Но продолжать чтение поэмы в присутствии нового человека Гоголь, по-видимому, не стал.

Неизвестно вообще, читал ли Гоголь кому-нибудь еще главы из «Мертвых душ», но весть о новом его произведении мгновенно рас-

пространилась в кругу русских. Буквально вечером того же дня, 24 октября, Тургенев посетил салон С. П. Свечиной. «...Там одни русские: Голицын, два Гагарина, Полуектова, дочь ее». Говорили «много о романе Гоголя» [Гиллельсон, с. 138].

Потекли от Тургенева сведения о «Мертвых душах» и в Россию, в провинцию. 25 октября он «описал роман Гоголя» своему двоюродному брату Ивану Семеновичу Аржевитинову, жившему в Симбирске. В этот же день, кстати, Тургенев нанес ответный визит Гоголю.

Это значит, что Гоголь изменил свой первоначальный план пробы в Париже «не более недели» [XI, 172] и прожил здесь более месяца. По-видимому, встретив не только Данилевского, но и других земляков, он решил устроить себе небольшие каникулы. Среди этих земляков — Константин Андреевич Квитка, племянник известного писателя, окончивший нежинскую Гимназию высших наук в 1831 г., тремя годами позже Гоголя, и занимавший должность судьи в Лубнах [Лицей. 1881. Отд. II. С. СXXXIV]. Затем — Межаковы, вологодские помещики; старший из них был предводителем дворянства в Вологде. И еще Мантейфель и Аполлон Илларионович Козлов, брат Николая Илларионовича, впоследствии известного врача, доктора медицины и профессора [Шенрок, т. 3, с. 203; гоголевский биограф указывает, что сведения об этих лицах получены им от А. С. Данилевского].

Уже покинув Париж, 28 октября⁷², из Лиона Гоголь с удовольствием вспоминает о совместной жизни во французской столице, прибегая к знакомой нам озорной символике: рестораны — это «храмы», официанты и слуги — «жрецы», процесс поглощения пищи — «богослужение»...

Гоголь жалел, что выбрал в Италию путь через Лион, минуя Швейцарию: в Женеве он мог бы вновь, в третий раз, встретиться «с вдохновенным Мицкевичем, что мне представляло не мало удовольств<ия>» [XI, 173].

ТРЕТЬЕ «ЧТЕНИЕ» ИТАЛИИ

В первых числах ноября 1838 г. Гоголь опять в Риме. Ему предстояло прожить здесь зиму и весну — до начала июня следующего года.

Италия вновь ослепила его «потоком света», а собор Святого Петра показался больше обычного, его купол вырос и раздвинулся.

Гоголь — в своей обжитой квартире на via Felice. № 126. Очередная приходская книга (за 1839 г.) сообщает, кто был его соседями: на нижнем этаже среди прочих — сапожник; на первом этаже — некий испанский князь; на втором — владелец недвижимости; на третьем (напомним, это этаж Гоголя) — среди других два иностранца «с подозрением, католики ли они», «один поляк» [?] Г[?]] Имя Гоголя

опять не попало в приходскую книгу, но возможно, он подразумевается под литерой Г, т. е. G [Гасперович, с. 90].

Если же расширить взгляд до перспективы улицы, района, то и здесь виды привычные. «Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узеньки<ми> рыженными бородками и те же козлы, тоже с узенькими бородками; те же разговоры и о том <же> говорят, высунувшись из окон, мои соседки. Так же раздаются крики и лепетания Анунциат, Роз, Дынд, Нанн и других...» [XI, 197].

Но, к удивлению своему, Гоголь вдруг почувствовал, что на этот раз ему труднее «приладить» себя к итальянской жизни. Может быть, потому, что лучшее уже позади. «Рим мне кажется теперь похожим на дом, в котором мы провели когда-то лучшее время нашей жизни и в который теперь приезжаем и находим, что дом продан; из окон выглядывают какие-то глупые лица новых хозяев... словом, грустно» [XI, 184]. А может быть, потому, что вообще уже притупились чувства и наступает... старость! «Мы приближаемся с тобою, — пишет Гоголь Данилевскому, своему ровеснику, — (высшие силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянеющие силы, увы, часто не в силах вызвать их в наружу...» [XI, 196]. Что же это за возраст? «Роковые 30 лет»... Рубеж этот настолько сильно запечатлеется в сознании Гоголя, что он вернется к нему спустя почти десять лет в одной из статей «Выбранных мест...»: «По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не продвигается...» [VIII, 264].

Не один Гоголь — многие его соотечественники болезненно переживали именно тридцатилетний рубеж. «Мне уж скоро тридцать лет, а никто меня не любит...» — жаловался Иван Ключников, поэт из кружка Николая Станкевича. Другой поэт из того же кружка Василий Красов писал Белинскому: «Не забыл ли ты, любезный Камрад (товарищ — нем.), что нам уже с тобою по 30 лет? <...> Прокипела наша горячая молодость и выкипела чуть ли не до дна. Но что ж делать. Всему есть свой черед». Может быть, они помнили фразу из «Евгения Онегина»: «Ужель мне скоро тридцать лет?»...

В свете гоголевского ощущения «рубежа» проясняется смысл одной его шутиливой заметки, ставшей известной сравнительно недавно благодаря публикации Романа Якобсона и Баяры Аругюновой. Говорю о записи в альбом Марии Власовой — эта запись по ее расположению среди других датируется 1837–1839 гг. Но вначале — о самой владелице альбома.

Мария Александровна Власова (1787–1857), урожденная княжна Белосельская-Белозерская, имевшая также другое имя — Мария Магдалена или Мадлена, — была старшей сестрой Зинаиды Волконской. После смерти мужа камергера А. С. Власова (1825) она жила с сест-

рой, сопровождала ее в поездке в Италию и осталась здесь навсегда (обе сестры найдут последнее пристанище в церкви San Vincenzo ed Anastasio возле фонтана Треви).

Мария Власова была доброй и отзывчивой женщиной, но в отличие от своей сестры не выделялась умом и сообразительностью, что побуждало Гоголя к розыгрышам и шуткам. По словам гоголевского биографа, восходящим, очевидно, к свидетельству Варвары Николаевны Репниной, писатель «добродушно подсмеивался» над Власовой и «как юморист любил копировать» ее [Шенрок, т. 3, с. 210]. Однако в записи, сделанной в упомянутом альбоме, Гоголь подтрунивает не столько над Марией Александровной, сколько над самим собою.

«Как ни глуп Индейской петух, как ни глуп Руской, выехавший за границу и жалеющий что при нем нет крепостного человека, как ни глупы Фрак и Мундир, два глупейших произведения XIX века; — но вряд ли они все вместе глупее моей головы. Ничего решительно не могу Вам из нее выкопать, Марья Александровна! Чепуха и дичь в ней такая как в Руском губернском городе; а безтолково как в комнате хозяина на другой день после заданной им вечеринки, которою он сам был недоволен, над которою потрунили вдоволь гости и после которой ему остались только: битая посуда, нечистота на полу и заспанные рожки его лакеев. —

Вот что должен сказать вам, хотевший бы сказать что нибудь хорошее, и весьма благодарный вам за Ваше расположение

Гоголь»

[Яacobсон, Арутюнова; с. 236; сохраняется орфография оригинала. — Ю. М.].

Сквозная идея этого пассажа та же, что и в упомянутом выше письме Данилевскому, — о слабеющих силах души, отвердевающей коре, сквозь которую все труднее пробиться мысли и чувству. Идея глубоко личная, выстраданная, впрочем, находившая в это время и позже отражение и в художественных текстах, в «Мертвых душах» прежде всего. «Чепуха и дичь» в альбомной записи воскрешают в памяти пустынность и невыразительность российских пространств, «*чушь и дичь* по обеим сторонам дороги» (отмечено Р. Яacobсоном и Б. Арутюновой); ощущение неловкости и недовольства собою заставляет вспомнить состояние Чичикова после происшествия на балу: «Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там».

А упоминание глупого русского, выехавшего за границу без крепостного человека, отражает личный опыт общения с отечественными путешественниками, с которыми Гоголь самокритично, на некоторое время готов себя отождествить.

Теперь Гоголя больше, чем раньше, раздражают русские путешественники в Риме — своим невежеством и ограниченностью. Один из них, некто Б-ский (очевидно, Базилевский — см.: Шенрок, т. 3, с. 209)), оказавшись в соборе Святого Петра, спросил у чичероне: «А где же

Павел? Ведь тут и Павел должен быть». Любопытного путешественника попутало название Петропавловской крепости в Петербурге...

И при том еще приезжие русские, по словам Гоголя, очень недовольны были Римом «за то, что в нем нет отелей и магазинов, таких как в Париже, и кардиналы не дают балов» [XI, 194].

В поисках рассеяния Гоголь заочно беседует со старыми друзьями — пишет Данилевскому в Париж, Марии Петровне Балабиной в Петербург, княжне Варваре Николаевне в Пизу.

Его тон беседы с Балабиной по-прежнему дружественно шуточный. Гоголь передает разные любовные истории, случившиеся в Риме; но касается и предметов вполне серьезных, например высказывает свое мнение (сугубо отрицательное) об «Истории Франции» Жюлья Мишле и «Истории русского народа» Николая Полевого. Оба труда Гоголь, очевидно, вспомнил в связи с работой над собственным историческим сочинением.

В первые же недели римской жизни писатель принимается за доработку «Ревизора», обдумывает, а может быть, уже и пишет драматические сцены, основанные на материале незаконченного «Владимира 3-ей степени», то есть «Тяжбу», «Лакейскую» и «Отрывок».

К концу 1838 — началу 1839 г. в Рим нахлынула ватага русских: Шевырев с женой, Жуковский, историк и археолог Александр Дмитриевич Чертков и его жена Елизавета Григорьевна, позднее Погодин с женою... Особенно обрадовал Гоголя приезд Жуковского, который прибыл в Рим 4(16) декабря в свите великого князя наследника Александра Николаевича.

Остановились оба на Piazza S-ti Apostoli, palazzo Scacciapiatti. № 42 [Боткин М., с. 149].

Жуковский известил Гоголя о своем приезде запиской, и тот еле дождался условленного часа. «Свидание наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было: Пушкин. Поныне чело его (Жуковского) облекается грустью при мысли об этой утрате» [XI, 195].

Через день, 6(18) декабря великий князь устроил обед для «всех русских»; в числе приглашенных был, кажется, и Гоголь [ср.: XI, 192].

А потом последовала длинная череда визитов, встреч, осмотров, выездов за город; и почти всегда Жуковского сопровождал Гоголь. Для него началась пора интенсивного общения и с итальянцами и с соотечественниками.

В дневнике Жуковского отмечено, что 7(19) декабря он был у итальянского скульптора Пьетро Тенерани и у немецкого художника Фридриха Овербека. Потом — у русского художника Федора Антоновича Бруни, только что вернувшегося из Петербурга в Рим для завершения «Медного змия». «Все сии осмотры вместе с Гоголем» [Жуковский, 1903, с. 447].

Вечером того же дня были у Зинаиды Волконской; присутствовал и Шевырев; это дало Жуковскому повод для сравнения: «Шевырев

вечно на кафедре и все готовые, округленные, школьные мысли; Гоголь весь минута. Он живет Италией и в то же время, кажется, видит, что ему не долго жить; всегда живописен и часто забавный. Живет близ Piazza Barberini (т. е. на улице Феличе. — Ю. М.), где, как говорит, прогуливаются только козлы и живописцы» [Жуковский, 1903, с. 447]. Гоголь, как видим, любил повторять эту остроуту.

Спустя два дня, 9(21) декабря, Жуковский вновь с Гоголем. В тот же день утром у Жуковского были Александр Иванов, другой русский художник Семен Афанасьевич Живаго и декоратор Никитин, а после встречи с Гоголем состоялось посещение мастерской датского скульптора Торвальдсена [там же, с. 446]. Возможно, Жуковского сопровождал Гоголь.

Но точно известно, что на следующий день Жуковский вместе с Гоголем были у Александра Иванова и рассматривали его картину «Явление Мессии».

На другой день Гоголь с Жуковским на обеде у княгини Волконской. Были ее муж князь Никита Григорьевич Волконский, Шевырев и Бруни. Обед происходил на вилле Волконских. «Прекрасный вид с эспланады, весь Лациум» [там же, с. 449].

Два дня, 16(28) и 17(29) декабря, Жуковский и Гоголь посвятили прогулкам по городу. Были в церкви Санта Мария в Cosmedin, осмотрели кафедру и стул Августина, подземную церковь с гробницами мучеников. Потом — Сан Джованни в Fiorentini, Белая церковь...

Обедали у П. В. Кривцова, сотрудника русской миссии.

Вечером того же дня (17(29) декабря) произошло событие, на которое Гоголь возлагал большие надежды: будучи приглашенным к наследнику, он решил прочитать свое произведение, скорее всего — главу из «Мертвых душ». Увы, чтение оказалось «неудачное», как отметил в дневнике Жуковский.

Утром следующего дня у Жуковского были Гоголь и Антонио Нибби, итальянский археолог, профессор, проводивший в это время раскопки в Риме.

А потом снова вместе с Гоголем осмотр достопримечательностей. Санта Мария дель Пополо, Сан Карло, Тринита дель Монти...

В перерыве между прогулками и визитами Гоголь читал Жуковскому «Мертвые души». Известно три таких чтения: 30 декабря (11 января 1839), 6(18) января и 17(29) января. После второго чтения Жуковский отметил в дневнике: «Забавно и больно». Каждый раз Гоголь, видимо, читал по одной главе и закончил третьей, посвященной Коробочке.

18(30) января праздновали день рождения Гоголя (дата была выбрана ошибочно; на самом деле писатель родился 20 марта ст. с.). Утро выдалось дождливое. Жуковский ездил вначале рисовать к капуцинам, потом — на виллу Волконской, где проходило чествование. С. Шевырев прочитал стихи, опубликованные затем в «Москвитяине» (1842.

№ 1) под названием: «К Г<оголю> при поднесении ему от друзей нарисованной сценической маски в Риме, в день его рождения»⁷³.

Что ж дремлешь ты? Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска.
<.....> возьми
Ее — взглядишь в шутливую улыбку
И в честный вид — ее носил Гольдони.
Она идет к тебе...

Шевыреву было известно о работе над поэмой, но он знал также, что у Гоголя есть неопубликованная «Женитьба» (читанная москвичам еще в мае 1835 г.) и другая отложенная в сторону комедия, «Владимир 3-ей степени». Шевырев поощряет прежде всего комедийное творчество Гоголя, задавая вопрос, не слышит ли он «далекий, резвый, добрый хохот // С брегов Невы, с брегов Москвы родимой?» —

То хохот твой — веселья чудный пир,
Которым ты Россию угощаешь,
Добро великое посеяв в ней...

Пусть Гоголь поскорее наденет сценическую маску —

И новый пир, пир Талии, задай,
Чтобы на нем весь мир захохотал,
Чтобы порок от маски задрожал...

Гоголю напущение Шевырева понравилось. Позднее он писал автору, впадая в комплиментарный тон, что любит перечитывать стихи — «и мне кажется, что я слышу Пушкина» [XI, 247]...

Друзья Гоголя хотели бы, чтобы не только его творения, но и сам автор поскорее вернулся на берега Москвы и Невы. 30 декабря Плетнев писал Жуковскому в Рим: «...У вас теперь под рукой Гоголек <...>. Что он там делает? Думает ли возвращаться сюда? Ужели он забыл, что в конце нынешнего года (1839) его сестры выйдут из института?» [Плетнев, с. 531—532]. Гоголь про это не забыл, но и покидать Италию не торопился.

Вскоре, 23 января (4 февраля), началась замечательная пора карнавала. Гоголь и Жуковский — в праздничной толпе. 26 января Жуковский записывает: «Мы в масках на омнибусе. Потом пальба с балкона Palazzo Ruspoli и церкви S. Carlo. Иллюминация Петра. Золотое кружево в ф<о>нарях». Через день, 28 января: «На Corso, по которому ходил пешком в толпе вместе с Гоголем и Бруни». В прошлом во время карнавала происходили вещи не очень веселые — издевательство над толпой евреев. Теперь процедура стала менее болезненной, хотя и по-прежнему унижительной, но праздничное настроение участников, в том числе русских, от этого не испортилось. «Церемония жидов в Капитолии. Прежняя скачка: жиды в мешках от Piazza del Popolo до Piazza di Venezia. Нынче только явление в Капитолий с платою 5000 пиастров за годовую dispensio» [Жуковский, 1903, с. 465].

В карнавале участвовал наследник, вернувшийся буквально накануне из двухнедельной поездки в Неаполь. Гоголь наблюдал за его реакцией. «Наш его высочество доволен чрезвычайно и, разъезжая в блузах вместе с свитой, бросает муку в народ корзинами и мешками и во что ни попало» [XI, 198].

До отъезда Жуковского из Рима они с Гоголем успели еще несколько раз побывать на вилле Волконской, где занимались рисованием; посетили архитектора Александра Семеновича Кудинова, принимавшего участие в восстановлении римских развалин; обедали вместе с Елизаветой Григорьевной Чертковой у графа М. Ю. Виельгорского...

Гоголевские визиты и встречи все-таки были немногочисленны на фоне той интенсивной светской жизни, которой — ввиду присутствия наследника со свитой — пришлось жить русским художникам. Поэтому после 1(13) февраля — день отъезда наследника и его сопровождающих из Рима — художники вздохнули с облегчением; об этом очень выразительно писал Александр Иванов своему отцу: «Мы все представлялись наследнику без бород и усов (это отражение Петербурга) и все время его здесь пребывания жили по-петербургски. Делали визиты то тому, то другому (из) приезжих, принимали к себе в мастерские князей да графов с фамилиями; толковывали итоги нашего здесь пребывания и наконец рады, рады были, что все это разъехалось, оставя нам (углубляться) опять (в блаженном) мирной и спокойный Рим (столь способный для воспитания <...>). Вместо бритвы, фрака и щеточек я взял кисти и палитру, и, одевшись в полуразбойничье платье, я подмалевывал мою большую картину и весьма ею недоволен» [Машковцев, 1982, с. 118–119]. Речь идет, конечно, о «Явлении Мессии».

Но для Гоголя отъезд наследника был грустным событием, ибо в его свите уезжал и Жуковский. Николай Васильевич пришел проводить Жуковского, а затем написал ему вдогонку: «Вот уже неделя, как вас нет в Риме, а я все еще нахожусь в таком состоянии, как будто бы вы уехали только сегодня поутру: то есть разинув рот, глупо глядя вслед уезжающей вашей карете и не зная потом куда направить шаги свои». И еще: «Доживу ли я <до> того времени, когда вновь сядем вместе оба с кистями?» [XI, 201, 203]⁷⁴.

Но не прошло и месяца, как в Рим приехал Погодин с женою — 8 марта н. ст. Это утешило и развлекло Гоголя. «Мы теперь живем вместе. Его комната с моею; завтракаем и говорим вместе» [XI, 210]. И снова Гоголь взял на себя приятную роль чичероне, которую он выполнял с особенным удовольствием, поскольку Погодин, в отличие от прежних гостей, Жуковского или Шевырева, впервые был в Риме. Свои странствия по городу Погодин описал буквально по дням в очерке «Месяц в Риме» (М., 1842. Ч. 1. № 2. С. 361–410) и затем в книге «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник» (М., 1844. Ч. 1–2).

«Г<оголь> потащил меня тотчас в Храм Св. Петра. Вот мост Св. Ангела, вот Тибр (Тибр!), вот мавзолей Андрианов, вот и площадь

Св. Петра с Сикстиновым обелиском. Вхожу в церковь и хожу как сумасшедший».

Тут Гоголь произвел свой любимый эксперимент, чтобы удивить новичка размерами собора. «Г<оголь> поставил меня у одного простенка и спросил — видишь ли напротив этих мраморных ангельчиков над чашею? “Вижу, ну и что же?” “Велики они?” “Что за велики — маленькие”. “Обернись-ка”. Я обернулся и увидел перед собою, под парю с тем, маленьким, двух почти колоссальных. Вот какова церковь!»

На другой день, 9 марта, после завтрака в *Cafe nuovo*, — продолжение осмотра. Корсо, Капитолий, Форум Романум... «Я совершенно обезумел. Глаза перебегали от одного предмета к другому». «Г<оголь> потащил меня дальше, мимо развалин храмов, с одной стороны, и огородов и пустырей, с другой». И вдруг открылся Колизей.

Вошли вовнутрь, прилегли у деревянного креста с распятием. «Как хорошо все это — и небо, и воздух, и этот плющ, и птички и прохожие, и часовни, и этот смиренный крест, под которым прилегло нас двое пришельцев с холодного, дальнего Севера, в глубоком размышлении...»

Погодин размечтался о том, чтобы «приехать сюда и пожить подольше»; пока же он обратился с пожеланием к своему спутнику. «Оставься, брат, здесь, сказал я Г<оголю>, пока тебе сладко. Не имею духа звать тебя отсюда и понимаю, что ты мог зажитья. Твои теперешние впечатления принесут отечеству плод сторицею».

На другой день, 10 марта Гоголь повел Погодина с женой в соборы *Santa Maria Maggiore*, *San Giovanni in Laterano*. В этот же день состоялся ряд встреч с художниками — с господином С., «который приехал сюда на год и живет тринадцатый, не видав, как пролетело время», — очевидно это Петр Андреевич Ставассер (1811–1850); и с «больным Ш., который рассказал нам любопытные подробности об истории Колизея», — это, конечно, Иван Савельевич Шаповалов (1817–1890), чья фамилия, ввиду его украинского происхождения, была переименована на «Шаповаленко».

Осмотрели Ложи Рафаэля в Ватикане и виллу Боргезе, и церковь *Santa Maria del Popolo* — это все в один день, 11 марта. А 25 марта Гоголь водил Погодина и Шевырева в мастерскую Александра Иванова. «Мы увидели в комнате г. Иванова ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который тотчас дает знать о принадлежности художнику <...>. Сам он в простой холстиной блузе, с долгими волосами, которых он не стриг, кажется, два года, не бритый недели две, с палитрою в одной руке, с кистью в другой, стоит один одинехонек перед нею (картиною), погруженный в размышления <...>. Час, проведенный с особенным удовольствием» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 85–86, 87].

Позже (6 апреля) Погодин с Гоголем и художником Рихтером ездили в Фраскати, в древний Тускул, любимое место Цицерона.

Конечно, Погодин мечтал познакомиться с «Мертвыми душами», и такая возможность чуть было не представилась. 24 марта Гоголь обе-

шал прийти к княгине Волконской и прочесть «что-нибудь из своих сочинений». Но не пришел: «мы прождали его понапрасну».

С помощью Гоголя Погодин узнавал быт и нравы итальянцев. Он, например, сделал вывод, что «нет города в Европе столько нечистого, как Рим». «Г<оголь>, как я в первый раз пришел к нему, выплеснул воду из какой-то огромной чаши за окошко. Помилуй, что ты делаешь это? Ничего, отвечал он, на счастливого!» После этого Погодин старался всегда ходить по середине улицы, «чтобы не ороситься таким счастьем».

И еще во время осмотра Форума Погодин сделал вывод о необыкновенной лени и медлительности итальянских рабочих: «где-то возьмут лопату, где-то подгребут мусору, где-то отмахнут или перевезут тележку. Прислать бы сюда тысячи две белорусцев из Одессы, с своим аржаным хлебом, так они, под руководством какого-нибудь Нибби, в один год очистили бы вам всю площадь». С этими словами Гоголь, вероятно, не согласился бы: он полагал, что традиционное представление об итальянском национальном характере не соответствует действительности.

Впрочем, общение Гоголя и Погодина протекало не так гладко, как это вырисовывается из дорожных дневников и записей последнего. Позднее Погодин даже скажет, что у него возникли «впечатления отрицательные» [ЛН. Т. 58. С. 793]. Но этот вывод скорее всего продиктован или, во всяком случае, форсирован последующей и довольно сложной историей взаимоотношений обоих писателей, о чем речь впереди.

9 апреля чета Погодиных отбыла в Неаполь, условившись, что на обратном пути Гоголь встретит их в Чивита-Веккиа. Так и произошло: 18 апреля Гоголь приехал в этот морской порт недалеко от Рима. Погодины и Шевырев отправились морским путем в Северную Италию и затем во Францию, в Париж, а Гоголь и жена Шевырева Софья Борисовна — обратно в Рим. Грусть расставания скрасил маленький сын Шевыревых. «Борис был совершенно весел, — говорит Гоголь, — произвел мою левую ногу в каретную лошадь, привязал ее к стулу, тянул очень долго за поводья и был этим очень доволен. С тех пор он получил очень нежную привязанность к моей ноге и все спрашивает: здорова ли лошадь?» [XI, 221].

В Риме в 1839 г. — более точная дата неизвестна — Гоголь встретился с еще одним соотечественником, будущим знаменитым драматургом Александром Васильевичем Сухово-Кобылиным (1817–1903). В 1838 г. Сухово-Кобылин отправлялся за границу для продолжения учения в Гейдельбергском и Берлинском университетах, а перед отъездом, как гласит его дневниковая запись, посетил Максимовича в Киеве — «он посылает со мной книги Гоголю» [Бессараб, с. 57]. В следующем году Сухово-Кобылин виделся с Гоголем в Риме и, как отмечено в дневнике, был «поражен» [Пенская, с. 214]. Более подробно его впечатления от этой встречи и, возможно, последующих переда-

ны корреспондент том «Нового времени» Ю. У. Беляевым, спустя много лет записавшим рассказ драматурга: «В этом человеке <...> была неотразимая сила юмора. Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был с нами. Вдруг около мачты, тихонько крадучись, проскользнула кошка с красной ленточкой на шее. Гоголь поднялся и, как-то уморительно вытянув шею и указывая на кошку, спросил: “Что это, никак ей Анну повесили на шею?” Особенно смешного в этих словах было мало, но сказано это было так, что вся наша компания покатилась от хохота. Да, великий это был комик. Равных ему я не встречал нигде, за исключением разве одного французского актера Буффе, которого я частенько видал в своей молодости в парижских театрах...» [Беляев].

На период с последних дней 1838-го до середины февраля 1839 г. падает еще одна встреча Гоголя, о которой обычно не упоминают его биографы, — с Е. Ф. Розеном. Барон Розен, как и Жуковский, прибыл в Рим в свите наследника. С Гоголем они были знакомы, по крайней мере, со времени памятных чтений «Ревизора» на субботах у Жуковского в начале 1836 г. Тогда, по словам Розена, он был единственным, кто с неодобрением воспринял пьесу, и эта его реакция не осталась незамеченной автором. Теперь, согласно Розену, общение проходило в другом ключе; вот как он описывает свидание с Гоголем спустя восемь лет: Гоголь «встретил меня с отменным радушием; тот час ввел между нами дружеское *ты* (чего дотоле не было), осведомлялся с большим участием о том, что я написал в его отсутствие, и так далее; еще больше оживлялся моими уклонениями от этой материи, точно будто бы он получил в наследство от Пушкина особенное благоволение ко мне как литератору — одним словом, был чрезвычайно мил и любезен и, в довершение этого обворожительного ко мне внимания, даже не заикнулся о своем “Ревизоре”, о моем бывшем мучителе. Автор “Ревизора” дал нашей беседе такую гениальную форму и такое глубокое содержание, из которых посторонний наблюдатель мог бы вывести заключение, что, после Пушкина, из писателей нового поколения, осталось в России только двое выпренных гениев, по своему объему едва ли могущих поместиться в обширной России — *Гоголь и я!*» [СО. 1847. № 6. Отд. 3. С. 30–31; курсив в оригинале].

Возможно, мемуарист преувеличил степень благорасположения к нему Гоголя; возможно, комплименты последнего не были свободны от иронического подтекста — проверить все это невозможно. Но очевиден сам факт встречи обоих писателей и по крайней мере нейтральное, лояльное отношение автора «Ревизора» к Розену: в противном случае тот не рискнул бы рассказывать об этом в статье, явно рассчитанной на восприятие Гоголя (она была опубликована в 1847 г. в качестве реплики на «Выбранные места...»).

В таком случае два фактора могли повлиять, так сказать, на смягчение гоголевской позиции в отношении Розена; во-первых, интерес к обстоятельствам гибели Пушкина, к последним дням его жизни. «Ро-

зен часто общался с Пушкиным после отъезда Гоголя, был на похоронах и читал в Петербурге свои стихи, посвященные памяти поэта. После Жуковского это был, вероятно, второй человек, который мог сообщить Гоголю о подробностях разыгравшейся трагедии» [Вацуро, с. 337]. Уточним: не второй, а по крайней мере третий — осенью 1837 г. во Франкфурте Гоголь жадно слушал рассказы А. И. Тургенева как очевидца тех же событий.

Сходной оказалась и оценка Гоголем и Розеном виновников гибели поэта. Розен «был резко настроен против антипушкинской партии, в том числе и придворной» [там же]. В примечании к стихотворению «Эврипид» (Литературная газета. 1846. 29 февраля) Розен, прозрачно намекая на судьбу Пушкина, писал, что «знаменитый трагический поэт Эврипид, находясь при дворе македонского царя Архелая, был растерзан царскими собаками...». И в самом стихотворении: «Великий царь, изящного любитель, // Позвал поэта в царскую обитель.//Но там затмились светлые часы...» и т. д. Это вполне отвечало гоголевским инвективам, вызванным гибелью Пушкина: «О, когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство...» и т. д.

Другим фактором, возможно, повлиявшим на Гоголя, явилось отношение к Розену Иосифа Виельгорского. Мнения этого человека, весь его облик, характер суждений были глубоко симпатичны Гоголю, о чем мы еще будем говорить; но как раз перед приездом в Италию, летом 1838 г., Виельгорский и Розен жили вместе в Карлсбаде и Эмсе, много беседовали, принимали в качестве гостя немецкого литератора Кенига, издавшего знаменитую книгу «Literarische Bilder aus Russland», — речь шла при этом «о книге его и о русской литературе», как сообщил позднее Розен в своем очерке «Прогулки по Рейну» [СО. 1848. Кн. 2. Отд. 3. С. 5]. Общее свое впечатление от Розена Иосиф передал в письме Жуковскому из Карлсбада 26 июля: «Я же с своей стороны очень рад с ним путешествовать. Он добрый малый, изучал недавно римские древности, знает отлично латинский язык, любит художества, поэзию — одним словом лучше нельзя человека для Италии» [Лямина, Самовер, с. 356]⁷⁵.

«ПРЕКРАСНОЕ ПОГИБЛО В ПЫШНОМ ЦВЕТЕ...»

Весной того же 1839 г. Гоголь испытал потрясение, равно сильное утрате близкого человека. В Риме, чуть ли не на его глазах, умер Иосиф Виельгорский, о котором мы только что говорили.

В семье Михаила Юрьевича и Луизы Карловны Виельгорских было пятеро детей: три дочери — Анна, Аполлинария и Софья — и два сына — Иосиф и Михаил. Иосиф, родившийся в 1817 г., был старшим.

Питомец Пажеского корпуса, он стал соучеником наследника, будущего царя Александра II. Выбор, сделанный императорской фамилией, был продиктован педагогическими соображениями: для великого князя, по словам современницы, «это товарищество было нужно, как шпоры для ленивой лошади. Вечером первый подходил тот, у кого были лучшие баллы, обыкновенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел <...>. Наследник не любил Виельгорского, хотя не чувствовал никакой зависти: его прекрасная душа и нежное сердце были далеки от недостойных чувств. Просто между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьезен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто спеша жить, готовил запас навеки» [Смирнова, 1989, с. 198].

Примерно такую же характеристику Виельгорского дает и другая осведомленная современница баронесса Мария Петровна Фредерик (1832–1908), бывшая фрейлиной императрицы. Правда, в ее трактовке отношение будущего императора к его соученику предстает в более выгодном свете: «Граф Иосиф Михайлович был взят другом и товарищем к наследнику Александру Николаевичу, который его нежно любил, и Иосиф Михайлович имел большое и хорошее влияние на цесаревича» [ИВ. 1898. Январь. С. 81].

О замечательных качествах Виельгорского говорит и Антонина Блудова (1813–1891), фрейлина, дочь министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова: «...Благородный и умный, чистый и честный друг будущего царя — Иосиф Виельгорский <...> сошел в могилу не тронутый нравственной заразой светской среды. Она томила его молодую душу, и он убежал от нее в тесный круг своей или самой царской семьи и в учебную комнату, где слушал с великим князем мирные и нравственные речи и уроки, согретые любящею душою и спокойным духом Жуковского и честным прямотушием Мердера и Плетнева» [РА. 1889. № 1. С. 65]. Жуковский, Мердер и Плетнев — общие наставники Виельгорского и великого князя.

Предоставим же слово одному из них — генерал-адъютанту Карлу Карловичу Мердеру (1788–1834). 5 января 1829 г. он записывает в дневнике: «Вечером играли в оловянные солдаты. За всю неделю великий князь по поведению был первым. Виельгорский же был первым в науках» [Мердер, с. 28].

Записки и дневник Виельгорского (опубликованные недавно И. Э. Ляминой и Н. В. Самовер) дорисовывают облик этого юноши, совестливого и требовательного к себе. В «Исповеди» он беспощадно обличает свои пороки, такие как «скрытность», «вспыльчивость», «трусость». К числу пороков причисляет он и «застенчивость»: «при каждом случае, при каждом слове, часто от одной мысли я краснею» (свойство, отмечавшееся и его современниками, например, А. О. Смирновой). Кается Виельгорский и в «мизантропии»: «Я люблю быть в своей комнате и не только убегать людей, но даже свое семейство, в котором не

вижу большого ко мне расположения. Эта мысль иногда меня приводит в отчаяние» [Лямина, Самовер, с. 292]. Подтверждается записями Виельгорского и холодность отношений его с великим князем, о которой говорила та же Смрнова. «Одни формы, — сетует Виельгорский, — никакой дружбы, одно знакомство приятельское».

Молодой человек чувствует себя одиноком везде — и дома, и в «учебной комнате», и в свете. «Вообще общества дамского я не люблю; однообразность и банальность разговоров мне противна; притом же я не красИВ. нелюбезен, *sans le bel esprit* (неостроумен), скучен, застенчив; без меня много франтов. — Танцевать также не охотник» [там же, с. 293].

Это не мешает Виельгорскому быть весьма восприимчивым к женской красоте, хотя застенчивость и неверие в себя его сковывают. Запись от 17 апреля 1838 г. о сестрах Сент-Альдегонд, которых он встретил на балу в Аничковом дворце: «Обе они очаровательны <...>. Они произвели на меня сильное впечатление <...>. Вечером, ложась спать, только о них и думал» [там же, с. 306]. Признание это небезынтересно ввиду тех подозрений, которые вызовет Виельгорский (а также Гоголь) у более позднего, современного исследователя. Но об этом — речь впереди.

Стоит привести еще то место, где Виельгорский характеризует свои «религиозные понятия». «Я вообще не имею большой веры в обрядах церковных, хотя некоторые считаю необходимыми. Мне кажется, что наша церковь имеет много варварского. Я никак не постигаю святости мощей, которые меня [так!] опротивели в последнее путешествие по России; поклонение народа сим мощам для меня непостижимо; вообще жизнь монастырская меня опротивела; я потерял всякое уважение <к> монашеству» [там же, с. 293]. В отвращении к обрядовой стороне христианства (в частности православия) и особенно к поклонению мощам Виельгорский явно сближается с лютеранством.

В последних числах мая 1838 г. Виельгорский, вслед за императорской фамилией, приехал в Берлин. Здесь у Иосифа открылось кровохарканье — симптом страшной болезни. Пришлось отказаться от путешествия вместе с императорской свитой и срочно направиться для лечения в Карлсбад (где он встречался с бароном Розеном), потом на озеро Комо в Швейцарию, потом в Италию. 14 ноября Иосиф вместе с отцом прибыл в Рим и поселился на виа деи Понтефичи, дом № 49.

А спустя несколько дней Виельгорские встретились с Гоголем. 20 (8) ноября Михаил Юрьевич сообщал Жуковскому: «Видел я Гоголя, которого можно назвать *Римским Гоголем*. Он помолодел, об тебе много спрашивал и с нетерпением ожидает...» [там же, с. 382; курсив в оригинале]. Встреча с Гоголем произошла скорее всего на виа деи Понтефичи и в таком случае в присутствии Иосифа. Вероятно, они были знакомы еще по Петербургу — это заключение можно сделать из гоголевских слов: «Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга...» [XI, 234].

Через несколько дней, 30 ноября, Виельгорский-старший сообщил Жуковскому: «Гоголь бывает у меня и читал начало “Мертвых душ”» [Лямина, Самовер, с. 387]. Конечно же, слушателем гоголевской поэмы был и Иосиф.

Затем 20 декабря следует запись Иосифа Виельгорского: «Гоголь. Открытие нового Корреджио. Процесс. “Мертвые души”» [Шенрок, т. 3, с. 255]. Имя Гоголя выделено Виельгорским, видимо, в знак важности этой встречи. Возможно, состоялся разговор о «Мертвых душах» или, скорее всего, новое чтение. Что же касается упоминания «процесса» и Корреджио, то, по вполне вероятному предположению исследователей, речь шла «об обнаружении новой, ранее неизвестной работы Корреджио и связанном с этим судебным разбирательством» [Лямина, Самовер, с. 396].

Незадолго перед этим, 16 декабря, в Рим приехал наследник вместе со свитой, и надо отдать ему должное, он несколько раз навещался на виа деи Понтефичи. «Поутру видел бедного Иосифа Виел<горского>, — записывает Александр после одного из посещений, — лицом, я нахожу, он поправился, но чрезвычайно слаб и жалуется на грудную боль, боюсь я за него очень» [там же, с. 395]. Вместе с наследником в Рим приехал и Жуковский, который тоже неоднократно навещал больного (согласно дневнику поэта — 20, 24 и 29 декабря). Бывали у него и другие русские путешественники — А. Д. Чертков с женою, Шевырев и его жена Софья Борисовна, графиня Анна Алексеевна Толстая с сыном Алексеем, начинающим писателем...

В сочельник православного Рождества (24 декабря (6) января) почти вся русская колония собралась в православной церкви святителя Николая Чудотворца, иначе посольской церкви, что располагалась в то время в палаццо Дория Памфили на пьядца Навона [Талалай, с. 3–4]. Виельгорские, по причине болезни Иосифа, не присутствовали. Но Гоголь, скорее всего, был.

Не участвовали Виельгорские и в упоминавшемся выше праздничном обеде 18(30) января в честь «дня рождения» Гоголя.

Оставшиеся у него скудные силы Иосиф отдавал научным занятиям, разбору материалов. Вместе с Александром Ивановичем Бярятинским, также находившимся в свите наследника, он собирал коллекцию книг и документов для изучения русской истории.

Приехавший в Рим М. П. Погодин записал в дневнике 12 марта 1839 г.: «Познакомился с молодым графом Виельгорским, который занимается у нее (княгини Волконской) в гроте по предписанию врача пользоваться как можно более свежим воздухом. Рад был удостовериться, что он искренне любит русскую историю и обещает полезного деятеля. Его простота, естественность меня поразили. Не встречал я человека, до такой степени безыскусственного, и очень удивился, найдя такого в высшем кругу, между воспитанниками двора» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 29].

Спустя несколько дней, 15 марта: «Молодой граф В. [так!] показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд...» Заметим, кстати, что интерес Виельгорского к истории не безразличен был и Гоголю. «...Но, — продолжает Погодин свою запись, — приведет ли Бог кончить (этот труд. — Ю. М.). Румянец на щеках не предвещает добра» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 52].

В течение месяца состояние больного резко ухудшилось. 21 апреля наступил кризис, и решено было окончательно перевезти Иосифа на виллу Волконской.

В мае (письмо не датировано) Гоголь сообщает Шевыреву, что «дни и ночи» проводит «у одра больного Иосифа <...>. Бедненькой, он не может остаться минуты, чтобы я не был возле» [XI, 233–234]. Это подтверждается письмом Виельгорского-отца Жуковскому от 14 мая н. ст.: «Гоголь <...> приходит бодрствовать ночью и целые дни проводит с нами...» [Лямина, Самовер, с. 437].

Правда, на один день, а именно 1 мая Гоголь сумел отвлечься от горестных забот и принять участие в традиционном карнавале в Черваре в окрестностях Рима — карнавале, который устраивали немецкие художники. Этот совершенно не учтенный в гоголевской биографии факт недавно отметила итальянская исследовательница Рита Джулиани [см.: Джулиани, 1997, с. 27].

Спустя четыре дня, 5 мая Гоголь сообщает выехавшему из Италии Погодину, что Виельгорский умирает. «Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи» [XI, 224].

Горестную судьбу юноши Гоголь воспринимает под знаком резкого контраста, роковой несовместимости таланта и благородства с обычаями и моралью света — так же, как он воспринял двумя годами раньше смерть Пушкина. «Бедный мой Иосиф! — пишет Гоголь Марии Балабиной, — один единственно прекрасный и возвышенно благородный из ваших петербургских молодых людей, и тот!.. Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться — и тот же час смерть!» Гоголь думает о достойном претенденте на руку его бывшей ученицы: «Я перебирал всех молодых людей наших в Петербурге: тот просто глуп <...>, тот ни глуп ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд — и этот человек готовится не существовать более в мире...» [XI, 228]. В том же письме, датированным 30 мая (н. ст.), Гоголь сообщает, что проводит «бессонные ночи» у постели умирающего.

Иосиф Виельгорский умер 2 июня, около 7 часов пополудни. 5 июня Гоголь писал Данилевскому: «Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются» [XI, 234]⁷⁶.

Кончине Виельгорского предшествовал эпизод не удавшегося обращения его в католичество, что повлияло на отношения Гоголя с

княгиней Зинаидой Волконской. Эпизод этот во многом не прояснен; известен он стал из следующего рассказа княжны Репниной гоголевскому биографу.

«Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чернышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец (князь Н. Г. Репнин. — Ю. М.) поддерживал его и читал за него: “Верую, Господи, и исповедую”. Но когда он умирал, то в его комнате уже был приглашенный княгиней Волконской аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату: “вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество”. Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: “Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание”. Тем не менее моя тетка (т. е. княгиня З. А. Волконская) что-то еще пошептала над Виельгорским и потом проговорила: “Я видела, что душа вышла из него католическая”» [Шенрок, т. 3, с. 190–191]. В. Н. Репнина отмечает: после того что произошло, Волконская резко изменила свое отношение к Гоголю.

Помимо приведенного свидетельства, мы располагаем еще одним документом, относящимся к этому эпизоду, — письмом княгини Волконской С. П. Шевыреву, написанным на следующий день после смерти Виельгорского. «Иосифа нет. Он вчера кончил свою жизнь, а Жерве обедал у меня <...>. Мне что-то сердцу сказало: пора домой. Встретила гр. Риччи, он искал Гогела [так!], не нашли. Гр. М. Воронцова была при нем и прибежала во время, и мы окружили его постелю <...>. Он ничего не отказывал, молился со мной, любил Богоматерь и правду, заслужил последнюю помощь, таинственный свет» [Линниченко, с. 69–70 второй пагинации].

В этих свидетельствах, особенно в рассказе Репниной, много противоречий и загадок. Это понятно: как отмечено еще Н. А. Белозерской, «Репнина не присутствовала при описываемой сцене и передает ее с чужих слов и, кроме того, через длинный промежуток времени» [ИВ. 1897. Апрель. С. 157]. Однако из сопоставления обоих документов вырисовывается главный смысл эпизода, а именно то, что княгиня Волконская хотела обратить умирающего в католичество. Мы уже знаем, что подобное намерение обнаруживала она не в первый раз, что и в отношении Гоголя питала она такую надежду. Весьма критическое отношение Виельгорского к православному церковному быту, о чем уже говорилось, могло только укрепить княгиню Волконскую в ее планах. Естественно, что в письме Шевыреву княгиня не могла открыто сказать о цели своих усилий, однако фразы типа «заслужил последнюю помощь, таинственный свет» и т. д. свидетельствуют имен-

но об этом. Тем не менее последний шаг сделан не был — так же как в свое время не состоялся он и в отношении Гоголя.

По смыслу рассказа Репниной виноват в этом оказался именно Гоголь (за что и «возненавидела» его княгиня). Однако степень «вины» Гоголя совершенно неясна. Гоголь, мол, отправился «поискать священника», но не уточнено, какого: ведь православного священника в Риме на каждом углу не встретишь. Напрашивается мысль, что Гоголь пошел за священником из русской посольской церкви, что была на piazzе Навона — должность священника исполнял в то время отец Герасим [Талалай, с. 3–4]. Косвенно это подтверждается фактом, ставшим известным совсем недавно, благодаря разысканиям Е. Э. Ляминой и Н. В. Самовер.

Выяснилось, что Гоголя не было у Виельгорского в час его предсмертной агонии. Собственно об этом можно было догадаться и из слов Волконской («...он искал Гогела, не нашли»), но другое лицо, а именно Софья Борисовна Шевырева говорит о том же совершенно определенно и дважды: в дневниковой записи, сделанной в тот же день в 11 часов вечера (Гоголь пришел «только после кончины молодого графа»), и на другой день в письме мужу («Гоголь ушел за час до кончины и вернулся только, когда его уже не стало»). Объяснение этого факта может быть двояким. Гоголь ушел не в силах видеть предсмертные муки близкого человека, избегая страшного потрясения нервов — именно так он поступит много лет позже, отказавшись прийти на похороны жены Хомякова. Но возможно, он действительно ушел, чтобы привести православного священника, что совпадает с версией, сообщаемой княжной Репниной.

Но если это и так, то выполнить свое намерение Гоголю не удалось, и решающую роль в несостоявшемся обращении сыграло тактичное поведение аббата Жерве (его присутствие подтверждается и письмом Волконской, и дневниковой записью Шевыревой).

С большей определенностью можно говорить не столько о каком-либо конкретном шаге Гоголя и его мотивах, сколько об общем неодобрительном отношении к намерению княгини Волконской. Руководствоваться Гоголь мог теми же соображениями, что и в своем собственном случае, несколькими месяцами раньше — и прежде всего убеждением, что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую». Гоголь был столько же толерантен — по крайней мере до середины 1840-х годов — к католицизму как конфессии, сколько неуступчив в вопросе своего личного участия, точнее *неучастия*, в самом акте обращения даже в качестве третьего лица, посредника.

Все это, конечно, не могло понравиться Зинаиде Волконской, хотя вывод княжны Репниной, что та «возненавидела» Гоголя, преувеличен: отношения их просто стали холоднее. Гоголь продолжает видеться с Волконской: в феврале 1841 г. он читает в ее доме, в палац-

цо Поли, «Ревизора» (об этом речь впереди), примерно в это же время посещает загородную виллу Волконской [Анненков, 1983, с. 79]; в ноябре 1842 г. Гоголь получает от нее корреспонденцию Шевырева [см.: XII, 116]. В январе следующего года писатель приводит на виллу Волконской приехавшую в Рим А. О. Смирнову, показывает ей находящуюся здесь достопримечательность — арки римского водопровода [см. IX, 490]. Правда, в февралю 1847 г., в ответ на критику Шевыревым «религиозных экзальтаций» Волконской (и заодно Гоголя), писатель замечает, что «ее давно не видел», но при этом от каких-либо собственных упреков в адрес княгини воздерживается [XIII, 214].

Свои переживания в связи со смертью Виельгорского Гоголь выразил в «Ночах на вилле», которые «стоят совершенно особо в гоголевском творчестве и не похожи ни на одно его произведение» [Мочульский, с. 51]. Этот сохранившийся в отрывках текст заключил в себе тугой узел проблем, как личного, так и творческого характера⁷⁷. Задержимся на них постольку, поскольку это позволяет ракурс настоящей книги.

Название произведения (принадлежащее автору) предельно конкретно: это реальное времяпрепровождение Гоголя на вилле княгини Волконской у одра умирающего; и вместе с тем само понятие «ночи» скрывает в себе концентрированный эстетический смысл.

Одна грань этого образа уже достаточно отчетливо была явлена в гоголевском творчестве: ночь как время решительного противостояния роковых сил, прорыва на поверхность бытия иррациональной и демонической стихии («Ночь перед Рождеством», «Портрет», «Невский проспект» и т. д.). Но теперь тот же образ раскрылся в другом, необычном для Гоголя аспекте: ночь как время откровений, предельного обнажения чувств и мыслей, интимных признаний — в русле той жанровой традиции, которая представлена «Жалобой, или Ночными размышлениями о жизни, смерти и бессмертии» Эдуарда Юнга (1742–1745), «Гимнами к ночи» Новалиса (1800), «Флорентийскими ночами» Генриха Гейне (1836), а также лирикой Тютчева; из более поздних произведений назовем еще «Русские ночи» В. Ф. Одоевского (1844).

Есть свидетельство о том, что отец Иосифа Михаил Юрьевич Виельгорский хотел, чтобы Гоголь написал об умершем «строк десятков» для римского еженедельника «Diario di Roma» [BE. 1889. № 10. С. 476]⁷⁸. Однако «Ночи на вилле» явно превышают жанр некролога — не только своей мощной лирико-философской стихией, но и тем, что на первый план выходит их автор. Это ближе к исповеди — жанру для Гоголя не частому, причем ближе не столько к «Авторской исповеди», с ее рассудочностью, взвешенностью, аналитичностью, сколько к раннему, экспрессивному наброску «1834». Последний, правда, был лишь записью для себя; «Ночи на вилле» рассчитаны на потенциаль-

ного читателя. Известно замечание об исповеди, содержащееся в «Герое нашего времени»: «Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям». В гоголевском произведении очень чувствуется этот «недостаток»: установка на читателя организует материал, определяет стиль; исповедующийся видит себя в зеркале чужого восприятия. Ему крайне важно в чем-то убедить других, равно как и себя — в чем же?

С легкой руки Саймона Карлинского в гоголевском тексте порою видят выражение гомосексуальных наклонностей писателя, наконец-таки нашедших свое полное воплощение⁷⁹. По поводу этого утверждения можно заметить следующее.

Как известно, внутренний спектр дружеского (как и любовного) чувства сложен; в основной эмоциональный тон проникают иные, порой контрастные интонации. У Гоголя по отношению к юноше звучит нежность, ласковость, как к женщине; почти такие же чувства отражены в его письмах, рассказывающих об Иосифе Виельгорском, но при этом автор чуть ли не специально замечает, что оба они сошлись «решительно братски» [XI, 234]. Словом, одно дело сложность дружеского чувства, другое — то, что сегодня называют сексуальной ориентацией.

Сама открытость Гоголя как в письмах, так и в лирическом эссе, повторяем, рассчитанном на читателя, говорит сама за себя. В те времена отношение к подобного рода связям было достаточно определенным (вспомним хотя бы пример Дондукова-Корсакова и пушкинскую эпиграмму на него), понятия «сексуального меньшинства» как меньшинства законного не существовало. Следовательно, если придавать гоголевским душевным излияниям тот смысл, какой им придает американским исследователем, то придется видеть во всем этом не просто невольное саморазоблачение, но сознательную, аффектированную демонстрацию порока, что едва ли возможно. Тем более что, как верно отмечено в современном исследовании, «русская культура первой половины XIX века не знает поэтизации гомосексуальной любви <...>. Мужеложество понималось как грязь и грех и потому могло служить темой лишь для циничных и грубо непристойных шуток» [Лямина, Самовер, с. 503].

Нужно учесть и другое обстоятельство: если гоголевское время не знало «поэтизацию гомосексуальной любви», то оно очень даже знало поэтизацию дружбы как чувства, исполненного нежности и чуткой ласковости. Еще помнилась эпоха Карамзина, «эпоха чувствительности», с ее культом дружбы, не стесняющейся знаков своего выражения. «Я обнимал тебя в последний раз, неоцененный друг души моей! в последний раз видел твою чувствительность! Ты любил меня — и никогда любовь твоя не была так красноречива, как в сию минуту!» [Карамзин, с. 9]. Это строки из карамзинского эссе «Цветок на гроб моего Агатона», обращенного к умершему другу Александру Петрову. Кстати,

едва ли мимо внимания Гоголя, с его интересом к Карамзину, прошло это произведение; во всяком случае «Ночи на вилле» (что, кажется, еще не отмечалось) очень близки к жанру именно такого, непосредственного отклика на свершившуюся трагедию, своеобразной эпитафии, живого «цветка», положенного на еще свежую могилу.

И при этом в гоголевском исповедальном отрывке заключена насушная жизненная потребность, имеющая отношение к его собственной биографии, личной и писательской. Но вначале две-три параллели к «Ночам на вилле».

Первая — довольно неожиданная — из «Мертвых душ». Зачин шестой главы. Знаменитое «лирическое отступление» об ушедшей молодости. «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту <...>. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! О моя свежесть!»

Далее — отрывок драмы из истории Запорожья, над которой Гоголь работал в 1839 г. Монолог одного из героев, возможно главного: «Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего — того, который был. О, невозвратно все, что ни есть в свете» [V, 201].

Сходное состояние души запечатлено и в гоголевском письме Марии Балабиной, написанном 5 сентября н. ст. 1839 г. вскоре после кончины Иосифа Виельгорского: «Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести (нрзб) молодых сил и порыва чистого <...>. Но оставим это. Я не люблю, мне тяжело будить ржавеющие струны во глубине моего сердца <...>. Ужасно найти в себе пепел вместо пламени...» [XI, 244–245].

Выше говорилось о гоголевском переживании рокового рубежа, тридцатилетия, — этот рубеж, 1839 год, буквально совпал с периодом общения с Иосифом Виельгорским и с его кончиной. И письмо к Балабиной и пассаж из «Мертвых душ» пронизаны тем же переживанием (в последнем случае оно, разумеется, поднимаясь над своей биографической основой, входит в сложную художественную систему поэмы). Оно же, это переживание, определяет эмоциональный спектр «Ночей на вилле», но — с одним существенным отличием. Отталкиваясь от того же переживания, заключительные строки сохранившегося отрывка сообщают ему нечто новое — перспективу возрождения: «...Ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной

милых, почти младенческих мелочей <...>. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие — увь! жители невозвратимого мира — все эти чувства возвратились ко мне».

Болезнь друга дала Гоголю возможность ощутить свою способность к состраданию, к душевному потрясению, а это состояние еще и творческое, ибо оно питает художественную энергию, столь необходимую для продолжения его главной книги, внушает уверенность, что задуманное будет выполнено. Вспомним еще раз, что «Ночи на вилле» были рассчитаны на потенциального читателя (другое дело, что самим фактом отказа от публикации автор объективно отменил эту установку) — это значит, что хотя бы поначалу Гоголь испытывал потребность сделать пережитое им душевное потрясение событием публичным. Ведь все составляющие этой картины — и болезнь друга, и ночные бдения у его постели, и сама вилла — были легко узнаваемы, а значит, все происходящее безошибочно соотносилось бы с самим Гоголем.

Но так же как и пробудившуюся надежду, перспективу возрождения, писателю важно было запечатлеть — и сделать фактором публичным — внезапный финал этой истории, когда неумолимая развязка ввергнула его в прежнюю бесчувственность. «Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь» [III, 326]. Словно перед нами то самое состояние угасания, что запечатлелось в зачине шестой главы «Мертвых душ»⁸⁰, — но и тут замечается одно существенное отличие. В «Мертвых душах» — это результат естественного физического старения, постепенного угасания чувств; если и были за всем этим бедственные события и разочарования, то они остались «за кадром». В «Ночах на вилле» — это страшный удар, смерть молодого, чудесного, боготворимого и реального существа (все это также легко угадывалось в тексте). И Гоголь, очевидно, хотел, чтобы и эта составляющая его душевного потрясения стала известна публике⁸¹.

У постели Иосифа Виельгорского Гоголь встретился «впервые лицом к лицу со смертью» [Мочульский, с. 52]. Брат Иван умер, когда Никоше было десять лет; известие о смерти отца настигло его в Нежине; кончину Пушкина он переживал за границей, во Франции и Италии; умирание же Виельгорского видел изо дня в день, от часа к часу, и это зрелище потрясло его. Оказалось, никакая сила привязанности и любви к обаятельному и одаренному юноше не способна была его защитить. Гоголем овладело ощущение скоротечности, хрупкости всего на свете, в том числе и в первую очередь — прекрасного. «Я ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы» [XI, 228].

Гоголю было свойственно двойное отношение к смерти. В сентябре 1836 г. в связи с кончиной П. О. Трушковского (мужа сестры, Марии Васильевны) он писал, что смерть близкого человека следует считать «за ничто, если хотим быть христианами» [XI, 64]. Позднее Гоголь, вопреки всем правилам такта, будет порицать Сергея Тимофеевича и Ольгу Семеновну Аксаковых за то, что они, по его мнению, чрезмерно переживали смерть их семнадцатилетнего сына Миши. Но встретившись со смертью дорогого человека воочию, Гоголь сам поддался потоку мучительных, изнуряющих чувств. Эти чувства запомнятся ему навсегда, так же как и состояние умирающего Виельгорского. Позднее, описывая пережитый им в конце лета 1840 г. кризис, он скажет, что на него напали «та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вельгорского в последние минуты жизни» [XI, 315].

В. Сечкарев полагает, что именно это событие подготовило последующий «религиозный поворот» Гоголя [Сечкарев, с. 48]. Во всяком случае, с этого момента религиозные устремления писателя усиливаются; есть свидетельства, что он приступает к более систематическому чтению и даже изучению Библии [Жейль, 1986, с. 198]. Кстати, книга, которой он пользовался, была снабжена дарственной надписью Иосифа Виельгорского: «другу моему Николаю. Вилла Волконская» [РА. 1890. № 10. С. 229].

Возвращаясь к «Ночам на вилле», следует подчеркнуть, что перед нами единственное известное автобиографическое художественное произведение Гоголя, причем имеют значение оба составляющих этого понятия — и автобиографизм, и художественность.

В аспекте художественности Гоголь запечатлевал переход и освоение новых эстетических возможностей — сокровенных признаний, ночных исповедей, предельных психологических откровений, вылившихся в смешанный жанр исповеди и эпитафии. В аспекте биографизма — возможность отражения и публичной демонстрации обстоятельств и проблем своей реальной жизни. Ни одно другое произведение Гоголя не открывало такого широкого доступа в художественный текст личным элементам, так как последние неизбежно подвергались «цензурному» просеиванию и отбору. И получается, вопреки складывающемуся впечатлению, что Гоголь в биографическом смысле — очень закрытый писатель.

Каков, например, автор в «Мертвых душах», самом личном после «Ночей на вилле» гоголевском произведении? Это одинокий странник, бессемейный, не связанный службой; в творческой своей ипостаси — это «историк», бытописатель; в высшие моменты своего бытия — пророк, визионер; но мы ничего не знаем о его реальных связях, знакомствах, контактах, о душевных кризисах, эволюции — все это стилизовано и обобщено, как в знаменитом пассаже о двух писателях в зачине седьмой главы.

Не то — «Ночи на вилле». К тому, что уже было сказано выше, еще один факт. «Ты, кому попадутся, если попадутся в руки эти нестройные, слабые строки <...> ты поймешь меня. <...> Ты поймешь, как гадка вся грудка сокровишей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какою бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его» [III, 325]. С одной стороны, это типичная романтическая антитеза, заостренная социально и, так сказать, исторически («Непостижимо странна судьба всего хорошего у нас...»). С другой — реальная коллизия реального лица — Иосифа Виельгорского (о его отчуждении от придворной среды, включая и самого наследника, мы уже знаем). Но кроме того, это и собственные чрезвычайно обостренные и в немалой степени аффектированные переживания Гоголя после премьеры «Ревизора», отъезда за границу, наконец, после получения известия о гибели Пушкина. В этом психологическом комплексе значима и такая деталь, как упоминание «полночного царя».

В самом деле: всемерно заостряя противостояние поэта и толпы, то есть переживаемую им личную коллизию, Гоголь выстраивал такую парадигму, в которой на стороне поэта оказывался император, конкретно Николай I, протягивающий ему руку помощи через головы своего окружения, светской и придворной черни. Эта парадигма сохранит для Гоголя свое значение и в дальнейшем. И вдруг: «...с какою бы *злостью* растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя...» (мы совершенно согласны с Е. Э. Ляминой и Н. В. Самовер, заметившими, что речь идет именно о Николае I и о той помощи, в том числе материальной, которую писатель от него получал).

Такого Гоголь себе никогда не позволял, — ни в письмах, ни в разговорах с друзьями. Для этого понадобилась именно та призма исповедальной откровенности, которую предоставили в его распоряжение «Ночи на вилле» как уникальный художественный текст.

Кстати, возможно, именно откровенно личный характер этого произведения удержал Гоголя от его публикации.

ПУТЬ НА РОДИНУ

В июне 1839 г. Гоголь вместе с отцом покойного М. Ю. Виельгорским направляется морским путем из Рима (Чивита Веккия) во Францию с трудной миссией — сообщить Луизе Карловне о смерти сына. Встреча произошла в Марселе, где Луиза Карловна находилась с тремя дочерьми и младшим сыном Михаилом. Повидимому, о случившемся она узнала еще раньше, от русского консу-

ла. Графиня не хотела верить, схватила его за ворот и закричала: «Вы лжете, это невозможно!» [Смирнова, 1989, с. 198].

Гоголь старался как мог утешить Виельгорских. По отъезде Гоголя Михаил Юрьевич написал ему (28 июля) теплое письмо, называя его «любезнейшим товарищем», «незабвенным моим спутником» и вновь возвращаясь к тому, что произошло. «...Это горе, как червь, неизгладимо, и самый взгляд милых, бесценных моих детей напоминает о потере невозвратимой» [Шенрок, т. 3, с. 265].

Во время плавания из Рима в Марсель Гоголь встретился с Шарлем Огюстеном Сент-Бевом (1804–1869), расширив свой, кажется, очень узкий круг французских знакомств. При каких обстоятельствах произошла встреча и кто ее инициатор, сказать трудно. Возможно, посредником был М. Ю. Виельгорский.

О Сент-Беве подробно и очень сочувственно писал Пушкин в «Литературной газете» (1831. 5 июня. № 32) — в ту пору, когда в ней активно сотрудничал Гоголь. Между прочим, первые же строки пушкинской рецензии могли обратить на себя внимание Гоголя: в связи с выходом книги Сент-Бева, подписанной вымышленным именем Делорма, сообщалось, что в ней, «вместо предисловия, романическим слогом описана была жизнь бедного молодого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и неизвестности. Друзья покойника предлагали публике стихи и мысли, найденные в его бумагах, извиняя недостатки их и заблуждения самого Делорма его молодостью, болезненным состоянием души и физическими страданиями». Но ведь это отчасти напоминало ситуацию, разыгранную недавно самим Гоголем, извинявшего появление «Ганца Кюхельгартена» и молодостью его мнимого автора В. Алова и желанием споспешествовать юному дарованию...

Но вообще-то в русской прессе того времени имя Сент-Бева упоминалось не часто; в той же «Литературной газете» за 1830 г. (№ 47) Вяземский называл его среди тех представителей «созвездия французской поэзии», кто «едва знакомы нам и по одному слуху». Сам Вяземский неоднократно встречался с Сент-Бевом в знаменитом парижском салоне Ж. Рекамье в 1839 г., но Гоголю об этом он едва ли смог сообщить: по отъезде последнего из Петербурга в июне 1836 г. их личное общение надолго прервалось. Скорее источником сведений для Гоголя мог быть А. И. Тургенев, хорошо знавший Сент-Бева и встречавшийся с ним, в частности, в 1835 г. в том же салоне Рекамье.

Так или иначе, знакомство с Гоголем произвело на Сент-Бева сильное впечатление, о чем он рассказал спустя шесть лет в связи с изданием французского перевода сочинений русского писателя. «...Разговор его полный силы (доводов), отличающийся тонкостью и богатством наблюдений над нравами и фактами действительной жизни, — дал мне возможность схватить на лету <...>, предвкусить, так сказать, всю оригинальность и реализм его сочинений. Г. Гоголь, как видно, прежде всего заботится о верности в изображении нравов, о правди-

ности в изображении жизни, о естественности — будь это в настоящем или в историческом прошедшем; его интересует народный гений...» И сославшись далее, для подтверждения своей мысли, на открытие Гоголем «крупного дарования» Белли (об этом см. в главе «Второе “чтение” Италии»), Сент-Бев заключает, что его собеседник «больше всего интересуется природою и, вероятно, много читал Шекспира» [Шенрок, т. 4, с. 413]. Видимо, Сент-Бев не раз повторял свой рассказ; так, в одном частном письме он сообщал: «Возвращаясь из Чивита-Векьи в Марсель в 1839 г., я очутился на пароходе в обществе Гоголя и в эти два дня мог оценить, несмотря на то, что он владел французским языком не без трудностей, его редкий такт, его оригинальность, его художественную силу» [Звезда. 1930. № 1. С. 219]⁸².

Что же касается Гоголя, то эта встреча, кажется, не оставила в его памяти сколько-нибудь заметного следа. В письме Н. М. Языкову от 8 января н. ст. 1846 г. он довольно небрежно упомянул о публикации в «Revue de Deux Mondes», то есть о статье Сент-Бева [см.: XIII, 30].

Из Марселя Гоголь направляется на Восток к пределам России. С дороги, якобы 22 июня из Вены, он посылает письмо Е. Г. Чертковой, вместе с которой месяцем раньше ухаживал за умирающим Иосифом Виельгорским. Письмо ничем не напоминает о недавнем событии; Гоголь весь во власти комических и гротескных ассоциаций, ведущих к его художественным текстам; разве что по шутливому тону и можно понять, что Гоголь, по своему обыкновению, заглушает, гонит тоску.

Он сравнивает себя с «почтенным гражданином и дворянином», «который всю жизнь задавал себе вопрос: почему он Хрисанфий, а не Иван и не Максим и не Онуфрий...». Это напоминает размышления Поприщина, отчего он «титularный советник», «почему именно титулярный советник», а также предвосхищает умозрительные упражнения Кифы Мокиевича (в черновой редакции Писта Пистовича) из «Мертвых душ»: почему «зверь родится нагишом», «почему не вылупливается из яйца»? Затем Гоголь придумывает другую ситуацию: мол, дочка Чертковой Лиза, «взявши чашку с чаем и приговарываясь пить, закричала во весь голос: Ах, мама, вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! <...> Лиза принялась ловить ложечкой в стакане и закричала вновь: Ах, это не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была, точно, муха...» Это уже сродни превращениям Ивана Федоровича Шпоньки в колокол, а его «жены» — в материю и т. д. Не обходится и без столь любезной Гоголю «носологии»: к концу письма он переходит к «собственному носу» и обрывает разговор, ибо об этом, «кажется, было уже писано» [XI, 237]. Гоголь намекает на свою шутливую запись в альбоме Чертковой, начинающуюся такими словами: «Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш — красивый,

шегольский, с весьма приятною выгнутою линиею; а мой решитель-но птичий, остроконечный и длинный...» [IX, 25].

Эта запись, по свидетельству ее публикатора, была сделана перед самым отъездом Чертковой из Рима, в конце мая [РС. 1870. № 11. С. 528–529]. Следовательно, в ту же самую горькую пору болезни и смерти Виельгорского...

30 июня в Гану Гоголь впервые встретился с Николаем Михайловичем Языковым (а также его старшим братом Петром Михайловичем), которому предстояло стать одним из самых близких ему людей. Языков познакомил Гоголя со своей «Элегией» («Толпа ли девочек...»):

Берусь ли за перо — всегда со мной тоска:
Пора же мне домой... Россия далека!¹⁸³

Это вполне отвечало настроению Гоголя, соскучившегося по родине, и он, по своему обыкновению, снял с понравившегося ему стихотворения копию.

Но вообще-то встреча обоих писателей была не долгой — Гоголь спешил в Мариенбад. На другой день после его отъезда, 1 июля, Языков сообщал П. М. Бестужевой, что «с ним (Гоголем) весело. Он мне очень понравился и знает Рим, как свои пять пальцев...» [ЛН. Т. 58. С. 560]. О Риме, видимо, говорили подробно, так как Языков собирался в Италию.

В Мариенбаде Гоголь, как это было условлено ранее, встретился с Погодиным, приехавшим сюда 8 июля. Если судить по дорожному дневнику Погодина, отношения их были ровными и дружественными. «Месяц спокойствия и праздности был для меня каким-то волшебным временем» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 84]. Однако исподволь накапливались «впечатления отрицательные», зародившиеся еще в Риме; впоследствии Погодин будет выдвигать эти впечатления на первый план. Очевидно, сыграло роль и болезненное состояние Гоголя, обнаружившееся наконец после всего пережитого весной 1839 г.

К счастью, в Мариенбаде находился в это время Федор Иванович Иноземцев (1802–1869), знаменитый врач, профессор Московского университета и директор хирургической клиники. Однако, если верить Погодину, Гоголь не хотел лечиться, а Иноземцев почему-то не выражал особого желания пользоваться такого пациента. «Мне надо было их сводить и упрашивать, чтобы один решился лечиться, а другой — лечить» [РА. 1865. Стлб. 1278].

В Мариенбаде произошло и отрадное для Погодина событие — Гоголь прочитал ему «отрывки из “Мерт<вых> душ”», уверяя, правда, что по цензурным причинам «при жизни они не будут напечатаны» [ЛН. Т. 58. С. 794]. Гоголь лукавил: ему хотелось предотвратить просьбу Погодина о публикации фрагментов поэмы в его будущем журнале или в каком-нибудь другом издании. Это не понравилось Погодину. К тому же для него, вероятно, не осталось тайной, что незадолго до

его приезда в Рим Гоголь читал свою поэму Жуковскому в то время, когда ему, Погодину, он тогда ничего не прочел. Гоголевские друзья ревниво относились к подобным фактам, и возможно, здесь скрывался один из источников раздражения Погодина.

В Мариенбаде Гоголь встретился с богатым петербургским откупщиком Дмитрием Егоровичем Бенардаки (ум. 1870). Впоследствии, уже в России, их отношения станут теснее; но уже с первых встреч Гоголь проявил к Бенардаки большой интерес — и человеческий, и чисто профессиональный. «Я с первых разговоров с ним уже увидел человека, владеющего верным пониманием вещей, истинной мудростью...» [XII, 556], — вспоминает Гоголь. «Всякий день после ванны, — рассказывает Погодин, — ходили мы втроем, я, он и Гоголь, по горам и долам, и рассуждали о любезном отечестве. — Гоголь выпрашивал его об разных исках и верно дополнил галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим мы на сцене» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 74–75]. И в другом месте: «...Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы “Мертвых душ”, а характер Костанжогло во 2-ой части писан в некоторых частях прямо с него» [Погодин, 1865, с. 895].

Эти впечатления накапливались впрок, для будущего; пока же в фокусе интересов Гоголя находилась не «сцена», то есть комедия, и даже не «Мертвые души», работу над которыми он временно приостановил, а драматическое произведение из истории Запорожья. Еще в Мариенбаде погрузился он в чтение «малороссийских песен», чтобы «сколько возможно надышаться стариною», и пережил, если вспомнить Баратынского, «чарующий наход» муз или, говоря гоголевскими словами, — «посещение, которое сделало мне вдохновение». Мысль о новом произведении не оставляла Гоголя и во время переезда из Мариенбада в Вену, куда он прибыл 24 августа; на следующий же день он сообщал Шевыреву: «Передо мною выясняются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак» [XI, 241].

Сделал он, однако, немного; уединенная жизнь в Вене, без знакомых (Погодин оставил Гоголя еще в Мариенбаде 8 августа, условившись встретиться с ним примерно через месяц) и смены впечатлений, не способствовала работе. «Меня всегда дивил Пушкин, которому для того чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать <...>. В Вене я скучаю...» (из письма Шевыреву от 10 сентября н. ст. 1839 г. — [XI, 247–248]). Гоголем вновь овладевает «меланхолическое чувство», которым он делится в письме к Марии Балабиной, впрочем, по обыкновению растворяя это чувство то иронией, то патетикой. Он говорит, что в результате лечения и пользования разными минеральными водами «сделался очень похожим на мумию или на старого немецкого

профессора с спущенным чулком на ножке, высохшей как зубочистка»; вспоминает свою «невозвратимую юность», «время свежести <...> молодых сил». «Скажу вам только, что тяжело очутиться стариком в лета еще принадлежащие юности» [XI, 244–245], — заключает Гоголь, которому едва исполнилось тридцать лет...

19 сентября н. ст. в Вену приехал наконец Погодин, чтобы совместно с Гоголем держать путь в Россию. Выехали 22-го в двух экипажах, в одном — Гоголь и Погодин, в другом — жена Погодина Елизавета Васильевна с Софьей Борисовной, женой Шевырева.

23-го приехали в столицу Моравии Брно, помянули Сильвио Пеллико, который провел здесь в крепости Шпильберг многие годы и опубликовал по выходе из заточения знаменитую книгу «Мои темницы» (1832). 25-го проехали Краков; потом — Варшава, Вильна, Минск, Смоленск... 26 сентября ст. ст. «поутру остановились мы на Поклонной горе, увидели Ивана Великого, златоглавые церкви и сердце отдохнуло. Вот направо от леса показался Девичий монастырь, вот и Дорогомиловская застава... приехали... Здравствуй, наша матушка Москва!» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 228].

Еще в Вене 10 августа н. ст. Гоголь писал Шевыреву: «Неужели я еду в Россию? я этому почти не верю» [XI, 248].

А еще раньше, по выезде из Рима, из Чивита Веккия благодарил княжну В. Н. Репнину за пожелание счастливого пути. «Он верно будет счастлив. я в этом уверен» [XI, 239].

У Гоголя была прямая цель его поездки на родину — забрать сестер Анну и Елизавету, оканчивающих в Петербурге Патриотический институт. Но была еще и другая цель, необъявленная — опробовать во время чтения друзьям и знакомым написанные главы «Мертвых душ».

МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА (сентябрь 1839 — май 1840)

Гоголь остановился у Погодина на Девичьем поле. И в тот же день, 26 сентября, пишет письмо матери: мол, жив-здоров, беспокоиться о нем не нужно. Обычное письмо домашним, разве что обозначение места отправления неожиданное: *Триест* — город, в котором Гоголь не был, который находился в стороне от его пути. Это не помешало Гоголю пуститься во все подробности: «Триест — кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят по-русски»; «прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем»; «жаль, что я начал поздно мои купанья» и т. д. [XI, 254]. Гоголь даже нарисовал почтовый штемпель на письме: Триест...

И еще не раз будет он морочить Марье Ивановне голову: 24 октября напишет якобы из Вены, что выезжает в Россию, спустя два дня

повторит то же самое, но с уточнением маршрута: «через месяца полтора или два буду в Петербурге, а недели через две после этого в Москве...» [XI, 259]. Зачем он это делал? Гоголевский биограф высказывает вполне основательное предположение: чтобы по возможности отсрочить приезд матери в Москву, не удобный ему по каким-либо практическим соображениям [Шенрок, т. 3, с. 295]. Ради душевного спокойствия Гоголь не гнушался хитрости или «маленькой лжи».

Николаю Васильевичу отвели большую комнату на антресолях с двумя окнами и балконом, выходящими на восток, так что в летнее время с трех часов утра и до полудня комната была залита солнечным светом. Относительно невысокий потолок и железная крыша тоже способствовали нагреванию комнаты, но Гоголю, привыкшему к теплу, да еще после итальянского зноя это оказалось по вкусу.

Между тем в Москве появление Гоголя произвело переполох. Аксаковы уже потеряли надежду увидеть его, как вдруг в Аксиньино, где они снимали дачу, пришла записка М. С. Щепкина (от 28 сентября) о том, что Гоголь здесь, что, встретившись с ним, он, Щепкин, от волнения всю «нынешнюю ночь почти не спал». Еще более взволновались Аксаковы: «Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой⁸⁴ сделалось даже дурно» [Воспоминания, с. 98]. В тот же день Константин отправился в Москву, а Сергей Тимофеевич поспешил сообщить «неожиданную и радостную весть» Великопольскому [Модзалевский, с. 14]. Иван Ермолаевич Великопольский (1797–1868), отставной майор, поэт и драматург, одно время приятельствовавший с Пушкиным, был горячим поклонником гоголевского таланта; он присутствовал при первом чтении «Ревизора» в доме Аксаковых весной 1836 г. Кроме того, Сергей Тимофеевич считал Великопольского «первым виновником этого события», то есть возвращения Гоголя в Россию, так как во время подписки в пользу писателя в 1838 г. он внес главный пай — 1000 рублей ассигнациями.

По приезде в Москву Константин поспешил к Погодину на Девичье поле. Встреча была радостной: Аксаков и Гоголь несколько раз обнялись, потом вместе обедали, затем вместе вышли из дома — Николай Васильевич отправлялся куда-то в гости. Настроение омрачил невинный вопрос, заданный Константином: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего» [Воспоминания, с. 99].

Гоголь ждал встречи со своими будущими слушателями, но хотел, чтобы она произошла спонтанно, когда *он* того пожелает. Чужое любопытство и навязчивость его раздражали; вопрос «Чем вы подарите нас новеньким?» казался ему сродни тому вопросу, который он беспрестанно слышал во время лечения в Мариенбаде: «А который стакан вы пьете?» [XI, 295].

1 октября Аксаковы возвратились в Москву, а на следующий день у них обедали Гоголь и Щепкин. Сергей Тимофеевич с удовлетворением отметил, что со времени последней встречи в 1835 г. расположение Гоголя к его семейству возросло; появилась душевная теплота, симпатия; казалось, он возвратился «к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время».

Бросались в глаза изменения к лучшему во внешности Гоголя. Вместо франтика в модном фраке и с хохолком явился человек уравновешенный и уверенный в себе. «Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому» [Воспоминания, с. 99]. Но шутил Гоголь все в той же своей привычной манере — сохраняя полную серьезность, без тени улыбки.

По Москве уже поползли слухи, что Гоголь читает свои новые произведения; такое чтение будто бы имело место в доме Авдотьи Петровны Елагиной в Трехсвятительском тупике, в присутствии Жуковского⁸⁵. Сергей Тимофеевич даже справлялся об этом чтении в специальной записке к Погодину; ему было обидно, что Гоголь еще не подтвердил свое доброе отношение к его семейству аналогичным поступком.

И вот наконец Аксаковы дождались... 14 октября на обед к ним по обыкновению собралось несколько гостей, в том числе петербуржец И. И. Панаев. Позже приехала жена Погодина Елизавета Васильевна (сам Погодин, возможно, уже был среди гостей); потом П. В. Нащокин и М. С. Щепкин с Гоголем. Все расположились в гостиной, и Николай Васильевич начал читать...

Трое из присутствовавших членов аксаковского семейства описали это событие по свежим впечатлениям. Сергей Тимофеевич — сыновьям Григорию и Ивану, в Петербург, 17 октября: «...Гоголь читал у нас начало комедии “Тяжба” и большую главу из романа (вероятно “Мертвые души”). И то и другое — чудные создания! Особенно глава из романа! И к этому надо прибавить, что он так читает или, лучше, играет, как никто! Лучшие актеры, мне известные, перед ним — ученики в театральном искусстве! Восхищение было всеобщее» [ЛН. Т. 58. С. 566]. Вера Сергеевна — тем же адресатам, ее братьям: «...Гоголь читал нам отрывок из своей комедии и еще другой из какой-то повести, кажется “Мертвых душ”; жаль, что вас не было; все что он читал, превосходно, чудно...» [там же, с. 572]. Константин Сергеевич — тоже Ивану и Григорию, своим братьям: «Я и все перерывали его (Гоголя) часто хохотом. Все, что ни прочел он, есть истинно художественное произведение» [там же, с. 570].

Судя по тому, что слушатели приводили название «романа» с некоторой долей неуверенности («вероятно “Мертвые души”, «кажется “Мертвых душ”»), Гоголь прочитал им только первую главу, где характер будущего «предприятия» или аферы Чичикова еще не был обозначен. Гоголь вообще имел обыкновение читать новую вещь с начала. Все присутствовавшие (за исключением Погодина, если он среди них был) слушали поэму впервые, и тем ценнее представлялась Гоголю их реакция.

В те памятные октябрьские дни многие приходили в дом Аксаковых, чтобы повидать Гоголя. Были тут Дмитрий Щепкин (сын великого артиста), писатель Н. Ф. Павлов, профессор судебной медицины в Московском университете А. О. Армфельдт, Белинский...

Белинский уже виделся с Гоголем у тех же Аксаковых в мае 1835 г.; но теперь встречи оказались более продолжительными и частыми — не менее трех раз. «Какой день был это для нас!» — воскликнул однажды Константин как бы и от имени Белинского тоже. Между ним и Белинским еще не пробежал холодок, не возникло враждебности; следовательно, и отношение Гоголя к критику еще ничем не омрачалось. Наоборот, Гоголь помнил все то хорошее, что написал о нем Белинский в статьях телескопского периода, и был благодарен ему за это.

Результатом же новых встреч с Гоголем и особенно чтения «Мертвых душ» явилось то, что в Москве стало утверждаться мнение о нем как о писателе всемирном. Мы помним, что еще в 1835 г. Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов», но поэтов лишь отечественных, литературы лишь русской. Теперь пошли в ход другие категории и другие имена! Константин Аксаков после первого же чтения заметил: «...Те тупы, которые только видят в его сочинениях *смешное*. Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.» [ЛН. Т. 58. С. 570; курсив в оригинале]. Примерно в то же время, осенью 1839 г., Белинский обдумывает свою статью «Горе от ума», где Гоголь фигурирует в ряду самых ярких имен, определивших лицо «нашего века», — Байрон, Вальтер Скотт, Пушкин, Шиллер, Гете и т. д. Все это в той или мере говорилось самому Гоголю; во всяком случае, он знал и чувствовал, до каких высот поднималась его репутация.

Но продолжим рассказ о московских встречах Гоголя. Среди новых его знакомых, как уже упоминалось, был писатель Иван Иванович Панаев (1812–1862), который вместе с женой остановился в Москве на обратном пути из Казанской губернии в Петербург. Авдотья Яковлевна Панаева (1819 или 1820–1893) подробно описала их совместный визит к Аксаковым, у которых они встретили Гоголя; возможно, это был уже другой визит, так как мемуаристка ничего не говорит о чтении «Мертвых душ». Да и настроение Гоголя в этот раз не располагало к чтению.

За обедом Гоголю «подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном».

После обеда Вера Сергеевна спросила Панаеву, какое впечатление произвел на нее Гоголь. «Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала уверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе» [Панаева, с. 80]⁸⁶.

В первые же дни пребывания в Москве Гоголь свел еще одно новое знакомство — с Измаилом Ивановичем Срезневским (1812—1880), который 7 октября сообщал матери, что он «имел случай увидеться с этим русским испанцем». Кстати, с этой, «испанской» стороны одновременно аттестовал Гоголя и К. Аксаков: «Вообразите, что он был в Испании во время междоусобной войны; в Лиссабоне также» [ЛН. Т. 58. С. 564]. Очевидно, Гоголь пускался и в некоторые подробности своей испанской жизни, но после описания им Триеста в московском письме к матери мы понимаем, чего стоили эти подробности...

«Очень молодой человек, — продолжает Срезневский свой рассказ о Гоголе, — хорошенький собою, умненький, любящий все славянское, все малороссийское, но с первого вида мало обещающий». Выпускник Харьковского университета, фольклорист и этнограф, Срезневский заинтересовался больше всего славяноведческими изысканиями Гоголя, который был еще во власти своего нового замысла — драмы из жизни запорожцев. Срезневскому удалось расшевелить Гоголя; однажды они просидели втроем (еще М. С. Щепкин) «целый вечер», «говорили все о Малороссии, между прочим читали кое-что из Баллад Украинских и Думок и Песен». Срезневский сообщает, что «передал Щепкину Москалья Чаривника; он издаст его как 2-ю часть Украинского Сборника, и Гоголь будет держать корректуру» [Срезневский, с. 14, 15, 20]⁸⁷.

Перед отъездом Срезневского в западно-славянские земли Гоголь снова встретился с ним и оставил в его альбоме следующую запись: «Душевно желаю вам набрать, прибрать, раздать и привезти всякого добра. Гоголь. 1839. Октября 10. Москва» [IX, 26].

Тем временем молва о пребывании Гоголя в Москве дошла до столицы. «...Вы привезли с собою в подарок нашей литературе беглеца Пасичника! — писал 16 октября 1839 г. Погодину Николай Константинович Калайдович, сын известного археолога К. Ф. Калайдовича, в ту пору студент Училища правоведения. — Знаете ли, что известие об этом возбудило у нас энтузиазм! Теперь только и разговоров, что о Гоголе и новых его произведениях <...>. Любители петербургской жизни и петербургского общества (которых у нас не мало) завидуют теперь москвичам, которые, по всей вероятности, прежде их будут наслаждаться новыми творениями Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 564—566]. В старинном соперничестве Москвы и Петербурга возникла новая, «гоголевская»

нота; вскоре она проявится в отношении к писателю, с одной стороны, москвичей Аксаковых или Киреевских, а с другой, скажем, петербуржца Плетнева.

Первый месяц пребывания писателя в старой столице был омрачен событием, имевшим место на представлении «Ревизора». Гоголь еще не видел эту комедию на московской сцене; в свое время он обещал участвовать в ее подготовке, но не сдержал слова. На спектакль Гоголь попал спустя более чем три года — 17 октября 1839 г.

За три дня до этого, в субботу, появилось газетное извещение: «Во вторник, 17 октября, не в счет абонемента: Ревизор, оригинальная комедия в 5 действиях, в прозе, соч. *Н. Гоголя*; девертисмент. Начало в 7 часов» [МВед., 1839. № 82; подчеркнуто в оригинале].

Публика, заполнившая в этот день Большой театр (в то время большая и малая сцены еще не были поделены между оперной и драматической труппами), была пестрой. Присутствовало, по словам В. С. Аксаковой, «общество избранное». Пришел проживавший в старой столице генерал-майор А. Ф. Орлов, в прошлом участник Отечественной войны, член «Арзамаса» и Союза благоденствия. Много было литераторов: Погодин, Белинский, Боткин, Грановский, Катков, Огарев, Е. Ф. Корш («барон»), Кетчер — и, конечно, чуть ли не в полном составе семейство Аксаковых.

Гоголь расположился в ложе бенеуара Чертковых, знакомых ему еще по пребыванию в Риме; рядом — ложа Аксаковых, за нею — Павловых. В ожидании начала Гоголь как можно глубже втянулся в кресло, чтобы его не видели из зала.

По общему мнению, спектакль удался. Щепкин, игравший городничего, «был удивительно хорош» (В. С. Аксакова), «неподражаем» (Огарев), П. В. Орлов в роли Осипа — «также неподражаем» (Огарев). И. В. Самарин как Хлестаков — «средней доброты». Общая оценка — «превосходно, кроме Синецкой (М. Д. Львова-Синецкая играла Анну Андреевну. — *Ю. М.*), которая, мне кажется, не умеет схватить это слияние провинциализма, скверных приемов и романтичности» (Огарев — [РМ. 1888. № 11. С. 1–2]).

Актеры играли с подъемом: они знали, что в театре Гоголь. Праздничное настроение царило среди зрителей; многие спрашивали, где автор, и пытались разглядеть его в глубине ложи; «он же совершенно ушел в креслы и закрылся рукой так, что и нам (т. е. Аксаковым, находившимся в соседней ложе. — *Ю. М.*) нельзя было его видеть» [ЛН. Т. 58. С. 572].

Но главное испытание подстерегало Гоголя впереди. Константин Аксаков с друзьями решил превратить этот вечер в своеобразное чествование, заранее договорившись аплодировать при любой возможности, а по окончании спектакля вызвать автора. События развернулись быстрее, чем ожидалось: уже после второго акта раздались голо-

са «автора!», к которым присоединились и другие. Это подтверждает и Н. Ф. Павлов в письме, отправленном три дня спустя (20 октября) Шевыреву: «После второго действия стали вызывать. Хоть в театре было немного, но публика приняла единодушное участие в вызове...» [Отчет, с. 119]. Возбуждение росло. «Уж если вызывать, так вызывать же!» — решил Константин. Можно себе представить, что творилось в зале, если тот же Константин, по его словам, работал «всеми силами, голосом, руками и ногами» [ЛН. Т. 58. С. 570], «барон <Корш> отхлопал себе ладоши, которые рдеют и покрываются пузырями» [РМ. 1888. № 11. С. 1], а Грановский даже поругался с Белинским и Катковым, «которые тоже требовали выхода», он же считал, что автор не «обязан отдавать себя на волю публики...» [Грановский, ч. 2, с. 374–375].

Но вот поднялся занавес, и зрители вместо Гоголя увидели исполнителя роли Хлестакова И. В. Самарина, который объявил, что автора в театре нет... Воодушевление и восторг сменились другими чувствами. «Все были чрезвычайно поражены, удивлены, огорчены этим; <...> стали говорить: “Что же, разве ему неприятно это?”» [ЛН. Т. 58. С. 572]. Действительно, с нормальной точки зрения, что же здесь «неприятного» — признание, почет, слава?.. Но не для Гоголя, у которого, как уже догадывался С. Т. Аксаков, «все нервы вдесятеро тоньше и устроены как-нибудь верх ногами!» [Воспоминания, с. 96].

Сергей Тимофеевич попытался удержать Гоголя, но безуспешно. Потом вдогонку бросился Погодин, но не нашел его. По некоторым сведениям, Гоголь отправился не на Девичье поле, где он жил, а в дом Чертковых на Мясницкой, и по возвращении из театра Елизавета Григорьевна будто бы нашла его «храпящим на диване» (воспоминание дочери Чертковых С. А. Ермоловой — [РА. 1909. № 6. С. 301]).

Через день-два Гоголь написал письмо директору театра Загоскину, объясняя свой поступок тем, что незадолго до спектакля получил какое-то горестное известие из дома. «...Когда коснулся ушей моих сей единодушный гром рукоплесканий, так лестных для автора, сердце мое жалось и силы мои меня оставили. Я смотрел с каким-то презрением на мою бесславную славу и думал: теперь я наслаждаюсь и упояюсь ею, а тех близких, мне родных существ, для которых я бы отдал лучшие минуты моей жизни, сторожит грозная, печальная будущность; сердце мое переверотилось! <...> Я исчез из театра. Вот вам причина моего невежественного поступка» [XI, 256].

Хотя письмо не дошло до адресата, но его содержание стало известно многим, и объяснение Гоголя сочли неискренним и лицемерным. Что же касается С. Т. Аксакова, то его отношение к выдвинутой версии менялось. Вначале он решил, что Гоголь просто «наклепал на себя небывалые обстоятельства»: мать Николая Васильевича вскоре приехала в Москву, и незаметно было, чтобы она пережила перед этим какую-либо большую неприятность. Но позднее Аксаков отступился от этой мысли, признавая вполне возможным, что «обычно-

венное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческого, могло показаться ему грешным и противным» [Воспоминания, с. 143].

Вполне допустима и множественность причин, их наслоение. Так было летом 1829 г., когда провал «Ганца Кюхельгартена» совпал с обострением болезни и, возможно, любовной неудачей. Обращает на себя внимание фраза из письма Загоскину: «моя бесславная слава»... Гоголь был тщеславен, он жаждал славы, он видел, что его мечты сбываются, что восторг и почитание, которого он вкусил в Москве, достигли своего пика. Но в Гоголе жила и огромная неуверенность в себе, таилось тревожное сомнение в том, насколько прочна, долговременна и оправданна эта слава. Не обмануться бы, не сглазить, не поддаться бы легкому самообольщению. Тем более сейчас, когда создается главный труд его жизни, в сравнении с которым все прежде написанное им — ученические опыты. Нет, настоящая его слава еще впереди...

Возможно, что и исполнение пьесы не показалось ему столь уж совершенным. Особенно коробила его игра Самарина-Хлестакова, в которой, кстати, и другие находили недостатки. Все это косвенно подтверждается свидетельством С. Т. Аксакова: Гоголь говорил ему о «своем “Ревизоре”», очень сожалел о том, что главная роль, Хлестакова, играет дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряет весь смысл...» [там же, с. 101]. Этот разговор происходил во время поездки Аксаковых и Гоголя в Петербург в конце октября 1839 г., то есть буквально через несколько дней после упомянутого спектакля и, конечно, под его впечатлением. О недовольстве Гоголя игрою Самарина можно судить и по реплике писателя, переданной третьим лицом: «Зачем он симпатичен? *Этому Хлестакову я первый подал бы есть, если бы он был голоден: мой Хлестаков не должен возбуждать в зрителе чувство сострадания...*» [К. А., с. 25; курсив в оригинале]. Когда была произнесена эта фраза, неизвестно; но повод ее очевиден — упомянутый спектакль (17 октября 1839 г.), ибо других возможностей видеть Самарина в роли Хлестакова Гоголю не представлялось. Примечательно и то, что реплика относится к событиям второго действия (голодный Хлестаков в гостиничном номере!), после которого, по-видимому, Гоголь и покинул театр.

Наконец, весьма болезненным был для Гоголя и вызов на сцену: обычно его стесняло присутствие одного-двух незнакомых лиц, а тут нужно было выйти на обозрение сотен — бушующего и кипящего зрительного зала... И разрешение ситуации, которое нашел Гоголь, не первое в его биографии — отступление, внезапный уход, бегство⁸⁸...

Через девять дней после случившегося, 26 октября, Аксаковы и Гоголь выехали в Петербург; Сергей Тимофеевич для того, чтобы определить в Пажеский корпус младшего сына Мишу, Гоголь — чтобы забрать сестер из Патриотического института.

Ехали в большом дилижансе, разделенном на два купе; в первом сидели Гоголь и Миша, во втором — Сергей Тимофеевич с Верой.

Настроение Гоголя вновь изменилось — к лучшему. Он беспрестанно шутил в своей неподражаемо-серьезной манере, разыгрывал комические сценки.

Вот продавец пряников подошел со своим товаром. «Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает <...>. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился» [Воспоминания, с. 103].

Сполна демонстрировал Гоголь и свое умение «угадать человека». В Торжке подали проезжающим знаменитые пожарские котлеты, в которых на поверку оказались волосы. «Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: “Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда притти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.”» Пришел половой и «отвечал точно так же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами». «Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпучив глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно» [там же, с. 103].

На четвертый день приехали в Петербург. Аксаковы отправились к родственникам Карташевским, жившим на Владимирской улице, а Гоголь остановился у Плетнева в доме Строганова на Новомихайловской. Позднее он переехал к Жуковскому в Шепелевский дом, что рядом с Зимним дворцом. До своего отъезда за границу Гоголь бывал здесь не раз — на знаменитых субботах Жуковского.

Буквально на следующий день после приезда, 31 октября, Гоголь поспешил в дом на Михайловской площади, к Виельгорским, чтобы снова оказать им поддержку в трудную и скорбную пору — первые недели пребывания на родине без Иосифа (Виельгорские вернулись в Петербург 18 октября). Не застав Михаила Юрьевича дома, Гоголь — на бумаге с черной траурной каймой — написал записку: «Вы знаете сами и можете сами чувствовать, как мне будет приятно вас видеть <...>. Много объятий посылаю вам заочно. До завтра!» [XI, 260; Материалы, т. 1, с. 95; см. также: Лямина, Самовер, с. 466]. Из этого можно заключить, что и на другой день Гоголь побывал у Виельгорских.

Затем Гоголь весь погрузился в заботы в связи с окончанием сестрами Патриотического института. Нужны были деньги за уроки музыки, на экипировку, на обратную дорогу; Гоголь надеялся получить через Жуковского вспоможение от императрицы, но по случаю болезни ее не решались беспокоить. И тут выручил С. Т. Аксаков. Возможность помочь Гоголю Сергей Тимофеевич воспринял как великое счастье. Этот день — 10 ноября — запомнился ему на всю жизнь.

«Вчера Гоголь обедал у нас и ушел в 8 часу, — писал Сергей Тимофеевич жене. — Мы объяснились и я, все же теперь, по прошествии 13 часов, нахожусь еще в волнении, так я был глубоко проникнут этою сценою. Это письмо должны прочесть только ты, моя бесценная Олинька, да ты, дражайший Константин. Никто более. Здесь знают Вера да Маша (племянница Аксакова, дочь Карташевских. — Ю. М.)». Аксаков рассказывает о стесненных обстоятельствах Гоголя и о том, как трудно ему в этом признаться: «Да и как унизиться великому человеку до просьбы денег, в которой, наверно, еще получит отказ!.. Зато когда я уверил его (я его обманул), что у меня деньги есть, что это меня не расстраивает, даже не стесняет, когда он почувствовал, что ему не стыдно, не совестно принять помощь от человека, заслуживающего эту честь, это счастье... Боже мой, какая радость разлилась по всему существу его...» [РМ. 1913. Февраль. С. 224—225].

Но мало было заручиться согласием Гоголя взять деньги, — надо было еще решить, где их достать. Сергей Тимофеевич занял 2000 рублей у Бенардаки, а потом возместил эти деньги в счет долга, который прислал ему из Москвы Великопольский [Воспоминания, с. 108]. Последний уже не первый раз выручал Гоголя.

В знак признательности Гоголь раскрыл Сергею Тимофеевичу одну из своих творческих тайн: помимо «Мертвых душ», завершение которых «он считает задачею своей жизни», им задумана другая вещь — быть может, «лучшее его произведение». Речь шла о трагедии из истории Запорожья, начатой еще в Мариенбаде и Вене; за истекшие несколько месяцев замысел созрел настолько, что в сознании прояснилось все, вплоть «до последней нитки, даже в одежде действующих лиц»; осталось лишь перенести на бумагу [там же].

Пока же Гоголь решил познакомить петербуржцев с «Мертвыми душами». Известно, по крайней мере, четыре чтения Гоголем своей поэмы. Вначале он прочел несколько глав в квартире Жуковского, в присутствии Плетнева — было это до 4 декабря. Затем (5 декабря) состоялось чтение у П. А. Валуева, видного чиновника, камер-юнкера. В числе гостей находились Плетнев, Жуковский, А. И. Тургенев и, возможно, жена Валуева Мария Петровна — дочь П. А. Вяземского. Чуть позже, 11 декабря, Гоголь читал поэму у Карамзиных — вдове писателя Екатерине Андреевне, сыну Андрею Николаевичу и тому же А. И. Тургеневу. Некоторые, например Жуковский, А. И. Тургенев, Андрей Карамзин, уже были знакомы с главами поэмы; другим — П. А. Валуеву или Е. А. Карамзиной — Гоголь читал впервые. Общее впечатление было более чем положительным. «Говорят, превосходная вещь этот роман», — сообщал Грановскому И. С. Тургенев, сам не присутствовавший на чтениях [Тургенев И. Письма, т. 1, с. 175].

Познакомил Гоголь с поэмой и своих старых друзей-«однокорытников» — произошло это у Н. Я. Прокоповича; к сожалению, присут-

ствовавший на этой встрече П. В. Анненков не назвал других слушателей, сообщив лишь о том впечатлении, которое произвели на всех «Мертвые души»: «Общий смех мало поразил Гоголя, но изъятие нелепости восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло...» [Анненков, 1983, с. 48].

С. Т. Аксаков не присутствовал на этих чтениях и едва ли знал о них в подробностях; поэтому, в его глазах, чуть ли не все петербуржцы проявили неуважение и непонимание Гоголя. Тем самым продолжился спор о Гоголе между двумя столицами. «О, Петербург, о, пошло-деловой, всегда равно отвратительный Петербург!» Сергей Тимофеевич подтверждает это фактами. «Вот, например, Владимир Иванович Панаев, <...> старый мой товарищ, литератор и член Российской Академии <...> вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: “А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?”» Для автора полуподражательных «Идиллий» (СПб., 1820), «идиллического коллежского асессора», как называл его Пушкин, такая реакция была вполне ожидаема. Напомним, кстати, что Панаев лично знал Гоголя, служившего под его началом в Департаменте уделов; в то время Панаев оказывал будущему писателю свое покровительство.

В родственном Аксакове семействе Карташевских, с которым Гоголь познакомился, он тоже не нашел понимания. Глава семьи Григорий Иванович Карташевский (1777–1840), зять Сергея Тимофеевича (он был женат на сестре последнего Надежде Тимофеевне), крупный чиновник, сенатор, видел в гоголевских произведениях лишь внешний комизм; впрочем, это не мешало ему радушно принимать *земляка* Гоголя в своем доме: Карташевский был родом с Украины. Только дочь Карташевских Машенька отдавала должное великому писателю — и неудивительно: предмет глубокой сердечной привязанности Константина Аксакова, она находилась под сильным влиянием его эстетических взглядов, его понимания Гоголя.

Высказывались о Гоголе и гости Карташевских; Сергею Тимофеевичу запомнился день 16 ноября, когда на обед пришли сразу «два тайных советника». Один — Николай Иванович Хмельницкий (1789–1845), в недавнем прошлом смоленский губернатор, а также драматург, переводчик, между прочим, автор комедии-перделки «Воздушные замки» с главным героем Альнаскарковым, в отталкивании от которого Гоголь строил своего Хлестакова. Другой тайный советник — «малоизвестный, но не без дарования, Марков», то есть скорее всего Михаил Александрович Марков (1810–1876), поэт, прозаик и драматург⁸⁹. Во время обеда, отмечает Аксаков, «несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить! <...> Это были калибаны в понимании искусства...» [Воспоминания, с. 109].

Исключение, по мнению Сергея Тимофеевича, составлял Бенардаки. «...Этот грек <...>, очень умный, но без образования, был един-

ственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!» [Воспоминания, с. 109]. Со своей стороны, и Гоголь испытывал к Бенардаки глубокий интерес, зародившийся еще со времени знакомства в Мариенбаде. Этот интерес возрастет в период следующего приезда Гоголя в Россию — в 1841—1842 гг.

Однако Аксаков говорит о Бенардаки как «единственном человеке в Петербурге», столь высоко ценившем Гоголя... Не оговорка ли это? Очевидно, нет, потому что даже Жуковского Сергей Тимофеевич готов был упрекнуть в том, что он «не вполне ценил талант Гоголя». Больше того: «Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав “Мертвых душ”. Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой <...>, восхищались его юмором, комизмом, — и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему» [там же, с. 111—112].

Это, конечно, не совсем так: один только факт передачи Гоголю идеи («мысли») «Мертвых душ» и связанные с этим обстоятельства (см. главу «На подступах к книге жизни») говорят о том, что Пушкин придавал его творчеству «серьезное» — очень «серьезное!» — значение и считал, что оно вправе занять свое место не только в истории русской, но и европейской литературы. Но дело в том, что к концу 1830-х годов уже начало складываться особое, славянофильское, мессианское понимание Гоголя, которому отдавал дань и Аксаков-старший и с позиций которого он и оценивал этого писателя. Статус Гоголя еще более повысился, до уровня не просто европейского, но исключительного явления. «Такие люди рождаются не годами, а столетиями» [ЛН. Т. 58. С. 580], — запишет в своем дневнике Ю. Ф. Самарин. Так бы, пожалуй, Пушкин о Гоголе не сказал. Хотя бы потому, что находил в своем «столетии» не одного великого всемирно-значительного художника, а многих...

В Петербурге Гоголь дважды встречался с Белинским, незадолго перед тем переселившимся в северную столицу. Один раз они вместе пообедали у В. Ф. Одоевского; присутствовал еще И. И. Панаев. В письме Боткину от 22 ноября Белинский описал настроение Гоголя: «Хандрит, да есть от чего, и все с иронической улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург» [Белинский, т. 11, с. 420]⁹⁰. «Хандра» Гоголя бросалась в глаза и другим; так, И. С. Тургенев «узнал» у Плетнева, «что Гоголь живет у Жуковского, хандрит жестоко и едет обратно в Рим» [Тургенев И. Письма, т. 1, с. 175]. Да и сам Гоголь не скрывал своего желания поскорее вырваться из Петербурга. «Несмотря на многих моих истинных друзей, делающих мое пребывание здесь сносным, несмотря на это, не вижу часу ехать в Москву и весь бы летел к вам сию же минуту» (М. П. Погодину, 4 ноября 1839 — [XI, 263]).

26 ноября Сергей Тимофеевич попытался вытащить Гоголя в Александринский театр, на «Ревизора», но тот решительно отказался; из

его памяти еще не изгладились тяжелые впечатления от премьеры, состоявшейся тремя годами ранее. Побывавшие на спектакле Аксаковы нашли, что пьеса идет из рук вон плохо; разочаровал их Сосницкий-Городничий, о Н. И. Куликове же, сменившем Дюра в роли Хлестакова, и говорить не приходится. По словам Веры Сергеевны, он «играет, не понимая роли всей, без толку», хотя по внешним данным более соответствует этому персонажу, чем, скажем, Самарин на московской сцене [ЛН. Т. 58. С. 576].

К пребыванию Гоголя в Петербурге относится эпизод, зафиксированный 15 ноября в дневнике А. И. Тургенева: «С Вяз<емским>, Жук<овским> и даже Вал<уевым>, спор за поведение с мерзавцами: один Гоголь за меня» [Гиллельсон, с. 139]. Под «мерзавцами» подразумевался прежде всего Дмитрий Николаевич Блудов, крупный чиновник, в 1832–1838 гг. министр внутренних дел. Будучи в 1826 г. делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов, Блудов участвовал в подписании приговора брату А. И. Тургенева Николаю Ивановичу. «Вопрос об его (Александра Ивановича) отношениях с Д. Н. Блудовым был причиной постоянных размолвок между ними и его петербургскими друзьями» [там же]. Те, видимо, помнили «другого» Блудова, одного из членов «Арзамаса», человека, близкого Карамзину, издавшего, по завещанию историка, посмертный 12-й том «Истории государства Российского»... Гоголь же (как указал М. Гиллельсон) чуть ли не единственный поддержал А. И. Тургенева. Добавим, что поступок этот не случайный: далекий от либерализма и радикализма (в том числе и декабристского толка), Гоголь обычно уклонялся от официальной линии по отношению к инакомыслящим, не желая поддакивать властям; так было в «деле о вольнодумстве» и преследовании профессора Белоусова, так было в общении с поляками-эмигрантами...

Около 18 ноября⁹¹ Гоголь забрал сестер из института — досрочно, за три месяца до выпуска, чтобы скорее уехать из Петербурга, — и поместил их у Балабиных. Здесь Лиза и Анна проводили день в обществе Марии Балабиной, бывшей гоголевской ученицы, а ночевали в соседнем доме у Василия Николаевича Репнина, который был женат на старшей из сестер Балабиных, Елизавете Петровне. «Брат тоже часто приезжал к Балабиным с нами обедать» [Русь. 1885. № 26], — вспоминает Лиза.

29 ноября Гоголь привез сестер к Аксаковым — знакомиться. Впечатление они произвели грустное. «...В новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, отчего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя» [Воспоминания, с. 113]. Сергею Тимофеевичу вторит его дочь Вера, впрочем, с некоторой оговоркой: «Они мне очень нравятся сами по себе, но, Боже мой, что за понятия, что за мир, в котором они живут, что за дети!» [ЛН. Т. 58. С. 580].

Первые дни декабря были для Гоголя особенно тягостные: начались жестокие морозы, которые он не переносил. Гоголь кутался, но это не помогло — он отморозил ухо.

Наконец, был назначен день отъезда — воскресенье 17 декабря [Материалы, т. 1, с. 153]. Ехали в двух дилижансах: в четырехместном, в котором поместились сестры Гоголя и Сергей Тимофеевич с Верой (Миша остался в Петербурге), и двухместном, где находились знакомый Аксаковых Федор Иванович Васьков и Гоголь.

Настроение было совсем не такое светлое, как двумя месяцами раньше во время поездки из Москвы в Петербург. Досаждали сестры: выросшие в тепличной институтской атмосфере, они «всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам»; «к тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою». «Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение» [Воспоминания, с. 114]. Другая причина — Васьков. Каково было Гоголю, который за обедом, в присутствии незнакомого человека, не мог выдержать несколько часов! Тут же приходилось терпеть сутки за сутками... «Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова...» [там же, с. 115].

Обычно днем, меняясь с Сергеем Тимофеевичем, Гоголь пересаживался в четырехместный дилижанс, а ночью возвращался к себе. Это дало ему повод называть себя «днем», а «отесеньку», то есть Сергея Тимофеевича, — «ночью».

Вере Сергеевне запомнилась еще одна смешная подробность. Один раз, наблюдая обозных лошадей, которые тянулись впереди, Гоголь сказал: «Вот эта лошадь непременно должна быть Степан Степаныч», а сестра его меньшая (то есть Лиза), над которой он подшучивал прежде, говорит: «А мне кажется, что Николай Васильич» [ЛН. Т. 58. С. 580].

В Москву приехали спустя четверо суток — вечером 21 декабря⁹².

Гоголь поселился с сестрами на старом месте, в доме Погодина на Девичьем поле. Николай Васильевич по-прежнему жил в большой комнате на антресолях, Ане с Лизой отвели комнату напротив.

Помимо Михаила Петровича, в доме жили его престарелая мать, жена Елизавета Васильевна и двое детей, сын и дочка.

Сын Погодина Дмитрий, которому к этому времени едва исполнилось три года, вспоминал, «каким почетом, можно сказать, благоговением был окружен» Гоголь в родительском доме. «Детей он очень любил и позволял нам резвиться и шалить, сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: “Не надо ли чего?” — “Войдите”, — откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставляли его еще в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. “Ну, сидеть, да смирно”, — скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании

чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги» [Воспоминания, с. 407].

Гоголь вернулся к обычному распорядку. Первую половину дня работал в своей комнате; потом спускался вниз, обедал вместе со всеми, иногда, если был в настроении, тут же сам готовил макароны, не доверяя их никому; после обеда поднимался наверх и не пускал к себе никого до 7 часов... По вечерам Гоголь много ходил, благо что дом был просторен, и еще, как запомнилось Дмитрию Погодину, много пил. «В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану» [там же, с. 408]. Елизавета Васильевна рассказывает и о другой его привычке: «Брат <...> был большой лакомка, и у него в бюро всегда имелся большой запас орехов и слив в сахаре (его любимое лакомство)» [Русь. 1885. № 26].

Понемногу Гоголь стал выводить своих сестер в общество. «Брат часто возил нас на литературные вечера к Хомяковым, Свербеевым, Киреевским и др., хотя мы очень мало вникали в самые чтения: я думаю, что это было для нас в то время слишком серьезно» [там же], — рассказывает Елизавета Васильевна. Свободнее чувствовали себя сестры у Аксаковых, в доме которых бывали трижды в неделю; Аня все более сближалась с Верой Сергеевной, а Лиза — с ее сестрой Ольгой.

И тут произошло еще одно знаменательное знакомство. «К счастью моему, — сообщал Гоголь матери 25 января 1840 г. — сюда приехал архимандрит Макарий — муж известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью в вере. Я просил его, и он так добр, что, несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и научает сестер моих великим истинам христианства» [XI, 276]. Елизавете Васильевне эти посещения тоже запомнились: «В то время в Москву приехал из Алеутских островов уважаемый всеми миссионер <...>. «В Москве многие его приглашали для духовных бесед. Брат также пригласил его для бесед с нами...» [Русь. 1885. № 26]. Правда, вопреки утверждению Елизаветы Васильевны, Алеутских островов Макарий никогда не видел, но личность это была действительно незаурядная.

Архимандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев; 1792–1847) окончил С.-Петербургскую духовную академию, отличался замечательной образованностью, знал несколько языков: еврейский, латинский, греческий, немецкий, французский, отчасти — английский и итальянский. Широкую известность принесла ему миссионерская деятельность в Сибири, которой он посвятил 13 с половиной лет (с августа 1830-го по июль 1844-го); как основателя Алтайской миссии, его называли «апостолом Алтая» (вот откуда «алеутские» ассоциации: простодушная Елизавета Васильевна спутала Алтай с Алеутами; к тому же она невольно приписала Макарию факт из биографии Ф. И. Толстого-Американца, который, по известному выражению из «Горя от ума», «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом...»). Московский же мит-

рополит Филарет называл Макария еще «романтическим миссионером» [Флоровский, с. 188]. В Москву в 1839 г. Макарий приехал по благотворительным делам своей миссии — для сбора пожертвований в связи с разразившимся на Алтае голодом. Именно в это время с ним встретился Гоголь.

Из упомянутого гоголевского письма от 25 января 1840 г.: «Я сам по нескольким часам останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил» [XI, 276]. Это, кажется, один из первых, если не первый известный случай, когда Гоголь проявил глубокий интерес к духовному деятелю; в будущем таких примеров станет больше. Тем важнее представить себе облик этого человека.

Прежде всего, Макария отличала веротерпимость, стремление сблизить различные ветви христианства; он даже «мечтал построить в Москве храм с тремя отделами — для православных, католиков и лютеран» [Флоровский, с. 188]. Гоголю, который в это время держался убеждения, что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же», подобное умонастроение было весьма близко. Такую же терпимость проявлял Макарий и к разным народам, утверждая, что «нет народа, в котором бы Господь не знал своих». «Кто таков я, что берусь судить о незрелости народов для всемирной веры в Иисуса Христа, который за всех человеков и во спасение всех пролил Пречистую Кровь Свою...» Одно из сочинений Макария, датируемое 1839 г., носит название «Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе» [там же, с. 189].

Наконец, выгодно отличало Макария и отношение к науке, отнюдь не враждебное, как у многих духовных деятелей того (да и более позднего) времени, а наоборот — заинтересованное и дружественное. Он полагал, что вере не противопоказаны научные знания — они ее укрепляют. Показателен такой факт: в 1840 г., возвращаясь из упомянутой поездки в Москву и Петербург, Макарий остановился в Казани и испросил у попечителя тамошнего учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина дозволения посетить занятия в университете. «После Пасхи, — сообщает он, — мы брали уроки по анатомии <...>. Дважды мы ходили в тамошнюю обсерваторию и удивлялись огромной, великолепной, достойной звездного неба трубе, недавно полученной из Германии <...>. Я пользовался презанимательными и продолжительными беседами профессора ботаники, г. Корнуха-Троицкого, и еще чаще таким образом роскошествовал у ректора университета г. Лобачевского, которого ум и дар слова приводили меня в удивление, и у доктора Фукса, в котором не знаешь, чему более удивляться: богатству ли познаний или доброте и веселому нраву на старости» (*Макаревский Михаил. Жизнеописание архимандрита Макария (Михаила Глухарева)*... СПб., 1892. С. 32).

Тут каждое имя говорит за себя: выпускник медицинского факультета Московского университета доктор философии Петр Корнух-Троицкий; питомец Геттингенского университета профессор естественной истории и ботаники Карл Федорович Фукс и, конечно, Николай Иванович Лобачевский, который как раз в это время (с 1827 по 1846) был ректором Казанского университета.

Спектр знакомств Гоголя в этот приезд его в Москву был довольно широк и не ограничивался каким-либо одним кругом.

Так, он встретился с одним из самых близких Белинскому людей Василием Петровичем Боткиным (1811–1869), начинающим очеркистом, переводчиком, критиком. «... Ты познакомился с Гоголем — вот так поздравляю и *даже завидую...*» [Белинский, т. 11, с. 519], — писал ему 24 апреля из Петербурга Виссарион Григорьевич, который, как мы знаем, и сам был знаком с Гоголем. Похоже, Белинскому хочется снова пережить радость первого знакомства с великим писателем...

Познакомился Гоголь и с Кириллом Антоновичем Горбуновым (1822–1893), впоследствии — академиком портретной живописи, а в 1830-е годы — крепостным чембарских помещиков Владыкиных, посланным для обучения ремеслам в Московский художественный класс. Здесь весной 1839 г. были показаны работы Горбунова, обратившие на себя внимание и вызвавшие сочувственный отклик в «Московском наблюдателе» [1839. Ч. 2. Отд. «смесь». С. 50–51; см. также: Эфрос, с. 358 и далее]. Через некоторое время произошла встреча молодого художника с Гоголем, снабдившим его рекомендательным письмом к К. Брюллову.

Этот факт порадовал Белинского и круг его друзей, к которому был близок Горбунов, или, как его здесь ласково называли — Кирюша. «Кирюша познакомился с ним (Гоголем), и Гоголь его оценил и полюбил», — сообщал В. П. Боткин Белинскому из Москвы в Петербург 9–12 февраля 1840 г. «Я очень рад за Кирюшу, что он так хорошо познакомился с Гоголем», — отвечал 19 февраля Белинский [Белинский, т. 11, с. 682, 453].

Познакомился Гоголь, правда мельком, и со студентом словесного отделения Московского университета, начинающим поэтом Афанасием Афанасьевичем Фетом (1820–1892). Будучи питомцем погодинского пансиона (с февраля 1838 по начало 1839 г.), Фет бывал в доме Погодина и позже.

«Все мы хорошо знали, — рассказывал Фет позднее, — что Николай Васильевич проживал на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо Погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча». Позднее, однако, Фет снова пришел к Погодину с тетрадкой стихов — «за приговором моему эстетическому стремлению»....

« — Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, — сказал Погодин, — он в этом случае лучший судья.

Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: “Гоголь сказал, что несомненное дарование”» [Фет, с. 130]⁹³.

Встречался Гоголь и с Тимофеем Николаевичем Грановским (1813–1855), близким в свое время к кружку Станкевича, многообещающим ученым-историком, только что вернувшимся из-за границы и назначенным преподавателем в Московском университете. Виделись они и у Киреевских, и в доме Грановского — и не один раз. «Гоголь здесь давно, — извещал он Станкевича 20 февраля, — я его вижу раза два в неделю: он был у меня...» Грановский чуть ли единственный, в ком возвратившийся из-за границы Гоголь как человек оставил определенно неблагоприятное впечатление: «...Он очень переменялся. Много претензий, манерности, что-то неестественное во всех приемах». Но, добавляет Грановский, «талант тот же» [Грановский, т. 2, с. 384].

Встречался Гоголь и с Николаем Андреевичем Маркевичем (1804–1860), поэтом, выпускником Благородного пансиона при Петербургском университете. Маркевич был знаком с Пушиным, С. А. Соболевским, П. В. Нащокиным, М. И. Глинкой — людьми небезразличными и Гоголю. У Гоголя и Маркевича были общие интересы — к фольклору, прежде всего украинскому; еще в 1831 г., одновременно с выходом первой части «Вечеров на хуторе...», Маркевич издал «Украинские мелодии» (М.), где в поэтической форме воспроизвел народные поверья и предания. С Гоголем Маркевич встретился накануне выхода нового своего труда — «Украинские напевы, положенные на фортепиано» (М., 1840).

Общие интересы Гоголя и Маркевича должны были получить и практическое выражение с участием третьего лица — А. Н. Верстовского. 23 января Маркевич записал в дневнике: «Знакомство с Верстовским <...>. Разговор с Гоголем <...>. Собирались с Верстовским писать оперу “Страшная месть”». И на другой день: «Толковали о будущей опере. Я пишу либретто, Верстовский — партитуру» [ЛН. Т. 58. С. 896]. Впрочем, наверное, пути Гоголя и Верстовского пересекались и раньше — Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862) занимал видные должности в дирекции московских театров: с 1825 г. он инспектор музыки, а с 1830-го — инспектор репертуара. Присутствовал он и на памятном представлении «Ревизора» 17 октября 1839 г., когда автор покинул театр. А в январе 1840 г. он обещал отдать свою ложу Нащокину, чтобы тот по приезде в Москву матери Гоголя сводил ее в театр.

Забота Павла Воиновича Нащокина (1801–1854) о членах гоголевского семейства неслучайна: у него установились довольно близкие отношения с писателем. Один из ближайших друзей Пушкина, отставной военный, хозяин открытого дома, находившегося у храма, именуемого Старым Пименом, что в Воротниках, Нащокин был глубоко симпатичен Гоголю. Точное время их знакомства неизвестно; по

словам Веры Александровны, жены Павла Воиновича, «это случилось еще до поездки Николая Васильевича в Италию», то есть до отъезда его за границу в июне 1836 г.; однако В. А. Нащокина нечетко различает первый и последующие отъезды писателя из Москвы. Тем не менее весьма вероятно, что Нащокин действительно встретился с Гоголем «у С. Т. Аксакова», летом 1832-го или весной и летом 1835 г.. Во всяком случае во время следующего посещения писателем Москвы Нащокин — среди первых слушателей Гоголя, читавшего «Мертвые души» 14 октября 1839 г. в доме Аксаковых. А по возвращении Гоголя из Петербурга они определенно сблизились, о чем свидетельствует обмен краткими записками, имевший место в декабре того же года.

Гоголь обещает «непременно» быть с сестрами на обеде у Нащокиных, но просит не «обкармливать», ограничиться одним «равиоли» (итальянским блюдом из теста наподобие пельменей), «дабы после обеда мы были хоть сколько-нибудь похожи на двуногих» [XI, 268]. Вряд ли хлебосольный и не знающий ни в чем меры Нащокин внял этой просьбе...

Нащокин же в своей записке, которая, возможно, отправлена после упомянутого обеда, развивает «птичью» тематику, привычно подсказываемую фамилией Гоголя и охотно иницилируемую им самим. «Если Вы птица, Николай Васильевич — то — точно небесная»; он же, Нащокин, — «земноводная, обжорливая Утка, чем бы мне Га! Га! <...> не хотелось — быть — относительно Вас». Далее следует просьба, ради которой собственно и отправлена записка. Дело в том, что на обеде присутствовал Погодин, которому Нащокин остался должен 25 р. серебром (возможно, карточный долг); эти деньги мог бы заплатить Гоголь, проживавший у Погодина; но Нащокин хочет сделать это сам: «Вы видели — в каких роскошных чаях я <по зачеркнутому: мы> находились — у меня это признак <...> избытка» [Искусство. 1923. № 1. С. 330—331]. Характерный поступок для разоряющегося, но гордого Нащокина...

К превратностям судьбы Нащокин относился легко и философски-отстраненно. «В одном водевиле, — рассказывает историк П. Б.<арте-нев>, — представлена была жизнь его с цыганкою Ольгою и, сидя в креслах Московского театра, Нащокин глядел на собственное изображение. Немудрено при этом, что он прожил на веку своем несколько состояний <...>. Случалось так, что он проживал последние крохи, топил камин мебелью; вдруг поступало к нему богатое наследство и снова жизнь его текла широкими волнами» [РА. 1878. Кн. 1. С. 86].

Ввиду коротких отношений, установившихся между Гоголем и Нащокиным, имеют определенную ценность зарисовки, сделанные позднее Верой Александровной. «Гоголь скоро стал своим человеком в нашем доме. Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцентом, немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой, любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него

готовили. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся какой-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил. Когда Гоголь бывал в ударе <...>, он нас много смешил. К каждому слову, к каждой фразе у него находилось множество комических вариаций, от которых можно было помереть со смеха. Особенно любил он перевернуть, конечно, в шутку, газетные объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего юмор его производил еще более неотразимое впечатление» [НВ. 1898. 7 октября].

Об атмосфере, царившей в доме Нащокиных, рассказывала и Ольга, сестра Николая Васильевича: «У них постоянно собирались все талантливые, из числа тех только помню актера Щепкина, который заговорил со мною по-малороссийски <...>. Помню, как один играл на скрипке, другой — на рояли, а некоторые рисунки свои показывали, иные читали, верно свои сочинения; до моего уха долетали слова брата, когда он говорил: нужно развивать талант, грешно не пользоваться» [Головня, с. 15].

Спустя два года, после нового приезда в Россию и встреч с Нащокиным, Гоголь вдруг загорелся идеей устроить жизнь своего хорошего знакомого, одновременно оказав услугу и другому симпатичному ему человеку — Бенардаки. Но об этом разговор впереди.

Между тем Гоголь почувствовал потребность продолжить чтения «Мертвых душ» — к великой радости своих друзей, Аксаковых прежде всего. 23 декабря, в субботу, он прочел в аксаковском доме две главы, вторую и третью (первая глава была прочитана еще в октябре). «Это просто — чудо, — писал Сергей Тимофеевич сыновьям в Петербург. — На похвалу слов нет. Смешно до того, что все валились со смеха» [ЛН. Т. 58. С. 579]. Аксакову-старшему вторит Вера Сергеевна, сообщавшая в Петербург братьям: «...Все смеялись, и, точно, нельзя не смеяться; но не одно смешное имеет у него достоинство, все чудно» [там же, с. 577]. Поделилась своими впечатлениями с братьями и десятилетняя Надя Аксакова: «Это очень смешно» [там же, с. 579]; ей не разрешили быть со взрослыми, и она слушала Гоголя в «другой комнате»⁹⁴.

Что же касается Константина Аксакова, то его восторженное отношение к Гоголю, кажется, превзошло всякую меру. Характерная деталь: по случаю приближающегося Нового года Каролина Павлова, жена Николая Филипповича Павлова, «по всему городу искала портрет Гоголя, чтобы повесить на елку для Константина вместе с портретом Гегеля» [там же].

В новом, 1840 году продолжилось чтение «Мертвых душ», но неспешно, с большими интервалами, вызванными, очевидно, тем, что Гоголь дорабатывал, шлифовал очередную порцию текста. 6 марта он прочел четвертую главу, в начале апреля — пятую и 13 апреля⁹⁵ —

шестую. На этом чтении в доме Аксаковых закончились; Гоголь, видимо, посчитал, что все остальное еще рано предавать огласке.

Воодушевление слушателей росло от одного раза к другому и, наконец, при чтении шестой главы, посвященной Плюшкину, достигло своего апогея; вместе с тем углублялось и понимание сложности гоголевского письма и гоголевского эмоционально-философского тона, не сводимого к одной комической интонации. «Это лицо (Плюшкин) превосходит все лица творческой фантазии, какие я только знаю, — писал Сергей Тимофеевич 15 апреля сыновьям. — Это несколько не смешно, а грустно <...>. Это чудо да и только...» [ЛН. Т. 58. с. 588]. И спустя много лет он помнил испытанное в этот день потрясение: «...Создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг» [Воспоминания, с. 119].

Среди слушателей Гоголя были новые лица. На чтении второй и третьей глав присутствовал Юрий Федорович Самарин (1819—1876), только что окончивший словесное отделение философского факультета Московского университета, в будущем видный деятель славянофильства; а на чтении шестой главы — Александр Осипович Армфельдт (1806—1868), врач, воспитанник Дерптского и Московского университетов, профессор судебной медицины и других дисциплин в Московском университете. Во время чтения шестой главы случился еще один «полулегальный» слушатель — В. А. Панов (о котором мы еще будем говорить): он приехал к Аксаковым, когда чтение уже началось, и чтобы не помешать, уселся «у двери другого моего (то есть Сергея Тимофеевича) кабинетца» — и «пришел в упоение». Когда чтение закончилось — напомним, что оно происходило перед самой заутренней Светлого воскресенья, — «все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого» [там же].

Читал Гоголь «Мертвые души» и в других московских домах — «у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то» [там же, с. 122]. У Киреевских в частности, присутствовал Грановский, который весной 1840 г. сообщил Я. М. Неверову, что «слышал чтение нескольких глав — чудо! Также при мне читал он первую главу романа, взятого из итальянской жизни — Аннунциата. Талант его еще выше стал» [Грановский, т. 2, с. 401]. Это чтение — повести «Рим» — имело место у Киреевских 19 февраля. «Чудо... — передает он на следующий день свое впечатление Н. В. Станкевичу. — Это одно из лучших произведений Гоголя...» [там же, с. 384]. Кстати, через день, у Киреевских же, повесть Гоголя слушал приехавший из Петербурга А. И. Тургенев (первое известное чтение «Рима» состоялось еще в Петербурге у Валуевых 5 декабря 1839 г. — [Гиллельсон, с. 139]).

Около 13 апреля («перед святой неделей», как говорит С. Т. Аксаков) в Москву приехала мать Гоголя, не видевшая сына почти четыре года со времени его последней поездки на родину. Москвичам Марья Ивановна понравилась. С. Т. Аксаков: «Это было доброе, нежное, любя-

шее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя» [Воспоминания, с. 119]. Вера Сергеевна: «Женщина умная, чрезвычайно приятная» [ЛН. Т. 58. С. 586]. В. А. Нащокина: «...Кроткая, чудная и в молодости, вероятно, была красавица собой» [НВ. 1898. 7 октября].

Марья Ивановна привезла с собою пятнадцатилетнюю Олю, младшую сестру Николая Васильевича. Обоих их приютил тот же погодинский дом на Девичьем поле.

Гоголь уделял сестрам много внимания; он не только брал их с собою в гости, в театр, но и старался, по его словам, «приучить к трудолюбивой и деятельной жизни» [XI, 263]. Лиза и Аня переводили или, по крайней мере, пытались переводить какие-то тексты «для будущего журнала» Погодина, то есть для «Москвитянина»; что же касается Оли, то с ней было сложнее. Глуховатая с детства вследствие перенесенной болезни, со слабой памятью, она всегда плохо училась и не обнаруживала ни малейших способностей. Правда, замечена была любовь ее к музыке, и это воодушевило Гоголя: «Брат <...> вообразил, что у меня есть талант, договорил мне учителя — давать мне уроки музыки, и платил за час пять рублей, а чтобы не беспокоить Погодина, он возил меня каждый день к Нащокиным, туда приходил учитель» [Головня, с. 14]. Некоторое время Оля жила у Нащокиных, и брат приходил сюда ее навещать⁹⁶.

Учителем же Оли, как выяснил Л. Р. Ланский [ЛН. Т. 58. С. 586], был Лангер; так устанавливается еще одно небезынтересное знакомство Гоголя в период его пребывания в Москве. Леопольд Федорович Лангер (1802—1885), композитор и учитель музыки, лично знакомый с Бетховеном и Шубертом, был близок к кружку Станкевича, встречался с Белинским, В. П. Боткиным и др. К Гоголю он испытывал давнюю и, так сказать, заочную симпатию, о чем свидетельствует письмо Станкевича Л. А. Бакуниной (1 мая 1837 г., Москва). Сообщая, что его друзья и знакомые часто собираются, чтобы читать Гоголя, Станкевич причисляет Лангера к «самым интересным лицам»: «...Музыкант, немец, но довольно хорошо понимает русский язык и в душе может совершенно понять и оценить Гоголя <...>. Что за верные понятия об искусстве, жизни!» [Станкевич, 1914, с. 527]⁹⁷.

Уже говорилось, что Гоголь хлопотал о театральной ложе для матери и, очевидно, для сестер. Скорее всего, он решил сводить их именно на «Ревизора». Эта пьеса шла в 1840 г. сравнительно редко, примерно раз в два месяца. Во время пребывания в Москве Марья Ивановны «Ревизор» давался всего один раз — 23 апреля, на сцене Большого театра, вместе с другой пьесой «Вторник на Фоминой неделе, или Продажа дешевых товаров. Московская картина в I действии» [МВед. 1840. № 32]. Наверное, в этот день и состоялся выход гоголевского семейства в театр.

Результат воспитательных усилий Гоголя оказался налицо: по словам Веры Сергеевны, «сестры его гораздо стали развязнее, очень много выезжают, почти каждый день на вечерах, в лучшем обществе, и везде за ними чрезвычайно ухаживают и стараются занять их...» [ЛН. Т. 58. С. 588].

Любопытно, что еще в феврале, до приезда Марьи Ивановны с Олей в Москву, Гоголь задумал пристроить сестер у А. П. Елагиной; очевидно, он решил, что пребывание в этом доме, бывшем местом встречи московской интеллигенции, будет для них полезнее. 18 февраля, будучи в гостях у Елагиной, А. И. Тургенев слышал, как «Свер<беева> просила за сестер Гоголя». На следующий день «по поручению Свербеевой» он, с своей стороны, вел разговор «о Гоголе и сестрах его» в доме Муравьевой [Гиллельсон, с. 139]. Тем временем Елагина сообщила о гоголевской просьбе Жуковскому, приходившемуся ей дядей, и получила возмущенный ответ (датирован 26 февраля): «Как можно сделать такое предложение! <...> А Гоголь часто капризный эгоист. Погодин требует, чтобы у него оставил сестер своих; Аксаков тоже ему предлагал. Нет, хочет по-своему и без всякой деликатности навязывает их на вас, обремененных семейством...» [РБ. 1912. № 7–8. С. 111].

В результате, когда приблизился день отъезда родных, Гоголь решил оставить в Москве только среднюю из сестер, Елизавету — для завершения образования и подготовки к самостоятельной жизни. Лиза отличалась более живым и веселым характером и, как подметили Аксаковы, пользовалась особенной любовью брата, хотя он в этом и не признавался. С помощью Елагиной и другой своей доброй знакомой Надежды Николаевны Шереметевой Гоголь договорился, что Лиза переедет к Прасковье Ивановне Раевской, по словам С. Т. Аксакова, «женщине благочестивой, богатой, не имеющей своих детей» [Воспоминания, с. 122]. Такого же мнения была и Е. М. Хомякова, сообщившая поэту Н. М. Языкову, своему брату, что Гоголь поместил свою сестру «у предпочтительной и богомольной дамы, старой Раевской; она соседка наша в Богучаровке, и я собираюсь познакомиться с ней» [Хомяков, т. 8, с. 105–106]. Это должно было гарантировать Лизе, так сказать, перекрестное внимание любящих Гоголя людей.

Марья Ивановна с двумя дочерьми уехала на родину 27 апреля. Оля вспоминала, что брат «нанял дилижанс и на дорогу дал нам разные съестные припасы: икры, сыру, разные копчености и калачи, замечательно вкусные московские калачи, и этой провизии нам стало до Харькова» [Головня, с. 16].

Гоголь тоже уже подумывал о дороге — ему оставалось прожить в Москве всего каких-нибудь двадцать дней.

Самым заметным событием этого времени явилось традиционное празднование именин Гоголя 9 мая, в день Николы летнего. В огромном саду погодинского дома собралось много гостей; С. Т. Аксаков

упоминает своего сына Константина, Ю. Ф. Самарина, затем А. И. Тургенева, М. Ф. Орлова, Загоскина, писателя М. А. Дмитриева, Армфельда, гоголевского приятеля с нежинских времен, ординарного профессора Московского университета П. Г. Редкина, а также совершенно новое лицо в гоголевской биографии — М. Ю. Лермонтова.

К вечеру, когда все празднество переместилось в дом, по словам Сергея Тимофеевича, приехало еще несколько женщин: Елагина, хозяйка другого московского литературного салона Екатерина Александровна Свербеева, Екатерина Михайловна Хомякова (Языкова)...

А. И. Тургенев, чье свидетельство отличается полной надежностью, так как сделано в тот же день в дневнике, подтверждает присутствие Лермонтова, Вяземского, Самарина, Орлова и называет, кроме того, еще Баратынского, Дмитрия Николаевича Свербеева (мужа Е. А. Свербеевой), М. С. Щепкина, Александра Николаевича Попова (выпускника юридического факультета Московского университета, в будущем известного историка), Хотяеву; упомянуты также «пр. (прочие?) Глинки» — возможно, поэт и публицист Федор Николаевич Глинка и его жена поэтесса Авдотья Павловна; к концу вечера приехал еще П. Я. Чаадаев. Присутствие многих молодых людей позволило сказать Тургеневу, что «съехалась» «la jeune Russie (молодая Россия)» [ЛН. Т. 45–46. С. 419–420; публикация Э. Герштейн].

Это событие оставило след и в переписке Баратынского, который на следующий день сообщил жене, что «был на обеде Гоголя: нашел всю братию, кроме <...> Киреевского и Павлова. С Орловым (речь идет о М. Ф. Орлове. — Ю. М.) сошелся опять очень дружески. Вообще не получил ни одного неприятного впечатления» [Баратынский, с. 277]. Причина, по которой отсутствовал И. В. Киреевский, неизвестна; Н. Ф. Павлова же, по словам А. И. Тургенева, не пригласили «ошибкой».

После обеда, когда все разбрелись по огромному погодинскому саду «маленькими кружками», «Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случился, отрывок из новой своей поэмы “Мцыри”, и читал, говорят, прекрасно» [Воспоминания, с. 120]. Сергей Тимофеевич не слышал чтения, так как, будучи нездоров, уехал до начала именинного обеда; не слышал и Константин, так как находился в другом конце сада. Но слышал Самарин, который, очевидно, поделился своими впечатлениями с Аксаковыми. Самарин уточняет, какой именно отрывок из «Мцыри» читал Лермонтов — «Бой мальчика с барсом», — и передает некоторые сопутствующие детали: «Лермонтов был очень весел»; он высказал свое «суждение о Петербурге (откуда он только что приехал. — Ю. М.) и петербургских женщинах»; разговорился с Самариным «про Гагарина», то есть Ивана Сергеевича Гагарина, в недавнем прошлом секретаря русской миссии в Париже, в будущем — члена иезуитского ордена; и в общем «сделал на всех самое приятное впечатление» [М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972. С. 297].

На следующий день (как установила Э. Герштейн) Гоголь вновь встретился с Лермонтовым — в доме Свербеевых. Свидетель этого события А. И. Тургенев записал в дневнике: «10 мая... Вечер у Свербеевой» с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов...» [ЛН. Т. 45–46. С. 420]. Упоминаемые участники этой встречи — Каролина Павлова и графиня Екатерина Александровна Зубова, урожденная Оболенская (1811–1843).

Весьма вероятно, что Гоголь уже встречался с Лермонтовым до 9 мая 1840 г., ибо он не имел обыкновения приглашать к себе незнакомых людей (Константину Аксакову пришлось специально упрощать Гоголя пригласить на именины Самарина, с которым тот «был знаком еще мало». — [Воспоминания, с. 120]). Это могло произойти во время последней гоголевской поездки в Петербург: оба писателя вращались в одних и тех же сферах. Как и Гоголь, Лермонтов бывал и у Карамзиных, и у Валуевых, и у Смирновых; встречался с М. Ю. Вильгорским, Вяземским, В. Ф. Одоевским, Жуковским... Легко представить себе, что пути Гоголя и Лермонтова где-нибудь пересеклись.

В Москву Лермонтов приехал 8 мая, чтобы на следующий день угодить «с корабля на бал», то есть на именины Гоголя. А уехал он из Москвы — на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк — 25 мая, чтобы уже никогда не встретиться с Гоголем.

Но, конечно, литературное имя Лермонтова стало известно Гоголю еще до их встреч и независимо от этих встреч. Трудно представить себе, что «Смерть поэта», которая, по словам современника, «вызвала Лермонтова из неизвестности», прошла мимо внимания Гоголя, негодовавшего против виновников гибели поэта. Лермонтовские строки: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, // Свободы, Гения и Славы палачи!» — находили соответствие в уже цитированных нами гоголевских словах из письма М. П. Погодину от 30 марта н. ст. 1837 г.: «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных <...>. А что эти люди готовы были сделать ему при жизни?» [XI, 91].

Ко времени пребывания Лермонтова в Москве русское общество увидело новую неожиданную грань его таланта — как создателя прозаических произведений. Белинский — Боткину, 16–21 апреля 1840 г.: «...Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант...» [Белинский, т. 11, с. 508]. Хомяков — Н. М. Языкову, 20 мая: Лермонтов «с истинным дарованием и как поэт и как прозаитор»⁹⁸. Совсем иного мнения был Н. М. Языков, сурово осудивший «Героя нашего времени»: «Вяло, растянуто, неискусно и незанимательно!» (письмо А. М. Языкову, 19(7) сентября 1840 г. — [Языков, с. 366]).

Высказывался по этому поводу и Гоголь. По отъезде его из Москвы С. Т. Аксаков писал ему 10 июня, что, прочитав «Героя нашего времени», вспомнил гоголевское предсказание: «Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца» [Воспоминания, с. 125]. Возмож-

но, эти слова были произнесены Гоголем после встреч с Лермонтовым 9 и 10 мая, авторского чтения «Мцыри» и в связи с только что вышедшем (в конце апреля) отдельным изданием романа (части его — «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» — были опубликованы годом раньше в «Отечественных записках»). Впоследствии эта мысль получила у Гоголя характер прямого противопоставления Лермонтова-поэта и Лермонтова-прозаика: «Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлеялось чадолюбиво и заботливо <...>. В его сочинениях прозаическими гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой» [VIII, 402].

Восприятие «Героя нашего времени» выходило за пределы чисто жанровой оппозиции: проза или стихи. Тут проступала еще другая оппозиция — историко-культурная и политическая. По Шевыреву, центральный персонаж романа, выдаваемый за «героя нашего времени», — тень, отброшенная на нас Западом, призрак его недуга. России эта болезнь чужда — отсюда все несовершенства произведения. По К. Аксакову, Печорин — воплощение бесстыдства и гнилого эгоизма, корни которого известно где — там же на Западе. Не жалуют лермонтовского героя Самарин и Хомяков, однако они допускают важную оговорку. Да, роман свидетельствует о болезненности чувства, о переходности эпохи, но это болезненность, свойственная и России, переходная эпоха, общая для европейцев вообще. Чтобы преодолеть ее, нужно уйти от болезненной рефлексии.

Гоголевское суждение о романе слишком лаконично, чтобы можно было определенно вписать его в общую картину; во всяком случае ясно, что он не на точке зрения Шевырева или К. Аксакова. Его восприятие «Героя нашего времени» вообще более спокойное, «художническое», широкое. Оно, это восприятие, предвещало будущую (в «Учебной книге словесности...») оценку Лермонтова-прозаика: в нем «готовился будущий великий живописец русского быта». Под «бытом» подразумеваются здесь вовсе не только низшие сферы жизни или, как сказал бы Гоголь, ее «низменные ряды». Быт — строение, течение жизни на любых ее уровнях, в том числе и светском. В таком смысле употреблял это слово Пушкин: «...Мы и в литературе, и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны» [Пушкин, т. 7, с. 101]. В таком качестве — применительно уже к высшему свету — фигурирует это слово в повести В. А. Соллогуба «Большой свет»: «великосветский быт».

Упоминание повести Соллогуба в этом контексте отнюдь не случайно, ибо, во-первых, один из ее персонажей Леонин недвусмысленно соотношен с Лермонтовым (автор даже говорил, что под этим именем он изобразил его «светское <...> значение»), а во-вторых, потому, что появление повести пришлось на время пребывания Гоголя в Москве (9-й том «Отечественных записок» за 1840 г. с «Большим светом» вышел 15 марта). Наполненная, по выражению Вязем-

ского, «намеками и актуалитетами», повесть вызвала бурные обсуждения, требовала расшифровки. Несколько из этих «актуалитетов» были лично знакомы Гоголю: помимо Леонина-Лермонтова, еще Сафьев, Щетинин и Наденька: их прототипами соответственно были С. Соболевский, сам В. Соллогуб и Софья Виельгорская, которая вскоре (в ноябре того же года) станет женой В. Соллогуба, — все хорошие знакомые Гоголя.

В какой-то мере повесть дополняла лермонтовского «Героя нашего времени», так как выворачивала «большой свет наизнанку». «Сколько происков, сколько неведомых подарков! Сколько родных и племянников! Сколько нищеты шегольской! Сколько веселой зависти... И все идет, все стремится, все бежит вперед...»

Позднее, в «Авторской исповеди» Гоголь скажет, что для продолжения работы над «Мертвыми душами» он обратился к различным произведениям, в которых отразилось «познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустычника...» [VIII, 443]. Уже отмечалось, что под «исповедью светского человека» Гоголь подразумевал автора «Героя нашего времени»⁹⁹. Дополним это предположение: он мог подразумевать и соллогубовский «Большой свет», связанный с фигурой Лермонтова тематически и проблемно.

Впечатления от встреч с Лермонтовым отозвались и в более поздних гоголевских суждениях о его личности, отмеченной «безочарованнием» (Гоголь употребил слово, услышанное им от Жуковского). Конечно, в бытность свою в Петербурге Гоголь и Лермонтов имели, так сказать, общую сферу общения, но Лермонтов, помимо того, бывал и в таких кругах, которые Гоголю были чужды и о которых он знал лишь по молве, нередко двусмысленной и скандальной. Это мир великосветских интриг, любовных походов, мир золотой молодежи и прожигателей жизни, — словом, Лермонтов попал «с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно назвать временным и переходным...» [VIII, 401]. Как раз перед приездом Лермонтова в Москву — в феврале 1840 г. — состоялась ссора его с сыном французского посланника де Барантом, дуэль и последующие затем арест и высочайшее распоряжение о переводе на Кавказ. В старую столицу Лермонтов привез за собою шлейф слухов и пересудов, вызванных этим событием и к тому же усиленных и обостренных соллогубовским «Большим светом».

Трудно сказать, успел ли Гоголь почувствовать своеобразие лермонтовской *общественной* позиции, в частности его отношение к славянофильству. Более отчетливо это отношение проявилось позднее, в новый приезд Лермонтова в Москву, в апреле 1841 г.; но Гоголь в это время был в Риме. По возвращении в Россию в октябре того же года, вначале в Петербург, потом в Москву, он мог услышать лишь отзвуки лермонтовских высказываний, лермонтовских реплик, в частности в связи с его стихотворением «Спор» (Москвитянин. 1841. № 6).

Для самого же Гоголя отношение к славянофильству стало актуально уже в 1839—1840 гг., ибо он попал в атмосферу споров и резкого размежевания. За четыре года, прошедшие со времени последнего приезда Гоголя в Москву, многое здесь изменилось: пролетела буря, вызванная публикацией «Философического письма» Чаадаева, которое ускорило формирование и западничества и славянофильства; Хомяков и Иван Киреевский успели обменяться не предназначенными для печати письмами (соответственно «О старом и новом» и «В ответ А. С. Хомякову»), прочитанными в доме Киреевского и содействовавшими прояснению славянофильского учения. Приехавший в Москву почти одновременно с Гоголем А. И. Тургенев отметил эту перемену: «Умные люди сделались православными» — читай: славянофилами (письмо Вяземскому от 20 февраля 1840 г. — [Тургенев, 1989, с. 225]).

Гоголь стал завсегдатаем тех домов, где разворачивались главные баталии — и у Елагиной в Трехсвятительском тупике рядом с Красными воротами, и у Свербеевых на Страстном бульваре, и у Чаадаева за Красными воротами на Новой Басманной. Тот же Тургенев, один из самых активных оппонентов славянофилов, многократно фиксирует эпизоды борьбы (16 февраля у Свербеевых, где были Н. Ф. Павлов, М. Ф. Орлов, Хомяков, Иван Киреевский, — «опять споры»; 18 февраля у Елагиной — «кончил вечер в споре с Хомяков<ым> и с Киреевским; 1 марта там же — «спор с Хомяк<овым> и Киреевс<ким> о праве естественном»), причем во всех упомянутых случаях все это происходило в присутствии Гоголя. Но *его* мнения мы не узнаем.

Отсутствие записей о высказываниях Гоголя в спорах вокруг зарождающейся славянофильской доктрины вызвано, по-видимому, не лаконичностью А. И. Тургенева, а тем, что Гоголь действительно не высказывал по этому вопросу своей точки зрения. Такое предположение подтверждается и более поздним (15 января 1842 г.) письмом Н. М. Языкова к А. М. Языкову, в котором он сообщает, что Гоголь «ничуть не участвует в спорах диалектических, которые снова начались у Свербеевых» [Гиллельсон, 1963, с. 140].

И еще одно выразительнейшее свидетельство — письмо Е. М. Хомяковой брату Н. М. Языкову: «Все здесь нападают на Гоголя, говоря, что слушая его разговор, нельзя предполагать в нем чего-нибудь необыкновенного, Иван Васильевич Киреевский, что с ним почти говорить нельзя: до того он глуп. Я сержусь за это ужасно. У них кто не кричит, тот и глуп» [Хомяков, т. 8, с. 105—106]. Вот, оказывается, до чего доходило! Гоголю готовы были отказать в уме, потому что он не хотел определенно стать на чью-то сторону...

Все главные деятели формирующегося славянофильства: Иван Киреевский, Хомяков, Константин Аксаков — входили в тесный круг гоголевского общения. Из них наиболее активен по отношению к Гоголю был Аксаков, стремившийся образовать из него страстного приверженца своих взглядов. Взгляды эти еще не отличались цельностью:

новое вероучение прорастало сквозь философский опыт, приобретенный Константином в пору участия его в кружке Станкевича.

Обширная посмертно опубликованная статья К. Аксакова «О некоторых современных собственно литературных вопросах» позволяет увидеть, с какими суждениями и оценками обращался ее автор к Гоголю (статья закончена 25 августа 1839 г., то есть буквально ко времени приезда Гоголя из-за границы в Москву). Высшая точка философского движения для Константина — это Гегель. Гегелевское влияние на русскую общественную мысль он находит полезным, вопреки мнению многих приверженцев самобытности. Что такое «Гегель здесь, в России»? — «Глубокие мысли, исходящие из одного начала, плодотворно принимаются и передаются друг другу молодыми людьми нового поколения; эти мысли просветляют их ум, образуют их взгляды, кладут на суждения их отпечаток строгой необходимости...» [Аксаков К., с. 69]. Да, Каролина Павлова не без основания в качестве годового подарка для Константина искала портрет Гегеля...

В духе русской философской эстетики Аксаков отдает решительное предпочтение немецкому влиянию, немецкому фактору перед французским. «Мы не боимся сделаться германцами. Германия есть страна, в которой развилась внутренняя, бесконечная сторона духа; из чистых рук ее принимаем мы это общее, которого хранителем была всегда она».

В то же время Аксаков уже формулирует столь значащую для славянофильства антитезу Петербурга и Москвы, представляющих два литературных полюса: «с одной стороны, форму устаревшую, лишённую жизни, разрушающуюся собственным гниением; с другой стороны, содержание незаметное новой истинной жизни...». Истинные таланты — в Москве, а в Петербурге — «рой поэтов-одноденок», «дети гниения в бесчисленных роях», к числу которых Константин Сергеевич относит Булгарина, Греча, Л. Я. Якубовича, П. П. Ершова (автора «Конька-Горбунка») и Ивана Панаева, который, кстати, бывал в аксаковском доме, где он всего несколько месяцев тому назад, вместе с Константином, слушал Гоголя...

Антитеза двух городов выливается в инвективу против Петербурга, «столицы — с именем чужим», как скажет позднее Аксаков, и в благодарственный гимн Москве. «Москва! Вечная! О, как несносно мне слышать, когда называют тебя старушкою, седою, дряхлою, тебя, вечно юная, вечно полная жизни, могучая силою духа Москва!» [там же, с. 73]. Среди тех, кто называл Москву «старушкою», был, между прочим, Пушкин (в очерке «Путешествие из Москвы в Петербург»)...

Все это очень похоже на то, что позднее можно было услышать от Хомякова или Ивана Киреевского, похоже, скажем, на оппозицию восточной (истинной) и западной (неполной, ущербной) образованности. «Одна образованность есть внутреннее устройство духа силою извещающейся в нем истины; другая — формальное развитие разума

и внешних познаний...» [Киреевский, с. 30]. Но интересно, что приоритет России, точнее, ее право на истинную образованность К. Аксаков обосновывает с помощью гегелевских логических категорий, чью ограниченность и порочность не уставал обличать, например, поздний Иван Киреевский. У Константина Сергеевича (как в построениях русской философской эстетики) Россия по-своему продолжает европейскую — и шире — мировую общественно-культурную эволюцию, усваивает ее опыт.

И еще одна немаловажная черта. Весной 1841 г. К. Аксаков вступил в спор с «юношами» Елагиным и Валуевым¹⁰⁰ по поводу Гоголя. «Признавая Гоголя художником по преимуществу», они полагали, что Г. Ф. Квитка-Основьяненко превосходит его в одном отношении. «... Основьяненко, говорят они, дает им понятие о быте малороссийском...» Константин Сергеевич на это заметил, «что сие может быть предметом искусства, но должно перейти в его область». И далее: «Произведение искусства должно рассматриваться только как произведение искусства... предметом его может быть все: и быт народа, если хотят они, — но непременно под определением изяшной непосредственности» [Аксаков К., с. 32; публикация В. А. Кошелева]. Аксаков настаивает на суверенности искусства, которое способно принимать в себя сторонние влияния только при условии сохранения своей собственной природы, своей «непосредственности» — в этом также приходится видеть наследование принципов философской эстетики, в частности кантовского положения о «целесообразности без цели».

Как отнесся к сложному комплексу аксаковских идей Гоголь? Сергей Тимофеевич утверждал, что пребывание Гоголя в Москве в 1839—1840 гг. сыграло определяющую роль в дальнейшем развитии писателя. Особенно действенным было «влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все значение, весь смысл русского народа...». «Я сам замечал много раз, — прибавляет Сергей Тимофеевич, — какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение» [Воспоминания, с. 132]. Сам Гоголь как будто бы полностью подтверждает правоту этих слов: «В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал в начале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно». И поэтому с особенной благодарностью Гоголь вспоминает о Константине, «об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне...» [XI, 323]. В тот же день Гоголь пишет самому Константину Сергеевичу: благодарит за письмо — «оно сильно кипит русским чувством, и пахнет от него Москвою», — но *вместе с тем* призывает послушаться и его «советов» [там же, 324].

Оказывается, еще в ноябре 1839 г. во время поездки в Петербург Гоголь вел с Сергеем Тимофеевичем «воспитательные» беседы относительно его сына, «которого нетерпеливо желал перенести из отвлече-

ченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание» [Воспоминания, с. 108]. Очевидно, «немецкая философия» как синоним абстрактного мышления — это самый острый момент разговоров Гоголя с Константином, так что последний в не дошедшем до нас письме упомянул о «немецкой философии» с опаской. В ответ Гоголь вынужден был объяснить, что он лишь против одностороннего увлечения этой философией, которая должна помочь другой цели — выбраться «на русскую дорогу». «О, как много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть озаренными глазами! Вам не нужно теперь ехать в Италию, ни даже в Берлин; вам нужен теперь труд, вам просто нужно заставить теперь руку побегать по бумаге» [XI, 338]. Знаменательно здесь упоминание Берлина («ни даже Берлин»), ставшего в это время для многих русских философской Меккой.

Спор Гоголя с Константином Аксаковым развивается словно по касательной к основному, существенному ядру славянофильства. Гоголь и сам готов прибегнуть к «знаковому» определению Москвы, козырнуть прямо-русской «дорогой», но при этом он упорно старается вывести своего собеседника из круга общих идеологем — вывести или в «мир искусства» (ибо Гоголь, конечно, хорошо видел аксаковскую чуткость к «изящной непосредственности», к специфике искусства), или к вполне конкретным проблемам отечественной культуры (впоследствии Константин реализует этот совет, принявшись за магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка»). Тактика гоголевских возражений Аксакову соответствует и его общей позиции в спорах, происходивших в салонах Свербеевых, Елагиной или Чаадаева. Гоголь словно сторонится, о чем-то умалчивает, сохраняя за собою на будущее свободу суждений.

Гоголь устал от общения с москвичами, устал от семейных забот; он жалуется, что больше годится «для монастыря, чем для жизни светской» [XI, 278]. Плохое настроение вело к скованности, а потом к раскаянию, к упрекам самому себе. «Вы себе, верно, не можете представить, как меня мучит мысль, что я был так деревянен, так оболванен, так скучен в Москве <...>. Если бы вы знали, как я горевал потом...» (из письма жене Погодина Елизавете Васильевне, октябрь 1840 г. — [XI, 317]).

Но в первых числах мая Гоголь ощутил «какое-то тайное расположение к труду», «что-то вроде вдохновения, давно не бывалого» — верное предвестие близкой дороги. Предстояло закончить кое-какие практические дела. Еще в начале года Жуковский снабдил его займы большой суммой (4 тысячи рублей); теперь Гоголь обращается к Жуковскому с новой просьбой — выхлопотать место секретаря при открывающейся в Риме русской Академии художеств с жалованьем 20–25 тысяч рублей в год (план этот не осуществился). Затем нужно было поза-

ботиться о судьбе Лизы — около 15 мая, согласно прежней договоренности, она переехала к Раевской. И наконец, Гоголь решил по финансовым соображениям обзавестись попутчиком, для чего напечатал такое объявление:

«Некто не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем поле в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя» («Прибавления» к № 28 «Московских ведомостей» от 6 апреля 1840 г.; повторено в № 29 от 10 апреля и № 31 от 17 апреля)¹⁰¹.

Первоначально Гоголь позволил себе более свободный стиль объявления: мол, «оный некто», который «желает прокатиться до Вены», — «человек смиренный и незаносчивый: не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены» [IX, 489]. Но редакция сочла подобную фривольность неуместной...

К 16 апреля никакой предполагаемый попутчик не объявился. И тогда решил выручить молодой знакомый и дальний родственник аксаковского семейства Панов (его сестра была замужем за братом Сергея Тимофеевича Николаем Тимофеевичем). Тот самый Панов, который с упоением слушал чтение Гоголем «Мертвых душ» в ночь перед Светлым воскресеньем.

Василий Алексеевич Панов (1819–1849), сын богатого симбирского помещика, окончил филологический факультет Московского университета и близко сошелся со многими деятелями славянофильского движения. Внешне неказистый (Иван Аксаков в одном письме издевательски упоминал «мучителя-красавца Панова». — [Аксаков, 1988, с. 101]), он также не блистал никакими талантами, хотя был не глуп. «... Человек умный, распорядительный, несколько не даровитый <...>, но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенной, но где приходилось работать, работал за всех» [Соловьев, 1983, с. 300]. Н. М. Языков аттестовал Панова: «юноша <...> и дельный, и благонадежный» [Языков]. Именно такой человек и нужен был Гоголю, и неслучайно, что он стал его «попутчиком» не только до Вены...

Впрочем, это решение было принято еще в Москве, о чем свидетельствует объявление в графе «Отъезжающие»: «В Германию, Швейцарию и Италию, кандидат Императорского Московского университета Василий Алексеевич Панов; спросить в университете» [МВед. 1840. 27 апреля. № 34]. Если намерение посетить Германию было связано с личными планами Панова по продолжению образования, то в Италию он прежде всего ехал для того, чтобы сопровождать Гоголя.

15 мая Гоголь последний раз обедал у Аксаковых в кругу «коротких приятелей» [ЛН. Т. 58. С. 588].

16 мая Гоголь приезжал проститься к А. И. Тургеневу, но не застал его дома [Гиллельсон, 1963, с. 140].

На другой день Гоголь вместе с Лизой и членами аксаковского семейства был в театре; играла известная французская актриса из петербургского Михайловского театра Луиза Аллан в водевилях «Mathilde» и «Etre aimé ou mourir» («Быть любимой, или Умереть»)¹⁰².

Гоголь хотел выехать сразу же по окончании спектакля («... он думал ехать ночью», — подтверждает Елизавета Васильевна. — [Русь. 1885. № 26]). Но «за большим разгоном» не удалось достать лошадей, и Гоголь с сестрою и, по-видимому, Пановым заночевали у Аксаковых.

Выехали на следующий день, 18 мая, после завтрака, часов в 12. Все были взволнованы. Лиза плакала («...грустно было провожать брата»).

Разместились в трех экипажах: Гоголь сел к Панову в его собственный тарантас; Сергей Тимофеевич с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием расположились в коляске, Погодин со своим зятем Михаилом Ивановичем Мессингом — на дрожках. В таком порядке выехали на Смоленскую дорогу, потому что путь предстоял на Варшаву.

На Поклонной горе вышли полюбоваться на Москву. Гоголь и Панов низко поклонились.

Потом поехали к Перхушково, где находилась первая станция, и дорогою Гоголь повторил свое обещание, данное несколько раньше у Аксаковых, — в следующий свой приезд в Москву привезти готовый первый том «Мертвых душ».

В Перхушкове Гоголь сварил жженку, на что был большой мастер; потом пообедали, выпили здоровье отъезжающих и помолились.

Наступила минута прощания. «Погодин был искренне расстроен, а Щепкин заливался слезами» [Воспоминания, с. 121]. О себе Сергей Тимофеевич не говорит, но можно представить себе, что и у него на душе было невесело.

Далее отправился только тарантас с Гоголем и Пановым, а провожающие стояли до тех пор, пока вдаль можно было что-то разглядеть.

Когда они возвращались в Москву, все вокруг переменялось. «... Откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи <...>. Сталось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас...» Подумалось: не служит ли это все дурным предзнаменованием будущей судьбы Гоголя?..

Но вскоре все изменилось: «сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей...» Все облегченно вздохнули, ибо тотчас сопоставили эту перемену с судьбой Гоголя...

А в действительности оправдалась и та, и другая примета — и хорошая, и плохая.

Часть третья



ДОРОГА И КРИЗИС

В начале все складывалось благополучно. Дорога оказала на Гоголя свое действие. «Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал» [XI, 313].

Ночью, закутавшись с головою в плащ, спокойно спал, а днем наслаждался видами. После хорошего обеда (Ольга Семеновна Аксакова снабдила путешественников таким количеством съестного, что хватило до самой Варшавы) напевал краковяк, приплясывал тут же в тарантасе, читал на память стихи или пробовал учить Панова итальянскому языку.

А Панов? Тот был вне себя от счастья от одной мысли, что он находится «так долго неразлучно с Великим человеком» (из его письма К. Аксакову. — [ЛН. Т. 58. С. 59]).

На шестой день, 24 мая, приехали в Брест. Через двое суток были в Варшаве (по н. ст. 7 июня), где прожили около недели (по 13 июня). Все это время Гоголь был деятелен и подвижен; вместе с Пановым вдоль и поперек обошел весь город, объехал все окрестности, посетил и королевские Лазенки, и замок Радзивиллов, и дворец графа Потоцкого Бельведер с картинной галереей. Побывали в театре («актеры плохие, даже гадкие...» — жаловался Панов). Компаньоном Гоголя был оказавшийся в Варшаве его соученик по нежинской Гимназии высших наук Иван Павлович Симоновский.

В Варшаве Панов продал за 270 злотых свой тарантас, на славу послуживший ему и Гоголю, и далее они отправились в дилижансе в Краков, куда прибыли через сутки.

Потом дорога пролегла через Моравию, Богемию... 15 июня были в Подгурце, 17 июня — в Брюнне (Брно) и затем по железной дороге (кажется, первое такое путешествие Гоголя) приехали в Вену, в город, в ко-

тором Гоголь уже прожил около месяца, осенью 1839 г., направляясь из Италии в Россию. На этот раз Гоголь намеревался пробыть в Вене примерно столько же.

По отзыву П. В. Анненкова, посетившего Вену спустя несколько месяцев, здесь царствовали «тишина и немота», политические страсти не кипели, как во Франции. Но Гоголя политика не интересовала, он весь отдался художническим впечатлениям, осматривал картинные галереи в императорском Бельведере, в доме Эстергази, ходил в оперу, благо приехала итальянская труппа. «В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости Бога! я оживу еще» (из письма С. Т. Аксакову, 7 июля н. ст. — [XI, 296]).

Еще в дороге Гоголь почувствовал, что стосковался по работе. Из Варшавы он просит прислать к нему с Константином Аксаковым, намеревавшимся совершить путешествие в Италию, какие-нибудь «докладные записки и дела» [XI, 287]. Эти материалы, по справедливому предположению Аксакова-старшего, «были ему нужны для того, чтоб поверить написанные им в “Мертвых душах” разные судебные сделки Чичикова...» [Воспоминания, с. 124]. Может быть, Гоголь запасался сведениями и для второго тома поэмы, к которому он вскоре приступит. Во время краткой остановки в Кракове Гоголь уже взялся за перо; по словам Панова, он сочинил «статью по-итальянски для журнала римского о собрании эскизов кн. Долгорукова в Москве» [ЛН. Т. 58. С. 592; судьба этой работы неизвестна]. В Вене же, как подметил Панов, Гоголь «перечитывал и переписывал свое огромное собрание малороссийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны поговорки, замечания и проч.» [Письма, т. 2, с. 88]. Был в работе у Гоголя еще один труд, о котором в эту пору Панов ничего не знал и который непосредственно спровоцировал новый, тяжелейший приступ болезни Гоголя.

К этому произведению — трагедии из истории Запорожья — Гоголь обратился здесь же, в Вене, в конце лета предыдущего года; исподволь обдумывал ее на родине, в Москве и Петербурге, и вот теперь ощутил неодолимую силу вдохновения. «Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! какая была это радость <...>. Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет. И я, забывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал...» [XI, 314]. И в другом месте: «Я начал такую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было — и теперь из-под самых облаков да в грязь» [XI, 319].

Да, это был срыв, падение — «великое нервическое расстройство» [XII, 524], как скажет Гоголь позднее. Гоголь объяснял его сверх-

напряжением, а также тем, что огромные затраты умственной и нервной энергии совпали с курсом водолечения, требовавшим спокойствия и размеренного образа жизни. Ему уже случалось переживать душевное расстройство, но кризиса такой силы, кажется, еще не было. Гоголь впервые оказался на грани жизни и смерти.

Из более поздних гоголевских признаний вырисовываются особенности его состояния, в котором угадываются все признаки маниакальной депрессии. «Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось <...>. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно...» [XI, 314–315]. «...Подступавшее к сердцу волнение <...> всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец совершенно сомнамбулическое состояние» [XII, 36]. По сведениям, дошедшим позднее до С. Т. Аксакова, «Гоголь во время болезни имел какие-то видения...» [Воспоминания, с. 131]. Гоголь вспомнил состояние умирающего Иосифа Виельгорского — «это была та самая тоска и то ужасное беспокойство»... И Гоголь поспешил составить духовное завещание.

Когда позднее из гоголевского письма Погодин узнал о том, что случилось, то был потрясен до глубины души. Надо сказать к его чести, что он решительно отодвинул в сторону все обиды и недоразумения. «Как я плачу! Виноват, прости меня! <...> Успокойся, успокойся! О, если б ты мне предстал, сложа руки крестом!» Погодин советует путешествовать, обещает прислать деньги на дорогу из той прибыли, которую принесет задуманный журнал (т. е. «Москвитянин»), и уверяет, что московские друзья благополучны. «Мы все здоровы и больны только твоей болезнью <...>. Успокойся, ради Бога успокойся. Все будет хорошо. Бог посылает испытания» [Шенрок, т. 3, с. 328].

Но когда произошел этот кризис? Около середины июля, точнее 11 или 12 числа [ЛН. Т. 58. С. 594], Вену покидает Панов; он направляется в Германию, в Мюнхен, обещая приехать к 1 сентября в Венецию, чтобы встретиться там с Гоголем. Следовательно, ничего угрожающего в его состоянии Панов не заметил. 7 августа Гоголь набрасывает два письма, матери и сестре Ане; письма обыкновенные, спокойные; Николай Васильевич, в частности, сообщает, что не позже чем через неделю отправляется в Венецию. Но отъезд задержался до последних чисел августа. Очевидно, на это время, на вторую и третью декады августа, падает развитие кризиса.

К счастью, в Вене в это время оказался Николай Петрович Боткин (1813–1869), брат Василия Боткина, впоследствии также близкий к кружку Белинского. Николай Боткин, по словам Панова, «истинно добрый человек», ухаживал за Гоголем «как нянька» [Письма, т. 2, с. 88]. «При мне был один Боткин, — вспоминал потом Гоголь, — очень добрый малый, который меня утешал сколько-нибудь, но который сам потом мне сказал, что он никак не думал, чтобы я мог выздороветь» [XI, 315]. И еще одно свидетельство: «О первой и страшной болезни он (Гоголь) не любил говорить. Его спас приезд Боткина, который усадил его полумертвого в дилижанс <...>. Ехали и день и ночь, и в Венеции Гоголь был почти здоров...» [Смирнова, 1989, с. 44]. К этому надо добавить, что инициатива отъезда принадлежала, конечно, самому Гоголю (позднее он так и скажет: «...Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию...»). Гоголь хорошо знал, какое исцеляющее воздействие оказывала на него дорога; она выручала его в 1829 и 1836 гг.; она должна была спасти его и на этот раз.

Тем временем 2 сентября в Венецию приехал Панов, опоздав против условленного с Гоголем крайнего срока на один день. Панов думал, что уже не застанет писателя, — «вместо этого, встречаю его на площади Св. Марка и узнаю, что мы с противоположных сторон въехали в один и тот же час» [Письма, т. 2, с. 88]. Вместе с Гоголем приехал Николай Боткин. Тут Панов и мог узнать о том, что случилось во время его отсутствия.

Но самое страшное, казалось, отошло в прошлое. «...В Венеции иногда проглядывали у него минуты спокойные, в которые дух его сколько-нибудь просветлял ужасную мрачность его состояния <...>. Какие мысли светлые он тогда высказывал, какое сознание самого себя!» К Панову вернулось то ощущение счастья, которое он испытывал от одного присутствия великого человека. «В продолжении десяти дней, которые мы в Венеции прожили, мне казалось, что я был окружен каким-то волшебством. С утра до вечера мы катались по водяным улицам в гондоле, между мраморных палаццов, заезжали в церкви, галереи. Из гондолы выходили на площадь Марка, где проводили все остальное время. Потом опять мы в гондоле возвращались на площадь взглянуть, как она оживает при лунном свете» [там же, с. 89].

К Гоголю возвращались силы, и он, выполняя обещание, данное перед отъездом Щепкину, подготовил для него текст одной комедии — это был «Дядька в затруднительном положении» («*L'Ajo nell'imbarazzo*») Джованни Жиро. Перевод осуществили другие: «В несколько дней русские наши художники перевели». Гоголь же взял на себя редактуру: «И как я поступил добросовестно! — писал он Щепкину. — Всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою». В том же письме Гоголь дал подробную характеристику двух-трех персонажей, заметив, между прочим: «Актриса, игравшая Джильду, которую я видел, была свежая, молодая, проста и очарова-

тельна во всех своих движениях, забывалась и одушевлялась как природа. Француженка убила бы эту роль...» [XI, 306]. Похоже, что Гоголь говорит это как очевидец. Значит, у него уже было настроение и силы побывать в театре¹⁰³.

В Венеции произошло одно важное знакомство Гоголя, кажется, не обратившее на себя особенного внимания его биографов. Осенью 1840 г. сюда приехали пансионеры петербургской императорской Академии художеств В. В. Штернберг и Айвазовский. Знакомство Гоголя с первым весьма вероятно (впоследствии, в Италии, они не раз встретятся¹⁰⁴), со вторым же — подтверждается документально.

Иван Константинович Айвазовский (1817–1900), который уже приобрел известность как замечательный художник, «был поражен оригинальною наружностью гениального писателя». «Низенький, сухошавый, с весьма длинным заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, — припоминает художник, — Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые. Со мною, однако же, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его милою беседою» [РС. 1878. Июль. С. 423]. Замечательно то, что Айвазовский не фиксирует никаких примет только что пережитого кризиса. Объясняется это, по-видимому, не отсутствием наблюдательности мемуариста, а свойствами гоголевской психики, склонной к резким переходам и перепадам настроения.

Однажды Гоголь, Николай Боткин и Панов, собиравшиеся в Рим, предложили Айвазовскому быть их попутчиком, на что тот с радостью согласился. «Ехали мы в наемной четвероместной коляске и — каюсь в нашем общем грехе! — дорогою мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это прозаическое занятие не мешало нам восхищаться красивыми местностями, попадавшимися на дороге» [там же, с. 424].

Во Флоренции расстались: Айвазовский отправился на берег Неаполитанского залива, а Гоголь с Боткиным и Пановым — в Ливорно, затем морским путем до Чивита-Веккия и наконец в Рим, куда прибыли 25 сентября по н. ст.

Гоголь решил поселиться на старой своей квартире, что на Страда Феличе, несмотря на то, что ему трудно было подниматься на третий (по русским понятиям даже четвертый) этаж. Панов с Боткиным остановились в другом доме.

Позднее Панов перебрался в квартиру Гоголя; кстати, на этот раз и Николай Васильевич и его спутник попали в книгу, составленную

(в марте 1841 г.) приходским священником: «Panoff Basilio, russo, possidente» (то есть помещик) и «Cocoli¹⁰⁵ Nicolo» [Гасперович, с. 93].

Нельзя сказать, чтобы Гоголь поправился; то ему казалось, что он здоров, то вновь впадал в болезненное и угнетенное состояние. Постоянно жаловался на желудок, «а между тем (замечает Панов) никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпуская иной раз».

Но однажды утром — было это около 11 ноября — Гоголь вдруг приоткрыл перед Пановым свою тайну и «угостил началом нового произведения», трагедией из истории Запорожья. «В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство <...>. Если бы этого не было, то значило бы, что все погибло. Это должно было быть» [Письма, т. 2, с. 89]. Жест Гоголя Панов оценил как добрый знак — творческого возрождения.

ПОСЛЕ КРИЗИСА

днако все испытанное даром не прошло. «Человек, переживший такой опыт, сошедший в могилу и снова вернувшийся к свету дня — возвращается неузнаваемым. В Гоголе рождается новая личность <...>. Другой голос, другая интонация, другой тембр» [Мочульский, с. 54]. Это в общем верно, но в какой степени верно — увидим ниже.

Всеволод Сечкарев также придает венскому кризису решающее значение. До этого гоголевское творчество имело «метафизическую основу»; после — «отчетливо ориентированную, церковную, христианскую тенденцию». Прежде главенствующим было влияние Пушкина, немецкого романтизма, принципа «искусства для искусства»; теперь — христианской, православной догматики [Сечкарев, с. 53 и далее]. В общем это тоже верно, но опять-таки все дело в степени и формах.

Сам Гоголь именно этой вехой — смертельной болезнью и выздоровлением — обозначает начало нового периода своей биографии. «Многое, что казалось мне *прежде* неприятно и невыносимо, *теперь* мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность...» [XI, 323]. Вновь появляется антитеза: «прежде» и «теперь», как это было после «Ревизора» и отъезда за границу в июне 1836 г. — однако с новым смысловым наполнением.

Гоголь давно догадался, что в его жизни ничего не происходило просто так; все случилось с разрешения или по инициативе высшей силы. Гонения в связи с «Ревизором» (которые Гоголь безмерно преувеличивал), непонимание (в действительности, отнюдь не всеобщее) — все это было испытанием, воздвигнутым перед ним самим Богом. Но теперь мера испытания еще более возросла: Гоголь впервые был подведен к роковой черте, отделяющей жизнь от смерти, и выс-

шим же участием отведен от этой черты. Больше того: Гоголь словно побывал уже *за этой чертой*, — и помощь, которая была ему оказана, вылилась в *воскрешение*. «Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать» (С. Т. Аксакову, 28 декабря н. ст. 1840. — [XI, 322]).

А это значит, что творческая деятельность Гоголя, его главный труд «Мертвые души» получают знак Божьего помазания. Ведь если «чудная воля Бога воскресила» его, то неспроста, но с целью. «Это чудное мое исцеление наполняет душу мою утешением несказанным: стало быть жизнь моя еще нужна и не будет бесполезна» [XI, 328].

Возникают новые характеристики главной книги Гоголя. В ответ на просьбу прислать что-нибудь для журнала Погодина писатель с укором заметил, что не может отвлечься «от святого своего труда» — «клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня!» «Труд мой велик, мой подвиг спасителен» [XI, 332]. Такие понятия, как «великий» (или родственные ему), фигурировали и раньше; понятия «святой», «спасительный» появляются впервые.

Еще одна характерная переакцентировка. Прежде Гоголь возводил замысел своего произведения к Пушкину, его вдохновляющему облику, ободрению, наконец к его практическому совету — подсказке сюжета («...Труд мой есть его создание»). Теперь ранг этого события («внушенья») повышается: «Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!» [XI, 330]. Повышается и уровень ответственности, которую облечен художник, получивший «внушенье», — это ответственность перед самим Богом, грозящая суровой карой отступнику: «...Всякая втуне потраченная минута *здесь* неумолимо спросится *там*, и лучше не родиться, чем *побледнеть перед этим страшным упреком*» [XI, 338]. Происходит воскрешение символики «Страшного суда», окаменения и поражения, явленной еще в гоголевской трактовке «Последнего дня Помпеи» или — в иной форме — в поэтике «немой сцены» из «Ревизора»...

Но если состоялось помазание, то оно простерлось на личность и поведение Гоголя во всем их объеме. «Мертвые души», конечно, — главный подвиг, но приобретает высшую ценность все, исходящее от него, Гоголя, — помимо поэмы и помимо художественного творчества вообще. Приобретает высшую ценность его Слово. «...Слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушающему моего слова <...>. Властью высшею облечено *отныне* мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но (не) изменит мое слово» (А. С. Данилевскому, 7 августа н. ст. 1841. — [XI, 342–343]). «О верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим» (Н. М. Языкову, 27 сентября н. ст. 1841. — [XI, 347]).

По точному замечанию мемуариста, Гоголь «говорит с собеседником как власть имущий, как судья современников, как человек, рука которого наполнена декретами, устраивающими их судьбу по их воле и против их воли» [Анненков, 1983, с. 101].

Соответственно и к себе Гоголь требует такого отношения, которое подобает посланцу самого Бога. Пусть, например, Щепкин и Константин Аксаков приедут за ним, Гоголем, в Италию, чтобы в целостности и сохранности доставить в Россию. «Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь» [XI, 331]. Параллель здесь возникает сама собою: «... Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» [2 Кор. 4, 6]. Сознательно или невольно Гоголь применяет к себе евангельский образ...

«На языке аскетики такое состояние называется “впадением в прелесть”. Гоголь упоен своей мнимой святостью; он раздаёт направо и налево благословения» [Мочульский, с. 56].

Само пребывание в Москве получает теперь другой смысл. Еще совсем недавно Гоголь жаловался на тяготы повседневного общения, говорил, что более годится «для монастыря, чем для жизни светской» [XI, 278]. Теперь ему видится все в радужном свете, он примиряется и с суетой, и с неудовольствием друзей, и с их косыми взглядами и полускрытыми обидами, ибо высшее служение должно происходить не в отшельничестве, но среди людей.

В связи с этим характерен интерес Гоголя к основателю ордена францисканцев, отмеченный Ф. И. Буслаевым (последний проживал в Риме в период с октября 1840-го по апрель 1841 г.): «Гоголь пожелал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в том издании старинных итальянских поэтов, которое <...> рекомендовал мне мой наставник Франческо Мази» [Воспоминания, с. 224]. Буслаев поясняет, что Франческо Мази, помощник библиотекаря в Ватикане, рекомендовал ему «изданные в двух больших томах собрание лирических произведений итальянских поэтов XII—XIII столетий» — именно один из этих томов оказался в распоряжении Гоголя. «Тут я впервые познакомился, — продолжает мемуарист, — с бесподобными гимнами и одами самого Франциска Ассизского, которого я уже прежде успел полюбить и высоко чествовать по внушениям Данте в “Божественной комедии” и по мистическим изображениям на фресках Джотто» [Буслаев, с. 249].

Надо сказать, что и Гоголь был подготовлен к встрече с Франциском Ассизским: если и не по фрескам Джотто, то по тем же «внушениям» «Божественной комедии», которую, мы знаем, он внимательно читал: здесь рассказывалось, как Фома Ассизский обручился с Нищетой, как за два года до смерти получил стигматы, как он бук-

важно умер в объятиях Нищеты — нагим на голой земле («Рай», песнь одиннадцатая).

Проповедник «бедного житья», Франциск Ассизский (1182—1226), в противовес идее монаха-отшельника выдвинул идею миссионера, который, внутренне отрекаясь от мира, остается в миру, чтобы ежедневно исполнять свой подвижнический долг. Все это близко теперешним настроениям Гоголя, близок ему и пережитый итальянским религиозным деятелем переворот: в молодости он не был лишен разных пороков, включая тщеславие, но потом, после тяжелой болезни и вешего сна, избрал другой, праведный путь¹⁰⁶.

Так и Гоголь после болезни и кризиса сделался «другим человеком» (К. Мочульский), но это не значит, что прежний исчез бесследно. Развитие писателя протекало сложно и прихотливо, и резкие изменения, которые казались окончательными, на самом деле таковыми не были.

ЧЕТВЕРТОЕ «ПРОЧТЕНИЕ» РИМА

Едва П. В. Анненков 28 апреля 1841 г. переступил порог гоголевской квартиры на Страда Феличе, как оказался участником маленького спектакля. Хозяин этажа господин Челли, выполняя наказ Гоголя, объявил, что его жилец уехал за город и когда вернется — неизвестно. Анненков принялся было настаивать, чтобы его впустили, но в этот момент в противоположную дверь высунулась голова самого Гоголя, который «шутливо сказал старичку: “Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо влупить”»¹⁰⁷.

Эта шутка вернула Анненкова в Петербург десятилетней давности, в кружок гоголевских «однокорытников», в атмосферу веселого подтрунивания, мистификаций и розыгрышей. В то время Гоголь «дал всем своим товарищам по Нежинскому лицу и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей <...>. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный писатель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца» [Анненков, 1983, с. 46—47]. При встрече с Анненковым в Риме Гоголь продолжил маленький маскарад, который тотчас же навел его на мысль и о большом маскараде. “Что же вы не приезжали к карнавалу?” — прибавил он по-русски» [там же, с. 46].

Римский карнавал закончился 23 февраля, и Гоголь действительно принимал в нем участие, как и три года назад, когда он впервые увидел в Риме это зрелище. Знакомая Гоголя Елизавета Васильевна Давыдова, дочь сосланного декабриста В. Л. Давыдова, говорит, что в этот день, 23 февраля, все отправились в театр на *Vegljone*, то есть на бал-маскарад, причем Гоголь «провел некоторое время» в ее ложе [ЛН. Т. 58. С. 596].

Как будто бы и не было страшной болезни, ощущения обреченности, мессианской экзальтации... «Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу» [Анненков, 1983, с. 51]. Логика превращения парадоксальная — и в дальнейшем она повторяется не раз: религиозный мессианизм и дидактика принесли с собою успокоение, а успокоение пробудило черты *прежнего* Гоголя.

Анненков как автор мемуаров знает о пережитом Гоголем кризисе по материалам, опубликованным в биографических книгах П. Кулиша. И очень важно, что он учитывает эти материалы, предотвращая то одностороннее впечатление, которое они могут произвести. «Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишом, уже вполне показывают, куда стремилась его (Гоголя) мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим отклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь» [там же, с. 80].

Об этих «уклонениях и обходах» говорят свидетельства сохранившейся любви Гоголя к римской народной жизни, к ярким празднествам, к фривольным шуткам, к телесной красоте. В достоверности этих свидетельств не приходится сомневаться: мемуарист приводит их в большом количестве и как очевидец. «Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: “А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла”» [там же, с. 84]. В этих словах, прибавляет Анненков, выражалось «одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости», за исключением разве что «маленьких гастрономических прихотей».

По отъезде Панова из Рима, имевшем место 6 мая [ЛН. Т. 58. С. 602], Анненков поселился в занимаемой им комнате гоголевской квартиры на Страда Феличе. Унаследовал Анненков и то дело, которым был занят Панов, — переписку под диктовку автора «Мертвых душ»¹⁰⁸.

Процесс этой диктовки, как он отображен мемуаристом, — торжество художнической природы Гоголя, выражение полноты его эстетических переживаний. «Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета». Иногда Анненков, не в силах сдержаться, прерывал переписку, «опрокидывался назад и разражался смехом» — и Гоголь «следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом...». Необычная реакция человека, который, как мы знаем, всегда при любой шутке или остроте сохранял невозмутимую серьезность... «Когда, по окончании повести (т. е. «Повести о капитане Копейкине»), я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: “Какова повесть о капитане Копейкине?”»

И не раз «впечатления диктовки» приводили Гоголя «в веселое состояние духа». Так, после главы о Плюшкине во время прогулки по глухому римскому переулку он вдруг «принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою...» [Анненков, 1983, с. 74, 75, 76].

Лишь по отдельным приметам можно было догадаться о пережитой Гоголем болезни. Так, Анненков заметил, что часть ночи тот проводил, дремля на диване и не ложась в постель: наверное, он боялся «обморока и замирания», боялся умереть.

Однажды же Анненкову довелось наблюдать у Гоголя приступ тяжелой тоски, словно напомнивший о недавнем кризисе. В Риме умирал молодой русский архитектор Михаил Антонович Тамаринский (Томаринский) (1812–1841). Гоголь с участием следил за ходом его болезни, «но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивого недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов». Постарался Гоголь избежать и церемонии прощания; за день до похорон он встретился с Анненковым и сказал ему «с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: “Спасите меня, ради Бога: я не знаю, что со мною делается... Я умираю... я едва не умер от нервного удара нынче ночью... Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно...”»¹⁰⁹. Похожее происходило и в Вене, когда Гоголь велел Николаю Боткину усадить себя в дилижанс и везти подальше в Италию... Быть может, как и тогда, Гоголь вспомнил об умирающем Иосифе Виельгорском, его предсмертной тоске.

Анненков выполнил просьбу Гоголя. «Через несколько часов мы очутились в Альбано, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены» [там же, с. 84–85].

Вообще главный итог наблюдений Анненкова не в том, что Гоголь в этот период не менялся, а в том, что эти изменения еще не были окончательными. Примером может служить отношение к так называемому «французскому вопросу». Однажды разговор о Франции возник за обедом в ресторане «Фальконе» между Гоголем, Анненковым и Александром Ивановым. Анненков отстаивал то мнение, что Франция по-прежнему — источник прогресса, «очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Гоголь же придерживался противоположного взгляда: «Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затро-

гивал». Иванов же склонялся к гоголевской точке зрения, проявляя при этом свойственные ему «сомнения» и деликатность. И тем не менее и Гоголь не стал возводить разногласия в ранг вопроса о жизни и смерти: «добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом», то есть с Анненковым, «он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно подобранный в лавочке, встретившейся по дороге из “Фальконе”» [Анненков, 1983, с. 190–191].

Подтверждением этого свидетельства мемуариста служит позиция, занятая Гоголем в связи с критикой Белинским повести «Рим». В повести «отрицание Франции» выражает римский князь, выражает, казалось бы, как и Гоголь, «невозвратно и решительно»; и тем не менее, когда Белинский осудил писателя за «косые взгляды на Париж», тот энергично отвел этот упрек: «Он (Белинский) хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж» (письмо Шевыреву. — [XII, 211]). Это высказывание относится к 1843 г.; можно предположить, что двумя годами раньше, в пору, о которой мы сейчас говорим, Гоголь возразил бы своему критику не менее (если не более) решительно. Правда, ни в письме Шевыреву, ни в самой повести он не пояснил, чем же конкретно отличается его «взгляд» на Париж и Францию от точки зрения римского князя; однако ему важно было обозначить сам *момент несоответствия, дистанцирования*. Потому что, как говорит Анненков, «твердого, невозвратного приговора как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее».

Еще один факт, так сказать, некатегоричности Гоголя проявился в совсем другой сфере интересов. «Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта приговаривал задумчиво: “А может быть, все так и нужно покамест”». Мы едва ли ошибемся в предположении, что под «явлениями нашего быта» подразумеваются крепостные отношения, бывшие тогда самой животрепещущей проблемой русской жизни. И в таком случае ключевая деталь, обращающая на себя внимание в гоголевской реплике, — слово «покамест». Гоголь никогда не выступал против крепостного права; но, видимо, в это время он полагал, что это необходимое временное состояние. Позднее в пору написания «Выбранных мест из переписки с друзьями» оттенок временности из соответствующих гоголевских рассуждений исчезнет.

В первой половине 1841 г. Гоголь встретился в Риме с Н. И. Надеждиным, совершавшим поездку по славянским и другим западно-европейским странам¹⁰. Последний раз они виделись в Петербурге весной 1835 г. О новой, римской их встрече Н. А. Мельгунов сообщал Н. М. Языкову 12 июля 1841 г. из Вены: «С чего, как бы Вы думали, начал (Гоголь) этот разговор с экс-профессором-журналистом? “Каков уро-

жай в России, и высоки ли цены на хлеб?» — У Надеждина так и опустились руки» [ЛН. Т. 58. С. 606]. Мельгунова и, возможно, Надеждина (с чьих слов, вероятно, рассказана эта история) удивил подобный вопрос; между тем он хорошо вписывается в контекст гоголевских интересов. «...Мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он <...> никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда так не был связан с ним, как живя на чужой почве...» [Анненков, 1983, с. 92].

В это время у Гоголя довольно широкий круг русских знакомых. Часто виделся он с проживавшими в Риме русскими художниками — с Александром Ивановым, Иорданом, Моллером, работавшим над портретом писателя [там же, с. 94], со скульптором Александром Васильевичем Логановским.

Были у Гоголя знакомства и вне круга художников. Мы уже знаем, что вместе с сестрами Давыдовыми — Екатериной Васильевной (1822–1904) и Елизаветой Васильевной (1823–1902) — Гоголь присутствовал на римском карнавале в феврале 1841 г. Познакомился он с ними еще раньше, в конце 1840 г., в Альбано. «Это очень приятный человек, — сообщала Екатерина Васильевна отцу, — он часто нас посещает и читал нам много раз свои произведения, которые очень забавны <...>. Когда бываешь с ним, кажется, что находишься в России, потому что он говорит только по-русски и вдобавок с малороссийским акцентом, что совсем родное сердцу» [ЛН. Т. 58. С. 594; подлинник на французском языке, кроме последних четырех слов]. Надо думать, что и Гоголь обрадовался встрече с земляками: Давыдовы были родом с Украины.

Сестрам Давыдовым писатель прочел «Ревизора». Слушательницы «много смеялись», но оценить услышанное не смогли. «Этот род пьес мне не нравится», — заметила Екатерина Васильевна в письме к отцу.

Через месяц-полтора, в воскресенье 14 февраля 1841 г. Гоголь повторил чтение «Ревизора», на этот раз с благотворительной целью — для помощи проживавшему в Италии художнику Ивану Савельевичу Шаповалову (Шаповаленко), который внезапно лишился стипендии. Гоголь «роздал билеты всем русским, находившимся в Риме, ценой в один пиастр, а внизу на билете, в уголке, скромно надписал мелким почерком: “Кто может и более”».

Вечер приобрел черты светского раута; княгиня Волконская отвела для этого большой зал в своем палаццо Поли, что возле фонтана Треви; по словам Иордана, одного из участников встречи, «съезд был огромный». Среди гостей находились сестры Давыдовы, а также сестры Мария и Екатерина Алферьевы (по Иордану, Олферьевы), из которых младшая слыла чудом красоты; затем Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912), будущий замечательный военный деятель, генерал-фельдмаршал, министр, а пока молодой капитан, питомец императорской Военной академии, совершавший образовательное

путешествие по странам Западной Европы и перед самым новым, 1841 годом прибывший в Рим¹¹¹.

Три ряда стульев в палатке Поли заняли «лица высшего круга». В перерыве между актами официанты разносили чай с печеньем и мороженое.

У сестер Давыдовых вечер оставил хорошее впечатление. «Русские мужчины, сидевшие позади нас, — отметила в дневнике Елизавета Васильевна, — все время не переставали хохотать, и мы испытывали немалое удовольствие, когда нам удавалось уловить хоть несколько русских слов <...>. Домой мы вернулись около полуночи...» [ЛН. Т. 58. С. 595].

У Иордана, чье внимание разрывалось между пьесой и красавицей Алферьевой младшей («я все время любовался ею»), впечатление сложилось не столь радужное. И Гоголь читал хуже обыкновенного — «вяло, с большими расстановками, монотонно», и «публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно». После первого действия некоторые кресла опустели; Иордан слышал, как многие, выходя, говорили: «эту пошлость он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим».

К концу вечера, если Иордан точен (свои воспоминания он писал в глубокой старости, спустя тридцать с лишним лет после свершившихся событий), зала оказалась пустой; «остались только мы (то есть русские художники) и его (Гоголя) друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника...» [Воспоминания, с. 222].

Кстати, у Гоголя был и другой стимул к двукратному, по крайней мере, чтению «Ревизора»: в это время он занимался поправками ко второму изданию комедии [см.: XI, 329], и такое чтение помогало ему вновь войти в ее художественный мир.

Встречался Гоголь и с итальянцами: со своим старым знакомым кардиналом Меццофанти, художником и скульптором Пьетро Тенерани (1789–1869) и др. [Анненков, 1983, с. 84].

В кругозоре гоголевского внимания находились и назарейцы — немецкие художники, работавшие в Риме. Гоголь мог узнать о них еще до своего приезда в Италию от Жуковского, который в мае 1833 г. в Риме познакомился с несколькими представителями этого направления: Фридрихом Овербеком, Петером Корнелиусом, Францем Кателем и Эвальдом фон Штейнлем. Около того же времени, в январе 1833 г., в Риме встречался с Овербеком А. И. Тургенев [Архив братьев Тургеневых. СПб., 1921. Вып. 6. С. 154], который также служил для Гоголя источником информации о западно-европейской культурной жизни.

Не раз жизненный путь Гоголя проходил вблизи тех мест, которые были озаглавлены творчеством назарейцев, начиная с его первого заграничного путешествия в 1829 г. и посещения Любека. Оказывается, Гоголь был здесь в той самой церкви Святой Марии, где находилась знаменитая картина Овербека «Вшествие Христа в Иерусалим»¹¹².

Гоголь, внимательно осматривавший художественные сокровища Мариен-Кирхе («Живопись внутри церкви удивительная...». — [X, 156]), картину Овербека не упоминает; однако если она и не привлекла его внимание, то он мог узнать о ней позднее, когда стал свидетелем работы Александра Иванова над его «Явлением Мессии». Дело в том, что в этом произведении видят определенное влияние картины Овербека, которая благодаря литографии Отто Шпектера (1833) сделалась широко известной за пределами Германии, в том числе и в Италии [Сарабьянов, с. 99].

Интересно, что по прибытии в первый раз в Италию в марте 1837 г. Гоголь поселился на Via di Isidore, 17, то есть недалеко от того самого монастыря Святого Исидора, где в 1810 г. обосновались назарейцы во главе с Овербеком. Здесь они основали коммуну, здесь работали, выдерживая суровый, почти аскетический образ жизни.

Как показала современная итальянская исследовательница Рита Джулиани, назарейцы оставили о себе много памятных штрихов в письмах и произведениях Гоголя, начиная с его характерной формулы — «нужно испытать художническо-монашескую жизнь в Италии» [XI, 96] и кончая описанием внешности немецких художников («Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узеньки<ми> рыженькими бородами». — [XI, 197]). Гоголь упоминает, так сказать, ключевую деталь их облика — длинные волосы «alla nazarena» (то есть как у Иисуса из Назарета), которые и послужило поводом для самого наименования художников как назарейцев (в повести «Рим»: «Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться с кудрями. Тут самый немец <...> получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны...» — [III, 238; см.: Джулиани, 2001, с. 127 и далее]).

Возможны и личные встречи Гоголя с назарейцами около декабря 1838 г., если не раньше. 25 декабря (6 января) вместе с приехавшим в Рим Жуковским он посещает церковь Trinità de Monti и рассматривает «Мадонну Фейта» [Жуковский, с. 457], то есть «Пречистую Деву» назарейца Филиппа Фейта. В тот же день Жуковский вместе с великим князем — в мастерской Овербека [там же]. Погодин, бывший у Овербека 4 апреля 1839 г., отметил: «Овербек очень привязан к нашему Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи и соблазнили вместе с Г<оголем> и некоторых наших художников» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 136]. Очевидно, в это время Гоголь не раз виделся с Овербеком. Известна и более поздняя его встреча с главой назарейцев: в январе 1843 г. в программе осмотра римских достопримечательностей, составленной для А. О. Смирновой, писатель предусмотрел посещение мастерской Овербека [IX, 491].

Отношение к назарейцам и главе их Овербеку важно для характеристики эстетических позиций Гоголя. Анненков передает его довольно критическое суждение о назарейцах. «Раз после вечера, проведен-

ного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшего о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта» [Анненков, 1983, с. 80]. Как же все это сочетается с явным интересом Гоголя к Овербеку, о чем говорят приведенные выше факты?

В 30–40-е годы Овербек оказался в фокусе эстетических размышлений многих русских литераторов и художников. Жуковский считал, что это художник «самый интересный и близкий к идеалу живописца» [Жуковский, 1903, с. 293]. Александр Иванов, также лично знакомый с Овербеком, в 1839 г. назвал его «высочайшим и единственным моим судьей и советником», а годом позже — «моим пророком, моим единственным наставником, поэтом-художником христианским» [Иванов, 1880, с. 120, 132], хотя при этом высказал упрек в излишнем аллегоризме. С оговорками принял творчество Овербека М. П. Погодин: «Хорошо, похвально — но нет жизни в его глубоко-задуманных, прекрасно-сочиненных картинах, — какая-то окаменелость!» [Погодин, 1844, с. 136]. Более конкретно выразили причину своей неудовлетворенности Овербеком и другими назарейцами такие русские ценители живописи, как Боткин, Станкевич и тот же Анненков.

В марте 1840 г. в Риме вспыхнул спор о назарейцах между Станкевичем и художником А. Т. Марковым, с одной стороны, и Шевыревым — с другой (Гоголь в это время находился в России). Шевырев, по словам Станкевича, принялся «защищать направление новой немецкой живописи (то есть назарейцев. — Ю. М.), старание подражать Перуджино и проч. Степан Петрович *видят* в этом необходимую реакцию языческому направлению, начатому Микель-Анджелом, возвращение к типу, преданному церковью. Аргументы: ведь должна ж быть христианская живопись! А коли так, так надо держаться типа, преданного церковью».

Возражения другой стороны (то есть Станкевича и Маркова) звучали так: «духовный тип христианских образов — в Евангелии, а наружный — в природе»; «характер дает Евангелие, а черты — лица, подмечаемые свободным художником». Странники «новой немецкой живописи» (то есть назарейцы) держаться только предания, отвращаясь от действительности: «Мадонны с человеческими лицами, просветленными чистою материнскою любовью, обнаруживающие божественное в жизни, — не по ним!» [Станкевич, с. 694–696; курсив в оригинале].

В том же духе назарейцев критиковал В. П. Боткин: «Эти романтики ошибались: они не умели понять, что идеалы средних веков не могут уже удовлетворять современное человечество, ибо в продолжении 400 лет оно многое узнало, о многом размыслило, многое поняло из того, что для средних веков казалось вечною тайною» [Боткин, с. 60].

Ту же точку зрения, но своеобразно, способом от противного, выразил Анненков в своем отзыве о находившейся в Любеке картине Овербека «Шествие Христа в Иерусалим» — той, которая послужила предвестием ивановского полотна и с которой, возможно, был знаком Гоголь. «Пятнадцать лет употребил он (Овербек) для исполнения своей картины и все-таки не отделился ни от своей личности, ни от века своего... На прекрасном лице его Спасителя так много грусти и глубокой думы, что к этому изображению его могли только привести колебание общества в последнее время и сама философия; на лице Иоанна такая небесная красота и смирение, что непременно вспоминаешь о целом ряде великих итальянских живописцев <...>. И все это облечено в старую форму, в неопытную манеру художников 15 столетия, и потому (картина) произведение несет в себе какое-то странное противоречие с самим собой» [Анненков, 1983, с. 241]. Лейтмотив этого пассажа: художник, при всем желании, «не мог» отделиться от своей личности, своего времени; «не мог» пренебречь «философией», способом наблюдения и живописания новейших школ.

Взгляд на Овербека и назарейцев, выраженный Станкевичем, Боткиным или Анненковым, соответствует общей концепции искусства, сложившейся в лоне западно-европейской (прежде всего немецкой) и русской философской эстетики. Художественные формы развиваются диалектически: классическая форма античного времени сменяется романтической формой эпохи средневековья; последняя же уступает место новому искусству, синтезирующему в себе сильные стороны форм предшествующих: пластицизм, объективность, внешнюю наглядность классического искусства и одухотворенность, субъективную наполненность, психологическую тонкость средневекового, то есть истинного романтизма. Попытка Овербека вернуться к беспримесному, «чистому» искусству средневековья анахронична или же, в лучшем случае (так в понимании Анненкова), обречена на непоследовательность, на внутреннюю противоречивость, ибо полностью отрешиться от своего времени, будучи талантливым художником, он не мог.

Нетрудно увидеть, что именно в таком ключе осуждает Овербека Гоголь на страницах анненковских мемуаров. Насколько правильно передал мемуарист высказывание писателя? При отсутствии других, прямых высказываний Гоголя на этот счет ответить на поставленный вопрос затруднительно. Анненков, как кажется, не отразил несомненный интерес Гоголя к назарейцам и к их религиозно-художественным исканиям. Но в то же время очевидно и то, что прямое восстановление в своих правах до-рафаэлевского стиля не отвечало духу гоголевского художественного миропонимания, достаточно диалектичному и близкому к системам философской эстетики. В начале 30-х годов Гоголь мечтал о привитии современному искусству брюлловской пластики, телесности, красочности при сохранении его глубо-

кой духовной наполненности, выразившейся в музыке (типично романтический род искусства) или в готике (также типично романтический архитектурный стиль). Гоголь по-своему отразил идею синтетического искусства современности, разрабатываемую у нас, скажем, Н. И. Надеждиным или только что упоминавшимся Станкевичем.

К рубежу 40-х годов эта идея не стала Гоголю чуждой, о чем свидетельствует его сохранившийся интерес к античному (то есть, по принятой классификации, истинно классическому) искусству. «Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: “То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты”» [Анненков, 1983, с. 83]. Характерен и гоголевский культ Рафаэля, от которого назарейцы намеревались отступить в направлении к искусству средневековому. У Гоголя же почитание Рафаэля сочеталось с интересом к античности, что также гармонировало с концепциями философской эстетики, поскольку в ее представлении новая, постромагическая форма искусства включает в себя элементы искусства классического. А. О. Смирнова-Россет, рассказывая об увлечении Гоголя Рафаэлем и Микеланджелом, прибавляет, отражая взгляды того же Гоголя: «Заметьте, какая стройность всегда в античности» [Смирнова, 1989, с. 35]¹¹³.

В конце концов смысл пассажа о назарейцах в изложении Анненкова не в том, что Гоголь их всецело отвергал, а в том, что считал их устремления односторонними, не соответствующими духу времени. И еще в том, что он, Гоголь, в то время «еще никому собственно не принадлежал» [Анненков, 1983, с. 80], что взгляды его не приобрели печать категоризма и завершенности¹¹⁴.

Что же касается творческой деятельности Гоголя, то главным его делом в этот период была доработка или, как он говорил, «совершенная очистка» первого тома «Мертвых душ». Одновременно он приступил и к работе над вторым томом — такой вывод можно сделать из сопоставления ряда фактов.

Извещая С. Т. Аксакова о завершающей стадии написания первого тома («переменяю, перечищаю, многое перерабатываю»), Гоголь добавляет: «Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней» [XI, 322]. И в тот же день, 28 декабря н. ст. 1840 г. в письме М. П. Погодину Гоголь говорит уже не только об обдумывании, но определенно о *работе* над следующим томом: «...Занимаюсь переправками, выправками и *даже продолжением* “Мертвых душ”, вижу, что предмет становится глубже и глубже» [XI, 325].

Слова Гоголя подтверждаются категорическим утверждением Анненкова, жившего бок о бок с писателем. Именно в это время, говорит мемуарист, Гоголем был «предпринят» второй том — «как я могу утверждать положительно» [Анненков, 1983, с. 79]. Наконец, упоми-

ная впоследствии (в «Выбранных местах...») о сожжении второго тома, Гоголь в письме, датированным им 1846 г., говорил: «Нелегко было сжечь *пятнадцатилетний труд...*» [VIII, 297]¹¹⁵.

«Мертвыми душами» не ограничивались творческие занятия Гоголя. Из упоминавшегося письма Погодину: «Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то может быть, мне удастся еще приготовить что-нибудь к печати, кроме первого тома Мерт<вых> д<уш>» [XI, 325]. Речь шла, как мы уже знаем, о новой редакции «Портрета» и, скорее всего, еще о трагедии из казацкого запорожского быта, отрывок из которой в минуту особенного благорасположения Гоголь прочел Панову. Другой переписчик «Мертвых душ» Анненков такой чести не удостоился и о существовании драмы узнал случайно. «Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда готовился диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака <...>: “И зачем это Господь Бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба...”» [Анненков, 1983, с. 86]. Фраза, выуженная Анненковым, много говорит о духе трагедии, сохранившей полностью и яркость гоголевского комизма. Все это вполне соответствует тем наставлениям, которые писатель дал самому себе как автору этой пьесы: «обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли» и т. д. [V, 199].

В начале июля Анненков покидал Рим, направляясь в Альбано, а оттуда на юг — в Неаполь и Сицилию [ЛН. Т. 58. С. 605]. Гоголь сопровождал Анненкова в Альбано, потом, усаживая в дилижанс, сказал «с неподдельным участием и лаской: “Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество, и стоит только выбрать...”» [Анненков, 1983, с. 95]. Насмешливость и расположение к шутке («Жюль!»..) соседствуют в Гоголе с торжественной настроенностью и склонностью к наставлениям. Пассаж о выборе дороги преисполнен важного смысла, который вскоре отразится, скажем, в совете Муразова Чичикову: «Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу» [VII, 123].

В августе (после 7-го) в дорогу отправился и Гоголь. Путь его лежал во Флоренцию, Геную, затем в Германию, в Дюссельдорф, где он намеревался встретиться с Жуковским.

НА ПУТИ В РОССИЮ

В Дюссельдорфе Гоголь не застал Жуковского. Пятидесятилетний поэт, незадолго перед тем обручившийся с дочерью немецкого художника Елизаветой Рейтерн, отправился навещать своих новых родственников.

Гоголь «поймал» Жуковского во Франкфурте, во второй половине августа.

Именно здесь была поставлена точка в истории гоголевской драмы на запорожскую тему. Писатель решил проверить: какое впечатление произведет его новая вещь на Жуковского — и вывод сделал самый неутешительный.

Впоследствии Ф. В. Чижов передал рассказ Жуковского. «Знаете ли, что он написал было трагедию? <...> Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: “Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось”. — “А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее”, — отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: “И хорошо, брат, сделал”» [Воспоминания, с. 228–229]¹⁶.

К концу августа Гоголь перебрался в Ганау, где около месяца провел в обществе Н. М. Языкова, с которым познакомился здесь же два года тому назад, и его брата Петра Михайловича. «Гоголь сошелся с нами, — писал Н. М. Языков сестре 19 сентября. И добавлял: — Он премилый».

Гоголь не скрыл от своих друзей, что «написал много нового и едет издавать оное», но читать написанное, то есть главы из «Мертвых душ», кажется, не стал. Зато обещал Николаю Михайловичу, по возвращении его в Москву, поселиться с ним «на одной квартире». Обещал также пожить в родных местах Языкова в Симбирске, «чтобы получить истинное понятие о странах приволжских» [Шенрок, т. 3, с. 351–352]. Мысль о таком путешествии была связана с тем, что Гоголь уже приступил к работе над вторым томом поэмы и ощущал настоятельную необходимость в расширении ее художественного пространства.

Во второй половине сентября (после 24-го) Гоголь вместе с Петром Языковым отправился в Дрезден, чтобы затем через Берлин держать путь на родину.

До Дрездена доехали без особых приключений. Разве что (шутил Гоголь в письме Н. М. Языкову) после Ганау «на второй станции посадили к себе в коляску двух наших земляков, русских помещиков, Сопикова и Храповицкого, и провели с ними время до зари. Петр Михайлович даже и по заре еще перекинулся двумя-тремя фразами с Храповицким» [XI, 346]. Любопытная вариация того места из девятой главы «Мертвых душ», где развивалась сонная символика — познакомиться «с помещиками Завалишиным да Полежаевым», «заехать к Сопикову и Храповицкому»...

Случилась по дороге в Дрезден и реальная встреча. При пересадке «из коляски в паровой воз», то есть на железнодорожный поезд, «как сон в руку встретились Бакунин и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко...» [XI, 346–347]¹⁷.

Похоже, что Гоголь лично знал Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), бывшего участника кружка Станкевича, выехавшего в июне 1840 г. за границу, в Германию. Гоголь мог видаться с ним во время пребывания в Москве в конце 1839 — начале 1840 г., хотя к близкому знакомству эта встреча не привела.

В Дрездене Гоголь посетил главную достопримечательность этого города — галерею Цвингер, где находилась Сикстинская мадонна Рафаэля¹¹⁸.

Приезд в Берлин Гоголь предварил письмом В. А. Панову, отправленным еще 24 сентября из Ганау; мы помним, что писатель расстался с ним в Риме весной этого года, когда тот отправлялся в прусскую столицу. «Коли вы в Берлине, не уезжайте из Берлина: через дня два или три после сего письма, я надеюсь быть сам у вас и мы проведем надеюсь еще несколько часов на чужой земле. О моем приезде пожалуйста не говорите немцам заезжающим в Русскую литературу, ниже Русским, которые там живут теперь. Вы знаете, что и всегда бывал не охочь до знакомств, а теперь и более того»¹¹⁹. Письмо свидетельствует о том, что Гоголь заранее решил не задерживаться в Берлине, и еще о том, что у него были некоторые представления о людях, с которыми пришлось бы встретиться.

Вначале — о «немцах, заезжающих в Русскую литературу». Это, конечно, Карл-Август Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense, 1785–1858), в прошлом участник антинаполеоновской кампании, воевавший под русскими знаменами, потом дипломат и общественный деятель, с 1819 г. проживавший в Берлине, где он и его жена, хозяйка знаменитого салона Антония-Фредерика Рахель (1771–1833), находились в центре интеллектуальной и литературной жизни. Знакомыми Варнгагена фон Энзе были и Шамиссо, и Александр Гумбольдт, и Гейне и в то же время многие русские: Я. М. Неверов, Н. А. Мельгунов, А. И. Турганев, С. П. Шевырев и т. д.

«Заезды» Варнгагена фон Энзе в русскую литературу были постоянными и систематическими. Выучив с помощью Неверова русский язык, он читал в подлиннике Жуковского, Лермонтова, Лажечникова, Пушкина... Статья Варнгагена фон Энзе о Пушкине (*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*, 1838. Bd. 2. № 61–64) имела большой резонанс в России, привлекла она к себе внимание и в западно-европейских странах. Поэтому неудивительно, что приезжающие в Германию русские старались познакомиться с ним, заручиться его поддержкой.

Советуя Неверову нанести визит немецкому критику, Мельгунов писал (31 августа 1837 г.): «Я надеюсь, что он для вас в Берлине, да и вообще в Германии будет тем же, чем был для меня. Его связи огромны, и он пользуется общим уважением. Несколько строк его жемчужной руки стоят длинных рекомендательных писем» [*ZS*. 1988. № 4. С. 485¹²⁰]. Со своей стороны, Неверов после встречи с Варнгагеном фон Энзе сообщал 12 октября 1837 г. в Петербург известному ориен-

талисту В. В. Григорьеву: «...Это знакомство для меня крайне приятно и полезно. Варнгаген замечателен как литератор, как дипломат <...> и еще более как человек, имеющий большие связи в Берлине и во всей Германии» [ZS. 1988. № 4. С. 491]. Свидетельством признания Варнгагена фон Энзе в России служит тот факт, что уже в 1837 г. «Энциклопедический лексикон» Адольфа Плюшара поместил посвященную ему биографическую статью, где говорилось, что это «один из известнейших современных писателей Германии» (СПб. Т. 8. С. 303).

В. А. Панов, который, как показал Г. Цигенгейст, числился в качестве слушателя Берлинского университета с 26 мая 1841 г. по 9 августа 1842 г. [ZS. 1990. № 2. С. 177], тоже поспешил познакомиться с Варнгагеном фон Энзе. И удостоился со стороны последнего весьма лестной характеристики: «Г-н Панов, — записал он 30 мая в дневнике, — один из тех благородных, отличных [trefflichen] русских, которые так часто появляются ныне во славу своего народа...» [там же, с. 166]. Отзыв же Панова оказался гораздо более сдержанным. 6 июня (25 мая ст. ст.), после вторичного посещения немецкого критика, он сообщал К. С. Аксакову в Москву: Варнгаген фон Энзе «принял меня даже с излишними учтивствами. Он вообще относится к разряду людей, которых Николай Васильевич называет сладкими и которых знакомство отчасти бывает тяжело» [ЛН. Т. 58. С. 603–604]. Панов смотрит на своего нового знакомого глазами Гоголя, сравнивая его с Маниловым; соответствующие строки из еще не напечатанной поэмы памятливы ему по переписке текста, имевшей место в Риме, несколькими месяцами раньше.

Другое обстоятельство, охладившее отношение Панова к Варнгагену фон Энзе — расхождение в художественных вкусах. «Он мне говорил, между прочим, что он произведения г-жи Дюдеван, или George Sand, ставит наравне с лучшим, что произвела Германия...» [там же]. Для либерально настроенного Варнгагена фон Энзе высокая похвала Жорж Санд вполне естественна; Панов же судит о ней сурово, в духе славянофилов, в частности адресата этого письма Константина Аксакова, отказывавшегося причислять французскую писательницу к «великим поэтам». У Гоголя к 40-м годам также складывалось неприязненное отношение к Жорж Санд. Слушая чтение «Писем путешественника» (это было, очевидно, в начале 1843 г. в Риме), Гоголь сравнил ее манеру с фальшивой игрой на скрипке [Смирнова, 1989, с. 69]. Все это не благоприятствовало встрече Гоголя с Варнгагеном фон Энзе.

Между тем трудно сомневаться в том, что немецкий литератор охотно пошел бы на такое знакомство, если бы Гоголь проявил хоть малейшую инициативу. Варнгаген фон Энзе давно уже интересовался творчеством этого писателя. В мае 1838 г. в статье «Die literarische Cultur in Russland» (журнал Der Freihafen. № 2), написанной им совместно с Неверовым, Гоголь был назван «самым значительным писателем после смерти Пушкина» [цит. по: ZS. 1988. № 4. С. 502]. Панов, при свидании с Варнгагеном фон Энзе в мае 1841 г., вручил ему рекоменда-

тельное письмо от А. И. Тургенева, где упоминалось и о Гоголе как об «оригинальнейшем поэте и драматическом писателе... во всей России» [ZS. 1990. № 2. С. 178]; это письмо было написано еще в предыдущем году, но пропутешествовало вместе с Пановым в Италию, пока тот не попал в Берлин. К информации Тургенева Панов добавил и собственные живые впечатления: ведь он только что провел бок о бок с Гоголем несколько месяцев («Г-н Панов сообщает мне сведения о Грановском, Шевыреве, Гоголе», — записывает Варнгаген фон Энзе 30 мая). Наконец, еще одно связующее звено между немецким критиком и Гоголем: 7–8 августа того же года, по дороге из Эмса во Франкфурт-на-Майне, Варнгаген фон Энзе знакомится с одним из самых симпатичных Гоголю людей — с Языковым, «поэтом первого ранга» [там же. 1984. № 6. С. 938]; напомним, что это произошло примерно за месяц до встречи Языкова с Гоголем в Ганеу.

Теперь — о проживающих в Берлине русских, которые, перефразируя гоголевские слова, «заезжали в немецкую литературу». Строго говоря, это были заезды не столько в область художественной словесности, сколько науки и особенно философии. П. В. Анненков, побывавший в Берлине за несколько месяцев до Гоголя, писал, что «университет поглощает всю жизнь и все толки лучших голов Берлина», и как забавный, насмешивший всех казус приводил жалобу одного «путешествующего» русского: «У меня пот выступил от умных вещей, которые я здесь слышал» [Анненков, 1983, с. 10]. Вот ради этой науки и этого университета, не боясь трудов и «пота», и отправлялась в Берлин русская молодежь, начиная с Н. В. Станкевича и участников его кружка. С их поездок в прусскую столицу, начавшихся в конце 30-х годов (первый приезд Станкевича — в октябре 1837 г.), берлинский «текст» приобрел в глазах русских свою специфику, отличную, скажем, от «текстов» римского или парижского.

Станкевич писал друзьям-москвичам: «Внимайте все, некогда собиравшиеся к круглому столу в доме Лаптевой (то есть в доме в Большом Афанасьевском переулке, где жил Станкевич и где собирался его кружок. — Ю. М.) <...> внимайте! — я в Берлине!» [Станкевич, с. 158–159]. Звучит почти как «я в земле обетованной!». Высказывание другого паломника в Берлин поясняет, из какого источника проистекло это радостное чувство: «Думали, что вечно искомый абсолюте, наконец, найден, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине» [Бакунин М. А. Избр. соч., М.; П., 1919. Т. 1. С. 230]. Берлин становился символом не просто философской столицы мира и не только интереса к философии и занятий философией, но — интереса всепоглощающего, занятий последовательно научных, строгих, реализуемых в той логически-опосредованной форме, какую явила система Гегеля. «С Берлином кончилось для Станкевича наслаждение философией и всякая возможность обращаться с нею запросто, делать из нее подножие поэтическому вдохновению и привлекательной мечте <...>. Он встречался с

чистотою мыслию во всей ее наготе и сухости, и неизбежные последствия этой встречи мало-помалу открывались его умственному взору...» [Анненков, 1857, с. 184]. Далеко не все из приезжих русских хотели и могли следовать такому направлению, но все равно это направление определяло в их глазах репутацию и «образ» Берлина.

Правда, на кафедре Берлинского университета давно уже не было Гегеля (он умер в 1831 г.), но оставались его ученики, профессора того же университета: философ и драматург Карл Вердер, первый издатель гегелевских лекций по эстетике Генрих-Густав Гото, историк Леопольд фон Ранке. Их занятия посещали проживавшие в Берлине русские, а с Вердером многие и подружились, в том числе Станкевич и И. С. Тургенев, находившийся в Берлине с мая 1840 по май 1841 г.

Очень серьезно отнесся к университетским занятиям и Панов, сообщавший матери 24 (14) октября 1841 г., что он «на этом семестре записался уже у пяти профессоров»: Ранке, Вердера, Шеллинга, географа и статистика Карла Риттера, физика Георга Ерманна, «что довольно дорого стоит» [Встреча, с. 29].

Ко времени посещения Берлина Гоголем, здесь, помимо упоминавшихся Панова и Бакунина, проживали бывшие участники кружка Станкевича М. Н. Катков и А. П. Ефремов, критик и историк литературы А. Д. Галахов. Гоголь мог иметь их в виду, говоря о русских берлинцах, хотя о его встречах с ними сведений нет.

Вообще исходившие из Берлина философские импульсы отклика у Гоголя не вызывали. Писатель вовсе не был чужд общего философского умонастроения эпохи (следовательно, прежде всего умонастроения немецкого), что проявилось хотя бы в его концепции движения художественных форм, о которой уже говорилось; но чрезмерное увлечение немцами казалось ему нежелательным. В начале 1841 г. Гоголь отговаривал К. Аксакова от поездки в Берлин, поясняя, что опасается, как бы тот не вдался «односторонне в нее (то есть в немецкую философию. — Ю. М.) — для нее же самой» [XI, 338]. Еще по московским встречам 1839—1840 гг. Гоголь знал о страстном увлечении Константина Аксакова Гегелем.

В 40-е годы умственную жизнь Берлина определяло такое событие, как приглашение в Берлинский университет Шеллинга и чтение им лекций по философии откровения (на этот курс, как мы видели, записался и Панов). Первая лекция состоялась 15 ноября 1841 г., то есть спустя полтора месяца после посещения Берлина Гоголем; однако о предстоящем приезде Шеллинга и его намерении доказать несостоятельность гегелевской системы в самой, так сказать, цитадели гегелизма стало известно значительно раньше. «Шеллинга ожидают непременно в течение этого года» [ОЗ. 1841. Т. 16. Отд. 7. С. 116], — сообщал Катков в письме из Берлина, датированном 21 мая того же года. Русские в Германии, равно как и у себя дома, в России, тоже ждали этого события и затем прореагировали на него по-разному.

Катков с энтузиазмом воспринял, говоря его словами, «философскую реформу», осуществленную Шеллингом; у других — прежде всего бывших участников кружка Станкевича (Белинского, Боткина, Грановского), а также у Герцена — она вызвала резкое неприятие. Против «позитивистской философии», то есть Шеллинга периода откровения, выступил и Бакунин; его статья «Реакция в Германии», опубликованная под псевдонимом «Jules Elysard» в журнале левых гегельянцев (*Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst*. 1842. № 247—251. 11—12 October), привлекла к себе широкое внимание.

Задним числом на выступление Бакунина откликнулся и Гоголь. В письме Н. М. Языкову (28 мая н. ст. 1843 г., Мюнхен) он пересказывает «довольно печальную историю о Бакунине». «Сей философ наделал просто глупостей, и нынешнее его положение жалко. В Берлине он не ужился и выехал, куда не помню, как мне рассказывали, по причине, что не мог иметь никакого сурьезного влияния. Вздумал он, с какою целью, Бог ведает, для того ли, чтобы услужить новым философам Берлина и Шеллингу, написать в каком-то журнале статью на гегелистов, которых уничтожил вовсе и обличил в самом революционном направлении. Статья произвела негодование. Прусский король запретил журнал и донес о сем русскому правительству. Бакунин должен был скрыться и теперь, говорят, в Цюрихе...» [XII, 190].

Гоголевский отклик интересен смешением самых разных фактов и версий. Бакунин не обличал «гегелистов» в «революционном направлении»; наоборот, он ставил в заслугу плеяде немецких философов, увенчанных Гегелем, то, что они выразили «революционный принцип, а также принцип автономии духа» — и все это «находится в глубочайшем противоречии со всеми ныне существующими положительными религиями, со всеми современными церквями» [Бакунин М. А. Избр. философ. соч. и письма. М., 1987. С. 223—224]. Шеллингу периода философии откровения такая точка зрения «услужить» не могла, несмотря на то что прежнего Шеллинга (так же как Канта и Фихте) Бакунин поместил в упомянутый ряд немецких философов, воплощающих истинно «революционный дух». Неточно изложены и обстоятельства высылки Бакунина.

Из гоголевского письма видно, что информатором его был Александр Николаевич Попов (1821—1877), выпускник юридического факультета Московского университета, магистр, отправившийся в 1842 г. в Берлин, чтобы изучать философию. Близкий к славянофилам, он, понятно, не жаловал Бакунина и мог передать писателю свою антипатию к нему, точнее — усилить эту антипатию, ибо и Гоголь, как мы видели, тоже не испытывал к Бакунину теплых чувств. Однако как человек, специально занимающийся немецкой философией, Панов, конечно, различал главные ее течения и знал, против кого направлена статья Бакунина. Смешение различных явлений и фактов, очевидно, приистекло из умонастроения самого Гоголя, равно неприяз-

ненно или, по крайней мере, безразлично относившегося и к «гегелистам» и к новому Шеллингу.

ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ (октябрь 1841 — июнь 1842)

Около 19 октября по н. ст. (7-го по старому) Гоголь приехал в Петербург и стал наносить визиты, один за другим, своим старым друзьям: Плетневу, Балабиным, Смирновой-Россет, возможно и Виельгорским. Остановился он, скорее всего, у Прокоповича на 9-й линии Васильевского острова.

Плетневу Гоголь объявил, что будет печатать «Мертвые души» в Петербурге, а потом уже переедет в Москву [Плетнев, 1896, с. 408]. Если такая мысль и возникла у писателя, то очень скоро он от нее отказался. Со слов Смирновой-Россет гоголевский биограф говорит: «Он сперва намерен был печатать “Мертвые души” в Петербурге, но потом раздумал» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 302].

Пробыв в столице дней пять, Гоголь после 13 октября отправился в Москву, куда прибыл 17-го¹²¹. Поселился он на привычном месте, у Погодина на Девичьем поле. А на следующий день появился у Аксаковых.

Сергей Тимофеевич нашел в нем большую перемену — следствие перенесенной в конце лета 1839 г. тяжелой болезни. «...Он стал худ, бледен и тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове». Поубавился интерес Гоголя к еде, или, как говорит мемуарист, приглушилось его «гастрономическое направление», а самое главное, ослабела склонность к смеху. «Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора» [Воспоминания, с. 137].

Перемену в Гоголе должен был заметить и Погодин. По более позднему свидетельству писателя, едва переступил он порог погодинского дома, как объявил: «...Случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего». И добавил, что от сочинения его, то есть «Мертвых душ», он, Погодин, будет «плакать и заплачет от него многие в России» [XIII, 337].

Впрочем, уже первый день пребывания Гоголя в доме Аксаковых несколько изменил их впечатление. В этот же день на обед к ним пришел Петр Иванович Пейкер, сын крупного чиновника, сенатора Ивана Устиновича Пейкера, служившего в Межевом департаменте Правительствующего сената (Сергей Тимофеевич был знаком с Пейкерами, так как одно время занимал пост директора Константиновского межевого института). И тут неожиданно новый гость узнал в Гоголе своего недавнего попутчика во время поездки из Петербурга в Москву....

Оказывается, Гоголь вел себя с Пейкером почти так же, как с неким Васьковым, двумя годами раньше, когда следовал тем же маршрутом, из новой столицы в старую. «Заметь, что товарищ (т. е. Пейкер) очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преласкательную историю. Притом на все вопросы отвечал: “нет, не знаю”» [Воспоминания, с. 137]. Возможно, в таком поведении Гоголя заключались скрытые мотивы: ведь фамилия Пейкера была ему небезызвестна — уже упоминавшийся Пейкер-старший до прихода в Межевой департамент занимал пост директора Департамента государственного хозяйства и публичных зданий, где в свое время служил Гоголь, и именно ему в феврале 1830 г. «студент Николай Гоголь-Яновский» подавал прошение об отставке [см.: X, 382].

Во всяком случае, столкнувшись лицом к лицу со своим недавним мистификатором, Пейкер было обиделся, но Аксаковы уверили его, что «Гоголь делает это со всеми». По возвращении же в Петербург Пейкер с новым чувством стал перечитывать гоголевские произведения, и не только художественные. «...Его метода преподавания всеобщей истории восхищает меня, — писал он С. Т. Аксакову 7 ноября по поводу статьи из “Арабесок”, — мне кажется, что гениальность этого замечательного человека является здесь не в меньшем блеске, как в юмористических сочинениях...» [ЛН. Т. 58. С. 608].

Что же касается Сергея Тимофеевича, то он расценил выходку Гоголя как «последнее проявление его проказливости». Увы, сколько еще совершит Гоголь таких выходов, которые окружающим будут казаться «последними»!..

Перед отъездом за границу в мае 1840 г. Гоголь обещал москвичам вернуться с первым томом «Мертвых душ» — и сдержал слово; рукопись — преимущественно последние пять глав — нуждалась лишь в окончательной отделке. Пока правился текст и перебеливались первые шесть глав (в качестве переписчика С. Т. Аксаков рекомендовал воспитанника Межевого института Крузе, но Гоголь почему-то прибегнул к услугам другого лица), автор решил прочесть остальное. Чтение проходило в доме Погодина в присутствии хозяина и двух Аксаковых, Сергея Тимофеевича и Константина. Больше никому Гоголь на этот раз не доверял.

К 1 ноября вся поэма была прочитана. Аксаковы не скрывали своего восхищения. «Это — чудо!» — писал Константин брату Ивану, а Сергей Тимофеевич особенное внимание обратил на лирический тон одиннадцатой главы: «Последняя глава повергла нас в изумление восторга... В ней выразилась благодатная перемена в целом нравственном бытии автора... Вместо мрачной мизантропии — любовь, мир, спокойствие... И каким глубоко и высоко поэтическим образом все это высказалось...» [ЛН. Т. 58. С. 608, 606]. Знаменательно, что эта «пе-

ремена» представляется Аксакову благодетельной: она означает возмужание характера, углубление взгляда, затем, подспудно, движение писателя в сторону славянофильских представлений. Пройдут год-два, и перемена покажется Сергею Тимофеевичу в новом свете...

После чтения лишь Погодин позволил себе критическое замечание: мол, «в первом томе содержание не двигается вперед»; «Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате уроды». Сергей Тимофеевич увидел в этом упреке излишнюю придирчивость; однако Гоголь заступился за Погодина, просил его «продолжать и очень внимательно слушал, не возражая ни одним словом» [Воспоминания, с. 139]. По-видимому, заинтересованная реакция Гоголя объясняется тем, что уже в это время он много думал над продолжением поэмы, над вторым томом, который значительно отклонялся от «линейной» композиции первого тома. Погодинское замечание о «коридоре» отвечало собственному стремлению Гоголя более сложно, так сказать перекрестно, связать персонажей друг с другом.

Еще недели три-четыре ушло на переписку поэмы, и наконец Гоголь решил представить ее в цензуру.

Для начала он попробовал заручиться поддержкой одного из цензоров — Ивана Михайловича Снегирева (1793—1868). Гоголь рассчитывал на сочувствие этого известного этнографа, фольклориста, искусствоведа, профессора Московского университета; кстати, в пору работы над первым томом поэмы он живо интересовался снегиревским трудом «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837—1839. Вып. 1—4).

На решение Гоголя, видимо, повлияло и то, что именно цензор Снегирев подписал к печати второе издание «Ревизора». Произошло это 26 июля 1841 г. в отсутствие Гоголя, находившегося в Риме и занятого перепиской «Мертвых душ». Но будучи в Москве и встретив Снегирева в доме Погодина 6 ноября, писатель, как отметил Снегирев в дневнике, подарил ему «свою комедию с надписанием» [РА. 1903. № 2. С. 228] — явно в знак благодарности за «Ревизора» и в качестве аванса за «Мертвые души».

Спустя месяц, 7 декабря, Гоголь посетил Снегирева, оставив у него рукопись для предварительного просмотра [там же, с. 229]. Через два дня Снегирев сообщил автору, что находит рукопись «совершенно благонамеренной, и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя...» [XII, 28]. Значит, делу можно было дать дальнейший ход, то есть добиваться разрешения на публикацию.

Заседание Московского цензурного комитета, как установил Н. С. Тихонравов, состоялось 12 декабря под председательством по-

СОВРЕМЕНИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЬ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФИИ.

1836.

«Современник», 1836 г., т. I.

Титульный лист



Н. В. Гоголь на репетиции «Ревизора» в Александрийском театре.
Акварель П. Каратыгина. 1836 (дата «1835» поставлена на рисунке
ошибочно)



Александрйский театр в Петербурге.

Литография. 30-е годы XIX в.



И. И. Сосницкий в роли городничего.

Фотография



М. С. Щепкин.
Литография с рисунка А. Скино

1 8 4 3



НА БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.
Въ Итальянцу, 5 Февраля.

ПО ПОВЕЛЕНІЮ ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧІЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ТЕАТРУ.

ВЪ ПОДЪЕМЪ АКТУРА

Г. ЩЕПКИНА.

въ первый разъ

ЖЕНИТЬБА.

Комедія въ 1 дѣйствіи, соч. **Н. В. ГОГОЛЯ.** Авторъ Евразіи

ДѢЙСТВУЮЩІЕ

Александръ Ткаченко, купеческая дочка, невеста.	Г. Ф. Олександръ
Арина Платоновна, мать.	Г. Ф. Савицкая
Олеся Михайловна, сестра.	Г. Ф. Калашникова
Петръ Ивановичъ, служившій Нижегородскій Свѣтскій.	Г. Щепкинъ
Владимиръ, другъ его.	Г. Живокитовъ
Василиса, мать его.	Г. П. Сутокина
Надежда, служившая окутаткой свѣтки.	Г. Савицкая
Александръ, маркизъ.	Г. Олександръ
Александръ, другъ въ домѣ.	Г. Ф. Швабскій
Александръ Дмитріевичъ Стариковъ, послѣдствіемъ.	Г. В. Савицкая
Степанъ, слуга Платоновны.	Г. Шубертъ

АКТЪ,

Въ комедіи **Г. А. Щепкинъ**, соименіи **ИМПЕРАТОРСКАГО**
Московскаго Театра, будетъ играть на сценѣ карикату
своего соименіи.
въ первый разъ

ИГРОКИ,

Комическія сценки въ 1 дѣйствіи, соч. **Н. В. ГОГОЛЯ.**

ДѢЙСТВУЮЩІЕ

Иванъ	Г. Ткаченко
Г. Ф. Иванъ, Удѣльщикъ.	Г. Щепкинъ
Петръ, Петровичъ, Швабскій.	Г. П. Савицкая
Павелъ, Кривош.	Г. Ф. Савицкая
Михайло, Александровичъ, Губа.	Г. Удальцовъ
Александръ Михайловичъ, Губа, сынъ его.	Г. Олександръ
Иванъ Сидоровъ, Заурядъ-писарь, чиновникъ мѣх.	Г. Савицкая
Примѣла.	Г. Савицкая
Годришко, слуга Иванова.	Г. Олександръ
Александръ, трактирный слуга.	Г. Михайловъ

въ первый разъ

ПОДСТАВНОЙ Ш ОУСТАВШЕЙ.

«Женитьба. Афиша первого представления комедии
на сцене Большого театра в Москве 5 февраля 1843 г.



Париж.
Литография



А. Мицкевич.
Портрет работы неизвестного художника. 40-е годы XIX в.



Рим.

Картина С. Щедрина



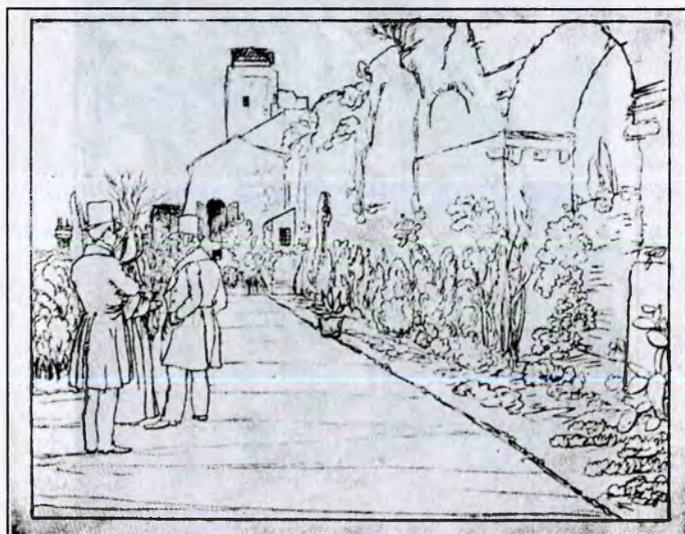
Дом на Via Sistina в Риме, где жил Н. В. Гоголь.

Фотография



В. А. Жуковский

Акварель К. Брюллова. 30-е годы XIX в.



Н. В. Гоголь в Риме.

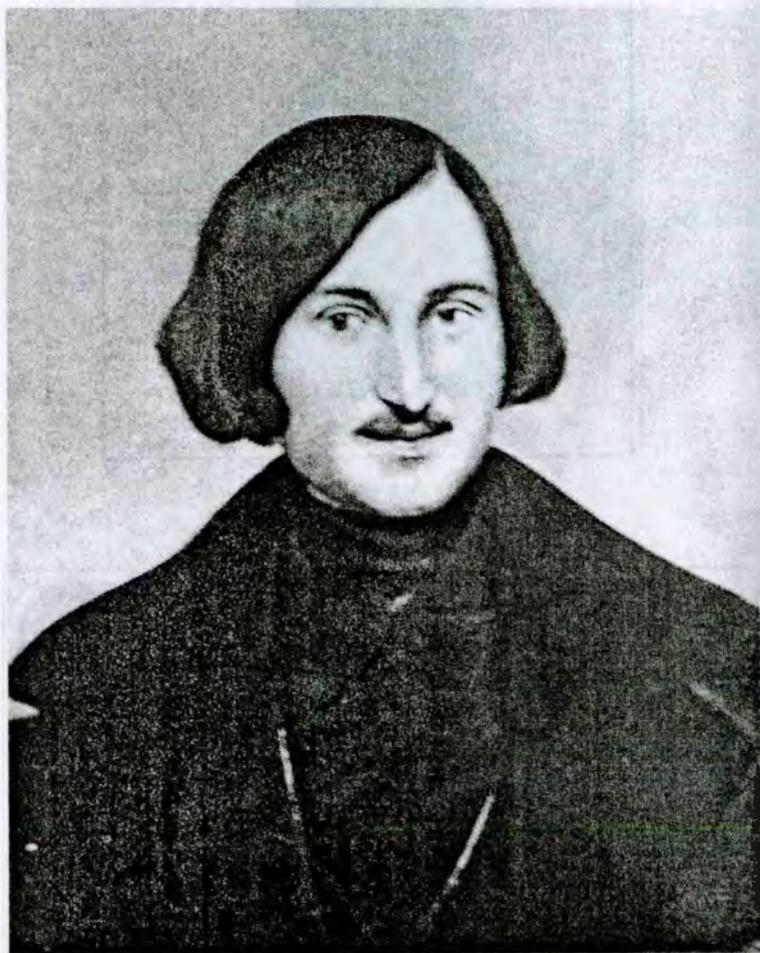
Рисунок В. А. Жуковского из его альбома



А. А. Иванов.
Литография В. Тимма



Н. В. Гоголь среди русских художников в Риме.
Дагерротип. 1845



Н. В. Гоголь.
Портрет работы Ф. Моллера. 1841



«Мертвые души», т. I.
Титульный лист первого издания



«Мертвые души», т. I.
*Титульный лист второго издания
(выполнен по рисунку Н. В. Гоголя)*



Н. В. Гоголь читает «Мертвые души».
Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1839



Н. В. Гоголь.
С дагерротипа. 1845



Вид Неаполя в гоголевские времена



Н. В. Гоголь.

Рисунок К. Рабуса. 40-е годы XIX в.



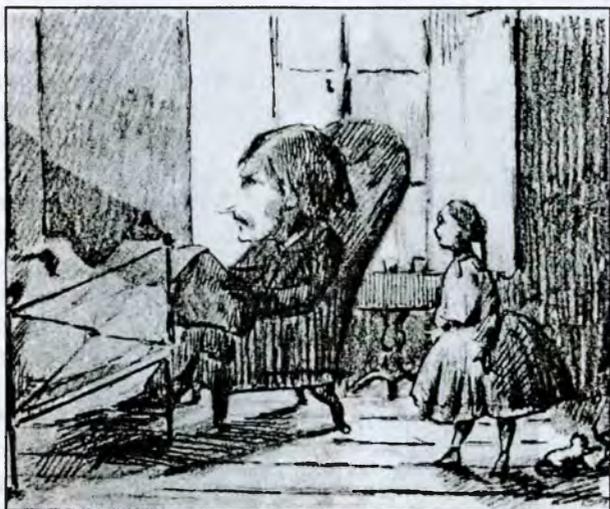
Сочинения Н. В. Гоголя, изданные на французском и немецком языках
в 1845–1846 гг.



Пiazza Барберини



Интерьер Caffè Greco



Карикатура на Гоголя.

F. Bruni



Дж. Белли

Портрет работы G. Cantalamessa



З. Волконская.
Портрет работы F. Bruni



Мария Власова.
Портрет работы H. Riesner

МС
с у
уж
об
18
ст
ж
вм
Ка
ни
ра:
да
ло
ду
Да
ка
Эт
но

оч
пи
но
но
об
во
мо
"М
бы

но
ну
ни
ка:
Пр
от
ко
ру

де
же
рас
нес
Н.
те,
ся :

мощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова, с участием цензоров М. Т. Каченовского, Н. И. Крылова, В. В. Флерова и уже упоминавшегося Снегирева [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 458]. О ходе же обсуждения известно только из письма Гоголя Плетневу (от 7 января 1842 г.), нарисовавшего довольно мрачную картину. Одна реплика была страшнее другой. Голохвастов якобы увидел в названии поэмы безбожие и атеизм («автор вооружается против бессмертья») и, сверх того, вместе с другими цензорами, еще и протест «против крепостного права». Каченовский усмотрел возможность рискованной параллели к поведению сильных мира сего: «В одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве, в модном вкусе. “Да ведь и государь строит в Москве дворец!” — сказал цензор (Каченовский)». Крылов счел неудобным ту низкую цену, которую Чичиков назначает за душу: «Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не придет». В результате, как говорит Гоголь, «произошло запрещение рукописи» [XII, 28–29]. Это мнение — о запрещении «Мертвых душ» — фигурирует и в научной литературе [см., например, комментарий: VIII, 890].

На самом же деле все протекало несколько иначе. Прежде всего очевидно, что никто (кроме Снегирева) еще не был знаком с рукописью; судили лишь на основе названия («Мертвые души») и случайного выхваченного фраз. Не было в распоряжении комитета и официального отзыва цензора. Словом, имело место сугубо предварительное обсуждение, в результате которого, как установил тот же Тихонравов, решили передать рукопись Снегиреву для получения необходимого отзыва. «Если бы Комитет в самом деле принял решение запретить “Мертвые души” <...>, рукопись, на основании цензурных правил, была бы удержана при делах Комитета» [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 461].

Итак, рукопись передали Снегиреву. В конце концов все это должно было отвечать желанию Гоголя, проведенного с ним предварительную «работу». Однако в какой-то момент автор «Мертвых душ» усомнился в своем покровителе; во всяком случае, угроза запрещения показалась ему реальной, и он поспешил не доводить до этого. Предотвратить запрет было гораздо легче, чем потом добиваться его отмены. Гоголь избрал ту же самую тактику, что и с «Ревизором», когда прежде решения цензуры через своих петербургских друзей заручился поддержкой царя.

С этой целью он наверняка сгущал краски, рисуя картину обсуждения рукописи в Московском цензурном комитете. Вспомним также, что сообщалось все это Плетневу, на помощь которого Гоголь рассчитывал. Ясно лишь одно — во время этого обсуждения звучали неодобрительные голоса; но трудно поверить, например, в то, что Н. И. Крылов, профессор римского права в Московском университете, ученик М. М. Сперанского, в 1831–1835 гг. усовершенствовавшийся за границей под руководством Савиньи, Ганса, Эйхгорна и др. (по-

этому Гоголь иронически причислил его к «цензорам-европейцам», «возвратившимся из-за границы»), — трудно поверить, что этот человек судил о произведении Гоголя с охранительных позиций. Моральной чистотой Крылов не отличался (так, его уличили во взяточничестве), но по своим взглядам в это время он «был вместе с Грановским столпом западной партии в университете» [Соловьев, 1983, с. 296]. Возможно, он и произнес фразу о смехотворной цене, которую назначают «за душу», но лишь в порядке констатации факта и едва ли в укор автору поэмы (Гоголь стилизует высказывание Крылова в духе упрека автору со стороны «так называемых патриотов» в одиннадцатой главе «Мертвых душ»: «Да хорошо ли выводить это на свет <...>. А что скажут иностранцы?»).

Вообще, упомянутая картина обсуждения подверглась двойной переакцентировке. Гоголю обо всем случившемся рассказал Снегирев, которому выгодно было оттенить всю сложность своего положения как автора будущего официального отзыва. В свою очередь, Гоголю в письмах его петербургским друзьям необходимо было усилить впечатление нависшей угрозы, которую следовало незамедлительно отвести (начало письма: «...Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись»).

Дальнейшая цензурная история «Мертвых душ» протекала уже в Петербурге, но Гоголь, находясь в Москве, был ее стимулятором и отчасти режиссером [см. также: Манн, 1987, с. 95 и далее]. Главную миссию при этом он возложил на В. Ф. Одоевского и А. О. Смирнову-Россет.

Посылая Одоевскому рукопись с отправляющимся в Петербург Белинским (о его посреднической роли см. ниже), он умолял: «Употребите все силы! Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее! Ради святой правды, ради Иисуса употребите все силы!» [XII, 27]. К этому письму было приложено другое, не сохранившееся, к Смирновой-Россет, которое, судя по воспоминаниям последней, продолжало и даже усиливало взятый тон: «письмо очень длинное, все исполненное слез, почти стону...» [Смирнова, 1989, с. 29]. При письме же к Смирновой находилось обращение Гоголя к императору, также не известное; но о его содержании можно заключить по воспоминаниям Александры Осиповны: «...Эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять “Ревизора” вопреки мнению его окружающих» [там же]. Примерно то же самое сообщает Плетнев в письме Я. К. Гроту от 23 января: «Смирнова показала мне письмо Гоголя: одно к ней, другое к старому цензору “Ревизора”. Последнее написано с большим чувством и полным достоинством» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 474]. Значит, в своем письме Гоголь вновь напоминал о благодетельном вмешательстве Николая I в судьбу его комедии («старый цензор “Ревизора” — это именно император), как он это уже делал пятью годами раньше, выхлопывая

себе денежное вспомоществование [см. об этом — с. 487 настоящей книги]; тот поступок, с «Ревизором», должен стать примером для нынешнего, ожидаемого — с «Мертвыми душами».

Смирнова и Плетнев решили передать гоголевское письмо великой княгине Марии Николаевне, дочери императора, «для вручения по адресу» [там же]; но, по-видимому, сделано это не было, или, во всяком случае, адресата письмо не достигло, так как предназначалось на самый крайний случай («...в случае, что не пропустят первый том “Мертвых душ”»). — [Смирнова, 1989, с. 29]). Ближайший же план действия состоял в том, чтобы подключить Михаила Юрьевича Виельгорского, который, в свою очередь, обратился к князю М. А. Дондукову-Корсакову, попечителю Петербургского учебного округа и председателю Цензурного комитета. Дондуков-Корсаков, знавший писателя еще со времени его преподавательской деятельности в университете и относившийся к «адъонкту Николаю Гоголю» вполне благожелательно («...был когда-то благосклонен ко мне». — [XII, 39]), обещал содействовать утверждению рукописи к печати.

К началу 20-х чисел это известие еще не дошло до Гоголя; зато он узнал о благожелательном отношении к «Мертвым душам» графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882), попечителя Московского учебного округа: «...Гр. Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома...» Гоголь сообщил этот факт В. Ф. Одоевскому, явно чтобы прищипорить петербуржцев, побудить их к более энергичным действиям: «Что же вы молчите? что нет никакого ответа? <...> Ради Бога не томите» [XII, 30]. Поэтому едва получив от Смирновой утешительные известия, Гоголь (27 января), так сказать, дезавуировал обещание Строганова: «...это, кажется, только слова, полагаться нельзя» [XII, 32].

Между тем Строганов действительно постарался помочь Гоголю, обратившись 29 января с письмом к шефу корпуса жандармов и начальнику III Отделения А. Х. Бенкендорфу, а через него фактически к императору с просьбой явить «высокую щедрость» «автору “Ревизора”» и «одному из наших самых известных современных писателей». Упомянув о том, что московская цензура не дала разрешение на публикацию «Мертвых душ» и что в цензуру петербургскую рукопись отправлена «по моему (то есть Строганова) совету», он завершал письмо почти трагической нотой: «В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние» [Лемке, с. 135]. И адресат письма, граф Бенкендорф воплотил это обращение в свой доклад Николаю I (датирован 2 февраля): превратив Гоголя в *Гогеля* (этой аберрации, мы помним, не избежал и император) и поставив на первое место среди его сочинений комедию «Ревизор», он конкретизировал просьбу Строганова — выдать писателю «в единовременное пособие *пятьсот рублей серебром*». Император написал на докладе «Согласен», и деньги вскоре были Гоголю высланы [там же].

Тем временем на пути рукописи наметились сложности: из письма Прокоповича Гоголь узнал, что ее собираются отдать Уварову [XII, 32]. Этот факт подтверждается более поздним сообщением Белинского М. С. Щепкину о том, что Виельгорский «хотел отвезти ее к Уварову» [Белинский, т. 12, с. 103]. Гоголя такая перспектива сильно встревожила ввиду известного отношения к нему министра народного просвещения, и в письме Плетневу от 6 февраля он формулирует свое совершенно неожиданное намерение: публикацию поэмы «до времени» отложить, рукопись возвратит автору, но перед этим собраться вместе «впятером» (то есть Смирнова, Виельгорский, Плетнев, Одоевский и еще, как сейчас говорят, задействованный Вяземский) — «и пусть каждый из вас тут же карандашом на маленьком лоскутке бумажки напишет свои замечания, отметит все погрешности и несообразности» — ради уже другого, будущего издания. [XII, 33]. Едва ли Гоголь действительно принял такое решение; скорее всего в очередной раз он попытался побудить друзей к более энергичным действиям.

И вот к 14 февраля Гоголь получил от Плетнева известие, «что рукопись пропускается» и что цензуровать ее будет А. В. Никитенко. В общем положительном решении этого цензора Гоголь не сомневался, но его тревожили возможные придирки к отдельным фразам и словам, и поэтому перед Плетневым был поставлен очередной вопрос воспитательного и побудительного свойства: «Нельзя ли на Никитенку подействовать со стороны каких-нибудь значительных людей, приободрить и пришпорить к большей смелости?» [XII, 35].

Но несмотря на новое уверение Плетнева, что с утверждением все в порядке, рукопись в Москву не возвращалась, и Гоголь решает прибегнуть к помощи сильных мира сего, направляя — «на всякий случай, если что-нибудь случится» — письма М. А. Дондукову-Корсакову и С. С. Уварову. Чтобы обратиться к Уварову, необходимо было преодолеть некий психологический рубеж: Гоголь знает, что тот недолюбливал его со времен «Ревизора», и тем настоятельнее просит войти в положение «бедного, обремененного болезнями писателя, не могшего найти себе угла и приюта в мире». Грозя судом потомства в случае, если вельможа откажет, Гоголь заключает: «Нет, вы не сделаете этого (невольная параллель к известному любовному письму из «Мертвых душ»: «Нет, я должна к тебе писать!» — Ю. М.), вы будете великодушны. У русского вельможи должна быть русская душа. Вы дадите мне решительный ответ на сие письмо, излившееся прямо из глубины моего сердца» [XII, 40]. (Снова невольно вспоминаются строки из «Мертвых душ» — о том, как «сердца граждан <...> струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику»...)

Письмо Дондукову-Корсакову несколько сдержаннее и вместе с тем душевнее — Гоголь сам объяснил, почему: это письмо «и просительное и благодарственное». Другими словами, Гоголь *знает* об оказанной Дондуковым-Корсаковым поддержке и благодарит его за это.

Однако письма Уварову и Дондукову-Корсакову, отправленные 4 марта Плетневу, не были переданы по назначению, так как в этом отпала необходимость: 9 марта А. В. Никитенко одобрил рукопись к печати. Но потом еще были волнения с непропущенной цензурой «Повестию о капитане Копейкине», написанной новой редакцией повести, новые обращения — к Плетневу, к Никитенко...

Оглядывая цензурную историю «Мертвых душ» в целом, невольно вспоминаешь слова Анненкова: «...Никогда, может быть, не употребил он (Гоголь) в дело такого количества житейской опытности, срдцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году...» Вспоминаешь и уточнение, которое делает мемуарист: «Тот, кто не имеет “Мертвых душ” для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств» [Анненков, 1983, с. 59].

Среди нужных встреч, предпринятых Гоголем в связи с устройством судьбы его книги, особое место занимает его встреча с Белинским. Именно Белинскому поручил он передать рукопись Одоевскому, а заодно и три письма: тому же Одоевскому, Смирновой-Россет и Плетневу. Кроме того, в письме к Смирновой-Россет находилось еще обращение к императору.

Свидание проходило в первых числах января в доме В. П. Боткина в Петроверигском переулке, где проездом остановился Белинский, — проходило при соблюдении строгой секретности в отношении московских друзей Гоголя. Впрочем, те вскоре разузнали, в чем дело: уже 6 февраля Вера Сергеевна Аксакова сообщала брату Ивану об этой встрече [ЛН. Т. 58. С. 612]; негодовал и Сергей Тимофеевич — «потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского...» [Воспоминания, с. 139].

Если Гоголь пошел на такой шаг скрепя сердце и под давлением обстоятельств, то для Белинского это стало большим и радостным событием. После двукратной встречи с Гоголем в Петербурге у Одоевского осенью 1839 г. Белинский всячески старался укрепить наметившийся контакт. «Поклонись от меня Гоголю, — просит от К. Аксакова 10 января 1840 г., — и скажи ему, что я так люблю его и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом» [Белинский, т. 11, с. 435]. Константин Аксаков не спешил выполнить просьбу Белинского (отношения их стали заметно портиться), и критик ищет других «посредников», в частности В. П. Боткина, познакомившегося с Гоголем в Москве в начале 1840 г.

Так что выбор дома Боткина в качестве места встречи Белинского с Гоголем в январе 1842 г. был вполне закономерен. Потом уже, из Петербурга, 14 марта Белинский просил своего друга: «Уведомь меня, ради аллаха, проводивши меня, застал ли ты у себя Гоголя и Щепки-

на?» [Белинский, т. 12, с. 83]. Значит, встреча проходила вчетвером: Белинский, Гоголь, Щепкин и Боткин.

А затем, 20 апреля, Белинский обращается с письмом к Гоголю; кстати, это единственное его письмо к писателю, не считая другого более позднего, зальцбруннского.

Письмо Белинского — и отчет о том, какова судьба рукописи «Мертвых душ», и в то же время тонкая попытка пробудить к себе расположение и симпатию Гоголя. Главный козырь критика — Пушкин, преобладающий тон — чувство собственного достоинства, сдержанного, но явного. «Я не заношусь слишком высоко, но — признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал о себе похвалы и от умных людей и — что еще лестнее — имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радует доселе и всегда будет радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников» [там же, с. 109]. За этим утверждением стоят реальные факты: Белинский мог не знать, что похвальные слова в его адрес, содержащиеся в «Письме к издателю» (Современник. 1836. Т. 3), принадлежат Пушкину; однако Белинскому было известно, что поэт прислал ему через П. В. Нащокина экземпляр своего журнала, при этом сочувственно отзывавшись о критике (непосредственным «источником», то есть информатором, для Белинского мог послужить М. С. Щепкин, общавшийся с Нащокиным). Белинский не случайно ввернул пассаж о похвале ему со стороны Пушкина, прекрасно понимая, что значит для Гоголя эта похвала. От Пушкина можно было логично перейти уже к самому Гоголю: «После этого Вы поймете, почему для меня так дорог Ваш *человеческий*, приветливый отзыв...» (курсив в оригинале). Белинский словно хочет закрепить те «приветливые отзывы», которые уже прозвучали (в частности, неизвестный нам заочный отзыв по поводу его разбора «Ревизора» в статье «Горе от ума». — [там же, т. 11, с. 496]), и заручиться новыми — на будущее. Впрочем, заручиться не только похвалой, но и делами; в письме критика легко просматривается параллель: подобно тому как *в свое время* Пушкин «тихонько от Наблюдателей», то есть сотрудников «Московского наблюдателя», включая Шевырева и Погодина, протягивал руку Белинскому, так и Гоголю следует *теперь*, отвернувшись от «Москвитянина», от «холопов знаменитого села Поречья», то есть тех же Шевырева и Погодина, обратить свое внимание к «Отечественным запискам».

Письмо было искусным и в то же время резким, требовавшим от адресата самоопределения, к чему, собственно, и стремился Белинский, но чего не очень хотелось Гоголю. Отослав Боткину копию письма, критик заметил: «...Ты увидишь, что я повернул круто — оно и лучше: к чорту ложные отношения — знай наших — и люби и уважай; а не любишь, не уважаешь, не знай совсем» [там же, т. 12, с. 105].

Прямо ответить на это письмо было затруднительно; достаточно вспомнить, что «холопами села Поречья» критик называл близких Гоголю людей. Вспомним и то, что как раз в это время в Москве бурно прореагировали на памфлет Белинского «Педант» (появившийся в мартовской книжке «Отечественных записок») с Картофелиным-Шевыревым как главным героем и «литературным циником». Погодиным как фигурой эпизодической. У Шевырева, по словам В. П. Боткина, «вытянулось лицо», «в синклите Хомякова, Киреевских и Павлова» имя Белинского упоминали «с пеною у рта и ругательствами» [Отчет за 1889 г., с. 43]. В этой обстановке Гоголь сделал максимум того, что мог — поручил Прокоповичу поблагодарить Белинского, рассчитывая также, что он передаст тому следующие слова: «Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний приезд мой чрез Петербург» [XII, 59].

Впоследствии в окружении Белинского факт обращения к нему Гоголя за помощью в связи с «Мертвыми душами» получил дополнительные смысловые обертона. Этот факт был оценен в перспективе отношений двух литераторов: обязанный в первую очередь Белинскому своим признанием, Гоголь старался об этом забыть, вспоминая критика лишь в случае практической необходимости. Отчетливее других такую точку зрения выразил П. В. Анненков в не опубликованном полностью письме А. Н. Пыпину (от 1 июня н. ст. 1874 г.) — возможно, здесь отразились и разговоры по этому поводу Анненкова с самим Белинским. Точкой отсчета является момент появления первых произведений Гоголя: «...Московские друзья <1 нрзб> относились чрезвычайно сдержанно к Гоголю в эту эпоху, опасаясь публично ошибиться в оценке его таланта и выражая ему более приватно и на ухо свои симпатии. Белинский, наоборот, проследив шаг за шагом деятельность Гоголя, открыв ему самому сильные его стороны, прямо грянул, после Ревизора, названием гениального писателя, причем указал и основную мысль его произведений. Эффект был громадный. И вышло так, что убежав из России в 1838 году (то есть в июне 1836 г.), почти со стыдом за свою деятельность, Гоголь был уже неузнаваем в 1840 г. (то есть в апреле 1841 г.), когда я опять с ним встретился в Риме. Он видел уже самого себя вполне, стоял твердо и гордо на ногах и все это благодаря незнакомому критику, к которому мало-помалу стали присоединяться и осторожные московские друзья Гоголя, отрицая однако ж заслугу первого оценщика и игнорируя его. К удивлению и Гоголь позабыл о нем, вспомнив только гораздо позднее, при издании 1-го тома Мертвых Душ, когда опять критик сделался нужен» [ОР ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 3. № 106. Л. 1 об, 2; подчеркнуто в оригинале]. Это, конечно, не совсем точно, если вспомнить ряд в высшей степени похвальных оценок и характеристик Гоголя со стороны «московских друзей», и не только «приватных», но и в печати (М. П. Погодин,

С. П. Шевырев и др.). Но верно то, что до появления «Мертвых душ», до 1842 г., никто не давал таких подробных, аргументированных и страстных разборов гоголевских творений, как Белинский в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) и «Горе от ума» (1840); так что в утверждении авторитета Гоголя в общественном и литературном мнении заслуга Белинского была первостепенной. Верно и то, что «московские друзья» старались вытеснить Белинского из сознания Гоголя, да и сам писатель был к этому склонен. Как вспоминает Анненков в другом месте, «в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме), о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону» [Анненков, 1983, с. 163].

Пока в цензуре решалась судьба «Мертвых душ», Гоголь занялся «Римом», начальную редакцию которого он читал в Петербурге и Москве во время первого приезда из-за границы. Писатель решил уступить настойчивым просьбам Погодина и передать повесть в его журнал «Москвитянин», но перед этим, по своему обыкновению, проверить ее на слушателях. Первое чтение состоялось у Аксаковых, в начале февраля [Воспоминания, с. 144]. Следующее — на одном из литературных четвергов у князя Дмитрия Владимировича Голицына (1771–1844), возможно 12 февраля¹²².

Эту встречу устроили Шевырев и Погодин, выполняя пожелание Голицына; Гоголь же долго не соглашался, видимо, просто стесняясь незнакомого ему важного человека — московского генерал-губернатора, члена Государственного совета и генерал-адъютанта. По воспоминаниям присутствовавшего на встрече М. А. Дмитриева, Гоголь побывал у Голицына дважды. В первый раз, «не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустив их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок». Во второй раз состоялось само чтение, по словам того же мемуариста, не очень удачное; гости истыкивали «скуку», «но вытерпели и похвалили» [ЛН. Т. 58. С. 614]. С. Т. Аксаков рисует примерно сходную картину: «...Чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей» [Воспоминания, с. 144]. «Благодарная память» отзывалась и в более позднем отклике Шевырева, усиленном еще жанром его сочинения (это некролог Голицына): «Давно ли, кажется, Гоголь читал у него в кабинете свой “Рим”? Давно ли мы все сидели тут кругом в живом общении мысли и слова?» [М. 1844. № 5. С. 161].

Примерно в то же время Гоголь вносит последнюю правку в другую повесть, «Портрет», переработанную еще в «Риме» (17 марта рукопись отсылается в Петербург Плетневу для публикации в «Современнике»). Но главная его забота в первые весенние месяцы — «Мертвые души»: окончательная шлифовка, написание новой редакции «Повести о капитане Копейкине» взамен запрещенной цензурой, чтение корректур; исподволь обдумывалось и продолжение — о первом томе писатель сообщал Плетневу: «Это больше ничего как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится» [XII, 46].

Работа растянулась до мая; 1-го числа в кабинете С. Т. Аксакова Гоголь, читая корректуру, «не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз» [Воспоминания, с. 147]. Но все же уже виден был конец, и Гоголь мог позволить себе развлечься и рассеяться.

В тот же день к вечеру он поехал в Сокольники «на гулянье», где его уже ждали Шевырев и Свербеевы.

Через день-два — Гоголь на вечере у Хомяковых вместе с сестрой Лизой, проживавшей в Москве у П. И. Раевской. Была Вера Сергеевна и другие члены аксаковского семейства.

На следующий день Гоголь принимал гостей в погодинском саду. Присутствовали, помимо Погодиных и сестры Лизы, Ольга Семеновна Аксакова с Верой Сергеевной, Екатерина Александровна Свербеева, Авдотья Петровна Елагина. В роли хозяина Гоголь, по мнению Веры Сергеевны, был очень любезен, но неловок; не нашел ничего лучшего, как рассказывать о методе водолечения врача из Греффенберга Винченца Присница, пациентом которого он вскоре сделался; или же делать предположения в духе Афанасия Ивановича: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы зашел» и т. д. [ЛН. Т. 58. С. 620].

Утром 9 мая к самым именинам Николая Васильевича приехали из Васильевки его мать и сестра Анна, чтобы попрощаться с ним и забрать Лизу [Шенрок, т. 4, с. 125]. На именной обед, который по традиции был дан в доме Погодиных, съехалось много гостей, в основном из славянофильского круга или близкие к нему: И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, Д. Н. Свербеев, А. П. Елагина, М. Н. Загоскин; был и Сергей Тимофеевич Аксаков с сыновьями Константином и Григорием. Присутствовали и люди западных убеждений — давний друг Гоголя по нежинской Гимназии высших наук П. Г. Редкин и Т. Н. Грановский, оба — преподаватели Московского университета.

Среди гостей находились Н. Ф. Павлов, чье ревнивое чувство к таланту Гоголя стало притчей во языцех; московский старожил, отставной военный П. В. Нащокин, у которого сложились дружеские отношения с Гоголем еще с 1839 г., если не раньше; профессор судебной медицины А. О. Армфельдт; начальник Московского корпуса

жандармов генерал С. В. Перфильев, по словам С. Т. Аксакова, «особенный почитатель Гоголя». Пригласили и молодого ориенталиста Василия Васильевича Григорьева, окончившего Петербургский университет в тот год (1834), когда Гоголь поступил сюда в качестве адъюнкт-профессора; с 1838 г. Григорьев работал профессором восточных языков Ришельевского лицея в Одессе и в Москве оказался проездом.

Ненадолго, верхом, как говорили, «амазонками», приехали поздравить именинника Екатерина Михайловна Хомякова и Елизавета Григорьевна Черткова.

Марья Ивановна с обеими дочерьми, Елизаветой и Анной, оставались с хозяйкой дома, а мужчины расположились на обед в саду.

Погода стояла прекрасная, было весело, Гоголь много острил, не в пример удачнее, чем несколькими днями раньше. Когда во время приготовления жженки горящее пламя рома и шампанского обхватило куски сахара, Гоголь заметил, что «это Бенкендорф, который должен привести в порядок сытые желудки». Аналогия голубого пламени и голубых жандармских мундиров, по словам С. Т. Аксакова, «возбудила громкий смех». «Не помню, — добавляет мемуарист, — «тут ли был Перфильев» [Воспоминания, с. 149]. Перфильев, напомним, имел чин жандармского генерала...

Гоголь тоже остался доволен именинным праздником. «Я хорошо провел день сей, и не может быть иначе: с каждым годом торжественней и торжественней он для меня становится» (из письма Прокоповичу, 15 мая 1842. — [XII, 59]).

К периоду пребывания Гоголя в Москве в 1841–1842 гг. относится и встреча его с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Скорее всего — не единственная: по словам Тургенева, он «раза два встретил его у Авдотьи Петровны Елагиной».

Строго говоря, увиделись они много раньше, в 1835 г., в Петербургском университете. Но если Тургенев вместе с другими студентами с великим любопытством взирал на знаменитого писателя и не очень успешного адъюнкт-профессора, то последний едва ли проявил к молодому человеку сколько-нибудь заметного интереса. К 1841 г. за плечами Тургенева были уже словесное отделение Петербургского университета, продолжение учения в Берлине, несколько лет литературной работы. Но едва ли и на этот раз Тургенев обратил на себя внимание Гоголя, несмотря на то, что тот публиковался в читаемом им журнале «Современник»: это были еще вполне подражательные, как сегодня говорят, проходные стихотворения. Тургенев же, понятно, во все глаза смотрел на знаменитого писателя, который виделся ему «в то время <...> приземистым и плотным малороссом» [Тургенев И., т. 14, с. 64].

Очевидно, к нынешнему приезду Гоголя в Москву относится и его встреча с Живокини. Этот эпизод фактически еще не нашел отра-

жения в гоголевском жизнеописании, а между тем он важен уже потому, что Василий Игнатьевич Живокини (1807–1874) был замечательным, если не великим, комическим актером. По свидетельству современников, он мог рассмешить до слез своей неподражаемо подвижной мимикой и уморительно растянутыми носовыми интонациями. «Это было такое олицетворение смеха, что один из его поклонников рассказывал <...>, что однажды он не мог молиться в церкви, потому что увидел около себя Живокини» [Коропчевский, с. 6].

Как вспоминал Живокини, Гоголь хотел, чтобы тот сыграл Хлестакова, и в связи с этим М. С. Щепкин однажды привез актера в погодинский дом на Девичьем поле. «...Тут же захватил он с собою братьев Горшковых, очень похожих друг на друга, которых Гоголь прочил для Бобчинского и Добчинского. Он сам читал нам “Ревизора” и читал так прекрасно, что я просто испугался трудности роли Хлестакова и отказался» [Живокини, с. 29–30]. Свидетельство актера косвенно подтверждается гоголевским письмом Щепкину, отправленным уже по отъезде из Москвы и датированном 3 декабря 1842 г.: «Да, если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня выпросил на бенефис себе Ревизора и <...> объявил бы только, что <...> роль Хлестакова будет играть сам бенефициант — да у него битком бы набилось наро<ду> в театр» [XII, 130]. Гоголь словно продолжает тему их разговора, сетуя, что Живокини не проявил необходимого благоразумия и не взял роль Хлестакова.

И позднее, 24 октября н. ст. 1846 г., в связи с намечаемым бенефисом Щепкина, Гоголь писал последнему: «Хлестакова должен играть Живокини» [XIII, 117]. Эти слова должны быть оценены в контексте того значения, которое придавал Гоголь этой роли, и тех требований, которые предъявлял он к ее исполнителям. Актеры, которых он видел до той поры, его глубоко разочаровали — Н. О. Дюр в Петербурге и И. В. Самарин в Москве. В сущности, это было *первое* выражение авторской воли в отношении исполнителя Хлестакова, не осуществившейся потому, что Живокини так и не смог решиться. Его робость перед этой ролью носила стойкий характер, о чем свидетельствует следующее место из воспоминаний актера: «Потом, когда в 43 г. Гоголь переставил на нашей сцене “Ревизора”, он опять хотел оставить за мной Хлестакова, но и тут отказался...» [Живокини, с. 29–30]¹²³.

...Далеко не все встречи Гоголя с теми, кто хотел его видеть или случайно сталкивался с ним, проходили гладко и непринужденно. Гоголю всегда было свойственно сторониться незнакомых, а иногда и знакомых людей. В этот же приезд в Москву таких случаев, таких «невстреч» было особенно много.

Однажды к Аксаковым пришел старый друг семьи Дмитрий Максимович Княжевич (1788–1844), видный чиновник, попечитель Одесского учебного округа. Он хотел увидеть Гоголя, имея на то и некото-

рые личные мотивы: по словам Сергея Тимофеевича, Княжевич «был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя». Это могло быть как раз перед нынешним приездом писателя на родину: в 1841 г. Княжевич, вместе с Надеждиным (см. об этом с. 592), совершил большое путешествие по западно-европейским странам, включая Италию.

Однако едва послышался в прихожей голос Княжевича, как Гоголь юркнул в кабинет Сергея Тимофеевича, а затем убежал из дома. На следующий день повторилась почти такая же история. Хозяин готов был уже вызвать Гоголя на решительное объяснение, как при новом, третьем визите Княжевича все изменилось: писатель «протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не выдавшихся давно друг с другом...» [Воспоминания, с. 141–142]. «Покорнейше прошу объяснить такую странность!» — заключает Аксаков¹²⁴.

(Быть может, однако, эта «странность» объясняется дошедшими до Гоголя неодобрительными высказываниями Княжевича, особенно после выхода «Мертвых душ». Хорошо знавший Княжевича Николай Никифорович Мурзакевич — впоследствии он встречался и с Гоголем — вспоминал: «Странная черта замечалась в покойном (то есть Княжевиче): быв крайне снисходителен ко всем литераторам, он не мог спокойно слышать и говорить о Гоголе и его “Мертвых душах”» [Мурзакевич, с. 167]. Этим, очевидно, объясняется и характерная оговорка С. Т. Аксакова: рассказывая о благожелательном отношении Княжевича к творчеству Гоголя, мемуарист уточняет: «...по крайней мере до издания “Мертвых душ”» [Воспоминания, с. 141]).

Своеобразно обошелся Гоголь и с Андреем Ивановичем Дельвигом, двоюродным братом поэта, знакомым ему еще по первым годам петербургской жизни [см.: Книга 1, с. 219 и след.]. Согласно А. И. Дельвигу, он встретился с Гоголем у московского сапожника Таке — писатель «очень хлопотал» о красиво сшитых сапогах, выказывая ту же страсть, что «приехавший из Рязани поручик» в конце седьмой главы «Мертвых душ»; и затем еще встретился с Гоголем в Английском клубе, где они сидели на одном диване. «Не узнал ли он меня или не хотел узнать, но мы не говорили друг с другом как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве» [Дельвиг, с. 198].

Гоголь умел не замечать людей, даже если это были «значительные лица». Как-то он зашел к коллекционеру Константину Александровичу Булгакову (1812–1862), сыну известного в Москве человека, почт-директора Александра Яковлевича Булгакова. А на диване в это время «сидел какой-то важный генерал и к тому же очень шепетильный». «Я заметил, — рассказывал Булгаков, — что Гоголь, не видя этого петуха, осенял его своим длинным носом, и стал их представлять <...>. Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровев-

шего от неслыханного *sans fagon* (бесцеремонного) обращения, и как они оба в унисон промышляли что-то вместо приветствия» [Соколов, с. 134–135].

Не проявил Гоголь необходимого почтения и к П. Я. Чаадаеву, одну из сред которого он посетил по настоянию друзей — по словам Д. Н. Свербеева, это случилось еще до появления «Мертвых душ»: «Долго он на это не решался, сколько ни упрасивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения...» [Свербеев, т. 2, с. 405–406].

У этого эпизода есть своя предыстория, которая сводится к непростым отношениям двух писателей. Если можно так сказать, инициатива неприязни исходила от Чаадаева, который еще в 1837 г. в «Апологии сумасшедшего» проводил параллель между своими «Философическими письмами» и гоголевским «Ревизором»: «...Капризы нашей публики удивительны. Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи <...> на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязь, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани и однако никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патристическое чувство, которое его гнетет?» [Чаадаев, с. 155–156; подлинник на фр. яз.].

Легко заметить, что в чаадаевских размышлениях «слышится оскорбленное чувство» [Веселовский А., с. 251], и обуславливалось оно, это «чувство», рядом совпадений. Оба произведения появились почти одновременно (у Чаадаева — мелкая неточность: «Ревизор» предшествовал первому «Философическому письму», а не наоборот); оба произвели сильнейший эффект, — но какой же неодинаковый по характеру и последствиям! «Ревизор» имел шумный успех, вызвал интерес и восхищение если не большинства, то очень многих (мы уже знаем, что сам Гоголь преувеличивал негативную реакцию), а «Философическое письмо» — почти всеобщее неодобрение и даже негодование (голоса таких, как Герцен, были единичными, к тому же они не всегда доходили до Чаадаева). В результате сочинитель «Ревизора» вошел в еще большую славу, а на автора «Философического письма» обрушилась жестокая кара, причем в обоих случаях при прямом участии императора. И это притом, что одно произведение — плод долговременного и пытливого анализа, основанного на глубочайших знаниях, на огром-

ной начитанности, а другое (с точки зрения Чаадаева) — грубое пересмеивание и фарс. Тут, конечно, сказалась и эстетическая предубежденность Чаадаева против самой гоголевской художественной манеры, природы его комизма или, во всяком случае, убеждение в том, что в иерархии духовных ценностей истинное философское сочинение выше комедии. И хотя «Апология сумасшедшего» появилась значительно позже (в 1862 г.), выраженные в ней взгляды не оставались тайной для современников, в том числе, возможно, для Гоголя.

В период пребывания Гоголя в Москве, как в первый его приезд (в 1839–1840 гг.), так и во второй (в 1841–1842 гг.), атмосфера вокруг Чаадаева была достаточно спокойной. Волна первого возбуждения, когда звучали обвинения в предательстве и иные московские студенты готовы были вызвать обидчика на дуэль, уже прошла, а до новых аналогичных обвинений, прозвучавших в памфлетах Языкова, еще не дошло (об этом речь впереди). Вскоре о былом скандале напомним маркиз Кюстин в запрещенной в России книге «La Russie en 1839» (1843), но это лишь будет содействовать популярности автора «Философических писем». Чаадаев уже не находился в положении человека, подвергнутого ostracismu, — кстати, и от домашнего ареста он официально был освобожден стараниями московского генерал-губернатора Д. В. Голицына. Словом, в старой столице Чаадаев стал модной фигурой, родом достопримечательности; «вся интеллигентная Москва, мужчины и женщины ездил к нему в гости...» [*Стасов В. В. Петр Яковлевич Чаадаев // РС. 1908. Февраль. С. 278*]. Поэтому и Гоголя к нему привели, правда, не сразу, но, по-видимому, преодолевая его сопротивление («долго он на это не решался...»). Как бы то ни было, но, очевидно, внезапно напавшая на Гоголя сонливость во время визита была «дипломатической» мерой, направленной на то, чтобы избежать разговора и углубления контактов. Следует, правда, заметить, что к ссоре, к разрыву отношений это не привело: дневник А. И. Тургенева за 1840 г. фиксирует два случая посещения Гоголем дома Чаадаева — 16 февраля и 13 мая [Гиллельсон, 1963, с. 139, 140].

Однако спустя некоторое время, по выходе «Мертвых душ», противостояние Чаадаева Гоголю обозначилось резче. В Москве уже хорошо знали, что на только что вышедшую книгу «Чаадаев жарко нападает» (слова К. Аксакова), публичное же сражение произошло 27 мая 1842 г. — это был день рождения Чаадаева и к тому же среда, когда обычно на Басманную стекались гости.

«Спор был жаркий»; за Гоголя выступили Хомяков, Свербеева и — заочно Константин Аксаков (он не смог прийти, но попросил Свербееву передать его мнение), а против — М. А. Дмитриев и Чаадаев, причем последний заявил Свербеевой, что «это род опьянения»: «Vous êtes ivre-morte» (Вы мертвецки пьяны) [ЛН. Т. 58. С. 624]. Как это напоминает его реакцию на «Ревизора» и сетование на то, что масса зрителей оказалась жертвой бездумного ослепления! Существовал еще один фактор,

усугублявший негативное отношение Чаадаева к «Мертвым душам», — намечающееся противостояние славянофильству, влияние которого, по его мнению, захватило и Гоголя. Впрочем, во весь рост эта проблема встанет перед Чаадаевым в связи с появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями», о чем мы будем говорить в своем месте.

Итак, в спорах о Гоголе Чаадаев оказался по одну сторону с Дмитриевым — на этом обстоятельстве тоже следует остановиться.

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866), племянник знаменитого Ивана Дмитриева, получивший по этой причине язвительное прозвище «Лже-Дмитриев», был лично знаком с Гоголем. 9 мая 1840 г. он — среди гостей на именинном обеде в погодинском саду. В свою очередь, Гоголь бывал у Дмитриева по пятницам. Согласно С. Т. Аксакову, встречи эти проходили скучно, сам же Дмитриев «никогда вполне не понимал Гоголя» [Воспоминания, с. 147]. Вполне возможно, но его антигоголевские эмоции не сводились к тривиальному отрицанию и имели, так сказать, философскую подкладку.

В свое время Дмитриев был близок к надеждинскому «Телескопу», проявлял интерес к шеллингианству. И вместе с тем он не был чужд юмору; еще в бытность студентом Московского университета, в параллель «Арзамасу» основал «Общество громкого смеха»; писал сатиры по мотивам баллад Жуковского, которые нравились самому Жуковскому; да и Гоголь впоследствии отозвался о них похвально — он отметил «талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием» [VIII, 347].

В печати свое отношение к «Мертвым душам» Дмитриев прояснил несколько позже, противопоставив поэму прежним произведениям Гоголя. В «Майской ночи», «Тарасе Бульбе», «Повести о том, как поссорился...» писатель «не был копиистом». «Напротив (да простят мне и Гоголь, которого люблю, и его прежние поклонники, которых не люблю) — в повести “Мертвые души”, в которых он слишком близко захотел подойти к действительному миру (хотя и не подошел к нему) — я не вижу художника, потому что не вижу целостности идеи в жизни, им изображаемой! Если возразят мне, что его роман не кончен: я буду отвечать, что я говорю не о целостности содержания, а о целостности художественной идеи, об идеи жизни, об идее тех лиц, которых он изображает» [М. 1848. № 9. Отд. критики. С. 21].

При всем различии подходов Дмитриева и Чаадаева общее у них в том, что обоим не хватает в «Мертвых душах» значительности мысли, «целости художественной идеи», философичности. Не в первый раз доводилось Гоголю слышать подобные обвинения....

Гоголь сознавал, что в это свое посещение Москвы он держится скованнее, чем обычно. «Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь было говорить ни о чем <...>. Меня все тяготит: и

здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом» [XII, 34]. Тягостное настроение писателя выразилось и в том, что он не мог осуществить давнюю мечту московских актеров — самому прочитать им «Ревизора» [см.: XIII, 162]. По-видимому, упомянутое выше чтение для Живокіни было не в счет: присутствовало всего четыре человека, да и прочел Гоголь, возможно, лишь отдельные сцены.

Охотнее, чем в других домах, бывал Гоголь у Хомяковых («...Я их люблю, у них я отдыхаю душой»); и тем не менее современники свидетельствуют, что и здесь он легко раздражался и «капризничал невероятно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли налить ему по вкусу <...>. Присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатностью гостя» (слова П. И. Бартенева, записанные В. И. Шенроком. — [Шенрок, т. 4, с. 757]).

Особенное терпение в подходе к Гоголю проявляла хозяйка хомяковского дома Елизавета Михайловна, тем более что в настрое обоих наметилось нечто общее: писатель уклонялся от шумных дискуссий и споров, от которых и она уставала. «Гоголь третьего дня приходил обедать к нам, — сообщала она Н. М. Языкову 1 апреля 1842 г. — Я очень люблю его: он не так глубок, как другие, и поэтому с ним гораздо веселее <...>. Он все не хорошо себя чувствует: у него пухнут ноги. Крепко собирается к вам и говорит, что будет счастлив, когда сядет в карету и уедет из Москвы» [Хомяков, т. 8, с. 106–107].

«Уехать из Москвы» означало еще «уехать от Погодина» — находиться под его кровом Гоголю становилось все труднее и труднее. На былые трения, взаимное неудовольствие, проявившиеся двумя годами раньше в Мариенбаде, наслаились новые, вызванные стремлением привлечь Гоголя к участию в «Москвитянине».

Эту мысль Погодин вынашивал еще до возвращения Гоголя в Москву; 2 февраля 1841 г., после посещения аксаковского дома, он записал в дневнике: «Толковали о журнале, о Гоголе, его характере и выходках. Решил написать письмо: “Разоряюсь, выручай”. Как бы было хорошо, если б теперь поддержать впечатление эффектными статьями» [Барсуков, кн. 6, с. 229]. Побуждаемый Погодиным Сергей Тимофеевич тоже обратился к Гоголю с соответствующей просьбой; письмо это не сохранилось, но о его действии можно судить по гоголевскому ответному письму от 1(13) марта 1841 г.: «Боже! Если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, — какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для меня уже беда» [XI, 332].

А потом череда просьб и отказов продолжилась уже в Москве. Погодин: «Я устраиваю теперь вторую книжку. Будет ли от тебя что

для нее?» Гоголь: «Ничего». Погодин: «...Гордость сидит в тебе бесконечная!» Гоголь: «Бог с тобою и твоей гордостью. Не беспокой меня в течение двух недель по крайней мере. Дай отдохновенье душе моей!» [Переписка, т. 1, с. 385–386]. Своеобразная дуэль на записках, которыми обмениваются люди, живущие бок о бок!

Гоголь передал в журнал повесть «Рим»; но Погодин претендовал на большее: он предложил «вместо объявления о выходе Мертв<ых> душ поместить одну главу или две в нумере Москвитянина, который тогда выходил». Это вызвало у Гоголя чуть ли не приступ отчаяния. «... Ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен <...>. Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей час же отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помешать до времени моих произведений» [XII, 598, 56–57].

Всегда ли Погодин был не прав? О. М. Бодянский записал рассказ Кулиша, которому, в свою очередь, эту историю поведал Щепкин. Мол, публикуя в «Москвитяnine» «Рим», Гоголь «по условию выговорил себе у Погодина 20-ть оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, свалив всю вину на типографию» [Воспоминания, с. 433]. Но 14 марта 1842 г. Погодин действительно получил известие из типографии, что «Рим» «еще не отпечатан, потому что нет формата, да и некому печатать» [XII, 594]. В ответ на такое известие последовала записка Гоголя Погодину: «Ради Бога, пусть отпечатают во что бы то ни было. Что за несчастье такое!» И — пояснение Погодина на той же записке: «Да ведь они пишут только, что нынче не будет готово, а завтра-то непременно». И — реакция Гоголя: «Хорошо» [XII, 44]. Речь идет, конечно, об упоминавшихся оттисках, а не о самой повести «Рим»: с чего бы Гоголю переживать по поводу напечатания последнего — эта была забота самого издателя «Москвитянина». И как видим, задержка действительно имела место в типографии, Погодин не «сваливал» на нее свою вину.

Окружающие, в том числе С. Т. Аксаков и Щепкин, почти единодушно порицали Погодина, обвиняя его в черствости и корыстолюбии. Между тем это как раз тот случай, когда биограф не должен склоняться к безоговорочному осуждению одного и оправданию другого, видя всю сложность обстоятельств. Погодин, человек не богатый, живший литературным трудом, действительно много сделал для Гоголя, делил с ним, по его выражению, «последние свои крохи, не думая, не зная о возвращении» [Переписка, т. 1, с. 436]. И ему казалось, что тот может и должен поддержать его; в поведении писателя он «начал подозревать эгоизм» [ЛН. Т. 58. С. 794]. Гоголь же считал подобные просьбы бестактными, грубыми, жестокими именно потому, что зависел от Погодина, пользовался его гостеприимством.

Наверное, С. Т. Аксаков так бы не поступил; в связи с подобными притязаниями Погодина он как-то заметил ему: «Чем более мне обя-

зан человек, тем менее я позволю себе без его воли распоряжаться его собственностью, хотя бы это было — безвредно для него, а только выгодно для меня» [Барсуков, т. 6, с. 230]. Но то был Сергей Тимофеевич с его деликатностью и самоотверженностью. Погодин этим высоким требованиям не отвечал.

При этом вовсе не все для Погодина сводилось к поддержке чисто материальной, денежной; ссылка на его корыстолюбие слишком неточна («...Вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком...» — фраза, будто бы сказанная Гоголем. — [Воспоминания, с. 433]). В участии Гоголя Погодин видел знак литературной солидарности, даже простого человеческого уважения и, наоборот, в отсутствии этого участия — знак непризнания и неуважения как перед друзьями, так и перед недругами, которых у издателя «Москвитянина» было немало. «Все говорят: “Он живет у него, связан с ним, называет своим другом, а между тем не принимает никакого участия в его труде, значит, что не одобряет его или просто надует”» [Переписка, т. 1, с. 436]. Погодин совершенно искренне полагал, что Гоголю не стоит особого труда оказать «другу» такую поддержку: ведь «Рафаэли и Корреджи (припоминаю тогдашнее сравнение) могли отрываться от своих мадонн и оказывать в антрактах мелкие услуги своим друзьям» [там же, с. 435]. Почему же Гоголь не может оторваться от своих «Мертвых душ»?

Для Гоголя же такое «сравнение» звучало кощунственно. Да, он, конечно, мог «оторваться» от «святого своего труда», но только по внутреннему порыву и убеждению (так он обращался к драме из украинской истории), а не по принуждению, не под давлением со стороны. Он не любил писать или даже дорабатывать свои произведения в спешке, к определенному сроку. Существовал и другой мотив: произведение, частично опубликованное, утрачивало прелесть полной новизны, и это могло отразиться на его коммерческом успехе, к чему Гоголь вовсе не был равнодушен. Наконец, существовала еще одна причина, которую писатель приоткрыл позднее.

В последний приезд в Россию, говорит он, «литературные приятели» встретили его «с распростертыми объятиями». «Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой *идее* и встречая в других противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, которого ждут евреи, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи...»; между тем он, Гоголь, «не вполне разделял их», то есть эти идеи [XII, 435; курсив в оригинале]. Следует напомнить, что, помимо «Рима», годом раньше Гоголь уже опубликовал в «Москвитянине» фрагменты из «Ревизора» (начало IV действия в новой редакции, сцену «Хлестаков и Растаковский» из черновой редакции), а также «Отрывок из письма, писанного автором...». Помещение в журнале Погодина еще одного текста произвело бы впечатление явной чрезмерности, тем более что этим текстом были бы главы из поэмы «Мертвые души»,

которой Гоголь придавал программный смысл. Он вовсе не хотел, чтобы его творчество воспринималось исключительно в русле «Москвитянина», как и любого другого журнала.

К концу московской жизни Гоголя его отношения с Погодиным настолько испортились, что на упомянутом именинном обеде 9 мая (проходившем в доме Погодина!) они почти не разговаривали друг с другом. Тем не менее ни тот ни другой не хотели разрыва, и покидая Россию, Гоголь отправляет из Петербурга письмо Елизавете Васильевне Погодиной с просьбой передать ее мужу «душевное и сердечное объятие» и сказать, «что кто один раз вошел в мою душу <...>, тот уже останется вечно там, и нет человеческих сил, властных его оттуда исторгнуть» [XII, 66].

Последние дни пребывания Гоголя в Москве прошли, так сказать, под знаком появившихся «Мертвых душ», благо это событие совпало с чередой именин. 20 мая Гоголь дарит книгу имениннику А. С. Хомякову, 21 мая — имениннику Константину Аксакову; одновременно другой экземпляр был вручен, как гласит надпись, — «Друзьям моим, целой семье Аксаковых» [Воспоминания, с. 149]. Тремя днями раньше (18-го) Гоголь посылает «Мертвые души» Петру Михайловичу Языкову, брату поэта.

Празднование именин Константина в саду аксаковского дома превратилось в прощальный обед с Гоголем. Было довольно много народа, пришли Шевырев и Погодин. Писатель подтвердил свое слово, «что через два года будет готов второй том “Мертвых душ”, но приехать для его напечатанья уже не обещал» [Воспоминания, с. 150].

Чуть позже Гоголь передает матери, собиравшейся на Украину, еще два экземпляра поэмы, один для М. А. Максимовича, другой — для Иннокентия. С именем последнего связан важный шаг Гоголя.

Он давно уже подумывал о паломничестве в Святую землю, но решил держать это намерение в тайне, пока не получит благословение авторитетного лица. И вот в начале 1842 г. такая возможность представилась: в Москву приехал знаменитый богослов и церковный деятель Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов, 1800—1857), одно время (1830—1841) ректор Киевской духовной академии, с 1841 г. глава Харьковской епархии (в 1845 г. он стал ее архиепископом). Беседа с Иннокентием и данное им благословение имели на Гоголя такое сильное действие, что Сергей Тимофеевич тотчас же подметил перемену. «Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал».

Объявленное Гоголем решение о паломничестве Аксаков не одобрил. «Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно опасным в Гоголе как в художнике...» [Воспоминания, с. 146]. Примерно с этого момента Сергей Тимофеевич стал осторожнее оцени-

вать ту «благодатную перемену» [ЛН. Т. 58. С. 606], которую он приветствовал в возвратившемся из-за границы Гоголе.

Зато полное одобрение встретило гоголевское решение со стороны Н. Н. Шереметевой. Писатель, как мы помним, познакомился с нею еще двумя годами раньше, но теперь, «когда весть о благочестивом желании нового знакомого дошла до Шереметевой, набожная старушка, посвятившая всю жизнь молитве и добрым делам, сразу полюбила Гоголя, как сына...» [Шенрок, т. 4, с. 127].

Отъезд Гоголя из Москвы был назначен на 23 мая из дома Аксаковых. Утром приехала проститься Шереметева, но вскоре ушла, чтобы дать Гоголю возможность попрощаться с матерью и сестрами. Затем Гоголь, Сергей Тимофеевич с сыновьями Константином и Григорием в четырехместной коляске отправились в Химки, куда уже выехал ранее М. С. Щепкин со старшим сыном Дмитрием.

По дороге, у Тверской заставы, вновь встретились с Шереметевой, ехавшей в своих дрожках. Остановились, и Шереметева благословила и перекрестила Гоголя.

В Химках пообедали и стали ждать дилижанса, в котором Гоголю предстояло ехать до Петербурга.

Тут Гоголь поступил в характерном для себя стиле. Чтобы не предъявлять паспорта и избежать лишних хлопот, он объявил солдату у шлагбаума, что едет всего лишь на дачу и сегодня же возвратится. Константина, не способного ни к какой лжи и притворству, эти слова повергли в смущение, а «Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость*, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения...». А затем Гоголь вновь, как когда-то с неким Васильевым и Пейкером, прибегнул к мистификации. «Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется, немецкой <...>. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будет справляться с паспортом» [Воспоминания, с. 151, 152; курсив в оригинале].

Провожавшие заметили, что настроение Гоголя резко улучшилось. Сергей Тимофеевич: «Гоголь внутренне был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость» [там же, с. 151]. Константин: «Поехал он необыкновенно ясен, почти с торжественным видом» [ЛН. Т. 58. С. 622]. Но Аксаковы не разделяли этой радости, они испытывали разочарование, ощущая себя несколько обманутыми.

В самом деле: по возвращении из-за границы Гоголь показался повзрослевшим. Одно из проявлений нового состояния — обещание никогда уже не покидать Россию и поселиться не где-нибудь, не в Петербурге, «столице, с именем чужим», а в средоточии русской народности, Москве. Заверения его на этот счет были совершенно определенные. «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму

вас к моей русской груди» [XI, 331]. Перед приездом, в Ганау, он уже обсуждал с Н. М. Языковым перспективу совместного проживания в старой столице, и об этих планах знали москвичи. И Языков, благословляя из Ганау гоголевский «возврат из этой нехристи немецкой на Русь, к святыне московрецей», прибавлял:

Ты, слава Богу, счастлив, брат:
Ты дома, ты уже устроил
Себе привольное житье...

Увы, и на этот раз московское пристанище Гоголя оказалось временным.

* * *

Около 26 мая Гоголь приехал в Петербург и остановился у Прокоповича, в доме на 9-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами [ЛН. Т. 58. С. 622]¹²⁵.

В эти две недели петербургской жизни Гоголь нанес массу визитов и имел множество встреч. 27-го был у Ф. А. Моллера, так же как и Гоголь, собиравшегося в Италию [там же, с. 622]. Потом посетил Карташевских [там же, с. 626]; по всей вероятности, виделся с Иваном Аксаковым, передав ему экземпляр «Мертвых душ»; был у Балабиных, заметив между прочим, что его давняя ученица и приятельница Марии Петровны «сильней развилась и глубже чувствует, чем когда-либо прежде» [XII, 114]. Возможно, встречался и с Никитенко, о чем свидетельствует помета в гоголевской записной книжке [см.: IX, 570] — это было особенно важно в связи с предстоящим прохождением Собрания сочинений через цензуру.

Был Гоголь и у Вяземского, где читал «отрывки из напечатанных “Мертвых душ” и особенно хорош выходил в его чтении разговор двух дам» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]. Встреча Гоголя с Вяземским подтверждается письмом последнего к Наталье Николаевне Пушкиной (8 июня 1842 г.): «Здесь был Гоголь, привез нам свои “Мертвые души”, первый том <...>. Он в нынешний приезд был очень мил и весел» [ЛН. Т. 58. С. 622].

Несколько раз бывал и у Смирновой, сблизился с ее братом Аркадием Осиповичем Россет (1812–1881), воспитанником Пажеского корпуса, штабс-капитаном (с 1838 г.).

Однажды Гоголь вызвался прочитать у Смирновой «Женитьбу» — переработанный текст комедии он готовил для своих Сочинений и решил проверить ее действие. Круг слушателей был строго отобран «по назначению» самого Гоголя: Вяземский, Плетнев, сыновья Н. М. Карамзина, Андрей и Владимир, Аркадий Россет. Но неожиданно пришел еще кн. Михаил Александрович Голицын (1804–1860), многие годы проживший за границей. Его появление смутило хозяй-

ку: известно, что Гоголь чуждался малознакомых ему людей. «К счастью, Гоголь не обратил на помеху никакого внимания и продолжал чтение. После чтения все его благодарили и в особенности кн. Г<олицы>н, который сознавался, что никогда не испытывал такого удовольствия» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]¹²⁶.

Плетнев слушал в чтении Гоголя не только «Женитьбу», но и «Мертвые души» и сообщил о своих впечатлениях Жуковскому в Дюссельдорф (5 июня): «Это без сомнения лучшее из всего, что только есть в нашей литературе. Сколько комизму, разнообразного, схваченного живьем в натуре и переданного со всею яркостью красок! Особенно это поражает всякого, когда он сам читает» [Плетнев, с. 539].

Встречаясь с Гоголем, Плетнев начинал разговор и о сотрудничестве его в «Современнике», однако тот уходил от этой темы. По позднейшему замечанию Гоголя, он «избегал всякого литературного разговора с ним в бытность мою в Петербурге» [XII, 438], ибо не хотел полностью солидаризироваться с линией журнала. В письме же к Плетневу, известном под названием «О Современнике» (1846), Гоголь дал понять, что считает неуместным даже объяснения по этому поводу: «Каждому определяет Бог дорогу <...>. А потому, уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в Современник» [VIII, 428].

Похожим образом, мы знаем, повел себя Гоголь в отношении Погодина и его «Москвитянина»; не ответил он и на призывы Белинского подружиться с «Отечественными записками». Другое дело, воспользоваться интересом всех этих журналов к «Мертвым душам» — сделать это он был вовсе не прочь, прося о рецензии или отклике на поэму и Плетнева, и Шевырева как сотрудника «Москвитянина», и Белинского. Гоголь сознательно стремился к тому, чтобы о его произведении высказались журналы различной ориентации.

В планах Гоголя была еще обещанная встреча с Белинским, и она состоялась, так сказать, по месту жительства, у Прокоповича — это было нетрудно ввиду некоторой близости последнего к критику. Таких мер предосторожности, как при московском свидании, не потребовалось; и все-таки Гоголь сохранил «характер секрета» [Анненков, 1983, с. 107]: ему не хотелось, чтобы этот факт получил широкую огласку. Подробности беседы Гоголя с Белинским неизвестны; известно только, что у Гоголя осталось благоприятное впечатление; по отъезде за границу он дважды просит Прокоповича передать привет Белинскому.

Кстати, это была последняя встреча Гоголя и Белинского; пути их более не пересекались: когда Гоголь в апреле 1848 г. вернется на родину (Одесса, Васильевка, Киев и т. д.), Белинский будет находиться в Петербурге, где ему предстояло прожить лишь месяц с небольшим.

Помимо Белинского, Гоголь виделся в Петербурге и с людьми, близкими к его кругу: с издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским, с которым познакомился еще до отъезда за границу (см. с. 295);

с преподавателем русской литературы во 2-м кадетском корпусе Александром Александровичем Комаровым (ум. 1874). С Комаровым (и с Краевским) Гоголь встречался также у Прокоповича, но, возможно, и навещал его дома; это подтверждает И. И. Панаев: «А. А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей литературной известности Гоголь обыкновенно, приезжая в Петербург, останавливался у Прокоповича и часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский» [Панаев, с. 344]¹²⁷.

Среди беглых встреч Гоголя в Петербурге следует упомянуть и его встречу с М. Н. Лонгиновым, у которого в давнее время (в 1831 г.) он был домашним учителем. Недавно окончивший юридический факультет Петербургского университета, Лонгинов случайно столкнулся с Гоголем у ресторатора Сен-Жоржа; писатель был в окружении нескольких лиц, из которых мемуаристу запомнился Вяземский. «Нельзя было не заметить перемены в его (Гоголя) характере: беззаботная веселость юноши в десять лет нашей разлуки частью заменилась в нем большею зрелостью мысли и расположение духа сделалось серьезнее» [Воспоминания, с. 74]. Лонгинов уже успел прочитать «Мертвые души» и выраженные им по этому поводу восторги «по-видимому доставили ему удовольствие»¹²⁸.

Виделся Гоголь и с французским литератором, переводчиком Ксавье Мармье (1809–1892). В предисловии к осуществленному им переводу «Шинели» («*Au bord de la Néva. Contes russes, traduit par X. Marmier*», Paris, 1856, p. 214) Мармье вспоминал: «В 1842 году, после блестящего успеха его последних повестей и “Мертвых душ”, мы видели Гоголя в Петербурге, появлявшегося, подобно одной из своих мертвых душ в кружке преданных друзей, безучастно слушающих все то, что говорилось вокруг него и отвечающего лишь холодной улыбкой на те искренние похвалы, которые расточались его произведениям; с интересного вечера он возвращался столь же пасмурным и угрюмым, каким входил туда» (приведено М. П. Алексеевым. — [Материалы, т. 1, с. 272]). Речь шла, по-видимому, не о Прокоповиче и других давних друзьях Гоголя, к которым К. Мармье не имел отношения, но об окружении В. Ф. Одоевского. 29 мая Плетнев сообщал Гроту: «Обедали у Одоевского с Гоголем, разговаривавшим с Мармье наискосок, то есть Мармье по-французски, а Гоголь по-итальянски» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 547].

Завязались было отношения Гоголя и с другим известным французским литератором — проживавшим в России в эмиграции графом Ксавье де Местром (1763–1852), младшим братом знаменитого философа и публициста Жозефа де Местра. Посредницей была Варвара Осиповна Балабина; в письме к ней (написанном около 31 мая) Гоголь просит поблагодарить супругов «графа и графиню Местр за их участие»; но отказывается прийти в гости к Балабиным, очевидно, ввиду занятости: оставались считанные дни до его отъезда из России.

Между прочим, графиня Местр, о которой идет речь, — это Софья Ивановна, урожденная Загряжская, то есть тетка Натальи Николаевны, жены А. С. Пушкина¹²⁹.

Чем же был так занят Гоголь? Прежде всего первым своим Собранием сочинений, подготовку которого он поручил Прокоповичу, создав тем самым еще один повод для ревности и неудовольствия своих московских друзей: те считали, что, скажем, Шевырев — более достойный и подготовленный человек для этой роли.

Затем надо было позаботиться о распределении экземпляров «Мертвых душ», подумать о печатных откликах на поэму. Три книги Гоголь оставил у М. Ю. Виельгорского для передачи августейшей фамилии — императору, императрице и наследнику, которого писатель знал еще по Риму, куда тот приезжал вместе с Жуковским. Наследнику (а также великой княгине Марии Николаевне) Гоголь еще раньше, из Москвы, послал и оттиски своего «Рима»; повесть также должна была напомнить ему о римской страде, «когда он так весело предавался общей веселости в карнавале» [XII, 47]. Выразительно и пояснение Гоголя Плетневу, почему он дарит свою повесть великой княгине — «...я почитаю ныне священным долгом представить ее» [там же]. Очевидно, Гоголь знал об участии Марии Николаевны в истории разрешения к печати «Мертвых душ».

Успел Гоголь встретиться в Петербурге и со своим старым знакомым откупщиком Бенардаки. Писатель решил связать его с другим своим московским знакомым — Нащокиным, оказав дружескую услугу тому и другому. Когда Гоголь поведал Бенардаки о бедствиях разорившегося москвича, тот сделал неожиданное предложение: пусть Нащокин поступит к нему на службу в качестве воспитателя его сына.

Если даже этот план, согласно Гоголю, исходил от Бенардаки, то его разработка и интерпретация принадлежали писателю. Мол, Нащокин должен преподавать своему питомцу не конкретные науки («для этого у него будут профессора и, без сомнения, лучшие, какие найдутся»), но одну, главную науку — науку жизни («жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а не мертвая наука». — [XII, 74]). Словом, от Нащокина требовалось именно то, в чем преуспевал замечательный наставник Тентетникова Александр Петрович: «Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей» [VII, 13]. К чести Нащокина надо сказать, что он понял всю утопичность гоголевского предложения и ответил отказом¹³⁰. Но едва ли и Гоголь до конца верил в свой план; он просто разыграл некую жизненную вариацию на одну из тем своей поэмы. Факт, который, между прочим, показывает, что он уже принадлежал чувствами и мыслями второму тому «Мертвых душ».

5 июня Гоголь отправился за границу, чтобы завершить второй том своей поэмы.

«ПОСЛЕДНЕЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЧЕСТВА»

Начался самый продолжительный заграничный вояж Гоголя, растянувшийся на 6 лет, с июня 1842-го по апрель 1848 г. Для сравнения напомним, что первая его поездка (не считая краткого путешествия в 1829 г.) продлилась три года.

Все это писатель определил для себя еще перед выездом в Москву. «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества, — сообщал он 9 мая 1842 г. А. С. Данилевскому, — возврат мой возможен только через Иерусалим. Вот все, что я могу сказать тебе» [XII, 57]. Гоголь не намерен сразу раскрывать свои планы; он готовит восприятие своих поступков и решений так же, как появление и прием очередного произведения...

Путь Гоголя лежал в Рим, но вначале он направился в Гаштейн к Н. М. Языкову, как обещал раньше, в Москве.

26 июня н. ст. он в Берлине, 14 июля — прибыл в Гаштейн. Гоголь привез с собой, говоря его словами, «и свежесть, и силу, и веселье, и кое-что подмышкой» [XII, 64], то есть недавно вышедшие «Мертвые души».

Давно уже не видели Гоголя таким бодрым и здоровым; он даже отказался от различных медицинских процедур — «не лечится», как сообщал Н. М. Языков. И это было не только физическое, но и душевное состояние; на Гоголя нашло редкое спокойствие, удовлетворенность, о чем он возвещал уверенно и почти с пафосом: «Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей...» (из письма Жуковскому, 26 июня н. ст. 1842). Появляется и образ лестницы, столь значимый для Гоголя вплоть до последних мгновений его жизни, когда уже чуть ли не в состоянии агонии он восклицает: «Лестницу мне, лестницу!» «...Небесная сила, — говорится в том же письме Жуковскому, — поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях <...>. Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» [XII, 69].

Однако путь к «подвигам» — через кропотливый, повседневный труд, строгий распорядок, давно заведенный и не допускающий отклонений. «Гоголь везде, как дома, — сообщает Языков 28 августа (9 сентября) родным, — везде водворяется по-своему и пишет; в Гаштейне сидел он так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руке — и никому ни на какой стук не отпирая двери! После обеда прохлаждается, лежа на диване и подремывая, гуляет и ложится спать часов в 9 — все это делается у него чрезвычайно аккуратно и вольготно, идет все это, как заведенные часы» [ЛН. Т. 58. С. 636]. Не-

вольно вспоминается фраза из «Мертвых душ»: мол, «автор», «не смотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец»...

Гоголь прожил в Гаштейне более двух месяцев, в одном доме с Языковым, ободряя, и поддерживая, и ухаживая за ним, как он это умел делать по отношению к друзьям. «Мы живем, как братья» (Языкова — брату Александру Михайловичу, 21(9) июля 1842 г.).

В конце июля или в начале августа Гоголь совершил поездку в Мюнхен — непродолжительную, чтобы надолго не оставлять Языкова одного (к 15 августа он уже возвратился). Что привлекало Гоголя? Конечно, репутация этого города, в котором писатель еще не бывал. Правивший здесь (с 1825 г.) Людвиг I Баварский слыл венценосным меценатом. По словам И. С. Гагарина, он «превратил свою столицу, если не в новые Афины, то во всяком случае в замечательное средоточие искусств. Среди профессоров Мюнхенского университета были и, помимо Шеллинга, люди весьма достойные» [ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 43].

Профессора университета во главе с Шеллингом мало интересовали Гоголя, а вот искусства — очень. В Мюнхене находилась знаменитая Глиптотека, собрание скульптур от античности до современности. Посетивший ее в 1834 г. А. И. Тургенев отметил в дневнике: «...Нельзя не подивиться средствам короля для сооружения такого храма одному из изяшных художеств» [там же, с. 75]. И еще поражало собрание живописи, мюнхенская Пинакотека, также построенная при Людвиге I.

Все это вызывало восхищение Гоголя. «В Мюнхене много замечательного, — писал он Языкову 5 августа в Гаштейн. — Замечательно уже то, <что> в нем живет король, один из всех европейских королей, окруживший себя Художествами и Искусством, а не псарней, б<.....>м, шагистикой, кроением мундиров и прочим». Гоголь не упоминает о посещении музеев, хотя едва ли он упустил такую возможность. Подробно говорит лишь о внешнем виде города: «В архитектуре много замечательного, хотя много также и обезьянства, и вообще отсутствия оригинальности. Но расписывающиеся среди города фрески, на стенах, среди немецкого города, среди трактиров и пивных бочек — это точно что-то замечательное» [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 56. Л. 10—11; ср.: XII, 87—88]. Современников особенно впечатляло в Мюнхене обилие произведений искусства, их внедренность в городскую жизнь и быт, что должно было оказать благотворное воздействие на окружающих. «...Весь Мюнхен полон артистами и их произведениями, и жизни мало для их осмотра <...>; к тому же баварцы и способны к изящным искусствам. Просвещение также распространяется, скоро последний из крестьян будет уметь читать, писать, считать. Религия не возмущает спокойствия граждан, и взаимных обращений кат<оликов> и прот<естанто>в мало» — эти слова, записанные А. И. Тургеневым в 1832 г., принадлежат не кому другому, как Шеллингу [см.: Азадовский, Осповат, с. 159].

После посещения Мюнхена Гоголь почувствовал потребность написать Шевыреву — и вот почему. В конце лета—осенью 1839 г., проживая в Мюнхене и соседнем городке Дахау, Шевырев работал над переводом «Божественной комедии». Гоголь тогда восторженно приветствовал это начинание: «Ай да Мюнхен! Ты должен имя его выгравировать золотыми буквами на пороге дому твоего» [XI, 247]. Он замечательно отчетливо помнит детали мюнхенской жизни Шевырева трехлетней давности — и то, что последний занимался разбором библиотеки барона Моля, приобретенной для Московского университета, и то как необыкновенные облатки на гоголевских письмах смутили «спокойствие невозмущаемого городка Дахау» [XII, 89]¹³¹.

Но сам Гоголь в Мюнхене, кажется, не работал, решив устроить себе вакансии во всех отношениях. Свое времяпрепровождение он описывает Языкову в тонах уже знакомой нам «сонной» символики. «Общество здесь почти то же, что и в Гастейне, но как-то не так обходительно: *Полежаев, Храповицкий, Сопиков* хотя и принимают, но не с таким радушием...» Сонная символика сменяется «прогулочной», разработанной до изощренности, до артистизма: «*Ходаковский* тоже, хотя и навевается чаще, но есть в нем что-то черствое, городское, слишком щеголеват <...>, и еще беда: завел он дружбу страшную с помещиком, которого мы в Гастейне никогда не видали, и сам даже не помню хорошо его фамилии, *Пыляков*, кажется, или *Пылинский*. Подлец, какого только ты можешь себе представить. Подобного нахальства в поступках и наглости я не видал давно: лезет в самый рот. *Тепляков* здесь тоже несносен, его бы следовало скорее назвать *Допекаевым*». И наконец, завершается все символикой «пищеварительной», весьма актуальной для Гоголя ввиду мучивших его запоров: «Здесь я не в силах даже письма написать, а не то, чтобы предаться как следует размышлению об руку с *заседателем* и потом отправиться в *нижний земский суд*, разумею к генералу *Говену*» [XII, 88]¹³². Как видим, и после всех потрясений, после кризиса, Гоголь отнюдь не всегда говорил тоном визионера и пророка...

Прожив в Гаштейне еще месяц с небольшим, Гоголь и Языков 17 сентября н. ст. направились в Италию и 22-го были в Венеции. Вначале остановились в гостинице «Европа», но «вскоре перешли на частную квартиру, — ради уменьшения издержек и ради большего простора» (Н. М. Языков — А. М. Языкову, 26 (14) сентября. — [ЛН. Т. 58. С. 638]). Но не повезло с погодой: непрерывно лили дожди, мешавшие прогулкам по городу, а «ущерб луны» «препятствует слышать баркаллолы, плывя в таинственной гондоле»: ведь для этого, как говорит Языков, «водоплавательного удовольствия» необходимо лунное сияние.

Наконец 4 октября н. ст. путники достигли «града Рима». «Несколько дней просидели мы в “Hotel de Russie”, потом перешли в частный дом на житье-бытье шестимесячное» [там же, с. 640]. Этот «частный

дом» — не что иное, как тот же дом на Strada Felice. № 126; Гоголь поселился в своей прежней квартире на третьем этаже, а Языков этажом ниже.

Впервые фамилию писателя в приходской книге за 1842 г. воспроизвели правильно — «Gogol Nicolo — russo» (годом позже еще добавили — «possidente», помещик). А соседями Гоголя по третьему и четвертому этажам на этот раз были чуть ли не сплошь художники: «американец, художник 29 лет», «немец, гравер 29 лет», «испанец, художник 26 лет», «швейцарец-художник, 36 лет», «хорват, художник», «швед-скульптор, 40 лет» [Гасперович, с. 97]. На этом фоне единственным не-художником оказался Гоголь...

И потекла жизнь своим обычным, заведенным порядком, как в Гаштейне. До 4 часов Языков коротает день один, так как Гоголь, никого к себе не пуская, «сильно занят и сильно работает»; потом встреча за обедом. «После обеда вместе дремлем, вечером обыкновенно приходят к нам трое русских (в числе их известный живописец Иванов); часа с два болтаем, а в 9 часов расходится компания, всякий к своему шлафену (ко сну)» (Н. М. Языков — А. М. Языкову, 16 (4) февраля 1843 г. — [ЛН. Т. 58. С. 651]). Время для прогулок, для осмотра достопримечательностей выбиралось с трудом: «Нынешняя зима в Риме пренегодная — такой, дескать, и старожилы здешние не запомнят; холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные...» [там же]. Оставалось надеяться на весну; в наступающем марте и Языков собирался чаще выходить из дому — «горько было мне уехать из Рима, не выдавши хоть сотой доли его славностей и чудес искусства!» (ОР ИРЛИ. Ф. 348. Языковы, 24. С. 10 об.).

Само собою разумеется, что по незнанию Языковым итальянского и его тяжелой болезни все хозяйственные заботы легли на плечи Гоголя. И тут Языкову открылось одно из противоречий гоголевского характера: точный и педантичный в своих литературных занятиях, он оказался крайне безалаберным и бестолковым в повседневной жизни. «Его непрестанно обманывают и обирают итальянцы, которым он верит, как честным, и которых чрезвычайно уважает; деньги бросает, как сор, — и хлопочет и суетится, будучи вполне уверен, что он всех перехитривает и все покупает дешевле других, и болезненно обижается, когда противоречат в чем бы то ни было» [ЛН. Т. 58. С. 644]. Вообще-то непрактичным Гоголя не назовешь, но его знание людей, «способность угадывать человека», сполна проявлялись (не говоря уже о творчестве) лишь в устройстве судьбы своих произведений.

Надо сказать, что в этот приезд Гоголя в Рим круг его общения заметно сузился, зато встречи приобрели чуть ли не ежедневный, точнее, *ежевечерний* характер, потому что день неукоснительно посвящался работе. Сложился небольшой римский кружок Гоголя, некое подобие его петербургского кружка; отличие лишь в том, что здесь не было «однокорытников» по нежинской Гимназии высших наук; да и

людей этих уже никак не отнесешь к начинающим и безвестным. Наоборот: знаменитый поэт Языков, знаменитый художник Александр Иванов, выдающийся гравер Иордан — вот кто составлял окружение Гоголя. К ним нужно прибавить еще двух лиц: менее известного Федора Васильевича Чицова (1811–1877), бывшего адъюнкт-профессора С.-Петербургского университета, и совсем еще неизвестного двадцатитрехлетнего Григория Павловича Галагана (1819–1888), питомца юридического факультета того же университета и воспитанника Чицова; последний, очевидно, и познакомил его с Гоголем.

Встречались обычно не у Гоголя, а этажом ниже у прикованного к своей квартире Языкова. При этом Чицову тоже не надо было выходить из дому; он жил на четвертом этаже, над Гоголем (это подтверждается записью в приходской книге за 1843 г.: «...4-й этаж: Чицов Теодоро, русский, 32 г., помещик». — [Гасперович, с. 97]).

Поведение Гоголя во время этих встреч отличалось двойственностью, свойственной ему издавна, но углубившейся после венского кризиса 1840 г. Среди проживавших в Риме русских, «когда клонился разговор о том, каков Гоголь теперь, то они всегда говорили с некоторой досадой: “Уж теперь Гоголь не тот, Бог знает, что с ним сделалось”» [Галаган, с. 67]. Присмотревшись к писателю поближе, Галаган убедился, что он и тот и «не тот». Например, «Гоголь был очень неровен в степени разговорчивости: иногда он просиживал почти совершенно молча целый вечер, потупя голову <...>, иногда, напротив, он был очень разговорчив. то рассуждал о предметах весьма глубоких, то смешил нас своими юмористическими выходками» [там же, с. 66]. О молчаливости, царившей во время этих встреч, говорит и Иордан, а Чицов упоминает следующий эпизод, передающий «характер наших бесед с Гоголем»:

«Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его: “Вот, — говорит, — с вас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем”. — И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал: “Что, господа? не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?”» [Воспоминания, с. 228].

Это как раз тот случай, о котором упоминал и Галаган в письме к матери от 13 января 1843 г.: «Все сидит и молчит и как будто дуется», но «когда скажет что-нибудь, то умеет придать такой комизм своим словам, что нельзя не смеяться» [Галаган, с. 65].

Обращали на себя внимание и странности во внешнем облике Гоголя. Иордану он запомнился «в белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете» [Воспоминания, с. 220]. Об экстравагантности Гоголя шла молва и за пределами его круга; в проживав-

шем в Риме семействе Марии Алексеевны Обуховой¹³³, по свидетельству Галагана, «всегда говорили, что он ужасный чудак <...> и даже в одеянии любит фантазировать: то обстрижется совсем коротко, то опять запустит волосы, зачесывая их на лоб, на глаза, то зачесывая их назад». Впрочем, короткая стрижка — или плод вымысла, слухов, или она имела место в более ранние времена; самому Галагану писателю запомнился другим — «волосы довольно длинные и усы довольно стриженные, как он изображен на портрете» [Галаган, с. 67]. Речь идет о выполненном в 1841 г. портрете работы Ф. А. Моллера, на котором писатель смотрится вполне благообразно и чинно; однако именно по поводу этого портрета Гоголь сказал в свое время П. В. Анненкову: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений». Эти слова, добавляет мемуарист, «подтвердил и Ф. А. Моллер» [Анненков, 1983, с. 94]. Что же касается странностей в одежде, то если бы Галаган или Обухова знали Гоголя издавна, то заметили бы, что склонность «фантазировать» была присуща ему с молодых ногтей.

В ежевечерних собраниях у Языкова все внимание было сосредоточено, конечно, на Гоголе — в этом тоже состояло своеобразие кружка. В кружках Станкевича, затем славянофилов или западников, несмотря на авторитет одного лица (в первом случае Станкевича, а в последнем — Белинского), существовали более или менее равноправные отношения. Здесь же даже при наличии столь значительной фигуры, какой был Александр Иванов, безраздельно царил Гоголь. Остальные, по словам Иордана, «были обречены <...> сидеть и смотреть на него, как на оракула, и ожидать, когда отверзнутся его уста» [Воспоминания, с. 220].

Но Гоголь царил не только словом «оракула», но и молчанием, невольно принуждая других высказываться тогда, когда он этого хотел. Это не нравилось тому же Иордану. «Однажды, — вспоминает Чижов, — я тащил его почти насильно к Языкову. “Нет, душа моя, — говорил мне Иордан, — не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы все народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, — давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет”» [там же, с. 227]. Подтверждение этих слов мы находим и у самого Иордана: «Бывало, он [Гоголь] в целый вечер не промолвит ни единого слова <...>. Не раз я ему говаривал: «Николай Васильевич, что это вы так экономны с нами на свою собственную особу? Поговорите же хоть что-нибудь». Молчит. Я продолжаю: “Николай Васильевич, мы вот все, труженики, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться — а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны покупать вас в печати?” Молчит и ухмыляется» [Иордан, с. 209].

При этом Иордана привязывало к Гоголя чувство благодарности, а Гоголя к Иордану — восхищение многолетней сосредоточенностью на одном труде, напоминающей ему и работу Иванова над «Явлением

Мессии», и написание его собственной поэмы. Один из последних представителей художников в жанре классической гравюры, Федор Иванович Иордан (1800—1883) приехал в Италию двумя годами раньше Гоголя и с тех пор неустанно трудился над гравюрой с «Преображения» Рафаэля — закончит он ее лишь спустя 15 лет. По словам Иордана, «доброта Гоголя» к нему «была беспримерна <...>. Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру» [Воспоминания, с. 220]. Не ограничиваясь рекомендациями, Гоголь старался ободрять Иордана, поддерживать его силы. Перед последним приездом в Италию еще из Москвы (20 октября 1841 г.) он просил А. А. Иванова: «Поклонитесь от меня Иордану и скажите ему также, чтобы он никак не унывал духом, а работал бы бодро свое дело. Его будущее положение может быть так хорошо, как он и не воображает и не думает» [XI, 349—350]. В шутку Гоголь говорил Иордану: «Вы — Рафаэль первого манера» [Воспоминания, с. 220].

Из окружения Гоголя наиболее критично относился к нему Чижев — такое отношение проистекало из давних времен, когда и тот и другой были адъюнкт-профессорами С.-Петербургского университета. С точки зрения Чижова, имевшего высокие представления о научной деятельности, Гоголь как преподаватель был недостаточно серьезен и недостаточно подготовлен; к тому же не прибавляло ему симпатии и то обстоятельство, что свое место в университете писатель получил по протекции [см. подробнее: Книга I, с. 316]. Критическое отношение к Гоголю Чижев также проявил буквально накануне римских встреч, когда в августе 1842 г., заехав к Жуковскому в Дюссельдорф, взял у него присланную автором книжку «Мертвых душ». В целом произведение ему очень понравилось, но и от упреков он не удержался: «есть места вялые»; «вообще он не так знает Россию, как Малороссию, это раз»; «другое — ему не нужно говорить о гостиных и о женщинах — и те и другие дурны, сильно дурны» [ЛН. Т. 58. С. 778].

Приехав в Рим, Чижев очень скоро сблизился с Языковым, человеком с открытой душой, а вот с Гоголем никак не сходиллся. Задевал «диктаторский тон», в котором тот нередко высказывал свое мнение, будь то о книге А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам» или об акварелях Александра Иванова. «Разумеется, по непривычке, это немного оскорбляет, — записывает Чижев в дневнике 8 декабря 1842 г. — особенно тогда, когда только вчера он [Гоголь] сказал, что рыцарство — в русской вежливости нашей перед ними, — а это невнимание к противоположному мнению, чем оно пахнет?» [ЛН. Т. 58. С. 780]. Со своей стороны, Гоголя могли покоробить близорукие, с его точки зрения, устаревшие представления Чижова о комическом, высказанные в связи с обсуждением картин Иванова.

Конкретно спор состоял в следующем. Для поднесения прибывшей в Рим великой княгине Марии Николаевне художник представил на

суд две акварели. На первой схвачен один момент римского танца, когда девушка в ответ на вопрос, кто украл ее сердце, показывает на длинноногого англичанина и тот, вопреки своему желанию и при общем смехе, должен пуститься в пляс. На другой картине — пиршество римлян: одни еще едят за столом, другие уже встали и беседуют; за всем этим наблюдает группа художников, в том числе и вполне узнаваемые и действительно проживавшие в это время в Риме лица — датский скульптор Бертель Торвальдсен, с которым Гоголь был знаком лично [Джулиани, с. 131 и далее], и ученик Торвальдсена Теодор Вагнер. Известно также, что над фигурами двух художников сам Иванов написал имена назарейцев Корнелиуса и Овербека [Машковцев, 1982, с. 124]¹³⁴.

Именно эта картина — ее название «Октябрьский праздник в Риме. У Ponte Molle» — показалась Чижову более значительной; Гоголь же выбрал первую, с ее жанрово-комическим тоном. Но такая сцена, как считал Чижов, «не может быть изяшною в полном значении слова», в ней «все подчинено естественности выражений, которые здесь более устремляются в комизм, а комизм, по моему мнению, может дойти до ступени прекрасного или общностию всей картины, или высоким комическим значением главного ее лица» [ЛН. Т. 58. С. 780]. Таким «значением» не обладала ни простая римская девушка, отвечавшая на вопрос, кто предмет ее любви, ни длинноногий англичанин, не желавший пуститься в пляс. Возможно, свои возражения, зафиксированные по горячим следам в дневнике (8 декабря 1842 г.), Чижов лично высказал Гоголю, чем и спровоцировал его «диктаторский тон». Во всяком случае, явно или неявно, Чижов продолжал свою полемику с гоголевским художественным стилем, которую начал несколькими месяцами раньше, читая «Мертвые души».

Иванов же в выборе акварелей готов был более прислушаться к Гоголю, и это поколебало уверенность Чижова в своей правоте («...Не смею произнести приговора»). Ему вообще не свойственно было упорствовать в своих суждениях: спустя три года он отметит в дневнике: «Минутами я беру в руки “Мертвые души” Гоголя и беспрестанно прошу внутренне извинения у нашего истинного таланта» [там же, с. 782].

Но вернемся к римскому окружению Гоголя. Самым скромным в этом окружении был Галаган; по его словам, он выступал более в роли «слушателя». Это объяснялось и его молодостью — будучи на 10 лет моложе Гоголя, Григорий Павлович принадлежал к другому поколению — и тем обстоятельством, что встретились они впервые. Но было у них и нечто общее — оба происходили из Украины, имение Галаганов Сикеренцы находилось недалеко от Васильевки, — это невольно устремляло мысли в одном направлении. «О нашей с ним родной Малороссии Гоголь как бы избегал говорить. Сколько я помню, он относился только с особенною любовью о наших песнях [так!] и один раз, говоря о Малороссии вообще, сказал: “Я бы, кажется, не мог там жить, мне бы было жалко, и я бы слишком страдал”. Мы

тогда говорили о современном состоянии нашего народа и нашего общества» [Галаган, с. 66].

Еще общая их черта — интерес к крестьянской жизни, помещицкому хозяйству. Когда Галаган уезжал из Рима, Гоголь одобрил его решение стать помещиком и дал на прощание ряд советов, вроде тех, которые он потом сформулирует в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (в статье «Русской помещик»): «не спешите их (людей) осуждать», «старайтесь вникнуть в его жизнь» [там же, с. 67], — говорил Гоголь Галагану. Кстати, в то же самое время — в марте или апреле 1843 г. — писатель сходным образом учил мать, как ей следует заботиться о своих крестьянах: «Если подвластный создан для того, чтобы трудиться для нас и исполнять наши повеления, (то) разве мы не созданы для того, чтобы обращать во благо труд его...» и т. д. [XII, 169].

Что же касается Галагана, то он на всю жизнь остался верен выбранному направлению деятельности — служил в Черниговской палате государственных имуществ; изучал положение крестьян, пострадавших от неурожая, и участвовал в раздаче пособий; позднее играл активную роль в подготовке крестьянской реформы. Посетивший Галагана летом 1854 г. в его имении И. С. Аксаков писал родным: «Галаган внушает мне характером своим, направлением и поступками искреннее, глубокое уважение <...>. Среди этой роскоши он постоянно занят одной мыслью — извлечь всю возможную пользу из своего положения для других, сделать как можно более добра, оправдать свое богатство пред своею совестью» [Аксаков, 1994, с. 285]³⁵.

Те четыре месяца, с января по апрель 1843 г., которые Галаган провел в Риме в гоголевском окружении, отчетливо врезались в его память. «Желал бы я очень иметь о Вас побольше подробностей, — писал он Александру Иванову 23 ноября 1844 г., — знать не то что Вы работаете, — я это знаю, но как проводите время вне работы, где проводите вечера после тех, которые мы просиживали вместе с Языковым, Гоголем и Федором Васильевичем (Чижовым)» [ЛН. Т. 58. С. 641]. «Вместе» обычно собирались на квартире Языкова; обедали же чаще всего отдельно: Гоголь с Языковым дома, а остальные «ходили в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone)» [Воспоминания, с. 227].

Внутренняя же жизнь Гоголя протекала во многом скрытно даже от тех, у кого он постоянно был на виду. Замечалось лишь усиление его религиозности; так, Галагану он «показался <...> уже тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю <...> и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны» [Галаган, с. 67]. Сходную зарисовку находим и у другого очевидца: «На Стр<астной> нед<еле> Го<голь> го-

вел, и тут я уже зам<етил> его религ<иозное> располож<ение>. Он стоял обыкнов<енно> поодаль от других и до т<акой> ст<епени> б<ыл> погр<ужен> в себя, к<ак> бы никого не вид<ел> и ник<ого> не б<ыло> вокр<уг> него» [Смирнова, 1989, с. 38]. Из окружения Гоголя наиболее чутким к его внутренним переменам оказался, пожалуй, Иванов, который «о настоящей жизни его говорил с особенным уважением и таинственностью, ему свойственную» [Галаган, с. 67]. Впрочем, подробный разговор об отношениях Гоголя и Иванова впереди.

И все же при понимании чуткого Иванова, при безграничном уважении таких, как Языков или Галаган, Гоголь в это свое пребывание в Риме испытывал то, что сейчас бы назвали «дефицитом общения». Вот почему, узнав в ноябре 1842 г., что во Флоренции находится Смирнова-Россет с дочерьми, он посылает ей одно письмо за другим. «Видеть вас — у меня душевная потребность» (XII, 123). «Ради Бога, скажите, зачем вы не в Риме, а во Флоренции?» [XII, 132]. И Смирнова поехала в Рим, предварительно отправив туда брата Аркадия Осиповича для подыскания подходящего жилья.

Помог ему в этом сам Гоголь, выбрав квартиру в уютном палаццо-то Валентини, находившемся в нескольких метрах от колонны Траяна. Здание было пристроено к одноименному палаццо, принадлежавшему обслуживавшему Гоголя банкиру Валентини; в этом палаццо, между прочим, жил и гоголевский знакомый-полиглот, кардинал Мещофанти [Джулиани, 1997, с. 16].

Едва Смирнова переступила порог палаццо Валентини — было это в конце декабря 1842 г. — как «на лестницу выбежал Н<иколай> В<асильевич> с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. «Все готово, — сказал он, — обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош, Corso под рукой, а что лучше всего, вы близко от Колизея и Foro Boagio» [Смирнова, 1989, с. 31]. Позаботился Гоголь и о том, чтобы комнаты были солнечные и уединенные, а это, сообщает Смирнова в письме П. А. Вяземскому в Петербург, «статья важная для дряхлой старушки, у которой голова болит ежедневно...» [ЛН. Т. 58. С. 648]. А было в это время «дряхлой старушке» тридцать четыре года — ровно столько, сколько и Гоголю...

С появлением Смирновой Гоголь заметно отдалился от своего круга, меньше стал уделять внимания Языкову. «Я редко вижу Гоголя с тех пор, как она здесь, — жалуется Языков родным в письме от 15(27) февраля 1843 г. — Он у ней всякий день до позднего вечера: кажется югозит вокруг нее...» [ЛН. Т. 58. С. 649]. Чижов же отметил, что о Смирновой писатель говаривал «всегда с своим гоголевским восхищением: “Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина”» [Воспоминания, с. 226]. Чижов, кажется, не внял этому совету и не пошел к Смирновой, так же как, со своей стороны, и Смирнова, не показывалась на

встречах у Языкова. А вот Галаган, когда распространился слух об увлечении Гоголя Смирновой, решил-таки проверить, есть ли для этого основания. «Мне любопытно было ее видеть и, увидевши ее, понял, что действительно можно было ею увлекаться» [Галаган, с. 67]. Это несмотря на то, что Смирнова считала себя «дряхлой старушкой»... Однако Гоголь был движим несколько иным, более сложным чувством.

С тех пор как Гоголь познакомился с Александрой Осиповной — в конце 1830 или в начале 1831 г. [см.: Гоголь: Книга 1, с. 222], они встречались не раз: в Париже (конец 1836 — начало 1837 г.), в Баден-Бадене и Страсбурге (лето 1837 г.), в Петербурге (конец июня—начало мая 1842 г.)... И каждый раз их отношения становились теплее, сердечнее. О доверенности Гоголя к Смирновой свидетельствует то, что он читал ей еще не опубликованные произведения — главы из первого тома «Мертвых душ», «Женитьбу».

Что побуждало к этому Гоголя? Конечно, не в последнюю очередь эстетический вкус, которым Смирнова славилась. «...Несмотря на свое общественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чувством. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое и все смешное» [Вяземский, 2000, с. 122–123]. Но не только в этом причина: впоследствии (12(24) октября 1844 г.) Гоголь напишет Смирновой: «...Мы сошлись с вами вследствие взаимной душевной нужды и помощи...» [XII, 359]. Это сказано после совместного пребывания в Ницце (ноябрь 1843 — март 1844 г.), ставшего, по выражению современной исследовательницы, «культурно-национальным моментом в их отношениях» (*Житомирская С. В. А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие.* — [Смирнова, 1989, с. 604]). Но о «душевной потребности» Гоголь говорил и раньше, в связи с римскими встречами начала 1843 г., продолжавшимися вплоть до отъезда Смирновой в Неаполь в начале мая.

Дело в том, что Гоголь частично знал и еще больше догадывался о тех душевных перипетиях, которая испытала к этому времени Александра Осиповна. Зимой 1834/35 года, еще в Петербурге, она пережила приступ нервной депрессии, настолько тяжелый, что перед нею маячил призрак сумасшествия. Летом 1836 г. — как раз накануне встречи с Гоголем в Париже — происходит встреча ее с дипломатом Николаем Дмитриевичем Киселевым (братом министра Павла Киселева), развивается «баденский роман», который годом позже достигнет развязки. В том же 1837 г. Смирнова переживает смерть одной из дочерей, трехлетней Александры.

У Гоголя было тяготение к людям, испытавшим, как и он, душевные кризисы, впадавшим в тоску, в отчаяние: помогая им и наставляя их, Гоголь и сам чувствовал себя сильнее, возвышался духом. Время, в которое протекало нынешнее общение со Смирновой — для Гоголя относительно спокойное и устойчивое, что и было ею замечено («...в мою бытность я постоянно видела его бодрым и оживлен-

ным»); но все-таки венский кризис еще отдаленно напоминал о себе («изредка тревожили его старые знакомые: нервы...» — [Смирнова, 1989, с. 50]). В обществе Александры Осиповны, да еще на римском фоне, находил он подкрепления своим силам. «Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он <мог> глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления» [там же].

Был ли Гоголь увлечен Смирновой? Как человек, восприимчивый к женской красоте, он едва ли оставался равнодушным к ее очарованию, но это чувство сублимировалось в другое, более сложное переживание, быть может, даже не без сознательного усилия. По крайней мере, в гоголевских обращениях к Смирновой вроде «Любящий без памяти вашу *душу*» ощущается некоторый нажим.

Иметь духовную власть над такой очаровательной и в то же время умной женщиной, вызывавшей поклонение многих, вдохновившей не одного поэта, включая Пушкина, влачащей за собою шлейф слухов и версий, порою довольно шекотливого свойства, — все это приносило Гоголю глубокое удовлетворение, усиливаемое еще осознанием того факта, что он должен и может ей помочь.

Весьма пронизательно соображение С. Т. Аксакова: «Смирнову он (Гоголь) любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души». И еще Аксаков прибавлял: «...по моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны» [Воспоминания, с. 207].

Гоголь взял на себя роль чичероне, проводника по Риму и его окрестностям. Эту роль он очень любил и охотно выполнял прежде при Погодине и других приезжающих русских; теперь же его усердие превзошло все ожидания. Ради экскурсий он даже сократил часы своего рабочего времени. «...Всякий день в час является к нам Гоголь, и мы странствуем, располагаясь таким образом, чтобы видеть всякий день церковь, галерею и кончить прогулкой, то есть древностию или виллой и видом» (Смирнова — Жуковскому, 30(18) января 1843. — [ЛН. Т. 58. С. 648]).

Гоголь составил подробный отчет об экскурсиях, занявших 8–9 дней. Фиксировалось и произведенное впечатление; например: «Колизей. Найден прелесть»; «Заключено Петром (то есть соборов Святого Петра. — Ю. М.), оказался еще лучше» [IX, 490].

Во время этих прогулок Гоголь не морализировал, не давал советов — подобный стиль его взаимоотношений со Смирновой определится несколько позже; даже не обременял сведениями по поводу увиденного и не давил эрудицией («...ничего лишнего не говорит и не показывает, оставляя впечатления совершенно свободными». — [ЛН. Т. 58. С. 648]). Ему достаточно было находиться рядом со Смирновой,

достаточно было нескольких реплик — и та отчетливо сознавала основательность и глубину гоголевской эрудиции. «Никто не знал Рим так хорошо, как Гоголь. Не было итальянского историка или хроники, которую он не прочел. Все, что относится до исторического развития, искусства, даже современности итальянской, все было ему известно...» [Смирнова, 1989, с. 50].

Приемы, с помощью которых Гоголь-чичероне, воздействовал на воображение своей спутницы, были элементарно-просты. «Однажды Гоголь повел меня и моего брата (А. О. Россета. — Ю. М.) в San Pietro in Vinculi, где стоит статуя Моисея работы Микельанджело. Он просил своих спутников идти за собою и не смотреть в правую сторону; потом привел их к одной колонне и вдруг велел обернуться. Они ахнули от удивления и восторга, увидев перед собой сидящего Моисея, с длинной бородой. “Вот вам и Микельанджело! — сказал Гоголь. — Каков?” Сам он так радовался нашему восторгу, как будто он сделал эту статую. Вообще, он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 2].

Смирнова отмечает, что ценил Гоголь больше всего: «В особенности он заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. Однажды, когда я не столько восхищалась, сколько бы он желал, Рафаэлевою Психеей в Фарнезине, он очень серьезно на меня рассердился. Для него Рафаэль-архитектор был столь же велик, как и Рафаэль-живописец, и, чтоб доказать это, он возил нас на виллу Мадата, построенную по рисункам Рафаэля» [там же].

О том, какой след оставили в сознании Александры Осиповны не только прогулки с Гоголем, но и сами его художественные пристрастия, говорит такой факт. Спустя три года, уже будучи «калужской губернаторшей», Смирнова пишет находящейся в Риме известной писательнице Е. П. Ростопчиной — и словно заново переживает увиденное: «Только в Риме ты увидишь Рафаэля во всем его действительном чудесном превосходстве»; затем она спрашивает, почему Ростопчина ничего не говорит «о дивных картинах Леонардо да Винчи», высказывает опасение, не начинает ли та «поддаваться обаянию красок»; убеждает: «сделай милость, не возлюби Болонской школы», — и непосредственно апеллирует к Гоголю: «Я надеюсь, что Гоголь будет ангелом-хранителем твоих художественных впечатлений; он поразительно чувствует искусство». Следует вдохновенный гимн Италии: «Люблю ее, древнюю, языческую, свидетелями которой являются исполинские памятники; люблю ее в ее темных молчаливых катакомбах, в ее церквах, соединявших верных одному и единственному христианскому исповеданию; люблю ее в свободном, самопроизвольном и блестящем развитии искусств; люблю ее даже в ее жалком настоящем существовании, в ее моральном оскудении, которое не возмущает, а интересуется, трогает и внушает какую-то нежную симпатию и сочувствие...» [РА. 1905. № 10. С. 228–229, 227; письмо от 4 января 1846].

Тут почти каждое слово могло быть сказано Гоголем, начиная с фразы о двух огромных мыслях, соединившихся в Италии, — античной и христианской — и кончая интересом и сочувствием к современному, отнюдь не блестящему положению этой страны.

Возвращаясь к совместным прогулкам Смирновой с Гоголем по Риму, надо сказать еще, что отдельные реплики, которые он бросал, были, что называется, с подтекстом. «В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной Страшного Суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. “Тут история тайн души, — говорил Гоголь. — Всякий из нас раз сто по дню то подлец, то ангел”» [Смирнова, 1989, с. 52]. Кто-кто, а Смирнова тоже хорошо знала эти «тайны»...

Общение со Смирновой расширило круг связей Гоголя, оживило его «светскую» жизнь. Гоголь ближе познакомился с уже упоминавшимся ее братом Аркадием Осиповичем Россетом (1811—1881), выпускником Пажеского корпуса, прапорщиком лейб-гвардии конной артиллерии, впоследствии генерал-майором, товарищем министра государственных имуществ и сенатором (встретились они впервые еще в Петербурге, по-видимому в 1830 г. — [см.: Книга 1, с. 222]; потом общались во время посещения Гоголем Петербурга в мае—июне 1842 г.). Иногда в прогулках по Риму участвовал Яков Владимирович Ханьков (1818—1862), географ и картограф, оренбургский губернатор. В обществе Смирновой Гоголь встречал и графа Василия Алексеевича Перовского (1794—1857), генерала от кавалерии и генерал-адъютанта, с 1833 г., оренбургского военного губернатора. Гоголю он мог быть памятен по рассказу Пушкина: именно в доме Перовского поэт получил известие, что во время пребывания в Нижнем Новгороде его приняли за ревизора. Казус этот, как мы уже говорили, возможно, послужил одним из источников гоголевской комедии...

В плане совместных посещений, составленном Гоголем для Смирновой, с десятком имен художников, проживавших в это время в Риме, — немецких, английских, итальянских и других; среди них — несколько знаменитостей, например Овербек и Тенерани [обстоятельный и аргументированный анализ этого «списка» см. в исследовании: Джулиани, 1997, с. 23 и далее].

Вместе со Смирновой Гоголь посетил и Александра Иванова. Биографы Иванова, кажется, не обратили внимания, что Смирнову с ним познакомил именно Гоголь во время нынешнего ее приезда в Рим. Об этом свидетельствует более позднее письмо художника к Александре Осиповне, упоминающее Гоголя, «посредством которого и самое знакомство с вами я имел честь приобрести...» [РА. 1896. № 4. С. 603].

Был Гоголь совместно с Ивановым и на обеде у княгини Зинаиды Волконской [см.: IX, 490], отношения с которой у него стали более прохладными после смерти Иосифа Виельгорского и неудачной по-

пытки обратить умирающего в католичество. Впрочем, и отношения Смирновой с Зинаидой Волконской не сложились...

В декабре 1842 г. в Рим приехала великая княгиня Мария Николаевна (1819—1876), дочь царствующего императора; вместе со своим мужем герцогом Максимилианом Лейхтенбергским она остановилась в доме посланника И. А. Потемкина. Естественно, что находившиеся в Риме русские проявили большой интерес к этому событию. Встречался ли с великой княгиней Гоголь? Смирнова отвечает на этот вопрос определенно: «Представлялся в<ел.> к<нягине> Марье Никол<аевне> утром. Она оч<ень> милост<иво> приняла (и раз приказа<ла> приглас<ить> на музык<альный> вечер к гр. Вьель<горской>, где она была)» [Смирнова, 1989, с. 38]. А вот Н. М. Языков столь же определенно отводил версию о том, что он и Гоголь представлялись Марии Николаевне и что последний при этом читал ей второй том «Мертвых душ»: «Слух, будто бы Гоголь читал в Риме великой княгине вторую часть “Мертвых душ”, несправедлив — тем паче, что эта вторая часть еще не написана. И он не представлялся великой княгине, так же, как и я, — вероятно потому, что у него нет фрака, так же, как у меня!» [ЛН. Т. 58. С. 664].

Оба источника в данном случае заслуживают доверия: Языков — потому что жил в соседстве с Гоголем и сообщал по свежим воспоминаниям (его письмо датировано 7 июня н. ст. 1843 г.); Смирнова — потому что была в курсе передвижений и визитов писателя в это время и, очевидно, знала о таком важном событии, как его встреча с дочерью императора. Кстати, характер неточностей в мемуарах Смирновой обычно состоит в путанице имен и хронологических смещениях, которое в данном случае маловероятно, так как в другое время возможности указанной встречи, кажется, не было.

Между тем известно, что Гоголь проявлял определенный интерес к великой княгине. Несколькими месяцами ранее, по выходе «Мертвых душ», он дал распоряжение Плетневу передать ей книгу, специально переплетенную «в хорошенькую папку»: «...Я почитаю ныне священным долгом представить ее» [XII, 47]. Объясняется это тем, что Гоголь, видимо, знал об участии великой княгини в судьбе рукописи «Мертвых душ» [см. об этом, с. 611], а также тем, что августейшая чета вообще славилась своим вниманием к искусству, особенно Максимилиан Лейхтенбергский, который в 1843 г. станет президентом императорской Академии художеств.

По приезде в Рим великая княгиня повела себя подобающим образом. Так, был устроен прием, описание которого оставил один из приглашенных — Ф. И. Иордан: «Великокняжеская молодая чета сделала вечер для ученых и художников. Немецкий художник Флор составил любопытную живую картину, изображавшую знаменитый фреск Рафаэля “Афинская школа”. Все русские художники, имевшие фраки (их было очень мало), воспользовались приглашением явиться на этот вечер. Здесь мы имели случай видеть принца Гессен-Кассельского <...>».

Бал был великолепною красотою, доступностью и простотою царственной четы...» [Иордан, с. 211]. Очевидно, именно это событие послужило толчком для слухов о Гоголе, отказавшемся от посещения по причине отсутствия фрака; но очевидно и то, что он не воспользовался бы приглашением, даже если бы его и получил: великосветский раут с участием «царственных» особ был не по нем...

(Спустя несколько месяцев ситуация повторится почти буквально: в Баден-Баден, где останутся Гоголь и Смирнова, приедет другая представительница императорского дома великая княгиня Елена Павловна, урожденная Фредерика Шарлотта Мария, принцесса Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павловича. «Все представлялись ей, — говорит Смирнова. — Я спросила Николая Васильевича: “Когда же вы подколете ваш сюртук и пойдете к ней?” (Александра Осиповна подразумевала то, что с помощью подобной операции сюртук можно было выдать за фрак.) “Нет, (отвечал Гоголь), пусть прежде представится Балинский, а потом уже я, и какая у него аристократическая физиономия”. Балинский был мой курьер, родом из Курляндии». — [Смирнова, 1989, с. 53–54].)

Но помимо упомянутого бала, у проживавших в Риме русских существовали другие возможности встречи с Марией Николаевной. Так, в декабре 1842 г. она посетила мастерскую Александра Иванова, работавшего над «Явлением Мессии». «Необыкновенная благосклонность меня ввела в смятение...» [Шенрок, т. 4, с. 220], — сообщал художник отцу. Может быть, благодаря августейшей «благосклонности» и Гоголю довелось повидаться с великой княгиней в менее официальной обстановке, чем бал, который требовал от него еще наличия фрака¹³⁶. Языкову этот эпизод мог остаться не известным, хотя часть его сообщения, а именно то, что чтения второго тома «Мертвых душ» не было, — по-видимому, соответствовала действительности и подтверждается категорическими словами Гоголя.

А. С. Хомяков — Н. М. Языкову, 21 мая, Москва: «Говорят, он (Гоголь) много подвинулся в М. Душах [так!] и читал великой княгине. Правда ли? Если правда, то радостная» [Хомяков, т. 8, с. 114]. Гоголь — С. Т. Аксакову, 24 июля н. ст., Баден: «Никому не читал я ничего из них (“Мертвых душ”) в Риме <...>. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового. Но, увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову» [XII, 207].

Чем же в таком случае был занят Гоголь, если вспомнить, что он посвящал работе большую часть дня? Правда, для прогулок со Смирновой это время сократилось, но после того как они «осмотрели Рим en gros», то есть в общем и целом, писатель стал заходить к ней реже, вернувшись к своему обычному распорядку.

Львиная доля времени ушла, очевидно, на подготовку Собрания сочинений — завершение «Игроков», «Театрального разезда...», оп-

ределение композиции четвертого тома, латание «цензурных помех» и т. д. Но при этом ни на день не забывались и «Мертвые души»; все другие труды мысленно соотносились с продолжением поэмы; переделывая «прежние пьесы», Гоголь, по его словам, старался «навыкнуть производить плотное создание, сушное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа» [XII, 143]. С появлением четырехтомника Сочинений, а также первой части «Мертвых душ» подводился некий итог творческой деятельности, начинался, по авторскому самоощущению, более зрелый ее этап. Отсюда особое гоголевское отношение к критике.

За шесть-семь лет это отношение заметно изменилось. Знаменательное совпадение: в декабре 1842 г. Гоголь вновь оказался в ситуации, пережитой им в апреле 1836 г., в связи с премьерой «Ревизора», — правда, на этот раз заочно, поскольку писатель находился вне России.

9 декабря 1842 г. на сцене того же Александринского театра, с участием ряда артистов из того же состава, в частности супругов Сошнических, Григорьева 1-го и Григорьева 2-го, почти при таком же большом стечении зрителей состоялась давно ожидаемая премьера следующей гоголевской комедии — «Женитьба».

И вновь на премьеру пожаловал император с частью своего семейства — это устанавливается из следующей неопубликованной записи в Журнале камер-фурьерской должности от 9 декабря 1842 г.: «В 8-м часов вечера Его Величество с Государем Наследником Цесаревичем и Великою Княжною Ольгою Николаевною имели выезд в Александровский /так!/ театр, а по окончании спектакля 30-ть мин. 11-го часа возвратились во дворец, проходили во внутренние апартаменты Ее величества и кушали за вечерним столом в розовой комнате» [РГИА. Ф. 516. Оп. 120/2322. Ед. хр. 201. Л. 28 об.]¹³⁷.

Но в отличие от премьеры «Ревизора», которая при всех противоречивых откликах, все-таки явилась несомненным успехом, что подчеркивалось вторичным посещением императора, — «Женитьба» никакого успеха не имела. Белинский 9 декабря, буквально под свежим впечатлением от спектакля, писал В. П. Боткину: «Я сейчас из театра. “Женитьба” пала и ошкана <...>. Теперь враги Гоголя пируют» [Белинский, т. 12, с. 125]. Даже если и не «пала» совершенно, то прошла неудачно, и у противников Гоголя были основания радоваться. Писатель Иван Щеглов передает рассказ своего деда барона В. К. Клодта (брата знаменитого скульптора), находившегося во время премьеры «Женитьбы» в ложе Н. И. Греча: «По его словам, после первого действия комедии, в ложу вошел Булгарин в крайне возбужденном состоянии, демонстративно громко воскликнул: “Это из рук вон... представлять этакую мерзость! Тьфу!” И он несколько раз энергически

плюнул. Дед подтверждает, что кроме Булгарина, и многие другие из публики плевались при некоторых “реальных” словечках пьесы» [Щеглов, с. 147]. О «шikanье» в конце пьесы упоминает и анонимный рецензент «Литературной газеты» (1842. 20 декабря). Суммируя впечатление зрителей, историк петербургских театров говорит, что «Женитьба» была принята как «пьеска, не стоящая никакого внимания» [Вольф, с. 100].

«Совершенный неуспех» пьесы, как выразилась племянница С. Т. Аксакова Мария Григорьевна Карташевская, невольно связывался с реакцией августейшего зрителя, то есть Николая I. Сама не присутствовавшая на премьере, Карташевская сообщала из Петербурга в Москву дочери Сергея Тимофеевича Вере: «Рассказывают, что государь, который любит все произведения Гоголя, приехал на первое представление и взял с собою Ольгу Николаевну, но что тотчас же ее увез и что вся публика приняла пиесу с шумным выражением негодования» [ЛН. Т. 58. С. 646]. Мнение это безоговорочно принято исследователем гоголевской драматургии [см.: Дурьлин, 1953, с. 213], однако оно содержит явное преувеличение: император не мог «тотчас» покинуть театр — опубликованная выше запись в журнале Камер-фурьерской должности показывает, что он находился в театре примерно два часа. Скорее всего, он прибыл к началу «Женитьбы» (до нее шла французская двухактная драма «Помешанный») и уехал до завершающего весь спектакль одноактного водевиля (это была «Гусарская стоянка»). Верно лишь то, что гоголевская пьеса не вполне удовлетворила царя, вызвала нарекания или, как минимум, сдержанную молчаливую реакцию, — но для недоброжелателей Гоголя этого было достаточно.

Есть свидетельство, подтверждающее такое предположение: не обратившая на себя внимания — в этом контексте — запись А. О. Смирновой. 11 марта 1845 г. в связи с хлопотами о денежном пособии Гоголю она зафиксировала свой разговор с императором: «Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. “У него есть много таланту драматического, но я не прошоаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие”» [Смирнова, 1989, с. 11]. К «Ревизору», как известно, Николай I относился более чем благосклонно, а «Мертвые души» к этому времени еще не читал; скорее всего, в его упреке отозвались впечатления, почерпнутые на премьере «Женитьбы».

Общая картина восприятия комедии изменилась в лучшую сторону после третьего представления¹³⁸ и особенно после московской премьеры, состоявшейся 5 февраля 1843 г. в Большом театре и прошедшей с явным успехом. Но все равно критики комедии заявляли о себе довольно громко, причем среди них был и такой почитатель гоголевского таланта, как А. И. Тургенев. На третий день после московской премьеры «Женитьбы» и «Игроков» (обе пьесы шли в составе одного спектакля) он записал в дневнике: «“Женитьба” неблагопристойна, площадные, гадкие выражения. Государь прав. Что за люди! и что за

язык! В начале «Игроков» уехал» [Гиллельсон, с. 141]. Эта запись, между прочим, показывает, что версия об осуждении «Женитьбы» Николаем I получила широкое распространение.

Версию эту Тургенев повторил и в написанном на следующий день, 9 февраля, письме брату Николаю Ивановичу: «...«Женитьба» вызвала много нареканий в петербургских газетах, говорят, что сам император не пожелал смотреть ее вторично вместе с семейством из-за дурного тона и царящих там непристойностей. <...> Я тоже слушал с отвращением низкие речи и пошлые, чересчур вульгарные выражения, коими она изобилует. Пьеса заставляет чернь смеяться, но не только не возвышает, а пожалуй что и заставляет пасть еще ниже». Заодно Тургенев уточнил свое отношение к другой гоголевской комедии, к «Игрокам», которых он слышал еще раньше «в чтении» у Свербеевых: «...Она изображает провинциальные и столичные нравы с самой дурной стороны; это Гоголь «*Мертвых душ*» — весь серый и грязный» [Мильчина, Осповат, с. 62]. Отчетливо проступают те мотивы, по которым Тургенев противопоставляет «Женитьбу» другим, высоко ценимым им гоголевским произведениям: «Ревизору», «Мертвым душам», «Игрокам» (а также «Шинели», с которой он познакомился в феврале 1843 г.): во всех этих вещах — значительность проблематики, обличение российской отсталости, произвола властей, сочувствие бесправным; в «Женитьбе» — лишь мелочность, пустое комикование, неприличие выражений.

Нередко вместе с осуждением гоголевской пьесы критики высказывали похвалу публике, которая не дала себя обмануть, отличила истинное от неистинного. Тон снова задал Ф. Булгарин в анонимной рецензии, появившейся на третий день после премьеры. «Заметьте, публика была справедлива!.. По окончании этой комедии несколько человек захотели было захлопать, но вдруг во всех ложах и креслах раздался условный знак, принуждающий к молчанию... и комедия сошла тихомолком со сцены! Le public an a fait justice! Даже не вызвали ни одного из актеров, а для Александринского Театра это очень много значит!» [СП. 1842. 12 декабря. № 279; курсив в оригинале]. Тему продолжил Р. З., то есть Рафаил Зотов, отметивший, что как ни разнообразна была публика на премьеры, она «одним неприготовленным, никем не ожидаемым решением покрыла пиесу *единодушным, единогласным шиканьем*». Фраза о «неприготовленности», очевидно, должна была скорректировать рецензию Булгарина и предотвратить подозрение, что демонстрация против гоголевской комедии была инспирирована свыше (ведь на премьеры присутствовал сам император!).

Отзыв Зотова содержал в себе еще один важный момент: критик (в отличие от Булгарина) отдавал должное «Ревизору» как «настоящей русской комедии», отмечал ее многолетний сценический успех — и тем выразительнее звучала похвала теперешнему решению публики: «Всякий русский, с полною, справедливою гордостью скажет теперь,

что *русская публика* стоит на гораздо высшей степени образованности, нежели других европейских наций <...>. Это приятная, святая истина, доказанная удивительным единодушием в приговоре над новою комедиею г. Гоголя» [СП. 1842. 16 декабря. № 282; курсив в оригинале]. Значит, и противопоставление «Женитьбы» «Ревизору» тоже стало почти общим местом.

Для Гоголя главным источником сведений о судьбе его произведений служил С. Т. Аксаков, который уже на следующий день после московской премьеры принял за подробный отчет. Написал о тревожном известии, будто Николай I «недоволен был “Женитьбой”», но прибавил, что, к счастью, слухи оказались неверными или преувеличенными (конкретно имелось в виду, очевидно, сообщение Марии Карташевской, будто императорская фамилия ушла с премьеры до ее окончания). Затем перешел к реакции москвичей, отметив перемену в настроении зрителей, обозначившуюся уже на следующий день: «Странное дело: “Женитьбу” слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру, а теперь эту пьесу почти все осуждают. “Игроков” слушали гораздо холоднее, а пьесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой». Впрочем, приводимые Аксаковым далее негативные отзывы о «Женитьбе» принадлежат вовсе не рядовым зрителям: Н. Ф. Павлову, который говорил, что «Женитьба» — «шалость большого таланта», Загоскину, который «неистовствует против «Женитьбы», а заодно «взбесился за эпиграф к “Ревизору”», «с пеной у рта кричит: “да где же у меня рожка крива?”» [Воспоминания, с. 178, 181; курсив в оригинале]. Имя А. И. Тургенева здесь не упоминается, но его мнение относительно «Женитьбы» было, конечно, известно Сергею Тимофеевичу.

В ряду подобных суждений следует привести и отклик Н. Л. Боратынской, жены поэта, писавшей 13 апреля С. Л. и Н. В. Путятям: «“Женитьба”, которую здесь давали, была очень плохо принята, а грубость ее оскорбляет самых неприхотливых людей» [Материалы, т. 1, с. 156; перевод с фр.]. Категоричные слова Боратынской («очень плохо принята!») подтверждают аксаковское наблюдение о сдвиге общественного мнения в сторону «осуждения».

Как же отреагировал на все это Гоголь? В ответном письме Аксакову (от 18 марта н. ст.) он говорит: «Толки о “Женитьбе” и “Игроках” совершенно верны, и публика показала здесь чутье» [XII, 151]. Можно ли было представить такую реплику в устах автора «Ревизора» шестью-семью годами раньше? Тогда, мы помним, он говорил тому же С. Т. Аксакову о «многолюдной, неблагоприятной толпе», а в письме другому москвичу, М. П. Погдину признавался: «Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества...» и т. д. [XII, 43, 45]... Ничуть не обиделся Гоголь и на Павлова и на Загоскина с его «кривой рожой» — напротив: «Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Загоскину > и П<ав-

лову», но чувствую, что они не поверят: подумают, что я поднялся на шутики, или пожалуй примут за насмешку, вроде *кривой рожи*, и потому пусть этот поклон останется между нами» [там же, с. 152; курсив в оригинале].

И не только в отношении «Женитьбы» или «Игроков» обнаруживает Гоголь подобную терпимость к критике — она становится его позицией, стилем поведения.

От письма к письму к разным лицам постоянно звучит одно его требование — нелицеприятной критики. А. С. Данилевскому: «Еще прежде позволительно было шадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать мои слабые стороны; это<го> я требую больше всего от друзей моих» [XII, 110]. А. В. Никитенко, подписавшему цензурное разрешение на печатание «Мертвых душ»: «...Скажите мне все относительно недостатков их. Клянусь, для меня это важно, очень важно, и вам будет грех, если вы что-нибудь умолчите передо мною» [XII, 112]. Гоголь корит Жуковского за то, что тот не сообщил свои впечатления о поэме, — а ведь знает, что «я горю и снедаем жаждой знать свои недостатки»: «Или вы разлюбили меня?» [XII, 113]. А потом, предвкусывая встречу с Жуковским в Германии, потирает руки от удовольствия: «...Дело кажется не обойдется без ругани. Это я люблю...» [XII, 180].

Марии Балабиной в Петербург Гоголь шлет поручение: «Записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, все мненья и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно когда бранят и осуждают меня» [XII, 114]. Вообще друзья Гоголя становятся уполномоченными по сбору разного рода информации, преимущественно негативной.

Но вот что особенно интересно: Гоголь требует не только откровенной и резкой критики, но критики *публичной*, что, как известно, не одно и то же. Слово, сказанное доверительно и с глазу на глаз, воспринимается не так, как осуждение перед лицом многих. Из этого отличия Гоголь делает выводы, но свои.

П. А. Плетнева как будущего рецензента «Мертвых душ» в «Современнике» писатель просит: «Ради нашей дружбы, будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков...» [XII, 115]. И другого рецензента, С. П. Шевырева, написавшего о «Мертвых душах» в «Москвитянине», Гоголь благодарит за критические замечания, ибо, «не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плевую, со всякой дряни» [XII, 117]. Особенно ему понравился вывод Шевырева «о неполноте комического взгляда, берущего только в пол-обхвата предмет», — а ведь это, собственно, напоминало тот дежурный упрек, который сопровождал Гоголя с первых его шагов: мол, смех односторонен, не дает полной картины жизни, искажает

ее, обедняет и т. д. Упрек, заставлявший его прежде вступаться за достоинства комического писателя, напоминать, что «равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых...» [«Мертвые души», I-й том].

Гоголь говорит, что терпимость к критике ему была присуща всегда — это не совсем верно. «Пользу» от «критик Булгарина» он в конечном счете извлекал, но общая его реакция, скажем, на упреки того же Булгарина по поводу «Ревизора» (вместе с другими выступлениями) была далека от спокойствия. Вспомним: «Все против меня <...>. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем...» и т. д. [XI, 38]. По-годин недаром укорял Гоголя в том, что, сердясь «на толки», он сам делается «комическим лицом».

Теперь не так. Гоголь сам просит, почти молит: критикуйте, браните, ругайте. И чем больше, тем лучше! Правда, и раньше в связи с замыслом «Мертвых душ» он говорил: «Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками» и т. д. [XI, 75]. Но эта «вражда» — как неизбежное зло. Теперь — как зло *желаемое* и, следовательно, как добро.

Новое отношение к критике — элемент общего мироощущения Гоголя, создающего свое эпохальное творение. «Мертвые души» скрывают в себе тайну; они не могут раскрыться сразу: «Нет человека, который бы понял с первого раза “Мертвые души”» [XII, 93]. Больше того, они вообще не могут быть до конца поняты, пока не будут завершены, не предстанут всему миру «разом и вдруг». А до тех пор недоуменные вопросы, неудовольствие, фиксирование внимания на противоречиях, раздражение, злость не только неизбежны, но и предопределены общей стратегией замысла.

Так, например, бросается в глаза несоответствие общей лирической стихии, восторженного тона, который порою овладевает автором, и приземленного, низкого, «пошлого» материала. Затем: с одной стороны, намеки на великое предназначение России, на скрытые народные силы, обещание «богатырства»; с другой — нарочитое умолчание, неконкретность ответов, уклонение от объяснений, демонстративное незнание. Читательские претензии на этот счет сообщил автору Константин Аксаков: «*Посмотрите*, — говорил мне один, — *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги.* — Какая? — спросил я выпучив глаза. — *В словах, которыми оканчивается книга.* — Как в этих словах? — *Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа.* — И это говорят серьезно, с искреннюю, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение» [Воспоминания, с. 175; курсив в оригинале]. С точки зрения Гоголя, однако, окончательно «поколебать» это мнение было невозможно, да и не нужно: все станет на свои места с течением времени.

Гоголь — Шевыреву, 28 февраля н. ст. 1843 г.: «...Нельзя упреждать время, нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви) ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть, даже долгого» [XII, 144].

Вот как! Не просто недоумение, вопросы, упреки, но — *ненависть*, причем на долгое время и не случайно, но в качестве обязательного условия («...должна существовать»).

Все это, повторяем, входит в стратегию гоголевского писательского и житейского поведения. «Чему посмеешься, тому послужишь» — эту поговорку И. С. Тургенев применял к Дон Кихоту, интерпретируя «смех» в широком смысле этого слова. Люди отвергают тех, кто отмечен высокими моральными качествами, своих благодетелей, прорицателей, просветителей, духовных вождей. Их высмеивают, третируют, побивают камнями. Это не только неизбежная плата за смелость, за дерзкую попытку говорить правду, но и залог искупления. Благодарность приходит вместе с пробуждением чувства вины перед тем, кого отвергали; вместе с раскаянием, нередко запоздалым.

В глубине гоголевского мироощущения — архетип провидца, визионера, пророка. Еще в 1836 г., объясняя свой отъезд за границу, Гоголь перефразировал известное евангельское выражение: «Пророку нет славы в отчизне» [XI, 41]; ср. «...Никакой пророк не принимается в своем отечестве». — Лк. 4, 24]. С тех пор он жадно ловил примеры, подтверждающие эту истину; один из них — судьба Барклай-де-Толли, о которой Гоголю напомнило пушкинское стихотворение «Полководец», опубликованное в «Современнике» (1836. Т. 3):

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и умиленьи!

В соответствии с такой моделью Гоголь не только не избегает «ругани» и «ненависти», но старается их вызвать, спровоцировать. Не страшит и риск показаться при этом смешным и нелепым: архетип пророка естественно сближается с архетипом юродивого — юродивого Христа ради.

В этом свете оформляется гоголевская идея паломничества в Иерусалим. С течением времени, буквально до самого отъезда, ее мотивы будут меняться — нас пока интересует их начальная стадия.

Впервые, мы помним, о намерении отправиться к гробу Господню Гоголь объявил в начале 1842 г. в Москве Иннокентию, испросив у него благословение. Тайны из своих планов Гоголь делать не стал:

в те же дни он расскажет обо всем Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне, несколько позже сообщит в письмах Данилевскому и Н. Н. Шереметевой, которая уже получила известие от Аксаковых. Но сроки начала путешествия называл различные — от двух и более лет. По-разному отвечал и на вопрос, как он должен подготовиться к паломничеству. Ольга Семеновне, попросившей его составить «описание Палестины», Гоголь сказал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надо очиститься и быть достойну» [Воспоминания, с. 147]. Шереметевой же, которая, по-видимому, со слов Аксаковых, повторила эту версию, Гоголь стал решительно возражать: «А что я не отправляюсь теперь в путь, то это не потому, чтобы считал себя то того недостойным. Такая мысль была бы вполне безумна, ибо человеку не только невозможно быть достойным вполне, но даже невозможно знать меру и степень своего достоинства. Но я потому не отправляюсь теперь в путь, что не приспело еще для этого время, мною же самим в глубине души моей определенное» [XII, 133]. «Не приспело время!» — это становится решающим аргументом назначения срока путешествия, который если и обуславливается еще чем-то другим, то лишь фактором завершения «Мертвых душ». И в письме Иннокентию (22 мая 1842 г., Москва), вскоре после полученного от него благословения на поездку: «В Риме я пробуду никак не менее двух лет, то есть пока не кончу труд, а там в желанную дорогу!» [XII, 63]. Так устанавливается прямая связь между гоголевской поэмой и паломничеством к гробу Господню.

Внешне эта связь интерпретируется Гоголем преимущественно в том смысле, что завершение «Мертвых душ» — прямое *условие* паломничества, подготовка к нему, выполнение наложенного на себя обязательства: «Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением» [XII, 133]. Но существовал и иной, более глубокий уровень этой связи, заключающийся в особом рода *соотношении*, с одной стороны, «Мертвых душ», с другой — путешествия в Святую землю. Между поэмой как явлением художественным и посещением Иерусалима как фактом поведения возникало особое рода внутреннее *подобие*, которое должно было быть уловлено читателями, произвести на них впечатление, — все это входило в гоголевскую стратегию. Сам же автор пока не столько формулировал и определял это подобие, сколько намекал на него, выставлял его признаки, — и, быть может, полнее всего он это сделал в письме С. Т. Аксакову, отправленном вскоре после отъезда из Москвы, 6(18) августа 1842 г. из Гаштейна.

Дело в том, что Сергей Тимофеевич заподозрил в гоголевской идее путешествия признаки чрезмерной экзальтации, «нервного состояния» [Воспоминания, с. 146] — тем самым была поставлена под сомнение сама моральная мотивация поступка. Чутко уловив эти подозрения, Гоголь заострил их, перевел их в своего рода диагноз («...не ханжа ли он, не безумный ли он?»), но для того, чтобы тотчас же его

опровергнуть, то есть констатировать внешне непримиримое, а на самом деле *кажущееся* противоречие: «Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Мою характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей, и жизни, одним словом всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему¹³⁹ и смешашему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном Мертвым душам, лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? Так может быть, вы примиритесь потом с сим лирическим движением самого автора <...>. Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погрешками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит?» [XII, 96].

Итак, мысль о паломничестве так же должна была поразить (и поразила, по мнению Гоголя) читателей, как лирическая восторженность в первом томе поэмы. Ибо эта восторженность, казалось бы, ничем не поддержана, не обеспечена материалом, возникает из ничего. И автор тоже, казалось бы, только привержен комической стихии, не ставит перед собой никаких высоких целей; он подобен шутовской повозке — снова недвусмысленное сближение с шутком или юродивым Христа ради, — откуда же взяться высоким намерениям, напоминающим обет средневековых рыцарей, которые направлялись к гробу Господню?

Следовательно, элемент неожиданности так же неотъемлем от гоголевского поведения, как и от течения событий в его поэме. И еще элемент чуда... «Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все, и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес» [там же]. Это о чем идет речь? О «чуде», которое явят миру «Мертвые души»? Или о чудесном поступке их автора? О том и о другом одновременно.

Еще одна многозначительная деталь в объяснениях Гоголя по поводу его поездки. «...Если б даже и не могло заключаться в ней никакой обширной цели, никакого *подвига* во имя любви к братьям...» и т. д. Обратим внимание на уступительный оборот в этой фразе: Гоголь снисходительно допускает, что «подвиг» все-таки налицо, приоткрывая еще один архетип своего сознания, в котором дальнейшее путешествие выступает в ореоле большого риска и самопожертвования. «...Мне

всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитаться где-то вдали от нее» [VIII, 450]. Это сказано еще в связи с внезапной поездкой Гоголя в Германию в 1829 г. И теперь вновь оживилось ощущение трудного испытания, сопряженного с дальней дорогой, тем более что она ведет к гробу Господню.

Во времена Гоголя это путешествие вовсе не сулило тех невзгод и неожиданностей, что в эпоху крестовых походов. Тем не менее, учитывая физическое и душевное состояние писателя, Аксаковы не скрывали своего беспокойства, что, кажется, было ему по сердцу, так как укрепляло ощущение подвига. Это был опять-таки двойной подвиг, литературно-творческий и поведенческий, завершения «Мертвых душ» и осуществления чисто-житейского, жизненного события.

Но действительно ли — *завершения* поэмы? Да, Гоголь определенно говорил, что путешествие будет предпринято только «по *совершенном* окончании труда», то есть после написания не только второго, но и третьего тома. Но вместе с тем он понимал, как много времени это потребует, если только на первый том ушло пять лет; отсюда колебания в ответе со сроками — то два, то десять, то пять лет. Десять лет, исходя из гоголевского опыта, было бы наиболее реалистичным сроком (ср. и в упомянутом письме Данилевскому фразу о «самом продолжительном удалении из отечества», то есть более долгом, чем предыдущее, продолжавшееся пять лет), однако писатель, видимо, надеялся, что творческое расположение к труду, прилив вдохновения позволят сократить время.

Но не зная окончательных сроков, Гоголь твердо знает, каков заключительный аккорд путешествия: «...Возврат мой возможен только через Иерусалим». Как Божии помазанники, апостолы потекли из Иерусалима по всему свету нести благую весть, так и Гоголь должен явиться в Россию прямо из святого града. И это снова будет двойное освящение — главной гоголевской книги и его самого, его облика, душевных качеств, человеческой сущности, наконец, совершенного им поступка, одновременно писательского и житейского.

Гоголевское письмо С. Т. Аксакову с изложением мотивов путешествия имело последствия. Ольга Семеновна в своем ответе (он не сохранился, но содержание его косвенно отражено в следующем письме Гоголя), высказав восхищение намерениями писателя и его душевными качествами, сообщила о том, что разрешила снимать копию с письма, и передавала реакцию других лиц, по-видимому, столь же позитивную. Все это не понравилось Гоголю. Вообще-то он и сам иногда побуждал своих корреспондентов читать и перечитывать свои письма и снимать с них копии (так, в письме к матери от второй половины марта — апреля 1843 г. — [см.: XII, 177]), но это в том случае, когда дело ограничивалось наставлениями и советами. В отношении же упомянутого письма Гоголь действительно просил Аксаковых сохранить

тайну, так как делал такие признания, приоткрывал такую перспективу своего жизненного пути, которая должна была поразить неожиданностью и в то же время непреложностью.

Но что же делать, если птица уже вылетела? «Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть прежде не говорит о нем и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу и больше ничего!» Аксаковы словно и сами должны вернуться в прежнее состояние — полного неведения, и это на «четыре года» — новый срок, который устанавливает Гоголь для исполнения своего плана.

Гоголь строго дозирует допускаемые в отношении его похвалы, отфильтровывает их. «...Не хвалите меня перед другими <...>. Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то в роде святости и совершенства. Ради Бога не думайте так, это грех <...>. Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть» [XII, 124]. Конечно, Гоголь желал бы услышать о себе похвалы более высокие, чем «добрая душа», но они должны возникнуть исподволь, естественно, когда обществу вдруг и сполна откроется, что же такое «Мертвые души» и их автор.

И наконец, еще один поворот гоголевского объяснения. Настаивая на выполнении своей просьбы, Гоголь добавляет: «Просьба отсутствующего должна быть священна». И почти одновременно в другом письме к неустановленному лицу: «Мои слова должны теперь иметь силу, ибо я <от> вас отдален. Они подобны голосу из-за гроба, завещанью из гроба и должны быть священны» [XII, 128]. Гоголь начинает проигрывать, примеривать к себе ту архетипическую ситуацию, когда путешествие в дальние страны, в чужое пространство приравнивается к смерти, а возвращение — к воскрешению. Гоголь старается извлечь из этой ситуации все преимущества — психологические, мотивационные, риторические.

Смерть подводит черту деятельности человека, выставляя ее целиком, в полном объеме и значении, отделяя главное от второстепенного. Смерть обуславливает чувство непоправимой вины перед ушедшим, ощущение несправедливости былых приговоров и оценок. Поэтому Гоголь апеллирует к фактору удаления (= смерти) как последнему, решающему аргументу, неопровержимому оправданию. Сложность, однако, в том, что Гоголю хотелось бы и самому «подсмотреть» в щелочку, как все это произойдет после его «смерти»... Через несколько лет он вновь обратится к этой ситуации и проиграет ее в «Выбранных местах из переписки с друзьями»...

В таком умонастроении писатель знакомится с присланной ему в Рим брошюрой К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (подпись под текстом: Москва, июня 16, 1842).

Суть аксаковского мнения в том, что «Мертвые души» являются собою воскрешение древнего «эпического созерцания», а это значит — широты, всесторонности, многогранности изображения. Тайна искусства есть в то же время тайна жизни; Гоголь ничего не искажает, не привносит своих субъективных мерок, он всецело верен предметам и явлениям, от великого до малого: «...И муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от Заседателя до Чубарого, и даже бричка — все это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства». А значит, можно ожидать от поэмы радикального открытия, причем не только художественного, но исторического, как сейчас говорят, судьбоносного: «...Уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно?» [Аксаков К., с. 78, 79].

Похвала Константина Аксакова прозвучала в ряду других похвальных отзывов (Шевырева, Плетнева), которые Гоголь в общем принял, несмотря на декларируемое им желание услышать главным образом упреки — как можно больше упреков. Больше того — это была, пожалуй, самая сильная, самая радикальная похвала. И высказана она была в контексте полемики со столь ненавистным славянофилам Белинским, — а это все факторы, которые, по мнению и Константина и, скажем, Сергея Тимофеевича, должны были расположить Гоголя к упомянутой брошюре и последовавшему затем «Объяснению» того же автора [М. 1842. № 9]. Но ожидания эти не оправдались. В чем же причина?

Первым о статье Константина сообщил Гоголю Сергей Тимофеевич (в письме от 5 июля), добавив, что ее публикацию в «Москвитянине» приостановил Погодин (позже выяснилось, не Погодин, а Шевырев) и поэтому она выйдет отдельно. Погодин же удостоился таких слов: «...Будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего...» [Воспоминания, с. 159]. Однако Гоголь, еще не прочитавший брошюру, заочно взял сторону Погодина. Отпустив Константину Аксакову комплимент (мол, он «уверен, что критика его точно определит значение поэмы»), Гоголь, тем не менее, заметил, «что Погодин был отчасти прав, не поместив ее», и посоветовал напечатать ее позже, а еще лучше, «переписавши ее на тоненькой бумашке для удобного вложения в письмо» [XII, 93], переслать ее прямо в Рим, то есть, другими словами, оставить не напечатанной. Гоголь явно опасался невыгодного впечатления от брошюры, причем не только, как он уверял, для ее автора, но и для себя. Правда, Сергей Тимофеевич в том же письме (от 5 июля) давал, что ли, гарантии Гоголю: «Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение...» [Воспоминания, с. 159]. Однако Гоголь по собственному опыту хорошо знал, что Константин способен впасть в излишества; кроме того, он доверял эстетическо-

му вкусу и Погодина (имевшие место в это время житейские размолвки с ним — другое дело) и тем более Шевырева.

Затем Гоголь пишет уже непосредственно Константину Аксакову (около 29 ноября н. ст.), отвечая на его письмо. О самой брошюре не упоминает ни словом («потому что не получил ее»), зато сполна развивает мотив излишеств Константина — и так резко и откровенно, как это нечасто случалось. Гоголь затрагивает саму суть его славянофильских убеждений, выразившихся в символическом, «знаковом» понятии «Москва»: «Я не прошу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. До нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы жить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству <...>. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всеу?» [XII, 125]. Гоголь словно заходя хочет развеять и ту атмосферу «излишеств», которую Константин Сергеевич создал вокруг «Мертвых душ». Тут особенно выразительно упоминание о том, что в бытность Гоголя в Москве он наблюдал, как иные «смеялись этому излишеству»: автора «Мертвых душ» вовсе не привлекает перспектива стать вместе с Константином Аксаковым предметом насмешки¹⁴⁰.

Затем Гоголь прочитал брошюру, и она, к сожалению, оправдала его ожидания. Этим, очевидно, вызван перерыв в переписке, встревоживший Аксаковых. Наконец, Сергей Тимофеевич не выдержал; в письме от 6—8 февраля 1843 г. он вызывает Гоголя на откровенность: «...Я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать». Сергей Тимофеевич готов признать, «что это ошибка, и не маловажная: с его стороны написать, а с моей — позволить печатать»; называет себя «седым дураком», который не смог разобраться в ситуации [Воспоминания, с. 182—183]. Эти признания сыграли роль бумеранга; в письме от 18 марта н. ст. Гоголь просит Сергея Тимофеевича сказать Константину, что он «и не думал сердиться на него за брошюру; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли» [XII, 151]. И чуть позже, 24 мая н. ст. самому Константину Сергеевичу: в его брошюре и последовавшем за ним «Объяснении» — «не прогневайтесь — видно много непростительной юности» [XII, 186]. В мягкой форме Гоголь высказал критику очень обидные вещи, приоткрыв саму суть своего несогласия и раздражения.

На первый взгляд кажется, что все сводится лишь к недостаточной зрелости и непродуманности, то есть манере изложения. Но это тот случай, когда тон делает музыку. В самом деле, авторы и других статей о «Мертвых душах», Шевырев, Плетнев или Белинский, полемизировавший с Константином Аксаковым, рассматривали гоголевскую поэму на широком фоне, проводили параллели к великим представителям мировой литературы. Но Константин Сергеевич не ограничился параллелями и сопоставлениями: «...Только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; *только* Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства» [Аксаков К., с. 83; курсив в оригинале. — Ю. М.]. Гоголю и самому не было чуждо ощущение своей исключительности и избранности; но объявить об этом так безапелляционно, прямо, громко, неуклюже... И это в то время, когда он призывал отыскивать в нем «побольше недостатков», критиковать его беспощадно и публично, на виду у всех!

Какие бы затем оговорки и уточнения ни вносил Константин Аксаков, получалось так, что вся история мировой литературы выстраивалась им в перспективе, ведущей к гоголевской поэме как к ее высшей единственной точке, завершению. И это завершение не только художественное, но и понятийное, мыслительное, философское, коли критик говорит о скрывающейся в глубине произведения «тайне русской жизни». Эти-то слова и должны были больше всего насторожить Гоголя именно потому, что они тесно соприкасались с его собственным мироощущением. Да, он хотел высказать нечто существенно важное для судьбы русского народа, а в его лице и всего современного человечества, но это открытие должно быть результатом долгого и напряженного процесса. И именно он, автор, сделает и сформулирует это открытие. Никто не понял «Мертвые души»! — звучало в статье Константина Аксакова. Гоголь и сам говорил нечто похожее («...Нет человека, который бы понял с первого раза...»), но он не хотел, чтобы и Константин Сергеевич заявлял или делал вид, что понял. Только он, Гоголь, способен раскрыть тайну, — но не раскрывает, потому что не пришло еще время. А когда придет, то все услышат ее не от посредника, а от самого автора, «потому что многое может быть понятно одному только мне» [XII, 93].

Соображения Константина Аксакова казались Гоголю рискованными еще и потому, что высказывались в контексте формирующегося славянофильства и его противоборства с западничеством. Славянофилы в большей степени, чем западники, претендовали на обладание ответами. Вспомним слова Белинского, сказанные о «Мертвых душах» как раз в связи с полемикой с аксаковской брошюрой: мол, «пафос поэмы» «состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, *доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения*» [Белинский, т. 6, с. 431; курсив в оригинале. —

Ю. М.]. А славянофилы уже в значительной мере знали, в чем это «определение». Значит, получалось, что они знали, какое «определение» даст Гоголь; знали и то, что оно совпадет с их собственным. Но этого-то автор «Мертвых душ» и не хотел, стремясь сохранить самостоятельность и «надпартийность» своего ответа.

И поэтому он долго будет таить раздражение против выступлений Константина Аксакова и даже скажет в письме Сергею Тимофеевичу (22 декабря н. ст. 1844 г.), что тот «опозорился в глазах света на мне (написавши статью о “Мертвых душах”)...» [XII, 407].

«РАЗЪЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ»

Весною 1843 г. Гоголь покинул Рим. Уехала и Смирнова-Россет — она направлялась в Неаполь. Еще раньше уехал Галаган. Из гоголевского окружения остались только Иванов, Иордан и Чижов.

Языков отправился вместе с Гоголем, часть пути они должны были проделать вместе, затем Языков — вернуться в Россию, а Гоголь — продолжить путешествие по Западной Европе. «...У меня начинается в продолжение лета разъездная жизнь...» [XII, 184], — писал он Н. Н. Шереметевой.

Мотивы, по которым Гоголь оставлял Италию, — обычные: спасался от приближающейся южной жары, с помощью дороги хотел подготовить себя к интенсивной работе над поэмой (в Риме, считал он, второй том почти не продвинулся вперед). Мечтал и о встрече с Жуковским, с которым не удалось увидеться по выезде из России; а ведь тот еще не изложил свои впечатления от прочитанного первого тома «Мертвых душ».

Гоголь и Языков выехали из Рима 2 мая^[41], в холодную, дождливую, ветреную погоду. «Два дня отдыхали во Флоренции, потом на Болонью, Модену, Верону, Боцен, Инспрук, Зальцбург — кое-как, с переночевками, отдыхающими...» (Н. М. Языков — А. М. Языкову, <6>(18) мая 1843 г. — [ЛН. Т. 58. С. 658–660]). Менее чем через две недели, 14 мая были уже в хорошо знакомом и обжитом обоими Гаштейне.

По словам Языкова, Гоголь «торопится крайне», а «куда — сам не знает; просидит здесь (то есть в Гаштейне) неделю, потом в Дюссельдорф. Мне кажется, что ему просто некуда деваться, и потому-то естественно он ко мне вяжется» [там же, с. 660]. В действительности Гоголь знал, куда ему держать путь: еще в Риме, за день-два до отъезда, он получил ободряющее письмо от Жуковского, начинающееся не холодным обращением «Николай Васильевич!», но привычным и ласковым, как в петербургскую пору, — «любезный Гоголек». Из этого письма Гоголь вывел, как он говорит, «возможность будущего нашего прожития вместе в Дюссельдорфе»; потому-то и наметил себе этот город. Он рассчитывал пробыть здесь долго, «часть зимы» [XII,

186], проводя с Жуковским время в ежедневном труде: один над «Мертвыми душами», другой — над переводом «Одиссеи».

Оставив Языкова в Гаштейне, Гоголь около 23 мая н. ст. приехал в Мюнхен, где провел несколько дней. Здесь он встретился с молодым историком, славянофилом А. Н. Поповым, сообщившим новейшие сведения о судьбе Михаила Бакунина [см. об этом с. 605], и с Ф. А. Моллером, который привез из Петербурга давно ожидаемую Гоголем посылку: три тома его Сочинений и выдерки из журналов с откликами о «Мертвых душах», в том числе и статью Белинского [Шенрок, т. 4, с. 54]. Моллер провел вместе с Гоголем три дня — обсуждали вопрос о том, как помочь Александру Иванову: академическое начальство настаивало на его приезде в Петербург для участия в росписи Исаакиевского собора, в то время как состояние здоровья (болезнь глаз) требовало продолжения лечения в Риме. Гоголь посоветовал держаться тактики проволочек — никуда не ехать, «чтоб дать время всему успокоиться» [ЛН. Т. 58. С. 662].

Гоголь несколько изменил свой маршрут — из Мюнхена через Штутгарт направился во Франкфурт, узнав, что здесь Жуковский. Гоголь нашел его «в здоровье самом надлежащем», посвежевшим и деятельным — поэт закончил две песни из «Одиссеи» и еще две повести в стихах и без рифм: «Маттео Фальконе» и «Капитан Бопп»; первую повесть, между прочим, Гоголь для отправки в Петербург, в «Современник», переписал собственноручно. И еще Жуковский поразил «милого Гоголька» видами на какое-то другое «большое сочинение». «Словом, Жуковский так себя ведет, как дай Бог и нам всем, которые его гораздо помоложе» [XII, 191], — сообщает Гоголь Языкову не без укора ему и самому себе.

Между тем для Гоголя продолжалась «разъездная жизнь». Побывал в Висбадене (10 июня н. ст.); ездил в Дюссельдорф (15 и 20 июня н. ст.), чтобы забрать на почте письма; но большую часть времени провел на курорте в Эмсе — «для компании Жуковскому, который здесь по причине лечения жены» [XII, 195].

Запись в курортной книге позволяет точно установить, что приехал Гоголь в Эмс к 11 июня, а уехал до 5 июля; зарегистрировался как «Particulier (то есть частное лицо) aus Moskau» и жил на Mainzer Strasse в маленьком скромном домике под названием Grüne Laube, вмещавшем лишь небольшое количество гостей [Хюбнер, с. 12].

В Эмсе Гоголь оказался свидетелем объяснения Н. И. Греча с Жуковским. Тот прибыл в Эмс 20 июня [ЛН. Т. 58. С. 690] и затеял разговор по поводу юбилея И. А. Крылова.

Дело было давнее: торжественный обед в честь пятидесятилетия литературной деятельности Крылова проходил 2 февраля 1838 г. в зале Благородного собрания в Петербурге. Гоголь, проживавший в это время в Риме, был подробно осведомлен обо всем происходившем из письма Н. М. Смирнова. В частности, знал он и о вспыхнувшем сканда-

де — «Греч и Булгарин отказались быть на этом обеде» [XI, 149]. А отказались они, согласно Гречу, потому, что министр народного просвещения Уваров исключил из числа устроителей праздника нескольких лиц, в частности Греча, «и назначил на место их Жуковского, князя Одоевского и еще кого-то из своих клеветов» [Жуковский, 1999, с. 233]. Таким образом, в имевшей место несправедливости Греч прежде всего обвинял Уварова и косвенно Жуковского, оказавшегося в числе «клеветов». Очевидно, все это и составило содержание разговора Греча с Жуковским.

Заметив в своих воспоминаниях, что «это объяснение происходило в присутствии Гоголя», Греч продолжает: «...Жуковский, по случаю того же юбилея, чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упомянул с теплым участием о Пушкине, которого Уваров ненавидел за стихи его на выздоровление Шереметева (то есть “На выздоровление Лукулла”. — Ю. М.). Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и настоял на том, чтоб речь его (не помню, где именно) была напечатана вполне» [там же, с. 234]¹⁴².

Что в этом эпизоде могло прежде всего обратить на себя внимание Гоголя? Конечно, напоминание о неприязни Уварова к Пушкину, которая невольно распространилась и на него. Гоголь считал, что он пользуется нерасположением могущественного вельможи, по крайней мере, с появления «Ревизора»...

В Эмс же из Бадена должна была приехать и Смирнова-Россет, чтобы увидеться с Жуковским и Гоголем, но с последним она разминулась: тот как раз в это время отправился в Баден для встречи с Александрой Осиповной, и таким образом вместо самого Николая Васильевича она вскоре получила его «комическое» письмо.

«Каша без масла, — говорилось в том письме, датируемым 4 июля н. ст., — гораздо вкуснее, нежели Баден без вас. Кашу без масла все-таки можно как-нибудь есть, хоть на голодные зубы, но Баден без вас просто нейдет в горло. <...> Чтобы отвести душу, я захожу иногда к Надежде Николаевне. Здесь только в разговоре с нею о старине находим мы некоторое наслаждение. Я нахожу, что она нимало не изменилась в чувствах своих ко мне. Встреча наша была радостна необыкновенно. Крик был с обеих сторон; поцеловались мы весьма крепко» [XI, 203–204]. Гоголь обыгрывает фразу из «Мертвых душ» о встрече Чичикова и Манилова: «Поцелуй с обеих сторон были так сильны, что у обоих весь день почти болели зубы»... Но кто же эта Надежда Николаевна, утешавшая Гоголя воспоминаниями «о старине», то есть о жизни в Риме в первые месяцы того же 1843 года? Трехлетняя дочь Смирновой Наденька, которую вместе прислугой она оставила в Бадене дожидаться своего возвращения.

В таком же «комическом» ключе Гоголь упоминает и о другом родственнике Александры Осиповны — Аркадии Россете. Тот в это время лечился в Гrefенберге, в Силезии, у знаменитого доктора, одного из основателей гидротерапии Винсента Присница (Призница). Речь собственно идет о процедуре лечения, которая под пером Гоголя приобретает такой вид: «Призниц сажает его на целые четверть часа бригадиршею в воду, холодную, какую только когда-либо выносил человек, до того, что он уже не чувствует, есть ли у него бригадирша или нет. После чего приказывает взять лентух, то есть привязать мокрую тряпку к животу. И Аркадий Осипович с лентухом и отмороженной бригадиршею бежит во весь дух в горы. Там набегавшись вдоволь, возвращается с нестерпимым аппетитом и поедает множество булок» [XII, 204]. Письмо дает представление о стиле гоголевских бесед со Смирновой в это время — как видим, писатель не всегда придерживался медитативного и наставительного тона...

Гоголь хотел остановиться в Бадене «только на одну неделю» [XII, 207], а прожил больше, почти весь июль и часть августа, благо вскоре Александра Осиповна вернулась из Эмса.

В Бадене в это время собралось много именитых русских; Смирнова называет великого князя Михаила Павловича и его жену великую княгиню Елену Павловну, товарища министра юстиции графа Василия Александровича Шереметева, графа Александра Петровича Толстого (вскоре он станет одним из ближайших друзей Гоголя) с женою Анною Егоровной Толстой (урожденной княжной Грузинской), дочь вице-президента Валахии княгиню Клеопатру Константиновну Трубецкую и др. [Смирнова, 1989, с. 53]¹⁴³.

Гоголь, правда, по своему обыкновению, старался с приезжими русскими не сблизиться (о несостоявшемся представлении его великой княгине Елене Павловне уже упоминалось) и «почти всякий день» проводил у Смирновой. Но, добавляет мемуаристка, «не бывши почти ни с кем знаком, Гоголь знал почти все отношения между людьми и угадывал многое очень верно» [там же, с. 38]. И в другом месте: «Гоголь меня все расспрашивал о русских и знакомых мне французах. Иногда ходил в Hotel d'Angleterre обедать и потом таскался на террасе и на рулетке <...>. С террасы он принес целый короб новостей: кто прячется за кустами, кто амурится без зазрения совести, кто проиграл, кто выиграл и гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы...» [там же, с. 54–55].

Не обошлось и без прозвищ. Так, подметив у одной из знакомых Смирновой княгини Леони де Бетюн волчий аппетит, Гоголь сказал, что «это просто Бетюнище».

В бытность свою в Баден-Бадене Гоголь совершил поездку в Карлсруэ, чтобы повидаться с Мицкевичем; это была их третья встреча — вслед за парижской (конец 1836 — начало 1837 г.) и женеvской (осень 1837 г.). После женеvской встречи имела место предпринятая польскими

ксендзами неудачная попытка обращения Гоголя в католичество, о чем Мицкевич, конечно, знал. Но показательно, что все произошедшее не омрачило его отношения с Гоголем.

Встреча обоих писателей интересна и в свете того литературного начинания, которое в это время предпринял Мицкевич. Занимая с 1840 г. кафедру славянских литератур в парижском Коллеж де Франс, он год за годом читал курсы лекций по этой специальности (предпоследний, третий курс состоялся в конце 1842 — начале 1843 г.). Лекции отличались глубоко уважительным отношением к русским писателям, прежде всего к Пушкину, пронизаны были мыслью о общей судьбе славянских народов. Особенно выделялась в этом отношении лекция, прочитанная 27 июня 1843 г., незадолго до встречи с Гоголем: Мицкевич говорил, что нарождается «новый дух», и «в этом духе чех, поляк и русский должны увидеть, что они братья» [Валицкий, с. 133].

Все это производило сильное впечатление на слушателей и читателей (записи лекции имели широкое хождение), как французских, так и иностранных. Сент-Бев писал 18 января 1841 г. Р. С. Стурдзедлинг, что Мицкевич «шегольнул таким беспристрастием, что и русские могут слушать его...» [ЛН. Т. 33–34. С. 431; публикация А. Марковича]. И русские слушали и восхищались; Ф. И. Тютчев обратился к Мицкевичу с стихотворным посланием, в котором называл его «мужем примиряющей любви» [ЛН. Т. 97. Кн. 1. С. 173; публикация Ксении Костенич]. Восхищенные отзывы исходили и от людей, с которыми встречался Гоголь, от А. И. Тургенева или Ф. В. Чижова. В частности, Тургенев, чуткий к проявлениям разного рода ксенофобии и национализма, писал 9(21) апреля 1842 г. К. С. Сербиновичу, что «Мицкевич переродился или возродился: беспристрастие к Польше и к России неимоверное» [РС. 1882. Т. 34. № 4. С. 193].

Очевидно, и беседы Мицкевича с Гоголем в Карлсруэ протекали в духе «примиряющей любви» его парижских лекций. «Вернувшись, он (Гоголь) мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Петербурге с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии» [Смирнова, 1989, с. 54].

Пребывание Гоголя в Баден-Бадене запомнилось Смирновой и тем, что чуть ли не каждый день после обеда он читал ей «Илиаду». Гоголю это было необходимо для художнического настроения в предчувствии интенсивной работы, а вот Александре Осиповне такие чтения изрядно надоели. Гоголь «сердился, оскорблялся и рассказывал Жуковскому, что я на “Илиаду” топаю ногами» [там же, с. 39].

Отъезд писателя из Баден-Бадена был отмечен эпизодом вполне в гоголевском духе. Один из приезжих русских князь Петр Владимирович Долгоруков (1816–1868), публицист и историк, чиновник Министерства народного просвещения, попросил Смирнову познакомить его со знаменитым автором «Мертвых душ». «Гоголь уже простился тогда с нею, — рассказывает со слов Александры Осиповны биограф

писателя, — и должен был через минуту проехать мимо в дилижансе. Но сколько она ни звала его, чтобы обернулся к ней, Гоголь, заметивши, видно, с нею князя, сделал вид, что ничего не слышит и таким образом уехал...» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 4–5]. Но, возможно, такое манкирование объяснялось не только свойственным Гоголю стремлением сторониться малознакомых людей, но и репутацией Долгорукова. В то время он подозревался в сочинении анонимного пасквиля против Пушкина, причем активной сторонницей этой версии была Смирнова-Россет, а как относился Гоголь к виновникам гибели поэта, — мы знаем¹⁴⁴.

Упомянутый эпизод мог иметь место до 29 (17) августа — в этот день Тургенев сообщил Вяземскому, что накануне его приезда в Баден-Баден Гоголь отправился вместе с Жуковским в Дюссельдорф [ОА. Т. 4. С. 258]. Здесь он проживет более двух месяцев. Сбылась его мечта — остановиться у Жуковского на более или менее длительное время, чтобы спокойно заниматься литературным трудом.

Дом, где обитал Жуковский с женою и ее родными, располагал к труду и размышлению. «Прекрасный вид расстилался с верхнего балкона на Рейн. К обеду и вечером сходились они все вместе; днем Жуковский проводил в своем кабинете, общем с женою, для поэтических работ своих. Маленький садик <...>, за ним огород, снабжавший стол друзей необходимыми овощами; с другой стороны простирался парк. Двенадцать комнат, из которых три довольно большие, составляли общую их квартиру. Домик был убран изящно: картины, скульптурные произведения украшали его комнаты...» [Загарин, с. 572–573].

Жуковский продолжал успешно работать над переводом «Одиссеи», а вот гоголевская поэма продвигалась медленно; если она и писалась, то урывками, от случая к случаю. Длилась непредвиденная пауза, «антракт», который писатель старался заполнить чтением. «Это всегда случается со мною во время антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу читать), и потому этим временем я стараюсь воспользоваться и захватить побольше всего, что нужно» [XII, 226]. А «нужны» были комплект журнала «Христианское чтение» («...там не только прекрасные переводы всех почти отцов церкви, не только много драгоценных отрывков из рассеянных летописей первоначальных христиан, но есть много оригинальных статей...». — [XII, 220]), сборники проповедей религиозного деятеля XVII в. Лазаря Барановича, сочинения церковного и политического деятеля Петровской эпохи Стефана Яворского, затем «Розыск о раскольнической брынской вере, учении их и о делах их» церковного писателя XVII–XVIII вв. Димитрия Ростовского, а также издававшееся с начала 1840-х годов «Полное собрание русских летописей...». Из литературных журналов Гоголь особенно интересуется «Москвитянином», а в нем — статьями Шевырева.

К современным же философским течениям Гоголь равнодушен, полагая, что они проистекают из моды и ограничены злобой дня. «Ог-

лянешься: уж на место одного — другое: сегодня гегелисты, завтра шел<л>ингисты, потом опять какие-нибудь *исты* <...>. Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары» (из письма Шевыреву, 20 сентября н. ст. 1843. — [XII, 214]). Гоголь соотносит все со своим главным трудом, ведь и «Мертвые души» посвящены «утверждению вечного».

Но для этого труда ему нужен и конкретный материал современной российской жизни, разные типические случаи и характерные детали; с этой целью он вновь обращается к своим корреспондентам за помощью. Прежде его интересовали «какие-нибудь казусы», случающиеся «при покупке мертвых душ», то есть случаи злоупотребления и аферы. Теперь его занимает весь объем деятельности должностного лица или помещика, включая в первую очередь позитивные результаты этой деятельности. Своему старому знакомому черниговскому помещику Николаю Даниловичу Белозерскому, занимавшему одно время место уездного судьи, Гоголь задает такие вопросы: «отправляете ли вы доныне судейскую вашу должность и что удалось вам в ней сделать *хорошего* и *полезного*?»; «какие главные и доходливые статьи вашего хозяйства?»; «что вам удалось, или вашему брату, сделать *хорошего* по этой части в продолжение вашей жизни в деревне?»; «каковы ваши соседи и кто *замечательнее* вообще из борзенского дворянства?» [XII, 208–209].

В Дюссельдорфе Гоголь отреагировал на выступление Белинского в связи с брошюрой Константина Аксакова. Позиция Аксакова, мы помним, писателя не удовлетворила, но и возражения Белинского он не принял. Прочитав его «Объяснение на объяснение...» (Отечественные записки. 1842. № 11), Гоголь писал Шевыреву 1 сентября н. ст. 1843 г.: «Белинский смешон». Гоголь не стал объяснять, чем конкретно «смешон» критик в этом споре, остановившись исключительно на содержащейся в той же статье оценке «Рима». Мол, Белинский «хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж <...>. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей <...>. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность» [XII, 211]. И эти слова косвенно соотносены с главным гоголевским произведением: Россия — «живущая и современная нация»; поэма должна указать на ее скрытые возможности, но не прямо, не декларативно, даже не эмблематически — не с помощью положительных персонажей только. Ни с кем из них Гоголь идентифицировать себя не будет, возвысившись над всеми ими и над «вихрем нового общества» в целом. Только так осуществится цель поэмы — раскрытие тайны русской жизни.

Между тем приближался срок, когда был обещан реальный результат, когда надо было предъявить нечто осязаемое — рукопись и книгу. Гоголь видел зыбкость этого срока; ничего так не травмировало его, как вопрос, когда будет закончен второй том, или напоминание, что надо поторопиться, или подозрение, что этот том вовсе и не написан. «Точно М<ертвые> д<уши> блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хоть замечательного. Что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Вся жизнь, ни больше, ни меньше» (Н. Я. Прокоповичу, 28 мая н. ст. 1843 г. — [XII, 187]). Уже здесь невольно предполагается такая «пролонгация» срока, когда создание книги жизни хронологически совпадает с самой жизнью — увы, все это в биографии Гоголя осуществилось с лихвой: ему даже не хватило жизни....

Но как найти вдохновение, если оно не приходит? Нужно приневоливать себя, заставлять: «чего не поищешь, того не найдешь, говорит пословица». Стремление же есть молитва — молитва «от всех сил души и всеми силами души; без того она не взлетит». И Гоголь делится «душевым открытием», которое он сделал, — «это то, что в душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастиями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать большие и сильнейшие» [XII, 233, 235]. Это все адресовано Н. М. Языкову, вернувшемуся в Москву и пассивно ожидающему, когда подойдет «время писанья и работы»; но все гоголевские наставления другим невольно рассчитаны на роль бумеранга, возвращающегося к нему самому. Гоголь приводит себя в порядок, мобилизует душевные силы, готовясь к решающему этапу работы.

После отъезда из Дюссельдорфа Жуковский сообщил Н. Н. Шереметеву 6(18) ноября 1843 г.: «Он отправился от меня с большим рвением снова приняться за свою работу и думаю, что много напишет в Ницце» [Жуковский, 1878, т. 6, с. 504].

Направляясь в Ниццу, Гоголь, можно сказать, возвращался к своей «душечке»-Италии: этот город на Лазурном берегу принадлежал тогда Сардинскому королевству; с Францией он восоединится спустя 17 лет.

НИЦЦА

 Однако по дороге в Ниццу Гоголь испытал очередной неожиданный приступ болезни, какой именно — осталось не известным. «...Гоголь заболел в Марселе так ужасно, — рассказывала Смирнова, — что не надеялся дожить до утра и с покорностью ожидал смерти. Он чувствовал, как смерть к нему приближалась, и встречал ее молитвами. Утром он чувствовал большую слабость, однако ж сел в дилижанс и приехал в Ниццу» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6]. Очевидно, к этому событию относится глухое упоминание в гоголев-

ском письме, отправленном уже из Ниццы 2 декабря н. ст.: «...Случившиеся на дороге задержки и кое-какие неприятности были необходимы душе моей, как все, что ни случается со мною, необходимо всегда моей душе» [XII, 238].

Вообще-то о приезде Гоголя в Ниццу шла речь еще в Баден-Бадене: его приглашала Смирнова, собиравшаяся провести здесь зиму. Писатель отвечал, что «слишк<ом> привязыв<ается> к семейству Соллог<уб> и ко мне, а ему не следует этого, чтобы не связыв<ать> себя никакими (привязанностями)» [Смирнова, 1989, с. 38–39]. Но потом все же передумал.

«Однажды в Ницце <...> Смирнова, возвращаясь, нашла в своей квартире Гоголя. — “Вот видите, — сказал он, — вот я и теперь с вами. Я распоряжусь так, что буду делить свое время между вами и Виельгорскими”» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 7]. Виельгорские — это графиня Луиза Карловна с двумя дочерьми, Анной и Софьей, и сыном Михаилом. Старшая дочь Софья Михайловна Соллогуб была вместе со своим мужем, к тому времени уже известным писателем Владимиром Соллогубом.

Да, Виельгорские были любезны сердцу Гоголя, но на его решение поселиться в Ницце особенно повлияло присутствие Смирновой, отношения с которой после Рима и Баден-Бадена сделались более сердечными и дружескими. Повлияли и денежные обстоятельства: до Рима, своего привычного местопребывания в зимнее время, Гоголь не смог бы доехать, как он выразился, «по бедности финансов» [XII, 265]. В Ницце же у него было даровое жилье: вначале он снял собственную квартиру, но вскоре переехал к Виельгорским, в дом, который благодаря фамилии хозяйки госпожи Пароди служил предметом веселых каламбуров (*Paradis* — рай). Обедал Гоголь почти ежедневно у Смирновой — она жила неподалеку, около *Croix de Marbe* (Мраморного креста), — а это, говорил он откровенно, тоже немалая экономия.

Смирнова рассказывает, что однажды она пожелала «хоть шуткой выпытать, что у него (Гоголя) есть». «..Она начала его экзаменовать, сколько у него белья и платья, и старалась отгадать, чего у него больше. — “Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, — отвечал он. — Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее”. Из расспросов оказалось, что у него было только необходимое для того, чтобы быть чистым. — “Это мне так следует, — говорил он. — Всем так следует, а вы будете жить, как я, и, может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья: одно для праздников, другое для будней. А лишняя мебель и всякие комфорты в комнате вам так надоедают, что вы сами понемногу станете избавляться от них. Я вижу, что это время придет для вас”» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Диалог по поводу гоголевского гардероба возник не случайно: Смирнова явно «провоцировала» собеседника, ее вопросы заключали

в себе долю иронии. Дело в том, что она вовсе не склонна была к строгому самоограничению и аскетизму, полагая, что пока мы «еще не совсем расстались с миром, то должны о мирском помышлять» [Переписка, т. 2, с. 130]. Эти слова Смирнова написала Гоголю спустя несколько месяцев, уже из Петербурга, когда ее спор с писателем относительно «мирского» обострился; однако разногласия наметились еще в Ницце. Например, она с самого начала советовала Гоголю поселиться у Виельгорских, а тот все держался за свою «неудачную» квартиру — очевидно, не хотел быть в тягость другим. Смирнова называла это упрямство отсутствием «простоты». «Проявлялся позже этот недостаток в более мелочных вещах; наконец, и тогда, когда я вас спрашивала о денежных ваших обстоятельствах. Вы отвечали мне, что деньги всегда будут, а как — и не намекнули даже. Бог знает, какие у вас на этот счет понятия!» [там же].

И все же несмотря, на этот «недостаток», обоих сближало глубокое внутреннее беспокойство и недовольство собою. Об этом качестве Смирновой замечательно писала хорошо знавшая ее Е. П. Ростопчина:

Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда, в разуверенья час,
Она клянет тшету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую,
И женщин долю роковую,
И все и всех — себя и вас.

.....
Нет! Не на сборищах людских
И не в нарядах дорогих
Она сама собой бывает:
Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай страданье в ней,
Когда душа ее страдает.

Гоголь и был тем, кто «изучал» ее страданье и пытался помочь ей. С этой целью он «списал собственноручно четырнадцать псалмов и заставлял ее учить их наизусть. После обеда он спрашивал у нее урок, как спрашивают у детей, и лишь только она хоть немножко запинаясь в слове, он говорил “нетвердо!” — и отсрочивал урок до другого дня» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Продолжал Гоголь и свои чтения вслух, но на этот раз уже не из «Илиады», как в Баден-Бадене. Обыкновенно «после обеда вытаскивал» из кармана выписки из св. отцов. Иногда читал и из “Размышлений” Марка Аврелия. С умилением говори<л>: “Божусь Богом, что ему недостает только б<ыть> христианином!”» [Смирнова, 1989, с. 39]. Интерес Гоголя к Марку Аврелию подтверждается его письмом из Ниццы М. П. Погодину: приведя из античного мыслителя обширную

цитату о бескорыстии добродетельного человека, Гоголь добавляет: «Это говорит император язычник, а мы христиане, нам на каждом шагу делается об этом напоминание» [XII, 258]¹⁴⁵. Еще Смирновой запомнилось чтение Григория Нисского [Смирнова, 1989, с. 56].

Из своих произведений Гоголь читал в это время «Тараса Бульбу» — у старой графини Софьи Ивановны Соллогуб, матери писателя Владимира Соллогуба (Соллогубы жили отдельно, в доме Мазари. — [XIII, 120]); на чтении этом также присутствовала Александра Осиповна.

Гоголь довольно свободно входил в духовный мир Смирновой, затрагивая такие струны, к которым дозволено прикасаться только очень близкому человеку. Об этом свидетельствует эпизод, имевший место позднее в 1845 г., в пору пребывания Александры Осиповны в Петербурге — тогда она не на шутку увлеклась одним человеком, заключавшим в себе самые разные достоинства, и внешние и внутренние, и к тому же к ней тоже не равнодушным (по-видимому, это был Юрий Самарин). Смирнова пережила «сильную бурю», испытала знакомые ей «страстные порывы», но — удержалась, и «убеждение, что жертвою искупится жизнь прошлая и грешная, опять вошло в душу, и рассталась я с грустью и благодарностью» [РС. 1890. № 6. С. 652]. Признание это адресовано не кому другому, как Гоголю, при этом Смирнова апеллирует к его воспитательным урокам, к его внушениям: мол, пережитое ею искушение не только не потрясло «возбужденное во мне чувство, на даже его и подкрепило» [там же]. По удачному выражению современной исследовательницы, Гоголь явился для Александры Осиповны «усмирителем сердечных бурь» [Колосова, с. 220].

Но не только Гоголь был нужен Смирновой — не меньше, если не больше, Смирнова нужна была Гоголю. «Друг мой, добрейший и ближайший моему сердцу...» [XII, 443] — так обращался он к ней после Ниццы. И еще такое его признание, сделанное по отъезде из Ниццы 28 декабря н. ст. 1844 г.: «Вы были знакомы со мною и прежде, и виделись со мною и в Петербурге, и в других местах. Но какая разница между тем нашим знакомством и вторичным нашим знакомством в Ниц<ц>е! Не кажется ли нам самим, как будто мы друг друга только теперь узнали...» [XII, 435]. Гоголь противопоставляет Смирнову прежним своим друзьям, например москвичам; с теми у него не произошло новой встречи, нового истинного узнавания.

Пояснить все это можно с помощью такой параллели. С наступлением нового, 1844 г. Гоголь обратился из Ниццы к письмом, адресованным одновременно С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву. «Мне чувствуется, что вы часто бываете беспокойны духом», — начинает Гоголь письмо; мы знаем, что также «чувствовалось» ему и в отношении Смирновой и других лиц. «Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска: она долженствует быть потом сильнее», — твердо обещает Николай Васильевич своим адресатам-москвичам. Где же средство исцеления? Оно есть! — Книга Фомы Кемпийского «Под-

ражание Христу». «Я посылаю вам Подражание Христу, не потому, чтоб не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее». Собственно, саму книгу Гоголь не посылал: это слишком накладно для него; каждый из адресатов должен сам приобрести по экземпляру; послал же он лишь рецепт «употребления» книги: «Читайте всякий день по одной главе <...>. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутруженный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофею, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое <...>. Бог вам в помощь!» [XII, 249–251]. Рекомендованное москвичам средство аналогично тому, которое Гоголь предлагал и Смирновой, читая ей из отцов церкви или из Марка Аврелия. Но на этот раз он встретил другую реакцию, особенно со стороны С. Т. Аксакова.

Долго не решался Сергей Тимофеевич отвечать на это письмо; наконец, напомнил, что ему уже 53 года, что он тогда уже читал Фому Кемпийского, когда Гоголя еще не было на свете. «И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не зная моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уроки... и смешно и досадно... <...> Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник! Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника» [Переписка, т. 2, с. 53].

Правда, С. Т. Аксаков тут же давал понять, что его мнение не окончательное, что в глубине души он признает высоту и законность гоголевских стремлений, перед которыми ощущает свое собственное несовершенство. Эта оговорка понравилась Гоголю и дала ему возможность позднее, уже из Франкфурта, отправить Сергею Тимофеевичу воспитательно-утешительное письмо (об этом далее). Но все же горькие предостережения Гоголю, вроде «вы ходите по лезвию ножа», — прозвучали!

Тут можно вспомнить что и Смирновой Гоголь давал домашнее задание, заставляя наизусть учить псалмы, и даже устраивал экзамены, но та не протестовала и тем более не делала отсюда никаких выводов о том, что гибнет «художник». Она принимала Гоголя, каким он был или, точнее, становился. А изменяющийся, становящийся Гоголь отнюдь не отказывался от художнической деятельности; напротив он намеревался придать ей еще большую широту и интенсивность; но он полагал, что мысль художественная должна всецело проникнуться устремлениями высшего, религиозного порядка, а это означало одновременно усиление процесса самовоспитания и самосовершенствования. Всей напряженности этого процесса, как и его

драматических последствий, Смирнова, скорее всего, себе не представляла, однако она знала от самого писателя, в каком направлении он развивается. «С тех пор, как я оставил Россию, — писал он Смирновой после Нишцы, 28 декабря н. ст. 1844 г., — произошла во мне великая перемена. *Душа* заняла меня всего, и я увидел слишком ясно, что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двинуться ни одной моей способностью, ни одной стороной моего ума...» [XII, 434; курсив в оригинале]. А воспитывать себя, по Гоголю, означало воспитывать других и в то же время воспринимать исходящие от них импульсы; поэтому те, кто внимал его «урокам», помогал и ему самому, внося свою лепту в становление человека и художника. Эта роль отводилась Смирновой, в определенной мере — и Луизе Карловне Виельгорской.

Пережившая страшную трагедию потери сына, Виельгорская была подвержена приступам гнетущей тоски и нуждалась в утешении. И Гоголь обращался к ней со словом утешения, не только устным, но и письменным; Луизе Карловне был предназначен его трактат «Правило жития в мире», где есть такие строки: «Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться наисильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к нему» [цит. по: Хетсо, с. 59]. Говорил Гоголь и о любви к Богу сравнительно с любовью к родным: «Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга...» [там же, с. 58]. Эти слова служили невольным укором матери, предававшейся горькой печали о смерти сына. Сергея Тимофеевича, тоже потерявшего сына, подобные гоголевские слова не утешали, а вот Виельгорской приносили облегчение, — по крайней мере так считал Гоголь. Говоря о пребывании у Виельгорских перед своим отъездом из Нишцы, он вспоминал: «Накануне мы читали то, что угодно было Богу внушить мне прочесть, оно, как мне показалось, на них подействовало. По крайней мере и графиня и обе дочери дали слово быть веселы и тверды и перечитывать почаще то, что я им оставил» [XII, 275].

Именно об этих «правилах» (как указал Гейр Хетсо) Гоголь напомнил Луизе Карловне после отъезда из Нишцы: «Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя понимать вдруг. исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление самого Бога». Еще одно выражение принципиальной гоголевской позиции: не только

через главный труд Гоголя, через его поэму проистечет теперь высшее благоволение, но и через его слово вообще и через его поступки, поведение, мельчайшие детали которого проникаются смыслом «Божиего провидения». «Таким образом и меня, который в существе своем есть не более как совершенная дрянь, поместило оно в доме Paradis <...>. Поместило оно именно для того, чтобы правила эти из моих рук перешли в ваши» [XII, 276].

Гоголь полагал, что его «правила» подойдут и Смирновой-Россет; ведь и она знала, что такое потеря ребенка, и была знакома с унынием: «...У Софьи Михайловны есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть вы отыщете в них что-нибудь и для себя...» [XII, 356].

Предназначались гоголевские «правила», как видно из его только что приведенных писем, и обеим дочерям Луизы Карловны, Софье и Анне. Софья Михайловна переживала в Ницце свою драму: обострились отношения со свекровью и с мужем, Владимиром Соллогубом — тот, по словам мемуаристки, «то и дело, что таскался в Меран волочиться за Duchesse d'Istrie, которая была еще очень хороша и весьма свободного обращения. Бедная Софья Михайловна все терпела молча, читала Библию и занималась детьми». Эта драма не прошла мимо Гоголя, который «не раз вздыхал о бедной Софье Михайловне и говорил: “Ничто не может быть ужаснее, как когда чувство встречается с черствым бесчувствием”» [Смирнова, 1989, с. 56].

А вот с младшей сестрой Анной Михайловной у Гоголя стали намечаться особенно доверительные отношения; позднее она писала Николаю Васильевичу: «Мне показалось, что я с вами где-нибудь сижу, как случилось в Остенде или в Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы...» [Переписка, т. 2, с. 218]. Наверное, уже здесь завязка тех отношений, которые трагически разрешились спустя несколько лет...

Гоголь собирался в Ницце плотно засесть за работу и сделать очень много. Получилось так и не совсем так: писалось с трудом, приходилось заставлять себя. «Гребу решительно противу волн, иду против себя самого, то есть противу находящего бездействия и томительного беспokoяства <...>. Хочу насильно заставить себя что-нибудь сделать...» (Н. М. Языкову, 2 января н. ст. 1844. — [XII, 243–244]). «Всякий час и минуту нужно себя приневоливать и не насильно почти ничего нельзя сделать» (В. А. Жуковскому, 8 января н. ст. 1844. — [XII, 246]).

Характерны советы, которые в это время Гоголь давал В. А. Соллогубу. «“Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом, и принуждайте себя писать”. — “Да что ж делать, — возражал я, — если не пишется!” — “Ничего... Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец,

надоест и напишется» [Соллогуб, с. 378]. Соллогуб не очень-то внимал этим рекомендациям, оставаясь «охотником» «больше ездить по вечеринкам, чем писать» [XII, 244].

Сам же Гоголь сидел за письменным столом, вернее стоял у конторки, ежедневно — и не «два часа», а всю первую половину дня. «...Только в три часа выходил гулять, или один, или с графом М. М. В***» (очевидно, речь идет о Михаиле Михайловиче, сыне Луизы Карловны. — Ю. М.). Тут на берегу моря его обыкновенно встречала Смирнова, и они шли вместе. «Если его внезапно поражало какое-нибудь освещение на утесах или зелени, он не говорил ни слова, а только останавливался и улыбался» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Много ли Гоголь сумел сделать? 2 декабря н. ст. 1843 г. он писал Жуковскому, что продолжает «работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание Мертвых душ» [XII, 239]. На основе этих слов был сделан вывод, что «к <...> последней половине 1843 года относится первое уничтожение рукописи “Мертвых душ” из трех, какому она подверглась» [Анненков, 1983, с. 112]. Но это не так; никаких подтверждений, что в это время, в Ницце, Гоголь уничтожил рукопись второго тома, не имеется. *Хаос*, в понимании писателя, имеет другой смысл — первоначального, еще неоформившегося, хаотического состояния замысла, а *выход из хаоса* — его прояснение и созревание [см. подробнее: Манн, 1987, с. 179]. Тем не менее работа уже настолько продвинулась, что Гоголь счел возможным начать чтение.

«Раз как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части “Мертвых душ”, а это было нелегко упросить его сделать. Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у меня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не говоря, откашлялся и начал читать. Я вся обратилась в слух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого...» [Смирнова, 1902, с. 490—491]. О третьей части поэмы говорить, конечно, не приходится; кроме того, Гоголь вряд ли уже дошел до женитьбы Тентетникова; на упомянутый эпизод, видимо, наслоились впечатления Смирновой от последующих чтений. Но если мемуаристка не ошибается в самом приурочивании эпизода к пребыванию ее в Ницце, то это первое известное нам чтение второго тома, и показательное, что в качестве слушательницы Гоголь выбрал именно Смирнову.

Однако чтение это внезапно прервалось. «Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой. Виельгорский (очевидно, Михаил Михайлович. — Ю. М.) взял его под руку и отвел» [там же]. Подобное уже случалось с

Гоголем, подверженным нервическим припадкам, — летом 1837 г. в Баден-Бадене, также во время чтения поэмы, ее первого тома; писатель был тогда до того напуган грозой, что попросил А. Н. Карамзина проводить его до дома [см. об этом с. 489]. На этот раз Гоголь сделал вывод о несовершенстве написанного, о преждевременности чтения: «Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения...»

Происшествие это не изменило общего настроения Гоголя. «В Ницце, — говорит Смирнова, — он был по большей части очень весел, представлял своих гимназических учителей, рассказывал анекдоты...» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6]. Свидетельством веселого расположения Гоголя является его записка Смирновой, отправленная, по всей видимости, в дни масленицы, в феврале 1844 г. [см.: Материалы, т. 1, с. 107]: «Александра Осиповна! не позовете ли вы завтра, т.е. в пятницу, на блины весь благовоспитанный дом Paradis, то есть графиню с обеими чадами (Луизу Карловну, Софью и Анну Виельгорских. — Ю. М.), что составляет, включительно со мною грешным, ровно четыре персоны. Полагая на каждую физиогномию по три блина, а на тех, которые позастенчивее, как-то на Анну Михайловну и графиню, даже по два, я полагаю, что с помощью двух десятков можно уконтентовать (то есть удовлетворить от фр. *content* — довольный. — Ю. М.) всю компанию» [XII, 259–260]. Тут же упоминается ответственная за обед некая Мария Оливковое масло, очевидно, прислуга — еще одна носительница изобретенных Гоголем комических прозвищ.

А рядом с этим — другое гоголевское письмо, отправленное из Ниццы Шевыреву 12 марта н. ст. 1844 г., письмо, исполненное такого же комизма, но, увы, это тот случай, когда комизм возникает помимо воли автора. Гоголь просит своего корреспондента завести специальную тетрадку, куда бы вписывались разные невыгодные для него, Николая Васильевича, замечания. «При всяком случае, когда случится вспомнить обо мне, отметьте тут же, в коротких словах, всякую пробежавшую мысль. Почти таким образом в виде дневника: день, месяц, число. Сегодня ты мне представлялся вот в таком виде... День, месяц, число. Сегодня я на тебя сердился вот за что. День, месяц, число. В твоём характере или в поступках вот что казалось мне неизъяснимо. День, месяц, число. О тебе пронесли здесь вот какие слухи, я им не поверил, но некоторое сомнение закралось мне в душу. День, месяц, число. У меня еще до сих пор таится противу тебя в душе неудовольствие на то и на то, и проч.» А когда наберется такого текста с «поллиста почтовой бумаги», то все это следует положить в конверт и отправить герою этих заметок, то есть самому Гоголю. Раньше он требовал от Шевырева (как и от других) откровенных замечаний о его произведениях, теперь о нем самом, — замечаний, зафиксированных в хронологической последовательности и с педантической скрупулезностью. Своеобразное — на огромном расстоянии! — чтение

его души, которое, оказывается, важнее чтения художественных текстов. «Если вы мне это сделаете, то вы мне окажете услугу, большую всех прежних услуг ваших». Почему же? Потому что это поможет Гоголю работать над собою: «Помогите мне теперь, а я, как состроюсь и сделаю умней, помогу вам» [XII, 267].

Но, конечно, и отзывы о сочинениях продолжают интересовать Гоголя, и, чтобы расширить свои сведения на этот счет, он обращается с просьбой к Анненкову, с которым не встречался с лета 1841 г., после совместного проживания в Риме: «Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки как о М<ертвых> д<ушах>, так и о Сочинениях моих. Это вам сделать, я знаю, будет отчасти трудно, потому что круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, стало быть, от них что от козла молока». Следовательно, Гоголь твердо знает, что Белинский и близкие к нему — именно в этом круге большей частью «обращался» Анненков — настроены к нему более благожелательно, и поэтому последнему предлагается обратить свой взор к тем, «которые совсем не любят моих сочинений». Анненкову рекомендуется чуть ли не роль лазутчика, которому нужно выведать, что происходит «в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого», а именно «в какой силе и степени их ненависть или уже превратилась в совершенное равнодушие?». Очевидно, что наличие «ненависти» Гоголя по-прежнему устраивает.

Письмо Анненкову свидетельствует, что Гоголь хочет сохранить хорошие отношения с западническим кругом — и это в тот момент, когда борьба славянофилов с западниками достигла апогея. Но он упрекает западников в крайностях, как упрекал и славянофилов: «Все ваши приятели тоже с увлечением <...>. Помните также, что человек никогда не бывает ни совершенно прав, ни совершенно виноват» [XII, 255].

... Пребывание Гоголя на Лазурном берегу подходило к концу. «В Ницце не пожилось мне так, как предполагал. Но спасибо и за то, все пошло в пользу, и даже то, что казалось мне вовсе бесполезно» (Н. М. Языкову, 15 февраля н. ст. 1844. — [XII, 264]).

19(7) марта Гоголь выехал из Ниццы. Почти одновременно В. А. Соллогуб отправился в Рим. Смирнова уехала еще раньше в Париж. В Ницце осталась Луиза Карловна Виельгорская с детьми.

«Я ИДУ ВПЕРЕД — ИДЕТ И СОЧИНЕНИЕ»

В весенние и летние месяцы 1844 г. Гоголь рассчитывал решительно продвинуть вперед свое «сочинение», то есть второй том поэмы. Он полагал, что этому будет способствовать и своеобразное соревнование с Жуковским, работавшим над переводом «Одиссеи».

Поездка началась с неприятности: миновав Экс-ан-Прованс, Гоголь сел в Страсбурге на пароход, чтобы отправиться по Рейну в Дарм-

штадт, но случилась авария — пароход ударился об арку и сломал колесо. Впрочем, Гоголь увидел в этом указание свыше: мол, он должен воспользоваться задержкой и отправить своим друзьям по Ницце Смирновой и Л. К. Виельгорской письма-напоминания о борьбе с унынием и выполнении «правил» жизни. Позднее Шевырев упрекает писателя в том, что «во всяком постороннем обстоятельстве» тот готов признать «личное отношение» к нему Бога [Переписка, т. 2, с. 339]. Эта черта проявилась у Гоголя давно.

Другая неприятность связана с тем, что пришлось изменить маршрут и вместо Штутгарта направиться в Дармштадт. Гоголь рассчитывал, что в тихом Штутгарте, в спокойствии и уединении, он будет говеть и встретит Светлое воскресенье; тамошний протоиерей Иоанн Певницкий известил его 11(23) февраля, что «церковь в Стутгардте уже устроена и служение на страстной седмице и в день Пасхи будет совершаться в ней...» [Шенрок, т. 4, с. 281—282]. Но спустя несколько дней, 23 февраля (6 марта), Певницкий сообщает Гоголю, что срочно едет в Дармштадт [там же, с. 282], куда к пасхальным дням по случаю приезда наследника переводят русскую церковь. «Хоть это будет несколько шумно, но что ж делать, говеть мне нужно, — решил Гоголь. — Попробую, нельзя ли среди шума быть уединенну» [XII, 275].

В конце марта Гоголь приезжает в Дармштадт; сюда же из Франкфурта едет Жуковский — помета в его записной книжке 30(18) марта: «С Гоголем в Дармштадт. Hotel de Russie». Впрочем, эту фразу можно истолковать и таким образом: оба съехались во Франкфурте (Hotel de Russie — известная тамошняя гостиница) и уже отсюда вместе отправились в Дармштадт. Затем следуют записи от 1 и 3 апреля одинакового содержания: «Вечеру чтение с Гоголем» [ЛН. Т. 58. С. 690]. Остается неясным, что именно читалось — из второго тома «Мертвых душ», из перевода «Одиссеи», или и то и другое. Если из второй части «Мертвых душ», то это второе после Ниццы известное нам чтение поэмы.

В Дармштадте 7 апреля Гоголь встречает Светлое воскресенье и через день-два переезжает во Франкфурт, откуда рассылает веер поздравлений: Смирновой-Россет — в Париж, Луизе Карловне Виельгорской и ее дочерям Анне и Софье, а также графине Соллогуб — в Ниццу, семейству Балабиных, в том числе и своей давней ученице Марье Петровне — в Петербург¹⁴⁶. Вот типичный пример гоголевских поздравлений (это — Смирновой): «Будьте светлы и старайтесь насильно быть светлу и веселу душой. Недавно прочел я, что стараясь засмеяться смехом души, мы уже призываем ангела на уста наши, который помогает нам потом действительно засмеяться таким смехом» [XII, 282]. Александру Осиповну, для полной ясности их отношений, Гоголь называет своим «небесным братом»: «Душа моя хочет передать вам такой поцелуй, каким только небесный брат целует своего брата».

Мы уже знаем, что увещевания Гоголя другим рассчитаны на то, чтобы рикошетом вернуться к нему самому; так добывались им спо-

койствие духа, «веселость»: «Мы так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым» [XII, 289–290]. Поэтому обнаруженная С. Т. Аксаковым слабинка (мол, перед высокими гоголевскими стремлениями он пасует, сознает свое несовершенство) Николая Васильевича обрадовала — теперь можно точно поставить диагноз: «...Ваше волнение есть, просто, дело чорта <...> Пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело». И намечается перспектива беспощадного сражения с нечистой силой, одоления черта, на поверку вовсе не страшного, но такого, что низведен на уровень мелкого, пакостного зверюшки: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем <...>. Как только наступишь на него, он и хвост подожмет» [XII, 300–301].

Наряду с преодолением «уныния», постоянная гоголевская тема в эту пору — борьба с односторонностью; впрочем, по мнению писателя, одно связано с другим: жертвой уныния становится тот, кто не видит целостности жизни. Исток этой темы — еще в мироощущении молодого Гоголя, периода «Арабесок» и ранее. В то время как мир искромсан и разделен на части, истинно поэтическая, высокая душа должна удержать ощущение единства. Гоголь со своих позиций мог бы, вероятно, повторить излюбленный гегелевский тезис: «Das Wahre ist das Ganze» (истинное — это целое). «В письме вашем отражен человек, просто унывший духом и не взглянувший на самого себя». Гоголь советует своему корреспонденту, то есть П. В. Анненкову, взглянуть на себя, «как должно»: «Кроме того, что мы узнали бы лучше, что в нас самих заключено и есть, мы бы приобрели взгляд яснее и многосторонней на все вещи вообще...» [XII, 298]. Для тех, кто впадает в уныние и вместе в односторонность, Гоголь находит определение — «огорченные»; это значит, что односторонностью провоцируется еще раздражение (люди, «которые чем-нибудь раздражены или огорчены»).

Здесь просматривается нить, ведущая к тому месту гоголевской поэмы, где описывается пагубное влияние на Тентетникова его двух приятелей, называемых «огорченными людьми». «Это были те беспойно-странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью» [VII, 137]. Можно оспорить поэтому категоричность выдвинутого еще В. Каллашом утверждения (затем поддержанного другими исследователями), будто эпизод с «огорченными людьми» непременно подразумевает петрашевцев и появился в тексте поэмы после их ареста в 1849 г. [см., в частности: Гиппиус, 1924, с. 235]. В действительности непосредственной связи этих строк с делом петрашевцев нет, и они могли быть написаны и раньше, в период времени с конца 1843 г. [см. подробнее: Манн, 1987, с. 182].

Критерий многосторонности Гоголь считает обязательным и для себя. «Я только и могу поступить умно, когда ум мой обнимет со всех

сторон решительно предмет. Потому-то теперь я более, чем когда-либо, боюсь вмешиваться в какое-нибудь дело, до тех пор, пока не узнаю всех самонаименьших подробностей» [XII, 303]. Конкретно речь идет о «деле» Перовского.

Знакомый Гоголю еще по Риму генерал В. А. Перовский находился в это время в тревожном и угнетенном состоянии: его внебрачный сын, восьмилетний Алеша, был тяжело болен. Смирнова из Парижа попросила Гоголя помочь, и тот послал в Петербург письмо Перовскому (от 20 апреля), посоветовав ему «позаботиться о душевном, а не телесном здравье Алеши», поговорить «с каким-нибудь умным и опытным священником», — и для вящей убедительности подкрепил свой совет сообщением о чудесных знаках, якобы связывающих его, Гоголя, с адресатом письма, например: «Вот уже два раза вы входите ко мне во время моего говения» и т. д. Гоголь явно готовил почву для более конкретных рекомендаций, для более эффективного воздействия на Перовского, а для этого ему необходимо заполучить как можно больше сведений: «В душе моей загорелось сильное желанье знать о вас, это не бывает даром. Я послал запрос о вас к Александре Осиповне в Париж. Ради Бога, напишите мне хотя в немногих словах о душевном состоянии как Алеши, так и о вашем собственном. Это мне очень нужно» [XII, 292]. Однако Перовский на запрос Гоголя ответил весьма сдержанно, не потому, что ему не верил, а потому, что, как он выразился, тот фактически вызывал его на исповедь, а «исповедь заочная, письменная, не только затруднительна, но и невозможна» [Шенрок, т. 4, с. 277].

Куда проще было Гоголю давать советы А. С. Данилевскому: тут он, как теперь говорят, вполне владел информацией. В прошлом воспитанник Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, потом служащий канцелярии Министерства внутренних дел, Данилевский в конце 1843 г. получил место инспектора Второго благородного пансиона при Киевской первой гимназии. Кажется, Данилевский извещил об этом Гоголя без особого энтузиазма; возможно, выразил опасение, не будет ли его новая должность скучна. «Она может быть скучна, как может быть скучна всякая должность, если за нее мы возьмемся не так, как следует» [XII, 289], — отвечает Гоголь, напоминая, что «дети — будущие люди», что душа их перед наставником, как «воск перед мрамором», и т. д. Письмо Данилевского дало Гоголю возможность вспомнить и о другом земляке, А. В. Капнисте, — «которого я и прежде уважал искренно, а теперь еще более за его дружбу к тебе».

Сын знаменитого писателя, Алексей Васильевич Капнист (ок. 1796–1867), был членом Союза благоденствия, однако от вступления в Южное общество в 1821 г. отказался, поскольку «совершенно переменил свой образ мыслей». По этой причине он понес весьма легкое наказание — был освобожден через три с половиной месяца после ареста [Декабристы, с. 77, 261]. Гоголь, бывая в Обуховке, имении

Капнистов, знал Алексея Васильевича с детских лет; через него он однажды (в 1832 г.) передал письмо матери из Петербурга [X, 231]⁴⁷.

В том же письме Данилевскому (от 13 апреля н. ст. 1844 г.) Гоголь просит сообщить, в «чем состоит» теперь «должность» Капниста. Последний был и на выборной должности — как миргородский уездный предводитель дворянства (в 1829—1835 и 1841—1844 гг.), служил и на ниве народного просвещения (в 1833 г. — смотритель миргородского уездного училища, в 1836 г. открыл у себя в Обуховке школу для крестьянских детей). Словом, Капнист мог быть интересен Гоголю двояко — и в связи с общим вниманием писателя к «поприщу», ко всякой «должности», и особенно в связи с мыслью о назначении учителя и наставника; тут снова просматривается нить, ведущая к первой главе второго тома поэмы, к эпизодам обучения и воспитания Тентеникова.

Гоголь рассчитывал пожить во Франкфурте «все лето и осень вместе с Жуковским в его загородном доме» [XII, 291]; однако обстоятельства не давали возможности Жуковскому осесть на одном месте: то он едет в Дюссельдорф, принимая там наследника, то в Берлин для встречи с императрицей; во Франкфурте он «утвердился» лишь около 20 мая. Гоголь тоже решил воспользоваться этим временем, чтобы совершить ряд поездок.

Прежде всего он направляется в Баден; ведь там должны быть Виельгорские, должна быть Анна Михайловна, о новом «приятном свидании» с которой он мечтал давно. Общение в Ницце внушило Гоголю большие надежды относительно будущего Анны, которые он теперь решился, так сказать, суммировать (в письме к ней от 12 апреля н. ст. 1844 г., Франкфурт): «Ваше поприще будет даже гораздо больше, чем всех ваших сестриц. Потому что, если вы обсмотрите только хорошенько вокруг себя, то увидите, что и теперь может начаться поле подвигов ваших. Вам дано не даром имя *благодать* (Анна — по древне-еврейски милостивая). Вы будете точно Божья благодать для всего вашего семейства и всех вас окружающих» [XII, 285; курсив в оригинале]. Гоголь дает и конкретные советы, как подготовиться к этой миссии: «Вам недостает только хорошенько всмотреться и узнать свойства и природу всех тех, которые вас окружают»; затем надо приучить себя к «спокойному размышлению» и воздержаться «от ранней готовности действовать» и т. д.

Слова Гоголя произвели сильное впечатление на Анну Михайловну. «Нози (ее домашнее прозвище) тронута была до глубины сердца вашим письмом: лицо ее как бы просветлелось при чтении ваших пророческих наставлений» [ВЕ. 1889. № 10. С. 482], — сообщала Луиза Карловна. Из письма самой Анны Михайловны видно, что «пророческие наставления» Гоголя пробудили в ней сложные чувства: «Ваше совсем неожиданное письмо меня очень обрадовало, но еще более удивило. Я прочла его раз шесть и каждый раз с новым удивлением. До сих пор я не пони-

маю хорошо, что вы мне пишете, по крайней мере не понимаю настоящего значения ваших слов». Но не мог же Гоголь «совершенно ошибиться на мой счет», — размышляет заинтригованная девушка. И заключает: «Мы об этом поговорим еще в Бадене» [ВЕ. 1889. № 10. С. 482].

Так была задана тема бесед Гоголя с Анной Михайловной во время их краткого совместного пребывания в Бадене в конце мая 1844 г.

Кроме Виельгорских, общество Гоголя в Бадене, проживавшего в Hotel de Holland, составлял еще граф А. П. Толстой, который впоследствии станет одним из самых близких ему людей, а также некий Викулин [XII, 309]. Возможно, это Сергей Алексеевич Викулин (1800—1848), отставной полковник, знакомый Жуковского и А. И. Тургенева; в свое время (18 июня 1832 г.) он участвовал вместе с Пушкиным в прощальном завтраке, устроенном на корабле по случаю отъезда Тургенева за границу. Викулин страдал душевной болезнью, которая обострилась летом 1844 г.¹⁴⁸

Гоголь мечтает поскорее осесть во Франкфурте вместе с Жуковским. «Главное то, что мы вновь восчитаем, возбеседуем и воспишем вместе» [XII, 310]. Эта перспектива радует и Жуковского: «Впереди Франкфурт и работа наша совокупная» [Жуковский, с. 464].

Но едва обосновавшись во Франкфурте, Гоголь во второй декаде июня снова едет в Баден, а также в Мангейм; на этот раз для устройства дел своей бывшей ученицы Марьи Балабиной. Это был еще один предмет постоянного интереса Гоголя, постоянного приложения его воспитательных усилий, которые, кажется, стали приносить свои плоды.

В последний раз Гоголь виделся с Машей в Петербурге в конце мая — начале июня 1842 г. перед отъездом за границу. А до этого они обменялись письмами; Гоголь, в своей привычной манере, вызывал ее на откровенность, а Балабина отмалчивалась: «говорить о том, что делается в душе моей — с вами не могу»; отшучивалась: «вы не бросите меня за это за окошко» (любимая фраза, с которой обычно маленькая Маша, рассердившись, обращалась к своему учителю: я вас выброшу за окошко)... Сообщила лишь, что у нее теперь «сплин», что небо в Петербурге «точно старая подкладка серой военной шинели» (сравнение вполне в гоголевском духе!), и еще то, что выучилась по-немецки и предпочитает немецких писателей всем другим: «В других литературах мы знаем только те мысли и те движения души, которые имеют причины в наружных действиях, а в немецкой мы видим те мысли, которые рождаются и умирают, не признанные никем» [Шенрок, т. 4, с. 926—927]. Гоголь в ответном письме (из Москвы, от 17 февраля 1842 г.) посоветовал не увлекаться «немцами»: «...Я хочу вас застать не за Жан-Поль Рихтером, а за Шекспиром и Пушкиным, которые читаются только в здоровом расположении духа...»; задал вопрос со значением: «Приходило ли вам когда желание, непреодолимое сильное читать евангелие?» В целом же поддержал шуточный тон своей

корреспондентки: «Впрочем, мы с вами, кажется, очень коротки, то есть я разумею: оба невысокого роста» [XII, 37–38].

Но после посещения Гоголем Балабиных в мае—июне 1842 г. произошло нечто такое, что глубоко потрясло Марью Петровну. Обо всем этом она рассказала в письме (от 12 февраля 1844 г.), которое носит характер давно чаемой Гоголем исповеди, конкретно даже — исповеди первой любви... В местечке Лопухинка, что в 40 верстах от Петербурга, она встретила некоего молодого человека, по фамилии Вагнер, полкового доктора, и тотчас же поняла, что это ее судьба. Никакие препятствия: ни различия в социальном положении (Вагнер — «бедный лекарь», а Марья Петровна — дочь отставного генерал-лейтенанта), ни религиозные соображения (Вагнер оказался плохим христианином; во всяком случае, по словам девушки, «сосем не веровал и был деист») — не могли ее остановить, и Балабины-старшие вынуждены были согласиться на брак. Решено было, что Вагнер переменил службу, поступит в Департамент железной дороги и отправится на год в заграничную командировку, в Германию и Бельгию, чтобы познакомиться с работой железнодорожной полиции. Там же, в Германии, должна состояться свадьба, для чего невеста с матерью, Варварой Осиповной Балабиной, и братом Виктором отправятся за границу (Вагнер уедет раньше). «Я еще не могу верить в моем неслыханном счастье» (так! — [Шенрок, т. 4, с. 924]), — сообщает Марья Петровна Гоголю.

Николай Васильевич тотчас же откликнулся; письмо это не сохранилось, но о его содержании можно судить по ответу Балабиной от 14 апреля. Гоголь напутствует девушку на новую жизнь, говорит о святости брака, о «втором рождении», советует «все устроить в первые дни» и, в частности, открыть дом духовно близким людям («...Я отопру дверь нашу *в первые дни* тем людям, между которыми я хочу умереть...», — вторит Марья Петровна), выписывает «прекрасные строки о браке», составившие «третью отдельную страницу» послания (впоследствии все эти рассуждения легли в основу гоголевской статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», вошедшей в «Выбранные места...»).

С письмами Гоголя Балабина неизменно знакомила своего жениха, отчасти с воспитательной целью. Совокупные усилия Николая Васильевича и Марьи Петровны принесли свои результаты: Вагнер «начинает жить религиозною жизнью»; «его душа все более и более открывается влиянию Бога» [там же, с. 924, 925].

Гоголь решил оказать молодым и практическую помощь — подыскать подходящее место для жилья; с этой целью он и заехал в Мангейм, найдя его удобным во всех отношениях: и «дома здесь устроены очень хорошо, с комфортами, с печами и в английском вкусе»; и «дешевле жить»; и есть «пункт железных дорог, которыми он в связи с Гейдельбергом, Баденом, Карлсру<э> и Страсбургом, что весьма важно для

Вагнера, который именно и послан для наблюдения за железными дорогами» [XII, 328]. А кроме того, Гоголь решил помочь молодым в организации венчания — эпизод, ускользнувший от внимания биографов.

По-видимому, положение осложнялось не столько недостатком веры со стороны жениха, сколько различием вероисповеданий. Вагнер, скорее всего, принадлежал к одной из протестантских конфессий. Для брака на православной необходимо было уладить некоторые формальности, и об этом, очевидно, шла речь во время встречи Гоголя с Марьей Петровной, состоявшейся в конце июня или в первых числах июля, скорее всего, в курортном местечке Шлангенбад (близ Висбадена), где остановились Балабины. В результате Гоголь взял на себя поручение отыскать по возвращении во Франкфурт некоего «англицкого пастора» и передать ему письмо Марьи Петровны. Гоголь выполнил эту просьбу, но с задержкой (поскольку пастор был в отъезде и пришлось обращаться к его секретарю или поручителю), что заставило Балабиных самих приехать во Франкфурт. С Гоголем они на этот раз не встретились.

«Изясните мне также, — спрашивает Гоголь Марью Петровну в письме от 12 июля н. ст., — что значит мистическая поездка ваша во Франкфурт и ваш обед в Hotel de Russie перед самым моим носом, о чем я узнал только на другой день, живя тут же и в том же самом доме?» [XII, 329]. Балабина объяснила этот «мистический» эпизод тем, что они просто разминулись: «Когда мы пришли недавно в Hotel de Russie, нам сказали, что вы сию же минуту изволили улизнуть, и так как и мы сейчас после обеда улизнули прямо в Майнц, мы не смогли с вами увидеться». Но очевидно еще и то, что Марья Петровна, по ее словам, узнала «все, что хотела знать», и нужно было торопиться действовать дальше.

В том же самом письме от 15 июня Балабина сообщает Гоголю: «Мы писали штутгартскому священнику так, как вы советовали, и получили ответ: он, кажется, так хорошо знает, что ему нельзя нас венчать здесь, что даже и не понял совершенно нашу просьбу; он говорит, что готов приехать к нам в Шлангенбад, чтобы с нами *поговорить* и посмотреть, тут ли все бумаги, но что, может быть, его приезд не нужен, потому что нам все-таки надо приехать в Штудгарт [так!]; потом мы где-нибудь там поместимся» [Шенрок, т. 4, с. 92б; курсив в оригинале].

Вспомним, что в Штутгарте находилась русская церковь, что ее протиерей Иоанн Певницкий был знаком Гоголю, переписывался с ним по поводу проведения пасхальной службы и что они наверняка виделись в те дни. Поэтому Гоголь и посоветовал Балабиной обратиться к «штутгартскому священнику», рассчитывая даже, что тот сам приедет и обвенчает молодых в Шлангенбаде. Это оказалось нереальным, но подсказка все же имела свои последствия. В том же письме Марья Петровна сообщает, что «брат Иван приехал поутру», «Вагнер

приедет к нам сегодня» и «мы едем все вместе в Штудгарт». Это заставляет предполагать, что именно там (а не в Берлине, как было задумано) состоялось венчание.

Неизвестно, довелось ли впоследствии еще встретиться Гоголю со своей бывшей ученицей. Но он неизменно интересовался ее судьбой, причем особенно в роли примерной и удачливой жены и хозяйки дома. Вот, например, строки из письма Плетневу от 10 июня 1847 г. в Петербург: «Передай от меня поклон Балабиным. Особенно Марье Петровне. Напиши мне хоть несколько строчек о том, как она живет своим домом. Я слышал, что она просто чудо в домашнем быту, и хотел бы знать, в какой мере и как она все делает» [XIII, 321]. И еще помета в гоголевской записной книжке 1846—1851 гг.: «М. П. Вагнер о том, как ей было вдруг перейти от идеального мира к существенному. Не затрудняет ли ее хозяйственный хлам <1 нрзб. > и как он ведется?» [VII, 386]. В размышлениях писателя семья вырисовывалась как ячейка общества, а тут перед глазами — наглядный пример, своего рода эксперимент, совершившийся не без его участия. Марья Петровна и ее муж, со своей стороны, сумели отблагодарить Гоголя после его смерти: как мы уже говорили, именно при их содействии была установлена мемориальная доска на доме № 126 на Strada Felice в Риме, где жил писатель.

Не упускал Гоголь из виду и судьбу другой женщины — своего «прекрасного брата» Александры Осиповны Смирновой. Из Парижа Смирнова с детьми должна была выехать в Россию, но когда точно и через какие города и вези — неизвестно. Будучи в Бадене, 20 июня н. ст., Гоголь в письме Жуковскому интересуется ее маршрутом и выражает готовность выехать ей навстречу. Но делать этого не пришлось: Смирнова сама приехала во Франкфурт, где находился Гоголь.

Об их новой встрече мы находим у Смирновой всего несколько скупых строк. «Мы съехались во Франкфурте. Он (Гоголь) жил в Саксенгаузене у Жуковского, а я в Hotel de Russie, на Цейле. Несчастный сумасшедший Викулин в Hotel de Rome. Жуковский посещал Викулина всякий день, платил в гостинице и приставил к нему человека. Викулин пил, чтобы заглушить приступы своей болезни, и тем еще более раздражил свои нервы» [Смирнова, 1989, с. 56]. Воспоминания Смирновой, записанные А. Н. Пыпиным, добавляют к этой картине несколько деталей: Александра Осиповна, Гоголь и Жуковский «провели 2 нед<ели> втроем оч<ень> приятно, виделись кажд<ый> д<ень>»; Николай Васильевич в это время «был как-то беззаб<отно> весел» «и не жалов<ался> на здоровье» [там же, с. 39].

Смирновой показалось еще, что Гоголь был тогда не в ладах «с madame Жуковскою», то есть с его женою Елизаветой Евграфовной. Конечно, та опасалась, что склонный к ипохондрии Гоголь окажет неблагоприятное воздействие на впечатлительного Жуковского.

«Она сама гов<орила>, ч<то> он (Гоголь) ей в тягость, что он навод<ит> хадру на Жук<овского>» [Смирнова, 1989, с. 40]. Елизавета Евграфовна, будучи человеком нервным, тоже страдала от присутствия Гоголя; невольно создавался эффект взаимного отталкивания — как у одинаково заряженных частиц. Видимо, поэтому, предупреждая опасения Смирновой, Гоголь позднее (24 декабря н. ст.) поспешил ее уверить: «С Елис<аветой> Евграфовной тоже ладим хорошо и <...> лучше всего, ни ей нет во мне большой потребности, ни мне в ней» [XII, 420].

К этому периоду относится и письмо Жуковского А. И. Тургеневу от 5(17) июля: «Смирнова была здесь несколько дней и теперь в Бадене на свидании с Вьельгорскими; нынче должна быть назад; ее ожидают дети, оставленные ею в Hotel de Russie. Бедный Викулин весьма в плохом положении; можно бояться, чтобы не лишился ума <...>. Разъезжает один, без камердинера. Теперь отправляется в Дрезден, где встретится с родными. Я предупредил об этом доктора Каруса. Жаль его душевно» [Жуковский, 1895, с. 302]. Письмо позволяет уточнить время пребывания Александры Осиповны во Франкфурте, растянувшегося больше чем на «два месяца», может быть до конца июля, правда, с перерывом на ее поездку в Баден.

Контекст переписки Гоголя этой поры дает возможность более полно представить характер его франкфуртского общения со Смирновой. Александра Осиповна тяготилась парижской жизнью, находя часы отдохновения лишь в посещении церкви (в частности, слушании модного католического проповедника Гюстава Франсуа де Равиньяна), чтении трактатов Жака Бениня Боссюэ «Elevation à Dieu...» («Возвышение к Божеству...») и «Traité de la concupiscence...» («Трактат о вожделении...») (оба произведения были рекомендованы Смирновой Гоголем), затем в лекциях Мицкевича (между прочим, Александра Осиповна привезла с собой для Гоголя его поэму «Dziady») и концертах Листа. Но общего впечатления от французской столицы все это не изменило, и наверняка сетования на парижскую суету составляли общую тему ее беседы с Гоголем. В конце того же года (спустя несколько месяцев после встречи со Смирновой) писатель весьма экспрессивно будет отвергать приглашение Л. К. Виельгорской: «Что вы меня заманиваете Парижем, Рашелью, магазинами и прочей дрянью? Разве вы не знаете, что если бы вы жили на Чукотском носу или в городе Чухломе и пригласили бы меня оттуда к себе, описав мне всю тоску тамошнего пребывания, то я бы скорее к вам приехал туда, чем в Париж?» [XII, 426].

Париж усиливал смутное, неопределенное чувство Смирновой. «У меня на душе и не тяжело, и не легко, — писала она Гоголю 12 августа из Берлина. — Я как стоялая вода: ее можно выпить, но какая разница с ключевой, снежной! Так и моя душа застоялась от Парижа». Значит, со стороны Гоголя требовалось еще больше участия: «Пожелайте мне, пожалуйста, *любви и любви*. Я очень люблю эти слова: “из-

бави ны от всякия скорби, гнева и нужды”, а меж тем душа моя гневалась и скорбела» [РС. 1888. № 6. С. 609; курсив в оригинале]. Очевидно, «эти слова» Гоголь говаривал Смирновой во Франкфурте, увы, не всегда достигая требуемого эффекта.

Гоголевские увещания Смирновой, которые, как всегда, имели двойственный характер — и «упрека» и «ободрения», — приобретали во Франкфурте особый смысл, поскольку она стояла перед решающей переменной. Александре Осиповне предстояло не только возвратиться в сферу высшего света и императорского окружения, но и освоить положение жены могущественного чиновника. «...И дорога, предстоящая вам, и даль, и север, и губернаторство, и тоска, будут очень, очень, очень нужны вашей душе; а как и что и почему, и каким именно образом, обо всем этом поговорим» [XII, 311]. Об этом Гоголь и «говорил» со Смирновой во Франкфурте, напутствуя ее «в дорогу жизни».

И тут Гоголь переходит к теме, которая его в последнее время занимала все больше и больше — о влиянии женщины. «Случалось ли вам хотя <раз задум>аться сурьезно над следующим вопросом, — спрашивает он Смирнову, — все эти разнообразные качества, которые даются женщине и которые дают ей такую власть над мужчинами, остроумье разговора, любезность и ловкость его, неужели все это дается даром?» К этим «качествам» Гоголь мог бы прибавить и женскую красоту, воздействие которой, бывало, он и сам ощущал довольно остро.

Заданные Гоголем вопросы — риторические, ибо, как он заключает, «у Бога вряд ли дается что даром» [XII, 305]. А это значит, что все неотразимые женские чары, которые в иных случаях являются орудием пагубного соблазна, можно и нужно обратить в средство благотельного воздействия на мужчин и общество в целом. Гоголь уже предсказывал подобную роль Анне Виельгорской, благословляя ее на «подвиги»; развивал он такую программу и перед Марией Балабиной, имея в данном случае счастливую возможность наблюдать и результаты воздействия; теперь настал черед Александры Осиповны, что приобрело особую актуальность в свете того общественного положения, которое ей предстояло занять. Гоголь словно озабочен тем, чтобы внедрить в общество побольше «агентов», способствующих его внутреннему облагораживанию и перерождению.

Гоголь предвидит обвинение в несерьезности, утопичности своего проекта, но, — говорит он Смирновой, — «много есть вещей, на которые следует взглянуть гораздо пристальнее, чем мы глядим». И приводит подмеченные им житейские случаи, когда «женщина, даже нельзя сказать слишком умная», овладевала разговором и давала ему нужное направление. «И после разговора как будто невольно почувствовалось какое-то благоухание <...>. Положим, что мгновенное благоухание незначущая вещь. Но хорошо, если оно остается. Один раз, другой, третий, такое благоухание для души не безделица. По крайней мере, уже

носу становится не так ловко после этого в той комнате, где курят другим запахом и подпускают собственных шпионов» [XII, 305]. Значит, гоголевские «агенты» должны пересилить силу этих «шпионов».

Гоголь, мы знаем, с молодых лет ощущал мощное суггестивное воздействие женского начала, ту пучину противоречивых и порою опасных движений, которые таит в себе любовное чувство; сказался тут и роковой личный опыт — история с «незнакомкой» [см.: Книга I, с. 163 и далее]. Писатель с первых шагов своей литературной карьеры, по крайней мере с очерка «Женщина», подумывал и о том, как гуманизировать это воздействие, смягчить его разрушающие последствия и усилить созидательные и благотворные. Теперешние гоголевские советы, Смирновой или Балабиной-младшей, продолжают прежнее направление его мыслей, придавая ему будничной, повседневный, почти утилитарный уклон.

Между тем со стороны отношение Гоголя к Смирновой виделось порою как любовное увлечение, даже не очень, может быть, серьезное, чему способствовала устоявшаяся репутация этой женщины. В январе 1844 г. простодушная Н. Н. Шереметева таинственно сообщила Гоголю: «Я не о многом, а одно слышала, что меня за вас глубоко трогает и страшит» [Шереметева, с. 78]. И спустя два месяца «более откровенно»: «...Приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него не удалась <...>. Мне страшно, в таком обществе как бы не отвлеклись от пути, который вы по благодати Божией избрали» [там же, с. 90; ср.: Шенрок, т. 4, с. 198].

Гоголь прореагировал в общем спокойно: мол, так и надо, слухи посылаются человеку для удержания его от гордости и самообольщений [см.: XII, 242]. Молва достигла и Киева, о чем Гоголь узнал уже во Франкфурте; 13 апреля н. ст. он писал А. С. Данилевскому: «Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно впрочем тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже» [XII, 290]. У Данилевского были свои основания для догадок: не ему ли Гоголь признавался в свое время, что дважды преодолевал сильное любовное чувство, которое чуть не увлекло его в пропасть. Опыт последующего совместного времяпрепровождения (например, в Париже в 1836–1837 гг.), если и не предоставил в распоряжение Данилевского соответствующих подтверждений, то во всяком случае не исключил возможность новых догадок. Но теперь Гоголь недвусмысленно дает понять, что эта сторона жизни для него уже не существует, ибо он нашел «то, что получше».

Предвидит он опасность подобных слухов и для Смирновой по ее возвращении в Петербург. «Слухи эти изрядно черны и, может быть,

даже гораздо хуже тех, которые бы вы могли себе вообразить и представить; но тем не менее, как бы они несправедливы и бесстыдны ни были, примите их как должное». Слухи и оскорбления следует обратить в свою пользу: «...Не преодолевая этих оскорблений, вы будете далеки от *любви*. Она загорается тогда только, когда дружишься с оскорблениями<ми>, то есть не только умеешь переносить их, но даже ищешь их» [XII, 337, 338; курсив в оригинале]. Снова это и косвенное наставление самому себе, род самовнушения. И одновременно элемент режиссуры собственного поведения и его восприятия на общественной и литературной сцене. Контраст между видимостью и реальностью, сама степень наговоров, искажений, порою прямой клеветы потом, когда выяснится правда, породит в обществе эффект раскаяния по отношению к автору, словом, предоставит фору создаваемой им книге жизни.

Между тем работа над второй частью шла трудно, с беспрестанными остановками — не так, как рассчитывал писатель, отправляясь в Германию. Гоголь — Языкову, 14 июля н. ст. 1844 г. из Франкфурта: «Ты спрашиваешь, пишутся ли М<ертвые> д<уши>? И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть <...>. Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочи<ние>. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращение к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтение таких книг, над которыми воспитывается человек» [XII, 331—332].

В июне—июле во Франкфурте побывало много приезжих из России: московский вице-губернатор Петр Петрович Новосильцев, отличавшийся общительностью и, по словам Гоголя, «знакомый всем нашим литераторам» (в свое время он был «знаком» и Пушкину); приезжал и Александр Павлович Галахов, брат известного участника герценовского кружка И. П. Галахова, с женою Софьей Петровной (урожденной Мятлевой), а также Н. А. Мельгунов.

Николай Александрович Мельгунов (1804—1867), прозаик, критик и композитор, был известен, в частности, тем, что участвовал в создании книги немецкого писателя и критика Г. Кенига (H. Koenig) «Literarische Bilder aus Russland» («Литературные картины России») (Stuttgart und Tübingen, 1837), где находилась обстоятельная и очень сочувственная характеристика гоголевского творчества. Встречи Мельгунова и Гоголя во Франкфурте, а может быть, и в иных городах Германии, продолжились; 22(10) октября 1844 г., накануне своей женитьбы, Мельгунов писал из Мангейма Шевыреву: «Под моим обыском свадебным подписались Жуковский и Гоголь, заходящее и восходящее солнце русской словесности» [Кирпичников, 1903, с. 199].

Гоголь ждал каждого нового приезжего с надеждой, что ему привезут книги, которые он заказывал московским и петербургским знакомым, но книги приходили с опозданием и не все. Сетование на то, что люди приезжают к нему «с пустыми руками», просьбы относительно «хотя каких-нибудь русских книг, даже скучных, лишь бы нечитанных» [XII, 335], означали, что в написании поэмы вновь наступила заминка.

В конце июня Гоголь едет в Остенде, курорт на побережье Северного моря; к перемене места и «всех обстоятельств» его толкает обострение болезни («такие несносные и такие тягостные припадки, каких я давно не испытывал». — [XII, 332]), а также желание еще раз встретиться с Виельгорскими и со Смирновой, которая тоже собиралась здесь быть. «Гоголь был здесь и уехал в Остенду, — пишет Жуковский А. И. Тургеневу 25(13) июля из Франкфурта, — бедный часто страдает нервами, и страшно за него» [Жуковский, 1895, с. 304].

По приезду Гоголь принимает морские ванны и с нетерпением ждет своих друзей. 1 августа (20 июля) Жуковский сообщает ему, что Виельгорские пробудут в Остенде всего день или два, а потом отправятся в Англию, в Дувр, куда хорошо бы поехать и Гоголю: «море полечит тело, а их (то есть Виельгорских) добрые души сохранят здоровье души» [Переписка, т. 1, с. 181]. Это расстроило Гоголя, боявшегося морского путешествия и вынужденного остаться в Остенде. Правда, сюда заехал А. П. Толстой, но все же планы писателя относительно «прожития» и основательного общения «с близкими (его) душе людьми» не осуществились. Оставалось терпеливо принимать морские процедуры, запасаться силами.

Гоголь — Жуковскому, 6 августа н. ст.: «Я уже начал купаться и понемногу как будто бы стал поправляться» [XII, 334]. Тому же адресату, 1 сентября н. ст.: «Я, слава Богу, кажется начинаю чувствовать пользу от купанья» [XII, 340]. И позднее, 12 ноября н. ст., уже по возвращении из Остенде, Языкову: «...Море северное <...> произвело на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в южном <...>. Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и буря, тем лучше, и выходишь из воды чорту не брат» [XII, 372].

По словам гоголевского биографа, писателя «видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти. Но только для людей, знавших его издали, он казался в Остенде несчастным ипохондриком, вечно одиноким и задумчивым. Один из его друзей (это скорее всего А. П. Толстой. — Ю. М.) 6 ноября 1844 г. писал ему из Парижа: «В Остенде вы и *нас* и *всех* оживляли своею бодростью» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 17; курсив в оригинале].

Гоголь мечтает о возвращении во Франкфурт, где можно будет наконец вместе с Жуковским «засесть <...> солидным образом за работу».

Но перед этим Гоголь побывал еще в Брюсселе, где встретился с Виельгорскими, Луизой Карловной и дочерьми. Сюда же в это время

возвратился из Англии граф Михаил Юрьевич Виельгорский, у которого Гоголь выспрашивает об английской жизни разные сведения — для собиравшегося в эту страну А. П. Толстого. Гоголя и самого очень интересовало общественное устройство, быт и нравы англичан («рассказы об аглицком китайстве преувеличены», — замечает он, в частности) — интересовали в контексте его главной мысли о необходимости многостороннего взгляда на Европу и Россию. Но отправиться в Англию он не решался. «Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю, будут ли на это какие средства» [XII, 146], — писал он 28 февраля н. ст. 1843 г. Шевыреву.

Наконец, 16(4) сентября Гоголь выезжает из Брюсселя во Франкфурт.

Три с лишним месяца — с конца сентября 1844 г. по начало января следующего года — выдались для Гоголя довольно спокойными и в творческом отношении плодотворными. Писатель жил теперь не в гостинице (обычно это был Hotel de Russie), а в доме Жуковского, в районе Заксенхаузен (Sachsenhausen), точнее — возле Salzwedelsgarten vor dem Schaumeintor. По описанию современника, это был «двухэтажный небольшой домик», «на набережной, на другой стороне моста», «окнами на Майн» [Жуковский, 1999, с. 344]. Все здесь дышало уютом, располагало к работе. «Ты знаешь, какой мастер Жуковский устраиваться, — сообщал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому, — но он превзошел здесь себя во вкусе уборки дома, мебели, гравюр, статуэток, бюстиков, и всей роскоши изящных художеств. Все на своем месте, во всем гармония, как в его поэзии и в его жизни!» [Соловьев, 1912, с. 82].

Гоголю была выделена комната на втором этаже. В октябре Жуковский сообщал А. И. Тургеневу: «Наверху у меня гнездится Гоголь: он обрабатывает свои Мертвые души» [Жуковский, 1895, с. 305].

Около того же времени в этом доме побывал литератор и издатель И. Е. Бецкий, который рассказал о своих впечатлениях тому же Тургеневу, а последний — читателям «Москвитянина» в одном из фрагментов своей «Хроники русского»: «При сем случае он (Бецкий) может известить читателей ваших и о Гоголе, который гнездится над переводчиком “Одиссеи” и читает перевод ее вслух переводчику; думает, что Гоголь *ничего не пишет*, так ему показалось, но Жуковский извещал меня, что он все утро над чем-то работает, не показывая ему труда своего» [Тургенев, с. 243; курсив в оригинале].

Неудивительно, что Гоголь не стал посвящать гостя в свои труды: он всегда сторонился малознакомых людей, а на Бецкого у него была еще и обида (об этом далее). Однако Тургенев знал со слов Жуковского, над чем работает Гоголь (интересно, между прочим, что автор «Хроники» буквально повторил выражение своего корреспондента — «гнездится Гоголь»), но, уважая тайну писателя, не раскрыл ее читателям «Москвитянина».

По настроению Гоголя видно, что труд его, хотя и медленно, продвигается, вдохновение возвращается к нему. А. М. Виельгорской,

23 ноября н. ст.: «Слава Богу, нахожусь в положении обыкновенном, т.е. не сию совершенно за делом, но не бегаю от дела, и прошу Бога о ниспослании нужного одушевления для труда своего, свежести сил и бойкости пишущей руки» [XII, 375]. А. О. Смирновой, 24 декабря н. ст.: «Скажу вам только то, что я не замечаю, что я живу во Франкфурте, живу я там, где живут близкие мне люди, а наиболее живу в работе <...>. С Жуковским мы ладим хорошо и никак не мешаем друг другу, каждый занят своим» [XII, 420]. Н. Н. Шереметеву Гоголь просит помолиться, чтобы были у него силы «для нынешнего труда» и «чтобы совершить его таким образом, чтобы он доставил не минутное удовольствие некоторым, но духовное удовольствие многим, и чтобы всех равно более приблизил к <...> небесному творцу нашему» [XII, 365].

В ноябре 1844 г. Гоголь задним числом признавался, что лето у него пропало: «Нервы до такой степени были расстроены, что не в силах был не только что-нибудь делать, но даже ничего не делать...» [XII, 372]. Осень и зима в восприятии Гоголя освещались другим, более радужным светом.

Из Остенде и Брюсселя, как заметил Мельгунов, Гоголь «возвратился бодрым, оживленным: таким, по крайней мере, он мне показался. Первого тома “Душ” препечатывать не хочет, пока не издаст по крайней мере второй части» [Кирпичников, 1903, с. 199].

Сведения о благотворной перемене с Гоголем исподволь расходились среди знакомых и друзей. Вяземский писал Жуковскому из Петербурга 4 ноября 1844 г., обыгрывая название поэмы: «Мой сердечный поклон живой душе Мертвых душ» [Памятники, с. 50]. Луиза Карловна Виельгорская, приглашая Гоголя в Майнц, просила его 23 октября: «Привезите, во-первых, самого себя, да кстати и “Мертвые души”» [Шенрок, т. 4, с. 928; поездка эта, кажется, не состоялась].

А из Москвы в сентябре того же года Гоголю писал Н. М. Языков: «Про тебя ходят здесь слухи распрекрасные, именно говорят, что у тебя уже готовы еще *две части* “Мертвых душ” и сверх того ты написал “Записки русского генерала в Риме”» [Переписка, т. 2, с. 385–386; курсив в оригинале]. Гоголь в ответ заметил, что это уж слыхком, что «прекрасные слухи» пристекают из определенного источника: «Я подозреваю, что в Москве есть один какой-нибудь этакой портной, который шьет сам на всю Москву. Благо есть дураки, которые ему заказывают» [XII, 364]. Предприимчивый «портной» — это, конечно, давний «приятель наш» — черт; он навевает тоску и уныние, он же плетет паутину слухов.

Для авторского самоощущения Гоголя в этот период показательна его бурная реакция на стихотворение Языкова «Землетрясение», появившееся в «Москвитянине» за 1844 г. (№ 10) и вошедшее в его сборник «N S /56/ стихотворений» (М., 1844). «Какое величие, простота и какая прелесть внушенной самим Богом мысли! Оно верно произвело у нас впечатление на всех <...>. Жуковский подобно мне

был поражен им и признал его лучшим русским стихотворением <...>» [XII, 377]. Сам Гоголь читает его «почти всякий день» — как молитву.

Гоголевское мирозерцание с самой ранней поры развивалось под знаком стихийного бедствия, катастрофы, вызываемых участием высших сил, которые поражают и карают, сеют ужас и отчаяния [Манн, 1996, с. 53]. События эти приобретали вид природного катаклизма — извержения вулкана (статья «Последний день Помпеи») или землетрясения («Страшная месть»); они запечатлелись и в легендарном прошлом, «в старину случившемся деле», и в тревожениях современной жизни, сложно преломляясь в организации всех уровней художественного текста («Ревизор», особенно его «немая сцена». — [см.: там же, с. 207–214; 329–339]). В стихотворении Языкова Гоголь нашел предельно концентрированное выражение этого комплекса и высшую степень его актуализации; чуть позже, в «Выбранных местах...», в статье «Предметы для лирического поэта...», он распространит найденный образ на всю современную эпоху — на «тяжелую годину *всемирного землетрясения*, когда все помутилось от страха за будущее» [VIII, 278].

Но Гоголь нашел в стихотворении и нечто новое — четкое запечатление выхода из «тяжелой години». «Страшная месть», «Ревизор» или, скажем, статья о картине Брюллова лишь фиксировали дух всеобщего потрясения и катастрофы; «спасительная» перспектива не исключалась, но выводилась опосредованно, сложно, как это бывает обычно при моральных интерпретациях текста. Теперь Гоголю этого мало: стихотворение дает ему прямое изображение человека «избранного», отмеченного перстом высшей «невидимой силы», что служит своего рода эмблемой посреднической роли поэта — между Богом и страждущим, погрязшим в грехах человечеством:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли,
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины, —
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Гоголь настоятельно рекомендует стихотворение Языкова своим друзьям, прежде всего тем, кого он уже определил на роль избранных. «Прочтите его <...> несколько раз. Оно так возвышенно, просто и прекрасно и так кстати в нынешнее время, что его многим нужно читать, особенно тем, которые рождены ободрять других, стало быть и вам» [XII, 421], — писал он Смирновой. Удостоилась этой чести и Анна Виельгорская: «Землетрясение» Гоголь послал ей «в подарок на новый (1845) год». «Стихотворение это она должна прочесть несколько раз и то, что в нем говорится о поэте, должна применить к себе. Не худо, если и Луиза Карловна сделает то же» [XII, 410].

На впечатление от стихов Языкова наложилось другое событие: в октябре и ноябре сразу от двух своих корреспондентов, Смирновой и Анны Виельгорской, Гоголь узнал о случившемся в Иерусалиме. Вот версия, переданная Анной Михайловной в письме из Парижа от 12 ноября (в свою очередь, Виельгорская основывалась на сообщении из Петербурга «от папеньки»): «В Иерусалиме во время обедни раздался небесный голос. Патриарх Иерусалима говорил, что это предвещает большие бедствия всему миру. Он велел всем говорить раз ежедневно следующую молитву, которую уже многие знают в Петербурге (далее следовал текст молитвы). Каждый говорящий сию молитву должен стараться сообщить ее девяти другим особам». Этот «удивительный случай», по словам Анны Михайловны, «смутил» и ее и «маменьку», Луизу Карловну. «Пожалуйста, любезный Николай Васильевич, говорите ее (молитву) каждый день и старайтесь сообщить ее дальше. Что вы об этом думаете? Напишите мне скоро» [ВЕ. 1889. № 10. С. 490].

Гоголь отвечал: «Если молитва пришла в наши руки, то по ней следует молиться». И поинтересовался, «между каким классом наиболее разошлась в Петербурге эта молитва и кто ее доставил. И молится ли Петербург, помышляя в то же время о себе и рассматривая жизнь свою, или просто повторяет одни только слова молитвы, не входя в них душою и сердцем» [XII, 374–375]. Ведь «небесный глас», сообщает Гоголь матери 12 декабря, «был истолкован патриархом, как пророчащий бедствия миру, если он не покается». Поэтому, молясь, «нужно слишком строго взглянуть на самого себя, рассмотреть протекшую жизнь свою и исправить значительно настоящую» [XII, 379].

В соответствии с наставлением патриарха Гоголь решил принять участие и в распространении молитвы: послал текст матери, веля читать «всякий день со вниманием». «То же должны сделать и сестры. Не мешает также прочесть ее и многим домашним, а особливо тем из живущих в нашей деревне, которые ленивы, нерадивы и дурно ведут себя» [XII, 380]¹⁴⁹.

Молитвенное расположение для Гоголя — это и проблема самооценки, бесконечно усложнявшейся и вызывавшей постоянную рефлексию. В этом свете следует рассматривать и бурную, как сейчас сказали бы, неадекватную реакцию писателя на появление в печати двух его портретов — в 11-м номере «Москвитянина» за 1843 г. и в книге «Молодик на 1844 год, украинский литературный сборник» (СПб., 1844). В «Москвитянине» была опубликована литография П. Зенкова с портрета, принадлежащего кисти А. Иванова; в «Молодике» — литография с рисунка Карла Мазера. На обоих издателей — Погодина и Бецкого — и обрушился весь гнев оригинала портретов.

Иван Егорович Бецкий (1817–1891), писатель и издатель, выпускник историко-филологического факультета Харьковского университета, питал глубокое уважение к гоголевскому творчеству, о чем сви-

детельствует его письмо от 11 марта 1840 г. Погодину из Харькова [см.: ЛН. Т. 58. С. 584–586]. Публикация портрета — «великолепного», по слову Бецкого [там же, с. 666], — являлась выражением этого чувства. Неудивительно и то, что, совершая в 1844 г. путешествие по германским землям, Бецкий решил заехать во Франкфурт.

Согласно его собственному рассказу, он явился в дом Жуковского в Заксенхаузене по своему почину вместе с кн. В. П. Голицыным, который и представил его поэту [Жуковский, 1999, с. 344]. А по гоголевской версии, Бецкий пришел, откликаясь именно на его приглашение, «для принятия от меня (то есть Гоголя) личного распеkania» [XII, 363]. Сохранилась гоголевская записка, подтверждающая сам факт приглашения [см.: XII, 361]. Между тем в своих опубликованных воспоминаниях Бецкий даже не назвал имя Гоголя, хотя в устном рассказе А. И. Тургеневу дал понять, что с писателем они виделись; очевидно, говорил он об этом и своему приятелю Н. Ф. Щербине (Бецкий «был у Гоголя, у Жуковского...» — сообщал Щербина 30 мая 1845 г. В. М. Лазаревскому. — [ЛН. Т. 58. С. 668]). Видимо, Гоголь выразил Бецкому столь резкое неудовольствие, устроил такое «распеkanie», что тот просто не рискнул публично упоминать о встрече, тем более что воспоминания предназначались для «Москвитянина» (появились в 3-й ч. за 1845 г.), то есть журнала, также провинившегося перед Гоголем публикацией его портрета.

Отклик Гоголя на поступок издателя «Москвитянина» оказался еще более эмоциональным. «Если бы Булгарин, Сенко<вский>, Полевой, — писал он Языкову 26 октября н. ст., — совокупившись вместе написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим» [XII, 363–364]. Вот как! Не более, не менее как «унижение», превосходящее самую злую критику...

Даже такому близкому к Гоголю человеку, как Шевырев, трудно было уразуметь причину столь бурного гнева. «Я решительно не понимаю, за что ты тут рассердился», — пишет он Гоголю из Москвы 15(27) ноября, последовательно опровергая один возможный довод за другим. Портрет недостаточно хорош? «...Но если государь Николай Павлович не сердится на свои дурные портреты, то зачем же оскорбляться твоему литературному величеству?» Опубликован без спроса? «Конечно, лучше б было спроситься. Но чем же обидел он твое смирение или самолюбие. Смирение твое не может страдать от этого, потому что славу твою ты не утаишь же от России...» Нарушение прав собственности? Но даже смешно предположить, что Гоголь исповедует их в такой утрированной форме. — «...Конечно, ты за тем и не подумаешь гнаться».

Шевырев упоминает случаи, известные ему как профессору Московского университета: мол, один студент попросил подарить ему гоголевский портрет, потому что «желал украсить им свою комнату»;

другие студенты сами вырвали портрет из журнала. «...Из этого ты видишь только, что портрету твоему, даже и не так удачному, радо молодое поколение, тебе вполне сочувствующее» [Переписка, т. 2, с. 304]. Шевырев и не догадывался, что этими фактами он еще больше разбередит рану.

«...Друг мой, — отвечает ему Гоголь 14 (2) декабря, — ведь я знал, что меня будут выдирать из журналов. Поверь мне, молодежь глупа». Глупа, потому что склонна создавать себе «идолов». И тут достается уже портрету, поскольку тот оказался не на своем месте, то есть сыграл роль идола. «Рассуди сам, полезно ли выставлять меня в свет неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами? Разве ты сам не знаешь, какое всему этому дают значение? Но не для себя мне прискорбно, что выставили меня забулдыгой» [XII, 393]. Если «не для себя», то для кого же? — Для публики, для всего читающего русского мира.

Возникает вопрос: а если бы Гоголь был «выставлен» не в домашней одежде, а, так сказать, почти официально, — устроила бы его публикация такого портрета? Собственно на это ответил сам писатель, который еще до истории с «Москвитяниным» наложил строжайший запрет на вполне чинный портрет кисти Ф. А. Моллера. «Спрячьте его в отдаленную комнату, — пишет он матери 12 июня н. ст., — зашейте в холст и не показывайте никому. <...> Копии снимать с него никому не позволяйте. Это мое желание» [XII, 322].

Отношение Гоголя к собственному портрету — психологическая модель его писательского поведения как автора «Мертвых душ»: бесконечного совершенствования текста, неудовлетворенности, откладывания решающего момента встречи с читателем.

Но вот что интересно: несколькими годами позже, в «Завещании», включенном в «Выбранные места...», Гоголь, возвращаясь к истории с портретом, заговорил о ней торжественно-оскорбленным, почти трагическим тоном: «Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности...» Значит, это право — все-таки не безделица для Гоголя?.

И затем: о каком конкретно портрете идет речь, портрете, который Гоголь хотел бы передать для гравирования Ф. И. Иордану и который мог бы разойтись во множестве экземпляров? Контекст гоголевского «Завещания», а также более поздние письма А. А. Иванова по поводу этого документа [процитированы по подлинникам в кн.: Машковцев, 1982, с. 97--98] не оставляют сомнения в том, что подразумевается именно злополучный портрет, появившийся в «Москвитяине». Значит, ситуация предстает совсем в другом свете...

Автор исследования «Работа Иванова над портретом Гоголя» считает, что погодинская публикация сорвала замысел, лелеемый художником и его прототипом: по мысли обоих, на картине «Явление Мессии» Гоголь должен был предстать в образе «кающегося грешника»,

со «скорбным лицом», для чего Иванов и делал свои этюды, один из которых литографировал П. Зенков. Таким образом, «полной профанацией этого замысла была публикация погодинского портрета, интимного, домашнего, где изображен Гоголь-весельчак, Гоголь приятельского круга <...>. Он ясно представлял себе, как будет реагировать читатель, неожиданно встретив почти улыбающуюся физиономию того, от кого можно было ожидать серьезного и глубокого поучения» [Машковцев, 1982, с. 106; точку зрения Машковцева целиком разделяет современная немецкая исследовательница — см.: Друбек-Мейер, с. 334–337].

Хорошо, но ведь Гоголя как автора «Выбранных мест...», книги, более чем любая другая претендующей на «серьезное и глубокое поучение», — такого Гоголя встреча читателей с подобным его портретом ничуть не шокирует. Он лишь сожалеет, что не может распорядиться портретом ввиду совершившегося «похищения»...

Все дело, очевидно, в том, что были задеты очень глубокие слои гоголевской психики, а значит и авторского самочувствия, и связано это было не столько с конкретным характером портрета, сколько с самим фактом его появления. В не дошедшем до нас письме от 12 ноября н. ст. Шевыреву Гоголь заметил, что история с портретом осложняет работу над «Мертвыми душами» — и эти слова вызвали полное недоумение у его адресата: «Каким же образом могло это обстоятельство произвести значительное изменение в твоих работах и во времени выхода в свет труда твоего, — этого я уж никак и понять не могу» [Переписка, т. 2, с. 305].

Гоголь отвечает, что портрет — только «последний хвостик» его психологического состояния, «и для того чтобы объяснить что-нибудь, нужно <...> подымать из глубины души такую историю, что не впишешь ее на многих страницах» [XII, 393]. Гоголь пояснил это состояние лишь в «Завещании», пояснил способом от противного, то есть с помощью, так сказать, идеальной перспективы: что было бы, если бы сполна была достигнута его жизненная цель, завершено писательское поприще, а это значит — создана во всем объеме поэма? «...Только в таком случае, предполагал себе это позволить (то есть разрешить публикацию портрета. — Ю. М.), если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом совершить его так, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью» [VIII, 223]. «Все мои соотечественники сказали в один голос...» Да мыслимо ли такое? Значит, выдача авторской лицензии на портрет откладывалась на неопределенное, бесконечное время.

Между тем важна была провозглашенная Гоголем последовательность: *вначале* «Мертвые души», *потом* портрет. Современники, конечно, знали или предполагали, как внешне выглядит автор, многие

даже встречались с ним воочию. Но они должны были при этом помнить, что автор работает «в тишине», чуждается публичности, известности, славы, смиренно обрекая себя на одиночество и ежедневный труд. Появление портрета грубо нарушило авторское амплуа, вторглось резким диссонансом в авторское поведение.

Такое поведение Гоголя наметилось давно: вспомним, как несколькими годами раньше, когда в Москве давался «Ревизор» и возникла необходимость выйти на сцену, он чуть ли не стремглав бежал из театра... Поступок этот того же плана, что и «уклонение от портрета». Автор не должен восприниматься рядом с текстом, вне текста, в придачу к тексту; чтение Гоголем своих произведений в узком кругу — другое дело: не говоря уже о камерности аудитории, тут сама манера его чтения, наивно-лукавая, простодушная, неаффектированная, когда исполнитель, по словам И. С. Тургенева, погружается «в самое дело», всецело растворяется в тексте, — сама манера этого чтения способствовала такой установке. Внетекстовые ассоциации к авторскому амплуа и его облику не исключались, но они должны были возникнуть легко, с известной долей свободы и даже тайны, без той жесткой предопределенности, которую создает видимый и повторенный во множестве копий портрет. Причем, надо подчеркнуть, *любой* портрет: даже если бы автор предстал в виде кающегося, или аскета, или святого — это не изменило бы дела.

К периоду работы над поэмой, ее вторым томом, эта внутренняя гоголевская установка еще более усилилась, ведь в читательском воображении должен был предстать автор *особого* произведения, разрешающего тайну русской жизни. И в силу этого, повторяем, лицензия на такой портрет отодвигалась в конце концов на неопределенное будущее — не только потому, что ставилась в зависимость от недостижимого идеала, ибо полное единодушие потенциальных читателей поэмы заведомо исключалось, но и потому, что объявленная смерть автора, к счастью, не произошла и, следовательно, его распоряжение о портрете вместе со всем «Завещанием» дезавуировалось.

Пока создавалось произведение, призванное коренным образом повлиять на судьбы соотечественников, Гоголь занимался жизнестроительством в ближайшем своем кругу, среди друзей и знакомых, особенно женщин. С помощью Смирновой он пытается наладить не очень-то счастливую семейную жизнь Соллогубов, Софьи Михайловны и Владимира Александровича.

Теперь супруги возвращаются в Петербург, и Смирнова уполномочивается создать для этого благоприятную атмосферу. «Употребите все старание, чтобы свет и общество сколько-нибудь узнали, какой прекрасный цветок поселился среди их. От этого будет зависеть и самое уважение к нему мужа...» Следует наставить Софью Михайловну, как строить семейный бюджет, как загодя выговорить себе деньги «на

всякие непредвиденные случаи», а то «муж, разумеется, все остальное приберет к себе». Далее следует объяснить, сколь важны во взаимоотношениях мужа и жены система и порядок, «чтобы виделись они друг с другом не иначе, как по окончании дела и занятия, чтобы у каждого были отдельно свои комнаты и кабинет для занятия, так чтобы панталоны Владимира Александровича не заходили бы в кабинет жены — отдыхать на столе или диване» [XII, 345, 346]. Гоголь говорит как человек, имеющий за плечами долгий опыт семейной жизни....

Не ограничиваясь Смирновой, Гоголь, как сегодня сказали бы, *напрямую* обращается к Софье Михайловне: «Вы едете теперь на новоселье, на новую жизнь, на новое хозяйство. Прежде всего заведите в доме с самого начала порядок во всем, особенно порядок во времени <...>. И еще: положите между собою так, чтобы каждый из вас, откуда бы ни пришел и ни возвращался домой, не шел бы прямо друг другу на встречу, а зашел бы прежде в свою уборную и заглянул бы в зеркало, чтобы поправить на себе все во внешнем и во внутреннем или душевном смысле...» Тут же прилагается и перечень «предметов», на которых следует срывать зло, чтобы восстановить спокойствие: «можно швырнуть стул, высечь подушку, можно даже разбить флакон или чернильницу...» [XII, 347, 348].

Случалось Гоголю в это время давать советы и наставления по более серьезным, грустным поводам. 24 марта 1844 г. внезапно умерла его старшая сестра.

Жизнь Марии Васильевны сложилась не очень счастливо: двадцати пяти лет с маленьким ребенком на руках, кстати, крестником Николая Васильевича, получившим в честь него свое имя, она овдовела. Гоголь узнал о случившемся за границей, в Швейцарии, и вот каким образом утешал он потрясенное горем семейство: «... Мы должны быть тверды и считать наши несчастья за ничто, если хотим быть христианами <...>. Такие ли бывают несчастья! Сколько есть на земле людей, которые, может быть, несчастья наши почли бы только за слабые огорчения в сравнении с другими жесточайшими!» [XI, 64]. Гоголь, конечно, прав, но рискованно ободрять ввиду смерти близкого человека перспективой еще большего несчастья.

Затем, спустя примерно год, перед Марией Васильевной замаячила надежда на новое замужество. Кто был реальный претендент на ее руку, неизвестно. Младшая сестра Ольга Васильевна (в замужестве Головня) упоминает А. С. Данилевского, однако дает понять, что никакой взаимности с его стороны не наблюдалось. «Ей хотелось выйти замуж за Данилевского, а он и не думал о ней, хотя и приезжал к нам, как к матери его друга <...>, а она вообразила, что к ней...» [Головня, с. 17]. Из письма же Гоголя к матери видно, что потенциальный жених происходил «из чужой губернии» и в их доме бывал всего несколько раз, — и поэтому Николай Васильевич советует осмотреться, собрать как можно больше сведений, посоветоваться с каким-нибудь «рассудительным

человеком», хотя бы, например, с приехавшим на Полтавщину неким Владимиром Юрьевичем Леонтьевым (по словам Данилевского, это сводный брат А. А. Трошинского, генерал. — [Письма, т. 1, с. 239]).

Советы Гоголя дышат практичностью и благоразумием: «Вы ска-зали только, — обращается он к матери 5 февраля н. ст. 1838 г., — что жених с состоянием, но ни слова не сказали, как велико это состоя-ние. Если это состояние немногим больше ее собственного, то это еще небольшая вещь. Она должна помнить, что от ней пойдут дети, а с ними тысячи забот и нужд, и чтобы она не вспоминала потом с завистью о своем прежнем бытье» [XI, 126]. С таким же предостереже-нием обращается Гоголь к самой Марии Васильевне: «Величайшее благоразумие ты теперь должна призвать в помощь и помнить, что ты теперь не девушка и что нужно, чтобы партия была слишком, слиш-ком выгодная, чтобы решиться переменить свое состояние и продать свою свободу» [XI, 120]. О любви, сердечной склонности, простой человеческой симпатии Николай Васильевич ничего не говорит и се-стру об этом не спрашивает...

И вот теперь пришло известие о смерти Марии Васильевны.

Гоголь отправился из Франкфурта в Штутгарт, где была русская церковь, отслужил панихиду — в тот же день, когда состоялась пани-хида по Екатерине Павловне, дочери императора Павла, королеве вюртембергской, скончавшейся четверть века назад. Потом обратился с утешением к матери, к сестрам: «...Отгоните от сердца всякое со-крушение. Иначе это будет грех. Молитесь о ней, но не грустите <...>. Несчастья не посылаются нам даром...» [XII, 316].

Но тут последовали сообщения о новых несчастьях — умерла жена Погодина Елизавета Васильевна, умер друг аксаковского семейства литератор и ученый Дмитрий Максимович Княжевич, также знако-мый Гоголю; они встречались, мы помним, и в Риме и в Москве.

Николай Васильевич отозвался на эти события в своем духе: «...По-благодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем Богу за все спасибо, а сами за дело!» При этом Гоголь сделал любопытное признание: «Прежде утраты меня поражали больше...» [XII, 404]. Действительно — вспомним только его бурную реакцию на кончину Иосифа Виельгорского, случившуюся пять лет назад. Теперь такое поведение показалось бы ему недоста-точно христианским. «...Во-первых, потому что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых потому, что некогда и грустить: жизнь так ко-ротка, работы вокруг так много...» [там же].

Самое любопытное, что кончину Елизаветы Васильевны Гоголь счел подходящим поводом, чтобы без промедления, «по горячим следам», заняться воспитанием овдовевшего мужа. «Я знаю, — говорит он ему, — что покойницу при жизни печалили два находящиеся в тебе недостатки. Один <...> состоит *в отсутствии такта* во всех возможных родах при-

личий.... Другой недостаток твой, который также нередко смущал покойницу, искренно желавшую, чтобы его в тебе не было — это гнев». Гоголь словно говорит от имени умершей. «Почему знать, может быть и это письмо, которое пишу тебе, внушилось мне вследствие ее же небесных молений о тебе...» [XII, 401, 402–403; курсив в оригинале].

Еще одно печальное известие, правда не столь трагическое, Гоголь получил несколькими месяцами позже, по возвращении во Франкфурт из Парижа. С. Т. Аксаков сообщил ему, что слепнет, что не может читать и работать. В ответ Николай Васильевич посоветовал видеть в этом благорасположение Бога: «Отнимая мудрость *земную*, дает он мудрость *небесную*; отнимая зренье *чувственное*, дает зренье *духовное*, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные» [XII, 482–483; курсив в оригинале]. Но Сергея Тимофеевича такие слова не утешили. «Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я человек, и потому хотел человеческого огорчения, ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..» [Аксаков С., с. 159]. Тут Сергей Тимофеевич мог бы переадресовать Гоголю его же упрек Погодину в недостатке такта.

А между тем Гоголь хотел лишь быть последовательным до конца, не делая никаких исключений ни для себя, ни для других. В горячо рекомендуемой друзьям книге Фомы Кемпийского он опирался на положения о преодолении страданий и приверженности высшим ценностям. Из Златоуста он выписывает наставление о должном отношении к утратам: «Когда ты видишь, как выливают статую, то не говоришь, что вещество, которое для него расплавляется, пропадет, но что оно принимает лучший образ. Так рассуждай и о теле и не плачь» [Письма, т. 2, с. 446]. Сам Гоголь в трактате «Правило жития в мире» так сформулировал главное «правило»: «Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, жену, мужа, брата и друга...» [Хетсо, с. 58]. Собственно, к своим родным или к Погодину он обращал именно это требование. Но острота проблемы заключалась в том, чтобы, будучи христианином, все же платить «полную дань своей человеческой природе» — как сказал Сергей Тимофеевич еще в связи с потерей младшего сына Миши.

Впрочем, встречая сильное возражение или ответный упрек, Гоголь обычно готов был признать, что «попал в фальшивую ноту», «написал глупое письмо»; но все равно требовал, чтобы таковые письма прочитывались «в другой и третий раз» [XII, 403] — и тогда откроется их благая цель. Гоголю были свойственны гибкость и антидогматизм особого рода, когда он отступался не только от «буквы», но, можно сказать, от текста ради сохранения еще не проясненного и не найденного до конца смысла. И тут он проводил прямую аналогию между своим бытовым, повседневным поведением и творчеством, — и на этот раз тот или иной его поступок являлся моделью художественных

произведений или даже их совокупности. «...Сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было...» [XII, 405–406]. Отсюда «целые облака недоразумений», которые произошли как в литературной деятельности, так и «в делах моих прозаических, в отношениях дружественных» [XII, 384]. Значит, надо неустанно искать форму — в общении это вело к постоянным разъяснениям, уточнениям, оговоркам, оправданиям; в художественном творчестве — к нескончаемому совершенствованию текста. И главным заложником этого процесса становились «Мертвые души».

То, как Гоголь стремился построить свое поведение в согласии с христианскими нормами, видно из следующего эпизода. Из своих средств, получаемых за продажу Сочинений, писатель распорядился выплачивать пособия студентам, причем так, чтобы никто не знал происхождения этой помощи: «...Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» [Мф. 6, 1]. Смирнова-Россет, узнавшая о гоголевском решении, укорила его в неразумной жертвенности: как можно помогать чужим, когда близкие, мать и сестры, да и сам Николай Васильевич испытывают постоянную нужду: «...Вы мне напомнили одного фурьериста, который свой капитал растратил для общественного блага, а потом сам с женой и детьми умирал с голоду...» И почему надо скрывать свои добрые дела?

Смирнова увидела в этом отсутствие простоты, род гордыни, в чем она и раньше обвиняла Гоголя, и напомнила слова Святого Франциска Сальского: «Мы наслаждаемся мыслью о том, как нам быть добрыми ангелами, и забываем, что прежде всего наш долг — быть добрыми людьми» [Переписка, т. 2, с. 131; цитата из Франциска Сальского приведена по-французски].

И еще Александра Осиповна увидела в этом чрезмерное, прямолинейное следование христианским канонам. «Конечно, — писала она С. М. Соллогуб, — с христианской точки зрения самоотречение должно быть абсолютным, но так как нам приходится жить в свете, в обществе избалованном, лживом, мы должны уметь соединять наши абсолютные обязанности с обстоятельствами, которые изменяют, варьируют и усложняют не чувство нашего долга, но форму наших поступков» [цит. по: Колосова, с. 212]. Словом, речь шла о разумности компромисса. Кто-кто, а уж Александра Осиповна, с ее опытом придворной и светской жизни, знала, что такое компромиссы, и умела корректировать моральные заповеди условиями реальности. С нарочитой демонстративностью сообщает Смирнова Гоголю о последовательности своих утренних чтений (письмо это относится к более позднему времени): «...Одну главу Евангелия, а потом письма Плиния младшего; древность классическая проста, правильна и не переносит за границы невозможностей в добродетели» [Переписка, т. 2, с. 188; см. об этом также: Колосова, с. 211–212].

Гоголь выслушивал все это, но в главном своем решении оставался непреклонен: «...Обет, который дается Богу, соединяется всегда с пожертвованьем и всегда в ущерб или себе или родным...» [XII, 430–431].

В ПАРИЖЕ КАК В «МОНАСТЫРЕ»

В самом начале нового, 1845 г. Гоголь неожиданно для себя очутился в Париже. Еще 28 декабря н. ст. он почти клятвенно заверял, что скорее отправится в Чухлому или на Чукотский нос, чем в Париж, но внезапное ухудшение здоровья — «нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенного расклеяния во всем теле» — изменило его решение. Пользовавшийся Гоголя известный немецкий врач Иоганн Генрих Копп, да и Жуковский настаивали на отъезде из Франкфурта, на смене впечатлений. Гоголь на этот раз не очень надеялся на дорогу, но его привлекала мысль снова увидеться с Виельгорскими — Луизой Карловной и Анной — и с А. П. Толстым.

Гоголь намеревался пробыть во французской столице «месяц, а, может быть, и более» [XII, 454]. Так оно в общем и получилось — с 14 января [см.: XII, 667] по 1 марта н. ст.

Это было его третье посещение Парижа. Первый раз — с ноября 1836 по февраль 1837 г.; потом — с августа по сентябрь 1838 г. Те дни выдались для Гоголя сравнительно легкими и безмятежными; политической атмосферы французской столицы он по обыкновению чуждался, знакомства с деятелями культуры не заводил, но охотно посещал театры, музеи, бывал в зоологическом и ботаническом саду, ездил в Версаль, любил рестораны, — и в состоянии удовлетворенности говаривал: «Славная собака Париж»... Теперь — другой настрой, другое времяпрепровождение.

Гоголь — Н. Языкову, 12 февраля н. ст.: «О Париже скажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа <...>. Никого, кроме самых близких моей душе, то есть графинь Вьельгорских и гр<афа> Ал<ександра> П<етровича> Толстого, не видал» [XII, 456–457].

Толстой жил на Rue de la Paix в Hotel Westminster (гостиница эта существует и по сей день). Здесь же остановился и Гоголь. А Виельгорские, Луиза Карловна и Анна, проживали всего в нескольких шагах отсюда, на Вандомской площади. Очевидно, это и был один из маршрутов Гоголя.

Недалеко, по левую руку от гостиницы, находилась Опера, а по другую сторону, чуть дальше — Лувр, «Комеди Франсез», Пале-Рояль... Но неизвестно даже, бывал ли здесь Гоголь в этот раз. По его словам, он провел в Париже время «совершенным монастырем» [XII, 458].

Московские друзья Гоголя, зная об усилении его «религиозного направления», выражали беспокойство по поводу конкретного содержания последнего. «Откуда оно развилось, куда идет и до куда

дошло, — спрашивал 28 января И. В. Киреевский Жуковского. — Страшно, чтобы в Париже не подольстились к нему иезуиты. Изучал ли он особенно нашу церковь?..» [Киреевский, с. 402]. Опасения возникли под влиянием известного «католического эпизода», имевшего место весной 1838 г. в Риме. Но на этот раз никаких попыток искушения, кажется, ни от кого не исходило, да и круг общения Гоголя был строго определенный: чуть ли не ежедневно посещал он православную церковь, «не пропустил почти ни одной обедни», с особенной похвалой отзываясь о тамошнем священнике — это «хороший и умный человек и, благодаря ему, я не оставался без русских книг, которые были мне потребны и пришлось по состоянию моей души» [XII, 457].

Протоиерей Дмитрий Степанович Вершинский (1798–1858) был действительно весьма образованным человеком, окончившим курс в Санкт-Петербургской духовной академии. До получения места настоятеля русской посольской церкви в Париже он исполнял должность ординарного профессора той же академии, опубликовал ряд трудов по богословию и философии. По словам проживавшего в это время в Париже Ф. Н. Беляева, Вершинский представлял собою «тип доброумно-русского человека» [Шенрок, т. 4, с. 348].

Иван Киреевский своим вопросом, изучает ли Гоголь «нашу церковь», попал в самую точку. Да, изучает, делая многочисленные выписки из творений отцов и учителей православной церкви [см.: Петров, с. 270–317], чтобы прежде всего уяснить и представить во всех деталях чин православной литургии. В Париже эта работа отодвинула на задний план все другие его занятия, в том числе и вторым томом поэмы. Гоголь задумал труд, позднее оформившийся как «Размышления о Божественной литургии»; с этой целью он интересуется «литургией Василия Великого», в книге о богослужении изучает разделы о фимиаме и кадиле [см.: XII, 461]. Помогал ему в занятиях упоминавшийся выше Федор Николаевич Беляев, филолог-эллинист, переводивший греческие и латинские тексты.

В свою очередь, и Гоголь, давая Беляеву различные «задания», стимулировал его интерес к богословской литературе. Известна дарственная надпись на греческом «Евхологионе»: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и в наказание за неприятие Василия Великого от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845» [XII, 669]. В чем состояло это «неприятие», видно из следующего письма Беляева Гоголю, посланного уже по отъезде последнего из Парижа: «...Благодарю вас тысячекратно за то, что вы натолкнули на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в долгий ящик» [Шенрок, т. 4, с. 349].

У протоиерея Вершинского Гоголь искал поддержки не только в конкретных занятиях — по изучению православного чина литургии. Любопытный факт: по отъезде из Парижа Гоголь, через посредство того же Беляева, просит, чтобы Вершинский переписал для него «собственноручно стихи Филарета в ответ Пушкину» [XII, 461] — очевидно, все это было предметом их парижских бесед.

И ясно почему: в стихотворении Пушкина, затем в послании Филарета к поэту и, наконец, в ответном пушкинском произведении с огромной силой прозвучала тема, близкая самому Гоголю. Тема уныния и борьбы с унынием:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

.....
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

На эти пушкинские слова отвечал митрополит московский Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена...

Сравним гоголевские рассуждения из трактата «Правило жития в мире»: «Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее из всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом» [Хетсо, с. 59].

Если стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (а также его ответ Филарету «В часы забав иль праздной скуки...») Гоголь мог прочитать в печати — они появились соответственно в «Северных цветах» на 1830 г. и в «Литературной газете» от 25 февраля 1830 г., — то произведение митрополита до публикации в 1848 г. в «Звездочке» (№ 10) распространялось в списках (три четверостишия из этого стихотворения процитировал С. Бурачек в статье «Видение в царстве духов» // Маяк. 1840. Ч. X. С. 59). Таким списком и располагал протоиерей Вершинский.

В парижский круг общения Гоголя входил и А. И. Тургенев, с которым они последний раз виделись в мае 1840 г. в Москве. Но все последующие годы Тургенев с неослабевающим интересом следил за творчеством Гоголя; одни произведения — «Мертвые души», «Игроки», «Театральный разъезд...», «Шинель» — встречал с одобрением, другие — «Женитьбу», «Рим» — сдержанно или скорее даже осуждаю-

ше. Мотивацией позитивной оценки служил момент социальной критики, а негативной — отход от такой критики или же, с точки зрения Тургенева, мелочность проблематики, а то и прямая идеализация российской жизни. Все это сполна проявилось в его суровых инвективах против «Женитьбы» (см. об этом с. 285) или, скажем, в следующем отзыве о гоголевской поэме, в целом почти восторженном отзыве, но с примечательной оговоркой. «Это живая картина: не в бровь, а прямо в глаз <...>, — писал он 17 октября 1842 г. в Симбирск своему двоюродному брату И. С. Аржевитинову. — Только последняя страница о тройке, которая опережает всю Европу, — гнусная лесть: но ее, вероятно, написал Гоголь для цензуры; как же ты не узнал в этой книге и Симбирска, и Москвы, и всего русского мира <...>. Не в слог дело, а в сущности, в действительности этой поэмы. С души тянет, и, следов<ательно>, вырвет, и мы на блевотину не возвратимся» [Гиллельсон, с. 141]. Очевидно, в таком же духе обсуждал Тургенев гоголевскую поэму и со своим родным братом Николаем Тургеневым, политическим эмигрантом, проживавшим в это время в Париже. Кстати, беседа эта, судя по дневниковой записи Александра Ивановича [см.: там же, с. 142], состоялась буквально в день приезда Гоголя в Париж и, скорее всего, в связи с этим событием.

В этот же день, а именно 14 января, после обеда Гоголь нанес визит А. И. Тургеневу, а вечером они еще встретились у Толстого в отеле «Вестминстер», где была и Луиза Карловна Виельгорская. Гоголь рассказывал о болезни Жуковского, о его новых произведениях, прежде всего переводе «Одиссеи» («...перевод лучше всех прежних стихов — стих полный, как пушк<инский>». — [Гиллельсон, с. 142]).

Затем последовало еще несколько встреч: 18 января — у Гоголя, 2 февраля — у Виельгорских на Вандомской площади, 13 и 21 февраля — у Толстого. Трижды Гоголь заходил и к Тургеневу — 30 января, 24 и 26 февраля [там же].

В общем встреч было не так уж мало для такого срока (полтора месяца), хотя Тургеневу этого не показалось. Накануне возвращения писателя во Франкфурт Тургенев пожаловался Жуковскому: «Гоголя я редко видал. Попеняй ему» [ЛН. Т. 58. С. 670]. Очевидно, неудовлетворенность Тургенева была вызвана не частотой встреч, а характером общения. Гоголь уклонялся от бесед, отмалчивался, избегал откровенности.

Запись Тургенева, относящаяся к 30 января, когда его навещил Гоголь: «...О Бак<унине> молчит, о Толст<ом> — молчит. Il n'a pas le courage des ses opinions, но — может быть, на чьем возу сидит, ту и песенку поет» [Гиллельсон, с. 142]. Характерно «молчание» Гоголя по поводу как Бакунина, так и А. П. Толстого, то есть представителей разных, противоположных направлений.

Михаил Бакунин проживал в это время в Париже, но с Гоголем они едва ли встречались; имя его в разговоре, скорее всего, возникло

в связи с другим, необычным событием. А именно: «за три дня до записи А. И. Тургенева в органе французской радикальной партии “La Réforme” была напечатана известная статья М. А. Бакунина, где он открыто выступал против крепостного права, против самодержавия, против деспотического режима Николая I» [Гиллельсон, с. 142]. Объяснения комментатора следует уточнить и дополнить: «статья», а вернее, письмо Бакунина явилось завершением цепи событий.

Отказавшийся вернуться в Россию, Бакунин в 1843 г. был заочно предан суду Сената, который постановил «лишить его чина и дворянского достоинства и сослать в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде таково окажется, взять в секвестр». После того как соответствующий указ русского правительства появился в «La Gasette des Tribunaux», Бакунин в газете «La Réforme» от 27 января 1845 г. напечатал свое открытое письмо, где, в частности, говорилось: «...С моей стороны было бы неучтиво, милостивый государь, жаловаться теперь на указ, который, говорят, освобождает меня от дворянского звания и присуждает к ссылке в Сибирь; тем более, что из этих двух наказаний на первое я смотрю, как на настоящее благодеяние, а на второе, как на лишний повод поздравить себя с тем, что я нахожусь во Франции» [Корнилов, 1925, с. 296; оригинал по-французски; в переводе наст. цитата на с. 300]. Это письмо произвело сильное впечатление, о чем можно судить по отклику Герцена, написавшего 2 марта 1845 г. в дневнике: «Вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории, к смелому слову *intra muros* <между стен>, и нас удивляет свободная речь русского» [Герцен, т. 2, с. 409].

Что же касается Гоголя, то можно не сомневаться, что ему были не по душе ни поступок Бакунина, ни его «речь», тем более что и раньше, как мы знаем, писатель относился к этому человеку сдержанно, если не негативно. Но в ответ на вопрос или сообщение Тургенева — именно он, скорее всего, затронул эту злободневную тему — Гоголь не высказал никакого осуждения политического эмигранта. Тут причина не столько в правиле «на чем везу сидит, ту и песенку поет» (эта «песенка» как раз требовала от Гоголя осуждения, «отмежевания»), сколько в свойственной ему манере поведения — не бросать камня в официально преследуемого и осуждаемого. Так было и в поведении Гоголя в связи с «делом о вольнодумстве», и в корректном отношении его к польским политическим эмигрантам...

Несколько иначе, но тоже характерно повел себя Гоголь и во время одной из следующих встреч с Тургеневым, 5 февраля у Виельгорских. Тургенев по этому поводу пишет: «...прочел стихи Язык<ова> “К ненашим”» и «едва удержал бешенства. Гоголь не заступался, но находил, что обе партии неправы: напр. Белинский и три журнала в П<етер>бурге! Да там простор, хотя не евр<опейский>, уму, а в Москве душно сердцу и уму русскому. Не дал стихов, взял слово не

писать к Я<зыкову>...» [Гиллельсон, с. 142]. В этой скупой записи — отражение сложной цепи поступков и переживаний.

Гвоздем встречи, как видно, явилось стихотворение Языкова, рукопись которого только что появилась в Париже в распоряжении Гоголя и живо обсуждалась им с Л. К. Виельгорской и Толстым. Тургеневу эта рукопись не предназначалась, но, будучи у Виельгорских, он прочитал стихотворение и не скрыл своего возмущения. Тут надо напомнить, что представляло собою языковское послание (датировано 6 декабря 1844 г.).

«Ненаши», то есть представители оппозиционных, преимущественно западных и либеральных воззрений, обвинялись в прямой политической неблагонадежности и измене: «русская земля» им «ничто»: —

Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.

Больше того — эти обвинения были конкретизированы до определенных личностей, более или менее узнаваемых, во всяком случае предполагаемых: «жалкий <...> старик», «торжественный изменник», «надменный клеветник» — это Чаадаев; «сладкоречивый книжник», «оракул юношей-невежд» — Грановский; «поклонник темных книг и слов» — Герцен. Благодаря этому, как заметил современник, борьба противоборствующих сторон достигла не только небывалого накала, но и нового качества: «До этого времени, несмотря на горячие споры, происходившие между обеими партиями, противники встречались с соблюдением всех приличий, с полным взаимным уважением; борьба велась в чисто умственной сфере, никогда не затрагивая личностей» [Чичерин, 1997, с. 32]. А тут вдруг — памфлет или, как выразился тот же мемуарист, «пасквиль».

Итак, на встрече у Виельгорских резкоотрицательную позицию по отношению к стихотворению занял Тургенев — это подтверждается и его письмом Жуковскому от 7 февраля: «Третьего дня прочел я там послание Языкова “К ненашим” и так выбранился на фанатизм наших патриотов, что вечеру сильнее болел» [ЛН. Т. 58. С. 670]. А Гоголь не заступался, хотя и не осуждал стихи («не совсем одобряет их», как сказано в том же письме Жуковскому). При этом он отказался дать Тургеневу текст («Пришли мне эти стихи, если имеешь. Гоголь не дает...» — [там же]) и попросил его не писать Языкову — видимо, чтобы не раздувать скандала.

В духе неприятия крайностей упомянул Гоголь Белинского и его противников («обе партии неправы»), а также петербургские журналы. Можно с уверенностью сказать, что прежде всего это были «Отечественные записки» и «Маяк», то есть, с одной стороны, журнал Белинского и близких ему людей, с другой — крайне правое и одиозное издание С. Я. Бурачка. Как олицетворение двух противоположных

и радикальных позиций рассматривал эти журналы и Иван Киреевский в печатавшейся в начале того же 1845 г. в «Москвитянине» статье «Обозрение современного состояния литературы»: «Оттого, не читая одного журнала, можно знать его мнения из другого, понимая только все слова его в обратном смысле» [Киреевский, с. 209].

Но вот что интересно: в своем кругу Гоголь высказывал другое, вполне определенное и в высшей степени похвальное мнение о стихах Языкова. Мы помним, какое впечатление произвело на него «Землетрясение». Так вот оказывается, что «К ненашим» «еще лучше самого “Землетрясения”» и даже «сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси» [XII, 455]! «Стихи твои “К ненашим”, — сообщает Гоголь Языкову, — произвели такое же впечатление как на меня самого, на моих зна<омых>, то есть на гр<афинь> Виельгорских и на гр<афа> Толстого, которые от них без ума, но Тургенев, кажется, закрутит нос, а может быть, даже и чихнет» [XII, с. 457]. Это написано 12 февраля, через неделю после памятного разговора у Толстого, когда Тургенев точно уж «чихнул», то есть резко осудил памфлет Языкова, а Гоголь, напротив, был сдержан.

Значит ли это, что он кривил душою? Скорее, не хотел противоречить человеку других убеждений. Но в сдержанности Гоголя была, очевидно, и доля неуверенности, сомнения, — это видно из того, что история со стихами Языкова имела продолжение.

По отъезде из Парижа, уже во Франкфурте Гоголь получил два новых стихотворения Языкова, развивавших тему «не наших». В одном из них, «Константину Аксакову» (в гоголевском экземпляре оно называлось «К молодому человеку»), автор выступал против примирения с ненавистниками Руси; в другом — «К Чаадаеву» (в гоголевском списке оно именовалось «К старому плешаку») вносил некоторые новые штрихи в портрет басманного философа, например подчеркивалось, что тот симпатизирует католичеству («лобызаешь туфлю пап»).

Вопреки ожиданиям Языкова Гоголь отозвался об этих стихотворениях безоговорочно отрицательно: «В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела <...>. Друг мой, не увлекайся ничем гневным, а особливо если в нем хоть что-нибудь противуположное той любви, которая вечно должна пребывать в нас. Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братьев» и т. д. [XII, 475]. И Гоголь противопоставил по «духу» эти стихотворения прежнему — «К ненашим».

Но строго говоря, они не так уж различались, и гоголевское порицание поэту за то, что он отдался «военнолюбивому расположению», применимо в том и другом случае. Похоже, что Гоголь «отыгрался» на новых произведениях Языкова, дав волю тому чувству, которое возникло в нем еще во время встречи с Тургеневым.

В противоположность Языкову Гоголь упорно вырабатывал в себе не «военнолюбивое», а миролюбивое расположение, о чем свиде-

тельствуют советы, данные им перед отъездом из Парижа А. П. Толстому по случаю приближающегося поста (эти советы он повторил потом в письме). «Наложите <...> на себя обет добровольного воздержания в *слове* во все продолжение этого времени, а именно: 1) говорить более с *дамами*, нежели с *мужчинами*, 2) в разговоре с мужчинами, о *чем бы* то ни было, старайтесь заставлять их говорить, а не себя, 3) не спорить ни о чем сильно и не обращать никого в православие, ибо для того, чтобы обратить кого, нужно прежде самому обратиться, а для того, чтобы спорить с чем сильно, нужно быть слишком самонадеянну в уме своем, умеющем видеть одну только правую сторону вещи <...>. Не пренебрегайте же и этими мелочами и выполняйте послушно, как ребенок, как ученик, как в монастыре умный монах нарочно подчиняется глупейшему, дабы на время уметь покориться» [XII, 462–463; курсив в оригинале].

Все эти «мелочи» преследуют одну цель, бьют в одну точку. Говорить больше с дамами — значит, быть дальше от политики, от злободневных, острых проблем. Больше слушать, чем высказываться самому — значит, постигать другие точки зрения, обнимая явления во всей их полноте, избегая категоричности. Актуально звучал и совет не обращать никого в православие — среди русских в Париже были принявшие католичество — Софья Петровна Свечина, Иван Сергеевич Гагарин или упоминаемая в том же гоголевском письме Мария-Анастасия (Анастасия Семеновна) Сиркур, жена французского литератора графа Адольфа Сиркура, урожденная Хлюстина. С этим следовало смириться и не смотреть на них как на заблудших.

Красноречиво и гоголевское замечание о тех, кто видит только одну «сторону» — очевидно, уже в Париже он энергично излагал Толстому взгляды, подытоженные позднее в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (датирована 1845 г.; вошла в «Выбранные места...»). «Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде» [VIII, 277].

С кем еще виделся Гоголь в Париже? С родственниками Виельгорских — Лазаревыми и принцессой Фанни Бирон (Юлией-Терезой), с Адольфом Сиркуром... Но представившейся возможностью очередной встречи с Мицкевичем Гоголь не воспользовался. Почему? На этот вопрос отвечает дневниковая запись А. И. Тургенева от 26 февраля: «Он (Сиркур) объяснил нам мессианизм так, что Гог<оль> и Тол<стой> не поехали к Мицкев<ичу> расспрашивать его о нем...» [Гиллельсон, с. 142]. Так Гоголь прореагировал на мессианизм Мицкевича и его увлечение А. Товяньским, и в этой своей реакции он совпал не только с А. П. Толстым, но, скажем, с Герценом, который, дочитав лекции Мицкевича, написал 17 марта 1844 г. в дневнике, что «Польша будет спасена помимо мессианизма и папизма» [Гер-

цен, т. 2, с. 343]. При этом Гоголь навсегда сохранил благодарное чувство к Мицкевичу за в высшей степени уважительное отношение к русской литературе.

Интригующий характер носит запись Тургенева еще об одном эпизоде, случившемся в отеле «Вестминстер»: «13 февраля... Вечер у Толстого: там опять пенье цыганских песен — и вниз по мат<ушке> по Волге! Брат закрывал глаза... Я мигнул, чтобы перестали петь. Панаев с женою, рож<денной> Брянскою: дочь актера...» [Гиллельсон, с. 142]. И так, в этот день у Александра Петровича были приехавшая в Париж чета Панаевых, а также Николай Тургенев, но Гоголь среди гостей не упомянут. Публикатор документа полагает, что это произошло случайно и выстраивает такую цепь рассуждений: «...Гоголь, живший в то время на квартире А. П. Толстого, не мог не присутствовать на вечере своих соотечественников. Братья Тургеневы, И. И. Панаев с женой, цыганский хор, пение русских песен — все это должно было привлечь Гоголя, тем более, что вечер был в доме, где он жил. Трудно предположить, чтобы именно в этот вечер Гоголь ушел из дома. Отсутствие упоминания его имени в этой записи объясняется, по-видимому, тем, что А. И. Тургенев, отвлеченный душевными переживаниями брата, а также заинтересованный четой Панаевых, не разговаривал в этот вечер с Гоголем и по этой причине не записал его имя в свой дневник» [там же, с. 143].

Однако показательно, что и Панаева, рассказывая о пребывании в Париже, не упоминает имени Гоголя. Да и настроению Гоголя в этот период не очень соответствовали шумные компании и увеселения. По условиям же своего местопребывания Гоголь вовсе не был привязан к А. П. Толстому; комната его, по описанию Л. К. Виельгорской, была с «особенным выходом в коридор, одним словом, весьма удобная для автора и даже для отшельника» [Шенрок, т. 4, с. 929]. Так что он вполне мог не присутствовать при общем действе.

Что же касается Панаевых, то по приезде в Париж они сразу же вошли в широкий круг общения: тут были и Боткин, и Бакунин, и близкий к Белинскому П. Ф. Заикин, и университетский товарищ Герцена Н. И. Сазонов; пересеклась их дорога даже с Гарибальди... В свою очередь, Боткин и Бакунин именно в это время общались в Париже с немецкими и французскими левыми интеллектуалами, включая Карла Маркса... [Егоров, с. 51]. Но все это было очень далеко от устремлений, интересов и внимания Гоголя.

1 марта Гоголь выехал дилижансом из Парижа во Франкфурт, и в тот же день Анна Виельгорская писала ему вдогонку: «Я все о вас думаю и провожаю вас мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете и играете ли усами или просто сидите с сложенными руками, с полужакрытыми глазами, не смотря ни на что и не думая ни о чем?» [Переписка, т. 2, с. 211–212].

«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ НАСЧЕТ СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ»

Длительное пребывание за границей, частые переезды требовали расходов, которые, конечно, не могли быть покрыты из гоголевских гонораров. Не хватало и одновременных пособий, которые следовали ему от друзей (С. Т. Аксаков) и от власти: так, полученная осенью 1837 г. от царя довольно внушительная сумма в 5 тысяч рублей позволяла, по расчетам Гоголя, прожить ему безбедно в Италии примерно полтора года [XI, 114]. Теперь же ему предстояло еще дальше путешествие в Святую землю...

Словом, с каждым годом писатель все больше нуждался в том, чтобы иметь более или менее постоянный источник вспомоществования, вроде того, какое имели, например, русские художники в Риме, получавшие стипендию. И друзья Гоголя решили помочь ему; инициатива и, так сказать, общий план действия принадлежали Жуковскому.

Еще в начале 1840 г., когда Гоголь был в Москве, Жуковский передал ему «взаимы» 4000 рублей, скрыв, что, в свою очередь, занял деньги у наследника (этот факт подтверждается письменными обращениями поэта к великому князю), с которым как воспитатель он был в доверительных отношениях. Однако, кажется, Гоголь догадывался о происхождении этих денег; во всяком случае при встрече с Жуковским, во Франкфурте или в Дюссельдорфе, он просил — как бы на будущее — «наследнику не заикаться насчет меня в денежном отношении» [XII, 310].

Поэтому в следующий раз, спустя четыре года, Жуковский решил действовать открыто: он сообщил Гоголю (почтовый штампель на письме: Франкфурт-на-Майне, 25 мая 1844), что будучи должен великому князю 4000 рублей, предложил платить эти деньги не своему кредитору, то есть великому князю, а Гоголю — в год по тысяче, начиная с января 1845 г. «И Его Высочество на сей вопрос мой изрек и словесное и письменное *быть по сему*» [Сборник, 1891, с. 16; курсив в оригинале]. Таким образом, Гоголю как бы от имени наследника назначалось ежегодное, на четыре года, пособие.

Поблагодарив Жуковского, Гоголь (в письме от 29 мая н. ст. 1844 г. из Бадена) упрекнул его, что тот «не сдержал условия» не просить денег у наследника: «...Но так как вы это уже сделали, то, в наказание, должны сими деньгами выплатить мой долг, то есть те четыре тысячи, которые я года четыре тому назад занял у вас...» [XII, 310]. Возможно, Гоголь тем самым давал понять, что на этот раз деньги идут не от наследника, а от самого Жуковского, который должен их оставить у себя. Но в конце концов Гоголь принял и эти деньги, о чем свидетельствует записка Жуковского к нему от 9(21) февраля 1846 г.: «При сем прилагаю вексель на тысячу рублей. Теперь две тысячи вам заплачены. Еще остается на мне две тысячи, которые в свое время вы получите» [Сборник, 1891, с. 19].

Параллельно Жуковский решил искать помощи и у других членов августейшей фамилии, действуя через возвратившуюся в Петербург, в придворную сферу, Смирнову. «Вам бы надо о Гоголе позаботиться у царя и царицы, — пишет он 4 января 1845 г. — Ему необходимо надобно иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня <...>. Вы лучше других можете характеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны. По его комическим творениям могут в нем видеть совсем не то, что он есть. У нас смех принимают за грех, следовательно, всякий насмешник должен быть великий грешник» [РА. 1871. С. 1858]. В этом письме было четко прописано, как следует представлять дело и с какой «стороны» рекомендовать Гоголя.

Вскоре Смирнова получила возможность поговорить с императором, о чем сообщила в своем дневнике 11 марта: «Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. “У него много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие”. — Читали вы “Мертвые души”? — спросила я. — “Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба” <...> Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма» [Смирнова, 1989, с. 11]. Высказывание Николая I свидетельствует, что он воспринимал Гоголя еще только как драматического писателя — по впечатлениям от «Ревизора», который понравился ему, и от «Женитьбы», которая шокировала его неприличными выражениями и оборотами (этой стороны высказывания мы уже касались).

В то же время чрезвычайно выразительна реакция императора на «Мертвые души». Допустим, он мог забыть тот факт, что свою резолюцию о пособии Гоголю в начале 1842 г. поставил на донесении Бенкендорфа, упоминающем именно «Мертвые души» (мол, Гоголь «основал всю надежду свою на сочинении своем под названием “Мертвые души”...»). Но уже прошло почти три года со времени выхода поэмы, в журналах и газетах появилось множество откликов, в обществе прозвучали разные голоса, а император имел о ней довольно смутное представление, приписывая авторство Владимиру Соллогубу. О смешении царем Гоголя с Соллогубом говорится и в более поздних воспоминаниях Смирновой, — возможно, имеется в виду та же встреча 11 марта: когда Александра Осиповна упомянула о пенсии Гоголю, император «отвечал: “Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, устаивается ли повесть “Тарантас”. Я заметила, что “Тарантас” — сочинение Соллогуба, а “Мертвые души” — большой роман. “Ну, так я его прочту, потому что позабыл “Ревизора” и “Разъезд”» [там же, с. 61]¹⁵⁰. Заметим, что Смирнова твердо придерживается совета, данного Жуковским, — представляет автора «Мертвых душ» не как комического писателя, но как выразителя «чувства народности и патриотизма».

Эту же, «лучшую сторону» Гоголя Смирнова всемерно подчеркивала в специальной записке, поданной ею великой княгине Марии Николаевне. Расчет был на то, что Мария Николаевна уже принимала участие в судьбе «Мертвых душ» (см. с. 648), что она лично познакомилась с писателем (в 1843 г. в Риме), наконец, и на то, что вместе со своим мужем герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, недавно (в 1843 г.) назначенным президентом Академии художеств, великая княгиня покровительствовала искусствам. «Сочинения его (Гоголя) известны вашему императорскому высочеству, — говорилось в записке. — Публика особенно заметила в них оригинальные комические стороны; но от вашего взгляда, без сомнения, не ускользнули красоты высшие, чувство всего прекрасного, чисто русского народного, которые его поставили наряду с первыми нашими литераторами». Упомянув далее о «сильной болезни» Гоголя, заставившей его «оставить самую выгодную службу <...> в здешнем университете адъюнкт-профессором и отправиться за границу»; о необходимости его усилий, направленных «на поправление расстроенного состояния матери и сестер, которые до сих пор не совершенно обеспечены», Смирнова заключает: «Конечно, он еще не успел сделать для пользы русской словесности столько, как Пушкин и Карамзин, но милости государя не исключают никого, кто из любви к пользе отечества принесет хотя слабую дань своего усердия» [Дризен, 1907, с. 167–168].

Согласно Смирновой, великая княгиня должна была передать ее просьбу лично Николаю I, но не передала, и Александре Осиповне пришлось сделать это самой, впрочем при содействии императрицы, которая подала ей сигнал, что у императора хорошее настроение — и можно действовать... Делу был дан ход, и 15 марта «по высочайшему повелению» министр двора кн. П. М. Волконский препроводил просьбу министру народного просвещения С. С. Уварову «для рассмотрения и доклада государю императору» [там же, с. 168; Литературный музей, с. 71].

У Смирновой были основания опасаться Уварова, который, как мы знаем, со времен премьеры «Ревизора» слыл недоброжелателем Гоголя, однако на этот раз неудовольствие обнаружил гр. А. Ф. Орлов, недавно назначенный начальником III отделения и шефом жандармов. «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал», — сказал он о Гоголе [Смирнова, 1989, с. 13]. Дело дошло до резкостей — если верить Смирновой: «В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: “Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы — русский меценат?” Я отвечала: “С тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов”. За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: “Я один

виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия» [там же, с. 61]. Это означало, что высочайшее решение уже принято и Орлову оставалось покориться и молча искать примирения. «За ужином Орлов заговаривал со мной, но тщетно. Мы остались с ним навсегда в разладе» [там же].

Что же касается Уварова, то он, говоря словами Смирновой, «тут поступил благородно». 17 марта он написал представление царю с таким заключением: «от щедроты Царской зависит определение меры пособия для поддержания его (Гоголя) существования» [Литературный музей, с. 72]. 21 марта Александра Осиповна отметила в дневнике: «Мое дело пошло на лад: государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров <...> сказал, что Гоголь заслуживает всяческую помощь» [Смирнова, 1989, с. 16].

Конкретная сумма «помощи» была указана в письме Плетнева от 23 марта на имя Уварова, письме, которому предшествовало обсуждение этого вопроса со Смирновой и с Вяземским — пять тысяч рублей серебром на пять лет, то есть по тысяче в год [Литературный музей, с. 73, 358]. Просители исходили из того, что «всегда дают половину, у нас уж такой обычай» [Смирнова, 1989, с. 61]. Так оно примерно и получилось: на докладной записке от 17 марта, поданной Уваровым императору, тот написал резолюцию: «Пусть сам М<инистр> определит меру пособия, которого заслуживает», и Уваров определил — три тысячи рублей серебром, в год по тысяче [Литературный музей, с. 71, 74].

Спустя несколько дней, 27 марта министр народного просвещения уведомил об этом Гоголя официальным письмом, в котором, в частности, говорилось: «Государь Император по всеподданнейшему ходатайству моему, обращая благосклонное внимание на литературные труды ваши, и принимая в уважение болезненное ваше состояние, требующее пользование заграничными минеральными водами, всемилостивейше повелеть соизволил выдавать вам в течение трех лет по тысяче руб. сер. ежегодно <...>. Мне приятно надеяться, что милость царская оживит талант ваш на новую деятельность для пользы отечественной словесности» [Шенрок, т. 4, с. 324].

Подводя итоги этому эпизоду с пособием, следует сказать о безусловном благорасположении к Гоголю со стороны царя, что в конце концов определило и отношение других, заставило замолчать недоброжелателя Орлова (он даже послал Жуковскому «очень любезное» письмо, в котором уведомлял «о сделанном для Гоголя» и обещал «сделать для него вперед, что может полезного». — [РА. 1871. С. 1860]). Николай I не очень-то интересовался гоголевскими произведениями, не заметил даже «Мертвых душ», но он помнил свое впечатление от «Ревизора» и готов был слушать таких ходатаев за Гоголя, как Смирнова, когда она убеждала в патриотическом и нравственном направлении его творчества.

Что же касается Гоголя, то он увидел в этом эпизоде еще одно подтверждение вынашиваемой им идеи о покровительстве августейшей власти поэту, художнику — вопреки любым проискам и наветам. Впрочем, и письмо Уварова должно было Гоголя порадовать, сняв или, по крайней мере, приглушив то убеждение, которое сложилось раньше — о нелюбви и преследовании его со стороны всесилоного министра: ведь Уваров подчеркивал свое участие в состоявшемся решении («...по всеподданнейшему ходатайству моему»). Смирнова требовала от Гоголя, чтобы «он послал Уварову благодарственную писулю, когда получит пенсию» [Смирнова, 1989, с. 61], но, вероятно, писатель сделал бы это и без внешнего принуждения.

Однако гоголевское письмо Уварову, помимо благодарности за пенсию, содержало и благодарность иного рода. «Я хотел вас благодарить за все, сделанное для наук, для отечественной старины (от этих дел перепала и мне польза наряду с другими), и что еще более — за пробуждение в духе нашего просвещения твердого русского начала» [XII, 484]. Гоголь заключал оборотом, построенным по известным риторическим правилам: мол, раньше он мог сказать все это министру «как сын той же земли, как брат того же чувства, в котором мы все должны быть братья и как не обязанный вам лично», а теперь, связанный благодарностью, не может. Не может, однако же сказал... Все это прозвучало несколько рискованно.

Получалось так, что Гоголь, который до сих пор избегал отождествления своей позиции с каким-либо общественным движением, например славянофильского толка, не говоря уже о западничестве, теперь благодарил человека, олицетворявшего государственную политику официальной народности. Конечно, писатель не кривил душою в том смысле, что пробуждение «русского начала» отвечало и его устремлениям. Но важно было и то, как выглядело гоголевское признание ввиду положения и репутации его адресата.

Неслучайно, что сам адресат, то есть Уваров, постарался как можно шире распространить известие о гоголевском ответе. Дошло оно, в частности, до А. В. Никитенко, который поместил в дневнике 8 мая 1845 г.: «Печальное самоуничтожение со стороны Гоголя! Жаль, жаль! Это с руки и Уварову и кое-кому другому» [Никитенко, т. 1, с. 292]. Вспомнит о письме и Белинский как о некоем предвестии «Выбранных мест...», книги, где, по его мнению, прозвучали «гимны властям предержажим» [Белинский, т. 10, с. 217]. Все это усугубило и усложнило положение писателя по возвращении его на родину, в последние годы жизни...

Но друзья Гоголя таких последствий, разумеется, не предвидели, решая насущную задачу материального обеспечения писателя и, надо сказать, проявив при этом немало терпения и настойчивости. Еще до обращения к царю, 1 марта 1845 г., Смирнова убедительно просила Гоголя: «Пожалуйста, не беспокойтесь насчет способов существова-

ния и не спрашивайте, каким образом я все это устроиваю. Это дело мое, а ваше — молиться за того, кто их дает <...>. Вы не должны сметь беспокоиться: нас Бог рассчитает» [Шенрок, т. 4, с. 321].

«НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И НЕ ШУМНОЕ ПО НАЗВАНИЮ...»

Итак, 1 марта 1845 г. Гоголь покинул Париж. Проведя в дороге четыре ночи и три дня, 4 марта он прибыл во Франкфурт и поселился в знакомом ему доме Жуковского у *Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor*. «До Франкфурта, — сообщал он Виельгорским, — добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами, но дух мой бодр...» [XII, 462].

Обычная картина: в пути Гоголь почувствовал облегчение, а по приезде вновь обострились недуги. Здоровье «так плохо, как я давно не помню» [XII, 454]. «Странно, что я зябну и не могу согреться в самой теплой комнате» [XII, 465]. «Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленой меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно...» [XII, 473–474].

Гоголь рассчитывал, что его подхлестнет своеобразный дух соревновательности — вместе с Жуковским они будут плодотворно трудиться, каждый над своим, но не вышло: Жуковский выздоровел, был бодр (когда Гоголь уезжал в Париж, ему тоже нездоровилось), а Николай Васильевич никак не мог прийти в себя. «Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно» [XII, 471]. Принуждение ли к труду и недостижение результата рождали болезнь или, наоборот, болезненное расположение приводило к творческой неудовлетворенности и неудачам — сказать трудно. Но очевидно, что в сознании Гоголя, да и в его физическом состоянии все было теснейшим образом связано.

Но спустя недели две наметилось изменение. «Здоровье мое, кажется, лучше...» [28 марта; XII, 469]. «Здоровье мое как бы немного лучше...» [2 апреля; XII, 471]. Настолько лучше, что Гоголь подумывает о продолжении труда, вернее — о труде новом. «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» [XII, 472–473].

Форма «Выбранных мест из переписки с друзьями» — именно об этом сочинении впервые заговорил Гоголь — выстраивается во многом по контрасту с главной его книгой. Не поэма и не роман или повесть, а нечто совершенно обычное, непритязательное, («не шумное»), даже отрывочное, однако имеющее практический смысл, оказывающее непосредственное воздействие и притом не в длительной,

удаляющейся перспективе, как произведение высокого искусства, но зримо и эффективно. Гоголевский практицизм всегда имел двойной адрес, будучи направленным столько же на других, сколько — в конце концов — и на самого автора. И на этот раз самому Гоголю настоятельно нужны были те «советы», то «ободрение», которыми он собирался одарить «многих».

Однако новое предприятие Гоголя заключало в себе и момент самооправдания. Написание второго тома поэмы затягивалось; пребывание во Франкфурте, потом в Париже и вот теперь снова во Франкфурте оказалось почти бесплодным; все обещанные сроки — вначале 1844-й, потом 1845 год — срывались, а заодно стало невозможным и возвращение в Россию: «...Один упрек только себе видел бы я на всем, как человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками, которому стыдно даже заговорить, стыдно и лицо показать». «А потому, — просит Гоголь свою корреспондентку А. О. Смирнову (2 апреля), — молитесь обо мне <...>, чтобы Бог <...> укрепил и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить <...> и послать вам, вместо меня, в Петербург» [XII, 472]. Так «Выбранные места...» должны были отправиться в Россию не только «вместо меня», то есть Гоголя, но и «вместо» второго тома поэмы. Это был что ли род компенсации, пусть, как надеялся Гоголь, временной.

Вместе с тем эта компенсация носила упреждающий, провокативный характер: писатель, переходя на язык публицистики, по словам Н. С. Тихонравова, приподнимал «для публики завесу с того нового направления <...>, которое должно было выразиться полно и рельефно» во втором томе поэмы [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 545–546]. Это был пробный шар и для автора, и для публики. Публика должна была почувствовать, какое слово к ней будет обращено; автор — должен увидеть, готова ли публика к этому и насколько действительно его слово [см. подробнее: Манн, 1987, с. 200].

Теперь идея паломничества в Иерусалим связывается с завершением не поэмы, а «Выбранных мест...». Последовательность событий, в представлении Гоголя, такова: летом пишется упомянутая книга и отсылается в Петербург; осень и зима — Рим и продолжение работы над вторым томом; тем временем приходят средства, вырученные за новую книгу, которые будут прибавлены к пенсии, и с началом следующего, 1846 г., к посту и Пасхе, писатель отправляется на Святую землю, чтобы потом уже окончательно вернуться в Россию. Однако обстоятельства внесли в этот план существенные коррективы.

Относительно спокойные дни прерываются приступами болезни. 15 и 23 апреля н. ст. Жуковский помечает в дневнике, что имело место «чтение с Гоголем» (что именно читалось, неизвестно. — [ЛН. Т. 58. С. 690]). Но около того же времени Гоголь отправляет Базарову записку, состоящую из одной фразы: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю» [XII, 489]. По поводу этой записки гоголевский биограф

воскликнул: «...Какие страшные минуты приходилось преодолевать Гоголю!» [Мочульский, с. 81]. Но вначале несколько слов об адресате записки.

Иоанн Иоаннович Базаров (1819—1895) был в это время священником православной церкви в Висбадене. Образование он получил в своем родном городе Туле, в семинарии, и в Санкт-Петербургской духовной академии, в которой состоял затем профессором словесности. Был духовником великой княгини Елисаветы Михайловны, а в 1845 г. Синод возвел его в магистры богословия.

У Базарова были тесные связи с Жуковским, у которого он принимал первую свою исповедь. И первые крестины Базаров провел у поэта, когда под новый, 1845 год родился его сын Павел. В семействе Жуковского Базаров познакомился и с Гоголем.

Вот как описывает отец Базаров события, последовавшие за получением им гоголевской записки. «Приехав на этот зов в *Sachsentrausen* (заречная сторона Франкфурта, где жил Жуковский), я нахожу много умирающего на ногах, и на мой вопрос, почему он считает себя таким опасным, он протянул мне руки со словами:

— Посмотрите! совсем холодные!

Однако мне удалось убедить его, что он совсем не в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать в Висбаден...» [Базаров, с. 294].

Православная Пасха в этом городе всегда была заметным событием. «Висбаден, как место вод и рулетки, сам по себе привлекал к себе много русских, но, кроме того, он находился почти в центре особенно посещаемых вод, как Швальбах, Шлангенбад, Эмс, Крейцнах, Соден. Для всех этих местностей висбаденская церковь служила прибежищем молитв и треб церковных» [там же, с. 292].

Гоголь последовал совету Базарова и приехал на Пасху в Висбаден вместе с Жуковским. «При этом случае, — продолжает мемуарист, — бывши у меня в кабинете и рассматривая мою библиотеку, он заметил и свои сочинения.

— Как! — воскликнул он чуть не с испугом, — и эти несчастные попали в вашу библиотеку!

Это было именно то время, когда он раскаивался во всем, что им было написано» [там же, с. 294].

Православная Пасха в этот год падала на 27 апреля н. ст. — дата, позволяющая локализовать описываемые события.

Будучи в Висбадене, Гоголь попал в поле зрения еще одного соотечественника — выпускника Главного педагогического института Александра Степановича Жиряева (1815—1856), командированного в 1842 г. за границу для продолжения образования, впоследствии известного дерптского криминалиста. 8(20) мая 1845 г. Жиряев писал из Берлина в Прагу Вацлаву Ганке: «...Русскую пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился с двумя русскими знаме-

нитостями — Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться <...>. Гоголь по природе своей — противоположность тому, каким он является в своих уморительных повестях: ипохондрик в высшей степени. Впрочем, он действительно не совсем здоров, хотя болезнь свою он уже слишком преувеличивает в своем воображении» [Кочубинский, кн. 3, с. 13].

Это свидетельство подтверждает то, что Гоголь приехал в Висбаден вместе с Жуковским, который, видимо, не рискнул отпускать его одного. Подтверждает и факт болезненного состояния писателя, хотя Жиряев считает (так же как и Базаров), что тот его преувеличивал.

Для гоголевского настроения этой поры характерно и глубокое недовольство прежними сочинениями, граничащее с отречением. Он готов рассматривать их все вместе, словно подводя черту под написанным прежде и видя в новой своей работе — «Выбранных местах...», — род искупления.

В связи с этим следует рассматривать и упоминавшееся письмо Уварову по поводу пенсии — ведь известие от министра пришло 25 апреля, накануне отъезда Гоголя в Висбаден [см.: ЛН. Т. 58. С. 690], и ответ был послан незамедлительно¹⁵¹. Гоголь утверждал, во-первых, что «все доселе» им «писанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все это так незрело, дурно, ничтожно»; и, во-вторых, противопоставлял всему этому другой свой труд, «который, точно, был бы полезнее моим соотечественникам моих прежних марадий, за который и вы сказали бы, может быть, спасибо...» [XII, 483—484]. Гоголевское письмо и в этой своей части не свободно от аффектации, но его самокритика не была тактическим приемом или уловкой и полностью соответствовало переживаемому.

Между тем состояние Гоголя все ухудшалось и требовало, как писал Жуковский Смирновой в конце апреля, «решительных мер». Необходимо было оставить всякую литературную работу (бросить «на время перо»), — значит, забыть не только про «Мертвые души», писание которых и без того было прервано, но и «Выбранные места...». Необходимо было отправиться на курорт, в Гастейн, благо средства для этого после получения пенсии имеются — «он теперь на три года обеспечен» [РА. 1871. С. 1859—1860].

Гоголь уже бывал в Гастейне, летом 1842-го и в мае 1843 г., вместе с Языковым и верил в целительную силу этого места (один только «гастейнский воздух имеет в себе что-то бальзамическое и лучше всех воздухов, какие я обонял где-либо в летнее время во всех прочих концах Европы...»), но он боялся одиночества и со дня на день откладывал отъезд. Отваживался лишь на не столь дальние маршруты, например в Гейдельберг (запись Жуковского в дневнике 24 апреля (6 мая): «Отъезд Гоголя в Гейде<ль>берг». — [ЛН. Т. 58. С. 690]) или в Гомбург. В этом небольшом курортном городе близ Франкфурта Гоголь прожил более трех недель, с 20-х чисел мая по середину июня, томясь от одиноче-

ства, принимая воды против «геморроидальных, печеночных и всяких засорений» и время от времени возвращаясь к Жуковскому во Франкфурт. Здесь с Гоголем встретился приехавший из Франции А. И. Тургенев — 15, 17 и 26 мая [Гиллельсон, с. 143]. Это были последние их встречи; вернувшись в Москву, Тургенев вскоре (3 декабря 1845 г.) умер.

Жалобы Гоголя на нездоровье звучат все чаще и сильнее. «Борюсь и с болезнью, и с хандрой и, наконец, выбился совершенно из сил в бесплодном борении» (Н. М. Языкову, 1 мая н. ст. — [XII, 480–481]). «Здоровье мое плохо...» (Л. К. Виельгорской, 17 мая н. ст. — [XII, 487]). «Уведомляю тебя только о том, что я сильно болен, и только одному Богу возможно излечить меня» (П. А. Плетневу, 24 мая н. ст. — [XII, 489]). «Здоровье мое плохо совершенно, силы мои гаснут; от врачей и от искусства я не жду уже никакой помощи...» (Н. Н. Шереметевой, 5 июня н. ст. 1845. — [XII, 492]). «Повторяю тебе еще раз, что болезнь моя сурьезна, только одно чудо Божие может спасти <...>. Я хуюеу теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии» (Н. М. Языкову, 5 июня н. ст. — [XII, 492–493]). В гоголевской речи начинают звучать мотивы чудесного воскрешения, ибо реальных надежд уже нет, но Богу все возможно, и «если самое дыхание станет улетать в последний раз из уст моих и будет разлагаться в тленье самое тело мое, одно его мановенье — и мертвец восстанет вдруг» [там же]. Так восстал из мертвых Лазарь, брат Марфы и Марии...

В этот период — с мая по середину июня — имели место новые встречи Гоголя с священником Иоанном Базаровым. Вначале Гоголь заехал в Висбаден, — по словам Базарова, из Эмса, — рассказав, что «он встретил там так много русских дам», и прибавил: «что верно у русских женщин такая уж дрянная натура, что им чаще других приходится отправляться в Эмс на лечение». «И все это наш славный Петербург тому виною! — заметил он». Затем Базаров встречал Гоголя во Франкфурте у Жуковского, отметил ухудшение его состояния: Николай Васильевич «был мрачен, почти ничего не говорил и больше ходил по комнате, слушая наши разговоры» [Базаров, с. 294].

Гоголь ничего не пишет, но не заглядывать в книги, не читать он не мог; наоборот, в трудную пору он по обыкновению запасается сведениями, следит за новыми произведениями и именами. В «Москвитянине» читает стихи Языкова, лекцию по древней русской литературе Шевырева, статьи Хомякова и Ивана Киреевского. Статья Киреевского — это было «Обозрение современного состояния литературы», открывшее краткий период сотрудничества его в «Москвитянине» — особенно понравилась Гоголю, но к манере письма критика он придрался. «Многие вещи следовало бы сказать еще очевидней, осязательней, проще и короче, облечь в видимую плоть...» [XII, 481]. Тут видна оглядка на собственный замысел Гоголя, задумавшего новое произведение, «нужное для многих», то есть «Выбранные места...».

Интересуется Гоголь и религиозными сочинениями: «О небесной иерархии» и «О церковном священноначалии» Дионисия Ареопагика, «Беседы на Божественную литургию» протоиерея Василия Нордова (2-е изд. М., 1844). А рядом — «книга совершенно мирская, на днях вышедшая, что-то вроде “Петербургских сцен”, Некрасова, которую очень хвалят...» [XII, 491]. Это программное для складывающейся «натуральной школы» издание — двухчастная «Физиология Петербурга» (СПб., 1845) со столь же программным очерком Некрасова «Петербургские углы». Гоголь добавляет, что ему бы «хотелось прочесть» эту книгу. И это в том же письме (от 4 июня н. ст.), где писатель жалуется на «изнуренье сил совершенное», на то, что «всякое занятие умственное невозможно и усиливает хандру...».

Гоголь вспоминает о «добром священнике в Париже», то есть о Дмитрие Степановиче Вершинском, и через А. П. Толстого просит его «отправить молебен» о своем «выздоровлении». Одновременно (28 мая н. ст.) сообщает, что отъезд его в Гастейн откладывается «на одну неделю» [Фридкин, с. 53], то есть должен состояться около 5 июня. Но тут Гоголь узнал, что в Берлин едет Толстой, и, решив воспользоваться его «сотовариществом», резко изменил маршрут.

Болезнь Гоголя вступила в решающую, кризисную фазу, о чем свидетельствовали беспрестанные переезды из одного города в другой, консультации с разными медицинскими знаменитостями, приступы непереносимой тоски и невероятной слабости...

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

 коло последней декады июня Гоголь с Толстым по пути в Берлин прибыли в Веймар. Тут Гоголь во второй раз (после Висбадена) говел и причащался святых тайн, общаясь с «тамошним очень добрым священником» [XII, 506], то есть с Сабининым. У Гоголя находится лишь скупое упоминание об этом визите: «Для душевного моего спокойствия оказалось мне нужным отговорить в Веймаре. Гр<аф> Толстой также говел вместе со мною» [XII, 498]. Самое же главное мы узнаем от дочери Сабинина. Но вначале — о хозяйне дома.

Стефан Карпович Сабинин (1789—1863) — богослов и археолог, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра и затем служил священником в зарубежных православных храмах, вначале (с 1823 г.) в посольской церкви в Копенгагене, а позднее (с 1837 г.) в церкви Святой Марии Магдалины в Веймаре. Одновременно Сабинин печатал статьи в «Христианском чтении» — журнале, которым интересовался Гоголь, выполнял поручения научного характера, которые давала ему проживавшая в Веймаре великая княгиня Мария Павловна, интересовался проблемами славянских культур, находясь в переписке со знаменитами учеными Коларом, Шафа-

риком, Ганкой. Вацлав Ганка знал о Сабинине, в частности, от Жиряева, который сообщал ему 8(20) мая 1845 г. после посещения Веймара, что Сабинин «занимается теперь сравнением русского языка с исландским и находит, что ударения русских слов совершенно те же, что и в исландском языке» [Письма к Ганке, с. 359].

Человек с такими интересами, учитывая еще разницу в возрасте — Сабинин был старше Гоголя ровно на двадцать лет, — заведомо мог приобрести у него большой авторитет.

Тем более что и все семейство Сабинина было незаурядным: здесь царил интерес к наукам и искусству. Особенными дарованиями отличалась дочь Сабининых Марфа, бравшая уроки у самого Ференца Листа. М. П. Погодин, посетивший Сабининых в Веймаре спустя несколько лет, заметил: «Мудрено самому богатому человеку <...> дать такое превосходное воспитание своим детям, какое дает, при ничтожных своих средствах, наш почтенный священник; а детей у него двенадцать человек: старшая дочь до такой степени удивила знаменитого Франца Листа своим успехом на фортепиано, что он вызвался сам давать ей уроки... Каково! Франц Лист дает уроки дочери нашего священника. Верно, многие принцессы ей позавидуют!..» [Барсуков, кн. 12, с. 484]. Впоследствии, в 60-е годы, Сабинина написала музыку на стихи Ф. И. Тютчева «Весенние воды» и «Слезы людские, о слезы людские...» [Грамолина, с. 488], помогала дочери поэта Анне Федоровне в воспитании княжны Марии Александровны [ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 332].

Из дневниковой записи Марфы Стефановны от 17(29) июня 1845 г., мы узнаем подробности визита Гоголя к Сабининым. Рассказ этот фиксирует один из кульминационных моментов гоголевского душевного состояния, вылившегося в неожиданный и решительный поступок... Но приведем полностью соответствующую запись.

«...Узнали, что приехали и были у отца Николай Васильевич Гоголь и граф Александр Петрович Толстой.

На другой день они пришли к отцу, и я в первый и последний раз видела знаменитого писателя. Он был небольшого роста и очень худощав; его узкая голова имела своеобразную форму — френолог бы сказал, что выдаются религиозность и упрямство. Светлые волосы висели прямыми прядями вокруг головы. Лоб его, как будто бы подавшийся назад, всего больше выступал над глазами, которые были длинноватые и зорко смотрели; нос сторбленный, очень длинный и худой, а тонкие губы имели сатирическую улыбку. Гоголь был очень нервный, движения его были живые и угловатые, и он не сидел долго на одном месте: встанет, скажет что-нибудь, пройдет несколько раз по комнате и опять сядет. Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговорил его и убедил не принимать окончательного решения. Вообще Гоголь мало говорил, оживлялся только, когда гово-

рил, а то все сидел в раздумьи. Он попросил меня сыграть ему Шопена. Моей матери он подарил хромолитографию — вид Брюлевской террасы; она наклеила этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подписаться под ним. Он долго ходил по комнате, наконец сел к столу и написал: “Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем”. Он исповедовался вечером накануне своего отъезда, и исповедь его длилась очень долго. После Св. Причастия он и его спутник сейчас же отправились в дальнейший путь в Россию, пробыв в Веймаре пять дней» [РА. 1900. № 4. С. 534–535; относительно возвращения в Россию Сабинина ошиблась — Гоголь и Толстой направились не в Россию, а в Берлин].

Из приведенного рассказа следует, что Гоголь подумывал об уходе в монастырь, решив посоветоваться предварительно с Сабининым; с этой целью он и приехал в Веймар...

Неожиданный поступок? И да и нет.

Ожидаемый, вполне логичный — потому что Гоголь имел высокое представление о роли монастырей, о положении и призвании монаха. «Я не рожден для треволнений, — писал он Яыкову 10 февраля 1842 г., — и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха» [XII, 34]. Это сказано с оттенком иносказательности: писатель мечтает об отшельничестве, «решительном уединении», в котором бы мог вполне отдаться своему труду (второму тому «Мертвых душ»). Но вот другое высказыванье — из статьи «Нужно проездиться по России» (вошла в «Выбранные места...»), датированной автором 1845 г.: «Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, как желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость» [VIII, 301]. Подразумевается монашество вполне реальное, неметафорическое, в подлинном его одеянии («ризе») и за монастырскими стенами.

Однако поступок Гоголя выглядел и неожиданным, потому что до сих пор речь шла о высоком и в этом смысле монастырском служении *в миру*, среди препятствий, бед и треволнений повседневной жизни. Мы знаем, писатель укреплялся в этом стремлении примером Франциска Ассизского с его идеалом честной бедности и архимандрита Макария с его филантропической деятельностью. «Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители, — говорит Гоголь в упомянутой статье, обращаясь к А. П. Толстому. — Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней» [VIII, 301]. Потом, во второй части «Мертвых душ», эту мысль будет развивать Муразов: когда Хлобуев выскажет желание «пойти в монастырь», чтоб исполнять самые тяжкие «труды и подвиги», Муразов возразит: «Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство» [VII, 242]. Так и Гоголь был «прикреплен к

миру» — литературной работой, «Мертвыми душами». И вот, оказывается, он готов оставить все это...

Как много должно было перегореть в душе, насколько усилились сомнения в могуществе и спасительной пользе творимого им литературного дела, чтобы возникла эта мысль! Помимо творческой неудовлетворенности, Гоголь страдал и от разногласия и взаимонепонимания в чисто житейских отношениях, страдал от косых взглядов, упреков в себялюбии, от подозрений (не всегда беспочвенных) в неискренности. Перемена положения разом бы со всем покончила. Хорошо знавший гоголевский характер Жуковский писал значительно позднее, в марте 1852 г., откликаясь на смерть писателя: «Его болезненная жизнь была и нравственно мучима. Настоящее призвание его было монашество: я уверен, что если бы он не начал свои «Мертвые души», которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой бы душа его дышала бы легко и свободно» [Жуковский, с. 550].

В связи с вынашиваемым Гоголем решением находится и его эпатирующая фраза «Совсем забыл свою фамилию...». На первый взгляд, она кажется выражением высшей степени угнетенности, депрессии, но дело, очевидно, не в этом. Постригающийся в монахи в знак полного отрешения от прежней жизни получает другое имя (так художник в первоначальной редакции «Портрета» нарекается Григорием), и Гоголь мысленно, не без горькой иронии, «проигрывает» применительно к себе эту ситуацию.

И все же нет оснований считать, что Гоголь уже *принял решение*; если бы это было так, ни Сабинин, ни кто другой его бы не отговорил; собственно, об этом говорит и дочь священника (убедил его «не принимать окончательного решения»). Умонастроение Гоголя еще не оформилось, еще не вылилось в окончательный шаг; беседуя со Стефаном Карповичем, он находился в смятенном, «ипохондрическом» состоянии духа.

Но какова же при этом была роль гоголевского спутника — А. П. Толстого? Судя по всему, он сочувствовал настроению писателя, оно отвечало его собственному убеждению. Характерно, что в упоминавшейся статье «Нужно проездиться по России» Гоголь говорит об уходе в монастырь как общем, своем и Толстого, искушении: «Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители...» [VIII, 301]. Больше того, есть основания полагать, что Толстой в это время был настроен более радикально, доходя до прямолинейности. Об этом свидетельствует другая гоголевская статья «О театре, об одностороннем взгляде на театр...», начинающаяся обращением к Толстому: «Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним

всякому человеку» [VIII, 267]. «Теперь» — это именно в 1845 г. — году, которым неслучайно (и возможно, ретроспективно) датировал Гоголь свою статью. В этой связи уместно упомянуть и восходящее к Гоголю сообщение, записанное его биографом со слов Анны Васильевны, сестры писателя о том, что «А. П. Толстой носил тайно вериги» [Шенрок, т. 4, с. 409].

Итак, оставив после бесед с Сабининым мысль о монастыре, Гоголь вместе с Толстым в конце июня продолжил путь в Берлин. Сабинин посоветовал по дороге заехать в Галле, чтобы показаться тамошнему доктору Петру Крукенбергу, об искусстве которого рассказывали чудеса. «К сему склонял меня и граф Толстой, видевший усиливши<ся> мои припадки, исхуданье и странный, болезнен<ный> цвет кожи» [XII, 498–499]. Так начался новый тур хождения Гоголя по медицинским знаменитостям.

Крукенберг обратил особое внимание на спину пациента. «Он меня раздел и шупал всего, перебрал и перещупал всякий позвонок в спине, испробовал грудь, стуча по всякой кости, и, нашел то и другое в добром здравьи, вывел заключение, подобно Коппу, что все дело в нервах...» [XII, 499]. Гастейн был тут же отменен и вместо него назначено трехмесячное пребывание на острове Гельголанд близ Гамбурга с ежедневным купанием в Северном море.

Гоголь заколебался и все-таки приехал (около 5 июня) в Берлин, чтобы посоветоваться с профессором Иоганном-Лукой Шенлейном: как тот решит, так пусть и будет. Но Шенлейна не оказалось на месте, и Гоголю рекомендовали другого врача, проживавшего в Дрездене Карла-Густава Каруса. И Гоголь отправился в Дрезден.

Карус приступил к делу основательно. «Раздевши меня всего, он перещупал меня также. Стучал по всем местам и костям в груди, нашел грудь здоровою, шупал живот и потом начал вновь стучать по ребрам в правом боку. Здесь он остановился и нашел, что звук гораздо повыше места печени уже становится глухим, что, по его мнению, есть явный признак, что печень выросла <...>, что лечить нужно прежде всего печень и что, не теряя времени, следует мне прежде всего ехать в Карлсбад» [XII, 499–500].

В Карлсбад Гоголь приехал 20 июля, о чем свидетельствует запись в курортной книге («Carlsbaden Badeliste»): «Г-н Николай фон Гоголь из Москвы, штатский прибыл без сопровождающих лиц и остановился в доме “Russia” на Егерштрассе». А уехал 15 августа в Елизанские лазни [Фридкин, с. 58–59], пробыв таким образом в Карлсбаде 25 дней.

Увы, ни попечение доктора Флеклеса, которого Карус снабдил подробным описанием гоголевского недуга, ни знаменитая карлсбадская вода — не помогли. День ото дня Гоголю становилось все хуже и хуже. «И руки, и ноги, и голова устали, и уже не помню, что пишу» (А. О. Смирновой, 25 июля н. ст. — [XII, 505]). «...Слабость увеличилась и в силах могу передвигать ноги. Руки как лед...» (Н. М. Языкову, 25 июля

н. ст. — [XII 507]). «Карлсбад пока расслабил и расстроил меня слишком сильно <...>. В силу движу слабой рукой моей» (А. Н. Смирновой, 28 июля н. ст. — [XII, 509, 513]).

В тот же день Гоголь просит мать отправить молебен о его выздоровлении — и «не только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в церкви святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстательстве за меня» [XII, 509]. В этой церкви в свое время Марья Ивановна молилась о сохранении жизни будущего Никоши, дав обет назвать его в честь находившегося здесь чудотворного образа Николая Диканьского.

Но и молебен, если он состоялся, не помог. Приближалось самое страшное. После 28 июля наступает перерыв в письмах Гоголя; сохранилось лишь его краткое письмо родственнице Языкова Александре Петровне Ермоловой со словами: «Карлсбад мне не только не помог, но даже повредил и сильно расстроил и расслабил» [XII, 514]. А 12(24) августа Жуковский, основываясь на чьем-то сообщении, записывает в дневнике: «Худые известия о Гоголе» [ЛН. Т. 58. С. 690]. Очевидно, это были те дни, когда Гоголь, по его выражению, заглянул в лицо смерти.

Спасла его — и не в первый раз — дорога: Гоголь «убежал из Карлсбада».

«ЗАЧЕМ СОЖЖЕН ВТОРОЙ ТОМ “МЕРТВЫХ ДУШ”?»

Э тот вопрос связан с другим: когда это произошло? Имеющиеся на сегодняшний день сведения не позволяют дать, как говорят, однозначный ответ.

Логично связать уничтожение рукописи поэмы с той мыслью, которую вынашивал Гоголь перед приездом в Веймар, — об уходе в монастырь. Гоголь перечеркивает свое прошлое, отказывается от художнического поприща — решительно и навсегда. Если это так, то упомянутое событие имело место до того дня, когда Гоголь покинул Веймар, до 25 июня. Возможно, в первой половине июня, в последние дни пребывания в Гомбурге или Франкфурте.

Однако сам писатель иначе объясняет мотивы сожжения. «Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно. “Не ожи-вет, аще не умрет”, говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унес-

ло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным» [VIII, 297–298].

Кроме этого подробного объяснения (в «Четырех письмах разным лицам...»), у Гоголя находятся и другие, более краткие и беглые, но смысл их тот же. Так, в «Авторской исповеди», касаясь «Выбранных мест...», он говорит: «Как сравню эту книгу с уничтоженными мною Мертвыми душами, не могу <не> возблагодарить за насланное мне внушение <их> уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных Мертвых душах <...>. В уничтоженных Мертвых душах гораздо больше выражалось моего переходного состояния...» [VIII, 458].

Это уже совсем другая причина: глубокое недовольство собой и своим трудом, острое разочарование в том, что сделано, но *не расчет с художественной деятельностью вообще*. И это разочарование, этот кризис обострены болезнью, достигшей высшей степени («...видя перед собою смерть»). Если это так, то упомянутое событие имело место в конце июля — в первой половине августа, то есть в последние две-три недели пребывания Гоголя в Карлсбаде¹⁵².

В этот период мы не встречаем в письмах Гоголя упоминания о работе над «Мертвыми душами», за исключением одного, но чрезвычайно характерного. В письме от 25 июля н. ст. Смирновой Гоголь нехотя, чуть ли не под давлением своей корреспондентки, возвращается к большой теме: «Вы коснулись “Мертвых душ” <...>. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особливо Мерт<вых> душ. Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями <...>. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора <...>. Была у меня, точно, гордость, но не моим *настоящим*, не теми свойствами, которыми владел я; гордость *будущим* шевелилась в груди, — тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие Божией милости, озарить мою душу <...>. Но не к стати я заговорил о том, чего еще нет» [XII, 504–505; курсив в оригинале].

В этих рассуждениях неисполненность замысла ставится в зависимость не от отказа от писательского поприща, но от наличия или отсутствия божественного напутствия, вдохновения свыше, а также от длительности отпущенного ему срока жизни, о чем Гоголь говорит так, будто она уже прервалась («...если бы Богу угодно *было* продлить

жизнь мою»). Далее: уже обращалось внимание, что в этом рассуждении речь о «Мертвых душах» ведется «в прошедшем времени, как о чем-то решительно не удавшемся и оставленном» [VII, 400]. Но точнее было бы говорить о *чередовании времен* — прошедшего и настоящего; это чередование как раз и отражает кризисное, пограничное состояние Гоголя.

Тайна «должна была» раскрыться, если бы Богу «угодно было» помочь автору; открытиям «угодно было» озарить его душу... Это значит, что тайна *не* открылась, высшее благословение *не* снизошло на творца поэмы, словом, ожидаемого действия *не* произошло, и об этом приходится говорить уже как о факте прошедшего времени. Но тайна продолжает существовать, ключ от нее по-прежнему пребывает в душе автора. Словом, незавершенное задание поэмы длится в *настоящем времени* [см. подробнее: Манн, 1987, с. 186–187].

Гоголевская запись фиксирует сам процесс перехода, его тончайшую грань, когда еще ощутима вся боль пережитого, но уже затеплилась надежда.

Возможно, правда, другое: то, что было испытано в первой половине июня, перед Веймаром, Гоголь теперь переосмысливает; состоянию отчаяния, своеобразного прощания с литературной и всякой мирской деятельностью, подведению черты придает вид надежды, выхода из кризиса, наметившейся перспективы. Ведь «Четыре письма...» датированы автором 1846 г. (а опубликованы и того позже, в 1847-м, в «Выбранных местах...»), то есть уже после кризиса.

Но скорее всего гоголевское объяснение мотивов сожжения соответствует действительности, а вместе с тем и приурочивание этого события к концу июля — первой половине августа представляется более вероятным.

Прежде всего потому, что, как мы уже говорили, нет оснований считать будто бы Гоголь уже принял решение об уходе в монастырь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Затем трудно представить себе, что такое драматическое событие, как уничтожение второго тома поэмы, совершенно прошло бы без внимания близких к Гоголю в этот период людей, Жуковского, потом Толстого. Скорее всего он решился на этот шаг именно тогда, когда был один, в самые кризисные дни своей болезни, в Карлсбаде или же по выезде из Карлсбада¹⁵³.

Наконец, ряд сходных поступков Гоголя в прошлом также свидетельствуют об истинности сообщенной им мотивировки. Гоголь обычно уничтожал написанное в состоянии глубокого творческого недовольства, острого переживания неуспеха. Так было еще в гимназическую пору, когда его «славянская повесть» «Братья Твердославичи» (или «Братья Тведиславичи») была в пух и прах раскритикована товарищами и произнесен решительный приговор — мол, автору следует оставить прозу и писать только стихи, — и тогда Гоголь «совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в

топившуюся печь» [ИВ. 1892. № 12. С. 696; см. также: Книга 1, с. 93]. Другое аналогичное событие — известная расправа над уже вышедшим «Ганцем Кюхельгартенем» в 1829 г., что означало выбор противоположного направления, от стихов к прозе, или — в более широком смысле — от литературной деятельности к совершенно другой: преподавательской, чиновничьей и т. д. Видимо, не одно сожжение имело место и в 1833 г. — сожжение произведения, о которых мы даже ничего не знаем, — однако мы знаем, что толкало Гоголя на этот шаг: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! <...> Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О не знай его!» [X, 277]. И наконец, ближайшее по времени к уничтожению второго тома поэмы сожжение — во Франкфурте, по-видимому, в конце лета 1841 г., когда Жуковский задремал во время чтения Гоголем своей трагедии из запорожской истории, и автор, сделав вывод, что произведение не получилось, бросил рукопись в камин.

Нам уже хорошо известна гоголевская «охота к перемене мест», к дороге, проявлявшаяся часто спонтанно и внезапно. Что это — жажда новых впечатлений? Обновления сил? Прибавления энергии? Не только. Это был род невропатологического состояния, требующего немедленного разрешения в разрыве с прошлым, с окружением, с самим собой. От себя не убежишь, но можно высвободиться из привычной колеи, устоявшихся связей, опробованных приемов и сложившихся навыков. Сожжение рукописи, уничтожение сделанного — такой же разрыв, но еще более острый и мучительный.

Это был и род жертвоприношения, добровольного отвержения насущного и дорогого, — ведь у Гоголя не было ничего более насущного и дорогого, чем его поэма. Однако жертвоприношения ради воскрешения — того же замысла, того же труда, но в преображенном, просветленном виде. Тут гоголевский поступок находил себе опору и в христианском и в более древних, языческих пластах сознания, и библейский стих «...То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» [1 Кор. 15, 36] соседствовал в его объяснении причин сожжения рукописи с упоминанием мифической птицы феникс, о котором в одном стихотворении Языкова (также хорошо известным Гоголю) сказано:

Это жертвенник спасенья,
Это пламень очишенья,
Это Фениксов костер!

Заклучался в уничтожении рукописи и вполне прагматический мотив — чтобы у автора не возникало никакого соблазна подсмотреть, как там, в прежней редакции написано, как сформулировано. Все должно быть сказано заново — точнее, лучше и убедительнее.

Наконец, был в этом поступке и своего рода акт испытания — себя и своего предназначения. Если Бог своею волей воскресил и воз-

вал его, полумертвого к жизни, то и труд его восстанет заново — «в очищенном и светлом виде». Если только с этим трудом действительно связана гоголевская высокая миссия.

«...КАЖЕТСЯ, МНЕ ЛУЧШЕ»

Из Карлсбада Гоголь направился в курортный город Греффенберг, но по дороге заехал в Прагу, где жил Вацлав Ганка (1791–1861), поэт и филолог, деятель чешского национального возрождения, известный своей замечательно искусной подделкой под старочешскую поэзию — так называемой «Краледворской рукописью».

По словам П. В. Анненкова, побывавшего в Праге в начале 1841 г., Ганка «всех русских принимает <...> как родственников, дает им Краледворскую рукопись и берет с них обещание выучиться по-чешски» [Анненков, 1983, II, с. 15]. В разное время здесь побывали Языков, Тютчев, Надеждин, Грановский, Срезневский...

Надеждин приезжал сюда во время своего большого путешествия по славянским землям вместе с Д. Княжевичем и оставил запись в альбоме Ганки, датированную 22 августа (3 сентября) 1841 г., а спустя два года, 27 апреля (9 мая) 1843 г. написал ему из Петербурга письмо-отчет о своей научной и редакторской деятельности [Письма к Ганке, с. 808–809]. В. А. Панов, после того как он оставил Гоголя в Риме весной 1841 г., а затем проучился некоторое время в Берлинском университете, приехал 18 марта следующего года в Прагу к Ганке: «Он принял меня также чрезвычайно хорошо, дал мне в подарок несколько небольших книжечек, им изданных: Чешскую грамматику, большой Лексикон...» [Встреча, с. 35]. Словом, «быть в Праге <...> и не посетить Ганку для русского было невозможностью»; «этот обыкновенный долг исполнил и Гоголь» [Кочубинский, кн. 3, с. 16], наведавшись в Чешский музей, где Ганка заведовал библиотекой и архивом.

Спустя многие годы, уже в начале следующего века, тот же автор описывал это место: «На Коловратской улице (теперь Прикоп) стоял тогда, как стоит и теперь, большой отель “У черного коня”. Через дом от этого отеля, вправо, виднелось скромненькое старое здание Чешского музея. Теперь от него ни следа. В партере музея, налево от ворот, но с входом из-под ворот, ютилась убогая казенная квартира библиотекаря Ганки: две комнаты с кухней, с одним окном на улицу. В этой-то квартире 5(17) августа Гоголь и принес обычную дань уважения всех русских — лично посетил Ганку, а остановился поэт, вероятнее всего, “У черного коня”» [там же, с. 17].

Другой автор, первый гоголевский биограф, рисует эту встречу во всех подробностях. По его версии, русский писатель «несколько раз» приходил в музей «и рассматривал хранящиеся в нем сокровища славянской старины. Ганка никак не хотел верить, что перед ним тот

самый Гоголь, которого сочинения он изучал с такою любовью (так наружность Гоголя, его приемы и разговор мало выказывали того, что было заключено в душе его); наконец спросил у самого поэта, не он ли автор таких-то сочинений.

— И, оставьте это! — сказал ему в ответ Гоголь.

— Ваши сочинения, — продолжал Ганка, — составляют украшение славянских литератур (или что-нибудь в этом роде).

— Оставьте, оставьте! — повторял Гоголь, махая рукою, и ушел из музея» [Кулиш, 1854, с. 150].

Нежелание Гоголя говорить о своих сочинениях — не единичный случай такого рода (вспомним его реплику священнику Базарову, произнесенную несколькими месяцами раньше в виду своих книг: «Как! <...> и эти несчастные попали в вашу библиотеку»), хотя трудно сказать, насколько верно воспроизвел Кулиш, опиравшийся и на какие-то устные сведения, всю сцену. Но точно известна запись, сделанная Гоголем в альбоме чешского ученого: «Гоголь желает здесь Вячеславу Вячеславичу еще сорок шесть лет ровно, для пополнения 100 лет, здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих, как ныне. 1845. 5(17) августа» [IX, 26]. И эта запись наглядно свидетельствует, что в настроении Гоголя наметилась перемена: только что он «готовился и совсем умереть» — и вдруг «перед нами нормальный человек, умный русский путешественник, который не прочь и чуточку пошутить своим писательским пером» [Кочубинский, кн. 3, с. 14].

Еще отчетливее перемена к лучшему выявилась по приезде Гоголя в Греффенберг, где он провел более месяца, по конец сентября. «Бог милостив: мне, кажется, как будто немного лучше» (11 сентября н. ст., Жуковскому. — [XII, 514]). «...Мне как-то свежее, и я чувствую теперь дух пуститься в дальнюю дорогу, на которую больше всего надеюсь...» (11 сентября н. ст., С. М. Соллогуб. — [XII, 516]). «...Слышу, однако же, какое-то живительное освежение и что-то похожее на крепость...» (12 сентября н. ст., Жуковскому. — [XII, 517]). «Здоровье мое, кажется, как будто немного лучше...» (конец сентября н. ст., С. Т. Аксакову. — [XII, 522]).

Помогло лечение холодной водой по методу Винсента Присница, одного из основателей гидротерапии, у которого двумя годами раньше успешно лечился А. О. Россет. Холодные купания, вопреки ожиданию, благотворно подействовали на Гоголя и летом 1844 г., когда он проживал у Северного моря в Остенде. А теперь он полностью отдался во власть водной стихии и манипулирующего с его телом персонала: «Я как во сне, среди завертываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной <воды> и ничего другого, кажется, и не слышу и не знаю.

Это покамест все, что мне теперь нужно, а мне нужно теперь *позабыться*» [XII, 517; курсив в оригинале].

Кроме того, Присниц предложил Гоголю изменить режим питания: поменьше колорийной пищи, изнуряющей организм обилием соков; мясо только вываренное, зато больше молока и мучного, причем хлеб грубого помола — желудок должен работать, а не лениться... Сладкоже Гоголю такое давалось с трудом, но он уже почувствовал «желудок свой лучше, чем тогда, когда по предписанию докторов ел сочное недожаренное мясо и легкие блюда из зелени», — и решил всю жизнь выполнять эти рекомендации.

В Греффенберге Гоголь не чувствовал себя таким одиноким, как в Карлсбаде: сюда приехал А. П. Толстой, также лечившийся по методу Присница и также получавший от этого «значительное облегчение». Улучшающееся состояние Толстого усиливало благотворное действие лечебных процедур на Гоголя.

К концу пребывания в Греффенберге Гоголь чувствует себя в силах вновь заняться судьбой ближних. Анну Виельгорскую, которой еще годом раньше, во Франкфурте, он поручил страждущего «пациента» [XII, 374] — очевидно В. А. Соллогуба, — теперь он буквально умоляет удвоить свои усилия: «Не смущайтесь ни недоступностью его, ни сумрачностью вида, ни сухостью приема и подходите к нему как нежнейшая сестра подходит к брату, снедаемая только одним желанием внести утешение в страждущую душу, о том одном только помышляющая, о том одном только молящая и прощающая у Бога ежеминутно только того, чтобы внушил для этого средства, просветил и обучил ее разум». А о собственном «нашем здоровье, нашей хандре» следует позабыть⁵⁴.

И все же для вящего спокойствия Гоголь решил съездить в последних числах сентября в Берлин, чтобы проконсультироваться с профессором Шенлейном, которого не удалось увидеть здесь тремя месяцами раньше. И вновь все перевернулось: Шенлейн рекомендовал «есть побольше мясного и зелени и поменьше мучнистого и молочного». Немножечко сбитый с толку, Гоголь решил следовать пословице «Людей расспрашивай, а держись своего разума».

Зато в установленный Шенлейном общий диагноз Гоголь, кажется, поверил — «расстройство в нервической системе, так называемое *pergoso fascoloso* (в брюшной полости)». Принял Гоголь и рекомендации дальнейших действий, ибо они в общем отвечали его стремлению в Италию: «...Приехавши в Рим, поутру вытираться мокрой простыней, потом принять две капли прописанных капель, а ввечеру — две пилюли. В апреле же месяце ехать в Неаполь и начать морское купанье в Каstellамаре и пить в то же время там обретающуюся воду *Aqua Media*» [XII, 523].

А. П. Толстой не поехал с Гоголем в Берлин — он возвратился в Париж, в отель «Вестминстер» на Rue de la Paix, где в начале года

останавливался и Николай Васильевич. Но и в Берлине нашелся соотечественник, скрашивавший одиночество писателя, — младший сын Виельгорских Михаил, служивший здесь при русском посольстве. Приезжала сюда и родная сестра графа Толстого Софья Петровна Апраксина (1800—1886), вдова флигель-адъютанта Владимира Степановича Апраксина, скончавшегося в 1833 г. «Виельгорскому Апраксину очень понравились, и он, кажется, с ними хорошо познакомился», — сообщал Гоголь графу Толстому в Париж. Но с самим Гоголем Апраксина разминулась — уехала в Рим за несколько дней до его приезда в Берлин.

Еще одна новость, занимавшая в Берлине всех русских, — прибытие императрицы Александры Федоровны. «Государыню все в Берлине нашли в хорошем состоянии; она взбежала весьма скоро на лестницу, так что видевшие ее незадолго до того в Петербурге почти не узнали» [XII, 524], — информировал Гоголь А. П. Толстого.

Это письмо он отправил с дороги, из Дрездена 1 октября. Через семь дней Гоголь уже в Вероне и уполномочивает А. А. Иванова в Риме подыскать для него квартиру или на старом месте на Via Sistina (т. е. Strada Felice), или на Грегориана, но чтобы были «две комнатки на солнце». Можно заглянуть и к прежнему хозяину г-ну Celli на той же Via Sistina: «Я привык к этим местам, и мне жалко будет им изменить» [XII, 526].

И в ожидании встречи просит поклониться Иордану и — особенно сердечно — Моллеру.

РИМ: ОСЕНЬ И ЗИМА 1845 ГОДА

Гоголь приехал в Рим к 24 октября и остановился в гостинице Cesari, на виа ди Пьетри. № 89, где, между прочим, не раз останавливался и Стендаль [Гасперович, с. 98—99]. О своем приезде Гоголь тотчас же уведомил Александра Иванова, приглашая его к себе, — «сам же к вам нейду по причине болящей ноги» [ЛА. С. 9; публикация А. Н. Степанова].

Вскоре писатель нашел себе новую квартиру, впрочем, недалеко от квартиры прежней; он поселился на Via de la Stose, в доме № 81, на третьем этаже. Дом известен как палаццо Понятовского, потому что был построен для племянника польского короля князя Станислава Понятовского, но после переезда его во Флоренцию сдавался квартирантам. Спустя многие десятилетия этот дом внимательно будет разглядывать историк-следопыт: «Его грязный непривлекательный вид указывает на то, что он давно не видал ремонта и, по всему вероятию, таким же он был и в гоголевское время» [Авентино, с. 10].

Кстати, и палаццо Понятовского заключало в себе память о важном для Гоголя событии: в начале века здесь при князе работал секретарем римский поэт Белли (а в 1846 г. в палаццо остановится автор «Моих темниц» Сильвио Пеллико. — [Гасперович, с. 100—101]).

Чувствует себя Гоголь по прибытии в Рим значительно лучше. «...Переезд в Италию и теперь, как всегда, подействовал хорошо» (Л. К. и А. М. Виельгорским. — [XII, 526]). «Длинный переезд и дорога подействовали на меня и на сей раз, как всегда, благотельно» (М. И. Гоголь. — [XII, 527]). «...Не беспокойтесь обо мне. Мне гораздо лучше. <...> Длинная дорога мне вновь помогла. Вечный Петр вновь перед мною; Колизей, Монте-Пинчио и все наши старые друзья со мною. Бог милостив и дух мой оживет, и сила воздвигнется!» (А. О. Смирновой. — [XII, 527–528; все три письма от 24 октября н. ст.]).

«Старые друзья» — это и римские достопримечательности и знакомые соотечественники, «прежние приятели», художники Иванов, Моллер, Иордан и др.

Окружающие Гоголя тоже заметили перемену. «Гоголь здоров и бодр...» [ЛН. Т. 58. С. 673], — сообщает Александр Иванов Чижову 27 октября (8 ноября). Хорошие новости дошли и до Смирновой в Петербурге, и до Аксаковых в Москве. «...Все известия об Гоголе самые приятные: он освежился, укрепился и готов приняться опять за дело, — дай Бог!» [ЛН. Т. 58. С. 679], — писала В. С. Аксакова М. Г. Карташевской 27 декабря.

Гоголь охотно общается, но с узким кругом людей. «Мы собираемся часто вместе к обеду в Фиано, т. е. Гоголь, Моллер, Сверчков и я, — сообщает Иванов Ф. В. Чижову 27 октября (8 ноября). — К нам хочет присоединиться Галахов — он здесь с сестрой. Но уже мне не до приятностей теперь...» [ЛН. Т. 58. С. 673].

Ровесник Гоголя Иван Павлович Галахов (1809–1849), принадлежавший к герценовскому кружку (его яркая характеристика содержится в главе XXIX «Былого и дум»), путешествовал в это время по западно-европейским странам. Но, по-видимому, его попытка «присоединиться» к Гоголю не увенчалась успехом; чуть позже, 19(31) декабря, он пожалуется Чижову: «...Гоголь здесь, но от сближения с ним, видно, нашему брату, неизвестному человеку, надо отказаться; впрочем нелюдимость его имеет причины основательные — болезнь, занятия и самую известность» [ЛН. Т. 58. С. 678].

С кем Гоголь охотно общался, так это с сестрой А. П. Толстого Софьей Петровной Апраксиной, с которой он разминулся в Берлине. По сведениям, дошедшим до Смирновой, Гоголь бывал теперь у нее «всякий день», чему она, Смирнова, очень рада: «Ему всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно» [Плетнев, 1896, т. 2, с. 931].

И еще Гоголь познакомился с Аполлинарием Петровичем Бутеневым (1787–1866), опытным дипломатом, двумя годами раньше назначенным русским посланником в Риме (он сменил в этой должности И. А. Потемкина). После первой же встречи Гоголь писал Жуковскому: «Кажется, мы с ним сойдемся близко» [II, 529]. Пользуясь благосклонностью Бутенева, Гоголь разрешил своим корреспондентам

там адресоваться прямо в посольство. Чуть позже посланник будет снабжать Гоголя сведениями, относящимися к приезду в Рим императора Николая.

Из событий, происходящих на родине, внимание Гоголя по-прежнему привлекало формирование славянофильства. Отношение его к этому течению было в общем заинтересованно сочувственное, но не безоговорочно одобрительное. Гоголь старается выработать взвешенную, осторожную позицию, и в этом смысле показательна его оценка курса древней русской литературы Шевырева, чьи взгляды хотя и не тождественны славянофильству, но имеют с ним точки соприкосновения.

Против нового труда Шевырева резко высказывался А. И. Тургенев еще в конце 1844 г., при этом он доводил свое мнение (через посредство Жуковского) до Гоголя: «*Божок Шевырев все умничает, особливо во введении к истории русской словесности, часто смешон философским важничаньем и бессмысленною, но есть и дельное в фактах*» [ЛН. Т. 58. С. 670; курсив в оригинале]. Затем при личных встречах Тургенева с Гоголем в Париже в начале 1845 г. спор обострился, но его главным предметом стало уже стихотворение Языкова «К ненашим». С трудом Шевырева Гоголь, по-видимому, сумел познакомиться позже, весной 1845 г., по фрагменту, помещенному в 1-м номере «Москвитянина» за тот же год, а сообщил он свое мнение автору уже из Рима (письмо от 20 ноября н. ст.). Фрагмент нашел у Гоголя полное одобрение: «Прочитавши его, я благодарил Бога, благословившего тебя. В этом отрывке ты вовсе другой, чем был доселе; в нем все полно и каждое слово полновесно. Слышен человек, созревший и разумом и душой, и сам дух божественный, изгоняющий все лишнее, неуместное и пристрастное, в нем слышится» [XII, 539].

Действительно, отвечая на вопрос о соотношении народного и общечеловеческого, Шевырев стремится держаться середины. «Народ, не зная себя, не может совершенно знать и другие народы: обратно, не зная других народов, он не может знать и себя». «Одни думают, что самосознание народное должно внушить нам гордость и привести к народной исключительности; другие напротив того воображают, что оно должно уничтожить нас перед другими народами <...> Нет! Оно, как мне кажется, должно произвести в нас ясное, разумное сознание своей народной силы — и с тем вместе вызвать открытую исповедь наших народных недостатков, без которых ни в человеке отдельно, ни в народе целом невозможно христианское совершенствование» [М. 1845. № 1. Отд. «Московская летопись». С. 8]. Словом, по отношению к своему, родному, национальному Шевырев настроен достаточно критично и трезво — выражение «исповедь наших народных недостатков» говорит само за себя. И при этом в коренном, как сказали бы тогда, субстанциальном, религиозно-сущностном Шевырев готов поставить отечественное выше чужого, инородного: «Наше русское народное тем отличается от других, что оно с самого начала бытия своего окре-

стилось, облеклось во Христа» [М. 1845. № 1. Отд. «Московская летопись». С. 9]. К этому убеждению, одному из центральных в славянофильской доктрине, в середине 1840-х годов приближался и Гоголь.

Вместе с тем крайности славянофильства, особенно в его бытовом, поведенческом аспекте, Гоголь недвусмысленно осудил. Эти крайности были продемонстрированы Константином Аксаковым, чья прямолинейность и категоризм и прежде раздражали Николая Васильевича, а тут еще стали приходить известия об опытах Аксакова по возрождению исконно русского одеяния и внешнего облика. Первой сообщила об этом Смирнова из Павлино (что под Петербургом), не называя Аксакова по имени: «До меня дошло слухами, что там (в Москве) делают глупости. Один из них, например, напомнил мне замечание городничего учителю: “Александр Македонский, конечно, был великий человек, но зачем опять стулья ломать?” Не назову его; но знаю, что он не только стулья ломает, но еще и платье свое изорвал на себе. Его почитают помешанным в Москве, и это дошло ко мне от очевидца и очень хорошо расположенного человека» [РС. 1890. С. 647; письмо от 11 августа 1845 г.; упомянутый «очевидец» — по-видимому, Ю. Ф. Самарин]. Затем поступили и другие сведения о Константине Сергеевиче. «Ты знаешь, — писал Гоголю Шевырев 4 октября, — что он решительно бородой и зипуном отгородил себя от общества и решился всем пожертвовать наряду» [Переписка, т. 2, с. 317].

Реакция Гоголя была резкой: он не удержался от обвинений Константина Аксакова в «дурачестве» и «фанатизме», не постеснялся затронуть такую деликатную тему, как его девственность (кстати, еще одно свидетельство, что сам Гоголь относился к этой проблеме достаточно трезво, без тени идеальничанья и экзальтации): «Для него (Константина) даже лучше <бы> было, если бы он в молодости своей, по примеру молодежи, ходил раз, другой в месяц к девкам. Но воздержанье во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком, так я думал с самого начала. <...> Я напишу к нему...» [XII, 537].

Тон своего письма Аксакову Гоголь выбрал более сдержанный и дипломатичный, начиная с обращения «мой добрый и мною любимый Конст<антин> Сергеевич!». Упомянул о благих намерениях своего адресата — «дай Бог побольше государю таких истинно русских душ и таких верных подданных, каковы вы», и о том, что и сам чувствует «отвращение к нашему обезьянскому европейскому наряду и глупому фраку». Но решиться на такое нововведение, на которое отважился Аксаков, продолжает Гоголь, можно только по мановению царя: «У нас, в русском царстве, или, лучше, в сердце тех людей, которые составляют *истинно-русское царство*, водится так, что царь глава, и только то, что передастся через него и из его уст, то облекается в законность» [XII, 540; курсив в оригинале]. Конкретно, это означало, что первым должен облачиться в зипун и мурмолку импе-

ратор, а за ним уже последует общество... В очередной раз призвал Гоголь своего адресата к «смирению», то есть к самовоспитанию.

В связи с постоянной гоголевской темой — воспитания — его внимание привлекла фигура Марии Александровны, жены наследника, будущей императрицы (бракосочетание Александра Николаевича и Марии Александровны состоялось еще в апреле 1841 г.). Сведения о цесаревне Гоголь получил от А. О. Смирновой, имевшей с ней долгую беседу при дворе. «Она настоящее сокровище и душой и умом. Долго расспрашивала меня о воспитании в казенных заведениях и делала такие верные, исполненные здравомыслия замечания, что я удивлялась, как в эти лета, при этой жизни и стольких заботах, она могла так хорошо обдумать этот предмет» [Переписка, т. 2, с. 164]. Гоголя это сообщение воодушевило: «Из Петербурга, — писал он Жуковскому 28 октября н. ст., — я имею утешительные вести о цесаревне. Она, чем далее, обвораживает более и более всех. Понемногу открывается, что это сокровище, которым подарил Бог Россию» [XII, 530].

Внимание Гоголя к облику цесаревны обуславливалось его общим интересом к роли женщины в современной жизни, «при нынешнем порядке вещей в России». Писатель уже намечал такую роль и перед Марией Балабиной, и перед Анной Виельгорской; обдумывал он и предназначение Александры Осиповны в связи с ее будущим как губернаторши. Теперь в кругозоре Гоголя обозначилась женщина, чье влияние могло распространяться неизмеримо шире — на всю Россию. И Гоголь обратился к Анне Виельгорской в Петербург с рекомендацией: «Вам нужно будет сойтись и непременно поближе с Марией Александровной: все, что ни слышу я о ней, говорит о многих сокровищах, в ней заключенных <...>. И вы ей, и она вам может быть очень полезна» [XII, 532]. Намечался своего рода союз «полезных» женщин...

Тем временем в Риме готовились к приезду царствующего российского императора. 13 ноября он прибыл в Сицилию, в Палермо, где проводила зиму и лечилась императрица Александра Федоровна; вместе с Николаем I приехал канцлер Нессельроде; по этому поводу направлялся из Рима в Палермо и посланник Бутенев. Гоголь внимательно следит за событиями. 28 ноября н. ст. он сообщает Жуковскому, что государь «весел, весьма доволен Палермой и приемом короля; погода там стоит удивительная, не бывает меньше 20 градусов тепла. Спят с открытыми окнами; постоянно продолжающийся широко начинается государыне однако же надоедать, она чувствует тяжесть <...>. Государя ожидают в Рим на днях; Бутенев для этого уже съехал с своей квартиры и переехал в гостиницу» [XII, 543].

Император прибыл в Рим из порта Чивита-Веккия 1(13) декабря пополудни, а уехал 5(17) того же месяца, пробыв в городе четыре дня [Попов, с. 65–66].

Накануне визита Бутенев объявил кардиналу Луиджи Ламбрускини, занимавшему должность статс-секретаря Папы Григория XVI: «Государь император путешествует incognito, под именем генерала Романа, и повсюду уклоняется от церемониальных встреч, приемов и почестей; он остановится в доме посольства...» [Попов, с. 62]. Но несмотря на приватный характер поездки, у нее была вполне конкретная цель: сгладить напряженность в отношениях с Ватиканом, вызванную польскими событиями и политикой русского правительства в связи с католицизмом.

Эту напряженность отметил и Гоголь в том же письме Жуковскому: «В Риме все католичество <...> вооружено против государя». Гоголь упоминает о шуме, который произвела в Риме «бежавшая из России полячка-униатка», рассказывавшая «о мучительствах, ею претерпленных, и пытках за неприятие православия». Униатке, говорит Гоголь, вначале поверили, но поскольку она оказалась «довольно здоровая и бойкая женщина и притом уже чересчур стала изображать картинно и прибавлять, то начинают уже сомневаться и в том, что вначале казалось похожим на правду». Завершает Гоголь свое сообщение словами императора, «что у него и в мыслях не было притеснять каким бы то ни было образом католическую веру» [XII, 544]. Судя по тону письма, Гоголь также не считает «такие слухи» достоверными.

Если верить посланнику Бутеневу, то Николай I успешно решил поставленную перед собою задачу, и визит его имел успех. 9(21) декабря, по отъезде императора, он писал графу Воронцову-Дашкову, что «римское народонаселение повсюду встречало высокого путешественника с таким энтузиазмом, который невозможно описать. Улицы, примыкающие к дому русского посольства (palazzo Giustiniani), в котором он останавливался, по целым дням были наполнены тысячами лиц различных классов...». Отзвук воодушевления, пробужденного этими встречами, дошел до Ф. И. Тютчева, писавшего спустя четыре года в статье «Папство и римский вопрос. С русской точки зрения»: «...Еще памятно то всеобщее душевное волнение, с каким было встречено его (Николая I) появление во храме св. Петра — появление православного императора <...>, памятен электрический трепет, пробежавший по толпе, когда он подошел помолиться у гроба апостола» [Тютчев, с. 500–501; перевод с французского; оригинал см. там же, с. 582].

В самый день приезда император нанес визит Папе, который «вышел к нему навстречу, окруженный всем своим духовным и светским двором в парадных платьях, и ввел его в свой кабинет». «Декабря 5(17), в день своего отъезда император снова посетил папу <...>. Во время этих двух посещений Ватикана государя сопровождали: князь Волконский, граф Орлов и другие лица его свиты. Граф Нессельрод [так!] приехал в Рим два дня спустя после императора и был принят папой один и весьма благосклонно». Во время встреч Николай I стремился

рассеять мнение, будто он хочет «окончательно разрушить латинскую церковь в пределах империи и Царства Польского», и уверял, что «русское правительство карало мятежников, а не исповедников латинского учения...» [Попов, с. 66–67].

Гоголь о характере бесед и встреч, естественно, не осведомлен, но он передает внешнее впечатление о настрое императора: «Я был рад душевно, что он здоров и весел, и молился за него искренно» [XII, 547].

У Николая I в Риме была и своего рода культурная программа. «Все свободное время государь посвящал осмотру римских достопримечательностей. Художники нашли в нем покровителя, бедные — щедрого благотворителя» [Попов, с. 66].

Русские художники собрались в соборе Святого Петра, где их представил императору Федор Петрович Толстой (1783–1873), медальер, скульптор, живописец, график. «Что — не ленятся?» — спросил Николай I Толстого и, получив отрицательный ответ, заметил: «Мы это увидим и определим» (из письма Ф. П. Толстого к конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу. — [РС. 1878. Февраль. С. 348]). Затем Николай I посетил мастерские скульпторов Константина Михайловича Клименко, Петра Андреевича Ставассера, Николая Александровича Рамазанова.

У Рамазанова император залюбовался фигурой нимфы, сказав при этом одному своему адъютанту: «Смотри <...> не заглядывайся, а то скажу жене — приревнует!» [Рамазанов, с. 130]. По поводу эскиза группы «Нимфа с Сатиром» (Сатир поймал Нимфу, обхватив ее нижними конечностями, и пытается своими вытянутыми губами добиться у стыдливой красавицы ответного поцелуя...) государь заметил: «Но это чрез чур выразительно». Ф. П. Толстой заверил: «Он (то есть Рамазанов) эту группу обработает, ускромнит». Николай I: «Но это дело другое; а то в таком виде ее нельзя поставить в моих комнатах. Заказать из мрамора!» [там же, с. 132].

Посетил император и мастерскую Иванова, где шла работа над «Явлением Мессии». Художник вышел навстречу «с бумагою в руках, в которой готовился прочесть подробное содержание своей картины, и стал уже в позу; но царь сказал ему: ты читай про себя, а мне покажи твою картину! мне некогда!» [там же, с. 136]. Согласно Ф. П. Толстому, царь остался доволен — «очень расхвалил картину и велел Иванову оканчивать ее с Богом» [РС. 1878. Февраль. С. 352]. О реакции Николая I знал, разумеется, и Гоголь: «Весьма похвалил Иванова, которого картина ему очень понравилась» (Жуковскому, 6 февраля н. ст. 1846. — [XIII, 37]). На самого художника визит императора имел действие ободряющее: «Эта минута моя была самая высокая в моей земной жизни, — писал он одному из корреспондентов, — я внутренне укреплялся молитвою, и вот — Царь. Он раскрыл во мне чувство, которое до его приезда я совсем не знал — чувство моей

собственной значимости, которое так сильно меня занимает» (Иванов, 1880, с. 201).

Во время визита в мастерскую Иванова возникла тема, косвенно имеющая отношение к Гоголю. Дело в том, что согласно более поздним воспоминаниям художника Николай I заинтересовался «фигурой раба» и спрашивал о ее «значении» [Боткин М., с. 331]. А этот персонаж, как известно, вызывал большой интерес Гоголя и, возможно, даже был помещен на полотно по его совету [Машковцев, 1982, с. 112–114].

Что же касается общения Гоголя с императором, то, по словам писателя, он видел его лишь «мельком», «раза три» [XII, 547]. И в другом письме: «...Я полюбовался им только издали...» [XIII, 30]. Во всяком случае, инициативы встречи тот не проявил, и Гоголь, конечно, на глаза лезть не стал. «...Ему дел и занятий была здесь куча и вовсе не для того, чтобы принимать всякую мелузгу, подобную мне» [XII, 547], — объясняет Николай Васильевич своей матери.

Возможно, поведение Гоголя обуславливалось и состоянием работы над «Мертвыми душами». С приездом в Рим у писателя пробудилась надежда. «...Милосердный Бог, может быть, вновь воздвигнет меня на труд...» (А. М. Виельгорской, 29 октября н. ст. — [XII, 533]). «Я острою перо...» (В. А. Жуковскому, 28 ноября н. ст. — [XII, 545]). «...Чувствую в себе и голову и мысли более свежими и, кажется, мог бы теперь засесть за труд...» (П. А. Плетневу, 28 ноября н. ст. — [XII, 546]).

Но труд существенно так и не продвинулся, и Гоголь все еще ощущал себя на пороге большого дела. А ведь это дело было освящено высоким обязательством, даже «клятвой», данной им «венценосному покровителю всего прекрасного». Сам император, может быть, всего этого и не удержал в памяти, судя по его отношению к первому тому поэмы, но Гоголь-то помнил свои слова очень хорошо, поскольку они должны были запечатлеть и укрепить его внутреннее самоощущение.

Кстати, говоря об Александре Иванове и, возможно, даже в связи с проявленным к нему августейшим вниманием, Гоголь вновь обратился к тому эпизоду своей римской жизни, когда его поддержал сам царь. «Один раз <...> я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть, не только от болезней и страданий душевных, но даже от голода <...>. Спасен я был государем. Нежданно пришла мне от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движение милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг <...>. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще мысль, — если удостоит меня Бог сделаться точно человеком близким для многих людей и достойным точно любви всех тех, которых люблю, — сказать им: “Не

забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь". Вот каковы бывают положения» [VIII, 333–334].

Хотя до читателей в свое время это признание не дошло (из статьи «Исторический живописец Иванов», включенной в «Выбранные места...», оно почти целиком было изъято цензурой), существовал уже тот факт, что эпизод помощи ему со стороны императора Гоголь решил сделать событием публичным. А поскольку он ничего не сказал о своем предшествующем обращении к царю, то поступок последнего приобрел вид самостоятельного августейшего решения. Между императором и писателем образовалась связь почти мистическая. Но испытывать судьбу опасно; во всяком случае, нелегко предстать пред светлые очи того, пред кем имеешь такие обязательства.

В самые последние дни 1845 г. Гоголю стал известен факт, свидетельствующий не только о его растущей известности в западно-европейских странах, но и прямо, авторитетном признании.

В Париже вышел том гоголевских сочинений: *Nicolas Gogol. Nouvelles Russes. Traduction française, publiée par Louis Viardot. Paris, 1845.*

До сих пор, начиная с 1839 г., на Западе выходили лишь отдельные повести Гоголя — «Записки сумасшедшего» и «Старосветские помещики» на немецком, «Тарас Бульба» на чешском» и т. д. А тут — целый том, избранное, пять произведений: «Тарас Бульба», «Вий», «Записки сумасшедшего», «Старосветские помещики» и «Коляска». Луи Виардо объяснил в предисловии, что он основывался на переводах, подготовленных J. T., то есть Иваном Тургеневым, и S. G., то есть Степаном Геденовым, историком и литератором, сыном директора императорских театров А. М. Геденова. Решающую роль в подготовке переводов сыграл Тургенев.

Общественное мнение Франции уже было настроено на появление книги: в октябре в парижском журнале «*Illustration*» были опубликованы две повести — «Старосветские помещики» и «Записки сумасшедшего», а еще раньше, в июле — большая статья «О русской литературе: Пушкин, Лермонтов, Гоголь». Анонимный автор статьи (по мнению Л. Р. Ланского, — И. С. Тургенев) приходил к выводу: «Все более возрастающее значение, которое приобрел Гоголь с самого начала своей деятельности, вместе с его неоспоримыми достоинствами, заставляет желать, чтобы его произведения распространились в Европе, где мы считаем возможным обещать им отличный прием. Известие о том, что перевод его лучших повестей должен скоро появиться на самом распространенном в мире языке, принимается нами с удовлетворением и доверяем» [ЛН. Т. 58. С. 672–673].

Затем уже на появление книги специальной статьей в «*Revue des Deux Mondes*» за 1 декабря 1845 г. отозвался Сент-Бев (русский перевод этой статьи незамедлительно поместил Белинский в составе своих «Литературных и журнальных заметок», опубликованных в 1-м номере «Отечественных записок» за 1846 г.).

Напомнив о своей встрече с Гоголем, случившейся шесть лет тому назад во время совместного плавания из Италии в Марсель, Сент-Бев заметил, что уже тогда мог догадаться, как много «оригинального и действительного должны заключать в себе его произведения». Появление французского издания не обмануло ожиданий критика: «...Франция узнает в Гоголе человека с истинным талантом, тонкого и неумолимого наблюдателя человеческой природы» [цит. по переводу, опубликованному в кн.: Белинский, т. 9, с. 428]. Еще решительнее высказался «*Journal des Débats*» по поводу сборника, «который уже доставил своему автору народную известность в его отечестве и который должен во всякой стране дать ему место между лучшими нувеллистами нашего времени» [там же, с. 429].

Вообще французское издание определенно содействовало продвижению Гоголя к западно-европейскому читателю. Вскоре книга была повторена в немецком переводе: «*Russische Novellen von Nicolas Gogol. Nach L. Viardot übertragen von Bode*» (Leipzig, 1846). Затем сборник стал предметом внимания чешского критика, который писал о Гоголе в 1847 г.: «...Творения его, вышедшие в прошлом году во французском переводе, стали достоянием всего просвещенного мира и отныне будут украшением и в сокровищнице нашей переводной литературы» [Францев, с. 18]. Попала книга и в поле зрения Чарльза Диккенса, в письме Эдуарду Булвер-Литтону от 25 октября 1867 г. он советовал сообщить пьесе «Пленники» не древнегреческий, а какой-либо европейский колорит, ссылаясь при этом на русского писателя: «Видели ли вы когда-нибудь “Русские повести Николая Гоголя”, переведенные на французский язык Луи Виардо? Среди них есть одна повесть под заглавием “Тарас Бульба”, в которой, как мне кажется, можно найти все необходимые условия для подобного перемещения действия. Изменив пьесу таким образом, вы прежде всего привлечете всеобщее сочувствие к рабам или военнопленным» [Алексеев М., с. 136].

В России подобные свидетельства европейской известности Гоголя принимали с живым интересом. «Слышала ли ты, милая Машенька, о статье St. Beuve о Гоголе в “*Revue des Deux Mondes*”? — писала В. С. Аксакова Марии Карташевской 27 декабря 1845 г. в Петербург. — Мы ее не читали, но Иван (Аксаков) читал ее. Он (то есть Сент-Бев) почти сравнивает Гоголя с Гомером и Шекспиром. <...> Повести Гоголя произвели необыкновенный эффект во Франции» [ЛН. Т. 58. С. 679]. По прочтении же статьи В. С. Аксакова выразила в письме к той же Марии Карташевской свое восхищение, особенно отметив при этом проведенную рецензентом параллель между Гоголем и Шекспиром [там же, с. 680].

Белинский на страницах «Отечественных записок» специально обратил внимание на то, что к французскому изданию Гоголя причастны весьма авторитетные лица: Луи Виардо — литератор, приобретший «во Франции громкую известность превосходным переводом “Дон

Кихота” на французский язык и своими глубокомысленными книгами о разных картинных галереях в Европе»; Сент-Бев — «один из наиболее уважаемых во Франции критиков, который своей громкой известности в качестве критика обязан академическими креслами» [Белинский, т. 9, с. 421, 422]. Факт «необыкновенного успеха во Франции» переводов Гоголя критик обратил в назидательный урок для соотечественников: «Что скажут на это некоторые из наших quasi критиков, которые в сочинениях Гоголя не хотели видеть ничего, кроме грязи...» [там же, с. 429].

На статью Сент-Бева обратили внимание и другие: Шевырев, который в письме Погодину от 17 декабря 1845 г. предлагал как можно быстрее напечатать ее перевод в «Москвитяине» [ЛН. Т. 58. С. 679]; Аркадий Россет и Ю. Ф. Самарин, которые в письмах к А. О. Смирновой отозвались о статье как «очень замечательной» [Переписка, т. 2, с. 171]. Александра Осиповна была такого же высокого мнения о статье, оценив ее вместе с изданием сборника гоголевских повестей как факт европейского признания. «Теперь замолчит вся болгаринщина, краевщина и проч., которая так сильно восстала против Аксакова и так смеялась над ним, — писала она Гоголю 14 января 1846 г. — Ведь для этих ослов мнения Запада авторитет, и в глазах Петербурга вы уже замечательное лицо, потому что: vous avez reçu le baptême de l'Occident (вы получили крещение на Западе)» [там же, с. 171]. Упоминание «краевщины» (то есть партии «Отечественных записок») говорит о том, что Смирнова и Белинского отнесла к числу людей, отрицавших или превратно понимавших Гоголя, — подразумевала она недавний спор критика с Константином Аксаковым по поводу гомеровских традиций и гомеровских сравнений в «Мертвых душах». В связи с этим нужно напомнить, что сам Гоголь к историко-литературным построениям и параллелям Константина Аксакова отнесся холодно.

Фактически не отозвался Гоголь и на информацию Смирновой — в ответном письме от 4 марта (20 февраля) 1846 г. он лишь сдержанно поблагодарил ее «за известия» [XIII, 41]. С самими же французскими статьями Гоголь познакомился раньше, в декабре 1845 г. или в первых числах января 1846 г., и прореагировал на них с полным равнодушием. «Я уже читал кое-что на французском о повестях в “Revue de Deux Mondes” и в “Des Débats”. Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и о новоизобретенной помаде красить волоса, и больше не будет о том и речи» [там же, 30]. Эта реплика находится в явной связи с гоголевским мнением о легковесности «французского элемента»: «...Вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера» («Рим». — [III, 229]).

Чуть больше интереса проявил Гоголь к тому, что пишется о нем в Германии, поскольку тамошние «литературные толки долговечнее» французских, но все же известие о немецком издании «Мертвых душ» (они вышли в Лейпциге в январе 1846 г. в переводе Ф. Лебенштейна)

встретил с неудовольствием. «Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впадала большая часть моих соотечественников», принявших «Мертвые души» за портрет России» [XIII, 30].

«До времени», преждевременно, не к месту... Это, пожалуй, лейтмотив объяснений Гоголя, почему иностранцам не следует знакомиться с его творчеством (лишь за несколько месяцев до смерти, по свидетельству, восходящему к М. С. Шепкину, Гоголь с удовлетворением прореагировал на слова И. С. Тургенева об успехе во Франции переведенных им повестей. — [Воспоминания, с. 529]).

Как ни парадоксально, сходные импульсы просматриваются и в других случаях, когда Гоголь стоял перед важной встречей, перед историческим рандеву: с императором ли, в виде портрета — со своей читательской аудиторией или в своем собственном обличье — с переполненным зрительным залом театра. Во всех случаях первым его движением было: ретироваться, скрыться, убежать, затаиться... Не то чтобы Гоголь не хотел такой встречи, — но не пришло еще время, не сделано самое главное, еще не решена загадка его творчества и, значит, не открыта тайна его существования...

Под знаком открытия этой тайны пройдет последнее семилетие его жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Криспин* (или *Криспен*) — устойчивое амплуа плута и хвастуна во французской комедии. Соотнося это имя с журналистом и писателем П. П. Свиным, Пушкин имел в виду и его приверженность ко лжи (пушкинская сатирическая миниатюра против Свинына так и называлась — «Маленький лжец») и в то же время вполне корыстный, целенаправленный характер этой страсти. Характерно, что Пушкину очень понравилась эпиграмма Вяземского на Свинына, обличавшая искательство и подхалимство последнего перед графом Аракчеевым («расчетливый Свинын», по словам Вяземского, мечтает «выкланяться в чин»). О переосмыслении Гоголем амплуа сознательного обманчика см. подробнее: Манн, 1996, с. 203 и далее.

² В корреспонденции В. Филиппова [Известия. 1996. 25 декабря. № 242] сообщается, что «вологодский историк и литератор Владимир Аринин составил жизнеописание» Волкова, которое осталось нам недоступным.

³ Что же касается П. М. Волконского, то пока трудно сказать, читал ли Гоголь «Ревизора» в его доме. Р. Е. Терехина утверждает в примечаниях к одной своей публикации: «По свидетельству М. Ю. Виельгорского, 3 мая 1836 г. Гоголь читал “Ревизора” у П. М. Волконского, но в семейной переписке Волконских упоминаний об этом мы не нашли» [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266].

⁴ Намечалось еще одно чтение «Ревизора» тоже с участием Жуковско-го, на этот раз не в его доме, а у Смирновой-Россет, но неизвестно, состоялось ли оно. В недатированном письме Смирновой-Россет Жуковский сообщал: «В воскресенье буду к вам обедать. Но вот предложение: вам хотелось слышать Гоголеву комедию. Хотите, чтоб я к вам привез Гоголя? Он бы прочитал после обеда; а я бы так устроился, чтобы не заснуть под чтение. Отвечайте на это» [РА. 1883. № 2. С. 336].

⁵ О своей позиции в журнале Гоголь говорит и в письме А. О. Смирновой от 28 декабря н. ст. 1844 г.: к «Современнику» Пушкин «не питал большой привязанности, хотя издавал его собственными руками, и хотя я тоже с своей стороны подзадоривал его на это дело» [XII, 438].

⁶ Это установлено В. Г. Березиной, изучившей уникальный экземпляр журнала, хранившийся в ГПБ (С.-Петербург). Настоящий экземпляр был начальным вариантом I-го тома «Современника», который уже после утверждения его в цензуре (31 марта) был заменен вторым вариантом, с которого печатался весь тираж. При этом дата цензурного разрешения была сохранена. Билет на выпуск выдан 9 апреля. Тираж — 2400 экз. (см.: *Березина В. Г.* Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы...». — [Материалы, 1954, с. 70–85; см. также другую работу Березиной в кн.: Пушкин. Исследования, т. 1, с. 278, 301–302]).

⁷ Кстати, в порядке уточнения к моей собственной работе [Манн, 1994, с. 432] отмечу, что об авторстве Петра Ильича Юркевича следует говорить с полной определенностью (см.: *Железняк С.* (С. И. Пономарев). Материалы для словаря псевдонимов. — [Календарь Суворина на 1881, СПб., 1880, с. 290; здесь среди других псевдонимов Юркевича назван и псевдоним: П. М-ский; см. также: Масанов, т. 2, с. 183; т. 4, с. 544]).

⁸ Высказывалось мнение, что автор этой рецензии — В. М. Строев (см.: *Кувзовкина Т.* «Лишь Сенковского толкнешь иль в Булгарина наступишь...» — [Русская филология. 8. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1997. С. 87–97]. Точка зрения эта недостаточно аргументирована, в частности неубедительна интерпретация рецензии как антибулгаринской («...Выпады против некоего критика гоголевских произведений, который при первом рассмотрении очень похож на самого Булгарина»). Но в любом случае решающее значение имеет тот факт, что эту якобы антибулгаринскую рецензию опубликовала газета Булгарина.

⁹ Д. Д. Благой сообщил, что в имеющемся у него «уникальном экземпляре первой книжки “Современника” с цензурным “билетом” на выпуск и надписью цензора А. Л. Крылова статья тоже имеет подпись Гоголя». Поскольку Пушкин, в связи со смертью матери, уехал 8 апреля в Михайловское, а экземпляр на выпуск подписан цензором 9 апреля, то «есть все основания предполагать, что подпись была снята <...> скорее всего без участия Пушкина» [Благой, т. 2, с. 391]. При этом, однако, решение о снятии подписи могло быть принято еще до отъезда Пушкина.

¹⁰ Упоминаемая Данилевским дача в Лесном — это Спасская мыза. Плетнев проводил здесь чуть ли не каждое лето, начиная с 1826 г. [см.: Плетнев, с. 557].

¹¹ В мае 1835 г. Глинка уехал из Петербурга в Новоспасское [Глинка, 1930, с. 159].

¹² Специальный вопрос — о встрече Гоголя с А. В. Кольцовым. На известной картине А. Мокрицкого и его учеников «Субботние собрания у В. А. Жуковского» (1836–1837) изображены, в частности, Гоголь и Кольцов. Однако сам Кольцов 15 августа 1840 г. писал Белинскому, что с Гоголем он «не знаком» [Кольцов, 1909, с. 22]. Позднее, 29 апреля 1877 г. А. Краевский сообщил биографу Кольцова М. Ф. де Пуле: «С Гоголем, сколько мне известно, он также знаком не был; по крайней мере я ничего не слышал о нем от Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 126]. Добавим, что оба писателя так и не встретились: в сентябре 1840 г. Кольцов приехал в Москву с сильным желанием увидеть Гоголя, но тот незадолго перед тем, в мае уже отбыл за границу.

¹³ Изложение этой заметки вскоре появилось в «Московских ведомостях» (1861. № 3, 4 января. С. 23), а затем она была перепечатана в «Литературном вестнике» (1902. № 1. С. 127–128).

¹⁴ Еще одно возможное знакомство Гоголя в этот период — существует свидетельство о посещении им поэта И. И. Козлова. «В 1836 г. у Козлова на литературном вечере сидели Жуковский, Пушкин, Гоголь и другие литераторы. Зашли толки о русской опере и русских композиторах. Пушкин сказал, что он желал бы видеть оперу лирическую, в которой бы соединились все чудеса хореографического, балетного и декоративного

искусства». В качестве «сюжета» для подобной оперы Пушкин предложил свои произведения «Русалку» и «Торжество Вакха». Присутствовавший на вечере композитор А. С. Даргомыжский, «еще молодой и робкий человек», впоследствии воспользовался этим советом для своих одноименных опер [см.: СПб. ведомости. 1852. 25 сентября. № 214; сообщение перепечатано в журнале: Пантеон. 1852. Т. 5. № 10. Разд. 7. С. 56]. Встреча у Козлова в качестве установленного факта упоминается в научной литературе [см.: Черейский, с. 132, 198; Орлова А. М. И. Глинка. Летопись жизни и творчества. М., 1952. С. 125]. Однако музыковед М. Пекелис сомневается в реальности этой истории, полагая, что она была сочинена «дружественно настроенными к Даргомыжскому людьми, пожелавшими помочь ему в решении вопроса о постановке оперы...»; «нигде: ни в автобиографии, ни в письмах, ни в воспоминаниях близких композитору людей нет ни слова о знакомстве Даргомыжского с Пушкиным...» [Пекелис М. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. Т. 1, 1813—1845. М., 1966. С. 227]. Со своей стороны, заметим, что нет и других сведений о знакомстве Голя с Козловым и Даргомыжским.

¹⁵ Любопытно, что спустя пять лет, в 1841 г. Ольдекоп совсем по-другому высказывался о «Ревизоре», который представляется ему вредным произведением. «В этой комедии нет нравственного урока; напротив можно смело сказать, что окончательным размышлением многих из зрителей, насчет всех этих безнаказанных плутов и взяточников, будет восклицание: “молодцы! Славно обделывают свои дела”. Русская комедия ввела в употребление пословицу; “умный человек не может не быть плутом”» (Дризен, с. 123). Изменилась ли точка зрения цензора на комедию? Или он так же думал и прежде, но не решился высказывать свое мнение? Во всяком случае, его отзыв 1836 г. «явно ориентирован на уже имевшееся решение вопроса» [Зайцева, с. 127; ср. также мнение В. В. Гиппиуса об отзыве Ольдекопа в 1836 г.: «...Его изложение «Ревизора» слишком явно стилизует комедию». — Материалы, т. 1, с. 312].

¹⁶ Авторство Мордвинова установлено И. А. Зайцевой [см.: Зайцева, с. 120]. Ранее ошибочно считалось, что резолюция принадлежит Л. В. Дубельту. Однако это не относилось к его компетенции (он был в то время начальником штаба корпуса жандармов).

¹⁷ Характерно изменение Гоголем одного места в сцене хвастовства: в черновой редакции Хлестакова принимают за известного военачальника Дибича-Забалканского, в первом издании — за турецкого посланника, впоследствии — за главнокомандующего.

¹⁸ Вяземский «из малого числа ратоборцев за пиесу» называет еще князя П. Б. Козловского, недавно возвратившегося из-за границы, литератора, близкого к Пушкину, сотрудника «Современника» [ОА. Т. 3. С. 317].

¹⁹ «...Виельгорский был один из первых и самых любимых русских меценатов; все этому способствовало: большое состояние, огромные связи, высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение, которое он занимал при дворе...» [Соллогуб, с. 293].

²⁰ Трудно, однако, точно определить, что было изменено и добавлено Гоголем под влиянием репетиций. Актер А. А. Алексеев рассказывает, что

эпизод с Прохоровым, который «к делу не может быть употреблен», так как «привезли его поутру мертвецки», вписан Гоголем «на одной из репетиций», когда Прохоров, игравший квартального, не явился, и на вопрос Сосницкого «А Прохоров где?» прозвучал ответ: «Опять запьянствовал» [Алексеев А., с. 50]. Но С. Данилов указал, что Прохоров готовился к роли не квартального, а Бобчинского и, кроме того, диалог о запившем квартальном, по фамилии Кнут, находится уже во второй черновой редакции, написанной до передачи пьесы в театр. В дальнейшем, однако, Гоголь действительно заменил Кнута Прохоровым — быть может, по влиянием какого-то случившегося с последним реального события [Данилов, с. 132–133].

²¹ Впрочем, конкретные замечания и исправления Гоголя определить опять-таки трудно. Александр Иванов (т. е. А. И. Урусов) со слов свидетеля постановки К. (очевидно, А. Краевского. — [см. об этом: Книга 1, с. 295]) говорит, что на первом представлении или на генеральной репетиции Гоголь «сам распорядился вынести роскошную мебель, поставленную было в комнаты городничего, и заменить ее простою мебелью, прибавив клетки с канарейками и бутыл на окне». Одновременно Гоголь переделал Осипа, заменив «ливрею с галунами» «замасленным кафтаном», который он снял с ламповщика [Порядок. 1881. № 35]. Данилов оспорил это утверждение, так как, согласно монтажке спектакля, Осипу был выдан «сюртук поношенный серого сукна, брюки, черный платок на шею» и т. д. [Данилов, 1934, с. 137]. Но, возможно, монтажка «фиксирует — без особых о том оговорок — и учтенные в постановке указания Гоголя» [Войтоловская, с. 242].

²² О структуре и функциях «немой сцены» см. подробнее: Манн, 1996, с. 207–214, 329–339.

²³ Это уточнение сделано Анненковым в письме М. М. Стасюлевичу [М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 326, 328; см. также: Анненков, 1983, с. 561].

²⁴ Кстати, обращает на себя внимание упоминание Каратыгиным двойной фамилии Гоголя (Гоголь-Яновский), что уже не характерно для середины 1830-х годов. Не повлиял ли на это факт семилетней давности — устроенный Гоголю актерский экзамен? Тогда будущий писатель фигурировал под двойной фамилией. Это косвенно подтверждает участие В. А. Каратыгина как одного из экзаменаторов [Книга 1, с. 180].

²⁵ Происходило это все, согласно Анненкову (как мы уже сказали), в день премьеры, 19 апреля. Однако, как установила И. А. Зайцева (в комментариях к 4-му тому нового Академического Полного собрания сочинений и писем Н. В. Гоголя. — [см.: Гоголь, ак., с. 597]), в этот день отпечатанная книга лишь поступила в цензурный комитет, а разрешительный билет был выдан П. А. Корсаковым (цензуровавшим книгу) 20-го [ссылка на: РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Ед. хр. 268. «Реестр печатных книг по С.-Петербургскому цензурному комитету в 1836 году». Л. 18]. Таким образом, возможно, Гоголь получил авторский экземпляр до выдачи разрешительного билета. Но не исключено и то, что Анненков не точен: упомянутый эпизод имел место в один из следующих дней после премьеры.

²⁶ В письме от 5 июня 1836 г. к матери Гоголь говорил, что «если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества», комедия «вероятно <...> не была бы никогда играна или напечатана» [XI, 47].

²⁷ Исследователь идет еще дальше, предполагая, что существует связь «Настоящего ревизора» с «великосветскими литературными салонами, с именем Смирновой, в частности» [Данилов, с. 155]. Предположение сделано на том основании, что Смирнова-Россет происходила из рода Цициановых.

²⁸ Разбор «Ревизора» был опубликован в составе общего библиографического обзора вслед за разбором комедии М. Загоскина «Недовольные», написанным Н. Полевым. Поскольку обзор печатался анонимно, Полевой посчитал, что Сенковский намеренно обманывает публику: к его, Полевого, отклику «редактор прибавил брань на “Ревизора”» [*Полевой Н.* Очерки русской литературы. СПб., 1839. Т. 1. С. XVIII]. Это разоблачение вызвало реплику Белинского: «Тяжело и грустно говорить о делах будто бы литературных, а между тем принадлежавших вовсе не к литературному, а к другому ведомству!» [Белинский, т. 3, с. 501].

²⁹ Известна также картина В. Е. Маковского «К. П. Брюллов читает “Ревизора” Гоголя в доме Е. И. Маковского». Среди присутствующих — А. Пушкин, И. Витали, А. Добровольский, В. Тропинин, Е. Маковский, Л. Маковская и др. Граф. кар. Лист из альбома 1860-е (?) гг. ГРМ [*Ацаркина Э.* Карл Павлович Брюллов: Жизнь и творчество. М., 1963. С. 321]. Брюллов действительно «две недели» прожил у Маковского, чья квартира находилась в Кремле [Рамазанов, с. 186]. С другой стороны, известно, что Пушкин 4 мая посетил Брюллова, но не у Маковского, а у Витали [Абрамович, с. 165]. Возможно, чтение «Ревизора» у Е. И. Маковского в присутствии Пушкина и других — это лишь вольная фантазия автора картины.

³⁰ Биографические сведения о П. Н. Демидове см. в кн.: *Головщиков К. Д.* Род дворян Демидовых. Ярославль, 1881. С. 231.

³¹ Время и место написания этого письма недостаточно прояснены. Поскольку Гоголь просит Демидова назначить ему «час» для встречи, то очевидно, что они оба проживают в одном городе. Комментаторы первого Академического издания датируют письмо так: январь — май 1839, Рим.

³² Обращает на себя внимание такой факт. Отвечая на просьбу И. Вагилевича сообщить литературные новости, Погодин пишет ему во Львов 27 мая (8 июня) 1836 г.: «Гоголь прославился малороссийскими повестями, а теперь пишет комедии — он в нынешнем году приедет во Львов» [*Свенцицкий И. С.* Материалы по истории возрождения Карпатской Руси. Львов, 1906. Т. 1. С. 154]. Погодин даже к моменту отъезда Гоголя из России ничего не знает о «Мертвых душах». Кстати, любопытно и упоминание Львова как возможного местопребывания Гоголя (на самом деле писатель сюда не заедет). Возможно, Гоголь говорил об этом Погодину во время встречи в 1835 г. или в письме, и это подтверждает высказанное выше предположение о том, что идея заграничного путешествия возникла и обдумывалась Гоголем еще до премьеры «Ревизора».

³³ См. подробнее об этом: Манн, 1987, с. 23 и далее.

³⁴ Так считали, например, чиновник департамента юстиции К. Н. Лебедев, Г. С. Аксаков и др. [сводку данных см.: Абрамович, с. 139 и далее].

³⁵ В черновой редакции статьи Гоголь давал во многом аналогичную характеристику Белинского [см.: VIII, 533]. Трудно сказать, по какой причине Гоголь снял эти строки и знал ли об этом Пушкин.

³⁶ Г. П. Макогоненко убедительно провел параллель между приведенным суждением Гоголя и характеристикой Мольера в его статье «Петербургская сцена в 1835—1836 гг.» [VIII, 554; см.: Макогоненко, с. 273]. Это место было коренным образом изменено в окончательном тексте статьи (завершенной позднее). Следовательно, Пушкин или читал какую-то предшествующую редакцию, или же, скорее всего, слышал аналогичное устное высказывание Гоголя (ср. в изложении Анненкова: «Я сказал, что интрига...» и т. д.).

³⁷ Существует мнение, что перед самым отъездом, в конце мая— первых числах июня, «Гоголь, увидевшись с Пушкиным после возвращения поэта из Москвы, передает для “Современника” свою повесть “Нос”...» [Абрамович, с. 222]. Однако едва ли это так. Гоголь попросил М. Погодина вернуть ему рукопись повести еще 18 января 1836 г. [XI, 31], и не позже, чем к началу апреля, он ее получил, так как 4 апреля состоялось чтение повести у Жуковского [см. об этом в настоящем издании, с. 396]. Нет никаких оснований считать, что Гоголь откладывал передачу рукописи Пушкину на самые последние дни своего пребывания в Петербурге.

³⁸ В статье Гоголя упоминается премьера оперы Глинки «Жизнь за царя», состоявшаяся 27 ноября 1836 г. Следовательно, статья была завершена в период с декабря 1836 по апрель 1837 г. (ценз. разр. журнала 2 мая 1837 г.) в Париже или в Риме.

³⁹ Согласно информации «Художественной газеты» (1836. Август. № 1. С. 16), Брюллов «прибыл в С.-Петербург в исходе мая; 25-го июня отправился в город Псков <...> и 6-го истекшего июля возвратился в С.-Петербург».

⁴⁰ В «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» (1836. № 117. 28 мая) в разделе об отъезжающих помещено следующее сообщение: «Княгиня Вера Федоровна Вяземская с детьми: князем Павлом и княгиней Надеждою; при них московская мещанка Прасковья Наумовна и великобританский подданный Игнатий Портелли; спрос. 3-й Адм. части 1 кварт. в доме под № 4».

⁴¹ Сообщение о его отбытии было опубликовано там же, где и сообщение об А. С. Данилевском: «Двора Его императорского Величества гофмейстер тайный советник граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин; при нем дворовый его человек...» [«Прибавления к С.-Петербургским ведомостям». С. 1038].

⁴² Эти сведения опубликованы М. Г. Соколянским с ссылкой на архивный документ: «Archiv der Hansestadt Lübeck. Amt Travemunde. VIII. b. Liste der mit dem Damfschiffe «Nicolay» von St. Petersburg am 26 Juni 1836 in Travemunde angekommenen Passagiere. Unzahl I.» [Соколянский М. Г. Гоголь в Любеке // Литературные мелочи прошлого тысячелетия. К 80-летию Г. В. Краснова. Коломна, 2001. С. 91]. Эта публикация позволяет к спутни-

кам Гоголя добавить еще два лица — «коллежского асессора Галахова» и «графа Кутузова».

⁴³ В письме Данилевскому от 8 мая н. ст. 1839 г., вспоминая о жизни в Аахене, Гоголь говорит о «красном Энгельгардте» [XI, 225]. В комментариях к этому месту не отмечено, что это именно А. Е. Энгельгардт.

⁴⁴ Эта еще не зафиксированная в биографической канве Гоголя встреча устанавливается на основе сообщения Гоголя после *вторичного* его приезда в Баден, летом 1837 г.: «В Бадене я встретился еще раз с Смирновой; она живет даже в том самом доме, где жила прежде...» [XI, 106].

⁴⁵ В «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» от 21 мая 1836 г. среди отъезжающих значится: «Генерал-лейтенанта Варвара Осиповна Балабина с дочерью Марью Петровною, при них крепостная горничная девушка Наталья Никишина Чижова; спрос. 1-й Адм. части 4-го кварт. в собственном доме № 18» [с. 1000].

⁴⁶ К пребыванию Гоголя в Бадене приурочивается и его знакомство с уже упоминавшимся Николаем Дмитриевичем Киселевым (1802–1869), дипломатом, выпускником Дерптского университета, бывшим в дружеских отношениях с Н. М. Языковым, Пушкиным и его кругом. Смирнова, которую связывали с Киселевым интимные отношения, рассказывает, как она познакомила его с Гоголем. «Киселев, вы должны быть очень горды, Гоголь пожал вам руку, это доказывает, что вы заслуживаете его уважения. — Но откуда он это знает? У меня на лице не написано, что я честный человек. — Он большой физиономист и очень наблюдателен...» [Смирнова, 1989, с. 487]. Рассказ Смирновой изобилует явными хронологическими смещениями: в частности, Гоголь не мог обсуждать с Киселевым стихотворение Языкова «Землетрясение», написанное в 1844 г.; однако сам факт знакомства Гоголя с Киселевым не вызывает сомнения. И произошло это скорее всего в первый приезд Гоголя в Баден [см. комментарий С. В. Житомирской в кн.: Смирнова, 1989, с. 600, 702].

⁴⁷ См. об этом: *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века) // ЛН. Т. 91. С. 254, 255, 374.

⁴⁸ «Поездка в Ферней» — популярная тема у русских путешественников той поры; ее контекст воссоздан в кн.: *Заборов П. Р.* Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть XIX века. Л., 1978. С. 225 и далее.

⁴⁹ Ср.: *Данилевский Р. Ю.* Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984. С. 145.

⁵⁰ О швейцарских впечатлениях и занятиях Гоголя Краевский извещал Погодина: «Гоголь живет теперь в двух верстах от Женевы, в деревне. Говорит, что бросил страннический посох и принялся за большое дело, за какое — не говорит; читает прилежно Мольера, Вальтер Скотта» [Барсуков, т. 4, с. 340–341]. Эти сведения Краевский получил, возможно, от Жуковского. В этом случае интересно то, что Жуковский, согласно гоголевской просьбе, не раскрыл своему собеседнику, что писатель работает над «Мертвыми душами». Показательна и такая подробность: в вышедшей в 1837 г. в Германии (Штутгарт — Тюбинген) книге «Literarische Bilder aus Russland», в частности, сообщалось: «...Мы слышали, что (Гоголь) последнюю зиму провел в Женеве» и что по возвращении он, очевидно, вернется к поэтическому изображению «своей любимой Малороссии»

(с. 222). О работе Гоголя над «Мертвыми душами» Н. А. Мельгунов (именно он продиктовал книгу издателю Г. Кенигу (Н. Koenig) ничего не знает, как не знал к этому времени и М. Погодин (Мельгунов был связан с московским кругом и черпал отсюда свою информацию).

⁵¹ В «Прибавлениях № 111 к С.-Петербургским ведомостям» от 21 мая 1836 г. среди отъезжающих за границу упомянут Андрей Николаевич Карамзин, «лейб-гвардии конной артиллерии прапорщик» (с. 1000).

⁵² Отмечено В. И. Шенроком [см.: Шенрок, т. 3, с. 158].

⁵³ Этим уточняется мнение исследователя: «Нет никаких следов встречи Соболевского с Гоголем за границей до 1847 г. (Неаполь)» [*Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 156*].

⁵⁴ Характерна та правка, которой подверглось соответствующее место из письма Гоголя в издании Кулиша: например, «храмы» заменены «caffes» [*Гоголь Н. В. Соч. и письма. СПб., 1857. Т. 5. С. 293*].

^{54a} См. об этом подробнее: *Мани Ю. В. Гоголь как интерпретатор Пушкина // Филологические науки. 2004. № 1. С. 78–87*.

⁵⁵ Автор этого мемуара, как указывает П. Бартнев в примечаниях к публикации, — «девица Екатерина Александровна» Хитрово.

⁵⁶ Не лишний штрих к этой теме добавляет более позднее (от 30 октября 1845 г.) письмо Смирновой Гоголю. Упомянув высказывание сибирского губернатора Булгакова, назвавшего Гоголя хохлом, Смирнова спрашивает: «...Так что ж? и я хохличка, мы с вами росли на галушках и варениках и не хуже Булгакова. Да что такое хохол? <...> Его менее дубасили, и это значит что-нибудь» [РС. 1890. № 6. С. 653; курсив в оригинале]. Хохла менее дубасили — это было убеждение и Гоголя.

⁵⁷ Эта встреча Гоголя с Юзефом Богданом Залеским могла иметь место весной 1847 г., когда польский писатель посетил Рим (см.: *Mazanowski Mikolai. Jozef Bohdan Zaleski. Zycie i dzieła... Petersburg, 1900. S. 124*; этот источник указал мне Василий Щукин).

⁵⁸ Об этом пишет гоголевский биограф: «Гоголь приехал в Рим со своим знакомым Золотаревым 14 марта 1837» [Шенрок, т. 3, с. 178], но не сообщает источника этих сведений. Возможно, он опирался на свидетельства Данилевского.

⁵⁹ Этим сведениям я обязан профессору Тартуского университета Сергею Геннадиевичу Исакову, который указал мне также на издание, содержащее краткую биографическую справку о Золотареве: *Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Bearbeitet von A. Hasselblatt und Dr. G. Otto. Dorpat, 1889. S. 211*.

⁶⁰ В июле 1837 г. Смирновы (а также Платонов) приезжали в Рим. Но с Гоголем они, видно, разминулись: Гоголь выехал в Северную Италию, Швейцарию и затем в Баден, а Смирновы — в Дюссельдорф [СН. Кн. 17. С. 319, 321].

⁶¹ В письме из Женевы от 19 сентября н. ст. 1837 г. Гоголь сообщает, что живет на «квартире» по адресу Rue Croix d'or. № 25 [XI, 111].

⁶² Хронологическое приурочивание гоголевского маршрута по Италии таит в себе немалые трудности, поскольку после писем из Рима Жуковскому и Плетневу, помеченных им соответственно 30 октября и 2 ноября, следует письмо из Милана к матери, датированное более поздним

числом — 24 ноября. В. Шенрок даже высказал предположение, что Гоголь приезжал в Рим на некоторое время из Швейцарии и потом обратно уехал в Швейцарию [Шенрок, т. 3, с. 197]; письмо из Милана, следовательно, отправлено во время вторичной поездки из Швейцарии в Рим. Однако нет никаких данных, свидетельствующих о таком «вираже», то есть о новом отъезде-приезде Гоголя. В то же время датировка миланского письма не вызывает сомнений: на 1-й странице автографа рукою Гоголя написано «Милан 24. ноября»; на 4-й пустой странице другой рукой (но, возможно, по просьбе Гоголя) сделана надпись: «a Pultava en Russie 25 ноября 1837»; наконец, на той же 4-й странице имеется штамп: «MILANO NOVEMBRE 24» [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 23]. Остается предположить, что неверными являются две другие авторские датировки писем из Рима, то есть они написаны не 30 октября и 2 ноября, а в конце ноября—начале декабря. В обоих письмах, между прочим, Гоголь с благодарностью говорит о полученном векселе императорского «вспоможения», и возможно, ему не хотелось создавать впечатление, что он так долго медлил с ответом.

⁶³ Вопрос о местоположении квартиры Гоголя требует пояснений. С одной стороны, Гоголь неоднократно отмечал, что он живет на третьем этаже (*terzo piano*. — [XI, 200], 3 piano. — [XII, 109]) и что этот этаж последний (*ultimo piano*. — [XI, 123], верхний этаж. — [XI, 130]). Между тем сейчас дом предстает как пятиэтажный (по российским понятиям — шестиэтажный). Высказывалось мнение, что уже после Гоголя дом был надстроен двумя этажами (это мнение — ошибочное мнение — повторено и автором этих строк. — [см.: Манн, 1987, с. 33]). Картину осложняет еще одно обстоятельство: в 1843 г. в Риме в одном доме с Гоголем жил Ф. В. Чижов, располагаясь на *четвертом* этаже, над квартирой Гоголя ([Воспоминания, с. 225]; это замечание подтверждает и проживавший в то же время в Риме Г. П. Галаган). Эти противоречия позволяет объяснить указание современной владелицы дома графини Датти: по семейным воспоминаниям, ей известно, что на пятом и шестом этажах находились кладовые и подсобные помещения; значит, Чижова поселили здесь в порядке исключения (рассказ графини Датти передан мне современной итальянской исследовательницей Ритой Джулиани).

⁶⁴ Надпись содержит неточность: Гоголь поселился здесь осенью 1837 г., сразу же по возвращении в Рим.

⁶⁵ Кафе Греко, основанное в 1760 г., существует и поныне, причем на стене, среди других портретов, находится и портрет Гоголя. Этот портрет до недавнего времени считался принадлежащим кисти художника Сведомского. На самом деле портрет, выполненный Сведомским, в 20-х годах XX в. пропал и на его месте был помещен портрет кисти Федерико Губинелли [см. об этом: Гасперович, с. 101].

⁶⁶ См. об этом подробнее в комментариях к стихотворению «Италия» в изд.: Гоголь, ак., т. 1, с. 866 и далее (автор И. Ю. Виницкий).

⁶⁷ Цит. по: Шенрок, т. 4, с. 413 (оригинал: *Premiers Lundis*, III, 24, Paris, 1878).

⁶⁸ О месте гоголевской концепции карнавала в его творчестве, в его поэтике см.: Манн, 1996, с. 9 и далее.

⁶⁹ См. также: *Манн Ю. В.* Мотив и жанр (К своеобразию повести Гоголя «Тарас Бульба»)//Русская повесть как форма времени. Томск, 2002.

⁷⁰ «...Его всю жизнь мучила одна глубокая тайная любовь, его тайна тайн и святая святых — любовь к католической Польше» [*Солоухин В.* Камешки на ладони//Новый мир. 1986. № 8. С. 172].

⁷¹ Список стихотворения, сделанный Гоголем и имеющий некоторые незначительные разночтения, опубликован в кн.: *Неизданный Гоголь*, с. 358–360.

⁷² В первом академическом Полн. собр. соч. указана ошибочная дата письма — 28 сентября, когда Гоголь еще был в Париже. Исправлено М. Гиллельсоном [см.: Гиллельсон, с. 138].

⁷³ Под публикацией стихов дата: 30(18) января 1839. Это не «дата переписки стихотворения», как полагает комментатор [см.: *Поэты 1820–1830-х годов*. Л., 1972. Т. 2. С. 704], а дата празднуемого дня рождения, совпадающая с датой, указанной Жуковским. Отметим также, что М. Погодиным, не участвовавшим в этом торжестве, названа неверная дата — 27 декабря 1838 г. [*Погодин М. П.* Воспоминание о С. П. Шевыреве. СПб., 1869. С. 22].

⁷⁴ Уточним, кстати, дату письма, указанную в первом академическом издании: это не конец февраля н. ст. [см.: XI, 201], а примерно 8(20) февраля.

⁷⁵ Замечательную образованность Розена отмечает и другой современник: «Он имел глубоко-основательные познания в истории, в этнографии и в науке о древностях и был знаком с философскими учениями не только древнего мира, но и более новых и новейших эпох от Декарта и Спинозы до Канта и Фихте включительно» [*Арнольд Юрий*. Воспоминания. М., 1892. Вып. 2. С. 182. Об отношении Розена к Пушкину см.: *Исаков*, с. 26 и далее].

⁷⁶ Как указали Е. Э. Лямина и Н. В. Самовер, в первом академическом Полн. собр. соч. Гоголя неточно указана дата смерти И. Виельгорского — 21 мая н. ст. [XI, 19]. Соответственно неверно датированы некоторые письма Гоголя [Лямина, Самовер, с. 453].

⁷⁷ Автор настоящей книги склоняется сейчас к мысли, что «Ночи на вилле» были закончены. Первые строки («Они были сладки...») явно обличают начало произведения, а в последней, 8-й ночи заявленная тема, кажется, находит свое завершение, хотя недостает еще каких-то фраз или фрагмента. При этом возможно, что произведение не должно было включать в себя все «ночи», то есть существовали пропуски. Но больше всего в пользу того факта, что произведение было закончено, говорит беловой характер сохранившихся фрагментов автографа [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 4]: Гоголь имел обыкновение перебеливать рукопись после ее завершения, а не в середине работы (что, разумеется, не исключало возможности последующей правки).

⁷⁸ Письмо датировано неточно: 28 июля 1838 (нужно: 1839). Неверная датировка повторена Шенроком [Шенрок, т. 3, с. 266, а также в кн.: *Письма к Н. В. Гоголю* (библиография). Л., 1965. С. 9]. Кстати, о намерении Гоголя написать воспоминания об умершем говорит и Аполлинария Михайловна Виельгорская в письме к дяде Матвею Юрьевичу: «Гоголь обе-

щался нам дать воспоминания и последние слова ангела нашего, выражения которого он никогда не забудет. Папа говорит, что у него такая светлая улыбка была...» [*Розанов А. С. Ф. Лист в Риме в 1839 г. (по материалам семейного архива графов Виельгорских)*]/Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 301].

⁷⁹ *Karlinzky S. The Sexual Labyrinth of Nicolai Gogol. Cambridge, Massachusetts and London, England, 1976.*

⁸⁰ Это не единственная переключка «Ночей на вилле» с «Мертвыми душами». Ср. сходство оборотов: «...Вдруг и разом я погрузился в еще большую мертвящую остылость чувств...» и «Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней...» (из седьмой главы поэмы).

⁸¹ В упомянутом письме к М. Балабиной, осведомленной обо всем произошедшем, есть намек на реальную причину гоголевского состояния: «Кто испытал глубокие душевные утраты, тот поймет меня» [XI, 246].

⁸² Публикатор этого письма Н. Лернер сообщает, что находившийся в его распоряжении французский оригинал был снабжен карандашной припиской неуставленного лица о том, что письмо адресовано, «вероятно, князю Августину Голицыну» [Звезда. 1830. № 1. С. 219]. Августин Петрович Голицын (1824–1875) — католик, автор ряда трудов по истории; проживал в Париже.

⁸³ На копии стихотворения рукой М. П. Погодина сделана помета: «Стихотворение Языкова, переписанное Гоголем» — «наклеенный листок» в альбоме А. Е. Шиповой [Современники Пушкина, с. 89]. Очевидно, именно это произведение подразумевал Гоголь в своей «Учебной книге словесности...», приводя в качестве примера элегии «Тоску в немецком городе» Языкова [VIII, 486].

⁸⁴ Машенька — дочь Сергея Тимофеевича, Мария Сергеевна Аксакова, в замужестве Томашевская (1831–1906), а не М. Г. Карташевская, как сказано в комментариях [Воспоминания, с. 607].

⁸⁵ В. А. Жуковский приехал в Москву в августе 1839 г. для участия в открытии монумента на Бородинском поле. В «Московских ведомостях» (от 26 августа 1839 г., № 68) отмечено, что Жуковский остановился в «городской части». Историк Москвы полагает, что поэт проживал в Кремле, где у него бывал Гоголь [Земенков, с. 47]. Других сведений, помимо сообщения К. С. Аксакова [ЛН. Т. 58. С. 570] о чтении Гоголем Жуковскому «Мертвых душ», а также об их встречи в Кремле, у нас нет.

⁸⁶ А. Я. Панаева приурочивает это событие к посещению Москвы на пути в Казанскую губернию с апреля по июль 1839 г., но в это время Гоголь еще находился за границей. Встреча могла состояться лишь в октябре того же года, во время вторичного приезда Панаевых в Москву (до конца октября, когда Панаевы с Белинским уехали в Петербург; около того же времени, 26 октября, в Петербург отправился и Гоголь с С. Т. Аксаковым — об этом см. далее). О гоголевском чтении в доме Аксаковых «Тяжбы» и «Мертвых душ» упоминает и И. И. Панаев [Панаев, с. 204 и далее].

⁸⁷ Действительно, пьеса И. П. Котляревского «Москаль-чарівник» вошла во 2-й «Украинский Сборник» (М., 1841). Вопрос об участии Гоголя в ее редактировании требует специального изучения.

⁸⁸ К спектаклю, имевшему место 17 октября 1839 г., относится еще одно, забытое свидетельство, принадлежащее жене Павла Воиновича Нащокина Вере Александровне: «Не могу сказать, наверное, в первое или в одно из первых представлений “Ревизора” на сцене, Гоголь сидел в нашей ложе, в глубине ее, и прятался за моим плечом, иногда пригибался чуть не до самого пола. Публика неистовствовала и вызывала автора. Верстовский несколько раз входил к нам и упрашивал Гоголя выйти к публике, но тот отказывался, говоря: “Скажите, что меня нет, что я уехал из театра”, а между тем несколько раз во время хода пьесы ходил за кулисы и показывал актерам, как какую роль надо было играть» [НВ. 1898. 7 октября]. Нащокина, писавшая свои мемуары спустя почти 60 лет, неточна в том отношении, что Гоголь находился не в ее ложе, а у Чертковых. Но из воспоминаний очевидно то, что среди зрителей были Нащокины. Вероятно и присутствие композитора А. Н. Верстовского, который с 1825 г. исполнял в Москве обязанности «инспектора репертуара и трупп». Интересно и упоминание о том, что Гоголь давал советы актерам. Едва ли он «несколько раз во время хода пьесы ходил за кулисы» — этот факт был бы отмечен другими очевидцами. Но, возможно, он все-таки общался с актерами — скорее всего, до начала спектакля. Косвенно это подтверждается сохранившимся в театре «преданием» о Ф. С. Потанчикове, исполнителе роли почтмейстера: «При первом представлении у Федора Семеновича вышло пререкание с автором: Гоголь перед началом осматривал актеров, кто как одет и загримирован; подходит к Потанчикову и говорит: “Вы стары, надо бы быть помоложе” — “Почему же?” — спросил Федор Семенович. — “А потому что в пьесе почтмейстер должен представлять лицо нового направления; да кроме того и городничиха говорит дочери, что та с ним кокетничает”. — “Я это знаю, — отвечал Федор Семенович, — но в жизни бывает, что девицы за неимением подходящих кавалеров кокетничают с немолодыми людьми; кроме того, пожилым я его изображаю потому, что в пьесе он значится надворным советником, а это такой чин, до которого с его умом и среди окружающего невежества дослужиться в молодых годах невозможно”. — Гоголь помолчал несколько времени и сказал: “Да, вы правы, — это я ошибся. Играйте так, как думали”» (*Садовский М.[П.] Федор Семенович Потанчиков. — [Воспоминания об актере прежнего времени//Артист. 1889. Кн. 3. С. 39]*).

⁸⁹ Служебную карьеру Марков сделал уже после упомянутой встречи в доме Карташевских в 1839 г.; в это время он был лишь отставным штабс-капитаном.

⁹⁰ Об одной из этих встреч И. Панаев сообщал К. Аксакову 8 декабря 1839 г.: «Гоголя хотя и редко, но я видал. Один раз мы втроем (я, Белинский и он) обедали у князя» [Белинский, т. 11, с. 423].

⁹¹ Дата устанавливается по письму Елизаветы Васильевны, датированному около 25 декабря 1839 г.: «...Вот уже месяц и неделя, как мы вышли из института» [Материалы, т. 1, с. 153].

⁹² Очевидно, к пребыванию Гоголя в столице в октябре—декабре 1839 г. относится следующая запись Смирновой-Россет: «Зимой 40-го года Гоголь провел месяц или два в Петербурге». Жил у Плетнева в университете <...>. Жуковский его посещал с разными сладкими утешениями. Гоголь

обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым» [Смирнова, 1989, с. 59]. Однако это не мог быть Федор Иванович Тютчев [ср. именной указатель в кн.: Смирнова, 1989, с. 774], поскольку он находился в это время за границей.

⁹³ Описанная встреча могла иметь место до выхода из печати первого стихотворного сборника Фета (ноябрь 1840 г.), то есть реально до отъезда Гоголя из Москвы за границу в мае 1840 г.

⁹⁴ Возможно, Гоголь не уложился с чтением двух глав в один день и оно было продолжено на следующий день, в воскресенье, когда он приезжал к Аксаковым вместе с сестрами [ЛН. Т. 58. С. 579]. Это подтверждается письмом К. Аксакова от 2 января 1840 г. с сообщением, что Гоголь «читал уже два раза после приезда» [там же, с. 572].

⁹⁵ Эта дата устанавливается следующим образом. С. Т. Аксаков сообщает 15 апреля 1840 г., что чтение состоялось «в субботу на страстной неделе» [ЛН. Т. 58. С. 588]. Пасха в тот год приходилась на 14 апреля, следовательно, чтение имело место 13-го. Заметим кстати, что в «Истории моего знакомства...» С. Т. Аксаков ошибочно указал 17 апреля [Воспоминания, с. 119].

⁹⁶ По словам В. А. Нащокиной, в ее доме около года прожили «мать и две его (Гоголя) сестры» [НВ. 1898. 7 октября]. Но это скорее всего ошибка памяти.

⁹⁷ В. А. Нащокина вспоминала, что Лангер уклонился от занятий и пригласили «знаменитого тогда Гурилева» [НВ. 1898. 7 октября]. Однако факт преподавания Лангера подтверждается письмом К. С. Аксакова брату Ивану (3 августа 1840 г.): «Я отвез Лангеру его ноты и деньги ему от Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 586]. Возможно, однако, что шли переговоры и с Александром Львовичем Гурилевым (1802—1856), композитором, автором популярных романсов.

⁹⁸ Дата письма уточнена В. А. Мануйловым. См.: Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.; Л., 1964. С. 131.

⁹⁹ Смирнова Е. А. Гоголь Николай Васильевич (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 115).

¹⁰⁰ Подразумеваются: Дмитрий Александрович Валуев (1820—1845), воспитанник Московского университета, многообещающий и рано умерший ученый, и, скорее всего, Василий Алексеевич Елагин (1818—1879), старший сын А. П. Елагиной от второго брака (с А. А. Елагиным), также окончивший Московский университет и занимавшийся историей Чехии. Его младший брат — Николай Алексеевич Елагин (1822—1876).

¹⁰¹ Одновременно в отделе «Отъезжающие за границу» появилась дружная редакция: «В Германию и Италию, 8-го класса Николай Васильевич Гоголь; жительство имеет на Девичьем поле в доме Профессора Погодина» [МВед. 1840. № 28. 6 апреля; повторено в № 29, 30].

¹⁰² Это устанавливается на основе следующего объявления: «Vendredi, 17 Mai Mathilde, vaud. En 3 actes. Etre aime' ou mourir, vaud. En 1 acte. Au benefice de M-me Allan, artiste du Theatre Imperial de St. -Petersbourg» [МВед. Прибавления. 1840. № 39. 15 мая. С. 588].

¹⁰³ В первом Академическом издании соч. Гоголя указано, что перевод комедии Жиро выполнен не в Венеции, а в Вене и в более раннее время — в июле—августе 1840 г. [XI, 25]. Впрочем, этот вопрос связан с ком-

плексом других непроясненных фактов, на чем следует остановиться специально. Текст комедии был выслан Гоголем по частям в трех письмах (очевидно, чтобы не увеличивать стоимость посылки) — О. С. Аксаковой, самому Щепкину и Погодину. При этом письма Аксаковой и Погодину были помечены Гоголем: «Венеция. Август 10». Точно так же помечено письмо к Е. В. Гоголю, вложенное в конверт письма О. С. Аксаковой для пересылки адресату. (Письмо Щепкину не имеет датировки и обозначения места.) Однако 10 августа Гоголь не мог быть в Венеции, так как, во-первых, 7 августа он еще находился в Вене (о чем говорят его письма) и за три дня не смог бы добраться до Венеции; а во-вторых, существует определенное свидетельство Панова о приезде Гоголя в Венецию 2 сентября. Исходя из этого А. И. Кирпичников высказал предположение, что Гоголь ошибся в дате — следует читать не 10 августа, а 10 сентября [Кирпичников, 1900, вып. 4, с. 1218]. Комментарий первого Академического издания оспорил это мнение: «Гоголь мог ошибиться в датировке одного письма, но трудно предположить, что он ошибся три раза. Таким образом, дата письма правильна. Значит, неверно проставлен город...» [XI, 437]. Мол, нужно: Вена, а не Венеция. По нашему же мнению, помета *Венеция* правильна, неверно же указаны даты письма — они отнесены на более ранний срок, когда Гоголь действительно был еще в Вене. Доводы в пользу этой версии таковы: 1) В упомянутом письме Погодину сказано: «Здоровье мое теперь несколько лучше, а то было я прихворнул не на шутку» [XI, 307]. Это скупое, но совершенно определенное указание на пережитый кризис, сделанное уже по выходе из такого состояния, наступившего с приездом в Венецию. 2) Если бы Гоголь отправлял письма из Вены, он должен был бы считаться с тем, что его адресаты обратят внимание на расхождение со штемпелем. Обмануть Аксаковых и Погодина было труднее, чем в свое время простодушную Марью Ивановну, да и в последнем случае Гоголь вынужден был (как мы знаем) подрисовать штемпель («Триест»). 3) О русских художниках в Вене (переводивших итальянскую пьесу) ничего не известно. В Венеции же ко времени пребывания там Гоголя относится приезд Айвазовского и Штернберга (об этом речь впереди) и, по-видимому, не только этих художников, о чем писал их современник: «Осенью 1840 года Айвазовский поехал в Италию, почти в одно время с другими русскими художниками, также пансионерами Императорской петербургской академии — даровитым Штернбергом <...>, Воробьевым, Фрике и архитекторами Бенуа и Шуруповым. Вместе с ними отправились на свой счет два брата Эльсоны, архитектор и пейзажист, и только что возвратившиеся из путешествия по Востоку братья Чернецовы» [В. Т. И. К. Айвазовский//БЧ. 1856. Т. 135. Отд. 3. С. 64]. Что же касается мотивов отнесения писем к более раннему сроку, то, возможно, Гоголю важно было избежать впечатления большого перерыва в переписке, вызванного именно его болезнью. Правда, впоследствии (17 октября из Рима) в письме Погодину Гоголь упоминал о «письме моем к тебе из Вены» [XI, 313], но, возможно, он к этому времени действительно запомнил, откуда отправлено предыдущее письмо.

¹⁰⁴ Около 1842–1843 гг. Штернберг, по подсказке А. А. Иванова, нарисовал жанровую сценку: во Флоренции через площадь идут П. А. Ставас-

сер и Н. А. Рамазанов в обществе Гоголя. «Возможно, что этот вариант был согласован с Ивановым и, вероятно, с Гоголем» [Машковцев, 1982, с. 127]. Штернберга мы не раз встречаем среди людей, общавшихся с Гоголем. В октябре 1843 г. он сообщил Айвазовскому из Рима: «Я написал маленькую картинку для Галагана <...>. На днях приехали Эпингер и Чижов, которые, как тебе известно, были в Черногории, Далмации, Кroatии и проч.» [ОР РНБ. Ф. 9. Ед. хр. 11. Л. 1 об., 2].

¹⁰⁵ Написание фамилии Гоголя — Коколи (Cocoli), очевидно, подсказано забавной ассоциацией — с продаваемыми на улицах Рима солеными лепешками — *соссолі* [Гасперович, с. 93–94].

¹⁰⁶ Близость Гоголя к Франциску Ассизскому отмечена А. И. Кирпичниковым: «...Нетрудно найти в произведениях, которые тогда приписывались знаменитому поэту-визионеру, места сходные по тону с теми, что, например, Гоголь писал Погодину 15 мая или Данилевскому 7 августа (1841 г.)» [Кирпичников, 1902, вып. 1, с. 157].

¹⁰⁷ В списках жителей дома «господин Челли» не фигурирует, но упоминается «Анна Мария Ринальди, вдова Челли...». В связи с этим Ванда Гасперович считает, что Анненков допустил ошибку: «Это не мог быть не только Челли, но и брат хозяйки Санто Ринальди, который, вероятно, умер до марта 1839 года, так как уже тогда его не было в списке жителей» [Гасперович, с. 94]. Однако едва ли можно сомневаться, что Анненков имел дело с кем-то из мужчин хозяйского семейства Челли (может быть, тот жил в другом месте?). Ведь предположить здесь ошибку мемуариста трудно: на протяжении двух с лишним месяцев Анненкову приходилось не раз встречаться со своим хозяином («...г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии». — [Анненков, 1983, с. 46]). Наконец, самое главное: Celli как своего «старого хозяина» упоминает в 1845 г. Гоголь [XII, 525].

¹⁰⁸ Всего Панов переписал 5 глав, что составляет 152 страницы рукописи [Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки Украины в Киеве. Шифр: Неж. 59, с. 152]. Гоголь был удовлетворен его работой: «Панов молодец во всех отношениях» (С. Т. Аксакову, 28 декабря н. ст. 1840. — [XI, 324]). Анненков переписал 184 страницы текста, на тридцать больше, чем Панов. Отметим, кстати, полную произвольность утверждения комментаторов первого Академического издания, будто бы Анненков переписал «первые шесть глав» [XI, 26]: уже факт переписки им «Повести о капитане Копейкине» (из X главы) противоречит этому сообщению. Несколько страниц были переписаны неизвестным лицом, а окончание — 24 страницы — самим Гоголем [см. подробнее об этом: Манн, 1987, с. 81–83].

¹⁰⁹ Иначе излагает этот эпизод Ф. И. Иордан: «Я душевно оплакивал его (Томаринского) кончину, и гости, бывшие у меня вечером, в день его похорон, П. В. Анненков, Н. В. Гоголь, А. А. Иванов, заметив это, предложили мне поехать с ними за город, чтобы развлечься. Н. В. Гоголь, любясь на чудный закат солнца, описание которого, вероятно, понадобилось ему для какого-нибудь из его произведений, не имея перед собою ни пера, ни бумаги, видимо старался запечатлеть в своей памяти предстившуюся нам чудную картину» [Иордан, с. 161]. Возможно, это происходило после смерти Томаринского, но в другой день.

¹¹⁰ Надеждин путешествовал совместно со своим близким другом Д. Княжевичем, который, скорее всего, присутствовал при римской встрече с Гоголем. Отношения их затем продолжились. В. Шенрок даже полагал, что Гоголь летом 1841 г. ездил вместе с Княжевичем в Далмацию [ВЕ. 1897. Февраль. С. 650]. Эту точку зрения убедительно опроверг А. Кочубинский [ВЕ. 1902. Т. 2. № 3. С. 11].

¹¹¹ Присутствие Милютина на чтении комедии зафиксировано в его воспоминаниях: «...Один вечер случилось мне присутствовать на публичном чтении Гоголя, который тогда только начинал приобретать известность; он читал своего “Ревизора” в зале князя Волконского с благотворительной целью — в пользу одного бедного русского художника» [Милютин, с. 357]. Подчеркнутая мною фраза — или результат хронологического смешения, или свидетельство недостаточного знакомства к тому времени с творчеством Гоголя самого мемуариста. О своих впечатлениях от римского чтения «Ревизора» Милютин ничего не говорит.

¹¹² Факт посещения Гоголем церкви Святой Марии устанавливается на основе его письма от 25 августа 1829 г., где рассказывается об астрономических часах с «12 апостолами» [X, 156]. Эти часы находились не в соборной (кафедральной) церкви, как можно понять из упомянутого письма, а именно в Мариен-Кирхе. Кстати, Гоголь воспроизводит бытовавшее в народе ошибочное наименование «курфюрстов» (в действительности их 7) как «апостолов» [об этом: Lübeck. Ein Führer..., 1910. S. 23–24]. Между прочим, русские путешественники не раз описывали эту достопримечательность (*Греч. Н. Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 году*//Соч. СПб., 1838. Ч. 4. С. 243–244; Анненков, 1983, II, с. 6–7; и т.д.).

¹¹³ Впоследствии мемуаристка сделала к этому месту добавление: «Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краски ничего, а все в выражении чувств» [Смирнова, 1989, с. 43]. Предпочтение «византийцев» характеризует более позднюю фазу эстетических воззрений Гоголя.

¹¹⁴ Эта позиция отразилась во второй редакции «Портрета», завершённой Гоголем именно в данный период римской жизни. Смысл этой переработки в том, что перед художником снимаются все запреты на материал, тематику, выбор предметов; в качестве императива остается лишь глубоко личное, одухотворенное и одушевленное высшими целями их освещение [см. подробнее: Манн, 1996; раздел «Художник и “ужасная действительность”». О двух редакциях повести “Портрет”»]. Очевидно, высшим ориентиром этой идеальной устремленности может служить религиозный живописец из второй части, явивший высочайшую преданность искусству и непосредственно отразивший решающее, поворотное событие истории человечества — рождение Христа. Но это не значит, что фигура религиозного живописца, с одной стороны, полностью ориентирована на эстетический идеал назарейцев, а с другой — тождественна художническому мироощущению самого Гоголя. Этому мироощущению соответствует скорее *система персонажей* повести, их сложное соотношение — как упомянутого религиозного живописца, так и безымянного русского художника, приехавшего из Италии, и, наконец, самого Чарткова. Каждый из этих художников сохраняет (или должен сохранить) импера-

тивное требование высокого просветления образа при различии материала и тематики. Предмет изображения религиозного художника, как уже сказано, — кульминационный этап человеческой истории в ее христианской версии. Предмет изображения русского художника, вернувшегося из Италии, никак не обозначен и не оговорен, хотя можно предположить, что это также религиозный и мифологический сюжет («Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы». — [III, 112]). Зато преимущественный жанр Чарткова — портреты современников, людей света и толпы. Прегрешение художника не в том, что он остается в пределах этого жанра, а в том, что он впадает в конформизм, фальш и идеализацию. Искусство требовало от него фиксирования самой прозы, дрязга и мелочности жизни, но диктат моды и светского вкуса парализует это стремление. «Он ловил всякой оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: “Ах, зачем это?”...» [III, 103]. Показательно, что во всех трех случаях существует единый критерий художнической выучки и школы. Для религиозного живописца это Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан, Корреджио [III, 126]. Художник, приехавший из Италии — «оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля» [III, 111]. Наконец, Чартков до своего «падения»: «Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвиды, останавливался пред портретами Тициана, восхищался фламандцами» [III, 85]. Рафаэль — высший критерий художественности. Наконец, характерно и замечание о художнике, приехавшем из Италии, — «он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов» [III, 111; движение «пуристов» выступило преемником эстетических принципов назарейцев]. Это перекликается с позицией самого Гоголя, который, по выражению Анненкова, «еще никому, собственно, не принадлежал».

В связи с этим следует остановиться еще на том пассаже из второй редакции «Портрета», где ставший модным живописцем Чартков говорит, что художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки». По справедливому замечанию современного исследователя, подразумеваются «те старые итальянские мастера, перед которыми преклонялись и которым стремились следовать Овербек и другие назарейцы» [Барабаш, 2003, с. 193]. Однако значит ли это, что Гоголь тем самым «отмежевывается <...> от прежней своей оценки»? Суждение Чарткова фигурирует в ряду его других, таких же бесшабашных суждений, вроде того, что «сам Рафаэль даже писал не все хорошо». Словом, со стороны автора повести это не специфическая защита назарейцев, а отстаивание многостороннего, вдумчивого и компетентного подхода к искусству.

¹¹⁵ Подробнее см.: Манн, 1987, с. 79 и далее.

¹¹⁶ О сожжении рукописи рассказывает также А. В. Никитенко в дневниковой записи от 11 мая 1866 г. [см.: Никитенко, т. 3, с. 33]. Никитенко приурочивает это событие к Дюсельдорфу и замечает, что поведал ему о нем Чижов «со слов самого Гоголя». Однако, как указал еще Ю. Г. Оксман, версия Никитенко менее достоверна: она зафиксирована спустя

много лет после случившегося, и кроме того, маловероятно, чтобы Гоголь сам рассказывал о своей неудаче (*Оксман Ю.* Сожженная трагедия Гоголя//Атеней. Историко-литературный временник. Л., 1926. Кн. 3. С. 57; см. также: *Karpuk Paul A.* Reconstructing Gogol's destroyed tragedy on a theme from the history of zaporozhe//Slavic East European Journal. 1997, vol. 41. № 4, p. 589 и далее).

¹¹⁷ Об этой встрече Гоголь рассказывал по приезде в Москву. 16 ноября 1841 г. Е. М. Хомякова сообщала брату Н. М. Языкову: «Гоголь представлял в лицах Вас с Бакуниным» [ЛН. Т. 58. С. 609].

¹¹⁸ Об этой картине Гоголю напоминал Н. М. Языков. 26 сентября, уже после отъезда Гоголя из Ганау, он писал родным: «Гоголь в первый раз в Дрездене; стыдно ему будет не видеть Мадонны» [ЛН. Т. 58. С. 606]. Из более позднего свидетельства М. А. Дмитриева явствует, что Гоголь все-таки видел Сикстинскую мадонну [там же, с. 615].

¹¹⁹ *Черныш Г. Г.* Неизвестное письмо Гоголя//Finitis duodecim lustris. Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 109–116; настоящее имя автора этой публикации — Г. Г. Суперфин [см.: ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 462].

¹²⁰ Публикация этого документа, так же как и других цитируемых мною по ZS., осуществлена Герхардом Цигенгейстом (G. Ziegengeist).

¹²¹ День отъезда устанавливается на основе писем Плетнева Гроту. 12 октября Плетнев пишет, что у него обедал Гоголь, «сегодня уехавший в Москву и далее»; однако 13 октября помечено другое сообщение: «Обедал и вечер провел у Балабиных, где был и Гоголь» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 411, 412]. О дне приезда Гоголя в Москву (17 октября) сообщает В. С. Аксакова в письме М. Г. Карташевской [ЛН. Т. 58. С. 608].

¹²² Согласно письму Шевырева от 4 февраля, чтение намечалось на ближайший четверг, то есть 5 февраля; однако Гоголь сказался «больным» [ЛН. Т. 58. С. 613, 612].

¹²³ Живокини сообщает и другие интересные сведения, относящиеся к пребыванию Гоголя в Москве в 1841–1842 гг.: «В первый раз он увидел меня в “Комедии с дядюшкой” в 42-м году. У Гоголя в ложе был Кетчер и еще кто-то из его знакомых, которым он, как мне потом передавали, сказал обо мне: “Вот прекрасный талант...”» [Живокини, с. 29]. Факт посещения Гоголем спектакля «Комедия с дядюшкой» (пьеса П. И. Григорьева, поставленная впервые в Петербурге в 1841 г.), не отмеченный гоголевскими биографами, требует подтверждения другими источниками.

¹²⁴ Откликом на встречи с Гоголем в Москве и перед этим в Риме являются следующие строки из письма Княжевича С. Т. Аксакову (27 февраля 1843): «Где теперь Гоголь? у вас ли еще? или опять улетел в Рим? Ох, этот Рим! Многих он с ума сводит!» [Шенрок, т. 4, с. 699].

¹²⁵ П. А. Кулиш, со слов Смирновой-Россет, пишет, что Гоголь «останавливался у Плетнева» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]. Но представляется более надежным хронологически более раннее свидетельство С. Т. Аксакова.

¹²⁶ А. О. Смирнова-Россет в числе слушателей упоминает еще Тютчева [Смирнова, 1989, с. 45]. Но это не Федор Иванович Тютчев, как указано в том же издании (с. 774): последний находился в это время за границей (*Чулков Георгий.* Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.

С. 58–59; Динесман Т. Г., Долгополова С. А., Королева И. А., Щедринский Б. Н. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева, кн. 1, 1803–1844, Музей-усадьба «Мураново», 1999, с. 245 и далее). Возможно, подразумевается его брат Николай Иванович Тютчев (1800–1870).

¹²⁷ Петербургские встречи Гоголя не остались тайной для его московских друзей. С. Т. Аксаков с раздражением упоминает о «свидании» «Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским)» [Воспоминания, с. 197–198; впрочем, других сведений о встрече Гоголя с Н. А. Полевым у нас нет]. Не менее резкой была и реакция петербуржца Плетнева, о чем вспоминал П. А. Кулиш (в письме В. И. Шенроку от 5 января 1890 г.): «С крайним негодованием рассказывал он мне, как Гоголь, по возвращении из заграницы, поддакивал ему в его искреннем суде о журналистах, а тайком от него делал визиты Белинскому, Краевскому, Некрасову, Панаеву и другим. Вообще представлял он Гоголя человеком двуличным...» [Крутикова, с. 290]. Очевидно, в сознании Плетнева встречи 1842 г. соединились с более поздними, осенью 1848 г., когда Гоголь виделся в Петербурге с Некрасовым и Панаевым.

¹²⁸ Интересный, но недостаточно проясненный эпизод пребывания Гоголя в Петербурге. Его встреча с К. Брюлловым — вторая, если учесть, что они, по всей вероятности, уже виделись перед отъездом писателя за границу в июне 1836 г. [см. настоящую кн., с. 448]. А. П. Милюков — единственный источник, сообщающий об этом факте, — встретил Гоголя и Брюллова в «вагоне второго класса» поезда, следовавшего из Царского Села в Петербург. Выглядел Гоголь так: «...Худошавый, с длинными волосами и большим тонким носом, в каком-то не совсем модном плаще с капишоном». Он «молча оглядывал сидевших в вагоне», изредка обмениваясь со своим спутником, т. е. с Брюлловым, «короткими фразами». Внезапно «на подороге к Петербургу» Гоголь и Брюллов стали участниками небольшого спектакля, когда к ним подошел некий итальянец-«силуэтист»: он мог «в три минуты» вырезать очень похожий силуэт человека, продавая изделие своего труда «по рублю за экземпляр». Брюллов вскоре получил свой экземпляр; Гоголь же, «когда итальянец обратился к нему с предложением снять с него силуэт, <...> решительно отказался» [Милюков А. Встреча с Н. В. Гоголем (отрывок из воспоминаний)]//ИВ. 1881. Т. 4. Январь. С. 135–138; перепечатано в кн.: Милюков А. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 53–61]. Автор этого мемуара заслуживает доверия. Александр Петрович Милюков (1817 или 1816–1897) — известный в свое время литератор, автор книги «Очерк русской поэзии» (1847), был в дружеских отношениях с Я. П. Бутковым, И. И. Введенским (переводчиком Диккенса), Ф. М. Достоевским и др. Однако хронологическое приурочивание эпизода недостаточно ясно. В. В. Вересаев, судя по расположению этого материала среди других в его книге, относит описываемый факт к пребыванию Гоголя в Петербурге с 25–26 мая по 5 июня 1842 г. [Вересаев, 1990, с. 338]. Но до этого Гоголь еще наезжал в Петербург дважды — с 30 октября по 17 декабря 1839 г. и в начале октября 1841 г. Правда, Милюков говорит, что встреча имела место «летом», что более подходит к третьему приезду Гоголя в столицу; но в то же время

мемуарист отмечает, что произошло все это вскоре после премьеры «Ревизора», «который возбуждал тогда самые оживленные толки в обществе и в большинстве университетской молодежи» (Милюков поступил в С.-Петербургский университет в 1839 г.), что ближе к 1839-му, а не к 1842 г. Кстати, в связи с упомянутым эпизодом уместно сказать об интересе Гоголя к первой в России железной дороге от Петербурга до Царского Села, открытой вскоре после отъезда писателя за границу. М. Балабиной, поделившейся с Гоголем своими впечатлениями от поездки, он писал 7 ноября н. ст. 1838 г.: «...Хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге...» [XI, 181].

¹²⁹ Письмо Гоголя к В. О. Балабиной опубликовано первоначально Е. И. Прохоровым по каталогу аукциона в Марбурге [Вопросы литературы. 1963. № 4. С. 116] и затем автором настоящей книги по автографу — с мелкими исправлениями и другой датировкой [Наше наследие. 1988. № 1]. См. также мое уточнение к публикации [там же, № 5, с. 52].

¹³⁰ Письмо Нащокина к Гоголю опубликовано Л. Ланским (Вопросы литературы. 1969. № 2. С. 251—255).

¹³¹ Смысл этой реплики проясняется из письма Шевырева Гоголю, отправленного из Дахау в сентябре 1839 г.: мол, Гоголь запечатал свои письма Шевыреву вначале серебряной, а затем золотой облаткой. Это поразило и почтальона и местного судью (Landrichter): «Я боюсь, что ты того и гляди брякнешь мне бриллиантовую: ну тогда уж я не ручаюсь и за моего ландрихтера. От такой облатки и он может помешаться. Беда, да и только» [Гоголь. Переписка, т. 2, с. 289]. В комментариях первого Академического издания сочинений Гоголя эта деталь гоголевского письма не объяснена [XII, 608].

¹³² Курьезный комментарий к этому месту дан в первом Академическом издании: «...шутливые прозвища *знакомых* Гоголя и Языкова, образованные из соответствующих действий...» [XII, 608].

¹³³ Семейство Обуховых было довольно многочисленным: помимо самой Марии Алексеевны, ее сын Василий Васильевич, отставной ротмистр уланского полка; жена его Екатерина Васильевна Обухова (урожденная Обрескова); две племянницы и дети его сестры — Мария Павловна и Екатерина Павловна Алферьевы — именно последней увлекался Иордан [Иордан, с. 209].

¹³⁴ Как заметил Н. Г. Машковцев, еще один персонаж этой картины, изображенный в группе молодых людей, разительно напоминает реальное лицо, а именно самого Гоголя. Странно, однако, что Чижев не обратил на это никакого внимания. «Но возможно, что Иванов демонстрировал тогда другой вариант акварели, в котором фигура Гоголя отсутствовала» [Машковцев, 1982, с. 125].

¹³⁵ После смерти в 1869 г. единственного сына Павла Григорий Павлович в память о нем открыл в Киеве Коллегию Павла Галагана. В ней учился, в частности, известный исследователь гоголевского творчества Нестор Котляревский — так ретроспективно протянулась еще одна нить от П. Г. Галагана к его товарищу по римской жизни.

¹³⁶ Этот фрак стал своего рода сверхгероем рассказов о приглашении Гоголя к великой княгини. Один из таких рассказов был записан гоголев-

ским биографом со слов дочери Смирновой Ольги Николаевны: «Гоголя пригласили на чтение к великой княгине. Тут был очень забавный случай: у Гоголя не оказалось фрака; у него был только старый мундир. В. А. Перовский сказал ему, что мундир не годится — слишком стар. Ханыков и мой дядя (т.е. Аркадий Осипович Россет. — Ю. М.) отправились к русским художникам. (Иванов был приглашен на чтение сам.) Фрака не нашли <...>. Наконец, в Villa Medici у французов нашелся фрак по росту Гоголя, хотя и немного мешковатый, и его нарядили» [Шенрок, т. 4, с. 220]. Но Ольга Смирнова — очень ненадежный источник; скорее всего, она воспроизводит ходячий анекдот: «Этот анекдот долго веселил римские мастерские и обедавших артистов (которые все знали Гоголя), у Lere (ресторан бедных артистов)...» [там же].

¹³⁷ Аналогичное сообщение содержится в Журнале камер-фурьерской должности по Половине Государя Императора Николая Павловича [РГИА. Ф. 516. Оп. 28/1618. Ед. хр. 151. Л. 617].

¹³⁸ Об этом представлении писал анонимный рецензент «Литературной газеты». Первое представление, как он отмечает в согласии с другими очевидцами, окончилось «шиканьем». Иное дело третье представление: «рукоплескания почти не умолкали, нередко невольный хохот вырывался из уст зрителей и ясно давал знать о впечатлении, производимом пие-соу...» [ЛГ. 1842. 20 декабря. № 50].

¹³⁹ В первом Академическом издании — опечатка, искажающая смысл: «сменившему» вместо «смешившему» [XII, 96].

¹⁴⁰ Комментатор первого Академического издания (Г. М. Фридендер) выразил мнение, что брошюру Константина и его «Объяснение» Гоголь на самом деле «получил и писал о том, что они не были им получены, лишь для того, чтобы уклониться от необходимости высказать о них свое мнение, которое было *отрицательным*» [XII, 617; курсив в оригинале]. Однако, скорее всего, Константин Сергеевич послал свои сочинения не в письме, а отдельно, и до Гоголя они действительно еще не дошли. Если бы эти материалы находились в том же письме, то Гоголю пришлось бы ссылаться не на неполучение, а на другую причину (мол, не успел еще прочесть, должен перечитать и т. д.).

¹⁴¹ В составленном С. Шевыревым Itinerarium'e Гоголя («на основе отметок в паспортах») время отъезда из Рима — 1 мая [РМ. 1896. Кн. 5. С. 179–180]. Эта же дата принята в хронологической канве в первом Академическом издании [XII, 17]. Однако и Языков в письме, написанном вскоре после отъезда, и А. Иванов в письме к Моллеру совершенно определенно называют 2 мая (в частности, у Иванова: «Н. В. Гоголь едет отсюда послезавтра, 2-го мая». — [ЛН. Т. 52. С. 658].

¹⁴² Современная исследовательница отмечает в сообщении Н. И. Греча неточности: Жуковский изначально состоял в юбилейном комитете; цензурные изъятия при публикации речи Жуковского (в составе корреспонденции Б. Ф. (Б. М. Федорова) «Обед, данный Ивану Андреевичу Крылову...» — [ЖМНП. 1838. № 1]) не известны [Жуковский, 1999, с. 607–608; комментарий О. Б. Лебедевой].

¹⁴³ Смирнова упоминает еще Николая Дмитриевича Киселева, который «жил рядом с нами в rez-de chaussée (нижнем этаже)» [Смирнова,

1989, с. 53]. Если это так, то Гоголю довелось снова встретиться с героем ее «баденского романа». Но, возможно, имела место аберрация памяти, ведь события этого романа разворачивались именно здесь, в Бадене, семью годами раньше. Киселев же вскоре встречи в Бадене в 1836 г. уехал в Лондон, и «они не встречались потом до 1844 г.» [замечание С. В. Житомирской в кн.: Смирнова, 1989, с. 600].

¹⁴⁴ Ту же историю Смирнова рассказывает в воспоминаниях, записанных А. Н. Пыпиным. Здесь, между прочим, есть такая формулировка: «Известный русской публике князь Долгоруков...» [Смирнова, 1989, с. 38] — она намекает на его роль в дуэли и гибели Пушкина.

¹⁴⁵ Гоголь приводит цитату из Марка Аврелия в собственном переводе, сделанном с французского. См. соответствующее место: *Марк Аврелий Антоний. Размышления. Девятая книга. (Параграф) 42.* СПб., 1993. С. 54. (Указано в сопроводительной статье к упомянутому изданию: *Гаврилов А. К. Марк Аврелий в России*, с. 143). В этой связи уместно напомнить, что интерес к Марку Аврелию в аспекте нравственного воспитания проявлял и Жуковский [см. об этом: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск. 1978. Ч. 1. С. 485; 1988. Ч. 3. С. 190; разделы написаны соответственно А. С. Янушкевичем и Н. Е. Разумовой].

¹⁴⁶ Письмо Гоголя к В. О. Балабиной опубликовано в «Русском литературном архиве» (Нью-Йорк, 1956, с. 56–58; публикация Дм. Чижевского).

¹⁴⁷ О посещении Гоголем А. В. Капниста в Обуховке во время большого съезда «родных и соседей» упоминает Т. Г. Пашенко, хронологически не уточняя время этого эпизода [Б. 1880. № 268].

¹⁴⁸ Существует разницей в передаче отчества Викулина (ср.: Сергей Александрович. — [Черейский, с. 70]). Мы приводим сведения по кн.: *Дирин П. История лейб-гвардии Семеновского полка.* СПб., 1883. Т. 2. С. 54, 2-я пагинация.

¹⁴⁹ В публикации настоящего письма Гоголя в первом Академическом издании текст молитвы опущен. Опубликовано П. А. Кулишом в издании: *Гоголь Н. В. Соч. и письма.* СПб., 1857. Т. 6. С. 115.

¹⁵⁰ Упоминание «Театрального разъезда после представления новой комедии» не совсем ясно. Трудно предположить, что император прочитал это произведение, опубликованное в 4-м томе Сочинений Гоголя (1842). Возможно, упоминание пьесы возникло в разговоре Смирновой в связи с тем, что эта пьеса связана с «Ревизором».

¹⁵¹ Дата письма устанавливается на основании пометы, сделанной получателем, то есть Уваровым: 2 мая 1845 г. [XII, 675].

¹⁵² Примерно к этому же сроку относит сожжение рукописи Н. С. Тихонравов, а вслед за ним комментаторы первого Академического издания: Тихонравов — к началу июля 1845 г. [см.: Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 524], комментаторы Академического издания — к июлю того же года [см.: VII, 400].

¹⁵³ Высказывалось мнение, будто сожжения рукописи в более или менее полном виде вообще не было, так как ее еще не существовало. В качестве доказательства приводится следующее место из дневника Е. А. Хитрово «Гоголь в Одессе. 1850–1851»: когда одна дама (в январе 1851 г.) спро-

сила Гоголя, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ», тот ответил: «Я думаю — через год». «Так они не сожжены?» — «Ведь это только начало было» [РА. 1902. № 3. С. 551]. Однако почему мы должны отдавать предпочтение этому косвенному свидетельству перед признанием самого Гоголя («...все было сожжено»)? Далее: сохранившаяся в черновом виде пятая глава признается последней главой из редакции, сожженной в 1845 г. (см., в частности, комментарий В. А. Жданова, Э. Е. Зайденшура и В. Л. Комаровича. — [VII, 402–403]). Возможно, реплика Гоголя (если она передана верно) имело тот смысл, что в 1845 г. писатель находился лишь в начале работы; к 1851 г., после осуществленного объема работы, он мог именно так воспринимать прежний свой труд.

¹⁵⁴ Привожу цитату из неизвестного до сих пор письма Гоголя А. М. Виельгорской, написанного в Греффенберге/Фрейвальдау и датированного серединой сентября 1845 г. Автограф письма был выставлен на аукционе в Марбурге (Германия) в 1988 г. и приобретен не известным мне лицом. Цитирую по фотокопии фрагмента автографа, приведенной в каталоге упомянутого аукциона (полностью письмо приведено не было). За предоставление этого материала выражаю искреннюю признательность профессору университета в Бамберге Петеру Тиргену (Peter Thiergen).

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Произведения и письма Гоголя, кроме специально оговоренных случаев, цитируются по изданию: *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1937–1952. В тексте в скобках указаны том (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

Ниже приводится перечень сокращений других источников. Курсив в цитатах во всех случаях, кроме специально оговоренных, принадлежит автору настоящей книги.

Абрамович — *Абрамович С.* Пушкин. Последний год. Хроника. Январь 1836 — январь 1837. М., 1991.

Авентино — *Aventino.* По следам Гоголя в Риме. М., 1902.

Аверинцев — *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.

Азадовский, Осповат — А. И. Тургенев и Шеллинг. (По неизданным материалам / Публикация, предисловие и примечания К. М. Азадовского и А. Л. Осповата) // Вопросы философии. 1988. № 7.

Айзеншток — *Айзеншток И. Я.* Н. В. Гоголь и Петербургский университет // Вестн. ЛГУ. 1952. № 3.

Аксаков, 1988 — *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844–1849 / Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1988.

Аксаков, 1994 — *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849–1856 / Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1994.

Аксаков К. — *Аксаков К. С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995.

Аксаков С. — *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 3.

Александрова — *Александрова Л. Б.* Проекты архитектора Л. Руска для провинциальных городов // Проблемы синтеза искусств и архитектуры. Л., 1979. Вып. 9.

Алексеев А. — *Алексеев А. А.* Воспоминания актера. М., 1894.

Алексеев — *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи: XVIII век — первая половина XIX века // Лит. наследство. М., 1982. Т. 91.

Алексеев М. — *Алексеев М. П.* Мировое значение Гоголя // Гоголь в школе. М., 1954.

Алексеева — *Алексеева Т. В.* Боровиковский на Украине // Ежегодник Института истории искусств, 1960. М., 1961.

Амберг — *Amberg Lorenzo.* Um mich herum die Fremde, aber im Herzen Russland. (Zu N. V. Gogol's erster Schweizer Reise 1836) // Fakten und Fabeln. Basel; Frankfurt am Mein, 1991.

- Анненков, 1855 — *Анненков П. В.* Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Пушкин А. С. Соч. СПб., 1855. Т. 1.
- Анненков, 1857 — *Анненков П. В.* Н. В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857.
- Анненков, 1881 — *Анненков П. В.* Литературные проекты А. С. Пушкина. Планы социального романа и фантастической драмы // ВЕ. 1881. № 7.
- Анненков, 1983 — *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983.
- Анненков, 1983, II — *Анненков П. В.* Парижские письма. М., 1983.
- Анненский — *Анненский И. Ф.* Книги отражений. М., 1979.
- Б — «Берег».
- Багалеи, 1904 — *Багалеи Д. И.* Опыт истории Харьковского университета. Харьков, 1904. Т. 2.
- Багалеи, 1912 — *Багалеи Д. И., Миллер Д. П.* История города Харькова за 250 лет его существования. Харьков, 1912. Т. 2.
- Базаров — *Базаров Иоанн Иоаннович* (отец Иоанн). Воспоминания протоиерея // РС. 1901. № 2.
- Барабаш, 1995 — *Барабаш Ю.* Почва и судьба: Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995.
- Барабаш, 2003 — *Барабаш Ю. Я.* «Портрет» в европейском интерьере (Гоголь и художники-назарейцы) // Н. В. Гоголь и мировая культура. Вторые гоголевские чтения: Сб. докладов. М., 2003.
- Баратынский — *Баратынский Е. А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Сост. С. Г. Бочарова; вступ. ст. Л. В. Дерюгиной. М., 1987.
- Барсуков — *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22.
- Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.
- Беляев — *Беляев Юр. А. В.* Сухово-Кобылин // НВ. 1899. № 8355.
- Бессараб — *Бессараб Майя.* Сухово-Кобылин. М., 1981.
- Благой, т. 2 — *Благой Д.* От Кантемира до наших дней. М., 1973. Т. 2.
- Ботникова — *Ботникова А. Б. Э. Т. А.* Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж, 1977.
- Боткин — *Боткин В. П.* Литературная критика. Публицистика. Критика. М., 1984.
- Боткин М. — *Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880.
- Буданов — *Владимирский-Буданов М. Ф.* История императорского университета Св. Владимира. Киев, 1884. Т. 1.
- Бурнашев — *В. Б<урнашев>.* Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания // РВ. 1871. Т. 96.
- Буслаев — *Буслаев Ф.* Мои воспоминания. М., 1897.

БЧ — «Библиотека для чтения».

Быкова — Отрывок из записок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя // Русь. 1885. № 26.

Вайскопф — *Вайскопф Михаил*. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.

Валицкий — *Валицкий Анджей*. Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы философии. 2001. № 3.

Вацуро — *Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.

ВЕ — «Вестник Европы».

Вересаев, 1990 — *Вересаев В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1990.

Вересаев — *Вересаев В.* К биографии Гоголя: Заметки // Звенья. М.; Л., 1933. Вып. 2.

Веселовский А. — *Веселовский Ал. Н.* Этюды и характеристики. 4-е изд., значит. доп. М., 1912. Т. 2.

Виноградов — *Виноградов В. В.* Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.

Витберг, 1892 — *Витберг Ф. А. Н. В.* Гоголь и его новый биограф (по поводу книги г. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя...»). СПб., 1892.

Витберг, 1897 — *Витберг Ф. А.* К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и А. О. Россет // РС. 1897. № 6.

Владимиров — *Владимиров П. В.* Из ученических лет Гоголя. Киев, 1890.

Войтоловская — *Войтоловская Э.* Комедия Гоголя «Ревизор». Комментарий. Л., 1971.

Вольф — *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877–1884. Ч. 1–3.

Воспоминания — Гоголь в воспоминаниях современников. М, 1952.

Встреча — Встреча с Европой. Письма В. А. Панова к матери М. А. Пановой из центральной и юго-восточной Европы (1841–1843) / Сост. Т. Ивантышывова и М. Ю. Досталь. Bratislava, 1996.

Вяземский — *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984.

Вяземский, 2000 — *Вяземский Петр Андреевич.* Старая записная книжка. М., 2000.

Галаган — *Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе // Памятники культуры. Новые открытия, 1984. Л., 1986.

Гасперович — *Гасперович Ванда.* Н. В. Гоголь в Риме: Новые материалы // L'immagine di Roma nella letteratura russa. Roma; Samara, 2001.

Герцен — *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966. Т. 1.

Гиллельсон — *Гиллельсон М. Н. В.* Гоголь в дневниках А. И. Тургенева // РЛ. 1963. № 2.

- Гиллельсон, 1961 — *Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961.
- ГИМ — Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников.
- Гиппиус, 1931 — *Гиппиус В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. Отд. обществ. наук. Пермь, 1931. Вып. 2.
- Гиппиус, 1924 — *Гиппиус Василий.* Гоголь. Л., 1924.
- Гиппиус, 1941 — *Гиппиус В. В.* Заметки о Гоголе // Учен. зап. ЛГУ. 1941. Вып. 11.
- Глинка, 1930 — Записки. М.; Л., 1930.
- Глинка — Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955.
- Гоголь, ак. — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1; 2003. Т. 4 (новое академическое издание).
- Гоголь, 10-е изд. — *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 1–5; М.; СПб., 1896. Т. 6; СПб., 1896. Т. 7. (Т. 1–5 — под ред. Н. С. Тихонравова, т. 6–7 — под ред. В. И. Шенрока.)
- Гоголь, 1913 — *Гоголь М. И.* Из воспоминаний матери Гоголя (письмо М. И. Гоголь С. Т. Аксакову) // Современник. 1913. Кн. 4.
- Головня — *Гоголь-Головня О. В.* Из семейной хроники Гоголей / Ред. и примеч. В. А. Чаговца. Киев, 1909.
- Горленко — *Горленко В.* Художник В. Л. Боровиковский // Киев. старина. 1884. Т. 7. № 4.
- Грамолина — *Грамолина Н. Н.* Библиография музыкальных произведений на слова Тютчева // Ф. И. Тютчев. Лирика. М., 1965. Т. 2.
- Грановский — Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2.
- Гребенка — *Гребинка Е. П.* Твори у трьох томах. Київ, 1981. Т. 3.
- Григорьев — *Григорьев В. В.* Императорский С.-Петербургский университет в течение первого пятидесятилетия его существования. Приложение. СПб., 1870.
- Гриц — *Гриц Т. С. М. С. Щепкин:* Летопись жизни и творчества. М., 1966.
- Гуковский — *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.
- Давыдов, 1917 — Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к князю П. А. Вяземскому. Пг., 1917.
- Данилевский, 1866 — *Данилевский Г. П.* Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866.
- Данилов — *Данилов В. В.* Следы творчества Н. В. Гоголя в очерке П. П. Свинына «Полтава» // Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности ак. А. С. Орлова. Л., 1934.
- Данилов, 1934 — *Данилов С. С.* Ревизор на сцене. 2-е изд., испр. с приложением монтажной первой постановки. Л., 1934.
- Данилов С. — *Данилов С. С.* Гоголь и театр. Л., 1936.

- Даргомыжский — *Даргомыжский А. С.* Автобиография. Письма. Воспоминания современников. Пб., 1921.
- Декабристы — *Декабристы.* Биографический справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко. М., 1988.
- Дельвиг — *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни: Воспоминания, 1820–1870. М.; Л., 1830. Т. 1.
- Денисов — *Денисов Владимир.* Изображение казачества в раннем творчестве Н. В. Гоголя и его «Взгляд на составление Малороссии» (о замысле поэтической истории народа) // *Гоголевзначі студії*, 5. Ніжин, 2000.
- Джулиани — *Giuliani Rita.* Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi // *Thorvaldsen. L'ambiente, l'influsso, il mito.* A cura di P. Kragelund e M. Nykjoer' Roma, 1991.
- Джулиани, 1997 — *Джулиани Р.* Гоголь в Риме // *Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология.* 1997. № 5.
- Джулиани, 2001 — *Джулиани Р.* Гоголь, назарейцы и вторая редакция «Портрета» // *Поэтика русской литературы.* М., 2001.
- Джулиани, 2001, II — *Джулиани Рита.* Новые материалы о Н. В. Гоголе: галерея русских художников, первых римских знакомых писателя // *L'immagine di Roma nella letteratura russa.* Roma; Samara, 2001.
- Дмитриева — *Дмитриева Е.* Тайное и явное паломничество в Иерусалим Николая Гоголя, «Путь из Парижа в Иерусалим» Рене Франсуа Шатобриана и проблема идеального города // *Страницы истории русской литературы: Сб. статей. К семидесятилетию профессора В. И. Коровина.* М., 2002.
- Дризен — *Дризен Н. В.,* барон. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881 (без места и года изд.). Книгоиздательство «Прометей» Н. Н. Михайлова.
- Дризен, 1907 — *Дризен Н. В.,* барон. Заметки о Гоголе // *ИВ.* 1907. Октябрь.
- Друбек-Мейер — *Drubek-Meyer Natascha.* Gogol's eloquentia corporis. Einverleibung, Identität und die Grenzen der Figuration. München, 1988.
- Дрыжакова — *Дрыжакова Елена.* Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора» // *РЛ.* 2001. № 1.
- Дурылин — *Дурылин С. Н.* Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым. М., 1928.
- Дурылин, 1953 — *Дурылин С. Н.* От «Владимира третьей степени» к «Ревизору». (Из истории драматургии Н. В. Гоголя) // *Ежегодник Института истории искусств.* Театр. М., 1953.
- Егоров — *Егоров Б. Ф.* В. П. Боткин — литератор и критик. Статья 1 // *Учен. зап. Тарт. ун-та. Труды по русской и славянской филологии*, VI. 1963.
- Ежегодник, 1899 — *Ежегодник императорских театров.* Сезон 1897–1898 гг. СПб., 1899.

- Жерве — *Жерве В. В.* Партизан-поэт Д. В. Давыдов. Очерки его жизни и деятельности (1784–1839). По материалам семейного архива и другим источникам. Пб., 1913.
- Жданов — *Жданов И. Н.* История русской литературы. Н. В. Гоголь. СПб., 1904.
- Живокини — *Живокини Василий.* Из моих воспоминаний // Библиотека театра и искусства. 1914. Февраль. Кн. 2.
- ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».
- Жуковский — *Жуковский В. А.* Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 3.
- Жуковский, 1878 — *Жуковский В. А.* Соч. 7-е изд. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1878.
- Жуковский, 1895 — Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
- Жуковский, 1903 — *Жуковский В. А.* Дневники. СПб., 1903.
- Жуковский, 1999 — В. А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. ст. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М., 1999.
- Заболотский — *Заболотский П. А.* К биографии Гоголя в полтавский период // Изв. Отд. русск. яз. и словесн. Имп. АН. 1912. Кн. 2.
- Заблоцкий — *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 2.
- Загарин — *Загарин П.* (Поливанов Л. И.) В. А. Жуковский и его произведения. 2-е изд., М., 1883.
- Зайцев — *Зайцев А. Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989.
- Зайцев Б. — *Зайцев Б.* Жуковский. Литературная биография. М., 2001.
- Зайцева — *Зайцева И. А.* К цензурной и сценической истории первых постановок «Ревизора» Н. В. Гоголя в Москве и Петербурге (по архивным источникам) // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.
- Земенков — *Земенков Б. С.* Гоголь в Москве. М., 1954.
- Зеньковский — *Зеньковский В.*, проф., протоиерей. Н. В. Гоголь. Париж, [б. г. изд.].
- Зиномря — *Зиномря М. І.* На відстані часу // Микола Гоголь і світова культура. Київ; Ніжин, 1994.
- Зотов, 1860 — *Зотов Р.* Театральные воспоминания. Автобиографические записки. СПб., 1860.
- Зотов, 1874 — Записки Р. М. Зотова // Иллюстрированный вестник. 1874. 30 июня. № 18.
- Золотусский — *Золотусский И. П.* Гоголь. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984.
- ИВ — «Исторический вестник».
- Иванов, 1880 — Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858 / Издал Михаил Боткин. СПб., 1880.

- Иконников — *Иконников В. С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884.
- Ильин — *Ильин И. А.* Гоголь — великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Собр. соч.: В 10 т. М., 1997. Т. 6. Кн. 3.
- Инсарский — *Инсарский В. А.* Записки. СПб., 1894. Ч. 1.
- Иордан — *Иордан Ф. И.* Записки. М., 1918.
- Иофанов — *Иофанов Д. М.* Н. В. Гоголь: Детские и юношеские годы. Киев, 1951.
- Исаков — *Исаков С. Г.* Журналы «Esthona» (1828–1830) и «Der Refraktor» (1836–1837) как пропагандисты русской литературы // Учен. зап. Тарт. ун-та. Труды по русской и славянской филологии. XVIII, литературоведение. Tartu, 1971.
- ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
- К. А. — К. А. Надежда Алексеевна Никулина // Сезон: иллюстрированный артистический сборник / Под ред. Н. П. Кичеева. М., 1887. Вып. 1. Отд. Биографии и характеристики.
- Каменская — *Каменская М.* Воспоминания. М., 1991.
- Капнист — *Капнист В. В.* Собр. соч. М.; Л., 1960. Т. 2.
- Карамзин — *Карамзин Соч.* СПб., 1834. Т. 7.
- Карамзин, 1914 — *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
- Карамзины — Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960.
- Каратыгин, 1883 — *Каратыгин П. П.* Портрет Гоголя, рисованный П. А. Каратыгиным // ИВ. 1883. Сентябрь.
- Каратыгин П. — *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1929. Т. 1; 1930. Т. 2.
- Кейль, 1986 — *Keil Rolf-Dietrich.* Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für Herbert Brauer zum 65. Geburtstag... Köln; Wien, 1986.
- Кейль — *Keil Rolf-Dietrich.* Gogol's Deutsche. Folklore-Erfahrung-Fiktion // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Reihe B. Band 3. München, 1998.
- Кизеветтер — *Кизеветтер А. А.* Исторические очерки. М., 1912.
- Киреевский — *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. 2-е изд., исп. и доп. М., 1998.
- Кирпичников — *Кирпичников А. И.* Сомнения и противоречия в биографии Гоголя // Изв. Отд. русск. яз. и словесн. Имп. АН. 1900, 1902.
- Кирпичников, 1903 — *Кирпичников А. И.* Очерки по истории новой русской литературы (Пушкинский период). 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 2.
- Княжнин — *Княжнин Я. В.* Соч. СПб., 1848. Ч. 2.

- Козмин — *Козмин Н. К.* Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1912.
- Колосова — *Колосова Наталья.* Смирнова и Гоголь // Кавказион. Тбилиси. 1985. Вып. 3.
- Кольцов, 1909 — *Кольцов А. В.* Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. А. И. Ляшенка. СПб., 1909.
- Кондаков — Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764–1914 / Сост. С. Н. Кондаков. Пг., 1914.
- Корнилов — *Корнилов А. А.* Курс истории России XIX века. М., 1993.
- Корнилов, 1925 — *Корнилов А. А.* Годы странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.
- Корнилова — *Корнилова А. В.* Карл Брюллов в Петербурге. Л., 1976.
- Коробка — *Коробка Н. И.* <Примечания редактора> // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. СПб., <1912>. Т. 1.
- Коропчевский Д. А. Сергей Васильевич Васильев // Ежегодник императорских театров. Сезон 1895–1896 гг. Приложения. СПб., 1896. Кн. 3.
- Корф — *Корф М. А.* Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования. Рождение и первые двадцать лет жизни (1796–1817) // Сборник императорского Русского исторического общества. СПб., 1896. Т. 98.
- Кочубинский — *Кочубинский А.* Будущим биографам Н. В. Гоголя // ВЕ. 1902. Кн. 2, 3.
- Коялович — *Коялович А.* Детство и юность Гоголя: Биогр. очерк // Московский сборник. М., 1887.
- Красильников — *Красильников С. А.* Источники собрания украинских песен Н. В. Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2.
- Кривонос — *Кривонос В. Ш.* Мотивы художественной прозы Гоголя. СПб., 1999.
- Крижанівський — *Крижанівський С. А.* (Предисловие) // Л. Боровиковский. Твори. Київ, 1957.
- Крутикова — *Крутикова Н. Е.* Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992.
- Крутикова, 2003 — *Крутикова Н. Е.* Дослідження і статті різних років. Київ, 2003.
- КС — «Киевская старина».
- Кукольник — Из воспоминаний Н. В. Кукольника // ИВ. 1891. Т. 45.
- Кулиш, 1852 — *Кулиш П. А.* Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя // ОЗ. 1852. № 4, отд. 8.
- Кулиш, 1853 — *Кулиш П. А.* Выправка некоторых биографических известий о Гоголе // ОЗ. 1853. № 2, отд. 8.
- Кулиш, 1854 — *Кулиш П. А.* Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854.

- Кулиш, 1856 — *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856. Ч. 1–2.
- Кулиш, 1862 — *Кулиш П. А.* Несколько предварительных слов [предисловие к комедии В. А. Гоголя «Простак»] // *Основа*. 1862. № 2, отд. 6.
- Кулябко — *Кулябко Е. С.* Из архива Академии наук СССР // *РЛ*. 1967. № 4.
- Купреянова — *Купреянова Е. Н. Н. В.* Гоголь // *История русской литературы*: В 4 т. Л., 1981. Т. 2.
- Лавровский — *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820–1832. Киев, 1879.
- Лазаревский — *Лазаревский А. М.* Сведения о предках Гоголя // *Памяти Гоголя*: Науч.-лит. сб. / *Ист. об-во Нестора-летописца*. Киев, 1902.
- ЛА — Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 6. М.; Л., 1961.
- ЛВ — «Литературный вестник».
- ЛГ — «Литературная газета».
- Лемке — *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908.
- Леонтович — *Leontovitsch V.* Geschichte des Liberalismus in Russland. Fr. am Main, 1957.
- Летопись — Летопись жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. Нежинский период (1820–1828) / Сост. Н. М. Жаркевич, З. В. Кирилук, Ю. В. Якубина; вступ. ст. П. В. Михеда, Нежин, 2002.
- Линниченко — *Линниченко И. А.* Душевная драма Гоголя // *Записки императорского Новороссийского университета*. Одесса, 1902. Т. 88. Ч. 3.
- Литературный музей — Литературный музей. (Цензурные материалы 1-го отд. IV Секции Государственного Архивного Фонда). I / Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Петербург, <1921>.
- Лицей, 1859 — Лицей князя Безбородко. СПб., 1859.
- Лицей, 1881 — Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881.
- ЛН — «Литературное наследство».
- Лотман, 1970 — *Лотман Ю. М.* Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя // *Учен. зап. Тарт. ун-та*. 1970. Вып. 251.
- Лотман, 1988 — *Лотман Ю. М.* В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
- ЛПРИ — «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”».
- ЛШ — «Литература в школе».
- Лямина, Самовер — *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. М., 1999.

М — «Москвитянин».

Макогоненко — *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985.

Максимович, 1854 — *Максимович М.* Родина Гоголя // Москвитянин. 1854. Т. 1. № 2, отд. 8.

Максимович, 1871 — *Максимович М. А.* Письмо о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871.

Манн, 1987 — *Манн Ю.* В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель — критика — читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.

Манн, 1994 — *Манн Ю.* «Сквозь видный миру смех». Жизнь Н. В. Гоголя. 1909—1935. М., 1994.

Манн, 1996 — *Манн Ю.* Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.

Маркович — *Маркович Н. А.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян: Извлеч. из нынешнего нар. быта. Киев, 1860.

Масанов — *Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1—4. М., 1956—1960.

Материалы — Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1—2.

Материалы, 1954 — Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954.

Материалы, 1995 — Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.

Машинский, 1951 — *Машинский С. И.* Гоголь, 1852—1952. М., 1951.

Машинский, 1959 — *Машинский С. И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.

Машинский, 1961 — *Машинский С. И.* С. Т. Аксаков: Жизнь и творчество. М., 1961.

Машковцев — *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955.

Машковцев, 1982 — *Машковцев Н. Г.* Из истории русской художественной культуры. М., 1982.

МВ — «Московский вестник».

МВед — «Московские ведомости».

Мердер — *Мердер К. К.* Записки, [б. м. изд.], 1885.

Милютин — Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816—1843. М., 1997.

Мильчина, Осоват — *Мильчина В. А., Осоват А. Л.* Гоголь по материалам архива братьев Тургеневых // Шестые тыняновские чтения. Рига; М., 1992.

Михальский, Самойленко — *Михальский Е. Н., Самойленко Г. В.* Основание Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине // Литература та культура Полісся. Вип. 1. Ніжин, 1990.

Михед — *Михед П. В.* Про ніжинську літературну школу (до постановки питання) // Слово і час. 1990. № 5.

Михневич — *Михневич И. Г.* Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год. Одесса, 1857.

- МН — «Московский наблюдатель».
- Модзалевский — *Модзалевский Б. Л.* Гоголь и И. Е. Великопольский (по поводу двух неизданных писем С. Т. Аксакова) // ЛВ. 1902. Т. 3. Кн. 1.
- Мокрицкий — *Мокрицкий А. Н.* Дневник художника. М., 1975.
- Молева — *Молева Н.* Загадка «Невского проспекта» // Знание — сила. 1976. № 4.
- Мочульский — *Мочульский К. В.* Духовный путь Гоголя. Paris, 1934.
- МТ — «Московский телеграф».
- Мурзакевич — *Мурзакевич Николай Никифорович.* Автобиография. СПб., 1886.
- Надеждин — *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972.
- Назаревский — *Назаревский А. А.* Из архива Головни // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования М.; Л., 1936. Т. 1.
- НВ — «Новое время».
- Неизданный Гоголь — Неизданный Гоголь / Изд. подгот. И. А. Виноградов. М., 2001.
- Немзер — *Немзер А.* Становление Гоголя // Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. М., 1985. Т. 2.
- Никитенко — *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955–1956. Т. 1–3.
- Нильский — *Нильский А. А.* Воспоминания артиста // ИВ. 1894. Апрель. Т. 56.
- НП — «Новый путь».
- ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., Пб., 1899–1913. Т. 1–5.
- Овсяннико-Куликовский — *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* Собр. соч. СПб., 1909. Т. 1.
- ОЗ — «Отечественные записки».
- Онаш — *Onasch K.* Dostojewski als Verführer... Zürich, 1961.
- ОР ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
- ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
- ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
- Отчет — Отчет Императорской публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. Приложение.
- Отчет за 1889 г. — Отчет Императорской публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893.
- Павловский, 1910 — *Павловский И. Ф.* Полтава. Исторический очерк... Полтава, 1910.
- Павловский, 1912 — *Павловский И. Ф.* Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912.

- Памятники — Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980.
- Панаев — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988.
- Панаева — *Панаева А. Я.* (Головачева). Воспоминания [без м. изд.], 1948.
- Панов — *Панов В.* Еще о прототипе Хлестакова // Север. 1970. № 11.
- Пенская — *Пенская Е.* Проблемы альтернативных путей в русской литературе. Поэтика абсурда в творчестве А. К. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. В. Сухова-Кобылина. М., 2000. С. 214.
- Переписка — Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988.
- Переписка наследника — Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / Публикация Л. Г. Захаровой и Л. И. Тютюник. М., 1999.
- Песни — Песни, собранные Н. В. Гоголем // Сб. памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя / Изд. Г. П. Георгиевским / СПб., 1908. Вып. 2.
- Петров — *Петров Н. И.* Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя // Труды Киевской духовной Академии. 1902. Июнь.
- Петровский — *Петровский Ал. Свящ.* К вопросу о предках Н. В. Гоголя. Письма из Гоголевщины // Полтав. губ. ведомости. 1902. № 36.
- Письма — Письма Н. В. Гоголя / Редакция В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. I—IV.
- Письма к Ганке — Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Издал В. А. Францев. Варшава, 1905.
- Плетнев — *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3.
- Плетнев, 1853 — *Плетнев П. А.* О жизни и соч. В. А. Жуковского. СПб., 1853.
- Плетнев, 1896 — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1—3.
- Погодин, 1842 — *Погодин М.* Месяц в Риме // М., 1842. Ч. 1. № 2.
- Погодин, 1844 — *Погодин М.* Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М., 1844. Ч. 1, 2.
- Погодин, 1865 — *Погодин М.* Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году // РА. 1865. № 7.
- Поздеев — *Поздеев А. А.* Несколько документальных данных к истории сюжета «Ревизора» // Лит. архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1953. Вып. 4.
- Пономарев — *Пономарев С.* Нежинский журнал Н. В. Гоголя // Киев. старина. 1884. № 5.
- Попов — *Попов А. Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // ЖМНП. 1870. № 1.
- Пушкин — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949.
- Пушкин в восп. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1985. Т. 1—2.

- Пушкин и современники — Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л., 1927. Вып. 31–32.
- Пушкин и современники, 1928 — Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л., 1928. Вып. 37.
- Пушкин. Временник — Временник Пушкинской комиссии.
- Пушкин. Исследования — Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1965. Т. 1; 1969. Т. 6. 1978. Т. 8.
- Пушкин. Переписка — *Пушкин А. С.* Переписка: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
- Пушкин. Хроника — Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. 1826–1837 / Сост. Г. И. Долдобанов; Науч. ред. А. А. Макаров; Руководитель издания В. С. Непомнящий. М., 2000–2001.
- Пыпин — *Пыпин А. Н.* История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3.
- Р — «Русь».
- РА — «Русский архив».
- Рамазанов — *Рамазанов Николай.* Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Кн 1.
- Рассказы о Пушкине — Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. А. Бартеневым в 1851–1860 гг. М., 1925.
- РБ — «Русский библиофил».
- РБс — «Русская беседа».
- РВ — «Русский вестник».
- РВд — «Русские ведомости».
- РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).
- Редкин — *Редкин П. Г.* Какое общее образование требуется современностью от русского правоведа? М., 1846.
- Рендер — *Render Helmut.* Die Philosophie der unendlichen Landschaft. Halle; Saale, 1932.
- РЛ — «Русская литература».
- РМ — «Русская мысль».
- Рождественский — *Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- РС — «Русская старина».
- РФВ — «Русский филологический вестник».
- С — «Современник».
- Савинов — *Савинов А. Н.* Алексей Гаврилович Венецианов: Жизнь и творчество. М., 1955.
- Садовников — *Садовников Д. Н.* Отзывы современников о Пушкине // ИВ. 1883. Декабрь.
- Сарабьянов — *Сарабьянов Д. В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.

- Сборник — Гоголевский сборник, изданный состоящей при Историко-филологическом институте кн. Безбородко Гоголевской комиссией / Под ред. проф. М. Сперанского. Киев, 1902.
- Сборник, 1857 — Сборник, изданный студентами Императорского Петербургского университета. СПб., 1857. Вып. 1.
- Сборник, 1891 — Сборник общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891.
- Свербеев — Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 1.
- Свербеев, т. 2 — Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 2.
- Сент-Бев — *Сент-Бев III*. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970.
- Сечкарев — *Setchkareff V. N. V. Gogol. Leben und Schaffen*. Berlin, 1953.
- Синявский — *Абрам Терц (Андрей Синявский)*. В тени Гоголя. London, б. г.
- СН — «Старина и новизна».
- Смирнова, 1902 — Висковатов-Висковатый Пав. Из рассказов А. О. Смирновой о Гоголе // РС. 1902. Сентябрь.
- Смирнова, 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С. В. Житомирская. М., 1989.
- СО — «Сын отечества».
- Современники Пушкина — Пушкин и его современники. СПб., 1909. Вып. 11.
- Соколов — *Соколов П. П.* Воспоминания. Л., 1930.
- Соллогуб — *Соллогуб В. А.* Воспоминания. М.; Л., 1931.
- Соловьев, 1912 — *Соловьев Н. В.* Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // РБ. 1912. № 7/8.
- Соловьев, 1983 — *Соловьев С. М.* Избранные труды. Записки / Изд. подгот. А. А. Левандовский, Н. И. Цимбаев. М., 1983.
- Соханская — *Соханская (Кохановская) Н. С.* Автобиография. М., 1896.
- СП — «Северная пчела».
- Сперанский — *Сперанский М. Н.* К истории собрания песен Н. В. Гоголя. Нежин, 1912.
- Срезневский — Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842. СПб., 1895.
- Станкевич, 1914 — Станкевич Николай Владимирович. Переписка. 1830–1840. М., 1914.
- Стасов, 1954 — *Стасов В. В.* Статьи и заметки, не вошедшие в Собрание сочинений. М., 1954. Т. 2.
- Стасюлевич — М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3.
- Степанов — *Степанов Н. Л.* Гоголь. М., 1961.
- Стогнут — *Стогнут А. С., Кононенко И. К.* Новые страницы к «делу о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук // Учен. зап. Нежинского пед. ин-та. 1954. Т. 4–5.

- Супронюк — *Супронюк О. К.* Из комментариев к письмам Н. В. Гоголя // РЛ. 1989. № 1.
- Супронюк, 1995 — *Супронюк О. К.* Из разысканий о Н. Ю. Артинове, авторе воспоминаний о Н. В. Гоголе и Н. В. Кукольнике в Нежинской гимназии // Литература та культура Полісся, 6. Ніжин, 1995.
- Сушков — *Сушков Н. В.* Московский университетский Благородный пансион... М., 1858. Приложения.
- Т — «Телескоп».
- Талалай — *Талалай М. Г.* Православная русская церковь Святого Николая Чудотворца в Риме. Рим, 2000.
- Тарасенков, 1902 — *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902.
- Тихонравов, 1886 — Ревизор. Комедия в пяти действиях. Соч. Н. В. Гоголя. Первоначальный сценический текст, извлеченный из рукописей Николаем Тихонравовым. М., 1886.
- Томашевский — *Томашевский Николай.* Об италянизме Гоголя. Заметки к теме // *Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest europeo.* Udine, 1990. С. 187.
- Трахимовский — *Трахимовский Н. А.* Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской // РС. 1888. № 7.
- Труды — Труды Полтавской ученой архивной комиссии. 1907. Вып. 3.
- Труды, вып. 5 — Труды Полтавской ученой архивной комиссии, 1908. Вып. 5.
- Тургенев — *Тургенев А. И.* Хроника русского: Дневники (1825–1826) / Изд. подгот. М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.
- Тургенев, 1989 — *Тургенев А.* Политическая проза. М., 1989.
- Тургенев И. — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968.
- Тютчев — *Тютчев Ф. И.* Полн. собр. соч. / Под ред. П. В. Быкова. Пг., <1913>.
- Уделы — Столетие уделов, 1797–1897. СПб., 1897.
- Удольф — *Udolph Ludger.* Stepan Petrovič Ševyrev. 1820–1836. Köln; Wien, 1986.
- Федотов — *Федотов В. В.* Новые материалы о пребывании Н. В. Гоголя в Полтавском училище // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 3.
- Фет — *Фет Афанасий.* Воспоминания. М., 1983.
- Флоровский — *Флоровский Георгий,* прот. Пути русского богословия. 3-е изд. Paris, 1983.
- Фомичев — *Фомичев С. А.* Пушкин и Гоголь: К вопросу о соотношении их творческих методов // *Zeitschrift für Slawistik.* 1987. В. 32. Н. 1.
- Францев — *Францев В. А.* Гоголь в чешской литературе. СПб., 1902.
- Фридкин — *Фридкин В. М.* Пропаший дневник Пушкина. Рассказы о поисках в зарубежных архивах. М., 1987.

- Фридлендер — *Фридлендер Г. М.* Из истории раннего творчества Гоголя // Гоголь: Ст. и материалы. Л., 1954.
- Фуссо — *Fusso Susanne.* The Landscape of Arabesques // Essays on Gogol. Logos and the Russian World. Evanston. Illinois. 1992.
- Хайнацкий — *Хайнацкий А. Ф.* К истории философской науки в России в начале XIX века // Древняя и новая Россия. 1879. Т. 2.
- ХГВ — «Харьковские губернские ведомости».
- Хетсо — *Хетсо Гејр.* Гоголь как учитель жизни: Новые материалы // Scando-Slavica. 1988. Tomus 34.
- Хомяков — *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. М., 1900—1907. Т. 1—8.
- Хюбнер — *Hubner Rolf.* Johann Kaspar Lavater, Nicolai W. Gogol, Kaiserin Eugenie und Alfred Krupp zur Kur in Bad Eims. Bad Eims. Hefte № 79, 1989.
- Цых — *Цых В. Ф.* Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории, не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки... Харьков, 1833.
- Чаадаев — *Чаадаев П. Я.* Избр. соч. и письма. М., 1991.
- Черейский — *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.
- Чижевский, 1951 — *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. 1951. Т. 27.
- Чижевский, 1978 — *Tscizewskij D. J.* Gogol's Ja und Nein // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1978. Bd. 215.
- Чичерин А. — *Чичерин А. В.* Возникновение романа-эпопеи. 2-е изд. М., 1975.
- Чичерин, 1997 — *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. М., 1997.
- Шаляпин — *Шаляпин Ф. И.* Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1989.
- Шверубович — *Шверубович А. И.* Братья Кукольники: Очерк их жизни... Вильна, 1885.
- Шевырев — *Шевырев С. П.* История поэзии. М., 1835. Т. 1.
- Шенрок — *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892—1897. Т. 1—4.
- Шереметева — Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов и В. А. Воропаев. М., 2001.
- Шильдер — *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1.
- Шимановский — *Шимановский М. В.* Петр Григорьевич Редкин: (Биограф. очерк). Одесса, 1891.
- Шлегель — *Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1.

- Шмальц — *Шмальц Т.* Право естественное. СПб., 1820.
- Штрих — *Strich Fr.* Deutsche Klassik und Romantik. München, 1928.
- Шубин — *Шубин В.* «Квартира моя... в доме Брунста» // Нева. 1982. № 12.
- Щеглов — *Щеглов Иван.* Подвижник слова. СПб., 1909.
- Щеголев — *Щеголев П. Е.* Из школьных лет Н. В. Гоголя. Отец Гоголя // ИВ. 1902. № 2.
- Эфрос — *Эфрос Натан.* К. А. Горбунов — портретист Белинского // ЛН. 1951. Т. 57.
- Языков — *Языков Н. М.* Соч. Л., 1982.
- Якобсон, Арутюнова — *Jakobson Roman and Aroutunova Bayara.* An Unknown Album Page by Nikolaj Gogol? // Harvard library bulletin. 1972. Vol. XX. № 3.
- Якубина — *Якубина Юлия.* К истокам страха у Гоголя (нежинский период) // Гоголевзнавчі студії. 7. Ніжин, 2001.
- ZS — «Zeitschrift für Slawistik».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрамович С. Л. 435, 752, 753, 771
Авентина 736, 771
Аверинцев С. С. 228, 771
Аврелий М. 672, 674, 769
Аврорин В. М. 191
Аддисон (Адиссон) Дж. 16
Адеркас Э. Б. 122, 165
Адлерберг В. Ф. 405
Азадовский К. М. 634, 771
Азаревичева М. А. 180, 181
Айвазовский И. К. 516, 761
Айзеншток И. Я. 307, 310, 771
Аксаков Г. С. 753
Аксаков И. С. 195, 222, 223, 355, 578, 629, 641, 745, 771
Аксаков К. С. 164, 338, 426, 551, 553, 557, 566, 570–572, 574–577, 579, 582, 588, 602, 604, 613, 622, 627, 628, 654, 659–663, 669, 711, 739, 746, 758–760, 768, 771
Аксаков Н. Т. 578
Аксаков С. Т. 5, 6, 22, 64, 263–266, 268, 269, 272, 273, 278, 280, 286, 296, 320, 338, 339, 340, 342, 348, 426, 449, 541, 553–560, 565–571, 575, 576, 578, 579, 582, 583, 587, 598, 606–608, 613, 616–618, 620, 623–626, 633, 644, 648, 650, 652, 656, 658, 660, 663, 673–675, 681, 703, 714, 734, 758, 760, 762, 766, 771
Аксакова В. С. 552, 566, 568, 569, 613, 617, 650, 637, 645, 765
Аксакова М. С. 758
Аксакова О. С. 541, 581, 617, 656, 658, 760, 761
Аксаковы 376, 436, 541, 548–550, 552, 554, 559, 565–567, 569, 578, 606, 607, 616, 619, 627, 628, 658, 659, 703, 737, 760, 761
Александр I 33, 124, 351, 460, 498
Александр II 381, 383, 406, 416, 516, 523, 531, 533, 740
Александра Федоровна, имп. 231, 736, 740
Александрова Л. Б. 52, 771
Алексеев А. А. 411–413, 750, 751, 771
Алексеев М. П. 138, 631, 745, 754, 771
Алексеев Ф. Я.
Алексеева Т. В. 49, 771
Алексей Михайлович, царь 383
Аллан Л. 579
Ал-Мамун 311, 314, 317, 343
Алферьева Е. П. 593, 767
Алферьева М. П. 593, 594, 767
Альтшуллер А. Я. 358
Альфред Великий 343
Аман А. 55, 62, 105, 111
Амберг Л. 352, 462
Ампер Ж.-Ж. А. 466
Амфилохий (архимандрит) 32
Андреев А. Н. 411, 412
Андреев А. С. 311, 363
Андреевский К. Э. 482
Андреевский Э. С. 482
Андросов В. П. 338, 339, 373, 426, 437

- Анна Павловна, вел. кн. 411
Анна Федоровна, вел. кн. 462
Анненков В. П. 370, 380, 391, 393, 405, 407–410, 425, 438–441, 494, 495, 499, 500, 537, 557, 582, 588–599, 603, 604, 613–616, 630, 638, 677, 679, 681, 732, 751, 753, 762–764
Анненков П. В. 69, 156, 174, 192, 206, 218, 219, 258, 288, 294–296, 299–304, 319, 345–346, 348, 349, 357, 772
Анненский И. Ф. 335, 336, 772
Аннунциата 482
Апраксин В. С. 736
Апраксина С. П. 192, 736, 737
Аракчеев А. А. 34, 748
Ардан 138
Аржевитинов И. С. 520, 708
Аринин В. 748
Ариосто Л. 371
Аристофан 89
Армфельдт А. О. 550, 567, 570, 617
Арнольд Ю. 757
Артинов А. Ю. 54
Артинов П. Ю. 54
Артынов (Артинов) Н. Ю. 54, 785
Арутюнова Б. 521, 522, 787
Архаров И. П. 211
Asselin 31
Афанасьев А. И. 410
Афанасьев А. Н. 267, 268, 296, 363
Афендуля 98
Ахалин Г. С. 405
- Бага**лей Д. И. 47, 51, 772
Базаров И. И. 720–723, 734, 772
Базилевский 522
Базили К. М. (Константин) 90, 91, 92, 94, 96, 98, 101, 102, 192, 261, 290–291, 297, 298, 392
Байрон Дж. Н. Г. 227, 228, 256, 341, 433, 462, 498, 499, 550
Бакунин М. А. 600, 601, 603–605, 664, 708, 709, 713, 765
- Бакунина Л. А. 568
Балабин В. П. 457, 484
Балабин Е. П. 457
Балабин И. П. 457
Балабин П. И. 207, 457, 458, 606
Балабина В. О. урожд. Paris 210, 457–459, 489, 754, 767, 769
Балабина Е. П. 457, 484
Балабина М. П. 89, 457–459, 462, 484, 485, 494, 499–501, 506, 507, 523, 534, 539, 546, 547, 629, 631, 648, 653, 680, 684–687, 689, 740, 754, 758, 767
Балабины 446, 493, 559, 629, 631, 680, 685–687, 765
Балинский 648
Балланш (Баланш) П. С. 466
Балугьянский М. А. 124, 355
Бальзак О де 393, 466, 589
Бантыш-Каменский Д. Н. 243
Барабаш Ю. Я. 36, 41, 764, 772
Баранов П. А. 68, 76
Баранович Л. 668
Барановский С. И. 311, 312
Барант А-Г.-П. (отец) 453
Барант М. Ж. 453, 454
Барант Э. (сын) 573
Баратынская (Боратынская) Н. Л. 652
Баратынский Е. А. 84, 95, 274–275, 278, 339, 364, 373, 380, 427, 456, 501, 546, 570, 772
Баратынский С. А. 361
Барклай-де-Толли М. Б. 655
Барсуков Н. П. 190, 279, 317, 431, 624, 626, 725, 754, 772
Баргнев П. И. 371, 376, 379, 474, 565, 624, 755
Бате (Батте) Ш. 269
Батюшков К. Д. 137
Батюшков Ф. Д. 376
Баумейстер Ф. Х. 113
Бафа 98
Бахтин М. М. 245, 331
Безбородко А. А. 33, 51

- Безбородко И. А. 51, 52, 261, 353, 369, 370, 371
- Белинский В. Г. 157, 241, 247, 263, 291, 340–341, 345, 349, 360, 388, 392, 419, 433, 436, 439, 441–443, 445, 461, 473, 496, 521, 550, 552, 553, 558, 563, 568, 571, 592, 605, 610, 611, 613–616, 630, 631, 638, 649, 660, 662, 664, 669, 679, 709, 710, 713, 718, 744–746, 749, 752, 753, 758, 759, 766, 772
- Беллер 191
- Белли Дж. 448, 500, 501, 544, 736
- Беловольский И. 24
- Белозерская Н. А. 535
- Белозерский Н. Д. 109, 148, 262, 263, 372, 405, 669
- Белоусов Н. Г. 90, 107–126, 127, 133, 144, 146, 212, 302, 355, 424, 513, 559
- Беляев Ф. Н. 706, 707
- Беляев Ю. У. 529, 772
- Бенардаки Д. Е. 546, 557, 558, 566, 632
- Бенедиктов В. Г. 379, 380, 396
- Бенкендорф А. Х. 296, 611, 618, 715
- Бенуа Н. Л. 761
- Беранже П. Ж. 301
- Березина В. Г. 748
- Бессараб М. 528, 772
- Бестужева П. М. 545
- Бестужев-Марлинский А. А. 95
- Бетлинг 179
- Бетховен Л. ван 36, 206, 284, 568
- Бецкий И. Е. 693, 696, 697
- Билевич М. В. 105, 106, 108–114, 115, 116–117, 119, 122, 124, 125, 146
- Бирон Ф. 712
- Благой Д. Д. 749, 772
- Блудов Д. Н. 304, 531, 559
- Блудова А. Д. 424, 531
- Боборыкин П. Д. 494
- Богородский С. О. 306
- Бодянский О. М. 274, 375–377, 625
- Божко А. А. 104, 109, 145, 260, 263, 362
- Борецкий И. П. 180, 181
- Боровик Л. 49
- Боровиковские 49
- Боровиковский В. Л. 48, 49–50, 192, 352, 774, 778
- Боровиковский И. И. 48–49, 51, 306
- Боровиковский Л. И. 50–51
- Бородин А. 298
- Бороздин Н. К. 289, 290
- Бороздин Ф. К. 82, 98, 289
- Бороздин Я. 145
- Борх А. М. 490, 491
- Борх С. И. 491
- Боссоюэт Ж. Б. 688
- Боткин В. П. 563, 568, 571, 584, 596, 597, 605, 613–615, 649, 713, 772
- Боткин М. П. 497, 523, 552, 558, 743, 772
- Боткин Н. П. 584, 585, 591, 772
- Ботникова А. Б. 215, 772
- Боченков В. В. 180, 181
- Брадке Е. Ф. 303, 304–307, 309
- Брамбеус (псевдоним О. И. Сенковского) 422
- Брентано К. 329
- Брюллов К. П. 210, 294, 297, 318, 326, 332, 355, 395, 426, 448, 450, 563, 695, 752, 753, 766
- Брянский Я. Г. 180, 404
- Буданов М. Ф. 304, 305, 306, 307, 772
- Булвер-Литтон Э. 745
- Булгаков А. Я. 620
- Булгаков К. А. 620
- Булгарин Ф. В. 175–178, 217, 225, 226, 227–228, 242, 253, 346, 357, 358, 361, 381, 388, 389, 393, 397, 398, 409, 421, 422, 425–438, 442, 444, 575, 649–

- 651, 653, 654, 664, 679, 697, 749
- Бунина А. П. 215
- Бурачек С. А. 707, 710
- Бурдин Ф. А. 402, 410
- Бурнашев В. Б. 320, 357, 360, 773
- Буслаев Ф. И. 465, 498, 502, 505, 506, 588, 772
- Бутенев А. П. 737, 740, 741
- Бутков Я. П. 154, 281, 766
- Бутурлин М. П. 376
- Бутурлины 489
- Быков П. В. 359
- Быкова Е. В., урожд. Гоголь, см. *Гоголь Е. В.*
- Бэкон (Бакон) Ф. 16
- Вагилевич И. 752
- Вагнер 494, 685, 686
- Вагнер М. П., см. *Балабина М. П.*
- Вайскопф М. 361, 478, 773
- Вакенродер В. Г. 497
- Валицкий А. 667, 773
- Валуев Д. А. 576, 760
- Валуев П. А. 556, 559
- Валуева М. П. 556
- Валуевы 567, 571
- Варнгаген фон Энзе К. А. 140, 601–603
- Варфоломей 37, 38
- Василий Великий 56
- Васильев 191
- Васильчиков А. В. 207, 381
- Васильчиков П. А. 381
- Васильчикова А. И. 211, 221, 225
- Васьков Ф. И. 560
- Вацуро В. Э. 429, 530, 773
- Введенский И. М. 766
- Вебер К. М. 101
- Великопольский И. Е. 548, 556
- Величко А. П. 379
- Веневитинов А. В. 498
- Веневитинов Д. В. 284, 356
- Веневитинов М. А. 507
- Венецианов А. Г. 191, 192, 296, 371
- Вердер К. 459, 604
- Веревкин М. И. 19
- Вересаев В. В. 351, 352, 510, 766, 773
- Верстовский А. Н. 564, 759
- Вершинский Д. С. 706, 707, 724
- Веселовский Ал. Н. 163, 621, 773
- Виардо Л. 744, 745
- Вигель Ф. Ф. 8 396, 423, 424
- Виельгорская А. М. 676, 678, 680, 681, 682, 689, 693, 695, 696, 705, 708, 713, 735, 737, 740, 743, 757, 770
- Виельгорская Л. К. 507, 530, 542, 647, 671, 675–680, 688, 692, 694–696, 705, 710, 713, 723, 737
- Виельгорская С. (Соллогуб С. М.) 573, 671, 673, 676, 700, 701, 704, 734, 778, 780, 783
- Виельгорские 606, 672, 675, 683, 684, 688, 692, 709–712, 758
- Виельгорский 117
- Виельгорский И. М. 530–545, 555, 583, 591, 646, 702, 757
- Виельгорский М. М. 677
- Виельгорский М. Ю. 379, 381, 382, 395–397, 400–403, 412, 526, 530, 532–534, 537, 542, 543, 555, 571, 611, 612, 632, 693, 736, 748
- Викулин С. А. 684, 687, 688, 769
- Виланд Х. М. 88
- Виленский Ю. 353
- Виницкий И. Ю. 154, 756
- Винкельман И. И. 89
- Виноградов А. К. 389
- Виноградов В. В. 217, 282, 286, 773
- Виноградов И. А. 487, 781
- Вистингаузен Л. К. 211, 279
- Витали И. П. 426, 752
- Витберг Ф. А. 107, 125, 163, 219, 773
- Владимиров П. В. 153, 773
- Владыкины 563
- Власов А. С. 521

- Власова М. А. 521, 522
 Воейков А. Ф. 347, 360, 772
 Воейкова А. А. 480
 Войтоловская Э. Л. 407, 411, 420, 751, 773
 Волков П. Г. 377, 748
 Волконская А. П. 456
 Волконская З. А. 448, 481, 486, 497–500, 507, 509, 510, 512, 513, 518, 519, 521, 523, 524, 526, 528, 533–537, 593, 646, 647
 Волконский Н. Г. 524, 763
 Волконский П. М. 186, 381, 382, 418, 456, 716, 748
 Волынский П. И. 113, 114–116, 133
 Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 119, 120, 121, 461, 502, 754
 Вольф А. И. 358, 400, 402, 406, 410, 418–420, 650, 773
 Воробьев М. Н. 761
 Воронцова М. А. 535
 Воронцов-Дашков 741
 Воропаев В. А. 353
 Востоков А. Х. 84
 Высоцкий Г. И. 44, 79–83, 91, 97, 98, 99, 111, 119, 127, 128, 132, 147, 148, 152
 Высоцкий И. Г. 80
 Вьельгорский И. М. 64
 Вяземская В. Ф. 753
 Вяземская П. П. 497
 Вяземский П. А. 229, 230, 252, 268, 269, 376, 379–381, 385, 387, 395–397, 400, 402, 406, 407, 417, 423, 424, 440, 443, 444, 446–448, 450, 451, 453, 460, 474, 500, 501, 543, 556, 559, 570–572, 574, 612, 629, 631, 642, 643, 668, 693, 694, 717, 748, 750, 759, 773
 Габерцеттель И. И. 485, 496
 Гаврилова Е. И. 450
 Гагарин И. С. 570, 634, 712
 Гагарин С. С. 178, 180, 181, 468
 Гагарины 520
 Галаган Г. П. 637, 638, 640–643, 663, 756, 762, 767, 773
 Галаган П. Г. 767
 Галахов А. Д. 345, 604
 Галахов А. П. 691
 Галахов И. П. 691, 737
 Галахова С. П. 691, 737
 Галилей Г. 281
 Галыбин 151
 Ган Е. А. 394
 Ганка В. 291, 384, 721, 724, 725, 733, 734
 Гарибальди Д. 713
 Гасперович В. 481, 482, 494, 495, 521, 636, 637, 736, 756, 762, 773
 Гвидо Р. (Гвид) 764
 Ге С.
 Гегель Г. В. Ф. 459, 566, 575, 604, 605
 Геденов А. М. 402–404, 413, 418, 432, 744
 Геденов М. А. 400
 Геденов С. А. 744
 Геевский С. Л. 47
 Геерен (Герен) А. Г. Л. 383
 Жежелинский 187
 Гейне Г. 216, 383, 601
 Гельвеций К. А. 120
 Герард И. И. 354
 Герард Н. И. 354
 Герасим, о. 536
 Гербель Н. В. 353, 469
 Гердер И. Г. 307, 313, 324
 Герен (Гереен) А. Г. Л. 307
 Геррес Г. 499
 Герцен А. И. 232, 256, 605, 621, 709, 710, 712, 713, 773
 Герштейн Э. Г. 570, 571
 Гете И. В. 59, 88, 89, 141, 283, 293, 294, 346, 356, 433, 439, 440, 445, 459, 498, 550
 Гиероглифов А. С. 398

- Гизо Ф. 283, 464
- Гиллельсон М. Н. 158, 159, 179, 269, 359, 365, 491, 492, 512, 519, 559, 567, 569, 574, 578, 622, 651, 708–710, 712, 713, 723, 757, 774
- Гиляровский В. А. 23
- Гинтер 262
- Гинтовт А.Л. 105
- Гиппиус В. В. 19, 137, 141, 156, 177, 197, 200, 219, 221, 236, 241, 264, 337, 361, 369, 370, 411, 681, 750, 774
- Глаголев А. В. 460
- Глинка А. П. 570
- Глинка М. И. 214, 294, 394–397, 564, 749, 750, 753, 774
- Глинка Ф. Н. 570
- Глюк Э. 305
- Гогель Г. Ф. 417
- Гогель И. П. 417
- Гоголь А. В. (сестра Анна, Аня) 23, 29, 68, 76, 270, 272, 278, 296, 343, 451, 453, 458, 547, 560, 561, 568, 617, 618, 728
- Гоголь А. Д. (дед Афанасий) 11, 12
- Гоголь Андрей 12, 14
- Гоголь В. А. (отец, Гоголь-отец) 16, 21, 27, 31, 38, 75
- Гоголь Е. (Остап) 12, 14
- Гоголь Е. В. (сестра Лиза — в замужестве Быкова) 27, 29, 35, 76, 270, 278, 296, 343, 451, 453, 458, 547, 560, 561, 568, 569, 578, 579, 617, 618, 702, 761
- Гоголь И. В. (Иван, Ваня) 5, 10, 12–13, 41–45, 67, 69, 540, 774
- Гоголь М. В. (сестра Марья, в замужестве Трушковская) 29, 76, 229, 270, 282, 342, 541, 701, 702
- Гоголь М. И. (мать, Марья Ивановна), урожд. Косьяровская 19, 21–25, 27, 31, 35, 38, 39, 58, 75, 77, 89, 127, 146, 148–150, 152, 160, 165, 170–174, 182, 183, 187, 188, 192, 216, 221, 229, 248, 251–253, 272, 342, 372, 567–569, 617, 618, 729
- Гоголь О. В. (сестра Ольга, Оля) 27, 29, 58, 75, 76, 127, 165, 270, 279, 301, 342, 343
- Гоголь П. Е. 12
- Гоголь Т. В. (Таня) 29
- Годунов Борис Федорович, царь 180–190, 343, 360
- Голицын А. 42
- Голицын А. Н. 252
- Голицын А. П. 758
- Голицын В. П. 697
- Голицын Д. В. 616, 622
- Голицын М. А. 629, 630
- Голицын Ф. Ф. 513, 519, 520, 611
- Головня О. В. 17, 21, 58, 75, 302, 343, 774
- Головня-Гоголь О. В. 566, 568, 569, 701
- Головщиков К. Д. 752
- Голохвастова Д. П. 609
- Гомер 662, 745
- Горбунов К. А. 563
- Гординский С. 21
- Горленко В. 49, 50, 774
- Горностаев А. М. 485, 496
- Горчаков А. М. 415
- Горчаков М. Д. 415
- Горшенков П. И. 405
- Горшковы (братья) 619
- Гото Г.-Г. 604
- Гофман Э. Т. А. 214, 215, 256, 329, 348, 459, 772
- Грамолина Н. Н. 725, 774
- Грановский Т. Н. 552, 553, 556, 564, 567, 603, 605, 617, 710, 733, 774
- Гребенка (Гребенкин) Е. П. 91, 110, 120, 774
- Греч Н. И. 226, 253, 294, 362, 397, 398, 444, 575, 649, 664, 665, 679, 763, 768

- Григорий V, патриарх 91
 Григорий XVI 741
 Григоров Н. П. 102, 111, 143, 145
 Григорович В. И. 192, 293, 397, 742
 Григорьев А. А. 232
 Григорьев В. В. 313, 317, 355, 363, 364, 602, 618, 774
 Григорьев П. И. 407, 411, 420, 765
 Гримм Я. и В., братья 224
 Грци Т. С. 42, 774
 Грот Я. К. 610, 765
 Гроций Г. 116
 Губинелли Ф. 756
 Гуковский Г. А. 228, 323, 324, 774
 Гулак-Артемковский П. П. 342
 Гулянов И. А. 384
 Гумбольдт А. 601
 Гурилев А. Л. 760
 Гюго В. 227, 393, 589
 Гюльман К. Д. 384
 Гюме 119
 Гютен С. 113
- Давыдов В. Л.** 589
Давыдов Г. И. 129
Давыдов Д. В. 380, 381, 434, 774
Давыдова Е. (катер.) В. 593, 594
Давыдова Е. (лизав.) В. 589, 593, 594
Даль В. И. 218, 163
Данилевский А. С. 21, 37, 44–45, 57, 65, 67–69, 71, 80, 83, 85, 86, 90, 92, 96–104, 109, 111, 129, 133, 143, 145, 146, 148–153, 161, 163, 164, 170, 172, 212, 213, 222, 223, 231, 253–262, 270, 271, 279, 288, 289, 291, 293–294, 297, 337, 345, 356, 357, 362, 364, 378, 391, 392, 451, 453, 456, 463, 465, 468–470, 472, 480–482, 486, 487, 492, 493, 495, 496, 498, 511, 513, 516, 518, 520, 522, 534, 587, 633, 653, 656, 658, 682, 683, 690, 701, 702, 749, 753–755, 762
Данилевский Г. П. 24, 25, 159, 376, 405, 433
Данилевский Р. Ю. 754
Данилевский С. 46
Данилов В. В. 359–360, 774
Данилов С. С. 418, 751, 752, 775
Данте (Дант) А. 481, 511, 588
Данченко Н. Ф. 297, 298, 393
Даргомьжский А. С. 294, 750, 775
Датти 756
Дашков Д. В. 304, 318
Де Мартини, см. Мартини 116–119, 124
Дегуров А. А. 311
Декарт Ф. 757
Делавинь К. Ж. Ф. 181, 358
Деларю М. Г. 219
Дельвиг А. А. 85, 141, 155, 193, 194, 215, 229, 620
Дельвиг А. И. 219–220, 361, 775
Дельвиг С. М. 361
Демидов П. Н. 426, 428, 429, 752
Демидов П. П. 427
Демиров-Мышковский (Демиров-Мишковский) И. Г. 133
Демут-Малиновский В. И. 278
Денисов В. 362, 775
Денфер А. У. 377
Державин Г. Р. 31, 32, 84–87, 100
Деркач 170
Джотто (и ли Джотто) Ди Бондоне 588
Джулиани Р. 484, 485, 496, 534, 595, 640, 642, 646, 756, 775
Дибич-Забалканский И. И. 102, 305
Диккенс Ч. 745, 766
Димитрий Ростовский 668
Динесман Т. Г. 765
Дионисий Ареопагик 724
Дирин П. 769
Дмитриев И. И. 34, 100, 268–270, 278, 362, 364, 623

- Дмитриев М. А. 570, 616, 622, 623, 765
 Дмитриева Е. Е. 353, 775
 Долгополова С. А. 752
 Долгоруков 582
 Долгоруков П. В. 667, 668, 769
 Долдобанов Г. И. 783
 Доленга-Ходаковский 369, 477
 Долинин А. С. 434
 Дондуков-Корсаков М. А. 309, 315, 538, 611—613
 Достоевский Ф. М. 394, 766
 Дризен Н. В. 399, 716, 750, 775
 Друбек-Мейер Н. 247, 351, 699, 775
 Дружинин 220
 Дрыжакова Е. Н. 443, 444, 775
 Дубельт Л. В. 358, 400, 750
 Дунина-Барковская Г. И. 517
 Дурново А. П. 432
 Дурново А. Т. 485, 495
 Дурново П. Д. 456
 Дурылин С. Н. 16—18, 650, 775
 Духинский Ф. 476
 Дьякова Д. А. (Милена) — в замужестве Державина 32
 Дюканж В. 227
 Дюма А. (отец) 393, 589
 Дюр Н. О. 409, 410, 420, 559, 619
 Дюрер А. 169, 357
 Дядьковский И. Е. 269, 270, 278, 342
- Е**
 Евлампий 63, 80
 Егоров А. Е. 191
 Егоров Б. Ф. 713, 775
 Екатерина II 33, 40, 50, 52, 100, 246—249, 351, 362
 Екатерина Павловна, дочь импер. 702
 Елагин А. А. 760
 Елагин В. А. 576, 760
 Елагин И. П. 100
 Елагин Н. А. 760
- Елагина А. П. 275, 549, 569, 570, 574, 577, 617, 618, 760
 Елена Павловна, вел. кн. 648, 666
 Елисавета Михайловна, вел. кн. 721
 Ересько П. М.
 Ерманн Г. 23, 604
 Ермолов Д. И. 184
 Ермолова А. П. 729
 Ермолова С. А. 553
 Ершов П. П. 575
 Ефименко А. Я. 352
 Ефимов Г., сын Брунста 229
 Ефимов Д. Е. 496
 Ефимов Е. Д. 495
 Ефимовы 496
 Ефремов А. И. 338
 Ефремов А. П. 604
- Ж**
 Жадовская 416
 Жан Поль (Рихтер И. П. Ф.) 88, 329, 684
 Жанен Ж. Г. 281, 393, 589
 Жаркевич Н. М. 369
 Жданов В. А. 770
 Жданов И. Н. 154, 776
 Железняк С. (Пономарев С. И.) 749
 Жерве В. В. 380, 535, 536, 776
 Живаго С. А. 524
 Живокини В. И. 618, 619, 624, 765, 776
 Жиро Дж. 584, 760
 Жиряев А. С. 721, 722, 725
 Житомирская С. В. 361, 468, 643, 754, 769, 784
 Жукова М. С. 215
 Жуковская Е. Е. 687, 688
 Жуковский В. А. 137, 138, 141, 155, 176, 194, 207, 208, 212, 218, 219, 222—225, 229—231, 242, 253, 260, 263, 275, 277, 286, 287, 304, 309, 311, 317, 337, 342, 360, 364, 379—382, 385, 391, 395—397, 400—402,

- 406, 416, 434, 435, 442, 443, 446–448, 454, 456, 462, 465, 466, 471, 480, 486, 487, 489, 492, 497, 500, 523–526, 529–534, 546, 549, 555, 556, 558, 559, 569, 571, 577, 594–596, 599–601, 623, 630, 632, 633, 639, 644, 653, 663–665, 667, 670, 676, 677, 679, 680, 683, 684, 687, 688, 691–694, 697, 705, 706, 710, 714, 715, 717, 719–723, 727, 729, 731, 732, 734, 737, 738, 740–743, 748, 753–755, 757–759, 768, 769, 776
- Заблоцкий А. П.** 416
- Заболотский П. А.** 5, 43, 80, 776
- Заборов П. Р.** 754
- Завадовский П. В.** 52
- Загарин П. (Поливанов Л. И.)** 442, 668, 776
- Загоскин М. Н.** 101, 203, 215, 266–267, 272–273, 378, 424, 432, 445, 553, 554, 570, 617, 652, 752
- Загряжская С. И.** 632
- Заикин П. Ф.** 713
- Зайденшнур Э. Е.** 770
- Зайцев А. Д.** 474
- Зайцев Б. К.** 220, 331, 776
- Зайцева И. А.** 400, 403, 404, 410, 750, 751, 776
- Закревский А. А.** 181, 184
- Залеский Ю. Б.** 470, 471, 476–481, 499, 506, 511, 512, 755
- Заславский О. Б.** 360
- Зверьков** 220
- Звиняцковский В. Я.** 353
- Зевксис** 137, 154
- Зельднер Е. И.** 55
- Земенков Б. С.** 266, 273, 758, 776
- Зенков П.** 696, 699
- Зеньковский В. В.** 76, 164, 334, 429, 430, 776
- Зингер Ф. О.** 88–89, 120–122, 123
- Зиномря М. У.** 775
- Змиев А.** 120
- Золоторев И. Ф.** 472, 482, 483, 493, 516, 755
- Золотусский И. П.** 304, 354, 447, 776
- Зотов Р. М.** 401, 403, 410, 412, 413, 415, 424, 651, 776
- Зубов П. А.** 471
- Зубова Е. А.** 571
- Зябловский Е. Ф.** 328
- Иван Яковлевич** 10, 14
- Иваницкий Н. И.** 310–312, 314, 315, 317, 362–363
- Иванов А., см. Урусов А. И.**
- Иванов А. А.** 448, 497, 524, 526, 527, 591–594, 596, 636–642, 646, 648, 663–666, 698, 699, 736, 737, 742–744, 751, 761, 762, 767, 768
- Измайлов Н. В.** 447
- Иконников В. С.** 304, 306, 351, 777
- Ильин И. А.** 433, 777
- Иннокентий (Борисов И. А.)** 304, 627, 655, 666
- Иноземцев Ф. И.** 545
- Инсарский В. А.** 395, 777
- Иоанн Златоуст** 56
- Иордан Ф. И.** 497, 593, 594, 637–639, 647, 648, 663, 698, 736, 737, 762, 767, 777
- Иофанов Д. М.** 18–22, 36, 38, 42–46, 80, 88, 107, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 147, 777
- Иохим, каретник** 154, 159, 170, 174, 357, 433
- Ирвинг В.** 298
- Исаак Сирий** 56
- Исаков С. Г.** 407, 755, 757, 777
- Кавелин А. А.** 416
- Кайсевич И.** 508, 509, 511, 513
- Калайдович К. Ф.** 551

- Калайдович Н. К. 551
 Калашников И. Т. 252
 Каллаш В. В. 357, 681
 Каменская М. Ф. 293, 360, 777
 Камлишинский В. С. 47
 Канари К. 138
 Канинг Дж. 134, 135
 Канкрин Е. Ф. 406, 415, 487
 Кант И. 112, 116, 119, 605, 757
 Капнист А. А., урожд. Дьякова 32, 49
 Капнист А. В.
 Капнист В. В. 24, 31, 34, 36, 41, 49, 50, 74, 87, 100, 150, 171, 777
 Капнист Е. В. (Катерина) 34
 Капнист И. В. 356, 682, 683, 769
 Капнисты
 Карамзин А. Н. 31, 85, 168, 176, 215, 244, 247, 268, 349, 465–467, 468, 471, 472, 474, 480, 481, 483–486, 489–491, 493, 678, 755, 777
 Карамзин Н. М. 391, 442, 498, 538, 539, 559, 716
 Карамзина С. Н. 447, 450
 Карамзины 406, 447, 450, 466, 475, 556, 571, 629
 Каратыгин В. А. 180, 181, 407, 409, 420, 751
 Каратыгин П. А. 180, 341, 400, 401, 404, 409–411, 413, 420, 777
 Каратыгин П. П. 400, 401, 404, 406, 410, 777
 Карл Великий 456
 Карлгоф В. И. 252, 360
 Карлинский С. 538
 Карнеев З. Я. 42
 Карниолин-Пинский М. М. 265
 Карпук (Кагрук Paul A.) 360
 Карташевская М. Г. 426, 650, 652, 737, 745, 758, 765
 Карташевские 555–557, 629, 759
 Карташевский Г. И. 557
 Карус К.-Г. 728
 Катель Ф. 594
 Катенин П. А. 409
 Катеринич 343
 Катков М. Н. 552, 553, 604, 605
 Каченовский М. Т. 589
 Качий Ю. 353
 Квелино (Квелинус) 169
 Квитка К. А. 520
 Квитка-Основьяненко Г. Ф. 576
 Квятковский 47
 Кейль Р. Д. 541, 777
 Кениг Г. 530, 691, 755
 Кернер К. Т. 88
 Кетчер Н. Х. 552, 765
 Кизеветтер А. А. 414, 777
 Кипренский О. А. 481
 Киприан 56
 Киреев А. Д. 399
 Киреевские 552, 561, 564, 567, 615
 Киреевский И. В. 130, 274, 275, 278, 567, 570, 574–576, 617, 706, 711, 723, 777
 Киреевский П. В. 275
 Кириллук З. В. 369
 Кирпичников А. И. 358, 691, 694, 761, 762, 777
 Киселев Н. Д. 415, 643, 754, 768, 769
 Киселев П. Д. 406, 415, 416
 Киселевский 107
 Китаева А. К. 220, 222
 Клименко К. М. 742
 Клинггенберг Э. А. (Эмилия) — в замужестве Шан-Гирей 163
 Клодт В. К. 649
 Клопшток Ф. Г. 88
 Ключников И. П. 521
 Княжевич А. М. 175
 Княжевич Д. М. 619, 620, 702, 733, 762, 765
 Княжнин Я. В. 101, 104, 281, 777
 Кобеляцкий И. К. (Кобелецкий) 290
 Козлов А. И. 520

- Козлов И. И. 85, 86, 256, 257, 318, 749, 750
 Козлов Н. И. 520
 Козловский П. Б. 750
 Козмин Н. К. 342, 364, 778
 Козьма Прутков 324
 Кок (Поль-де-Кок) П. Ш. де 319–320, 341
 Колар (Коллар) Я. 291, 384, 724
 Колмаков Н. М. 311
 Колокотронис (Колокотрони) Теодорос 134, 135, 138
 Колосова Н. П., 673, 705, 778
 Кольшкевич А. 120
 Кольцов А. В. 749, 778
 Кольчугин И. Г. 356–357
 Комаров А. А. 631
 Комарович В. Л. 770
 Комовский А. Д. 397
 Комовский В. Д. 250, 364
 Кондаков С. Н. 200, 361, 778
 Кони Ф. А. 407, 420
 Конобеевская И. Н. 425
 Кононенко И. К. 107, 371
 Константин, цесаревич 414
 Копп И.-Г. 456, 705, 728
 Корнелиус П. 654, 740
 Корнилов А. А. 414, 709, 778
 Корнилова А. В. 450, 778
 Корнух-Троицкий П. 562, 563
 Коробка Н. И. 142, 778
 Коровин В. И. 368
 Королева И. А. 765
 Коропчевский Д. А. 619, 778
 Корреджо А. 533, 764
 Корсаков П. А. 751
 Корф М. А. 403, 410, 778
 Корш Е. Ф. 552, 553
 Костенич К. 667
 Косяровская А. М. 35
 Косяровская В. П. 148, 157
 Косяровский И. П. 152, 155, 157, 758, 767
 Косяровский Павел П. 126, 152, 157
 Косяровский Петр П. 79, 81, 82, 126–129, 146, 148, 149, 152, 158, 175, 195, 271, 272
 Котляревский А. 145
 Котляревский Е. 119, 145
 Котляревский И. П. 242, 358
 Котляревский Н. 145
 Кошебу А. 101, 355
 Кочубеи 217
 Кочубей В. Л. 30, 217
 Кочубей В. П. 30, 87, 192, 217, 251, 252, 355, 361
 Кочубинский А. 508, 510, 512, 513, 722, 733, 734, 763, 778
 Кошелев А. И. 249
 Кошелева В. А. 576
 Коялович А. И. 39, 150, 152, 778
 Краевский А. А. 295, 339, 360, 362, 396, 397, 406, 409, 426, 437, 630, 631, 749, 751, 754, 766
 Крамолей В. В. 405, 420
 Красильников С. А. 477, 778
 Красиньский З. 511
 Краснов Г. В. 753
 Красов В. И. 521
 Кривонос В. Ш. 361, 778
 Криворотовы 159
 Кривцов П. В. 524
 Кривцов П. И. 484, 485, 517, 518
 Крижанівський С. А. 51, 778
 Кронеберг И. Я. 47
 Крузе 607
 Крузенштерн И. Ф. 428
 Крукенберг П. 728
 Крутикова Н. Е. 19, 25, 36, 219, 316, 362, 477, 766, 778
 Крылов А. Л. 749
 Крылов И. А. 36, 232, 252, 288, 379, 380, 391, 395, 397, 406, 664, 768
 Крылов Н. И. 609, 610, 759
 Ксензенко А. И. 352
 Кудинов А. С. 526

- Кудрявцева О. Д. 35
 Кузовкина Т. 749
 Кузьмин Р. И. 495
 Кузьмины 496
 Кукольник В. Г. (Кукольник-старший, отец) 52–54, 58
 Кукольник М. В. (Мария) 53
 Кукольник Н. В. (Нестор) 52, 54, 392–395, 397, 778
 Кукольник П. В. (Павел) 55
 Кукольник П. В. (Платон) 54, 55
 Кукольник С. Н., урожд. Пилянкевич 55
 Кулжинский И. Г. 85, 97, 146–148, 309
 Куликов Н. И. 401, 559
 Кулиш П. А. 5, 12, 17, 20, 32, 44, 64, 65, 68–69, 75, 80, 83, 90, 93, 98, 99, 102, 109, 148, 153, 154, 159, 163, 168, 170, 177–180, 194, 207, 212, 213, 219, 245, 262, 263, 273, 274, 279, 296
 Кулябко Е. С. 316, 354, 357, 358, 362, 365, 427, 428, 779
 Кулиш П. А. 433, 441, 489, 507, 590, 625, 629, 630, 645, 668, 670–672, 677, 678, 692, 734, 755, 765, 766, 769, 778, 779
 Курпреянова Е. Н. 446, 779
 Курциус Э. 157
 Кутузов 754
 Кутузов Л. И. (Голенишев-Кутузов) 149, 152, 182
 Кушелев-Безбородко А. Г. 52, 53, 59, 60
 Кюстин А. де 622
 Кюхельбекер В. К. 475
- Л**
 Лавровский Н. А. 54–57, 60, 62, 64, 80, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 122, 165, 290, 353, 354, 779
 Лагарп Ф. 269
 Лагочев В. М. 352
- Лажечников И. И. 601
 Лазаревский А. М. 10–13, 356, 779
 Лазаревский В. М. 737
 Лазаревы 712
 Ламартин А. 466
 Ламбускини Л. 509, 741
 Лангер В. П.
 Лангер Л. Ф. 568, 760
 Ландражин И. Я. 120, 121, 123
 Ланский Л. Р. 568, 744, 767
 Лаптева 603
 Лафонтен Ж. 249
 Лебедев К. Н. 753
 Лебедева О. Б. 768
 Лебенштейн Ф. 746
 Лемке М. К. 357, 611, 779
 Леонардо да Винчи 645, 764
 Леонидов Л. Л. 400, 405, 410
 Леонтович В. 116, 779
 Леонтьев В. Ю. 702
 Лепень 282, 433, 450
 Лермонтов М. Ю. 163, 570–573, 601, 744, 760, 779
 Лернер Н. О. 758
 Лесаж 361
 Ливен К. А. 123
 Лижье П. 467
 Лизогуб С. С. 11, 14
 Лизогуб Т. С. 17
 Лизогубы 17
 Линниченко И. А. 535, 779
 Липгарт 451
 Липранди И. П. 370
 Лисенков И. Т. 159
 Лист Ф. 688, 725, 757
 Лобанов М. Е. 252, 438
 Лобанов-Ростовский А. А. 143
 Лобачевский Н. И. 562, 563
 Логановский А. В. 593
 Ломиковский В. Я. 129, 171–173, 262
 Ломоносов М. В. 84, 86, 577
 Лонгинов М. Н. (Михаил) 15, 179, 207, 208, 210, 426, 631
 Лонгинов Н. М. 207, 262

- Лонгиновы 207, 208
 Лотман Ю. М. 132, 246, 765, 779
 Луи Филипп Орлеанский 467
 Лукашевич А. А. 291
 Лукашевич А. П. 291
 Лукашевич П. А. 290–294, 297, 298, 362–363, 477
 Лукин В. И. 19
 Лукьяновский Б. Е. 434
 Львов А. Ф. 403
 Львова-Синецкая М. Д. 552
 Любич-Романович В. И. 57, 70, 71, 74, 77, 83, 84, 91, 93, 95, 99, 101, 119, 132, 146, 260, 289, 354, 356, 357, 361, 470, 497
 Любич-Романович И. А. 71
 Людвиг I Баварский 634
 Лютер (Лутер) М. 281
 Лямина Е. Э. 530–534, 536, 538, 542, 555, 757
 Лященко И. А. 476, 510
- М**аврин С. П. 376, 377
 Маврокордатос (Маврокордато) А. 138
 Magarshak D. 351
 Мазепа И. С. 30, 32, 36, 217, 478, 479
 Мазер К. П. 696
 Мази Ф. 588
 Макаревский М. 562
 Макарий (Глухарев М. Я.) 56, 561, 562, 726
 Макаров А. А. 783
 Маковская Л. 752
 Маковский В. Е. 752
 Маковский Е. И. 752
 Макогоненко Г. П. 442–446, 753, 780
 Максимилиан Лейхтенбергский 647, 716
 Максимов А. М. 420
 Максимович М. А. 123, 165, 179, 232, 234, 245, 249, 273–274, 279, 281–283, 291, 296, 299, 303, 304, 306, 309, 318, 319, 326, 328, 343, 344, 352, 363, 477, 528, 627, 780
 Мантейфель 520
 Мануйлов В. А. 760, 774
 Марин А. Н. 352
 Мария Александровна, цесаревна 740
 Мария Николаевна, вел. кн. 611, 632, 639, 647, 716, 724
 Мария-Антуанетта, королева 35
 Маркевич А. И. 361
 Маркевич Н. А. 564
 Марков А. Т. 596
 Марков В. М. 102, 113, 117, 145
 Марков М. А. 557, 759
 Марковецкий С. Я. 405
 Маркович А. (псевд. Эфроса А. М.) 667
 Маркович Я. М. 26, 36, 370
 Маркс К. 713
 Марлинский (псевд. Бестужева А. А.) 496
 Мармье К. 631
 Мартини К. А. де 116–119, 124
 Мартос А. И. 129
 Мартос И. Р. 171
 Мартос П. И. 94, 111
 Мартынов А. Е. 420
 Масальский К. П. 250, 252
 Масанов И. Ф. 749, 780
 Матисен Е. А. 312, 314
 Машинский С. И. 90, 107, 108, 111, 116, 120, 123, 124, 317, 348, 355, 477, 780
 Машковцев Н. Г. 192, 296, 526, 640, 698, 699, 743, 761, 767, 780
 Межаковы 520
 Мезьер 401
 Мейер 485
 Мельгунов Н. А. 441, 592, 593, 601, 691, 694, 755
 Мемлинг Г. 357
 Меняйлов 170
 Мердер К. К. 531, 780

- Мережковский Д. Н. 148
Мериме П. 755
Мерославский Л. 511
Мессинг М. И. 579
Местр Ж. М. де 215, 631
Местр К. де 631
Метлинский А. Л. 51
Мецофанти Дж. Г. 448, 499, 500, 509, 594, 642
Мечиславская 741
Миаули (Миаулис) А. В. 138
Мизко Н. Д. 359
Микеланджело Буонаротти 503, 596, 598, 645
Миллер Н. Н. 102, 143, 145, 313, 324, 772
Мильтон Дж. 16
Мильчина В. А. 651, 780
Милюков А. П. 766
Милютин Д. А. 593, 763, 780
Михаил Павлович, вел. кн. 53, 124, 207, 413, 648, 666
Михальский Е. Н. 52, 352, 780
Михед П. В. 780
Михневич И. Г. 291, 780
Михно Ф. 118
Мицкевич А. 215, 470, 471, 477, 478, 481, 492, 499, 500, 506, 508, 509, 511, 520, 666, 667, 688, 712, 713
Мишле Ж. 523
Млотковский Л. Ю. 102
Модзалевский Б. Л. 354, 548, 781
Мойсеев (Моисеев) К. А. 108, 109, 111, 119, 122
Мокрицкий А. Н. 260, 295, 297, 298, 355, 392, 397, 448, 749, 781
Молева Н. 191, 192, 781
Моллер Ф. А. 497, 593, 629, 638, 664, 698, 736, 737, 768, 781
Мольер (наст. имя и фам. Жан Ба- тист Поклен) 102, 103, 225, 421, 439, 463, 467, 753, 754
Монтескье Ш. Л. де 285
Монье А. 281
Мордвинов А. Н. 399, 418, 750
Мордовченко Н. И. 338, 390
Морозова Н. Т. 352
Мохнацкий М. 511, 512
Моцарт В. А. 36, 73, 101
Мочульский К. В. 6, 28, 131, 279, 429, 434, 506, 510, 537, 540, 586, 588, 589, 721, 781
Мундт Н. Н. 401
Мундт Н. П. 178–181, 358
Мур Т. 138
Муравьев А. Н. 639
Муравьев М. Н. 100
Муравьева 569
Мурзакевич Н. Н. 620, 781
Мусин-Пушкин И. А. 454, 753
Мусин-Пушкин М. Н. 562
Мыгальч 133
Мышковский И. Г., см. *Демиров- Мышковский*
Мятлев И. П. 455
Надеждин Н. И. 340, 351, 356, 364, 384, 489, 592, 593, 598, 620, 733, 762, 778, 781
Назаревский А. А. 19, 781
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 84, 228, 285, 383
Нарезный В. Т. 215
Нашокин П. В. 345, 435, 436, 446, 549, 564–566, 614, 617, 632, 758, 767
Нашокина В. А. 565, 568, 758–760
Нашокины 568
Неверов Я. М. 409, 413, 423, 567, 601, 602
Неволин К. А. 306
Некрасов Н. А. 424, 766
Немзер А. С. 246, 781
Непомнящий В. С. 783
Нессельроде К. В. 415, 740, 741
Нечкина М. В. 355
Нибби А. 524, 528

- Никитенко А. В. 260, 397, 408, 410, 415, 418, 431, 612, 613, 629, 653, 718, 764, 781
 Никитин (декоратор) 524
 Никитин А. 495
 Никитины 496
 Никифор 56
 Николаев А. С. 358
 Николай I 123, 229, 402, 406, 410–414, 416, 418, 420, 424, 442, 487, 542, 610, 611, 650–652, 697, 709, 715–717, 738, 740–742, 759, 768
 Никольский А. 84
 Никольский П. И. 85–88, 97, 104, 106, 108, 111, 125
 Николюкин А. Н. 356
 Нильский А. А. 405, 781
 Нимченко М. (Матрена) 372, 303
 Нимченко Я. (Яким, Аким) 150, 272, 302, 433, 451
 Ниссен 361
 Новалис (наст. имя и фам. Ф. фон Харденберг) 138, 216, 329, 537
 Новицкий О. М. 306, 351, 363
 Новосильцев П. П. 691
 Новохацкий А. 117, 118, 355
 Нордов В. 724
 Норв А. С. 358, 379, 505
 Нозль 471
Ободовский К. 482
 Обухов В. В. 767
 Обухова Е. В. 767
 Обухова М. А. 638, 767
 Овербек Ф. 523, 594–597, 640, 646
 Овсяннико-Куликовский Д. Н. 167, 781
 Огарев Н. П. 552
 Огнев И. Д. 42, 44, 47
 Одоевский В. Ф. 206, 213, 215, 249, 263, 278, 281, 282, 284, 286–288, 362, 379, 385, 387, 391, 395, 396, 440, 445, 537, 558, 571, 610–613, 631
 Озеров В. А. 101, 104, 181
 Оксман Ю. Г. 358, 764
 Ольдекоп Е. И. 399, 750
 Онаш (Onasch K.) 130, 781
 Ореус И. И. 33
 Орлай И. С. 55, 58, 59, 61–63, 106, 108, 109, 353, 355
 Орлов А. А. 225–229
 Орлов А. Ф. 552, 716, 717
 Орлов М. Ф. 570, 574
 Орлов П. В. 552
 Орлова А. М. 750
 Орнатский С. Н. 306
 Осовцов С. 364
 Осокин В. 359
 Осповат А. Л. 634, 651, 780
 Остен-Сакен С. К. 70
 Остолопов Н. Ф. 84
Павей В. 498
 Павел I 185, 702
 Павлов К. С. 191
 Павлов М. Г. 342
 Павлов Н. Ф. 294, 349, 550, 552, 553, 556, 570, 574, 615, 617, 652
 Павлова К. К. 552, 566, 571, 575
 Павловский И. Ф. 42, 51, 171, 781
 Палацкий Ф. 384
 Пален П. П. 143
 Панаев В. И. 184–186, 188, 423, 557
 Панаев И. И. 380, 381, 393, 394, 441, 442, 549, 550, 558, 575, 631, 713, 758, 759, 766, 782
 Панаева А. Я. 404, 423, 550, 561, 713, 758, 782
 Панин Н. И. 100
 Панов В. А. 377, 567, 578, 579, 581, 582, 584–586, 588, 590, 599, 601–604, 633, 761, 762, 782
 Паррасий 137, 154
 Паскевич И. Ф. 305
 Пашенко А. Г. 113

- Пашенко И. Г. 260, 289, 345, 357, 362, 364, 378, 410, 469
 Пашенко Т. Г. 37, 63, 68, 102–104, 113, 353, 362, 364, 769
 Певницкий И. 680, 686
 Пейкер И. У. 182, 606
 Пейкер П. И. 606, 607
 Пекелис М. 750
 Пелико С. 547
 Пенская Е. 528, 782
 Перион 62, 65, 147
 Перовский А. А. (псевд. Антоний Погорельский) 183, 215
 Перовский В. А. 376, 646, 682, 767
 Перро Ш. 224
 Персидский К. А. 111
 Перуджино П. 596
 Перфильев С. В. 618
 Петр I 263, 280, 383, 478, 479
 Петрарка Ф. 89
 Петров А. 10, 370, 405, 413, 417, 420
 Петров А. А. 538
 Петров Ал. 418
 Петров Н. И. 706, 782
 Петровский А. 782
 Петрунина Н. Н. 364, 435
 Пилянкевич И. Н. 55
 Пиндар 40
 Писарев А. И. 101, 104
 Пишо А. 499
 Плаксин В. Т. 496
 Платон 196, 197, 198, 239, 334
 Платонов В. П. 471, 490, 491, 755
 Плетнев П. А. 155, 159, 167, 194, 207, 211, 213, 214, 216–223, 228, 231, 252, 272, 275, 277, 279, 280, 286, 290, 295, 316, 379, 380, 385, 386, 391, 395, 397, 409, 435, 443, 446, 447, 458, 465, 472, 492, 525, 531, 552, 555, 556, 606, 609–613, 617, 629–632, 647, 653, 660, 662, 687, 717, 723, 737, 743, 749, 759, 765, 766, 782
 Плутарх 228, 366, 771
 Плюшар А. А. 157, 602
 По Э. 329
 Погодин Д. М. 560, 561
 Погодин М. П. 82, 158, 167, 263, 264, 265, 269, 271–275, 278–284, 295, 299, 307, 316, 326–328, 337–340, 348, 362–366, 373, 378, 379, 382–385, 388, 390–392, 424, 426, 431, 436, 437, 449, 450, 454, 473, 474, 479, 498, 516, 518, 523, 526–528, 533, 534, 545–553, 558, 560, 563–565, 568, 569, 571, 578, 579, 583, 587, 595, 596, 598, 599, 602, 606, 607, 614–616, 624–627, 630, 652, 654, 660, 661, 673, 696, 697, 702, 703, 725, 746, 752–755, 757, 758, 760–762, 782
 Погодина Е. В. 547, 549, 560, 561, 577, 627, 702
 Погодины 617
 Поздеев А. А. 377, 782
 Полевой Н. А. 158, 162, 218, 243, 244, 249, 293, 473, 523, 679, 697, 752, 766
 Полежаев А. И. 501, 635
 Половинкин 262
 Полуектова 520
 Пономарев С. 90, 370
 Пономарев С. И. 749
 Понятовский Станислав Август, польск. король 35, 736
 Попов А. Н. 570, 605, 664, 742, 782
 Поссельт 363
 Потанчиков Ф. С. 759
 Потемкин И. А. 513, 647, 737
 Потоцкий 581
 Присниц В. 617, 666, 734, 735
 Прокопович В. Я. (Василий) 289, 297, 354, 357, 358, 359
 Прокопович Н. Я. 68–69, 79, 85, 90, 91, 93, 94, 99, 102, 111,

- 150, 154, 159, 160, 167, 170, 178, 260–261, 270–271, 288, 289, 297, 300, 343, 362, 391, 392, 395, 397, 409, 428, 468, 472, 480, 483, 486, 512, 513, 556, 606, 612, 615, 618, 631, 632, 670
- Прокопович-Антонский А. А. 362
- Прохоров Е. И. 767
- Прохоров О. О. 420, 751
- Пугачев Е. И. 376,
- Пузыревский А. 143
- Пуле М. Ф. де 749
- Путята Н. В. 432, 456, 652
- Путята С. Л. 652
- Пушкин А. С. 30, 56, 83, 85–87, 95, 96, 100, 108, 110, 120, 121, 128, 137, 155, 156, 158, 194–196, 198, 203, 207, 212, 218–232, 236, 239, 241–243, 247, 249, 250, 251, 252, 255–260, 263, 275, 279, 280–283, 287, 288, 294, 304, 309, 311, 317, 318, 325–328, 345, 349, 356, 360, 361, 364, 369, 370–373, 375–382, 385–393, 395–398, 407, 410, 413, 425, 432–447, 449, 453, 454, 460, 465, 466, 470–475, 479, 480, 482, 487, 490–492, 498, 510, 519, 523, 525, 529, 530, 534, 540, 542, 543, 546, 548, 550, 557, 558, 564, 572, 575, 586, 587, 601, 614, 632, 644, 646, 665, 667, 668, 684, 691, 707, 716, 744, 748–750, 752–755, 757, 758, 769, 780
- Пушкина Н. Н. 220, 434, 440, 442, 446, 449, 629, 632
- Пыпин А. Н. 36, 425, 470, 615, 687, 769, 783
- Рабле Ф.** 295, 296
- Равиньян Г. Ф. де 688
- Радклиф А. 63
- Раевская 191
- Раевская П. И. 569, 578, 617
- Разумова Н. Е. 769
- Разумовский А. К. 183
- Разумовский К. Г. 171
- Рамазанов Н. А. 426, 502, 742, 752, 761, 783
- Ранке Л. фон 604
- Рапен де Тоарас П. 343
- Расин Ж. 181
- Растрелли В. 519
- Раумер Ф. Л. Г. 307
- Рафаэль Санти 329, 481, 598, 639, 645, 764
- Рахель А.-Ф. 601
- Редкин П. Г. 82, 90–91, 93, 96, 110, 112, 125, 147, 219, 261, 290, 291, 292–293, 298, 353, 354, 570, 617, 783
- Рейтблат А. И. 357
- Рейтерн Е. Е. 599
- Рендер Х. 463, 783
- Репнин В. Н. 457, 458, 484, 517, 518, 559
- Репнин Н. В. 32–33
- Репнин Н. Г. 517, 535
- Репнина В. А. 517
- Репнина В. Н. 517, 522, 523, 535, 536, 547
- Репнина Е. Н. 484, 485, 517
- Репнина Е. П. 457
- Репнин-Волконский Н. Г. 457, 484
- Репнины 493
- Рикорд П. И. 261, 290
- Ринальди А. М. 762
- Ринальди С. 762
- Риттер К. 384, 604
- Риттер М. А. 69, 133, 179, 260
- Рихтер (художник) 527
- Рихтер, см. *Жан Поль*
- Риччи 535
- Родзянко Н. 119, 120, 121
- Рожалин Н. М. 498
- Рождественский С. В. 305, 371
- Розанов А. С. 758

- Розен Е. Ф. 252, 360, 380, 381, 443,
 529, 530, 532, 757
 Роман Иванович 37
 Россет А. О. 222, 231, 367, 489,
 629, 645, 646, 666, 734, 746,
 768
 Россини Дж. 101
 Ростопчина Е. П. 645, 672
 Рот Л. О. 355
 Ротчев А. Г. 252
 Румянцев П. А. 11
 Рунич Д. П. 124
 Руска Л. 52, 366
 Руссо Ж. Ж. 119, 121, 281, 462,
 463, 538
 Рыжов А. И. 232
 Рылеев К. Ф. 84, 120, 156
- Сабинин С. К.** 724, 725, 727
Сабинина М. С. 725, 726
Савва В. И. 107
Савинов А. Н. 191, 784
Савинский А. А. 43
Савиньи Ф. К. 292
Садовников В. С. 364, 784
Садовников Г. Н.
Садовский М. П. 759
Садовский П. М. 339
Сальский Ф. 704
Самарин И. В. 552–554, 571, 619
Самарин Ю. Ф. 558, 559, 567, 570,
 572, 617, 673, 739, 746
Самовер Н. В. 530–534, 536, 538,
 542, 555, 757
Самойленко Г. В. 52, 352, 780
Санд Ж. 602
Сан-Донато (Павел) 427
Сарабьянов Д. В. 595, 783
Сведомский 756
Свенцицкий И. С. 752
Свербеев Д. Н. 275, 362, 570, 617,
 621, 784
Свербеева Е. А. 569, 570, 617, 622
Свербеевы 561, 571, 574, 577, 617
- Сверчков Н. Е.** 737
Светличный 173
Свечина С. П. 466, 520, 712
Свиньин П. П. 41, 129, 183–184,
 190, 199, 200, 214, 216, 358–
 359, 360, 367, 375–377, 748
Северин Д. П. 460
Севрюгин Ф. Е. 101
Семененко П. 508–513, 516
Семенов В. Н. 397–399, 428
Семенова Е. С., в замужестве кня-
гиня Гагарина 180
Сенковский О. И. 293, 294, 314,
 319, 320, 322, 340, 341, 346–
 348, 387, 389, 393, 397, 421,
 422, 425, 679, 697, 749, 752
Сент-Альдегонд (сестры) 532
Сент-Бев Ш. О. 463, 466, 500, 543,
 544, 667, 744–746, 784
Сербинович К. С. 158, 667
Сервантес Сааведра М. 369, 370
Сергеев П. 116
Сечкарев В. 541, 586, 784
Сикст V (кардинал Феличе Мон-
тальято) 189–190, 360
Симановский И. П. 468, 581
Симон, см. Стокоза Симон
Симоновский И. П. 298
Синявский А. Д. 142, 784
Сиркур А. 712
Сиркур М. 712
Сисмонди Ж. Ш. Л. С. де 502
Скалон С. В., урожд. Капнист 24,
 31, 34, 38, 39, 48, 150
Скворцов И. М. 306
Скоропадский И. И. 14
Скоропадский М. 57
Скотт В. 176, 203, 299, 300, 313,
 314, 327, 349, 353, 433, 445,
 460, 463, 498, 550, 754
Скребницкий И. А. 144, 145, 354
Смирдин А. Ф. 252, 269, 398
Смирнов Н. М. 222, 465, 474, 490,
 664

- Смирнова (Смирнова-Россет) А. О. 25, 26, 222, 361, 402, 415, 417, 425, 446, 457, 465, 466, 468, 471, 472, 474, 489–491, 531, 532, 537, 543, 584, 595, 598, 602, 606, 610–613, 629, 642–648, 650, 663, 665–668, 670–680, 682, 686, 688–690, 692, 694–696, 700, 701, 704, 715–718, 720, 722, 728–730, 737, 739, 740, 746, 748, 752, 754, 755, 759, 763, 765, 768, 769, 784
- Смирнова Е. А. 760
- Смирнова Н. Н. 665
- Смирнова О. Н. 26, 223, 352, 361, 371, 767, 768
- Смирновы 571
- Снегирев И. М. 402, 608–210
- Собеский Ян (Ян III), польск. король 12
- Соболевский С. А. 379, 391, 395, 406, 466, 468, 471, 502, 564, 573, 755
- Сокович П. 57
- Соколов П. П. 621, 784
- Соколов П. Ф.
- Соколянский М. Г. 753
- Соленик К. Т. 405
- Соллогуб В. А. 221, 225, 376, 396, 417, 427, 482, 572, 573, 671, 673, 676, 677, 679, 700, 701, 715, 735, 750
- Соллогуб Л. А. 466, 490, 680, 784
- Соловьев С. М. 578, 610, 693, 784
- Солоухин В. А. 516, 757
- Сомов О. М. 139, 155, 193–194, 200, 206, 218, 249
- Сорочинский Г. М. 44–48, 56, 67, 192
- Сосницкие 649
- Сосницкий И. И. 404–407, 409, 410, 420, 449, 450, 559, 751
- Софокл 137
- Соханская Н. С. 320, 784
- Спасский (Спаский) М. И. 44, 45
- Сперанский М. М. 609
- Сперанский М. Н. 477, 784
- Спиноза Б. 757
- Срезневский И. И. 84, 291, 292, 307, 308, 551, 733, 784
- Ставассер П. А. 527, 742, 761
- Сталь А. Л. Ж. де 502
- Станкевич Н. В. 263, 299, 338, 340, 409, 423, 521, 546, 567, 568, 575, 596–598, 601, 603–605, 638, 784
- Стасов В. В. 393, 397, 426, 622, 784
- Стасюлевич М. М. 301, 471, 751
- Стендаль (Анри Мари Бейль) 448, 736
- Степанов А. Н. 359, 774
- Степанов Н. Л. 304, 310, 785
- Степанова А. М. 404
- Степанова А. Н. 736
- Стогнут А. С. 107, 113, 117, 125, 785
- Стокоза Семен 58, 353
- Столыпин Н. А. 102
- Стороженко А. П. 354
- Стороженко А. Я. (псевд. Андрий Царынный) 245
- Строганов С. Г. 555, 611
- Строев В. М. 749
- Струговщиков А. Н. 395, 397
- Стурдза А. С. 460
- Стурдза-Эдлинг Р. С. 667
- Суворин А. С. 749
- Сумароков А. П. 86, 103
- Суперфин Г. Г. 765
- Супрунюк О. К. 55, 80, 153, 354, 785
- Сухово-Кобылин А. В. 528, 772
- Сухово-Кобылина Е. В. 342
- Сушков Н. В. 423, 785
- Талалай М. Г. 533, 536, 785
- Тамаринский (Томаринский) М. А. 591, 762

- Танский В. 14, 19
 Тарасенков А. Т. 164, 785
 Гарди Л. 353
 Гарновский В. В. 82, 153, 289, 291
 Тассо Т. 481
 Генерани П. 523, 594, 646
 Тенирс (Геньер) Д.
 Тепляков В. Г. 379, 380, 396, 397
 Теребина Р. Е. 432, 748
 Терпигорев Н. Н. 398
 Теряев П. А. 141
 Тик Л. 89, 214, 329, 348
 Тимченко К. Ф. 70
 Тирген П. 770
 Тихонравов Н. С. 358, 403, 425,
 437, 608, 609, 720, 769, 785
 Тициан (Тициано Вечеллио) 764
 Тишевский 46
 Говяньский А. 712
 Толстая А. А. 533
 Толстая А. Е. 666
 Толстой А. П. 666, 684, 692, 693,
 705, 708, 710–713, 724–726,
 728, 731, 735–737
 Толстой Ф. П. 192, 293, 360, 742
 Толстой-Американец Ф. И. 561
 Томашевский Н. Б. 500, 785
 Торвальдсен Б. 524, 640
 Трахимовский (Трофимовский)
 М. Я. 23, 24, 352
 Трахимовский М. М. 49
 Трахимовский Н. А. 23, 149, 785
 Тредьяковский В. Л. 99
 Тропинин В. А. 752
 Трохнева М. Н. 289, 392
 Трощинская А. М. 21
 Трощинская О. Д. 58, 188, 248
 Трощинский А. А. 33, 34, 35, 38,
 41, 42, 60, 77, 89, 171, 173,
 175, 188, 352, 702
 Трощинский А. П. 35
 Трощинский Д. П. 16, 18, 31–33,
 34, 36, 37, 38–41, 49, 50, 59,
 70, 75, 87, 101, 102, 112, 148,
 149, 150, 152, 168, 182, 184,
 187, 268, 356, 459
 Тройат Н. 351
 Трубецкая К. К. 466, 666
 Трут 356
 Трушковский Н. П. (Николай,
 Коля) 342
 Трушковский П. О. 229, 253, 270,
 342, 451, 541
 Тургенев А. И. 379, 396, 402, 407,
 424, 439, 464, 466, 472, 482,
 491, 492, 512, 518–520, 530,
 543, 556, 559, 567, 569, 571,
 574, 578, 594, 601, 603, 622,
 634, 650–652, 667, 668, 684,
 688, 692, 693, 697, 707–713,
 723, 738, 771, 785
 Тургенев И. С. 180, 310, 313, 315,
 406, 409, 556, 558, 604, 618,
 655, 700, 744, 747, 774, 785
 Тургенев Н. И. 651, 708, 713
 Тьер Л. А. 464
 Тютчев Н. И. 765, 785
 Тютчев Ф. И. 537, 667, 725, 732,
 741, 759, 765
Убри П. Я. 492
 Уваров С. С. 283–284, 285, 303,
 304–307, 308, 309, 337, 355,
 424, 425, 428, 612, 613, 665,
 716–718, 722, 769
 Удольф Л. 502, 504, 785
 Урсо О. Д. 133, 143
 Урусов А. И. 295, 751
 Ушаков В. А. 242, 250, 251
Фарнгаген фон Энзе К. А. 140
 Федоров Б. М. 252, 411, 768
 Федотов В. В. 80, 785
 Федотов Г. П. 516
 Фейт Ф. 595
 Фет А. А. 563, 564, 760, 785
 Фиблиг К. 114
 Фидий 137, 154
 Филарет (Дроздов В. М.) 562, 707
 Филимонов В. 282

- Филипченко (Филипченков) Е. 117, 118
 Филлипов В. 748
 Фильдинг (Филдинг) Г. 371
 Фихте И. Г. 605, 757
 Флеклес 728
 Флеров В. В. 609
 Флор 647
 Флориян (Флориан) Ж. А. К. 102
 Флоровский А. 356
 Флоровский Г. В. 562, 785
 Фок М. Я. 176
 Фома Кемпийский 674, 743
 Фомичев С. А. 281, 372
 Фонвизин Д. И. 100, 101, 231, 248, 249, 403, 404
 Фосс И. Г. 141
 Францев В. А. 745, 786
 Франциск Ассизский 588, 589, 726, 762
 Фредерикс М. П. 403, 531
 Фрейдель Е. В. 379
 Фридкин В. М. 724, 728, 786
 Фридлендер Г. М. 134, 135, 136, 364, 435, 768, 786
 Фрике 761
 Фролов П. Г. 265
 Фролов-Багреев (Багреев) А. А. 251
 Фуке Ф. (Фуке де ла Мотт) 489
 Фукс К. Ф. 562, 563
 Фус П. Н. 427
 Фуссо (Fusso Susanne) 330, 786

Хайнацкий А. Ф. 56
 Халчинский И. Д. 88, 91, 298
 Ханыков Я. В. 646, 767
 Хвостов Д. И. 129, 181
 Хемницер И. И. 84
 Херасков М. М. 17, 84, 85, 86
 Хетсо Г. 675, 703, 707, 786
 Хилков И. М. 34, 36
 Хилкова Н. Д., урожд. Трошинская 36
 Хилкова П. И. (Прасковья) 70
 Хитрово Е. А. 769

 Хмельницкий Б. (З.) М. 12, 98, 383
 Хмельницкий Н. И. 557
 Хомяков А. С. 536, 569, 571, 572, 574, 575, 615, 617, 622, 627, 648, 723, 786
 Хомякова Е. М. 569, 570, 574, 618, 624, 765
 Хомяковы 561, 617, 624
 Хотяева 570
 Храповицкий А. И. 180–181, 362, 399, 401, 405–408, 420, 635
 Хюбнер Р. 664, 786

Цертелев Н. А. 36, 171
 Цигенгейст Г. 602, 665
 Цицианов 419
 Цициановы 752
 Цых В. Ф. 304, 306–307, 313, 363, 424, 786
 Цявловский М. А. 435

Чаадаев П. Я. 477, 478, 511, 570, 574, 577, 621–623, 710, 711, 786
 Чарушникова М. В. 360
 Челаковский Ф. Я. 384
 Челли 589, 762
 Черейский Л. А. 220, 460, 750, 769, 786
 Чернецов Г. Г. 380
 Чернецовы (братья) 761
 Черныш В. И. 68
 Черныш Г. Г. 765
 Чернышев А. И. 406, 415
 Чертков А. Д. 523, 533
 Черткова Е. Г. 523, 526, 533, 535, 544, 545, 553, 618
 Чертковы 552, 553, 759
 Чижевский Д. (Tscizewskij D. J.) 334, 510, 769
 Чижов А. И. 737
 Чижов Ф. В. 316, 464, 600, 637–642, 663, 667, 737, 756, 767
 Чижова Н. Н. 754

- Чичерин А. В. 249, 370, 710, 786
 Чулков Г. И. 765
 Чулкова Н. Г. 498
- Ш**ад И. Б. 108, 112
 Шаляпин Ф. И. 411, 412, 786
 Шамиссо А. фон 601
 Шашины (Шамшевы) 188
 Шан-Гирей Э., см. *Клингенберг Э. А.*
 Шапалинский К. В. 106, 112–113, 114, 119, 121, 123
 Шаповалов И. С. 427, 593
 Шаржинский С. Д. 123, 397
 Шатобриан Ф. Р. де 130, 137, 368, 466
 Шафарик П. Й. 384, 724
 Шаховской А. А. 353
 Шверубович А. И. 52, 786
 Шебуев В. К. 191
 Шевырев С. П. 89, 189, 190, 264, 329, 339, 340, 348–349, 373, 386, 388, 390, 428, 441, 449, 450, 497, 498, 501, 504, 507, 516, 517, 523–528, 533–535, 537–547, 553, 572, 592, 596, 601, 603, 614–617, 627, 630, 632, 635, 653, 655, 660–662, 668, 669, 673, 678, 680, 691, 693, 697–699, 723, 738, 739, 746, 757, 765, 767, 768, 786
 Шевырева С. Б. 528, 533, 536, 547
 Шекспир В. 281, 313, 349, 371, 463, 467, 544, 550, 662, 684, 745
 Шеллинг Ф. В. Й. 329, 459, 604–606, 635
 Шенлейн И.-Л. 728, 735
 Шенрок В. И. 5, 16, 23, 37, 44, 45, 59, 65, 67, 68, 69, 75, 80–81, 86, 92, 93, 96, 100–103, 107, 109, 129, 136, 146, 148–152, 162, 163, 170, 172, 223, 254, 267, 277, 288, 303, 337, 345, 356, 362, 366, 378, 392, 401, 423, 434, 456, 457, 465, 468, 470–472, 484, 486, 492, 493, 496, 506, 515, 517, 522, 533, 555, 543, 544, 548, 583, 600, 617, 624, 628, 648, 664, 680, 682, 684–686, 390, 394, 706, 713, 717, 719, 728, 755–757, 762, 765, 766, 768, 786
 Шереметев В. А. 666
 Шереметев Д. Н. 665
 Шереметева Н. Н. 569, 628, 656, 663, 670, 690, 694, 723, 786
 Шернваль А. К. 427
 Шиллер Ф. 88–89, 313, 354, 433, 550
 Шилова А. Е. 758
 Шильдер Н. К. 411, 786
 Шимановский В. М. 261, 787
 Ширяев А. С. 158
 Шишкин С. И. 113
 Шлегель Ф. 329, 787
 Шлецер А. Л. 313, 324
 Шмальц Т. 116–117, 120, 124, 787
 Шопен Ф. 726
 Шпектер О. 595
 Штакельберг 513
 Штейн И. Ф. 42, 102, 363
 Штейнл фон Э. 594
 Штернберг В. В. 585, 761
 Штильман (Stilman L.) 351
 Штрих (Strich Fr.) 329, 787
 Штюмер 340
 Шуберт Ф. 568
 Шубин В. 229, 278, 787
 Шульгин И. П. 315, 316
 Шульгес Э. 353
- Щ**еглов (Леонтьев) Л. 649, 650
 Щеголев П. Е. 77, 787
 Щедринский Б. Н. 765
 Щепкин А. М. 267, 363
 Щепкин Д. М. 550, 579, 628
 Щепкин М. А. 267, 363
 Щепкин М. С. 42, 104, 232, 267–268, 280, 296, 300, 338, 362, 363, 364, 367, 378, 400, 407,

- 410, 420, 426, 436, 449, 450,
548, 549, 551, 552, 560, 566,
579, 584, 588, 612–614, 619,
625, 628, 747, 760, 761
- Шепкин П. С. 265
Шербак 68
Шербина Н. Ф. 697
Шукин В. Г. 755
Щурупов М. А. 761
- Эльсон М. И. 761
Эммануэль 102
Энгельбах 480
Энгельгардт А. Е. 456, 754
Энгельгардт Е. А. 456
Эпикур 137
Эпингер 762
Эристов 428
Эфрос Н. Д. 563, 787
- Ю**нг Э. 537
Юнгман Й. 384
Юркевич П. И. 347, 389, 749
- Я**ворский С. 668
Языков А. М. 364, 434, 571, 574,
634–636, 663
- Языков Н. М. 84, 250, 256, 258–
259, 260, 275, 362, 544, 545,
569, 571, 574, 578, 587, 592,
600, 603, 605, 622, 624, 629,
633–639, 641–643, 647, 648,
663, 664, 670, 676, 679, 691,
692, 694–697, 705, 709–711,
722, 723, 726, 728, 729, 732,
738, 742, 754, 758, 765, 767,
768, 787
- Яким (Аким) *см.* Нимченко Я. (А.)
Якобсон Р. О. 521, 522, 787
Яковлевы 175
Якубина Ю. В. 353, 779, 787
Якубович Л. А. 241, 249
Якубович Л. Я. 575
Ян Казимир, польск. король 12
Яненко Я. Ф. 294
Яновский В. С. 10, 11, 24
Яновский Д. И. 10
Яновский К. Д. 11
Янушкевич А. С. 769
Ярцова Л. А. 428
Ясенко Я. Ф. 395
Ясновский Д. Е. 114, 117, 119, 121,
124, 125

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	5
--------------------------	---

Книга 1 1809–1835 годы

<i>Часть первая</i>	9
Род Гоголя	9
Отец	16
Мать	21
Никоша	23
«По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...»	29
Украинские Афины	32
Полтава	41
Учитель и соученик	46
Нежин	51
В классе, музее и... больнице	57
Среди товарищей и однокашников	64
«Я совершу свой путь в сем мире...»	74
Горизонт литературных сведений	84
«Первые упражненья в сочинениях»	90
«Под сению кулис»	100
«Я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства...»	107
«...Тамошние профессора большие бестии»	114
Близкое и далекое	126
Автор и его герой	134
«В дорогу! В дорогу!...»	143
<i>Часть вторая</i>	151
Отрезвление	151
«Везде совершенно я встречал одни неудачи...»	156
«Тысяча путей»	173
Служебная утопия	181
«Святыня искусства»	190
«Святыня искусства» (окончание)	198
Под знаменами педагогики	207
Пасичник Рудый Панько и граф Кочубей	213

Встреча с Пушкиным	218
Царское Село — Павловск	220
«Хвостики душевного состояния»	231
«Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе...» ...	241
В поисках гармонии. Конец 1831 — начало 1832 года	251
Москва — Васильевка — Москва	263
<i>Часть третья</i>	277
«Боже, сколько кризисов!»	277
Среди «однокорытников»	288
На подступах к университетской кафедре	303
На кафедре	310
«Я тружусь как лошадь»	318
«Вечный раздор мечты с сущностью»	322
Целое и арабески	328
Москва — Васильевка — Москва	337
«Глава литературы, глава поэтов»	345
Примечания	351

Книга 2

1835–1845 годы

<i>Часть первая</i>	369
На подступах к книге жизни	369
«Смеяться, смеяться давай теперь побольше»	374
Первая проба	378
«...До нового пробуждения...»	382
В журнальном ристалище	385
Горизонт общения	391
Путь на сцену	399
Перед премьерой	404
Премьера	406
«Тут всем досталось, а больше всех мне...»	410
Настоящий «Ревизор» и «Настоящий Ревизор»	418
После премьеры	420
Почему Гоголю не дали премию	426
Синдром «Ревизора»	429
«Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься...»	433
Перед дальней дорогой	448
<i>Часть вторая</i>	453
«Знаете ли вы, что такое пароход?»	453
«В немецкой стороне»	455

Швейцария	460
«Славная собака Париж...»	463
«...Никакой вести хуже нельзя было получить из России»	471
Первое «чтение» Италии	480
Поездка на север: Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне, Женева	488
Второе «чтение» Италии	493
Католический эпизод	508
Под неаполитанским небом	516
Поездка в Париж	518
Третье «чтение» Италии	520
«Прекрасное погубило в пышном цвете...»	530
Путь на родину	542
Москва — Петербург — Москва (сентябрь 1839 — май 1840)	547
<i>Часть третья</i>	581
Дорога и кризис	581
После кризиса	586
Четвертое «прочтение» Рима	589
На пути в Россию	599
Петербург — Москва — Петербург (октябрь 1841 — июнь 1842) ...	606
«Последнее удаление из отечества»	633
«Разъездная жизнь»	663
Ницца	670
«Я иду вперед — идет и сочинение»	679
В Париже как в «монастыре»	705
«Пожалуйста, не беспокойтесь насчет способов существования»	714
«Небольшое произведение и не шумное по названию...»	719
На грани жизни и смерти	724
«Зачем сожжен второй том “Мертвых душ”?»	729
«...Кажется, мне лучше»	733
Рим: осень и зима 1845 года	736
Примечания	748
Список принятых сокращения	771
Именной указатель	788

Литературно-художественное издание

Мани Юрий Владимирович

ГОГОЛЬ

Труды и дни: 1809–1845

Ведущий редактор *Л. Н. Шинова*

Корректор *А. А. Барина*

Художник *Д. А. Сенчагов*

Компьютерная верстка *С. А. Артемьевой*

Подписано к печати 24.06.2004. Формат 60×90 ¹/₁₆

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 53. Тираж 4000 экз. Заказ № 3685

ЗАО Издательство «Аспект Пресс»

111141, Москва, Зеленый проспект, д. 8

E-mail: info@aspectpress.ru; www.aspectpress.ru

Тел. 306-78-01, 306-83-71

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Издательство
«Аспект Пресс»
готовит к выпуску

Заключительная книга фундаментального исследования Юрия Манна «Гоголь. Труды и дни: 1845–1852» охватывает последний период жизни великого писателя – с 1845 по 1852 годы.

Много важных событий произошло в этот промежуток времени: прощание Гоголя с Италией; паломничество, через Средиземное море и по ближневосточным землям в Иерусалим к гробу Господню; окончательное возвращение – после почти двенадцатилетнего пребывания за границей – на родину; встречи на Украине, в Петербурге и Москве со многими выдающимися деятелями отечественной культуры; посещения Оптиной пустыни и т.д.

И самое главное – продолжение работы над «Мертвыми душами». В книге раскрывается полная трагического напряжения история второго тома поэмы, закончившаяся уничтожением его белой рукописи и последующей затем смертью писателя.

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

